

ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

АНТОЛОГИЯ

2

ТОМ







РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Антология
в шести томах
том второй

1926–1930



ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

АНТОЛОГИЯ



Москва «Книга» 1991

ББК 84Р
Л 64

Автор вступительной статьи
и научный редактор
кандидат философских наук
А. Л. Афанасьев

Составление
и именной указатель
В. В. Лаврова

Издание подготовлено
редакционно-издательским
центром «Истоки»

Редакторы:
А. Б. Гудович, Ю. В. Устинов

Оформление и макет
А. Б. Архутика, К. В. Кухтина

Макет фотоиллюстраций
В. И. Харламова

Л $\frac{4701000000-036}{002(01)-91}$ Подписн. изд.
ISBN 5-212-00481-0 (т. 2)
ISBN 5-212-00444-6

Без России

Ты будешь знать, как горестен устам
Чужой ломоть, как трудно на чужбине
Сходить и восходить по ступеням.
Данте

Россия моя, Россия,
Зачем так ярко горишь?
Марина Цветаева

Эмигранты времени Великой французской революции не помышляли противопоставлять себя Франции. Они только, по свидетельству Шатобриана, считали себя «внешней Францией». Иначе видели себя в 1920-е годы русские эмигранты, особенно культурные силы зарубежья. В массе своей они были убеждены, что только они имеют право представлять свою родную страну, что «эмиграция — социально-культурное народное посольство России». «Весь мир пронизан сейчас русскими духовными ценностями, и это, в значительной мере, заслуга русской эмиграции» (1),— энергично утверждает в 1930 году Зинаида Гиппиус.

Для такого заявления у одного из признанных лидеров зарубежья достаточно весомых оснований, ибо именно со второй половины 20-х годов начинается время наибольших удач русской зарубежной культуры, признания во всех уголках планеты таланта Шаляпина и Павловой, Коненкова и Прокофьева, Рахманинова и Мозжухина, Михаила и Ольги Чеховых, Алехина и Рериха. Тем более эта полоса признания русской культуры на Западе приходится на достаточно парадоксальную ситуацию, складывающуюся тогда в мире вокруг Советской России, СССР: с одной стороны — резко растет международный авторитет страны, она вырывается из дипломатической изоляции, восстанавливает разрушенное первой мировой и гражданской войнами хозяйство, находит взаимоприемлемые с капитализмом экономические формы сотрудничества; с другой стороны — именно в те годы начинается болезненный процесс свертывания духовных и культурных связей с цивилизованными странами, фактически со всем миром. Конечно, и капиталистические страны также не стремились к правдивому изображению советской действительности...

В таких условиях белая эмиграция всячески пыталась убедить и себя, и окружающих, что только она имеет право выступать от имени России в мире,— мире, который не встретил, за редким исключением, с распростертыми объятиями русских беженцев. «В жестокой борьбе за существование большинству эмигрантов, каково бы ни было их социальное положение на родине, пришлось спуститься на самые низкие ступени общественной лестницы, опролетаризоваться,— писал редактор «Современных записок» В. Руднев, подводя «итоги» первых лет эмиграции.— В Европе эмиграция могла занять место только среди наименее квалифицированной части пролетариата. Однако по сравнению с местным рабочим населением даже этой всего хуже оплачиваемой категории русские эмигранты оказываются в положении наиболее неблагоприятном: над ними, сверх того, тяготеют установленные во всех государствах Западной Европы для иностранного труда ограничения... Но, и получив работу, эмигрант никогда не может быть спокоен за завтрашний день: при малейшем признаке

промышленного кризиса... русский эмигрант, как иностранец, подлежит увольнению с работы в самую первую очередь» (2).

Живший в Праге молодой поэт Владимир Мансветов писал:

Казалось — не брит был, а вправду — непризнан
и беден диковинно: от пиджака
потертого и — до потери отчизны,
почти до потери души...

Трудное, часто на грани или за чертой бедности существование многих зарубежных русских самым непосредственным образом сказывалось на содержании эмигрантской литературы. Она тем не менее, как и зарубежная русская культура, достойно представляла свою Родину.

Еще беснуются в середине 20-х годов непримиримые галлиполийцы, ревностные члены «союзов» бывших жандармов или постоянные читатели «Царского вестника» и «Возрождения», но белоэмигрантская масса все явственнее начинает понимать всю трагичность своего положения. «Извозчик, свободен?» — «Свободен».— «Ну, так кричи: да здравствует свобода!» — эта затертая дореволюционная острота с горечью повторяется в эмигрантских «салонах».

Многих писателей и поэтов отталкивали истерические вопли «непримиримых» о готовности «до России доползти на брюхе». «Не все плакали пьяными глазами под маринованный рыжик и цыганский романс» (Дон-Аминадо), а многие задумались над тем, о чем одним из первых открыто заявил Александр Вертинский:

И еще понять
беззлобно,
Что свою, пусть
злую Мать
Все же как-то
неудобно
Вечно в обществе ругать.

Популярный певец был не одинок. «Когда мне говорят мои близкие и мои друзья, что той России, которую я люблю, которую я целую жизнь любил, все равно сейчас нет,— писал К. Бальмонт,— мне эти слова не кажутся убедительными». Неимоверно трудно испытание чужбиной и ностальгией, осознание того, что русский народ начал все прочнее и прочнее свое будущее связывать с «сатанинской» Советской властью. Для сотен тысяч белоэмигрантов стрелки часов как будто замерли. Снова и снова их мысли о России, о революции. У каждого свои...

Тех, кто страдает гордо и упрямо,
Не видим мы на наших площадях:
Задавлены случайною работой,
Таятся по мансардам и молчат...
Не спекулируют, не пишут манифестов,
Не прокурорствуют с партийной высоты,
И из своей больной любви к России
Не делают профессии лихой...
Их мало? Что же... Но только ими рдеют
Последние огни родной мечты.
Я узнаю их на спектаклях русских
И у витрин с рядами русских книг —
По строгому, холодному обличью,
По сдержанной печали жутких глаз...
В Америке, в Каире и в Берлине
Они одни и те же: боль и стыд.
Они Россия...

Автор этих строк Саша Черный точно показывает характер тех русских людей, кто не захотел или не смог в силу сложившихся жизненных обстоятельств связать свою судьбу с Советской Россией, кому пришлось на чужой земле прозябать в нищете, в тоске и душевных муках.

К концу 20-х годов сполна испытало всю меру чужеземных лишений и абсолютное большинство писателей и поэтов зарубежья. Столицей эмигрантской литературы стал Париж, другие литературные центры — Берлин, Прага, Белград, Брюссель — быстро превращаются в «провинцию» русского зарубежья. Журнал «Современные записки» прочно занял место фаворита и законодателя мод в культурной и литературной жизни русского зарубежья (что, кстати, отмечали и в Советском Союзе: "Современные записки" — самый солидный и культурный из

русских зарубежиых журиалов, с особеи-но богатым беллетристическим и литера-турио-критическим отделами») (3).

Жизнь все решительнее требовала от писателей эмиграции политического реа-лизма. Поезда в Россию все иет... «Ведь за границей только тогда хорошо, когда можешь хоть сейчас домой уехать»,— писал в свое время П. И. Чайковский своему брату. Белоэмиграитам ехать было иекуда... Перед каждым писателем зару-бежья явствеиио встал вопрос — как пи-сать, о чем писать в отрыве от родной почвы, вие каждодиевной стихии русско-го языка. На эти темы в эмиграитских газетах и журналах разворачиваются яростиые споры. «Талант талаитом, а все-таки «всякая сосна своему бору шумит». А где мой бор? С кем и кому мие шу-меть?» (4),— задумывается Иван Буиин.

Непомерная тяжесть эмиграции разда-вила многих. Если тот же Бунин выстоял, написал в эмиграции миогие свои лучшие произведения, хотя вряд ли какой другой писатель был так связан с русской жиз-нью, с русскими людьми, с русским прош-лым, то Мережковский, иапример, кото-рый со всем русским ие был так свя-зан, как Бунии, все свои лучшие произ-ведеиия, на наш взгляд, написал в Рос-сии, а эмиграитское его творчество за-метио проигрывает дореволюциоииому, петербургскому.

Строгий советский критик эмиграит-ской литературы 20-х годов А. Вороиский в статье о русской зарубежиой художест-веиной литературе под характериым для того времени иазванием «Вие жизии и вне времени» писал в 1926 году об Иваие Буиине: «Чистота нашего родиого языка, строгость и тоикость вкуса у иего иеобы-чайиы. Для очеиь миогих совремеиных мо-лодых советских писателей с этой сто-роиы Буиии до сих пор является образ-цом» (5). Другой советский литературо-вед, И. Владиславлев, анализируя в 1928 году творчество писателей, которые во главе с Буиииым «ушли за рубеж», отмечает, что «это литература определеи-иого класса, это последиий мощиый пласт дворянской культуры, в муках и крови оторваииый от пуповииы обновлеииой ре-волюцией русской литературы» (6).

Выделим — «в муках и крови отор-ваниый от пуповииы... русской литерату-ры»! Об этом читатель иайдет иемало горьких страниц и в этом томе, и в других томах иашей аитологии. Да если бы толь-ко речь шла о «муках и крови» русской литературы?!

Осиовиое содержание литературы рус-ского зарубежья 20-х годов — о муках и крови России, иепомерио тяжелую цеиу заплатившей за свою Революцию, за свою Истииу, за свой Путь. Каждый писатель сквозь личиый опыт оценивал пережитое, думал о настоящем и будущем своей род-ной страиы.

А Русь молчит. Не плачет и...
не дышит...
К земле лицом разбитым никнет
Русь...
Я думаю, куда бы встать повыше
И крикиуть «им»: а я не покорюсь!

Марианиа Колосова, харбииская поэ-тесса, буквально задыхается от ненависти к «им»..

...Какой бы жалостью душа
ни наполиялась,
не поклонюсь, не примирюсь...

— вторит ей Набоков-Сирии в своем «Ка-ким бы полотиом...».

Алексей Ремизов, выпустивший в 1927 году отдельиой кингой «Взвихреииую Русь», где в присущей только ему, и иикому более, «сновидческой» манере, причудливо переплетая реальиость и фаи-тастику, писал:

«Ободраиный и иемой стою в пустыие, где была когда-то Россия.

Душа запечатана.

Все, что было у меия, все растащили, сорвали одежду с меня. Что мие иужио? — Не зиаю» (7). Ои иадрывио «поет по России «В-ъ-ъ-ъ-ч-и-а-я п-а-м-я-т-ь».

Борис Зайцев по-своему оцеиивает ре-волюцию, которая дала ему возможность

«созерцать издали Россию, вначале трагическую, революционную, потом более ясную и покойную — давнюю, теперь легендарную Россию моего детства и юности. А еще далее, в глубь времен — Россию Святой Руси...» (8). В эмиграции Б. Зайцев представлял писателей-реалистов, как и И. Бунин, А. Куприн, И. Шмелев, за которыми уверенно шло старшее и среднее поколение эмигрантских читателей.

Но именно во второй половине 20-х годов в литературе русского зарубежья наметилось ослабление чувства реальности.

Особенно это проявилось в нарождавшемся творчестве молодого поколения русской зарубежной литературы. «Герой эмигрантской литературы отворачивается от мира, где ему не оказалось ни места, ни дела, и тогда его сознание тонет в разливе живых, причудливо-изменчивых снов, музыки, мечтаний, каких-то странных то невозможно прекрасных, то безобразных видений и чувств,— писал в «Незамеченном поколении» В. Варшавский, обстоятельно разбирая произведения, созданные эмигрантскими «живыми тенями, окончательно отвыкшими от реального мира».— Пусть даже это только самый низший «этаж» душевной жизни, темный бред эротических навязчивых идей и галлюцинаций, но вдруг в мутном потоке мелькают необъяснимые анормальные восприятия, врывающиеся как бы с «той стороны», и тогда сердце охватывает великая безумная и вечная человеческая надежда...» (9). Весьма характерно для эмигрантских писателей, как старших так и младших, разочарование в идее прогресса, рост сомнений и страха в среде русской эмиграции, склонной к эсхатологическим настроениям.

Такие настроения не ускользали от внимания эмигрантской общественности. Так, П. Н. Милюков, выступая в 1930 году на литературном вечере, организованном журналом «Числа», отмечал: «Русская литература периода классического, до Толстого включительно, была периодом реализма. Его сменил период романтический или период «символизма». Сейчас, в то время, когда в России литература возвращается к здоровому реализму, здесь, в эмиграции, часть литераторов... продолжают оставаться на позициях отрыва от жизни». Конечно же, главной причиной «отрыва от жизни» многих писателей и поэтов русского зарубежья стал «отрыв» от России.

Однажды случайно, от скуки
(Я ей безнадежно больна),
Прочла я попавшийся в руки
Какой-то советский журнал.

И странные мысли такие
Взметнулись над сонной душой...
Россия!
Чужая Россия!
Когда ж она стала чужой?

И если подобный вопрос-упрек уместно звучит из уст молодой русской поэтессы, то многие более взрослые и опытные писатели, поэты, критики упорно стремились своим творчеством ответить на него. «Конец 20-х и начало 30-х годов были, несомненно, периодом расцвета зарубежной литературы...— справедливо утверждает Глеб Струве.— В этот период большинством старших писателей были созданы наиболее значительные, и во всяком случае самые крупные, их вещи» (10). Не отставали от старших собратьев по перу и их более молодые коллеги.

Так, в 1930 году все русское зарубежье заговорило о Гайто Газданове, вернее, о его первом романе — «Вечер у Клэр». Роман высоко оценил даже весьма скупой на похвалы Иван Алексеевич Бунин. Горький взялся было опубликовать роман в Советском Союзе. Но... не смог.

Наступили тридцатые годы. Нелегкие, сложные годы для русской литературы. И зарубежной. И советской. Трагические годы для России.

Примечания

1. Что делать русской эмиграции. Париж. 1930. С. 5.

2. *Руднев В.В.* Условия жизни детей эмиграции//Рус. школа за рубежом. Прага, 1928. Кн. 26. С. 3.

3. *Горбов Д.* У нас и за рубежом. М., 1928. С. 7.

4. *Бунин Иван.* Записная книжка//Возрожденне. Париж. 1926. 23 янв.

5. *Воронский А.* Литературные записи. М.: Круг, 1926. С. 113.

6. *Владиславлев И.В.* Литература великого десятилетия (1917—1927). М., 1928. Т. 1. С. 17—18.

7. *Ремизов Алексей.* Взвихренная Русь. Париж, 1927. С. 185.

8. *Зайцев Б.* Молодость — Россия. Париж, 1951. С. 25.

9. *Варшавский В.* Незамеченное поколение. Нью-Йорк, 1956. С. 199—200.

10. *Струве Глеб.* Русская литература в изгнании. Париж, 1984. С. 191.

А. Афанасьев

От составителя

Эмигрантская литература началась в те дни, когда на российских просторах гремели пушки братоубийственной бойни — гражданской войны. Генералы и солдаты, писатели и крестьяне бросались в перегруженные до предела пароходы, парусники, ялики — они искали спасения на чужбине.

С истории эмиграции ведет свое летосчисление и русская литература за рубежом. Один из беглецов, крупный русский писатель Борис Зайцев, спустя десятилетия вспоминал: «Все разместились — по разным странам, сперва Европа (Париж, Берлин), потом Америка. Появились свои журналы, газеты, книги, издательства. ⟨...⟩ Первое время и вообще в эмиграции, и в литературной ее части распространено было чувство: «Все ненадолго. Скоро вернемся». Но жизнь другое показывала и медленным, тяжелым ходом говорила: «Нет, не скоро. И вернее всего не видать вам России. Устраивайтесь тут как хотите. Духа же не угашайте»,— последнее добавлялось уже как бы свыше, для укрепления и подбодрения.

Разумеется, общей указки нашему брату, наставления, о чем писать и как писать, никто и не думал давать, да и начальства такого не было, а если бы было, ему не подчинились бы» (Борис Зайцев. Изгнание. Русская литература в эмиграции: Сб. ст. / Под ред. Н. П. Полторацкого. Питсбург, 1972. С. 3).

И далее писатель признает: в огромной части писаний эмигрантских за спиной стояла великая классическая русская литература. Действительно, не только такие значительные литераторы, как Бунин, Куприн, Мережковский, Гиппиус, тот же Зайцев, сохраняли в своих творениях духовность и гуманизм, но и более молодое поколение, начавшее писательский путь уже на чужбине, по мере своих сил эти традиции стремилось сохранить и поддержать.

Характерно, что сама эта литература собственные успехи расценивала с подкупающей скромностью. Так, отвечая в декабре 1928 года на анкету газеты «Дни» о развитии литературы, молодой, но уже завоевавший себе имя прозаик Владимир (Бронислав) Сосинский утверждал: «Русская литература не дала ни одного из тех огромных произведений, которые являются вехами на пути ее истории. Эпоха, несмотря на войну и революцию, еще не вышла из-под влияния гениального XIX века,— и до сих пор лучшее, что пишется в ней, есть отголосок гениев Достоевского, Гоголя и Пушкина. Но все же думать, что 10 лет в литературе царила голая пустыня, могут только те, кто „редко просматривают ее...“».

Нет, в зарубежной литературе «пустыни» не было. Читатели настоящего тома, охватывающего период с 1926 по 1930 год, в этом легко убедятся.

В настоящий том, наряду с признанными корифеями (Бунин, Куприн, Ремизов, Зайцев и другие), включены те, кто в те годы делал первые шаги в литературе и позже занял в ней достойное место (Адамович, Зуров, Кузнецова, Ладинский, Сосинский, Шаховской). Для антологической полноты на страницах этой книги читатель обнаружит и имена тех, кто, удачно дебютировав, не сумел закрепиться в литературе.

Для зарубежной русской литературы предвоенных и послевоенных лет показательно появление значительного количества мемуаров. Чаще всего их авторы были свидетелями и участниками больших исторических событий. Это также нашло отражение в антологии.

ПРОЗА

А. И. Куприн

Купол Св. Исаакия Далматского

Добрая осень

Осень 1919 года была очень хороша на севере России. Особенно глубоко и сладкогрустно чувствовалась ее прохладная прелесть в скромной тишине патриархальной Гатчины. Здесь каждая улица обсажена двумя рядами старых густых берез, а длинная тенистая Багавутовская улица, пролегающая через весь посад, даже четырьмя.

Весною вся Гатчина нежно зеленеет первыми блестящими листочками сквозных берез и пахнет терпким веселым смолистым духом. Осенью же она одета в пышные царственные уборы лимонных, янтарных, золотых и багряных красок, а увядающая листва белоствольных берез благоухает, как крепкое старое драгоценное вино.

Урожай был обилен в этом году по всей России. (Чудесен он был и в 20-м году. Мне непостижимо, как это не хватило остатков хлеба на 21-й год — год ужасного голода.) Я собственноручно снял с моего огорода 36 пудов картофеля в огромных бело-розовых клубнях, вырыл много ядреной петровской репы, египетской круглой свеклы, остро и дико пахнувшего сельдерея, репчатого лука, красной толстой упругой грачевской моркови и крупного белого ребристого чеснока — этого верного противоцинготного средства. Оставались неубранными лишь слабенькие запоздалые корешки моркови, которые я не трогал, дожидаясь, пока они нальются и потолстеют.

Весь мой огород был размером в 250 квадратных сажень, но по совести могу сказать, потрудился я над ним весьма усердно, даже, пожалуй, сверх сил.

Зимою ходил с салазками и совочком — подбирал навоз. Мало толку было в этом жалком сухом навозе,— его даже воробьи не клевали. Помню, однажды, когда я этим занимался, проходила мимо зловредная старушенция, остановилась, поглядела и зашипела на меня: «Попили нашей кровушки. Будя». (Экий идиотский лозунг выбросила революция.) Собирал я очень тщательно зимою золу и пепел из печек. Достал всякими правдами и неправдами несколько горстей суперфосфата и сушеной бычьей крови. Пережигал под плитой всякие косточки и толок их в порошок. Лазил на городскую колокольню и набрал там мешок голубиного помета (сами-то голуби давно покинули наш посад вместе с воронами, галками и мышами, не находя в нем для себя пропитания).

Тогда все, кто могли, занимались огородным хозяйством, а те, кто не могли, воровали овощи у соседей.

Труднее всего было приготовить землю под гряды. Мне помог милый Фома Хамилейнен из Пижмы. Он мне вспахал и взборонил землю. Я за это подарил ему довольно новую фрачную пару (что мог сделать мой честный, добрый чухонец с этой дурацкой одеждой?) и собственноручно выкопал для него из грунта двенадцать шестилетних яблонек. Я их купил три года тому назад в питомнике Регеля-Кесельринга. Сам посадил с любовью и ухаживал за ними с нежностью. Раньше, щадя их детский возраст, я им не давал цвести, обрывал цветения, но в этом году думал разрешить им первую роскошь и радость материнства, оставив по две-три яблочных завязи на каждой. Очень жалко было рас-

ставаться с яблоньками, но трезвый будничный картофель настоятельно требовал для себя широкого места.

И ведь как на грех, на соблазн выдалась такая теплая, такая чудесная осень! На оставшихся у меня по границе огорода шести яблоньках-десятилетках поздних сортов плоды никогда еще не дозревали: их мы срывали перед морозами, закутывали в бумагу и прятали в шкаф до Рождества. Теперь же на всех шести налились и поспели такие полные, крепкие, нарядные, безупречные яблоки, что хоть прямо на выставку.

А цветов в этом году мне так и не довелось посадить. Побывал раннею весною в двадцати присутственных местах Гатчины и Петрограда на предмет получения разрешения на отпуск мне семян из социализированного магазина, потратил уйму денег, времени и нервов на проезды и хлопоты, ничего не смог добиться и с озлоблением плюнул.

Простите, что я так долго остановился на этом скучном предмете и отрываюсь от него с трудом. Мне совсем не жалко погибшей для меня безвозвратно в России собственности: дома, земли, обстановки, мебели, ковров, пианино, библиотеки, картин, уюта и прочих мелочей. Еще в ту пору я понял тщету и малое значение вещей сравнительно с великой ценностью простого ржаного хлеба. Без малейшего чувства сожаления следил я за тем, как исчезали в руках мешочников зеркала, меха, портьеры, диваны, шкафы, часы и прочая рухлядь. Деньги тогда даже не стоили той скверной бумаги, на которой они печатались.

Но, по правде говоря, я бы очень хотел, чтобы в будущей спокойной и здоровой России был воздвигнут скромный общественный монумент не кому иному, как «Мешочнику». В пору пайковых жмыхов и пайковой клюквы это он, мешочник, провозил через громадные расстояния пищевые продукты, вися на вагонных площадках, оседлывая буфера или распластавшись на крыше теплушки,— всегда под угрозой ограбления или расстрела. Конечно, не ему, а времени было суждено поправить хоть немного экономический кризис. Но кто же из великомучеников того времени не знает из горького опыта, как дорог и решителен для умирающей жизни был тогда месяц, неделя, день, порою даже час подтопки организма временной сытностью отдыха. Я мог бы назвать много драгоценных для нашей родины людей, чье нынешнее существование обязано тяжкой предприимчивой жадности мешочника. Памятник ему!

Повторяю, мне не жаль собственности. Но мой малый огородишко, мои яблони, мой крошечный благоуханный цветник, моя клубника «виктория» и парниковые дыни-канталупы «Женни Линд» — вспоминаю о них, и в сердце у меня острая горечь.

Здесь была прелесть чистого, простого чудесного творчества. Какая радость устлать лучинную коробку липовым листом, уложить на дно правильными рядами большие ягоды клубники, опять перестлать листьями, опять уложить ряд и весь этот пышный темно-красный душистый дар земли отослать в подарок соседу! Какая невинная радость — точно материнская.

Так, впрочем, бывало раньше. К середине 19-го года мы все, обыватели, незаметно впадали в тихое равнодушие, в усталую сонливость. Умирали не от голода, а от постоянного недоедания. Смотришь, бывало, в трамвае примостился в уголку утлый преждевременный старичок и тихо заснул с покорной улыбкой на иссохших губах. Станция. Время выходить. Подходит к нему кондукторша, а он мертв. Так мы и засыпали на полпути у стен домов, на скамеечках в скверах.

Как я проклинал тогда этот корнеплод, этот чертов клубень — картофель. Бывало, нароешь его целое ведро и отнесешь для просушки на чердак. А потом сидишь на крыльце, ловишь разинутым ртом воздух, как рыба на берегу, глаза косят, и все идет кругом от скверного головокружения, а под подбородком вздувается огромная гуля: нервы никуда не годятся.

Пропало удовольствие еды. Стало все равно, что есть: лишь бы не царапало язык

н не втыкалось занозамн в небо и десны. Всеобщее ослабленне органнзмов дошло до того, что людн непронзвольно переставалн владеть своимн фнзическими отправлениями. Всякая сопротнвляемость, гордость, смех н улыбка совсем исчезлн. В 18-м году еще держалнсь малые ячейкн, спаянные дружбой, довернем, взанмной поддержкой и заботой, но теперь н оин распадалнсь.

Днем гатчннскне улицы бывалн совершеиио пусты: точно всеобщнй мор проиесся по городу. А ночи были страшны. Лежишь без сна. Тншнна и темиота, как в могиле. И вдруг одиночный выстрел. Кто стрелял? Не солдат лн, соскучнвшнсь на посту, поставил прицел н пальнул в далекое, еле освещенное окошко? Или раздадутся подряд пять отдалеииых глухих залпов, а затем мннутка молчаиия н снова пять уже одиночных, слабых выстрелов. Кого расстрелялн?

Так отходнлн мы в предсмертную летаргию. Победоиосиое иаступленне Северо-западной армии было подобно для иас разряду электрической машииы. Оно гальваиизировало человеческне полутрупы в Петербурге, во всех его пригородках н дачных поселках. Пробуднвшнеся сердца загорелись сладкимн надеждами и радостными упованиямн. Тела окреплн, н души вновь обрелн энергию и упругость. Я до снх пор не устаю спрашивать об этом петербуржцев того временн. Все оии, все без нсключеиия, говорят о том восторге, с которым онн ждали иаступления белых иа столнцу. Не было дома, где бы ие молнлись за освободителей и где бы ие держали в запасе кирпнчи, кипяток и керосни иа головы поработителям. А если говорят протнвиое, то говорят созиательную, святую партийиую ложь.

Красная Армия

Мы все были до смешного не осведомлены о внешннх событнях; не только мы, уедненные гатчннцы, но н жнтели Петербурга. В советскнх газетах иельзя было выудить нн словечка правды. Ннчего мы не зналн нн об Алексееве, ни о Корнилове, нн об операцнях Деникнна, ин о Колчаке. Помню, кто-то прннес весть о взятнн Харькова и Курска, но этому не поверилн. Слышалн порою с севера далекую орудийную пальбу. Нас уверялн, что это флот заннмается учебной стрельбой. В мае каноиада раздавалась с северо-запада и стала гораздо явственнее. Но тогда некого было спрашнвать, да н было лень. Только полгода спустя, в октябре, я узнал, что это шло первое (неудачное) наступленне Северо-западиой армнн на Красную горку. Впрочем, в том же мае мне рассказывал одии чухонец из Волосова следующее: к ннм в деревню прнехалн однажды верховые людн в военной форме, с офнцерскнмн погонамн. Попросилн дать молока, перед едой перекрестилнсь на красный угол, а когда закусилн, то отблагодарнлн хозяев белым хлебом, ломтем сала и очень щедро деньгамн. А садясь на коней, сказали: «Ждите нас опять. Когда приедем, то сшибем большевнков н жнзнь будет как прежде».

Я, помню, спросил недоверчиво:

— Почем зиать, может быть, это былн большевистскне шпноиы? Онн теперь повсюду нюхают.

— Не сиай. Може пноны, може равда белые,— сказал чухоиец.

Жнть было страшио и скучно, но страх и скука былн тупые, коровьн. На заборах висели правнтельственные плакаты, извещавшие: «Ввиду того, что в тылу РСФСР имеются сторонннкн капнталнзма, иаемнннки Антанты и другая белогвардейская сволочь, ведущая буржуазную пропаганду, вменяется в обязанность всякому коммуинсту: усмотрев гделибо попытку опозорення советской властн н призыв к возмущеиию протнв нее, расправляться с внновиымн иемедлеиио на месте, не обращаясь к суду». Случаи такой рас-

правы бывали, но, надо сказать правду, редко. Но томили беспрестанные обыски и беспричинные аресты. Мысленно смерти никто не боялся. Тогда, мне кажется, довольно было поглубже и порешительнее затаить дыхание, и готов. Пугали больше всего мучения в подвале в ежеминутном ожидании казни.

Поэтому старались мы сидеть в своих норах тихо, как мыши, чующие близость голодного кота. Высовывали на минуту носы, понюхать воздух, и опять прятались.

Но уже в конце ноября началось в Красной Армии и среди красного начальства какое-то беспокойное шевеление.

Приехал неожиданно эшелон полка, набранного в Вятке, и остановился за чертой посада в деревянных бараках. Все они были как на подбор такие же долговязые и плотные, такие же веселые и светло-рыжие, с белыми ресницами, как Шаляпин. Ладные, сытые молодцы. Не знаю, по какой причине им разрешили взять с собою по два или по три пуда муки, которую они в Гатчине охотно меняли на вещи. Мы пошли в их становище. Там было уже много народу. Меня тронуло, с каким участием расспрашивали они исхудавших, обносившихся, сморщенных жителей. Как сочувственно покачивали они головами, выразительно посвистывали на мотив: «Вот так фу-унт!» — и, сплюнув, говорили:

— Ах вы бедные, бедные! До чего вас довели. Нешто так можно?

Потом их куда-то увезли. Но эти «вятские, ребята хватские» не пропали. Во второй половине октября они почти все вернулись в Гатчину в рядах белой армии, в которую они перешли дружно, всем составом где-то под Псковом. И дрались они лихо.

Вскоре после их отхода Гатчина вдруг переполнилась нагнанной откуда-то толпой отрепанных до последней степени, жалких, изможденных, бледных красноармейских солдат. По-видимому, у них не было никакого начальства, и о дисциплине они никогда не слыхали. Они тотчас же расползлись по городу в тщетных поисках какой-нибудь пищи. Они просили милостыни, подбирали на огородах оставшуюся склизкую капустную хряпу и случайно забытые картофелины, продавали шейные кресты и нижние рубахи, заглядывали в давно опустелые помойные ямы. Были все они крайне удручены, запуганы и точно больны: вероятно, таким их душевным состоянием объяснялось то, что они не прибегали тогда к грабежу и насилию.

Недолго прожили они в Гатчине. Дня три. В одно ясное, прохладное утро кто-то собрал их в бесформенную группу, очень слабо напоминавшую своим видом походную колонну, и погнал дальше по Варшавскому шоссе. Я видел это позорное зрелище, и мне хотелось плакать от злобы, жалости и бессилия: ведь как-никак, а все-таки это была русская армия. Ведь «всякий воин должен понимать свой маневр», а эти русские разнесчастные обманутые Иваны — понимали ли они хоть слабо, во имя чего их гнали на бойню?

Не оркестр шел впереди, не всадник красовался на серой лошади, и не знамя в футляре покачивало золотым острием высоко над рядами. Впереди тащилась походная кухня, разогретая на полный ход. Густой дым валил из ее трубы прямо назад и стлался низко над вооруженной ватагой, дразня ее запахом вареной капусты. О, зловещий символ!

И что это была за фантастическая, ужасная, кошмарная толпа? Согбенные старики и желтолицые чахоточные мальчуганы, хромые, в болячках, горбатые, безносые, не мывшиеся годами, в грязных тряпках, в ватных кофтах и жалких кацавейках, одна нога босиком, другая в галоше, всюду дыры и прорехи, ружья вверх и вниз штыками, и иные волочатся штыками по земле. Уже не в Вяземской ли лавре собралось это войско, которое проходило мимо нас с поднятыми носами и жадно раздувавшимися ноздрями?

На другой день мы снова услышали канонаду, на этот раз яснее, ближе и в новом направлении. Очевидно, теперь морская эскадра для своей учебной стрельбы переместилась на юго-запад от Гатчины. Но как будто в этом направлении нет моря?

К полудню этого же дня странная суматоха, какая-то загадочная беготня, тревожная возня началась во всегда пустых, безлюдных улицах Гатчины. Невиданные доселе, совсем

незнакомые люди таскали взад и вперед сундуки, узлы, корзины, чемоданы. Наехали в город окрестные мужики на пустых телегах. Бежали опрометью по мостовой какие-то испуганные рабы с вязанками соломы и с веревочными бунтами на плечах. Очевидно, кто-то переезжал или уезжал. Мне было неинтересно — кто.

Но перед вечером мне понадобилось выйти из дома. На Соборной улице я встретился с одним чудаком. Он всегда рекомендовался густым басом, оттопыривая вбок локоть для рукопожатия и напруживая по-бычьи шею: учитель народной средней школы. Фамилии его я не знал. Он был, в сущности, неплохой малый, хотя и пил вежеталь большими флаконами — каждый в одно дыхание.

Он подошел ко мне.

— Знаете, что случилось? Все советские выезжают нынче ночью спешно в Петроград.

— Почему?

— Кто их знает? Паника. Пойдемте посмотрим.

На проспекте Павла I, на Михайловской и Бомбардирской улицах густо стояли груженые возы. Чего на них не было: кровати, перины, диваны, кресла, комоды, клетка с попугаем, граммофоны, цветочные горшки, детские коляски. А из домов выносили все новые и новые предметы домашнего обихода.

— Бегут! — сказал учитель.— Кстати, нет ли у вас одеколонцу Ралле, вспрыснуть счастливый отъезд?

— К сожалению, нету. Но как вы думаете, сколько же в Гатчине проживало большевиков? Смотрите — целый скифский обоз.

Учитель подумал.

— По моему статистическому расчету, включая челядь, жен, наложниц и детей, а также местных добровольцев и осведомителей,— не менее четырехсот.

Колеса сцеплялись, слышалось щелканье кнута, женские крики, лай собак, ругань, детский плач. Пахло сеном, дегтем и лошадиной мочой. Темнело. Я ушел.

Но еще долго ночью, лежа в постели, я слышал, как по избитому шоссе тарахтели далекие телеги.

Смерть и радость

На другой день, в прекрасное золотое с лазурью холодное и ароматное утро Гатчина проснулась тревожная, боязливая и любопытная. Пошли из дома в дом слухи... Говорили, что вчера была в ударном порядке сплавлена в Петербург только лишняя мелочь. Ответственные остались на местах. Совдеп и ЧК защищены пулеметами, а вход в них для публики закрыт. Однако советские автомобили всегда держатся наготове.

Говорили, что из Петербурга пришел приказ: в случае окончательного отступления из Гатчины взорвать в ней бомбами дворец, собор, оба вокзала и все казенные здания.

Уверяли, что в Гатчину спешит из Петербурга красная тяжелая артиллерия (и эта весть оказалась верной). Но болтали и много глупостей. Выдумали шведов и англичан, уже разрушивших Кронштадт и теперь делающих высадку на Петербургской стороне. И так далее.

Пушечные выстрелы доносились теперь с юга, откуда-то из Преображенской или даже с Сиверской. Они стали так ясны, четки и выпуклы, что казалось, будто стреляют в десяти, в пяти верстах.

За последние четыре года я как-то случайно сошелся, а потом и подружился с одним из постоянных гатчинских отшельников. Это был когда-то властный и суровый редактор очень влиятельного большого журнала. Теперь он проживал стариком на покое в гатчин-

ской тишине и зелени, заметно присмирел и потеплел, да, в сущности, и в свою боевую пору он только носил постоянную маску строгости, а на самом деле был добрейшим человеком, только этого журнальные люди не умели раскусить. Он мне давал читать свои переводы древних писателей и особенно пленил меня Лукианом, Эпиктетом и Марком Аврелием. Он не скучал со мной, а для меня беседы с ним были всегда занимательны и поучительны. Что же? Почему так стыдно человеку признаться в том, что он всегда, даже до глубокой старости, рад пополнять недостаток знания?

Я узнал также, что С., весьма скупой на комплименты и душевные излияния, относился ко мне с большим доверием; узнал, однако, по очень печальному и тяжелому поводу и, конечно, не от него.

Два его сына — Николай и Никита — оба ушли на Великую войну. Первый, как кадровый офицер,— в самом начале войны, второй охотником — в конце 1916 года. Оба погибли: один от тяжелого ранения, другой от тифа через малый промежуток времени.

В одном из первых месяцев 1917 года я получил письмо от человека, которого я не знал лично. Он был товарищем Никиты дважды: по гатчинскому реальному училищу и потом — по артиллерийскому дивизиону. Меня-то он, конечно, знал. В маленьком провинциальном посаде я весь был на юру, вместе со своими собаками, лошадью, медведем, обезьянкой, участием во многих вечерах и концертах и кое-какими приключениями.

Он писал мне о смерти обоих братьев. О том, что лично он не решается известить об этих ужасных событиях престарелого отца, потому что сам видал его пламенную, трепетную, безумную любовь к сыновьям. В конце концов он трогательно просил меня взять это очень сложное дело на мое разрешение, совесть и умение. Старик отец, по его словам, не раз писал Никите обо мне в тоне добром и доверчивом. Я решил промолчать. И в самом деле, что было бы лучше: убить милого, обаятельного старика жестокой правдой или оставить его в решительном чаянии и неведении?

И я молчал почти два года.

Это было нелегко. С. иногда глядел на меня такими проницательными, спрашивающими глазами, будто догадывался, что я о чем-то важном осведомлен, но не хочу, не могу сказать.

Особенно тяжело было скрывать эту тайну в те последние дни, о которых я сейчас пишу.

Каждый день перед полуднем старик заходил за мною. Мы шли на железнодорожный варшавский путь и долго простаивали там, прислушиваясь к пушечной, все крепнувшей пальбе, глядя туда, на юг, вслед убегающим, суживающимся, блестящим рельсам. Порою он говорил мечтательно:

— Дорогой друг мой. Завтра-послезавтра придут англичане (оказывается, и он верил в англичан) и принесут нам свободу. А с ними придут мои Коля и Никитушка. Загорелые, басистые, в поношенных боевых мундирах, с сияющими глазами. Они принесут нам белого хлеба. И английского сала, и шоколаду. И немного виски для вас. Я буду так рад представить вам молодых героев.

И опять мы всматривались в убегающую даль, точно принюхиваясь за десятки верст к запаху порохового дыма.

Не дождался бедный, славный С.— ни своих милых сыновей, ни даже прихода Северо-западной армии. Он умер за два дня до взятия Гатчины. А письмо Никитиного товарища так и осталось лежать у меня в американском шкафчике. Тот, кто живет теперь в моем доме, если и нашел его, то, наверное, бросил в печку. А если и отнес его на рассмотрение тому, кому это надлежит,— я спокоен. Никого в живых из семьи С. (мир праху его) не осталось.

И еще одна смерть.

Рядом с нами, еще в дореволюционное время, город построил хороший двухэтажный дом для призрения старух. Большевики, завладев властью, старушек выкинули в один счет на улицу, а дом напихали малолетними пролетарскими детьми. Заведовать же их

бытием назначили необыкновенную девицу. Она была уже не молода, со следами бывшей роковой красоты, иссохшая в дьявольском огне неудовлетворенных страстей и неудач, с кирпично-красными пятнами на скулах и с черными глазами, всегда горевшими пламенем лютой злобы, зависти и властолюбия. Я не мог выдерживать ее пристального ненавистнического взгляда.

Как она смотрела за детьми, видно из того, что однажды вся ее детвора объелась какой-то ядовитой гадостью. Большинство захворало, одиннадцать детей умерло. Трупы было приказано доставить ночью в мертвецкую при госпитале, залить известью и вынести за город.

Об этом рассказывал Федор, служивший раньше у меня дворником,— философ, пьяница, безбожник, кривой на один глаз и мастер на все руки. Особенно влекло его к профессиям отчаянным. Он работал на собачьей свалке, ловя и убивая бродячих собак, служил в ассенизационном обозе, а потом поступил сторожем в мертвецкую; в промежутках же брался за всякую работу. Он-то и рассказывал мне о том, как приходили к нему ночью матери отравленных детишек и как он, Федор, выдавал опознавшим трупы этих детей, беря по сто рублей за голову. Цена небольшая, но денатурат был сравнительно недорог.

Как-то раз к нам во двор забежала девочка из этого приюта лет двенадцати, но вовсе карлица, в старушечьем белом платочке и с лицом печальной больной старушки. Она рылась в помойке.

Нам удалось побороть ее одичалость, кое-как помыть ей руки и рожицу и покормить тем, что было дома. Звали ее Зина. У нас она немножко облюдиела. Пришла еще раз и еще, а потом даже привела с собою шершавого веснушчатого мальчугана, осиплого и дикого, как волчонок.

Но однажды, едва она вошла в калитку, как за нею следом бешеной фурией ворвалась надзирательница. Ее страшные глаза «метали молнии». Она схватила девочку-старушку за руку и поволокла ее с той деспотической небрежностью, с какой злые дети таскают своих несчастных изуродованных кукол. И она при этом кричала на нас в таком яростном темпе, что мы не могли бы, если бы даже и хотели, вставить ни одного слова:

— Буржуи! Кровопийцы! Сволочь! Заманивают малолетних с гнусными целями! Когда вас перестреляют, паршивых сукиных детей!

И все в том же мажорном тоне.

Потом прошло с полмесяца. Как-то утром я стоял у забора. Вижу, надзирательница толкает по мостовой большую тачку, а на ней небольшой гробик, наскоро сколоченный из шелевок. Я понял, что тащила она детский трупик на кладбище, чтобы свалить в общую яму без молитвы и церковного напутствия. Но как раз перед моими воротами колесо тачки неудобно наскочило на камень. От толчка живые швы гроба разошлись, и из него выглянуло наружу белое платьице и тоненькая желтая ручка. Надзирательница беспомощно оглядывалась по сторонам. Я крикнул ей:

— Погодите, сейчас помогу.

Захватил в доме гвоздей, молоток и кое-как, неумело, криво, но прочно заколотил гроб. Вбивая последний гвоздь, спросил:

— Это не Зина?

Она ответила, точно злая сучка брехнула:

— Нет, другая стерва. Та давно подохла.

— А эту как звать?

— А черт ее знает!

И влегла в тачку всем своим испепеленным телом.

Я только подумал про себя: «Упокой, Господи, душу неизвестного младенца. Имя его Ты Сам знаешь».

Другой женщине я бы непременно помог довезти гроб, хотя бы до шоссе...

Много было еще невеселого. Ведь каждый день нес с собою гадости. Но теперь во мне произошел какой-то легкий и бодрый поворот.

Пушки бухали все ближе, а с их приближением сникала с души вялая, расслабляющая тоска, бессильное негодование, вечный зелено-желтый противный рабий страх. Точно вот кто-то сказал мне: «Довольно. Все эти три года были дурным сном, жестоким испытанием, фантазией сумасшедшего. Возвращайся же к настоящей жизни. Она так же прекрасна, как и раньше, когда ты распевал ей благодарную хвалу».

Сидел я часто на чердаке на корточках, счищал сухую грязь с картофелин и размышлял: если учесть налипшую землю, да еще то, что клубни подсохнут, то тридцати шести пудов не выйдет. А все-таки по три фунта в день наберется, по фунту на персону. Это громадный запас. Только уговор: умеренно делать широкие жесты.

И в то же время я пел диким радостным голосом чью-то нелепую песенку на собственный идиотский напев:

Тра-ля-ля, как радостно,
На свете жить так сладостно,
И солнышко блестит живей,
Живей и веселей...

Яша

Когда вошел славный Талабский полк в Гатчину — я точно не помню; знаю только, что в ночь на 15-е, 16-е или 17-е октября. Я еще подумал тогда, что дни второй половины октября часто были роковыми для России.

Накануне этого дня пушечные выстрелы с юга замолкли.

Город был в напряженном, тревожном, но бодром настроении. Все ждали чего-то необычайного и бросили всякие занятия.

Перед вечером, еще не смеркалось, я наклал в большую корзину корнеплодов, спустив их пышную ботву снаружи; вышел внушительный букет, который предназначался в презент моему старому приятелю-еврею за то, что тот изредка покупал мне в Петербурге спирт.

Да, надо сознаться, все мы пили в ту пору контрабандой, хотя запретное винокурение и грозило страшными карами, до расстрела включительно. Да и кто бы решился укорить нас?

Великий поэт и мудрец Соломон недаром приводит в своих притчах наставление царю Лемуилу, преподанное ему его матерью:

«Не царям, Лемуил, не царям пить вино и не князьям сикеру».

«Дайте сикеру погибающему и вино — огорченному душою».

«Пусть он выпьет и забудет бедность свою, а не вспомнит больше о своем страдании».

Когда я пришел к нему на Николаевскую, все домашние сидели за чайным столом. Хозяина уже третий день не было дома, он завертелся по делам в Питере. Но его стул на привычном патриаршем месте, по милому старинному обычаю, оставался во все время его отсутствия незанятым: на него никому не позволяли садиться. (Впрочем, и в крепких старинных русских семьях кое-где хранится этот хороший завет.)

Был там какой-то дальний родственник, приехавший две недели назад из глухой провинции,— седой, худой, панический человек. Он все хватался за голову, утомляя всех своими жалобами и страхами, ныл, как зубная боль, распространяя вокруг себя кислоту и уныние.

Был еще немного знакомый мне мальчик, Яша Файнштейн. Он носил мне тетрадки своих стихов на просмотр и оценку. Муза его была жалка, совсем безграмотна, беспомощна, ровно ничего не обещала в будущем, питалась гражданскими мотивами. Но в самом мальчике были внутренняя деликатность и какая-то сердечная порывистость.

Он блуждал по комнате, низко склонив голову и глубоко засунув руки в брючные карманы. Разговор, по-видимому, иссяк еще до меня и теперь не клеился.

Через полчаса притащился очень усталый хозяин... Увидав мою свадебную корзину, он слегка улыбнулся, кивнул мне головою и сказал:

— Только двести (он говорил о количестве граммов). Вам следует сдача.

Потом он стал говорить о Петербурге.

Там беспокойно и жутко. По улицам ходят усиленные патрули красноармейцев, носятся сломя головы советские автомобили. Обыски и аресты увеличились вдвое. Говорят шепотом о близости белых частей... Поезд, на котором он возвращался домой, доехал только до Ижоры. Станционное начальство велело всем пассажирам очистить его. Из Петербурга пришла телеграмма о совершенном прекращении железнодорожного движения и о возвращении этого поезда назад — в Петербург.

Пассажиры прошли в Гатчину пешком узкими малоизвестными дорогами. С ними шел мой добрый партнер в преферансе и тезка — А. И. Лопатин, но по своему всегдашнему духу противоречия шел, не держась кучки, какими-то своими тропинками. Вдруг идущие услыхали его отчаянный пронзительный вопль на довольно далеком расстоянии. Потом в другой раз, в третий. Кое-кто побежал на голос. Но Лопатина не могли сыскать. Да и невозможно было: путь преграждала густая вонючая трясина. Очевидно, бедный Лопатин попал в нее и его засосало.

Что-то еще незначительное вспомнил хозяин из новых столичных впечатлений, и вдруг... молчавший доселе Яша взвился на дыбы, точно его ткнули шилом.

— Стыдно! Позор! Позор! — закричал он визгливо и взмахнул вверх руками, точно собирался лететь.— Вы! Еврей! Вы радуетесь приходу белых! Разве вам изменила память? Разве вы забыли погромы, забыли ваших замученных отцов и братьев, ваших изнасилованных сестер, жен и дочерей, поруганные могилы предков?

И пошел, и пошел кричать, потрясая кулаками. В нем было что-то эпилептическое. С трудом его удалось успокоить. Это с особенным тактом сделала толстая, сердечная, добродушная хозяйка.

Вышли мы вместе с Яшей. Он провожал меня. На полпути он завел опять коммунистический валик. Я не возражал.

— Все вы скучаете по царю, по кнуту, по рабству. И даже вы — свободный писатель. Нет, если придет белая сволочь, я влезу на пожарную колонну и буду бичевать оттуда опричников и золотопогонников словами Иеремии. Я не раб, я честный коммунист, я горжусь этим званием.

— Убьют, Яша.

— Пустяки. В наши великие дни только негодяи боятся смерти.

— Вспомните о своих братьях-евреях. Вы накличете на них грозу.

— Плевать. Нет ни еврейского, ни русского народа. Вредный вздор — народ. Есть человечество, есть мировое братство, объединенное прекрасным коммунистическим равноправием. И больше ничего! Я пойду на базар, заберусь на крышу, на самый высокий воз, и с него я скажу потрясающие гневные слова!

— До свидания, Яша. Мне налево,— сказал я.

— До свидания,— ответил он мягко.— Простите, что я так разволновался.

Мы расстались. Больше я его никогда не видел. Судьба подслушала его.

Я спал мало в эту ночь, но увидел прекрасный незабвенный сон. На газетном листе я летал над Ялтой. Я управлял им совсем так, как управляют аэропланом. Я подлетал к вер-

шине Ай-Петри. Подо мной лежал Крым, как выпуклая географическая карта. Но, огибая Ай-Петри, я коснулся об утес краем моего аппарата и ринулся вместе с ним вниз.

Проснулся. Сердце стучало, за окном серо синел рассвет.

Тяжелая артиллерия

Встал я, по обыкновению, часов около семи на рассвете, обещавшем погожий солнечный день, и, пока домашние спали, потихоньку налаживал самовар. Этому мирному искусству — не в похвалу будь сказано — я обучился всего год назад, однако скоро постиг, что в нем есть своя тихая, уютная прелесть.

И вот, только что разгорелась у меня в самоваре лучина и я уже готовился наставить коленчатую трубу, как над домом ахнул круглый, плотный пушечный выстрел, от которого задребезжали стекла в окнах и загрохотала по полу уроненная мною труба. Это было посерьезнее недавней отдаленной канонады.

Я снова наладил трубу, но едва лишь занялись и покраснели угли, как грянул второй выстрел. Так и продолжалась пальба весь день до вечера, с промежутками минут от пяти до пятнадцати.

Конечно, после первого же выстрела весь дом проснулся. Но не было страха, ни тревоги, ни суеты. Стоял чудесный ясный день, такой теплый, что если бы не томный запах осыпающейся листвы, то можно было бы вообразить, что сейчас на дворе конец мая.

Ах, как передать это сладостное ощущение опьяняющей надежды, этот радостный молодой озноб, этот волнующий позыв к движению, эту глубину дыхания, это внутреннее нетерпение рук и ног.

Мы скоро узнали, что стреляет из Гатчины тяжелая артиллерия красных (слухи не соврали, ее все-таки привезли из Петербурга). Говорили, что установлены были частью около обелиска, воздвигнутого Павлом I и названного им «коннетаблем», частью на прежнем авиационном поле. Они бухали без передышки. Но белые молчали.

Кажется, достаточно было поводов для домашней тревоги. Но диковинная вещь — уверенность или вера, или жажда веры! Это чувство идет не от уст к устам, не по линии, даже не по плоскости. Оно передается в трех измерениях, а почем знать, может быть, и в четырех. Мне никогда не забыть этих часов беспечного доверия к жизни и ощущения на себе спокойной благосклонности синего неба.

Или мы все уже так отчаянно загрязняли в поганом погребе, где нет света и ползают мокрицы, что обрадовались допьяна тоненькому золотому лучику, просочившемуся сквозь муравьиную скважину?

Я не знал, куда девать времени, так нестерпимо медленно тянувшегося. Я придумал сам для себя, что очень теперь необходимо вырыть из грядок оставшуюся морковь. Это было весело. Корни разрослись и крепко сидели в сухой земле. Уцепишься пальцами за головку и тянешь: нет сил. А как бахнет близкий пушечный выстрел и звякнут стекла, то поневоле крякнешь и мигом вытащишь из гряды крупную толстую красную морковину. Точно под музыку.

Не сиделось десятилетней дочери. Она, зараженная невольно общим сжатым волнением и возбужденная красивыми звуками пушек, с упоением помогала мне, бегая с игрушечным ведром из огорода на чердак и обратно. Время от времени она попадала в руки матери, и та, поймав ее за платье, тащила в дом, где уже успела забаррикадировать окно тюфяками, коврами и подушками. Но девочка при первой возможности улизывала опять ко мне. И так они играли до самого вечера.

Куда била Красная Армия, я не мог сообразить: я не слышал ни полета снарядов, ни их

разрывов. Только на другой день мне сказали, что она обстреливала не варшавскую, а балтийскую дорогу. Вкось от меня.

Белые молчали, потому что не хотели обнаружить себя. Их разведка выяснила, что путь на Гатчину заслонен слабо. И надо еще сказать, что Северо-западная армия предпочла опасные ночные операции дневным. Она выжидала сумерек.

И вот незаметно погустел воздух, потемнело небо. На западе протянулась узенькая семговая полоска зари. Глаз перестал различать цвет моркови от цвета земли. Усталые пушки замолкли. Наступила грустная, тревожная тишина.

Мы сидели в столовой при свете стеаринового огарка — спать было еще рано — и рассматривали от нечего делать рисунки в словаре Брокгауза и Ефрона.

Дочка первая увидала в черном окне зарево пожара. Мы раздвинули занавески и угадали без ошибки, что горит здешний совдеп — большое, старое, прекрасное здание с колоннами, над которым много лет раньше развевался штандарт и где жили из года в год потомственно командиры синих кирасир. Дом горел очень ярко. Огненно-золотыми тающими хлопьями летали вокруг горящие бумажки.

Мы поняли, что комиссары и коммунисты и все красные покинули Гатчину.

Девочка расплакалась: не выдержали нервы, взбудораженные необычайным днем и никогда не виданным жутким зрелищем ночного пожара. Она все уверяла нас, что сгорит весь дом, и вся Гатчина, и мы с нею. Насилу ее уложили спать, и долго еще она во сне горько всхлипывала, точно жаловалась невидимому для нас кому-то, очень взрослому.

«Дома ль маменька твоя»

Я курил махорку и перелистывал в «Брокгаузе» прекрасные политипажи: костюмы ушедших сто- и тысячелетий. Жена чинила домашнее тряпье. Мы оба — я знал — молча предчувствовали, что вот-вот в нашей жизни близится крупный перелом.

Души были ясны и покорны. Мы никогда в эти тяжелые годы и мертвые дни не пытались обогнать или пересилить судьбу.

Доходили до нас слухи о возможности бежать из России различными путями. Были и счастливые примеры, и соблазны. Хватило бы и денег. Но сам не понимаю, что: обостренная ли любовь и жалость к родине, наша ли общая ненависть к массовой толкотне и страх перед нею, или усталость, или темная вера в фатум сделали нас послушными течению случайностей, но мы решили не делать попыток к бегству.

Иногда, правда, шутя, мы с маленькой путешествовали указательным пальцем по географической карте.

Евсевня еще помнила, смутно, бирюзовое побережье Ниццы и, гораздо отчетливее, вкусные меренги из кондитерской Фозера в Гельсингфорсе. Я же рассказывал ей о Дании по Андерсену, об Англии по Диккенсу, о Франции по Дюма-отцу.

В пылком воображении мы посетили все эти страны неоднократно. Судьбе было угодно показать нам их в яви, почти не требуя от нас никаких усилий для этого. Утверждаю, если человек бесцельно, беззлобно и беззаботно мечтает о невинных пустяках, то они непременно сбудутся, хотя бы и в очень уменьшенных размерах...

Кроме того, мы, голодные, босые, голые, сердечно жалели эмигрантов. «Безумцы,— думали мы,— на кой прах нужны вы в теперешнее время за границей, не имея ни малейшей духовной опоры в своей родине? Куда вас, дурачков, занесли страх и мнительность?»

И никогда им не завидовали. Представляли их себе вроде гордых нищих, запоздало плачущих по ночам о далеком, милом, невозвратном отчем доме и грызущих пальцы.

Вдруг по низкой крыше нашего одноэтажного домика прокатился и запрыгал железный горох... Застрекотал вдали пулемет. Ясно было: стреляют в самой Гатчине или на ближних окраинах. Мы переглянулись. Одно и то же воспоминание мелькнуло у нас.

В мае 1914 года в Гатчине, на Варшавском пути, чья-то злая рука подожгла огромный поезд, груженный артиллерийскими снарядами. Всего взорвалось последовательно тринадцать вагонов. Но так как снаряды рвались не сразу вагонами, а часто-часто, один за другим, то эта музыка продолжалась с трех часов утра до семи. До нас долетали шрапнельная начинка и развороченные шрапнелью стаканы уже на излете. Опасности от них большой не было. Нужно было только не высовываться из дома.

На наших глазах один стакан (а в нем фунтов восемь-десять) пробил насквозь железный тамбур над сенями, другой сшиб трубу с прачечной, третий снес с замечательной ловкостью верхушку старой березы. Шрапнельная дробь все время, как град, стучала по крыше. Мы потом насобирали полное лукошко этих веских свинцовых шариков, величиною с вишню.

Наш дом тогда очень мало пострадал. Гораздо больше досталось художнику М., дом которого стоял у самого пути, шагах в пятидесяти от рельсов. Снаряды пробивали насквозь марсельскую черепицу и падали на чердак. Художник потом насчитал восемьдесят пробоин. Человеческая жертва была одна: убило стаканом какую-то старушку на Люцевской улице.

Но у нас была забота посерьезнее материального ущерба. В то время в нашем доме помещался маленький лазарет, всего на десять раненых солдат. Он всегда бывал полон, хотя, конечно, состав его менялся. На этот раз десятка была, как на подбор, самая душевная, удалая и милая. Все наши заботы о них солдаты принимали с покровительственным добродушием старших братьев. Тон установился серьезный и деловой, в отношениях — суровая и тонкая деликатность. Только в минуты прощания, перед возвращением на фронт, в грубой простоте раскрывались на минутку тепло и светло человеческие сердца. Да еще в легких мелочах сказывалась скрытая, не болтливая дружба. Но я, кажется, уклоняюсь в сторону.

Пусть расскажет когда-нибудь Н. Н. Кедров о том, как чутко слушали у нас солдаты его чудесный квартет, как широко и свободно благодарили, как глубоко и умно понимали красоту русской песни, восстановленной в строжайших формах, очищенной, как от ржавчины, от небрежности и плохого вкуса. Настоящими добрыми хозяевами тогда показывали себя солдаты... А как они слушали Гоголя!

Но в тот день с ними сладу не было. Они рвались вон из лазарета в халатах, в туфлях, без шапок — как были.

— Сестра! Сестрица! Да пустите же нас. Ведь надо расцепить поезд. Ведь страшного ничего. Пустое дело.

И не будь крепких невидимых вожжей в руках маленькой женщины, конечно, все десятеро удрали бы на вокзал расцеплять поездной состав. Кстати, он и был потом расцеплен. Это сделал тринадцатилетний мальчуган — сын стрелочника. Он спас от взрыва девять двойных платформ, нагруженных снарядами для тяжелых орудий.

Я ведь почему об этом говорю. Я допускаю, что все эти дорогие моему сердцу чудесные солдаты: Николенко, Балан, Дисненко, Тузов, Субуханкулов, Курицын, Буров и другие — могли быть потом вовлечены мутным потоком грязи и крови в нелепую «борьбу пролетариата». Но русскому человеку вовсе немудрено прожить годы разбойником, а после внезапно раздать награбленное нищим и, поступив в монастырь, принять схиму.

Прострочил пулемет и затих. Тотчас же где-то в ином месте, неподалеку заработал другой. Остановился. Коротко, точно заканчивая перебранку, плюнул в последний раз дробью и тоже замолк.

И долго стояла такая тишина, что только в ушах звенело да потрескивал слабо фитиль свечки. И вот где-то далеко, далеко раздалась и полилась солдатская песня. Я знал ее с моих кадетских времен. Не слышал ее года уже три; но теперь сразу признал. И как будто улавливая слова, сам запел потихоньку вместе с нею:

Из-под горки, да из-под крутой
Ехал майор молодой.
Держал Сашу под полой,
Не под левой, под правой.
Держал Сашу под полой,
С Машей здравствовался.
Здравствуй, Маша. Здравствуй, Даша.
Здравствуй, милая Наташа.
Здравствуй, милая моя,
Дома ль маменька твоя.
Дома нету никого,
Полезай, майор, в окно.
Майор ручку протянул...

Жена, пробывшая всю японскую войну под огнем и знавшая солдатские песни, засмеялась (после какого длинного промежутка!).

— Ну уж это, конечно, поют не красные. Иди-ка спать. Завтра все узнаем.

Я лег и, должно быть, уже стал задремывать... как вдруг вся земля подпрыгнула и железным голосом крикнула на весь мир:

Донн!

Но не было страшно. Мгновенно и радостно я утонул в глубоком, впервые без видений, сне.

Шведы

Повторяю: точных чисел я не помню. Не так давно мы с генералом П. Н. Красновым вспоминали эту быль, отошедшую от нас в глубину семи лет, и наши даты значительно разошлись. Но сама-то быль сначала была похожа на прекрасную сказку.

Кто из русских не помнит того волшебного, волнующего чувства, которое испытываешь, увидев утром в окне первый снег, нападавший за ночь!.. Описать это впечатление в прозе невозможно. А в стихах это сделал с несравненной простотою и красотой Пушкин.

Вот такое же чувство простора, чистоты, свежести и радости я испытывал, когда мы вышли утром на улицу. Был обыкновенный солнечный, прохладный осенний день. Но душа играла и видела по-своему.

Из дома напротив появилась наша соседка, г-жа Д., пожилая и очень мнительная женщина. Поздоровались, обменялись вчерашними впечатлениями. Г-жа Д. все побаивалась, спрашивала, можно ли, по нашему мнению, пройти в город, к центру.

Мы ее успокаивали. Как вдруг среди нас как-то внезапно оказалась толстая, незнакомая, говорливая баба. Откуда она взялась, я не мог себе представить.

— Идите, идите,— затараторила она, оживленно размахивая руками.— Ничего не бойтесь. Пришли, поскидали большевиков и никого не трогают!

— Кто пришли-то, милая? — спросил я.

— А шведы пришли, батюшка, шведы. И все так чинно, мирно, благородно, по-хорошему. Шведы, батюшка.

— Откуда же вы узнали, что шведы?

— А как же не узнать? В кожаных куртках все... железные шапки... Большевицкие объявления со стен сдирают. И так-то ругаются, так-то ругаются на большевиков!

— По-шведски ругаются?

— Какое по-шведски! Прямо по-русски, по-матерну, да так, что на ногах не устоишь. Так-то, да разэтак, да этак-то...

И посыпала, как горохом, самым крутым и крупным сквернословием, каким раньше отличались волжские грузчики и черноморские боцманы и какое ныне так легко встретить в советской литературе. Уж очень в задор вошла умиленная баба. Мы трое стояли, не смея поднять глаз друг на друга.

— Говорю вам — шведы!

Отвязались от нее. Пошли дальше. На правом углу Елизаветинской и Баговутовской, около низенького зеленого, точно игрушечного, пулемета, широко расставив ноги, в кожаной куртке и с французским шлемом на голове торчал чистокровный швед Псковской губернии. Был он большой, свежий, плотный, уверенный в себе, грудастый. Его широко расставленные зоркие глаза искрились умом и лукавой улыбкой.

Увидав меня через улицу (на мне было защитного цвета короткое пальто и мохнатая каскетка), он весело мотнул мне головой и крикнул:

— Папаша! Вам бы записаться в армию.

— Затем и иду,— ответил я.— Это где делается?

— А вона. Где каланча. Да поглядите, сзади вас афишка.

Я обернулся. На стене было приклеено белое печатное объявление. Я прочитал, что жителям рекомендуется сдать имеющееся оружие коменданту города в помещении полиции. Бывшим офицерам предлагается явиться туда же для регистрации.

— Ладно,— сказал я. И не утерпел, чтобы не поточить язык:

— А вы сами-то — псковские будете?

— Мы-то? Псковские.

— Скобари, значит?

— Это самое. Так нас иногда дражият.

* * *

Все просторное крыльцо полицейского дома и значительная часть площади были залиты сплошной толпою. Стало немного досадно: не избежать долгого ожидания очереди, а терпения в этот день совсем не было у меня в запасе.

Но я не ждал и трех минут. В дверях показался расторопный небольшого роста юноша, ловко обтянутый военно-походной формой и ремнями светлой кожи.

— Нет ли здесь г. Куприна? — крикнул он громко.

— Я!

— Будьте добры, пожалуйте за мною.

Он помог мне пробраться через толпу и повел меня какими-то нижними лестницами и коридорами. Меня удивляло и, по правде сказать, немного беспокоило: зачем я мог понадобиться. Совесть моя была совершенно чиста, но в таких случаях невольно делаешь разные, возможные предположения. Я же, как ни старался, не мог придумать ни одного.

Он привел меня в просторную, полуподвальную комнату. Там сидел за письменным столом веснушчатый молодой хорунжий: что он казак, я угадал по взбитому над левым ухом лихому чубу (казаки называют его «шевелюр», ибо на езде он задорно шевелится). Ходил взад и вперед инженерный офицер в светло-сером пальто. И еще я увидел стоящего в углу моего хорошего знакомого Иллариона Павловича Кабина, в коричневом

френче и желтых шнурованных высоких сапогах, очень бледного, с тревожным, унылым лицом.

Офицер сказал ему:

— Я попрошу вас удалиться в другую комнату и там подождать.

Потом он подошел ко мне. Он был вовсе маленького роста, но полненький и щеголеватый, в своей прежней довоенной саперной форме, весь туго подтянутый, с светло-стальными глазами в очках. Он назвал мне свою фамилию и сказал следующее:

— Я извиняюсь, что вызвал вас по тяжелому и неприятному обстоятельству. Но что делать? На войне, в особенности гражданской, офицеру не приходится выбирать должностей и обязанностей, а делать то, что прикажут. Я должен вас спросить относительно этого человека. Я заранее уверен, что вы скажете мне только истину. Предупреждаю вас, что каждому вашему показанию я дам безусловную веру. В каких отношениях этот человек, г. Кабин, находился или находится к советскому правительству. Дело в том, что я сейчас держу в руках его жизнь и смерть... Здесь контрразведка.

О, как мне сразу стало легко. Я действительно мог сказать и сказал о Кабине только хорошее.

Да, он был комиссаром по охране Гатчинского дворца и его чудесного музея. Но такими же комиссарами назывались и пришедшие потом на его место граф Зубов и г. Половцев, чьи имена и убеждения выше всяких сомнений. Впоследствии он был комиссаром по собиранию и охранению полковых музеев и очень многое спас от расхищения. Кроме же этого он всего неделю назад показал себя и порядочным человеком, и хорошим патриотом. В его руки, путем взаимного доверия, попали портфели великого князя с интимной, домашней перепиской. Боясь обыска, он пришел ко мне за советом: как поступить ему. Так как меня тоже обыскивали не раз, а мешать сюда еще кого-либо третьего мне казалось безрассудным, то я предложил эту корреспонденцию сжечь. Так мы и сделали. Под разными предлогами услали его жену, двух стариков и четырех детей из дома и растопили печку. Ключа не было, пришлось взломать все двадцать четыре прекрасных сафьяновых портфеля и сжечь не только всю переписку, но и тщательно вырезать из углов золототисненные инициалы и короны и бросить их в печку. Согласитесь — поступок не похож на большевистский.

— Очень благодарю вас за показание,— сказал поручик Б. и потряс мне руку.— Всегда отрадно убедиться в невинности человека (он вообще был немного аффектирован). «Г. Кабин! Вы свободны,— сказал он, распахивая дверь.— Позвольте пожать вашу руку».

Прощаясь с ним, я не удержался от вопроса:

— Кто вам донес на Кабина?

Б. поднял руки к небу.

— Ах, Боже мой! Еще с пяти часов утра нас стали заваливать анонимными доносами. Видите, на столе какая куча. Ужасно.

В коридоре Кабин кинулся мне на шею и обмочил мою щеку.

— Я не ошибся, сославшись на вас. Вы — ангел,— бормотал он.— Ах, как хотел бы я в серьезную минуту отдать за вас жизнь.

Тогда ни он, ни я не предвидели, что такая минута настанет и что она совсем недалека.

Широкие души

Когда я выбрался боковым выходом из полицейского подземелья на свет божий, то был приятно удивлен. В соборе радостно звонили уже год молчавшие колокола (церковный благовест был воспрещен советской властью). Кроткие обыватели подметали тротуары

или, сидя иа карачках, выщипывалн полуувядшую травку, давио выросшую между камиямн мостовой (просиулось живучее, иичем не истребнмое чувство собствеииостн). Над миогими домамн развевался иациональный флаг — белый-спиий-красный.

— Что за чудо,— подумал я.— Большевнки решительио требовали от иас, чтобы мы в дии нх торжеств, празднннков н демоистраций иепремеио украшали жилища снаружн кусками красной материи. Нахождеине прн обыске иациоиальиого флага иесомненно грозило чекнстскнм подвалом н почти иавериое — расстрелом. Какая же сила, какая вера, какое благородиое мужество и какое великое чаяиие заставляли жителей храиить и беречь эти родиые цвета?

Да, это было трогательно. Но когда я тут же вспомнил о видеиной миою только что горé аиоиимых доносов, которые обывателн пнсалн иа своих соседей, то должен был призиаться самому себе, что я ннчего ие поиимаю. Или это та широкая душа, которую хотел бы сузить велнкнй писатель?

И сейчас же, едва завернув за угол полицейского дома, я наткиулся иа другой пример великодушия.

Шлн четверо местиых учителей. Увидя меня, они остаиовились, лица их сиялн. Они крепко пожнмали мою руку. Одии хотел даже облобызаться, ио я вовремя закашлялся, закрыв лнцо рукою.

— Какой великий день! — говорилн онн.— Какой светлый праздиик!

Одии из иих воскликнул:

— Христос воскресе!

А другой даже пропел фальшиво первую строчку пасхального тропаря. Меня покоробило в ннх что-то иадуманное, точио оии «представлялн».

А учитель Очкин слегка отвел меия в сторону н заговорил вполголоса, многозиачительно:

— Вот теперь я вам скажу очеиь важную вещь. Ведь вы и ие подозревалн, а между тем в списке, составлеином большевиками, ваше имя было одио из первых в числе кандидатов в заложники и для показательного расстрела.

Я выпучил глаза:

— И вы давио об этом зналн?

— Да как вам сказать?.. Месяца два.

Я возмутился:

— Как? Два месяца? И вы мие ие сказали ии слова.

Ои замялся и заежился.

— Но ведь согласитесь: ие мог же я! Мие эту бумагу показали под строжайшим секретом.

Я взял его за обшлаг пальто.

— Так иа какой же черт вы мне это сообщаете только теперь? Для чего?

— Ах, я думал, что вам это будет приятно...

* * *

...Ну н отлнчилнсь же вскоре этн педагогн, эти ответствеииые друзья, вторые отцы н защитиики детей!

Одиовремеиио с вступлеиием белой армнн приехали в Гатчину иа огромных грузовых автомобилях благотворительиые американцы. Онн привезлн с собою, исключительио для того, чтобы подкормить изголодавшихся на жмыхах и клюкве детей, зиачительиые запасы печеиья, сгущенного молока, рису, какао, шоколаду, яиц, сахара, чая и белого хлеба.

Это были каиадские америкаицы. Воспомниания о них для меия священны. Оии широко сиабжали иеобходнмыми медицинскнмн средствамн все воениые аптеки н госпнтали. Онн перевозилн раненых и больных. В их обращеиии с русскими были спокойиая веж-

ливость и истинная христианская доброта. Сотни людей благословляли их.

Со своей североамериканской точки зрения они, конечно, не могли поступить более разумно и практично, как избрать местных учителей посредствующим звеном между дающей рукой и детскими ртами. Ведь очень давно и очень хорошо с самой похвальной стороны известен престиж американского учителя в обществе.

Но известно также — по крайней мере нам, — что в России «особенная стать».

Таким густым, обильным потоком полилось жирное какао в учительские животы, такие живописные яичницы-глазуньи заворчали на их учительских сковородах, такой разнообразный набор пищевых пакетов наполнил полки учительских буфетов, комодов, шкафов и кладовок, что добрые канадцы только ахнули. Да надо сказать, что и учительницы, которым доверяли детские столовые, оказались не лучше.

Но эти злые мелочи не отвратили и не оттолкнули умную американскую благотворительность от прекрасного доброго дела.

Они только через головы русской общественности вынесли чисто практическое решение: «Мы теперь должны позаботиться сами, чтобы на наших глазах каждая ложка и каждый кусок попали в детские рты по прямому назначению».

Так и сделали. Я не особенно старался воображать себе, какое мнение о русском обществе увезли с собой домой, в Канаду, славные американцы.

Вот еще нелепая встреча: расставшись с учителями, я подряд встретился с г. К. Это был приличный, довольно значительный чиновник, не знаю, какого ведомства. Я был знаком с ним только шапочно. Всегда он был холодно-вежлив, суховато-обязателен и на гатчинских жителей поглядывал немножко свысока. Он был коллекционером, собирал красное дерево и фарфор. В Гатчине множество находилось этого добра и за дешевые цены. Когда-то здесь жили Орлов, Потемкин и Павел I. Екатерина бывала часто гостьей во дворце, где камни и паркеты создавались по рисункам Растрелли и Кваренги. Там жизнь была когда-то богатая и красивая.

Г-н К. поздоровался со мной необычайно оживленно.

— Поздравляю, поздравляю! — сказал он. — А кстати. Ходили уже смотреть на повешенных?

— Я о них ничего не слыхал.

— Если хотите, пойдемте вместе. Вот тут недалеко, на проспекте. Я уж два раза ходил, но с вами за компанию посмотрю еще.

Конечно, я не пошел. Я могу подолгу смотреть на мудрую таинственную улыбку покойников, но вид насильственно умерших мне отвратителен.

Г-н К. рассказал мне подробно, что были утром повешены: гатчинский портной Хиндов и какой-то оставшийся дезертир из красных. Они взломали магазин часовщика, еврея Волка, и ограбили его. Хиндов взял только швейную машину. Красноармеец захватил с собой несколько дешевых часов. Волк в это время был с семьей в городе. Грабителей схватила публика и отдала в руки солдат. Обоих повесили рядом на одной березе и прибили белый листок с надписью: «За грабеж населения».

Было еще двое убитых. Один не известный никому человек, должно быть, яростный коммунист. Он взобрался на дерево и стал оттуда стрелять в каждого солдата, который показывался в поле его зрения. Его окружили. Он выпустил целую ленту из маузера и после этого был застрелен. Запутался в ветках, и труп его повис на них. Так его и оставили висеть.

А другой... да, другой был несчастный Яша Файнштейн. Он выполнил свое обещание: влез на воз с капустой, очень долго и яростно проклинал Бога, всех царей, буржуев и капиталистов, всю контрреволюционную сволочь и ее вождей.

Его многие знали в Гатчине... Некоторые лица пробовали его уговорить, успокоить. Куда! Он был в припадке бешенства. Его схватили солдаты, отвезли в Приоратский парк и

там расстреляли.

У него была мать. Ей слишком поздно сказали о Яшиной перемнаде. Может быть, если бы она поспела вовремя — ей удалось бы спасти сына. Она могла бы рассказать, что Яша год назад сидел в психиатрической лечебнице у доктора Кащенко в Сиворицах.

Ах, Яша! Мне до сих пор его остро жалко. Я не знал ничего о его душевной болезни. Да и первый коммунист — не был ли больным?

Разведчик Суворов

В помещении коменданта была непролазная давка. Не только пробраться к дверям его кабинета, но и повернуться здесь было трудно. Однако, буравя толпу и возвышаясь над ней целой головою — черной, плотной и лохматой,— прокладывал себе путь в ее гуще рослый веселый солдат без шапки и кричал зычным, хриплым голосом, точно средневековый вербовщик (по-своему он был красноречив);

— Записывайтесь, граждане! Записывайтесь, православные! Будет вам корчиться от голода и лизать большевикам пятки. Будет вам прятаться под бабьи юбки и греть ж... на лежанке. Мы не одни, за нами союзники: англичане и французы! Завтра придут танки! Завтра привезут хлеб и сало! Видели, небось, как перед нами бегут красные? Недели не пройдет, как мы возьмем Петербург, вышибем к чертовой матери всю большевистскую сволочь и освободим родную Россию. Слава будет нам, слава будет и вам. А если уткнетесь в тараканьи щели — какая же вам, мужикам, честь? Не мужчины вы будете, а г... Тьфу!

Не бойтесь: вперед на позиции не пошлем — возьмем только охотников, кто помоложе и похрабрее. А у кого кишка потоньше — тому много дела будет охранять город, конвоировать и стеречь пленных, нести унутреннюю службу. Записывайтесь, молодцы! Записывайтесь, красавцы! Торопитесь, граждане!

Очень жалко, что я теперь не могу воспроизвести его лапидарного стиля. Да, впрочем, и бумага не стерпела бы. Его слушали оживленно и жадно. Не был ли это всем известный храбрец и чудак Румянцев, фельдфебель первой роты Талабского полка?

Я решил зайти в комендантскую после обеда, кстати захватив паспорт и оружие. Не успел я раздеться, как к моему дому подъехали двое всадников: офицер и солдат. Я отворил ворота. Всадники спешились. Офицер подходил ко мне, смеясь.

— Не узнаете? — спросил он.

— Простите... что-то знакомое, но...

— Поручик Р-ский.

— Батюшки! Вот волшебное изменение. Войдите, войдите, пожалуйста.

И мудрено было его узнать. Виделись мы с ним в последний раз осенью 17-го года. Он тогда, окончив Михайловское училище, держал экзамен в Артиллерийскую академию и каждый праздник приезжал из Петербурга в Гатчину к своим стареньким родственникам, у которых я часто играл по вечерам в винт: у них и встретились.

У нас было мало общего, да и не могу сказать, чтобы он мне очень нравился. Был и недурен собою, и молод, и вежлив, но как-то чересчур весь застегнут — в одежде и в душе; знал наперед, что скажет и что сделает, не пил, не курил, не играл в карты, не смеялся, не танцевал, но любил сладкое. Даже честолюбия в нем не было заметно: был только холоден, сух, порядочен и бесцветен. Такие люди, может быть, и ценны, но просто у меня не лежит к ним сердце.

Теперь это был совсем другой человек. Во-первых, он потерял в походе пенсне с очень сильными стеклами. Остались два красных рубца на переносице, а поневоле

чуть косившие серые глаза сияли добротой, доверием и какой-то лучистой энергией. Решительно он похорошел. Во-вторых, сапоги его были месяц как не чищены, фуражка скомкана, гимнастерка смята и на ней недоставало нескольких пуговиц. В-третьих, движения его стали свободны и широки. Кроме того, он совсем утратил натянутую сдержанность. Куда девался прежний «тоняга»?

Я предложил ему поесть, чего Бог послал. Он охотно, без заминки согласился и сказал:

— Хорошо было бы папироску, если есть.

— Махорка.

— О, все равно. Курил березовый веник и мох! Махорка — блаженство.

— Тогда пойдемте в столовую. А вашего денщика мы устроим...— сказал я и осекся.

Р-ский нагнулся ко мне и застенчиво вполголоса сказал:

— У нас нет почтенного института денщиков и вестовых. Это мой разведчик Суворов.

Я покраснел. Но огромный рыжий Суворов отозвался добродушно:

— О нас не беспокойтесь. Мы посидим на кухне.

Но все-таки я поручил разведчика Суворова вниманию степенной Матрены Павловны и повел офицера в столовую. Суворову же сказал, что, если нужно сена, оно у меня в сеновале, над флигелем. Немного, но для двух лошадей хватит.

— Вот это ладно,— сказал одобрительно разведчик.— Кони, признаться, вовсе голодные.

Обед у меня был не Бог знает какой пышный: похлебка из столетней сушеной воблы с пшеном, да картофель, жаренный на сезанном масле (я до сих пор не знаю, что это за штука — сезанное масло, знаю только, что оно, как и касторовое, не давало никакого дурного отвкуса или запаха, и даже было предпочтительнее касторового, ибо касторовое — даже в жареном виде — сохраняло свои разрывные качества). Но у Р-ского был чудесный аппетит, и, выпив рюмку круто разбавленного спирта, он с душою воскликнул, разделяя слога:

— Вос-хи-ти-тель-но!

Расцеловать мне его хотелось в эту минуту — такой он стал душечка. Только буря войны своим страшным дыханием так выпрямляет и делает внутренне красивым незаурядного человека. Ничтожных она топчет еще ниже — до грязи.

— А разведчику Суворову послать? — спросил я.

— Он, конечно, может обойтись и без. Однако, не скрою, был бы польщен и обрадован.

За обедом и потом за чаем Р-ский рассказывал нам о последних эпизодах наступления на Гатчину.

Он и другие артиллеристы вошли в ту колонну, которая преодолевала междуозерное пространство. Я уж не помню теперь расположения этих речек: Яны, Березны, Соби и Желчи, этих озер: Самро, Сяберского, Заозерского, Газерского. Я только помнил из красных газет и сказал Р-скому о том, что высший военный совет, под председательством Троцкого, объявил это междуозерное пространство абсолютно непроходимым.

— Мы не только прошли его, но протащили легкую артиллерию. Черт знает, чего это стоило, я даже потерял пенсне.

— Какие солдаты! Я не умею передать,— продолжал он.— Единственный их недостаток — не сочтите за парадокс — это то, что они слишком зарываются вперед, иногда вопреки диспозиции, увлекая невольно за собою офицеров. Какое-то бешеное стремление! Других надо подгонять — этих удержать нельзя. Все они, без исключения, добровольцы или старые боевые солдаты, влившиеся в армию по своей охоте. Возьмите Талабский полк. Он вчера первым вошел в Гатчину. Основной кадр его — это рыбаки с Талабского озера. У них до сих пор и говор свой собственный, все они цокают: поросеноцек, курецька, цицверг. А в боях — тигры. До Гатчины они трое суток дрались без перерыва: когда

спали — неизвестно. А теперь уже идут на Царское Село. Таковы и все полки.

— Смешная история,— продолжал он,— случилась вчера вечером. Талабцы уже заняли окраины Гатчины со стороны Балтийского вокзала, а тут подошел с Сиверской Родзянко со своей личной сотней. Они столкнулись и, не разобравшись в темноте, начали поливать друг друга из пулеметов. Впрочем, скоро опознались. Только один стрелок легко ранен.

— Я ночью слышал какой-то резкий взрыв,— сказал я.

— Это тоже талабцы. Капитан Лавров. На Балтийском вокзале укрылась красная засада. Ее и выставили ручной гранатой. Все сдались.

Р-ский собирался уходить. Мы в передней задержались. Дверь в кухню была открыта. Я увидел и услышал милую сцену.

Матрена Павловна, тихая, славная, деликатная старая женщина, сидела в углу, вытирая платочком глаза. А разведчик Суворов, вытянув длинные ноги так, что они загородили от угла до угла всю кухню, и развалившись локтями на стол, говорил нежным фальцетом:

— Житье, я вижу, ваше — паршиво. Ну, ничего, не пужайтесь боле, Матрена Павловна. Мы вас накормим и упокоим и от всякой нечисти отобьем. Живите с вашим удовольствием, Матрена Павловна, вот и весь сказ.

Р-ский уехал со своим разведчиком. Я провожал его. На прощание он мне сказал, что меня хотели повидать его сотоварищи артиллеристы. Я сказал, что буду им рад во всякое время.

Возвращаясь через кухню, я увидел на столе сверток.

— Не солдат ли забыл, Матрена Павловна?

— Ах, нет. Сам положил. Сказал — это нашему семейству в знак памяти. Я говорю: зачем, нам без надобности. А он говорит: чего уж.

В пакете были белый хлеб и кусок сала.

Хромой черт

День этот был для меня полон сумятицы, встреч, новых знакомств, слухов и новостей. Подробностей мне теперь не вспомнить. Такие бесконечно длинные дни и столь густо напичканные лицами и событиями бывают только в романах Достоевского и в лихорадочных снах.

Идя к коменданту, я увидел на заборах новые объявления: белые узкие листки с четким кратким текстом: «Начальник гарнизона полковник Пермикин предписывает гражданам соблюдать спокойствие и порядок». И больше ничего.

Комендант принял меня, поднявшись мне навстречу с кожаного продранного дивана. Наружность его меня поразила. Он был высок, худощав, голубоглаз и курнос. Вьющиеся белокурые волосы в художественном беспорядке спускались на его лоб. Похож он был на старинные портреты военных молодых героев времен Отечественной войны 1812 года, но было в нем еще что-то общее с Павлом I, бронзовая статуя которого высится на цоколе против Гатчинского дворца. Взгляд его был открыт, смел, весел и проницателен; слегка прищуренный, он производил впечатление большой силы и твердости.

Я «явился» ему по форме. Он оглянул меня сверху вниз и как-то сбоку, по-петушиному. С досадою прочитал я в его быстром взоре обидную, но неизбежную мысль: «А лет тебе все-таки около пятидесяти».

— Прекрасно,— сказал он любезным тоном.— Мы рады каждому свежему сотруднику. Ведь, если я не ошибаюсь, вы тот самый... Куприн... писатель?

— Точно так, господин капитан.

— Очень приятно. Чем же вы хотите быть иам полезным?

Я ответил старой солдатской формулой:

— Никуда не напрашиваюсь, ни от чего не откажусь, г. капитан.

— Но приблизительно... имея в виду вашу профессию?

— Мог бы писать в прифронтовой газете. Думаю, что сумел бы составить прокламацию или воззвание...

— Хорошо, я об этом подумаю и разузнаю, а сейчас иапишу вам препроводительную записку в штаб армии. Теперь же отбросьте всякую официальность. Садитесь. Курите.

Он пододвинул мне раскрытый серебряный портсигар с настоящими богдановскими папиросами. Я совсем отвык от турецкого табака. От первой же затяжки у меня томно помутнело в глазах и блаженно закружилась голова.

Когда комендант окончил писать, я осторожно спросил о событиях прошедшей иочи.

Лавров охотно рассказывал (умолчав, однако, о недоразумении с пулеметами). Еще ночью был назначен комендаитом города командир 3-го батальона Талабского полка, полковник Ставский. Он тотчас же занял товарный вокзал с железнодорожными мастерскими и так нажал на рабочих, что к рассвету уже стоял на рельсах с готовым паровозом ямбургский поезд. Недаром он по прежней службе военный инженер. Утром Ставский опять принял свой батальон, чем был чрезвычайно доволен, а обязанности коменданта возложили на капитанаа Лаврова, к его великому неудовольствию. Эти изумительные офицеры Северо-западной армии боялись штабных и гарнизонных должностей гораздо больше, чем люди, заевшиеся и распустившиеся в тылу, боятся назначения в боевые части. Таков уж был их военный порок. Бои были для них ежедневным привычным делом, а стремительное движение вперед стало душевной привычкой и неисправимой необходимостью.

— Возражать против приказания у нас никто и подумать не смеет,— говорил Лавров.— Ну вот я, скажем, комендант. Прекрасно. Они говорят: ты хромой, тебе иадо передохнуть. Да, действительно, я хромой. Старая рана. Когда сблизимся, большевики мне всегда орут: «Хромой черт! Опять ты зашкандыбал, растак-то и растак-то твоих близких родственников?»

Но ведь я же вовсе не расположен отдыхать. Ну да, я — комендант. Но душа моя вросла вся в 1-ю роту Талабского полка. Я ею командовал с самого начала, с первого дня формирования полка из талабских рыбаков, когда мы бомбами вышибали большевиков из комиссариатов и совдепов.

— Как вчера? — лукаво спросил я.

Он махнул рукой с беспечной улыбкой.

— Пустяки. Главное то, что я вот сижу и обывательскую труху разбиваю, а семеновцы и талабцы уже поперли скорым маршем на Царское, и моя рота впереди, ио уже не под моей командой. Впрочем, скоро вы ни одиого солдата в Гатчине не увидите. Мы иаши боевые части всегда держим на окраинах, по деревням и мысам, а городов избегаем. Только штабы в городах. Соблазна много: бабы, притоны, самогон и все такое.

Я, вспомнив об утренних повешенных громилах, спросил:

— Ну как же без солдат можно ручаться за порядок в городе?

— Будьте спокойны. Вы видели только что расклеенные объявления? Видели, кто их подписал?

— Полковниик Пермикин,— сказал я.

— И баста. Точка. Теперь, правда, уже не полковник, а генерал. Сегодня после молебна генерал Родзянко его проздравил с производством. Но все равно, раз начертано его имя, то можете сказать всем гатчинским байбакам, что они могут спать спокойно, как грудные младеицы.

— Строг?

— В бою лют, стрелками обожаем. В службе требователен. В другое время серьезен и добр, но все-таки надо вокруг него ходить с опаскою, без покушения на близость. Зато слово его твердо, как алмаз, и даром он его не роняет.

— Шутки с ним, значит, плохи?

— Не рекомендовал бы. Он развлекается совсем по-своему. Да вот сегодня, всего часа три назад, что он сделал! — Лавров вдруг громко, по-юношески расхохотался.— Подождите, я сейчас расскажу вам. Только отпущу этих четырех. (Надо сказать, что во все время нашего разговора он не переставал спокойно подписывать бумаги, отдавать приказания и принимать разношерстный народ.)

— Ну, теперь послушайте. Это — потеха.

И он передал мне следующее, что я передаю, как умею.

По случаю благополучного занятия Гатчины назначен был в соборе молебен (звон к нему я слышал утром), а после него парад, который должен был принять генерал Родзянко. В храм прибыло все военное командование, все свободные от службы офицеры, присутствовал, конечно, и Пермикин, тогда еще полковник, а через полчаса генерал.

Но в начале богослужения у него вдруг всплыла в голове беспокойная мысль. Он за нынешний день отдал бесчисленное количество приказаний и в их числе распорядился, чтобы было перерыто около Вайволы шоссе, ведущее на Петербург. Город был почти пуст, а по данным разведки где-то на пути к северу задержалась большая красная часть с броневиком германского типа. От нее всегда можно было ожидать внезапного налета. И Пермикин затревожился: точно ли было понято его приказание и приведено ли оно в исполнение.

Наконец он не утерпел. Подал головою знак своему адъютанту, и они потихоньку вышли из церкви на площадь, где дожидался их быстроходный автомобиль Пермикина с двумя шоферами-финнами, которые уже давно были известны своим баснословным финским хладнокровием, позволявшим им выполнять точно, безукоризненно и находчиво самые безумные виражи.

Быстро проскочили они Гатчину, артиллерийские казармы, заставу, Орлову рощу. У Вайволы толпились на шоссе люди с кирками, мотыгами и лопатами. Шли с предельной скоростью. На миг почудилось Пермикину, что перед ним мелькнула и тотчас же уплыла назад рассыпанная цепь пехоты. Он хотел уже остановить мотор. Но было поздно. За поворотом выросла красноармейская застава. Двое солдат с ружьями наперевес бежали к автомобилю.

При таком положении все дело в находчивости... Пермикин приказал автомобилю остановиться, а сам он вместе с адъютантом, как были, в золотых погонах, высунулись и стали делать красноармейцам подзывающие жесты. Те не успели еще подбежать, как Пермикин издали закричал:

— Скорее, товарищи, скорее! За нами гонятся белые! Мы едем сдаться красному командованию! Дорога каждая минута! Укажите, как здесь проехать в красный штаб! Да, впрочем, чего лучше, доставьте нас туда сами. Полезайте-ка, товарищи! Живо!

Оторопелые красноармейцы послушно полезли в автомобиль. Дверца захлопнулась. Пермикин послал озиравшемуся назад финну быстрый кругообразный знак указательным пальцем. В ту же секунду два револьвера уперлись в лбы красных солдат.

— Клади оружие!

Мотор круто повернулся назад и полетел стремглав в Гатчину.

В церкви пели «Спаси, Господи, люди Твоя», когда в нее вошел незаметно и бесшумно Пермикин. Сдав своих «языков» конвою, он еще успел прослушать короткую прекрасную проповедь отца Иоанна и отсалютовать шашкой на парад генералу Родзянко, поздравившему его с генеральским чином.

* * *

Но уже пора мне было откланяться. Лавров добродушно просил меня заходить почаще.

— Вам нужны всякие наблюдения, а я каждый день здесь буду торчать до глубокой ночи.

Я спохватился:

— Кому здесь сдают оружие?

— Спуститесь вниз, в контрразведку.

Обрывки

Только вчера (15-го января 1927 г.) вспомнил я о моей старинной записной книжке и с великим трудом отыскал ее в бумажном мусоре. Это даже не книжка, а побуревшие клочки бумаги, без переплета, исписанные карандашными каракулями; большинство страниц пропало бесследно.

Хлопотливый день моей явки к коменданту уцелел и помечен 17 октября. Выписываю скорее по догадкам, чем по тексту, то, что тогда впопыхах занесено.

17-е октября

От Лаврова — в Штаб корпуса. Это бывшая учительская семинария. Никогда не был. Прекрасное здание (внутри), большие залы. Свет. Паркеты. Адъютант — типичный штабной. Шикарный френч, лакированные сапоги, белые руки. Сам длинный, тонкий, вымытый. Пробор. Напоминает мне о старом знакомстве. Не вспомнил. Сделал вид: как же, как же. Фамилия птичья. Забыл. Смотрели на карту, чтобы меня ориентировать в положении. Штука: он плохо разбирается, читает карту «от топографической печки».

Начальник штаба Видягин. Рослый, хорошо сложен, сильный, строгий. Загорел густо, в оливковый цвет. Прилаживал и примерял полковничьи погоны (сегодня произведен; одна полоска лишняя). С ним, должно быть, тяжело. Ходит по кабинету. Большие шаги, крепко стучит каблуками. Весь прям и грудь напружена. Голова бодливо опущена, руки за спиной, хмурится, лицо выражает важность и глубокую мысль. Наполеон?

Оба спрашивали о Горьком, Шаляпине (то же и Лавров). Хотелось рассказать о словах Троцкого («Правда») в высшем совете (давно): «Гатчину отдадим, а бой примем около Ижорки, в местности болотистой (Лопатин) и очень пересеченной». Не решился. Все-таки не свой, полушпак. Оборвут.

В. спросил меня, не соглашусь ли я взять на себя регистрацию пленных и добровольцев. Конечно, не по мне, но... «Слушаю, г. полковник». Отпущен был благосклонно. Однако суровая здесь атмосфера. Да и надо так.

Зашел в контрразведку. Там опять Кабин. Сдал наган казаку с веснушками и шевелюром. Он улыбнулся немного презрительно и горько: «Я бы свое оружие никогда не отдал». Мальчик! Портсигар в руках находчивого человека стоит больше, чем револьвер в руках труса. А сколько было людей невинно продырявлено дураками и рукосуями. Савников мне говорил (1912 г. Ницца): «Верьте, заряженный револьвер просится и понуждает выстрелить». Но в отместку подхорунжему я сказал: «Я не жалею. У меня дома остался револьвер системы Мервнига, с выдвижным барабаном. Он не больше женской ладони, а бьет, как браунинг». И правда, этот хорошенький револьвер лежал у меня между стенкой и привинченной к ней ванной. Его могла извлечь оттуда только маленькая ручка десятилетней девочки.

Кабин провожал меня. Сказал:

— Поручик Б. предлагает мне служить в контрразведке. Помогите: как быть?

Я:

— Регистрировались?

— Да.

— В таком случае это предложение равно приказу.

— Но что делать? Мне бы не хотелось.

Я рассердился:

— Мой совет — идите за событиями. Так вернее будет. Ершиться нечего. Вот я оказал вам случайную помощь... Нет, нет, это было просто долг мало-мальски честного человека. Поручик Б. требует услугу за услугу. Но ведь и в контрразведке вы сами можете послужить справедливости и добру, и притом легко: только правдой. Видите, какой ворох доносов?

Простились.

(1927 год.) И, надо сказать, он безукоризненно работал на этом месте, сделав много доброго. Он живой, напористый и чуткий человек. Притом с совестью. Пишет теперь премилые рассказы.

Зашел на вокзал посмотреть привезенные танки. Ромбические сороконожки, скалапендры. Ржаво-серые. На брюхе и на спине сотни острых цеплячек. Попадет в крутой овраг и, изгибаясь, выползет по другому откосу. В бою должны быть ужасающими. Их пять. Вот имена, пишу по памяти: «Доброволец», «Капитан Кромн» (веское наименование), «Скорая помощь», «Бурый медведь»... Стоп, заело (справиться), Господи. Будет ли?

Купил погоны поручичьи, без золота, у Сысоева, в лавке старых вещей. Это уже в четвертый раз их надеваю: Ополченская дружина, Земгор, Авиационная школа и вот — Северо-западная армия. Дома мне обещали смастерить добровольческий угол на рукав. Устал... Сейчас приехали артиллеристы: Р-ский и еще четыре. Что за милый свежий жизнерадостный народ. Как деликатны и умны. Недаром Чехов так любил артиллеристов.

Расспрашивают о нашем бытие, о красных повелителях. Жалеют, сочувствуют, возмущаются. И в конце концов непременно все-таки расспросы о Горьком и о Шаляпине. Право, уж мне надоело рассказывать.

Они рассказали много интересного. Между прочим: та вчерашняя отчетливая пальба, которая так радостно волновала меня и Евсевню, шла не от Коинетабля и не с аэродрома, как мне казалось, а несколько южнее. Стрелял бронепоезд «Ленин», остановившийся за следующей станции после гатчинского Балтийского вокзала.

— Черт бы его побрал, этот бронепоезд,— сказал с досадою капитан Г.— Он нам уже не раз встречался в наступлении, когда мы приближались к железнодорожному пути. Конечно, он немецкого изделия, последнее слово военной науки, с двойной броней венадиевой стали. Снаряды нашей легкой артиллерии отскакивали от него, как комки жеваной бумаги, а мы подходили почти вплотную. И надо сказать, что на нем была великолепная команда. Под Волосовым нам удалось взорвать виадук на его пути и в двух местах испортить рельсы. Но «Ленин» открыл сильнейший огонь — пулеметный и артиллерийский — и спустил десантную команду. Конно-егерский полк обстреливал команду в упор, но она чертовски работала. Не могу представить, какие были в ее распоряжении специальные приспособления! Она под огнем исправила путь, и «Ленин» ушел в Гатчино.

С огорченным лицом Г. помолчал немного, потом продолжал:

— Должен сказать, что виною отчасти были наши снаряды. Большинство не разрывалось. Мы наскоро сделали подсчет: из ста выстрелов получалось только 19 разрывов. Да это что еще? Нам прислали хорошие орудия, но все без замков. «Где замки?» Оказывается — «забыли»...

— Но кто же посылал орудия и снаряды? — спросил я.

Г. помялся, прежде чем ответить.

— Не надо бы... Но скажу по секрету... Англичане...

Прежде чем им уехать, я, забыв мудрое правило «не напрашиваться и не отказываться»,

попросил их прислать за мною артиллериста с запасной лошадью, чтобы приехать к ним на позицию.

— Лошадь,— сказал я,— мне все равно, какая будет, хоть крестьянская клячонка. Но если возможно...

Они уехали, обещав мне сделать это. Условились о времени. Но так и не прислали. Полсуток в Гатчине — это была их последняя передышка. Дальше они все втянулись в непрерывные бои, вплоть до отступления, и отдохнули только в Нарве — горьким отдыхом.

Газета

Итак: я готовился к кропотливой работе по регистрации и не могу сказать, чтобы это будущее занятие рисовалось мне в чертах занятных и привлекательных. Предвидел я, что полковник Видягин крутоват и требователен, но этого я не боялся. Мне почему-то верилось, что он скоро ко мне присмотрится и привыкнет и, впоследствии, почем знать, может быть, даст мне возможность увидеть, услышать и перечувствовать более яркие вещи, чем механическая возня по записыванию пленных и добровольцев. Судьба послала мне иное.

Прибыть мне приказано было в учительский институт на другой день к 10-ти часам, но в половине десятого за мной заехал полковник Б. на автомобиле и отвез меня в штаб Глазенапа. Он представил меня генералу Краснову. Заочно мы знали друг друга, и встреча эта была для меня приятна. Петр Николаевич осведомил меня, что сейчас придет Глазенап и разговор будет о возможности создать в Гатчино прифронтовую газету. Я ни на минуту не забывал того, что хотя предо мною сидит очаровательный человек — Петр Николаевич, автор путешествий и романов, которые я очень ценил, но что для меня он сейчас ваше высокопревосходительство, генерал от кавалерии. В Северо-западной армии в служебных сношениях все тянулись в ниточку. Впоследствии я ближе узнал П. Н. Краснова, и воспоминания о нем у меня самые благодарные, почтительные и дружеские. Но если человек вкусил с десяти лет тягость воинской дисциплины, то потом возврат к ней сладостен.

Вошел быстрой, легкой походкой, чуть позванивая шпорами, генерал Глазенап, он же — генерал-губернатор всех областей, отторгнутых от большевиков.

Я залюбовался им. Он был очень красив: невысокий, стройный, брюнет, с распушенными черными усами, с горячими черными глазами, со смуглым румянцем лица, с легкостью хорошего кавалериста и со свободными движениями светского человека. Он был участником Ледяного похода, водителем многих отчаянных конных атак.

Говорить с ним было совсем нетрудно, тем более что П. Н. Краснов понимал дело и поддерживал меня. Газета, по его мнению, необходима. Вопрос в типографии и бумаге. О деньгах заботиться не надо: на днях выходят из печати новые кредитки Северо-западного правительства. Руководителем и моим непосредственным начальником будет генерал Краснов. Через сколько времени может выйти первый номер, по моим расчетам?

Я стал делать оговорки: сможет ли генерал Краснов дать сегодня же передовую статью? — Да, часа через два-три.— Есть ли в штабе последние красные газеты и можно ли из них делать вырезки? — Есть, можно, но только для первого номера в виде исключения. Обычно прежде всего газеты поступают в штаб, для сводки.— Нет ли иностранных газет, хотя бы и не особенно свежих? — Найдутся.— Есть ли в штабе бумага? — Есть, но только писчая, почтового формата.— Разрешено ли мне будет, в случае если в типографии нет бумаги, реквизировать ее в каком-нибудь магазине? — Можно. Только дайте расписку, а счет присылайте в канцелярию... Все? — спросил генерал.— Как будто все, ваше превосходительство,— ответил я.— Только...

Вот тут-то я себя мысленно похвалил. Во всех деловых переговорах и контрактах я никогда не упускал мелочей, но всегда забывал самое главное. А теперь нашел:

— Только должен предупредить, что наборщики — самый гордый и капризный народ на свете. Этих «армии свинцовой суровых командиров» можно взять лишь добром. Деньги теперь — ничто. Но если выдать им хотя бы солдатский паек, то они, наверно, будут польщены таким вниманием.

— Хорошо. Обратитесь к моему заведующему хозяйством. Я предупрежу. А все-таки: когда же мы увидим первый номер?

— Завтра утром,— брякнул я и, признаться, прикусил язык.

Генерал Глазенап весело рассмеялся:

— Это по-суворовски!

Генерал Краснов поглядел на меня сквозь золотое пенсне с чуть заметной улыбкой.

Я поспешил оговориться:

— Конечно, это не будет номер «Таймса» в 32 страницы и выйдет не в пятистах тысяч экземпляров. Но... позвольте попробовать.

Генерал Глазенап сказал:

— Словом, я передаю вас генералу Краснову. Он, без сомнения, понимает в этом деле более меня. Затем: желаю полного успеха. Извините, меня ждут.

О самом главном — о названии газеты — труднее всего было столковаться. Я не раз присутствовал при крещении периодических изданий и знаю, как тяжело придумать имя. Каждое кажется устаревшим, похожим на какое-нибудь другое имя, мало или чересчур много звучащим, трудно выговариваемым и т. д. Впоследствии, когда войдет в силу привычка,— всякое название становится удобным.

Мы всячески комбинировали: «Свет», «Север», «Нева», «Россия», «Свобода», «Луч», «Белый», «Армия», «Будущее». П. Н. Краснов нашел простое заглавие: «Приневский край». Мелькнул у меня в голове дурацкий переворот: «При! Невский край». Но каждое наименование можно перебалаганить. Все равно: на десятом номере обомнется и станет привычным.

Вот здесь, в Париже, мне часто намекают, что я, может быть, писатель, но во всяком случае — не журналист. Я не возражаю. Но ровно в два часа дня 19 октября, т. е. через 28 часов, я выпустил в свет 307 экземпляров первого номера «Приневского края». Отличная статья П. Н. Краснова о белом движении пришла аккуратно, вовремя. По справедливости, хотя и очень мягко, сделал мне П. Н. выговор за то, что я не послал ему корректуры (занести было всего два шага). Прекрасную оберточную рыжую бумагу я реквизировал в магазине Офицерского экономического общества. Наборщиков оказалось трое: сын хозяина типографии — длиннорукий, длинноногий лентяй и ворчун, скверный наборщик, но, к счастью, физически сильный человек; второй знал кое-как наборное дело, но страдал грыжей и кашлял; третий же был мастер, хотя и великий копун, медлитель и мрачный человек.

Станок был если не Гуттенбергов, то его внучатый племянник. Он печатал только одну полосу. Чтобы тиснуть продолжение, надо было переворачивать лист на другую сторону. Приводился он в действие колесом, вручную, в чем я принимал самое живое участие.

Я уже успел сдать в печать стихи (правда, не новенькие), статью под передовой, отчет о параде, прекрасную проповедь отца Иоанна и характеристику Ленина (я сделал ее без злобы, строго держась личных впечатлений). Кроме того, я вырезал и снабдил комментариями все интересное, что нашел в красных газетах. Я также продержал обе корректуры. Словом: Фигаро здесь, Фигаро там.

Часам к одиннадцати ночи люди устали, но ропота не было. Я сбегал за пайками и предложил их, по-моему, вовремя и деликатно. Сказал: «А кстати, вот ваш ежедневный паек». Это их так взбодрило, что они и на мою долю отрезали холодного мяса, свиного

сала и белого хлеба. Утром заканчивали работу вдвоем: я и мрачный тип.

Господа журналисты, работали ли вы в таких условиях?

Этот станок, этого верблюда мы таскали с собою потом в Ямбург, в Нарву и в Ревель. Разбирали и собирали. Главный его недостаток был в медлительности работы. Вертеть колесо, да еще дважды — занятие нелегкое.

Первый номер расхватили в час. Цена ему была полтинник на керенки. Почему мы не брали по пятьсот рублей? — не понимаю. Впрочем, разницы между этими суммами не было никакой. И мы сами не знали, куда девать вырученные деньги. Наняли было корректоршу (она же и кассирша), но через час пришлось ее уволить: никуда не годилась.

Красные уши

Нелегка была вначале газетная работа при оборудовании дела самыми примитивными способами и средствами. Но мне она доставляла удовлетворение и гордость. Тем более, что вскоре дело наладилось и пошло ровно, без перебоев.

Все тот же внимательный, памятливый и точный комендант Лавров по моей просьбе распорядился, чтобы при разборке пленных красноармейцев опрашивали: нет ли среди них мастеров печатного дела. На третий же день мне прислали двух. Один — рядовой наборщик, весьма полезный для газеты, другой же оказался прямо драгоценным приобретением: он раньше служил в синодальной типографии, где, как известно, требуется самая строгая, интегральная точность в работе, а кроме того, у него оказались глазомер и находчивость настоящего метранпажа. Вблизи Гатчины мы откопали бумажную фабрику, заглохшую при большевиках, но с достаточным запасом печатной бумаги.

П. Н. Краснов давал ежедневно краткие, яркие и емкие статьи, подписывая их своим обычным псевдонимом: Гр. Ад. (Град было имя его любимой скаковой лошади, на которой он взял в свое время много призов в Красном Селе и в Михайловском манеже). Он писал о собирании Руси, о Смутном времени, о приказах Петра Великого, о политической жизни Европы. Оба штаба (генерала Глазенапа и графа Палена), жившие друг с другом несколько не в ладах, охотно посылали нам какие было возможно сведения и распоряжения. Напечатали два воззвания обоих генералов и главнокомандующего генерала Юденича. Наняли двух вертельщиков. Работали круглые сутки в две смены. Довели тираж до тысячи, но и того не хватало.

Красные газеты получались аккуратно и в изобилии: от пленных и через разведчиков, ходивших ежедневно в Петербург, в самое чертово пекло разнюхивать события. С чувством некоего умиления читал я в них лестные строки, посвященные мне. Из одной заметки я узнал, что штаб Юденича помещается в моем доме, а я неизменно присутствую на всех военных советах в качестве лица, хорошо знающего местные условия. Василий Князев почтил меня стихами:

> Угостил его Юденич коньяком,
> И Куприн стал нам грозиться кулаком.

Что-то в этом роде...

Пролетарский поэт Демьян Бедный отвел мне в московской «Правде» целый нижний этаж, уверяя, что я ему показался подозрительным еще в начале 19-го года, когда я вел в Кремле переговоры с Лениным, Каменевым, Милютиным и Сосновским об издании беспартийной газеты для народа. Это правда: о такой газете я и хлопотал, но не один: за мной стояла большая группа писателей и ученых, не соблазненных большевизмом. Имелись и деньги. Затея не удалась. Мне предложили заднюю страницу «Красного пахаря».

Но красный — какой же это пахарь? И зачем пахарю красный цвет? Я уехал в Петербург ни с чем.

Но Демьян, слушавший не приглашенным наши переговоры, уже тогда решил в уме, что я обхожу советскую власть «змеиным ходом».

Это все, разумеется, вздор... Печально было то, что, внимательно вчитываясь в красные петербургские газеты, можно было уловить в них уши и глаза, находящиеся в Гатчине.

Из крупных гатчинских коммунистов никто не попался белым (кстати, дважды они упустили из рук Троцкого в Онтоло и в Высоцком, находя каждый раз вместо него лишь пустое, еще теплое логовище). Ушел страшный Шатов, однажды приказавший расстрелять женщину, заложницу за мужа-авиатора, вместе с грудным ребенком, которого у нее никак нельзя было отнять.

Улизнул Серов, председатель гатчинской чека, кумир гимназисток-большевичек, бывший фейерверкер царской армии: на псковском фронте он вызвал из строя всех прежних кадровых офицеров, числом около пятидесяти, велел их расстрелять и для верности сам приканчивал их из револьвера. Перед казнью он сказал им: «... Ни одному перекрасившемуся офицеру мы не верим. Свое дело вы сделали, натаскали красных солдат, теперь вы для нас — лишняя обуза».

Ушел неистовый чекист Осиинский. В его квартире нашли подвал, забрызганый до потолка кровью, смердящий трупной вонью. Исчез палач-специалист Шмаров, бывший каторжник, убийца, который даже ходил всегда в арестантском сером халате, с круглой серой арестантской бескозыркой на голове. Он как-то на Люцевской улице, пьяный, подстрелил без всякого повода и разговора, сзади, незнакомого ему прохожего, ранил его в ногу, вдруг освирепел, потащил его в ЧК (тут же, напротив) и дострелил его окончательно.

Поймали белые одного только Чумаченку, захватив его в Красном. Этот безобидный человек-пуговица заведовал пищевыми запасами и называл себя «Король продовольствия». Никому он зла не делал, наивно упивался высотою своего положения и был забавен со своим всегда вздернутым носом-пуговичкой. На него сделали донос.

Словом, ушли тузы и фигуры. Осталась дребедень. Но, прячась за нее, какие-то неуловимые многознающие и пронырливые люди сообщались с красным командованием, посылая ему в Петербург сводки своих наблюдений. Разыскивать их было некогда и некому. И, вероятнее всего, это они намеревались устроить в Гатчине провокационный погром.

Как-то вечером зашел я к моему приятелю-еврею. У него застал смятение и скорбь. Мужчины только что вернулись из синагоги. У дедушки Моти, старейшего из евреев, во время молитвы впервые затряслась голова и так потом не переставала трястись. Добрая толстая хозяйка просила меня взять к себе на время ее пятилетнюю девочку Розочку, а та прижималась к ней и плакала. Все они были смертельно напуганы уличными сплетнями и подметными анонимными письмами.

В тот же вечер, руководствуясь темным инстинктом, я передал эту сцену полковнику Видягину. Его сумрачные глаза вдруг вспыхнули:

— Я не допущу погромов, с какой бы стороны они ни грозили,— воскликнул он.— Жидов я, говорю прямо, не люблю. Но там, где Северо-западная армия, там немыслимо ни одно насилие над мирными гражданами. Мы без счета льем свою кровь и кровь большевистскую, на нас не должно быть ни одного пятна обывательской крови. Садитесь и сейчас же пишите внушение жителям.

Через полчаса я подал ему составленное воззвание. Говорил в нем о том, что еще со времен Екатерины II и Павла I живут в Гатчине несколько еврейских фамилий, давно знакомых всему городу честных тружеников, небогатых мастеров, людей, совершенно чуждых большевистским идеям и нравам. Говорил о едином Боге, о том, что не время

в эти великие дни сеять ненависть. Упомянул в конце о строгой ответственности и суровой каре, которая постигнет насильников и подстрекателей.

К ночи воззвание было подписано графом Паленом и скреплено начальником штаба. На другой день оно было расклеено по заборам.

Пишу об этом так подробно, потому что мне лишний раз хочется подтвердить о полном доброты, нелицеприятном, справедливом отношении Северо-западной армии ко всем мирным гражданам, без различия племен и вероисповеданий. Об этом подтвердят все участники похода и все жители тех мест, где эта армия проходила.

А вот в ревельской газете «Свободная Россия» Кирдецов, Дюшен и Башкирцев позволили себе оклеветать эту истинно рыцарскую армию, как разбойничью и грабительскую, говоря не о тыле, а о доблестных офицерах и солдатах похода — легенды.

Немножко истории

Северо-западная армия не была одинока в борьбе с большевиками. По условиям своего созидания и формирования Северный корпус с первых своих дней оказался тесно связанным с Эстонской республикой и с ее молодой армией. Боевое крещение получили части Русского корпуса, защищая Эстонию от вторжения большевистских войск. До мая 1919 г. все операции Северной армии происходили на Эстонской территории. Отсюда причины союзных отношений между обеими армиями. В период существования Северного русского корпуса эти отношения были оформлены заключенным договором. Однако в момент превращения Русского корпуса в армию положение сторон изменилось. Эстония была освобождена от большевиков, и русская армия сражалась на русской территории.

По этим соображениям русская армия вышла из подчинения эстонскому главнокомандованию и в лице генерала Юденича получила собственного руководителя, назначенного Верховным правителем России. Были раньше планы о возглавлении армии генералом Гурко или Драгомировым. Но имя победителя Эрзерума более импонировало.

Не имея собственных портов, ограниченная размером территории, Северо-западная белая Россия принуждена была — а с нею и Северо-западная армия — базироваться на Ревель и на Эстонию. Между тем Эстония уже была свободна от большевиков, имела свыше чем 80 000 армию и в существенной помощи белой армии уже не нуждалась. Прежний взаимный договор отпадал. Требовалось новое договорное соглашение, и почва для него нашлась, но очень волнующая. С одной стороны, сформированное в августе 1919 года Северо-западное правительство поспешило признать полную и вечную независимость Эстонии и дало гарантию требовать этого признания всеми великими державами, Верховным правителем России и всеми областными ее правительствами. За это Эстония согласилась оказывать помощь белой России в ее борьбе с большевиками и обещала помочь генералу Юденичу при походе на Петербург. (Однако когда наступление на Петербург началось, то эстонские войска в нем участия почему-то не приняли...)

Предполагался подобный же взаимный договор с Финляндией, и она также искала к нему путей. Он не состоялся. Вопрос о его осуществлении зависел, главным образом, от бывших русских дипломатов, эмигрировавших в Париж. Они отказали. Почему? Энергичный напор на красных со стороны Финляндии решил бы судьбу Петербурга в два-три дня.

* * *

Высший совет командования белой армии сознавал, что общее состояние тыла и политической обстановки еще не вполне отвечает требованиям немедленного наступления.

Но строевые начальники, видевшие настроение своих солдат, твердо знали и чувствовали, что этот бодрый воинственный дух необходимо поддержать именно переходом от метода обороны, изнурявшего боевые части и понижавшего их боеспособность,— к решительному и быстрому наступлению.

Дух и воля армии одержали верх. Главное командование решилось наконец на открытие военных действий. Впрочем, за необходимость наступления говорили громко еще следующие доводы.

1) Эстония под влиянием своих социалистических партий уже намеревалась вступить в мирные переговоры с Советской Россией. Заключение такого мира лишало бы Северо-западную армию и военной поддержки Эстонии и пользования для военных целей портами и железными дорогами Эстонии.

2) Успехи Деникина при его движении на Москву привлекли в тот момент внимание всего красного главнокомандования. Чтобы отразить его победоносное наступление, напрягались все советские силы. Угроза Петербургу в эти дни значительно облегчила бы задачу Деникина.

3) Необходимость взятия Петербурга до наступления холодов. Главная цель взятия Петербурга — освобождение от террора, от холода и голода несчастного населения столицы. Ввоз необходимого продовольствия и предметов первой необходимости возможен лишь до прекращения навигации, которая с конца ноября уже связывается замерзающим Петербургским портом.

4) Обещанная поддержка военного английского флота, действия которого находились в зависимости от наступления морозов.

5) Великолепный дух белых солдат, оторванных, однако, от родины и семьи, не мог бы выдержать своего напряжения до весны и в течение зимы сменился бы унынием и всеми его последствиями.

6) Командование Красной Армии прозевало возрождение духа и силы Северо-западной армии. Оно продолжало ее считать не вполне боеспособной и не боялось ее. Поэтому многие красные части были переведены на другие фронты, и соотношение сил на Северо-западном фронте было в данный момент очень благоприятным для наступления белой армии.

Наступление было решено.

* * *

Я пламенный бард Северо-западной армии. Я никогда не устану удивляться ее героизму и воспевать его. Но ведь есть на свете и проза. Много способствовало подъему духа в Северо-западной армии появление наконец давно обещанной, так долгожданной помощи от французов и англичан в виде первых транспортов, обмундирования, танков, орудий, снарядов, ружей. Солдаты по прибытии первых грузов оживали духом. Они удостоверились собственными глазами, что старые друзья и союзники по войне с Германией решительно хотят помогать белым армиям в их борьбе с большевиками. Сапоги, хлеб, шинель и ружье — это все, что нужно воину, кроме убеждения, что война имеет смысл. Голодный, босый, невооруженный солдат — хороший материал лишь для бунта или для дезертирства. Глупость говорила ходячая поговорка удалых прежних военачальников: «Я своим солдатам три дня есть не дам, так они врага с кожей и костями слопают, так что они без вести пропадут и назад не вернутся».

* * *

Активные операции Северо-западной армии против Петербурга могли развиваться в двух направлениях. Большинство старых генералов, недавно прибывших на фронт гражданской войны и не знавших ее условий, настаивали на том, что необходимо обеспечить себя взятием Пскова и лишь после этого открыть движение на Петербург.

Но командный состав из числа тех, кто с первых дней существования Северо-западного корпуса находились в нем и знали его боевые качества, решительно настаивали на ином плане. В гражданской войне, говорили они, гораздо вернее проявлять быстроту и натиск. Все здесь зависит от психологического момента. Если нам стремительно удастся уловить его, то красный Петербург не спасут ни наши обнаженные фланги, ни обходное движение советских полков! Эта упругая стремительность должна вызвать растерянность среди командного состава Красной Армии, пробудить усиувшие надежды в антибольшевиках в советской армии и в Петербурге, создать благоприятные условия для восстания рабочих масс и т. д.

Этот план восторжествовал. Страшная стремительность, с которой Северо-западная армия ринулась на Петербург, действительно вряд ли имела примеры в мировой истории, исключая разве легендарные суворовские марши.

Партизанский дух

Передо мною лежит брошюра «Октябрьское наступление на Петроград и причины неудачи похода. Записки белого офицера». Это единственный печатный материал, посвященный походу. Автор не назван. (Говорят, сохранились кое-где полковые и дивизионные архивы. Но ими воспользуется со временем усидчивый историк.)

Книжка ценная, составлена ясно, толково, со знанием дела, с любовью к родине, с горячей скорбью о трагической судьбе геройской Северо-западной армии. Я вынужден ею пользоваться для того, чтобы не заблудиться в чрезвычайно сложных и путаных деталях наступления. Надо сказать, что она не только подтверждает все мною слышанное и лично наблюденное, но и проливает на события верный свет. Лишь в оценке неудач армии у меня несколько иной взгляд, чем у талантливого автора, очевидно, доблестного кадрового офицера прежней великой российской армии. Но книгу его я усердно рекомендую любителям.

* * *

Говорили многие потом, разбирая критически операции Северо-западной армии, что в ней было слишком много партизанского духа. Но какой же иной могла быть армия добровольцев всего в двадцатитысячном составе в дни братоубийственной гражданской войны, в сверхчеловеческой обстановке непрестанных на все стороны боев, дневных и предпочтительно ночных, с необеспеченным флангом, с единственной задачей быстроты и дерзости, со стремительным движением вперед, во время которого люди не успевали есть и высыпаться? Так почему же эта армия не разлагалась, не бежала, не грабила, не дезертировала? Почему сами большевики писали в красных газетах, что она дерется отчаянно? Отчего Талабский полк, более всех других истекавший кровью, так доблестно прикрывал и общее отступление, а во дни Врангеля, год спустя, пробрался поодиночке из разных мест в Польшу к своему вождю и основателю — генералу Пермикину, чтобы снова стать под его водительство? Да только потому, что каждый стрелок в ней, каждый конник, каждый наводчик, каждый автомобилист шел освобождать сознательно родину. Совсем забыты были у них разность интересов и отдаленность губерний Псковской и Тамбовской. Оттого-то их

с теплой душой встречало и с терпкой печалью провожало крестьянство, которое безупречно служило им в качестве возчиков, проводников и добрых хозяев. Оттого-то белый солдат и мог свободно проявлять самое важное во всякой и самое драгоценное в гражданской войне качество — личную инициативу.

Еще говорили об отсутствии единой главноначальствующей воли и указывали на это как на причину отсутствия ответственности у должностных лиц, которые не хотели отбросить самостоятельных партизанских приемов и руководствовались лишь личными соображениями.

Формальный глава армии существовал. Это был генерал Юденич, доблестный, храбрый солдат, честный человек и хороший военачальник. Но из всех русских известных современных полководцев, которые сумели бы мощно овладеть душами, сердцами и волею этой совсем необыкновенной армии, я могу представить себе только генерала Лечицкого. Генерал Юденич только раз показался на театре военных действий, а именно тотчас же по взятии Гатчины. Побывал в ней, навестил Царское Село, Красное и в тот же день отбыл в Ревель. Конечно, очень ценно было бы в интересах армии, если бы генерал Юденич, находясь в тылу, умел дипломатично воздействовать на англичан и эстонцев, добиваясь от них обещанной реальной помощи.

Но по натуре храбрый покоритель Эрзерума был в душе капитан Тушин, так славно изображенный Толстым. Он не умел с ними разговаривать, стеснялся перед апломбом англичан и перед общей тайной политикой иностранцев. Надо сказать правду: он раз проявил несомненно большое достоинство. Это было в тот день, когда английский генерал Мэрч (или Гоф), велев в срок сорока минут составиться северо-западному правительству, хотел начать договорный акт параграфом: «Войдя в Петербург и свергнув большевистскую власть, эстонцы, при помощи северо-западного правительства и его армии, устраивают Россию на демократических началах».

Этой глупости не выдержало закаленное сердце старого воина. Он протестовал так решительно, что бритый англичанин с огромным подбородком должен был сдаться.

Единый вождь в этой особенной войне должен был бы непременно показываться как можно чаще перед этим солдатом. Солдат здесь проявлял сверхъестественную храбрость, неописуемое мужество, величайшее терпение, но безмолвно требовал от генерала и офицера высокого примера. В офицерском составе уживались лишь люди чрезмерно высоких боевых качеств. В этой армии нельзя было услышать про офицера таких определений, как храбрый, смелый, отважный, геройский и т. д. Было два определения: «хороший офицер» или изредка: «да, если в руках». Там генералы Родзянко и Пален, оба высоченные гиганты, в светлых шинелях офицерского сукна, с оружием, которое в их руках казалось игрушечным, ходили в атаку впереди цепей, посылая большевикам оглушительные угрозы. Там Пермикин ездил впереди танка, показывая ему путь, под огнем из бронепоездов, под перекрестной пальбою красных цепей, сидя на светлой серой лошади.

Что же касается того, что военачальники руководились лишь личными соображениями, выходя из общего плана, то вряд ли это верно.

По объявлении похода армия пошла в наступление семью колоннами, каждая в своем направлении. Неминуемо случалось то, что колонны теряли связь в болотистых и лесных местностях, тем более что красные, отступая, не только перерезали телеграфные проволоки, но и срубали столбы. Двигались они, руководимые каким-то звериным чутьем, птичьим инстинктом, но пришли вовремя и еще при сближении помогали одна другой в атаках энергичной поддержкою. Вот вам и партизанская война.

Был, правда, был один ужасный прискорбный случай сознательного неповиновения генерала приказу. Я говорю о генерале, офицере генерального штаба Ветренко... О нем после. Но нельзя же на одном несчастном случае строить огульные выводы.

Лунатики

Состав северо-западников не был постоянным, он имел текучий, меняющийся характер.

Во время весеннего налета на форт «Красная Горка» значительная часть гарнизона перешла без боя на сторону белых. Образовался Красногорский полк. Ушли к белым посланные против них вятичи — вот и Вятский полк.

В тот же период двинуло красное командование в тыловой обход белых Семеновский (бывший лейб-гвардии) полк — «полк внутренней охраны Петрограда», как его называли официально. Странным, загадочным, непонятным было существование Семеновского полка после революции и особенно отношение к нему большевиков. Этот полк, так круто расправившийся с московским восстанием в 1906 году, жил в прежних казармах, по прежнему укладу, нес караульную службу по охране Государственного банка, Казначейства и других верных пунктов и как бы находился под особым покровительством. Зайдя в тыл белых у Выры, он с музыкой перешел в Северо-западную армию, убив сначала своих комиссаров и красных фельдфебелей (один из них застрелился). Полк так и сохранил навсегда свое старинное петровское имя.

Проходили иногда сквозь состав Северо-западной армии необыкновенные, удивительные части, характера, так сказать, гастрольного. Таков был, например, знаменитый Тульский батальон. О нем до сих пор старые офицеры и солдаты Северного корпуса вспоминают со смехом и восхищением.

В пору бешеного нажима большевиков на крестьян, когда предавались огню, разрушению и сравнивались с землею (речь Троцкого) целые села и деревни, произошло маленькое чудо. Вооружившись как попало, этот отряд пошел наудалую разыскивать то самое место, где бьют большевиков. Блуждая по лицу земли Русской, они, кажется, хотели попасть к Деникину, но попали сначала к Петлюре, потом в Польшу. У Петлюры им «шибко не показалось», поляки их не приняли. Наконец, в Пскове им удалось набрести на настоящих истребителей большевизма. Тут они и остались, поступив в распоряжение Северного корпуса, под наименованием Тульского батальона.

Я до сих пор не знаю, никогда не мог добиться: кто из командования считался главным, непосредственным начальником туляков. Дрались они с несравненной, безумной храбростью. Вышибать неприятеля из деревень, брать молниеносной атакой мосты и другие узкие опасные проходы было точно их любимой специальностью. Побежденным они никогда не давали пощады. В крепких, жестких руках из Тульского батальона мог бы выработаться превосходный боевой материал. И надо сказать, что среди офицеров Северного корпуса было достаточно людей с железной волей. Однако подчинить туляков хотя бы первым, основным началам воинской дисциплины оказалось немыслимым. Так они успели озвереть на долгом гуртовом бродяжничестве. Таких грабителей, мародеров, плутов и ослушников свет не видывал. Ни наказания, ни уговоры на них нимало не действовали. Пришлось при основательной чистке Северо-западной армии перед походом на Петербург распроститься с удивительным тульским батальоном, т. е., вернее, с его жалкими остатками, ибо большинство туляков погибли в боях. Жили грешно — умерли с честью.

Формировались полки и добавлялись, можно сказать, на ходу. Иногда по составам батальонов можно было проследить историю полка, как историю земли по геологическим наслоениям. Вот, например, знаменитый Талабский полк:

1-й батальон: рыбаки с Талабских островов (Великое озеро близ Чудского). Это основа и первый кадр.

2-й батальон: старообрядцы и жители подгатчинских сел (вторые — превосходные проводники).

3-й батальон: вятичи и пленные матросы (матросы были первоклассными бойцами).

Во все три батальона в значительном количестве вошла учащаяся молодежь Ямбурга и других ближних мест. Большинство этих юношей не вернулись домой. Погибли.

Да! Великую, кровавую, святую жертву родине принесли русские юноши и даже мальчики на всех фронтах, во всех боях ужасной гражданской войны.

По этому списку можно догадаться о путях полка.

О Талабском полке и о второй дивизии, в которую он входил (Островский — 500 штыков, Талабский — 1 000, Уральский — 450, Семеновский — 500, и эти числа — лишь в начале похода), о них мне придется упоминать особенно часто. И вовсе не потому, чтобы эти части отличались от других боевыми или легендарными чертами. Нет, все полки Северо-западной армии были выше похвал, и об их подвигах думаешь невольно теперь, как о великой сказке. Я порой недоумеваю: почему это никогда не слышно и в газетах нет ничего о вечерах, собраниях или обществе северо-западников. И мне кажется, что эти люди сделали так много непосильного для человека, преодолели в такой громадной мере инстинкт самосохранения, пережили такое сверхъестественное напряжение физических и нравственных сил, что для них тяжким стало воспоминание.

Так лунатик, перешедший ночью по тонкой, гибкой дощечке с пятого этажа одного дома на пятый другого, взглянет днем с этой высоты вниз, и у него побледнеет сердце и закружится голова.

Нет, только волей случайности мне удалось больше всего слышать о Второй дивизии и чаще всего входить в общение с талабчанами. Кроме того, эти части, по капризным велениям военной судьбы, принуждены были — в наступлении на Петербург, в боях вокруг Гатчины, Красного и Царского и в отступлении — играть поневоле ежедневно тяжелую и решительную роль.

Вот вкратце несколько боевых дней Второй дивизии. Обратите внимание на числа:

9 октября. Конница начинает активные операции. Правофланговый полк дивизии под энергичным руководством своего командира полковника Пермикина на рассвете переходит в наступление в районе озера Тягерского и решительным ударом занимает ряд неприятельских деревень.

10 октября. Талабский полк развивает достигнутый успех, занимает деревню Хилок, переправляется через Лугу, укрепляется в деревне Гостятино. Островцы с боем переправляются через Лугу у Редежи. Семеновцы атакуют красных у Собской переправы.

11-го ночью Талабский полк подходит к станции Волосово, давая возможность белой кавалерии продолжать свою задачу.

12 октября. Талабский полк подлетает к станции Волосово и с налета опрокидывает находящиеся здесь красные части.

13—16 октября. Полки Островский и Семеновский. Бои в Кикерино, Елизаветиной, у Шпанькова, стычка на гатчинских позициях. Вечером 16-го Талабский полк под Гатчиной.

17 октября. Без остановки в Гатчино полки Второй дивизии (теперь под начальством генерала Пермикина) опрокидывают и сминают засевшие около города красные отряды и заставы, немедленно идут дальше и занимают позиции Пеггелево—Шаглино.

18 октября. Части дивизии широким фронтом продвигаются к Царскому. Талабский полк к вечеру выбивает из деревни Бугор противника.

19 и 20 октября. Ожесточенные, непрерывные бои около деревни Онтолово. Пермикин отказывается от фронтового движения и предпринимает обходное. Отборные курсанты и личная сотня Троцкого обнаруживают его и встречают пением «Интернационала». Атаки талабцев дважды отбиты. Коммунисты сами пытаются перейти в наступление. Громадную помощь красным оказывают бронепоезда «Ленин», «Троцкий» и «Черномор», свободно маневрировавшие по Варшавской и Балтийской железным дорогам, 20-го утром в Гатчину прибыли новые (французские) танки и спешно отправлены в Онтолово. Однако доблестные талабцы взяли-таки упорно оборонявшуюся деревню и заставили красных отступить. К ве-

черу 20-го бригада Второй дивизии сбила противника и подошла к Царскому.

21 октября. Бой за обладание Царским. Второй батальон Талабского полка на рассвете исполняет обходную задачу и неожиданным ударом занимает Царскосельский вокзал.

Итого: тринадцать дней беспрерывных боев. Затем следует переброска дивизии на левый фланг для ликвидации прорывов в Кипени и Волосове. Затем арьергардная служба при отступлении. И все — без отдыха. Жутко думать, на что способен может быть человек!

Купол Св. Исаакия Далматского

В день вступления Северо-западной армии в Гатчину высшее командование дает приказ начальнику III дивизии генералу Ветренко: свернуть немедленно на восток, идти форсированным маршем вдоль ветки, соединяющей Гатчину с Николаевской железной дорогой, и, достигнув станции Тосно, привести в негодность Николаевскую дорогу, дабы прервать сообщение Москва—Петербург.

Ветренко ослушался прямого приказа. Он продвигается к северу на правом фланге, подпирает слегка наступление Пермикина, затем под прикрытием Второй армии уклоняется вправо, чтобы занять Павловск. На тревожный телеграфный запрос штаба он отвечает, что дорога Гатчина—Тосна испорчена дождями и что Павловск им необходимо занять в целях тактических. Совсем непонятно, почему главнокомандующий не приказал расстрелять Ветренко и не бросил на Тосну другую часть: вернее всего предположить, что под руками не было резервов.

Но упустили время. Троцкий с дьявольской энергией швырял из Москвы эшелон за эшелоном отряды красных курсантов, коммунистов, матросов, сильную артиллерию, башкиров... Разведка Талабского полка по распоряжению Пермикина быстро пробралась к Тосно. Но уже было поздно. Подступы к станции были сплошь забаррикадированы красными войсками.

Северо-западники склонны объяснять непростительный поступок Ветренко его героическим и честолюбивым стремлением ворваться первым в Петербург. Сомневаюсь. Офицер Генерального штаба должен был понимать, что его упущение дало красным возможность усилить свою армию вдвое, да еще прекрасным боевым материалом. Более, чем множество других печальных обстоятельств,— его преступление было главной причиной неудачи наступления на Петербург.

Товарищеское мнение смягчило его вину, ибо «мертвые сраму не имут», а Ветренко, по слухам, скончался от тифа. А между тем впоследствии оказалось, что Ветренко не только выздоровел, но с женою и малолетним сыном перешел к большевикам. Таким образом, если даже 18 октября он и не замышлял измены и предательства, то во всяком случае его поведение в эту пору явилось для большевиков громадной услугой, а для него самого козырным тузом.

Утром я сидел по делу у бессонного капитана Лаврова. При мне пришел в комендантскую молодой офицер 1-й роты Талабского полка, посланный в штаб с донесением. Он торопился обратно в полк и забежал всего на секундочку пожать руку старому командиру. Он был высокий, рыжеватый, полный, с круглым, потным безволосым лицом. Глаза его сияли веселым рыжим, нет,— даже золотым — светом, и говорил он с таким радостным возбуждением, что на губах у него вскакивали и лопались пузыри.

— Понимаете, г-н капитан, Средняя Рогатка...— говорил он, еще задыхаясь от бега,— это на север к Пулкову. Стрелок мне кричит: «Смотрите, смотрите, г-н поручик: кумпол, кумпол! Я смотрю за его пальцем... а солнце только-только стало восходить... гляжу — батюшки мои, Господи! — действительно блестит купол Исаакия, он, милый, единственный

на свете. Здания не видно, а купол так и светит, так и переливается, так и дрожит в воздухе.

— Не ошиблись ли, поручик? — спросил Лавров.

— О! Мне ошибиться, что вы! Я с третьего класса Пажеского знаю его, как родного. Он, он, красавец. Купол Святого Исаакия Далматского! Господи, как хорошо!

Он перекрестился. Встал с дивана длинный Лавров. Сделал то же и я.

Весть эта обежала всю Гатчину, как электрический ток. Весь день я только и слышал о куполе Св. Исаакия. Какое счастье дает надежда. Ее называют крылатой, и правда, от нее расширяется сердце, и душа стремится ввысь, в синее, холодное, осеннее небо.

Свобода! Какое чудесное и влекущее слово! Ходить, ездить, спать, говорить, думать, молиться, работать — все это завтра можно будет делать без идиотского контроля, без выклянченного унижающего разрешения, без грубого, вздорного запрета. И главное — неприкосновенность дома, жилья... Свобода!

После обеда в корпусном штабе был другой офицер, кажется, Семеновского полка. Он рассказывал, что один из белых разъездов, нащупывающий подступы к Петербургу, так забрался вперед, что совсем невдалеке мог видеть арку нарвских ворот. Позднее другой разъезд обстрелял какой-то из трамваев, в которых Троцкий перебрасывал пачки курсантов на вокзалы.

Быстротечные краткие дни упоительных надежд! На правом фланге белые пробирались к Пулкову II, где снова могли бы перехватить Николаевскую дорогу. Слева они заняли последовательно: Тайцы, Дудергоф, Лигово и докатывались до Дачного, намереваясь начать поиск к Петергофу. Божество удачи было явно на стороне Северо-западной армии.

Красные солдаты сдавались и переходили сотнями. Калечь отправлялась в тыл для обучения строю. Надежные бойцы вливались в состав белых полков и отлично дрались в их рядах. У полководцев, искушенных боевым опытом, есть непостижимый дар узнавать по первому быстрому взору ценного воина, подобно тому, как настоящий знаток лошадей, едва взглянув на коня, узнает безошибочно его возраст, нрав, достоинства и пороки.

Этим даром обладал в особенно высокой степени генерал Пермикин...

Этот необыкновенный человек обладал несомненным и природным военным талантом, который только развился вширь и вглубь от практики трех войн.

Злобности и мстивости не было у белых. Когда приводили пленных, то начальник части спрашивал:

— Кто из вас коммунисты?

Нередко двое-трое, не задумываясь, громко и как бы с вызывающей гордостью откликались:

— Я!

— Отвести в сторону! — приказывал начальник.

Потом происходил обыск. Случалось, что у некоторых солдат находились коммунистические билеты. Затем коммунистов уводили, и таким образом коммунисты в тыл не просачивались.

Многие коммунисты умирали смело. Вот что рассказывал офицер, которому по наряду пришлось присутствовать при расстреле двух коммунистов:

— По дороге я остановил конвой и спросил одного из них, красного, волосатого, худого и злющего: «Не хочешь ли помолиться?» Он отрыгнул такую бешеную хулу на Бога, Иисуса Христа и Владычицу Небесную, что мне сделалось противно. А когда я предложил то же самое другому, по одежде матросу, он наклонился к моему уху, насколько ему позволяла веревка, стягивающая сзади его руки, и произнес тихо, с глубоким убеждением: «Все равно Бог не простит нас».

Об этом: «Все равно Бог не простит...» — стоит подумать побольше. Не сквозит ли в нем пламенная, но поруганная вера?

Курсанты дрались отчаянно. Они бросались на белые танки с голыми руками, цеплялись в них и гибли десятками. Красные вожди обманули их уверениями, что танки поддельные: дерево-де, выкрашенное под цвет стальной брони. Они же внедряли в солдат ужас к белым, которые, по их словам, не только не дают пощады ни одному пленному, а, напротив, прежде чем казнить, подвергают лютым мукам.

Но и красные солдаты, а впоследствии курсанты и матросы в день плена, присевши вечером к ротному котлу, не слыша брани и насмешек от недавних врагов, быстро оттаивали и отрясались от всех мерзостей большевистской пропаганды и от привитых рабских чувств.

— Прохожу я вдоль бивуака,— рассказывал мне один офицер,— вдруг чую, пахнет настоящим табаком, не махоркой. Тяну по запаху, как пойнтер. Смотрю, сидит в кругу незнакомый оборванный солдат и угощает соседей папиросами из бумажного пакета. Спрашиваю: «Откуда табак?» Тот вскочил, видно прежний еще солдат: «Так что еще утром раздавали паек, ваше благородие». А один стрелок из рыбаков, не вставая (на отдыхе и за едою стрелки не встают), говорит на чисто талабском языке: «Он только цицас пересодцы. Есцо сумушаетцы. Ницого пареиь. Оклемаетсцы».

А еще дальше пленный солдат объясняет, что терпеть до слез нельзя, когда белые поют... Про «Дуню Фомину» услышал, так и потянуло. «Это тебе не тырционал...»

Большевики, должно быть, понимают, что песня порою бывает сильнее печатной прокламации. Полковник Ставский отобрал в Елизаветине у пленного комиссара карандашное донесение по начальству: «Идут густыми колоннами и поют старые песни...»

Пермикин и, конечно, другие военачальники понимали громадное преобладание добра над злом. Пермикин говорил нередко стрелкам:

— Война не страшна ни мне, ни вам. Ужасно то, что братьям довелось убивать братьев. Чем скорее мы ее покончим, тем меньше жертв. Потому забудем усталость. Станем появляться сразу во всех местах. Но жителей не обижать. Пленному первый кусок. Для большевиков всякий солдат — свой и чужой — ходячее пушечное мясо. Для нас он прежде всего человек, брат и русский.

Отступление

Нет ничего мудрее, вернее и страшнее русской поговорки: «Пришла беда — отворяй ворота».

Божество удачи отвернулось от самоотверженной горсточки железных людей, составлявших Северо-западную армию. Теперь уже не ошибкам полководцев и подавно не качеству армии, а лишь стихийному нагромождению ужасных событий можно было приписывать трагическую судьбу.

Наступили холодные дождливые дни и мокрые ночи, черные, как чернила, без единой звезды. По ночам было видно, как за непроницаемою тьмою далей полыхали зарева пожаров и бродили по небу, склоняясь к земле, дымные, голубоватые лучи прожекторов. И там же воображение рисовало невидимых бессонных героев и страстотерпцев, совершающих ради счастья родины, несказуемо — великий подвиг.

Тревожные слухи дошли об неудержимом откате армии Деникина. Они оказались роковой правдой.

Англичане, обещавшие подкрепить движение белых на Петербург своим военным флотом, безмолвствуют и лишь под занавес, когда большевики, в безмерно превосходных

силах, теснят, окружают белую армию и она уже думает об отступлении, лишь тогда перед Красной Горкой появляется английский монитор и выпускает несколько снарядов с такой далекой дистанции, что они никому и ничему вреда не приносят.

Англичане обещали оружие, снаряды, обмундирование и продовольствие.

Лучше бы они ничего не обещали!

Ружья, присланные ими, выдержали не более трех выстрелов, после четвертого патрон так крепко заклинивался в дуле, что вытащить его возможно бывало только в мастерской. Их танки были первейшего типа (времен войн Филиппа Македонского — горько острили в армии), постоянно чинились и, пройдя четверть версты, возвращались хромые в город. Французские «Бебе» были очень хороши, но командовали ими англичане, которые уверяли, что дело танков лишь производить издали потрясающее моральное впечатление, а не участвовать в бою. В своей армии они этого не посмели бы сказать. Они развращали бездействием и русских офицеров, прикомандированных к танкам. Один Перемикин умел заставлять эти танки продвигаться в гущу боя.

Однажды, когда англичане, сидевшие в «Бебе», отказались идти вперед, Перемикин слез с коня и постучался в дверцу. Вышел высокий белокурый офицер в английском военном платье. Пермикин поглядел на него внимательно и спросил:

— Кто вы?

Тот отвечал по-английски:

— Офицер британской армии.

Пермикин гневно повысил голос:

— Я спрашиваю: какой нации?

— Русский, ваше превосходительство.

— Так передайте англичанам, что если ровно через три минуты танк не двинется вперед, то я вас всех расстреляю.

Танк двинулся.

Англичане присылали аэропланы, но к ним прикладывали неподходящие пропеллеры; пулеметы — и к ним несоответствующие ленты; орудия — и к ним неразрывающиеся шрапнели и гранаты. Однажды они прислали 36 грузовых пароходных места. Оказалось — фехтовальные принадлежности: рапиры, нагрудники, маски, перчатки. Спрашиваемые впоследствии англичане с бледными улыбками говорили, что во всем виноваты рабочие-социалисты, которые-де не позволяют грузить материалы для борьбы, угрожающей братьям-большевикам.

Англичане обещали американское продовольствие для армии и для петербургского населения; обещали добавочный комплект американского обмундирования и белья на случай увеличения армии новыми бойцами, переходящими от большевиков. И действительно эти обещания сдержали. Ревельские склады, интендантские магазины, портовые амбары ломились от американского хлеба, сала, свинины, белья и одежды. Все эти запасы служили предметом бешеной тыловой спекуляции и растрат. В белую армию разновременно влилось около 20 000 красных солдат и жителей-добровольцев, но все они были разуты, раздеты и безоружны. К тому же их вскоре нечем стало кормить. А английский представитель в Ревеле Мерч (или Гоф?) уже сносился по телефону с петербургскими большевиками.

Несмотря на то, что железнодорожный мост через Нарву, разрушенный большевиками, был восстановлен в середине наступления, продовольствие просачивалось тоненькой струйкой, по капелькам. Не только жителям пригородов невозможно было дать обещанного хлеба,— кадровый состав армии недоедал. На требование провианта из тыла отвечали: продовольствие предназначено для жителей Петербурга после его очищения от большевиков, и мы не смеем его трогать; изыскивайте местные средства. Удивительная рекомендация: снимать одежду с голого.

Лучше бы англичане совсем не обещали, чем дать обещание и не исполнить его. Голодного не насытить хлебом из папье-маше, жаждущего не напоить морской водой.

Северо-западное правительство было бессильно. Из него вскоре после его основания вышли покойный ныне В. Д. Кузьмин-Караваев, А. В. Карташев и М. Н. Суворов, возмущенные обращением англичан Мерча и Гофа с русскими людьми и русскими интересами. В 1920 году они втроем выпустили брошюру о Северо-западном правительстве, которую, несмотря на ее деловую сухость, ни один русский не может читать без волнения и гнева. Но авторы ее не могли сказать всего, до конца. В послесловии они упоминают, что многих вещей им в теперешние дни нельзя писать, но что они непременно вернутся к ним при других обстоятельствах. Так и не вернулись.

После этого ухода состав северо-западного правительства оказался ничтожным. Но остался в нем до конца событий один человек, принимавший горячо и близко к сердцу тяжелую судьбу армии, а также боли, нужды и лишения беженцев. Это С. Г. Лианозов. Спокойствие его, выдержанность и независимость умели пробивать эгоистическое равнодушие англичан, и за все, что он сделал тогда для русских,— глубокая ему признательность.

Северо-западная армия изнуряется и тает в бесчисленных боях. Все резервы пущены в дело. Инициатива переходит в руки красных. Дивизия генерала Дзерожинского — последний ресурс — подкрепляет правый фланг фронта, но большевики делают на левом прорыв наших войск у Кипени. Ликвидация прорыва поручается генералу Пермикину.

Он с Талабским и Семеновским полками спешно перебрасывается с правого на левый фланг. Он присоединяет к себе в ударную группу еще два полка и два французских танка «Бебе», только что привезенных из Финляндии. Перед вечером (27-го) занимает Первелево, вечером того же дня комбинированным обходом занимает Кипень и шлет в Витино вслед обходной колонны большевиков Конно-егерский полк. Затем бои в Касково, Сокули, Елковицы. Приходит на помощь Родзянко с танковым десантным батальоном и со своей личной сотней. Удивительный был воин Родзянко. Он как будто бы после момента, когда Юденич перенял у него главнокомандование, нигде не состоял и никому не подчинился. Но едва стоило какой-нибудь части, исполнявшей почти несбыточное назначение, очутиться в тяжелом положении, он каким-то чудом являлся на помощь с своей сотней и с прихваченными по пути вспомогательными средствами. Правда, был он по натуре великолепный и нетерпеливый всадник.

Далее идут Малково, шоссе Кипень—Гатчино, Ропша, куда Пермикин врывается на плечах большевиков и захватывает грузовик, орудия и 400 пленных. Затем Высоцкое и Высокая. Генерал Пермикин надеется занять к утру Красное. Но вдруг несчастные события на правом фланге заставляют штаб дать Пермикину распоряжение прекратить всякие операции против Красного Села и принять участие в общем отступлении.

Пермикин телеграфировал главнокомандованию: «Передо мной свободная дорога на Петербург. Войду без препятствий». Второй приказ из штаба — и разъяренный лев подчиняется.

Талабский полк покидает Гатчину после всех. Он обеспечивает мелкими, но частыми арьергардными атаками отступление армии и великого множества беженцев из питерских пригородов. Наступает зима. У Нарвы русские полки не пропускаются за проволочное заграждение эстонцами. Люди кучами замерзают в эту ночь. Потом Нарва, Ревель и бараки, заваленные русскими воинами, умирающими от тифа. В бараках солдаты служили офицерам и офицеры солдатам. Но это уже не моя тема.

Я только склоняю почтительно голову перед героями всех добровольческих армий и отрядов, полагавших бескорыстно и самоотверженно душу свою за други своя.

Марк Алданов

Современники

Сталин

I

Разгром революции 1905 года был тяжелым ударом для большевиков. Из всех планов Ленина не вышло ровно ничего — потерпели крушение и его теоретические идеи, и его практические замыслы.

В таких случаях обычно во всем мире происходит так называемая переоценка ценностей. Тем более следовало бы ей произойти в политических условиях России: переоценка ценностей (неизменно начинающаяся с переоценки людей) была испокон веков любимейшим занятием русской интеллигенции. Однако большевики и в этом случае составили исключение: несмотря на свое жестокое поражение, Ленин как был партийным божеством, так партийным божеством и остался.

Надо ли говорить, что самому Ленину не пришло в голову заняться пересмотром своей доктрины: его доктрина ошибаться не могла. Но несколько практических уроков из революции 1905 года Ленин, несомненно, извлек. Один из его выводов заключался в том, что материальные средства, с которыми завязала борьбу партия, были чересчур ничтожны.

Вопрос о средствах в политических партиях всегда был неприятным вопросом. Но в прежние времена на Западе он разрешался относительно просто. Когда у германских социал-демократов не хватало в партийной кассе денег, Parteivorstand *, после основательных размышлений и кропотливых подсчетов, обращался к бесчисленным геноссам с мотивированным предложением сделать в кассу единовременный и экстраординарный взнос в размере, скажем, восьмидесяти пяти пфеннигов с ревизской партийной души, и геноссы вносили деньги в твердой — совершенно справедливой — уверенности, что фатер Бебель не стал бы требовать восемьдесят пять пфеннигов, если б можно было обойтись восьмьюдесятью. Когда не хватало денег у английских консерваторов, лидер партии отправлялся к герцогу Нортумберландскому или к графу Дарби и привозил нужную сумму. Теперь дело и на Западе стало значительно сложнее. В Германии партийные взносы взыскиваются далеко не без труда. В Англии Ллойд-Джордж открыл в партийной лавочке беспатентную продажу титулов. Герцоги стали беднее, да и жертвуют они, в нынешней запутанной обстановке, часто не на то, на что им следовало бы жертвовать. Теперь в каждой стране существуют такие герцоги — и особенно такие герцогини,— которые в меру сил субсидируют предприятия, специально занимающиеся разрушением государства. ⟨...⟩

В России таких герцогов — разных, разумеется: земельных **, нефтяных, чайных, сахарных, полотняных — при самом строе было довольно много. История большевистской

* Партийный представитель (*нем.*).

** В прошлом году И. Л. Горемыкин сказал мне: «Это недурно, что усадьбы жгут. Надо потрепать дворянство. Пусть оно подумает и перестанет работать в пользу революции» (Дневник А. С. Суворина, 17 июня 1907 г.).

кассы никогда не будет написана. Жаль: это была бы книга занимательная во всех отношениях — в историческом, в бытовом, в психологическом. Кто только не давал денег большевикам?! Не решаюсь утверждать, но, по некоторым моим соображениям, линия одного из крупных взносов в кассу будущих екатеринбургских убийц ведет к детям людей, обязанных своим богатством щедротам Александра III. Мотивы у разных жертвователей были, конечно, разные. Большинство давало потому, что «как же не дать?». Давал Максим Горький,— он, вероятно, сочувствовал, да и очень уж шумно в ту пору реял над Россией «буревестник, черной молнии подобный». Савва Морозов субсидировал большевиков оттого, что ему чрезвычайно опротивели люди вообще, а люди его круга в особенности. Н. Г. Михайловский-Гарин тоже их поддерживал, ибо он, милый, вечно юный Тема Карташев, никому не мог отказать, когда были деньги: он отвалил 25 тысяч большевикам на социальную революцию, как бросал деньги цыганкам в Стрельне на счастье или саратовскому самородку на изобретение perpetuum mobile. «Широк русский человек, я бы сузил»,— сказал, кажется, Достоевский.

Другие русские партии существовали преимущественно на средства, которые жертвовались примыкавшими к ним богатыми людьми. У большевиков это было не в обычае. Во всяком случае, большевики и близкие им значительных сумм собрать не могли, так как в громадном большинстве были чрезвычайно бедны. Сам Ленин жил с семьей в одной нищенски обставленной комнате. Троцкий в своих воспоминаниях юмористически описывает, как он однажды в Париже отправился в оперу — в ботинках, уступленных ему Лениным.

II

Рокамболь знал тридцать три способа добывания денег. Ленин для обогащения партии пустил в ход только три, но зато каждый из них сделал бы честь Рокамболю.

Первый способ был старый, классический, освященный традицией, которая через века идет от предприимчивых финикиян к князю Виндишгрецу и его соучастникам. Способ этот заключался в подделке денег. Первоначально была сделана попытка организовать печатанье фальшивых ассигнаций в Петербурге при содействии служащих Экспедиции изготовления государственных бумаг. Но в последнюю минуту служащие, с которыми велись переговоры, отказались от дела. Тогда Ленин перенес его в Берлин и поручил, в величайшем от всех секрете, «Никитичу» (Красину). Однако маг и волшебник большевистской партии, так изумительно сочетавший полное доверие Ленина с полным доверием фирмы Сименс, оказался на этот раз на высоте своей репутации. Или, вернее, на высоте своей репутации оказалась германская полиция. Раскрытое ею дело вызвало в ту пору немало шума. «Спрашивается, как быть с ними в одной партии? Воображаю, как возмущены немцы»,— с негодованием писал в частном письме Мартов. Чичерин (в ту пору еще большевик) потребовал назначения партийной следственной комиссии. Ленин охотно согласился на строжайшее расследование дела,— организованного по его прямому предписанию. Глава партии имел основание рассчитывать, что концы прекрасно спрятаны в воду. Однако Чичерин неожиданно проявил способности следователя. Заручившись серией фотографий своих товарищей по партии, он представил их тому немцу, которому была заказана бумага с водяными знаками, годная для подделки ассигнаций. «При предъявлении фабриканту карточки Л. Б. Красина, он признал в нем то лицо, которое заказало ему бумагу с водяными знаками... Когда расследование Чичерина добралось до этих «деталей», Ленин встрепенулся и провел в ЦК постановление о передаче расследования заграничной

ному бюро ЦК, в котором добытые Чичериным материалы, разумеется, бесследно погибли» *.

Второй способ, изобретенный Лениным для пополнения партийной кассы, был гораздо менее банален. Скажу о нем лишь весьма кратко: Ленин поручил своим товарищам по партии жениться на двух указанных им богатых дамах и передать затем приданое в большевистскую кассу. Дело было сделано артистически: оба большевика благополучно женились, но заминка вышла после свадьбы: один из счастливых мужей счел более удобным деньги оставить за собою. Забавно то, что по делу этому состоялся суд чести; рассказ о нем я слышал от одного из судей, не большевика, человека весьма известного и безупречного. Впрочем, независимо от суда Ленин довольно недвусмысленно грозил, в случае неполучения денег, подослать убийц к не оправдавшему его доверия товарищу. Об этом глухое указание (вполне совпадающее со слышанным мною рассказом) есть в изданных не так давно письмах Мартова **. Краткое, зато весьма живописное упоминание обо всей этой истории сохранилось и в рассказе самого Ленина. В. Войтинский в своих воспоминаниях пишет: «Рожков передавал мне, что однажды он обратил внимание Ленина на подвиги одного московского большевика, которого характеризовал, как прожженного негодяя. Ленин ответил со смехом:

— Тем-то он и хорош, что ни перед чем не остановится. Вот вы, скажите прямо, могли бы за деньги пойти на содержание к богатой купчихе? Нет? И я не пошел бы, не мог бы себя пересилить. А Виктор пошел. Это человек незаменимый» ***.

В результате суда Ленин получил немалую сумму денег. Но матримониальный способ пополнения кассы был, разумеется, лишь вспомогательным. Главное свое внимание вождь большевиков после провала первой революции устремил на то, что тогда игриво называлось «эксами» или «эксакциями» (в брошюрах того времени часто употребляется и глагол «эксировать»). В этой области ближайшим сотрудником и правой рукой Ленина стал уже в ту пору весьма известный кавказский боевик, по революционной кличке «Коба», он же «Давид», он же «Нижерадзе», он же «Чижиков», он же «Иванович», он же нынешний всемогущий русский диктатор Иосиф Виссарионович Сталин-Джугашвили.

III

Мне крайне трудно «объективно» писать о большевиках. Скажу, однако, тут же: это человек выдающийся, бесспорно самый выдающийся во всей ленинской гвардии. Сталин залит кровью так густо, как никто другой из ныне живущих людей, за исключением Троцкого и Зиновьева. Но свойств редкой силы воли и бесстрашия я по совести отрицать в нем не могу. Для Сталина не только чужая жизнь копейка, но и его собственная — этим он резко отличается от многих других большевиков.

Как большинство современных диктаторов, он вышел из «низов». Мустафа-Кемаль родился в очень бедной семье. Стамбулийский вырос в избе пастуха. Отец Муссолини

* М. Таинственный незнакомец // Соц. вестник. 1922. № 16. Насколько мне известно, заметка эта, подписанная буквой М., принадлежит Мартову, который хорошо знал закулисные дела большевиков.

** «...Этот Виктор под покровительством Богданова и Ленина шантажом вымогал деньги в пользу большевиков, причем оперировал угрозой выписать „кавказских боевиков"» (письмо Аксельроду от 3 сентября 1908 г.).

*** Вл. Войтинский. Годы побед и поражений. Т. 2. С. 103. Это замечание Ленина, конечно, относится именно к указанному мною случаю.

был кузнецом. Мать Эвера мыла трупы в мертвецкой. Талаат попал в великие визири из почтальона. Иосиф Сталин — сын тифлисского сапожника. Многие считают его осетином. Это неверно — он коренной грузин.

Люди, когда-то к нему близкие, говорили мне, что он прошел в юности очень суровую школу бедности и лишений, что он вырос среди тифлисских «кинто», от которых приобрел свойства грубости и циничного остроумия. Политическая биография Джугашвили начинается с тифлисской семинарии; в нее отдал его отец, готовивший сына к духовному званию. Сталин — священник!.. Из семинарии он был исключен за неблагонадежность девятнадцати лет от роду. В том же (1898) году он вступил в Российскую социал-демократическую партию и был последовательно членом Тифлисского, Батумского, Бакинского комитетов, редактировал разные партийные издания («Борьба пролетариата», «Дро», «Бакинский рабочий»), написал несколько марксистских книжек. К большевистской фракции он примкнул с самого момента раскола в среде социал-демократов и очень скоро стал признанным главой немногочисленных кавказских большевиков. Шесть раз его арестовывали и шесть раз отправляли в ссылку на поселение: в Восточную Сибирь (1903 г.), в Сольвычегодск (1908 г.), снова в Сольвычегодск (1908 г.), в Вологду (1911 г.), в Нарымский край (1912 г.) и в Туруханский край (1913 г.). Из всех этих мест (за исключением последнего) он бежал, не засиживаясь долго, чаще всего через месяц-другой по водворении на жительство. Жизнь Сталина поистине может служить уроком смирения для деятелей департамента полиции. Хороша была ссылка, из которой человек мог бежать пять раз. Недурно было и то, что Сталина мирно отправляли в ссылку. В вину ему департамент полиции вменял какую-то «маевку», устройство уличных демонстраций, нелегальные издания, руководство экономической забастовкой на батумских предприятиях Ротшильдов, что-то еще в таком же роде. Эти тяжкие преступления должны были вызывать усмешку у людей, знавших настоящую работу Сталина.

Он был верховным вождем так называемых боевиков Закавказья. Я не знаю и, кажется, никто, кроме самого Сталина, не знает точно, сколько именно «эксов» было организовано по его предначертаниям. Высшим партийным достижением в этой области была памятная экспроприация в Тифлисе, обеспечившая большевистской партии несколько лет полезной работы.

13 июня 1907 года, в $10^1/_2$ часов утра, кассир Тифлисского отделения Государственного банка Курдюмов и счетовод Головня получили на почте присланную отделению из столицы большую сумму денег * и повезли ее в банк в фаэтоне, за которым следовал другой фаэтон с двумя вооруженными стрелками. Оба экипажа были окружены казачьим конвоем. В центре города вблизи дворца наместника, когда передние казаки конвоя свернули с Эриванской площади на Сололакскую улицу, с крыши дома князя Сумбатова в поезд был брошен снаряд страшной силы, от разрыва которого разлетелись вдребезги стекла окон на версту в округе. Почти одновременно в конвой с тротуаров полетело еще несколько бомб и какие-то прохожие открыли по нему пальбу из револьверов. На людной площади началось смятение, перешедшее в отчаянную панику. Что произошло с деньгами, никто из очевидцев толком следствию объяснить не мог. Кассир и счетовод были выброшены из фаэтона первым же снарядом. Лошади бешено понесли уцелевший чудом фаэтон. На другом конце площади высокий «прохожий» ринулся наперерез к мчавшимся лошадям и швырнул им под ноги бомбу. Раздался новый оглушительный взрыв — и все исчезло в облаке дыма. Один из свидетелей видел, однако,

* Современные большевистские источники и устная традиция говорят о 250 тыс. рублей. Но русские газеты того времени (Новое время. 1907. 14 июня) называют и другую цифру — 341 тыс. Это те самые 500-рублевые ассигнации под литерой АМ, № 62900 и след., при размене части которых был арестован в Париже «папаша» (Литвинов).

что человек в офицерском мундире, проезжавший на рысаке по площади, соскочил с пролетки, бросился к разбитому дымящемуся фаэтону, схватил в нем что-то и умчался, паля наудачу из револьвера по сторонам.

В этом знаменитейшем из «эксов» было убито и ранено около 50 человек. Деньги найдены не были, полиция никого не схватила, и следствие ничего не выяснило. Теперь мы знаем, что тщательная слежка за деньгами велась большевиками еще из столицы. В Тифлисе около почты за кассиром следили две женщины (Пация Голдава и Аннета Суламлидзе), которые и подали условный сигнал отряду экспроприаторов, дожидавшемуся в ресторане «Тилипучури». Человек, переодетый офицером, был известный Петросян, ученик и помощник Сталина, прозванный им Камо *. Он упрятал деньги в такое место, которое едва ли могло вызвать подозрения самой лучшей в мире полиции: кредитные билеты были заделаны в диване заведующего Кавказской обсерваторией! Чем не Рокамболь?

Роль Сталина в Тифлисской экспроприации до сих пор в подробностях не выяснена. По одной версии, именно он бросил в поезд первый снаряд. Но это едва ли верно: Сталин занимал уже тогда слишком высокое положение в партии для того, чтобы исполнять роль рядового террориста. По-видимому, ему принадлежало высшее руководство делом. Бомбы же для экспроприации были присланы из Финляндии самим Лениным **. Ленину, для нужд партии, и были позднее отвезены похищенные деньги. Ни Сталин, ни Камо, в отличие от многих других экспроприаторов, не пользовались «эксами» для личного обогащения.

Что и говорить, мы, европейцы, за последние столетия несколько отвыкли от государственных деятелей этого рода. Однако ведь были времена, когда в Европе власть почти всегда принадлежала таким людям — как она принадлежит им и теперь на огромных внеевропейских территориях. В настоящее время в России к правителям предъявляются весьма пониженные требования в отношении „casier judiciaire“ ***. Это, разумеется, не всегда так будет. Но я боюсь, что это так будет еще довольно долго.

IV

В ту пору Кавказом полновластно управлял престарелый граф Илл. Ив. Воронцов-Дашков. «Новое время», которое вело чрезвычайно резкую кампанию против наместника, обвиняло его в либерализме и в тайных симпатиях к партии «Народной свободы». Граф Воронцов-Дашков, как почти все политические деятели, получившие воспитание в царствование Николая I, как и сыновья этого императора, был действительно настроен либерально — разумеется, в тех пределах, в которых это было возможно в его положении. Меньшиков иронически называл наместника «сверхгрансеньором» — и в этом тоже была правда. Грансеньорство Воронцова-Дашкова сказывалось с особенной силой в том, что ему ни от кого ничего не было (да и не могло быть) нужно. Он был кавалером Андрея Первозванного, отказался от княжеского титула, который ему предлагали Алек-

* Петросян, плохо говоривший по-русски, спрашивал, получая поручения от Сталина: «Камо отвезти? Камо сказать?»...

** С. Медведева-Тер-Петросян в своей брошюре «Герой революции» (Истпарт, 1925) пишет: «Под видом офицера Камо съездил в Финляндию, был у Ленина и с оружием и взрывчатыми веществами вернулся в Тифлис» (с. 31). О роли Сталина в этом деле писал в свое время «Социалистический вестник».— См. об «эксах» также старые брошюры Л. Мартова «Спасители или упразднители» (1911) и Л. Каменева «Две партии» (1911). Ленин не раз выступал печатно с принципиальной защитой экспроприаций.

*** Сведения о судимости (*фр.*).

сандр II и Александр III. Самую должность наместника, со всеми ее царскими прерогативами, он принял как бы в виде личного одолжения царю. По должности ему полагались на представительство огромные суммы (кажется, в последнее время до 60 000 рублей в месяц). Он ими не пользовался, говоря, что имеет возможность «накормить щами своих гостей на собственный счет». И в самом деле Воронцов-Дашков мог потратиться для гостей на щи — его состояние, включавшее в себя исторические богатства Шуваловых, Воронцовых-Дашковых и князей Воронцовых, оценивалось в двести миллионов. На Кавказе Воронцов-Дашков пользовался огромной популярностью, в особенности у армянского населения. Грузины и татары относились к нему менее тепло, именно вследствие его репутации армянофила. Собственно, репутация эта не отвечала истине: Воронцов-Дашков сам говорил видным армянским общественным деятелям, что он и к армянам, и к татарам одинаково равнодушен, а в политике своей руководится исключительно интересами России. По отзыву людей, близко его знавших, это был человек умный, сдержанный и «с холодком». «Самый умный из всех государственных людей России»,— говорил мне о нем весьма известный кавказский политический деятель (левый), близко его знавший. «Русский Рейнеке-лис» — называли Воронцова-Дашкова грузинские социал-демократы. Политика наместника была действительно своеобразна и нередко повергала в изумление Петербург. Так, перед приездом Николая II в Тифлис Воронцов-Дашков взял слово с главарей «Дашнакцутюна», что на жизнь государя не будет покушения. Покушения действительно не было. Этот способ действия, конечно, нельзя признать банальным. Воронцов-Дашков после цареубийства 1 марта имел в течение некоторого времени тесное отношение к постановке дела охраны царя. Позднее, в должности министра двора, он был близким свидетелем ходынской катастрофы. По-видимому, жизненный опыт поселил в нем глубочайшее недоверие к полиции. В пору кровавого татаро-армянского столкновения он поручил поддержание порядка третьей, нейтральной, национальности — грузинам — и передал значительное количество оружия вождям грузинской социал-демократии. Это тоже было довольно своеобразно. Есть некоторые основания предполагать, что покойный Чхеидзе прошел в Государственную думу при негласной, косвенной, ему самому неизвестной поддержке Воронцова-Дашкова. Наместник не грешил симпатиями к социализму; но в меньшевиках он видел опору против большевиков, с одной стороны, и против сепаратистов — с другой. Этот оригинальный государственный модернизм Воронцова-Дашкова вызывал сильное озлобление в правительственных кругах Петербурга. В частности, не выносил «тифлисского султана» П. А. Столыпин, который модернизма терпеть не мог, твердо верил в охранное отделение и в военные суды и не раз тщетно пытался наложить на Кавказ свою тяжелую руку. Воронцов-Дашков равнодушно относился к газетной кампании «какого-то Меньшикова». Возможно, что и председатель Совета министров был для него «какой-то Столыпин»,— он из русских государственных деятелей признавал только Витте, да еще — из «молодежи» — графа Коковцева. Нельзя не сказать, что выстрел Дмитрия Богрова придал силу позиции наместника в его вражде со Столыпиным.

Отнюдь не будучи человеком мягким и сентиментальным, Воронцов-Дашков не верил в устрашающее действие казней в стране ингушей, чеченцев, кабардинцев и шапсугов. Во что он, собственно, верил, сказать много труднее. Его кавказская политика напоминала политику культурных и просвещенных проконсулов,— но проконсулов времен упадка римского государства. Вероятно, Воронцов-Дашков любил Кавказ — в этот край, едва ли не самый прекрасный в мире, нельзя не влюбиться тому, кто хоть раз его видел. Но к многим кавказским политическим деятелям «русский Рейнеке-лис», в молодости сражавшийся с Шамилем, по-видимому, относился с весьма благодушной иронией. Он старался подсовывать им такие вопросы, из-за которых на Кавказе разгорались относительно мирные страсти и вместо рек крови лились моря чернил. Кажется, Фран-

цузская революция не вызвала в мире таких идейных бурь, как на Кавказе вопрос об административном переделе уездов или о постройке Тифлисского политехникума,— о том, где ему быть, в грузинской ли части города Вери или в армянской Авлабарь. Возможно, что гамлетовские настроения были не чужды натуре наместника. Однако этот Гамлет с тремя Георгиевскими крестами нисколько не страдал и безволием. В Воронцове-Дашкове была медлительность любимых героев Толстого, с некоторой, однако,— весьма существенной — разницей: он совершенно не верил в то, что все «образуется». Напротив, как почти все умнейшие государственные люди императорской России, Воронцов-Дашков был, по-видимому, в глубине души убежден, что все строится на песке и все пойдет прахом. С казнями и без казней пойдет прахом — так лучше без казней. Воронцов-Дашков умер за несколько месяцев до революции. В 1915 году царь собственноручным письмом просил его освободить должность для великого князя Николая Николаевича. В своем ответном письме Воронцов-Дашков говорил Николаю II, что дело уже идет не о должности наместника и даже не о Кавказе, а о спасении русского государства. С полной готовностью подавая в отставку, он на прощанье советовал царю ввести конституционный образ правления и дать стране ответственное перед Думой министерство.

V

Я не хочу сказать, что именно политике Воронцова-Дашкова было суждено умиротворить кавказский край. Но некоторое значение в победе государственных элементов над анархическими эта политика, вероятно, имела. Большевики потерпели на Кавказе полное поражение. У трех главных национальностей края установилась прочно система единой партии. Разумеется, политическая монополия меньшевиков в Грузии, в качестве «политической надстройки» над ее «экономическим бизнесом», представляет собой один из самых забавных парадоксов марксизма. В этой чудесной стране,— как будто не слишком перегруженной заводами,— процент «социал-демократов» неизмеримо выше, чем в Германии. На Кавказе есть марксисты не только в культурных центрах Грузии или Азербайджана, но и в глухих горных аулах. У некоторых из этих «социал-демократов» не всегда разберешь, где кончается Маркс и где начинается Шамиль. Но даже из них по пути, указанному Лениным, пошло лишь ничтожное меньшинство.

Вожди большевиков покинули Кавказ. Камо перебрался в Берлин, где занялся новым полезным делом: он решил явиться к банкиру Мендельсону с тем, чтобы убить его и ограбить (разумеется, в пользу партии); по представлению Камо такой богач, как Мендельсон, должен был всегда иметь при себе несколько миллионов. Однако германская тайная полиция заинтересовалась кавказским гостем с самого его приезда в столицу. У него был произведен обыск, при котором нашли чемодан с бомбами. По совету Красина, переславшего ему в тюрьму записку через адвоката, Камо стал симулировать буйное умопомешательство — и притворялся помешанным четыре года! Германские власти под конец сочли полезным выдать этого сумасшедшего русскому правительству. Признанный тифлисскими врачами душевнобольным, Камо был переведен в психиатрическую лечебницу, откуда немедленно бежал — разумеется, в Париж, к Ленину, которого он по-настоящему боготворил. «Через несколько месяцев,— рассказывает большевистский биограф,— с согласия Владимира Ильича, Камо уехал обратно в Россию, чтобы добывать денег для партии». Добыть деньги для партии предполагалось на этот раз на Каджорском шоссе, по которому провозилась почта. Каджорское дело оказалось менее «мокрым», чем тифлисское: экспроприаторы убили всего семь человек. Но самого Камо постигла неудача: схваченный казаками, он был при-

говорен военным судом к смертной казни. Прокурор суда Галицинский проникся жалостью к этому темному фанатику. Близилось трехсотлетие дома Романовых. Вероятно, не без ведома графа Воронцова-Дашкова, Галицинский оттянул исполнение приговора до манифеста. Казнь была заменена Камо 20-летней каторгой. После октябрьского переворота он работал сначала в Чрезвычайной комиссии, затем в тылу белой армии. По некоторым намекам в большевистской литературе, можно предположить, что ему было поручено важное террористическое предприятие. Камо погиб случайно в Тифлисе, раздавленный на Верейском спуске автомобилем.

Карьера Сталина между первой и второй революциями оказалась менее бурной. За свои политические действия он был исключен из социал-демократической партии ее Закавказским комитетом. Сталин вскоре покинул Грузию и долгие годы работал в России — в разных большевистских организациях. Его нынешнее влияние осведомленные люди объясняют отчасти тем, что «партийцам» всей России хорошо знаком этот вождь, никогда не бывший эмигрантом.

Затем началась «проклятая империалистическая бойня», которая, по тысячу раз повторенным заверениям большевиков, «повергла в ужас и отчаяние вождей мирового пролетариата». В действительности бойня эта была для них неожиданно привалившим неслыханным счастьем. Ленин писал Горькому в январе 1913 года: «Война Австрии с Россией была бы очень полезной для революции (во всей восточной Европе) штукой, но мало вероятно, чтобы Франц-Иосиф и Николаша доставили нам сие удовольствие» *.

Во время войны Сталин находился в ссылке. Он прибыл в Петербург после революции и сразу оказался ближайшим помощником Ленина. Роль Сталина была, однако, не показной. Показную роль играли вначале Зиновьев, а потом Троцкий.

VI

У Троцкого идей никогда не было и не будет. В 1905 году он свои откровения взял взаймы у Парвуса, в 1917 году — у Ленина. Его нынешняя оппозиционная критика — общие места эмигрантской печати. С «идеями» Троцкому особенно не везло в революции. Он клялся защищать Учредительное собрание за два месяца до того, как оно было разогнано. Он писал: «Ликвидация государственного спаиванья народа вошла в железный инвентарь завоеваний революции» ** — перед восстановлением в Советской России казенной продажи вина. Но в большом актерском искусстве, как в уме и хитрости, Троцкому, конечно, отказать нельзя. Великий артист — для невзыскательной публики. Иванов-Козельский русской революции.

Вся Октябрьская революция была, так сказать, бенефисом Троцкого. По крайней мере, он, говоря о ней в ту пору и впоследствии, неизменно держал себя как «бенефициант»,— как бенефициант подчеркнуто-скромный и растроганно-тактичный. Он взволнованно раскланивался с современниками и историей, взволнованно принимал букеты и часть их передавал другим участникам спектакля, заботливо выбирая для этого букетики похуже и участников побездарней. В своих книгах, посвященных Октябрю 1917 г. ***, Троцкий отечески расхвалил самых серых революционеров, принимавших участие в перевороте,— вплоть до фельдшера Лазимира, вплоть до какого-то матроса

* Ленинский сборник. Т. 1. С. 137.

** Л. Троцкий. Водка, церковь и кинематограф. С. 43.

*** Он заботливо издал все, что писал в 1917 году: свои речи, статейки, заметочки, прокламации, телеграммы — все.

Маркина. Более видных людей он старательно оставил в тени. Разумеется, Ленина никак нельзя было обойти молчанием — льстиво-коварная книга Троцкого о Ленине достаточно известна. Но о Сталине Троцкий совершенно забыл упомянуть — Сталину ни малейшего букетика не досталось. Двухтомный труд Троцкого о 1917 годе украшен портретами Свердлова, Иоффе, Антонова-Овсеенко, Подвойского, Крыленко,— портрет Сталина так и не попал в книгу. Между тем роль нынешнего диктатора в Октябрьской революции была чрезвычайно велика: он входил и в «пятерку», ведавшую политической стороной восстания, и в «семерку», ведавшую стороной организационной.

Как бы то ни было, с первых месяцев революции эти два человека — несомненно, наиболее выдающиеся в большевистской партии — пошли каждый своей дорогой. Троцкий и в дальнейшем приискивал для себя бенефисные роли. До заключения мира с немцами наиболее выигрышным и эффектным постом в советском правительстве была должность министра иностранных дел. Она досталась Троцкому, и он «на глазах у всего цивилизованного мира» разыграл Брестское представление, закончив спектакль коленцем, правда, не вполне удавшимся, зато с сотворения мира невиданным: «войну прекращаем, мира не заключаем». С началом гражданской войны самой бенефисной ролью стала роль главнокомандующего Красной Армией. Троцкий оказался военным комиссаром, председателем Реввоенсовета, русским Карно и «электризатором революции». Какова была его действительная роль в гражданской войне, сказать в настоящее время трудно. После первого разрыва с Троцким большевики (т. е. Сталин) опубликовали несколько документов, из которых как будто неопровержимо следует, что эта была довольно скромной и что «красный Наполеон» далеко не всегда вел себя по-наполеоновски. История этот вопрос (в отличие от большинства других) сумеет выяснить точно. Во всяком случае, для легенды Троцким было сделано все возможное. Он «прошел курс Академии Генерального штаба», ездил в царском поезде с вагоном-типографией, возил на фронт Демьяна Бедного и даже орден ему пожаловал — «отважному кавалеристу слова» (кто же мог предвидеть со стороны кавалериста слова такую черную неблагодарность?). На всех решительных фронтах он произносил пламенные речи. Каждая его речь была непременно с «восклицаниями». От Троцкого останется десять тысяч восклицаний — все больше образные. После покушения Доры Каплан он воскликнул: «Мы и прежде знали, что у товарища Ленина в груди металл!» Где-то на Волге, в Казани или в Саратове, он в порыве энтузиазма прокричал «глухим голосом»: «Если буржуазия хочет взять для себя все место под солнцем, мы потушим солнце!» Галерка ревела от восторга, как некогда на спектаклях Иванова-Козельского. При всем своем актерстве Троцкий не подделывается под публику — он не умеет говорить иначе. Впрочем, так говорят иные талантливые ораторы и не в Саратове. Покойный Вивиани, например, тоже был мастер на восклицания: „La France marchant la téte plus haut que les étoiles..." * Анатоль Франс от его образов затыкал уши, но в «нижнем этаже французской культуры» этот блеск второго сорта имел шумный успех. Троцкий вдобавок «блестящий писатель»,— по твердому убеждению людей, не имеющих ничего общего с литературой. Никто не умел лучше, чем он, разоблачать в статьях «империалистическое копыто г. Милюкова»; никто так эффектно не предписывал «сэру Бьюкенену»: «Потрудитесь убрать ноги со стола». Троцкому в совершенстве удаются все тонкости ремесла: и «что сей сон означает?», и «унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла», и «тенденция, проходящая красной нитью», и «победить или умереть!». Клише большевистской типографии он умеет разнообразить стопудовой иронией: «В тех горных сферах, где ведутся приходо-расходные книги божественного

* «Франция шла вперед, задрав голову выше звезд» (*фр.*).

промысла, решено было в известиый момент перевестн Николая иа ответствеииый пост отставной козы барабанщика, а бразды правлеиия вручить Родзянке, Милюкову и Кереискому» (Соч. Т. 3. С. 22).

В последнне годы Троцкнй, видимо, ослабел и вел себя зиачительио ииже своей репутации ловкого человека. За самыми горделивыми его позами следовали самые уиизительиые покаяиия. Ему явио измеиила осиовиая способиость революциоиера — умеиие рассчитывать свон н вражеские силы. На чью поддержку ои надеялся? Сойдет ли навсегда со сцеиы освистаиным актером? Троцкнй всю свою жнзнь прожил перед зеркалом, для исторнческой галерки. Если он когда-либо покоичит с собой нлн погибнет «на баррикаде» («баррикаду» ои склоиял во всех падежах тридцать лет), это тоже будет сделано для галеркн — для того бнографического труда, который о ием напишет Клара Цеткни 27-го столетия.

Перед зеркалом проводят дни разиые люди — часто очень талантливые. Но поэтам, артистам легко так жить. Воевать перед зеркалом гораздо менее удобио, н на боевых постах обычно нмеют успех людн, иа зеркало не оглядывающиеся. Таков был Леинн. Таков и иынешинй всероссийский диктатор.

Стални, в отличие от Троцкого, не играл беиефнсиых ролей. В течение четырех лет он был «народиым комиссаром по делам национальностей» — должиость, впоследствии упраздненная за полной ее неиужиостью. Побывал н главой Рабоче-Крестьянской ннспекции — этот пост, вероятио, в том же роде: неудобио ведь Сталиуу коитролировать Сталииа. Как блнжайший сотруднк Ленина, он мог, коиечно, получить более выигрышиые должности. По-видимому, осиовная мысль Джугашвили заключалась в том, что в условиях большевистской революции дело ие в государствеииых постах, а в партийиом аппарате. Сталии стал членом Политбюро еще в мае 1917 года; поздиее ои прошел в секретариат Центральиого Комитета и наконец оказался генеральиым секретарем РКП. Это дало ему возможность убрать с самых блистательиых постов и Троцкого, и Зиновьева, и Камеиева. Не помешало Сталину даже завещание Леиина — загробное письмо ревнзора. Ленин его назвал* «грубым человеком, нетерпимым в должности генсека». Одиако с должиости этой его при жнзин не убрал. Почему? О иынешннх своих протнвниках сам Сталии сказал: «Вы слышалн здесь, как старательно ругали оппозицнонеры Сталина. Объясияется это тем, что Сталнн, быть может, зиает лучше, чем другие, все плутии оппознцни». Стални ие «вдохновеииый оратор» и не «блестящнй писатель» — вероятио, ои иа это и не претеидует. Но диктаторское ремесло ои поиимает иедурио. Я отиюдь не считаю его иовым Наполеоиом. Роль Сталииа в большевнстской революцин в последием счете, почти наверное, окажется не слишком выигрышной. Как поведет ои себя «иа финнше», очеиь трудно сказать. Чего имеино не хватает Сталиуу? Культуры? Не думаю: зачем этим людям культура? Их штамповальиый мыслнтельиый аппарат работает сам собою — у всех приблизительио одниаково. «Теоретиков» Сталнн всегда иайдет сколько угодно, чего бы он ии захотел. Знает лн ои только сам, чего именно ои хочет?

Та линня, по которой он, виачале не без колебаний, шел к захвату власти иад партией, была, по-видимому, правильной. Я говорю: по-видимому, так как все-такн дело еще ие решеио окоичательио. Фокус Колумбова яйца после Колумба могли усвоить другие — и пост Генеральиого секретаря Коммунистической партин не является в конце коицов пожизиенным. При иекотором счастье роль главы оппозиции может оказаться очеиь выгодной. «Только мертвые не возвращаются»,— сказал знамеиитый деятель того Термидора. Сталии, вероятно, понимает, что ветер в совремеииой России меняется часто и что при первой перемеие ветра почти вся его свора (за редкнм исключеиием, вроде бла-

* Ленин же иазвал его и «чудесным грузииом».

женного Бухарина, коммунистического Пфуля) с полной готовностью переметнется к Троцкому. Признаюсь, я «с захватывающим интересом» жду: что сделает Сталин в этом трудном экзамене на трудную историческую роль? *.

VIII

— Но их идеи? Ведь за каждым из них стоят определенные социальные группы?

Да, идеи, социальные группы...

Жорес говорил, что философия истории Карла Маркса представляет собою сочетание гениальной интуиции с детской наивностью: всецело поглощенный идеей борьбы классов, Маркс проглядел за ней борьбу партии в пределах одного класса и борьбу личностей в пределах одной партии. Жорес объяснял это тем, что Марксу не приходилось наблюдать вблизи, как в министерских кабинетах и в кулуарах парламентов творится настоящая практическая политика.

Разумеется, социологи-марксисты совершенно неуязвимы в отношении этого критического указания и «поверхностной критики» вообще. Они, как известно, глядят глубже, в самый корень. «Кто — как мудрый и кто понимает значение вещей? — сказал царь Соломон.— Сердце мудрого знает и время, и устав». Марксисты все знают: и устав, и время, и значение вещей. При некотором навыке для каждой партии, для каждой фракции, даже для каждого отдельного деятеля легко подобрать соответственную «классовую подоплеку». Нет, например, ничего проще, чем уложить в термины классовой борьбы распрю, происходящую ныне в большевистской партии. Терминология разработана богато: батраки, бедняки, середняки, кулаки, пролетариат, полупролетариат, люмпен-пролетариат — можно еще прихватить «спецов», «деклассированную интеллигенцию» и т. д. Были бы терминология и бумага, а марксисты и подоплека найдутся. Социологи выяснят точно, чьи классовые «чаянья» выражал Сталин и какие классовые группы поддерживали Троцкого.

Мы останемся, однако, при «поверхностной» точке зрения. То, что происходит сейчас в России, это борьба, борьба личная, почти такая борьба, какая ведется в животном царстве. Я утверждаю, что все положения Сталина можно найти у Троцкого — и обратно: надо только взять их речи и статьи не за несколько недель, а за несколько лет. В коммунистической партии идет беспрестанное chassé-croisé. Люди, стоявшие за «бедняков», теперь отстаивают интересы «кулаков», но с полной готовностью снова свяжутся с «бедняками», если этим способом будет почему-либо удобнее свернуть шею противникам. Зиновьев прежде со Сталиным громил Троцкого, теперь он с Троцким громит Сталина — чья классовая подоплека изменилась? Сам Сталин был (при Ленине) противником «новой экономической политики». Наша печать не без причины теряется в догадках: кто из большевистских вождей левее, кто правее? (Бухарин, идущий ныне со Сталиным, прежде считался самым левым); и не опираются ли левые вожди на правые массы? (что, в самом деле, граничило бы с чудом). Вожди, вероятно, и сами всего этого не знают, как не знают они и того, каким опытом займутся, когда покончат с конкурентами. Достаточно прочесть их дискуссионные листки. Троцкий, шипя от бешенства, швыряет в «аппаратчиков» Чанг-Кай-Шеком, Перселлем, кулаками, «социализмом в одной стране». Ему кричат задыхающиеся голоса: «Шпана ты этакая!.. Презренный меньшевик!.. Какая гнусность!.. Долой гада!»... Не надо быть большим психологом, чтобы сквозь стенограмму почувствовать обстановку этого заседания, характер этой «политической дискуссии». Нет,

* Это было написано в пору борьбы между Сталиным и Троцким. Последовавшую вскоре затем ссылку Троцкого в Верный должно признать весьма неблагоразумным поступком: от Верного до Москвы все же лишь несколько дней пути.

здесь не Чанг-Кай-Шек и не Перселль! Здесь не идейные разногласия. Здесь личная ненависть, ненависть звериная — ненависть по тому идейному признаку, что Ворошилов и Ярославский не могут смотреть без ярости на самую физиономию Троцкого...

Пожелаем же им всем того, чего они желают друг другу. Я не знаю, кто из них будет смеяться последний. Самыми последними посмеемся мы. Меня не слишком утешает эта перспектива последнего смеха на развалинах. Сказано, однако, в гениальной книге: «Время плакать и время смеяться... Время разбрасывать камни и время собирать камни... Время раздирать и время сшивать... Время любить и время ненавидеть...»

Луначарский

Иностранный гость, поставивший себе задачей чутко и любовно отметить «все, что есть здорового в большевистском строе», недавно назвал Луначарского тепличным растением, впитавшим в себя лучшие соки и западной, и советской культуры. Вежливый гость этот вскользь указывал, что политический авторитет народного комиссара по делам просвещения не может считаться у большевиков общепризнанным. «Но зато все видят в нем тончайшего знатока искусства и одного из первых драматургов нашего времени».

Политическая биография г. Луначарского действительно большого интереса не представляет. По-видимому, в последние годы утонченный большевистский эстет совсем отошел от активной политики. Выпустил он, правда, книгу под названием «Революционные силуэты». Книга эта вся состоит из комплиментов, отличающихся необыкновенной меткостью и психологическим углублением. Приведу, например, почти наудачу две строки из характеристики Троцкого: «О Троцком принято говорить, что он честолюбив. Это, конечно, совершенный вздор» (с. 29). В этюде о Зиновьеве автор «Революционных силуэтов» не менее проницательно отметил черты стыдливой âme slave *, черты, родственные облику Пьера Безухова: «Сам по себе Зиновьев,— пишет г. Луначарский,— человек чрезвычайно гуманный и исключительно добрый, высоко интеллигентный, но он словно немножко стыдится таких свойств» (с. 34). Самые же горячие комплименты автор, естественно, приберег для «чарующей, ни с чем другим несравнимой, подлинно-социалистической высокой личности Владимира Ильича», его «альфреско колоссальной фигуре, в моральном аспекте решительно не имеющей себе равных». Все в Ленине нравилось г. Луначарскому: «Его гнев тоже необыкновенно мил. Несмотря на то, что от грозы его, действительно, в последнее время могли гибнуть десятки людей, а может быть, и сотни, он всегда господствует над своим негодованием, и оно имеет почти шутливую форму. Этот гром, „как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом“» (с. 13). Полагаю, что на этом изображении Ленина, который так необыкновенно мил, в почти шутливой форме, резвяся и играя, умел губить десятки и сотни людей, можно оставить политическую характеристику г. Луначарского. Да в ней, собственно, и надобности нет: ведь главная прелесть тепличного растения, как сказано, заключается в его драматическом творчестве.

В бытовой, революционной пьесе г. Луначарского «Канцлер и Слесарь» одним из действующих лиц является граф Лео Дорнбах фон Турау, «блестящий кавалерийский офицер», о котором автор кратко сообщает: «В его лице и движениях есть какая-то гармония, превышающая ладность чисто военной выправки». Граф Лео страстно влюблен в графиню Лару. Они встречаются в военное время, на балу в доме канцлера Нордландии. На этом великосветском балу высшее нордландское общество предается веселью, не думая о войне,

* Славянской души (*фр.*).

о страдаииях бедняков и о иадвигающейся (в последней картиие пьесы) коммуиистической революции. Все гости очеиь несимпатичны. Особеиио иесимпатичеи граф Леопольд фои Гатори, человек, исполнеиивый аристократических предрассудков. Он так прямо о себе и говорит: «Я должеи чувствовать голубую кровь... Маиеры... Малейшая вульгариость — очароваиие исчезло». На это другой гость каицлера, иекий Кеппеи, ехидио иисиииурует: «Ну, графиия Митси, твоя очаровательиая супруга, хотя и аристократка, даже ие с голубой, а с иидиговой кровью, держится, как сверхкокотка». Граф Леопольд, однако, парирует иамек: «Ах, у тебя иет чутья,— говорит ои Кеппеиу.— Когда женщииа, поиимаешь, умеет иосить платье, парижские туалеты, то оиа может позволить себе хоть перекииуть шлейф через плечо... Это жаир, который, в едииствеииом экземпляре, столь необходим свету столицы». И действительно, графиия Митси, за которой ухаживает «шикариый флигель-адъютант, гремящий саблей и шпорами»,— очеиь шикариая жеищииа. «Боже мой, как мие хочется танцевать! — восклицает оиа иа том же балу у каицлера.— Не иаши иадоевшие таицы, не таиго даже, а безумие любви перед глазами смерти. Вот! Чтобы сидела смерть с пустыми глазами, а мие, обнажеииой, объясиять бы ей без слов, что такое упоеиие страсти... Радефи, сыграйте какой-иибудь сверхдемоиический вальс». Радефи играет сверхдемоиический вальс. Митси танцует «страстиый и несколько разиузданный таиец». Великосветские гости каицлера в полиом восторге. Одии из иих даже хватает графиию Митси в объятия и целует ее с криком: «Как она великолепна!» Сама графиня Митси тоже очеиь довольиа: «Уверяю вас,— кокетливо говорит оиа гостям,— я иикогда ие испытывала столько сладострастия в другие момеиты, как в момеиты удачного танца».— «О, это заметио,— отвечает граф Лео,— я бы сказал, что в вашем таице вы как-то изумительио приближаете к себе каждого, кто иа вас смотрит».— «До вакхической иитимиости»,— вставляет одии офицер. «До своеобразиого обладания,— добавляет другой.— У вас есть одии или два жеста, которые в этом отиошеиии шедевр». Графиня Митси тотчас с полиой готовиостью показывает «одии или два жеста». Все высшее общество аплодирует. Но как раз в эту мииуту входит хозяиин. «Извииияюсь, господа»,— говорит высшему обществу каицлер. Оказывается, иордландская армия отступила, «оставив иа поле битвы 30 тысяч нордландских юиошей».

Это сообщеиие канцлера зловеще закаичивает сцеиу великосветского бала. Достаточно очевидио, как иесимпатично вели себя в пору войиы имущие классы Нордлаидии. Если иа ком отдыхает душа, то разве иа графе Лео Дорибах фои Турау, иа лице которого так гармонично отразилась ладность чисто военной выправки. Несмотря иа свое аристократическое происхождеиие (по матери он из зиамеиитого рода князей Ваиольи), граф Лео у г. Луиачарского образ отиюдь ие отрицательиый. И автора, и иас привлекают в графе свойствеииые ему буриые страсти. Так, объясияясь в любви графиие Ларе, ои с мрачным хохотом говорит: «Ха-ха-ха! И вот помчаться в одии из близких дией в карьер, в атаку, крикиуть всей грудью: бог войны, в руки твои предаю дух мой! И вдруг — бац! Страшиым ударом быть разбитым... Каиуть в вечность... А краснвый труп подберут. И будут править тризиу... И в стольких жеиских сердцах остаиусь я жить молодым богом в таком сияиии, какого иельзя достигиуть при жизни ии в чьем сердце».— «Коиечно, смерть — это ужасио иитересио,— соглашается графиия Лара.— Я никому ие советую жить. Мие 19 лет, ио я уже ие могу ждать иеизведаииого. Все слишком прозаично. Хочется другой земли и другого иеба». Граф Лео опять адски хохочет: «Ха-ха-ха! Дай мие поцеловать тебя, только поцеловать тебя, чтобы я сказал себе, что и тебя я целовал, и чтобы ты вспомиила мой поцелуй, когда я умру...» (*Обнимает и целует Лару.*) «О! какой поцелуй! — стоиет графиия Лара.— Так целовал севильский обольститель».— «Это вкус смерти делает мой поцелуй таким пряиым»,— разъясияет граф Лео. «Пряиый, пряный поцелуй, как далекий остров»,— подтверждает графиия Лара. «Будто!?» — радостио восклицает граф, видимо пораженный (как и читатели) этим сравиением пряиого поцелуя с далеким островом.

Не буду продолжать цитаты. Картины того, как «любви пылающей граната лопнула в груди Игната», может считаться выясненной, и читатель, вероятно, согласится, что в стихах и прозе Игната Лебядкина, посвященных «ари-сто-кратическому ребенку, совершенству девицы Тушиной», нет ничего тоньше и изысканней. А еще Достоевского бранили за «шаржировку»!..

Пьесы г. Луначарского редко называются просто пьесами. Обычно они носят названия «мистерий», «драматических сказок», «драматических элегий», «идей в масках» и т. д. Действие этих шикарных произведений происходит в местах, исполненных крайней поэзии, главным образом, в готических замках с самыми шикарными названиями. Так, «Василиса Премудрая» разыгрывается в замке Меродах Раммона, «Медвежья свадьба» — в замке Медингилтас, «Три путника и оно» — в замке Шлосс-ам-Флусс. Когда действие происходит не в готических замках, то оно перебрасывается в «платановые сады», в «высокие скалы с глубокими провалами», на «высокую черную лодку, которой управляют два ассирийца», на «курящуюся предутреннюю гору», на «лестницу о бесчисленных ступенях», в «Монастырь Святых Терний на острове Презосе», в «страну Аз-Вау, где всегда голубой, даже синий свет», в «черную бездну о рваных краях» или просто «в иные пространства, в безбрежность». Одна идея в маске разыгрывается даже у «Божьего престола». И действующие лица разных пьес г. Луначарского тоже очень шикарные: барон Иеронимус фон Эллейгаузен, граф Эрих Ульм, принцесса Бланка, принцесса Эльза, безымянный «герцог с белокурой бородой», тоже безымянный «рыцарь хищного вида», король Дагобер-Крюэль, король Хиальмар XXI и т. д. Особенно много у г. Луначарского коронованных особ. В пьесе «Иван в раю» появляется даже целый «хор царей»: цари жарятся в аду и при этом хором поют: «Прощенья, прощенья! А! а!» Впрочем, г. Луначарский нередко восходит и повыше земных монархов: у него на каждом шагу встречаются существа неземные; ангелам он, можно сказать, и счет потерял. В одной его мистерии действуют «стальной ангел Габурах» и «белый ангел Гудулах»; в другой — целый ряд разных ангелов, которые потом тоже поют хором. Выступают у г. Луначарского и Дионис, и апостол Петр, и даже сам Иегова.

Наружность своих героев г. Луначарский обычно описывает подробно и всегда очень выразительно. В драматической сказке «Василиса Премудрая» царевна Ялья-м «открывает глаза, поправляет волосы дивным жестом тонкой руки и спокойно укладывается в любимую свою позу... Под ту же музыку стройная красивая женщина в лунной одежде несет высоко над головою годовалого ребенка, идет ритмично, окруженная свитой, то приближаясь, то отступая»... В «Василисе Премудрой» эта стройная женщина в лунной одежде — бесспорно самая грациозная и шикарная дама. Но в драматической фантазии «Маги» ей никак не уступит дивная Манесса. Она «вся одета волнами волос, быть может (?) обнаженная. Кроме очерка лица и длинных глаз, эбена волос, видно одно только белое плечо и медленно змеящаяся, полупрозрачная рука, которая кажется голубой». На губах у Манессы «странная улыбка, та, что у Леонардовой Джиоконды», а в восьмой картине поэмы, в сцене с Семпронием, который горько жалуется Манессе, что «давно ладоням жадным пира не давал касанья твоей атласной наготы», — дивная Манесса «касается пряжки блузы, одежда падает к ногам и оставляет ее гармоничное тело одетым лишь туникой. Он протягивает к ней руки с колючей и сладострастной улыбкой»...

Нет, положительно Игнат Лебядкин не мог бы выразиться столь шикарно.

Хорошо описывает г. Луначарский и мужчин, как земных, так и неземных. У Леонардо да Винчи, в драматической элегии «Юный Леонардо», «великолепный, сияющий лоб», «русые волосы с чувственной роскошью обрамляют это божественное лицо с мягким овалом и сочным веселым ртом. Смех и речь Леонардо неудержимо звучны», а целуясь с Ченчио, он «гибким жестом отдается его объятию». В мистерии, происходящей у Божьего престола, я с интересом ждал описания наружности Иеговы и не могу сказать,

3—1565

чтобы был разочарован. У Иеговы «золотые кудри и борода, голубые глаза полны блеска, высокий лоб, царственная осанка, величественные движения». Говорит Иегова «задумчиво» и в минуты волнения «теребит дрожащими пальцами золотые волосы своей бороды». Уже из этого описания наружности читатель может сделать вывод, что столь молодцеватый Иегова у г. Луначарского образ скорее положительный. Надо даже отметить, что автор, несмотря на занимаемый им высокий пост, счел нужным, по поводу своих мистерий, заранее очиститься от тяжких подозрений в симпатиях к неземным существам. «Я хотел бы,— пишет г. Луначарский,— предостеречь от возможного недоразумения. Фантазия моя («Маги») написана в терминах оккультизма и мистики, и, быть может, комунибудь из читателей покажется, что эта одежда в какой-нибудь мере отражает мое собственное верование. Этого, конечно, нет. Что касается основной идеи — идеи панпсихического монизма,— то я никогда не решился бы выдвинуть ее как теоретический тезис, как философию, которую я стал бы теоретически защищать. В жизни я считаю возможным опереться только на данные науки, строить только на прогнозах, покоящихся на ее незыблемом фундаменте, действовать только сообразно ее данным и под импульсом непосредственной живой страсти, дочери окружающей нас реальной общественности. Другое дело поэзия. Она имеет право выдвигать любую гипотезу и одевать ее в самые поэтические краски».

Автор мистерий, впрочем, совершенно напрасно оправдывается и просит снисхождения. Его Иегова задумчиво высказывает на протяжении мистерии ряд ценных мыслей, вполне дозволенных к обращению в Советской России. Г. Луначарский относится любовно и ко многим своим другим действующим лицам, «одетым в самые поэтические краски» не по данным науки. Можно даже безошибочно сказать, что в некоторых своих действующих лицах он, как все великие художники, отчасти изображает самого себя. Разумеется, в самых шикарных, в тех, которые имеют бурный успех у женщин, делающих дивные, гибкие движения медленно змеящимися полупрозрачными руками и носящих на своих гармоничных атласных телах лунные одежды или одежды из эбена чувственно роскошных волос. Так, например, я почти не сомневаюсь, что с себя г. Луначарский писал «Короля-художника». Король-художник, в заключение идеи в масках, восклицает слабым голосом: «О, Лоран! Как тяжело королю-художнику править страной грубых беотийцев». Чуткий читатель должен увидеть в этом восклицании результат личного опыта комиссара-афинянина, насаждающего просвещение в нашей грубой стране. И уж наверное с себя самого (да оно и естественно) г. Луначарский писал Леонардо да Винчи. В конце этой пьесы герой говорит: «Может быть, я вечерняя душа: я так люблю тени и борьбу с ними света... Я вечерний Леонардо. Но я вижу ясно там, там... (указывает вперед) Леонардо утреннего... Как в зеркале вижу... Оге, Нарди, оге!! (посылает воздушный поцелуй)»... Я не вполне уверен в том, что Леонардо да Винчи действительно посылает себе воздушные поцелуи. Но для г. Луначарского это, можно сказать, нормальное состояние; коммунистический Игнат Лебядкин с великолепным сияющим лбом и с вечерней душой каждой «идеей в маске» очень любовно и нежно себя целует.

Самый горячий воздушный поцелуй г. Луначарский послал себе в предисловии к «Магам», из которого я приведу отрывок: он, наверное, доставит удовольствие читателям.

«Драматическая фантазия «Маги» была написана при несколько исключительных условиях, быть может, представляющих некоторый интерес и с точки зрения теории творчества.

Написана она зимою 1919 года во время моего пребывания в Москве, переполненного самой горячей и самой утомительной работой.

Именно утомительность этой работы, ее напряженность и ее яркость в освещении великих и горьких переживаний нашей революции и побуждали меня искать какого-нибудь интенсивного отдыха. Этот отдых я нашел в поэтическом творчестве.

Дав совершенную свободу своей фантазии, я сел за «Магов», даже неясно представляя себе хотя бы основные контуры этой пьесы. Я просто хотел забыться и уйти в царство чистых образов и чистых идей.

Вся пьеса была написана по ночам после полных всяких событий и трудов дней. И понадобилось только 11 ночей для того, чтобы вся она вылилась совершенно такою, какою теперь является читателю. Никаких дальнейших поправок в ней мне не представлялось нужным сделать.

Несмотря на то, что в течение этого времени я спал от 3 до 5 часов каждые сутки, по окончании работы я почувствовал себя необыкновенно отдохнувшим, словно я побывал на каком-нибудь целебном курорте.

Одним из оснований моего решения издать эту книжечку была надежда, что, может быть, чтение ее доставит также кое-кому тень того сладкого и глубокого отдыха, который доставило мне ее сочинение.

Конечно, «Маги» связаны некоторыми тонкими нитями с переживаемыми нами событиями. Пьеса не является ни в какой мере ни отражением их, ни аллегорией. Искать чего-нибудь подобного, как делали некоторые из прослушавших ее,— просто нелепо. Но чуткий человек, быть может, поймет, почему эта гипотеза представляется особо утешительной и желанной во время грозных исторических событий и тяжелых, хотя вместе с тем торжественных и осененных надеждой личных переживаний».

По-моему, г. Луначарский совершенно напрасно скромничает: «быть может, представляющих некоторый интерес и с точки зрения теории творчества». Какое уж тут «быть может»! Не быть может, а наверное, и не для одних теоретиков искусства, а для всего человечества, и не просто идеи в масках, а именно «целебный курорт», «сладкий и глубокий отдых». Верно и то, что все творчество г. Луначарского связано тонкими нитями с «реальной общественностью». Для того, чтобы можно было судить о тонкости этих нитей, я позволю себе вкратце коснуться содержания некоторых его творений — красота их формы достаточно ясна из сказанного выше.

В трагедии «Королевский брадобрей», написанной белыми стихами, выведены король Дагобер и его родная дочь, красавица принцесса Бланка. Король, натурально, желает изнасиловать свою дочь — чего же другого можно было ждать от короля? Но так как Дагоберу, кроме того, хочется «плюнуть высшей власти в очи», то он требует, чтобы церковь благословила его намерение. Религия — опиум для народа, и церковь, в лице архиепископа, изъявляет согласие. Некоторые колебания возникают только у канцлера, который боится народного гнева в случае огласки дела. Канцлер советует королю «на coitus решившись, оный тайно и совершить». Дагобер, однако, нисколько не боится огласки и, созвав всех магнатов, объявляет им о своем решении вступить в брак с дочерью. Черствые магнаты ничего против этого не имеют. Протестует один лишь мэр Этьен, честный выходец из народа. На протяжении двух страниц мэр Этьен в самых горячих и благородных виршах ругает магнатов за то, что они «девицу предали на поруганье распутному, безумному отцу». Король приказывает отвезти мэра Этьена на казнь. «Этьена уводят, понурого и задумчивого». «Впечатление в общем тяжелое»,— метко замечает от себя автор. Впрочем, черствые магнаты, тотчас после увода мэра Этьена, «шумно и радостно» восклицают: «Виват, виват, король!» Дагобер вызывает к себе дочь (которая, кстати сказать, любит хорошего человека, Евстафия) и заявляет ей, что намерен ее изнасиловать:

К о р о л ь
Так-так-то, дочка.
Я мог бы разломать тебя. Я мог бы
Взять плеть мою и бичевать тебя,
Как виноватую собаку! Только
Ведь свадьба наша будет вскоре: кожу,

Девичью кожу белую испортить
Пред свадьбой не хочу.

Бланка
О! ужас! ужас!

Злодей-король стоит на своем. Кроме того, он, как обычно поступают в таких случаях короли, грозит зажарить на медленном огне Евстафия, так, чтобы Бланка могла «расширенными ноздрями нюхать обугленного мяса аромат»... При этой угрозе король хохочет не менее адски, чем граф Лео Дорибах фон Турау. Бланка немедленно сходит с ума; разумеется, она также хохочет,— и даже хохочет в три приема:

Бланка
Ты — Вельзевуль (*хохочет.*) А, ты не думал, глупый,
Что я тебя узнаю? — но назвала
Тебя я именем твоим. На, ешь
(разрывает платье на груди).
Ешь тело, грудь кусай, грызи, пей кровь!
(*хохочет.*)
Нет, не добраться до души вовеки,
Душа у мамы, нету здесь души...
(*хохочет и падает на скамью.*)

Подлый Дагобер, однако, неумолим, и душа принцессы Бланки, наверное, и вправду отошла бы к ее покойной матери — но, на счастье, королевский брадобрей, некий Аристид, по разным сложным, преимущественно философским соображениям «быстрым движением бритвы перерезывает королю горло. Голова короля отваливается». Аристид «садится на его грудь, размахивая кровавой бритвой», высказывает намерение отрезать королю также нос и уши и говорит, что сделал бы то же самое, если б был брадобреем у Господа на небе. На этом тонком замечании тонкая трагедия, связанная тонкими нитями с реальной общественностью, кончается.

Было бы странно, если б автору этой пьесы не вверили в Советской России дела воспитания юношества. Не нужно, однако, думать, что «Королевский брадобрей» написан по «агитзаказу» для обличения королей и магнатов. Короли и магнаты в нем обличаются, так сказать, попутно — в агитационных целях и не пишут длиннейших трагедий в стихах. Нет, главная прелесть драматических произведений г. Луначарского заключается именно в том, что они должны ставить перед избранными философские и эстетические проблемы предельного глубокомыслия: автор явно реформирует мировое искусство. Это с особенной силой сказывается в его чисто символических пьесах. Не буду излагать их подробно — и так прошу читателей простить эти выписки. Скажу только, что в мистерии «Иван в раю», в основу которой, по словам г. Луначарского, положена гипотеза трагического пантеизма, честный идейный борец Иван, поднявшись к престолу Бога, ведет философский спор с Иеговой и убеждает его отречься от власти в пользу человечества. Иегова, после 42 страниц философских диалогов, дьявольских монологов, ангельских и других хоров, «раздирающего звука труб», «кукования птицы Гамаюн» и т. д., соглашается с Иваном и сходит с престола. Надо отметить, что Ивану помог убедить Иегову «хор богоборцев во главе с Каином и Прометеем». И действительно, богоборцы говорили весьма убедительно. Вот как начинается богоборческая песня:

Аддай-дай
У-у-у

Гррр-бх-тайдзах
Авау, авау, пхоф бх.

Читатель не должен чрезмерно удивляться: г. Луначарский — сторонник того взгляда, по которому чисто фонетическая изобразительность в искусстве идет параллельно с философской глубиной и с роскошью поэтических образов. В песне богоборцев этот художественный прием особенно удался оранжерейному автору: авау, авау, пхоф, бх — прямо живой Прометей! Методы чисто звукового изображения г. Луначарский применяет во многих своих произведениях. У него даже есть длинные диалоги в таком роде. Так, в «Василисе Премудрой» некий «девомальчик», «со страшно большими и грустными глазами и ртом тоже грустным, но совсем маленьким», ведет в поводу страуса в сверкающей сбруе и поет:

Наннау-книяя-наннау-у-у
Минньэта-а-ай
Эй-ай
Лью-лью
Таннаго натальин-канная-а
Та-нга-нга-ай,
и т. д.,

на что Иги, другое действующее лицо «в серебряной сетке с алой феской на богатых кудрях», совершенно резонно отвечает:

Уялалу
Лаю-лалу
Амменнай, лаяй, лоялу...

Этот человек, живое воплощение бездарности, в России просматривает, разрешает, запрещает произведения Канта, Спинозы, Льва Толстого, отечески отмечает, что можно, что нельзя. Пьесы г. Луначарского идут в государственных театрах, и, чтобы не лишиться куска хлеба, старики, знаменитые артисты, создававшие некогда «Власть тьмы», играют девомальчиков со страусами, разучивают и декламируют «гррр-авау-пхоф-бх» и «эй-ай-лью-лью»...

Но все-таки хорошо, что г. Луначарский столь «неудержимо звучен», что он так любит «уходить в царство чистых образов и чистых идей». Пусть он и дальше, как его «шикарный флигель-адъютант», бряцает саблей и шпорами — монистической саблей и панпсихическими шпорами. Я рад, что государственное издательство издает пьесы утонченного тепличного растения на плотной, роскошной, прочной бумаге. Кое-что, бог даст, дойдет и до потомства, и, подобно графу Лео Дорнбах фон Турау, «культурнейший из большевиков» долго будет жить в сердцах людей ослепительно молодым богом.

Алексей Ремизов

Из книги «Взвихренная Русь»

Ветьё

26.10 — 31.12
1917 г.

I

56 дней — 8 недель высидел я в комнатах после болезни. Я прислушивался к воле за стеной, слушал рассказы с воли и писал «*Россию в письменах*», по обрывкам документов из «ничего» воссоздавая старую Россию — ее потревоженных китов, без которых она немыслима:

«баня — печь — ковш — базар — полиция — псалтырь — часовник — патерик — сундук — крест — грамотка — столбец — гадальные карты — странник — оракул — писмовник — календарь — святцы — помещик — азбука» и т. д.

Да потихоньку сидел над «*Временником*» —

«всеобщее восстание!»

Так и шли дни, перевиваясь снами.

* * *

Поздно вечером разговаривал с А. А. Блоком по телефону: ему кажется все таким мирным. А я ничего не знаю. Тогда (в феврале) была легкость и тревога — рушилась вековая стена. А теперь — даже весело: что-то из всего из этого выйдет? И надолго ли хватит? Смешение тьмы, дикости и самых ярких пожеланий.

у нас в доме обыск. Солдаты в турецких шапках. А главный — женщина.

«Вы ездили на Кавказ до станции Семлева?»

«Ездил»,— говорю.

И понимаю: тут не в Кавказе дело и не в Семлеве, тут что-то еще! И действительно, не успел я ответить, как солдаты в турецких шапках пропали, а я жду поезда. И замечаю, что по спешке набрал я в дорогу много лишнего: рваные калоши, линючую новобранку, гимнастические гири, всех цветов сартские тюбетейки, ключи, чулки, банки из-под какао. И все это я выбрасываю, спешу — а вещей гора! А за вещами у золотого пчелиного домика А. А. Блок на костылях:

«Малина,— говорит,— спелая!»

II

Ничего не знаем, как после большого праздника, когда газет не бывает. Министры Временного правительства сидят в Петропавловской крепости. Жалко мне М. И. Терещенку. Звонил Блок: тоже о Терещенке. Вспоминали «Сирин» и все те годы сиринские — какие далекие!

— — входит Владислав Ходасевич, а за ним мальчик из магазина: несет ему пальто зеленое —

«Достоевского!» — говорят.
Керенский наряжен монахом. И какой-то еще весь изможденный, а зовут его Загафедин. Я подумал, этим именем назову какую-нибудь мою игрушку — загафедин! «А зачем царя спихнули? Надо самим лучше сделаться, а потом и решать!» — говорит Загафедин.
Керенский брезгливо:
«Сам насмородил!» — и оправляется: непривычно ему в монашеском.
«А сказали бы домой идти, и винтовку бросил бы!»
— Ходасевич в зеленом пальто Достоевского юркнул в картонку. Я умылся грязной водой, а Чуковский плачет. «Мне, думаю, нехорошо, а ему — к прибыли». А он все плачет. «Купил,— говорит,— карету, а лошадей нет! купил кольца для кур, а и кур нет!»
И опять входит мальчик — который принес Ходасевичу зеленое пальто Достоевского. Посылка от Ф. И. Щеколдина! И сам Щеколдин появился. Распаковали посылку: а это высокий горячий кулич и коробка с напильниками. Щеколдин осмотрел кулич и напильники и скрылся. И еще несут посылку: от А. Н. Рябинина. Это яблоки — и все-то прелые, лежалые! Пасмурный облачный день. Тихо необыкновенно и только слышно, как звонят к обедне.
«На худой конец за сорок верст слышно!» — подал голос Ходасевич из картонки.
Сели в автомобиль и поехали.

III

Умер наш домовый хозяин Д. П. Семенов-Тянь-Шанский. Вчера он у нас читал свой «Временник», собирался прийти оканчивать сегодня вечером.
— — в Петербурге переворот: бегут солдаты и у всех у них новенькие блестящие погоны:
«Мы теперь все офицеры!»
И входит Д. П. Семенов-Тянь-Шанский с рукописью.
И вижу я: хочет он оплести нас шерстью.

IV

Получено известие из Москвы, будто во время переворота сожжен Василий Блаженный.
— Что же это такое сделали? — Ф. И. Щеколдин плакал, говоря по телефону. А я не верю — не хочу верить. «А если? если остались одни развалины, они будут святей неразрушенного. Нет, только бы что-нибудь осталось!»
Приходил П.: он очень смущен, оторопленный:
— Не бежать ли нам?
— Да нам-то чего?
Вот так все и разбегутся.
О хлебе: «хлеб тяжкой», это с соломой; «хлеб грядовой», это с мякиной.
— — мысли бежали так быстро, не выговариваясь, одним чувством! И я увидел Р. В. Иванова-Разумника. И дважды вместе съездили за границу: сначала в Рим и назад, потом в Париж и домой. Что было дорогой, не помню, только помню — попались нам сербские солдаты. А у Аверченки парикмахерская и аукцион. Я принес картину Бориса Григорьева и не знаю, кажется, ее уж продали. И что странно,

самому же Борису Григорьеву с придачей Добужинского. Добужинский тут же выдергивает канву из вышивки — «мед и яблоки», такая картина. З. Н. Гиппиус спрашивает, откуда я знаю, как она верует?
«Ничего подобного,— говорю,— это все М. К. Вольфсон: 5-я глава из Евгения Онегина, выжать 6 лимонов!»
И вижу: М. К. Вольфсон на закорках у Лундберга подымается по лестнице с Сахаровым, а за ними Шпет трусит.
«Все мы теперь ездим в 3-м классе!»
«Ничего подобного,— говорю,— вы не сидите в 3-м классе!» И идем с П. Е. Щеголевым, как когда-то в Вологде: хочется ему купить говядины и непременно в немецкой колбасной. А кругом мухи целыми грядами. Навстречу Чуковский с Чулковым: Чуковский — 70 000 процентных бумаг, Чулков — красное (церковное) вино.
«Мы приискали себе место!» — сказали оба.

V

Раскинув руки крестом:
«Я хотела бы, чтобы меня разорвали за вас!»
А другая, закрыв ладонями лицо:
«Умереть за дух Божий в человеке, а не за красные рожи!»
Какой-то, напившись на обыске, решительно заявил:
«Мне пора уходить!»
Когда теперь встречаются, всегда спор, а спор — одно оскорбление. Приходится доказывать, что ты человек,— а ведь все идет против этого признания.
— — я взял у А. А. Блока книжку с картинками. Мы в лесу, сидим за столиком. Промелькнул монах и скрылся, а вижу — вылезает из оврага. Я и говорю:
«Александр Александрович, жаловался мне монах, что выгоняют их из монастыря!»
А на улице народу, не пройти,— все, задравши голову, смотрят:
«Аэроплан летит!»
В окне ораторствует Иванов-Разумник: опять восстание в Петербурге.
Юрий Верховский («Слон Слонович») уж в доме картошку чистит, а на полу на корточках Виктор Ховин подбирает кожурку и все кучками складывает. Встречаю Николая II у ворот Александровского коммерческого училища в Бабушкином переулке на Старой Басманной. Он меня спрашивает: «Служил ли я где?»
«Нет,— говорю,— нигде. Я нетрудовой элемент».
«А Василий Васильевич?»
«Розанов — —?»
«Его еще нет,— перебивает Добронравов,— со Степуном застрял в лифте на Таврической!»
«Да теперь,— говорю,— нигде и лифты не ходят».
«З-а-с-т-р-я-л!» — повторяет Добронравов, выговаривая вразрядку.

VI

Присел к столу — если бы имел дар слезный, я заплакал бы! Который день С.П. лежит — припадок печени. И никого, одна моя уродливая тень.
— доктор Ланг живет на море; исследование показало, что у него жесточайшее

малокровие. И. С. Соколов собирает посылку: все в пакеты завертывает. И тут же, около, примостился А. А. Блок и И. А. Рязановский: кораблики и коробочки из бумаги свертывают, бормочут чего-то:

«Полотилин — платвушка —»

«Отпанет — отпадет —»

«Хапка — тяпка —»

Я подошел к Авксеитьеву да пальцем его в живот,— а из него пакля.

VII

Первый долгий поход на волю. Был на Кронверкском у Ф. И. Щеколдина. Шел пешком больше часу. С непривычки все странно. Вечером заходил наш новый хозяин М. Д. Семенов-Тянь-Шанский:

«14-го декабря в деревне убили его брата поэта Леонида Семенова».

Перед нами огромная площадь — гладкая торцовая.

Среди ночи раздался страшный взрыв: горел склад на Гутуевском острове.

— — черт сел мне на живот. Пятками по бокам колотит. (Вместо ног у него копыта.)

«Что ты это делаешь?» — говорю.

А он достал из кармана топорик, да как звезданет —

«Что ты делаешь?»

«Рубли достаю».

«А нельзя ли переждать — хоть день!»

«Никак нельзя,— и сам топориком работает,— хуже будет, как на пятаки меняться будут».

II

Саботаж

Жил маленький человек Акакий Башмачкин, его никто не боялся — чего хуже? А он писал себе в Департаменте и всех боялся. Так искони повелось:

Акакий Акакиевич Башмачкин всех боялся.

А как пошел голод да холод — холод да голод, а тут еще прижим да нажим, да зубило, и остервенел маленький человек Акакий.

И говорит себе Акакий:

«Жизнь моя пропащая, а дело мое малое, так втолковали нам искони, погибать так погибать, не хочу работать, да и все тут!»

И пошел маленький человек, пошел Акакий Башмачкин к себе к Калинкину мосту.

И опустел Департамент и все отделения — и первые и последние.

Так что же вы думаете? — к нему, ко мне-то департаментской, сами тридцать и три большие брата подступили:

— Возьми,— говорят,— товарищ Башмачкин, дела опять, пожалуйста!

А он им — и до чего осмелел человек! — Гоголь, ты слышишь ли — —!

— Да вы же говорили, что дело мое маленькое, а я — мля, сами и делайте: чай сумеете!

И связали за это маленького человека Акакия и в тюрьму подвальную посадили: изморозят, изморят — забоится! А ему хоть бы что — хуже не будет.

— А кто вот делать-то будет, вы, разумные, вы, большие головы!

III

Завиток

6.1 — 6.7

1918 г.

6.1

С утра метель. С винтовками ходят — разгоняют. Вчера арестовали Пришвина. Иду — в глаза ветер, колючий снег — не увернешься.

На Большом проспекте на углу 12-й линии два красногвардейца ухватили у газетчицы газеты.

— Боитесь,— кричит,— чтобы не узнали, как стреляли в народ!

— Кто стрелял?

— Большевики.

— Смеешь ты — —?

И с газетами повели ее, а она горластей метели —

— Я нищая! — орет,— нищая я! ограбили! меня!

— — —

На углу 7-й линии красногвардейцы над газетчиком. И с газетами его на извозчика. А пробегала с газетой — видно, послали купить поскорей, успела купить! — прислуга, и ее цап и на извозчика.

— И ты — —!

А она как орнет, да с переливом —

и где ветер, где вой, не разберешь.

— — —

Около Андреевского собора народу — войти в собор невозможно.

— Расходитесь! — вступают в толпу красногвардейцы,— расходитесь!

— Мы архиерея ждем.

— Крестный ход!

— Расходитесь! Расходитесь!

Толчея. Никто не уходит.

Какая-то женщина со слезами:

— Хоть бы нам Бог помог!

— Только Бог и может помочь.

— Узнали, что конец им, вот и злятся.

— Какой конец — —?!

— С крыш стреляли.

— Да, не пожалели вчера патронов.

— Придет Вильгельм,— поддразнивает баба,— и заставит нас танцевать под окном: и пойдем танцевать!

— Большевики устроили: каждый пойдет поодиночке с радостью.

— — — тут его и расхрястали.

— — — заснул на мостовой.

— — — взвизгнул, как заяц, и дело с концом.

— — —

Идет старик без руки и повторяет громче и громче:

— Наказал Господь! — Наказал Господь!

— Что? Что?

— Наказал Господь.

Старуха, протискиваясь:

— Что говорит?

— Да наказал Господь и погодку плохую послал.

— — комната: от окна к двери покато. Я его едва различаю: такой он прозрачный и вялый, но я в его власти. Он что-то себе задумал: то к столу подойдет, то к окну. Взял булавку и ко мне: хочет мне в палец всадить. Я ему говорю: «Перестань, ну что такое булавка? ну, воткнешь — —!» — уговариваю. Положил он булавку. И опять ходит. Знаю, что на уме у него — ищет что-то, чем бы больно уколоть меня. Подошел он к столу — а на столе моя рукопись! — да спичкой и поджег. Не велика, думаю, беда, скоро не сгорит! А сам рукой так — и огонь погас. И тут я заметил, что около стола наложены кипы бумаг, смоченные горючей жидкостью. И понимаю, не в рукописи дело, а метил он в эту кипу: перекинет огонь и вспыхнет. А вот и не удалось! Скучный он бродит, и такие у него мутные глаза — ищет. Взял золотое перо —

«Ну зачем?» — говорю.

А он как не слышит — он меня за руки: и всадил мне перо в палец.

9.1

Елку не разбирали, стоит не осыпается.

На Рождество у нас было много гостей: Сологуб, Замятин, Пришвин, Доброиравов, Петров-Водкин. Достали хлеба — на всех хватило.

Сегодня в газетах о убийстве Шингарева и Кокошкина:

«— — — когда они явились в палату, где лежал Ф. Ф. Кокошкин, Кокошкин проснулся и, увидев, что на него нападают, закричал: «Братцы, что вы делаете?!»

Долго разговаривал с Блоком по телефону: он слышит «музыку» во всей этой метели, пробует писать и написал что-то.

— Надо идти против себя!

После Блока говорил с С. Д. Мстиславским о Пришвине.

— Пришвина так же грешно в тюрьме держать, как птицу в клетке!

— — судят Пришвина. И я обвиняю.

«Так что ж я такого сказал?» — не понимает Пришвин.

«Да разве не вы это сказали: «надо их пригласить: люди они полезные в смысле сахара?»

И жалко мне его: знаю, засудят. Подхожу к Горькому — Горький плачет.

И тут же Виктор Шкловский, его тоже судят.

«А я могу десять штук сразу!» — сказал Шкловский. И, вынимая из кармана картошку, немытую сырьем стал глотать — — а из него вылетает: котлы, кубы, кади, дрова, горны, горшки — огонь!

19.2

Сегодня необыкновенный день: немцы вступают в Россию. Проходя по Невскому, видел, как на пленного немецкого солдата бабы крестились.

В Киеве убили митрополита Владимира.

Я его раз видел — в Александро-Невской лавре на вечерне в первый день Пасхи: он «зачинал» пасхальные стихиры особым московским распевом — «Да воскресиет Бог и расточатся врази его». Все это надо бы сберечь — и эту «музыку» для русской музыки.

Да, теперь и я тоже слышу «музыку», но моя музыка — по земле:

«тла-да-да-да-да» голодной песни!

Каюсь, не утерпел, съел просвирку: четыре года берегли, белая, Ф. И. Щеколдин из Суздаля привез! А я размочил и съел. И вспомнилась сказка: три чугунных про-

свирки и надо их сглодать, и когда сгложешь — — а я съел!

— — мне приносят мои картины: их несут на шестах, как плакаты. Я взглянул: да что же это такое? — квадратиками ломтики — сырая говядина! — рубиновые с кровью! И подпись: «бикфордов шнур».

22.2

В Москве при заходе солнца из солнца поднялся высокий огненный столб, перерезанный поперечной полосой,— багровый крест.

— — мы живем в гостинице и занимаем большие две комнаты. Утром. Слышу, стучат. «Надо, думаю, посмотреть!» И иду через комнату, а на полу кровь. Я вытирать — не стирается: большой сгусток — как вермишель.

26.2

Приходили с обыском красногвардейцы —

— Нет ли оружия?

— Кроме ножниц,— говорю,— ничего.

Глазели на мою серебряную стену, усаженную всякими чучелами.

— — в Москве в Сыромятниках пруд, и полон пруд блинами — блины как листья кувшинок. Это нам в дорогу: мы собираемся ехать в Москву.

И. В. Гессен спрашивает:

«А в Петербурге как у вас с прикреплением?» («Прикрепление» — отдача хлебной и продуктивной карточки в продовольственную лавку: дело очень трудное — надо успеть вовремя, а большая очередь!)

«Н. А. Котляревский,— говорю,— в Академии на чугунной плите чугуном припечатал!»

Последняя ночь, завтра в путь. Собрали мы корзинку.

«А как же с блинами?» — жалко бросать. Заглянул я в окно: а на пруду лодки — сетками, как бабочек, ловят, блины собирают.

2.3

В Бресте подписан мир с немцами. Видел во сне М. И. Терещенко: на нем драная шапка и пальто вроде моего. А сегодня, слышу, его выпустили из Петропавловской крепости. Вчера сбрасывали с аэроплана бомбы на Фонтанке.

— Задавит,— говорят,— нас немец!

И называют число — 23-е марта:

— 23-го марта немцы займут Петербург!

Разбегаются: кто в Москву, кто куда. Улепетнул и Лундберг, чудак!

Третий день, как лежит С.П.: опять припадок печени. Горе наше горькое!

— — Ф. Ф. Комиссаржевский сказал, что неделю назад сошел с ума актер А. П. Зонов — помешался над вопросом: «какой роман труднее?»

И вижу: женщина с провалившимся носом, черная, караулит Зонова. Входит Л. Б. Троцкий, подает телеграмму — а там одна только подпись отчетливо по-немецки: «Albern».

2.5

В Москве у Никольских ворот по случаю 1-го мая образ Николы завесили красной материей с надписью: «Да здравствует Интернационал!»

«И вот без всякой естественной причины в несколько минут завеса истлела и стал виден образ: от лика исходило сияние».

— — А. Э. Коган («Солнце России — Жар-птица») реквизировал дом на горе. Какая гора, я не знаю: очень высоко,— может, и Эверест! И дом так устроен, что часть комнат — под горою и выходят окнами к морю. Мы выбрали себе комнату наверху.

И оказалось, что это кухня, только совсем незаметно — без плиты с особенными шкапами, в которых кушанье готовится само собой: «Поставь, завинти, а через некоторое время вынимай и ешь, сколько влезет!» — объясняет «инструктор» инженер Я. С. Шрейбер.

В кухне А. Э. Коган не посоветовал нам селиться. «Берите,— сказал он,— другую комнату: здесь будет вам очень жарко».

И мы выбрали самую крайнюю с огромным, во всю стену, окном на море. И вдруг шум, с шумом открылось окно. И вижу, подплывает корабль. А из корабля трое во фраках, один на Г. Лукомского похож, а другие — под Сувчинского: тащут какую-то: — совсем пьяная, валится! А меня видят.

«Затянись!» — говорит Лукомский.

«А наши вещи?»

«Крепче — — все».

И вижу корабли — уплывают: корабли, как птицы, а белые — как лед.

21.5

«В составе Театрального отдела при Народном Комиссариате по просвещению учреждено Бюро историко-театральной и репертуарной секции. В это Бюро вошли: председатель П. О. Морозов (1920), члены — Вс. Э. Мейерхольд, А. А. Блок, А. М. Ремизов, С. Э. Радлов и Вл. Н. Соловьев».

Северная коммуна, № 95, 1918 г.

(Впоследствии вошли: профессор Ф. Ф. Зелинский, академик Н. А. Котляревский (1925), П. П. Гнедич (1925.)

Я пишу отзывы о пьесах и читаю. И когда я читаю, почему-то всем бывает очень весело и все смеются. Написанное откладываю для книги, которую назову «Крашеные рыла» (Изд. Грани, Берлин, 1922).

— — в каком-то невольном заточении нахожусь я. Только это не тюрьма. А такая жизнь — с большими запретами: очень много чего нельзя. Поздно ночью я вышел из своей комнаты в общую. Это огромная зала, освещенная желтым светом, а откуда свет, не видно: нет ни фонарей, ни ламп. Только свет такой желтый. В зале пусто. Два китайца перед дверью, как у билетного столика. Дверь широко раскрыта. И я вижу: на страшной дали по горизонту тянутся золотые осенние березки, и есть такие — срублены, но не убраны — висят верхушкой вниз, золотые, а листья крохотные, весенние.

«Вот она какая весна тут!» — подумал я.

В зал вошли пятеро Вейсов. Стали в круг. И один из Вейсов, обращаясь к другим Вейсам, сказал:

«Господа конты, мы должны приветствовать сегодняшний день:
начало новой эры!»

«Господа конты! — повторял я,— как это чудно: конты!» И подумал: «Это какие-нибудь акционеры: у каждого есть «счет» и потому так называются — контами. А сошлись эти конты, потому что тут единственное место, где еще позволяют собираться». И, не утерпев, я обратился к Д. Л. Вейсу (Д. Л. Вейс служил когда-то в издательстве «Шиповник»):

«Почему вы сказали: конты?»

И вижу: смутился, молчит.

«Я об этом непременно напишу!» — сказал я.

«Очень вам будем благодарны,— ответил Д. Л. Вейс,— у нас торговое предприятие».

И вдруг вспоминаю: не надо было говорить, что напишу,— писать запрещено! И

начниаю оправдываться; и чем больше я оправдываюсь, тем яснее выходит, что я пишу и, конечно, напншу.

И совсем я спутался. И вижу: дама в сером дорожном платье — жена какого-то конта. Я ей очень обрадовался: я вспомнил, что эта дама помогла нам перевезти наши вещи сюда.

«И Б. М. Кустодиев тут,— сказала она,— он тут комнату снимает!»

Успокоенный, что дурного ничего не выйдет из моего разговора, я пошел к входной двери. И тут какой-то шмыгнул китаец — и мы вместе вышли на маленькую площадку — —

Перед нами огромная площадь — гладкая торцовая. Желтый свет. А по горизонту далеко золотые березы. Китайцы старательно скребут оставшийся лед.

«Это в Германии их приучили в чистоте держать!» — подумал я. И вижу, из залы выходит очень высокий офицер, похож на Аусема. Да это и есть О. Х. Аусем, я его узнал. Но он не признает меня.

«Вас надо в штыки!» — сказал Аусем.

А я понимаю: он хочет сказать, что я должен отбывать воинскую повинность.

«Никак не могу!» — и я показал себе на грудь.

«У нас все заняты,— ответил Аусем,— одни орут... да вы понимаете ли: «орут?»

«Как же! одни пашут...»

И мы вместе выходим в зал.

«Вы из Кеми?» — спрашивает Аусем.

«Нет,— говорю,— я из Москвы».

«А где же ваша родина?» — он точно не понимает меня.

«Я — русский — Москва — Россия!»

«Ха-ха-ха!» — и уж не может сдержать смеха и хохочет взахлеб.

И я вдруг понял: а и в самом деле — какая же родина? — ведь «России» нет!

6.7

В ночь на Ивана Купала (по старому стилю) началась стрельба. Вчера убили графа Мирбаха. Я собрался в Василеостровский театр на «Царскую невесту», один акт кое-как просидел да скорее домой. Стреляют! И когда идешь, такое чувство, точно по ногам тебя хлещут.

— Восстание левых с-р-ов!

— — наверху в комнате стоит около стола Блок.

«Я болен!» — говорит он.

И вижу, он очень грустный. И тут же Александра Андреевна, его мать, в дверях. «Лепешки,— говорит она,— по 3 рубля: два раза укусить».

Андрей Седых

Там, где была Россия

На борту «Виргинии»

Термометр показывал 34° по Реомюру. На деревьях желтела и выгорала листва, земля покрывалась трещинами, люди в городах не спали — они жаждали влаги, северного ветра, холодных ночей. Ничего этого не было, столбик серебряной ртути неумолимо полз вверх. В эти августовские дни нельзя было думать о раскаленных вагонах европейских экспрессов. Оставался один выход — ехать морем, из Гавра.

* * *

Молодой человек, служащий «Трансатлантической компании», знает все языки мира, умеет разбираться в железнодорожных справочниках и помнит наперечет все суда, уходящие из всех европейских стоянок. К моим услугам была «Виргиния» — 12 000 тонн, отличная французская кухня. Молодой человек долго выписывал билет, похожий на дипломатический паспорт, грустно прохрустел новенькими бумажками и на прощанье посоветовал быть на борту за два часа до отплытия.

Эти два часа продолжались ровно десять: «Виргиния» грузилась, надо было ждать вечера.

Стюард разложил вещи, предупредительно открыл иллюминатор и посоветовал пойти погулять:

— Месье может посмотреть «Иль де Франс».

«Иль де Франс» пришел накануне из Нью-Йорка. Был сильный шторм, маневрировать было трудно. Входя во внутреннюю гавань, гигант ударился носовой частью о волнорез и получил пробоину в десять метров.

На пристани толпились грузчики, моряки, судовая прислуга. Все спорили о том, сколько времени будет продолжаться починка, будет ли пропущен ближайший рейс и сколько миллионов потеряет на этом компания. Называли разные цифры, но стоявший тут же метрдотель сказал, что компания не потеряет ничего, все заплатит страховое общество, а вот он, метрдотель, потеряет добрую сотню долларов,— все, что приносит ему обычный нью-йоркский рейс.

Во внутренней бухте стояла другая толпа. Здесь был пришвартован «Файр Крест», крошечная яхта, на которой Аллэн Жербо совершил свое кругосветное путешествие. Жербо возился у руля, на нем был простой матросский костюм из грубого полотна; накануне, на борту французского крейсера, он получил из рук адмирала крест Почетного Легиона.

По шатким сходням я спустился к нему на палубу. Жербо поздоровался и сказал, что не дает интервью с того дня, как один американский журналист предложил ему 2000 долларов за небольшую беседу. Но он охотно показал мне свою яхту, небольшую каюту с инструментами и полочкой книг, скромное хозяйство моряка, где нет ни одной лишней вещи и где каждый предмет имеет свое точное назначение.

— «Файр Крест» доживает свои последние дни,— сказал Жербо.— Я хочу заказать новую яхту, еще меньших размеров.

— Зачем?

— Чтобы быть совсем одиноким.

Кто-то постучал в дверь каюты. Вошел старый матрос, сторожащий теперь яхту. Он принес груду поздравительных телеграмм.

— Пишут и пишут,— ворчал старик,— денег им не жалко...

Жербо рассмеялся...

* * *

В порту было жарко, в воздухе стояли облака угольной пыли. В полдень работа замерла, лебедки перестали греметь, толпы грузчиков разошлись по гостеприимным барам. Здесь играла музыка, за несколько франков можно было выпить бутылку вина и вздремнуть часок на кожаном продавленном диване. Потом снова началась работа, грузчики побежали по сходням, согнувшись под тяжестью мешков с хлебом, в огромные корабельные трюмы стали спускать ящики, на которых было выведено: Каракас... Монтевидео... Сайгон. Эти названия далеких портов, новых стран и городов волновали, наполняли душу тревожным ядом — жаждой путешествий. О плаваниях говорили и товары, выставленные в окнах магазинов. Здесь торговали белыми колониальными шлемами, матросскими сундучками, компасами, морскими инструментами, якорями, канатами, фонарями с чечевичными стеклами — всем, что может понадобиться моряку в дальнем его плавании.

В маленьком баре, куда я зашел, было шумно и весело. Матросы пропивали здесь свою месячную получку, с ними были женщины; они хотели танцевать, но моряки пили и горланили песни. Между столиками ходил «сиди», с желтым лицом, изъеденным оспой, предлагал коврики, подтяжки, кошельки, часы и порнографические открытки. Матросы рассматривали открытки, а потом отгоняли «сиди» прочь, и он отходил, не возражая; он знал, что все зависит от случая и что, если матросы перепьются,— они, может быть, купят у него, не торгуясь, весь его несложный товар,— тогда он будет богат целую неделю...

На закате «Виргиния» вышла в море.

* * *

Пятидневное плавание. Море, солнце, чайки. Пассажиры первого класса лежат в шезлонгах, закутавшись в пледы. Их немного — несколько поляков, возвращающихся в Варшаву, чиновник литовского консульства в Париже и какой-то загадочный господин неопределенной национальности, не сказавший за всю дорогу ни одного слова.

Больше оживления в третьем классе. Здесь едет группа русских евреев, высланных из Кубы. Евреи возвращаются в Ригу. Привез их на пароход жандарм и сдал на руки капитану вместе с их невероятными узлами, сундуками и корзинами.

Эмигранты сидят на носу и греются на солнце. Пробыли они в дороге несколько недель, измучились, щеки их впали, обросли жесткой щетиной. Ночью они тяжко вздыхали и рассказывали чужому человеку историю своих странствований.

— Мы бедные люди, господин, а бедным людям везде плохо. В земле им хорошо, этим людям. Мы жили в Николаеве, работали, имели свой кусок хлеба, и дети ходили в школу. Но пришли большевики. Что вы знаете про большевиков? Что вы знаете? Они разорили нас, обрекли на голодную смерть. Разве им нужны сапожники или портные? Чекисты им нужны...

Мы бежали в Ригу, но там жить было трудно. На нашу голову, мы узнали, что можно устроиться в Кубе. Родственники из Америки прислали на поездку деньги, агент устроил

паспорта, и мы поехали. Морем ехали 17 дней. Прибыли. Оказывается, с 1-го мая Куба для иммигрантов закрыта. Продержали нас 10 дней взаперти, а потом отправили обратно. И теперь везут в Ригу... Вот уже второй месяц везут...

Близко от нас прошел пароход, сияя огнями иллюминаторов. Заревела труба.

Еврей помолчал, глядя в морскую даль, и потом сказал:

— Поживем в Риге и, Бог даст, весной поедем в Колумбию. Я от шурина письмо получил. Пишет, что в Колумбии можно устроиться. Будет кусок хлеба. Дай бог, дай бог...

* * *

В третьем классе едет еще группа «возвращенцев». Они прожили в Нью-Йорке 8—10 лет, получили американские бумаги и теперь собираются навестить родных в России. Все это молодые люди, не имеющие о советской России ни малейшего представления.

Первые дни они сторонились журналиста, но затем любопытство взяло верх. Стали подходить, понемногу расспрашивать.

— Как вы думаете, заставят нас платить в таможне за костюмы и лишнюю обувь?

— А много у вас костюмов?

— У каждого по 4. У меня еще два пальто и смокинг. 3 пары туфель. Ну и белье...

— Вы что делали в Нью-Йорке?

— В парикмахерской служил. Думаю устроиться в Москве. Свое всегда заработаю. Надоело, знаете, жить в Америке.

— А сколько вы в Нью-Йорке зарабатывали?

— 40 долларов в неделю. Проживал 20...

Другие возвращенцы работали у Форда; поразила меня их необыкновенная осведомленность о том, как живут в России. Все они убеждены, что их примут с распростертыми объятиями, сейчас же устроят на работу по специальности и что жить в Москве будет так же легко и приятно, как в Нью-Йорке. Рассказ об очередях, карточках и лишениях, которые испытывают живущие в России, встречен был недоверчиво:

— Это все мы слышали... В газетах пишут. Но не может этого быть. Надо своими глазами увидеть, убедиться...

Убедятся.

* * *

На горизонте все время дымки пароходов. Полный штиль. Пассажиры отдыхают после завтрака. Хорошенькая пани Врублевская флиртует с двумя инженерами, кормит хлебом обжорливых чаек и вообще вносит оживление в нашу монотонную пароходную жизнь. На третий день подходим к Кильскому каналу. Застопорили у шлюзов. На борт поднимается немецкий лоцман и несколько торговцев. Они предлагают безопасные бритвы, зажигалки и дрянной шоколад. Пассажиры рады этому развлечению и покупают. На берегу тем временем собирается группа любопытных — впереди всех мальчуган в картузе с кокардой: серп и молот. Спрашиваю у него:

— Что это за значок?

Внушительно отвечает:

— Я — красный фронтовик...

А всего-то «красному фронтовику» лет 10—12.

Всю ночь идем каналом. Тепло, небо в звездах. С верхней палубы доносится придушенный шепот:

— Пани есть ладна...

Обиженный голосок пани отвечает:

— Проша заставить мие в спокою!

Наверху, в каюте радиста, свет. Там вспыхивают голубые молнии, раздается короткий треск включаемого мотора, аппарат выстукивает точки и черточки. Радист с наушниками напряженно слушает — он принимает телеграмму, шумы далекого города мешают ему, но черточки вытягиваются в длинную линию — он понял и отвечает: на борту все спокойно.

В полночь иду в каюту. На верхней палубе шепот продолжается:

— Яка пенкна ноц...

— Прошу пана мие не нудить...

На этот раз голос как будто ласковый.

* * *

При выходе из Кильского канала встречаем пароход, идущий под красным флагом. На носу выведено: «Ковда — Ленинград». Вся палуба заставлена бочками — должно быть, везут соленую рыбу.

Возвращенцы заволновались, бросились к борту:

— Здравствуйте, товарищи!

— А вы русские? Куда едете?

— В Россию!

Разминулись. Но когда корма «Ковды» поравнялась с носом «Виргинии» — французские матросы радостно загоготали. На корме стояли три женщины в мужских костюмах — если только так можно назвать отрепья, в которые они были выряжены. Экипаж? Советские туристы, едущие поглядеть Европу и себя показать?..

В 5 часов утра на палубе топот ног, смех, крики. Оказывается, в третьем классе наводнение. С вечера кто-то забыл закрыть водопроводный кран. Вода текла всю ночь. Утром вахтенный поднял тревогу: в каютах вода на 30 сантиметров, все вещи подмочены, плавают туфли, небольшие чемоданы. Воду выкачали, а вещи пришлось разложить для сушки на палубе.

На четвертый день на горизонте показывается земля. Поляки взволнованы: предстоит высадка в польском порту Гдыня, расположенном всего в нескольких километрах от вольного города Данцига. Пять лет тому назад на этом плоском берегу была лишь небольшая рыбачья деревушка. Теперь поляки решили задушить Данциг и со сказочной быстротой выстроили большой порт и образцовый город. Это соседство пока еще не особенно сказывается: в данцигском порту все еще лес мачт и труб, а в Гдыне всего 2—3 парохода. Но на будущее время опасность есть.

С отъездом поляков, за которыми пришел катер, палуба «Виргинии» опустела.

* * *

В двадцати милях от Риги поднялся густой, молочный туман. Море побелело; светило тусклое солнце. В десяти метрах ничего не было видно. Протяжно выла пароходная сирена; другие пароходы шли в туман, они перекликались друг с другом; радист больше не снимал наушников, он все время принимал по радио направление...

В Ригу пришли под вечер. На пристани толпа ободранцев и латгальских мужиков ждала, когда пароход пришвартуется; они должны были грузить лес. Мужики были русские, в смазных сапогах, в картузах. Они толкали друг друга и сочно, матерно ругались. Бабы в платочках метелочками подметали рассыпанную на мостовой пшеницу, собирали ее в торбы, для птицы. Усатый полицейский вел за руку босоногого мальчишку; мальчишка всхлипывал и молил:

— Дяденька, отпусти!.. Накажи меня Бог, не буду... Отпусти, дяденька!..
Здесь была Россия.

Рига

I

Старый извозчик придержал вожжи, опытным взглядом оценил седока и сказал:
— На Мельничную? Это можно... 80 копеек, барин.

— Дорого! 60 дам.

— Да нет, барин, меньше 80-ти нет расчету. Прибавьте что-нибудь!

Сторговались. Фаэтон был ободранный, довоенного времени, лошаденка полудохлая, и, как ни стегал ее безжалостный «фурман» — так в Риге называют извозчиков,— всю дорогу она плелась шагом, не обращая на хозяина ни малейшего внимания.

Я ехал по главным улицам Риги,— десять лет тому назад бывшей русским губернским городом, а теперь ставшей столицей Латвии. Улицы в образцовом порядке, чисты, на углах эффектные полицейские — «картибнеки» — в белых перчатках, театральными жестами регулируют движение. Город наряден, тонет в зелени; приятно было видеть вывески не только на латышском, но и на русском языке.

Когда проезжали мимо монументального православного собора, зазвонили к вечерне. Старушка в платочке, торопившаяся куда-то, остановилась посреди площади и истово перекрестилась на купола... И этот спокойный вечерний звон, и эта богомольная старушка разом напомнили о России; Рига теперь латышский город, это чувствуется на каждом шагу, но русского здесь осталось бесконечно много, и, к чести латвийского правительства, надо сказать, что этот русский дух не особенно стараются искоренить.

Русский язык в Латвии пользуется такими же правами гражданства, как и латышский и немецкий. С телефонной барышней вы говорите по-русски, полицейский объяснит вам дорогу на чистейшем русском языке, в министерствах вам обязаны отвечать и по-русски; любой извозчик знает, что «Дзирнава иела» есть не что иное, как старая Мельничная улица.

Русская речь слышится на каждом шагу. Первые два-три дня приезжий оглядывается на говорящих, а потом привыкает. Гораздо труднее привыкнуть к тому, что у всех в руках русская газета «Сегодня». Из утренних газет она наиболее распространенная, покупают ее не только русские, но и немцы, и латыши. В вагоне, идущем со взморья, у всех в руках «Сегодня»; в час дня вечернее издание этой газеты буквально покрывает весь тридцативерстный пляж...

На улицах то и дело попадаются чисто русские типы — люди в косоворотках, в картузах. Каждое утро вокзал выбрасывает на рижскую мостовую латгальцев, приезжающих в город по делам или в поисках работы. Здесь увидите вы бабьи платочки, косынки, смазные сапоги, всклокоченные бороды, услышите чистейшую русскую речь.

* * *

А за каналом начинается Московский Форштадт.

Тут вы чувствуете себя совсем в России. Мостовые вымощены крупным булыжником, пролетка безжалостно подпрыгивает, вас бросает из стороны в сторону. По обеим сторонам Большой Московской лепятся одноэтажные деревянные домики с флигелями, с крылечками и александровскими колонками. Деревянные ставни откинуты на крючки, на окнах белоснежные занавесочки, герань, бесчисленные горшки с цветами и клетки с ка-

нарейками. В этих домах живет мелкое рижское купечество, бывшие чиновники, вдовы, сдающие комнаты внаем, «с утренним самоваром»; комнаты здесь огромные, в три-четыре окна, тщательно выбелены, уставлены кадками с фикусами, столиками с семейными альбомами в плюшевых переплетах... В подворотнях девушки лущат семечки, у колониальной лавки Парамонова какой-то паренек перебирает трехрядную гармонь и в такт себе подстукивает подковками... Колониальная лавка набита товаром. У дверей выставлены бочки с малосольными огурцами, с копченым угрем, рижской селедкой. А за прилавком вы найдете лососину, которой гордится Рига, кильки, шпроты, водку, баранки, пряники... У дверей стоит бородатый мужчина в рубахе навыпуск и серебряной цепью через живот — должно быть, сам хозяин, господин Парамонов. Время к вечеру — не сходить ли попариться в баньку? Банька здесь же, в двух шагах, и не одна, а несколько. В баньке дадут гостю настоящую мочалку, кусок марсельского мыла и веничек, а по желанию поставят пиявки или банки. А после баньки можно зайти в трактир — в «Якорь» или «Волгу»,— закусить свежим огурчиком, выпить чаю с малиновым вареньем... Так живут на Московском Форштадте русские люди — отлично живут, не жалуются.

* * *

На Большой Московской можно встретить замечательного человека — отца Николая Шалфеева, разгуливающего по городу, к великому смущению стариков, в штатском платье. Другому священнику этого не простили бы, но отцу Николаю разрешается; все любят его и все знают, что делает это он не по недостатку веры, а просто по нежеланию обращать на себя на улице особое внимание. Впрочем, некоторые объясняют это свободомыслием: разве отец Николай не ходит в театры?

Беседовать с отцом Шалфеевым необычайно приятно. Он расскажет о постройке нового храма, о старообрядцах, которых немало на Московском Форштадте, о нравах этих людей и о старинных старообрядческих молельнях. А тем временем хозяйка дома сооружит закуску; угостит гостя ледяной окрошкой, огурчиками собственной солки, какой-то особенной водкой, настоенной на травах... Потом на столе, покрытом белоснежной скатертью, появится кипящий, посвистывающий, захлебывающийся самоварчик, варенье смородиновое, малиновое, коржики собственного изготовления, сдобные булочки. Торопиться некуда, прихлебывайте чай, беседуйте с радушными хозяевами, и изо всех углов просторной квартиры будут на вас смотреть самовары — большие, малые, медные, никелированные — на все случаи жизни...

* * *

Раз заговорили о старообрядцах, то следует рассказать и о посещении Гребенщиковской общины, помещающейся на Московском Форштадте. Отправился я туда с сыном отца Николая, знатоком рижской старины и гласным думы, Б. Н. Шалфеевым.

У ворот встретил нас староста и эконом — почтенные старики: длинные бороды, сюртуки, картузы...

Входим в молельню. Вся стена в старинных иконах. Потемневшие лики святых строго глядят из тяжелых серебряных риз. Старообрядцы гордятся своими иконами:

— Подобных по всей России теперь не найти. Рублевской школы. И мастеров таких нет — давно секрет потеряли... Вот, изволите обратить внимание, Успение Божией Матери — наш храмовой праздник. А это вот Никола Беженец. В 1915 году, во время эвакуации, увезли его в Москву да впопыхах не успели вынуть из киота. Так и отправили. А вернулся он через десять лет, по договору от большевиков обратно получили, и даже стекло не разбилось... И с той поры называем мы его Никола Беженец. Минея месячная — той

чайшее письмо. Если в августе роднлись — вашего святого разыщем... Старниная нкоиа «Всякое дыхание да хвалит Господа». Живописец изобразил тигров, лошадей, змей, птиц подиебесных,— одннм словом, всякое дыхание... Соловецких святых заметьте: преподобиые Зоснма и Савватий — пчеловодов покровители. Народную поговорку зиаете: на Святого Пуда выиимай пчел нз-под спуда? Так вот, 15 апреля это выходит. Тут, значит, пчеловодам и следует помолиться преподобным... А это Неопалимая Купина — от пожаров охраняет. Есть еще от пожаров и молнии заступник — преподобиый Никита. Ему молиться следует 31 января...

Потом экоиом повел в свою комиату, кииги показывать. Книги были печатаиы при патрнархе Иосифе, в царствование Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. Были здесь старииные рукописи в кожаных переплетах, евангелие в золотом окладе с драгоцеиными камнями, другое евангелне в окладе серебряном — все дары старообрядческого купечества, пришедшего сюда в давиие времена, еще в XVII столетии. Старообрядцы бежалн в Ригу, бывшую тогда шведской, спасая свое «древлее благочестие» от московских царей. Когда Петр Великий взял Ригу, иашел он в городе великое миожество богатых купцов-староверов. Царь иемилостиво отнесся к иим, повелел стричь бороды, а миогих прогнал за Двину...

Мы подиялись на колокольню. Староста ударил в колокол, отлитый в России, из медн и серебра... Все вокруг загудело, и долго еще густой звук иесся над Двиной и Московским Форштадтом...

— Колокола наши московские... Вериули их иам большевики после заключеиия мира с Латвией... Слава Богу, а то пришлось бы новые заказывать; в Германии теперь их делают. Да звук совсем иной, ие умеют онн делать, из чугуна льют. Во дворе колокол стоит, иемецкий. Уже готов, дал трещииу... Нет, против иаших русских колоколов — иемцам ие выдержать!..

— Не угодио ли пройти в кельн настаиников? Попов у иас иет, мы беспоповцы, а начетчики и иаставиики живут тут же, при молельне.

Заходили в светлые, просториые кельи. Здесь было солнечно, просторио, пахло ладаном, спеющей аитоиовкой. Перед иконами светились лампады. В первой келье иавстречу иам подиялся старичок, сиял очки, перевязаиные веревочкой, иизко поклоннлся и сказал:

— Спаси вас Бог, благодетели иаши, ие забыли!.. А я тут помииальиичек переписывал... Спасн Бог...

И в других кельях иачетчнки инзко кланялись, запахивали свои драные ряскн; бороды их были белы как лунь, волосы на лбу придержнвал тоикий ремешок, подслеповатые глаза всматривались в лица пришельцев, сухие пальцы творили двуперстиое крестное зиамение.

— Вот они и живут у иас, по-моиашески, постиичают. Много лн надобио старичку благочестивой жизни?.. Есть у него келья, есть еда — ои и доволен. Живут у иас шестеро старичков. Деиь и иочь поочередио псалтырь читают, покойииков поминают... Только вот в праздники не читают, а так постояиио — друг дружку смеияют. Не угодио ли посмотреть?

В малой молельие было темио, сыро, в углу, у аналоя, горела тоикая свеча. Древиий старик стоял в пустой молельие и громким моиотоиным голосом читал псалтырь... Ои читал н останавлнвался, прозрачными пальцами перевертывал страницу, снова принимался за чтение н ни разу ие посмотрел иа пришельцев — ему было это безразлично, он чувствовал себя одинокнм, далеким от всего мирского.

— Да восстанет Бог н расточатся враги Его, и да бегут от лица Его иенавидящие Его... Как рассеивается дым, ты рассей их; как тает воск от огня, так иечестивые да погибнут от лица Божия... А праведннки да возвеселятся, да возрадуются перед Богом и восторжествуют в радости...

Мы вышли на просторный двор. Была тишина, светило яркое солнце, голуби важно разгуливали у ворот. На скамьях сидели старушки в черных платках, старики из старообрядческого приюта; они грели свои кости на солнце и о чем-то сосредоточенно думали...

Ударил колокол, было пять часов. Звонили к вечерне. Старички встрепенулись, перекрестились и один за другим потянулись к молельне...

II

С весны, как только пройдет лед, и до поздней осени по полноводной Двине гонят плоты. Идут плоты из России, из-под Витебска. Растягиваются по течению реки бесконечными караванами.

Плотовщики — народ бывалый, запасливый, любят брать с собой в дорогу баб: несколько недель, проведенных на воде, проходят тогда незаметно. Спят в шалашах, укрывшись рогожами, почти не раздеваясь. По ночам дрожат от холода, поднимающегося с реки, днем отогреваются на солнце. Бабы стряпают, стирают, штопают, а в трудных местах и на весла становятся.

Нелегка жизнь на плотах. Все время поглядывай, как бы затор не образовался, как бы на крутом повороте на берег не налететь. Еще, чего доброго, лопнут цепи, рассыплются бревна — и тогда собирай, лови их по течению,— да и сам не плошай: сухим из воды не выйдешь... Зато, когда пригнаны плоты в Ригу, проданы на распилку,— тогда есть у плотовщиков несколько дней отдыха и лишние деньги в кармане. Эти дни сплавщики леса ходят по городу, с изумлением останавливаются перед окнами магазинов, жадными глазами смотрят на караваи белых хлебов, на ящики с яйцами, окорока, колбасы, бочки с маслом... Всего вдоволь — нет ни очередей, ни заборных книжек, можно зайти и купить все, чего душа пожелает...

Я видел советских плотовщиков на базаре. Они ходили между рядами с красным товаром — страшные, ободранные,— выходцы с того света. Был август, стояла жара, но они не снимали меховых шапок с наушниками, подвязанными кверху тесемочками. Все были в истертых полушубках или дырявых красноармейских шинелях. Ходили гурьбой, боязливо посматривали по сторонам, придерживая за пазухой кошельки: чего доброго, беспризорный какой-нибудь выхватит!

Плотовщики долго приторговывали голенища для новых сапог. Я помог им, сделка в конце концов состоялась, и мы отправились вспрыснуть обновку в трактир «Якорь», славившийся при старике Молочаеве своей солянкой. Старик умер несколько лет тому назад, дело перешло в новые руки, но в трактире мало что переменилось. По-прежнему портовые грузчики и сплавщики леса приходят сюда выпить четверть подкрашенной водки и закусить куском жирного угря. Плотовщики приводят сюда случайных своих подруг или базарных торговок. На столах появляются пузатые расписные чайники, нарезанная белая булка. Чай пьют с блюдечка, вприкуску, до седьмого пота.

Бойкий половой устроил нас у столика, по которому ползали ленивые мухи, взмахнул полотенцем и вдохновенно выпалил:

— Водка, пиво, чай и другие минеральные напитки! Из закусок чего изволите? Можем предложить лососину свежую, копченую и жареную. Огурчики малосольные, томат-фарси и грибки в сметане. Грибок собственного маринада. Раки. Яичница, если желаете, с ветчиной или салом. Но свиную отбивную подождать придется — четверть часика без двух минут...

Порешили на пиве и раках. Тут внимание наше было привлечено шумом в соседней комнате. Дрались перепившиеся грузчики, что-то кричали по-латышски, их разнимал подоспевший «картибнек». Половой объяснил:

— Шпана надрамшись и, значит, скандалют...

Молча выпили, закусили горячими раками. Старший плотовщик вытер рукавом губы и с расстановкой сказал:

— К частнику попали. Тут тебе что угодно. За деньги. И раков, этих самых, и, обратно, пивка холодного.

Момент был подходящий. Я задал ни к чему не обязывающий вопрос:

— Ну, а как в России? Насчет еды? Все есть?..

Плотовщики насторожились.

— Все есть. За деньги. Только ты, дорогой гражданин, не того... Расспрашивать не полагается. Это нам запрещено. Обратно, мы за Ригу не говорим. Каждому свое интересно, а всем вместе один интерес — еще пара пива!

Помолчали. Потом старший наклонился ко мне и заговорил, обдавая пивным духом:

— Расспрашивать не полагается, дорогой товарищ из Риги. Сегодня поговорили, а завтра неприятности. Понял? Вот это оно самое и есть.

Допили пиво и ушли, низко, на глаза, нахлобучив шапки; на прощание старший плотовщик сунул мне мозолистую пятерню и хитро подмигнул глазом.

* * *

Нельзя писать о Риге и не рассказать о доме Черноголовых. Дом этот существует 700 лет, его прекрасный зубчатый фасад украшает площадь ратуши. Когда-то, в древние времена, на площади этой собирался рижский купеческий люд; базара давно уже нет, но до сих пор над старинным колодцем посреди площади стоит каменное изваяние неизвестного рыцаря, закованного в латы. Рыцарь охраняет свободу коммерции.

Черноголовые — рыцари и купцы. Общество было основано в начале XIII столетия, члены его миссионерствовали, торговали, копили богатства и защищали родной город от вражеских нападений. Нелегко стать Черноголовым. Для этого нужно быть холостым, урожденцем Риги, протестантом и принадлежать к купеческому сословию. Черноголовый с женитьбой лишается звания активного члена общества, он может еще носить фрак и треуголку, но шпага в ножнах из слоновой кости у него отбирается. В настоящее время есть только 13 Черноголовых.

* * *

На широкой лестнице гостей встретил седовласый, крепкий старик, вот уже 50 лет хранящий сокровища Черноголовых. Он повел нас по старинным полутемным залам. Со стен глядели портреты русских и шведских царей, навощенный паркет скрипел под ногами. В доме стояла удивительная тишина.

— Исторические сокровища дома Черноголовых поубавились,— сказал нам хранитель.— Коллекция серебра, равной которой не было во всей России, во время войны была эвакуирована в Москву. Само собой разумеется, большевики прибрали ее к рукам. То, что осталось в Риге, удалось спасти лишь ценой огромных усилий. Красные хотели уничтожить царские портреты, ставили меня к стенке, требовали выдачи оставшегося серебра. Было очень тяжело, но я выдержал — сокровищницу отстоял. После заключения мира с советской Россией Латвия потребовала вернуть ей, в числе прочих эвакуированных ценностей, и серебро Черноголовых. Понадобились длительные переговоры раньше, чем они согласились вернуть хотя бы часть имущества. Массивное серебро, столовый сервиз на 200 персон и многое другое до сих пор находится в советской России. Спасибо, хоть часть вернули: кубки, чары, блюда старинной чеканки и серебряную статую Св. Маврикия, покровителя Черноголовых.

При основании общества покровителем его был Св. Георгий. А затем общество приняло

покровительство Св. Маврикия, черноголового мавра, перешедшего в христианство и обезглавленного потом неверными.

Изображения Св. Маврикия всюду. Но внимание посетителя привлекают и другие портреты: Екатерины Великой, Петра I в молодости, Александра I, Николая I, Александра III. Все они побывали в доме Черноголовых и, по традиции, каждый что-нибудь оставил. Анна Иоанновна подарила свою туфельку из голубого атласа; туфелька эта слетела с царской ноги во время контреданса, на балу у Черноголовых. Александр II подарил свою фуражку, Николай II — перчатки. В витрине стоят высокие сапоги Карла XII. Король шведский потерял их в болоте, во время битвы за Двиной. Щит черепаховый Густава Адольфа, плеть, которой были изгнаны из Риги иезуиты,— множество табакерок, старинных книг, историческая коллекция, составленная за 7 столетий.

* * *

— Были вы у владыки? Это самая большая рижская достопримечательность. Сходите!

Архиепископ Иоанн живет в подвале, под собором. В «покои» ведет узкая винтовая лестница. Посетителя сразу охватывает сырость, тяжелый, подвальный дух. Низкие сводчатые потолки, на стенах пятна сырости. Нет ни одного окна, дневной свет никогда сюда не проникает. Днем и ночью горит электричество.

Скудно живет владыка. Несколько кресел, стулья. Шкафы с книгами. Иконостасы. Над столом — большой портрет патриарха Тихона. Кровать за перегородкой. В углу, у печи — груда поленьев... И сырость, и темнота в углах, и тусклый свет электрической лампочки как-то сразу угнетают...

— У нас отняли помещение архиерейского дома, нам принадлежавшего,— объясняет епископ.— Тогда, в виде протеста, я поселился здесь. Делались компромиссные предложения. Хотели мне купить новый дом, но я отверг. Это значило бы оправдать беззаконие. Архиерейский дом был православным мужским монастырем, нашей святыней. Я глубоко убежден, что, рано или поздно, справедливость восторжествует и архиерейский дом мы получим обратно... А помещение сие подвальное — нам к лицу, оно символизирует нынешнее, надо надеяться, временное положение православной церкви в Латвии. У нас отнят кафедральный собор, бывший усыпальницей архиепископов. Его превратили в лютеранскую церковь. И много других церквей отнято у православного населения Риги. Это тем более прискорбно, что в общем — латыши хорошо относятся к русскому меньшинству и его не притесняют. А вот православную церковь загнали в подвал. Говорю это, как депутат сейма, и обвинение неоднократно предъявлял властям предержащим с парламентской трибуны.

Долголетняя жизнь в подвале на здоровье моем не отражается. Здоровьем меня господь не обидел. Все в роду такие были. Дважды, благодаря своей силе, избег смертельной опасности... Должен вам признаться, что я гимнастикой занимаюсь. Летом в деревне работаю, на поле, в огороде, или плотничаю... С саном моим сие совместимо.

Сила у нас передается от отца к сыну. Дед мой, покойник, царство ему небесное, однажды рассердился на коня и легонько стукнул его кулаком по голове. А конь свалился и тот же час околел...

В молодости, до поступления в духовную семинарию, избыток сил смущал меня. Одно время думал стать борцом и даже учился этому искусству... В Риге живет один старый борец, так тот до сих пор называет меня: коллега...

В молодости и на Волге приходилось живать. Однажды крючники задевать стали: «Ты бы, батя, с наше поработал, мешочек бы поднял». Ничего я им не сказал, взял мешочек на спину и понес его по сходням. Выпучили глаза мои крючники: «Что ты, батя, в монастыре пропадаешь?.. К нам иди, в крючники, большую деньгу заработаешь!» А то случилось

раз такое. Колокол вериули нам из Москвы. Хороший колокол, в 14 пудиков весом. Специалисты разиые собрались, обсуждают, как его иа колокольию подиять... Леса какие-то строить хотят, или иа блоках... Посудили, поспорили и разошлись... А я взял этот колокол иа спиину, да и сиес его иаверх. Оио проще, да и ие так хлопотно. А то, еще иедавио, такой случай был. На взморье прибегает ко мне шофер: «Владыка, Ваше Высокопреосвящеиство, помогите автомобиль вытащить! В грязи завяз. Кроме вас, иикто ие сможет — силы ие хватит». Подобрал я рясу, понатужился и вытащил автомобиль... Вот и сила пригодилась.

Долго еще слушал я удивительиые рассказы архиепископа из подвала.



Бронислав Сосинский

Махно

Н. Черновой

Бердянск

I

«Запорожский окружной суд приговорил к расстрелу известного сподвижника Махно Каретникова. Верховный суд Украины заменил Каретникову расстрел 10 г. тюрьмы».

(Из газет.)

II

Все рухнуло. Быт устойчивый, как цены на базаре, мягкий и пухлый, как ситный в булочных, круглый, как медный пятак,— разлетелся вдребезги от первого орудийного залпа мокроусовских теплоходов. Со звоном покатился с пустого прилавка булочной последний пятак; метнулись по пустынным улицам людские тени, поползли вдоль заборов испуганные жители — за город, в окрестности или с чердаков в погреба.

Ко мне в комнату вбежал взволнованный Ицек Авербух:

— Семихат, на площади обвалился дом Ипатовых. Живем!

Милый Ицек, робкий, застенчивый, он странно оживлялся под гул снарядов — при первом свисте пуль.

Власть в городе менялась так же быстро, как цены на случайном базаре:

исправника сменил учитель русского языка;

роту железной германской пехоты отряд Мокроусова;

Мокроусова — владелец комиссионного магазина «Случайная вещь» Владимир Сирота;

Сироту — сам батько Махно, ускакавший на бурой кобыле в черной бурке от Третьего Елисаветградского ее императорского высочества Ольги Николаевны гусарского полка;

елисаветградцев перерезали ночью рабочие-металлисты и посадили на балконе гостиницы «Метрополь» Совет рабочих депутатов с курсисткой в черных очках во главе, расстрелянной на Песочной косе казачьей сотней полковника Морозова — в ночь на Рождество.

Ицек Авербух, черный, волосатый, в пенсне, носил значок выпускного класса: земной шар в венке с орлом наверху — без короны. Он жил со своей матерью в маленьком собственном домике на Воронцовской улице. В его комнате, оклеенной желтыми обоями, отчего она даже в сумерки казалась солнечной, висели портреты Достоевского в арестантском халате, Льва Толстого босиком и лицеиста Пушкина, еще так недавно сменившие цветные картинки из «Нивы». Он был очень прилежным учеником, и половина книжной полки, аккуратно оклеенной золотой бумагой, заполнялась учебниками, всеми — от приготовительного класса до «Анализа бесконечно малых величин».

Ицек был некрасив, и гимназистки первой городской гимназии не заглядывали ему в глаза, когда он, потупя взор, приподняв воротник потертой шинели, шел по улице. Но, несмотря на потупленный взор, он знал наизусть лица почти всех девушек города.

До поздней ночи горела керосиновая лампа в его комнате, и, несмотря на беспокойство матери:

— Ицек, ты все еще не спишь?

— он не мог оторваться от того огромного мира, который был создан им и другой половиной его книжной полки. В своей тетрадке в сафьяновом переплете он написал на первой странице: «Десять лет авантюристической жизни, десять лет созерцания и десять лет творчества».

Милый Ицек. Матрос Мокроусов подплыл к городу на теплоходах — и впереди его игрушечной флотилии шел маленький, старый, весь расползающийся от ржавчины катерок, на носу которого стояли огромные буквы: «О К Е А Н».

Но этот матрос и его теплоходы заставили весь город со своим дорогим скарбом, накопленным веками трудовой жизни, отойти на двадцать верст в глубь земли и тысячу семей ночевать под открытым небом,— этот Мокроусов воскресил библейские времена, и темное ночное небо окрестил небом Израиля.

Ицек оживал в такие дни. Он один бегал по пустому городу, угадывая, в какой дом попадет очередной снаряд. Ицек помнил: «десять лет авантюристической жизни».

Ровно через месяц катерок «Океан» валялся на берегу моря, совершенно развалившийся,— как гнилая рыба. Мокроусов бросил свой флот и с отрядом бандитов шел на Гуляй-поле, преследуя десятитысячную армию генерала Решитилова.

А Ицек сидел в своей солнечной комнате и писал письмо комиссара Владимиру Сироте, бывшему владельцу комиссионного магазина «Случайная вещь»,— а тихий голос из другой комнаты вдруг заставлял его подымать голову и прислушиваться к тишине и к своему сердцу:

— Ицек, ты все еще не спишь?

Все рухнуло. Быт неустойчивый, как цены на базаре; власть случайная, как комиссионный магазин; горе огромное, как исход Ицеков.

III

На балконе гостиницы «Метрополь», против Шмидтовского сквера, стоял батько Махно. А рядом тесным кольцом: Каретников, Щусь, Хмура, Рогоза и те, кто как ни старались, но все же в историю не попали (с балкона не сошли).

Еще гудели вдали орудия, кучка пленных стояла на площади еще не расстрелянная, еще дымился разрушенный дом против собора, а уже бесстрашный батько Махно, спокойно улыбаясь, принимал парад.

В синей суконной поддевке, лакированных сапогах под запорожскими шароварами, подбоченясь, заломив папаху, гордясь своим парабеллумом в деревянной кобуре, он ухарски глядел вниз на улицу, по которой проходила его армия. Хитрые глазки под прямым лбом, маленький носик вверх — хрю! — и выпирающие, разносящие рябое лицо по сторонам скулы в обрамлении жестких волос, черных, как смоль, маслом приглаженных,— отец-дьякон села Новоспасовки таким бы гордился,— водитель народных масс, любимец деревень и сел Украины, баловень судьбы — разве не Пугачев?

Глазки смеялись: какой там! Сельский учитель из Гуляй-поле, лихой гармонист и песельник,— ущипнуть какую девку или дать по зубам урядику — первый мастер на всю волость! Какой там Тамерлан! Просто первым закричал: гуляй, ребята, вовсю! За отсиженные в тюрьме годы, за душный тюремный воздух — до неба вскрою земное брюхо, разворочу сатанинскую язву. Камня на камне не оставлю. Двадцать пять человек было

месяц тому назад. А теперь — пятидцатитысячная армия! Разбил ее на дивизии, полки, батальоны:

«Вторая дивизия, форсированным маршем на Мелитополь!»;

«Первая батарея, стать на позиции за лиманами!»;

Полководец! Главнокомандующий! И какой? — народный: батько, здорово!

— Батько, здорово! — неслись крики вверх на балкон вместе с папахами, выстрелами и воем сотни здоровенных глоток.

— Не ударим в грязь, батько! Завтра возьмем Мелитополь,— закидывались головы, блаженно и пьяно искали тысячи глаз рябое лицо батьки.

Проходила пехота на тачанках, звонко — справа повзводно — шла конница; трехдюймовка без замка (так, для декорации) громыхала, запряженная шестиадцатью лошадьми (так, для пущей важности); потянулся обоз — «медицинский пункт» — в старомодной карете, на которой не раз выезжала тетушка Шпоньки. Потом опять тачанки, новые полки пехоты, конница...

Когда палили вверх из винтовок, могучий бас Каретникова топором повисал над площадью:

— Берегите патроны!

И в ответ снисходительно улыбался Махно: «Такой он у меня строгий»,— принимал крики восторга и вместе с криками скрип давно не мазанных колес и цок подков о камни мостовой. А редкие прохожие — «благодарственное население» — шарахались в подворотни, молились в темных углах почтенные граждане, никогда не ходившие в церковь, любопытные женские глаза испуганно отодвигали занавески на окнах — «лишь пара голубеньких глаз... что немало здесь будет проказ»,— с замиранием сердца ожидая наступления нового дня.

— Здорово, батько. До свиданья в Мелитополе.

Стадо людей, табун лошадей, обозы за обозами — то ли татарва на Русь святую ползет, то ли Русь святая двинулась на татарву. Ругань топором, дым коромыслом, гарь столбом, а над всеми — вниз с неба — свисается веселая голова Махно:

— Братцы! До победного конца. Смерть помещикам! Жги усадьбы! Вот он, на нашей улице праздник. Анархия — мать порядка! Да здравствует свобода!

Ицек Авербух снял с полки тетрадь в сафьяновом переплете и вписал в нее: «Сегодня решаюсь. Прости меня, мама: если что случится, знай...»

И Ицек горько задумался.

В самые страшные, в самые опасные для каждой человеческой жизни дни, когда земля держалась на взведенном затворе винтовки, он, Ицек, решился на первый шаг.

За окном, по Воронцовской улице, тарахтели махновские тачанки, неслась солдатская песня. И вдруг, перерезая ее, прозвучали отдаленные залпы из винтовок: то на Песочной косе умирал комиссар Владимир Сирота. Занималась вечерняя заря.

По площади — из гостиницы «Метрополь» в комиссионный магазин «Случайная вещь» — шел Каретников, командующий первой армии и комендант города, в кожаной куртке, большой, круглолицый, широко раскидывая ноги. Сегодня ночью придет к нему Марфуша, которую он долго возил в карете тетушки Шпоньки, пока она наконец не улыбнулась ему, как улыбается всеобещающее весеннее утро.

Каретников, здоровый, крепкий, с маленькими усиками, дышал огромными легкими, глотая крест на соборе и пугая ворон, и горячился, как жеребец Щуся, при мысли о завтрашнем бое под Мелитополем и сегодняшнем, с Марфушей.

— Сатана тебя возьми, сколь веселая жизнь!

Поздно ночью, когда миры рассекали небо и гибли за квадрильоны верст от Бердянска, а Надя, стоя у окна, запоминала желание, Ицек Авербух, напрягая все усилия к тому, чтобы шорохом не разбудить мать, вышел из дому...

Под Новоспасовкой шел бой, и отдаленный гул, то приближающийся, то отдаляющийся, всю ночь томил бессонницей, боязнью и надеждой жителей и меня, в частности, влек к себе.

Утром другого дня Ицек, встретив меня на улице, сказал:

— Семихат, пожми мне руку: я скоро уезжаю.

— Куда, Ицек?

Он загадочно улыбнулся, но веселья в этой улыбке не было.

— Кто знает? Может быть, в Париж.

IV

Мне трудно говорить обо всем этом. Это не рассказ — это обвинительный акт. Обвинительные акты составляются бессонной ночью за столом, покрытым красным сукном, при свете трех свечей.

Милый Ицек. Мне недавно здесь, в Париже, рассказывала Надя о своей любви к вам. Все ее улыбки вы всегда относили на мой счет, и только раз...

Но простите, дорогие читатели. Я увлекся. Жизнь и беллетристика — это такие разные вещи.

...И вот наступил день. В шесть часов утра меня разбудили.

— Вставай, Семихат. Арестован Ицек. Идем к Каретникову.

Слова упали на меня тяжелым одеялом, я сбросил его, быстро оделся и вышел со всеми из дому.

Уже на акациях появились почки (это я хорошо помню), и ранние солнечные лучи бороздили улицу, обещая прекрасный весенний день. В такой день, ровно год спустя, мы сбили махновцев с Перекопских валов и вдребезги разнесли два полка; в такой день был убит наш славный командир — хорунжий Шевченко.

По дороге в гостиницу «Метрополь» я узнал все подробности ареста Ицека. Его обвиняли в уголовном преступлении. От имени анархистов он рассылал местным купцам угрожающие письма с требованием денег. Мы шли сейчас не просто — мы были депутацией от учебных заведений города с просьбой о помиловании.

Милый Ицек, десять лет авантюристической жизни, десять лет созерцания и десять лет творчества. Вот арестантский халат Достоевского, вот темные стены тюрьмы вместо солнечной комнаты, и мать, еще ничего не знающая о судьбе сына.

Милый Ицек, помнишь ли ты этот день?.. Мне не забыть...

Стояла группа людей у гостиницы «Метрополь», и нас не впустил дюжий махновец, сказав, что Каретников сейчас выйдет.

— Он занят разговором с одним из ваших у себя в номере,— пояснил его адъютант Рогоза, вышедший на улицу поплевать в раннее небо.

Мы недолго ждали.

— Разойдись по сторонам! — гаркнул дюжий махновец.

И на крыльце появилась знакомая, съежившаяся в воротник потертой шинели фигура Ицека. За ним вырос Каретников, стянувший свое мясистое лицо двумя хмурыми бровями.

Лицо Ицека было совсем белым, он страшно сгорбился, и мне показалось, что я его не видел десять лет. Глаза его поймали наши и засветились чем-то и знакомой болью, той самой, наверное, с которой слушал он ночной голос матери. Он сошел с крыльца и не знал: повернуть ли ему влево или вправо. Он робко оглянулся на Каретникова. Брови комендаита сжались страшным усилием, стальной голос прорезал мертвую тишину:

— Этот негодяй, буржуазный прихвостень, грабил население именем нашей партии. Вот как судит таких крестьянская власть.

И Каретников полез за наганом.

Ицек тихо застонал, нелепо поднял руки, неловко запнулся на повороте и упал на колени. Его руки обняли высокие сапоги Каретникова.

Как курок нагана, сжались в последний раз брови Каретникова,— так, что грянула площадь. Раздался выстрел — и руки Ицека, как плети, упали вниз, а тело ласково припало к ногам коменданта.

Отбросив ногою труп Ицека Авербуха — десять лет созерцания,— Каретников, широко раскидывая ноги, поднялся на крыльцо, вошел в гостиницу и только наверху лестницы вспомнил о своих вчерашних победах: Мелитополь и Марфуша.

— Ицек, ты все еще не спишь?

V

Когда мы везли Ицека на извозчике и кровь стекала по виску и капала на подножку коляски, только-только просыпались улицы, в домах открывались окна и самым невероятным блеском солнце обнимало город.

И не то, и даже не это заставляет меня сейчас писать негодующие слова против милости Верховного суда Украины — все же десять лет тюрьмы, десять Ицкиных лет созерцания вам, Каретников,— даже не это, не этот выпускной значок с земным шаром, потонувшим в крови и недоумении, даже не то, что я сейчас заведомо порчу свой рассказ, ударяясь в слезу и публицистику,— а только вот это:

Извозчик остановился перед маленьким домиком на Воронцовской улице. Открылись ставни, и в окне появилось лицо матери — перед ее ли домом остановился извозчик. Как раз в это мгновение мы снимали с извозчика тело Ицека. Стены домика, всю улицу насквозь, навылет пронзил крик, и на крыльце в широких старомодных панталонах ниже колен, с куском рубашки сзади, как рисуют детей на пасхальных открытках...

VI

В фуражке телеграфиста без значка, в большой черной бурке, на бурой кобыле примчался в город и стал на площади батько Махно, а с ним Щусь и Каретников.

Щусь в гусарском мундире — доломан, ментик, бриджи, розетки — и в матросской фуражке с георгиевской лентой — золотом: «Свободная Россия»,— на своем знаменитом жеребце, украшенном лентами, цветами, бусами ниже колен, и Каретников — в кожаной куртке, мрачный, тяжелый, пригибающий спину гнедого мерина,— кружились вокруг Махно, а Махно обнимал их крыльями своей бурки и кричал в пустую площадь:

— Товарищи! Братья! Через час погибнет ваш город от белых банд. Все на защиту! Рабочие — за свободу! Все за оружие!

И не прошло и часа, как человек двести случайных прохожих в боевом порядке, повзводно, выступили из города навстречу армии Деникина на подкрепление отступающим частям махновцев.

Еще три часа держался город — до сумерек, но когда сошли с улиц дневные тени и стали зажигаться в доме редкие огни,— стадом, вперемешку: тачанки, орудия, пехота, конница, карета тетушки Шпоньки — понеслись по городу дивизии, полки, батальоны. Навстречу бегущим — у собора — метнулась тень бурой кобылы.

— Стой! Назад! Сволочи — в три гроба! Назад!

Бурей носилась черная бурка вдоль разрозненного войска.

— Братцы! Не отдадим города. До последней капли! Все — за мной! Вперед! Ура!

— Ура-а-а...— ответно кричали махновцы, продолжая бежать.

И черная, объятая ужасом поражения толпа смяла развевающуюся бурку, смяла кожаную куртку и гусарский мундир и исчезла из города в ночь.

Как на параде: в английских новеньких мундирах, в золотых погонах — ать-два, горе не беда — вошли в город пехотный полк генерала Маркова и Елисаветградский гусарский эскадрон.

Вечером второго дня в офицерском собрании был бал, и всем показалось, что снова быт устойчивый, как цены на базаре.

Я шел по Воронцовской улице и думал о страшной судьбе Ицека Авербуха, о библии, написанной Мокроусовым, Махно, Каретниковым, и, проходя мимо маленького домика, остановился у забора и заглянул в окно.

Перекоп

I

Большая обида ожидала меня, когда я вернулся в полк из лазарета, где целый месяц лежал в тифозном бреду.

Болотов набил холку моему гнедому жеребцу, а мой офицерский наган, который я любил больше карабина, оставил в одной избе Перекопа, когда они пасхальной ночью в одних подштанниках удирали от махновского обоза.

— Болотов,— кричал я,— где мой конь, где мой шпалер?

— А шуба где? Дай шубу,— отвечал Болотов, равнодушно стягивая ремнем свое щегольское галифе.— Дивная шуба на лисьем меху!

Да, помню и не забуду: когда заболел тифом, меня уложили на подводу, и сердобольный Болотов снял с себя шубу и накинул на меня. Он долго кричал — и мне и подводчику:

— Смотри за шубой. Сховай, как приедешь в Симферополь. Привези обратно.

— Смотри за конем, Болотов! Чисти шпалер на зекс.

И шубу эту самую еще по дороге кто-то стянул с меня — на что умирающему такая шуба! — и я не заметил, потому что был без сознания...

— Катись колбасой, Семихат, на легком катере. Загнал мою шубу, на табак разменял. Конь твой дохлый был. Одно название — жеребец: мерин, да и только. Дохлый конь, Семихат. Не ржет, кобыл зевает — без нутра жеребец... А что дороже, жизнь моя или твой шпалер? Такая волынка была! В один момент сдали и Перекоп, и Армянск. Ты в это время в белоснежной постельке покоился и с сестрицами миндальничал.

— Молчи, Болотов. Целый год с коня не слезал. От Бердянска до Чернигова, от Конотопа до Перекопа носил он меня. Не обижай коня, Болотов.

Долго мы ссорились и обижали друг друга,— но конь, наган и шуба не вернулись к нам.

Под вечер того дня я с младшим унтером Лисенко поехали в ближайшее имение, где, по слухам, еще было несколько лошадей. Я обменял своего испорченного жеребца на кобылу вороной масти с белой звездой на лбу и белыми чулками на передних ногах. Управляющий имением — трясущийся старичок — боролся за кобылу до последних сил. Мы с Лисенко, как цыгане, защищали статность и бурливость испорченного жеребца и хулили медлительность кобылы. Но если бы не наши карабины и шашки,— ни один дурак не согласился бы на такую мену.

Старик заплакал, когда я стал переседлывать коней. Но мы с Лисенко не могли ему помочь, потому что в эту ночь наша дивизия переходила в наступление.

Кобыла была чудом — и я в ту минуту почти без жалости покидал своего старого друга. Я смирился с этой тяжелой потерей еще раньше: конь без холки — это человек без души. Но я никогда не забуду, какими глазами смотрел на меня жеребец. Он не хотел оставаться в имении и шел за мной. Ругаясь, я слез с кобылы, свел его в конюшню и накрепко привязал его веревкой к стойлу.

II

Снег уже сошел с земли, и грязь по дорогам была непомерной. Ни один булочник так ретиво не месил тесто, как наш эскадрон в памятную ночь дорогу от деревни Воронцовки до татарской деревушки Кухач-Лама.

Ночь была туманной, безлунной, чудовищный мрак ваял исполинские фигуры неприятельских коней и всадников... Курить было запрещено, но не из необходимости, а больше для поддержания дисциплины.

С присвистом, щелканием извлекались конские ноги из грязи в равномерном, хлестающем воздух шуме. Каждый различал только две-три фигуры своих соседей — все остальное тонуло в темноте таинственной огромной мокрой тысяченожкой.

Сзади меня правофланговым ехал Болотов. Вполголоса, сидя боком на седле и опираясь ладонью в подбородок, а локтем в колено, покачиваясь, наклоняясь, он рассказывал Лисенко:

— Понимаешь, друг, есть в Бердянске трактир. Знаменитый трактир, доложу я тебе. Когда ни придешь, то хозяин бьет посетителей, то посетители целым обществом — до крови — хозяина. Целое лето ни одного стекла в окнах: все повыбиты. А зимой на часах караулит в трактире стекольщик. Бессменно работает... Так вот, друг мой, доложу я тебе, в трактире этом позапрошлым летом повстречал я бабу...

Я хотел перебить Болотова, но вспомнил, что мы с ним в ссоре.

«Помириться бы с ним ради праздника»,— мелькнула мысль. Но первому не хотелось: вспомнились конь и наган.

— Стой! Сле-з-а-а-а-ай...— негромко пронеслась команда по эскадрону.

Мы вошли в татарскую деревушку, давно оставленную жителями,— наш передовой пост. За нею начиналось поле в версты три, и следующая деревушка была занята махновцами. Мы угадывали первую боевую задачу: врасплох напасть на врага и двинуться по дороге в Армянск. За огромными стогами сена мы перестроились, повзводно разошлись влево и вправо, потом рассыпались в лаву и двинулись вперед.

Я был погружен в заботу, как бы первым не ворваться в деревушку, и советовал ребятам не терять связи с другими взводами. Было пять часов утра, и мрак немного рассеялся, когда мы ощутили невдалеке приплюснутые тени домов. Там было тихо, но тихо смертельной тишиной.

— Рысью марш!

Лязгнули во мраке, как зубы темного чудовища, шашки, вынимаемые из ножен,— цокнули шпоры.

В это время слева раздался истошный вой сотни глоток — мы заорали, как жиды во время погрома, и пустили коней в карьер. Только несколько выстрелов встретили нас, да закашлял спросонья пулемет, без боя сдались махновцы.

Я радостно улыбнулся: их горсточка всего!

Только потом, как прошли деревню, то тут, то там мелькнули неверные тени. Кто

припадал к земле, кто бежал в ложбину, но предательский рассвет улавливал их в свои сети. Каждый кому не лень охотился за этими тенями, и они исчезали в мутном рассвете.

Кто во что горазд. Болотов так просто бил по зубам, крича, как зарезанный:

— Где моя мать, махновская сволочь! Расстреляли, убийцы! Родную мать не пожалели. Рви, ребята, шпану!

Хотя всем в полку было известно, что мать Болотова умерла от тифа, но Болотов не мог отвыкнуть от своей привычки и расстреливал и бил всегда за расстрелянную мать.

III

Уже совсем рассвело, когда мы были на полдороге к Армянску. Далеко справа, у Сиваша, двигалась лента всадников: части нашей дивизии. Слева, по берегу Черного моря, замирали две колонны. Армянск скрывался за туманом в ложбине, но под туманом ощущалась страшная куча муравейника.

Вдруг в тумане блеснул огонь: Армянск закуривал цигарку. В следующую минуту донесся орудийный гул и в полуверсте от нас разорвался снаряд.

— По нас бьет, в три гроба! — выругался Лисенко.— Сейчас пристреляется.

Блеснуло несколько огней в Армянске — один за другим загудели снаряды.

— Трехдюймовка, пустяки, для детей. А вот и шрапнель. Похуже.

Облако повисло в воздухе, потом расплылось. Из целого десятка орудий лупили махновцы — гвалт, как на польском базаре.

— Перелет! Недолет! Ну, теперь в самый раз, в середку. Держись, ребята!

— Так вот доложу я тебе, друг мой,— доносился до меня голос Болотова,— до самой зимы провозился я с Катькой. Ни тебе пользы, ни ей удовольствия. Ругал я ее каждый день. А как дело к вечеру — ручки, стерве, целую... Здорово бьет. Должно, наводчик царской выучки... Но блюла себя, доложу я тебе, как Мария Египетская...

Левая колонна обогнала нас, рассыпалась в лаву и подходила к Армянску. Ее встречали пулемет и беспорядочные ружейные выстрелы.

— Должно, Люис.

— Какой Люис? Настоящий Виккерс. Оглох, что ли? Здорово бьет, с толком. Люис твой — так, балуется, танцует. Самая страшная орудия — Виккерс!

— ...Гляди, гляди, ребята, как наши забирают — в рысь перешли. Молодцы! Там непременно Морозов. Гляди, гляди, как левый фланг заворачивает. На подмогу бы надо, ребята. Что наш Шевченко, хорунжий, спит? Эхма!

Когда выступил наконец из тумана Армянск, мы отчетливо увидели, как за городом, по дороге к Перекопским валам, длинной лентой потянулись обозы.

— Отступает батько Махно! Наша берет. Ура, ребята!!

— Рысью м-а-а-а-рш...

Лава слева уже ворвалась в город: затих Виккерс, редко прозвучала винтовка, только еще ошалелей загремели орудия последними ударами.

Но бой еще только начинался.

IV

Перекопские валы были усеяны цепями неприятеля: точно грибы, торчали головы в фуражках на вершине вала.

Когда мы прошли Армянск и двинулись к Перекопу, нас встретил огонь небывалый:

нз ста пулеметов билн по нас. Моя кобыла рвалась в сторону от каждого трупа. Я ссадил ей бока, свирепел н злился, тучн пулеметной саранчн леталн над намн, прямой наводкой бнлн трехдюймовкн, шрапнельные зонтнкн вставалн в вышнне. Света божьего не взвндев, мчалнсь мы вперед, воя от страха н болн за нашу конную днвнзню, мертвой хваткой держась за бамбуковые пнкн нлн рассекая воздух шашкамн, так что Лнсенко разом отхватнл своему коню правое ухо, а себе мизннец на правой ноге.

— Лнсенко, чего за коня, сволочь, прячешься,— орал Болотов.— Не трусь!

Жаркое дело, славное дело! Поределн нашн ряды: прорешетенный Внккерсом пал хорунжнй Шевченко, разорвало вдребезгн шальным снарядом подполковннка Орлова...

— Держнсь, ребята! Теперь наш черед!

И, без малого двадцать человек, мы ворвалнсь в Перекопскне ворота, помчалнсь по улнцам города, сбнвая ударамн шашек растерянных махновцев.

— Где мать моя, махновская сволочь! Расстрелялн родную мать, убнйцы,— вопнл Болотов, цепляя шашкой голову пятнадцатилетнего кнтайца.— Рвн, ребята, шпану!

На окранне города мы осадилн коней. Куда заиесла нелегкая! Позадн, на валах, все еще торчал протнвннк, только кое-где сползалн с откоса раиеные.

Мы спешнлнсь, залеглн в канаву — открылн огонь по валам. Мы не слышалн, но угадывалн крнкн махновцев:

— Обошлн. Глядн сзадн. Отступай, товарнщн!

Увиделн, как побежалн с валов, унося пулеметы н раненых, нашн храбрые врагн. Валы заннмала иаша спешенная днвнзия и устанавлнвала пулеметы. Мы попадалн в полосу нашего же огня, н нужно было уходнть.

Садясь на коня, я увидел Болотова, который выталкнвал какого-то мужнка нз нзбы.

— Отдай, сукии сын! — крнчал Болотов.

— Товарнщ, ваша благородня,— молился мужнк.— Забрали оин, вот те хрест, чтоб мнне на том свете не жнть.

— Врешь, скот! Отдай, говорю...— н Болотов одной рукой нанес удар в лнцо, а другой стал стаскнвать с себя карабнн.

— Погодн, сыиок, я пошукаю. Может, за образом сховался.

И оба скрылнсь в нзбе.

Через мнниуту вылетел на крыльцо Болотов. В руках его мелькнул наган.

— Семнхат! Слышь? Вот твой шпалер.

Он бежал ко мне, сняя рожей, н два раза пальнул нз нагана вверх. Я слез с коня н уткиулся в потное лнцо Болотова. Мы оралн как прн штурме валов, а Болотов на радостях не удержался и прнстрелил одного пленного латыша.

И вдруг:

— Семнхат, а шуба как же?!

V

До самого вечера держалнсь мы иа валах. Двенадцать раз наступалн на иас махновцы — ненсчнслнмой тучей ползлн цепн за цепямн. Двенадцать раз отбнвала нх иаша пулеметная комаида н конная батарея. Трнста человек потерялн мы в этом бою — трнста! Целый табун лошадей загубили под Перекопом.

А как только стемнело, покииули мы валы н, сдав Перекоп, Армяиск и десяткн деревеиь, ушлн на отдых в деревню Вороицовку. Ругалнсь мы, проклииалн всех — не хотелн уходить.

Ночь заметала следы кровавого боя, н звезды, проступившне на небе, трепеталн сто-

рожевыми огнями противника. Хотелось в последний раз сбить беспощадно преследующую и настигающую нас ночь и вместе с нею насмешливые сторожевые огни.

Прощай, Перекоп!

Болотов, легко раненный в руку, сидел за столом и, макая теплый хлеб в миску с молоком, философствовал:

— Как видать, загубили треть дивизии только из-за Семихатова шпалера. Но и впрямь, ребята, разве мы продержались бы еще хоть один денек? Туча их перла... На старых позициях наших пехтуры у нас вдоволь, восемь шестидюймовок, сотня мелких,— удержимся хоть до осени. А там на помощь с Кавказа наши придут. Живем, ребята!

Я сидел в углу комнаты, подшивал подпругу на седле и невесело думал: «Нет, кончен бал. Повоевали, пограбили, многих развезли по кладбищам, многих стерли с задумчивого лица земли. Все напрасно. Скоро сорвемся с последнего клочка России — куда нас занесет судьба?..»

Врет Болотов. Проиграли мы нашу эпоху!

Гуляй-поле

I

Друзья мои!

Прошло пять лет с тех пор, как мы в последний раз разрядили винтовку, распростились с подсумком, котелком — я, в частности, с замечательным офицерским наганом — и начали так называемый западноевропейский период жизни.

Когда наша огромная флотилия пересекала Черное море и вошла в Босфорские воды — это было великолепное зрелище,— весь Стамбул ахнул. Люди гроздьями висели на борту, на мачтах, как пчелиные ульи; люди умирали с голода, тупея в собственном кале. И понятно, почему английские мисс, подплывая к нам на изящных катерках с медными трубами, не знали, куда бросать свои кокетливые взоры перед совершающейся историей: вдоль по борту, свешиваясь, рядами, как на параде, выстраивались скорченные потугой солдаты.

Это было великолепное зрелище, друзья мои! Нас долго не выпускали на берег, нас долго томили в трюмах. И тот хлеб, который подвозили с берега, был просто милой шуткой сердобольных людей. Когда подходила баржа с хлебом, на палубе раздавался тысячеголосый вой, и с борта вниз свешивались сотни котелков, подвязанных на поясах. Филантропическая дама конца прошлого века растерянно бегала по барже, утирая слезу, накладывала в котелки кругленькие турецкие хлебцы и кричала не тише, чем на палубе парохода:

— Успокойтесь, всем будет, всем...

— Мадам, будьте покойны, нам ничего не достанется. Все офицеры слопают да интендантство. Верьте нашему слову.

Дама охала, а на трап рвалась толпа юнкеров, которым, на счастье, выпала очередь разгружать хлеб.

Тупело все. И когда один вольноопределяющийся поскользнулся на палубе, полетел в трюм и разбился насмерть, сидевшие в трюме молча, не поднимаясь, посмотрели на него, и только один пошутил:

— Ишь, летает. Авиатор какой!

II

Чирикают воробьи, распускаются почки на деревьях в нашем саду, утренний туман лакировал кровельные крыши, бродят в соседнем дворе куры — самое простое предвесеннее утро в предместье Парижа.

И что же осталось от всех тех дней, которые шомполовали наши думы, жгли наши руки горячей сталью пулемета, примораживали наши ноги к стременам?

Махно, хромающий на правую ногу после страшного боя под Гуляй-полем, где когда-то бегал уличным оборванцем, а потом, став учителем, драл таковым уши, ныне, после польской тюрьмы, учится теоретическому анархизму где-то в Дрездене. Каретников сидит в тюрьме. Мокроусов комиссарствует в Севастополе. Лисенко после кутеповской сталелитейной — Галлиполи — хозяйничает в собственной ферме в Южной Америке и, по слухам, приобрел себе форд. Щусь, Хмура и Рогоза до сих пор на дворе Варшавской тюрьмы играют в орел и решку. Я же, друзья мои, переменив много специальностей — от забойщика в турецких шахтах до фотографа — по-прежнему все дни занимаюсь не своей специальностью, но до сих пор, по-прежнему, изредка посещаю Сорбонну.

И что же осталось от всех тех дней? Дым и пепел, дым воспоминаний и пепел грусти, говоря лирически, и ничего — пустота, говоря по совести.

Сдвинулись леса, сдвинулись горы. Лес пошел приступом на далекую гору, веками прорезавшую горизонт; гора, смыв реку, наползла на долину. Железнодорожными вагончиками засуетились по российским просторам дома, города, деревни, семьи, школы, полки; и долгое четырехлетие вздымало на дыбы коней, людей, поля и степи.

Это все называлось революцией.

Гуляй, поле, гуляй, русская земля. Хмелью ударило до небес: пошли один за другим из гнилых грибов, из шекспировских пузырей земли, повылетали разные — большие и маленькие, с рожками, хвостиками, колдовские — Махно, Петлюра, Ангел, и посолиднее — в генеральских погонах, как в страшном сне московской стопудовой купчихи. Завертели каруселью шестую часть мира.

— Ишь, летают. Авиаторы какие.

И вот: чирикают воробьи, распускаются почки на деревьях в нашем саду — утро,— и я в последний раз отдаюсь в руки своей памяти и уплываю вверх, к ее истокам...

III

На холм взлетела батарея; широким, быстрым поворотом, шестеркой привычных лошадей повернула орудие в сторону Гуляй-поля, и через минуту первый номер дернул шнур. Прорезая утренний туман, полетел снаряд.

Наводчик первого орудия 11-й батареи, юнкер Самохвалов, в этот день был не в духе. И это было видно по работе: то недолет, то перелет. Зубы стискивались от злости, и на десятой неудаче юнкер Самохвалов прикусил себе язык.

Мимо шел эскадрон чеченцев с песней:

Мы — чеченцы, мы — чеченцы
Всем дарим любовь —
Бела-ая лента, бела-ая лента
Всем волнует кровь...

— и гнал впереди себя человек двадцать пленных махновцев.

Юнкер Самохвалов вскрикнул от боли, отскочил от уровня и вдруг бросился к чеченцам:

— Куда ведете пленных?

— Рэзать будэм,— полушутя, полусерьезно ответил широкоплечий чеченец с серебряным кинжалом на толстом животе.

— Отдайте мне их, ребята. Прошу вас, отдайте!

— Бери, нам не жалко.

Юнкер всадил в свои бока кулаки, расставил ноги и рявкнул страшным голосом: — Сволочи, отойди в сторону!

Толпа пленных отошла от эскадрона — ближе к орудию. Юнкер молча следил за ними.

— Стой! Кто жиды — выходи вперед!

Пленные замерли, и только два-три еврейских лица вдруг спрятались за спины других.

— Ах, вот ка-ак? Так я иначе... Кто русские — выходи вперед!

Толпа заколыхалась — и все подвинулись вперед.

Юнкер Самохвалов бросился к орудию, схватил лежащий около, на земле, карабин и щелкнул затвором. Наклоняясь, изгибая спину, манерничая, медленным шагом он подошел к толпе. Его глаза начали всматриваться в лица, в каждое отдельно. И склонялись под этим взглядом все, и даже тот, прекрасный молодой парень, русый, с голубыми глазами. Первое лицо, второе...

— А там кто прячется? Выйди вперед!..

Кто-то прятался за спиной другого, а тот, другой, метался то влево, то вправо, чтобы самому не угодить под ствол карабина...

— Ах, вот ка-а-ак! — в последний раз заорал не своим голосом юнкер Самохвалов.— Комедию разыгрывать! Так я вас всех — разом. Разом!

Через десять минут двадцать человек лежало на земле, а юнкер медленно ходил среди них и каждому глухим винтовочным ударом в землю откалывал череп.

Эскадрон чеченцев скрывался за холмом, вниз, к Гуляй-полю.

...Ма-газины, ре-стораны
Всюду посещаем мы.
Все на-ас боятся, все на-ас трепещут,
Особенно жиды.
Мы — чеченцы, мы — чеченцы
Всем дарим любовь.
От-давайте деньги, от-давайте кольца,
Не то пустим кровь.

Кламар

Февраль 1927



Леонид Зуров

Отчина

⟨...⟩ В осаду для обороны Пскова из Печерской обители вышли чудотворная икона Умиления, Успения и старая медная хоругвь.

Глухими дорогами и просеками вел крестоносцев малорослый и седой, в посеревшей от пыли ризе, игумен Тихон.

Для присмотра и обережения были отряжены целовальники и бобыли. По обочинам шли стрельцы с бердышами, конные осматривали путь.

Деревни встречали Владычицу на коленях. Клонялись поднятые на руках иконы. С звонниц торопливо спускали колокола, грузили на телеги церковную утварь. Пропустив вперед печорских крестоносцев, деревенские иконы выходили вслед.

Полубегом, охраняя их своими телами, заполняя дорогу и поля, шли встревоженные деревни. Доносило рыдание и всхлипывание.

— Владычица, помоги... Спаси, Владычица!

На ходу мокролобые рыбаки-крестоносцы сменяли друг друга, ловко принимая носилки, целуя оклады. Глухой топот ног тревожил мосты, тишину рек; над лесными дорогами, пробивая зелень, курилась пыль.

Ночь прошла в истовом пении.

На заре крестоход встретил гонцов, что, надев на копья шапки, кликали по деревиям, чтобы все жгли свое обилье и ехали в осаду.

Над тучами пыли и черной толпой жарко пламенела цепь икон.

Посылочные полки, обороняя народ, кружили по полям. Пыль великая стояла над всеми дорогами.

Когда толпа придвинулась к стенам, под звон всех псковских церквей иконы вошли в ворота града.

* * *

В обитель Печорскую был послан молодой воевода Нечаев с двумя сотнями стрельцов. После ранения был Нечаев на отпуску.

На торговище молились стрельцы, вскидывая лица к куполам собора. После молебна вперед вышел отрок, неся в руках отпущенную для похода икону, и игумен Тихон окропил хоругвь.

Прощаясь, стрельцы затрубили. Стихали трубы, был слышен звон Живоначальной.

На следующее утро с Богомольной горки они увидели белый монастырь и выбивающуюся из его стен темную дубовую зелень.

Ржаным полем они подошли к посаду. Хилые, плохого леса дворы вдовьи, сирот, безногих, поселившихся близ обители для прокормления, окружали деревянную церковь.

Перед острогом их встретили иноки.

Прикладываясь ко кресту, подходя под образа, они вступили в деревянный острог. У караульной избы монастырские, в лазоревых кафтанах, стрельцы поднесли Нечаеву хлебные почести, а иноки ударили челом и просили оборонять град Владычицы и быть милостивым к седельцам осадным, монастырским крестьянишкам.

Пушкари, нажимая плечами на обитые железом створы, замкнули ворота.

Выходя из-под холодного свода Николы, увидел Нечаев брызнувшее в глаза солнце, белую среди зелени звонницу, золотые церковные верхи, деревянные кельи — весь городок, лежавший в овраге.

* * *

В тот же час, вырвавшись из Нижних и Изборских ворот, поскакали монастырские дружинники. Повезли в шапках памяти во все приказы, мельничные места и рыбные ловли.

Бабы и девки, собиравшие в борах журавину и рыжики, побросав корзины, побежали к деревням. Мужики, поглядывая на дорогу, выводили коней.

Пушкари и стрельцы несли в обитель свой скарб. Служки монастырские вели под руки старцев. Подняв пыль, пошли в подъезды и на вести конные стрельцы.

Приняв от схимника городовые и острожные ключи, Нечаев осмотрел колодезь, мельничку о двух жерновах и по деревянным мостам обошел стены и башни.

У Никольских ворот из клети стрельцы вынимали бердыши и самопалы, топорами рубили на дроби свинчатые полосы.

Нечаев спустился тайником в пороховую палатку, что была под Николой в сухой, выложенной тонкой мостовой плитой, пещере. При свете глухого фонаря он осмотрел порох в задненных бочонках, кучи ядер, дробь в мешках и свинец в деревянных корытах.

Припечатав дверь, он приставил к ней стрельцов и вышел в Софийскую башню.

Уже на хлебный двор к погребной службе монаху шли подводы, скот и возы с сеном.

Копья ставили по городу. На сторожевую башню стрельцы поднимали звонкой меди караульную пушку.

В остроге Нечаев пересмотрел в лицо дружинников в сермягах и мужиков, что пришли с копьями, насаженными на длинные дубовые ротовища.

Сказав дело, составив именную роспись, он их повел в собор ко кресту.

Вечером с озера приехал монах, привез свежераспластанных неосоленных щук и подобранного избитого литвой человека. Тот, сидя на телеге, показывал всем свою пробитую голову и плакал.

На потухавшей заре чернели башни. Внизу зажглись крестьянские костры. Пробиваясь сквозь опущенные с башен железные решетки, шумел ручей.

Вдали росло зарево, и с великого места Пскова доносило бой.

* * *

Нахлестывая некованых коней, бежала к Пскову сбитая с Черехи застава.

Когда передние, взмахивающие шапками всадники показались из лесной опушки, из-за приречного Мирожского монастыря поднялось пламя. Запылало подожженное по воеводскому приказу Завеличье.

Еще полки шли к стенам, еще у пушек пели молебны, но на улицах Пскова стало тихо и просторно.

От полуденной страны темным дымом спускались, вызванивая марши, конные польские полки.

Долгий шум шел от занимавшего волнистые поля войска. На тех полях одиноко белели брошенные церкви и монастыри.

Отдельные конные отряды останавливались на холмах.

После деревень, каменистых полей и рубленных из тяжелого леса острогов они увидели белый Псков.

Их волновала чарующая и угрюмая красота многих отраженных водой башен.

Восковыми кругами лежали вокруг города березовые рощи, а у слияния двух поосеннему посиневших рек под безоблачным небом, подняв из-за стен кованое кружево куполов, царствовал вознесенный на утес белый, как холодные московские снега, собор...

Гребни псковских стен алели от стрелецких кафтанов, а у ворот, опираясь на длинные топоры, молчаливо стояла вышедшая в поле сотня кольчужников.

* * *

В последние часы дня, когда теплел закат на крестах и золотополосных главах, а осенняя вечерняя тишина уже стыла над Псковом,— на городовой стене близ медной пищали-хвостуши задремал целый день ковавший ядра кузнец Дорофей.

Неожиданно открыв глаза, он увидел расцветшую в синем небе золотую зарю. Над беззвучным, словно преображенным Псковом по млечной жемчужной тропе от Печор шла в девичьем уборе Божия Матерь.

Над колокольницей Мирожского монастыря проплыла она, над водами, башнями и, взойдя на стену, остановилась на раскате, держа в долгоперстной руке ставший малым образ Умиления.

Согретый золотистым потоком, упав на колени, заплакал кузнец Дорофей.

И предстали перед Владычицей умученный Корнилий, рука молебна у сердца, Антоний сед, брада до персей, Феодосий в схиме, строитель занятого Литвой Мирожского монастыря Нифонт, благоверные князья Довмонт, Всеволод, Владимир в одеянии ратном.

И последним предстал Никола Юродивый — рубище с одного плеча спущено.

На коленях начал умолять милую Божию Матерь Никола Христа ради юродивый. Руки протягивал и плакал.

И просили у ее ног за осажденный град остальные.

Улыбка ее просияла над Псковом, и скрылось видение от глаз кузнеца Дорофея.

* * *

Ночью звездной и глухой в королевском лагере ударили тревогу. Ротмистры выскочили из палаток к своим коням в одних рубахах.

В лагере, указывая на небо, сбившись в кучи, шумела королевская пехота. А в небе шли столбы наподобие конных в белых крыльях, метущих хоругвиями войск, и рождали над Псковом кресты.

* * *

Жестокая пальба началась с рассвета.

На многие десятки сажен от Великих ворот до Свинусской башни была разбита и рассыпана до земли стена.

Плотники под ядрами за проломом рубили деревянную стену, посадские записные стрельцы нагружали ее камнями.

К полудню пальба замолчала.

Перед рядами полчными ходили попы, пели молебны и давали целовать кресты. Был праздник Рождества Пресвятой Богородицы, и звонили во всех церквах в то знойное сентябрьское утро.

Положившие обет в соборе Живоначальной лучшие псковские рати, надев под кольчуги белые льняные рубахи, уже стояли на проломе.

Светлые причастники, они обнимали друг друга, прося прощения, и уминали острый, мешающий твердо стоять щебень.

Было видно, как во вражеском стане у шатров бились выставленные вперед хоругви.

Перед приступом наступила тишина. Был слышен стук топоров на проломе и пение молебнов.

И вдруг призывно и весело, созывая роты, близ гетманского шатра ударили в литавры, и на холм выехал король.

Окруженный лучшим рыцарством Литвы, Венгрии и Польши, он сказал о долге храбрых и подпустил рыцарство к своей руке. Ксендз благословил упавших на одно колено ротмистров.

Когда король Стефан поехал к реке, охотники, вскинув хоругви, хрипло запели, и от песни дрогнули на псковских стенах многие сердца.

В среднем городе у Василия Великого на горке мелкой дробью забил осадный колокол, подавая весть о приступе всему псковскому народу.

Под его звон двинулось рыцарство к пролому.

Позади с лугов поднялся венгерский, в шелку и стали, полк, вышли немцы, из станов показались новые знамена и потекли цветным, отливавшим серебром, потоком. Били литавры, дрожа и перебивая, пели многие трубы.

Первые ряды рыцарей полегли в поле, сметенные ядрами и густой свинцовой усечкой, но венгерские латники бегом, держа на весу топоры, бросились подрубать дубовый палисад. Их обежали немцы. Взмахнув мечом, их повел на пролом сухой, весь в вороненой стали, ротмистр.

Камни, колоды, заостренные бревна опрокидывали людей на дно рва и ломали закрытые железом спины.

Под крики первых раненых, надвинув на глаза шапки, защищаясь щитами от черной смолы, в клубах песка и извести они выползали из рва.

Тяжелые топоры псковичей клали латников рядами на белую расщебенку.

Рыцарство, в виду всего Пскова, прорубившись длинными мечами, ворвалось в полуразбитую ядрами башню и, под радостные крики своих войск, выбросило первую хоругвь.

Повернув брошенные псковичами пищали, они открыли стрельбу по отсекающим приступ.

Дрогнул Псков. Князь Иван Шуйский повел в бой посадских стрельцов.

Деревянная стена не была еще кончена. Она разрывалась на месте сечи, как незапаянное кольцо.

А от храма Никиты Мученика шли на приступ новые литовские полки.

Глухим набатом плакали колокола.

* * *

Пушечный стук и тяжелый стон стоял над проломом. Лишь было чисто место сечи. Там, сверкая, ходили топоры.

Стоя плечо к плечу, в взмокших под кольчугами рубахах, в накаленных солнцем шеломах, псковичи, сбившись вокруг темноликого, поникшего при безветрии стяга, рубились, поднимая над головами тяжелые топоры.

Им казалось, что медленно течет солнце.

Пот бежал по серым от пыли, забрызганным кровью лицам. Посеченные грузно оседали на землю. Их заступали другие. Цепляясь за наваленные, как ржаные снопы, теплые трупы, отползали раненые и, умирая, крестились на знаменный лик.

Отвертываясь от ударов, теряя людей, пятясь, сползали с гребня псковичи.

* * *

Тогда раненый князь Шуйский, качнувшись, прижал к себе отрока и приказал ему бежать к собору Живоначальной за последней помощью.

Собор не вмещал всех. Толпа занимала торговище. Под сводами храма игумен Тихон и весь собор, стоя на коленях, пели молебны. Как одна грудь, плакал народ. Прерывались слова молитв. Женщины бились на полу, каялись в грехах и протягивали ко Владычице руки и детей.

Лица были залиты слезами. Тяжелыми воплями передавались вести с торговища о чужих знаменах, о том, что, потеряв многих, сползают со стен псковичи. Каждая мать думала, что навсегда потеряла сына. От человеческого дыхания гнулись и стекали свечи.

Раздвигая народ, срывающимся голосом отрок вызывал игумена. В кровавой росе был его стальной панцирь.

Дойдя до собора, он выкрикнул народу приказ воеводы и, обессилев, упал с лицом без кровинки. Он не слышал, как под пение подняли печорские иконы, старую хоругвь, мощи князя Всеволода, как из опустевшего собора на залитое солнцем торговище хлынули женщины, а на колокольнице ударили трезвон.

Келарь Печорского монастыря и два инока, отвязав от ограды коней, поскакали вперед к проломному месту.

Келарь Хвостов в развевающейся рясе очутился около медленно отступающих псковичей.

— Братцы! Богородица идет, родимые,— крикнул он и, зарыдав, начал благословлять ратников крестом, давая с коня целовать крест ловящим его запекшимися губами. И запел он сквозь рыдания:

— Царице моя Преблагая,
Надеждо моя, Богородице...

От собора, неся золотые пласты икон, бежала с пением и слезами женская толпа. Вопли, мешаясь с молитвами, летели к чудотворной иконе Успения. Она, залитая царским золотом, цепями, привесами и жемчужными уборами, что сняли с себя псковитянки, тяжело колыхалась над головами. Народ придвинулся. Приглушенная тяжелыми рыданиями молитва воскресла на проломе.

— Царице моя Преблагая,
Надеждо моя, Богородице...

Заработали топоры. С края придвинулись окованные железом мужицкие палицы. Словно почувствовав на лицах прохладный ветер, псковичи вырвались на гребень. Крестясь меж ударами, они начали сбивать венгров с пролома в забитый трупами, колами и камнями ров.

Под башней зажгли хворост. Дым повалил из пробитых дыр. Затрещали, загораясь, бревна. Шатаясь от жара, начали сбегать вниз рыцари.

Еще шла сеча, но псковитянки бросились выносить раненых.

Мать, сидя на земле, держала на коленях рассеченную голову своего мертвого сына. Она разбирала его волосы, причитала тонким измученным голосом и целовала сыновний лоб.

* * *

Посланных к озеру за хлебом немцев встретили рыбаки и изборяне.

Они бились до вечера, топорами изломали стройно отходивший отряд и вогнали его в топкое болото.

Когда на луга пал закат, стих и потеплел ветер, далеко-далеко за холмами заплакали

ратные трубы. То изборяне созывали ратных, пели вечерние молитвы и вместо образа целовали ветхую, избившуюся в полях хоругвь.

В туманное утро, когда медленно кружили ястреба, у берегов пели нырки, дым от подожженного тростника стоял над водой,— положив в ладьи тела убитых, пошли изборяне к погосту.

На церковный пол они опустили закостеневших друзей, камнями закрыли им глаза. Выпростав из-за ворот медные створцы, вложили их в сложенные крестами руки.

Мечами, начертив на траве крест, они рыли могилы. Потом у покрытого дерном свежего холма поминали побитых с попом и простоволосыми мужиками и отмачивали в ключевой воде кровавые, наложенные на глубокие, рубленые раны холстины.

* * *

Близ устья Великой, на холме, стоял брошенный иноками Святогорский монастырь. Он был занят германским отрядом.

Литовские сторожа смотрели днем на голубевшее в двух милях Великое озеро. На нем, как на море, в дыму плавали острова, гуляли волны и русские паруса.

На островах жили московские, пришедшие водою стрельцы. Их голова Мясоедов собрал с обозерских деревень несколько тысяч народу. Кузнецы целые дни ковали топоры и бердыши, и вооруженная вольница ходила в ладьях к Обозерью бить бродячую литву.

По ночам с кормом они пытались прорваться к Пскову и в случае удачи давали о себе знать огнем, зажженным на башне.

По приказу гетмана стража преградила вход в реку, протянув от берега к берегу связанные цепями бревна.

В ту ночь, отправив рыбаков к Гдову, всеми ладьями пошел Мясоедов в Псков. Уже начинал у берегов смерзаться лед. Зарыв хлеб в ямы, они вышли на холодные озерные воды. Завевало над черными волнами снега, стыли под бронями тела.

Была слышна страшная стрельба у Пскова. Раскаленные ядра дугами чертили небо.

Пристав к берегу, стрельцы разделились на два отряда.

Проснувшаяся стража ударила тревогу, и в темноте начался бой.

Сквозь кольцо конных немцев бердышами пробился Мясоедов, оставив за собою дорогу из порубленных в алых кафтанах стрельцов.

Из Пскова выскочил на выручку посылочный полк, принял в свои ряды Мясоедова и, отрубаясь, медленно отошел к воротам.

* * *

Печоры брал Фаренсбек с немецкой конницей и венграми.

Мороз с ветром жег похудевшие лица кнехтов, рукояти мечей липли к ладоням. Прошло несколько недель.

Так же стояла близ спаленного посада обороняемая стрельцами и черными монахами обитель, подняв над стенами черные, голые ветви дубов, и над оснеженным, синеющим оврагом взлетало при стрельбе воронье.

Кругом шумел холодный бор, близ него не было жилья. В овраге у замерзшего ручья в шалашах жили кнехты. Они ходили на приступы, а отбитые — с радостью грелись у громадных костров. С площадки венгры били из пушек через полуразвалившиеся местами стены. С немалым упорством под ядрами поставили там мужики деревянные срубы.

Пушечная пальба катилась по снежным оврагам, рождала отклики в борах. Огнезарное облако стояло над батареями.

Несколько раз, волоча за собою длинные лестницы, ходили венгры к пролому, но лучшие рыцари отряда с племянником Курляндского герцога попали в плен, свалившись за стену с подломившихся лестниц. В жестокие холода монахи и стрельцы бились у Никольской церкви в одних кафтанах и беспрестанно звонили во все свои колокола.

Фаренсбек был ранен. Он раньше служил в войсках царя Ивана и знал, что русские так же хорошо выдерживают голод, как и свои посты. Он был зол, что, несмотря на вызванные венгерские войска, новые пушки и разбитый и разнесенный кнехтами на костры деревянный острог, обитель не пала.

Он посылал по ночам людей с секирами разбивать окованные железом ворота.

Испытанные в боях солдаты, возвращаясь, уверяли, что от Печор нужно уйти, что это такое же святое место, как и Ченстоховская обитель. И клялись, что во время штурма они видели на проломе седого старика.

* * *

В монастыре было голодно. Взялись за притухлый хлеб. В переполненных кельях начался мор. Многих ратных уже похоронили.

Перед последним штурмом иноки, надев схимы, готовясь к концу, приобщались в соборной церкви.

Нечаев не сходил со стен.

Часто, утверждая себя, он молился в башне и со слезами целовал материнский охранительный крест.

* * *

Ночью стража, окликнув, схватила обходившего валы голорукого и босого, одетого в рубище мальчика.

Дрожа от холода, приведенный к Нечаеву, он сказал, что, уснув, увидел Богородицу, и она приказала ему пойти на валы и сказать людям, чтобы они, не робея, дрались и пели бы перед образами молебны. Приласкав, сказала ему Божия Матерь, что будет убиен во время осады он, отрок Юлиан.

Завернув мальчика в шубу, вывел его Нечаев к ратным, инокам и народу.

К пролому принесли образа и зазвонили.

Разбитые стены и срубы ратники полили водой.

Утром во время приступа стены светились льдом. После боя немецкие роты отошли к своим кострам, а иноки под Никольский заиндевевший свод начали сносить убитых.

Среди них был мальчик Юлиан с сложенными крестом на груди руками.

* * *

Стали реки, замерзли озера. Голая Псковщина лежала на борах.

Псков с изъеденными, опаленными стенами темнел под суровым зимним небом.

Через Великую, темнея, тянулась дорога из положенной ядрами Литвы. По льду гнали ротмистры пешие полки. Они, боясь смерти, волочились кое-как.

Вьюги заносили литовские землянки, рынок и кладбище. Там уже по праздникам не били в литавры. Незаметно покидали лагерь казаки, уходя грабить под Москву. Венгры дрались с поляками из-за дров, литовцы грабили немецкие обозы, и на советах ротмистры проклинали Московский край, где земля как камень, где при ветре у всадника валится из рук копье.

В Пскове кончался хлеб. Сдирая с церковных крыш железо, кузнецы ковали новые ядра.

В январе снялись литовские станы, и полки двинулись по дороге.

В Пскове ударили к осаде. Ратники вышли на стены, но от литовского войска отделился верховой на белом коне, в алом стрелецком кафтане. Держа в руке посольскую грамоту, он подскакал к Пскову. У тяжелых пушек принял грамоту Шуйский, прочел, перекрестился и, заплакав, обнял гонца.

По стенам и башням полетела весть, что пришло перемирие. Подали знак звонарю, и в соборе Живоначальной дрогнул колокол. Звон поплыл на весь Псков.

Одна за другой ответили церкви, люди крестились, а стрельцы, подняв на руки гонца, понесли его на торговище. Он без шапки, утирая слезы, что-то кричал.

Никто не смотрел, как, бросив изрытое ямами становище, увозя сбитые из соснового леса гробы, выходила литва на старую выжженную дорогу.

Ее провожал звон колоколов Пскова.

* * *

Весною Великая пронесла льдины, колодье и ладьи.

С льдом уплыли литовские побитые зимою головы, растаял ржавый от крови снег, острая трава покрыла солнцепеки.

По водополью, на плотах, гнали к Завеличью рубленые хоромы, а на выжженном посаде, сохранившем безглавые каменные церкви, стучали топоры.

Снова из-за собора Живоначальной белыми стогами рождались весенние облака, и пел каменщик, равняя и отбеливая стены. У караульных шатров дремали под солнцем стрельцы, речным песком были отчищены пушки. В открытые ворота выгоняли в поля отощавшие конские табуны.

Туча прошла веселым набегом, роняя теплый дождь; хлынуло солнце, и, как пламень, в дыму засверкали кресты.

Под весенними ветрами гуще завилась трава, а там, где ратные рубили березы, пни начали истекать запенившейся розовыми клубами соковицей.

В легкой ладье с часовней на корме, из гнезд которой на воды и луга глядели иконы, по водополью, Соротью и Великой шел к Пскову Святогорский крестоход.

На мачте, под вздувшимся панцирем, латаным парусом было поднято монастырское знамя, а выше его — медная хоругвь.

По пути послушник бил в колокола деревянной звонницы, стоявшей на носу.

На песчаных берегах кланялся ладье вышедший из деревень народ. Остановившись перед пристанью, иноки служили молебны за тихое, безратное житье.

У порогов ладью поднимали на руки мужики, обнося каменистые места, и с пением опускали ее на глубокие воды.

Пройдя Великой, к Пскову пристал крестоход и, подняв иконы, пошел к Живоначальной поклониться уходившей в свою обитель Печорской Владычице.

* * *

Псков молился в поле на крови.

Игумен Тихон благословлял крестом, дрожали звонницы, воеводы несли иконы, а солнце сушило землю и стены.

В поле у пролома забрякало кадило. Женский плач зазвенел у стен. Ветер лохматил стрелецкие головы.

...На многих боех и на приступех,— вел дрожащий голос,— кровь свою изливаше, на сем месте побиенным, в осадное время смертие скончавшихся...

Ниже склонив голову, дрогнула толпа.

А потом иконы тронулись вперед, и из женских грудей вырвалось:

— Царице моя Преблагая.

Надеждо моя, Богородице...

У икон, как в осадное время, сгрудились стрельцы, женщины и дети. Пламенело золото риз, при поворотах загорались псковские жемчуга.

* * *

По обету в Печоры с Царицей Небесной шли воеводы, стрельцы и старые и малые сидельцы псковские.

На росстанях, полях, у крестом лежащих дорог прощались псковские иконы, кланялись, поднятые десятками рук.

Когда печорские образа показали окованные серебром тылы, оставшийся на холмах народ упал на колени.

Около псковских стен уже орали землю мужики. Сохи чиркали. Трудно было за межу выкидывать каменные и железные ядра.

А потом с сумой вышел на свою пашню псковский пушкарь, перекрестился на Троицу, попросил благословения Божия и сделал три шага.

Бросил он первую горсть зерна на просящего, а вторую для себя.

Послесловие

Близ деревни Пачковки стоит на камнях старая, с покривившимся крестом часовня. Пожня вокруг нее в буграх и ямах. Из-под дерна сереют концы вросших в землю каменных крестов. Несколько старых пней стоят на том могилье.

А поодаль, около речонки — часовня-столобок на вкопанном в землю бревне, ростом с семилетнего мальчика, ее легко взять в охапку.

В часовенке — лампада, несколько поколовшихся икон и седой от времени образ благословляющего Николы.

Здесь, за Печорским посадом, богадельнями и кладбищами всегда тихо.

Внизу делает круг, обходя разрушенную мельницу, река. Две дороги расходятся от моста. Старая, размытая дождями, идет через снятые топорами боры на Псков, а новая — на Изборск.

На распутье всегда переобуваются бабы-богомолки, вытряхивая из поршней песок. Весною здесь хорошо и спокойно.

Часовня не замкнута. В ней полутемно, тепло от солнца, сухо и пахнет старыми травами. Из оконца, заложенного липовыми, потерявшими краску иконками, солнце падает на принесенные сюда из древнего Печорского храма Царские Врата, деревянные подсвечники и сложенную в углу вперемешку с сухими вениками горку черных от копоти погорблениых икон.

В этой часовне я встретил деда. Он поправлял лампады и голиком подметал пол.

— Ишь, времена какие, сынок,— сказал он, разогнув спину.— За эти годы солдаты все часовни порастрясли. В Рогозине в крест из ружья стреляли, а на Старой Пальцовской — так Спасителю в глаза выпалили. Вот какая правда.

Под седыми бровями у него были живые и ясные глаза.

Дед вышел из часовии, сел на камеиь и вздохиул.

— Вот дела раньше были. Я тебе расскажу.

* * *

Раньше, сынок, леса были могучие.

Было вокруг березье большиииое, да разметали, поразвертели, подиасекли, соковицей спортили.

— А лес какой,— улыбиулся ои,— трещины дает бревно, а в середке желтое, как воск. Вот у меня, милый, скамья дедовская так тяжела, как из воды вытащена. Была работа топором хломать.

Ои сидел, опустив меж колеи руки.

— Так ты старину ищешь,— сказал ои, погодя.— У иас тут сильиая стариив.

По холмам миого народу положеио. Как бой был, так и кресты. Да разбиты оии в пастухах, вывериуты, как дорогу ставили.

А русские это могилы. Наши. Плитииа, а в плитиие крест.

Помолчали. Солице еще ие садилось.

— Называлось литва это войско. Вот шли этим разлогом.— ои палкой показал иа скрытый деревушкой овраг.— Стаиок их был в Рагозиие, где Солдатская Горка. Там войско всегда помииают. Шел оттуда Баторец, иаших побив. Путая иарод, что две бочки золота опущеиы иа цепях в озеро да бочка закопаиа близ Чериого ручья. Там ямы разбухаиы. Тю! — махиул ои рукой,— иет иичего. А Господь зиая.

— Дюжие были бои,— утвердительио сказал ои.— Около часовии этой, сыиок, тоже кладеио войско. Бугорочки-то — могилки.

Еще когда иаших дедов здесь клали, чуть так помию, бегавши пастушком, в Троицкий четверг полуверцы ходили солдат помииать, березки торкали и плакали.

Я песок копал, так мертвую голову иашел,— зубы клубами, все до едииого, и лебрушки. Шапку тогда я вытащил железиую...

— А где же шапка, дед?

— А бросил обратио, сыиок.

Вот и Баторец ие пролез в моиастырь. Да святые стояли за обитель, а ие войско отбивалось. Божия Матерь войска ослепила и иачали сами себя рубить. Миколай Угодиик скольких иа проломе саблею заклал одии.

Ои, сыиок, за иас стоит. И лежит ои в Тайлове.

— За границей его мощи.

— Там мощей иет,— ответил дед строго.— А икоиа есть иаведеиа. Ои сам пошел по земле и в Тайлове лег. Мощей людям ие соглядать.

Его нельзя, сыиок, положить в землю. Где ему хорошо, там и ои. Ои что сутки, то сапоги сиашивает. По межам пройдет — и хлеб расти будет. Вериая правда, милый.

Когда теперь погода зайдет, суша ли, дожди,— Миколу Угодиика просим иа поля и Царицу Небесиую. И выходило так, милый, что очеиь правильио и опять Господь разрешал иашу жизнь. Вот иам Микола какой, все исполияет по молитве.

Видал, сыиок,— сказал ои ласково, помолчав,— икоиа-то стоит в обители, всем землям Матерь Божия. Сколько под иашим моиастырем боев ие было, а все помогала.

* * *

— А только, иадо быть, что жить, детки, иедолго,— сказал ои, глядя иа поля.— Все так проходя. Деды говорили: «Возьмут царя живого, и ои сам короиу бросит». Шло тогда пламя, как заря, видно было, как в иебе войско шло. Сам помию, как с хвостом звезда

ходила. Молву пустили тогда, что Антихрист народился. И дано было знать. «Умолите, веку прибавлю, а не умолите, веку убавлю».

— Все за грехи,— вздохнул дед,— приказ неверный делали.

— Не показано, в какое время,— приближая лицо, продолжал он,— в какие годы. Как Бога умолим. А може, зандравится ему, так и побольше проживем. Снаряды, по прежним письменам, Богу не ндравились.

— А что же еще деды говорили?

— Будет судить лапоть,— ответил он строго.— Будет так, что сын с отцом судиться пойдет. «А тебя и слушать нечего»,— бывало, бабы скажут. А дедовы речи-то пришлись.

Господь допустит потешиться. Суды пойдут кривые, а дороги прямые, земля, вода будет пустеть, а народ хитреть.

Разве не так? Раньше по рекам, по озерам рыбы-то, а теперь и в больших нет. В явственный день летом, когда затихнет, Боже, в реке котлом кипит. Есть запасишко, а то кошком с речонки полно натягаешь. А снега были выше человека нанесены. А летом жар, по пяску не пройти босиком. Дождь — парно, дух спирает. В одной рубашке душно.

Родиться хлеб так не стал, жирить стали. При мне все березье попленили. Все леса.

Кончены годы. Все,— вздохнув, сказал он и опустил голову.

* * *

Растреплют нашу плоть в остатние годы. Была у стариков молва такая. Голод начнется, хлеб не будет родиться, и Ангел пойдет по земле, чтобы народ помирал, а не достался Антихристу. Говорил дед: «Будет плохо в Расее живому царю».

Что деньги. Дюжие отнимут. Придет время, по деньгам ходить будем.

Долго ль, коротко ль, а от Псковского озера с Чухонского берега все рыбаки уйдут. Трудные будут прожитки. И будет народ бегать взад и вперед, с востока на запад, с запада на восток. Будет место себе сочить, где лучше. И от голода и войн опустеет земля, и человек, увидев след, от радости заплачет.

Пройдет по земле Антихрист, будет народ к себе пригонять, печати прикладывать — дай крови печать. Наберет войско и начнет битву в Пскове.

Загрузится тогда Великая река войском. Конец нашей жизни в Пскове. Вот тогда и понесут Владычицу Печорскую в Малы. Тогда на нашей земле лишь Изборск останется.

К Онуфрию снесут, в Малы, там его мощи под спудом. И в те времена мощи сами объявятся.

И в небе над Псковом будет бой. Никола Угодник выедет и Илья Пророк. В Троицком соборе лежат святые князья, и те встанут. И на помощь придет Александра Невский за нашу землю стоять.

Запрудят Великую реку народом. Схватятся с Антихристом русские князья.

И побьет он их, и не поправиться нам будет.

Никола их заступит, убьют Николу. Илью вышлют — и его убьют, и ильинской кровью загорится небо.

Тогда Христос выйдет и побьет Антихриста, и задвинутся грешные крутой стеной, и шабаш, а праведные пойдут на мирное жительство, и опять православная вера будет единая.

— Так-то, сынок,— покачал он головой.

В Печорах зазвонили. Дед поднялся и положил на себя три креста.

— У нас звон долгий,— ласково сказал он и улыбнулся мне, как родному.— Звон хороший. Все такой осиповатый.

Вечерели весенние печорские поля.

Семен Юшкевич

В Галатских переулках

По самой богатой, по самой широкой, по самой благоустроенной улице — по улице банков, она же — улица Воеводы — я иду вниз: из Перы в Галату.

Жара переходит в приятную, истомную теплоту. Банки с часу дня закрыты, и уже срослись с камнем стены чугунные — везде чугунные, везде прочные, непробиваемые и непроницаемые банковские двери. «Лионский кредит», «Кредит Италии», «Дейтче банк», «Русская зарубежная торговля» ⟨...⟩, банк со странным названием: «Афинская трапеза», банкирские конторы Мустахиса, Варталити, Склириса, Турлитахи — греческие, турецкие, французские, русские, итальянские, английские вывески: железные, чугунные, мраморные, хрустальные, алебастровые; выпуклые, увесистые, солидные, внушительные, очень четкие, без грамматических ошибок.

Прихожу в Галатские переулки. Старые, то двух-, то трехэтажные, дома — старые-старые: кажется, что они — еще генуэзской постройки. Нижние этажи этих домов разделены на клетки. В каждом окне сидит почти голая женщина и каждому проходящему стучит наперстком в стекло. Если проходящий оглянется, она и глазами, и грудью, и руками зовет его и выявляет всю свою соблазнительность. Если проходит русский, она поднимает раму и чуть насмешливо кричит:

— Каспадин Карашо! Каспадин Карашо! Иди сюда!

«Карашо» — это, по их мнению, наше общее имя.

Красивые и безобразные, проживающие месяц за год, десятилетние девочки, у которых еще не начинала наливаться грудь, которым еще даже здесь дарят куклы, старухи с грудями, как пустые табачные кисеты,— все намазано, все нарумянено, как у актеров для вечернего представления.

С улицы видны незатейливые внутренности клеток. У окна — женщина; в глубине комнаты, за ситцевой занавеской — кровать или диван, похожие на плаху. И неизбежная, вывешенная на самое почетное место, символ гигиены, чистоты и здоровья — Эсмархова кружка с длинной желтой кишкой.

Около кафе сажусь на соломенный низкий плетеный табурет. Подходит служитель в белом фартуке и, улыбаясь, спрашивает:

— Карашо?

Я коротко отвечаю ему:

— Чай.

Он делает радостное движение и скоро приносит мне на изящном мельхиоровом подносике пузатый стаканчик крепкого персидского чая, сахар и ломтик свежего душистого лимона. Все это он ставит на соседнюю табуретку, смахивает пыль и надолго оставляет меня в покое.

Я получил право спокойно сидеть, курить, смотреть и слушать. И мне скоро кажется, что этим генуэзским домам, похожим в отдельности на тот дом, в котором жил Христофор

Колумб, этим домам, как многим старикам, замученным болезнями, хочется смерти. Мне кажется, что если бы у них хватило силы, они бы — вот эти черные, загнившие от сырости камни,— они бы тронулись со своих старых, галатских мест, вышли бы в поле, подальше от людей, стали бы там посередине и в одно мгновение рассыпались в мелкий прах.

Ночью здесь, в этих переулках, шумно; днем — наоборот: звуки медленные, однообразные, монастырские, тихие. Лениво переговариваются между собой из окна в окно на разных языках женщины, близко и досконально знающие друг друга, каждую ленточку в волосах, каждый пиастр в кошельке, каждое колечко, каждую промысловую удачу, каждый кусочек бирюзы, историю первого соблазна, имена любовников, которых там, в миру, любили и которые бросили их из жизни сюда, в тень смертную, в незасыпанные могилы, где месяц отмечается за год, где — неизбежная болезнь, съедающая тело, как огонь — бумагу, где — воздыхания, бессильная в минуты сна злоба на мир, на Бога, на небо, на любовь, лютую и беспощадную, как змея, и делающую из человека змею, которая всем улыбается, всех зовет, всем стучит наперстком и жалит.

Этот крепкий, похожий на густое токайское вино чай,— я боюсь его пить: кто знает, кто знает, каким ядом вымазаны края затейливого, пузатого стакана? Кладу в него весь сахар, лимон, мешаю ложечкой и, когда вижу лицо служителя, удивленного моей медлительностью в питье, незаметно выливаю его в маленькую водосточную канавку, которая бежит у краев тротуара.

Из противоположного окна за мной наблюдает умная и тихая женщина, которая мне давно нравится, понимает мой жест, мои мысли и укоризненно качает головой. Когда я уйду, она расскажет о своих наблюдениях моему служителю, и мне почему-то делается не по себе.

В кафе оркестр из трех человек. Вечером он усиливается до семи. В унисон, под унисонный же аккомпанемент, они — эти три человека — начинают петь песню.

Как описать песню чужого народа?

Сначала кажется, что они изо всех сил орут. Лупят пальцами по струнам все трое и, задрав головы кверху, как слепые (а может, они в самом деле слепые?), орут. Потом это как-то влезает в ухо, начинает там размещаться, звук отчетливо нанизывается на звук, выделяются правильно построенные музыкальные фразы, и начинаешь чувствовать, что это тебе не мешает.

Песня развертывается, как нитка из клубка: не спеша, но и не прерываясь. Паузы нет; удивляешься, когда певцы успевают переводить дух. Это делается искусно. Через некоторое время песня не только не мешает тебе, но начинаешь слушать ее. А потом — только и дела, что слушаешь и улыбаешься. Вдруг поворачиваешь голову: подавальщик персидского чая, стоя на тротуаре, во весь голос подхватил мотив. За ним замурлыкал человек, пьющий пиво. За ним вступила старуха из противоположного дома, зазывала, выхваляющая своих хороших, чистеньких и здоровеньких, сидящих тут же барышень. За нею помимо воли подхватываю мотив и я и вижу, как он красив, и воздушен, и остроумен, и разбираюсь уже, что его главная прелесть в том, что он построен по восточной, энгармонической гамме в четвертях тонов, что выдумало его чье-то чистое человеческое сердце, что поет оно о неразделенной любви, о коне, несущем всадника в поднебесье, о фонтане, бьющем в мечети, о голубях, летающих в куполе, и о Боге, который спасет человека.

Видя, что турецкую песнию пою и я — русский господин Карашо, мне улыбается — не продажно, а по-человечески — женщина, следившая за моим чаем, и тоже поет. Бессознательно с середины к нам присоединяется девочка, высунувшаяся из окошка и кормящая толстого, суетливого, наглого воробья, и ее хозяйка, починяющая простыню. Очень скоро песня, как огонь, перебрасывающийся с крыши на крышу, ползет по

всему недлинному переулку; перестают стучать наперстки; затуманиваются карие, черные, серые, синие, зеленые глаза и воображают: неразделенную любовь, коня, несущего всадника в поднебесье, фонтан, бьющий в мечети, голубей, летающих в куполе, и Бога, который спасет человека.

И вдруг я невольно замечаю то, чего раньше никогда не замечал: у противоположного дома — деревце, молодое и нежное, единственное в переулке, прильнувшее к фасаду, из-под фундамента вытянувшее свою зеленокудрую головку на высоту третьего этажа и скоро доползущее туда, за крышу, откуда оно увидит все: весь мир, все мечети, голубой Босфор, Золотой Рог, маяк, далекие острова, кипарисы скутарийского кладбища и святой Эюб, генуэзскую башню, стены византийских императоров, семибашенный замок, Сладкие воды, мосты, пароходы, плывущие в Россию, в Италию, в Африку, в Грецию, в Америку...

Почему я раньше не замечал это деревце — единственно чистое, что есть в этом переулке? Пою песню и ругаю себя за ненаблюдательность.

...Слышу, ясно слышу, как с правого угла переулка песня смолкает. Как будто в пылающий костер начали с одного конца лить воду. В чем дело?

Смотрю: по переулку в синем английском костюме, в желтых плоских башмаках, делающих женщину похожей на гусыню, идет англичанка, идет медленно, с повадкой обычного туриста, не отнимая черепахового лорнета от любопытных, прищуренных, близоруких глаз. Все больше и ближе смолкает песня. Мне показалось: вот идет классная дама, и с ее появлением прекращается шум, водворяется тишина, и сейчас начнется урок. Однако тишины нет: где-то хлопнула одна стеклянная дверь, другая, третья. На улицу в коротких, смятых ночных рубахах, в туфлях на босу ногу выскакивают разъяренные женщины, что-то, как ужаленные, кричат на всех тарабарских наречиях, плюются, жестикулируют, хватаются руками за бока, полукольцом окружают англичанку и не дают ей дальше прохода. Мрачными огнями горят обычно покорные, привыкшие к ласковой гримасе глаза, и вдруг — на чистейшем русском языке — среди общего гвалта и тарарама — слышу:

— Ты что, стерва? Смотреть сюда пришла? Карточки снимать? Очками своими похваляться?

Через минуту вокруг англичанки сгрудился весь переулок: старые и молодые, нарумяненные, набеленные, с крупинками краски на ресницах, с испорченными зубами, с опухолями под глазами, с фантастическими прическами, с брызжущими от бешенства ртами — все они, казалось, еще одна минута — и набросятся на нее: вымытую, добродетельную, в синем английском костюме — и разорвут. Появление женщины из того, из верхнего мира, женщины, лорнет которой придавал какую-то особенную, горделивую надменность, в глазах которой все они — галатские — были презренными тварями, которая пришла и опять уйдет в свой чистый дом, в свою чистую и душистую спальню,— появление такой женщины вызывало у обитательниц переулка нестерпимую ярость.

И прислужник, пивший пиво, и какие-то люди в фесках вскочили на табуреты и, затаив дыхание, смотрели, как развертывается спектакль.

— Вон отсюда, стерва! Чтоб ноги твоей здесь не было! И детям в поминание закажи! — кричала исступленно русская, и сама же первая не пускала англичанку вперед.

Англичанка была настороженно-спокойна, как сторож, вошедший в клетку с дикими зверями. Она поворачивалась во все стороны, рассматривала каждое лицо, не проронив ни одного слова, и только все ближе к глазам прижимала свой лорнет. Уже шел к ней на выручку где-то на главной улице затерявшийся спутник ее, английский офицер, который начал с того, что, не выпуская трубки изо рта и не вынимая рук из карманов, стал ногой бить женщин и что-то нечленораздельно рычать по-английски сквозь сжатые зубы.

Женщины, как мыши, в которых бросили камнем, мгновенно разбежались по своим норам и притаились. На месте происшествия осталась только чья-то потертая синяя шелковая подвязка. Зрители, стоявшие на табуретах, весело расхохотались. Спектакль был окончен. Англичане медленно, рассматривая окна, проследовали дальше.

— С этими крошками шутить опасно,— сказал по-французски человек, пивший пиво.— Не ходи сюда тот, кому не надо. Разорвут. Бывали случаи.

Скоро в переулке, переваливаясь, толстые, спокойные, упитанные, с резиновыми палками за спинами показались американские полисмены. Нервно застучали по стеклам четкие наперстки, и жизнь пошла обычным ходом.

Ночная бабочка

В сущности, было два Владимира Петровича. Один, которого знали товарищи, просто знакомые, возлюбленные, был приятный Владимир Петрович, Володя, с ровным характером, лет тридцати пяти, с карими хорошими глазами, с густыми каштановыми усами и полными, вкусными губами.

Другой Владимир Петрович был очень мало похож на первого. Другой, в отличие от внешнего Владимира Петровича, был всегда тоскующий, дико мнительный, испуганный человек. Этот безумно боялся смерти и верил, что с ним рано или поздно приключится нечто трагическое, нечто такое, от чего следовало бы, если бы воли хватило, заранее наложить на себя руки. Он и мысли не допускал, что умрет, как какой-нибудь Иван Иванович, да и из гордости не хотел бы этого. Но и трагического конца он не желал и поэтому вечно мучился и придумывал картины своей смерти. Он любил представлять себе последнюю секунду, последний миг перед тем, как дух покинет его тело. Рисовал он себе эту страшную минуту так: в глухую ночь, оставленный сестрой, дежурившей подле него, бессильный, чтобы позвать на помощь, он вдруг увидит Ее, свою смерть, затрясется от страха и захочет убежать куда-нибудь, спрятаться от нее. Непременно вспомнит какого-нибудь приятеля, какого-нибудь Ивана Ивановича, который сейчас безмятежно храпит дома или играет в карты в гостях, и станет горько и обидно, что ему хорошо, а он, Владимир Петрович, в муках умирает. И тогда он почувствует, что ему не хватает дыхания, начнется агония, которую всю жизнь никак не мог себе представить, будет хвататься скрюченными пальцами за кровать, на лбу выступят холодные капли пота и выпучатся глаза. И конец. И больше не будет в мире Владимира Петровича. А в это время повсюду Иваны Ивановичи будут наслаждаться жизнью точно так же, как и он наслаждался ею, когда другие умирали...

Единственное спасение от такого будущего Владимир Петрович видел в самоубийстве. Из всех способов он облюбовал один и представлял себе дело так: в какую-нибудь темную ночь он выйдет за город, где проходят поезда, впрысиет себе большую дозу морфия и, когда начнется действие яда, положит голову на рельсы и станет ждать, пока какой-нибудь ночной товарный или экспресс не отрежет ее. Разгоряченное воображение рисовало ему, как он лежит ничком на земле, и он испытывал жалость к себе. Раздается глухой шум приближающегося поезда. Владимир Петрович даже слышал тяжелое сопение железного чудовища... Вот он в пятидесяти шагах от него... в тридцати... в десяти... и вдруг ощущение нечеловеческой боли в шейных позвонках. В отделившейся голове рот раскрывается два, три раза, как у зарезанной курицы... тело извивается в судорогах... Черт с ним... лишь бы смерть перейдена. Не будет больше мучить...

У женщин Владимир Петрович пользовался большим успехом и потому не женился.

Может быть, оттого он и любил женщин, что с ними забывалось о смерти, что навязчивая идея не смела переступить порога любви. И он не мог бы назвать года, когда у него не было бы романа с женщиной или с девушкой.

Влюблен он был и сейчас в одну очень молоденькую, хорошенькую девушку, кончавшую гимназию. Ее звали Сюзи. Она была высокая, стройная, худощавая. Прелестно было ее продолговатое, еще не сформировавшееся, полудетское, полуженское лицо, прелестны были ее толстые, темные косы, небрежно закрученные на голове, и бледные, холодные руки с длинными тонкими пальцами. И Владимир Петрович иногда думал, что, если бы судьба послала ему счастье умереть в ту минуту, когда ее головка лежала на его плече, он простил бы саму смерть и то страшное, что мучило душу всю жизнь.

Произошло это в начале весны. Владимир Петрович сидел у себя в кабинете у окна и перечитывал «Первую любовь» Тургенева. Потому ли, что он был влюблен в Сюзи, а может быть, и потому, что его привлек в старинном переплете том Тургенева, которого Владимир Петрович давно не читал, но, раскрыв книгу наугад и пробежав несколько строк, начал рассказ сначала. Во время чтения он иногда недовольно качал головой.

В комнату вливались густыми потоками синие сумерки, и, когда Владимир Петрович кончил рассказ, было уже почти темно. Все краски потускнели, углы затянулись коричневою тенью, и только у окна еще чуть брезжил желто-сиреневый свет.

Владимир Петрович закрыл книгу, выглянул на улицу, полюбовался игрой последних закатных красок на небе и, от неожиданно пришедшей мысли, сладко вздрогнул. Через час он встретится с Сюзи и сегодня уж непременно страстно обнимет ее.

Сюзи молча отвернет голову, он увидит ее нежный, продолговатый профиль и пожалеет девичий стыд, но подумает про себя: «Не я, так другой...»

«Как все в жизни пошло и торжественно,— опять подумал он,— и я, в сущности, подлец».

«Не я, так другой»,— успокоил он себя снова.

«Однако,— вспомнил он прежнее недовольство, тихо грызшее его и сейчас,— странно, что Тургенев совершенно не тронул меня. Когда-то я восхищался его «Первой любовью», а теперь рассказ показался мне мармеладом для детей. Нет, Тургенев не большой талант, его переоценили. Да лучше классиков и не перечитывать. Бог с ними».

Он посмотрел на часы, покачал головой и начал одеваться. Вдевая запонки в свежие, отливавшие желтизной от электрического света, манжеты, он опять подумал, что сегодня непременно прильнет к девственной груди Сюзи, и, как прежде, сладко вздрогнул. Он очень отчетливо увидел ее лицо в профиль, и ему показалось, что он никого еще так не любил, как эту милую девушку.

На улице, идя вразвалку и раскланиваясь со встречными знакомыми, он был уже первым Владимиром Петровичем, и его радовало нежно-зеленое, весеннее небо, воздух прохладный, но уже пахнувший молодым солнцем и разбуженными к жизни травами полей.

Темнело быстро и незаметно, как обыкновенно темнеет в апреле. Электрические фонари приветливо зажглись вдали. На высоких угловых домах утих буйно-веселый крик недавно прилетавших птиц... Но на деревьях, уже пустивших почки, еще раздавался их нежный писк... Владимир Петрович поднял голову и в безотчетном блаженстве от ожидания свидания, от этого зеленого неба, от нежного, как жалоба, писка снял шляпу. Толпа увлекла его дальше, и он пошел с шляпой в руке, забыв, что ее нужно надеть...

В парикмахерскую он вошел, еще чувствуя умиление, но уже озабоченный. Осталось всего полчаса до свидания. Какой-то господин с намыленным лицом, увидев его в зеркале, весело крикнул:

— Здравствуй, Володя!

Владимир Петрович всмотрелся в намыленное лицо и узнал приятеля Никодима, которого товарищи в шутку прозвали «Никодим — много говорим».

— Здравствуй, Никодим,— произнес он, не особенно обрадовавшись встрече, и из любезности спросил:

— Как дела?

— Да вот, все воюю с этим африканом,— ответил Никодим.

При этом он расхохотался и указал пальцем из-под простыни на хихикнувшего в руку и в сторону подмастерья.

Владимир Петрович вяло улыбнулся и сел в кресло рядом с Никодимом. Из соседней комнаты на звонок вышел второй подмастерье с потухающей папиросой за ухом, со сложенной салфеткой в руках.

Сказав: «Мое почтение, господин Козлов»,— он тотчас сердито крикнул: «Мальчик, воды» — и стал неискусно вправлять салфетку за воротник Владимира Петровича. Владимир Петрович слегка поморщился, сказал: «Осторожнее» — и, посмотрев на себя по привычке в зеркало, подумал:

«Старею»... И загрустил.

Подмастерье начал лениво водить щеткой по знакомым щекам и тоже по привычке загляделся на себя в зеркало.

«А у меня волосы получше, чем у Козлова,— самодовольно подумал он,— вишь как поредели у него на макушке!»

— Ты, должно быть, на свидание собираешься,— раздался вдруг голос Никодима.

— Почему на свидание? — улыбнулся Владимир Петрович.— Может быть, это ты идешь на рандеву.

— Я-то? — спросил, хитро подмигнув, Никодим и тотчас стал без приглашения рассказывать, что он действительно сейчас должен встретиться с женщиной из высшего круга и хотя у него назавтра много работы, но уж бог с ней, с работой, женщина больно хороша, а главное, не какая-нибудь мещаночка, и если назвать ее имя, то все ахнули бы. «Ла донна э мобиле»,— неизвестно для чего, вполголоса, баритоном запел он.

«Как не стыдно ему болтать о женщине, с которой сейчас встретится,— подумал с брезгливостью Владимир Петрович.— Несносный болтун, а слывет за дельного юриста. А может быть, и врет, вероятно, к проститутке собирается».

Подмастерье вспрыснул его лицо одеколоном, напудрил гладкие щеки. Владимир Петрович провел рукой по лицу и остался доволен. Лицо его было мягкое, точно женское. Сюзи приятно будет целовать его щеки, пахнущие одеколоном. Удивительно, до чего любят женщины этот парикмахерский одеколон. «Ты так хорошо, так приятно пахнешь»,— говорили ему возлюбленные.

Он расплатился и вышел вместе с Никодимом.

— Ну, прощай,— сказал Владимир Петрович,— желаю успеха,— и приятели разошлись в разные стороны.

В темноте толпа издали казалась огромной и компактной. Владимир Петрович обошел ее и, держась близко стен домов, быстро зашагал, чтобы поспеть к назначенному часу. Он не думал ни о чем определенном. Сюзи... толстая дама в мехах с подозрительным господином под руку, табачный магазин Асмолова, прочитал он, дамское белье, опять Сюзи... и вдруг услышал близко позади себя приятный грудной женский голос.

— Красавчик, пойдем ко мне...

Он оглянулся. Высокая женщина в шляпе, надвинутой на глаза, догоняла его. Сверкнули большие, кажется, черные глаза.

«Проститутка,— равнодушно подумал Владимир Петрович,— но какие глаза, какой милый очерк рта»,— и, не отозвавшись, пошел дальше. Бог с ней!

— Почему же не отвечаете? — она говорила с польским акцентом, и это неприятно резануло ухо Владимира Петровича.— Невежливо!

— Некогда,— сказал он, чтобы ответить что-нибудь и отвязаться.

— Должно быть, на свидание спешите,— смеясь и опять показав глаза, бросила она...

«Далось им это свидание сегодня,— с досадой подумал Владимир Петрович,— написано на мне, что ли?»

— Ну да, на свидание,— после молчания сказал он наконец и посмотрел на нее. Глаза ее ему чрезвычайно понравились.

— На свидание и завтра успеете,— шутливо, как старая знакомая, и все смеясь, возразила она,— а меня завтра, может быть, не встретите. Лучше пойдем ко мне, я недалеко живу, кстати... Я интересная... И вы мне понравились...

«Знаем мы, как я вам понравился,— подумал про себя Владимир Петрович.— Однако хорошенькая, и хорошо говорит, не грубая. Если бы не Сюзи... я бы поболтал с ней, честное слово».

— И вы мне понравились,— сказал он откровенно, все, однако, идя быстро,— но я, к сожалению, спешу.

— А я не отпущу вас,— повеселев, проговорила женщина и смело взяла его под руку.— Я себе сказала, что вы сегодня будете моим, и будете... Я интересная,— повторила она.— Вы не раскаетесь...

— Мы все говорим, что интересные,— внезапно охладел он к ней и освободил свою руку.— Ну, до свидания, в другой раз.

— В другой раз будет поздно,— не отставая, говорила она.— Послушайте, не пропускайте случая, вам будет очень приятно со мной. Посмотрите на меня еще раз, может быть, я понравлюсь вам.

Разговор с ней невольно заинтересовал его. Он послушно посмотрел на нее, и она ему, точно, сильно понравилась. Выразительное лицо, полные губы, стройная высокая фигура, прекрасные, умные глаза и какое-то милое изящество в наклоне головы. Трогательны были, точно нарисованные, брови... И Владимир Петрович оглянуться не успел, как почувствовал себя в плену желания обладать ей. «Вот свинство»,— подумал он.

Желание выросло вдруг, как это обыкновенно бывает с мужчинами, часто сходящимися с женщинами. Если бы можно было, он тут же, на улице... страстно поцеловал бы ее красные, жаркие губы...

«Вот свинство,— опять подумал он.— Однако странно, почему меня так внезапно потянуло к этой неизвестной женщине, выплывшей из тьмы переулка,— зашевелилась у него недоверчивая мысль.— Ведь мне нельзя пойти к ней, меня ждет Сюзи, а я чувствую, что должен, что не могу не пойти с ней. Будто кому-то нужно, чтобы я это сделал. Нет, не пойду...»

— Ну, что вам стоит,— тихо сказала она, поняв, что он колеблется.— Ведь известно, что происходит на свиданиях. Будете сидеть где-нибудь в аллее на скамье и вздрагивать от каждого шороха, будете обнимать женщину или девушку. Сколько раз вы это повторяли в жизни. Ведь всякий мужчина — та же проститутка. Разница лишь в том, что я на улице, а вы это проделываете в домах. Правда же!

«Не пойду, не пойду»,— твердил он себе, следя уже, однако, за ней и не умея победить все усиливавшегося желания обладать этой женщиной.

— Совершенно идиотское приключение,— жалко улыбаясь, сказал он ей.— Меня ждет женщина, а я вот что делаю.

— А разве это не интересно,— «сладко», заглянув ему в глаза, спросила она.— Вам будет хорошо со мной,— шепотом повторила она.

— Ты мне очень понравилась,— признался как бы в свое извинение Владимир

Петрович.— Я чувствую, что мне не надо с тобой идти, а между тем, помимо своей воли, иду. Как будто кому-то надо, чтобы я пошел к тебе,— сказал он вслух свою прежнюю мысль...

— Во всяком случае, ты об этом не будешь жалеть, милый мой,— перешла и она на ты.— И вечер такой славный, правда? — спросила она.— И я сама как будто влюбилась в тебя...

— Только уговор, я недолго останусь у тебя,— с усилием произнес он, опять вглядываясь в нее...

И тут ему вдруг представилась хрупкая, стройная Сюзи, со своим невинным, детски-ясным лицом, уныло бродящая по пустынной, жуткой улице, где было назначено свидание... Но звезды были так хороши в синеве неба, и рука женщины так нежно прижимала его руку, и так обольстителен был таинственный шепот улицы, что Владимир Петрович тотчас забыл о девушке и, снова умиленный, как всегда, когда переставал чувствовать свое «я», уже совершенно предался неизвестной подруге. И она это почувствовала и благодарно молчала. Только тесней, нежней, значительней сжимала его руку, и Владимиру Петровичу казалось, что она объясняется ему в любви.

Пожимая плечами и ругая себя за бесхарактерность, Владимир Петрович стал подниматься с ней по лестнице какой-то гостиницы, где скоро их ввели в просторный, на первый взгляд хорошо убранный номер с большой, широкой кроватью, с потертым ковром на полу.

Лишь только лакей ушел, Владимир Петрович тотчас же страстно обнял ее и повернул лицом к себе. Она улыбнулась. При свете она еще больше ему понравилась. «В болоте иногда растут прекрасные цветы»,— промелькнула у него мысль, и, покраснев от желания, он опять обнял ее и крепко поцеловал в губы.

— Я знала, что понравлюсь тебе,— промолвила она.— Чем тебя угостить, кофе или чаем?

— Да, да,— не слушая ее и пожирая глазами ее тонкую, девичью фигуру, сказал он и потянулся рукой к ее груди, по привычке испытать, хороша или плоха грудь.— Распорядись. Пусть принесут конфет для тебя... «Прекрасная женщина, мысленно решил он, может быть, даже и не проститутка».

Она тоже разглядывала его. Быстрым движением тонких, чуть длинных рук она сняла с головы шляпу, куда-то бросила ее и, вдруг, как бы отчаянно, прильнула к его горячим, сухим губам.

Когда оба очнулись, кофе был уже холодный. Она взяла с ночного столика коробку с конфетами, предложила ему, взяла себе... Владимир Петрович лежал приятно уставший и необыкновенно довольный. Таких нежных ласк еще ни одна женщина ему не расточала.

Она лежала на боку, на его руке, лицом к нему, а он думал о том, что сейчас никому не уступил бы ее.

И на ее вопрос:

— Теперь уйдешь?

Владимир Петрович, смеясь, ответил:

— Конечно, уйду.— И крепко поцеловал ее.

— Вот видишь, милый мой, я же тебя предупреждала, что не пожалеешь. Помоги мне сесть, я заплету косы на ночь.

Он посадил ее и смотрел, как она это делала. Поднимались синевато-белые, худые руки, проворно бегали длинные пальцы. Вот упала на двигающуюся лопатку первая черная коса. Какие волосы! Все у нее настоящее! Зажегся где-то в мозгу образ худенькой Сюзи, но, как он ни старался, чтобы образ ее тронул его, это не удавалось. Сюзи, словно мстя за обиду, ускользала из памяти и скоро потонула где-то среди стоячих мыслей.

И другая такая же коса полетела на плечо, и обе они опять вызвали у него прилив любви. Снова было забытье, необыкновенные ласки и счастье...

Они лежали лицами друг к другу, и она ему рассказывала о себе. Она полька из Варшавы, хорошей семьи. В шестнадцать лет она влюбилась в своего репетитора и убежала с ним. Вскоре тот ее бросил. Домой она из стыда не вернулась. Пошла в гувернантки, но и тут ей не повезло. За ней стал ухаживать офицер, брат ее госпожи, и она ему отдалась. Забеременела, где-то рожала, ребенка бросила... Офицер уехал в полк. Потом уже от голода и отчаяния пошла на содержание к старику, однако долго не выдержала и бросила его. Увлеклась студентом, евреем, а от него уже, со ступеньки на ступеньку, стала переходить из рук в руки, пока не докатилась до улицы. Тут и осталась...

— Конечно,— вполголоса продолжала она, играя его короткими пальцами,— я могла бы и вверх покатиться, но не повезло. Мало ли удачливых кокоток. А у меня не вышло. Из родного города пришлось уехать. Жила долго в Москве, в Киеве. Теперь уже год, как живу здесь.

— Отчего же ты не займешься честным трудом? — серьезно спросил Владимир Петрович.— Ты бы могла быть продавщицей, кассиршей, телефонисткой... Может быть, я бы тебя встретил и влюбился. Ну не я, так другой.

— Мужчины или притворяются,— спокойно возразила она, посмотрев на него,— или в самом деле глупы. И ты такой, как все. Точно вы сговорились друг с другом предлагать ночной бабочке,— сказав «ночная бабочка», она улыбнулась,— всегда одно и то же. Какая я честная труженица, если меня с ума сводит ночная жизнь? Без ночной толпы я себе теперь жизнь не могу представить. Не мужчина же в самом деле мне всегда нужен. Толпа моя, и я принадлежу толпе, и нас нельзя разделить. Нет, не в том дело, милый мой, и не будем в тысячный раз повторять историю наивного гимназиста и добродетельной проститутки. Лучше скажи, хорошо ли тебе со мной, милый мой?

— Очень,— ответил Владимир Петрович,— и если бы иметь такую жену, как ты...— не окончил он.— Как жаль того, который лишился счастья быть твоим мужем,— как бы себе сказал Владимир Петрович.

Они долго после этого молчали. Ее глаза медленно наливались слезами. Длинным мизинцем она незаметно смахивала их.

И он угрюмо молчал, боясь неловким словом обидеть ее... и... вдруг вспомнил Сюзи. Встать, побежать, отыскать ее, была первая мысль, но сейчас же явилось возражение: поздно, Сюзи давно домой вернулась.

«Нет, уже поздно,— опять подумал он, чувствуя, что ему лень сейчас подняться.— Да и не хочется к ней. Лучше до завтра подождать. Бог с ней, с Сюзи! Ни целоваться с ней, ни шептаться не тянет...»

— Самое главное,— вдруг сказала она,— он вздрогнул от звука ее голоса — что меня мучит, это мое будущее. Ведь я все знаю, понимаю и не обманываю себя. Красота уходит... Если бы ты знал меня в шестнадцать лет... Когда я, бывало, гимназисткой выходила под вечер на улицу, вся Варшава гналась за мной. Красота уходит...— повторила она после того, как от нее отошел образ гимназистки Зоси,— а желания растут. Чем меньше имеешь прав на счастье, тем больше требуешь его. Зубы у меня начали портиться, и я себе не представляю, как смогу надеть фальшивые зубы. А ведь придется. Ну, бог с ними, с зубами,— не знаю, зачем о них вспомнила.

— Честное слово, ты очень хорошая,— произнес Владимир Петрович, растроганный.— Ты задела мою душу.

— А завтра забудешь обо мне, не спорь, не возражай, милый мой, я опытнее тебя. Я благодарна тебе за сегодняшнюю ночь, и мы квиты. И еще тревожит меня страх,— вернулась она к прежним мыслям,— что я непременно заболею... ну, нашей болезнью.

Однажды уже была больна,— вывернулась. Раз вывернулась, другой, но не всегда же счастье. Постарею, стареем мы скоро. Мне уже двадцать восемь лет. Ну до сорока можно работать, а дальше? Осталось двенадцать лет, самых трудных. И далеко, и близко. Так близко кажутся иной раз эти сорок лет, будто через дорогу перебежать. Ты представь себе, что я в сорок лет буду делать? Больная, беззубая, с вылезшими волосами... Не будет у меня вот этих кос.

Дрожь пробежала по телу Владимира Петровича, и он, как испуганный ребенок, зашептал:

— Не мучь меня, не говори больше!

— Так ведь это же правда, Володя! Ни к чему не способная, больная! А душа будет такая же, еще более жадная, еще более требовательная... Дайте, дайте и мне радости... Я себя знаю, милый мой. Буду лежать где-нибудь в каморке и мечтать о прекрасной молодости, буду косы свои вспоминать...

— А я всегда, даже когда счастлив, думаю о том, что умру неестественной, необыкновенной смертью, и всю жизнь мучаюсь этим,— вдруг ужасно откровенно сказал Владимир Петрович.

— В самом деле,— удивившись, медленно проговорила она.

Она долго смотрела на него, потом с порывом поцеловала.

— Ты хорошая,— опять повторил он.

— А может быть, и нехорошая,— смеясь, ответила она.— Не в том дело. Дай, я твою руку буду целовать, я люблю целовать мужские руки.

И, целуя коротенькими касаниями губ его волосатую руку, она тихо сказала:

— Вот отчего, милый мой, я решилась умереть. Я уже полгода как задумала это. Некуда дальше, милый мой. И не все ли равно, раньше или позже? Третьего дня чуть было не сделала, да в последнюю минуту испугалась. Скучно показалось одной умереть,— поправилась она.

— То есть как скучно,— не понял сразу Владимир Петрович и почувствовал легкий испуг, колющим холодком пробежавший в сердце.

— Как же ты этого не понимаешь? — отозвалась она.— С револьвером в руках и одна... Не весело это! А вот вдвоем...

— Пожалуй, ты права,— подумав, одобрил он ее и успокоился.— Но где же найти этого второго?

— Второго? — удивилась она его вопросу.— Да сколько угодно. Любой попавшийся мне на улице гость и есть второй. Чуть он заснет, я сначала его, потом себя. Вот ты какой, испугался...

Владимир Петрович присел от страха и схватил ее за руку.

«Еще, пожалуй, убьет,— молнией пронеслось у него в голове.— Влопался же я в историю. Нет, надо сейчас убраться отсюда. Вздор, не убьет. Фантасмагория, фантасмагория...» — почему-то несколько раз повторил про себя это слово Владимир Петрович.

Он быстро нагнулся, поднял с пола носки и дрожащими руками стал надевать их.

— Так почему же я тебя убью? — словно угадав его мысли, смеясь сказала она, шутливо вырывая у него вывернутый наизнанку носок.— Какой ты глупый! Я могу убить несимпатичного, грубого, но зачем же я стану убивать хорошего? Мне ведь только второй нужен. Какой ты глупый,— опять сказала она и слегка потянула его, чтобы он лег.

Когда же Владимир Петрович не сразу дался и со страхом посмотрел ей в глаза, она положила его руку на свою грудь и прижалась нежно и страстно к нему. Коса упала на его плечо.

И он вдруг притих, успокоенный этой вызывающей лаской, и снова, как на улице, почувствовал себя во власти неведомого, мистического обаяния.

«Конечно, мой страх — вздор! Мне ведь предсказали, что я должен только моря бояться,— успокаивал он себя.— Фантасмагория,— опять началась музыка в голове,— гория... гория... Да и уйти ведь не хочется, вот в чем трудность»,— как бы оправдываясь перед кем-то, чуть не сказал он вслух.

И, устав бороться с ней, с собой, бросил носки, лег и жарко обнял ее...

— Я это сегодня хотела сделать,— услышал он ее чистый грудной голос,— и решила: первый, которого я встречу, умрет со мной. Но первым оказался ты, и потому я это сделаю завтра, через неделю. Ты опять забеспокоился? Глупенький, если бы я хотела с тобой умереть, разве я бы тебя предупреждала об этом? Дай мне свою руку...

Он кивнул головой. «Вздор»,— решил он и стал ласкать ее. По ее знаку подставлял губы для поцелуя, отвечал шалостью на ее маленькие шалости и удивленно думал, что иногда настоящую женщину можно найти там, где всего меньше ждешь этого, среди проституток.

— Вот и не верь Достоевскому,— целуя ее, сказал он вслух и даже засмеялся от радости.

И позже, когда засыпал, то все еще думал: «А Тургенев швах со своей «Первой любовью». Проведи он одну ночь с Зосей, и совсем бы другой рассказ написал. Нет, мы, незаметные люди, часто бываем талантливее наших писателей».

И еще о многом он думал: о себе, о своей не совсем удавшейся жизни, о Сюзи и ее милом профиле, о ее матери, его давнишней, хорошей знакомой, с которой лет пять тому назад у него чуть не завязался роман, и нежно сжимала его слабеющая рука руку Зоси...

Когда Владимир Петрович уснул, Зося, подождав, осторожно сошла с кровати и начала босая ходить по комнате. Стараясь неслышно ступать по ковру, она часто взглядывала на Владимира Петровича, не проснулся ли он. Лицо ее было нахмурено, глаза щурились от света.

Одно время она долго стояла подле Владимира Петровича и разглядывала его чуть одутловатое лицо, его сероватый лоб и небольшие мешки под глазами. Из полуоткрытого рта, в глубине желто мелькнул золотой зуб.

Она отвернулась, подошла к дивану, где лежал ее ридикюль, и вынула из него револьвер. Точно загипнотизированная, крепко сжимая его в руках, она вернулась к Владимиру Петровичу. Косы болтнулись на ее спине и разбежались по бокам, когда она нагнулась и приложила револьвер к его лбу. В этот миг он проснулся, может быть, инстинктивно... Но не разобрав со сна, что происходит, еще весь во власти приятного сновидения, он улыбнулся ей и, потягиваясь, нежно сказал, словно жене своей: «Зося!»

И даже не услышал звука выстрела...

В коридоре тотчас послышался тревожный топот ног. Кричали. Кулаками стучали в дверь.

Зося торопливо подняла посиневшую руку Владимира Петровича и, поцеловав ее, сказала:

— Мы сейчас увидимся, милый мой!

И пока стучали, пока трещала дверь от навалившихся на нее людей, она подошла к окну, раскрыла его. На нее пахнула прохлада апреля. Бледно горели звезды на небе. Едва слышно шумела улица...

Зося прощально кивнула кому-то головой, легла животом на окно и вложила дуло револьвера себе в рот. И тотчас строго опустились ее руки и как бы в мольбе повисли над улицей.

На спине слабо затрепетали толстые косы.

Александр Плещеев

Без ужасов

Театральная аристократия

Около балаганчика, по внешнему виду, в дачной местности, сидя на скамейках в саду, разговаривали актеры. Часть труппы в это время священнодействовала на репетиции, которая была единственной и в то же время генеральной.

С тетрадкой вышел в сад помощник режиссера и громко спросил:

— А где же граф де Вильмор?

Он искал актера, игравшего во французской мелодраме роль графа де Вильмора.

— Де Вильмор поехал к знакомому коммерсанту на дачу поблизости! — ответил равнодушно толстый, жирный комик.

— Да как же он смел? Я его оштрафую! Его выход!

— Поехал фрак просить, ведь граф-то во фраке.

— Нашел время! У него всегда история с фраком! У всех просит, а рекомендовался исполнителем фрачных ролей.

— Я говорил, что салонный репертуар нам не по плечу,— высказал свое мнение высокий актер в коломянковом костюме и в черной фуражке, сосавший сигару.

— А какой же предпочесть, по-вашему, репертуар?

— Бытовой!

— Бытовой! — передразнил он его.— Здесь публика обеспеченная живет, здесь и пьесы надо давать ковровые.

— У вас ковер-то всего один, да и тот дырявый, по которому ходишь с опаской, чтобы не растянуться!

— Скажите графу де Вильмору, что я читаю за него роль, пусть играет без репетиции.

Из театра выходит сам директор театра с лицом желтым, как бумага для истребления мух, худой, длинный, с цепочкой, украшенной бриллиантовым жетоном с цифрой XXXV.

— Как противно играть — и сказать не могу! — произносит он, прикидываясь недовольным.

— А зачем же вы, Лазарь Прохорович, играете? Утруждаете себя! — вмешивается в разговор комическая старуха.

— Просят! Ничего не поделаешь!

— Кто просит-то? — удивляется толстый актер.

— Публика просит, актеры многие просят. Где у нас бары-то для великосветской гостиной? Не вы же? У вас вон лакированных ботинок нет. Зарезали в пятницу на спектакле!

— Чем же я вас зарезал?

— Как же, играли кровного князя и вышли в смокинге при желтых ботинках. Есть ли на свете князь, который надел бы желтые ботинки при смокинге?

— Вы на вашем барстве помешаетесь!

— Да, могу сказать, что я действительно барин, остаток прежних воплотителей барства на сцене.

— Все ваше барство в том и заключается, что у вас есть старый, лоснящийся шапокляк да красный шелковый платок.

— Я всю жизнь из белых перчаток не вылезал! А графа де Вильмора все нет? Где Петунников?

— Фрак ищет!

— Только срамить труппу! В прошлый раз даже у здешнего метрдотеля фрак просил.

— Откуда нам гардероб-то брать? Вы сколько нам платите? Все заложено.

Репетиция заканчивается, высыпают все актеры и актрисы.

— Вот, кстати, госпожа Никудимова,— останавливает антрепренер молодую, смазливую артистку,— у вас необыкновенно грубые, незакругленные жесты... а вы ведь графиня по пьесе!

— Я училась в школе у Евдокимова.

— Евдокимовское барство! Евтихий Евдокимов — рубашечный актер с ног до головы! Нашли на кого ссылаться. Затем старайтесь французские фамилии произносить как можно больше в нос! Не забывайте, вы во Франции, в ее сердце — в Париже!

— Я даже говорю немного по-французски!

— А прононса настоящего нет. Уж по части французского прононса спросите у меня. Затем, вы ходите быстро, графиня должна двигаться медленнее и плавнее, павлинообразно.

— Ишь, мудрит, каналья! — говорил актер с пухлым лицом потихоньку товарищу.

— Барин, а всегда завит, как мерлушка.

— Больше на официанта из барского дома похож.

— Кириллов! — крикнул Лазарь Прохорович молодому актеру, садившемуся на велосипед.

— Что нужно?

— Вы кого играете?

— Виконта де Мурэ.

— Так-с, ну так имейте в виду: виконт никогда себе не позволит барабанить пальцами по столу, как вы делали. Вы — потомок родовой аристократии... не забывайте. И не торопитесь садиться!.. Нельзя так бросаться в кресла. Спокойно опускайтесь!

— Медленный темп взять?

— И больше гордости! Берите пример с меня! Я горд, но вместе с тем и прост. В салонах именно необходимо опрощение человека. Да не вздумайте плюнуть, как вы плюнули на репетиции.

— Буду стараться. Я привез шапокляк.

— Им тоже нужно владеть умеючи. Господа!.. теперь общее замечание! Многие из вас надевают перчатку на правую руку, а левую оставляют обнаженной. Нужно, согласно этикету, делать наоборот.

— Да будет вам курс хорошего тона проходить с нами,— ощетинился комик,— не дети мы начинающие, виды видали, слава Богу! Я у губернаторов на вечерах бывал, у предводителей дворянства гостил.

— Это еще не резон, вы сами лоску от этого не приобрели. Барином нужно родиться.

— А вы помните, кем вы родились?

— Я помню одно, что все свое детство у отца на золоченых стульях сидел да на серебре кушал!

— Вот хорошо, что напомнили... Кушать пора, ко щам манит!

Возвратился с потным лицом актер, разыскивающий фрак для роли графа де Вильмора.

— Раздобыли? — спросил антрепренер.

— Один уехал, другой на бал собирается, третий утюжить фрак отдал. Не мог достать.

— В чем же вы выйдете на сцену?

— Спрошу портиого, ие подошьет ли ои полы у сюртука?.. Может быть, ие заметят...
— Вы зарежете меия! Вы с ума сошли!
— В сюртуке позвольте играть.
— Графа-то! На обеде в сюртуке! Где хотите достаньте, иначе я замеию вас кем-ибудь!
— Кем же вы замеиите? До Петербурга далеко, а здесь артистов иет.
— Берется за воспроизведеиие салоииого жаира и ие имеет фрака! У лакея возьмите, ио без фрака эта роль иемыслима. Высшее общество во Фраиции особеиио чутко и требовательио к туалету.
— К гробовщику, что ли, пойти, может быть, у иего для факельщиков есть фраки.
Во время объясиеиия все актеры разошлись, и Лазарь Прохорович остался одии с графом де Вильмором.
— Лазарь Прохорович, ведь мы с вами иа сцене ие встречаемся?
— Так что же-с?
— Одолжите ваш фрак иа выход... у вас действительно барская вещь.
— Но имейте в виду, если я и соглашусь одолжнть вам свой фрак, то лишь в виде исключеиия, чтобы ие погубить общего тоиа великосветской картнны. Но в другой раз я вас, пока ие покажете фрака, ие займу в спектакле!
Лазарь Прохоровнч громко крикиул проходившему бутафору...
— Помиите стиль мебели второго акта?
— Людовика двадцатого?
— Кажется, такого и ие было! Словом, мебель Людовнка, а которого — это безразлнчио, ибо у нас всего одиа мебель!

Газетчики

— Где вам дадут такие щн? Нигде нет таких щей! — восторженно сказал действительиый статскнй советинк Глыба, обедавший летом с полковником и его супругой иа вераиде ресторана Доиои.
— Прежде публика здесь собиралась более изыскаииая,— равиодушио заметил полковиик,— а теперь какая-то окроша.
— Н-да... теперь тут н актер, и газетчик... Ах, какие щи!
Глыба упнсал всю тарелку щей н обмахивал себя салфеткой.
— Даже в жар бросило! Фу! Да вот-с... это два журиалиста кушают, это адвокат Амуров... иапротив в беседке певица, исполияющая цыгаиские романсы...
— Оиа очень мило, очеиь хорошо поет! — произнесла молчаливая полковница, которая вытяиула шею и лорииировала певнцу.— Ромаис «Я помию вечер» ей особеиио удается.
— А газетчики — опасиейший иарод! Терпеть их ие могу, пристают ко мне... то сведеиия о предстоящем юбнлее подай — ведь скоро мой юбилей! — то какого я придерживаюсь мнеиня о будущиости Китая, то портрет одолжи. Но вы меня знаете,— продолжал Глыба,— рекламу я иеиавижу, враг дешевой популярности.
— А между тем о вас постояиио пишут и фотографии ваши в разных видах помещаются,— удивился полковннк.
— Черт нх знает, откуда берут? Вероятио, фотографов подкупают или прислугу.
— При чем тут прислуга?
— Прислуга крадет у меия со стола различиые сиимки.
— Призиаюсь, Акнм Акнмовнч, я была с Пьером поражена, когда появнлся ваш портрет, на котором вы изображеиы в рабочем кабинете в халате.
— Домашннй сннмок — н в печать! Вы правы, Аииа Леоитьевна.

— Отчего же вы их не преследуете?

— Да когда-нибудь и придется, выведут из терпения. Эти господа готовы все тиснуть! Святого — ничего. И что обидно, оскорбительно,— найдутся люди, не сочувствующие тебе, которые истолкуют все это так, что я сам себя рекламирую. Конечно, кто меня знает...

— Вас никто не заподозрит,— успокаивал его полковник,— вы занимаете видное положение, вами интересуются, вы, так сказать, выпуклость, злоба дня! Весьма натурально, что газетчики треплют юбиляра.

— До известной степени я, конечно, выпуклость... злоба дня. Но как хороша здесь вареная говядина. С жирком — это объедение, восторг. Я злоба дня! — продолжал он снова.— Но я не желаю рисоваться, я скромен по своей натуре, у нас это наследственная черта: про отца, бывало, напишут в газетах, из себя выходит! Бумагомарак ненавидел.

— Даже нас в покое не оставляют,— произнесла полковница,— описывают туалеты и проникают на балы. Один такой писатель у графини Изюмовой, как после оказалось, разносил во время раута на подносе стаканы с прохладительными напитками.

— Вообще наш литературный спорт идет вперед!

— Вы правы, и рекламируют всех без разбора! Нет, чтобы разобраться.

В течение всего обеда они разносили печать со страстностью Сквозника-Дмухановского. Реклама их возмущала, они негодовали, выказывая далеко не обычную скромность.

Наконец, полковник, закуривший большую сигару, встал, предложил руку жене и простился с Глыбой. Они торопились попасть засветло на Елагин остров, на «Стрелку», где всегда катаются, даже несмотря на дождь и непогоду.

Глыба допил кофе, а потом направился в уголок к столу, за которым сидел сотрудник газеты «Равновесие», пишущий под псевдонимом «Мрачный».

— Ваше превосходительство! — приветствовал Мрачный, вскочив с места, действительного статского советника Глыбу.

— Милейший, здравствуйте, хотел к вам заехать еще вчера.

— Изволили читать сегодняшнюю беседу с вами, ваше превосходительство?

— Не забуду этой услуги! — шепнул он Мрачному, оглянувшись предварительно по сторонам, не следит ли кто-нибудь.

— Портрет ваш завтра даем.

— Остановите.

— Поздно! В машине, ваше превосходительство.

— Машину остановите, у меня сюрприз для вас.

— Ваше превосходительство, тронуть, но...

— Никому, кроме вас...— Он вынул из бокового кармана пальто конверт.

— Что это?

— Новый фотографический снимок с меня, юбилейный, так сказать... в мундире! Желательно бы видеть именно этот снимок в вашей газете...

— На следующей неделе мы его можем воспроизвести!

— Постойте, подвиньтесь-ка ко мне!.. Кажется, нас не видят? Я еще хочу кое-что вам показать. Узнаете?

Глыба вынул из кармана фотографическую карточку, пожелтевшую от времени.

— Что это за милый мальчик, ваше превосходительство?

— Неужели так-таки и не узнаете?

— В штанишках, куртке...

— Это я, когда мне было пять лет... Хотите?

— Такой подарок, ваше превосходительство...

— Вы можете тиснуть его в газете, а затем возьмите себе. Гонорар из редакции можете взять также себе. Я думаю, что этот снимок заинтересует общество. Ведь у вас, кажется, принято давать снимки с малолетних?

— Как же-с... да вот, ваше превосходительство, мы поместили М. Г. Савину в колясочке, которую везет няня, М. Ф. Кшесинскую, играющую в мячик, будучи двухлетним ребенком.

— Так берите, я не прочь поместить у вас!

— Все, что касается вашего превосходительства...

— И это кстати, юбилей на носу! Ах, да... чтобы не забыть, вы хотели заехать ко мне, дорогой, насчет моего формуляра и вообще жизнеописания...

— Непременно-с...

— Облегчаю вашу задачу... Вот вам целая тетрадка... тут все обстоятельно изложено, а придать цвет, украсить, оценить вы сумеете лучше меня. Мне вчера не спалось, и я набросал. Больше ради точности, потому что вы знаете, как я далек от всякого самохвальства и желания выдвинуться.

— Ваше имя, ваше превосходительство...

— Я понимаю, что я, в некотором роде, злоба дня.

— Ваше превосходительство, позвольте мне, в свою очередь, просить вас до появления моих статей не сообщать тех же сведений в другие газеты.

— О, можете быть уверены, никому ни слова. А если и дам что-нибудь, то совсем непохожее... Ваших услуг я не забуду, и, если когда-нибудь... вы понимаете... не забуду вас. Что нужно — заходите ко мне, дверь для вас всегда отперта. Вы знаете, как я вас люблю.

Глыба пожал руку Мрачному и, веселый, направился по веранде. Его остановил товарищ детства Сухарев, тоже человек с положением, очень важный и завистливый, оставшийся, благодаря своей нервности, не у дел.

— С кем это ты сидел там, Глыба, в углу? — спросил он его.

— А, Сухарь, здравствуй! Какой-то литератор, газетчик или что-то в этом роде... Дрянцо большое. Нагоняй ему задал!.. Пишут обо мне черт знает что... дался я им! Подумают, я сам хлопочу. Покою, подлецы, не дают! Эта свобода их разнуздала!

— Да так все и думают!

— Выведут они меня когда-нибудь из терпения, задам я им!

— Прикажи им замолчать!..

Сухарь, по мнению Глыбы, обогнавшего его по службе, возмущался больше потому, что о нем самом ничего не пишут и не помещают его портретов.

Юрий Галич

Волчий смех

Поручик Мирович

(Из старинного прошлого)

Сын принцессы мекленбургской, Анны Леопольдовны, и принца брауншвейгского, Антона Ульриха, трехмесячный младенец Иван, по капризу больной императрицы Анны Иоанновны был объявлен «императором всероссийским».

Когда Миних вел гвардейцев арестовывать Бирона, солдаты были убеждены, что переворот делается в пользу цесаревны Елисаветы Петровны. Но правительницей империи объявлена была мать младенца.

В ночь на 25 ноября 1741 года цесаревна Елисавета Петровна с верными лейб-кампанцами арестовывает правительницу, ее мужа — генералиссимуса принца Антона, младенца Ивана и провозглашает себя императрицей. Гвардия, народ, вся Россия приветствуют дочь Петра Великого...

Елисавета Петровна не ошиблась в расчетах.

Если «Париж стоит обедни», то за Россию можно отречься от подписи на присяжном листе, которою она клялась в верности младенцу Ивану. Но Елисавета Петровна добросердечна. И в манифесте о восшествии на престол так определяет судьбу низложенного императора и его родителей:

«Из особливой нашей природной к ним императорской милости, не хотя никаких им причинить огорчений, с надлежащею им честью и с достойным удовольствованием, предав все их к нам разные предосудительные поступки крайнему забытию, всех их в отечество их всемилостивейше отправить...»

В декабре 1741 года несколько кибиток, окруженных надежным конвоем, выехало из города Санкт-Петербурга... Поезд направлялся на Ригу, Митаву, Кенигсберг. Весь 1742 год изгнанники провели в Риге «под крепким надзором». В декабре того же года были перевезены в крепость Дюнаминд. До последнего времени сохранялся там исторический каземат, здание Арсенала, в котором была заключена брауншвейгская семья и где родилась, между прочим, принцесса Елисавета.

Вскоре возник вопрос большой государственной важности.

Не опасно ли выпустить из рук брауншвейгскую фамилию?.. За границею, на свободе, не явится ли со временем в лице Ивана VI претендент на русский престол?..

Первоначальное решение, высказанное в манифесте, было оставлено, и изгнанники были возвращены в Россию.

В 1744 году их перевезли в Раненбург Рязанской губернии. Осенью Ивана VI навсегда разлучили с родителями и отправили в Холмогоры. Остальных «арестантов» намечено было заключить в Соловки. Но вследствие распутицы этот план не был приведен в исполнение. Брауншвейгская семья была также водворена в Холмогорах.

Родив здесь сына Петра, а потом Алексея, Анна Леопольдовна скончалась. Принц Антон-Ульрих умер много позднее, в 1774 году. Брауншвейгская фамилия, всеми забытая,

5—1565

оставалась десятки лет в Холмогорах. Старики умерли, вновь народившиеся старели. Но никто из них никогда не видел и ничего не знал про Ивана VI, содержащегося в течение многих лет тут же, за одною и той же оградой.

В 1756 году по высочайшему повелению сержант лейб-гвардии Савин в глухую ночь вывез узника из Холмогор в Шлюссельбург...

Ивану VI минуло шестнадцать лет. Это был юноша среднего роста, довольно слабого сложения, но здоровый, насколько, впрочем, может быть здоров человек, проведший всю жизнь в заточении. С четырехлетнего возраста оторванный от родителей, он был сдан на руки тюремщикам. Двадцать лет производился над ним опыт первого в России применения бесчеловечной системы одиночного заключения. Он никого не видел, никто с ним не разговаривал, на вопросы его было запрещено отвечать.

Подлинная выписка из донесений гласит:

«Хотя в арестанте болезни никакой не видно, только в уме несколько помешался... Арестант сказывает, что он русской империи государь...»

Иван VI не получил никакого образования. Однако знал Евангелие, апостолов и другие произведения духовного содержания. В физическом отношении узник был совершенный ребенок, но нрава «сердитого и горячего».

Безвинный и безобидный, ни на что не способный, он родился, жил и умер мучеником деспотизма. С колыбели до самой могилы, в течение двадцати четырех лет, Иван VI был игрушкою политических страстей. А убит был по той причине, что какой-то безрассудный поручик избрал его орудием своих честолюбивых замыслов.

Василий Яковлевич Мирович был обер-офицером Смоленского пехотного полка.

Мировичи принадлежали к малороссийской знати, некогда были богаты, играли видную роль, пользовались влиянием. Дед поручика, переяславский полковник Федор Мирович, изменил Петру I и, после поражения шведского короля, бежал в Польшу. Отец, обвиненный в сношениях с Польшей, был сослан в Сибирь. Знаменитый черниговский полковник, гетман Полуботок, был им сродни...

Полуботок давно умер в Петропавловской крепости, а внук переяславского полковника шатался по санкт-петербургским проспектам, мечтая о прежнем довольстве и славе. На его глазах произошел переворот 1762 года. Переворот свершился легко, с театральною быстротой. Люди, не имевшие вчера никакого значения, стали титулованными сановниками, получившими в один день чины, земли, награды.

А у Мировича кроме долгов имеются три сестры, которые голодают, да в сенате рассматривается безнадежный процесс с казной о возвращении конфискованных имений деда.

Три раза подавал Мирович прошения по своему сенатскому делу. Три раза императрица собственноручными резолюциями отказывала просителю, называя его «внуком и сыном бунтовщиков».

После неоднократных попыток Мирович удостоился, наконец, аудиенции у своего земляка, всесильного гетмана Разумовского. Гетман выслушал просьбу поручика и сказал:

— Ты, молодой человек, сам прокладывай себе дорогу!.. Ухвати фортуну за чуб и станешь таким же паном, как и другие!..

Крепко задумался поручик над словами гетмана.

Смоленский пехотный полк занимал в ту пору караулы в Шлюссельбургской крепости и форштадт. Странная крепость!.. В крепости еще как бы крепость, охраняемая особой командой... Кто содержится в этих таинственных казематах?.. Отчего с особливым тщанием окружен «нумер первый»?..

Отставной барабанщик шлюссельбургского гарнизона проболтался господину поручику:

— Нумер первый, безымянный колодник,— император Иван VI.

Молния пронеслась в голове молодого поручика.

«Так вот где «Иванушка», которого молва то прочит в мужья Екатерине, то называет императором всероссийским!.. Он не только жив!.. Он здесь, под караулом его же, Мировича!.. Вот и гетманская фортуна, которую нужно ухватить только за чуб, чтобы стать паном!..»

В течение полугода Мировича преследует безотвязная мысль. Чем больше он о ней думает, тем кажется она ему более исполнимой. Отсутствие императрицы, уехавшей в Ригу для обзора остзейских провинций, облегчает выполнение плана...

Считая, что освобождение узника сопряжено с некоторыми затруднениями, поручик Мирович ищет помощника. Таковым ему показался «давнишний, в нравах весьма сходный приятель» — Великолуцкого пехотного полка поручик Аполлон Ушаков.

План был разработан сообща.

13 мая оба приятеля, «дабы вяще себя укрепить», отправились в церковь Казанской Божьей Матери, где отслужили по себе акафист и панихиду, как по покойникам. Был заготовлен фальшивый указ и манифест от имени Ивана VI.

Но первоначальный план потерпел неудачу: Ушаков был неожиданно командирован в Смоленск для отвоза денежной казны генерал-аншефу князю Волконскому и по дороге, переправляясь через реку, утонул.

Мирович после некоторого раздумья выполняет план единолично...

4 июля Мирович сидит в кордегардии, в карауле. Он пишет, от имени Ивана VI, указ Смоленского полка полковнику Римскому-Корсакову о следовании ему с полком в Санкт-Петербург, к летнему его императорского величества дворцу. Он вызывает к себе в кордегардию поодиночке сперва своего денщика, «состоящего на вестях» солдата Писклова, потом всех трех капралов караульной команды — Миронова, Кренева и Осипова. От каждого обласканного солдата получает один и тот же ответ:

— Ежели солдатство согласно, то и он не отстанет!

В исходе второго часа ночи Мирович хватает шпагу, бежит из кордегардии в караульное помещение и командует:

— В ружье!

Став перед отрядом, Мирович приказал зарядить ружья «с пулями». Проснувшийся от шума комендант, полковник Бередников, в халате выскочил на крыльцо. Мирович, ударив коменданта прикладом, крикнул:

— Что ты здесь держишь невинного государя?

Комендант был арестован. Затем поручик быстро повел свой отряд к той казарме, где стояла команда, караулившая каземат с «нумером первым». На оклик часового поручик ответил:

— Поручик Мирович идет к государю!

Едва отряд поравнялся с гарнизонной командой, часовой выстрелил. Мирович приказал отряду «выпалить всем фронтом» и пригрозил пушкой. Вслед за тем двинулся дальше. У каземата встретил сильно взволнованного поручика Чекина. Мирович ухватил его за руку и потащил в сени со словами:

— Сказывай, где государь!

— У нас государыня, а не государь! — ответил Чекин.

Мирович ударил его по затылку и закричал:

— Укажи государя!.. Отпирай тотчас дверь!

Чекин повиновался.

В каземате было темно. Побежали за огнем. Левой рукой Мирович держал Чекина за ворот, в правой — ружье со штыком. В ожидании огня произнес:

— Другой бы тебя, каналья, давно заколол!

Принесли огонь. Мирович вскочил в каземат и остолбенел. В луже крови валялось на полу мертвое тело. Из-за плеча Мировича глядели на теплый еще труп поручик Чекин и подошедший капитан Власьев.

— Ах вы бессовестные! — сказал тихо Мирович.— За что невинную кровь такого человека пролили?

По приказанию Мировича солдаты положили тело на кровать и вынесли из каземата. Отряд построился в четыре шеренги.

— Теперь отдам последний долг своего офицерства! — произнес Мирович.

Он велел бить «утренний побудок» и скомандовал:

— На караул!

Потом приказал бить «полный поход» и салютовал шпагой. Отдав трупу воинские почести, Мирович подошел к мертвому телу, поцеловал холодевшую руку и, обратившись к солдатам, сказал:

— Вот наш государь, Иоанн Антонович!.. Теперь мы не столь счастливы, как бесчастны, а всех боле за то я претерплю!.. Вы же не виноваты, ибо не ведали, что я задумал!.. Я за всех вас ответствовать и все мучения на себе снести должен!..

Мирович стал обходить шеренги и целовать солдат. Солдаты одумались. Капрал Миронов подошел сзади и взялся за шпагу. Но поручик заявил, что отдаст шпагу лишь коменданту. Вскоре подошел комендант, освобожденный из-под ареста. Он сорвал с Мировича «офицерский знак» и отдал бунтовщика под караул при фронте...

Спустя несколько дней императрица Екатерина, совершавшая в 1764 году обзор остзейских провинций, получила в Риге донесение графа Панина об «отчаянной ухватке одного сущего злодея», закончившейся умерщвлением шлюссельбургского узника.

С большим волнением императрица прочла рапорт и вздохнула:

— Руководствие Божие чудное и неиспытанное есть!.. Ивана нет больше на свете!..

Мирович был казнен с сожжением праха на Петербургском Острове.

Державин, наблюдавший казнь, записал в своем дневнике:

«Мировичу отрублена голова на эшафоте. Народ, стоявший на высотах домов и на мосту, необвыкший видеть смертную казнь и ожидавший милосердия государыни, когда увидал голову в руках палача, единогласно ахнул и таково содрогся, что мост поколебался и перила обвалились в воду...»

Гибель Макарова

На сереньком фоне общего равнения на середину, приведшего в конце концов к морской трагедии под Цусимой, ярким световым пятном выделяется образ адмирала Макарова.

Степан Осипович Макаров приобретает известность еще с того отдаленного времени, когда в чине лейтенанта, командуя дедушкой русского минного флота — пароходом «Великий Князь Константин»,— смелыми и рискованными налетами терроризирует турецкий флот.

Едва пожар на Балканах разгорелся с такою силой, что необходимость тушить его русскою кровью сделалась очевидной, молодой лейтенант осаждает начальство записками и докладами. По его мнению, невзирая на отсутствие морских сил, русские в состоянии воспрепятствовать туркам владеть Черным морем, использовав с этою целью новое, еще не испытанное в бою грозное оружие — мины.

Этот проект, как и следовало ожидать, членами адмиралтейств-совета был признан «неприемлемым».

Однако настойчивость лейтенанта Макарова после целого ряда попыток увенчалась успехом. Проект встретил благожелательное к себе отношение генерал-адмирала великого князя Константина Николаевича.

Молодой офицер осуществлял свой план и с ближайшими помощниками: лейтенантом Рождественским, Пущиным, Зацаренным — топил минными катерами турецкие корабли.

Чрезвычайно тяжел и тернист при господствовавших порядках под адмиралтейским шпицем был служебный путь Степана Осиповича Макарова. Много борьбы и усилий выпало на его плечи. На почве этой борьбы отношения не раз обострялись и дошли до того, что за год до русско-японской войны, уже занимая высокий пост главного командира кронштадтского порта, адмирал Макаров подал прошение об отставке.

Отличительной чертой адмирала являлась вражда ко всякой рутине, ненависть к излюбленным канцелярским приемам — «гнать зайца», другими словами, во избежание ответственности за самостоятельные решения вопроса направлять бумаги на разрешение высших инстанций.

Такой же чертой была исключительная работоспособность, кипучая деятельность, редкий здравый смысл, уменье схватывать на лету, с полуслова, суть каждого дела, поддержка личной инициативы, честность и скромность, прямодушие и глубокое сознание долга — «не токмо за страх, но и за совесть». Подобными чувствами были проникнуты его отношения к подчиненным.

Огромный опыт, познания, популярность в широких морских кругах, да и вообще весь склад натуры выделяли главного командира кронштадтского порта из среды русских флагманов.

В тяжелый час русско-японской войны кто же, как не Макаров, был призван возглавить собой тихоокеанскую боевую эскадру?

Он принял это назначение под одним условием — «наместнику Алексееву в его дела не путаться» — и выехал в Порт-Артур.

Макаров прибыл в Порт-Артур 24 февраля.

В этот день удалось откачать стоявший на мели «Ретвизан» и ввести его в гавань. Случайное совпадение дало немало пищи склонным к суеверию морякам.

— Счастливая примета! — говорили офицеры в кают-компании.

— Приехал и распорядился! — рассуждали на баке матросы.— Наш брат!.. Все может!

Почему строгий и требовательный адмирал считался «своим братом»? Не по той ли причине, что, вышедший из народа, без связей, без кумовства, без всякой протекции, Макаров собственной головой проложил себе путь? Не потому ли, что в отношениях адмирала к строевой массе не было глухой стены, веками взращенного недоверия простых людей к господам?

Приезд Макарова, ожидавшийся с нетерпением, охватил флот слепой верой в вождя, бодростью, энтузиазмом. Прибыв в Порт-Артур, Макаров тотчас отменил самым решительным образом всякие церемониалы, обратился к командирам, офицерам, командам с живым искренним словом, вдохнул новые силы, энергию, деятельность и едва ли не на другой день под своим флагом вышел на крошечном «Новике» навстречу японским крейсерам, расстреливавшим злополучного «Стерегущего».

Возвращение «Новика» было триумфом.

Весь гарнизон усеял бруствера крепости. Население порта и города высыпало на набережные, чтобы приветствовать адмирала, возвращавшегося после отважного поединка.

Не пышными фразами, но личным примером пробуждается то, что носит название духа войска.

Выход на «Новике» был огромным риском. Но надо понять, что творилось в душе любого матроса, наблюдавшего, как сам командующий флотом, не задумываясь ни на минуту, кинулся на выручку какого-то миноносца, гибель которого была очевидна.

Что касается риска, кто же из полководцев, имена которых сохранились в истории, в известных случаях не рисковал собой?

В роковую ночь восемь русских миноносцев вышли в море с целью разведки японской эскадры. Морской штаб во избежание недоразумений уведомил об этом приморские батареи, чтобы не приняли свои суда за японские и не открыли по ним огня.

Ночь была тихая и безлунная. Море было черно, и только лучи крепостных прожекторов, точно гигантские змеи, скользили по водной поверхности.

После полуночи луч прожектора накрыл силуэт четырехтрубного миноносца. С Тигровой батареи запросили по телефону:

— Свой или чужой?

Трудно дать определенный ответ. Между тем командир батареи убежден, что это японец уже хочет открыть огонь и одним залпом пустить миноносец ко дну. Однако в последнюю минуту запрашивает для верности морской штаб.

Миноносец бесится в свете поймавшего его луча, юлит, кидается из стороны в сторону. Раздается звонок. Морской штаб категорически запрещает стрелять:

— Это наш миноносец!

Командир батареи с грустью приказывает не открывать огня.

В ту же ночь адмирал Макаров посетил крейсер «Диану». Крейсер стоял с откинутыми сетями, и подойти к борту нельзя. Катер командующего пристал к корме, и адмирал с ловкостью мичмана поднялся на палубу по веревочной лестнице — шторм-трапу.

Адмирал, не дослушав официального рапорта командира, поздоровался с ним, подал руку стоявшему здесь командиру кормового плутонга, прошелся по батареям, дружески заговаривая с офицерами и чинами очередной вахты.

В конце обхода наверху «что-то увидели» и открыли прожекторы. Решив, что стрелять нельзя, но приказав точно записать румб и «антретное» — на глаз — расстояние, чтобы завтра же протралить это место — «не набросали бы какой дряни!» — адмирал спустился в капитанскую каюту, прилег на диване и, по своему обыкновению, тотчас уснул богатырским сном.

В четыре часа утра Макарова разбудили.

Адмирал съехал с крейсера и на прощанье, полушутя, полусерьезно, говорил окружившим его офицерам:

— Чего провожать выскочили?.. Сказано — без парада!.. Церемониймейстеры!..

А через каких-нибудь три часа, идя в бой, «Диана» пропускала мимо себя «Петропавловск», выжидая очереди вступить в строй, наблюдая в последний раз своего адмирала, здоровавшегося с левого крыла мостика:

— Дай Бог!.. В добрый час!..

Дело в том, что один из восьми миноносцев, взявших направление на группу островов Эллиот, где обыкновенно стояла блокировавшая Порт-Артур неприятельская эскадра, а именно шедший последним миноносец «Страшный», оторвался в темноте от соседей. Блуждая по морю, «Страшный» наткнулся на колонну каких-то судов, принял их за свои миноносцы и пошел с ними в хвосте кильватера.

На рассвете обнаружилась ошибка.

Миноносцы, оказавшиеся японскими, окружили «Страшный» со всех сторон и стали его расстреливать.

Одними из первых погибли в неравной мужественной борьбе командир, капитан второго ранга Юрасовский и мичман Акинфиев. Японский снаряд взорвал лежавшую мину,

разворотил борт. Миноносец начал тонуть. Лейтенант Малеев, израненный, истекающий кровью, продолжал лично до последней минуты отстреливаться из пулемета.

Адмирал Макаров тотчас приказал «Баяну» идти на выручку миноносца.

Броненосный красавец-крейсер под командой капитана первого ранга Вирена стремительно вынесся вперед и уже на ходу засверкал огнями выстрелов с обоих бортов. Отогнав японские миноносцы, подошел к месту боя, спустил шлюпки и на большой волне стал подбирать тонущих людей. Удалось спасти только пять человек. На горизонте появились японские броненосцы. «Баян», продолжая стрелять, медленно отходил к Порт-Артуру.

Этим маленьким эпизодом начался трагический день 31 марта — день гибели адмирала Макарова — грандиозная катастрофа, как бы предрешившая дальнейшую участь порт-артурской эскадры и крепости.

Адмирал Макаров, держа флаг на броненосце «Петропавловск», с «Победой», крейсерами «Дианой», «Аскольдом» и «Новиком» вышел из гавани на поддержку «Баяна».

Командующий флотом поднимал свой флаг на различных судах, не исключая маленьких бронепалубных крейсеров. Деятельный, живой и подвижный, адмирал появлялся повсюду. И в этот роковой день он перенес свой флаг на «Петропавловск» случайно, в последнюю минуту.

Уже было совсем светло, когда на морском горизонте появились огромные японские корабли, вся I эскадра в составе шести первоклассных броненосцев под начальством адмирала Того.

Отойдя от рейда примерно на десять верст и увидев появление главных сил японского флота, Макаров полагал невыгодным принять бой в этих условиях. Вперед до исправления подорванных ночною атакою кораблей, адмирал предпочитал держать флот под защитою береговых пушек. Он повернул обратно на рейд, присоединил к себе вышедшие из гавани броненосцы «Пересвет», «Полтаву» и «Севастополь» и стал выстраивать боевой порядок.

Два флота стоят один перед другим, с наведенными пушками, с развевающимися на стеньгах боевыми флагами — андреевскими и флагами «Восходящего Солнца»,— вызывая друг друга на поединок. Японцы стоят неподвижно, не рискуя подойти под огонь крепостных батарей, приглашая русскую эскадру на бой в открытое море...

Очевидец передает следующую картину.

«Вдруг стоявший на левом фланге флагманский броненосец неожиданно закутался облаком дыма. До слуха долетел звук страшного взрыва. Громадные языки пламени, точно огненные фонтаны, засверкали вдоль броненосца.

Коротким движением «Петропавловск» нырнул носом в воду... Корма поднялась... Мелькнул силуэт винта... Палуба наполнилась бегущими людьми... Затем снова резкое движение корабля, и через какую-нибудь минуту 10 000-тонный гигант исчез под водой...

Эскадра, не трогаясь с места, наблюдала эту сцену гибели огромного броненосца со всею командой. Точно оцепенелые стояли русские корабли, не рискуя подойти к тому страшному месту, где несколько минут перед тем красовался флагманский броненосец с брейд-вымпелом адмирала.

Наконец две маленькие канонерские лодки «Всадник» и «Гайдамак» кинулись к месту катастрофы, застопорили машины и стали подбирать погибавших людей.

На эскадре начали сигнализировать флагами.

— Эскадре войти в гавань! — подал сигнал младший флагман, адмирал князь Ухтомский.

Медленно поворачиваясь, один за другим, корабли пошли ко входу во внутренний рейд, втягиваясь в узкий проход.

Неожиданно — новый взрыв.

Снова — облако дыма, и броненосец «Победа» грузно накренился набок.

Броненосец «Полтава» открывает беспорядочный огонь по воде, предполагая нападение подводных лодок. Один за другим проходят корабли во внутренний рейд.

На горизонте бесстрастными наблюдателями стоят японские броненосцы...»

По словам очевидца, адмирал Макаров в последнюю минуту находился на командном мостике с великим князем Кириллом, адмиралом Моласом, генерального штаба полковником Агапьевым и художником Верещагиным.

Взрыв броненосца последовал от удара об японскую мину.

Уцелевшие от взрыва пошли ко дну с кораблем, и в этот момент капризный водоворот выбросил десяток отдельных людей и предметов. В числе последних была выловлена черная шинель с черными адмиральскими орлами на золоченых погонах...

Чудом спасен великий князь Кирилл, командир броненосца, капитан первого ранга Яковлев, девять офицеров, сто двадцать матросов. Остальные — в количестве тридцати одного офицера и более шестисот нижних чинов — разделили участь злополучного корабля.

Капитан-лейтенант Акацуки признается в своих мемуарах, что в ночь на 31 марта это именно он занимался расстановкою мин у выхода из порт-артурского рейда.

— Работа была значительно более трудная, чем я думал! — говорит Акацуки, недоумевая, по какой причине, накрытый лучом прожектора, он не был тотчас расстрелян огнем береговых батарей.

Гибель адмирала Макарова произвела огромное впечатление. Дух защитников Порт-Артура был подорван в непередаваемой степени. Явилось предчувствие, что со смертью незабвенного адмирала погиб весь флот или, по крайней мере, погибла надежда на будущее.

И, может быть, лучше всего это было выражено словами старого боцмана с «Дианы»:

— Что броненосец?.. Хотя бы два, да еще пару крейсеров на придачу!.. Голова пропала!..

Японский бог войны Хачиман грозно нахмурил свое чело.

На имя командующего японским флотом был дан нижеследующий императорский рескрипт:

«Мы узнали о великом успехе Соединенного флота, который, атакуя неприятеля под Порт-Артуром, потопил его судно. Мы хвалим эти действия».

Японский адмирал по установленной традиции ответил почтительным адресом: «На этот раз достигнутые успехи Соединенного флота всецело зависят от добродетелей вашего величества, а не от человеческих усилий. Тем не менее, не имея слов выразить наши чувства по поводу всемилостивейшего рескрипта, мы с еще большим рвением будем стремиться к тому, чтобы уничтожить остатки неприятельского флота.

Адмирал Того Хейхачиро».

Любовница Петра Великого

В длинном списке королевских, царских и иных высокопоставленных фавориток, оставивших след не только в сердцах своих коронованных покровителей, но и в истории, нельзя пройти мимо женщины, связавшей свое имя с Петром.

Сведения о ней сравнительно незначительны. Тем больший интерес приобретает маленькая романтическая страничка, имевшая место два с лишним века тому назад, в

той же Москве, на берегах той же Москвы-реки, под стенами того же Кремля, под которыми новая российская власть торжествует ныне двенадцатилетний юбилей своего существования...

Москва с сильной тревогой ожидала царя из его продолжительного заграничного путешествия. Розыск и казни стрельцов были слишком поспешны, милосердны, необстоятельны. Уже из Амстердама царь шлет горькие укоризны князю-кесарю Ромодановскому за послабление мятежникам. И с твердым намерением «угасить огонь мятежа» спешит в столицу.

Через несколько дней по Москве пролетела весть:

— Государь приехал!

В самом деле, царь вместе с Лефортом прибыл в столицу. Проводив иностранных послов, навестив несколько боярских семейств, Петр спешит насладиться радостями любви. Но не в объятьях постылой царицы Авдотьи Федоровны, а в семействе одного из жителей Немецкой слободы.

Царица Авдотья в ту пору уже была матерью двух сыновей, прижитых от своего «лапушки Петруши». Она горячо любила своего мужа. Едва ли в сочувствии старине и противникам державного супруга следует искать причину ее ссылки и заточения в Покровский девичий монастырь. Царица Авдотья прежде всего не соответствовала как женщина идеалу Петра.

Тихая, скромная, набожная — образец русских женщин XVII века, выросшая в условиях теремной жизни, она только нянчится с детьми, читает церковные книги, беседует с дворовыми девушками, вышивает и шьет, сетует и печалится на ветреность мужа.

Порывистой же натуре Петра нужна была иная женщина.

Ему нужна подруга, которая не умела бы плакаться, а звонким смехом, нежною лаской, шутливым словом смогла бы отогнать от него черную думу, смягчить досаду и гнев. Которая не только не чуждалась бы его буйных пирушек, но сама бы любила плясать до упаду, осушать бокалы с вином, щеголяя иноземным нарядом и любезной ему немецкой и голландской речью.

Такой именно была статная, ловкая, высокогрудая, с огненными глазами веселая красавица Анна Монс — одна из дочерей золотых дел мастера и виноторговца Йоганна Монса, уроженца города Миндена.

С домом старого Монса хорошо был знаком Лефорт. Гуляка, весельчак, поклонник женщин, он часто бывал у виноторговца и ухаживал за его красивыми дочерьми. Старшая из них, Матрена, вышла вскоре за Федора Балка. Анна стала любовницей ловкого женевца.

Лефорт всегда стремился потешать своего державного друга, доставлять ему всякого рода развлечения и однажды, как на веселую и приятную утеху, указал на красавицу Монс. Анна Ивановна стала фавориткою обоих друзей...

Иностранцы, особенно немцы, отзываются о ней с большой похвалой. Кроме красоты и прочих отменных качеств, по уверениям немцев, Анна была до такой степени целомудренна, что на любовные предложения Петра отвечала решительным отказом. Однако эти восторженные отзывы иноземцев разлетаются в прах при первом знакомстве с подлинными документами и с рассказами современников:

— Какой он государь! — говорили в Москве.— Басурман!.. В среду и в пятницу ест лягушек и мясо!.. Царицу сослал!.. С иноземкою Анною Монсовой спит!..

Смерть Лефорта, лишив Петра любимейшего друга, в то же время избавила царя от соперника и вывела из неловкого положения «верную» ему Анну, как подписывала она обычно свои письма...

В 1699 году Петр отправился в последний поход под Азов.

Из уцелевшей в свое время корреспонденции можно найти знаки нежных забот Анны Монс к своему любовнику. Она хлопочет по его просьбе достать несколько склянок какой-то «цедреоли». «Весьма печалится», что не удается ее достать. Жалеет, что у нее «убогой крыльев нет», а если бы «крылья были, я бы тебе, милостивому моему государю, сама принесла цедреоли». В ожидании, пока вырастут крылья, «вернейшая до своей смерти» Анна Ивановна посылает «четыре цитрона», чтобы государь «кушал на здоровье». Наконец, посылает и цедреоли двенадцать склянок, причем просит не гневаться — «больше достать не могла».

При таких нежных заботах Анна Ивановна, казалось, должна была решительно приковать к себе пылкую натуру Петра.

Петр с полной охотой выполнял все ее просьбы. Несмотря на свою скупость по отношению к женщинам, царь осыпал красавицу дорогими подарками, имениями, угодьями и пенсионом в 708 рублей — немалая по тому времени сумма. Внимание к ней государь распространил до того, что на счет казны выстроил ей в Немецкой слободе дворец.

Военные тревоги, страшная борьба с «северным героем» — шведским королем Карлом XII — одновременно занимали мысли Петра.

В одно из отсутствий царственного любовника Анна Монс отдала свое сердце саксонскому посланнику Кенигсеку.

Связь была искусно скрыта, и недостойная подруга Петра не стыдилась по-прежнему выпрашивать и получать от него подарки. А подарки были не малоценны. Так, в 1703 году Анна Ивановна получила в свое владение имение Дудино в Козельском уезде и 295 дворов со всеми угодьями.

Петр узнал об измене «верной до смерти» Аннушки совершенно случайно. В этих случаях царь не щеголял великодушием. Анна Ивановна вместе с способствовавшей интриге сестрой Матреной были заперты в собственном доме и отданы под строгий надзор князя-кесаря с запрещением посещать даже кирку.

Опала над Анной Ивановной и ее семейством продолжалась три года. Указом от 3 апреля 1706 года из Санкт-Петербурга государь дал «позволение Монше и ее сестре Балкше в кирку ездить». Муж Матрены Ивановны, полковник Балк, отправлен был в Дерпт комендантом. С 1705 года сердце Петра принадлежало уже новой безвестной иноземке — Марте Скавронской, будущей Екатерине I.

Зато и сердце ее предшественницы в это время также было несвободно.

Изменив живому герою, Анна Ивановна тем легче забыла случайно утонувшего Кенигсека. За ней ухаживает прусский посланник фон Кайзерлинг. Его ходатайству Анна Ивановна обязана была получением высочайшего разрешения посещать кирку. Затем, по усиленным просьбам того же влюбленного представителя короля прусского, Анна Монс была совершенно освобождена.

Хлопоты Кайзерлинга были весьма нелегки. Они сопровождались существенными неприятностями. С одной стороны, могущественный Меншиков, создавая в то время «фавор» Марты, не мог без опасения видеть, что Кайзерлинг хлопочет об освобождении бывшей царской любовницы. С другой — в самом Петре не могло не шевельнуться чувство ревности к своему заместителю.

Интересен исторический документ — рапорт посланника прусскому королю, в котором подробно излагается «случившаяся трагедия на пиру»:

«Князь Меншиков начал грубить мне непристойными словами, сказав, что девица Монс есть действительно подлая публичная женщина, с которой он сам развратничал столько же, сколько и я... Князь Меншиков не переставал обращаться со мной с насмеш-

кою и презрением и даже подвигался все ближе и ближе... Зная его известное всему миру коварство и безрассудство, я стал опасаться его намерения, по московскому обычаю, ударом «под ножку» повергнуть меня на землю — в искусстве этом он упражнялся, когда разносил по улицам лепешки на постном масле... Князь Меншиков собственноручно вытолкал меня из комнаты, ударил кулаком в грудь... Я успел дать ему затрещину и выругал особливым словом. Тут мы схватились было за шпаги, но у меня ее отняли... Меня вытолкнули к дверям, и я попал в руки мучителям — лейб-гвардейцам князя Меншикова... Они низвергли меня с трех больших каменных ступеней и проводили толчками через весь двор...»

В 1711 году Кайзерлинг сочетался браком с Анной Ивановной и вскоре умер.

Анна Ивановна скончалась в 1714 году, в Немецкой слободе, на руках больной старухи матери и пастора...

Такова краткая история этой женщины, которая была одной из виновниц заточения царицы Авдотьи Федоровны в монастырь, которая в продолжение десяти лет царила в сердце преобразователя России и, по его собственному признанию, едва не сделалась императрицей. Благодаря которой наследник престола царевич Алексей преждевременно лишается материнского надзора и затаивает в душе ненависть к отцу. Которая, наконец, заставляет царя приблизить к своей особе брата Виллима — человека, разбивающего его семейное счастье, отравляющего последние дни его жизни и являющегося, весьма вероятно, одной из причин преждевременной смерти Петра...



Ив. Лукаш

Дворцовые гренадеры

Дворцовой роты лейб-гвардии гренадерского батальоиа ефрейтор Антошии, того же батальоиа унтер-офицер Сииюшкин да прапорщик Павел Аидреевич только и есть кто от золотой роты в Санкт-Петербурге остался.

Золотая рота есть часть гарнизонная у моиумеита государя императора Николая I, у монумента внука его императора Александра III, а равно у колоииы Александрийской, ангелом парящим возглавленной,— почетные караулы в столице иесущая. Мундир форменный, черного сукна в золотой позумент. На часах в зимиее время положены кеньги-валеики. Александр III указал золотой роте сивых бород боле не брить. А кивера положены роте огромиые, в медвежьем меху, золотом блещут орлы.

— Антошин, на красных выходах кто караул?.. Мы караул — золотая рота.

— Так что, Павел Андреевич, не утруждайтесь...

Антошин накрыл прапорщика кофтой до головы. Кофта бабья, черная, на рукавах буфы, а вата клочьями из прорех лезет — кофта та самая, которую уитер Сииюшкин на толкучке, в Александровском рынке, на золотые позументы выменял.

Прапорщика Павла Андреевича лихорадка бьет. Долгие пальцы по кофте стучат. Веки зажаты, лысый лоб желт и в поту, шевелятся запеклые губы.

— Равиеиье... Не выдавай... государь император по̀ фронту пошли... Сииюшкии, иией с бороды оботри! Синюшкин, тебе говорят.

— Так что не утруждайтесь, Павел Андреевич, а Сииюшкин от нас ушедши. Аминь.

Ефрейтор Антошин дышит на прапорщика, чтобы согреть. Но веет холодиый пар от дыхания, а ладони как лед. Невесть что бормочет прапорщик, голгочет иевиятио про парады, амператоров, караулы.

— Не обогреть вас, батюшка Павел Андреевич, помирать, стало быть.

А Павел Андреевич повозился под кофтой и виятно сказал:

— Покурить бы. Затяжку.

— Да иет табачку, батюшка. Сииюшкин, скаред, последиюю поиюшку унес.

— От слабости прошу... Умираю, Павел.

— Амииь. Которые старики в Чесменских богадельнях забыты,— всем помереть... Павла Первого, императора всероссийского, в Михайловском замке удушили. В лейб-гвардии Павловском полку все кантоиисты, солдатские дети, Павлами в память монарха удушеиного иазваны... В Павловском полку действительную вам службу иес... Павел Первый, ваше императорское величество, всемилостивейший Павел Петрович, пожалуйте лейб-гвардии дворцового гариизоиа прапорщику за вериость и честь службы одну затяжку табачку... Помираем... Можно сказать, трое иас в Саикт-Петербурге от всей гвардии осталось, словио три мушкетера. Табачку нет...

Ефрейтор Аитошии постоял над прапорщиком, послушал бормотаиье его и до ветру пошел.

Больше не до ветру, а поглядеть, не идет ли Синюшкин, который сушеный лист унес.

Темень днем, темень ночью. Намедни в ночнике фитиль теплился, а ныне погас. Под сводами холодный пар табунами бродит. Светел снег за окном.

Антошин две пустые палаты прошел. В нее стены. Глотнул морозного воздуху: в голове, в груди зазвенело...

Порошу на порог намело. Сугробами занесен двор. Чесменской богадельни. Не чернеет следов. Так скаред Синюшкин табак и унес.

Третьего дня Синюшкин был выпивши и медные пуговицы с орлами, что от старых мундиров, по койкам и ветоши шарил. Набрал полную горсть, говорит:

— Продавать пойду на толкучку. Может, вернусь, может, нет... Ныне повсюду бунт. И я забунтую. Заводские, бунтуй, говорят: никакой амперии ныне нет, бунтом сошла. И я пойду бунтовать. Мне что: старый я. Продам вот на толкучке военные пуговицы и пойду...

— Ошалел, Синюха, как про амперию отзывается.

Поморгал ефрейтор. А ресницы от инея смерзлись. Которые старики в Чесменских богадельнях забыты — тем помирать.

Намедни его благородие приходил, то благородие, которое Синюшкин звал комиссаром.

Снегом наследил, сапогами нагремел.

— У-ух, старики, дух какой-то тут ти-и-жолой.

Антошин с нар слез, руки по швам, сам в опорках и подштанники серыми мешками висят, как у больничного мертвеца.

— Так точно — тижолый. Так что порционы дюже малы: с третьего дня мы не евши.

— А мне что, когда приказано из богадельни долой. Кормить нечем.

Не поверил Антошин: чтобы за верную службу старым солдатам да куска хлеба не дали. Тому не бывать.

Шутить изволил его благородие комиссар: тому не бывать, чтобы старым солдатам да порциону со всей огромадной амперии недостало.

Идет Антошин в палаты обратно. Стены от инея шершавы. Тронул под холщовой рубахой живот, а живота-то и нет: одна яма и острые ребра. Аминь. Помирать. Главное, Синюшкин куда подевался: табачок-то унес.

Ни сухого листа, ни огня. Только светит в окне белый снег.

Синюшкин на левый глаз крив. Его ребята какие обидят, а то где замерзши... И куды, дуромыга, пошел. Бунтовать, а ...

И первое, что Антошин прапорщику сказал, было про снег, про Синюшкина.

— Снег светится, а никого нет. Стало быть, Синюшкин пропал. Я до ветру ходил, а мне и не надо. Спать буду.

Полез на нары, под кофту. И коленью толкнул спину прапорщика. А Павел Андреевич на бок повалился, свесилась рука. Борода отросшая закуржавела. Глядят на ефрейтора два глаза в инее, круглые бельма.

— Павел Андреевич, померли вы? — тронул руку. Та покачнулась, холодная.

Голову ему поднял: волосы сивые, в инее. Потеребил за жесткую бороду.

— Батюшка, слышь... Никак помер ты, батюшка? Стало быть, помер. Аминь.

Кряхтя, потянул на себя ватную кофту и лег на нары рядом с покойником.

Стужей веяло от спины мертвеца. Ефрейтора пронзила дрожь, и кофта не грела. Тогда сел он на нары.

Которые в Чесменских богадельнях, тем — помирать.

А когда сказано, чтобы в солдатской богадельне старым кавалерам был хлеб и было тепло. Начальники крадут казенные денежки, солдатский хлеб, солдатское тепло, а старикам, прости господи, подыхать. Старого солдата, вестимо, всякий может обидеть.

И чего начальство смотрит? В гвардии верой и правдой тридцать лет службы, ранение, за освобождение народов славянских медали, егорьевский крест, румынский крест, болгарская зеленая лента... В Болгарии табак больно хорош. Нынче скаред Синюшкин сухой липовый лист, по осени, по двору, на булыжниках собирали: все табачок... Синюшкина пойти поискать, жаловаться пойти до самого первого начальства, до самого ампиратора — как его старые солдаты новым начальством несправедливо обижены. У солдата, вестимо, начальства много. А когда без порциона, вот и Синюшкин забунтовавши, а он на левый глаз крив, его ребята какие обидят...

Шарит ефрейтор опорки под нарами, в темноте. Ватную кофту с прапорщика потянул.

— Павел Андреевич, уж вы дозвольте, батюшка, кацавею мою. Стало быть, жаловаться пойду.

А прапорщик молчит.

Была на дворе ночь, когда вышел ефрейтор.

Опорки по снегу скребут. Под кацавею дует острый ветер. А куда ни поглядеть — серая мгла снегов. Не видно больше людей в Санкт-Петербурге.

Как Набережную пройти, будет мост, а там казенные склады, где штабели дров на зиму сложены. По штабелям шипит серый снег.

На Неве, с черных барок, студеный ветер ударил.

Ефрейтор Антошин, маленький старичок, в рваных валенках, в бабьей кофте, спешит-поспешает.

Пуста во тьме омертвевшая столица, город Святого Петра, Санкт-Петербург.

В пустыне снегов спешит-катится ефрейтор Антошин, маленький старичок, как черный горошек.

На площади у погасшего вокзала погребены в снегу широкие ступени, в чугунных, пышных фонарях разбиты стекла. Там пробрался ефрейтор к гранитному тому монументу, у которого нес почетные караулы.

Иней горит на граните. Ефрейтор ледяной камень погладил, поднял вверх тощие руки. Ветер гудит. Склонил с глыбы тяжкую, в круглой шапке, голову брадатый император Александр III.

— Ваше величество, дозвольте доложить: первой роты гвардии гарнизонного батальона ефрейтор Антошин... Порционы нам дюже малы... Прапорщик уже померши. Намедни унтер-офицер Синюшкин пропал. Обогрейте стариков, ваше величество... Верой и правдой батюшке вашему службу нес, у вашего деда в кантонистах состоял. Под Геок-Тепе пуля в ногу, под Горным Дубняком турецкий штык в бок, горячкой под Сан-Стефано горел. Дозвольте доложить: пропадаем. Аминь.

Обледенелая медная борода императора будто бы шевельнулась, и еще ниже склонил тяжелую, заваленную снегом голову император. Молчит.

«Младший он. Ему ответа не дать: стало быть, к старшим, какие ни есть, спосылает»,— подумал ефрейтор. Стянул с головы рваную чухонскую шапку и поклонился.

Покатилась черная горошина по снегам... От ветра ефрейтор оглох, не сгибаются обмерзлые пальцы...

А меж шумящих черных дерев стоит над сугробами много начальства, у кого шпага в руке, у кого зрительная труба, у кого свертки бумаг. И все недвижны, обледенели. Светит снег на темных кафтанах. Тут и фельдмаршал Суворов, тут и князь светлейший Потемкин, а над ними, подняв во тьму побелевшие очи, стоит сама государыня Екатерина Великая.

— Матушка, ваши сиятельства, весь генералитет! Солдатскую слезу сам бог видит, упокой нашу старость, славная государыня. От твоей ли ампирии громадной, да чтоб не было порциону старым егорьевским кавалерам, матушка...

На колени в снег стал. Шумит ветер вокруг головы государыни. Повела она тяжкими

буклями, посыпал снег.

Посыпал снег на фельдмаршалов. Дрогнули белые ресницы Суворова, Потемкин крутой бровью повел...

И сжала государыня медные замерзшие веки, и выкатилась горячая слеза. Побежала горячая слеза по медным складкам мантии, по буклям, шпагам, зрительным трубам фельдмаршалов. И пала, остыв, на ефрейтора.

Ефрейтор подумал: «Провинили мы чем ни есть государей: молчат».

И дальше побрел. А скачет на другой площади Николай Первый, в колючей той каске, куда вцепился двуглавый злой коршун. При Николае Первом солдату хуже каторжного жизнь была: все шпицрутены, зеленая улица. Когда был кантонистом, на всю роту по одной колодке тачали сапог. Мылом ногу намылишь, и нога как в железе, и кровь из пальцев сочится...

Прижался ефрейтор к стене и видит, как двуглавый ледяной коршун над каской плещет, клюет.

— Государь, гвардея-то твоя, слышь, аминь.

Побежал.

У высоких сводов, у Адмиралтейских ворот, две каменные богини держат голыми руками над головой земной шар, обледенелый, в снегу. У ног богинь отдышался ефрейтор.

А на Сенатской площади, в погнутом фонаре, вьюга визжит... С Невы ветер нахлынул, хватил кофту в бок, чухонскую шапку рванул, в старую спину ударил. Лезет ефрейтор по высокой гранитной скале, где медные буквы. Вот ухватил за хвост Медного Змия.

— Дозволь, слышь, до копыт-то добраться, слово государю замолвить, прошенье солдатское...

Но скользнул хвост, и скатился ефрейтор со скалы, в глубокий снег пал, и заплакал...

— Никто обиды солдатской не слышит. Высокие ампираторы, солдату разве добраться...

Задрожал медный лавровый венец на голове Петра Первого, дрогнули обмерзлые его кудри, повел император медной ладонью, во тьму распростер...

И тяжко прыгнул в сугроб медный конь Николая, загремели копыта Александрова битюга на Невском проспекте... Медные пажи, сбиваясь, не в ногу, несут широкую мантию спешащей Екатерины. Торопятся в метели фельдмаршалы, побелевшие, дымные...

Суворов и князь Потемкин за руки подняли со снега ефрейтора. Старый полководец Румянцев-Задунайский закинул его походным плащом.

Фельдмаршалы понесли ефрейтора золотой роты по набережной, вдоль погасших дворцов, в пустыне Невского проспекта, по площадям столицы.

Выше, выше, над мглою колоннад и куполов, в гулкое небо уносят ефрейтора.

Фельдмаршалы несут дворцового гренадера в рай, там навсегда положены старым егорьевским кавалерам валенки на всю зиму, порцион и табак; там встретит его друг — Синюша, забунтовавший унтер-офицер, который замерз под забором, на Обводном Канале, с военными пуговицами в горсти, там прапорщик Павел Андреевич доскажет ему истории свои о золотой роте, о зимних парадах, об императорах и о трех мушкетерах...

Не вечерняя

Обмерзший охабень дымит, сам громадный, сивая бородища в клочьях жесткого инея, в стружках железных,— дышит, ровно медведь, и тяжко передвигает битые, в красную вязь и синюю клетку, валенки...

Никита Шугаев — ямщик, держит ямщицкие гоны по Московской дороге на Таганрог и Кавказ, и к Варшаве, в пограничные земли.

Крестьянин государственный, подмосковного села Белый Холм, и даром, что мужик, а горд и силен по всем широким трактам московским, что твой генерал-губернатор либо петербургские те вельможи, у которых мигают под шубами заиндевевшие алмазные звезды.

И кони Шугаева гордые, сильные. Гнедые, с бурыми подпалами в паху, маха широкого, яро храпят, кусаются, черти, и косят черный глаз, налитый кровью. В троечных запряжках шугаевских — весь подбор масти в гнедую. От татар покупает, косяками, из-под Казани, и у цыган.

Поставщиком у него Артемий Гога, старый цыган, содержатель хора московского.

На голове Гоги — курчавая, белая шапка волос, коричневое лицо изрезано морщинами, нос клювом, во рту, справа, шести зубов не хватает: кобыла ударила.

Щурит желтоватый ястребиный свой глаз Гога-цыган, кидает к лицу смуглые кисти, торгуется до пены, до визга с Никитой. Присядет, всхлипывает, лазает под мягкие брюха коней, мажет бархатные штаны о блестящие их копыта и так загибает, торгуясь, мокрую конскую губу, сероватую с исподу, что кони лязгают долгими зубами и фыркают, злобно стряхивая головой.

Цыган Гога не барышник, а конский любитель. Он Никите Шугаеву по любительству высматривает коней и в Лебедяни, и на ремонтных браковках в Москве, что на Чистых Прудах, а то и в самой Ахтырке.

У Гоги с Никитой многие дела по лошадям и по хору. На шугаевских конях по всей Москве, через Замоскворечье, с боем бубенцов летают в ковровых тройках помещики, дворяне, гвардейские офицеры к трактиру Мутье, где по всю ночь гул, кутеж, сладкий вопль цыганский...

Оттого у них старинная дружба, что и Шугаев сам вроде цыгана: волос черный, блестящий, хвачен белым морозцем, сам смугл, высок, а в ухе — серебряная серьга турецкой луной.

Вдовый Шугаев. Нынче в горницах ходит хозяйкой свояченица и матушка монастырская Иринархия, суровая мати, в иноческом черном сарафане и черный плат до бровей.

Выведут коней по двору на проходку, стоит на крыльцах Иринархия, заслоняясь от солнца. Молчит, строгие губы поджаты. Вдруг глаз как заблещет, как притопнет нога:

— Эвва, враг, вожжу под репицу загнал... Ветровой на ногу хромлет... Сбил, опоил... Еретик ты, не ямщик вовсе.

И еще живет в хоромах шугаевских Гаврюша, хозяйский сын, молодой ямщик.

Батюшка ему косяки коней препоручает, большое доверие от отца.

Черноволосый, кудрявый, ходит молодой ямщик в бархатной безрукавке, зеленая кашемировая косоворотка по вороту в алые цветики Иринархией вышита, ямщицкая шляпа с павлиньим пером.

И, как у отца, в левом ухе серебряная сережка турецкой луной: по четырнадцатому году конь Коготь Гаврюшку копытом ударил...

— В нем струна есть,— говорит про сына Никита Гоге-цыгану.— Даром, что ледященький паренек, а с конями — огонь. У самого ампиратора править может. Наша костка, шугаевска,— испокон веку, чай, ямщики...

И чуть дрогнет губа от гордой улыбки.

* * *

Прогнав почтовые тройки по санкт-петербургскому тракту, да две курьерских кибитки с Кавказа, надо думать, с депешами,— Шугаев, сумрачный, в морозном дыму, в пожухлом от инея охабне, ввалился в ямщицкую избу.

Ямщики-бородачи, кто лыс, кто сед, повариха Агафья, прохожий солдат на деревянной ноге — пустили солдата на ночлег, похлебать щей с мороза — поднялись с лавок.

Шугаев стянул мерзлую рукавицу, утер ребром ладонн ледяные сосульки с бороды, окинул всех злымн глазами:

— Гаврюшка тут был?

И в том, как отер Никита губы жнлистой ладонью, дохнула такая глухая гроза, что ннкто не ответил.

— Вам говорят,— где Гаврюшка?

Повариха Агафья, поджав полные, замазанные мукой руки к полным грудям, живо передохнула:

— А вот ни чуточки н не знаем, где Гаврила Аникитич. С вечеру, как они коней взявши, н не видалн, куда Гаврила Аникитич-то порскнули...

— Покрываешь, стерва, Гаврюшку?

— Надобно мне... Мы в хозяйское дело не вхожи.

— И точно, сударик,— вкрадчнво и ласково сказал лысый, с бледным и круглым лицом, ямщик Фаддей, мягкнй весь, в широких портах, в топонцах на босу ногу,— бабник Фаддей, про которого ямщики говорили, что смолоду жену в гроб загнал:

— Где Гаврюша,— не знаем, а коней он брал, точно.

— Сказывал не давать.

— Да, сударик, мы разве давали, сам запряг, гакнул, свистнул — и не видать...

— Вот как я гакну тебя...

Потоптался Шугаев, утер отмокшую в тепле бороду н медведем шагнул из избы. Подслеповатый солдат, ежовая голова, посунул с полатей деревянную ногу:

— Ну и хозяин у вас, мужики,— енарал презлющнй, превосходительство...

— Ладно ужо, не ворошись,— сплюнул Фаддей,— не наших дело умов... Таперча нщи-свищи Гаврюшеньку, как же...

...А близко от посветанья прискакал на шугаевский двор ездовой с фонарем, за ездовым две тройкн.

Правил тройкой сам хозяин, Никита Васильевич, другая на привязи шла. Загнанные кони дымнлись.

В порожней тройке, под лнсьей полостью, привез Шугаев сына Гаврюшку — бледного, черные волосы в снегу, ворот кашемировой рубахн сорван н грудь в темных пятнах. Когда подняли над Гаврюшкой фонарь, мать Иринархия завыла по-волчьи:

— Ирод ты окаянный, пошто Гаврю изломал, зверь некрещеный?..

— Молчи, мати честная... Без меня щенка изломали. Цыганы ножамн ударили... Подымать помоги.

— Я, батюшка, сам... Мне ништо. Сам могу.

Гаврюша поднялся, отряхнулся. На бледном лице улыбка тревожная, ноздри расширены.

— То-то, ништо. Будешь помнить, как гоняться за цыганскнмн девками, проучен за Зойку... Прохвост.

А Зойка — дочь Гоги-цыгана, в его хоре певица.

Из-за нее все и вышло.

* * *

У трактира Мутье, где тогда цыганскнй хор пел, с вечера, по пороше ли, в ростепель, под дождем толпились дворянские брички, линейки, кареты да тройки — эх вы, тройкн ковровые. Полукруглые окна особняка во всю ночь пышут огнем, точно звенит-шумит губернскнй бал. Звенит пенье цыганское.

Гаврюша у Мутье троечную стоянку имел.

И повадился Гаврюша-ямщик проезживать тройку свою за Дорогомиловской заставой, где по дворам тогда цыгане стояли.

Как к вечерне заблаговестят, плавной трусцой, стряхивая с росписных дуг легкие звоны, павой плывет Гаврюшкина ковровая тройка по улице.

И к вечеру у окна всегда Зоя-цыганка. На зарю смотрит, как гаснет небо московское в багрянице, червонными яблоками горят московские главы.

— Зое Артемьевне, наше почтение,— через забор весело окликнет Гаврюша цыганку, павлинью шляпу долой и кудрями тряхнет.

— Желаете, сударушка, подвезу... Прогуляться ли не изволите?

Зоя изволила. И повадился Гаврюша-ямщик на заставу, в поле, Зою возить. Зоя, известно, цыганская кровь,— ах, как любила дикую езду.

Гаврюша шапку, вожжи держит в руках, в тройке стоит, Зоя обе руки в плечи ямщика вцепит, вскрикивает гортанно:

— Гэ, гэ — погоняй...

А назад, с полей, уже в темноте, когда благовест над Москвою замрет и фонарщики с лестницами бегают,— шла шагом Гаврюшкина тройка к трактиру Мутье. Кони сбивались с ноги, пофыркивали, трясли челками. Вдавленные бока лоснились от поту, в дыму шли шугаевские кони гнедые.

В тройке сидят на коврах, говорят тихо, Гавря да Зоя.

— Зачем, ямщик, цыганкой любуешься? Ой, ямщик, обожгу.

— А и жги, огонь томный... Поешь, ровно сердце мне сожигаешь... Как запоешь, все я думаю, да где жисть-то такая, господи, есть, про которую ты поешь...

Посмеется цыганка, зубы сверкнут. Была она легкая, продолговатое лицо в смуглоте, собой — точно дворянка, и вскидывала брови, как крылья, а глаза блестящие, свежие, и запутались на пушистых ресницах, смех ли, слезы,— дождь сквозь солнце...

Помолчат. А то возьмет Гаврюшка Зоину руку, узкую, смуглую кисть:

— Рука у вас, Зоя Артемьевна.

— Рука у минэ как рука.

— Золото, не рука.

Цыганка руку отымет.

— Ты, ямщик, лучше пэсни мне пой... Пожалайста, зачэм нэ поешь?

Ямщицкие песни — известно — песни дорожные, долгие, ветровые... Бывало, когда и потянет Гаврюшка вполголоса:

— Ах, да не вечерняя заря,
Зорюшка спотухала,
Ах, не дала с поля,
С полюшка убратися —

Зоя слушает, брови, ласточкины крылья, взлетят:

— Карошу пэсню поешь. Люблю, как поешь...

Так и дойдут до трактира Мутье шугаевские кони.

А поджидая господ, не раз хаживал Гаврюшка и в барские горницы, где пели цыгане. Станет в дверях молодой ямщик, в табачный дым смотрит.

Все бренчит, все рябит: офицеры в расстегнутых сюртуках, блеск эполет, чубуки, огни многих свечей. Хор цыган в углу, словно загнан туда, в черном — цыганки, словно птицы слетелись, плещут синими крыльями рукава кафтанов у гитаристов, птичьим ногтем щиплют гитаристы звенящие струны...

Стоит Гаврюшка в дверях, за слугами, скинув павлинью шапку свою. Смотрит на лицо Зоино. Вот побледнеет — будет петь «Час прозвенел», усмехнется — «Канавэлу», плечом поведет — «Шел мэ вэрста»... Эх вы, песни цыганские.

А о Гаврюшкиных проездах за Дорогомиловской заставой Гога Шугаеву жаловался. И тут у них вышел раздор:

— Негоже цыганке с ямщиком путаться,— Гога кричал, багровея, выкатив ястребовы глаза.— Гавару цыгане ножами изрежут, когда нэ отстаиэт... Гавару, Никита,— смотри.

— Здря вовсе смотреть. Тварь твоя Зойка, пар египетский, не душа... Цыганской девке в наших бабах не быть... Не мути, ступай, иродово семя отстань... Гаврюшку я сам отучу.

И точно, Шугаев Гаврюшку на дворе, при мальцах, два раза учил,— с ног долой.

Гаврюшка молча вставал, ноздри трепещут. Плавает по лицу упорная улыбка. За эту улыбку отец его и бил.

Троечную стоянку у Мутье Шугаев от Гаврюшки отобрал, пустил ездить туда лысого Фаддея, да в убыток: седоки лысака не любили.

А Гаврюшка батюшкиных коней стал воровать, чтобы ту цыганку возить.

И недаром старый Гога грозился.

В ночь холодную, как погнался Шугаев за сыном, раньше Шугая настигли Гаврюшку цыгане в полях — Алешка-гитарист, Левка да Самуил, Зойкин брат.

И повстречал отец Гаврюшку с конями уже у заставы — шатается Гавря, как пьяный, изрезанными руками грудь зажимает. Ножом, канны цыганские, полоснули...

Всю зиму Гаврюшка хворал: исхудал, скашливал. А в Чистый Понедельник прощения просил у отца за зимнее свое дело с цыганкой, за воровство:

— Прости, батюшка, когда чем милость твою огорчил.

— Бог простит... А Зойку, Гаврила, забудь, ежели тебе благословение отцовское дорого.

— И то забыл, батюшка, гневаться не изволь,— тихо ответил Гаврюшка и отвел блеснувшие грустно глаза.

В мае, едва обсохли дороги и влажный дождь, как светлый звон, заморосил-зазвенел над Москвою,— дозволил отец Гавре снова принять троечную стоянку у трактира Мутье.

Один барин военный, добрый, сам-то с картавцем, нежный с лица, в светлой гвардейской шинели, по вороту бобры пущены,— стал заказывать Гаврюшкину тройку на все недели к Мутье.

...Спит еще Москва на заре,— прохладный румянец на стеклах фонарей стынет, на белых фронтонах, на куполах, и румяная заревая река течет в холодном дыму, над садами,— выходит на крыльцо Мутье картавый конногвардеец, опустив с барского плеча бобровую шинель, палаш и кивер в руках.

От бессонной ночи лицо побелело, русые волосы мечет утренний ветер, пахнет вином и дымом сигарным конногвардеец. Вот падет на ковры, качнув тройку, вот скажет:

— Вези, ямщик, по всей Москве, на Воробьевы горы, в Петровки... Спать невмочь.

Стряхивал кудрями Гаврюшка, зябко подергивал плечом под бархатной безрукавкой, подбирал вожжи. Застоялых коней прохватывало от паха до загривка радостной дрожью. Чихал коренник...

На Москве, на заре, умятая пыль мостовых темна от сырости, курится. В румянце, в пару, дымит Москва на заре.

И где тихой улицей, вдоль спящих ставен, пройдут троечные колеса — за ними подымит едва пыль и лягут две сероватые колеи...

Картавый конногвардеец стоит в тройке, обняв Гаврюшкины плечи.

— Пропал, вовсе пропал,— обдает Гаврюшу дыханием.— В цыганку врезался, в Зою Московскую, все сердце взяла... Алешка-гитарист выкуп из табора запросил... Сто тысяч. Разорюсь, выкуплю... Барыней станет. Цыганок без венчанья нельзя... Ты, ямщик, увезти мне поможешь...

Гвардеец смеется, Гаврюшка ознрается днко.

— Увезть, отчего... Увезть, ваше благородие, можно...

И вдруг, воспрянув, ошарашнвает по всем трем вожжей:

— Эй, голубкн,— слуша-а-а-й!

От толчка картавый поручнк падает на ковры, серая шниель волочится по каменьям, гремят колеса, несутся мимо с гулом фоиари, будки, заборы, распугаииые галки крнчат-ныряют черными хлопьями в заревую реку — зазвенела-полетела крылатая Москва.

Так и отвез Гаврюшка картавого барнна к трактнру Мутье. За ннм в сени вошел и у прнтолоки стал. Зоииы влажные глаза точно бы от слез потемнели. На него сквозь дым Зоины глаза смотрят. Вот закуталась она в темную шаль, затрепетало смуглое плечо, вот вздохиула, и умолкло все в дымных хоромах:

— Ах, да не вечерняя, да заря,
Ах, да заря, ах, как заря,
Заря, ведь, как спотухала,
Заря, ведь, как спотухала...

Не вечерияя — стая черных птиц встрепеиулась, побледиели от восторга лица цыгаиские, дрогнули, стнсиулнсь зубы от стона, хор прнтопнул гортаино, огненно подхватнл, со свистом, с глубоким рыдаиием:

— Ах, нэ, нз спотухала —

Спотухать оиа стала...

Стонт Гаврюшка, бледиый, как лнст, в дверях гориицы. И прнзнает свою ямщицкую песию в рыданье гортанном, и видит Зонны глаза, черные звезды в дыму. А по лнцу ямщика бегут слезы:

Ах, да вы подайте мне —
Да, братцы, ах, да, братцы,
Ах, да вы подайте мие, ах, тройку,
Тройку, ах, да серо-пегнх лошадей...

— Ах, нэ, нз, нэ,— заметался горячнм метаннем хор.

— Ах, тройку серо-пегих лошадей...

Дрожит пламя миогих свечей. Отзваннвают темные стекла. В ннх бьет ночной дождь...

За полночь Алешка-гитарнст да еще два цыгана выиесли Зою, закутаиную в беличий салопчнк... Стучал по кожухам тройкн дружный дождь, обмокшне конн глухо встряхнвалн сырымн колокольцамн.

Шлепая по лужам,— кафтан на одном плече,— прошел Гаврюшка к коиям.

— Трогать, што лн? — сказал он угрюмо.

— Обождн, погребец-то... Погребец с шампанскнм под ногн ей поставить,— задыхался картавый поручик.— Сюда, в сено... Гоии!

— Погиать можио...

И вынесла тройка.

Москва темиая, в дожде, в обрывах иахлобученных туч, в отблесках фоиарей по лужам, где свистят от колес косым веером брызгн,— наклоненно, косо, полетела мимо тройки крылатая Москва...

Гаврюшка, мокрый, без шапкн, глотая дождь, ветер, стал иа козырях. По зажорннам, кренясь в шумные колдобины, чнркая нскры из дорожиых камеиьев, захлебывая воду, гнала тройка.

И вдруг, затрещав, стала.

Закорячилнсь конн, осели на заднне ногн. Пристяжиая, пятясь, скользя, захрапела, в ярости залягала гремящнм копытом по железиому, облеплеиному грязью щиту.

— Что случилось? — встрепеиулся поручик.

— А то,— обернул Гаврюшка бледное, мокрое лицо.— Выходи на дорогу из тройки... Один я Зою Артемьевну в подмосковную доставлю.

— Как, дурак,— один! С ума ты сошел...

— Сказано, ваше благородие, выходи.

Гаврюшка с козырей перегнулся, двумя руками поднял картавого барина с тройки и поставил его у колес, в самую грязь, на дороге:

— Становись, когда сказано...

Картавый барин понял не сразу, потом с силой хватил оземь гвардейской фуражкой, в грязь сбросил бобры...

— Да ты... Стой, бунтовщик... Стой, убью.

Грянул пистолетный выстрел, огонь промигнул.

В три вожжи ударил Гаврюшка. И тут Зоя сбросила мокрые свои шали, вцепила в плечи ямщику руки.

— Гэ, гэ — гони!

— Пусти руку — держись!

И пошла Гаврюшкина гонка, о которой московские ямщики еще лет с полсотни после рассказывали.

К станциям налетела тройка, как буря. Кони пеной исходят, дымят бока, вздымаются, опадают.

Гаврюшка — бледный, без кафтана, дикие глаза — вбегает в станционное зальце, заспанных смотрителей тормошит.

— Смену мне жжива, смену давай...

Гаврюшку Шугаева по трактирам все знают — не до подорожных казенных,— по станциям слух полетел,— мчит сломя голову Гаврюшка-ямщик самого императора всероссийского, только инкогнито.

Гремит, звенит крылатая тройка...

День — ночь, день — ночь, скачут перемены лошади.

Под Варшавой левая пристяжная, вострепетав, пала... На двух гнедых истерты в кровь бока, сбруи оборваны, подскакал Гаврюшка к пограничному на Австрию мосту.

От полосатого столба, где шлагбаум, из полосатых будок высыпали солдаты в орленых киверах. Гаврюшка на козырях, рука в кровь вожжею измучена — ударил со стоном,— кони со стоном рванули, загремели по мосту:

— Стой, стой!

Выстрел, пыж просвистал, заговорил солдатский огонь.

Но вынесла, прорвалась Гаврина тройка...

И на чужой заре, чужими полями, по сырой дороге, пошли шагом Гаврюшкины кони. Далеко, над темной рыхлой землей низко текла заря.

На зарю Гаврюшка перекрестился, посмотрел на Зою. Цыганка мирно спала, свернувшись в клубок под шалями, под салопчиком беличьим.

...И прошло много лет, уже вступил в царствие император Александр Второй, и объявилась воля крестьянству, когда приезжал из Тульчи в Москву богач-лошадник Гаврила Шугаев, с супругой своей Зоей Артемьевной, батюшкино наследство принять.

Оба рослые, оба темные, с лица смуглые, обгорелые, вроде цыган.

Долго отыскивали они по Москве какого-то барина из бывших помещиков, графа ли, князя.

И в приходе Спиридония тот барский дом отыскался.

Былой конногвардейский поручик, картавец, ныне уже облыселый, голова точно бы в рыжеватом пуху, сам в ватном шлафроке, встретил их в креслах. На табурете подагрическая нога, и ватой обложена.

В светлом зале молча пали они перед барином на колени. Лысый барин смотрел-

смотрел, вдруг взялся за костыль, морщинистые руки заплескались.

— Зоя, господи боже мой, Зоя... Цыганка, ямщик...

— Мы, батюшка-барин,— поклонился в ноги Шугаев.— Прости на бесчинстве, да на охальничестве, чем тебе тогда досадили...

Покраснел лысый барин, замигал, напыжился, как дитя, и заплакал:

— Зоя, да ты ли... Веришь, во всю жизнь мою тебя не забыл, всегда в сердце щемила... Веришь, всегда.

— Прости мэиэ, милый барин,— гортанно ответила старая, сухая цыганка, улыбнулася грустно, слева во рту зубов нет.

— Я Гавру полюбила, нэ тэбэ, барин. Вот...

Тут вошла в светлое зало старая полная барыня в капоте и в накладных бурых шиньонах, что-то сказала по-непонятному. Гаврила и Зоя встали и ей поклонились, а лысый барин досадливо передернул ногу на табурете и рукою махнул. Барыня в капоте ушли.

— Садитесь, садитесь... Моя жена... Видели? Дурища, сколько лет в России живет, по-русски не понимает... Садитесь, друзья... Милые вы мои... Вот мы и старики стали, жизнь-то пролетела, на голове у тебя снег, у меня — пустыня... Эх, ямщик... Да садись же.

— Покорно благодарим...

— Пролетела наша жизнь, как тройка,— прости-прощай... Ах, ямщик, что ты соделал тогда... В сердце меня... Полно, полно, забыто... Зоя, а «Не вечерняя»... Зоя Московская, помнишь ли: «Не вечерняя»?..

— Как мэиэ, барин, не помнить.

— Спой ты мне, Зоя, старому, спой ты мне, хорошая, «Не вечернюю», спой, душа, дай о всей жизни поплакать...

— Без гитары нэ можно,— сурово сказала цыганка.

— Есть, есть гитара... Эй, кто там, подай гитару из кабинета.

И когда принесли гитару, Зоя Артемьевна, старая цыганка, зарделась, словно бы девушка, и робко на Шугаева посмотрела.

— Гавруша, можно барину пэть?

— Пой, конешно... А то нет: можно.

— Тогда ты, Гавруша, на нижней октаве возьми: у мэнэ нынче голос не тот... Ту струну, под пятую, бери.

Улыбнулась, откашлялась.

И запела цыганка, старая Зоя, цыганскую «Не вечернюю».

А седой Гаврюша Шугаев и бывший гвардейский поручик слушали молча, не глядя друг на друга. Глотал слезы старый гвардеец.

Вот, говорят, откуда цыгане песни берут.

От огня, от боя сердца, от трепета, ветра, топота коней песни цыганские...

А «Не вечернюю» переняли цыгане от знаменитой Зои Московской, а Зоя Артемьевна переняла ее в час вечерний, в полях, от желанного своего, от молодого московского ямщика Гаврюши Шугаева.

Дурной арапчонок

Туча стояла над Москвою.

Точно всеми четырьмя лапами раскинулась по небу громадная шкура медведя над самым Кремлем.

С вечера яблони побил крупный дождь. Перешел к ночи. Москва темная, пустынная, спящая, свинцово поблескивая шарами куполов, дышала влажной свежестью, чистотой дождя, сырым березняком...

Проблистав зеленым заревом в стеклах, пронеслась бесшумная молния — озарило чугунные фонари, заборы, колоннады,— сухой пальбой раскатился гром,

Будошник, запахнув полы овчинного тулупа, залез в будку свою, и, когда снова зеленоватым зиянием выблеснули стекла, только алебарда его, сверкая, торчала из будки.

Молнии выхватывали тени труб, сквозные пролеты колоколен.

По заставам, у Камер-Коллежского вала, вокруг Москвы, толкались, разбегались чугунными кеглями громовые откаты.

Гремела сухая гроза без дождя. От сухих молний высох воздух, ночь стала душнее.

Громада спруженных куполов, чудовищные тени дворцов и строений,— словно вымерла темная Москва, отданная на потоки молний, на бег сухого грохота...

В приходе Богоявления, в приземистом доме о шести колоннах, что на Немецкой улице у Покровки, противу самого Немецкого рынка, порхает в темных окнах огонь.

В зальце шарахают отблески молний в круглое зеркало.

Босая, простоволосая девка с ошалелыми глазами, коса закорюкой, в холщовой исподнице, мягко топочет на антресоли с тазом и полотенцами. У образов, в столовой, сухонькая старушка, стоя на креслах, теплит тонкую свечу, неверно тычется старушечья горсть.

Окна дымно голубеют, дымно гаснут.

— Гаша, Гаша...

Простоволосая девка присела:

— Нянюшка?

— Образа?

— В спальню барыне понесла, дохтур не приказал... Тамо, нянюшка, в уголку, на припечке, уставила, по-над стенью...

— Комоды помоги отпирать, чтобы двери отворены...

— Да отворены все...

Ударил гром, точно близко в саду лопнуло пушечное ядро, дрогнули стекла.

Гаша с нянюшкой пали на корточки у комода. Прыгает жидкая косица, мышиный Гашин хвостик.

— Никола Чудотворец, Спасы-угодники, спаси-помилуй,— няня трясущейся рукой тянет неподатливый ящик.

Ящики скрипят, обдают домашним духом пересыпанных мехов, скатанных скатертей, мятными приправами, настоями, вишневками, яблоками, сушеными запрошлый год...

— Ахти, барыня завуяла.

Девка стрелой метнулась на антресоли. Нянюшка крестится.

— Куды барин сокрылся? Туточки в креслах сидел, а и нет... Куды побег?.. Сереженька... Батюшка... Сергий Львович.

В круглой зальце, у зеркала, няню выхватила молния из тьмы: морщинистая, бледная, в белой пелеринке, сухонькие пальцы согнуты на груди для креста...

Гаша пронеслась вниз стремглав.

— Нянюшка, дохтур,— передохнула,— дохтур младенчика вынес... Мокрехонький.

— Слава те, слава те... Барин наш — куды... Батюшка, Сергий Львович...

А барин Сергий Львович стоит на дворе, на ступеньках крылец, без шляпы.

Пошумел внезапный ветер в сиренях, закачало тени дерев на бульварах — редкие капли застучали по заборам, по крышам — шумнее, шумнее... Точно отсырев, замигала молния, гром приглох, откатился, задребезжал далеко в дружном шуме вод.

Сбито кружевное жабо Сергия Львовича, расстегнут серый фрак.

По лысому лбу, по носу постукивают холодные капли. Не понимая, он слизывает их с губ.

— Батюшка, да куда убегли, ножки промочите, дождь полетел...

— Дождь? Точно...— озирается.— Надежда Осиповна, Надя... Кричит?

— А и нет вот, ни столечки. Вовсе справная... Родила.

— Родила? — слизнул каплю с носа, ступил к дверям и вдруг, закрыв руками лицо, всхлипнул шумно.

Няня, легонько подталкивая в спину, ведет барина с крылец в горницы.

— Без шапки убег... Почивать ступай. Без шапки, пострел...

Стеклянная дверь зазвенела. Дождь смутным прохладным шумом ворвался в сенцы.

Будошник, тот самый, что спрятался в будку от сухих молний, теперь высунул голову и, сдвинув на затылок треух, подставил воде и ветру морщинистое лицо.

Ночь посерела, стала водянистой, мутной. Шумели дружные воды о мостовую, как мокрые шажки бесчисленных прохожих...

А наутро Москва, умытая, светлая, играла на солнце, в тумане теплых рос, громадой влажных самоцветов дымно вспыхивала вишневыми, зелеными огнями.

Полыми шарами плавает к ранней звон. Над самым Кремлем, в зеленоватом нежном небе, дремлют белые стайки утренних облаков.

У гауптвахты, мимо полосатых столов, гремя барабанами, прошагали солдаты. Высоко подымают все ногу, у всех белые гамаши до колен. Сияют белые ремни на синих кафтанах, лица красные, как из бани, букли белые. Широко плещут солнцем медные гренадерки. Пронесли солдаты медный блеск орлов, гул барабанов...

Чиркая мокрыми колесами, кренясь во грязи, проплыла коричневая карета у Иверской. Гайдук верхом на пристяжной, треуголка поперек лба, машет бичом, а долгие ноги, как жерди, волочатся с коня, и жижей обрызганы чулки.

В зеркальных стеклах кареты дрожь солнца, березняка, отражения голубых луж, бородатых мужиков, красных платков, гречевиков.

Над сияющими лужами дымит розовый пар.

От Иверской доплыла карета на Немецкую улицу. Барин в коричневом фраке, полный и круглый, проворно выпрыгнул на мокрые мостки.

Зальца залита солнцем. Дрожит свет на хрусталиках люстры, сечет косыми дорогами светлый воздух до красных спинок диванов.

Девка Гаша взвизгнула, шарахнулась дико.

— Василий Львович приехали...

Коричневый барин замахнулся на нее треуголкой.

— Что с девкой сталося?

Няня в белой пелеринке, светлая, чинная, приняла треуголку из барских рук:

— Батюшка, Василий Львович, да когда радость в доме: бог мальчика дал.

— Махонький вовсе младенчик,— Гашина косица трясется, показывает девка на пальцах младенца, не больше вершка.— И мокрехонькой...

Вошел в зало Сергий Львович, бледный, помятое лицо, рыжеватый клок на лбу спутан.

— Поздравляю, поздравляю,— улыбнулся коричневый барин.— Сказывал, будет благополучна.

Звучно поцеловались, жмурятся оба от солнца.

— Ах, намучился... Ночь без сна.

— Я тоже не спал: сочинительствовал... Надя благополучна, дозволено к ней?

— Прошу...

Братья идут мимо окон, под руку.

— Славный день, веселый день,— говорит круглый коричневый барин. Подмигивает у него глаз.— По ночи сочинял, а утром ведомости пришли... Старик-то наш, Суворов... Ровно ветром сдунул с Италии мерзостный якубинцкий колпак... Смотри, милый друг,

вчерашние ведомости пишут: российскими войсками Милан взят... Да где оне у меня?

Порылся в заднем кармане, на спине наморщился коричневый фрак:

— Фельдмаршал пишет в реляции своей: при вступлении моем в столицу Пьемонта я с радостью зрел общий восторг жителей, освободившихся от бремени тяготевшего над ними притеснения. Ныне спокойствие, согласие и порядок в целом Пьемонте...

— Да, слава богу, победа,— Сергий Львович быстро, косенько перекрестился.— А какое имя мальчишке-то дать?

— Я тебе про Италию, ты мне про святцы... Александром его назови, во славу побед российских...

В спальне, в полусвете опущенных штор, сквозит солнце, зеленый туман берез. В шелковом белом чепце лежит на высоких перинах барыня Надежда Осиповна. Смуглые щеки горят румянцем. Без сил пали по одеялу желтоватые руки.

— Устала, мой ангел?.. Брат поздравить пришел.

Надежда Осиповна повела бровью, пожевала горячими губами, улыбнулась едва.

— Благодарствую... Мне бы его посмотреть... Мальчика принесите, не видала еще.

На желтой подушке, в кружевах, несла его в барскую спальню нянюшка.

А за нянюшкой шла Гаша, за Гашей Дарья и кучер Антон в плисовом камзоле, и дворецкий Кир, старец белоголовый и ветхий, в гродетуровом кафтане покроя старинного, и казачок Петька, и повар Андрон, тучный и грустный, во французском жилете, да еще девка Фенька, да квелая Нюша, да две старушки, бог их имена веси, что с позадворья,— барские дворовые московского дома.

Шли они по залу по самой солнечной дорожке, чинные, благолепные, и жмурились все от солнца. Петька подсмаргивал носом, покуда ветхий Кир не дал казачку щелчка. Петька от внезапности открыл рот, да так с открытым ртом и остался...

Нянюшка вошла в спальню, а все другие, точно их качнуло волной, кинули руки до полу в низком поклоне, загудели недружно:

— На сыночке твоем поздравствование прими.

— Подите, подите,— едва подняла желтоватую кисть Надежда Осиповна.

— Мальчик мой где?

Нянюшка, поджав запалые губы, поднесла к постели желтую подушку. Там шевелилось, выказывало ручки и ножки нечто темное, сморщенное.

Надежду Осиповну приподняли под локотки. Корчится на желтом шелке маленькое смугло-темное тельце, темная крошечная головка, старческая гримаска — нос приплюснут, волос тусклый, курчавый, с рыжиной, как войлок, щелинки глаз...

— Арапчонок! — вскрикнула Надежда Осиповна.— Фу, какой дурной арапчонок,— и отвернулась к стене, закусила губу, заплакала.

— Арапчонка родила... На всю Москву стыд... Арапчонок... Д-у-у-рной.

Сергий Львович, накручивая на палец рыжеватый кок, растерянно улыбался. Василий Львович утешал.

— У тебя первая материнская блажь... Изнемогла... Имажинируешь... Обожди, красавцем покажется... А хотя бы и прямой арапчонок. Стало быть, в деда пошел, в Аннибала.

В детском покое, где лепечет у окон березняк, за тафтяным сквозящим пологом, шевелится нечто. И ворчит старая барская нянюшка:

— Арапчонок... Кровинку свою да оскаредить этаким словом... Не арапчонок он, а дворянской сын Пушкин... Видано ли, чтобы у бар арапчата рождались.

И, чуть пошевелится за пологом, толкнет нянюшка зыбку тощей рукой и тоненько запоет:

Жил-был кот воркуи.
Жил без лиха коток...

В Москве, 29 мая 1799 года, родился Пушкии — в иочь на весеинюю грозу. А от купели нарекли его Александром — во славу лавров российских.

Дмитрий Шаховской



Несколько мыслей о поэзии

Всякое слово есть то полуслово, с которого понимает или не понимает человек человека.

*

Настоящее стихотворение должно все давать и все обещать.

*

У философии самая мелкая языковая мера: километр.
Почти все философы приняли ее безоговорочно.
Философская борьба идет километрически.
Отойдем же в сторонку с нашими аршинчиками и вершочками...

*

Дочь фараона Хеопса (если верить сплетнику Геродоту) хотела выстроить *свою* пирамиду, для чего требовала от каждого, недвусмысленно к ней приходящего, один камень. Удалось ли построить дочери Хеопса пирамиду — не знаю, но в ее намерении было несомненно более непосредственного вкуса, чем в осуществленном намерении ее родителя.

...Среди писателей гораздо больше фараонов, нежели их дочерей.

*

Удовлетворяться объяснением слова «поэзия» — это все равно что быть довольным собою: высший предел нетонкости.

*

Иногда кажется, что даже такие несомненно общие всем слова, как предлоги, понимаются людьми разно.

*

Человек рождает человека оттого, что сам он — человек.
Человек рождает ребенка потому, что сам он был ребенком.— В этом доказательство заложенного в нем отрицания лжи: иначе — поэзии.

*

Поэт должен любить свой стих, как собака любит своего щенка: пока он беспомощен.

*

Одиночество — это книга, которую надо читать с карандашом в руках.

*

Как почти каждый фотограф, отпускающий волосы, считает себя артистом, так почти каждый, искренно говорящий слово «люблю», считает себя любящим.

*

Научная философия напоминает жизнь, как сгусток крови, упавший на землю, напоминает кровь, текущую по жилам.

*

Об аристотелизме и платонизме в поэзии:
литературные критики делятся на образовывающих и на воспитывающих: первые — научнее, вторые — ценнее.

*

Название литературного произведения должно быть более содержательно, чем само это произведение; менее ограничено.

*

Писатель — это Подход.

*

Поэзия — оттенки любви.

*

Мысль изреченная не есть ложь. Она — тот камень, на котором ложь ощущается.

*

Гений всегда просит подаяния, несмотря на то, что все нищи, кроме него.

*

***Идея* кощунства — это одна из тех идей, до которых людям труднее всего возвыситься.**

*

Если бы Блок не был дилетантом мышления, он, может быть, был бы гениальным поэтом...
Если бы Анненский не был гениальным поэтическим дилетантом, он, может быть, был бы хорошим мыслителем.

*

Русская грамматика — это английская юстиция: есть законы и нет законов. Центр — в просвещенном судье.

*

Игрок, который все время выигрывает, может называться поэтом.

*

Единственные теории, которые, думается, можно признавать в (поэтической?!) политике,— это утопические, потому что, конечно, лучше считать главным невозможное, чем неглавное.

*

Мерой качества стихотворения можно (также) признать меру возможности его фраз быть эпиграфами.

*

Каждая вещь должна лежать на своем месте... — отсюда «оправдание» распределения слов в каждом стихе.

*

Поэзия — тоже искупление первородного греха.
Борьба за гармонию первичного (и конечного) человека.

*

Не надо строить замка из поэзии, надо только бороться против ее обращения в уличный домик, где каждый может останавливаться на минуту.

*

Сколь более французы довольствуются своим отшлифованным, до потери духовности, языком, чем русские своим вольным...
(Вот тема для романа «Кто виноват?»)

*

Русский человек мыслит «именем и отечеством». «Западный» — только «именем». (У нас даже Базаров — Евгений Васильевич.)

*

Самое главное творчество поэта — это творчество вдохновения.

*

— Умный человек — это тот, кто может понять глупого,— говорит апостол Павел.
— Умный человек — это тот, кто не может понять глупого,— говорит Ницше.

*

Прогресс в искусстве — это, в сущности, желание прыгнуть выше того места, где должна быть голова.

*

В искусстве, как и в жизни, самый легкий, а значит, и истинный путь — путь наибольшего сопротивления.

*

Наука — это хождение в ногу: не под барабан, а под скрипку.

*

В поэзии стараться влезть в окно — это ломиться в открытую дверь. Да простят меня пролетарские писатели за эту шутку.

*

Нет, не слов мало на языке человеческом, чтобы «объяснить», а слишком много их, чтобы можно было говорить.

Людям нужна не гениальность, а способность к ее примечанию.

*

Каноном всяческого искусства следует признать невозможность.

*

Как людей можно узнавать по глазам, так и литературные произведения — по заглавиям.

*

Никакое противопоставление простого сложному не убедительно.
Их совместимость — даже любовь — можно проверить на мысли о смерти.

*

Всякая мысль тяготеет к немыслимому.
Вне поэзии это: снять полшапки, поставить после слова «смерть» точку с запятой...

*

Все в мире шито белыми нитками. Это вообще единственные нитки, которые существуют.

*

Бог только То, Кого *за все* благодарить можно.
Поэзия божественна, потому что благодарима за все, за все...

*

Трубление в розу — переложение стихотворения на музыку.

*

Степени ценности поэтова творчества:
1) жить,
2) писать о жизни — слагать стихи,
3) писать о стихах.

МЕМУАРЫ

Василий Шульгин

Три столицы

Путешествие в красную столицу

Глава первая — она же предисловие

Те, кто читал «1920 год», может быть, помнят, что у меня был сын, которого странно теперь называть «Ляля», ибо, если бы он был жив, ему сейчас было бы 25 лет от роду. Но, когда он исчез, он был юношей, и детская кличка еще всеми родными и друзьями к нему прилагалась. Поэтому, насколько рассказываемое настоящей книжкой его касается, я буду держаться этого имени, ибо не знаю, как же его иначе обозначать. Под другим он в моем сознании не значится. Называть его Вениамином Васильевичем есть для меня фальшь непереносимая, хотя таково его настоящее имя. Часто так бывает в жизни: формальная истина есть насмешка над истинной истиной...

* * *

1-го августа 1920 года я видел его в последний раз. Он ушел с Приморского бульвара в Севастополе, направляясь на вокзал, чтобы ехать в полк. Поступил он в Марковский полк — вот все, что я знал. С тех пор ни от него, ни о нем никаких известий я не имел.

1-го ноября того же года, как известно, генерал Врангель ушел из Крыма и приютился с остатками своей армии на берегах Босфора. Мне лично после разных приключений удалось пробиться в Константинополь только во второй половине декабря. Естественно, что я искал сына, и естественно, что я искал его в Галлиполи, где высадились все «цветные» полки, то есть корниловцы, марковцы, дроздовцы и алексеевцы.

24-го декабря я прибыл в Галлиполи.

Там мне удалось разыскать поручика, который был командиром моего сына, служившего у него в пулеметной команде в звании вольноопределяющегося. Этот офицер рассказал мне следующее:

— Мы отступали последние — третий Марковский полк. Южнее Джанкоя, у Курман-Кемельчи, вышла неувязка. Части перепутались. Давили друг на друга. Словом, вышла остановка. Буденовцы нажали. Тут пошли уходить, кто как может. У нас в пулеметной команде было две тачанки. На первой тачанке был я с первым пулеметом. На второй тачанке был второй пулемет, и ваш сын был при нем. Когда буденовцы нажали, пошли вскачь. Наша тачанка ушла. А вторая тачанка не смогла. У них одна лошадь пала. Когда я обернулся, я видел в степи, что тачанка стоит и что буденовцы близко от них. В это время пулеметная прислуга, насколько видно было, стала разбегаться. Должно быть, и ваш сын среди них... Вот все. Больше ничего не могу сказать. Это было 29 октября.

* * *

6—1565

Этот рассказ при всей его неутешительности все же не отнимал надежду до конца. Было четыре возможности: 1) убили, 2) просто взяли в плен, 3) ранили и взяли в плен, 4) взяли в плен и расстреляли.

Естественно, что с того дня, как я выслушал рассказ поручика, моя мысль неуклонно возвращалась к следующему: надо как-то пробраться в Крым и узнать, что же случилось. Если жив, вытащить, помочь. Если убит, по крайней мере знать это наверное.

* * *

Случай пробраться в Крым скоро представился. И это была моя первая попытка. Несколько из моих друзей (очевидно, такие же «намагниченные души», как и я) нашли шхуну, очень недурную, спортсменского типа, парусно-моторную. Пожалуй, ее можно было даже назвать яхтой. Она должна была идти в Крым для различных дел. Мне предложили принять участие в этой экспедиции. Я с радостью согласился, побывал на шхуне (она стояла в Босфоре) и нашел все прекрасным.

Но не повезло. В следующую же ночь сильным штормом ее сорвало с якоря и разбило в щепки. Это было в первой половине января 1921 года.

Таким образом, первая попытка кончилась неудачей в самом начале.

* * *

Вторая попытка была тоже неудачной.

В сентябре 1921 года мне совместно с другими удалось снарядить шхуну, на борту которой было десять человек. Мы были в море 17 суток, побывали в Крыму. По моей просьбе были обшарены места, где скорее всего можно было ожидать найти Лялю. Но он не был обнаружен, и не найдено было никакого указания о нем. А кроме того, экспедиция кончилась бедой, и только пятерым участникам с большим трудом посчастливилось уйти на шхуне обратно. Судьба остальных пяти различна: один умер, двое живы и вернулись в эмиграцию, судьба двоих — не установлена.

Описание этого путешествия существует и будет когда-нибудь опубликовано.

Как видно из сказанного, и эта вторая попытка не привела ни к чему.

* * *

Осенью 1923 года я получил первое известие, относительно верности которого можно быть того или иного мнения, но зато совершенно точное.

По этим сведениям Ляля был жив, но находился уже не в Крыму, а в центральной России и в таких условиях, что подать о себе вести он не мог.

С тех пор, как я получил это известие, я решил попытаться еще раз пробраться в Россию и стал нащупывать возможности.

Возможности эти скоро представились. Это, впрочем, всегда так бывает: стоит только о чем-нибудь очень упорно думать — и через некоторое время непременно появится какая-нибудь ступенечка, казалось, в совершенно неприступной стене...

* * *

По понятным причинам я буду очень непонятным в этой части своего изложения. Я могу только сказать, что я поставил вопрос просто: надо искать помощь у тех, кто по своей профессии должен иметь постоянные способы проникновения в Россию.

Кто же могли быть эти люди? Естественно — контрабандисты.

Я стал искать связей среди контрабандистов и нашел: «не имей сто рублей, а имей сто друзей».

Однако судьба князя П. Д. Долгорукова, который как раз предпринял попытку проникновения в Россию, но добрался только до первой пригранной станции Кривни, где и был арестован и только благодаря своему мужеству и выдержке не опознан, а выслан обратно в Польшу перед видом старого псаломщика,— заставляла быть в особенности осторожным.

* * *

Поэтому прошло два года, прежде чем мне удалось поставить дело так, как я этого желал.

В то время, как я получил известие, что все более или менее готово и я могу войти в сношение с людьми, которые мне обеспечат мощную протекцию среди контрабандистов, я жил в Сремских Карловицах в Сербии. Этот город, как известно, был резиденцией генерала Врангеля.

Разумеется, главной причиной моего стремления проникнуть в Россию было желание найти сына. Но правда и то, что и само по себе это путешествие меня в высшей степени интересовало. Меня отнюдь не удовлетворяла газетная информация о том, что делается в Советской России. Хотелось «вложить персты в раны». По многим признакам мне казалось, что дело обстоит не совсем так, как об этом пишут. Самая мысль, что стомиллионный русский народ «исчез с карты земли», казалась чудовищной. Словом, объяснять это ни к чему. Всякий эмигрант понимает жгучий интерес всякого из нас к тому, что там, за чертой. Если же к этому присоединить сильнейший личный мотив и возможности, которые не часто перепадают, то получилась комбинация трех сил, которые и обусловили мое решение.

Живучи, так сказать, под боком у генерала Врангеля, да и вообще имея привычку делиться с ним политическими возможностями (а мое путешествие могло развернуться и в таковую), я, разумеется, рассказал ему о своих намерениях.

Генерал Врангель отнесся в высшей степени сердечно ко мне лично, но вместе с тем дал мне понять совершенно решительно, что «политики не будет».

Генерал Врангель, как известно, снял с себя всякую ответственность «за политику» в тот день, когда, подчинив себя великому князю Николаю Николаевичу, он посвятил свои силы «исключительно заботам об армии». Из наших разговоров с генералом Врангелем выяснилось, что по этой причине никаких политических заданий он мне не дает. Главкому приходилось быть особенно осторожным в этом случае ввиду того, что некоторые элементы вели против него непрекращающиеся интриги. Эти люди не упустили бы случая истолковать мое путешествие так, что Врангель послал Шульгина со специальными задачами в Россию. И таким образом ведет свою самостоятельную отдельную, «бонапартистскую» политику. Что может быть такая интрига, это, конечно, очень грустно, но это так...

По этой причине ко времени моего отъезда генерал Врангель был даже не особенно в курсе моих истинных намерений; он полагал, что я в конце концов пошлю на розыски сына другое лицо вместо себя.

В полном курсе дела был уже ныне покойный генерал Леонид Александрович Артифексов. Я оставил ему письмо, которое просил его опубликовать при наступлении известных обстоятельств. Дело было в том, что я порядочно побаивался, как бы в случае неудачи, то есть в случае, если я попадусь, большевики не разыграли со мной того же самого, что они проделали с Борисом Савинковым, т. е. чтобы они не опозорили меня прежде, чем тем или иным способом прикончить. Поэтому в письме

на имя генерала Артифексова я заявлял, что хотя я еду в Россию по личным мотивам и политики делать не собираюсь, но я остаюсь непримиримым врагом большевиков, почему каким бы то ни было их заявлениям о моем «раскаянии» или с ними «примирении» прошу не придавать никакой веры. 〈...〉

Переход

Итак, я выпускаю все то, чему полагается быть «за завесой». Начало моего рассказа — вокзал. Мне было сказано явиться на такой-то вокзал такого-то города в такой-то стране такого-то числа в таком-то часу. Там, за столиком, будет сидеть молодой человек, т. е. средних лет. Красивый, в полупальто с серым мехом, мягкой шляпе. Я должен буду сесть рядом с ним за общим столом и через некоторое время спросить у него по-русски, есть ли у него спички. Если он подаст мне спичечную коробку определенной марки, то это будет именно тот человек, который мне нужен, и больше мне ни о чем заботиться не полагается.

Я приехал на вокзал, и все прошло очень точно. На углу стола сидел человек, которого нельзя было не узнать по данному мне описанию. Я спросил спички, и он подал мне их, улыбнувшись при этом добродушно и грустно, как улыбаются только русские. Он был усталый, хотя молодой и неизможденный. Он давно устал и, должно быть, навсегда.

Марка на коробке оказалась та самая, а усталый человек сказал мне:

— Я возьму вам билеты и приду за вами.

Я хотел дать ему денег, но он сказал:

— Рассчитаемся в конце.

— В каком конце?

Разумеется, я имел некоторую рекомендацию относительно людей, с которыми я связывался. Рекомендации были даже очень хорошие в том смысле, что эти люди, вне их контрабандного ремесла, были люди безусловно честные и ни в коем случае меня не предадут. Да ведь контрабанда к тому же во все времена и у всех народов из всех уголовных деяний была на особом счету. Известно, что в контрабандистском сердце есть «и гордость и прямая честь...» 〈...〉

* * *

Мы, очевидно, держались какой-то просеки. Если это не была дорога, то это был чей-то след. Да, конечно, и притом это был их собственный след: как-то ведь они сюда доставлялись.

Лес местами становился величественным, напоминая декорацию. Засыпанные белым елки матово светились... Мы все ехали. Шагом. Казалось, как будто уплываешь куда-то медленной речкой.

* * *

Опушка. Вправо, влево — проезжая дорога.

— Ну, Мишка!..

Лошадь тронула доброй рысью. Нестерпимо застучало «кольцо».

Он ругал за это Мишку скрежещущим шепотом. Что-то говорили про хомут, объяснялись, возражались, но кольцо стучало, а лошадь шла беглой рысью, и, очевидно, с этим ничего нельзя было поделать.

Справа от иас бежал леc, слева было поле.

Я передвииул предохранитель с "feu" на "sûr" * и спросил:

— Тут уже можио? Ну, словом, обыкиовеииым людям ездить?

Ои махиул игрушкой выразительио.

— Одним военным! Но тут... тут все же легче... постов нет. Лнннн проехалн. Могут быть разъезды — кoииые...

— Что тогда?

— Тогда...

Ои сказал мне, что — тогда.

Помолчу.

Он добавил:

— Тут только чииы «пограиохраны» могут быть...— И Мншке: — Вожжн держи... Смотри... Сам знаешь!..— И прнбавнл как бы в пояснеиие: — Скверный тут поворот: перекресток...

Я передвииул предохраинтель на "feu". Но скверный поворот мнновалн благополучно. Новая дорога шла полем. Я передвинул на "sûr". И спросил:

— Как у вас тут при встрече, здороваются ли людн?

Он ответнл:

— Пуля в лоб — вот тут как здороваются...

Я ие особенно поиял, в чей лоб: наш, нх? Должио быть, взанмио. Но ведь у ннх — вннтовки, а у иас — нгрушки... Толкуй тут о равенстве...

* * *

Впрочем, скоро мы «сравиялнсь».

— Мишка! Вправо, влево — смотрн! Вожжи не распускай!

Мы пробнрались какнми-то перелескамн без дорогн, объезжая что-то. Справа, невдалеке, чувствовалось село.

Ои объясннл:

— Прошлый раз... вот тут... бандиты грабнлн... крнчал человек... Мнщка, помиишь?

Мишка показал рукой:

— Там это было... под селом...

Я передвннул на «огоиь».

* * *

⟨...⟩ — Ну, теперь с «пограиохраиой» легче. Это — большая дорога... Тут всем можно ехать. Тут только могут быть таможеииики... Ну, это — сволочи! Все — жиды!..

Я спроснл:

— Контрабанду для себя ловят, конечно?

— Еще бы! С ннмн мы — жнво...

— У ннх что?

— Нагаиы, кольты...

И было в этом столько пренебреження, что я переставил на «безопасно». Жидки с револьверами — не так страшио...

* * *

* Огонь — безопасно (*фр.*).

Несмотря иа все, иесмотря на миллионы расстреляиных, несмотря на то, что армии белых разбиты, иесмотря на то, что России нет, а вот иа ее месте СССР, иесмотря на то, что весь мир под угрозой,— старая психология не может переделаться...

Жидок с револьвером? Пустяки!

А между тем нет на свете зверя опаснее, ибо имеиио он, жидок с револьвером, делает революцию.

Впрочем...

Впрочем, когда ои делает революцию,— это одно. Все силы ада с ним. Когда же он ловит коитрабанду, чтобы ее украсть,— это совсем другое.

Это из тех низших чертей, которым кузиецы Вакулы крутят хвосты...

* * *

Однако мы недолго ехали большой дорогой.

— Там — район. Район «погранохраны»... в селе... Плохое место... Часовые стоят... могут поиитересоваться — откуда, куда?

Мы взяли вправо — в поле, по какому-то следу.

* * *

Но след скоро потеряли. Кругом — поле. Мало что видно: мутно, бело. Ни звезд, ни месяца. И как будто тумаиится воздух. Не холодно.

Сколько проехали? Кто его знает. Верст двадцать...

* * *

Они ехали по каким-то им одним ведомым приметам, спорили, убеждались, бескоиечно находили след и еще чаще теряли, ехали через поля, леса, лесочки и перелески, пригорки, холмики, откоски, иизиики, долинки, ложбинки и наконец потеряли след окоичательио н бесповоротио... Это и поиятно: ведь — «в объезд»... Объезд большой дороги верст в тридцать, объезд такой глушью, чтобы ни одиого жилья не встретить...

Так поставлена была задача: очевидно, везли что-то цеиное в этом сеие под нами, что хотели предохранить от всех «сюрпризов».

* * *

⟨...⟩ Когда я проснулся, иавстречу иам ехали люди. Если не считать тех, что везли меия, это были первые люди СССР.

Приближалась рыжая лошадь, кудлатая, ступающая по снегу размашистой рысью. Льняная грива, не чесаиная со времен Ильи Муромца, метнулась в глаза. Я не успел найти в ней «печать страдания». А я искал их, страданий...

* * *

Как всякий добрый эмигрант, я иевольио представлял себе Россию такою, какою я ее покинул. А покииул я ее в 1920 году. То есть тогда, когда самые камни «вопияли к иебу» от мук, когда булыжники мостовой «пухли с голоду» и если не умирали «от жажды», то только потому, что их обильно поливали человеческой кровью...

* * *

А с тех пор был еще и 1921 год!

То есть тот год, когда умерли миллионы, когда матери поедали своих собственных детей, погибших несколькими часами раньше их самих...

А что было дальше?

* * *

А что было дальше, как-то ускользает из сознания «правоверного эмигранта». А ведь я был им! Если не умом, ибо мозг что-то соображал, то чувствами...

И я искал «печать страданий».

Въезжая в Россию, я как бы входил в комнату тяжело больной.

«Что? Умерла? Жива? Потише говорите...»

* * *

Кудлатая лошадь едва не наехала на нас, ибо человек спал. Но все же он успел проснуться и, проснувшись, обругал лошадь по родителям, как бы в доказательство того, что я именно в России, а не в какой-либо другой стране. Ругнувшись, он взял вправо, и я увидел это первое русское лицо. Он был в шлеме, измятом и затрепанном, с болтающимися наушниками, в кожухе и валенках. Полулежал в простых санях.

Лицо? «Обыкновенное»... Давно не мытое. С бородишкой вроде как у его лошади... То, что называется — корявый мужичонка. Такой, какой он был от века.

Страдал ли он? Наверное. Но по нем не прочтешь.

Вы не читали
Сии кровавые скрижали?

Да, прочтите их! Березы и те легче читаются...

Ругнулся и поехал...

* * *

Что в нем «нового»?

Шлем! «Буденовка», как я узнал после, это называется. Она вошла в широкое употребление. Это не был солдат, просто крестьянин. Буденовку очень носят.

Так вот новое, значит,— шлем. «Головной убор». А какие новости в самой голове?

* * *

— А что, мужики,— спросил я,— довольны советской властью?

— Какой черт, довольны! Кто теперь доволен?

— Жиды одни,— сказал Мишка.

— Но все-таки... землю помещичью получили.

— Получили!.. Черта с два получили!.. Вот — полюбуйтесь!

* * *

Мы проезжали в это время мимо какой-то когда-то, видимо, усадьбы. Первое, что бросилось в глаза: ни одного забора.

Иван Иванович стал по этому поводу философствовать:

— Заборов принципиально не признают здесь, но это пустяки! А вот факт. Было доходнейшее имение. Теперь — «совхоз», понимаете? Советское хозяйство. Один убыток. Но не все ли равно? Жидки кормятся на нем. А мужики? А мужики ничего не получили.

Ну и это неважно, скажем,— вздор. Жили и без этого. А вот что донимает. Переделы. Ведь у них черт знает до чего дошло! Вот, скажем, сегодня переделились, все поровну, «по числу душ». Валяйте — хозяйствуйте. Как бы не так. Завтра у Марьи Ивановой ребеночек родился — и все тебе насмарку. Опять все дели наново, потому что одна «душа» прибавилась. А Марьи ведь каждый день рожают. И, значит, ни у кого ничего, в сущности, нет. Твоя земля? Моя-то моя — сегодня. А завтра, может, уже и не моя, а Марьиного ребеночка. Ну какое ж тут хозяйство? Ведь хозяйство же не на один день. «Интенсификация», говорят, «удобрение», «корнеплоды»... Олухи! Кто ж будет интенсифицировать свое поле, чтобы оно другому досталось? Реформаторы! А душу человеческую реформировали, сволочь!? Душа-то ведь та же, мерзавцы! Жиды ведь ваши, таможенники, для себя контрабанду-то ловят! Растратчики ваши для себя растрачивают?! Почему же вы думаете, что мужики на соседа будут работать, на «Марьиного ребеночка»? Бедняки, середняки, кулаки... Просто мужики, вся их природа одна. Мишка, да что ты? А еще говоришь — «рысистый»...

* * *

Последнее относилось к тому, чтобы подогнать лошадь. Кто-то «уцепился» за нами.

— Давно он?

— Нет, из совхоза.

— Ах так! Ну, дай ему...

Лошадь пошла шагом. Сани нагнали. В них сидел еврей. Он взглянул на нас и что-то закричал на жаргоне. Иван Иваныч ответил по-русски нечто неопределенное. Еврей махнул рукой и поехал дальше. Иван Иваныч торжествовал:

— За жидов нас принял, ей-богу! Ну, значит, грим у вас первый сорт!..

На мне, собственно, не было никакого грима. Просто я отрастил бороду, вернее, растил ее любовно, поминутно расчесывая и колдуя. Я решил, что в стране СССР всего безопаснее быть похожим на еврея. Желание может сделать все, что угодно,— говорят йоги. Доказательство на лице.

— Он спрашивал,— сказал Мишка,— не видали ли мы сани.

— А кто ж он такой?

— Он? Кто такой? Контрабанду ждет.

На мне была барашковая шапка и пальто с барашковым воротником, высокие сапоги. Седая борода, вьющаяся около ушей. Провинциальный спекулянт.

— Настоящий «пуриц»,— радовался Иван Иваныч.

* * *

Деревня...

Вглядываюсь в деревню. Бедная, невзрачная... Печать страдания? Может быть. А может быть, всегда такая была. Кто ее разберет. Сумрачно, уныло, тоскливо. Но, может быть, это оттого, что день такой выдался невзрачный, серо-туманный.

Лица. Их почти нет. Рано ли еще, или прячутся? Но отчего им прятаться? Я все забываю, что сейчас не 1920 год.

Ну вот,— какие-то девчонки, мальчишки. Вот девушки у колодца.

Ну что? Печать страдания?

Ну, кто их разберет. Лица сумрачные, одеты плохо. Но, может быть, они такие со времен Гостомысла?

Что можно понять вот так — «с санеи»?

Может быть, потом их как-нибудь пойму и узнаю.

Но мне это не удалось и позже. Деревня совершенно не вошла в круг моего личного наблюдения. Поэтому не стоит об этом и говорить. Перейдем к городам.

Иван Иваныч

Впрочем, «первый город», какой я видел, не подлежит моему перу. Изложить его правдиво не могу,— чего доброго, узнают, а этого я не хочу. «Затуманить» неинтересно и не нужно.

Я могу рассказать только кое-что.

* * *

Не доезжая, мы слезли с саней и вошли в сей город пешком. Было уже дело к вечеру, и слегка смеркалось.

— Вот,— сказал Иван Иваныч,— весьма приятно, что мильтон стоит спиною.

Мильтон? Кого это он так называет?

Это просто был городовой. В нем несомненно были существенные «милицейские» изменения сравнительно с прошлым, но все же нельзя было не узнать «стража безопасности», от коего, как говорят, происходит истинно русское слово «городовой». Но почему — «мильтон»?

— А мы их тут иначе не называем. Мильтон, и все тут!

Очевидно, переделано из «милиционера». Как фантастически глупо...

А впрочем, вовсе и не так глупо.

«Мильтон» — символ советской России. Разве к ней не приложим перифраз бессмертной поэмы настоящего Мильтона:

«Потерянный, но не возвращенный рай».

* * *

Иван Иваныч имел вид, достаточно близкий «к народу».

Он был в меховой шапке и кожухе, который вымазал ему лицо. По этому поводу он приговаривал с негодованием: «Вот, а еще Романовский называется!» Я шел около него «настоящим пурицем», и были мы как раз подходящей парой. А все вещи, контрабанда и мои, поехали с невиннейшим видом с безобидным Мишкой, который должен был сдать их в один дом на окраине города, откуда их уже переправят на городском извозчике.

Да, потому что городские извозчики существуют.

— Извозчик!

Извозчик... «Как много в этом слове...» Извозчик... Сколько лет я не слышал этого мощного зыка, совершенно недопустимого в Европе. И он подлетел, настегивая лошадь с худой сбруей и рваной полостью. Все, как было, только похуже.

Позднее я понял, что это вообще самая краткая характеристика современной России: все, как было, только хуже.

— Ты меня знаешь?

— Как не знать. Пожалуйте!..

— Ну, валяй домой, целковый получишь...

Мы понеслись с теми ужимками и ухватками, как возят богатых господ в бедных городках.

— Я тут, знаете, важная персона,— смеялся Иван Иваныч.— Дельцом слыву, почтен-

ная личность... Видите, извозчик, несмотря на полушубок, признал. «Как не знать, пожалуйте!..»

И он смеялся весело...

* * *

Я не мог бы в случае чего найти его квартиру. И сумерки, и спутанные улицы, а, впрочем, может быть, и нарочно так ездилось непонятно. Кто их знает! Может быть, и извозчик из их шпаны? Может быть, но эта «шпана» с каждой минутой становилась мне все симпатичнее...

— Вот мой дом. Милости просим. Входите смело, все благополучно.

— А как вы знаете?

Он посмотрел на меня лукаво:

— А занавески зачем?

Вошли.

— Вот сюда, направо пожалуйте, здесь можно мыться.

Я наскоро помылся и вышел через коридор в комнату налево.

— Пожалуйте, пожалуйте... Вот моя жена.

Молоденькая, хорошенькая женщина. Стол, уставленный всевозможными вещами. Рояль. Кресло-качалка. Убранство не роскошное, но достаточное. С точки зрения эмигрантской, я хочу сказать эмиграции стран балканских — недосягаемое.

— Вот, знакомьтесь. А я сейчас.

— Очень устали? Замерзли?

— Устал. Замерз. Но это пустяки. Я вижу, у вас рояль. Вы играете?

— Я — нет. А вы?

— Я? Немножко.

— О, пожалуйста...

И я играл...

Разве только для контраста — с «игрушками». Одна из них еще оттягивала мой карман. «Огонь», «безопасно», «огонь», «стой, кто идет?», лес, снега, «опасный перекресток», «пуля в лоб — вот тут какое приветствие», бандиты, таможенники, «волки», семьдесят верст в санях — и вдруг:

«Рояль был весь раскрыт...
И струны в нем дрожали...»

Молоденькая женщина, опершись о рояль, всматривалась в мое лицо сквозь «пурицкую» бороду. Конечно, ее интересовали не аккорды с орфографическими ошибками, которые «струились» из-под замерзших дилетантских пальцев, а «человек оттуда»...

— Как они там живут? Наши? Расскажите!..

Она не знала, кто я. Для нее я был один из тех, кого переводил ее муж через границу. Для него я тоже был ничем, т. е. я неверно выразился, я был для него живая контрабанда. Но вместе с тем я все же был человек оттуда. Разве у контрабандистов нет сердца?

Ну, словом, это понятно. Ведь мы — так называемая эмиграция — это кусочек этой большой родины, кусочек, который оторвался. Но и там, и здесь все еще дрожат те же струны.

Как и сердца у нас
Под песнею твоей...

И я рассказывал «под наивность старых романсов». То, что я рассказывал, это мы все знаем: эмигрантские картины...

Но я не успел развернуть эту фильму длиною в пять тысяч километров. Вошел кто-то.

Это был молодой человек, элегантный тонким слоем пудры, как бывает, когда человек

прямо из рук брадобрея. Одетый «по-европейски», щеголяющий галстуком. Он улыбался мне приветливой улыбкой хозяиuа...

Неужели это был он?

Да, это был он, мой суровый контрабандист — «пуля в лоб — вот тут какое приветствие»...

Я протяиул ему руки, чтобы поблагодарить его еще раз за «перевод», а может быть, чтобы ощупать.

Он.

— Только в Рокамболе бывают такие превращеиия!.. Да вы, милый друг, еще дитя! Теперь иа вид ему было лет 25...

* * *

В это время в комнату вошел еще кто-то.

В глаза мне метнулись тонкое, сухое лицо и пенсне, которое блеснуло... как монокль. Да, этому человеку безусловно шел бы моиокль. Мне кажется, это достаточно, чтобы его определить. Он был бы на месте где-нибудь в дипломатическом корпусе.

— Вот, разрешите вас позиакомить.

Мы пожали друг другу руки, не произнося иикаких фамилий. К чему? Ясио было, что настоящих не услышишь, а для фальши тоже ие было в настоящую минуту достаточных оснований. Да и почем я зиал, какая моя фамилия? Старая умерла, а новая еще не родилась.

Впрочем, этот акт рождения произошел немедленно.

Мой новый знакомый сказал мне:

— Знаете, я бы вас никогда не узнал!

— А мы встречались?

— Да, мы встречались. Но вы меня забыли в «калейдоскопе лиц»... Я же вас очень хорошо помню. Я — киевлянин. Но это в данную минуту неважно. Важно установить, кто вы сейчас. Разрешите вам вручить приготовленный для вас паспорт. Вы можете здесь прочесть, что вы — Эдуард Эмильевич Шмитт, что вы занимаете довольно видное место в одном из госучреждений и что вам выдано командировочное свидетельство, коим вы командируетесь в разные города СССР, причем советские власти должны оказывать вам всяческое содействие. Итак, Эдуард Эмильевич, разрешите вас так и называть...

* * *

— Эдуард Эмильевич, Антон Антоныч! Милости просим...

И вот мы закусываем. Я даже выпил рюмку водки — жертвоприношение, которое совершаю в случаях совершенно исключительных. По виду — это та же самая «прозрачная, как слеза» русская водка. На вкус? На мой вкус та же дрянь, какая всегда была. Но от зиатоков позднее слышал, что хотя это, конечно, несравненная русская водка, которая превыше всех питий земных, но все же много хуже прежней.

Оно и понятно: «все, как было, только хуже...»

* * *

Я, конечно, набросился на икру. За пять лет я видел ее только однажды (в одном посольстве). Теперь бессовестно я пожирал «тысячу жизней» в каждом глотке. Что бы об этом сказали йоги? Осудили бы?

Нет, йоги не осуждают. Всему придет свое время, и когда-то так же невозможно будет есть икру, как сейчас невозможно есть человеческое мясо. А давно ли оно было любимым лакомством?

Так как русские — молодая раса, то не очень отдаленные мои предки были людоедами «по убеждению». Это несомненно. Не оттого ли в 1921 году во время голода на Волге съели стольких детей?

Было ли это? Я спросил.

Антон Антонович ответил, и пенсне его блеснуло точным блеском дипломатического монокля.

— Было. Вне всяких сомнений. Несколько миллионов умерло от голода. И тогда людей — ели... Это факт. Ведь тогда у нас был «военный коммунизм»...

* * *

Когда он сказал это слово, я впервые почувствовал его в том значении, какое оно сейчас имеет в СССР.

Военный коммунизм!.. Ужас, ушедший в прошлое, нечто реальное, как вчерашний день, но непредставляемое себе в будущем, вроде как потоп, море, землетрясение...

* * *

Но ведь, когда мы едим хлеб, мы тоже пожираем «тысячи жизней», т. е. зерен... И поэтому я ел прекрасную черную живительную икру (паюсную). Цена ей — три рубля фунт.

Затем?

Затем была осетрина, балык, грибки, семга и еще всякое такое — в истинно русском вкусе. Я был сыт, когда, собственно, начался обед. Это становилось грозным для моего европеизированного желудка.

Все же я рассказывал. По их желанию — «из жизни эмиграции».

Приближались праздники. Правда — по новому стилю.

— Нет, мы — по-старому!

А я-то думал, что только эмиграция «во всем мире» сохранила старый стиль.

Не все ли равно — старый, новый... Словом, я рассказывал то, что было год тому назад на святках. Я рисовал им большую, но бедную комнату, в которую парами под полонез входили русские мальчики и девочки. Девочки-институтки были в белых платьях, а мальчики-кадеты — в своей кадетской форме.

— В погонах?

— В погонах...

Прошли годы томительно и скучно,
И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь...

Вот это действительно единственное место в мире, где это сохранилось. Обломок старого. Все — такое же! Такие же русские дети, такие же русские подростки, такая же молодежь, какая была раньше. А в Белграде в русской церкви, которую мы недавно выстроили на свои русские деньги, стоят знамена... Семьдесят их. И при них всегда караул — офицерский. Днем и ночью. И вот они там стоят в полной форме своих старых полков...

* * *

Я постепенно увлекался. Имена великого князя Николая Николаевича, генерала Врангеля и другие имена слетали все громче. Иван Иваныч стал что-то напевать. Я продолжал говорить, а он продолжал напевать. И чем громче я говорил, тем громче он напевал. Наконец, я заметил какую-то мимику на его лице: он глазами указывал на закрытую дверь. Я замолчал. И он перестал свое «та-та-та-та».

Прошло несколько секунд. Он, улыбаясь, покачивал головой, как бы хотел сказать:

«Если вы так будете продолжать, то вы далеко зайдете, господин оттуда».

А я силился припомнить, какой это такой мотив он напевал, которым он хотел меня заглушить.

И, наконец, вспомнил. В это время он сказал:

— Н-да!

Но я уже вспомнил, что он такое пел, и тоже повторил:

— Н-да!!

Он сказал в снисходительное пояснение:

— Моя хозяйка хороший человек, но все же...

— Я кругом виноват... Простите.

— Ничего, сойдет! Я ведь вовремя запел!

— Да, запели... Но вот я хотел вас спросить, что вы запели?

— А что?

— А то, что это было вот что!

Я повторил мотив тихонько-тихонько. И все же он показался мне оглушительным. А он воскликнул:

— Не может быть!

— А вот представьте.

— Ах, черт меня возьми!..

А было это:

Царствуй на страх врага-ам,
Царь православный...

Невероятно, но факт.

* * *

Я пил портвейн с удовольствием. Ну что я поделаю! Никак из меня евразийца не выйдет. Водки не переношу. Из русских напитков люблю хохлацкие: вишневку, запеканку и всякое такое... Кацапской сивухи так же не переношу, как «украинского дегтя», которого не любил и Гоголь. А вот портвейн — пью. Ясно — западник презренный.

Это я, собственно, потому, что портвейн способствовал некоторой откровенности. Я спросил:

— Вы офицер?

— Ну а кто же? И люблю-с службу, скажу прямо!

— А как же вы дошли до «жизни такой»?

— До контрабанды? Самое благородное дело... И жена любит...

Она хотела возразить, но я сказал за нее:

— Воображаю!.. Сладко тут сидеть и дожидаться... «у занавески»!

— Ах, Господи,— сказала она.

Но он захохотал.

— Да, да, да, это мы знаем, конечно. Ну, а все-таки шелковые чулочки, пудру Коти и духи французские не без приятности-с «с той стороны» получаем!

— Да пропади они,— выговорила она.

— А что же? — зашептал он, потемнев.— В «таможенники» к этой сволочи идти, что ли?!

И его душевный облик стал мне ясен...

* * *

К концу вечера мы занялись «делом». Я спросил:

— Ну, а где я буду жить? Есть гостиницы тут у вас? То есть я не то хочу спросить: я могу в них останавливаться, в гостиницах, если они есть?

Антон Антоныч ответил мне, поблескивая «моноклем»:

— Да что вы, право, Эдуард Эмильевич!.. Какие вы вопросы задаете! Вы нас обижаете. Я уже имел честь вам докладывать, что эпоха военного коммунизма безвозвратно и бесповоротно проследовала в небытие. Есть гостиницы! И можно в них останавливаться... Можно останавливаться всякому гражданину, а тем более такому, как вы,— «ответственному работнику»... Не забывайте, кто вы такой, и держитесь с достоинством, с весом. В случае чего, ругайтесь, грозите, вспоминайте родителей. Имейте еще в виду, что коммунисты никогда своих партийных билетов не предъявляют. Поэтому вы свободно можете держать себя коммунистом. Пусть думают, что вы партиец! А если вы партиец, то, как говорят немцы, вам сам черт не брат... Перед вами дрожать должны, Эдуард Эмильевич!

Он продолжал в этом роде, стараясь вдолбить в меня, кто я и что я, отчество, название учреждения, напоминающее апокалипсическое существо, нелепо-безобразное, и мою в нем должность.

Последнее я могу сказать: я был заместителем председателя в одном госторге.

— Итак, Эдуард Эмильевич, за ваше счастливое путешествие и возвращение...

* * *

Мы поехали на вокзал в тот же вечер, втроем. На улицах светило электричество, и даже мчали автомобили, рыская фарами.

На вокзале носильщик (такой же, как раньше) ждал нас на ступеньках. Билетов уже, собственно говоря, достать было невозможно. Но для носильщиков, как известно, не существует препятствий: он получил пять целковых на чай и достал билеты в «мягком вагоне». Взял мои ничтожные чемоданчики и повел. Поезд уже стоял. Я почти не видел толпы, когда мы через нее протискивались. Мне было не жутко, но сверхъестественно-странно: как будто я попал не в воздух и не в воду, а в какую-то еще неизведанную стихию. Я не умел еще плавать, и меня вели. Я помню: эта стихия показалась мне тогда какой-то неуклюжеватой, грубовато-меховато-сапожно-валенчатой. ⟨...⟩

* * *

— Счастливого пути, до свидания!..

Сквозь стекла мелькнуло его лицо, обрисованное снизу шикарным кашне.

Значит, здесь можно хорошо одеваться?

Поезд тронулся. Я заметил, что без последнего звонка.

Антон Антоныч ехал со мною, и это весьма меня ободряло. Я был немножко как слепой.

Впрочем, у меня было достаточно зрения, чтобы видеть простые вещи. Я огляделся.

Это был самый настоящий, самый обыкновенный вагон второго класса, старый русский вагон. Это значит, что у каждого пассажира была длинная спальная скамья. Верхние полки уже были подняты, манили спать. В вагоне было чисто, освещение в порядке. Пришел проводник (плохо одетый и какой-то жалкий), пришел, взял билеты, чтобы, по старым русским порядкам, «не беспокоить пассажиров» ночью. Вместо билетов он выдал каждому квитанцию. Вагон нес мягко, неслышно. Было очень тепло, но не так ужасно, как бывает в иных европейских странах, когда вас предварительно заморозят, затем поджаривают. Словом, кроме проводника и кондуктора (он был такой же жалкий), видимо, придавленных социалистическим раем, вся «материальная сторона» поезда вернулась к старорусскому дореволюционному образцу...

«Все было, как раньше» и только чуточку похуже...

Я поскорее залез на верхнюю полку, ибо устал зверски, а кроме того, мне не очень хотелось, чтобы меня разглядывали спутники по купе. Уютно растянувшись, я почувствовал прилив национальной гордости.

Нигде в целой Европе вы не найдете такой роскоши или, вернее сказать, милосердия к пассажирам, как в России. В любой стране в Европе меня бы подвергли китайской пытке теснотой и бессонницей, засунув восемь пассажиров в купе, где русские помещают по четыре. Вот она, широкая русская натура... И я растянулся во весь рост и блаженствовал, покачиваясь чуть-чуть на мягких, убаюкивающих рессорах.

Хорошую закваску дала царская Россия железным дорогам, и ее традиции свято восстановил СССР.

Засыпая, я слышал, как колеса пульмановского вагона мягко выстукивали: «Отречемся от старого мира...» И иногда мне казалось, что «некто в ироническом», быть может, это был Антон Антоныч или его монокль, беззвучно смеялся...

Антон Антоныч

Когда я проснулся, уже день заглядывал в окно. Не слезая с верхней полки, лежа, рассматривал я однообразный, столь знакомый русский пейзаж. Снег. Необозримые пространства снега. Они прерываются лесами: лес еловый, лес березовый, лес сосновый... Жилья мало. Но, словом, что это расписывать? Всякий русский знает, кроме тех маленьких русских, которые не знали или забыли. Но им ведь словами не расскажешь. Вырастут — увидят сами.

Но у меня в сердце щемило какой-то старой болью, как бывает, когда вспомнишь что-нибудь очень, очень давнее. 〈...〉

* * *

Мы вернулись в купе после кофе и оказались вдвоем. Ничего не могло быть приятнее для меня. Во-первых, в смысле безопасности, а во-вторых, потому что железнодорожное купе, в котором только двое, всегда как-то располагает к разговору. Колеса ли так действуют, выстукивая свою мелодию? В наших же условиях действовало сознание замкнутости с четырех сторон, а следовательно, уверенности, что тебя не подслушивают.

Разговор и завязался.

Антон Антоныч сказал:

— Эдуард Эмильевич. Если я позволил себе предложить вам ехать в Киев, то это не потому, что я бы не сознавал, что именно в Киеве вам грозит наибольшая опасность. Я уже имел честь вам докладывать, что знавал вас некогда лично...

Было бы в самый раз спросить: «Да кто же вы такой, Антон Антоныч?» Но я не спросил. Это у меня было твердо решено: ничего не спрашивать.

Я обратился к людям с просьбой помочь мне. Они согласились, помогли мне перейти границу и, по-видимому, намеревались помогать и еще в чем-то дальнейшем. За это я был им глубоко признателен. Разумеется, при скользкости всего предприятия мне предоставлялось вечно сомневаться: а не попал ли я в руки ловких агентов ГПУ? Подозревать всех и вся — мое право и даже в некотором роде обязанность. Но приставать с расспросами было бессмысленно со всех точек зрения. Если я имел дело с провокаторами, то вряд ли вопросами я их бы расшифровал. Пожалуй, здесь могло бы помочь только сосредоточенное внимание. Если же я имел дело с честными контрабандистами, то лезть в тайны людей, оказывавших мне величайшую услугу, я считал бы безобразным. Деликатность была единственной благодарностью, которую я мог бы заплатить за то, что они для меня делали. До

сих пор все было безоблачно. Дыхания предательства я не ощущал. Наоборот, от всех моих новых друзей шли хорошие токи.

Антон Антоныч продолжал:

— Именно по этой причине, то есть потому, что я имел честь вас знать, мне и было поручено, так сказать, ну, словом, помочь вам на первых шагах в этой стране...

— Позвольте вас очень благодарить и простите за многообразные хлопоты, которые я вам причиняю...

— Нет. Вы меня не так поняли. Я сам предложил себя, и это доставляет мне положительное удовольствие. Но... но, кроме удовольствия, есть ответственность... И ответственность тяжелая. Если бы с вами что-нибудь у нас случилось, кто прежде всего виноват? Я! И потому... потому я вздохну облегченно, Эдуард Эмильевич, я почувствую себя счастливым в ту минуту, когда... когда мы с вами благополучно расстанемся!

Я рассмеялся и пожал ему руку.

Он продолжал:

— И я очень понимаю, что Киев для вас опасен. Хотя вы прекрасно загримированы, прекрасно, но все же... И если я предложил вам ехать в Киев, то потому, что был уверен, что ваши дела именно этого требуют. Не так ли?

— Не совсем.

— Как так? Разве не около Киева вы должны искать вашего сына?

— Нет.

— Но почему же в таком случае?..

— Потому что вы, между прочим, обмолвились, что у вас есть спешные дела в Киеве. Это во-первых. А во-вторых, потому, что если представляется случай посмотреть Киев, то, согласитесь, было бы непростительно им не воспользоваться...

* * *

Итак, мы ехали в Киев вследствие некоторого «недоразумения». Уж, видно, такова была моя судьба.

Разговор продолжался. Антон Антонович говорил:

— Мне дана директива сделать для вас все возможное. Конечно, мы только контрабандисты, но именно поэтому у нас есть немножко связей повсюду. В каком бы городе ни находился ваш сын, мы поможем вам его разыскать. Значит, условимся так. Я кончу свои дела в Киеве, вы в это время посмотрите, что вас интересует, и затем мы двинемся дальше, в зависимости от обстоятельств. Хорошо?

— Прекрасно. Я не знаю, как вас благодарить.

— Эдуард Эмильевич... Во-первых, друзья наших друзей — наши друзья... А во-вторых, разве потому, что мы контрабандисты, мы уже все забыли? Допустим, мы не занимаемся политикой. Но ведь это не значит, что мы ею не интересуемся. Наоборот, так как наши занятия позволяют нам читать газеты и журналы «оттуда», то мы, пожалуй, из всех обитателей СССР, если не считать ГПУ,— самые осведомленные люди. Мы очень хорошо представляем себе, что у вас делается в эмиграции. И относительно почти всех видных лиц у нас есть свое собственное, сложившееся мнение...

— Вы меня в высшей степени заинтересовали. И если вы затронули этот вопрос, позвольте вам поставить вопрос в упор: за что вы нас больше всего ругаете?

Он улыбнулся.

— За что мы вас ругаем? Да, ругаем!.. Это правда. Видите, мы не можем понять: каким образом вы можете между собой ссориться из-за пустяков? Все вопросы, которые разделяют эмиграцию, с нашей точки зрения, мелки. Есть один только большой вопрос: это «они». Большевистская власть, коммунисты, советское правительство. Этот великий вопрос

состоит в том, слетят они или нет? И даже не в этом, ибо мы убеждены, что они слетят, а в том, когда они слетят. Впрочем, и это будет неточность. Вопрос состоит в том, какими способами и какими силами произойдет их свержение. И нам кажется здесь, что все те, кто против них, должны были бы быть скованными в нечто единое... То, что эмиграцию могли разделить какие-то второстепенные вопросы в то время, как не решен главный, то, что вы делите шкуру неубитого медведя, одновременно ничего не делая, чтобы его убить, вот за это мы вас ругаем...

— В этом, значит, мы с вами солидарны... Некоторые из нас неповинны в узком сектантстве и интригах...

— Это мы знаем. Мы знаем, что есть люди среди эмиграции, которые стараются стоять в стороне от этих распрей... Но позвольте вас просить заплатить откровенностью за откровенность: а вы за что нас ругаете?

— За что мы вас ругаем? Позвольте в таком случае уточнить: кто это такое — вы? Вы — это весь русский народ, который не эмигрировал, который остался... Который после всех потерь все-таки насчитывает сто миллионов с десяточками миллионов же. Вот этот русский народ мы подразумеваем, когда говорим «вы». Мы его ругаем за то, что он безмолвствует, за то, что он покорился, за то, что он не борется. До нас доходят сведения, что будто бы весь народ ненавидит свою власть. Если бы это имело место в Англии, Франции, Германии, Италии и даже в маленьких государствах Европы, такая власть не усидела бы и трех дней. В России же всеми ненавидимая власть преблагополучно сидит годы. Как это понимать? Или же это неправда то, что нам говорят, и всеобщей ненависти нет...

— Нет, это правда. Если не считать самих коммунистов, которых нет и процента, то все остальное эту власть ненавидит...

— Ну, а если это так, если это правда, то, значит, народ сей никчемный. За это мы его и ругаем. Как? Без конца сидеть в этом позорном рабстве и не шевельнуть пальцем для своего освобождения! Мы, белые, мы хотя и плохо, захлебнувшись в своих собственных недостатках, мы все же боролись. И потому, если хотите, мы имеем некоторое моральное право ругать тех, кто не борется. По крайней мере, я хочу сказать, что еще недавно именно такой была эмиграционная точка зрения. Конечно, люди более тонкие, более вдумчивые приводят всякие смягчающие обстоятельства. Они говорят о том, что англичане, французы, немцы, такие, какие они сейчас есть,— суть продукт долголетнего самоуправления, привычки к ответственности за свою родину, за свои государственные и политические дела. У нас же население совершенно не было к этому приучено, все делалось на верхах. А потому как требовать от масс гражданственности? Она не является в течение нескольких лет, а воспитывается веками. Это, конечно, так, но все же факт остается фактом. В этом народе, пусть привыкшем, что все за него делает начальство, все же, когда старое начальство слетело и когда новое начальство оскорбило его в самых его лучших чувствах, нашлась некоторая группа, которая не стерпела оскорбления и взялась за оружие. Эта группа — были мы, белые... Но с тех пор, как мы ушли, по-видимому, все, что способно было оскорбляться, возмущаться и действовать, исчерпано, а то, что осталось, покорствует. Вот за это мы вас и ругаем...

Антон Антоныч ответил не сразу. Он как будто искал в самом себе что-то такое, что могло бы быть ответом, а может быть, искал того спокойствия, которого этот ответ требовал. Наконец он сказал:

— Мы очень хорошо знаем, что вы нас за это ругаете. Я вам очень благодарен, что вы это сказали так прямо. Это не значит, что мы относимся к этому спокойно. Отношение к нам эмиграции в высшей степени для нас болезненно. Но справедливо ли оно? И может ли эмиграция, которая так страшно далека от нас, как будто бы живет на луне, имеет ли право эмиграция так о нас судить? Знаете ли вы, да вы, конечно, это знаете, что за исключением князя Долгорукова, добравшегося, впрочем, только до пограничной станции, вы первый

из числа тех лиц, которыми руководится общественное мнение русской эмиграции, кто приехал к нам? Вы вот давеча сказали: «Не знаю, как вас благодарить». Не надо благодарить, Эдуард Эмильевич. Ваша благодарность состоит в том, что вы решились к нам пробраться... У нас тяжело, очень тяжело. И вот за то, что мы переживаем, за те действительно трудные условия, в которых нам приходится действовать, нас же у вас обвиняют... Обвиняют и оскорбляют тех, кто не может защищаться... Не может подать голоса. Ведь положение таково. Допустим, кто-нибудь из нас перешел бы тайно границу и появился бы там у вас, в Берлине, в Париже, Белграде и рассказал бы все, что у нас делается, рассказал бы, так сказать, как мы живем и работаем. Ведь ему не поверят. Ведь установился такой странный взгляд: если кому-нибудь из заявляющих себя против большевиков что-нибудь удается, то, значит, это провокатор. Если бы, мол, не был провокатором, то давно бы его большевики поймали. Ведь скажите, правда есть такое представление?

— Есть. Не отрицаю. Мы ужасно недоверчивы и полагаем, что если кто-нибудь здесь плавает, то, наверное, как-то «приспособляется»...

— Ну вот видите... Следовательно, каким же способом и средствами мы располагаем, чтобы осветить эмиграции я не говорю политическую работу, допустим, мы ее не ведем, а честно занимаемся одной контрабандой, но осветить хотя бы причины, почему же мы эту политическую работу не ведем. И если мы ее не ведем, то значит ли, что над русским народом нужно поставить крест? И вот почему мы с величайшей готовностью решили вам помочь, когда мы узнали, что вы хотите сюда приехать. Пусть причины вашего приезда совершенно личные. Но, пожив у нас некоторое время, вы вынесете отсюда известные впечатления, которые, вернувшись туда, вы передадите своим, и ваше слово, может быть, будет для них гораздо ближе и понятнее, ибо вы сами пришли оттуда и эмиграционная психология вам совершенно близка и понятна. А ведь, Эдуард Эмильевич, посудите сами, вот вы говорили о французах, англичанах, немцах... Но можете ли вы себе представить, чтобы из двух миллионов бежавших из Англии англичан никто, или почти никто, в течение ряда лет не потрудился пробраться обратно посмотреть, что делается с его родиной? Но ведь именно так поступает русская эмиграция! А потому, если судить по внешности, то, пожалуй, можно сделать вывод, что хотя белое движение и вобрало в себя все энергичнейшее, что было в русском народе, но в жестокой борьбе оно себя исчерпало и ныне находится в состоянии расслабленности.

— Да, вы правы. Если судить по внешности, так оно и есть. Но по существу — это не так.

— Да, по существу это не так, и мы прекрасно это знаем. Мы знаем, например, что у вас существует галлиполийская организация, которой вы гордитесь, и мы понимаем, за что вы ею гордитесь. Вы ею гордитесь за то, что, ввергнутые в самые тяжкие условия существования, люди не опустились морально, что ни сидение в палатках, ни тяжелая борьба за существование, за кусок хлеба не заставили их забыть основной идеи: о борьбе за Россию. Вы уважаете их за то, что они не только не растеряли своей военной организации, но, наоборот, улучшили ее, подтянули, очистили и приспособили к новым условиям жизни. Вы уважаете их за то, что они стали «спинным хребтом» военных кадров, руководимых генералом Врангелем, а сам генерал Врангель есть великолепный образец стойкости, выносливости и организаторского таланта. Но позвольте вас спросить: если судить по внешности, если судить о действиях с точки зрения непосредственного внешнего эффекта, то что вы делаете?

— Ничего. Мы ждем, весь наш смысл, т. е. весь смысл нашего существования — быть готовыми, когда наступит минута. Что делают войска, находящиеся в тылу? Чистятся, скребутся, поправляются, чинятся... Если при этом они сохраняют строжайшую дисциплину, то это все, что от них можно требовать. Не дай Бог, когда они начинают воевать в тылу. Тыловые герои — это бедствие!

— Совершенно верно. Итак, вы видите свой подвиг в том, что вы сохраняете себя для действий. Для действий, которые когда-то наступят. Но почему же, если вы так хорошо понимаете это для себя, то почему вы не прикладываете этой же мерки к остальному русскому народу?

— Как так? Скажите яснее.

— Эдуард Эмильевич. Вот вы — белые или, скажем, мы — белые боролись. Боролись, скажем, героически, до последних сил. Но проиграли. Ведь проиграли, Эдуард Эмильевич?

— Это как сказать. В борьбе оружием мы проиграли. В борьбе идей мы не проиграли. Во всяком случае, мы свою идею вынесли из боя, сохранили. ⟨...⟩

— Совершенно верно. Но почему же вы полагаете, что ваши эманации, как вы их называете, действуют только на пространстве Западной Европы и не действуют в России, не действуют на вашей родине? Может быть, и у нас происходит то же самое?

— Но позвольте, если бы происходило то же самое, то от этого было бы какое-нибудь движение воды, ну, хотя бы круги расходились бы.

Он улыбнулся очень тонко, так, как мне нравилось.

И вдруг в эту минуту я сразу почувствовал, что стена, нас отделявшая, рухнула: он еще ничего не сказал, но я уже знал, что ко всему, что он будет говорить, к этому я уже совершенно готов, только что он, благодаря тому, что он здесь, в России, прошел куда-то дальше, ну, в следующий класс, что ли.

— Вы говорите, было бы движение воды. Ах, Эдуард Эмильевич, плоха та подводная лодка, о движении которой можно было бы узнать потому, что она дает след на поверхности. Грош ей цена, и неприятельского броненосца она не взорвет. Дело не в движении воды.

— Я понимаю, вы хотите сказать, что дело во внутренних процессах.

— Да. Дело во внутренних процессах. Вот вы боролись открыто, оружием. Проиграли. Я знаю вашу точку зрения, читал «1920 год». Вы полагаете, что белые не выигрывали потому, что они на самом деле были не белые, а «серые». Так это или нет, но, во всяком случае, была какая-то причина, почему вы проиграли. А раз проиграли, то к этим способам борьбы до времени возвращаться было нельзя.

— А что же надо было?

— Что надо было? Вот скажите, как вы находите вот это купе, вот этот вагон, который, неправда ли, несет довольно мягко?..

— Очень хорошо несет, разговаривать прекрасно...

— Да, разговаривать прекрасно. И не думаете ли вы, что это само по себе уже нечто. Вряд ли несколько лет тому назад это было бы возможно. Так вот я хочу сказать, это восстановление железных дорог, которое, я думаю, не ускользнуло от вашего внимания,— это плюс или минус для России?

— Это один из проклятых вопросов, Антон Антоныч. Это все равно, как во время голода, ужасного голода 1921 года, двоилось эмигрантское чувство. С одной стороны, конечно, это был ужас, ибо умирали миллионы русских людей, а с другой стороны, это сулило будто какую-то надежду: думалось, авось этот ужасный голод сковырнет коммунистов.

— Но не сковырнул же, Эдуард Эмильевич?

— Не сковырнул. Но старая формула, которую я еще в 1905 году слышал от деятелей «освободительного движения» в отношении старой власти; «чем хуже, тем лучше» — была у многих на устах в эмиграции.

— Ужасная формула, Эдуард Эмильевич.

— Ужасная. Я ненавидел ее в 1905 году, и, признаюсь, меня мороз по коже продирал, когда ее, нимало не смущаясь, повторяли в 1921 году. Но какая может быть другая?..

— Другая может быть: «чем лучше — тем хуже...»

— Ну да, но ведь это же безвыходность!

— Нет. Чем лучше — тем хуже... для советской власти!

— Это каким образом?

— А вот каким. Вы должны помнить, Эдуард Эмильевич, те времена, ибо вы полгода жили под большевиками в 1920 году, когда, можно сказать, русский народ приближался к самой низкой ступени своего материального существования. Кто тогда думал, скажите, пожалуйста, о чем-либо, кроме спасения жизни? Заботы о самом необходимом, то есть об элементарной безопасности от набегов ЧК и о том, чтобы не умереть с голоду, поглощали всю психику. Не оставалось ровно ничего для борьбы. Если вы, белые, боролись, то только потому, что вам были обеспечены эти первичные необходимости.

— Это так. Но какой вы делаете вывод?

— Очень простой. Теория — будто бы революцию делают голодные — неправильна, ее нужно сдать в архив. Революцию делают сытые, если им два дня не дать есть.. Таковая была февральская революция в Петрограде в 1917 году. Два дня не стало хлеба — и упала царская власть... Но если людям не давать два месяца есть, то они бунтовать не будут: они будут лежать при дорогах обессиленными скелетами и, протягивая руки, молить о хлебе. Или же есть друг друга будут. Я ведь рассказываю не теорию, а то, что было на самом деле, как вам известно.

— Ну да, но что вы хотите сказать?

— Я хочу сказать, что когда вы, белые, ушли и вооруженная борьба кончилась, то вся Россия представляла из себя огромное поле вот таких ползающих людей, полускелетов, думающих только о двух вещах: как бы их не сволокли в ЧК и как бы раздобыться чем-нибудь покушать.

— И выводы?

— И вывод был тот, что если бы кто-нибудь задался целью из этой массы опять сделать нечто, что опять могло бы сопротивляться, то прежде всего и какой бы то ни было ценой надо было восстановить жизнь. Надо было, чтобы люди ели, чтобы у них были дрова, чтобы у них были квартиры, чтобы у них были железные дороги, чтобы вновь пошли фабрики, чтобы вновь заторговали магазины, а чтобы все это могло случиться, надо было, чтобы мужик опять взялся за плуг и за борону. Это была задача неотложнейшая и в ту минуту единственная. Ибо без исполнения этой задачи все было бы ни к чему, так как продолжалось бы физическое и моральное уничтожение русского народа. Вы согласны со мной?

— Согласен. Ну, что дальше?

— А дальше то, что как только коммунисты, упершись лбом в стенку, увидели, что больше идти некуда, и повернули обратно, а это, как вам известно, выразилось в декретировании Лениным нэпа, то все, кто это понял, сознательно, а огромные миллионы людей бессознательно бросились выжимать из нэпа спасение своей страны!

— И этим вы сейчас заняты?

— И этим мы сейчас заняты. И верьте мне, Эдуард Эмильевич, нет задачи важнее. Ибо с возрождением страны возвращаются все возможности. Вот хотя бы контрабанда. Не будь нэпа, нельзя было бы торговать. Не будь торговли, незачем было бы возить контрабанду... А если бы мы не возили контрабанду, то я не имел бы сейчас удовольствия беседовать с вами в сем уютном купе... и... предложить вам пообедать на этой большой станции, где мы будем сидеть часа четыре!

* * *

Мы обедали. Большая станция клокотала человеческим потоком. Мои ощущения двоились между наблюдением за всеми теми лицами, которые попадали ко мне поближе, в том смысле, не узнаю ли я их и не узнают ли они меня, и наблюдениями, так сказать, общего характера. Наблюдения первого рода скоро меня утомили, а вернее, я почувствовал

свою мимикричиость. Никакого особого виимания я ие возбуждал, совершеиио затеривался в этой толпе, и иа лбу, очевидио, у меия ие было клейма — Берлии, Париж, Белград. Кроме того, со миой был Аитои Аитоиыч, который в высшей степеии виимательио обозревал окрестиости и взгляд которого был гораздо более действительиым, ибо ои зиал, кого иадо бояться. Поэтому через короткое время я почти позабыл о своем собствеииом положеиии и предался иаблюдеииям иад виешиим миром.

Виешиий мир этой стаиции как бы делился иа две половииы. Одиа половииа сидела по скамьям и стояла толпой и была больше и гуще, ие имела чемодаиов, а все больше узлы. Что касается одежды, то там все были кожухи, а иа голове «фииские» шапки. Впрочем, миого было и «шлемов».

Вторая половииа расселась около столов, обедала или пила чай. Была оиа ие такая густая, хотя миогочислеииая, все столы заияты, получше одетая и вещи более показиые.

В этой половиие, очевидио высыпавшей из «мягких вагоиов», и мы примостились иа углу стола. Обедали с аппетитом. Настоящий русский борщ с хорошим куском мяса. И потом второе, какое-то очеиь сытиое. Потом пили чай, а мие захотелось шоколаду, по заграиичиой привычке. Я встал и подошел к стойке. Но, подойдя, меия вдруг взяло сомиеиие: «А есть ли в этой страие шоколад?» И ие выдам ли я таким вопросом сразу свое заграиичиое происхождеиие? Буфетчик мигнет куда-то глазом, подойдет «иекто в чекистском», и ои ему скажет: «Вот шоколад спрашивает». И коичеио. Чекист меия цап-царап, и я иичего уже ие расскажу своим заграиичиым друзьям о вкусиом борще и телятиие.

И, вериувшись к Аитоиу Аитоиычу, я спросил коиспиративио:

— А у вас есть тут шоколад? Можио спросить?

Ои рассмеялся, подвел меия к стойке и показал в стекляииом шкафчике разиых сортов плитки.

— Вы еще раз иас обижаете, Эдуард Эмильевич. Вы забываете, что эпоха воеииого коммуиизма каиула в Лету.

* * *

Толпа, обедавшая за столами, быстро схлыиула со вторым звоиком, и мы остались почти одии в зале. Только дети буфетчика бегали между столами, играя. Впрочем, за соседиим столом осталась какая-то физиоиомия, которая мие очеиь ие иравилась: он пялил иа иас глаза. Но через иекоторое время дело выясиилось: ему иадо было что-то спросить. Насчет поезда или чего-то такого. Получив ответ от Аитоиа Аитоиыча, ои поспешио ушел, и мы остались совсем одии, если ие считать бегающих, прыгающих и пищащих детей, которые заигрывали и с двумя дядями, т. е. с иами.

Под этот писк продолжался иаш разговор, который, впрочем, стал более выразительиым, когда, иаскучив сидеть, мы стали гулять по стаиции. Но иа перроие было очень холодио, дул иеприятиый ветер, сиежиики кружились бешеио около электрических фоиарей. Мы вериулись виутрь и долго ходили взад и вперед в том большом отделеиии, где прииимается багаж и где сейчас было совсем пусто. Впрочем, ие совсем: время от времеии проходили в одииочку и группами люди в воеииой форме. Я спросил Аитоиа Аитоиыча, кто это такие. Ои ие ответил, ио взял меня под руку и повел в конец этой залы, где иа одиой двери я прочел: отделеиие ГПУ. Сквозь раскрытую дверь виднелись такие же точно личности, какие шмыгали мимо иас. Оии сидели иа стульях и столах.

В этом приятиом соседстве продолжался иаш оживлеииый разговор. Геписты ие обращали иа иас ровио иикакого виимаиия, очевидио полагая, что ие стали бы подозрительиые люди лезть в самое осииое гиездо.

Аитои Аитоиыч говорил:

— Я ие хочу предвосхищать ваши впечатлеиия. Вы увидите сами. Но могу только

сказать, что за это время сделана гигантская работа. Жизнь в ее основах восстановлена. Кем, кто это сделал? Коммунисты? Да, постольку, поскольку мы этим обязаны просветлению Ленина, крикнувшего на всю Россию: «Назад!» Назад от пропасти, в которую они мчались на всех парах на коне военного коммунизма. Да, мы обязаны им, поскольку они принятое решение проводят с железной последовательностью. Назад так назад! В этом сказывается их большевизм, то есть то положительное, что есть в этой породе. Решимость, воля, сила... Но этим все дело и кончается. Они никогда не могли бы восстановить России, если бы к этому делу не примкнули мы. Вот те самые, которых вы браните «приспособившимися». Мы, приспособившиеся, и вывозим свою родину. Мы ее восстанавливаем и будем восстанавливать до той поры, пока пробьет час. Если бы вы были на нашем месте, вы бы делали то же самое. Мы не имеем возможности ругать коммунистов и изобличать их словесно. Это ваше дело. Дело эмиграции. Но мы имеем возможность подтачивать их. Мы имеем возможность накапливать реальную русскую силу, которая в один прекрасный день обратится против них. И это наше дело. Вам совершенно необходимо понять, что между этими двумя половинками, между эмиграцией и оставшимися, не может быть, не должно быть никакого противоположения. Мы делаем совершенно одно и то же дело. Ведь, скажем, у Форда один завод делает кузов, а другой моторы, а все вместе они делают автомобиль. Это есть разделение труда, вызванное различием обстоятельств. Преступно на этой почве создавать какой-нибудь антагонизм, преступно упрекать друг друга, наоборот, надо ясно и отчетливо понять: «непримиримая эмиграция» есть только свободный язык «приспособившихся». А приспособившиеся — это те руки, которые втихомолку подготовляют то, о чем твердит свободный язык, который, благодаря тому, что он находится в эмиграции, ГПУ не может вырвать.

Без конца струился этот разговор, я не могу его в точности вспомнить и записать, ибо он переплетается в моих мыслях с многочисленными дальнейшими беседами. Геписты все ходили мимо нас, а мы — мимо их. Мирно «приспособившись» друг к другу, два мира сосуществовали в ближайшем соседстве... Посмотреть со стороны — ничего не могло бы указать, какая пропасть нас отделяет и какие последствия, неизбежные последствия вытекут когда-то из психики людей, живущих бок о бок.

Наконец, пробежало «четыре часа», надо было ехать дальше. Мы сели в новый поезд, который, впрочем, был такой же, как тот, прежний. Опять на ночь проводник отобрал у нас билеты, выдал квитанции, опять я забился на верхнюю полку. Внизу была какая-то русская супружеская парочка и одинокая молодая еврейка. Еврейка очень жеманилась «под русскую», а русские оказывали ей некоторые любезные услуги. Минутами «он» обращался к еврейке, говорил чуть с легким акцентом. Она его не замечала, а мне сверху было иногда так смешно, что я тряс полку, пока не заснул.

Антон Антоныч на сей раз расположился в соседнем купе.

* * *

Ранним, ранним утром пришлось встать — мы подходили к Киеву. Поезд двигался крайне медленно и осторожно по железнодорожному мосту через Днепр, но, увы, решительно ничего не было видно, сколько я ни всматривался в темноту ночи, закрываясь от света вагона.

Антон Антоныч сказал мне в коридоре:

— Эдуард Эмильевич, итак, на киевском вокзале мы временно с вами расстаемся. Так надо безопасности ради. Вы, значит, выходите и затем отправляйтесь смело в город и найдите себе гостиницу. Выбирайте гостиницу похуже. Если у вас ничего нет в виду (я рассмеялся: что у меня могло быть в виду?), то разрешите вам посоветовать (он назвал гостиницу). Но если вы там не найдете номера, идите в другую, любую.

Документ у вас превосходный, и, насколько простирается наше предвидение, вы ничем не рискуете. Конечно, все в руце Божией, но по человечеству сделано все для безопасности. Затем мы с вами увидимся завтра вечером. Я не приглашаю вас к себе — это было бы неблагоразумно, мы встретимся на улице в шесть часов вечера, когда уже будет темно. На случай, если бы за это время что-нибудь случилось и вы чувствовали бы за собой слежку, вы дадите мне знак, и я не подойду к вам. В этом случае вы, увидевши меня, просто уходите куда глаза глядят, преимущественно в пустынные места, я пойду за вами и выслежу, что такое происходит. В дальнейшем будем действовать по обстоятельствам, но я убежден, что при вашей опытности (я поклонился) ничего плохого не произойдет. До свидания, дай Боже...

Киев

Это было раннее утро — нового стиля 25 декабря. Я ждал на вокзале. На знакомом киевском вокзале — дрянном киевском вокзале. Нового так и не успели выстроить до войны, а во время войны — и тем более. А старый был уже совершенно невозможен — такой тесный. И вот сделали этот — «временный»... Как все временное в России (за исключением «временного правительства» Львова — Керенского), он простоял уже бесчисленное число лет и вот еще стоит...

* * *

Я ждал, напрасно стремясь завладеть кусочком стола, чтобы спокойно выпить чаю. Стакан чаю и «плюшку». За то и другое я заплатил 25 копеек у буфетной стойки. На стойке красовался исполинский самовар. Самовар блестел великолепно. Блестели также и новые советские монеты. Деньги с одной стороны до удивительности похожи на старые. Но на обороте какой-то серпомолотный вздор.

Как красив советский герб:
Молот в нем и в нем же серп...

Продолжения не привожу, ибо нецензурно. Такова Россия. И новая, как и старая, она без заборной литературы жить не может.

* * *

Я стоял со стаканом в руках среди человеческой толкучки. Прежде всего меня интересовало, конечно, привлекает ли мой вид чье-либо внимание. Нет, не слишком. Я чувствовал, что я еврей, немножко demodé *, но вполне возможный: так — из Гомель-Гомеля или Шклова. Седая борода чуть-чуть отдавала гримом, но только для тонкого наблюдателя. Ведь в конце концов она же, борода, была моя собственная, а не приставная!.. Во всяком случае, эти люди могли иметь ощущение, что я откуда-то приехал (из глуши какой-нибудь), но что я «эмигрант» — нет; все, что угодно, но только не это!.. Они были за сто тысяч верст от этой мысли. Если бы я подошел к кому-нибудь и сказал: «Знаете, кто я? Я — бывший редактор «Киевлянина», помните?» — то этот человек, хотя бы он помнил «Киевлянина» и даже знал меня лично, все-таки шарахнулся бы от меня, приняв за сумасшедшего... Да, чистая правда иногда невероятнее самой грубой лжи.

Ощутив некоторую безопасность, я мог рассматривать толпу. Она в общем производила на меня впечатление чуть-чуть «эскимосской». Преобладала меховая шапка с наушниками.

* Старомодный (*фр.*).

Но на этом фоне были и всякие иные: барашковая, серые и черные, кепи, фуражки. Совсем не было видно мягких шляп. Одна фуражка заставила меня, можно сказать, вздрогнуть: до того она была старорежимная. Это была путейская фуражка. В одежде преобладал, пожалуй, кожух, романовский полушубок. Но были и всякого другого рода «шубы». Все это было на вид грубовато, но, очевидно,— тепло. Терпко, но не рвано-драно, как было в 1920 году. Защитного цвета, который своей безотрадностью заливал тогда вся и все, сейчас не наблюдалось вовсе. Время от времени проходили некие фигуры, очевидно, военные. Одни из них были в «буденовках» (шлемах), другие в кубанках. Эти были одеты вроде как наши солдаты, но без погон. Я скоро понял, что которые «в кубанках» — это современные станционные жандармы. Они не обращали на меня ровно никакого внимания. Впрочем, сыщики-то, конечно, не в форме. Но кого они могут искать? Меня? Это могло бы быть только в одном случае: если бы меня выдали мои друзья-контрабандисты. Для такой мысли у меня не было ровно никаких оснований. Наоборот, я был в них совершенно уверен. И потому для меня в настоящую минуту была бы опасна только какая-нибудь ясновидящая, которая, подняв на меня вещие глаза, закричала бы гласом Виевым: «Вот он!» До встречи с таковой я охраняюсь заколдованным кругом «авидин». Слово йогическое, санскритское,— значит «неведение»...

Может быть, невидимый «йог» и держал меня за руку...

* * *

«Немножко смешной» старый еврей, который сохранил старозаветную бороду, когда все побрились, в коротком «полупальто», какие носят спекулянты, в штанах «полосочкой», когда все носят «галифе», стоит и пьет чай себе... А ушки из сапог торчат себе.

— Этот? Да не валяй дурака — так сказала бы одна кубанка другой, если бы «другая» меня заподозрила...

«Еврей» достал себе место, сел к столу. За столами — чисто. Даже скатерти белые. Вообще — чисто, насколько здесь может быть чисто. Да, это совсем не то, что было «тогда», т. е. в дни «интегрального коммунизма»... И хотя людей очень много, но не толкают и не грубят. Если толкают, то говорят: «Извиняюсь, гражданин».

«Товарищ», видимо, исчез из обращения. Но неужели с «товариществом» исчезло и хамство?

Тесно, но порядок. Конечно, не тот порядок, который царит в странах «порядочных» par excellence *. Например, скажем, в Германии. Но это порядок, приближающийся к старорусскому, времен золотого века, то есть до революции.

«Все, как было, только хуже...»

* * *

В каком это классе я сижу? Впрочем, здесь не может быть «классов». Ведь нельзя же написать в самом деле на дверях: «Буфет для мягких» или «Столовая для жестких». Да, нельзя, но публика сама как-то отбирается. Я начинаю различать какие-то два отделения — для «чистых» и «нечистых». При всей эскимосскости окружающей меня стихии я чувствую, что она все-таки «отборная» — тут, около столов, накрытых белыми скатертями. Впрочем, это видно и по лицам.

Лица? Я ничего до сих пор не сказал о лицах.

Какие у них лица?

Боже мой, теперь, когда я это пишу, они уже слились в какой-то общий фон. Я не

* В высшей степени (*фр.*).

помню отдельных лиц. Но общее впечатление: низовое русское лицо, утонченное «прожидью».

Объяснюсь яснее. Тонких русских лиц здесь почти нет. Если лицо тонкое, то оно почти всегда — еврейское.

* * *

Конечно, в этом вопросе важно «не пересолить». Тонких русских лиц всегда было маловато. Я хочу сказать: тонких тонкостью черт. Процент таких лиц был у нас всегда незначителен сравнительно с Европой.

Но в России была другая тонкость — не чертами лица. Тонкие черты лица указывают на старую культуру — это заслуги предков. Этого в России было мало. В России начинал образовываться порядочный слой тонкости благоприобретенной. Это интеллигентные лица — тонкие своим выражением. Это люди одного, двух, трех поколений усиленной культуры. Черты лица у таких не могли сложиться в тонкость, это требует веков, но сложилась тонкость взгляда, улыбки. Эти русские лица так легко выделяются и в эмиграции. Они именно и служат характерным признаком русского лица. Русская эмиграция не принесла никакого определенного типа. Черты наших лиц подойдут под всякое «неправильное» лицо всякой нации. Но выражение этого русского лица, «сложность» его, взгляд, который способен если не «все простить», то «все понять», резко выделяют русских из среды заграничных лиц, которые, поражая иногда благородством своих вековых очертаний, все же кроме себя самих ничего «понять» не могут.

Русское интеллигентное лицо — это синтез быстро усвоенной культуры, и притом культуры многих народов. Оттого оно такое сложное и часто так мучительно противоречивое...

Вот этого рода тонких русских лиц не видно за столами.

Что же видно?

Там, где столов нет, то есть где отделение «для нечистых», там — чистый «низ». Нечто хохлацкое, своеобразно красивое. Если бы они не боялись «кубанок», они лузгали бы семечки.

Здесь, за столами,— мещанство. Низ, стремящийся кверху. Через два-три поколения, если их не вырежут какие-нибудь «хищники», из этого городского примитива образуется вновь слой интеллигенции, тонкий своей сложностью, своей «благоприобретенно» воспринятой культурой.

Но «тонких черт лица» все же не будет. Неумолимая история наша не дает отстояться вековому отбору. Рок постоянно скусывает русскую верхушку, и массе каждый раз снова приходится лихорадочно ее вырабатывать.

Кто же скусил эту верхушку на сей раз?

Вот эти тонко-чертистые, горбоносистые, которые сидят с русскими вперемешку? Они, конечно.

Из этого не следует, однако, делать слишком поспешных заключений...

* * *

Каждый народ имеет то правительство, которого заслуживает. Заслужишь иное — получишь...

Но как заслужить?

Вряд ли об этом я думал тогда.

Я купил газету и делал вид, что читаю. Газета была русская, т. е. я хочу сказать, не «украинская», стоила пять копеек. В ней было много бумаги и масса объявлений. А, впрочем, я ее не читал. Из-за нее я продолжал свои наблюдения.

* * *

Я еще ничего не сказал о женщинах. Были же они здесь? Были, конечно.

Были ли «дамы»? Но что такое — «дама»? Дама — это женщина в шляпке. У женского сословия переход в высшую касту совершается весьма легко. Поэтому они все так ненавидят «платочки», хотя платочек, честное слово, гораздо более идет русскому лицу. Так вот, здесь шляпок было весьма мало, и то больше на «тонконосых» дамах. Преобладал платочек, причем немало было платочков красных — во славу ли революции или во славу рідної маты Вкраины,— не скажу... Просто, вероятно, красивости для...

* * *

Через некоторое время мне пришла в голову мысль: почему я здесь, собственно, сижу, на вокзале?

Это было глупо. В моем мозгу (вероятно, как у всякого эмигранта) прочно засели картины прошлого. Я как-то точно так же сидел на одесском вокзале ранним утром в ноябре 1918 года. Сидел потому, что нельзя было идти в ночь. Опасно для жизни и имущества: если не убьют — ограбят.

И теперь мне казалось невозможным «идти в темноту». И я сидел на вокзале, дожидаясь дня.

Но наконец я сообразил, что, может быть, сейчас не так. Тогда я решил сдать мои вещи «на хранение». Я пробирался через густую толпу. Она была такая незнакомая, как самая чужая нация. А ведь это была толпа моего родного города, и уехал я отсюда всего шесть лет тому назад.

Вдруг «чья-то рука легла мне на плечо».

Жест был классический. Ясно, что меня арестовывают. Так ведь всегда бывает: кладут руку на плечо. И я положительно заставил себя обернуться, так мне не хотелось. Передо мной стоял молодой человек в меховой шапке с наушниками.

— Гражданин, газету забыли! — Он подал мне мои «Известия»...

* * *

Не успел я оправиться от этого «впечатления», как последовало новое. Где я сдавал вещи на хранение и где работали споро и быстро, вдруг меня спросили строго:

— Ваша фамилия?

Моя фамилия... Зачем ему моя фамилия? К тому же я вдруг забыл ее. Но, сделав большое усилие, вспомнил. Сказал:

— Шмитт.

Это я в первый раз ее произнес. Ничего, сошло очень хорошо. Он записал и сейчас же отдал мне квитанцию. Я понял, что это просто здесь такой порядок при сдаче на хранение.

* * *

И вышел я благополучно на высокое крыльцо вокзала.

Чуть серело. В этих предрассветных сумерках я вступил на «родную землю». Впрочем, она сейчас была под снегом и льдом.

Все-таки у меня забилось сердце... Очерствели мы, разумеется, но все же это волнует. Конечно, я уже не тот. Сбросьте тридцать лет с плеч, и я, должно быть, растопил бы уличный ледок «горячими своими слезами».

Когда я окончил гимназию и мне было семнадцать лет, я на три месяца проехал за границу. Так, возвратившись, я едва не бросился на шею русскому носильщику в Радзивиллове и, можно сказать, духовно танцевал перед каждым кустиком до самого Киева. А Киев показался мне царем городов во вселенной.

Я думаю, что тридцать лет тому назад я был таким, каковы сейчас некоторые из русских эмигрантов. Они, возвращаясь, будут, наверное, целовать русскую землю. Через три месяца по возвращении они ее, может быть, проклянут, но это не меняет дела.

* * *

Сознаюсь, что я любил родину несколько эгоистично, например, как любят родителей, от которых все берут и которым ничего не дают. Это прошло. И теперь я хотел бы ее любить, как любят иных детей: таких детей, от которых мало чего ждут.

Любовь всегда такая: или берет или дает. И та и другая может быть любовь страстная и глубокая. Та любовь, «за то, что берешь», для меня отмирает. И все, что здесь осталось от прежнего Киева, будет только больно отдавать в сердце, шевеля остатки юной требовательности. А любовь «за то, что даешь», только еще нарождается. Она еще совершенно робкая и неоформившаяся. Но, вероятно, это она руководит мною, когда мне интересно увидеть «новое». Новое ведь ничего мне не может дать. Ничего...

Но я хочу его узнать, потому что, может быть, я могу что-то дать ему...

Но что?

Все эти чувства, осознанные потом, но уже живые тогда, толпились в моей душе, пока «мое тело» переходило мост, что через рельсы.

И вот Безаковская. Она была так названа в честь одного генерал-губернатора. А теперь как она называется? Теперь это — «улица Коминтерна».

Я пошел прямо. Электричество горело, то есть догорало в рассвете, а извозчики ехали с вокзала и на вокзал. Кажется, они такие, как были всегда, только победнее.

«Все, как было, только похуже...»

Безаковская всегда была дрянной улицей. Невзрачные домишки: не «старина» и не «роскошь» — ничто, которое заполняет девять десятых русских городов вообще. Пренебрежение к месту. Одно из проявлений нашего малого самоуважения.

Такая она и теперь. Ничего не прибавилось. Ни единого здания за шесть лет.

Извозчики плетутся в горку мимо Ботанического сада. Проходят первые трамваи. В сумерках утра все кажется приблизительно «нормальным».

Вот памятник графу Бобринскому. Но самого Бобринского нет. Тут он стоял, положив чугунную ногу на железную рельсу. Это обозначало, что он сделал что-то большое для железной дороги. Теперь его нет. Вместо него торчит на старом каменном постаменте нелепая маленькая пирамидка. Должно быть, она из жести, из листового железа. А на постаменте написано: «Хай живе восьмая річниця седьмого жовтня».

Ох! Хай живе! Пусть живет, как махровый образец человеческой премудрости...

* * *

Постояв перед «річницей», то есть перед бывшим Бобринским, я стал подыматься по Бибиковскому бульвару. Определил, что бульвар более или менее в порядке, но носит название Тараса Шевченко.

Удивительные люди! Вот был Бибиковский бульвар. Почему? Да потому, что Бибиков был генерал-губернатором киевским, и хорошим генерал-губернатором, и, вероятно, при нем этот бульвар и насадили. И потому назвали. А причем тут Шевченко? Что, он этот бульвар продолжил, украсил, улучшил? Ну а скажут, почему назвали улицу Пушкинской? Ну и глупо сделали... Ибо Александр Пушкин был велик, как и Александр Македонский, но все же ломать старые названия, как и стулья, без особого основания не приходится. Шевченко его поклонники могут ставить памятники где им угодно, но сей бульвар все-таки сажал Бибиков точно так же, как крестил Русь во всяком случае не товарищ Воровский!

Неужели же они «Крещатик» переименовали в «улицу Воровского»? Представьте себе! Но об этом позже.

* * *

И, значит, я подымался по бульвару, огибая Ботанический сад. А ограда сего сада падает местами. Не грех бы починить, «граждане»!..

Еще не проснувшимися пустынными улицами, мимо забытых и не забытых домов, мимо состарившегося Владимирского собора, мимо Золотых Ворот, где ни ворот, ни золота; мимо Георгиевской церкви, с которой у меня связаны самые первые детские воспоминания — похороны матери; мимо Митрополичьей Брамы (исторический памятник, ныне позорно заброшенный украинскими «националистами»), через Стрелецкую улицу, замечательную для меня тем, что здесь жил следователь Фененко, известный по знаменитому делу Бейлиса, я вышел на улицу, которую забыл, и подошел к церкви, название которой тоже не сразу вспомнил.

* * *

Два купола. Один ярко горел золотом, другой был тусклый и старый. Отчего позолотили только один купол?

И притом тут было что-то странное. Купол сиял, но как-то немножко иначе, чем обыкновенно. Это золото было, пожалуй, еще ярче, чем всегда, но чуть, я бы сказал, белее.

И потом никаких следов, чтобы тут работали. А этот другой купол? Он совсем старый, потускневший, ярко контрастирующий с тем первым. Но если присмотреться, и на нем что-то такое... Как будто его «подпалили золотом» снизу! И остались как бы следы пламенных языков... Как бы золотые листья исполинской агавы... Что это такое? Кто мог золотить купол таким причудливым образом?

И вдруг мысль блеснула так же ярко, как, должно быть, было тогда, когда это случилось...

Я знал, что в Киеве «обновилась» церковь. Но какая и где, я не знал. И меньше всего в этот утренний час я ее искал...

Меня привел сюда случай. Но случайностей не бывает, как говорят йоги. Быть может, меня привел сюда йог, невидимо, за руку?

Может быть... Словом, для меня не было сомнений, что это передо мной обновившаяся церковь. По тысяче признаков, которые я забыл сейчас, я понял, что это так. Впрочем, спросить было некого. Кругом было пусто, серо и скучно, и только этот купол горел в прозе базарной площади. Да, это был базар, «Сенной базар». И был он, очевидно, потому, что было 25 декабря — первый день Рождества.

Но церковь была открыта. Я вошел. В ней был только один человек. Солидный мужчина у свечей.

Я поставил свечу. Одну за всех — живых и мертвых, ибо в эту минуту я чувствовал сильнее, чем когда-либо, что разница между ними какая-то несущественная. Когда человек умирает, он обновляется, как этот купол...

Я решился спросить у солидного:

— Скажите, пожалуйста, эта церковь обновилась?

— Эта...

Он был на вид довольно неприступен. Но прибавил:

— Посмотрите образ Николая Угодника.

— Где?

— Вот там, слева...

Я подошел.

Я не знаю, каков был этот образ раньше. Сейчас на меня глядело лицо удивительной красоты. По нежности работы оно напоминало фотографию, которую делают так: наклеивают ее на стекло лицевой стороной, осторожно удаляют с обратной стороны слой бумаги, оставляя на стекле только прозрачную светочувствительную пленку, и затем с той же стороны подводят краской. Таким образом раскрашенная фотография сквозь стекло дает удивительно нежные тона. Кажется, это называется фотоминиатюрой.

Вот такой стоял передо мной Николай Угодник, но не миниатюрой, а в натуральную величину. Нежными, плохо рассказываемыми красками было все это сделано. Если кто видал Сикстинскую Мадонну Рафаэля, то вот это единственное, что мне вспомнилось, когда я его рассматривал.

Но не в этом было дело. Не в этих нежных (особенно мне запомнилась голубая подкладка ораря) тонах совершенно свежего, казалось, вчера сделанного письма, и даже не в том, что это и не похоже на «письмо» (мазков совсем нет), а в том, что это — действительно чудный образ.

И я до сих пор вижу его благостное лицо...

Откуда здесь эта удивительная работа? Был ли он всегда таким? Я не знаю...

— Как бы не руками человеческими сделано,— сказал солидный.— Даже больше на фотографию похоже...

— А раньше он был темный?

— Облачения почти различить нельзя было... А вы еще плащаницу посмотрите...

Я не помню, где и когда (должно быть, во сне) я видел человеческие существа, которых красота в том, что они как будто светятся изнутри. Как будто они из фарфора, а внутри зажгли лампадку. Вот такие тела и лица на этой плащанице. Они светятся внутренним светом.

* * *

Как-то позже я рассказывал одним людям об этом, о глубоком впечатлении, какое это на меня произвело. Молодая женщина спросила:

— Как же вы себе все это объясняете?

Я сказал ей так:

— Вот видите. В Киеве есть Золотые Ворота,— где ни ворот, ни золота... А где они? Они находятся на Афоне, куда их унес рыцарь Михайло (патрон Киева) за то, что киевляне его предали...

— Это действительно?

— Нет, это легенда... И легенда говорит, что ворота стоят там, на Афоне, и сейчас. Если из прохожих кто-нибудь скажет: «Ворота, ворота, не стоять вам больше в Киеве»,— золото тускнеет, темнеет. И наоборот, если кто скажет: «Ворота, ворота, будете опять стоять в Киеве»,— золото сияет ярко, «обновляется».

— Ну?

— Ну так вот я и хочу сказать: сия легенда устанавливает, что в зависимости от человеческих чувств золото может тускнеть и озаряться...

— И?

— И, значит, вот вам объяснение... Никогда так люди жарко не молились, как во время революции. Эти чувства, как вибрации высочайшего напряжения, потоками струились к небу. И «по дороге», *выкупав золото в себе*, заставили его засиять.

— Почему же именно в этом месте?..

— Почему молния сверкает и ударяет именно тут, а не в тысяче других мест?..

Она улыбнулась «улыбкой из гражданской войны» и сказала:

— Ну, знаете...

А разговор поехал на другие темы. Она много рассказывала. Боже мой, чего эта женщина не испытала!.. Весь цикл «мировой» и «гражданской».

— Но это все пустое,— закончила она.— Был только один день, действительно тяжелый, ужасный день... вспомнить тяжко. И знаете, что произошло?

— Ну?

— Все золото, которое было на мне, а тогда еще кое-что было, потемнело, потускнело.

* * *

Я посмотрел на нее с выражением улыбающегося коршуна. Она была у меня в руках.

— Вы не верите?

— Верю, верю. Только меня удивляет: если золото от ваших переживаний могло потемнеть, то почему от чувств тысяч людей, молившихся в Киевском храме на Сенной, оно не могло засиять?..

* * *

Я вышел из церкви, ее, кажется, называют Скорбященская. Кое-кто появился на улице. Человек, торговавший папиросами, спичками и мелочами (около него стояли две женщины), сердился:

— Мадам, всем скоро нужно, не вам одной!

Мадам ворчала, а я на всякий случай отметил в уме возобновление этого нелепого слова. Насколько на своей родине madame звучит хорошо и осмысленно, настолько «мадам» — это нечто среднее между «комодом» и «жидовкой». Только «товарищ женщина» былого времени под стать «мадам». А бывает еще прелестнее: «мадамка».

Другая женщина вмешалась:

— Ну чего вы, гражданин! Видите, спешит дамочка...

«Дамочка» — это уже значительно лучше. Но все же странный русский народ. Есть у него прекрасное слово — сударыня, госпожа. Так нет же, он за «мадамками» гоняется.

А торговец ответил:

— А вам, гражданка, собственно говоря, что до этого?

— А то, что если вы торгуете, то вежливым должны быть, гражданин!

Он отмахнулся от них и спросил:

— А вам что надо, барышня?

Я не стал больше слушать, ибо на первый раз узнал достаточно. Первая женщина, хотя была в платочке, но «не без кокетства». Это значит — дамочка. Вторая, проще и постарше,— гражданка... Третья, молоденькая,— барышня...

Впрочем, я купил марку, на которой нарисовано, как кто-то лезет на фонарь, а кругом толпа. Это «юбилейная» марка и должна изображать 1905 год. Совершенно верно: именно так начался в Киеве на Подоле еврейский погром вечером 18 октября. Это именно и хотел изобразить советский художник?

Я купил марку, и, когда я спрашивал, где тут можно чаю попить, мне не понравилась одна физиономия. Он был в серой высокой меховой шапке, в синем кожухе или поддевке, с серыми отворотами. Подлая рожа... Я прошел дальше и стал искать столовую, которую мне указал папиросник. Я обходил пустую площадь кругом, не находя столовки. Так я вернулся к церкви. Тут обернулся: «подлая рожа» в серой шапке следовала за мной.

Это мне еще больше не понравилось. Я быстро стал уходить по той самой улице,

по которой пришел. И предпочитал не оборачиваться. Но, увидев извозчика, поспешно сел в санки.

— Куда прикажете?

Куда? Почем я знаю. А главное, не знаю, как улицы называются по-новому. И потому я сказал первое попавшееся в голову, что не могло измениться:

— К Андреевской церкви.

Поехали. Я оглянулся. Другого извозчика не было. Значит, «он» или должен бежать, что сейчас же его обнаружит, или я «чист».

Нет, я «чист», конечно. Но все же это не особенно приятно. Что ему надо было? Следят за этой церковью? Или у меня вид подозрительный?

Некоторое время я опасался «серых». Но их было столько, что скоро я забыл об этом.

Расплатился с извозчиком у церкви.

— Сколько?

— Целковый положьте...

В прежнее время это стоило бы двугривенный. Ну, от силы — сорок копеек. Но в прежнее время от «серых» не бегали. Социализм удорожает жизнь... Естественно, ведь это «рай». Разве в раю может быть дешево?..

* * *

Я подумал воспользоваться случаем и полюбоваться чудным видом с паперти Андреевской церкви. Но ворота церковной ограды оказались запертыми. Они всегда заперты. Они были вечно заперты и при старом режиме, они заперты и сейчас. Есть маленькие глупости, которые переживают мировые катаклизмы.

Я пошел вниз по крутому Андреевскому спуску.

Навстречу подымалась вереница людей. Было очень скользко, по тротуарам нельзя было идти. Кое-как шли по мостовой.

Какие это были люди?

Ранние. Просто ранние люди, без явно выраженных занятий. «Форма одежды»? Все та же. Платок на голове у женщин, шапки всякого рода у мужчин. Много высоких сапог. Кожухи или пальто попроще. Вообще все простое, скучное, некрасивое. Но рвани опять не заметно.

Лица?

Лица нельзя сказать, чтобы веселые, но нельзя сказать, чтобы измученные. Просто будничные, обыкновенные, пасмурные лица.

Евреев было мало. Между тем я шел на Подол, т. е. в самое гетто.

Наверное, они там все, внизу, подумал я.

Но внизу, на площади, вообще было мало народу. Евреев тоже. Стояли хохлушки и продавали булки. А одна ела пирожки. Я хотел пирожок, она улыбнулась так, как улыбаются хохлушки.

— Нет больше, вот последний зъила...

Так она и сказала, как говорят в Киеве от века, то есть смесью малорусской и общерусской речи.

Я завернул за угол, на котором увидел несколько человек еврейской молодежи. Две «барышни» были в шляпках, простеньких. Но где же прежние евреи: настоящие, старозаветные, с бородами, в картузах, в длиннополых черных пальто? Куда они девались? Отчего они не выбегают из своих лавок навстречу проходящим?

Впрочем, все заперто.

Я пошел вверх по Александровской... Как она называется сейчас?.. Какой еврей,

румын, грек, латыш, китаец увековечен на стогнах Матери городов Русских? Не помню...

Иду, все заперто и пусто. Вот как празднуют Рождество Христово в еврейском квартале! Но сами евреи где? Спят, что ли?

Я читал вывески. Украинские вывески чередовались с апокалипсическими названиями: Сорабкон, Укрнархарч, Укрнарпит, Тэжэ, Винторг, Бумтрест...

Витрины? Слабоваты. Но кое-что есть. Вот, между прочим, шапочный магазин, выставлены цены: от 15 до 30 рублей меховая шапка. Вот полушубки, кожухи, пальто: кожаные куртки на белом меху — пятьдесят рублей.

* * *

— Пирожки горячие!..

Продавала какая-то женщина, очень бедно одетая. Лицо интеллигентное. Русская. Плохо ей, видно, живется. Впрочем, и пирожки плохие... Я съел, еще больше чаю захотелось. Но все закрыто.

Наконец, вот дверь, за которой чувствуется жизнь. Надпись — «Столовая». Вошел. Большое просторное помещение. Сравнительно чисто. Столики. Пожилая женщина.

— Нельзя ли чайку?

— Чаю? Пожалуйста, пожалуйста.

Она принесла мне стаканчик горячего, сладкого. И белого хлеба.

— А закусить чего-нибудь найдется?

— Можно. Чего вам: колбасы, огурчика?

И вот я съел, не без удовольствия. В столовой был только один человек, но он стоил многих.

— Да уйдите вы, я вас прошу.

Он сидел, ухмыляясь, пьяный...

— Сейчас, сейчас, хозяюшка... только вот дайте спичечку...

— Никакой я не дам вам спичечки... Вы вот выпивши, а мне не разрешается вином торговать. Идите себе, пожалуйста.

— Сейчас, сейчас, хозяюшка... а вы вот мне чайку стаканчик... один только стаканчик, пожалуйста...

— Никакого стаканчика, уходите, я вас прошу... Вы вот упали уже раз и еще упадете, что я буду делать... уходите...

— Сейчас, хозяюшка... вот, пожалуйста, спичечку...

— Да идите вы, ради Бога!..

— Сейчас, сейчас, хозяюшка. Вот колбаски мне, ну немножко. Голодный я, ей-богу!.. я не пьяный, какой я пьяный! Я заплачу... Вот.

— А вы уйдете сейчас, если я вам дам?

— Сейчас уйду, хозяюшка. Только вот спичечку, чайку...

— Ах, Господи! Вот наказание Божие...

Пьяный, ухмыляясь, в конце концов получил все — чаек, колбасу и спичечку. Сидел и курил, блаженный.

— Какой я пьяный? разве я пьяный?

Родимые картины! Но когда же они заговорят «по-украински» в сей «Украинской республике»?

* * *

Вошла молоденькая и хорошенькая женщина в красном платке.

— Вы торгуете? Чтобы не вышло чего. Мы закрыли. Очень опасно...

— Да разве ведь и нам нельзя? Говорили, нам можно!

— Лучше пойдите узнайте.

— Сейчас, сейчас. Да, да... Ох, уж!..

Пьяный, кончив, стал уходить. Хотел непременно попрощаться с хозяюшкой и убеждал ее, что она «сердитенькая». Я тоже поднялся. Заплатил. Это стоило что-то копеек шестьдесят. Я подал ей трехрублевку, зеленую, как и прежде, ио меньшую форматом и плохо сделанную. А оиа вернула мне два бумажных рубля, не похожих на старые, и два серебряиых двугривенных, очень похожих.

Немного странно было платить по-старому: «рублями» и «копейками». Странно, но отрадно.

«Все, как было, только хуже...»

* * *

Я стал подыматься вверх по Александровской. Народу было немного. Тут были русские и евреи. Но «моих», старозаветных, не замечалось. Я даже чувствовал, что по этой причиие меня определенно рассматривают. Их глаза часто принимали меня за еврея и как бы спрашивали: «Кто такой? Откуда взялся „этот тип"?»

Да, ибо таких бородатых, запущенных, как я сам, я не встречал. Где они?

Некоторые встречные с явным напряжением решали вопрос — еврей я или нет:

Уриель Акоста,
Скажи ты мне просто,
Коль не секрет:
Жид ты иль нет?

Если я не еврей, последияя причина носить такую бороду падала. Но они, должно быть, успокаивали себя мыслью:

— Наверное, ои из провинции!

Во всяком случае, я ясно чувствовал, что они скорее поверят в то, что я Карл Маркс, соскочивший с памятника, чем в то, чем я был на самом деле.

Внешность встречных людей чуть менялась по мере движения вверх. Изредка мелькали дамские шляпы. Но скромные.

Два молодых еврея в сапогах, галифе и кепи шли, рассуждая о Зиновьеве. Я прислушивался, но, кроме слов «программа», «военный коммунизм», «уклон», «ленииградская делегация», «дисциплина партии», «нейтральный актив»,— ничего не понял.

Ломовые извозчики с великим трудом тащили тяжести вверх по крутой горе. Лошади падали на колеии, и их жестоко били. Здесь так били от века.

«Все, как было...»

* * *

Я взял вправо и стал подниматься по Владимирской горке. Все было занесено снегом, и только узенькая была протоптана тропочка. Я обогнал флиртующую парочку. «Она» была в шляпе — хорошенькая, еврейка. «Он» был тоже, конечно, «из наших», щеголеватый, но не в европейском, а в советском стиле... Нечто вроде бекеши, меховая шапка, блестящие высокие сапоги.

Он нажимал:

— Имья? Скажите, какое же это имья?

Она жеманилась, обиаруживая то специфическо еврейские уверенные ужимки, то кривлянья, неумело выхваченные из общемирового женского репертуара. И не хотела сказать «имья»...

Но вдруг, выхватив у иего тросточку, стала писать по свежему сиегу.

7—1565

* * *

Боже мой! Все меняется под луной, ио не этн вещи. Гнмназнсткн нашего времени делалн то же.

Она писала:

— Борис...

Борнс так Борис. А вот что это такое?

Толпа людей в военном, то есть в серых шинелях н в шлемах, вопила. Оин пели, как всегда поют русские солдаты: с улюлюканьем, с гиканьем, с посвистом. Слов ие слышно было, ио, конечно, онн должны былн быть сугубо революционные, т. е. новые. Но размах, днкая мощь — это старое. Мелодию вела «грозио нарастающая» гуща низкнх голосов. Четкне тенора «лихими подголосками» набрасывалнсь на нее сверху. А кругом тех н других, подстегивая, подуськивая, басилнсь некими «степными запятыми» или как будто «нагайками», резкие, улюлюкающие то змеей, то козой, то совой, то кошкой,— «посвисты соловьиные»... Черт их дери совсем! Так только русскне солдаты поют во всем свете! И неужели эту мощь, эту силищу, дикую, но несомиенную, оседлали вот эти, пишущне по снегу «Борнс»?

* * *

Парочка ушла, а надпись осталась. Я тоже остался и прибавил на снегу «мягкнй знак», отчего вышло «твердо»: «Борись!!!»

Борись, позором вразумленный
Народ очнувшихся рабов!
И факел, яростью зажженный,
Вонзи в трусливый мрак гробов!!!

Нет, нет, нет...

Нет, не надо «черного бунта». Этот путь испытан. Этот путь ни к чему. Это путь двухчленной формулы: «Бей жидов — бей панов!»

Это путь раскрепощения Зверя, чтобы он сделал «дело». А потом в таких случаях говорят: «Зверь сделал свое дело, Зверь может уйти».

Но Зверь не уйдет. А если уйдет, то только для того, чтобы вернуться снова. Кто сеет махновщину, пожнет Пугачева. «Бей жидов, бей панов...»

От двучленной формулы не уйти еще и потому, что пришлось бы натравливать на жидов именно как на панов. Ибо они паны теперь.

Эй, деревенщина, крестьяне!
Обычай будет наш таков:
Вы — мужикн, жиды — дворяне,
Ваш — плуг и труд, а хлеб — жидов.

И мы тогда не удержимся «на жидах», мы подымем волну протнв «панства» вообще. А наша задача как раз обратная. Наша задача состоит в том, чтобы заставнть людей понять наконец: без «панов» жить нельзя.

Да, нельзя. Как только вырезали своих русских панов, так сейчас же нх место заняли другие паны — «из жидов». Природа не терпнт пустоты.

* * *

Без панов жнть нельзя. Но что такое — «паны»?

«Паны» — это класс, который ведет страну. Во все времена и во всех человеческих обществах так было, есть н будет.

Его называли: высшими кастами, аристократией, дворянством, буржуазией, интеллигенцией, элитой, классом «политиканов», «революционной демократией», и наконец на наших глазах его называют «коммунистами» и «фашистами». Иногда правящий класс окрашивается в национальные цвета, и тогда его называют то «варягами», то «ляхами», то «жидами». При всей разности у всех этой формации людей есть нечто общее. Все они исполняют одну функцию: обуздание Зверя.

Но в борьбе между собой все «паны» склонны разнуздывать Зверя. Они натравливают его на противников и, победив при его помощи, потом с мучительнейшими усилиями снова его обуздывают.

Но это путь ужасный. Ибо в этой процедуре гибнут достижения веков. Наш путь должен быть иным.

* * *

Был когда-то великий путь «из Варяг в Греки». А теперь надо создать новый путь, еще большего значения: «из жидов — в Варяги». Коммунисты да передадут власть фашистам, не *разбудив Зверя*.

О, не буди меня, зефир младой весны,
Зачем меня будить?

Зачем его будить? Чтобы он разнес последние остатки культуры, которые с таким трудом восстановили неокоммунисты при помощи нэпа? Для того, чтобы, разгромив «жидов», он вырезал всех «жидовствующих», то есть всех более или менее культурных людей, ибо все они на советской, то есть на «жидовской» службе?

Нет, не надо черного бунта...

Елизавета, Екатерина, Александр I не привлекали к своему перевороту Зверя, и правление их было славно и гуманно... Вот пример, по которому надо идти. Скусить верхушку!

А ты, великий молчальник, безмолвствуй. Ибо, когда ты говоришь, падают скалы. Падают тебе же на голову. Правда, голова твоя крепка, но все же от этих каменных прикосновений балдеет она, бедная, на столетия... Так к чему же?

Пахарь в поле мирно жни,
Бодрствуй, властвовать могущий!..

Я поднялся выше. По едва протоптанной тропинке прошел к памятнику Святого Владимира. Низовье Киева, Подол, и замерзший Днепр были передо мною. Все было серо, туманно.

* * *

Другая парочка, которая приютилась здесь, должно быть, просто не видела ничего. А если что-то видела, то и «ничего» казалось ей прекрасным. Она была хорошенькая и тонколицая, хорошо одетая: в серой шубке, малиновой шляпке, ботиках. Говорила низким, угловато-изысканным голосом, каким звучат на юге петербуржанки. Москвички тоже говорят низко, но певуче. Для моего киевского уха ее голос звучал недостаточно женственно. Но чистая русская речь была безупречна. Увы, я не мог разобрать: уцелевшая ли она аристократка с берегов Невы или же «оневившаяся» еврейка.

Черт знает что такое!

Обычай будет наш таков:
Вы — мужики, жиды — дворяне...

Нет, она, кажется, все-таки русская. Но это «кажется» — не достаточно ли оно показательное доказательство.

7*

* * *

А третья парочка, одетая попроще, сползала по крутой, обледеневшей дорожке. Было там очень скользко. Барышня боялась и по сему поводу пищала талантливо-переливчато, преподнося памятиику Равноапостольного ассортимент кокетства, сервированного а ля Киев. Mes compliments *— старому черномору Грушевскому: эти балакали по-украински. Первые и, кажется, последние, которые изъяснялись «на мове» в столице Украины.

Солдатская песня, три парочки, три «национальности» да зимний туман — вот все, что я вынес из посещения Владимирской горки...

И несколько мыслей.

* * *

Я поднялся еще выше и взял к Михайловскому монастырю. Вот знакомые, старого, волнующего рисунка ворота в Михайловское подворье. Над воротами, где раньше была икона, в рамке сосновых ветвей торчит богомерзкая рожа Ленина.

Тьфу!

За эти штучки заплатите вы, господа хорошие!..

* * *

Но кто-то, успокаивающе как бы, взял меня за руку:

— Помнишь ли ты одну синагогу? Помнишь?

И я вспомиил. В Галиции, в 1915-м году, в местечке Тухове. Ничего не осталось. Голые стены, побитые окна, разрушено, осквернено. А кому там молились?

— Богу Единому,— ответил я.

Некто успокаивающий отпустил мою руку.

* * *

Но, да простит меня этот невидимый и кроткий, все же тогда была война. А теперь как будто бы война кончилась.

Да кончилась ли? Или только начинается по-настоящему?

* * *

Удивительиая физиономия у этого Ленина. Когда я на него смотрю, мне всегда вспоминается великорусская поговорка: «Нам с лица не воду пить...»

Да уж, действительно...

Глаза словно щели, растянутый рот,
Лицо иа лицо не похоже,
И выдались скулы углами вперед,
И ахнул от ужаса русский народ:
— Ай, рожа, ай, страшная рожа.

(Алексей Толстой Старший)

* * *

* Мои поздравления (*фр.*).

Монастырь стоял «златоверхий». В шестнадцатом веке один он только в Киеве был крыт золотом, и это может служить некиим утешением сомневающимся. В XX веке все храмы златоглавые.

* * *

Мне пора было озаботиться приисканием гостиницы. Где я ее нашел, сие не важно для читателя, но любопытно для ГПУ. Поэтому применим латынь: nomina odiosa sunt *.

Третьеразрядная была гостиница. Чуточку я волновался, сказать по правде, когда я входил. А вдруг документ окажется «не того». Ведь он, разумеется, «липа». Да и вообще жутко. Вопросы какие-нибудь каверзные зададут. Или даже не каверзные,— случайные, но которые с несомненностью обнаружат мое зияющее невежество.

Вошел.

— Есть номер?

От столика поднял голову молодой человек в бекеше.

Лицо? Лицо — «не весьма». Бритый, красивый, но не разберешь: деникинец или чекист? Бывала такая порода «в старину»: некие номады — из «чека» в «контрразведку» и обратно.

Он рассмотрел меня не то равнодушно, не то пронизывающе.

Сказал:

— Номер есть.

— В какую цену?

— Два с полтиной.

— Покажите.

Он крикнул в коридор:

— Хозяйка, покажите номер!

Выплыла хозяйка. Широкая масленица. Запела по ма-асковски:

— Намерочек вам? Пажалуйте.

«Намерочек» был дрянной. Цена зверская. Два с половиной рубля — это значит доллар с лишним. За эту цену я имел бы прекрасный номер в Париже и в Ницце. Ах, все равно. Лишь бы документ «не выдал»...

* * *

Деникинец-чекист взял его и ушел. Я пережил несколько неприятных минут. Затем стук в дверь. Он вошел и задал мне несколько вопросов. Один был труден для меня. Но я как-то сообразил и ответил. Ничего. Оказалось впопад. Он кивнул головой. Ушел. Потом пришел снова и принес документ. Сказал:

— В книгу вписано. А заявлю позже.

Когда он затворил дверь, у меня было желание не то потанцевать, не то перекреститься. Документ не выдал. Спасибо контрабандистам!

Пришла хозяйка. Я понял, что она хочет — деньги вперед. Вытащил червонец. Большая бумажка, беловатая, водянистая какая-то. Но, пока что, эта бумажка — деньги: пять долларов дают!

— Сдачу сейчас принесу.

— Не надо, я пробуду несколько дней.

Она ушла, очень довольная.

* * *

* Имена нежелательны (*лат.*).

«Наконец, мы одни!» Я со своим телом. Йоги советуют думать: «Неужели моя рука, нога, грудь, живот, голова — это я?»

Нет, «я» — это нечто другое, отдельное от тела, и потому «мы одни, мы вдвоем»...

Это одиночество вдвоем приятно. Оно просто необходимо для существа мыслящего. Но, кроме того, в данном случае приятно ощущение безопасности. Как-никак это постоянное внимание утомляет. Ведь сквозь канву наблюдений я все время ощупывал глазами каждого встречного и чувствовал всех, кто у меня за спиною. Сколько поймано взглядов за эти часы и сколько из них оценены как подозрительные. Сколько раз казалось, что кто-то пристал. Сколько раз это проверялось... Не так страшно в общем, но напряженно. Прежде чем войти сюда, я сделал точную проверку, нет ли хвоста, т. е. нарочно разыскал совершенно пустынную улицу. Слава Богу, все было в порядке.

И вот на время — я в полной безопасности... Действительно, кого сейчас бояться? Гостиничные уконтентованы, а в участке я еще не заявлен. Самое выгодное положение. Власть предержащие еще ни в каком виде не знают о моем существовании. Вдруг искусительная мысль пришла: а что, если этот деникинец-чекист гораздо тоньше, чем я о нем думаю? А что, если, сразу поняв, какая я птица, он уже сообщил в ГПУ, не подав мне и вида? Может ли это быть?

Глупости! Мнительность...

* * *

Буду писать письмо. Воображаю, как там, дома, беспокоятся.

«Дома». Вот ирония! Дома — это значит где-то там во Франции, Сербии, Польше. И это в то время, когда мой настоящий дом, «старый дом, где он родился»,— тут, под боком, через несколько улиц. Неужели я его увижу?

Конечно. Вот стемнеет, и я могу идти...

Но пока — письмо. О, как чертовски труден этот ключ. Но зато, если бы шифровальщики всего мира колдовали бы над этим лоскутком плохой бумаги, они не выжмут из него тех нескольких слов, которые прочтут «там»:

«Я осторожен, о, очень! Все благополучно пока. Россия жива. Надейтесь, верьте...»

Но труднее ключа — правописание. Кажется — пустяки не писать твердый знак — ять, «i» с точкой, а вот так рука и тянется. Оказывается, нет тебе покою и наедине. Да к тому же чужой почерк изобретай. Предосторожность, может быть, излишняя, но все же. Письма заграничные идут, конечно, в черный кабинет. Там могут знать мой почерк. Зачем же давать «кончик», если его можно избежать? 〈...〉

* * *

Счастлив лишь тот, кому в осень холодную
Грезятся ласки весны...
Счастлив, кто спит, кто про долю свободную
В тесной тюрьме видит сны...
(Мелодекламация)

Разбудить их только для того, чтобы отнять у них даже мечту, жестоко и бессмысленно. А что другое я могу сделать?

А вдруг у них даже нет мечты? И это может быть...

К чему же я явлюсь к ним привидением с того света, когда у них:

все оплакано, осмеяно, забыто,
погребено и не вернется вновь...

Так пусть будет «одиночество вдвоем». Пусть ходят мое тело и мой дух по этому городу,— достаточно с них взаимного общества.

Сам один, а глуп, как два...
(Грузинская песенка)

* * *

Письмо написано, наклеена марка, на которой кто-то лезет на фонарь. Адрес?

Двадцать адресов прыгают у меня в голове. Я повторяю их каждое утро. Записать не решился. Если их в случае чего найдут у меня — ясна связь с заграницей. А это здесь самое большое преступление. Забавно, не правда ли? Люди, которые поставили себе целью интернационал, преследуют, как дикого зверя, каждого человека, имеющего сношения с какой бы то ни было другой нацией. Как это способствует развитию «интернационального духа», «международной солидарности», стиранию «искусственных перегородок», именуемых государствами, народами, нациями! О, жалкие реформаторы! Вместо нового мира они построили только гримасу старого. «Смотрите, смотрите, совсем новое лицо!» Нет, лицо то же самое. Оно только «передернулось»... от ненависти и от отвращения.

Но зачем двадцать адресов? Затем, чтобы не писать на один и тот же. Могут заметить. Опять излишняя предосторожность. Пусть! Знаменитые русские слова «авось, небось и ничего» нравились, конечно, Бисмарку в русском народе. Но нравились только потому, что железный канцлер предполагал скушать Россию, что при авось и небось сделать значительно легче.

* * *

Впрочем, если сейчас — стук в дверь, входят, обыск, арест, что я буду говорить? После нескольких увертох меня поймают на вздоре. Поэтому лучше сказать прямо, кто я и что.

А для чего я прибыл?

Расстреляют все равно, что бы я ни объяснял. Правде они не поверят. Будут бесконечно допытываться «политических» мотивов. Если хотите, есть и политические мотивы. Рядом с моим личным делом я приехал как шпион. Да, я шпион, хотя и не в банальном значении этого слова: я приехал подсмотреть, как «живет и работает» Россия под властью коммунистов.

Так и буду говорить. Они не поверят, но это — правда. А правда имеет какую-то прелесть даже для лжецов. Если не прелесть, то самосилу. С правдой умирать легче, а умереть все равно придется. Я предпочитаю умереть самим собою, а не безвестным псевдонимом. Проще и чище... ⟨...⟩

Размышления у парадного подъезда

По тихо-пушистой, голубовато-белой, узором теней разрисованной улице, где каштаны еще больше выросли, но заборов уже нет, словом, по бывшей Кузиечной (а ныне не знаю, как они ее назвали), поднялся я до слишком знакомого перекрестка.

Там всегда спорил с луною электрический фонарь и стояло два извозчнка. Обыкновенно кричалось с крыльца: «Извозчик!» — и они бросались.

И сейчас все было, как прежде: фонарь, два извозчика и мой маленький дом стояли на своих местах. Только я немножко не на месте. Мое место там, на крыльце: надавить бы кнопку уверенным хозяйским звонком! Вместо этого я брожу вокруг своего жилища, зайду с одного угла, зайду с другого, как сова, чье дупло заняла кукушка.

Ку-ку... ку-ку...

Нет, это не часы (столь знакомые!) бьют в столовой. Это то покажутся, то спрячутся чьи-то тени на освещенных окнах.

Кто эти люди?

Скажи мне, ветка Палестины:
Каких холмов, какой долины?

Из Бердичева? Шклова? Гомель-Гомеля?

А может быть,— це вы, друзья-украинцы? Это не астральные ли тела Шевченки и Кулиша тенями проходят по оранжевым узорам мороза на окнах?

Повремени, дай лечь мне в гроб,
Тогда ступай себе с Мазепой
Мои подвалы разрывать...

Да, у меня в подвалах было кое-что ценное. Только не для вас, друзья мои. Что для вас старые номера пятидесятилетнего «Киевлянина»? Вы больше насчет серебра столового. Ну, этого вы у нас не найдете. В этом доме жили люди со странной психикой. Из всех драгоценных камней и металлов они ценили только два: белую мысль и черную землю...

Чернозем воспитал в антимарксизме «белую» душу:

«Мы — ваши! (Ваше императорское величество!)

Земля — наша.

Власть — Хозяину.

Земля — Хозяину».

Земля — хозяину, и ни копейки меньше. «Хай живе — „вильна, незалежна, самостийна" — земельная собственность! Да здравствует золотом солнца повитый, золотым зерном залитый, „золотом кованную" свободу хозяину приносящий, вольный, сильный, сочный, радостный... столыпинский хутор!.. Вечная, вечная память Мордкой Богровым убиенному пресветлому боярину Петру и всем, иже с ним за Вольную землю и за Земляную волю живот положившим...».

Такие мысли навевал «старый дом, где он родился». Скромный провинциальный домишко, который полвека твердил одно и то же, сражаясь на обе стороны,— то с «революционным марксизмом», то с «социализмом Высочайше утвержденного образца». «Особнячок в политике», он десятки лет проповедовал в своем углу «столыпинщину», предчувствуя появление самого, трагически-великолепного, всероссийского реформатора...

И мне захотелось поставить один вопрос этому старому дому, передумавшему кое-что на своем веку:

Увижу ль я, друзья, народ освобожденный
И рабство падшее по манию царя?
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли, наконец, прекрасная заря?

Он не сразу ответил... Помигал старыми глазами сквозь изморозные окна. Но через некоторое время взгляд его установился, став твердо-ясным.

И тогда старый дом стал говорить...

* * *

...Я говорю то, что говорил пятьдесят лет. Я говорю то, что вы, нынешние, никак не можете в толк взять. Все равно,— я скажу еще раз... Я скажу новыми словами мысли, которые старше не только меня, но самого старого дома на свете...

* * *

...Изгнанники всех концов земли! Мечтая о добре, не будьте сами злы. Ибо не могут быть сухая вода, светлый мрак, холодное тепло, и белое не может быть черным...

...Есть два вихря сейчас на земле. Один вихрь «белый», т. е. вихрь Добра, вихрь к Богу, другой «черный» (или «красный», что одно и то же) — вихрь Зла, вихрь к «черту».

Так вот нельзя вам, изгнанники, смешивать «французское с нижегородским»...

Нельзя вам мечтать о кровавой расправе, о личной мести и о тому подобных, кой-кому из вас приятных предметах...

Когда вы это делаете, то включаетесь в вихрь Зла. Думая, что служите своему делу — Белому, Правому, Божественному, Святому, Созидательному, Хорошему, Светлому, Чистому,— на самом деле крепите Черное, Неправое, Сатанинское, Грешное, Разрушительное, Гадкое, Грязное... Крепите, изгнанники, потому что мысли о кровожадном пире над поверженными людьми, кто бы они ни были, есть мысли из «их» царства, о котором сказано:

«Здесь Я владею и люблю...»

* * *

...Когда кровавые мысли завладевают, с вами делается то, что бывало с ведьмами в старину. Эти мысли — лучшие кони, чем самая прекрасная метла... Оседлав их, вы в то же мгновенье мчитесь на «шабаш». И имея во главе не Алексеева, Корнилова, Деникина, Врагеля, не Великого Князя Н. Н., а Ленина со свитой, несетесь в вихре вокруг жертвенника черта...

«Окружая пьедестал...».

* * *

Слушай! Приходили сюда ко мне в 1919-м году деникинцы. Воевали они за Белое против Красного. Но Дьявол распалил их чувства, и включились некоторые из них в вихрь Зла. И, созданный не только Красными, но и Белыми, этот вихрь в конце концов пожрал их, Белых. Восторжествовало Зло и те, кто Злу служит.

...Чтобы поднять мощный смерч Добра, нужно отречься от злобы. Я, старый дом, знал одного сильного человека: это был Столыпин. Его душе злоба была чужда. Это не помешало ему, изгнанники, сделать то, что не удалось вам,— раздавить революцию (первую)... Он при этом казнил тысячи две негодных людей. Ни к одному из них он не чувствовал злобы, личной злобы. И каждого, казня, пожалел.

Не говорите так: не все ли равно?

Нет, не все равно. Тут такая же разница, как между ножом врача и кинжалом. Оба режут, но кинжал убивает, а скальпель — целит... Иной правитель казнит, содрогаясь от скорби: этот может быть святым. Другой казнит, смакуя, бахвалясь,— он гнусный убийца... Первый включает свою страну в круг Добра, и тайные добрые силы всего мира помогают ему, второй ввергает ее в смерч Зла, и силы ада рано или поздно погубят правителя и управляемых. ⟨...⟩

Святая София

Из Владимирского собора меня потянуло в здание, которое первоначально называлось Педагогический музей.

Поучительна его история.

Он появился на свет Божий с надписью:

«На благое просвещение русского народа».

Родителями были Могилевцев, который дал деньги, и Алешин — архитектор.

Здание прелестное, ловко собравшееся под стеклянным куполом.

Но недолго просвещали русский народ.

Пришла Украинская рада, уселась под стеклянным колпаком и, погасив свет тысячелетней истории, объявила 35 миллионов кровных русских нерусскими.

Но надпись: «На благое просвещение русского народа» еще держалась.

Однако пришел день, это был апрельский день 1918 года, выросли зловещие леса, и какие-то люди стали копошиться над буквами, уничтожая просвещение и зачеркивая русский народ.

Но им надпись не удалось снять тогда. Рука судьбы опустила на их голову гетманский переворот, и именно здесь, под этим куполом, была разогнана Украинская рада. Надпись осталась.

Но ее сняли позже. Кажется, это было тогда же, когда этот стеклянный купол обрушился или его обрушили на головы сотне офицеров, взятых в плен при падении гетмана.

А затем...

А затем был Петлюра, большевики, Деникин, опять большевики...

* * *

Сейчас купол восстановлен, здание опять ловко собралось под ним.

А надпись?

Надпись: «Музей революции».

Музей революции. Да, да... Это хорошо. Когда революция переходит в музеи, это значит, что на улице... контрреволюция...

* * *

Я вошел. Но уже в вестибюле меня стошнило от гнусных плакатов и всякого рода этакой дряни. Кроме того, здесь было много слишком экспансивных для музея личностей. Еврейские барышни коммунистического вида сновали по всем направлениям. Я почувствовал себя «не вполне обеспеченным». У них в глазах опять был вопрос: «Что за тип? Откуда он взялся?» Положительно моя провинциальная внешность гомель-гомельского стиля слишком привлекала внимание просвещенной столицы Украины.

Столица! Увы... Киев деградировал. Столица ныне — Харьков.

Я ушел из музея. Пошел по Владимирской, которая сейчас называется улицей Владимира Короленко. На стенах театра висели какие-то афиши. Все то же: Аида, Фауст... Коммунистических опер еще не сочинили. В этом именно театре разыгралась «Жизнь за царя» XX века: здесь убили Столыпина в 1911 году.

По улице, залитой солнцем, шло много людей. Я еще раз и без конца всматривался в эти лица.

Где же «печать страдания»?

* * *

Я помню, когда в 1919 году я вошел в Киев с деникинцами после восьмимесячного владычества большевиков.

Боже мой! Тогда «печать страдания» не нужно было отыскивать. Она лежала на всех лицах, похудевших, почерневших, утерявших свою твердо установленную киевскую миловидность. Она лежала на израненных, искалеченных домах, на заколоченных, умерших

лавках и магазинах. Она чувствовалась в самом воздухе, раскаленном мукой безмолвия. Не надо было спрашивать, что тут произошло. И так было ясно: здесь прошел конь Аттилы, здесь прошел социализм.

Теперь, в 1925 году?

Нет, теперь было иначе.

Страдание, конечно, есть. Но оно запряталось: оно иное.

На улице видно движение: извозчики, трамваи, автомобили... Торгуют магазины, манят витрины, радуясь вновь обретенным вещам. Много уличной торговли. Торгуют всем, всем, всем... Среди прочего мне бросилось в глаза обилие сластей. И еще — букинисты. Много, много книг разложено на улице. Все больше старые. Чего тут только нет. Среди других ярко выделяются том «Россия» с двуглавым орлом и трехцветным флагом на красивой обложке. В наше время за такую книжку расстреляли бы...

Теперь? Теперь, по-видимому, этого рода кровавое безумие прошло. Можно торговать открыто «отреченной литературой». Так смирился ортодоксальный коммунизм.

Я как-то читал в какой-то иностранной газете, что на вопрос одного корреспондента, что он делает во время «отпуска», Ленин ответил: «Внимательно изучаю „1920 год" Шульгина...»

* * *

Так? Но если так, если Ленин его изучал, то он мог прочесть там нижеследующее предсказание: «Белая мысль победит во всяком случае...»

* * *

И вот она уже победила...

Да, она победила.

* * *

И потому лица людей пополнели, поздоровели, и потому миловидные киевские мещаночки опять длинной цветочной змейкой вьются по улицам и стогнам Матери городов Русских. Некоторые из них в красных платочках, что красиво на солнце.

* * *

Вернулось Неравенство. Великое, животворящее, воскрешающее Неравенство. В этом большом городе нет сейчас двух людей равного положения. Мертвящий коммунизм ушел в теоретическую область, в глупые слова, в идиотские речи... А жизнь восторжествовала. И как в природе нет двух травинок одинаковых, так и здесь бесконечная цепь от бедных до богатых... И оттого вернулись краски жизни...

* * *

Появилась социальная лестница. А с нею появилась надежда. Надежда каждому взобраться повыше. А с надеждой появилась энергия. А с энергией восстановились труд ума и труд рук. И эти две вещи воскресили жизнь.

* * *

Конечно, слои переменились местами. Первые стали последними... Но в конце концов — «кто нам виноват?». Разве мы не имели все? Власть, богатство, образование, культуру?

И не сумели удержать.

> До того ль, голубчик, было!
> В мягких муравах у нас —
> Песни, резвость всякий час...

Да, вот «пропев, как без души» красное лето, мы теперь исполняем заповедь: «так пойди же, попляши».

* * *

Скачи, враже, як пан каже...

Мы были панами. Но мы хотели быть в положении властителей и не властвовать. Так нельзя. Власть есть такая же профессия, как и всякая другая. Если кучер запьет и не исполняет своих обязанностей, его прогонят.

Так было и с нами — классом властителей. Мы слишком много пили и пели. Нас прогнали. Прогнали и взяли себе других властителей, на этот раз «из жидов». Их, конечно, скоро ликвидируют. Но не раньше, чем под жидами образуется дружина, прошедшая суровую школу. Эта должна уметь властвовать, иначе ее тоже «избацают».

Коммунизм же был эпизод. Коммунизм («грабь награбленное» и все прочее такое) был тот рычаг, которым новые властители сбросили старых. Затем коммунизм сдали в музей (Музей революции), а жизнь входит в старые русла при новых властителях.

Вот и все...

И это ясно написано на улице Владимира Короленко, как и на всех других.

* * *

Памятник Богдану Хмельницкому стоит против Софиевского собора.

Ой, ты, батько Зиновий-Богдане... Вздернул коня над кручей! Смотришь вдаль. Что видишь? Сорок сороков горят Белокаменной. Что слышишь? Звон их по ветру доносится. Что мыслишь? Царь Олексий Михайлович на кремлевское крыльцо вышел.

Ну, что ж? Быть али не быть? Ох, высока ты, киевская круча, ох, широк, широк ты, Днепр...

Замерла казацкая степь.

«Самое имя русское хотят задушить в нашей земле!» — поют в тишине днепровские струи. И кричит в ответ гетманское сердце: «Да не будет сего!» — «Да не будет,— шумит казацкое море.— Да не будет! Стрибай, батько! Стрибай, Богдане!!!»

И гетман прыгнул. Высоко взвился степной конь, зацепил, было, за тучу, но справился.

— Под твою руку, Олексий Михайлович! Прими старое гнездо свое, древнее, Киев и с ним всю Малую Русь! Сбереги, царь русский, племя русское...

* * *

Да... Прыжок был не из последних. Два с половиной века перемахнул казачий конь. Слава... Слава Зиновию Богдану Хмельницкому, Гетману! ⟨...⟩

* * *

Я почувствовал это позже — сильнее... Но и сейчас мне уже было ясно: Р о с с и я в с т а е т.

Лихолетие позади. Много утрачено в ужасе последних лет. Но главная стена, алтарная стена России, выдержала, устояла, как устояла эта — нерушимая...

И сейчас дело не в том, чтобы расписывать горести Батыева нашествия, которое кончается, а в том, как восстановить храм, как достроить вокруг Нерушимой недостающие стены?

Постройка идет уже и сейчас вовсю. Разумеется, она отошла от старого византийского стиля. На уцелевшие стены надевается новый покров, столь же отличный от старого, сколько барокко не похоже на строительство Ярослава Мудрого. Но таково требование жизни. Эта глупая советская власть воображает, что она что-то делает по своей воле и разумению, по своим «планам». Вздор. Это только видимость. На самом деле, смирившись, она делает то, что повелевает жизнь. Она болтает свои нелепые теории, а делает то, что повелевает Белая мысль. Ибо Белая мысль во все времена указывала: живите по законам жизни, ибо сии законы суть веления Творца.

Да. Но жизнь латает, как умеет. Вот на месте древнего Ярославова собора, разрушенного монголами, люди, которые хотели молиться, а не что-то кому-то «доказывать», построили этот храм, к а к у м е л и. Они уже разучились в то время строить византийщину и потому строили по тем образцам, какие у них были. И создался храм, и люди молились, и был это живой храм, ибо его построила жизнь.

Так будет и с Россией. Вставая из-под обломков социализма, она будет строиться, «как можно». Но это послереволюционное «как можно» будет иное, чем то, что было прежде. На древнее Ярославово основание жизнь оденет какое-то новое барокко.

И можно молиться об одном: чтобы это соединение нового и старого удалось так же прекрасно, как в этом храме, который посвящен Святой Мудрости...

* * *

Лампада над ракой Святого мерцала, как мерцают лампады, то есть сладостно и древне. Я подошел, поцеловал мощи, потом перешел на другую сторону храма и разглядывал удивительные рисунки гробницы Ярослава Мудрого. Древний мрамор всегда что-то хочет сказать мне. Какие-то вещие слова, которых я еще не понимаю.

Я, вероятно, приду сюда когда-то незадолго до смерти — и тогда пойму...

* * *

Когда я там стоял, вдруг нелепо, но ярко заиграла мысль:

> И вспомнил он свою Полтаву,
> Знакомый круг семьи, друзей...

Где это все? Бесконечно далеко.

Если бы они, друзья, могли меня увидеть сейчас стоящим у гробницы Ярослава. Не поверили бы!

Но это — я!.. я!..

Но где же «моя Полтава»? Моя родина? Здесь, там?

Это пустая гробница, где нет и тела, а только разве дух мертвого князя; эта бессловесная мраморная плита мне ближе, чем все те живые люди, что бегают по залитому солнцем Киеву. Может ли быть одиночество больше моего?!

А меж тем я его не чувствую — одиночества, нет...

И это потому, что я сейчас в обществе тех властителей-мастеров, что работали здесь в течение веков. Я веду разговор с их тенями. Я понимаю без их слов, что они хотели сделать и сказать. Я чувствую древних, я ощущаю и тех, что пришли позже. Они близки мне все. Я предчувствую тех, что придут после меня.

Это все одна большая семья созидателей. У них у всех один общий язык на протяжении веков. Они, становясь на плечи один другому, идут все в одном направлении, по одной лестнице.

Привет вам, зодчие! Созидатели жизни!
Привет вам, Варяги, Ягеллоны, Романовы!..

Привет и вам, безвестные современные строители, самоотверженно притаившиеся под крыльями Зла; привет вам, «контрабандные восстановители жизни»!.. Будет принят и ваш камень, увы, обильно политый кровью. Потому что и он, ваш камень,— ступень. Проклятие всякого времени разрушителям! Анафема им из рода в род. Тяжкий подвиг созидания, восстановления, воскрешения из праха да будет благословен во веки веков...

Так говорила Айя-София.

Предместье

Я стоял на углу улицы Георгия Пятакова (бывшая Мариинско-Благовещенская, бывшая Жандармская) и Кузнечной, где кузнецов что-то не помню, а вот внизу какой-то металлический заводик был. Сей заводик замечателен тем (это справка для любителей старины), что в 1917 году, когда сняли памятник Столыпину, чугунная фигура Петра Аркадьевича как-то попала на заводской двор и долго там стояла, прячась за забором.

Пустяки!

«Так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат...»

Отольем другой памятник — получше.

* * *

Так вот, попал я на угол этой Кузнечной, когда солнце еще горело. Кузнечная улица — гористая, почти крутая. И много детей неслось вниз на салазках и медленно поднималось обратно, по поговорке: «Люби и саночки возить».

Была эта картина «приятная для сердца». Дети — всегда дети. Есть в них что-то неистребимо Белое. Действительно, рассуждая в порядке красном, т. е. рационалистическом, на кой хрен дети? Для того, чтобы не прекратился род человеческий? А на какой прах сие нужно? Нет, ты мне докажи! Почему нужно, чтобы род человеческий не прекратился?

А так как доказать нельзя, то он, а за ним и она засыпают канализацию абортами. Вот где их дети — на полях орошения...

Доказать, положим, можно, но для того, чтобы оперировать этого рода рассуждениями, надо, чтобы у человека было «чувство солидарности». Хоть какой-нибудь солидарности: солидарности национальной, солидарности классовой, солидарности общечеловеческой, наконец. Надо, чтобы он интересовался чем-то общим. Но ведь истинный «рационалист» тем-то и отличается, что у него нет «никакого социального чувства» (а интерес к общему есть «чувство»). Он ведь все хочет взять умишком.

И на все доводы этого рода он отвечает:

— А ты мне докажи, почему я должен эту самую солидарность иметь! Какое мне дело до того, что там будет с государством или с человечеством, ежели мне, сказать к примеру, наплевать?.. Ты хочешь, чтобы я «чувствие» имел. А почему? А ты докажи, почему я должен иметь, если я его не имею.

Про таких людей обыкновенно говорят, что они «нравственные уроды». Но ведь им и на это наплевать. И они себе уродствуют. Впрочем, эту наплевательскую точку зрения, как известно, незыблемо утвердил французский монарх, по имени a prés nous le déluge *. Людовик XV был первый всемирно известный манифишист. Но ведь он был король! Что

* После нас хоть потоп (*фр.*).

же требовать от какого-нибудь гражданина или гражданки, проживающих по Кузнечной улице?

— Наплевать!..

И «дитя» отправляется в канализацию.

* * *

Но это все теории. А вот практика: неистовое количество салазок несется с гор. И в каждых санках — здоровые, веселые, «праниые» дети.

Вы знаете, что такое прана? Конечно, знаете. Кто ж из русской эмиграции не интересовался по этой части. Прана есть мировая жизненная сила. Слово — санскритское. Так вот эти дети пропитаны соком жизни.

Значит? Значит, нашлось солидное количество «гражданок», у которых душа была более королевская, чем у манфишистского короля.

Ах, что вы говорите!.. Им просто хотелось иметь детей.

«Просто хотелось»...

В том-то и дело, что это «просто» не так просто. Когда женщина желает испытать жесточайшие муки в течение ряда часов, а иногда и дней, только для того, чтобы мучиться еще больше в течение долгих лет,— то сие не только не просто, а просто непонятно с «рационалистической» точки зрения.

На кой прах ей это?

Да вот на тот прах, что под названием материнского инстинкта в ней говорит «великая интуиция», солидарность со Вселенной, т. е. единение с Создателем. И потому когда женщина, имеющая полную возможность сделать аборт, отказывается от него по той причине, что ей «хочется иметь ребенка», то Бог или, вернее, Матерь Бога где-то близко около нее.

Так-то, судари...

Умом сие вам не понять,
Рационализмом не измерить,
Рожать — особенная стать!..

Да, но, значит, в городе Киеве есть дети. Есть много детей, есть здоровые дети.

Но ведь (сейчас я открою Америку), но ведь это будущее России! Ибо если они есть в Киеве, почему им не быть повсюду?

* * *

С этой минуты мои странствования на некоторое время приобрели особый отпечаток: хождение по детям.

Их было много. По всем улицам, которые имеют склон (а сколько их в гористом Киеве!), они неслись в санках сквозь синеву теней и желто-оранжево-золотые пятна на снегу. Здоровенные дети разных возрастов. От малюток до почти парней. Много девочек, но мальчиков больше.

Одеты? Ничего — не мерзли.

* * *

Я пошел туда, вниз, в направлении, где вся эта часть города примыкает к полотну железной дороги. Это всегда считалось, так сказать, мещанской частью города. Одноэтажные домики и все прочее такое. И притом тут русское мещанство по преимуществу было. И сейчас оно осталось такое. Еврейских детей тут было мало. Это ведь видно хорошо по

лицам. Еврейские дети тоньше чертами и старше выражением лица. Здесь таких почти не было. Здесь была русская стихия. Миловидные кругленькие рожи. Из всех наций русские дети — самые детские. Местами их было много, просто кишмиш, сотни. Все это пищало и верещало, и была радостна эта возня под морозным солнцем... Сколько здоровья, сколько этой самой «праны» они украли у природы в эти «светодарные» часы. А я наслаждался... Я ходил в этом супе àla Russe, борще из детей и салазок, приправленном солнцем заместо сала и снегом в качестве сметаны. Кажется, впервые я почувствовал себя совсем на родине.

Вы — наши, а мы — ваши...

* * *

Где я это слышал?

Да двадцать лет тому назад... Здесь же, в таком же мещанском гнезде. Это был трагический день. Это было 19 октября 1905 года.

Но это неважно. Важно то, что сегодня, как и тогда, меня обтекала вот эта русская мещанская стихия и что я чувствовал биение ее сердца, что был мне знаком, родственен и понятен взволнованный пульс этого малороссийского ручья... 〈...〉

* * *

Через царство детей я прошел под железной дорогой в царство мертвых, т. е. на кладбище. Тут крутая улица в гору. По левую сторону старое кладбище, по правую — «новое», которому уже лет тридцать. И вот, между этими двумя огромными станами мертвецов струился радостный поток жизни. Санки летели с самой высоты горы. А прямо против кладбищенских ворот был ухаб. Этот большой ухаб заставлял высоко подпрыгивать сани в воздухе. Мальчики и парни показывали здесь свою «удаль». Швырнет сани вверх, и вот надо усидеть, не скривиться, чтобы еще с большей быстротой понестись дальше. Несколько взрослых остановились посмотреть на забаву. Интересно. И старик какой-то седой, немножко странный, подошел к ним и смотрел тоже. Это был я.

Я подымался по этой горе. На «старом» я мог бы отыскать могилы отца и матери. На «новом» есть безымянная могила — это сына. Между этими двумя поколениями легла дорога, по которой я пришел. Это дорога жизни, по которой струится буйный ее ручеек. Но почему я-то бреду по ней? Почему я не на «старом» и не на «новом»?

* * *

Я взял вправо. И на этой аллее я видел то, чего больше нигде в России не увидите: я видел чины, ордена, мундиры... Все это высечено на мраморе плит и памятников, сохранено в надгробных изображениях. Царство мертвых сберегло прежнюю жизнь.

Для чего я пришел сюда?

Очевидно, для того, чтобы сказать: «Там, далеко, откуда я пришел, там есть еще эта жизнь, ваша жизнь,— мертвые! Пошлите же через меня ей свой загробный привет».

И мертвые приказали мне сказать: «Живые! Привет вам от мертвых. Привет и завет: сохраните, живые, живую душу живой. А о том, что тлен, прах, земля и к земле возвратится, не заботьтесь...»

Нет, я пришел сюда и для того, чтобы найти могилу сына. Я знаю, на ней стоял лишь крест без имени. Нельзя было написать имя тогда.

А теперь я не нашел ее: глубокий снег завалил все проходы. Я ходил там, увязая. Мои следы были глубоко синие, а снег отливал оранжевым золотом. Я помолился где-то

неподалеку. Не все ли равно — два шага ближе, два шага дальше? Отец Наш Небесный услышит...

* * *

Солнце зашло. Небо стало зеленоватым. Мороз крепчал. К раскрытой свежей могиле, желто-серым песком плеснувшей на белизну снега, подходили люди, несли гроб. Нарядно-печальное пение дымком ладана струилось к первой звезде.

Я ушел с кладбища. И еще углубился в «мещанскую стихию». Было уже темно, мне очень захотелось чаю. Какой-то домик, совсем невзрачный, приманил меня. На нем было написано — «Чайная».

Я вошел. Это была низкая комната, с железной печечкой посередине. Стены обклеены белой бумагой. Столики тоже крыты бумагой. Хозяин стоял у прилавка. Больше гостей никого не было.

Я сел в углу. Подошел молодой человек, которого я сначала принял за еврея, но потом понял, что он грузин. Хозяин тоже был грузин, седой, красивый. За перегородкой женский голос, хозяйственный — русский. Все говорили по-русски.

Я спросил чаю. Принесли сильно сладкого и ломоть белого хлеба.

Около печки кто-то грелся: человечек молодой, обыкновенный, русский. Было уютно. Из-за перегородки хозяйка, которая казалась мне красивой и молодой по голосу, говорила с грузином постарше о чем-то хозяйственном.

Отворилась дверь, и вошел «некто в бурке». Он вошел шумно и сразу наполнил громкой болтовней затихшую комнату. Шумно поздоровался с хозяином, зычно приветствовал невидимую хозяйку, со стуком поставил табуретку перед печкой. Уселся, спиной ко мне. Мне был виден его затылок, в какой-то фуражке или кепи, и несгибающаяся бурка, изобразившая геометрический чертеж на фоне светящейся печки. Я успел разглядеть, что это человек немолодой, худощавый, между сорока и пятьюдесятью.

— Кавказская? — спросил грузин про бурку.

— Какое там! Наша. Вот лезет уже. Дрянь! Да что у нас хорошего? «Советская республика»... «Сере»!..

Я прислушался. Но он говорил так оглушительно, что если бы я хотел не слушать, то слышал бы.

— Что у нас есть хорошего? Кому у нас хорошо живется? Жидам одним!

Мне показалось, что хозяин хотел бы переменить разговор.

— А как там, на съезде, что пишут?

— На съезде? Да что там... Зиновьев, Бухарин!.. Все только, чтобы нам головы дурить!..

Хозяин не поддерживал этого разговора. Человек около печки как будто бы заерзал. А бурка продолжала оглушительно:

— А почему? А потому, что мы, русские,— дураки! А потому, что мы, русские,— сволочь!.. Так нам и надо! Что мы такое? Мерзавцы!

Человек около печки явственно заерзал. И наконец сказал:

— А вы-то кто?

И еще что-то такое, чего я не расслышал.

Бурка ответила:

— Я — я украинец! В своем государстве живу, потому так и говорю, потому что на украинском языке другого слова нет, как только «жиды». Я потому и говорю «жиды», что иначе нельзя сказать. У нас на Украине, в украинском государстве, «еврей» нельзя сказать. Вот потому я и говорю — «жиды»!

Очевидно, я что-то пропустил. Сделал ли хозяин ему какой-нибудь знак, или ерзавший человек около печки ему шепнул, что, мол, тут кто-то есть (про меня, конечно), кто может быть жид, но, словом, музыка пошла не та.

Он продолжал так:

— Я, как украинец, говорю — «жиды»! Но я не погромщик. Я жидов люблю. Я вот у жида служу. Говорю ему: «Дайте рубль». Дал. А русский бы не дал. Свой, русский. Потому что мы — сволочь, русские! И в праздник жиду сказал: «У меня вот праздник. Отпустите». Отпустил. А русский русскому — волк. Кто выдает, кто доносит? Русские. Дрянь мы, мерзавцы! Но я не погромщик...

Тут его голос стал совершенно оглушительным. Бумага колыхалась на стенках. И печка притаилась в ужасе.

Хозяин сказал:

— Да не кричите так.

Но это его еще больше подзадорило.

— Нет, я не погромщик. Когда погром был, кто жидовку спас? На углу, во втором этаже, кто спас? Я. Я ворвался и детей ее взял на руки. И не дал. Говорю: «Не трогайте, она хорошая жидовка». Я не погромщик. Но я скажу: сами мы, русские, виноваты, сволочь! Зачем друг на друга идем, зачем? Зачем все сделали? Сами ее, эту «свободу», задушили. Я не говорю уже, нужна свобода, да разве так надо было?! — Он вдруг замолчал, как бы оборвался на самой высокой ноте. Потом добавил гораздо тише: — А знаете, что я вам скажу? Последние времена приходят: жиды против жидов пошли! Когда это видано было?! Ну мы, русские, мы сволочь, всегда так делали (тут он опять стал вопить). Но жиды всегда заодно были. А теперь: ей-богу, жид жида выдает!!!

В это время открылась дверь. Вошел еще человек и с порога сказал:

— Да ты не ори так! На улице слышно!

После этого он оглянул комнату, на мгновенье остановился на моем незнакомом лице. Наверное, тоже подумал, что я из жидов.

Как бы там ни было, с этой минуты стало тихо и обыденно.

Разговор упадает, бледнея...

Я выпил чай, съел хлеб и ушел через темные улицы. Впрочем, не более темные, чем они всегда были. Электричество не уменьшилось, на мой взгляд. Конечно, «электрификации» в ленинском смысле нет и в помине, но в общем — вроде как было до революции. Кое-где дети продолжали салазничать при свете фонарей. Ночь была нарядная, снег еще чистый, серебряный...

Обо всем понемножку

Однажды я пришел в одну молочную. Ее содержала «средних лет» гражданка. Я сюда уже несколько раз заходил, потому что здесь давали какую-то простоквашу с мудреным именем вроде Муссолини, нет, не Муссолини, а мацони. Я, значит, стал мацонистом, но не потому, что, кто кушает мацони, молодеет, как уверяла хозяйка, а потому, что в этой маленькой молочной не замечалось подозрительных личностей, да и вообще «сидячих» посетителей почти не было. Придут, спросят молоко, хлеб, еще что-нибудь и уйдут. Заходили все больше женщины в платочках. Раз как-то пришла молоденькая, спросила хлеба. Это было на праздниках Рождества Христова, по новому стилю. Хозяйка говорит:

— Нет хлеба.

— Почему?

— Да потому, что праздники, не выпекли.

Молоденькая повернулась с сердцем. И, взявшись за ручку двери, бросила вовнутрь молочной:

— Праздники? Разве это праздники? Праздники еще впереди, а эти праздники одни дураки празднуют! — И хлопнула дверью.

Мне при этом вспомнилось, как Троцкий все обещал дверью хлопнуть. Но пока еще не хлопает. А вот тут уже начали.

Хозяйка пожала плечами и посмотрела на меня, как будто хотела сказать: «А я-то тут при чем?». ⟨...⟩

В это время вошел какой-то человек огромного роста, крайне широкоплечий, словом, богатырь. Он занял столик против меня, но сначала не обратил на меня внимания, а стал разговаривать с оставшейся молодой девушкой, как с знакомой. Она его спросила:

— А что ж он?

Он махнул рукой и ответил устало-могучим голосом:

— Что ему сделается! Выпустят. Разве же они разбойнику что сделают? Это все друзья. Все они одинаковы!

Девушка что-то пробормотала и тоже ушла. Тогда он, облокотившись могучими кулачищами на столик, остановил свой какой-то угрюмо-добрый, если такой может быть, взгляд на мне. И некоторое время рассматривал, как я хлебал мацони, которое так и не дали мне до сих пор кончить. Закусывал я куском белого хлеба.

Так продолжалось некоторое время, потом он неожиданно спросил меня:

— Это вы поверх завтрака?

Я сначала не понял. Он пояснил:

— Вы уже позавтракали? А это так — добавка?

Я ответил:

— Нет, это я завтракаю. Вот еще чай буду пить.

Он как-то печально и презрительно-ласково подтянул губы, покачал головой.

— Как это вы, городские, кушаете... Что это за завтрак? У нас завтрак — одного хлеба фунта три, а за целый день и шесть съедаем. Да сала, да колбаски, или миску с мясом. А такой завтрак... Плохо вам живется?

Это было продолжение того же самого. Может быть, он и не ест шесть фунтов хлеба, так себе прибавляет, но смысл этого апострофа ясен: жалко ему меня. Я ответил:

— Это, знаете, от работы зависит. Наша работа городская, так сказать,— головная, она другой пищи требует. А деревенская работа, она иная, тут много кушать надо.

Он покачал головой и сказал с каким-то непередаваемым выражением доброты, печали и презрения.

— Да вот я уже десять лет не работаю! А есть все не разучился.

Я спросил:

— Как же так не работаете?

— А вот так!

— Как «так»?

— А вот так, что старое проедаю. Пусть оно пропадет все. Ничего не надо.

Я посмотрел на него с великим интересом. Что в нем было замечательного, это какое-то странное соединение могучести и обреченности. Этот человек кулаком убил бы быка, и это в нем чувствовалось. И вовсе не чувствовалось дряблой лени, наоборот,— притаившаяся, энергичная сила. Но какая-то печаль ее убила. Вот, не хочу работать! Не то что не могу, а не хочу...

Он продолжал смотреть на меня своим угрюмо-ласковым, тяжело-приятным взглядом. Поставил оба локтя на стол, подперся и смотрел прямо в глаза. И говорил голосом, который казался мягким, но от которого подтанцовывали чашки с мацони.

— Вот она спрашивала, что ему сделают? Ничего ему не сделают. Злодею ничего не сделают. Потому — сами злодеи. Кто он? Он — из партии. А что такое партия? Кто винтовки в руки взял и друг за друга стоит — вот это и партия. И все они такие — коммунисты. Деникинцы, бандиты, штундисты — всех их перевешать! Партия! По дорогам разбойничать, а потом друг дружке помогать по тюрьмам. Вот это значит партия!

Я обратил внимание, что он в эту компанию коммунистов и бандитов включил деникинцев и штундистов. Про деникинцев я не посмел спросить, но про штундистов спросил:

— Разве штундисты тоже плохие люди? Я думал, что они только Богу молятся.

Он внимательно посмотрел на меня, как бы стараясь понять, что я это искренно. И, по-видимому, решив в утвердительном смысле, сказал:

— Нет, нет, это вы не знаете... Это вы думаете, что они для церковности. Это только для виду так. А на самом деле тут все в том, чтобы партию составить. Один человек, коли разбойник, ему плохо. Сам себя выручай. А вот как разбойники соединяются, чтобы друг другу помощь давать, так это значит партия. А как называется, то это все равно. Вот эти штундистами называются. А все только видимость. Все только для того, чтобы до винтовок добраться.

Я слушал его с величайшим вниманием. От этой сумбурной, могучей фигуры веяло на меня деревней, которая, плохо разбираясь во всем том, что происходит, ясно, однако, чувствует, что добра от всех этих новшеств не будет. А он встал и заключил:

— Пока всю эту сволочь не перевешают, не буду работать. Пусть пропадает все...

И вышел, не хлопнув дверью. Притворил тихонько. Печальный и обреченный. Но не верилось, чтобы эта силища когда-нибудь не проснулась. Пусть появится хоть просвет надежды в этом десять лет грустящем сердце, и кто знает, что он сделает.

* * *

Я ушел из молочной и пошел без определенного плана действий, что со мной иногда случалось. Таким образом я попал на Еврейский базар, который иногда называют и Галицким. Я его не особенно хорошо помню, но на меня произвело такое впечатление, что базар сильно разросся. Тут сейчас было много рядов, которые нельзя было иначе назвать, как маленькими магазинчиками. И торговали решительно всем: обувью, платьем, посудой, не говоря о всякой живности. Мне показалось, что сюда ушла некоторая часть гонимой торговли. Теоретически это должно было быть так. Так как государство прижимает большие торговые предприятия, стараясь забрать их в свои собственные руки, то должна развиваться уличная торговля, корзиночного и лоточного типа, и полууличная — базарная, «будочная». Вот Еврейский базар был покрыт такими дощатыми отделеньицами, будочками, где кипела торговая жизнь. Я бродил между этими рядами и все это рассматривал, но, опасаясь, что и за мной могут подсматривать, стал торговать в одной будке большой красный платок с синими цветами и бахромочкою. Платок сей, как и множество ему подобных, был радостным красочным пятном на серости дождливого дня. За пять рублей я приобрел сие сокровище — воспоминание о Киеве.

С базара меня понесло на Крещатик, благо уже чуть темнело. Крещатик — главная артерия Киева, и Антон Антоныч просил меня не появляться там днем во избежание опасных встреч.

Пока я добрался, стемнело. Я на минуточку остановился на Большой Васильевской, которая ныне называется Красноармейская, где был наш клуб «русских националистов». В 1919 году членов этого клуба, не успевших бежать из Киева, большевики расстреливали «по списку». Где-то нашли старый список еще одиннадцатого года и всех, кого успели захватить, расстреляли. С этого и пошла молва, что «жиды расстреливают русских по алфавиту», и это сыграло немаловажную роль в дальнейшем. Состав киевской чрезвычайки в то время состоял почти исключительно из евреев, это доказано документально, личный состав чрезвычайки напечатан со всеми фамилиями. А в 1918 году этот злосчастный клуб расстреляли из тяжелых орудий, сделав несколько больших пробоин в доме. Меня интересовал этот дом с той точки зрения, насколько залатаны последствия «гражданской войны».

Ничего, все замазано, и если бы не старожилы вроде меня, то никто бы и не знал, что тут было. Сейчас здесь красноармейский клуб с соответственными надписями. Тошно.

Что касается пробоин и вообще внешнего повреждения города, то тут, кстати, все это заделали. В некоторых отношениях эти рубцы заживают слишком поспешно. Есть вещи, которые хорошо было бы, если бы остались неприкосновенными в своем разрушении, в воспоминание о том, как социалисты благодетельствовали русский народ.

* * *

Но вот Крещатик. Как известно, здесь протекала когда-то речка, при впадении которой в Днепр Владимир Святой крестил русский народ. Оттого эта улица и называется Крещатик. Сейчас ее окрестили улицей «Товарища Воровского». Не знаю, когда случилось сие событие: при жизни сего почтенного деятеля или после того, как его убил Конради. Дело от этого не меняется. Но название, принимая во внимание то, что делается на Крещатике, удачное: по Сеньке и шапка. Я хочу этим сказать, что евреи у в о р о в а л и эту улицу у русских. Впрочем, такое мое впечатление сложилось после того, как я прошел ее от начала до конца.

Теперь же, рыская глазами, как волк, направо и налево, на предмет опасных встреч, я вместе с тем старался дать себе отчет, что такое современный Крещатик, улица воровских товарищей тоже.

Прежде всего — самое общее впечатление. Освещение? Достаточно яркое. Уличные фонари в исправности, в порядке, как прежде. Из окон витрин и кинематографов света тоже достаточно. Местами даже неудобно для меня.

Движение? Движение большое. Ползут трамваи с их желтыми фонарями, и мчатся, ослепляя ярко-белыми глазами, автобусы. Это новость для Киева: их раньше не было. Автобусы, по-видимому, недурные, с внешней стороны темно-красные, чистенькие. Садиться в них не решался.

Автомобилей, сравнительно с западноевропейскими городами, мало. Ими до сих пор, по-видимому, по-прежнему пользуется только начальство. Зато извозчиков масса. Такие, вроде прежних. Немножко, может быть, ободраннее.

Людей на тротуарах много. Я пока их не очень рассматривал. Все больше столбил около витрин.

Магазинов много, и за стеклами есть все. Разумеется, все это уступает, можно сказать, далеко уступает Западной Европе, но тенденция очевидна: стремятся поспеть за ней. Коммунистическая отсебятина имеет вид отступающего с поля сражения бойца. Впрочем, где она разворачивается вовсю, это в книжных магазинах. Книжных магазинов много, они большие, видные и роскошно освещены. Книг лежит за стеклом — тьма тьмущая. Но если к этому присмотреться, то это партийная макулатура, литературные упражнения коммунистов для собственного потребления. Убежден, что обыватели этой многотрудной дряни не читают.

Тут, можно сказать, царство ленинизма. Ленин здесь, Ленин там, Ленин так, Ленин этак... Для вящего эффекта всюду торчат его портреты во всевозможных видах: печатные, рисованные, скульптурные, в гипсе, глине, бронзе. Некоторые портреты сделаны превосходно и великолепно отпечатаны.

Рядом с этой политической требухой есть очень большое количество всяких научных изданий, в особенности по всякой технике. Техника, можно сказать, заливает советский книжный рынок. Не могу судить о ценности всех этих книг, но, наверное, есть и хорошие издания.

Чего совсем нет в этих ярко освещенных витринах — это беллетристики. Да откуда она возьмется? Старую отвергли, а новой нет. Ибо какую надо иметь бездарную душу, чтобы

вдохновиться на беллетристические темы при советском режиме? Ведь можно только лаять во славу коммунизма. А если только немножко начнешь писать то, о чем просит душа (а творчество без этого не может быть), так сейчас тебя сапогом в зубы.

Нападали на русскую цензуру, на «николаевскую» в особенности. А вот «николаевщина» дала нам Пушкина и все, что идет за этим именем. Что-то даст нам ленинизм? Демьяна Бедного? Так ведь от него даже Есенина стошнило. Это он выразил в одном стихотворении. В этих стихах он отчитал Бедного за его отношение к Христу. Разумеется, сие не напечатано, но зато ходит по рукам, благо Есенин помер, повесился, не выдержавши солнечной жизни СССР.

Книжные магазины как будто все казенные. Ну, это понятно. Раз никакой свободы слова нет и за всех думает государство, то оно и за всех печатает и своим добром и торгует. Ну, а остальные?

Все это не так просто разобрать. Надписи ни одной человеческой нет. Все какие-то тяжеловесные, иногда совершенно непонятные заглавия. Но в этой тарабарщине постоянно фигурирует слово «трест». Вот что такое слово «трест»?

Во всем свете трест — это есть сугубо частное предприятие. Соединяются люди одной и той же профессии (ну, скажем, сахарозаводчики) для того, чтобы создать предприятие гораздо более сильное, чем каждый в отдельности. Словом, это осуществление лозунга — в единении сила, или иначе: заводчики всех величин, соединяйтесь.

Так во всем свете. А у большевиков — наоборот: если трест, то, значит, нечто казенное, или вроде как казенное, субсидку, что ли, от казны получающее и всякое покровительство. Абракадабра какая-то! Во всем свете трест есть высшее выражение индивидуальной или личной свободной деятельности. А у большевиков в тресты загоняются сверху, по приказу начальства. Впрочем, о сем темном деле в другой раз.

* * *

Толковых человеческих названий, как раньше было,— фамилии купца и чем он приблизительно торгует,— этого почти нет. Сия страна для догадливых. Все под псевдонимом, начиная от самого государства и фамилий министров и кончая последней лавчонкой. Мне невозможно было особенно в этом разбираться, ибо приходилось зорко зыркать по сторонам, чтобы моего собственного псевдонима не раскрыли.

Зашел я в какой-то ярко освещенный магазин. Кажется, на нем было написано «Сорабкоп». Долго я скреб голову, пока я догадался, что сие должно означать: Советский рабочий кооператив. Этих сорабкопов, между прочим, тьма-тьмущая повсюду.

Тот, в который я зашел, помещается на углу Крещатика и Лютеранской (в кого они достопочтенного Лютера переделали — я не знаю), в бывшем магазине Людмера.

Вошел. Много света и масса людей. Еще больше предметов. Посмотрел налево — всякая живность, мука, масло, сахар, гастрономия, в глазах рябит от консервов. Посмотрел направо — тетради, карандаши, миски, чайники, лампы и всякие блестящие штучки. Одна такая блескунья меня приманила: дай, думаю, куплю стакаичик и блюдечко для бритья (из алюминия) на память о древнем городе Киеве. Пошел к прилавку. Не тут-то было. Толпа разных людей нападала на приказчика, почтенного русского, который изводился, доставая все эти предметы с разных полок. В помощь ему суетился молодой еврей, все больше на лестницу лазил.

С большим трудом я достукался до почтенного, который, однако, узнавши, что я добиваюсь блестящего стаканчика, что сверкал где-то вверху, как звезда, куда я умоляюще тыкал пальцем, передал меня искрометному еврею. Прошло немало времени, пока я добился до этого юноши. Юноша несколько раз лазал наверх, но все доставал не то. И при окончании каждой экспедиции на него набрасывалась туча женщин, требовавших чайни-

ков, рукомойников и ламп. Перед такими солидными покупательницами я, естественно, со своим стаканчиком оттирался. И для того, чтобы снова добиться еврея и объяснить ему, что он мне дал не то, мне опять приходилось пробивать себе путь, вроде как ледоколу. Наконец желанный стаканчик оказался у меня в руках, и мне удалось узнать, что он с блюдечком стоит рубль с чем-то. Но завладеть им я все-таки еще не мог: я должен был отправиться в кассу, заплатить, а потом вернуться к еврею.

Касса стояла посреди помещения, и обвивало ее две очереди. Одна очередь была как очередь, а другая — люди без очереди. Это кажется неясным, но на самом деле это очень просто. В особенности, если принять во внимание, что «очередь как очередь» была русская, а «очередь без очереди» была почти сплошь еврейская. «Очередь как очередь» образовывалась естественным путем, а «очередь без очереди», состоящая, как я уже указал, преимущественно из дам в шляпках, получше одетых, еврейского происхождения, образовывалась так:

Каждая новая шляпка, шубка или ботики, подходя к кассе, неизменно говорила: «Или я член кооператива, или нет? Мне кажется, мы получаем без очереди!» На что русская публика иронически улыбалась и указывала: «Для безочереди — вот очередь!»

Из сего наблюдения мне выяснилось несколько вещей: во-первых, что члены «советского р а б о ч е г о кооператива» — не рабочие. А во-вторых, что солидное число сих членов еврейского происхождения.

Естественно, я встал в нормальную очередь этак приблизительно двадцать пятым. Надо отдать справедливость кассирше, она работала хорошо, как, впрочем, кассирши всего мира: самая темпераментная профессия.

Заплатил то, что мне полагалось, получил билетик и отправился атаковать моего еврейчика. Долго я штурмовал, пока добрался до него. Когда это случилось, оказалось, что он, естественно, за это время забыл об этом несчастном стаканчике и абсолютно не помнил, куда он его засунул. Пока он его искал, меня снова оттерли, а его позвал степенный приказчик — русский. Понадобился новый штурм, и наконец я завладел своим сокровищем.

Может быть, очень хороши советские рабочие кооперативы в сравнении с тем временем, когда люди падали от голода на улицах и вместо чаю и сахару грызли булыжники, но по сравнению с обыкновенной торговлей, какая есть во всем свете, не особенно удобно.

Вот учил их Ленин торговать, а до сих пор не выучились.

Но, когда я, купив все, что мне надо, обозрел все помещение прощальным взглядом, мне вдруг вспомнилось: где-то я видел что-то похожее на это, но только гораздо лучше.

Да, на углу Литейного и Кирочной, в Петербурге. Огромный магазин «Общества офицеров гвардии, армии и флота». Ну да, они просто скопировали эту мысль. Этот знаменитый «советский рабочий кооператив», где не видно никаких рабочих, а причем советы, тоже неизвестно, есть, в сущности говоря, акционерное общество, в котором все члены этого кооператива являются маленькими акционерами. Акционеры эти имеют некоторые преимущества, как-то: скидку, кредит и получают без очереди. А в остальном это есть торговое предприятие, как и всякое другое. Такими именно и были Общество офицеров армии и флота и другой огромный магазин Общества гвардейских офицеров. Но только офицеры торговали прекрасно, у них был великолепный порядок.

Так вот оно что. Так для того, чтобы создать эту карикатуру с хорошего образца, надо было огород городить. И создавать социализм.

Бескрайняя человеческая глупость. Есть ли тебе предел?

А впрочем... не так-то это и глупо. Персональный-то состав тоже что-нибудь да стоит! Там, в тех старых предприятиях, превосходно поставленных, хозяевами были офицеры и их жены. А здесь? Пусть здесь только карикатура того. Но зато здесь распоряжаются граждане и гражданки «из наших», прикрывшись «рабочим» псевдонимом.

С известной точки зрения вся революция была только борьбой за смену «личного со-

става». Естественно, что и контрреволюция будет такой же.

Мне становилось не по себе в слишком большой яркости «рабочего» кооператива. Просили ж меня не показываться днем на Крещатике. А тут светло, как днем. Надо уходить, на улице темнее. А впрочем, даже намека на какое-нибудь знакомое лицо я пока не видел.

Кстати, по поводу лиц. На Крещатике можно найти отчасти разгадку, куда девались евреи с Подола. Они здесь. Насколько остальные улицы, и в особенности окраины, сохранили русский отпечаток, настолько на Крещатике множество еврейских лиц бросается в глаза. Для проверки я пробовал считать: на скольких евреев приходится один русский. Очень труден этот счет, и за него я не ручаюсь. Но все же то, что я посчитал, вышло так: на десять русских сорок евреев. Может быть, мой «процент», как и все проценты, хромает, но преимущество евреев над русскими на Крещатике — несомненно.

Тут происходит то, что в течение веков происходило в Малороссии во время владычества Польши. Когда евреи являлись в русские города и городки, они с течением времени занимали центр, так называемый «рынок», вытесняя русское население на окраины. Стоило проехать по бесчисленным местечкам Юго-западного края, чтобы в этом с точностью и с совершенной наглядностью убедиться. Здесь происходит то же самое, не с такой наглядностью, но в неизмеримо большем масштабе.

* * *

Следует ли из этого, что евреи довольны своим положением в Советской России? Я говорю не о коммунистах-евреях, а о широком еврействе. Я этого пока не знаю. Но сомневаюсь.

Насколько видит мой глаз, положение евреев привилегированное, они живут лучше, чем русские. Но значит ли это, что они живут хорошо, что они живут так, как им бы хотелось?

Я позволяю себе думать, что, когда они были на положении «угнетенной нации», они объективно жили лучше, чем в состоянии привилегированного сословия. Здесь применима греческая поговорка: «Лучше быть поденщиком в этом мире, чем царем в царстве теней».

Что из этого привилегированного положения, когда руки связаны? Настоящий еврей живет оборотом. Широтою коммерческого размаха. Какая ему нужна «свобода»? Первая свобода — торговать свободно. А тут хотя и «учат торговать», но сами учителя портачи и то и дело, смотри, выкинут какую-нибудь пакость, которая зарез для коммерческого человека.

* * *

Не выдержав искушения, я все же еще юркнул в один магазин. Кажется, это был Бумтрест, но не ручаюсь, словом, писчебумажный. Приманили меня открытки города Киева. Те самые, которые сейчас издает «Ольга Дьякова» в Берлине, но забавно было их купить тут же, на месте, чтобы потом «хвастаться» друзьям. А кстати, хотелось купить несколько портретов гениального. Очень уж он выразительно делал на меня свой прищуренный глаз, который воспел Горький. Он рассказывает, что, когда Ленин так щурился однобоко, у него было необычайно доброе лицо. В одну из таких добрых минут бывший босяк Максимушка решился подползти к коленам пресветлого и бил ему челом, вопрошая:

— Владимир Ильич! Вы жалеете людей?

Гениальный сделал добрый глаз и ответил:

— Смотря каких...

— То есть, как это? Осмелюсь просить пояснения.

— А так. Умных жалею!

И прибавил, сделав такой добрый глаз, что Максимушка совсем растопился в некую кляксу из слизи одесского порта:

— Только знаете, Горький. Умных-то из русских очень мало. Если какой-нибудь и найдется, то, наверное, с примесью еврейской крови. Так-то, товарищ Пешков...

А товарищ Пешков, захлебнувшись от восторга, поведал о сей беседе всему миру — «Отечеству на пользу, родителям же нашим на утешение».

Что ж удивительного, что в царствование Владимира Первого из фамилии Ульяновых евреи перебрались на Крещатик, а русские которые — не на Собачью тропу, так в Липки, в то место, где помещалась «Губернская» и «Всеукраинская» чрезвычайки.

Что ж жалеть дураков?

* * *

Так вот гениального с добрым глазом и без оного я себе купил на память. А Троцкого в шлеме и красавца мужчину Буденного и прочих знаменитостей, «рыкающих» и «бухарящих», которые глядят со всех витрин Матери городов русских, не купил. Поскупился. Впрочем, стоят они недорого, двадцать пять копеек за голову, только Ленин с добрым глазом подороже — сорок копеек.

Потом купил себе теплые туфли на улице. Знаю, что это не интересно для читателя, но только ради цены: два рубля заплатил. Доллар. За доллар какие бы я себе купил в буржуазной Франции туфельки! Богатые, должно быть, эти рабочие и крестьяне в рабоче-крестьянской республике, что тут все так дорого...

Занесла меня еще нелегкая в одно учреждение. Это уже совсем дешево: десять копеек. Что это такое, я не могу определить. Название забыл, да оно бы только запутало дело. Какие-то плутоватые жидочки сидели около кассы. На их лицах при большей внимательности можно было бы прочесть: какой ты дурак, что нам платишь хотя бы десять копеек... В этом учреждении нестерпимо выла какая-то музыка, очевидно, нечто механическое, и стояли весы, где можно взвешиваться, силомер. Был еще второй этаж, так там что-то ели и пили. Впрочем, света была масса и тепловато: парочки заходили сюда, очевидно, погреться. Но и так народ был, вкушая сие простое и здоровое развлечение: взвесится, попробует силу и довольно. Хороший народ русский, нетребовательный.

* * *

В Cinema я не решился пойти. Но заметил, что большой кинематограф, который помещался в зале Шанцера, называется Госкино, что понятно — Государственный кинематограф. Но шли в этом государственном кинематографе вещи не очень государственные, или, вернее, не того государства: приключения национального английского героя Робин Гуда. Публика валила. Света масса и все, как в Западной Европе...

Понемножку, понемножку, стараясь как можно больше увидеть и как можно меньше себя показать, стал я приближаться к городской думе. Шел по левой стороне, там немножко потемнее, и вдруг наткнулся на нечто, что заставило меня впасть в кратковременный столбняк. В уличном газетном киоске я увидел ярко освещенное лампочкой объявление, на котором крупными буквами стояло: «В. В. Шульгин».

Впрочем, через мгновенье я нашел объяснение сей ошарашивающей меня надписи, ибо более мелкими буквами было написано: вышла в продажу книга «Дни».

Я знал, т. е. мне говорили, что большевики выпустили мою книжку. Но все-таки встретиться лицом к лицу со своей фамилией, в то время, как я путешествовал «под строжайшим инкогнито», в этом была своя пикантность. Если бы я на улице, тут же, закричал, что я — я, меня бы сейчас сцапали. А вот книжку мою распространяют. Но разве это не похо-

же на то, как они поступили и в других случаях? Например, трестовиков расстреляли, а тресты насаждают, торговцев уничтожили, а торговле обучают, и наоборот — интернационал насаждают, а каждому, кто из другой нации нос сюда покажет, голову оттяпают. Удивительные люди, какой-то заворот мозгов!..

Я подошел к будочке и, озираясь по сторонам, спросил книгу Шульгина «Дни». Барышня продала мне за рубль двадцать копеек. Этот автор, который, крадучись, трепеща, покупает свое собственное произведение,— чем не тема для карикатуры?

* * *

Схватив книгу, я успел только рассмотреть, что ее издало Ленинградское издательство «Прибой», и побежал дальше. Впрочем, тут же, около городской думы меня ожидало новое удивление: лошадь с забинтованными ножками. Одного взгляда было достаточно, чтобы определить, что это «лихач» прежнего, старого времени... «Псевдоним» в данном разе состоял только в том, что традиционной сетки на лошади не было. А все остальное, как было. То есть хуже, конечно, как и все в этой стране, но все же лошадь была кровная и кучер толстый... Он явно дожидался кого-нибудь из новой буржуазии, чтоб «прокатить дамочку».

Лихач, пожалуй, поразил меня больше моей собственной книжки: ведь это, можно сказать, «концентрированная буржуазность», хотя и в самом скверном издании. Если вернулись лихачи, значит, вернулась роскошь дурного тона. А что же об этом говорит Его Величество пролетариат?

По-видимому, «народ безмолвствует», как и полагается народу в государстве «с сильной властью». Я же подумал о том, что недурно бы иметь в виду этого лихача на случай чего. Если к автору «Дней» пристанет некто, кто пожелал бы писательские дни сократить, то хорошо бы потихонечку и полегонечку привести его сюда и тут внезапно вскочить на лихача, посулив ему золотые горы. Черт его догонит, на то он и лихач!

Но, присмотревшись ближе, я признал этот проект никуда негодным. Лихач-то был не один: штук пятнадцать кровных рысаков стояли в затылок, дожидаясь «рабочих и крестьян».

Поэтому я не стал тратиться, да и надобности не было, а взял простого извозчика, симпатичного старика, бросив ему уверенно и небрежно:

— На улицу Коминтерна!..

Но старичок обернул на меня свою седую бороду времен потопления Перуна:

— Коминтерна? А вот уж я не знаю... Это где же будет?

— Как «где»? Да Безаковская!..

— Ах, Безаковская, вы бы так и сказали.

И мы поехали, тихо, мирно. Когда приехали, он открыл мне полость, как полагается, и сказал:

— Так это Коминтерна? Вот теперь буду знать!..

Я был очень горд. Недаром меня большевики печатают. Я и извозчиков им обучаю. Подождите, скоро доберусь и до народных комиссаров. Правда, про Сталина говорят, что «легче найти розового осла, чем умного грузина», но я все же не отчаиваюсь. Выучили же мы Ленина «новой экономической политике»...

День

«Я помню день...»

Этот день был такой: пошел с утра дождь, и была серая, мокрая, грязная погода. Не помню, как и почему я попал на Подол. Но раз я уже попал туда, хотелось его, так

сказать, понять,— старый Подол при новых обстоятельствах. И я не обращал внимания ни на дождь, ни на грязь. Тем более, чего мне. Я ведь в высоких сапогах, которые еще не вывелись в СССР.

* * *

И вот я шлепал по Подолу. Безусловно, я не ошибся. Евреев тут стало разительно меньше. А тех, старозаветных, бородатых, длиннополых, почти совсем не видно. Куда они делись? Бежали в разное время. Или просто выселились. Куда выселились? В другие части города, во-первых. В другие города — во-вторых.

Поэтому торговля тут затихла в сравнении с прежним. До революции здесь было такое оживление, больше, чем на каких-нибудь Налевках в Варшаве. Здесь была особая торговля. Кто чувствовал в себе мужество и умение торговаться, тот ехал на Подол. Надо было давать треть цены. А потом сходились на половине. Но обязательно с «уходом». То есть покупательница после бесконечного торга и спора, причем еврей развивал самое удивительное красноречие, а покупательница не менее удивительный скептицизм, уходила, но медленно. Обыкновенно еврей выскакивал из магазина с криком: «Мадам, мадам, пожалуйте...» Купив вещь, расставались мирно, с просьбами заходить еще.

* * *

Рыская, я пришел на какой-то базар. Шел дождь. Но грязная, неприветливая площадь все же была полна народа. Шлялось много людей, продавая вещи с рук. Стояло много рундуков, где было все: сапоги, мануфактура, посуда, еда, платья, лампы и всякая чушь. Я пошлялся между людей. И почувствовал, что все же, хотя я тут больше всего у места, я как будто бы привлекаю внимание людей, в поле зрения коих попадаю. Что во мне такое, я не очень понимал. Борода, что ли? Может быть, все бородатые тут на счету? Действительно, немного их здесь. Торгующие жиды какие-то по-новому сфасоненные. А может быть, борода не клеится к моему лицу? Но ведь она же собственная, а не приклеенная. Или потому, что издали я похож на еврея, а приглядеться — нет. И кажется им: «тут что-то не так». Или потому, что бродит человек, ничего не продает и ничего не покупает. Чего ему нужно?

Чтобы оправдать свое существование, я поточил ножик у точильщика. Камень заурчал, и искры сыпались красные в серый день. Точильщик был такой же, как всегда они были. С детства помню, как скрипела калитка у нас во дворе и раздавался резкий, высокий, гнусавый, тенорoвый кацапский крик:

— Тачить нажи, ножницы!..

И почему-то после этого опять раскрывалась калитка и как будто лопался огромный индюк бульбуком:

— Бондаря надо?

Боже мой, как это было давно. Вспомнилось под урчанье камня. Дождь падал, и матово, уныло смотрели потускневшие купола какой-то церкви...

* * *

Побрел дальше. Серый и грязный Подол. И отчего такие грязные русские города? Французские тоже грязные, но все же куда чище. А немецкие... об этом не стоит говорить...

Сказать бы: у нас грязь от коммунизма. Нет, коммунизма уже нет по существу, и город понемногу подтягивается к прежнему уровню. Еще не дошел, конечно, но ведь всегда было грязно у нас, что греха таить.

Так я попал на второй базар. Этот был крытый. Тут все больше продавались всякие вкусности. И всего было вдоволь: и мяса, и хлеба, и зелени, и овощей. Я не запомнил всего,

что там было, да и не надо, все есть. А я съел вафлю со сливками — заплатил пять копеек.

Все есть!

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

Я хотел бы, чтобы у меня было огненное перо. Чтобы это записать какими-нибудь такими буквами, которых нельзя было бы вытравить даже едкой пылью времен. Которые вечно горели бы в душах человеческих:

И, обходя моря и земли,
Глаголом жгли сердца людей!..

Кто их прожжет! Ни серной кислотой адовой марки, ни пламенеющим мечом Архангела... Все забывает это иродово племя, легкомысленное, как шарф пляшущей Иродиады. Вафля и та хранит свою печать, а люди...

* * *

А люди, когда «всю, всю, всю» торговлю уничтожили и явственно увидели, что «всем, всем, всем» придется подохнуть, тогда Великий Ленин «нэпнул» гениальные слова: «Учитесь торговать!..»

* * *

Умри, Косьма, лучше не скажешь.

* * *

Он и умер.

Что он мог сказать больше. Нельзя требовать от человека, всемирно признавшего себя ослом, чтобы он сделал что-нибудь гениальнее.

* * *

Но можно сделать еще кое-что более ослиное. Это, после русского опыта, быть bona fide * социалистом.

И потому мне хочется кричать «огнем и лавой» на весь мир, крещеный и некрещеный:

— Смотрите на этот базар. Тут есть все и для всех! Все — всем!!! Слышите, есть все и есть всем!!!

А ведь несколько лет тому назад не было никому ничего. И этот базар был как кладбище.

Только люди, вооруженные винтовками, как гиены среди гробов, дограбливали трупы, оставшиеся от старых времен.

Что же сделало это чудо?

Три слова: Новая экономическая политика — НЭП.

Новая... «Учитесь торговать...»

Итак, новая политика состояла в том, чтобы научиться торговать... по-старому. Есть ли предел человеческой глупости?

* * *

Ах, вафля! Сколь ты вкусна, выстраданная. Сколько жизней положено за тебя, вафля с белыми сливками! Целое Белое движение. И море крови, алой и юной, для того только,

* Добросовестный, чистосердечный (*лат.*).

чтобы ты, вафля, могла свободно продаваться всем и каждому за пять копеек на любом базаре сего тысячелетнего города, который видел много чуши на своем веку, но такой кровавой ерунды, какую устроили русские социалисты под еврейским руководительством, еще не видывал.

— Дайте еще! Вафлю!

Была не была. Кутить так кутить во славу Нэпа! Вечная память Владимиру Ильичу. Умел воровать, сумеет и ответ держать... Там — в царстве теней...

Как, где справедливость? —
Вскричал Плутон, забывши всю учтивость.
Эх, братец,— отвечал Эак,—
Не смыслишь дела ты никак...
Ты видишь ли — покойник был... дурррак...
Пусть погубил он целый край,
И мир с ним бед не обобрался,
Но все же попадет он в рай,
Ведь он... торговле обучался!!!

* * *

И по этому базару я побродил между рядами. Опять старозаветных жидов что-то не видно. А небезызвестные киевские торговки есть. Здоровенные хохлушки, обольстительно ласковые к хорошему покупателю и с запасом таких словечек для нахала, что босяки не то краснеют, не то бледнеют.

Где-то бренчал инструмент. Я подошел. Несколько человек, став в кружок, слушали. Человек пел, аккомпанируя на балалайке:

Он целовал ее, он обнимал ее...
А она, страсти полна, все шептала: «Твоя, твоя...»

Он пел так, как поют нынче в пролетариате цыганские романсы, т. е. нестерпимо. Но по некоторым признакам мне показалось, что он нарочно так делает, «для понятности». Местами прорывался вкус сквозь эти «кошмары».

Я встретился с ним взглядом. Уловил ли он взгляд интеллигентного человека, понял ли мою мысль, но он оборвал «кошмары», и пальцы его побежали по грифу, обнаруживая несомненную музыкальность. Побродив вообще, мелодия оформилась в стариннейший романс:

И думаю, ангел, какою ценою
Куплю дорогую любовь...

Я чувствовал, что он играет эту старину для меня. Нет, он не стал. Это была песня без слов. Это было какое-то деликатное и трогательное внимание к седому старику, «преклонившему ухо». Зачем слова? Они неуместны, и любовные не пристали бы к сединам. Но мелодия, она ведь всем возрастам благотворна. «Пусть старичок утешится, вспомнит. Тоже ведь молод был». Так он, верно, хотел сказать...

И мелодия, пошленькая сама по себе, но облагороженная внимательностью и чистотой, струилась тонкой серебряной паутинкой среди грубости базара.

Только он ошибся: этот романс старше меня. Я помню его из нот, оставшихся после матери.

Я дал ему серебряную монету. И отошел: слишком уже чуток был этот человек. И когда я уходил, вслед мне неслось:

Отдам ли я жизнь с непонятной тоскою,
С волненьем прошедших годов...

И был в этих словах какой-то жуткнй вопрос: отдам лн я жнзнь? А пожалуй, н отдам; кто его знает, не идет ли уже кто-ннбудь за мною?

Я вышел на улицу, прошел, постоял против какого-то магазнна, на котором была напнсана в разных варнантах «Т. Ж.». Я стал философствовать: «теже» равно «теже», то есть — «те же». Но почему «те же» н кто онн такне? Может быть, это про нынешиее положенне вещей в СССР?

Те же песнн, те же звукн...

Илн вернее:

Тех же щей, да пожнже влей.

* * *

Но потом я понял: «теже» иадо читать как «жете», а «жете» не значнт «выбрось к черту», как понялн бы в Париже, н не значнт — кабак иа воде, как поняли бы в Ннцце, а обозиачает просто — жнровой трест.

Но жнровой трест иадо тоже поннмать «духовно». Это всякая косметика. Таким образом, под этим салотопенным иазваиием кроются самые изящные продукты. Мыла всякне душнстые в красивеньких бумажечках, духи в волнующих флакоичнках, пудра — мечта — иу, словом, все такое, за что «жнрио» платят.

Этого самого «тежа» много в СССР.

Так вот, я постоял у Тежа, потом пошел обратно по улнце, пока ие дошел до Бумтреста (бумажный трест). По дороге мне попались Винторг, Сорабкоп, Госиздат, Укрнаркач, Укрпарпит... Я ие углублялся в них, нбо хотел выследить, ие следят ли за миою.

Нет, кажется, ннчего.

А впрочем, кто его зиает.

* * *

Захотелось есть. Увидел надпнсь: «Домашняя столовая Курск». Вошел.

Нечто сугубо простое, так сказать, трактир иизшего разряда, без спиртиых иапитков. В буржуазиых страиах, как Франция и Германия, таких даже иет. Жизнь пролетариев не опускается там так иизко. Я обедал в самых дешевых ресторaиах Парижа и Берлнна, и все же ннчего подобиого там ие увидншь. Чтобы увидеть это, надо пойти в самую бедную русскую эмнграциоиную столовку в Белграде нли в Софни. Мы приеслн туда стиль своей бедности...

Впрочем, нельзя сказать, чтобы хозяева ие делалн попыток борьбы со стнхией. Тут все же было не так грязио, как полагается. Молодеиькая девушка бегала между столами, крытыми иногда бумагой, ннogда серымн скатертямн с красиым узором. Оно производила впечатление лнлнн среди бураков. Пробор, гладко прнчесаниая, с тонким лицом, «хрупкая». Она все делала споро, ио с таким видом, что она «нездешняя». Одиако огрызаться она научилась. Очевндно, к ней «прнставалн». Я расслышал фразу:

— Не ценнте вы нителлнгентного человека!..

Ответ последовал немедленно:

— Интеллнгентного!.. С Сеиного базара!..

А совсем маленькая девочка, лет шести, тоже разносила блюда. Она делала это с недетскнм крнвляннем, но в промежутках прыгала на одной ножке, прнпевая тоненько:

Дозднк, дозднк, перестань...

Мы поедем на Ердань...

В углу былн образа, н горела лампада...

* * *

Я взял обед. Мне дали тарелку борща, сытного и вкусного... В сущности, я был уже сыт этим. Но съел по привычке и второе. Что-то мясное, тоже весьма ничего себе. О сервировке лучше не говорить — соответственная...

* * *

Разница между французским и русским столом состоит в количестве тарелок. Из русских двух блюд француз свободно делает шесть. Результат тот же, но французский стол отдает вековой изобретательностью, а русский — недавно разбогатевшим степняком. Некогда было додумываться до разнообразия, а потому берут размером порции.

Мой обед стоил сорок копеек «золотом», что равняется цене дешевых обедов в европейских странах. Такой обед в такой обстановке стоил в России при царях двадцать-двадцать пять копеек.

Таким образом социализм пока дал следующий результат. Интернациональный коммунизм уничтожил все и вызвал повальный голод. Нэп, т. е. попытка вернуться к старому положению, но не совсем,— вернул жизнь, но тоже «не совсем», а именно: жизнь стала вдвое дороже, чем была при царях.

Итак, если вы хотите, «голодранци со всого світа», претерпев годы каннибальских мучений, получить в награду жизнь вдвое хуже, чем прежняя, то, о пролетарии всех стран, соединяйтесь... соединяйтесь под стягом ленинизма!..

* * *

Против меня, под образами, сидела старая хохлушка, бедная. И с ней девочка лет десяти. Он пили чай — порцию. Ели хлеб. Девочка встала и подошла ко мне. Я хлеба своего не доел. Она привычным голосом попросила:

— Дайте кусочек хлеба.

Я дал. Она пошла к другим столам. Кто дал, кто нет. Девочка, собрав кусочки, пошла к бабушке, уселась, и стали допивать чай.

О, пролетарии всех стран!.. Эта девочка — остаточек от периода интегрального коммунизма. В буржуазных странах Запада так просить — стыдно. Подождите, наступит рай, потеряете стыд. Зачем в раю стыд, это — против Библии.

А старая хохлушка стала тут же под образами переобуваться. Но на нее напала нездешняя барышня с пробором и запретила:

— Может, которому гостю неприятно, что вы так делаете...

О, Русь святая...

Я заплатил нездешней девушке и ушел. Меня проводило несколько взглядов. Но, кажется, так просто... Без всякого подозрения насчет Белграда, Праги, Берлина, Парижа...

* * *

На площади я сел в трамвай. Трамвай такой же, как был. Вагоны в порядке, а по этой линии прежние удобные плетеные сиденья.

— Возьмите билеты, граждане!..

Кондуктор был молодой, из новых, очевидно. Тон у него несколько более властный. Вроде как в Западной Европе. Известно, что на Западе все люди держат себя так, как будто в каждом сидит будущий президент республики. Ну, и этот тоже преисполнен важности. Вероятно — партиец. Неважно, что он исполняет скромные обязанности кондуктора или

вагоновожатого. Все равно, он — аристократ, он элита, он сегодня вечером на партийном собрании решит судьбу земли, если не всей планетной системы.

* * *

В наш «демократический» век это неизбежно. Толпа за XIX столетие показала свою беспомощность. Это бессилие вызвало к жизни искушение владеть массами при помощи «организованного меньшинства». Это, впрочем, всегда так было. Только раньше организованное меньшинство, управляющее толпой, называлось аристократами, патрициями, буржуазией, дворянством. Ныне оно называется коммунистами и фашистами.

Аристократия не скрывала своего назначения, а метод ее действия был наследственный подбор людей, владевших оружием и мозгами. Буржуазия скрывала или не сознавала свое, а метод ее действия был выборное одурачивание.

Коммунисты поставили вопрос открыто: мы — соль земли, ибо мы сумели организоваться. Мы и будем править! Но на это ответили фашисты: вы — не соль земли, а просто сволочь. Дрянь всех веков тоже умела организоваться! Вы организовались во имя грабежа («грабь награбленное»). Но когда грабить больше нечего, для чего вы, уголовная шпана?

На это коммунисты, в свою очередь, отвечают двояко:

1. На словах они продолжают утверждать, что они несут миру социалистический рай. А все это нынешнее — только временное и что, поэтому, они не «сволочь», а спасители мира. SOS'ы.

2. На деле (в России) они, увидевши, что грабить больше нечего, стараются вернуться к устоям старого мира. И поскольку это им удается, они из уголовной сволочи превращаются в фашистов.

* * *

В этом даже нет ничего нового. Талантливые разбойники нередко становились правителями, когда они свою личную выгоду отождествляли с интересами какого-нибудь большого коллектива. Не могут стать правителями только те, кто искренно (не для выборного обмана) готов видеть в каждом гражданине Рюрика или Наполеона. Эта порода неизлечимо никчемна, ибо исходит из явно несостоятельного предположения о равенстве человеческих способностей.

Но для фашистов есть одна огромная опасность: достигнув власти, не превратиться бы самим в «сволочь». Как из разбойников бывают иногда созидатели, так крестоносцы превращаются нередко в мерзавцев. Это есть подводный камень фашизма. Фашистам следовало бы написать себе на лбу одиннадцатую заповедь: Не хами!

Опасность хамства, соблазн измывательства над бесправным (перед силой) населением — это есть та подводная скала, на которую сядет фашизм в той стране, где им не будет руководить человек исключительного благородства и неодолимой властности.

* * *

К этому фашистскому хамству (в идеологическом масштабе) принадлежат те взгляды, в силу которых народ третируется en canaille *.

И тут есть одна вещь, в особенности важная. Я говорю о той дозировке, сообразно которой должен привлекаться «народ» к так называемому «управлению».

Спору нет, что массы править сами собою неспособны. Но так же бесспорно, что, пока

* Сброд (*фр.*).

они в этом убедятся, пройдут века. В наше время вдолбить что-нибудь подобное среднему человеку совершенно невозможно. Каждый субъект, читающий газеты, что бы он об этом ни говорил, в глубине души думает, что и он способен решать государственные вопросы.

Но если бы он даже этого не думал, то ведь сам фашизм, как таковой, требует от всякого гражданина патриотизма, национализма. Что значит патриотизм? Это значит, что каждый человек обязан думать об интересе того коллектива, который называется родиной. Обязан защищать его, заботиться, испытывать за него тревогу, так называемую «патриотическую тревогу». 〈...〉

Это так понятно, что расписывать это долго не стоит. Но в таком случае естественно, что граждане, на которых возлагают обязанности патриотизма, т. е. заботы о своей родине, будут вопить:

— Хорошо. Мы готовы заботиться, мы готовы все сделать! Но дайте нам известную степень власти, иначе как осуществить нашу заботу?

И они будут правы. И это происходит потому, что патриотизм и национализм, как явления массовые, неразрывно связаны с неким демократизмом.

Фашизм должен это отчетливо понимать. Задача вовсе не в том, чтобы преградить массам (в той или иной форме) доступ к управлению, а только в том, чтобы это управление не имело роковых для самих же масс последствий. Для этого так называемым парламентам, которые являются фиктивными выразителями «воли масс», надо предоставить широкий, но ограниченный круг компетенции. Над этим кругом, в пределах которого парламенты могут свободно работать, трепать подлежащие им вопросы так или этак, перефасонивать их справа налево и обратно, над этим кругом должен стоять второй круг: из понятий незыблемых. Должен быть целый ряд постановлений, почитающихся непререкаемыми, священными, которых никакие массы и никакие парламенты и вообще никто в мире касаться не может. На страже этих понятий в качестве священной гвардии основных велений Божества и Природы и должны стоять фашисты.

Вот весь смысл фашизма.

* * *

— Вам куда билет, гражданин?

— До Николаевской.

— До Николаевской?

— Ну да, да, до Николаевской.

В это время я почувствовал, как на меня обернулись в вагоне, как будто я сказал что-то невозможное. А кондуктор поправил наставительно-сурово:

— До улицы Исполкома!..

Я понял, что сделал гаффу. Поправился:

— Да, да... До Исполкома...— При этом я махнул рукой, так сказать, в объяснение: — Всегда забудешь!

Так как я имел вид «провинциальный», то мне простительно. Но тут, кстати, могу сказать, что Николаевская — это, кажется, единственная улица, которую «неудобно» называть в трамвае. Все остальные можно говорить по-старому. Кондуктор по обязанности выкрикивает новые названия: «Улица Воровского», «Бульвар Тараса Шевченко», «Красноармейская», а публика говорит: Крещатик, Бибиковский бульвар, Большая Васильевская. Вот еще нельзя говорить «Царская площадь», а надо говорить «Площадь Третьего Интернационала».

* * *

Однако мне было не совсем по себе в этом вагоне, и я вышел не на Николаевской, а на этой самой площади Третьего Интернационала. И то походил вокруг площади, чтобы опре-

8—1565

делить, не вышел ли кто-нибудь из трамвая за мной. Нет, как будто ничего. А впрочем, как можно быть в этом уверенным: масса народу.

Я пошел в гору по Александровской. Мне захотелось посмотреть Исторический музей. Существует ли он?

Существует. Широкой, величественной лестницей, очень удачно скомбинированной по условиям места, я поднялся к знакомым, сильными мазками вылепленным двум львам, сторожевым.

В вестибюле столик — как и во всем свете. Продают билеты. Некий молодой человек.

— Вы — член профессионального союза?

У меня екнуло сердце. А вдруг сейчас же и расстреляют за то, что я — не член.

Но нет, не расстреляли. Он только сказал:

— В таком случае с вас тридцать копеек.

Ну, слава Богу... Я заплатил и тут же, в вестибюле, уставился на карету, в которой какой-то митрополит в Елизаветинское время путешествовал по Киеву. Ничего себе карета — золоченая.

Потом пошел в залы. Все витрины, кажется, на месте. Здесь, где-то в самом начале должно быть что-то очень древнее. Да вот оно.

Эх, старый ты, Киев. Пожалуй, не моложе Рима. Вот тут изображена раскопанная археологом Хвойкой стоянка первобытного человека. Двадцать тысяч лет тому назад!.. Трепет берет. Но почему, если тут жили наши предки до того, как провалилась Атлантида, почему мы так «отстали»? Впрочем, грешно скулить.

Если на месте Атлантиды, имевшей такую высокую культуру, что в некоторых отношениях она превосходила нашу современную, не осталось совсем-таки ничего, то еще, слава Богу, что у нас стоит великолепный город. Дай ему Бог простоять еще хоть десять тысяч лет! И чтобы его не пришлось раскапывать из-под пепла коммунизма.

* * *

Если подумать, что Китай изживал коммунистические опыты в течение столетий, что на этом вопросе сменилось несколько династий (в Китае коммунизм вводили богдыханы) и закончились эти эксперименты тем, что Китай впал в свою известную косность, получив на тысячелетия отвращение ко всяким новшествам, если сообразить все это, то поневоле станешь удивляться России: она изжила страшный бред социализма в течение нескольких лет.

То, что я вижу кругом, не оставляет сомнений. Здесь только — Scheinsozialismus *... По существу, с социализмом покончено. Скоро он будет запрятан в музей, и только матери будут пугать детей ужасной мордой Ленина.

Но если бы русский народ не обнаружил такой талантливости в расшифровании злодейского обмана, коим его временно опутали, кто знает, через двадцать лет «интегрального» не был ли бы Киев опять в том состоянии, в каком он был двадцать тысяч лет тому назад, ютясь в пещерах?

* * *

Пещеры. Вот, собственно, разгадка, почему человечество задержалось здесь в самые отдаленные времена. Ни красоты Днепра, ни богатство края, а исключительно — вопрос жилища. Киевские горы с их высококачественной глиной давали возможность строить подземные городки тем, кому было еще не под силу надземное строительство.

* Подобие социализма (*нем.*).

Подполье... Двадцать тысяч лет тому назад все люди жили в подполье, и там шла неустанная работа.

Впрочем, и сейчас, должно быть, в подполье идет напряженная деятельность. Не может быть, чтобы народ, так блестяще отбивающий самую страшную атаку, какая бывала в мире, соединенную атаку Социализма и Юдаизма, чтобы он не готовил в подполье удивительных сюрпризов.

Но скажут: как же он «отбил», когда, наоборот, он под властью коммунистов!

Так ли это? Или это только так кажется?

* * *

Когда-то часть Руси заняли литовцы. Русь стала литовским государством. Однако если бы кто-нибудь через некоторое время посетил эту Soit disant * Литву, то он не нашел бы в ней ничего литовского: религия, язык, обычай воцарились русские.

Так вот и здесь сейчас то же самое. На словах государство коммунистическое, на деле... А какое на деле?

На деле примитивно-обыкновенное. «Сильно-полицейское» государство. Грубая и жестокая олигархия под лживым ярлыком...

* * *

Ходил между витринами и смотрел, как набрякала культура. Какой длинный путь прошли здесь люди, прежде чем родилось русское государство, сработанное варягами и ими же погубленное.

Да, их погубили уделы. И надо было пройти ужасным бедам по этим полям и истечь столетиям, прежде чем мы нашли единодержавие и майорат.

* * *

⟨...⟩ Ну, вот конец. Опять карета архиерейская и затем вольный воздух!

Ох, стар я для музеев. Сюда зашел только потому, что это — свое. Ни в одном заграничном за все время эмиграции не был. А ведь в былое время русские только для того и ездили за границу.

Чудны дела Твои, Господи...

* * *

Я опять сел в трамвай, проследив, однако, не идет ли за мною высокий субъект подозрительного вида в кожаном, с черной головой, папахистой. Нет, отстал...

Ехал трамваем. Удобно. Народу немного, кресла больно хороши.

Поехал я не сразу «домой». Предварительно я поехал в направлении вокзала и слез там на одной улице. Это потому, что в тех краях я знал одну уличку, совершенно пустую. Мне хотелось пройтись по ней, чтобы определить, не прицепился ли кто-нибудь ко мне в течение дня. Хоть я был очень утомлен, но заставил себя это сделать.

Когда я попал в свою уличку-чистилище, она, как всегда, была совершенно пустая. Но когда я дошел до половины ее, то, обернувшись, увидел за собой, в начале улички, человека в черном пальто.

Я не придал этому значения: мало ли почему это черное пальто тут. Но на всякий случай взял его на прицел. Вышел на Безаковскую и пошел вправо. Обернувшись, увидел, что чер-

* Так называемый (*фр.*).

ное пальто тоже повернуло по Безаковской, только идет по другой стороне. Тогда, дойдя до угла Жилянской, я остановился у углового рундука и стал покупать почтовые марки. Купив марку, я пошел назад, в обратном направлении, и следил за ним. Черное пальто против рундука перешло на мою сторону и пошло за мной.

Это уже мне не понравилось: это обозначало, что он меняет курс сообразно с моим. Это было похоже на слежку. Вместе с тем я очень устал. Мне необходимо было и передохнуть и сообразить, что делать. Хотелось чаю. Я зашел в первый попавшийся трактир. Но это оказалась пивная, чаю тут не давали. Пришлось пить пиво. Я пил пиво, которого обычно не пью, и слушал, как кто-то избивал пианино на мотив:

Тут у нас запляшут
Горы и леса!..

Какие-то люди пили и рассказывали непонятные вещи громкими голосами, стараясь перекричать неистовую музыку. Все это сливалось в шум, раскатистый, подзадоривающий, пахнущий пивом и бедой.

Результатом всего этого было то, что я заснул там, за грязным столом. Я дремал, может быть, полчаса. И благо мне было.

Я проснулся свежий, бодрый. Мне нужен был этот сон. Просыпаясь, увидел, как кто-то с улицы подбежал к стеклянной двери, прильнул, заглянул и отлип. Исчез...

Это было плохо.

* * *

Я вышел. Взял вправо. На улице уже было темно. Зажглись фонари. И было довольно людно.

Пройдя немного, я различил черное пальто. Оно шло за мной. Только их было уже двое. Я понял: в то время, когда я спал в пивной, он, очевидно, по телефону, вызвал себе подмогу.

Я уходил от них вверх по Безаковской, соображая, что сделать, чтобы отвязаться. Шел быстро, но мне было ясно, что так от них не отделаешься.

Вдруг увидел трамвай, подымавшийся в гору по бульвару, то есть поперек моей улицы. Он подходил так, что попасть на него можно было только бегом, и то хорошим. Вот случай. Если я побегу к трамваю, это никого не поразит, ибо люди постоянно делают это. Этим я или избавлюсь от этих двух, или же, если они побегут за мной, твердо установлю, что они действительно прицепились.

Я побежал. Побежал с довольно большого расстояния, обгоняя толпу. Никто не обратил на меня внимания. Ничего особенного: старый жид бежит, чтобы поймать трамвай — понятно... Но когда я уже совсем подбегал, я увидел, что бежит еще кто-то. Этот кто-то обогнал меня у самого трамвая. Это был шустрый жидочек, молодой, весь в кожаном. Я понял, что это — тот, другой, которого послал старший, т. е. черное пальто. Еврейчик целился в первый вагон, а я сделал вид, что хочу вскочить во второй. Но когда он вскочил в первый, я прошмыгнул мимо площадки второго, за трамвай. Он не мог этого видеть, т. е. что я не вскочил, и уехал.

Слава Богу, от одного я избавился!

Но второй должен быть здесь, неподалеку.

И действительно. Я перешел на другую сторону бульвара, пошел вверх. Там было много народу. И хотя сильно темнело, мне удалось установить, что фигура (его длинное пальто расходилось внизу «клешем») телепается за мною.

Тогда я решил сделать вот что: дойти до такого места, где будет стоять один извозчик, сесть и уехать. За неимением другого извозчика он не сможет за мной следовать.

Дойдя до Владимирского собора, я взял влево по Нестеровской. Тут, когда он подлез под яркий фонарь, а я был в тени, я подверг его, так сказать, мгновенному снимку. Он был

хорошего роста, в приличном черном пальто с барашковым воротником, в барашковой шапке, длинных панталонах и калошах. Шел он с невинным видом, опустив глаза, и даже как будто держа ручки на животике. Меж тем шел, подлец, быстро, ибо поспевал за мной, а я не дремал. Лицом был чуть похож на покойного Николая Николаевича Соловцева, если кто помнит (увы, таких немного). Словом, я его хорошо рассмотрел и уже не мог бы ошибиться, смешать с кем-нибудь другим. Изучив его, а это продолжалось мгновенье, я пошел дальше. На углу Фундуклеевской, которая теперь неизвестно как называется, я увидел «одного» извозчика. Поспешно сел на сани.

— Куда ехать?

Да, куда. Много планов проскочило через голову и было отброшено в течение полусекунды. А вылилось все это:

— К новому костелу... Знаешь?

— Как не знать?

— Ну, поскорее!

Поехали. Обратно по Нестеровской. Я поднял воротник и отвернулся, чтобы не показать лица. И потому не видел, что он делает. А сказал я к новому костелу потому, во-первых, чтобы не сказать улицы: забыл, как она по-новому называется; а во-вторых, потому, что я знал, там есть места темные, то есть плохо освещенные; в-третьих, потому, что я там недавно был, когда ходил на кладбище; в-четвертых... в-четвертых, я сказал это инстинктивно, чувствуя почему-то, что так надо.

Санки бодро бежали по ледку. К ночи подморозило. Владимирский собор под светом электрических фонарей был загадочно-красив. Мы минули его и ехали по бульвару. Оборачиваясь, я видел и Нестеровскую — наискосок. Вдруг заметил, что там кто-то едет и хорошо едет. Нахлестывали лошадь. Она быстро приближалась к повороту, т. е. к бульвару. Куда возьмут? Если вниз, направо, то, значит, спешат на вокзал — это хорошо. Если вверх, т. е. влево, то это — за мной.

Взяли влево. Я был в это время уже около второй гимназии — моей гимназии. На мгновение мелькнула мысль о чем-то таком далеком, что неизвестно — было ли оно когда-нибудь... Тот извозчик быстро приближался. Лошадь шла полугалопом. У нее была характерная дуга, больше обыкновенной, которую нельзя было бы спутать. Я ее хорошо заметил. Около первой гимназии (с которой уже, между прочим, снят дивный бронзовый орел), «Императорской» гимназии (сколько за эти слова было молодой борьбы — мои сыновья тут учились), они меня нагнали. Лошадь была с большой лысиной, т. е. с белой отметиной через всю голову, а седок... сколько он ни прятался за извозчика, я его увидел на мгновенье: это был он — черное пальто... Ему, по-видимому, посчастливилось раздобыться другим извозчиком.

Мой извозчик взял вправо по Пушкинской. Лысая лошадь повернула за нами. И даже настолько приблизилась, что почти толкала меня в спину. Это было слишком ясно: меня преследовали.

Так мы ехали всю Большую Васильевскую, ныне Красноармейскую. У меня не составилось определенного плана. Смутное только было ощущение: надо юркнуть в темноту мещанских кварталов, где я был недавно.

Лысая лошадь все толкала меня в спину. Вот костел. Я приготовил целковый. Сунул извозчику, он остановил сразу. Лысая лошадь, не приготовленная к остановке, чуть не наехала на меня. Я, быстро уходя вниз, в полутемноту, все же увидел, что они тоже остановились. Лицо Николая Николаевича Соловцева мелькнуло на мгновенье.

Я старался уйти быстро, но это мне не очень удавалось, потому что было скользко. Я боялся упасть и повредиться. Тогда удирать было бы плохо. Но я не позволял себе оборачиваться. Пусть, если он сзади, он не знает, что я его заметил. До сих пор я ничем себя в этом смысле не выдал.

Я уходил вниз, а потом повернул влево уличкой, по которой я уже ушел недавно. Да, да, вот угол, лавочка, я ее запомнил.

Пройдя лавочку, я обернулся. Вот мерзавцы!.. Какую глупость я сделал. Бросив извозчика, я шкандыбал по улице на своих двоих, а этот негодяй ехал за мною с комфортом!..

Кроме нас никого больше не было на улице. Я спешил по тротуару, а сани в некотором отдалении следовали за мною. Они ехали шагом. Извозчик полуобернулся к седоку, как будто они обменивались словами, конечно, на мой счет. Очевидно, седок сказал извозчику, что он по обязанностям службы преследует преступника, и вот они теперь вместе меня выслеживали. Сомнения в том, что это они, не могло быть. Когда они подъезжали под фонарь, я видел лошадь с белой отметиной через всю голову и эту характерную дугу,— «больше обыкновенного».

Как от них избавиться?

Я сообразил, что прежде всего надо сравнять шансы, т. е. завести его в такое место, где он на извозчике не проедет.

И тогда блеснула мысль. Явился план.

Я узнавал эту уличку. Она выведет меня к кладбищу. За кладбищем предместье. Он будет думать, что я туда ухожу — на Соломенку. Но до кладбища...

И я пошел увереннее.

Вот высокая насыпь железной дороги. Им надо ехать под рельсами, через виадук. Дойдя до виадука, я вдруг бросился вправо и стал карабкаться на насыпь. Обледенелый снег не давался, но я помог руками и влез. Вот. Теперь попробуй-ка на извозчике «по рельсам»! Вскарабкайся на лошади на насыпь!

Прежде, чем уходить по шпалам, я обернулся. Они стояли у виадука. Я не сомневался, что он полезет за мной, но сначала расплатись с извозчиком, милый друг. Будешь ведь деньги доставать из кармана и считать. Не догадался приготовить.

Я побежал в направлении вокзала. Направо от меня был город, налево — кладбище. Кладбище было темное, приглашающее. Я подумал, что самое лучшее — перескочить через ограду и спрятаться среди могил. Во-первых, он, пожалуй, будет бояться мертвецов, а во-вторых, наверное, будет бояться меня. Ведь у меня может быть «игрушка» (на самом деле ничего не было). А я проберусь среди крестов и выйду с другой стороны кладбища. Я стал искать какой-нибудь тропинки в этом направлении. Мне показалось, что я ее нашел в снегу откоса. Я ринулся туда, но скоро понял, что ошибся. Я попал в глубокий снег, завяз, загруз... Здесь нельзя было пробраться.

Пришлось возвращаться. Я взбежал опять на насыпь. Как будто никого не было. Я стал уходить в прежнем направлении, к вокзалу. Думал, избавился от него. Но, внимательно всмотревшись в темноту, увидел черное пятнышко. Его с трудом можно было уловить, и то тогда, когда оно приходилось на чуть белеющем фоне снега. Это был он. Он двигался от меня шагах в двадцати. Ему меня, должно быть, было видно гораздо лучше, потому что я выделялся силуэтом на фоне зарева вокзала.

Как от него избавиться?

Я увидел подходящий поезд. Это был товарный поезд. Он шел не быстро. Я выждал вагон с «переходом», вскочил, перебежал на другую сторону вагона — соскочил. Значит, между ним и мною оказался идущий поезд. За этим идущим поездом оказался другой, стоящий. Я пролез под вагоном и оказался с другой стороны насыпи. Бросился вниз, стремясь, пока я закрыт поездами, как-нибудь уйти из глаз «черной точки». По снегу съехал вниз, но попал в колючую проволоку. Прорвался через нее. Перескочив через проволоку, оказался перед рядом маленьких домиков. Они уходили вправо и влево вдоль насыпи. Прямо передо мной были какие-то ворота. Открыты. Я вошел с целью пройти насквозь через двор, стараясь поставить между собой и им как можно больше «предметов». Во дворе на меня набросились собаки. На отчаянный лай вышла женщина. Но она ничего мне не сказала, не оста-

новила. Я прорвался через двор. По ту сторону была речка, а домики вдоль речки уходили вправо и влево. Значит, они были зажаты между речкой (это, должно быть, знаменитая Лыбедь, прошу вспомнить Иловайского — Кий, Щек и Хорив и сестра их, Лыбедь) и насыпью. Я пошел влево, т. е. в прежнем направлении. И стал, значит, красться вдоль стен домиков и заборов. Собаки заливались, потом отстали. Я быстро двигался вдоль стен над речкой. Я мог бы перебраться через речку, пожалуй, но по ту сторону реки были дома и заборы, в которых не чувствовалось прохода. Так я шел некоторое время. Несколько раз останавливался, вглядывался, прислушивался. Как будто бы никого. А вот «переход»! Да, тут переход через речку. Надо попробовать — сюда. Но предварительно, прежде чем отделиться от стенки, я присел на корточки, чтобы лучше слышать и видеть.

И услышал: в тишине снег хрустел под чьими-то ногами. И в то же время увидел: зловещее пятно кралось вдоль заборов.

Он-таки выследил меня! Значит, видел, как я бросился в поезд. Перебрался и он, а потом... а потом собаки, очевидно, выдали, куда я пошел.

Но раздумывать было некогда. Я бросился через речку. И тут мне повезло. На той стороне оказался совершенно незаметный пролаз в заборе. Я франшировал его. Попал в какой-то двор... Пробежал через этот двор. Опять пролаз-перелаз. Я перелез, и снова — двор. Пробежав и этот двор, я выскочил через ворота на какую-то улицу.

Это была та самая улица, по которой он меня преследовал на извозчике. Я побежал в обратном направлении, т. е. в город. Потом взял в другую улицу, в третью... Тут на углу нанимали извозчика. Единственного. Я отобрал его. Вскочил, поехали... Сидел, полуобернувшись назад. Нет, другого извозчика за мной не было! Но в светлых пятнах под фонарями мне казалось мгновениями, что я вижу бегущую черную фигуру. Или это была мнительность? Я пообещал извозчику пятерку. Он погнал. За пятерку, как известно, извозчик обгонит паровоз. Черная фигура, если она и была, исчезла... Я был чист! О, Господи...

Тут я увидел, что у меня рука красная. Что такое? Кровь? Да. Откуда? Должно быть, поцарапался на проволоке. «Улика». Поскорее вытер.

Я сказал извозчику ехать на Назарьевскую. Это тихая, пустынная улица. Одна ее сторона — большой сад (Ботанический). Снег серебрился здесь под голубыми фонарями. Я отпустил извозчика.

Никого не было. Мирно поблескивали кристаллики искристого снега. Я чист, безусловно чист. Зловещего пятна нет и быть не может. Но нервы шалят. Все кажется — черное пятно появится. И жарко мне, жарко анафемски... Как после боя.

Да, пожалуй, это и был бой... Поединок.

* * *

Теперь можно идти на свидание. В 7 часов у меня свидание с Антоном Антоновичем. Ужасно, если бы я не явился. Я потерял бы единственную ниточку, за которую держусь. Я остался бы совершенно один в этой громадной стране, которая моя родина и где нет ни одного человека, к которому я мог бы обратиться... Да, ни одного. Ибо все те, кто меня знал, если есть кое-кто из них, как они могут мне помочь? Весьма мало. А опасность я им принесу великую. И потому я одинок. Я буду трагически одинок, если я потеряю свой единственный кончик.

Так я раздумывал, осторожно пробираясь по той самой Безаковской, где началось преследование. А вдруг они еще кого-нибудь оставили тут, на первом месте. Мало вероятия. А вдруг? Почем я знаю, сколько человек было за мною? Я заметил двух, но разве это значит, что их именно два и было? А может быть, их было четверо? Может быть, старший приказал им тут дожидаться?

Эти мысли ползли, несмотря на их нелепость. Но не мог же я подвести того, кто меня ждал. Нет, это ни за что... Этих людей, которые мне помогают, нет!..

И вдруг я почувствовал, что по отношению к ним, этим людям, которых я так мало знал, по отношению к этим контрабандистам, у меня где-то в уголке сердца образовалась некоторая «вера и верность». Они доверяли мне. Они не должны ошибиться.

И, подходя к памятнику Бобринского, где у остановки трамвая ждала меня знакомая фигура, я сделал знак, обозначавший, что ко мне нельзя подходить.

Я пошел мимо него и направился вниз по бульвару. Бульвар идет посредине улицы. Тут никого не было. Выследить было бы легко. Я шел и, изредка оборачиваясь, видел, как за мной осторожно, на большом расстоянии следует знакомая высокая фигура. Это было сладостное ощущение после зловещего черного пальто. Я чувствовал, что опытный и надежный человек у меня за спиной. Если там еще есть кто-нибудь, он его сейчас же определит. Иногда он приближался ближе, и тогда я видел, как в темноте блестят его внимательные стекла. Но нет, положительно никого нет. Одни только тополя следили наш рейс по протоптанной в снегу тропинке, да вот еще тюрьма. Мы шли мимо тюрьмы.

Так мы дошли до Еврейского базара. Я остановился около чего-то, рассматривая. Он подошел и стал рядом, не оборачиваясь в мою сторону. Я спросил тихонько:

— Никого за мною?

— Никого...

— Наверное?

— Наверное...

Тут стояло несколько извозчиков. Я захотел для верности принять еще и эту предосторожность. Мы поехали. Он внимательно смотрел назад. Сказал:

— Нет, никого. А что случилось?

Я сделал ему знак, показав на извозчика, и сказал:

— Сейчас приедем.

Мы приехали на какую-то улицу. Отпустили извозчика. Для верности пошли еще куда-то. Я впереди, он за мною. Искали совершенно пустынной улицы, чтобы окончательно убедиться. Все это было лишнее. Но как-то все казалось подозрительным. Автомобиль несся, ослепляя фарами. Я спрятался за телефонный столб: а вдруг это сыщики рыскают. Вдруг вся милиция и все ГПУ поставлены на ноги и по всему городу ищут высокого старика в коротком пальто, в сапогах и с седой бородой. А фонари так ярко освещают... Черта с два, за столбом не увидите!

Где-то в пустынной улице какой-то человек долго шел за нами. Мы разделились и тщательно проверяли, не черное ли пальто. Все казалось подозрительным: люди, извозчики, автомобили... Пуганая ворона... Ум ясно говорил, что раз он потерял мой след где-то на окраине, то только в силу самой дикой случайности он мог бы оказаться в совсем другой части города. Но страх подозревал, что именно эта случайность и произойдет. Однако в конце концов это надоело, а очень необходимо было отдохнуть.

* * *

Мы зашли в какое-то заведение,— это была не то столовая, не то пивная. Тут было невероятно светло и очень пусто. Кроме нас один человек сидел в углу. Человек этот был молодой еврей в черной рубашке. Два таких же молодых еврея, бритые, с огромными шевелюрами и в черных рубашках, были на эстраде. Да, в этой небольшой комнате была эстрада в углу. И на ней двое — скрипач и пианист. Такой же молодой еврей пришел к столику принять заказ. И еще один такой же виднелся за стойкой.

Куда мы, собственно, попали? Это попахивало комсомолом или просто еврейской кухмистерской. Словом, мы тут были, очевидно, не на месте. Если я и еврей, то какой-то

совершенно démode *. «Откуда взялся этот тип?» Мой спутник в своих стеклах, которые казались моноклем, отдавал чересчур вызывающим «старо- новорежимным». Его вид говорил без слов: «Ничуть не скрываюсь. Все вы сволочи. А я нэпман, приспособившийся белогвардеец, и плевать мне на вас». Вот такая странная пара примостилась в углу, под оглушительным светом электричества: старозаветный почти еврей (а если не еврей, так кто же он такой?) и этот презрительный денди из старо-новых. Причем денди спросил пива, а потертый старик черного кофе. А должно было бы быть наоборот. И еще белого хлеба спросили, точно голодные. Я и был голоден.

Евреи заиграли. Бог мой! Никогда я бы не мог подумать, что из одной скрипки можно было выжать столь много звуков. Скверного звука, нестерпимого звука, но все же. Пианист тоже колотил что есть силы. У обоих была несомненно консерваторская техника и чисто большевистская напористость. Это оглушало не хуже бешеного электричества, отраженного стенами, крытыми белой бумагой. Скрипка визжала, выла, скрежетала. Никогда я не видывал ничего более еврейского.

Мы хотели поговорить, обсудить положение. Немыслимо. Ни единого слова нельзя было прокричать сквозь этот самум отвратительно верных звуков. Они выделывали чудеса техники, за которые хотелось запустить в них бутылкой. Вместо этого мы послали им пару пива. Они поблагодарили и recomencérent de plus belle **. Если бы они знали, что получили угощение от «погромщика» Шульгина...

Во всяком случае, здесь конспиративные разговоры исключались. Отдохнув, мы ушли в другое место, провожаемые внимательными, чуть насмешливыми взглядами. Я перед уходом попросил их сыграть один романс. Они сыграли. Но ясно было, что такая старина им смешна.

Они были снисходительно-пренебрежительны...

* * *

В другой кофейне было слишком тихо. Шептаться не хотелось, а если только повысить чуточку голос, это могло быть слышно людям, сидевшим за столами. Однако мы пили чай с пирожными и все же поговорили. Я рассказал связно все, как было.

— Мое мнение,— сказал Антон Антоныч,— что за вами гонялся уголовный розыск: по грубости этой работы это совершенно не похоже на ГПУ. Геписты работают гораздо тоньше. И почти исключительно на провокации. Во всяком случае, вам никогда бы не дали заметить, что за вами гонятся. Им это просто запрещено. Как только агент обнаружен, его немедленно переводят в другое место. Для ради его же безопасности. Ибо... ибо ведь это его счастье, что вы были без оружия. Если бы был револьвер, в горячности там, где вы были совершенно одни... конечно, очень хорошо, что этого не было. Ибо убийство действительно поставило бы на ноги все и вся. Я думаю, что это уголовники...

— Но почему? Разве я так похож на бандита?

— Какое-нибудь случайное сходство. Вы были на базарах. На базарах нередко ищут уголовных. Кроме того, здесь, в сущности, мало носят бороду. Могло родиться и такое подозрение, что, кто носит бороду, тот скрывается. А это подозрение вы могли усилить своим поведением. С точки зрения человека, который почему-либо следил за вами, как вы себя вели? Ходили по базарам. Но что вы делали? Не покупали, не продавали. Поточили перочинный ножик. Съели две вафли. Слушали музыканта. Затем поехали в музей. Разве все это похоже на серьезного, старозаветного еврея? Человек, который за вами следил, разобрал, что вы не еврей. Но если вы не еврей, то вы «человек в бороде». И по

* Вышедший из моды, устарелый (*фр.*).
** И опять взялись за свое (*фр.*).

всем этим признакам начал следить. А затем уже профессиональный интерес взял. Ему важно было выследить, где вы живете. Очевидно, вы ему были подозрительны только, но он не был уверен...

— Или — другое. Он хотел выследить сообщников, то есть куда я хожу. Ну, словом, «воровскую малину», то есть конспиративную квартиру.

И тут меня взяло неприятное сомнение: а ведь мы совершенно не знаем, с какого места за мной начали следить! Ведь это наше предположение, что с базара. Но, может быть, это вовсе не так. Может быть, меня следят от самой гостиницы. Может быть, уже давно знают, где я живу. Может быть, сегодняшняя слежка действительно была только для того, чтобы выследить сообщников.

Я высказал это. Он ответил:

— Раз вы постоянно следили за собой (а по сегодняшнему видно, что вы следили тщательно) и никогда не замечали, что за вами следят, то весьма мало шансов, что они знают вашу гостиницу. Но мы проверим это. Прежде, чем вы войдете, я обследую, нет ли каких-нибудь подозрительных типов вокруг. Если есть, вы не войдете. Пойдете ночевать в другую гостиницу. Документ при вас?

— Да... Но как без вещей?

— Скажете, на одну ночь.

— Но я ведь там не выявлен. А кроме того, если они знают, где я живу, то, конечно, знают и фамилию, под которой я живу. Значит, как только я заявляюсь в новой гостинице...

— Я вы не заявляйтесь. Скажите, на одну ночь. Они только впишут в книгу. Вас могли бы найти, только если бы сделали внезапный, этой же ночью, обыск всех гостиниц. Но это мало вероятно. Это могло бы быть только в том случае, если бы они знали, кто вы по-настоящему, и преследовали бы вас, как такового. Но в этом случае, вероятно, около гостиницы был бы целый штаб, и вообще они себя выдали бы как-нибудь. Или, наоборот, работали бы так тонко, что ни в коем случае не допустили бы этого медвежьего преследования.

— А вы не допускаете, что этот уголовный сыщик вдруг узнал меня, «как такового»? Если это кто-нибудь из старых киевских сыщиков, то они, конечно, могли меня хорошо знать. Он сначала погнался, желая сделать неожиданную карьеру на мне, а потом... потом, упустивши, позвонить в ГПУ, и оно примет гроссмеры...

— Никогда не позвонит! Самолюбие не позволит. Не позволит потому, что у него не может быть полной уверенности: вы сильно изменились...

— Значит, вы думаете, если кто-нибудь есть у гостиницы, идти в другую... А дальше?

— А дальше... А дальше надо вам уехать отсюда. Оставаться дольше очень опасно. Может быть, придется переменить паспорт. С другим паспортом и в другом городе вы опять можете плавать. Но это мы все обсудим, если я, убедившись, что около гостиницы не все благополучно, приду обратно. Но я думаю, что это не так. Он не гнался бы так за вами: психология не та...

Я уже некоторое время вспоминал Достоевского: «Психология о двух концах». В этих психологических предположениях совершенно никогда нельзя быть уверенным. Вот мы предполагаем, что он преследовал меня для того, чтобы узнать мою квартиру. Но, в сущности, для чего ему моя квартира? Чтобы во всякое время схватить меня? Но если на минуту предположить, что они знают, кто я, то схватить меня было бы глупо. Это имеет смысл только в том случае, если быть уверенным, что я выдам всех остальных. Ну а вдруг не выдам? Или если и выдам, то неважных, пустяковых. Запутаю, обману. Гораздо больше расчету дать мне полную свободу шататься всюду, где я захочу, и только следить, следить, следить... Следить и замечать каждое лицо, с которым я буду говорить, которому сделаю знак, каждый дом, квартиру, лавку, куда я зайду. Ведь они, конечно,

будут думать, что я приехал для великой конспирации. Следя за мною шаг за шагом, они откроют всех, к кому я прикоснулся так или иначе.

Я высказал это Антон Антонычу. Он ответил:

— Это верно. И, между прочим, я вам должен сказать, что, по-видимому, так и была раскрыта конспирация атамана Крука... на этих днях. Кто-то приехал из-за границы. Объезжал всех. За ним следили. И затем арестовали его, когда он собирался перейти границу обратно, и одновременно всех, взятых на заметку.

— Ну вот. Поэтому я и придаю такое значение этому вопросу, знают ли они гостиницу. Ибо то, что они следили за мной, еще ничего не доказывает. Они должны были бы следить и в том случае, если знают, где я живу. Психология-то о двух концах. Этот вопрос надо знать наверняка — без психологий. Если знают, надо во что бы то ни стало скрыться. Иначе я замараю всех, к кому прикоснусь. Сейчас я чист, хотя и не без трудов, и нельзя допускать, чтобы они опять взяли меня под телескоп. Ведь верно?

— Абсолютно. Мы так и сделаем.

— Да, пожалуйста... Ибо я бы не хотел...

— Чего?

— Я не хотел бы.

Утратить жизнь, и с нею честь...
Друзей с собой на плаху весть.
Над гробом слышать их проклятья...

Он рассмеялся, и пенсне блеснуло моноклем.

— «Проклятий», во всяком случае, не было бы. Мы здесь научились, наконец, понимать: «Один за всех, все за одного...»

* * *

Так мы разговаривали и пили чай. Я, кроме того, ел скверное пирожное: во время горьких испытаний всегда хочется сладкого. И когда пишешь статьи. Деятельность тоже, как известно, не медом мазанная. Ты же стараешься — тебя же ругают...

* * *

Факт тот, что я тянул время до двенадцати часов ночи по двум причинам: во-первых, чтобы придти в гостиницу попозже (легче выяснить, нет ли симпатичных личностей вокруг), а во-вторых, чтобы привести в норму свои нервы. Последнее же я мог сделать только путем последовательного размышления вслух, на основе перебирания всех возможностей.

Странное дело психика. У меня психика такая. Я волнуюсь, собственно говоря, не самой опасностью. Я волнуюсь ощущением, что я чего-то не додумал, что могло бы опасность устранить или уменьшить. Когда же я или «додумал», или события положили конец «думанью», то есть, когда я так или иначе пошел навстречу опасности, я больше не волнуюсь. Что-то захлопывается, и я вообще уже мало доступен «чувствам». То есть, вернее сказать, все чувства сосредоточиваются на всякого рода внимании и на какой-то своеобразной решимости: из каждого факта, обнаруженного вниманием, сделать вывод и на вывод ответить действием. И насколько мучительна первая эпоха — «думанье», настолько же вторая лишена чувств: ни мучительности, ни приятности. Когда человек на чем-нибудь очень сосредоточивается, он не чувствует чувств.

* * *

В двенадцать часов мы вышли из кофейной. На пустынной улице, где по искристому снегу вырисованы рисунки теней, я ждал его. Долго, показалось мне. Улица была пустынна, но все же гуляли парочки, и изредка проходили люди. Я старался не обращать внимания. Самое лучшее (по обстановке) было изображать пьяного, которому нехорошо. Между двумя телефонными столбами я спрятался и, когда нужно было, плевал в снег. Воображаю, как гадко было любовничающим. А вот, идите спать, нечего шляться по ночам.

Наконец, появилась высокая дендистская фигура, у которой пенсне блестело моноклем.

— Ну, как?

— Все хорошо. Я обследовал тщательнейшим образом. Не только фас, но я сделал каре, кругом четыре улицы. Положительно никого нет.

— Значит, я иду в гостиницу. Теперь о дальнейшем...

Мы условились. Дело в том, что ему нужно было ехать через четыре дня в Москву. Конечно, хорошо было бы ехать вместе. Но что мне делать эти четыре дня? Шататься по городу, как я делал все время, становилось небезопасным сейчас. И даже попросту опасным. Моя внешность, то есть мои приметы могли быть даны, да и черное пальто я мог встретить. Сидеть в гостинице? Очень хорошо бы некоторое время посидеть. Но не особенно ловко: приехал я, судя по паспорту, по делам казенного учреждения, значит, по утрам, по крайней мере, я должен «делать дело», а для этого надо выходить. А если я сам не выхожу, то ко мне должны заходить. Но ко мне ни один человек не заходит и не может зайти. И слава Богу. По крайней мере, если бы меня схватили и стали добиваться в гостинице, кто у меня бывал, то узнали бы, что ни одного человека не было. Как же быть?

Мы решили, что я притворюсь больным.

— И буду болеть ровно четыре дня. А потом — прямо на вокзал и уедем.

— Да. Только вы сейчас, когда войдете в гостиницу, дайте мне как-нибудь знать, что вы вошли благополучно.

— Вы опасаетесь внутренней засады?

— Нет, но на всякий случай.

— Хорошо. Мое окошко в третьем. Вы увидите с улицы свет, потому что я зажгу электричество. Если после этого свет потухнет и снова зажжется, значит, все хорошо. Если совсем не зажжется, значит плохо, значит, меня схватили в коридоре. Если зажжется, но не потухнет, чтобы снова зажечься, тоже плохо, значит, я не мог этого сделать. Если зажегся, а потом потух и больше не зажигается, значит, я в комнате еще свободен, но жду беды. Запомнили?

— Вполне. Если свет — плохо. Если мрак — тоже плохо. А хорошо только мигание... Понял. Я буду вас навещать каждый день два раза: днем ровно в час, а вечером — ровно в девять. Я буду проходить мимо вашего окна. Днем сигнализировать буду я. Вы меня караульте из окна. Если у меня руки в кармане, значит, все благополучно: вокруг гостиницы никого незаметно и вообще все хорошо. Если руки не в кармане — плохо. Значит, вокруг шныряют.

— Как же мне в таком случае поступить?

— Как? Пока отсиживаться... Может быть, они, ну, надоест им, уйдут. Я сейчас же вам сообщу, просигнализирую. Если нет и они будут сторожить, то одно из двух: или они сторожат вообще район, не зная, где именно вы живете, а значит, не знают и вашей фамилии; или же они все знают, но хотят выследить, что вы будете делать. В том и другом случае выгодно отсиживаться, выжидая минуту, когда можно выскользнуть. Ведь, наверное, будет такая минута. Не днем, так ночью. Когда-нибудь да зазеваются.

— Хорошо. Допустим, я выскользну. Что мне тогда делать?

— Тогда? Тогда, по-моему, лучше всего уехать.

— Куда?

— Все равно — куда. Первым поездом, только вон из Киева. И затем на какой-нибудь большой станции ждите меня: дайте мне телеграмму.

— А как же телеграмму? Ведь я...

Он пришел мне на помощь:

— Не знаете моей фамилии и адреса? Но мы сделаем так.— И он дал мне указания.

— Хорошо. Еще что?

— Каждый вечер в десять часов я буду проходить второй раз, и вы мне сигнализируйте выключателем, что все благополучно. Хорошо?

— Есть! Теперь все?

— Все, кажется.

— Ну, идем...

Не без трепета я позвонил в гостиницу. Через некоторое время за стеклом дверей (он не зажег свет внутри и чуть освещался уличным фонарем) появилась невероятная голова старика номерного. Она была точно в перьях. Он отворил, впустил меня, получил двугривенный. Ничего не сказал. Предупредил бы он меня, если бы там ждали, на темной лестнице? Может быть, да. Он вряд ли на их стороне. Но, наверное, нет, побоялся бы. Об этом я думал, подымаясь ступенька за ступенькой. Отчего так темно? Наверное, нарочно. Сейчас сверкнет электрический фонарик и уставится на меня в упор, ослепляя. И закричат: «Стой! Руки вверх!» Или просто схватят в темноте.

Прошел первый поворот — нет, ничего. Прошел площадку — тоже ничего. Зашел на вторую, тут уже свет из моего коридора. Другой номерной спит на диване. Он не спал бы так спокойно, если бы была засада. Вошел в коридор — все тихо. Теперь...

Теперь последнее испытание — войти в номер. Как я не догадался: если меня ждут, то, конечно, в моем номере. Я вложил ключ, повернул, открыл. Заглянул в комнату. Голубоватый свет падал через окно от уличного фонаря.

Нет, никого нет. Впрочем, я так и думал, что никого нет! (Так всегда «думается» — потом.)

Я подошел к окну. Я искал знакомую высокую фигуру на противоположной стороне улицы. Но не увидел. Он был слишком осторожен. Я чувствовал и был совершенно убежден, что он в эту минуту напряженно всматривается в окна моего этажа, ожидая сигнала. Но где он может быть? Он, вероятно, там, в этой подворотне, что смотрит темной пастью напротив.

Я опустил матерчатую, достаточно прозрачную штору. На всякий случай, чтобы меня не увидели из окон дома, что напротив. Почем я знаю! Может быть, та женщина, которую я несколько раз наблюдал, когда у них светло, за самоваром, сейчас прилипла к темному окну. Зачем ей знать, что против нее живет высокий старик с седой бородой.

Опустив штору, я зажег свет. Потом опять потушил, потом снова зажег. Я почти чувствовал, как мой сигнал воспринялся там, в темноте. Белая штора на окне не была бездушной: она как-то одобрительно мягко белела складками. Сквозь нее я почти видел выражение его лица: на нем была довольная, тонкая полуулыбка. А теперь он, очевидно, выходит из подворотни и, блеснув стеклами во все стороны, быстро уходит по улице. Кому придет в голову, что он сейчас шапронировал в его логовище «опаснейшего революционера», «заграничного эмиссара»?

А интересный вопрос: являюсь ли я таковым в действительности? И да, и нет. Я не опасен как «переворотчик» существующего строя. Что я могу перевернуть? Но я опасен как шпион. Я подсматриваю жизнь, как она есть.

* * *

Я нашел у себя остатки колбасы, хлеба и сахара. Все это я съел с жадностью. Потом с наслаждением разделся. Я только сейчас почувствовал, как я устал. Ужасно!.. Наверное, завтра разыграется мое lumbago *. А если не разыграется, это значит, что я удивительно себя хорошо чувствую. Да это так и есть: физически я себя чувствую на родине превосходно! Да и морально — тоже. Я ожидал увидеть вымирающий русский народ... а вижу несомненное его воскресение...

Я потушил свет. Голубоватый сумрак вошел через штору и наполнил комнату своеобразным блаженством. Это было блаженство безопасности.

Я вытянул на постели не только усталое тело, но и усталую волю. Волю, которая была все время в сильном напряжении внимания и отпора и только сейчас это заметила.

Голубоватый свет имел в себе какую-то мелодию. В этой мелодии перемешивался французский менуэт на слова „tu l'a echappe belle!" ** с благодарной молитвой на неведомом языке. Молитва без человеческого языка — это и есть интернационал.

Интернационалисты! К существующим враждующим нациям они прибавили новые, назвав их «классами». И война, злоба и вражда закипели хуже, чем раньше.

Глупцы! Интернационал может быть только в Боге. В божественном, ибо Бог над нациями.

Так пел свет уличного фонаря в этой дрянной комнате дрянной гостиницы.

О Боге великом он пел, и хвала
Его непритворна была...

И я спал...

Спал сном человека, избежавшего ГПУ. Хороший сон. Глубокий и ясный.

Я помню день... Ах, это было счастье...
(Романс)

---

* Прострел, острый ревматизм (*лат.*).
** Ты ее ловко избегаешь (*фр.*).

Генерал А. И. Деникин

Очерки русской смуты

Том пятый

Глава XXXVI

Вражда между «Екатеринодаром» и «Новороссийском». Положение Новороссии. Эвакуация Одессы

Положение главнокомандующего в то время (февраль 1920 г.— *Сост.*) было необыкновенно трудным. Рушился фронт, разлагался тыл, нарастали симптомы надвигающейся катастрофы.

Глубокие трещины, легшие между главным командованием и казачьими верхами, не были засыпаны. Накануне оставления Екатеринодара Верховный круг, при незначительном числе членов терской фракции, разъехавшейся по домам, принял резолюцию:

«Верховный круг Дона, Кубани и Терека, обсудив текущий политический момент в связи с событиями на фронте и принимая во внимание, что борьба с большевизмом велась силами в социально-политическом отношении слишком разнородными и объединение их носило вынужденный характер, что последняя попытка высшего представительного органа краев Дона, Кубани и Терека — Верховного круга сгладить обнаруженные дефекты объединения не дала желанных результатов, а также констатируя тяжелую военную обстановку, сложившуюся на фронте, постановил:

1. Считать соглашение с генералом Деникиным в деле организации Южно-русской власти не состоявшимся.

2. Освободить атаманов и правительства, связанных с указанным соглашением.

3. Изъять немедленно войска Дона, Кубани и Терека из подчинения генералу Деникину в оперативном отношении.

4. Немедленно приступить совместно с атаманами и правительствами к организации обороны наших краев — Дона, Кубани и Терека и прилегающих к ним областей.

5. Немедленно приступить к организации союзной власти».

Постановлению предшествовало заявление председателя Круга Тимошенки, что «на состоявшемся совещании высших военных начальников в присутствии ген. Кельчевского, Болховитинова и друг.» признано было невозможным дальнейшее подчинение казачьих войск главнокомандующему — тем более, что Ставка исчезла и никакой связи с ней нет. Совещание, по словам Тимошенки, просило «во избежание нарушения дисциплины» о соответствующем постановлении Круга.

Этот бесполезный и бесцельный жест имел одно только положительное значение: он освобождал меня юридически от всех обязательств и последствий, вытекавших из недолгого и безрадостного соглашения.

В тот же день Круг рассыпался.

Расставание двух содружественных фракций не было очень теплым. На одном из последних заседаний произошел такой диалог.

Кубанец Горбушин: «Пришельцы с ген. Деникиным вынули и опустошили душу казака. Мы должны идти на фронт и зажечь огонь в его душе...»

Донец Янов: «У вас и не было души. Вы — лицемеры. Посмотрите на наших беженцев, помогли ли вы им? Здесь, на близкой им, казалось бы, Кубани они вместо

хлеба получили камень. В жестокие морозы они скитались по кубанским степям и не находили приюта и ночлега в кубанских станицах. Души кубанцам мы не вдохнем и не зажжем их, но погибнем сами... Уйдем за Кубань!..»

Кубанская фракция пошла в направлении Сочи (зеленые) и Грузии — к своим всегдашним союзникам, которые жестоко обманут все их надежды...

Донская фракция и часть терской, перейдя Кубань и убедившись в несочувствии Донского командования принятому Кругом решению, а также в том, что никакого совещания старших начальников не было, что связь со Ставкой существует и порт Новороссийск все еще находится в руках Ставки, выразили раскаяние, аннулируя принятое постановление, и эвакуировались в Крым.

* * *

Ширилась трещина, образовавшаяся и с другой стороны...

Ход событий вызвал новую дифференциацию политических кругов и новое, отчетливое их расслоение.

Екатеринодар вобрал в себя весь цвет южно-казачьего областничества и часть российских социалистических групп. Это содружество было, впрочем, как всегда, не полным и не вполне искренним и в умеренной организации — «Союзе возрождения» — вызвало даже раскол: часть его — с Мякотиным — ополчилась против «казачьего лжедемократизма», другая — с Аргуновым и редакцией «Юга России» — поддерживала домогательства Верховного круга, убеждая «демократию Дона, Кубани и Терека» («хотя еще далеко не совершенную»,— как поясняла газета) в споре своем с главным командованием не бояться разрыва с союзниками. Ибо «если за Ставкой стоит генерал Хольман, то за казачьей демократией — вся союзная демократия».

В Новороссийске сосредоточилась российская консервативная и либеральная общественность. Городу этому, представлявшему из себя разоренный, разворошенный муравейник, суждено было стать новым, четвертым по счету, этапом российского беженства. Туда стекались со всех сторон обломки правительственных учреждений, органов печати, политических партий и организаций. Прорицатели, обличители, претенденты. Стекались люди, оглушенные разразившимся несчастьем, уставшие морально и физически, растерявшие надежды, извернившиеся. Одни — ожесточенные и бессильно изливающие свою злобу и свой беспросветный пессимизм, другие — ищущие «виновников» повсюду, кроме своей совести и своего «прихода». Наконец, третьи — пытающиеся добросовестно разобраться в причинах катастрофы и ищущие новых путей для спасения дела.

Катастрофа не примирила и не стерла противоречий, разделявших южную общественность, нашедшую приют в Новороссийске. Но она объединила ее в двух направлениях: в горячем осуждении прошлого — хотя и по мотивам прямо противоположным — и во вражде к Екатеринодару. Новороссийск и Екатеринодар кипели страстями. Они не были просто антиподами, но двумя непримиримыми враждебными станами, готовыми, казалось, вот-вот пойти войною друг на друга.

Ставка стояла одиноко, на перепутье, среди враждующих между собою сил, напрягая большие усилия к поднятию фронта и только в крупной победе видя возможность благоприятного разрешения всех политических проблем.

Екатеринодар и Новороссийск самим ходом событий в обстановке многосторонней борьбы приобретали для главного командования совершенно различное значение. Нужно было поднять казачий фронт — и мне приходилось входить в соглашение с Екатеринодаром... Нужно было удержать Новороссийск и эвакуировать злополучное российское беженство, чуждое и ненавистное Екатеринодару,— и я вынужден был мириться с новороссийской оппозицией.

Еще в первой стадии сношений с Екатеринодаром назначенный мною главноначальствующим Черноморской губ. ген. Лукомский писал мне: «...Настроение среди офицеров от младших до старших все более и более ухудшается. Нелепые слухи о

полном соглашении с требованиями самостийных казачьих кругов возбуждают офицеров. Спрашивают, за что же они должны проливать кровь? Усиливается дезертирство, ибо в казачество не верят и считают, что соглашение приведет к гибели... При нынешней обстановке оставление на этом фронте добровольческих частей может привести к полному разложению...» Про себя лично ген. Лукомский говорил: «Хотя я и не верю в прочность соглашения и в твердость казачества, но этот путь неизбежен и необходим. Но здесь вопрос о пределах соглашения... Вы согласились на законодательный орган — я считаю, что это гибельно для дела...»

Другие бывшие мои сотрудники не были так ригористичны, но и их «оторванность и неведение поставили в положение недоумевающих».

«Я наблюдаю здесь,— писал Н. И. Астров генералу Романовскому,— две различных психологии — штатскую и военную. Последняя, насколько я понимаю ее, действительно проявляет черты оппозиции, а среди офицерства заметны враждебность и недоброжелательство. Что же касается психологии штатских, в том числе и лиц, входивших в состав бывш. особого совещания, то она проникнута горячим желанием поддержать главнокомандующего или, по крайней мере, не помешать ему... Мы знаем, что положение было в полной мере трагично и, чтобы удержать первенство русского государственного начала и защищать его силою оружия, пришлось пойти на громадные уступки... Но казачье засилье не может не смущать... Смущает и то, что с коренным изменением самой природы отношений конституционного правителя к управлению весь аппарат власти уходит в чужие и чуждые руки...»

Астров от лица либеральной группы свидетельствовал: «Мы будем по-прежнему с главнокомандующим и по-прежнему будем служить тому же делу, только в несколько иных взаимных отношениях».

Я не сомневался в лояльности и сочувствии этих кругов, но тем не менее в этот наиболее тяжкий период государственной деятельности я чувствовал себя одиноким — как никогда. И в этой тяжкой работе и переживаниях только чуткое и самоотверженное участие моего друга — Ивана Павловича Романовского сглаживало несколько остроту этого одиночества...

В Тихорецкой все было просто и тихо. Органов или представителей гражданского управления при Ставке не было. В часы, свободные от занятий и объездов, несколько лиц, чуждых совершенно политической борьбе, составляли обычное мое общество. Генерал Шапрон, бросивший госпиталь, не долечившись, и вернувшийся в Ставку; полковник Колтышев — докладчик по оперативной части, всецело живший интересами фронта; адъютант и дежурный конвойный офицер. Временами — беседы с генерал-квартирмейстером, вначале с экспансивным Плющевским-Плющиком, потом — со сменившим его уравновешенным и спокойным Махровым.

В их обществе я отдыхал от «политики», врывающейся извне бурно и сокрушительно в жизнь и работу Ставки.

* * *

В это же время правая оппозиция перешла к активным действиям для проведения к власти генерала барона Врангеля.

Ввиду невозможности стать во главе казачьей армии, ген. Врангель уехал в Новороссийск, взяв на себя руководство укреплением Новороссийского района. С того времени в органах печати, в беседах с общественными деятелями стали появляться жалобы Врангеля по поводу тягостного для него «вынужденного бездействия». «Барон говорил,— писал мне один из его собеседников,— что в положении классного пассажира сидит в вагоне, занимается не интересующей его эвакуацией, вместо того, чтобы воевать. Он готов был бы даже стать командиром полка, если бы это не было опасной демагогией». Барон развивал в прессе и в беседах ту идею дальнейшей борьбы, которую излагал в приведенной выше записке от 25 декабря: «Я придаю чрезвычайное значение Новороссии. Там должен создаться объединенный славянский фронт, который, вследствие нашего соглашения с братьями-славянами, в частности с поляками, будет

настолько силен, что от его удара рухнет вся совдепская постройка». В связи с этим от ген. Лукомского получался целый ряд телеграмм — частью по его личной инициативе, частью по просьбе ген. Врангеля — о назначении последнего в Одессу — на смену ген. Шиллинга или, по крайней мере, «для формирования там конницы и подготовки операций в том районе».

Представления ген. Лукомского были не только настойчивы, но и обличали повышенную нервность. Так, в телеграмме от 10 января он между прочим сообщал:

«В последние дни в Новороссийске появились какие-то прохвосты, которые по кофейням и ресторанам распространяют слухи, что Врангель из-за личных к главному командованию отношений бросил армию в самый критический момент, и стараются возбудить публику против него. Эти господа ведут вредную и гибельную для дела игру, так как надо знать, что Врангель среди кадровых офицеров пользуется большой популярностью. Если кого-либо из таких господ поймают, немедленно расстреляю...»

Представлялось странным, что «нелепые слухи» по поводу главнокомандующего, приведенные тут же рядом, в той же телеграмме и «возбуждавшие» против него «офицеров от младших до самых старших», оставались без осуждения. И мне пришлось указать главноначальствующему, что «бороться нужно со всеми этими явлениями, но законными мерами...».

Что касается влияния самого бар. Врангеля на новороссийские настроения, то этот вопрос смогут лучше осветить лица, соприкасавшиеся с ним тогда непосредственно. Взгляд же на его тогдашнюю политику Ставки был вполне определенный: «Цепляясь за ускользавшую из рук ваших власть,— писал он в своем известном письме ко мне,— вы успели уже стать на пагубный путь компромиссов и, уступая самостийникам, решили непреклонно бороться с вашими ближайшими помощниками, затеявшими, как вам казалось, государственный переворот».

В связи с недоразумениями персональными, между Ставкой и Новороссийском обнаружилось и серьезное расхождение в вопросах военного дела. Я требовал направления строевого офицерства, буквально наводнявшего Новороссийск, на фронт, на пополнение таявших частей добровольческого корпуса, тогда как новороссийское начальство стремилось к удержанию их для формирования на месте офицерских отрядов. Добровольческий корпус жаловался на препятствия, чинимые даже отпускным и выздоровевшим добровольцам, желающим возвратиться в свои части... В результате масса офицерства, слабого духом, устремляла свои взоры на уходящие пароходы или создавала самочинные организации вроде «отряда крестоносцев», прикрывавшего религиозно-национальной идеей уклонение от фронта.

Непонятна для меня была позиция либеральной группы.

Бывшее особое совещание, после ряда частных собеседований, командировало ко мне в Тихорецкую 9 января Н. И. Астрова, Н. В. Савича и В. Н. Челищева. Главные вопросы, которые интересовали совещание, заключались в следующем: 1) необходимость образования собственного правительства, вне зависимости от казачества, перенесение центра действий на собственную территорию (Крым, Новороссия); 2) вопрос о независимых действиях в общерусском масштабе при участии сербов, болгар и Польши и 3) вопрос о судьбе Новороссийска, наводненного беженцами и «обращенного в ловушку...».

Второй вопрос, казалось, не должен был вызывать недоумения среди лиц, осведомленных в международных сношениях Юга: полуторагодовая практика их показала, что Сербия и Болгария желают помочь, но не могут, что Польша может помочь, но не желает. Что касается прочих двух вопросов — они находились в явном противоречии друг с другом: трудно было увести добровольцев, не вызвав тем немедленное падение фронта, и вместе с тем спасти из «ловушки» всероссийское беженство...

Н. И. Астров от имени бывш. членов особого совещания выдвинул при этом посещении вопрос о ген. Врангеле, его вынужденном бездействии и о назначении его в Новороссию. Степанов, уехавший в Одессу, убеждал генерала Шиллинга просить о назначении помощником себе барона Врангеля.

Я видел давно, что вопрос идет не о «привлечении к делу», а о смене.

Власть была для меня тяжелым крестом, и избавиться от нее было бы громадным облегчением. Но бросить в такую трудную минуту дело и добровольцев я не мог, тем более, что я не считал государственно полезным передачу власти в те руки, которые за ней протягивались.

Мне казалось, что сущность затеянной кампании понятна моим собеседникам так же, как и мне, и не желал разъяснять им этого вопроса. Происходило обоюдное недоразумение. Ибо через несколько дней, 28 января, Астров писал мне:

«Перемена вождя в такое время более чем когда-либо была бы преступлением, авантюрой, легкомыслием, безумием... И вы еще ближе и дороже стали нам после ниспосланного на Россию, на вас, на всех нас нового испытания...

Я уносил в себе (однако) неудовлетворенное чувство, которое мог бы выразить такими словами: когда так трагически тяжело Деникину, почему он не использует этого человека, давши ему определенную задачу, почему главнокомандующий дразнит своих недоброжелателей, которых так много, оставляя на виду у всех в бездействии человека, около которого сплелось так много слухов, интриг и ожиданий...»

Слухи об отношениях барона Врангеля к главнокомандующему получили, очевидно, широкое распространение, так как еще 31 декабря 1919 г. барон доносил мне по поводу разговора своего с английским представителем:

«Мак-Киндер сообщил мне, что им получена депеша его правительства, требующая объяснений по поводу полученных в Варшаве сведений о якобы произведенном мною перевороте, причем будто бы я возглавил вооруженные силы Юга России. Г-н Мак-Киндер высказал предположение, что основанием для этого слуха могли послужить те будто бы неприязненные отношения, которые установились между вашим превосходительством и мною, ставшие широким достоянием; он просил меня с полной откровенностью, буде признаю возможным, высказаться по этому вопросу.

Я ответил, что мне известно о распространении подобных слухов и в пределах вооруженных сил Юга, что цель их, по-видимому,— желание подорвать доверие к начальникам в армии и внести разложение в ее ряды и что поэтому в распространении их надо подозревать неприятельскую разведку. Вместе с тем я сказал, что, пойдя за вами в начале борьбы за освобождение Родины, я, как честный человек и как солдат, не могу допустить мысли о каком бы то ни было выступлении против начальника, в подчинение которого я добровольно стал».

И привлечение бар. Врангеля к новой деятельности, и оставление его не у дел одинаково вызывали крупные осложнения. Вместе с тем боевая деятельность Шиллинга, сумевшего с ничтожными силами дойти до Волочиска и Казатина, не давала поводов к его удалению. К тому же представлялось неясным, что делать генералу Врангелю, в глазах которого «Добровольческой армии, как боевой силы, не существовало», с войсками Новороссии — и в организационном, и в боевом отношении более слабыми, чем части Добровольческой армии... Но ввиду возбужденного ген. Шиллингом ходатайства я назначил барона Врангеля помощником его по военной части.

Вскоре, однако, Одесса пала, Новороссия была очищена нами, и ген. Шиллинг со штабом и гражданским управлением переехал в Крым. Нагромождение на маленькой территории многочисленной власти являлось совершенно излишним; поэтому 28 января назначение Врангеля было отменено. Барон Врангель и его спутник ген. Шатилов подали рапорты об увольнении их в отставку «по болезни». Рапорты эти были мною обычным порядком переданы в штаб для исполнения. Оба генерала отбыли в Крым «на покой».

* * *

В середине декабря войска Новороссии, ослабленные выделением корпуса ген. Слащева для прикрытия Крыма, располагались по линии Бирзула — Долинская — Никополь. Огромные пространства правобережного Днепра и Новороссии были залиты повстанческим движением. От Умани до Екатеринослава и от Черкасс до Долинской ходили петлюровские и атаманские банды; жел.-дор. линия Долинская — Кривой Рог — Александровск находилась в руках Махно; от Черкасс до Кременчуга наступали части 12 и 13 советских армий. Эти обстоятельства, в связи с переходом корпуса Слащева на левый берег Днепра, создавали угрозу полного разрыва между Правобережной Украиной и Таврией.

Имея задачей прикрытие Новороссии и, главным образом, Крыма, ген. Шиллинг базировал свои прибрежные войска в направлении на Таврию (переправы у Херсона и Каховки). Это решение, соответствовавшее стратегической обстановке, отводившее второстепенное значение удержанию Одессы и вызвавшее начало частичной эвакуации ее, весьма встревожило союзных представителей. Генералы Манжен и Хольман, не без влияния неответственных русских советников, настоятельно убеждали Ставку удерживать во что бы то ни стало Одесский район, указывая, что потеря его создаст в Лондоне и Париже представление о конце борьбы и может вызвать прекращение снабжения армий Юга... Ген. Хольман обещал оказать Одессе всяческое материальное содействие. Заинтересованность англичан была настолько велика, что Мак-Киндер настойчиво советовал вести широкие формирования в Новороссии из немцев-колонистов — обстоятельство, к которому до тех пор англичане относились с большой нетерпимостью.

Под таким воздействием, хотя надежд на удержание Одессы было немного, 18 декабря ген. Шиллингу предписано было удерживать и Крым, и Одесский район. Но при этом союзникам заявлено было, что «для обеспечения операции и морального спокойствия войск и, главное, на случай неудачи необходимо: 1) обеспечение эвакуации Одессы союзным флотом и союзным транспортом; 2) право вывоза семейств и лиц, оставление которых грозило им опасностью; 3) право прохода в Румынию войск, подвижных составов и технических средств.

3 января ген. Лукомский телеграфировал из Новороссийска: «По заявлению англичан, они обеспечат эвакуацию раненых и больных, а также семейств офицеров; что же касается гражданского населения, то таковое необходимо будет отправить сухим путем в Румынию...» Переговоры с Румынией — непосредственные и через союзное командование на Востоке — были длительны и менее благоприятны. Штаб французского главнокомандующего в Константинополе сообщил нашему представителю ген. Агапьеву: 1) относительно пропуска галицких войск румыны запросили польское правительство; 2) в случае перехода границы добровольческими частями румынами предположено разоружать и интернировать их; 3) беженцев согласны пропустить при условии, что французы обеспечат им продовольствие, помещение и охрану; на первое и второе условие французское командование согласно.

Точно так же глава английской миссии в Одессе 18 января сообщил лично ген. Шиллингу, что он «с большой достоверностью может гарантировать проход наших войск в Бессарабию».

Сношения по данному вопросу с союзниками и румынами продолжались весь январь.

Задача, данная ген. Шиллингу, оказалась непосильной для его войск ни по их численности, ни, главным образом, по моральному состоянию их. Неудачи на главном — Кубанском — театре и неуверенность в возможности морской эвакуации вносили еще большее смущение в их ряды.

Усилия одесского штаба пополнить войска не увенчались успехом. Многочисленное

одесское офицерство не спешило на фронт. Новая мобилизация не прошла: «По получении обмундирования и вооружения большая часть разбегалась, унося с собою все полученное»; почти поголовно дезертировали немцы-колонисты; угольный кризис затруднял до крайности войсковые перевозки.

При таких условиях тыла протекали операции.

В начале января ген. Шиллинг, оставив на Жмеринском направлении небольшую часть галичан, стал стягивать группу ген. Бредова в район Ольвиополь — Вознесенск, чтобы отсюда нанести фланговый удар противнику, наступавшему правым берегом Днепра от Кривого Рога к Николаеву. Но наступлением с этой стороны советских войск ранее окончания нашего сосредоточения корпус ген. Промтова, действовавший в низовьях Днепра, был опрокинут и стал уходить поспешно к Бугу. 18 января корпус этот, почти не оказывая сопротивления, оставил Николаев и Херсон; дальнейшее наступление большевиков с этих направлений на запад выводило их в глубокий тыл наших войск, отрезывая от сообщений и базы.

С этого дня фронт неудержимо покатился к Одессе.

Между тем положение Одессы становилось катастрофическим. Все сообщения Ставки и одесского штаба к союзникам о помощи транспортами не привели ни к чему: британский штаб в Константинополе на предупреждения ген. Шиллинга и одесской английской миссии телеграфировал: «Британские власти охотно помогут по мере своих сил, но сомневаются в возможности падения Одессы. Это совершенно невероятный случай...» Наше морское командование в Севастополе, которому приказано было послать все свободные суда в Одессу, как оказалось впоследствии, саботировало и одесскую, и новороссийскую эвакуацию, под разными предлогами задерживая суда... на случай эвакуации Крыма. Угольный кризис не давал уверенности в возможности использования всех средств Одесского порта. Небывалые морозы сковали льдом широкую полосу моря, еще более затрудняя эвакуацию.

А фронт все катился к морю...

23 января ген. Шиллинг отдал директиву, в силу которой войскам под общим начальством ген. Бредова надлежало, минуя Одессу, отходить на Бессарабию (переправы у Маяков и Тирасполя). Отряд ген. Стесселя в составе офицерских организаций и государственной стражи должен был прикрывать непосредственно эвакуацию Одессы; английское морское командование дало гарантию, что части эти будут вывезены в последний момент на их военных судах под прикрытием судовой артиллерии.

Началась вновь тяжелая драма Одессы, в третий раз испытавшей бедствие эвакуации.

25 января в город ворвались большевики, и отступавшие к карантинному молу отряды подверглись пулеметному огню. Английский флот был пассивен. Только часть людей, собравшихся на молу, попала на английские суда, другая, перейдя в наступление, прорвалась через город, направляясь к Днестру, третья погибла.

На пристанях происходили душераздирающие сцены.

Вывезены были морем свыше 3 тыс. раненых и больных, технические части, немало семейств офицеров и гражданских служащих, штаб и управление области. Много еще людей, имевших моральное право на эвакуацию, не нашли места на судах. Разлучались семьи, гибло последнее добро их и нарастало чувство жестокого, иногда слепого озлобления.

Только 25-го на выручку застрявших в Одессе судов прибыли из Севастополя вспомогательный крейсер «Цесаревич Георгий» и миноносец «Жаркий».

Войска ген. Бредова, подойдя к Днестру, были встречены румынскими пулеметами. Такая же участь постигла беженцев — женщин и детей. Бредов свернул на север, вдоль Днестра и, отбивая удары большевиков, пробился на соединение с поляками.

В сел. Солодковцах между делегатами главного польского командования и ген.

Бредовым заключен был договор, в силу которого войска его и находящиеся при иих семейства принимались на территорию, занятую польскими войсками, до возвращения их «на территорию, занятую армией ген. Деникина». Оружие, военное имущество и обозы польское командование «принимало на сохранение», впредь до оставления частями ген. Бредова польских пределов.

Там их ждали разоружение, концентрационные лагеря с колючей проволокой, скорбные дни и национальное унижение.

Глава XXXVII

События в Крыму. Орловщина. Флот. Претенденты на власть. Письмо барона Врангеля. Телеграмма ген. Кутепова

К концу декабря корпус ген. Слащева отошел за перешейки, где в течение ближайших месяцев с большим успехом отражал наступление большевиков, охраняя Крым — последнее убежище белых армий Юга.

Приняв участие в нашей борьбе еще со времен второго Кубанского похода, ген. Слащев выдвинулся впервые в качестве начальника дивизии, пройдя с удачными боями от Акманайской позиции (Крым) до нижнего Днепра и от Днепра до Вапнярки. Вероятно, по натуре своей он был лучше, чем его сделали безвременье, успех и грубая лесть крымских животолюбцев. Это был еще совсем молодой генерал, человек позы, неглубокий, с большим честолюбием и густым налетом авантюризма. Но за всем тем он обладал несомненными военными способностями, порывом, инициативой и решимостью. И корпус повиновался ему и дрался хорошо.

В Крымских перешейках было очень мало жилья, мороз стоял жестокий (до 22 гр.), наши части, так же как и советские, были мало способны к позиционной войне. Поэтому Слащев отвел свой корпус за перешейки, занимая их только сторожевым охранением; и, сосредоточив крупные резервы, оборонял Крым, атакуя промерзшего, не имевшего возможности развернуть свои силы, дебуширующего из перешейков противника. В целом ряде боев, разбивая советские части и преследуя их, Слащев трижды захватывал Перекоп и Чонгар, неизменно возвращаясь в исходное положение. Начавшиеся в феврале между большевиками и махновцами, вклинившимися в 14 сов. армию, военные действия еще более укрепили положение Крымского фронта.

В результате все усилия советских войск проникнуть в Крым успеха не имели.

Эта тактика, соответствовавшая духу и психологии армий гражданской войны, вызывала возмущение и большие опасения в правоверных военных и даже в политических кругах Крыма и Новороссийска. Чувства эти нашли отражение и в беседе со мной делегации бывш. особого совещания, о которой я говорил в прошлой главе. Вместе с тем ген. Лукомский, опасаясь за Перекоп, неоднократно телеграфировал мне о необходимости замены Слащева «лицом, которое могло бы пользоваться доверием как войск, так и населения».

Цену Слащеву я знал. Но он твердо отстаивал перешейки, увольнение его могло вызвать осложнения в его корпусе и было слишком опасным. Такого же мнения придерживался, очевидно, и барон Врангель после вступления своего на пост главнокомандующего. По крайней мере, в первый же день он телеграфировал Слащеву: «...Для выполнения возложенной на меня задачи мне необходимо, чтобы фронт был непоколебим. Он — в ваших руках, и я спокоен».

* * *

31 января в Севастополь прибыл ген. Шиллинг, вокруг имени которого накопилось много злобы и клеветы. Общественное мнение до крайности преувеличивало его вольные и невольные ошибки, возлагая на его голову всю ответственность за злосчастную одесскую эвакуацию. Одни делали это по неведению, другие — как морское начальство Севастополя — сознательно, для самооправдания.

Через день после Шиллинга в Севастополь прибыл ген. Врангель.

Эти два эпизода взбаламутили окончательно жизнь Крыма, и без того насыщенную всеобщим недовольством, интригой и страхом.

Еще ранее в Симферополе произошло событие, свидетельствовавшее ярко о том развале, который охватил армейский тыл, флот, администрацию, одним словом, всю жизнь Крыма: выступление капитана Орлова.

В конце декабря, по поручению Слащева, в Симферополь прибыл его приближенный, герцог С. Лейхтенбергский, для «заведования корпусным тылом и формированиями». Герцог вошел в сношения с капитаном Орловым и бывшим немецким лейтенантом Гомейером, которые и приступили к формированию добровольческих частей: первый — из элементов русских, второй — из немцев-колонистов и татар.

Слащев и штаб его весьма благоволили к отряду, формировавшемуся Орловым, и обильно снабжали его деньгами и снаряжением; через две-три недели отряд имел состав свыше 300 человек. Как оказалось впоследствии, в Симферополе совершенно открыто говорили о предстоящем захвате власти Орловым; настолько открыто, что подпольная большевистская организация («ревком») сочла возможным вступить с ним в связь и принять участие в деле.

Отряд Орлова не имел никакой политической физиономии и состоял в большей части из людей, поступивших в него случайно, или из легальных дезертиров, предпочитавших тыловые формирования боевому фронту. Окружали Орлова и руководили им лица темные и беспринципные, а сам Орлов — храбрый офицер, но страдавший неврастенией и болезненным самомнением, был, по-видимому, довольно элементарен. Так, свою политическую принадлежность в разговоре с представителями «ревкома» он определял: «правее левых эсеров и немного левее правых эсеров...»

Все выступление от начала до конца имело характер неумной авантюры, только эта авантюра... разыгрывалась на вулкане...

20 января ген. Слащев потребовал выхода отряда Орлова на фронт. Орлов, при поддержке герцога Лейхтенбергского, уклонился от исполнения приказа под предлогом неготовности отряда. Требование было повторено в категорической форме, герцог уехал объясняться в штаб Слащева, а Орлов в ночь на 22 января произвел выступление, арестовав таврического губернатора Татищева, случайно находившихся в городе нач. штаба Новороссийской обл. ген. Чернавина, коменданта Севастопольской крепости Субботина и друг. лиц. В тот же день им отдан был приказ № 1 следующего содержания:

«Исполняя долг перед нашей измученной Родиной и приказы комкора ген. Слащева о восстановлении порядка в тылу, я признал необходимым произвести аресты лиц командного состава гарнизона гор. Симферополя, систематически разлагавших тыл. Создавая армию порядка, приглашаю всех к честной объединенной работе на общую пользу. Вступая в исполнение обязанностей начальника гарнизона гор. Симферополя, предупреждаю всех, что всякое насилие над личностью, имуществом граждан, продажа спиртных напитков и факты очевидной спекуляции будут караться мною по законам военного времени.

Начальник гарнизона г. Симферополя, командир 1-го полка добровольцев, капитан Орлов».

Приходившим к нему «делегациям» Орлов заявлял, что «молодое офицерство решило взять все в свои руки», но разъяснить это неопределенное сообщение не мог. Одновре-

менно по городу были расклеены воззвания его к «товарищам рабочим» — одни большевистского содержания, другие «правее левого и левее правого — эсеровского». Однако исполнить требование большевистского «ревкома» о выпуске «политических арестованных» Орлов отказался.

Находившиеся в Симферополе запасные части и отряд Гомейера объявили «нейтралитет»; городская дума вступила в переговоры с Орловым; Слащев выслал против него из Джанкоя и из Севастополя войсковые части. Не решаясь вступить с ними в бой, Орлов на третий день, выпустив арестованных им лиц, с частью своего распылившегося отряда (человек 80—90) ограбил губернское казначейство на 10 миллионов рублей и бежал в горы.

* * *

Выступление Орлова нашло отклик в Севастополе, где «назревал арест морскими офицерами Ненюкова и Бубнова, против которых (создалось) большое возбуждение на почве безвластия и отсутствия должного управления».

В Черноморском флоте давно уже было неблагополучно. Нигде в армии не существовало такого разлада, нигде безвременье не оставило таких глубоких следов, как в морской среде. Оставляя в стороне причины этого явления и особенности мало знакомого мне быта, я коснусь только тех настроений, которые имели место на верхах и непосредственно относились к компетенции главнокомандующего.

Я не знал никого из морских чинов, и поэтому каждое высшее назначение по морскому ведомству ставило меня в чрезвычайное затруднение. Аттестации были отрицательны, и выбора не было. Укажу на такой факт: начальник морского управления адм. Герасимов на один из видных морских постов представил мне трех кандидатов, аттестуя их следующим образом: первый — за время революции опустился, впал в прострацию; второй — демагог, ищет дешевой популярности среди молодежи; третий — с началом войны попросился на берег «по слабости сердца». Каждому новому назначению предшествовала и сопутствовала интрига, в которую вовлекалась офицерская среда.

Общее настроение передавалось и на периферию — в Каспийскую флотилию, где — хоть и в меньшем масштабе — происходили свои бури и волнения.

Флотские дела не кончались морским управлением. Тайные осведомители вовлекали в них и Омск, вызвав однажды вмешательство самого Верховного правителя; от него получена была телеграмма о недопустимости пребывания на командной должности адмирала Саблина, который в то время состоял главным командиром портов Черного моря. Саблина, совершенно эмансипировавшегося к тому времени от центра и не выполнявшего приказаний морского управления, адмирал Герасимов заменил Ненюковым, которого сам же впоследствии аттестует: «законопослушный, очень инертный и донельзя ленивый...»

Большое несходство во взглядах существовало между морским управлением и севастопольским начальством. Первое ставило себе посильной задачей «всемерную помощь операциям и борьбе армий», второе — раздвигало ее вне зависимости от реальных условий до «воссоздания российского флота». Причем воссоздание начиналось не с судов, а с огромнейших штабов и тыла. В одном только севастопольском порту морской тыл отвлекал сотни офицерских чинов. Служба связи была прямо грандиозна по своему масштабу.

Расхождение существовало и в основных взглядах на идею служения нашему делу. Весьма характерная переписка имела место в самом начале воссоединения флота с армией Юга. Суд чести Новороссийского порта запрашивал суд чести Черноморского флота — не подлежат ли привлечению к ответственности офицеры из Севастополя, не

поступающие на службу в Добровольческую армию... Председатель второго суда ответил, что офицеры могли бы принять участие, но поставил ряд условий экономического характера, в том числе определенные нормы содержания. На этой почве между двумя учреждениями возникло столкновение, дошедшее до меня и вызвавшее с моей стороны весьма резкую резолюцию. Адмирал Герасимов считает, что «это было одной из причин интриги против главнокомандующего после эвакуации Новороссийска».

Борьба со всеми этими явлениями встречала пассивное сопротивление и глухой ропот.

Осенью 1919 года заменившему Саблина адм. Ненюкову дано было звание командующего флотом; его начальником штаба стал адм. Бубнов, подчинившй своему влиянию Ненюкова.

Последние события, переломляясь в нездоровой атмосфере флота, еще больше запутали его жизнь. Бубнов организовал в Севастополе морской кружок. «Сначала задачей его было поставлено разрешение тактических и организационных вопросов флота, но вскоре кружок перешел исключительно на политику и критику начальственных распоряжений». Этот кружок, действовавший с ведома Ненюкова, принял видное участие в последующих событиях.

* * *

Со времени падения Одессы и появления в Севастополе ген. Врангеля начинается борьба за возглавление им военной и гражданской власти в Крыму. В течение ближайшей недели между Севастополем — Джанкоем — Тихорецкой идет нервная переписка и переговоры, а в самом Крыму царит необычайное возбуждение. Я приведу хронологический перечень событий этого периода, основываясь исключительно на документах.

Тотчас по приезде в Севастополь ген. Шиллинг имел свидание с адмиралом Ненюковым и Бубновым, которые заявили ему, что он дискредитирован одесской эвакуацией, что в тылу развал и единственное спасение Крыма — в немедленной передаче Шиллингом всей власти барону Врангелю, приезд которого ожидается в ближайшие дни. «Об этом не нужно испрашивать разрешения главнокомандующего,— говорили они,— так как барон Врангель будет самостоятельным в Крыму.»

1 февраля к ген. Шиллингу с тем же предложением явилось пять офицеров (преимущественно морских), назвавшихся делегацией от «группы офицеров».

И тем и другим ген. Шиллинг, придавленный «всеми интригами и происками», ответил, что за власть не держится, охотно ее передаст и предоставляет этот вопрос на усмотрение главнокомандующего, которому обо всем донес.

Между 1 и 5 февраля происходит новая беседа ген. Шиллинга с адмиралами, встреча с ген. Лукомским и двукратное свидание с бар. Врангелем. По словам Шиллинга, в первый раз барон «соглашался принять командование, но не с разрешения главнокомандующего, дабы быть независимым». Во второй раз ген. Врангель «соглашался принять от (Шиллинга) должность по приказу главнокомандующего».

Ген. Слащев, до которого доходили тревожные слухи, заявил Шиллингу, что будет выполнять приказания только главнокомандующего и Шиллинга. Об этом посланный Слащевым в Севастополь для того, чтобы «выяснить непосредственно у Врангеля, в чем дело»,— полковник Петровский доложил последнему и ген. Лукомскому.

На телеграмму Шиллинга о сделанном ему предложении я ответил категорическим отказом заменить Шиллинга Врангелем и подчинил флот в оперативном отношении Шиллингу.

5 февраля ген. Лукомский в беседе с Шиллингом настоятельно советует ему передать власть Врангелю, но непременно с согласия главнокомандующего.

В тот же день — беседа ген. Лукомского с бар. Врангелем, который, по словам Лукомского, заявил, что «никогда не пойдет на такой шаг, как смещение Шиллинга» и «для спасения положения в Крыму готов принять должность главноначальствующего, если пожелает главнокомандующий».

6 февраля ген. Шиллинг едет в Джанкой.

Капитан Орлов, спустившись с гор и пользуясь отсутствием в этом районе войск, последовательно занимает Алушту и Ялту. Оказавшийся в Ялте ген. Покровский, мобилизовав и вооружив жителей Ялты, пытался защищать город, но его импровизированный отряд, не оказав сопротивления, разбежался. Генералы Покровский и Боровский были арестованы Орловым, но затем при содействии англичан отпущены. В Алуште и в Ялте Орлов ограбил казначейства.

Ген. Шиллинг посылает против него войсковые части и военное судно («Колхиду») с десантом.

Ген. Лукомского посещает ген. Шатилов и заявляет, что «вследствие ухудшающегося положения в Крыму барон Врангель согласен принять временное назначение для установления порядка на Крымском побережье, при условии невмешательства Шиллинга... если ген. Лукомский именем главнокомандующего ему это прикажет». Ген. Лукомский от такой постановки вопроса отказывается, но посылает соответственную телеграмму Шиллингу.

7 февраля (11 час.). Шиллинг, на основании телегр. ген. Лукомского, подчинив Врангелю Севастопольскую крепость, флот и все тыловые отряды, возлагает на него «мерами, какие он признает целесообразными, успокоить офицерство, солдат и население и прекратить бунтарство кап. Орлова».

В этот же день в Севастополе получено было по телеграфу сведение, не дошедшее до Шиллинга, о назначении мною командующим флотом, вместо Ненюкова, бывш. нач. морского управл. адм. Герасимова. Это обстоятельство имело последствием появление у ген. Лукомского «двух адмиралов» и председателя суда чести, заявивших ему, что «с именем Герасимова связывается хозяйственная разруха флота» и что назначение его «вызовет брожение, возможны печальные недоразумения». Лукомский настаивает на назначении Саблина.

Экипаж и десант «Колхиды» отказались действовать против Орлова и вернулись в Севастополь, привезя с собой его воззвания. Морское начальство не приняло никаких мер против мятежников и не сочло нужным уведомить об этом факте генерала Шиллинга.

В одном из своих воззваний капитан Орлов писал: «По дошедшим до нас сведениям, наш молодой вождь, ген. Врангель, прибыл в Крым. Это тот, с кем мы будем и должны говорить. Это тот, кому мы все верим...»

Лукомский в этот день в двух телеграммах на мое имя описывал тревожное положение Крыма: в связи с событиями в Ялте и полученными оттуда воззваниями — глухое брожение среди офицерства... Все, что будет формироваться в тылу и направляться против Орлова, будет переходить на его сторону... Если произойдет столкновение, то это поведет к развалу тыла и фронта... «Только немедленное назначение Врангеля вместо Шиллинга спасет положение... Завтра, может быть, будет поздно...»

«Государственные и общественные деятели», проживающие в плененной Ялте, отправили мне телеграмму в Тихорецкую о том, что «события неминуемо поведут к гибели дела обороны Крыма, если во главе власти в Крыму не будет безотлагательно поставлен барон Врангель».

Между тем Врангель от «временного назначения», предложенного ему Шиллингом, отказался: «Всякое новое разделение власти в Крыму при существующем уже здесь многовластии,— телеграфировал он Шиллингу,— усложнит положение и увеличит развал тыла».

Вечером ген. Лукомский вновь убеждал Шиллинга по аппарату безотлагательно просить главнокомандующего о замене его — Шиллинга — Врангелем или «в случае невозможности переговорить с главкомом... передать всю полноту власти (бар. Врангелю) с донесением главкому».

В ночь на 8-е (23 ч 30 м) ген. Шиллинг, передавая мне сущность предложений ген. Лукомского, со своей стороны добавлял, что ввиду «разрухи тыла и разыгравшихся страстей среди офицерства до крупных чинов включительно» он также полагает, что передача им власти «будет более отвечать всей совокупности обстановки».

8 февраля (1ч 15 м) я ответил: «Совершенно не допускаю участия генерала Врангеля. Уверен, что вы положите предел разрухе. № 630».

Ввиду такого результата переговоров, ген. Шиллинг, в 3ч 30 м, передавая текст своего доклада и моей резолюции ген. Лукомскому, сообщал, что считает поэтому необходимым: 1) принять решительные меры против Орлова, 2) отрешить тотчас же от должности Ненюкова и Бубнова и 3) просить ген. Лукомского предложить бар. Врангелю покинуть немедленно пределы Крыма. От последнего поручения ген. Лукомский отказался, согласившись все же передать ген. Врангелю, что «дальнейшее пребывание его в Крыму Шиллинг находит нежелательным, ибо это может помешать ему».

В 7 ч того же дня ген. Врангель отправил в Ялту Орлову телеграмму, «горячо призывая (его) во имя блага Родины подчиниться требованиям начальников».

В этот день вышел приказ, подписанный мною еще 6-го, об исключении со службы Ненюкова и Бубнова и приказы об увольнении в отставку генералов Лукомского, Врангеля и Шатилова на основании ходатайств, возбужденных ими 24 и 28 января.

8 февраля я отдал приказ о ликвидации крымской смуты:

«Приказываю:

1. Всем, принявшим участие в выступлении Орлова, освободить ими арестованных и немедленно явиться в штаб 3 корпуса для направления на фронт, где они в бою с врагами докажут свое желание помочь армии и загладят свою вину.

2. Назначить сенаторскую ревизию для всестороннего исследования управления, командования, быта и причин, вызвавших в Крыму смуту, и для установления виновников ее.

3. Предать всех, вызвавших своими действиями смуту и руководивших ею, военно-окружному суду, невзирая на чин и положение».

Между тем Орлов, запутавшийся окончательно, предпринимал уже в Ставке при посредничестве известного соц.-рев. Баткина некоторые шаги с целью подготовить себе путь отступления... 10 февраля он подчинился приказу и вышел с отрядом на фронт. Слащев, вопреки приказанию Шиллинга — расформировать отряд, распределив его по частям корпуса,— сохранил его в виде отдельной части, проявляя и к ней, и к Орлову исключительное внимание. Содружество их продолжалось недолго: 3 марта Орлов самовольно снял отряд с фронта и повел его в Симферополь. Посланные вслед Слащевым части огнем рассеяли отряд. Орлов с несколькими человеками бежал в горы — на этот раз окончательно.

Крымские события порождали множество самых нелепых слухов, волнуя общественность, и отражались неблагоприятно на фронте. Непонимание происходящего было настолько велико, что первое время орловское выступление было взято под покровительство кубанской самостийной печатью и «Утром Юга», которые видели в нем «движение чисто политическое — восстание революционного офицерства против правых генералов...». Потом они были весьма смущены.

Я не соглашался сменить Шиллинга не только потому, чтобы не дать удовлетворения офицерской фронде, но и по другой причине: Кавказский фронт катился к морю,

назревала эвакуация. Управление и штаб ген. Шиллинга само собой упразднялись с переездом в Крым главнокомандующего...

Во всяком случае, как показало ближайшее время, положение в Крыму не было так безнадежно, как оно представлялось участникам описанных выше событий. Крым был сохранен, хотя и не улеглось там поднятое волнение.

* * *

Брожение во флоте продолжалось.

Ген. Шиллинг, сместив Ненюкова, назначил временно командующим флотом прибывшего из Константинополя адм. Саблина. Когда в Севастополь прибыл новый командующий адмирал Герасимов, Саблин отказался сдать ему должность. Прошло несколько дней, пока сношениями с Феодосией, где пребывал Шиллинг, и со Ставкой не ликвидировано было это новое выступление. Саблин перешел на пароход «Александр Михайлович», где имел местопребывание и барон Врангель. Бубнов уехал в Константинополь, но его кружок продолжал работать, не стесняясь даже посвящать адм. Герасимова в свои предположения о перевороте. Под влиянием этих обстоятельств Герасимов счел себя вынужденным посоветовать ген. Врангелю «на время уехать, так как около его имени творятся здесь в Севастополе легенды и идет пропаганда против главного командования». Барон ответил ему, что «подумает об его словах».

В двадцатых числах февраля генерал Хольман имел разговор со мною:

— Ваше превосходительство, вы предполагаете дать какое-нибудь назначение ген. Врангелю или нет?

— Нет.

— В таком случае, может быть, лучше будет посоветовать ему уехать?

— Да, это было бы лучше.

В результате этого разговора Хольман написал письмо барону Врангелю в тоне исключительно доброжелательном:

«...Я глубоко уверен, что ваш разрыв с генералом Деникиным явился следствием того, что вы, как это часто бывает с искренними патриотами во время смуты, недостаточно поняли друг друга.

При таких отношениях служить вместе бывает слишком тяжело.

Мне причинило глубокую боль просить вас оставить Крым, так как, искренне веря в ваши лучшие намерения и преданность Родине, я все же счел правильным и полезным для настоящего положения просить вас сделать это».

Генерал Врангель излагает этот эпизод так: английский адм. Сеймур, находившийся в Севастополе, от имени ген. Хольмана передал ему «требование оставить пределы России».

Врангель выехал в Константинополь, предварительно отправив мне с нарочным обличительное письмо. Все существенное из него мною приведено было дословно в соответствующих главах. Остается дополнить лишь немногое.

Про меня генерал Врангель говорил:

«Вы видели, как таяло ваше обаяние и власть выскальзывала из ваших рук. Цепляясь за нее, в полнейшем ослеплении, вы стали искать кругом крамолу и мятеж...

Отравленный ядом честолюбия, вкусивший власти, окруженный беспечными льстецами, вы уже думали не о спасении Отечества, а лишь о сохранении власти...»

Про себя барон говорил:

«Русское общество стало прозревать... Все громче и громче... назывались имена начальников, имя которых среди всеобщего падения нравов оставалось незапятнанным... Армия и общество... во мне увидели человека, способного дать то, чего жаждали все...»

Наконец, про армню:

«Армня, воспнтаниая иа пронзволе, грабежах н пьянстве, ведомая иачальиикамн, примером своим развращающимн войска,— такая армня не могла создать Россню...»

Вероятио, такое шнрокое обобщенне впоследствнн сочтено было не отвечающим полнтнческому момеиту. Ибо со вступлением генерала Врангеля на пост главнокомандующего все старшне начальннкн осталнсь иа своих местах, былн награждены чниамн, ордеиами и тнтуламн. А через год в Коистантнноnоле в офнцнальиом опроверженни прнпнсаииых ему корреспондентом «Последннх новостей» слов барон заявил: «Я никогда не говорил, что белое двнженне требует какнх-то оправданий, что «наследне Деникина — разрозненные банды». Я два года провел в армнн ген. Деннкнна, сам к этнм «бандам» прннадлежал, во главе этнх «банд» оставался в Крыму и нм обязан всем, что намн сделано...»

Сначала с парохода «Александр Мнхайлович» в Севастополе, потом нз посольского дома в Коистантнноnоле, где остановился ген. Врангель, копнн памфлета распространялнсь сотнямн н тысячамн экземпляров — по Крыму, в армнн, за граннцей. Распространялнсь усердно н всякнмн способамн.

В Коистантнноnоле, напрнмер, «генералы Врангель н Шатилов,— пншет одесский журналнст С. Штерн,— зная, что я еду в Парнж н связан с тамошннмн лнтературиымн н полнтнческнмн кругамн, детальио нзложилн мне нсторню взанмоотношеинй Врангеля н Деникнна. Запнсь беседы с ген. Шатиловым у меия сохранилась, ио воспронзводить ее иет смысла, так как сообщенное ген. Шатиловым совпадает с сущностью опублнкованного впоследствнн пнсьма Врангеля к Деннкину».

И после моего отъезда нз Россин это печаталось н рассылалось в войсковые частн. В дело агнтацин вовлечена была н церковь. Одии нз ианболее актнвных деятелей предполагавшегося переворота, епнскоп Веннамнн, ставшнй после моего ухода протопресвнтером военного н морского духовенства, рассылал в полкн проповеднков, которые порочнлн нмя ушедшего главиокомандующего.

Пнсьмо это появлялось н в ниостраниой прессе.

Я ответил геиералу Врангелю кратко:

«Милостивый государь, Петр Ннколаевнч!

Ваше письмо как раз вовремя — в ианболее тяжкнй момент, когда мие прнходится иапрягать все духовные силы, чтобы предотвратнть паденне фронта. Вы должны быть вполне удовлетворены...

Еслн у меня н было маленькое сомненне в вашей ролн в борьбе за власть, то пнсьмо ваше рассеяло его окончательно. В нем нет нн слова правды. Вы это знаете. В нем прнведены чудовнщные обвннення, в которые вы самн ие вернте. Прнведены, очевидно, для той же целн, для которой множнлнсь н распространялнсь предыдущне рапорты-памфлеты.

Для подрыва властн н развала вы делаете все, что можете.

Когда-то, во время тяжкой болезнн, постнгшей вас, вы говорнлн Юзефовнчу, что бог карает вас за непомерное честолюбне...

Пусть он н теперь простнт вас за сделанное вамн русскому делу зло.

А. Деннкнн».

Былн н другне претенденты на власть.

В начале марта ген. Слащев совместно с герцогом С. Лейхтенбергскнм н помощннком Шиллннга Брянскнм замыслилн устраннть Шиллннга. Цель — вступлеине во власть в Крыму Слащева, поводы — обвнненне, предъявленное Брянскнм, который «иастанвал на том, чтобы произвестн обыск (у ген. Шиллннга), н гарантировал обнаруженне незаконных денег н вещей». В последнюю мннуту, однако, Брянскнй смутился н вышел нз игры. В своем рапорте на нмя Шиллннга от 9 н 10 марта он объясиял свой

поступок тем, что «любил (Шиллинга) как отца», но, будучи посвящен в намерения Слащева и герц. Лейхтенбергского убить Шиллинга, в случае отказа его подать в отставку, он, Брянский, «борясь с этим планом, предлагал всякие средства, включая арест (Шиллинга) и обыск в (его) доме».

Как предполагал использовать власть Слащев — неизвестно; сам же он пишет по этому поводу: «...Я первый ему (ген. Врангелю в Константинополь) через графа Гендрикова сообщаю: ехать дальше вам нельзя, возвращайтесь — но, по политическим соображениям, соедините наши имена, а Шатилову дайте название — ну хоть своего помощника...»

В начале марта бывшие тогда не у дел генералы Покровский и Боровский посетили ген. Кутепова и, «решившись посвятить его в свои предположения», осведомлялись, как отнесся бы Добровольческий корпус к перевороту в пользу ген. Покровского? Ген. Кутепов ответил, что ни он, ни корпус Покровскому не подчиняется.

В каких-то сложных политических комбинациях было замешано и английское дипломатическое представительство в лице ген. Киза... Мне известен его проект реорганизации власти Юга, с предоставлением главнокомандующему только военного командования. Предложение это предполагалось им поставить в ультимативной форме. По-видимому, в известной связи с такими планами находились волновавшие Новороссийск слухи о предположенной англичанами оккупации. «Из английских кругов,— телеграфировал мне 10 января Лукомский,— зондировали почву у Шликевича, председателя земского союза, не пойдет ли он в председатели «Русского совета» по управлению Черноморской губ., в случае назначения сюда генерал-губернатора англичанами».

Военное английское представительство отнеслось, однако, совершенно отрицательно к такого рода вмешательству в русские дела.

Позднее, когда назревала уже эвакуация Новороссийска, ген. Киз интересовался возможностью переворота и с этой целью осведомлялся у ген. Кутепова об отношении к этому вопросу Добровольческого корпуса.

* * *

Обстановка, в которой мне приходилось работать последние месяцы, была, таким образом, необычайно сложна и тягостна.

Главной своей опорой я считал добровольцев.

С ними я начал борьбу и шел вместе по бранному пути, деля невзгоды, печали и радости первых походов. С ними кровно и неразрывно связывал я судьбу всего движения и свое дальнейшее участие в нем. Я верил, что тяжкие испытания, ниспосланные нам судьбою, потрясут мысль и совесть людей, послужат к духовному обновлению армии, к очищению белой идеи от насевшей на нее грязи.

Я верил в добровольцев и с ними мог идти дальше по тернистой дороге к цели заветной, далекой, но не безнадежной...

28 февраля я получил телеграмму от командира Добровольческого корпуса ген. Кутепова:

«События последних дней на фронте с достаточной ясностью указывают, что на длительность сопротивления казачьих частей рассчитывать нельзя. Но если в настоящее время борьбу временно придется прекратить, то необходимо сохранить кадры Добровольческого корпуса до того времени, когда Родине снова понадобятся надежные люди. Изложенная обстановка повелительно требует принятия немедленных и решительных мер для сохранения и спасения офицерских кадров Добровольческого корпуса и добровольцев. Для того, чтобы в случае неудачи спасти корпус и всех бойцов за идею Добровольческой армии, пожелавших пойти с ним, от окончательного истребления и распыления, необходимо немедленное принятие следующих мер с полной гарантией за то, что меры

эти будут неуклонно проведены в жизнь в кратчайшее время. Меры эти следующие:

1. Немедленно приступить к самому интенсивному вывозу раненых и действительно больных офицеров и добровольцев за границу.

2. Немедленный вывоз желающих семейств офицеров и добровольцев, служивших в Добровольческой армии, в определенный срок за границу с тем, чтобы с подходом Добровольческого корпуса к Новороссийску возможно полнее разгрузить его от беженцев.

3. Сейчас же и, во всяком случае, не позже того времени, когда Добровольческий корпус отойдет в район станции Крымской, подготовить три или четыре транспорта, сосредоточенных в Новороссийске, конвоируемых наличными четырьмя миноносцами и подводными лодками, которые должны прикрыть посадку всего Добровольческого корпуса и офицеров других армий, пожелавших присоединиться к нему. Вместимость транспортов не менее десяти тысяч человек с возможно большим запасом продовольствия и огнеприпасов.

4. Немедленная постановка в строй офицеров, хотя бы и категористов, которые должны быть влиты в полки Добровольческого корпуса и принять участие в обороне подступов к Новороссийску. Все офицеры, зачисленные в эти полки и не ставшие в строй, хотя бы и категористы, не подлежат эвакуации, за исключением совершенно больных и раненых, причем право на эвакуацию должно быть определено комиссией из представителей от частей Добровольческого корпуса.

5. Все учреждения Ставки и правительственные учреждения должны быть посажены на транспорты одновременно с последней грузящейся на транспорт частью Добровольческого корпуса, и отнюдь не ранее.

6. Теперь же должна быть передана в исключительное ведение Добровольческого корпуса железная дорога Тимашевская — Новороссийск с узловой станцией Крымская включительно. Никто другой на этой линии распоряжаться не должен.

7. С подходом корпуса в район ст. Крымская вся власть в тылу и на фронте, порядок посадки, все плавучие средства и весь флот должны быть объединены в руках командира корпуса, от которого исключительно должен зависеть порядок посадки на транспорты и которому должны быть предоставлены диктаторские полномочия в отношении всех лиц и всякого рода военного казенного и частного имущества и всех средств, находящихся в районе Крымская — Новороссийск.

8. Дальнейшее направление посаженного на транспорты Добровольческого корпуса должно будет определиться политической обстановкой, создавшейся к тому времени, и, в случае падения Крыма или отказа от борьбы на его территории, Добровольческий корпус в том или ином виде высаживается в одном из портов или мест, предоставленных союзниками, о чем теперь же необходимо войти с ними в соглашение, выработав соответствующие и наивыгоднейшие условия интернирования или же поступления корпуса на службу целою частью.

9. Докладывая о вышеизложенном вашему превосходительству, я в полном сознании своей ответственности за жизнь и судьбу чинов вверенного мне корпуса и в полном согласии со строевыми начальниками, опирающимися на голос всего офицерства, прошу срочного ответа для внесения в войска успокоения и для принятия тех мер, которые обеспечат сохранение от распада оставшихся борцов за Родину.

10. Все вышеизложенное отнюдь не указывает на упадок духа в корпусе, и если удалось бы задержаться на одной из оборонительных линий, то определенность принятого вами на случай неудачи решения внесет в войска необходимое успокоение и придаст им еще большую стойкость.

Кутепов.»

Вот и конец.

Те настроения, которые сделали психологически возможным такое обращение добро-

вольцев к своему главнокомандующему, предопределили ход событий: в этот день я решил бесповоротно оставить свой пост. Я не мог этого сделать тотчас же, чтобы не вызвать осложнений на фронте, и без того переживавшем критические дни. Предполагал уйти, испив до дна горькую чашу новороссийской эвакуации, устроив армию в Крыму и закрепив крымский фронт.

Командиру корпуса я ответил:

«Генералу Кутепову.

Вполне понимая вашу тревогу и беспокойство за участь офицеров и добровольцев, прошу помнить, что мне судьба их не менее дорога, чем вам, и что, охотно принимая советы своих соратников, я требую при этом соблюдения правильных взаимоотношений подчиненного к начальнику. В основание текущей операции я принимаю возможную активность правого крыла Донской армии. Если придется отойти за Кубань, то в случае сохранения боеспособности казачьими частями будем удерживать фронт по Кубани, что легко, возможно и весьма важно. Если же казачий фронт рассыплется, Добровольческий корпус пойдет на Новороссийск. Во всех случаях нужен выигрыш времени. Отвечаю по пунктам:

1. Вывоз раненых и больных идет в зависимости от средств наших и даваемых союзниками. Ускоряю, сколько возможно.

2. Семейства вывозятся, задержка только от их нежелания и колебания.

3. Транспорты подготовляются.

4. Как вам известно — таково назначение Марковской дивизии.

5. Правительственные учреждения и Ставка поедут тогда, когда я сочту это нужным. Ставку никто не имеет оснований упрекать в этом отношении. Добровольцы должны бы верить, что главнокомандующий уйдет последним, если не погибнет ранее.

6. Железная дорога Тимашевка — Новороссийск вам передана быть не может, так как она обслуживает и Донскую армию. Это возможно лишь при тех исключительных условиях, о которых говорил во вступлении.

7. Вся власть принадлежит главнокомандующему, который даст такие права командиру Добровольческого корпуса, которые сочтет нужными».

День 28 февраля был одним из наиболее тяжких в моей жизни.

Ген. Кутепов, прибыв в один из ближайших дней в Ставку, выражал сожаление о своем шаге и объяснял его крайне нервной атмосферой, царившей в корпусе на почве недоверия к правительству и казачеству. «Только искреннее желание — помочь вам расчистить тыл руководило мною при посылке телеграммы»,— говорил он.

Эта беседа уже не могла повлиять на мое решение.

Глава XXXVIII

Эвакуация Новороссийска

Ко времени отхода фронта за Кубань вопрос о дальнейших перспективах армии приобретал чрезвычайно серьезное значение. В соответствии с решением моим — в случае неудачи на линии р. Кубани отводить войска в Крым, принят был ряд мер: усиленно снабжалась новая главная база в Феодосии; с января было приступлено к организации продовольственных баз на черноморском побережье, в том числе плавучих — для портов, к которым могли бы отходить войска; спешно заканчивалась разгрузка Новороссийска от беженского элемента, больных и раненых, путем эвакуации их за границу.

По условиям тоннажа и морального состояния войск одновременная, планомерная эвакуация их при посредстве Новороссийского порта была немыслима: не было надежд

на возможность погрузки всех людей, не говоря уже об артиллерии, обозе, лошадях и запасах, которые предстояло бросить. Поэтому, для сохранения боеспособности войск, их организации и материальной части, я наметил и другой путь — через Тамань.

Еще в директиве от 4 марта при отходе за реку Кубань на Добровольческий корпус возложено было, помимо обороны низовьев ее, прикрытие частью сил Таманского полуострова у Темрюка. Рекогносцировка пути между Анапой и станцией Таманской дала вполне благоприятные результаты; полуостров, замкнутый водными преградами, представлял большие удобства для обороны; весь путь туда находился под прикрытием судовой артиллерии, ширина Керченского пролива очень незначительна, а транспортная флотилия Керченского порта достаточно мощна и могла быть легко усилена. Я приказал стягивать спешно транспортные средства в Керчь. Вместе с тем велено было подготовить верховых лошадей для оперативной части Ставки, с которой я предполагал перейти в Анапу и следовать затем с войсками береговой дорогой на Тамань.

5 марта я посвятил в свои предположения прибывшего в Ставку ген. Сидорина, который отнесся к ним с сомнением. По его докладу, донские части утратили боеспособность и послушание и вряд ли согласятся идти в Крым. Но в Георгие-Афипской, где расположился донской штаб, состоялся ряд совещаний, и донская фракция Верховного круга, как я уже упоминал, признала недействительным постановление о разрыве с главнокомандующим; а совещание донских командиров в конце концов присоединилось к решению вести войска на Тамань.

Хотя переход на Тамань предполагался лишь в будущем, а директива Ставки требовала пока удержания линии р. Кубани, 4-й Донской корпус, стоявший за рекой выше Екатеринодара, тотчас же спешно снялся и стал уходить на запад.

7 марта я отдал последнюю свою директиву на Кавказском театре: Кубанской армии, бросившей уже рубеж р. Белой, удерживаться на р. Курге; Донской армии и Добровольческому корпусу оборонять линию р. Кубани от устья Курги до Ахтанизовского лимана; Добровольческому корпусу теперь же частью сил, обойдя кружным путем, занять Таманский полуостров и прикрыть от красных северную дорогу от Темрюка.

Ни одна из армий директивы не выполнила.

Кубанские войска, совершенно дезорганизованные, находились в полном отступлении, пробиваясь горными дорогами на Туапсе. С ними терялась связь не только оперативная, но и политическая: Кубанская рада и атаман, на основании последнего постановления Верховного круга, помимо старших военных начальников, которые оставались лояльными в отношении главнокомандующего, побуждали войска к разрыву со Ставкой. Большевики с ничтожными силами легко форсировали Кубань и, почти не встречая сопротивления, вышли на левый берег ее у Екатеринодара, разрезав фронт Донской армии. Оторвавшийся от нее к востоку корпус ген. Старикова пошел на соединение с кубанцами. Два других Донских корпуса, почти не задерживаясь, нестройными толпами двинулись по направлению Новороссийска. Многие казаки бросали оружие или целыми полками переходили к зеленым; все перепуталось, смешалось, потеряна была всякая связь штабов с войсками, и поезд командующего Донской армией, бессильного уже управлять войсками, ежедневно подвергаясь опасности захвата в плен, медленно пробивался на запад через море людей, коней и повозок. То недоверие и то враждебное чувство, которое в силу предшествовавших событий легло между добровольцами и казаками, теперь вспыхнуло с особенной силой. Двигающаяся казачья лавина, грозящая затопить весь тыл Добровольческого корпуса и отрезать его от Новороссийска, вызывала в его рядах большое волнение. Иногда оно прорывалось в формах весьма резких. Помню, как начальник штаба Добровольческого корпуса генерал Достовалов во время одного из совещаний в поезде Ставки заявил:

— Единственные войска, желающие и способные продолжать борьбу,— это Добровольческий корпус. Поэтому ему необходимо предоставить все потребные транспортные сред-

9—1565

ства, не считаясь ни с чьими претензиями и не останавливаясь в случае надобности перед применением оружия.

Я резко остановил говорившего.

Движение на Тамань с перспективой новых боев на тесном пространстве полуострова, совместно с колеблющейся казачьей массой, смущало добровольцев. Новороссийский порт влек к себе неудержимо, и побороть это стремление оказалось невозможным. Корпус ослабил сильно свой левый фланг, обратив главное внимание на Крымскую — Тоннельную, в направлении жел.-дор. линии на Новороссийск.

10 марта зеленые подняли восстание в Анапе и Гостогаевской станице и захватили эти пункты. Действия нашей конницы против зеленых были нерешительны и безрезультатны. В тот же день большевики, отбросив слабую часть, прикрывавшую переправу, перешли через Кубань. Днем конные части их появились у Гостогаевской, а с вечера от переправы в направлении на Анапу двигались уже колонны неприятельской пехоты. Повторенное 11 числа наступление конницы генералов Барбовича, Чеснокова и Дьякова на Гостогаевскую и Анапу было еще менее энергично и успеха не имело.

Пути на Тамань были отрезаны...

И 11 марта Добровольческий корпус, два Донских и присоединившаяся к ним Кубанская дивизия, без директивы, под легким напором противника, сосредоточились в районе ст. Крымской, направляясь всей своей сплошной массой на Новороссийск.

Катастрофа становилась неизбежной и неотвратимой.

* * *

Новороссийск тех дней, в значительной мере уже разгруженный от беженского элемента, представлял из себя военный лагерь и тыловой вертеп. Улицы его буквально запружены были молодыми и здоровыми воинами — дезертирами. Они бесчинствовали, устраивали митинги, напоминавшие первые месяцы революции — с таким же элементарным пониманием событий, с такой же демагогией и истерией. Только состав митингующих был иной: вместо товарищей солдат были офицеры. Прикрываясь высокими побуждениями, они приступили к организации «военных обществ», скрытой целью которых был захват, в случае надобности, судов... И в то же время официальный «эвакуационный бюллетень» с удовлетворением констатировал: «Привлеченные к погрузке артиллерийских грузов офицеры, с правом потом по погрузке самим ехать на пароходах, проявляют полное напряжение и, вместо установленной погрузочной нормы 100 пудов, грузят в двойном и более размерах, сознавая важность своей работы...»

Первое время, ввиду отсутствия в Новороссийске надежного гарнизона, было трудно. Я вызвал в город добровольческие офицерские части и отдал приказ о закрытии всех, возникших на почве развала военных «обществ», об установлении полевых судов для руководителей их и дезертиров и о регистрации военнообязанных. «Те, кто избегнут учета, пусть помнят, что в случае эвакуации Новороссийска будут брошены на произвол судьбы...». Эти меры, в связи с ограниченным числом судов на Новороссийском рейде, разрядили несколько атмосферу.

А в городе царил тиф, косила смерть. 10-го я проводил в могилу начальника Марковской дивизии, храбрейшего офицера, полковника Блейша.

Второй «старый» марковец уходил за последние недели... Недавно, в Батайске, среди вереницы отступающих обозов я встретил затертую в их массе повозку, везущую гроб с телом умершего от сыпного тифа генерала Тимановского. Железный «Степаныч», сподвижник и друг ген. Маркова, человек необыкновенного, холодного мужества, столько раз водивший полки к победе, презиравший смерть и сраженный ею так не вовремя... Или вовремя?

Убогая повозка с дорогою кладью, покрытая рваным брезентом,— точно безмолвный и бесстрастный символ.

* * *

Оглушенная поражением и плохо разбиравшаяся в сложных причинах его, офицерская среда волновалась и громко называла виновника. Он был уже назван давно — человек долга и безупречной моральной честности, на которого армейские и некоторые общественные круги — одни по неведению, другие по тактическим соображениям — свалили главную тяжесть общих прегрешений.

Начальник штаба главнокомандующего генерал И. П. Романовский.

В начале марта ко мне пришел протопресвитер, о. Георгий Шавельский и убеждал меня освободить Ивана Павловича от должности, уверяя, что в силу создавшихся настроений в офицерстве возможно убийство его. Об этом эпизоде о. Георгий писал мне впоследствии:

«Чтобы Ив. Павл. не заподозрил меня в какой-нибудь интриге против него, я, прежде чем беседовать с вами, побывал у него и, скрепя сердце, нарисовал ему полную картину поднявшейся против него злобы.

Иван Павлович слушал спокойно, как будто бесстрастно и только спросил меня: «Скажите, в чем меня обвиняют?»

«Для клеветы нет границ,— ответил я,— во всем. Говорят, например, что вы на днях отправили за границу целый пароход табаку, и дальше в этом и другом роде».

Ив. Павл. опустил голову на руки и замолк.

Действительно, чего только не валили на его бедную голову: его считали хищником, когда я знаю, что в Екатеринодаре и Таганроге, для изыскания жизненных средств, он должен был продавать свои старые, вывезенные из Петрограда вещи; его объявили жидомасоном, когда он всегда был вернейшим сыном православной церкви; его обвиняли в себялюбии и высокомерии, когда он ради пользы дела старался совсем затушевать свое я, и т. д.

Я умоляю теперь Ив. Павл. уйти на время от дел, пока отрезвеют умы и смолкнет злоба.

Он ответил мне, что это его самое большое желание...

«Вы знаете,— писал дальше о. Георгий,— как одиозно было тогда в армии имя Ив. Павл.; может быть, слышите, что память его не перестает поноситься и доселе. Необходимо рассеять гнусную клевету и соединенную с нею ненависть, преследовавшие этого чистого человека при его жизни, не оставившие его после смерти. Я готов был бы, как его духовник, которому он верил и которому он открывал свою душу, свидетельствовать перед миром, что душа эта была детски чистая, что он укреплялся в подвиге, который он нес, верою в бога, что он самоотверженно любил Родину, служил ей только из горячей, беспредельной любви к ней, что, не ища своего, забывал о себе; что он живо чувствовал людское горе и страдание и всегда устремлялся навстречу ему».

Тяжко мне было говорить с Иваном Павловичем об этих вопросах. Решили с ним, что потерпеть уж осталось недолго: после переезда в Крым он оставит свой пост.

Несколько раз ген. Хольман обращался ко мне и к ген.-кварт. Махрову с убедительной просьбой переместить поезд или уговорить ген. Романовского перейти на английский корабль, так как «его решили убить добровольцы...». Это намерение, по-видимому, близко было к осуществлению: 12 марта явилось в мой поезд лицо, близкое к корниловской дивизии, и заявило, что группа корниловцев собирается сегодня убить ген. Романовского; пришел и ген. Хольман. В присутствии Ивана Павловича он взволнованно просил меня вновь «приказать» начальнику штаба перейти на английский корабль.

— Этого я не сделаю,— сказал Иван Павлович.— Если же дело обстоит так, прошу ваше превосходительство освободить меня от должности. Я возьму ружье и пойду добровольцем в корниловский полк; пускай делают со мной, что хотят.

Я просил его перейти хотя бы в мой вагон. Он отказался.

Слепые, жестокие люди, за что?

* * *

Отношения англичан по-прежнему были двойственны. В то время как дипломатическая миссия ген. Киза изобретала новые формы управления для Юга, начальник военной миссии, ген. Хольман, вкладывал все свои силы и душу в дело помощи нам. Он отлично принимал участие с английскими техническими частями на Донецком фронте; со всей энергией добивался усиления и упорядочения материальной помощи; содействовал организации Феодосийской базы,— непосредственно и влияя на французов. Ген. Хольман силой британского авторитета поддерживал Южную власть в распре ее с казачеством и делал попытки влиять на поднятие казачьего настроения. Он отождествлял наши интересы со своими, горячо принимал к сердцу наши беды и работал, не теряя надежд и энергии, до последнего дня, представляя резкий контраст со многими русскими деятелями, потерявшими уже сердце.

Трогательное внимание проявлял он и в личных отношениях ко мне и начальнику штаба. Атмосфера «заговоров» и «покушений», охватившая в последние дни Новороссийск, не давала Хольману покоя. С нами говорить об этом бесполезно; но не проходило дня, чтобы он не являлся к ген.-квартирмейстеру с упреками и советами по этому поводу. Совместно с ним он принял тайно некоторые меры предосторожности, а явно демонстрировал внимание к главнокомандующему, представив мне на смотр английский десант и судовые экипажи.

Впрочем, я и до сегодняшнего дня думаю, что в отношении меня лично все эти предосторожности были излишни.

Юг постигло великое бедствие. Положение казалось безнадежным, и конец близок. Сообразно с этим менялась и политика Лондона. Ген. Хольман оставался еще в должности, но неофициально называли уже имя его преемника, ген. Перси... Лондон решил ускорить «ликвидацию». Очевидно, такое поручение было морально неприемлемо для ген. Хольмана, так как в один из ближайших перед эвакуацией дней ко мне явился не он, а ген. Бридж с предложением английского правительства: так как, по мнению последнего, положение катастрофично и эвакуация в Крым неосуществима, то англичане предлагают мне свое посредничество для заключения перемирия с большевиками...

Я ответил: никогда.

Этот эпизод имел свое продолжение несколько месяцев спустя. В августе 1920 г. в газете «Таймс» опубликована была нота лорда Керзона к Чичерину от 1 апреля. В ней, после соображений о бесцельности дальнейшей борьбы, которая «является серьезной угрозой спокойствию и процветанию России», Керзон заявлял:

«Я употребил все свое влияние на ген. Деникина, чтобы уговорить его бросить борьбу, обещав ему, что, если он поступит так, я употреблю все усилия, чтобы заключить мир между его силами и вашими, обеспечив неприкосновенность всех его соратников, а также населения Крыма. Ген. Деникин в конце концов последовал этому совету и покинул Россию, передав командование ген. Врангелю».

Неизвестно, чему было больше удивляться: той лжи, которую допустил лорд Керзон, или той легкости, с которой министерство иностранных дел Англии перешло от реальной помощи благого Юга к моральной поддержке большевиков путем официального осуждения белого движения.

В том же «Таймсе» я напечатал тотчас опровержение:

«1. Никакого влияния лорд Керзон оказать на меня не мог, так как я с ним ни в каких отношениях не находился.

2. Предложение (британского военного представителя о перемирии) я категорически отвергнул и, хотя с потерей материальной части, перевел армию в Крым, где тотчас же приступил к продолжению борьбы.

3. Нота английского правительства о начатии мирных переговоров с большевиками была, как известно, вручена уже не мне, а моему преемнику по командованию вооруженными силами Юга России, генералу Врангелю, отрицательный ответ которого был в свое время опубликован в печати.

4. Мой уход с поста главнокомандующего был вызван сложными причинами, но никакой связи с политикой лорда Керзона не имел.

Как раньше, так и теперь я считаю неизбежной и необходимой вооруженную борьбу с большевиками до полного их поражения. Иначе не только Россия, но и вся Европа обратится в развалины.

Для характеристики ген. Хольмана могу добавить: он просил меня разъяснить дополнительно в «Таймсе», что «британский военный представитель», предлагавший перемирие с большевиками, был не ген. Хольман.

Я охотно исполнил желание человека, который, «познав истинную природу большевизма», готов был — как доносил он Черчилю — „скорее стать в ряды армий Юга рядовым добровольцем, чем вступить в сношения с большевиками...“»

* * *

Армии катились от Кубани к Новороссийску слишком быстро, а на рейде стояло слишком мало судов...

Пароходы, занятые эвакуацией беженцев и раненых, подолгу простаивали в иностранных портах по карантинным правилам и сильно запаздывали. Ставка и комиссия ген. Вязьмитинова, непосредственно ведавшая эвакуацией, напрягали все усилия к сбору судов, встречая в этом большие препятствия. И Константинополь, и Севастополь проявляли необычайную медлительность под предлогом недостатка угля, неисправности механизмов и других непреодолимых обстоятельств.

Узнав о прибытии главнокомандующего на Востоке ген. Мильна и английской эскадры адм. Сеймура в Новороссийск, я 11 марта заехал в поезд ген. Хольмана, где встретил и обоих английских начальников. Очертив им общую обстановку и указав возможность катастрофического падения обороны Новороссийска, я просил о содействии эвакуации английским флотом. Встретил сочувствие и готовность. Адм. Сеймур заявил, что по техническим условиям он может принять на борты своих кораблей не более 5—6 тысяч человек. Тогда ген. Хольман сказал по-русски и перевел свою фразу по-английски:

— Будьте спокойны. Адмирал добрый и великодушный человек. Он сумеет справиться с техническими трудностями и возьмет много больше.

— Сделаю все, что возможно,— ответил Сеймур.

Адмирал своим сердечным отношением к участи белого воинства оправдывал вполне данную ему Хольманом характеристику. Его обещанию можно было верить, и эта помощь значительно облегчала наше тяжелое положение.

Суда между тем прибывали. Появилась надежда, что в ближайшие 4—8 дней нам удастся поднять все войска, желающие продолжать борьбу на территории Крыма. Комиссия Вязьмитинова назначила первые четыре транспорта частям Добровольческого корпуса, один пароход для кубанцев, остальные предназначались для Донской армии.

12 марта утром ко мне прибыл ген. Сидорин. Он был подавлен и смотрел на положение своей армии совершенно безнадежно. Все развалилось, все текло, куда глаза глядят, никто бороться больше не хотел, в Крым, очевидно, не пойдут. Донской командующий был озабочен главным образом участью донских офицеров, затерявшихся в волнующейся казачьей массе. Им грозила смертельная опасность в случае сдачи большевикам. Число их Сидорин определял в 5 тысяч. Я уверил его, что все офицеры, которые смогут добраться до Новороссийска, будут посажены на суда.

Но по мере того, как подкатывала к Новороссийску волна донцов, положение выяснялось все более, и притом в неожиданном для Сидорина смысле: колебания понемногу рассеялись и все донское воинство бросилось к судам. Для чего — вряд ли они тогда отдавали себе ясный отчет. Под напором обращенных к нему со всех сторон требований ген. Сидорин изменил своей тактике и в свою очередь обратился к Ставке с требованием судов для всех частей — в размерах явно невыполнимых, как невыполнима вообще планомерная эвакуация войск, не желающих драться, ведомых начальниками, переставшими повиноваться.

Между тем Новороссийск, переполненный свыше всякой меры, ставший буквально непроезжим, залитый человеческими волнами, гудел, как разоренный улей. Шла борьба за «место на пароходе» — борьба за спасение... Много человеческих драм разыгралось на стогнах города в эти страшные дни. Много звериного чувства вылилось наружу перед лицом нависшей опасности, когда обнаженные страсти заглушали совесть и человек человеку становился лютым ворогом.

12 марта явился ко мне ген. Кутепов, назначенный начальником обороны Новороссийска, и доложил, что моральное состояние войск, их крайне нервное настроение не дают возможности оставаться долее в городе, что ночью необходимо его оставить...

Суда продолжали прибывать, но их все еще было недостаточно, чтобы поднять всех.

Ген. Сидорин вновь обратился с резким требованием транспортов. Я предложил ему три решения:

1. Занять сохранившимися донскими войсками ближайшие подступы к Новороссийску, чтобы выиграть дня два, в которые несомненно прибудут недостающие транспорты.

Сидорин не хотел или не мог этого сделать. Точно так же он отказался выставить на позиции хотя бы сохранившую боеспособность учебную бригаду.

2. Повести лично свои части береговой дорогой на Геленджик — Туапсе, куда могли быть свернуты подходившие пароходы и направлены новые, после разгрузки их в крымских портах.

Сидорин не пожелал этого сделать.

3. Наконец, можно было отдаться на волю судьбы, в расчете на те транспорты, которые прибудут в этот день и в ночь на 14-е, а также на обещанную адмиралом Сеймуром помощь английских судов.

Ген. Сидорин остановился на этом решении, а подчиненным ему начальникам, потом прессе поведал об учиненном главным командованием «предательстве Донского войска». Эта версия, сопровождаемая вымышленными подробностями, была очень удобна, перекладывая весь одиум, все личные грехи и последствия развала казачьей армии на чужую голову.

Вечером 13-го штаб главнокомандующего, штабы Донской армии и Донского атамана посажены были на пароход «Цесаревич Георгий». После этого я с ген. Романовским и несколькими чинами штаба перешли на русский миноносец «Капитан Сакен».

Посадка войск продолжалась всю ночь. Часть добровольцев и несколько полков донцов, не попавших на суда, пошли береговой дорогой на Геленджик.

* * *

Прошла бессонная ночь. Начало светать. Жуткая картина. Я взошел на мостик миноносца, стоявшего у пристани. Бухта опустела. На внешнем рейде стояло несколько английских судов, еще дальше виднелись неясные уже силуэты транспортов, уносящих русское воинство к последнему клочку родной земли, в неизвестное будущее...

В бухте мирно стояли два французских миноносца, по-видимому, не знавшие обстановки. Мы подошли к ним. В рупор была передана моя просьба:

— Новороссийск эвакуирован. Главнокомандующий просит вас взять на борт, сколько возможно, из числа остающихся на берегу людей.

Миноносцы быстро снялись и ушли на внешний рейд...

В бухте — один только «Капитан Сакен».

На берегу у пристани толпился народ. Люди сидели на своих пожитках, разбивали банки с консервами, разогревали их, грелись сами у разведенных тут же костров. Это бросившие оружие — те, которые не искали уже выхода. У большинства спокойное, тупое равнодушие — от всего пережитого, от утомления, от духовной прострации. Временами слышались из толпы крики отдельных людей, просивших взять их на борт. Кто они, как их выручить из сжимающей их толпы?.. Какой-то офицер с северного мола громко звал на помощь, потом бросился в воду и поплыл к миноносцу. Спустили шлюпку и благополучно подняли его. Вдруг замечаем — на пристани выстроилась подчеркнуто стройно какая-то воинская часть. Глаза людей с надеждой и мольбой устремлены на наш миноносец. Приказываю подойти к берегу. Хлынула толпа...

— Миноносец берет только вооруженные команды...

Погрузили, сколько возможно было, людей и вышли из бухты. По дороге, недалеко от берега, в открытом море покачивалась на свежей волне огромная баржа, выведенная и оставленная там каким-то пароходом. Сплошь, до давки, до умопомрачения забитая людьми. Взяли ее на буксир и подвели к английскому броненосцу.

Адмирал Сеймур выполнил свое обещание: английские суда взяли значительно больше, чем было обещано.

Очертания Новороссийска выделялись еще резко и отчетливо. Что творилось там?.. Какой-то миноносец повернул вдруг обратно и полным ходом полетел к пристани. Бухнули орудия, затрещали пулеметы: миноносец вступил в бой с передовыми частями большевиков, занявшими уже город. Это был «Пылкий», на котором ген. Кутепов, получив сведение, что не погружен еще 3-й Дроздовский полк, прикрывавший посадку, пошел на выручку.

Потом все стихло. Контуры города, берега и гор обволакивались туманом, уходя в даль... в прошлое.

Такое тяжелое, такое мучительное.

Глава XXXIX

Судьба войск, оставшихся на Северном Кавказе, и Каспийской флотилии. Упразднение Южного правительства. Последние дни в Крыму. Оставление мною поста главнокомандующего ВСЮР

Грозные недавно вооруженные силы Юга распались.

Части, двинувшиеся берегом моря на Геленджик, при первом же столкновении с отрядом дезертиров, занимавших Кабардинскую, не выдержали, замитинговали и рас-

сеялись. Небольшая часть их была подобрана судами, остальные ушли в горы или передались большевикам.

Части Кубанской армии и 4-го Донского корпуса, вышедшие горами к берегу Черного моря, расположились между Туапсе и Сочи, в районе, лишенном продовольствия и фуража, в обстановке чрезвычайно тяжелой. Надежды кубанцев на зеленых и на помощь грузин не оправдались. Кубанская рада, правительство и атаман Букретов, добивавшийся командования войсками, требовали полного разрыва с «Крымом» и склонялись к заключению мира с большевиками; военные начальники категорически противились этому. Эта распря и полная дезорганизация верхов вносила еще большую смуту в казачью массу, окончательно запутавшуюся в поисках выхода и путей к спасению.

Сведения о разложении, колебаниях и столкновениях в частях, собравшихся на Черноморском побережье, приходили в Феодосию и вызывали мучительные сомнения: как быть с ними дальше? Эти сомнения волновали Ставку и разделялись казачьими кругами. Ставка указывала перевозить только вооруженных и желающих драться. Донские правители смотрели более пессимистично: на бурном заседании их в Феодосии решено было воздержаться пока вовсе от перевозки донцов в Крым. Мотивами этого решения были — с одной стороны, развал частей, с другой — опасение за прочность Крыма («ловушка»). Такое неопределенное положение доно-кубанских корпусов на побережье длилось после моего ухода еще около месяца, завершившись трагически: кубанский атаман Букретов через ген. Морозова заключил договор с советским командованием о сдаче армии большевикам и сам скрылся в Грузию. Большая часть войск сдалась действительно, меньшая успела переправиться в Крым.

В начале марта начался исход с Северного Кавказа. Войска и беженцы потянулись на Владикавказ, откуда в десятых числах марта по Военно-Грузинской дороге перешли в Грузию. Обезоруженные грузинами войска и беженцы были интернированы потом в Потийском лагере.

Еще восточнее, берегом Каспийского моря отходил на Петровск астраханский отряд ген. Драценко. Отряд этот сел 16 марта в Петровске на суда и совместно с Каспийской военной флотилией пошел в Баку. Ген. Драценко и команд. флотилией адм. Сергеев заключили условие с азербайджанским правительством, в силу которого, ценою передачи Азербайджану оружия и материальной части, войскам разрешен был проход в Поти. Военная флотилия, не подымая азербайджанского флага и сохраняя свое внутреннее управление, принимала на себя береговую оборону. Но когда суда начали входить в гавань, обнаружился обман: азербайджанское правительство заявило, что лицо, подписавшее договор, не имело на то полномочий, и потребовало безусловной сдачи. На этой почве во флоте началось волнение; адм. Сергеев, отправившийся в Батум, чтобы оттуда войти в связь со Ставкой, был объявлен офицерами низложенным, и суда под командой капитана 2-го ранга Бушена ушли в Энзели с целью отдаться там под покровительство англичан. Английское командование, не желая столкновения с большевиками, предложило командам судов считаться интернированными и распорядилось снять части орудий и машин. И когда большевики вслед за тем сделали внезапную высадку, сильный английский отряд, занимавший Энзели, обратился в поспешное отступление; к англичанам вынуждены были присоединиться и наши флотские команды. Один из участников этого отступления, русский офицер, писал впоследствии о чувстве некоторого морального удовлетворения, которое испытывали «мы — жалкие и беспомощные среди англичан» при виде того, как «перед кучкой большевиков, высадившихся и перерезавших дорогу в Решт, войска сильной, могущественной британской армии драпали вместе с нами...».

Рухнуло государственное образование Юга, и осколки его, разбросанные далеко,

катились от Каспия до Черного моря, увлекая людские волны. Рухнул оплот, прикрывавший с севера эфемерные «государства», неустанно подтачивавшие силы Юга, и разительно ясно обнаружилась вся немощность и нежизнеспособность их... В несколько дней пала «Черноморская республика» зеленых, не более недели просуществовал «Союз горских народов», вскоре сметен был и Азербайджан. Наступал черед Грузинской республики, бытие которой по соображениям общей политики допускалось советской властью еще некоторое время.

* * *

На маленьком Крымском полуострове сосредоточилось все, что осталось от вооруженных сил Юга.

Армия, ставшая под непосредственное мое командование, сведена была в три корпуса (Крымский, Добровольческий, Донской) сводную кавалерийскую дивизию и сводную кубанскую бригаду. Все остальные части, команды, штабы и учреждения, собравшиеся в Крым со своей бывшей территории Юга, подлежали расформированию, причем весь боеспособный личный состав их пошел на укомплектование действующих войск. Крымский корпус силою около 5 тыс. по-прежнему прикрывал перешейки. Керченский район обеспечивался от высадки со стороны Тамани сводным отрядом в $1^1/_2$ тыс. Все прочие части расположены были в резерве на отдых: Добровольческий корпус в районе Севастополя — Симферополя, донцы — в окрестностях Евпатории.

Ставку я расположил временно в тихой Феодосии, вдали от кипящего страстями Севастополя.

Ближайшая задача, возложенная на армию, заключалась в обороне Крыма.

Армия насчитывала в своих рядах 35—40 тыс. бойцов, имела на вооружении 100 орудий и до 500 пулеметов. Но была потрясена морально, и войска, прибывшие из Новороссийска, лишены были материальной части, лошадей, обозов и артиллерии. Добровольцы пришли поголовно вооруженными, привезли с собой все пулеметы и даже несколько орудий; донцы прибыли безоружными.

С первого же дня началась спешная работа по реорганизации, укомплектованию и снабжению частей. Некоторый отдых успокаивал возбужденные до крайности нервы.

До тех пор, в течение $1^1/_2$ года, части были разбросаны по фронту на огромные расстояния, почти не выходя из боя. Теперь сосредоточенное расположение крупных войсковых соединений открывало возможность непосредственного и близкого воздействия старших начальников на войска.

Противник занимал северные выходы из Крымских перешейков по линии Геническ — Чонгарский мост — Сиваш — Перекоп. Силы его были не велики (5—6 тыс.), а присутствие в тылу отрядов Махно и других повстанческих банд сдерживало его наступательный порыв. Со стороны Таманского полуострова большевики никакой активности не проявляли.

Движение главных сил Юга к берегам Черного моря советским командованием расценивалось как последний акт борьбы. Сведения о состоянии наших войск, о мятежах, подымаемых войсками и начальниками — весьма преувеличенные,— укрепляли большевиков в убеждении, что белую армию, припертую к морю, ждет неминуемая и конечная гибель. Поэтому операция переброски значительных сил в Крым, готовность и возможность продолжать там борьбу явились для советского командования полнейшей неожиданностью.

На Крым не было обращено достаточно внимания, и за эту оплошность советская власть поплатилась впоследствии дорогою ценой.

* * *

Необходимо было упорядочить и реорганизовать гражданское управление, слишком громоздкое для Крыма.

Южно-русское правительство Мельникова, прибыв в Севастополь, попало сразу в атмосферу глубокой и органической враждебности, парализовавшей всякую его деятельность. Правительство — по своему генезису, как созданное в результате соглашения с Верховным кругом — уже по этой причине было одиозно и вызывало большое раздражение, готовое вылиться в дикие формы.

Поэтому, с целью предотвращения нежелательных эксцессов, я решил упразднить Южное правительство еще до своего ухода. 16 марта я отдал приказ об упразднении совета министров. Взамен его поручалось М. В. Бернацкому организовать «сокращенное численно, деловое учреждение, ведающее делами общегосударственными и руководством местных органов». Приказ подтверждал, что «общее направление внешней и внутренней политики останется незыблемым на началах, провозглашенных мною 16 января в г. Екатеринодаре».

На членов правительства этот неожиданный для них приказ произвел весьма тягостное впечатление... Форму не оправдываю, но сущность реорганизации диктовалась явной необходимостью и личной безопасностью министров.

В тот же день, 16-го, члены правительства на предоставленном им пароходе выехали из Севастополя и перед отъездом в Константинополь заехали в Феодосию проститься со мной. После краткого слова Н. М. Мельникова ко мне обратился Н. В. Чайковский:

— Позвольте вас, генерал, спросить: что вас побудило совершить государственный переворот?

Меня удивила такая постановка вопроса — после разрыва с Верховным кругом и, главное, после того катастрофического «переворота», который разразился над всем белым Югом...

— Какой там переворот! Я вас назначил и я вас освободил от обязанностей — вот и все.

После этого Ф. С. Сушков указал на «ошибочность моего шага»: за несколько дней своего пребывания в Крыму правительство, по его словам, заслужило признание не только общественных кругов, но и военной среды. Так что все предвещало возможность плодотворной работы его...

— К сожалению, у меня совершенно противоположные сведения. Вы, по-видимому, не знаете, что творится кругом. Во всяком случае, через несколько дней все случившееся станет вам ясным...

* * *

Покидал свой пост ген. Хольман — неизменный доброжелатель армии. В своем прощальном слове он говорил: «...с глубочайшим сожалением я уезжаю из России. Я надеялся оставаться с вами до конца борьбы, но получил приказание ехать в Лондон для доклада своему правительству о положении... Не думайте, что я покидаю друга в беде. Я надеюсь, что смогу принести вам большую пользу в Англии... Я уезжаю с чувством глубочайшего уважения и сердечной дружбы к вашему главнокомандующему и с усилившимся решением остаться верным той кучке храбрых и честных людей, которые вели тяжелую борьбу за свою родину в продолжение двух лет...»

При новой политике Лондона ген. Хольман был бы действительно не на месте.

Расставался я и со своим верным другом И. П. Романовским. Освобождая его от должности начальника штаба, я писал в приказе:

«Беспристрастная история оценит беззаветный труд этого храбрейшего воина, рыцаря долга и чести и беспредельно любящего Родину солдата и гражданина.

История заклеймит презрением тех, кто по своекорыстным побуждениям ткал паутину гнусной клеветы вокруг честного и чистого имени его.

Дай бог вам сил, дорогой Иван Павлович, чтобы при более здоровой обстановке продолжать тяжкий труд государственного строительства».

На место ген. Романовского начальником штаба я назначил состоявшего в должности ген.-квартирмейстера ген. Махрова.

Хольман, предполагавший выехать в ближайший день в Константинополь, предложил Ивану Павловичу ехать с ним вместе.

Рвались нити, связывавшие с прошлым, становилось пусто вокруг...

* * *

Поздно вечером, 19-го, в Феодосию приехал ген. Кутепов по важному делу. Он доложил:

«Когда я прибыл в Севастополь, то на пристани офицер, присланный от ген. Слащева, доложил мне, что за мной прислан вагон с паровозом и что ген. Слащев просит меня прибыть к нему немедленно. В этом вагоне около 8 часов вечера я прибыл в Джанкой, где на платформе меня встретил ген. Слащев и просил пройти к нему в вагон. После легкого ужина, по просьбе Слащева я прошел к нему в купе, и там он мне очень длинно стал рассказывать о том недовольстве в войсках его корпуса главнокомандующим и о том, что такое настроение царит среди всего населения, в частности, среди заявивших ему об этом армян и татар, в духовенстве, а также во флоте и, якобы, среди чинов моего корпуса; и что 23-го марта предположено собрать совещание из представителей духовенства, армии, флота и населения для обсуждения создавшегося положения и что, вероятно, это совещание решит обратиться к генералу Деникину с просьбой о сдаче им командования. Затем он прибавил, что, ввиду моего прибытия теперь на территорию Крыма, он полагает необходимым и мое участие в этом совещании.

На это я ему ответил, что относительно настроения моего корпуса он ошибается. Участвовать в каком-либо совещании без разрешения главнокомандующего я не буду и, придавая огромное значение всему тому, что он мне сказал, считаю необходимым обо всем этом немедленно доложить генералу Деникину. После этих моих слов я встал и ушел. Выйдя на платформу, я сел в поезд и приказал везти себя в Феодосию».

То, что я услышал, меня не удивило.

Генерал Слащев вел эту работу не первый день и не в одном направлении, а сразу в четырех. Он посылал гонцов к барону Врангелю, убеждая его «соединить наши имена» (т. е. Врангеля и Слащева), и при посредстве герцога С. Лейхтенбергского входил в связь по этому вопросу с офицерскими флотскими кругами. В сношениях своих с правой, главным образом, общественностью он старался направить ее выбор в свою личную пользу. Вместе с тем через ген. Боровского он входил в связь с генералами Сидориным, Покровским, Юзефовичем и уславливался с ними о дне и месте совещания для устранения главнокомандующего. В чью пользу — умалчивалось, так как первые двое были антагонистами Врангеля и не имели также желания возглавить себя Слащевым. Наконец, одновременно, чуть ли не ежедневно Слащев телеграфировал в Ставку с просьбой разрешить ему прибыть ко мне для доклада и высказывал «глубокое огорчение», что его не пускают к «своему главнокомандующему»...

Ген. Сидорин усиленно проводил взгляд «о предательстве Дона» и телеграфировал донскому атаману, что этот взгляд разделяют «все старшие начальники и все казаки». Он решил «вывести Донскую армию из пределов Крыма и того подчинения, в котором она

сейчас находится», и требовал немедленного прибытия атамана и правительства в Евпаторию «для принятия окончательного решения»...

Я знал уже и о той роли, которую играл в поднявшейся смуте епископ Вениамин, возглавивший оппозицию крайних правых; но — до каких пределов доходило его рвение, мне стало известным только несколько лет спустя... На другой день после прибытия Южного правительства в Севастополь преосвященный явился к председателю его. Об этом посещении Н. М. Мельников рассказывает:

«Епископ Вениамин сразу начал говорить о том, что «во имя спасения России» надо заставить ген. Деникина сложить власть и передать ее ген. Врангелю, ибо только он — по мнению епископа и его друзей — может спасти в данных условиях Родину. Епископ добавил, что у них, в сущности, все уже готово к тому, чтобы осуществить намеченную перемену, и что он считает своим долгом обратиться по этому делу ко мне лишь для того, чтобы по возможности не вносить лишнего соблазна в массу и подвести легальные подпорки под «их» предприятие, ибо, если Южно-русское правительство санкционирует задуманную перемену, все пройдет гладко, «законно»...

Епископ Вениамин добавил, что согласится Южно-русское правительство или не согласится — дело все равно сделано будет...

Это приглашение принять участие в перевороте, сделанное притом епископом, было так неожиданно для меня, тогда еще впервые видевшего заговорщика в рясе, и так меня возмутило, что я, поднявшись, прекратил дальнейшие излияния епископа».

Епископ Вениамин посетил затем мин. вн. дел В. Ф. Зеелера, которому также в течение полутора часа внушал мысль о необходимости переворота:

«Все равно с властью Деникина покончено, его сгубил тот курс политики, который отвратен русскому народу. Последний давно уже жаждет «хозяина земли русской», и мешать этому, теперь уже вполне созревшему порыву не следует. Нужно всячески этому содействовать — это будет и богу угодное дело. Все готово: готов к этому и ген. Врангель, и вся та партия патриотически настроенных действительных сынов своей Родины, которая находится в связи с ген. Врангелем. Причем ген. Врангель — тот божией милостью диктатор, из рук которого и получит власть и царство помазанник»...

Епископ был так увлечен поддержкой разговора, что перестал сохранять сдержанность и простую осторожность и дошел до того, что готов был тут же ждать от правительства решений немедленных».

Сидорин, Слащев, Вениамин... это все, в сущности, меня уже мало интересовало. Я спросил ген. Кутепова о настроении Добровольческих частей.

Он ответил, что одна дивизия вполне прочная, в другой настроение удовлетворительное, в двух — не благополучно. Критикуя наши неудачи, войска, главным образом, обвиняют в них ген. Романовского. Кутепов высказал свое мнение, что необходимо принять спешные меры против собирающегося совещания и лучше всего вызвать ко мне старших начальников с тем, чтобы они сами доложили мне о настроении войск.

Я взглянул на дело иначе: настало время выполнить мое решение. Довольно.

В ту же ночь, совместно с начальником штаба, ген. Махровым, я составил секретную телеграмму — приказание о сборе начальников на 21 марта в Севастополь на военный совет, под председательством ген. Драгомирова, «для избрания преемника главнокомандующему вооруженными силами Юга России». В число участников я включил и находившихся не у дел, известных мне претендентов на власть и наиболее активных представителей оппозиции. В состав совета должны были войти: «Командиры Добровольческого (Кутепов) и Крымского (Слащев) корпусов и их начальники дивизий. Из числа командиров бригад и полков — половина (от Крымского корпуса, в силу боевой обстановки, норма может быть меньше). Должны прибыть также: коменданты крепостей, командующий флотом, его начальник штаба, начальники морских управлений, четыре стар-

ших строевых начальника флота. От Донского корпуса — генералы Сидорин, Кельчевский и шесть лиц в составе генералов и командиров полков. От штаба главнокомандующего — начальник штаба, дежурный генерал, начальник военного управления и персонально генералы: Врангель, Богаевский, Улагай, Шиллинг, Покровский, Боровский, Ефимов, Юзефович и Топорков».

К председателю военного совета я обратился с письмом:

«Многоуважаемый Абрам Михайлович!

Три года российской смуты я вел борьбу, отдавая ей все свои силы и неся власть как тяжкий крест, ниспосланный судьбою.

Бог не благословил успехом войск, мною предводимых. И хотя вера в жизнеспособность армии и в ее историческое призвание мною не потеряна, но внутренняя связь между вождем и армией порвана. И я не в силах более вести ее.

Предлагаю военному совету избрать достойного, которому я передам преемственно власть и командование.

Уважающий вас А. Деникин».

* * *

Следующие два, три дня прошли в беседах с преданными мне людьми, приходившими с целью предотвратить мой уход. Они терзали мне душу, но изменить моего решения не могли.

Военный совет собрался, и утром 22-го я получил телеграмму ген. Драгомирова:

«Военный совет признал невозможным решать вопрос о преемнике главкома, считая это прецедентом выборного начальства, и постановил просить вас единолично указать такового. При обсуждении Добровольческий корпус и кубанцы заявили, что только вас желают иметь своим начальником и от указания преемника отказываются. Донцы отказались давать какие-либо указания о преемнике, считая свое представительство слишком малочисленным, не соответствующим боевому составу, который они определяют в 4 дивизии. Генерал Слащев отказался давать мнение за весь свой корпус, от которого могли прибыть только три представителя, и вечером просил разрешения отбыть на позиции, что ему и было разрешено. Только представители флота указали преемником генерала Врангеля. Несмотря на мои совершенно категорические заявления, что ваш уход решен бесповоротно, вся сухопутная армия ходатайствует о сохранении вами главного командования, ибо только на вас полагаются и без вас опасаются за распад армии; все желали бы вашего немедленного прибытия сюда для личного председательствования в совете, но меньшего состава. В воскресенье в полдень назначил продолжение заседания, к каковому прошу вашего ответа для доклада военсовету.

Драгомиров».

Я считал невозможным изменить свое решение и ставить судьбы Юга в зависимость от временных, меняющихся, как мне казалось, настроений. Генералу Драгомирову я ответил:

«Разбитый нравственно, я ни одного дня не могу оставаться у власти. Считаю уклонение от подачи мне совета генералами Сидориным и Слащевым недопустимым. Число собравшихся безразлично. Требую от военного совета исполнения своего долга. Иначе Крым и армия будут ввергнуты в анархию.

Повторяю, что число представителей совершенно безразлично. Но, если донцы считают нужным, допустите число членов сообразно их организации».

В тот же день получена мною в ответ телеграмма ген. Драгомирова:

«Высшие начальники до командиров корпусов включительно единогласно остановились на кандидатуре ген. Врангеля. Во избежание трений в общем собрании, означенные на-

чальники просят вас прислать ко времени открытия общего собрания, к 18 часам, ваш приказ о назначении, без ссылки на избрание военным советом».

Я приказал справиться,— был ли ген. Врангель на этом заседании и известно ли ему об этом постановлении, и, получив утвердительный ответ, отдал свой последний приказ вооруженным силам Юга:

§ 1

«Генерал-лейтенант барон Врангель назначается главнокомандующим вооруженными силами Юга России.

§ 2

Всем, шедшим честно со мною в тяжкой борьбе,— низкий поклон.

Господи, дай победу армии и спаси Россию.

генерал Деникин».

Г. Соло́мон

Среди красных вождей

Лично пережитое и виденное на советской службе

Вместо предисловия

После долголетних размышлений я приступаю к своим воспоминаниям о моей советской службе. И, начиная их, я считаю необходимым предпослать им несколько общих строк, чтобы читателю стало понятно дальнейшее.

Все то, что мне пришлось испытать и видеть в течение периода моей советской деятельности, мучило и угнетало меня все время прохождения ее и привело, в конце концов, к решению, что я не могу больше продолжать этот ужас, и 1-го августа 1923 года я подал в отставку. Но первое время я был далек от мысли выступать со своими воспоминаниями — хотелось только уйти, не быть с «ними», забыть все это, как тяжелый кошмар...

По мере того, как время все более и более отодвигало меня от того момента, когда я, весь разбитый и физически и нравственно всем пережитым мною, ушел из этого ада, ушел со все растущим во мне разочарованием, отложившимся в конечном счете в яркое сознание, что я сделал роковую ошибку, войдя в ряды советских деятелей, тем сильнее и императивнее стало говорить во мне сознание того, что я обязан и перед своею совестью, и, что главное, и перед моей родиной описать все, испытанное мною, все те порядки и идеи, которые царили и продолжают царить в советской системе, угнетающей все живое в России...

Из дальнейшего, читатель, надеюсь, поймет, что, уйдя с советской службы, я, конечно, не мог не унести с собой чувства глубокого оскорбления моего простого человеческого достоинства...

Я был все время на весьма ответственных постах, а именно: сперва первым секретарем Берлинского посольства (во времена Иоффе), затем консулом в Гамбурге (и одновременно в Штеттине и Любеке), затем заместителем народного комиссара внешней торговли в Москве, далее полномочным представителем Народного комиссариата внешней торговли в Ревеле (где я сменил Гуковского), и, наконец, директором «Аркоса» в Лондоне. С последнего поста, как я упомянул выше, я ушел 1-го августа 1923 года.

Таким образом, я много видел. Я знал многих известных деятелей большевизма со времен еще подпольных. И, само собою разумеется, вспоминая о тех или иных событиях, я не могу не говорить и об этих деятелях. А потому в этих воспоминаниях в последовательной связи выступят Ленин, Красин, Иоффе, Литвинов, Чичерин, Воровский, Луначарский, Шлихтер, Крестинский, Карахан, Зиновьев, Коллонтай, Копп, Радек, Елизаров, Клышко, Берзин, Квятковский, Половцева, Крысин и др.

Я опишу в последовательной связи, как и почему я вместе с моим покойным другом (с юных лет) Красиным решили пойти на советскую службу при всем нашем критическом отношении к ней и почему я в конце концов расстался с ней.

Введение

⟨...⟩ Я принимал довольно деятельное участие в Февральской революции 1917 года. В мае того же года я по личным делам уехал в Стокгольм, где обстоятельства задержали меня надолго. В начале ноября 1917 года произошел большевистский переворот. Я не был ни участником, ни свидетелем его, все еще находясь в Стокгольме. Там я сравнительно часто встречался с Воровским, который был в Стокгольме директором отделения русского акционерного общества «Сименс и Шуккурт», во главе которого в Петербурге стоял покойный Л. Б. Красин. В то время Воровский очень ухаживал за мной, частенько эксплуатируя мою дружбу с Красиным и мое некоторое влияние на него для устройства разных своих личных служебных делишек...

В первые же дни после большевистского переворота Воровский, встретясь со мной, сообщил мне с глубокой иронией, что я могу его поздравить, он, дескать, назначен «советским посланником в Швеции». Он не верил, по его словам, ни в прочность этого захвата большевиками власти, ни в способность большевиков сделать что-нибудь путное и считал все это дело нелепой авантюрой, на которой большевики «обломают свои зубы». Он всячески вышучивал свое назначение и в доказательство несерьезности его обратил мое внимание на то, что большевики, сделав его посланником, не подумали о том, чтобы дать ему денег.

— Ну, знаете ли,— сказал он,— это просто водевиль, и я не хочу быть опереточным посланником опереточного правительства!..

И он продолжал оставаться на службе у «Сименс и Шуккерт», выдавая в то же время визы на въезд в Россию. Через некоторое время он опять встретился со мной и со злой иронией стал уверять меня, что большевистская авантюра, в сущности, уже кончилась, как этого и следовало ожидать, ибо «где же Ленину, этому беспочвенному фантазеру, сделать что-нибудь положительное... разрушить он может, это легко, но творить — это ему не дано...». Те же разговоры он вел и с представителями посольства Временного правительства (Керенского)... Но я оставляю Воровского с тем, что еще вернусь к нему, так как он является интересным и, пожалуй, типичным представителем обычных советских деятелей, ни во что, в сущности, не верующих, надо всем издевающихся и преследующих, за немногими исключениями, лишь маленькие личные цели карьеры и обогащения.

Слухи из России приходили путаные и темные, почему я в начале декабря решил лично повидать все, что там творится. И, взяв у Воровского визу, поехал в Петербург. Случайно с тем же поездом в Петербург же ехал директор стокгольмского банка Ашберг, который, стремясь ковать железо, пока горячо, вез с собой целый проект организации кооперативного банка в России. Он познакомил меня дорогой с этим проектом. Идея показалась мне весьма целесообразной для данного момента, о котором я мог судить лишь по газетным сведениям.

Мы прибыли в Петербург около двух часов ночи. Улицы были пустынны, кое-где скупо освещены. Редкие прохожие робко жались к стенам домов. Извозчик, везший меня, на мои вопросы отвечал неохотно и как-то пугливо.

— Да, конечно,— вяло сказал он в ответ на мой вопрос,— обещают новые правители сейчас же созвать Учредительное собрание... Ну, а в народе идет молва, что это так только нарочно говорят, чтобы перетянуть народ на свою сторону.

Наутро я поехал повидать Красина в его бюро.

— Зачем нелегкая принесла тебя сюда? — Таким вопросом вместо дружеского приветствия встретил он мое появление в его кабинете.

И много грустного и тяжелого узнал я от него.

— Ты спрашиваешь, что это такое? Это, милый мой, ставка на немедленный социализм, то есть утопия, доведенная до геркулесовых столбов глупости! Нет, ты подумай

только, они все с ума сошли с Лениным вместе! Забыто все, что проповедовали социал-демократы, забыты законы естественной эволюции, забыты все наши нападки и предостережения от попыток творить социалистические эксперименты в современных условиях, наши указания об опасности их для народа — все, все забыто! Людьми овладело форменное безумие: ломают все, все реквизируют, а товары гниют, промышленность останавливается, на заводах царят комитеты из невежественных рабочих, которые, ничего не понимая, решают все технические, экономические и черт знает какие вопросы! На моих заводах тоже комитеты из рабочих. И вот, изволишь ли видеть, они не разрешают пускать в ход некоторые машины... «Не надо, ладно и без них!»... А Ленин... да, впрочем, ты увидишь его: он стал совсем невменяем, это один сплошной бред! И это ставка не только на социализм в России, нет, но и на мировую революцию под тем же углом социализма! Ну, остальные, которые около него, ходят перед ним на задних лапках, слова поперек не смеют сказать, и, в сущности, мы дожили до самого форменного самодержавия...

Следующее мое свидание было с Лениным и другими моими старыми товарищами (как Елизаров, Луначарский, Шлихтер и др.) в Смольном институте, месте, где тогда происходили заседания Совета Народных Комиссаров.

Беседа с Лениным произвела на меня самое удручающее впечатление. Это был сплошной максималистский бред.

— Скажите мне, Владимир Ильич, как старому товарищу,— сказал я,— что тут делается? Неужели это ставка на социализм, на остров «Утопия», только в колоссальном размере? Я ничего не понимаю...

— Никакого острова «Утопии» здесь нет,— резко ответил он тоном очень властным.— Дело идет о создании социалистического государства... Отныне Россия будет первым государством с осуществленным в ней социалистическим строем... А!.. вы пожимаете плечами! Ну, так вот, удивляйтесь еще больше! Дело не в России, на нее, господа хорошие, мне наплевать,— это только этап, через который мы проходим к мировой революции...

Я невольно улыбнулся. Он скосил на меня свои маленькие узкие глаза монгольского типа с горевшим в них злым ироническим огоньком и сказал:

— А вы улыбаетесь! Дескать, все это бесплодные фантазии. Я знаю, что вы можете сказать, знаю весь арсенал тех трафаретных, избитых, якобы марксистских, а в сущности, буржуазно-меньшевистских ненужностей, от которых вы не в силах отойти даже на расстояние куриного носа... Впрочем,— прервал он вдруг самого себя,— мне товарищ Воровский писал о ваших беседах с ним в Стокгольме, о том, что вы назвали все это фантазиями, и прочее.

— Нет, нет, мы уже прошли мимо всего этого, все это осталось позади... Это чисто марксистское миндальничанье! Мы отбросили все это, как неизбежные детские болезни, которые переживает и общество, и класс и с которыми они расстаются, видя на горизонте новую зарю... И не думайте мне возражать! — вскрикнул он, замахав на меня руками.— Это ни к чему! Меня вам и Красину с его постепенством или, что то же самое, с его «естественной эволюцией», господа хорошие, не переубедить! Мы забираем и заберем как можно левее!!.

Улучив минуту, когда он на миг смолк, точно захлебнувшись своими собственными словами, я поспешил возразить ему:

— Все это очень хорошо. Допустим, что вы дойдете до самого, что называется, левейшего угла... Но вы забываете закон реакции, этот чисто механический закон... Ведь вы откатитесь по этому закону черт его знает куда!..

— И прекрасно! — воскликнул он.— Прекрасно, пусть так, но в таком случае это говорит за то, что надо еще левее забирать! Это вода на мою же мельницу!..

Среди этой беседы я упомянул о предстоявшем созыве Учредительного собрания. Он хитро прищурил свои маленькие глазки, лукаво посмотрел на меня и как-то задорно свистнул:

— Ну, знаете ли, это тема такая, что я сейчас не хочу еще говорить о ней... Скажу только, что «учредилка» — это тоже старая сказка, с которой вы зря носитесь. Мы, в сущности, прошли уже мимо этого этапа... Ну, да впрочем, посмотрим... Мы обещали... а там посмотрим... посмотрим... Во всяком случае, никакие «учредилки» не вышибут нас с нашей позиции. Нет!..

Беседа наша затянулась. Я не буду воспроизводить ее целиком, а только даю легкий абрис ее.

— Так вот,— закончил Ленин,— идите к нам и с нами и вы, и Никитич *. И не нам, старым революционерам, бояться и этого эксперимента, и закона реакции. Мы будем бороться также и с ним, с этим законом!..— И мы победим! Мы всколыхнем весь мир... За нами пролетариат!..— закончил он, как на митинге.

Мы расстались. Затем тут же я повидался со старыми товарищами — Луначарским, Елизаровым (мужем сестры Ленина), Шлихтером, Коллонтай, Бонч-Бруевичем и другими. Из разговоров со всеми ими, за исключением Елизарова, я убедился, что все они, искренно или неискренно, прочно стали на платформу «социалистической России», как базы и средства для создания «мировой социалистической революции». И все они боялись слово пикнуть перед Лениным.

Один только мой старый друг, Марк Тимофеевич Елизаров, стоял особняком.

— Что, небось Володя (Ленин) загонял вас своей мировой революцией? — сказал он мне.— Черт знает что такое!.. Ведь умный человек, а такую чушь порет!.. Чертям тошно.

— А вы что тут делаете, Марк Тимофеевич? — спросил я, зная, что он человек очень рассудительный, не склонный к утопиям.

— Да вот...— как-то сконфуженно ответил он,— Володя и Аня (его жена, сестра Ленина) уговорили меня... попросту заставили... Я у них министром путей сообщения, то есть народным комиссаром путей сообщения,— поправился он.—...Не думайте, что я своей охотой залез туда: заставили... Ну, да это ненадолго, уйду я от них. У меня свое дело, страховое, тут я готов работать... А весь этот Совнарком с его бреднями о мировой социалистической революции... да ну его к бесу!..— и он сердито отмахнулся ⟨...⟩

В течение моего пребывания в Петербурге новые правители неоднократно возвращались к вопросу о назначении меня на разные посты. Но то, что мне пришлось видеть и слышать, мало располагало меня к тому, чтобы согласиться на какие бы то ни было предложения. Во всем чувствовалась такая несерьезность, все так напоминало эмигрантские кружки с их дрязгами, так было далеко от широкого государственного отношения к делу, так много было личных счетов, сплетен и прочее, столько было каждения перед Лениным, что у меня не было ни малейшей охоты приобщиться к этому правительству новой формации, которое, по-видимому, и само в то время не сознавало себя правительством, а просто какими-то захватчиками, калифами на час...

И это было не только мое личное впечатление,— того же взгляда держались в то время и многие другие, как Красин, и даже близкий Ленину по семейным связям Елизаров, который сокрушенно говорил мне:

— Посмотрите на них: разве это правительство?.. Это просто случайные налетчики, захватили Россию и сами не знают, что с ней делать... Вот теперь — ломать, так уж ломать все! И Володя теперь лелеет мечту свести на нет и Учредительное собрание! Он, не обинуясь, называет эту заветную мечту всех революционеров просто «благоглупостью», от которой мы, дескать, ушли далеко... И вот, помяните мое слово, они так или иначе, а покончат с этой идеей, и таким образом тот голос народа, о котором мы все с детства мечтали, так никогда и не будет услышан... И что будет с Россией, сам черт не разберет!.. Нет, я уйду от них, ну их к бесу!..

* Партийная кличка Красина.

Тут-то он сообщил мне, что, как он слышал от Ленина, похоронить Учредительное собрание должен будет некто Урицкий, которого я совершенно не знал, но с которым мне вскоре пришлось познакомиться при весьма противных для меня обстоятельствах...

Итак, я решил возвратиться в Стокгольм и с благословения Ленина начать там организовывать торговлю нашими винными запасами. Мне пришлось еще раза три беседовать на эту тему с Лениным. Все было условлено, налажено, и я распростился с ним.

Нужно было получить заграничный паспорт. Меня направили к заведовавшему тогда этим делом Урицкому *. Я спросил Бонч-Бруевича, который был управделами Совнаркома, указать мне, где я могу увидеть Урицкого. Бонч-Бруевич был в курсе наших переговоров об организации вывоза вина в Швецию.

— Так что же, вы уезжаете-таки? — спросил он меня.— Жаль... Ну, да надеюсь, это ненадолго... Право, напрасно вы отклоняете все предложения, которые вам делают у нас... А Урицкий как раз находится здесь...— Он оглянулся по сторонам.— Да вот он, видите, там, разговаривает с Шлихтером... Пойдемте к нему, я ему скажу, что и как, чтобы выдали паспорт без волынки...

Мы подошли к невысокого роста человеку с маленькими неприятными глазками.

— Товарищ Урицкий,— обратился к нему Бонч-Бруевич,— позвольте вас познакомить... товарищ Соломон...

Урицкий оглядел меня недружелюбным колючим взглядом.

— А, товарищ Соломон... Я уже имею понятие о нем,— небрежно обратился он к Бонч-Бруевичу.— имею понятие... Вы прибыли из Стокгольма? — спросил он, повернувшись ко мне.— Не так ли?.. Я все знаю...

Бонч-Бруевич изложил ему, в чем дело, упомянул о вине, решении Ленина... Урицкий нетерпеливо слушал его, все время враждебно поглядывая на меня.

— Так, так,— поддакивал он Бонч-Бруевичу,— так, так... понимаю...— И вдруг, резко повернувшись ко мне, в упор бросил: — Знаю я все эти штуки... знаю... и я вам не дам разрешения на выезд за границу... не дам! — как-то взвизгнул он.

— То есть как это вы не дадите мне разрешения? — в сильном изумлении спросил я.

— Так и не дам! — повторил он крикливо.— Я вас слишком хорошо знаю, и мы вас из России не выпустим! ⟨...⟩ У меня есть сведения, что вы действуете в интересах немцев...

Тут произошла безобразная сцена. Я вышел из себя. Стал кричать на него. Ко мне бросились А. М. Коллонтай, Елизаров и другие и стали успокаивать меня. Другие в чем-то убеждали Урицкого... Словом, произошел форменный скандал.

Я кричал:

— Позовите мне сию же минуту сюда Ильича... Ильича...

Укажу на то, что вся эта сцена разыгралась в большом зале Смольного института, находившемся перед помещением, где происходили заседания Совнаркома и где находился кабинет Ленина.

Около меня метались разные товарищи, старались успокоить меня... Бонч-Бруевич побежал к Ленину, все ему рассказал. Вышел Ленин. Он подошел ко мне и стал расспрашивать, в чем дело. Путаясь и сбиваясь, я ему рассказал. Он подозвал Урицкого.

— Вот что, товарищ Урицкий,— сказал он,— если вы имеете какие-нибудь данные подозревать товарища Соломона, но серьезные данные, а не взгляд и нечто, так изложите ваши основания. А так, ни с того ни с сего, заводить всю эту истерику не годится... Изложите, мы рассмотрим в Совнаркоме... Ну-с...

— Я базируюсь,— начал Урицкий,— на вполне определенном мнении нашего уважаемого товарища Воровского...

— А, что там «базируюсь»,— резко прервал его Ленин.— Какие такие мнения «ува-

* Урицкий был первым организатором ЧК.

жаемых» товарищей и прочее? Нужны объективные факты. А так, ни с того ни с сего, здорово живешь опорочивать старого и тоже уважаемого товарища, это не дело... Вы его не знаете, товарищ Соломон, а мы все давно его знаем... Ну, да мне некогда, сейчас заседание Совнаркома,— и Ленин торопливо убежал к себе.

Скажу правду, что только в Торнео, сидя в санях, чтобы ехать в Швецию на станцию Хапаранта (рельсового соединения тогда еще не было), я несколько пришел в себя, ибо, пока я был в пределах Финляндии, находившейся еще в руках большевиков, я все время боялся, что вот-вот по телеграфу меня остановят и вернут обратно. И, сидя уже в шведском вагоне и перебирая мои советские впечатления, я чувствовал себя так, точно я пробыл в Петербурге не три недели, как оно было на самом деле, а долгие, кошмарно долгие годы. И трудно мне было сразу разобраться в моих впечатлениях, и первое время я не мог иначе формулировать их как словами: первобытный хаос, тяжелый, душу изматывающий сон, от которого хочется и не можешь проснуться. И лишь много спустя, уже в Стокгольме, я смог дать себе самому ясный отчет в пережитом в Петербурге 〈...〉

Как и понятно читателю из вышеизложенного, мои впечатления были в высокой степени мрачны. Не менее мрачен был взгляд Красина как на настоящее, так и на будущее. Мы оба хорошо знали лиц, ставших у власти, знали их еще со времени подполья, со многими мы были близки, с некоторыми дружны. И вот, оценивая их как практически государственных деятелей, учитывая их шаги, их идеи, учитывая этот новый курс, ставку на социализм, на мировую революцию, в жертву которой должны были быть, по плану Ленина, принесены все национальные русские интересы, мы в будущем не предвидели, чтобы они сами и люди их школы могли дать России что-нибудь положительное. Мы отдавали себе ясный отчет в том, что на Россию, на народ, на нашу демократию Ленин и иже с ним смотрят только как на экспериментальных кроликов, обреченных вплоть до вивисекции, или как на какую-то пробирку, в которой они проделывают социальный опыт, не дорожа ее содержимым и имея в виду, хотя бы даже и изломав ее вдребезги, повторить этот же эксперимент в мировом масштабе. Мы ясно понимали, что Россия и ее народ — это в глазах большевиков только определенная база, на которой они могут держаться и, эксплуатируя и истощая которую, они могут получать средства для попыток организации мировой революции. И притом эти люди, оперируя на искажении учения Маркса, строили на нем основание своих фантастических экспериментов, не считаясь с живыми людьми, с их страданиями, принося их в жертву своим утопическим стремлениям... Мы понимали, что перед Россией и ее народом, перед всей русской демократией стоит нечто фатальное, его уже не минуешь, море крови, войны, несчастья, страдания... Было понстине страшно. Ведь мы оба с юных лет любили наш народ, худо ли, хорошо ли, чем-то жертвовали для него, для борьбы за его светлое будущее, за его свободу. В нас не погас еще зажженный в юные годы светоч нашего, для нас великого и дорогого идеала — добиваться и добиться того момента, когда наш народ в лице своих государственных организаций, им излюбленных, им одобренных, им установленных, свободно выскажет свою волю,— как он хочет жить, в чьи руки он желает вложить бразды правления, каково должно быть это правление... И мы понимали, что, как мы это называли, «сумасшествие», охватившее наших экспериментаторов, есть явление, с которым следует бороться всеми мерами, не щадя ничего.

* * *

Мы добрались, наконец, до Москвы. Это было 6-го июля 1919 года. Нашлись какие-то носильщики, которые, выгрузив наш обильный багаж, повезли его на ручной платформе-тележке к выходу. Я сопровождал его. Вдруг несколько человек в кожаных куртках грозно остановили носильщиков.

— Стой! — властно крикнул один из них.— Откуда этот багаж, чей?..

Носильщики остановились.

— Это чекисты,— быстро шепнул мне один из них.

Я подошел к старшему и, назвав себя, дал ему все указания.

— Ага,— ответил он,— так... ну так тем более багаж должен быть осмотрен нами...

— Нет, товарищ,— твердо и решительно возразил я,— мой багаж вашему осмотру не подлежит...

— Не говорите глупостей, гражданин, мы знаем, что делаем, вы нам не указ... Предъявите ваши документы и идем с нами...

— Никуда я с вами не пойду и производить обыск в моем багаже не позволю... Вот мои документы,— сказал я, вытащив из кармана мои удостоверения.— Я вам не позволю рыться в моих вещах, я везу с собой массу важных документов, которые не имею права никому показывать: я еду из Германии, я бывший советский консул. Я сейчас позвоню Чичерину, Красину...

Чекисты в это время успели рассмотреть мои документы и после некоторых препирательств и ругани (настоящей ругани), с озлоблением, точно звери, у которых вырвали из зубов добычу, пропустили меня и моих спутников.

А кругом стояли стон и плач. Чекисты набрасывались на пассажиров, отбирали у них котомки, мешочки, чемоданы с провизией и реквизировали эти продукты. Напомню читателю, что в Москве в это время уже начинался лютый голод, а покупать и продавать что-нибудь было строго воспрещено, под страхом тяжелой кары.. Все должны были довольствоваться определенными выдачами по карточкам, по которым почти ничего не выдавалось. Среди молящих и плакавших на вокзале мне врезалась в память одна молодая женщина, хотя и одетая почти в лохмотья, но сохранившая облик интеллигентного человека. У нее отобрали мешок с какой-то провизией.

— Не отнимайте у меня, прошу вас,— молила она чекиста, вырвавшего у нее из рук ее мешок.— Я привезла это моим детям... они голодают... Господи, я насилу раздобыла, за большие деньги... продала теплое пальто... не отнимайте, не отнимайте...

И она побежала за быстро шедшими чекистами, плача и моля...

— Знаем мы вас, буржуев,— говорил ей в ответ чекист, грубо отталкивая ее.— Спекулянты проклятые, небось на Сухаревку потащишь... А вот за то, что ты пальто продала, следовало бы тебя препроводить к нам...

Испуганная женщина моментально умолкла и быстро скрылась в толпе, оставив в руках чекиста добычу...

Я стиснул зубы, с трудом удержав себя, чтобы не вмешаться... Что я мог сделать...

Оставив моих спутников, я вышел с вокзала искать извозчиков. Их не было. Растерянный стоял я, не зная, что делать, когда из подъехавшего автомобиля выскочил и бросился ко мне Красин, предупрежденный мною телеграммой из Смоленска...

Красин предоставил мне свой автомобиль, и мы перебрались с вокзала на Б. Дмитровку (кажется, № 26), в дом, который по реквизиции был предоставлен коммиссариату иностранных дел. Это был прекрасный барский особняк, роскошно и со вкусом меблированный. Но поселившиеся здесь товарищи успели загрязнить его и вообще привести его в невозможный вид. Оставшаяся при доме прислуга его прежних владельцев все время негодовала и жаловалась мне на то, что новые жильцы обратили его в «свинюшник».

Я, согласно уговору, поехал в «Метрополь», к Красину, с которым мы после долгой разлуки и пробеседовали чуть не весь остаток дня. Сперва я, конечно, рассказал ему о моих злоключениях, пережитых в Берлине, Гамбурге, об аресте и прочем. И вот тут-то от него я и узнал, что Чичериным своевременно были получены все мои радиотелеграммы, посланные из Гамбурга, что даже сам Ленин одобрил меня и мой образ действий. Неполучение же ответа ни на одну из моих телеграмм Красин объяснил тем, что и Чичерин, относившийся ко мне под влиянием Воровского весьма отрицательно, и Литвинов, по

свойственной его характеру завистливости, решили «подставить ножку»» и оставить меня выпутываться как угодно из моего затруднительного положения. Затем Красин сообщил мне, что, узнав из телеграммы германского министерства иностранных дел о нашем аресте в качестве заложников, он требовал от Чичерина принятия мер к нашему немедленному освобождению. И Чичерин, и Литвинов уверяли его, что делается все необходимое, что они обмениваются телеграммами с германским правительством, но что последнее затягивается. Словом, оказалось, что и в данном случае было сведение личных счетов со мной. Меня спокойно бросили на произвол судьбы...

Я упоминаю об этом не для того, чтобы жаловаться или рисоваться моими страданиями, нет, а с единственной целью показать читателю, как советское правительство и его деятели, сводя свои личные счеты, относятся к своим даже высоко стоящим сотрудникам, каковым был я, сознательно обрекая их на всякие случайности: ведь ничего не было сделано для освобождения тех германских граждан, заложниками за которых мы являлись. Они все — и Чичерин, и Литвинов — не могли не понимать, что своим пассивным отношением они обрекают меня на всякие случайности, вплоть до расстрела... Но что им, всем этим не помнящим родства, до других, что им, этим «идеологам» борьбы за «лучший мир», до чужой жизни...

— Да, брат,— говорил Красин,— с грустью приходится убедиться в том, что личные счеты у нас легли во главу угла отношения друг к другу... Меня, например, Литвинов ненавидит всеми фибрами своей душонки.,. это старые счеты, еще со времен подполья. Вечная, ничем не сдерживаемая зависть, боязнь остаться позади. И вот и на тебя он переносит ту же ненависть и всеми мерами старается, чтобы ты, Боже сохрани, как-нибудь не выдвинулся бы выше него. Он, конечно, забыл, или сознательно, или просто по маленькой подлости маленького человечишки, озлобленного превосходством других, делает вид, что забыл, как ты когда-то, еще в Бельгии, после его ареста в Париже, ломал копья за него... А когда ты остался один в Гамбурге, среди волнующегося моря революции, а потом был арестован, он, опасаясь того ореола, который может тебя окружить в глазах советских верхов и выдвинуть, почувствовал к тебе глухую ненависть и всеми мерами старался использовать этот благоприятный случай утопить тебя... Я знаю, что фактически он застопорил вопрос с ответами на твои радио из Гамбурга, на телеграммы министерства иностранных дел о вашем аресте... Этот человек из породы тех, которые по своей натуре способны лишь к мелкой, обывательского характера злобе к тем, кто им протягивает руку помощи, оказывает одолжение... Вообще насчет благородства здесь не спрашивай... Все у нас грызутся друг с другом, все боятся друг друга, все следят один за другим, как бы другой не опередил, не выдвинулся... Здесь нет и тени понимания общих задач и необходимой в общем деле солидарности... Нет, они грызутся. И поверишь ли мне, если у одного и того же дела работает, скажем, десять человек, это вовсе не означает, что работа будет производиться совокупными усилиями десяти человек, нет, это значит только то, что все эти десять человек будут работать друг против друга, стараясь один другого подвести, вставить один другому палки в колеса, и таким образом в конечном счете данная работа не только не движется вперед, нет, она идет назад или в лучшем случае стоит на месте, ибо наши советские деятели взаимно уничтожают продуктивность работы друг друга... Право, в самые махровые царские времена со всеми их чиновниками и дрязгами не было ничего подобного... Но ведь то были чинуши, бюрократы, всеми презираемые, всеми высмеиваемые, а теперь ведь у власти мы, соль земли!.. Ха-ха-ха! Посмотри на нас как следует, и окажется, что мы во всей этой слякоти превзошли и Передоновых, и Акакия Акакиевича, и всех этих героев старого времени...

Я заговорил с ним о моих тяжелых впечатлениях во пути по России.

— Недовольство, говоришь ты,— ответил Красин,— да, брат, и злоба, страшная злоба и ненависть... Делается все, чтобы искушать человеческое терпение. Это какое-то голово-

тяпство, и они рубят сук, на котором сидят. И, конечно, если народ поднимется, всем нам не сдобровать,— это будет пугачевщина, и народ зальет Россию кровью большевиков и вообще всех, кого они считают за таковых... и за господ...

— Хорошо,— возразил я,— ну, а твое влияние на Ленина? Неужели ты ничего не можешь сделать?

— Ха, мое влияние,— с горечью перебил он меня.— Ну, брат, мое влияние — это горькая ирония... В отдельных случаях мне иногда удается повлиять на него... когда, например, хотят «вывести в расход» совсем уже зря какого-нибудь ни в чем неповинного человека... Но, мне кажется, что на него никто не имеет влияния... Ленин стал совсем невменяем, и если кто и имеет на него влияние, так это «товарищ Феликс», т. е. Дзержинский, еще больший фанатик и, в сущности, хитрая бестия, который запугивает Ленина контрреволюцией и тем, что она сметет нас всех и его в первую очередь ⟨...⟩ Дзержинский играет на этой струнке... Словом, дело обстоит так: все подавлено и подавляется еще больше, люди боятся не то что говорить, но даже думать... Шпионство такое, о каком не мечтал даже Наполеон III — шпионы повсюду: в учреждениях, на улицах, наконец даже в семьях... Доносы и расправа втихомолку... Дальше уже некуда идти...

— А тут еще и белое движение,— продолжал он.— На юге Деникин, на северо-западе Юденич, на востоке Колчак, на Урале чехословаки, а на севере англодобровольческие банды... Мы в тисках... И для меня лично не подлежит сомнению, что нам с нашими оборванцами вместо армии, плохо вооруженными, недисциплинированными, без технических знаний и опыта, не сдобровать перед этими белыми армиями, движущимися на нас во всеоружии техники и дисциплины... И все трусят... И знаешь, у кого особенно шея чешется и кто здорово празднует труса — это сам наш «фельдмаршал» Троцкий. И если бы около него не было Сталина, человека хотя и не хватающего звезд с неба, но смелого и мужественного и к тому же бескорыстного, он давно задал бы тягу... Но Сталин держит его в руках, и, в сущности, все дело защиты советской России ведет он, не выступая на первый план и предоставляя Троцкому все внешние аксессуары власти главнокомандующего... А Троцкий говорит зажигательные речи, отдает крикливые приказы, продиктованные ему Сталиным, и воображает себя Наполеоном... расстреливает...

* * *

На другой день по приезде в Москву, сговорившись по телефону с Чичериным, я явился в условленный час в Комиссариат иностранных дел. Здесь я впервые лично познакомился с Чичериным. С первых же слов он, правда, в очень вежливой форме выразил «удивление» по поводу того, что я не поспешил в первый же день приезда побывать у него, хотя почти весь день провел с Красиным.

— Ну, Георгий Васильевич,— ответил я на это замечание, доказывающее, насколько наши сановники щепетильны и мелочны,— ведь мы с Леонидом Борисовичем старые друзья и естественно, что нам нужно было о многом переговорить после долгой разлуки.

— Конечно, конечно,— сказал он,— я понимаю, но все-таки... Я ждал вас с понятным нетерпением... Ведь ваши переживания были исключительны...

— Да, и с к л ю ч и т е л ь н ы,— согласился я с ним, подчеркнув это слово. По-видимому, он понял мой намек и понял, что мне известно его отношение ко мне, и он поспешил переменить тему разговора.

— Я сейчас позову Литвинова и Карахана, чтобы они тоже присутствовали при вашем сообщении,— сказал он, соединяясь с ними по телефону.

Но прошло несколько минут, прежде чем эти два сановника явились. Ожидая их, Чичерин с чисто детским нетерпением несколько раз вызывал их по телефону, сердясь, волнуясь и торопя их...

Но наконец оин явились. Литвинов при виде меня по старому революцнониому обычаю расцеловался со мной... поцелуем Иуды...

И я подробно, в течеиие нескольких часов, должен был рассказывать им все то, что уже известно читателю из предыдущих глав. Чнчерин, должен отдать ему эту справедлнвость, слушал с нескрываемым интересом, часто прерывая меня дополнительиымн вопросамн, и в некоторых местах моего рассказа, где мои шаги казались ему особенно удачными, он, как бы ища сочувствия, посматрнвал на обоих своих помощников. Но лица их, особенио же лицо Литвииова, были холодны, точно истуканьи, и ие выражалн никакого интереса к тому, что я нм рассказывал.

Когда же я в своем повествованни дошел до опнсання, как я посылал Чичернну одну за другой несколько радиотелеграмм, Чнчерин густо покраснел н, вдруг обратившись к Литвинову, сказал:

— Ведь я вам поручал, Максим Максимович, отвечать на запросы товарища Соломона, дав вам все указания... Неужелн вы оставили без ответа эти столь важные телеграммы?.. И в такой момент!?

Литвинов смутился. Стал уверять, что он отвечал на все мои телеграммы. Чувствовалась ложь в его словах, ложь виднелась н в его маленьких, заплывшнх жиром глазах, которые он отводил в сторону... Ложью звучали и его предложения, что его ответы за сутолокой германской революции могли не дойти по назначению... То же повторилось и прн описании нашего ареста, когда Комиссариат иностраниых дел отвечал глубоким молчаннем на телеграфные уведомления германского миннстерства иностранных дел...

Когда я окончил мои сообщения, Чнчерин поблагодарнл меня н, задним числом выразнв мне одобрение по поводу моей полнтикн в Гамбурге, когда я был лишен указаннй центра, обратился ко мне с вопросом, не хочу ли я и здесь в Москве продолжать оставаться в ведении Комиссариата иностранных дел? Но едва он успел заикнуться об этом, как и Лнтвинов и Карахан, оба поспешили, точно испугавшись, вмешаться в разговор.

— Едва ли это будет удобно, Георгий Васильевич,— сказал Литвннов.— Мне Леонид Борисович говорил, что он беседовал с Владимиром Ильнчем по вопросу о назначении Георгия Александровнча заместнтелем комиссара торговли н промышленности. Владимир Ильнч согласен... Неудобио и в отношенин его, да и в отношении Леоннда Борнсовнча, если Георгий Александрович останется при Комиссариате нностранных дел... Тем более, что Леонид Борисович сделал уже представленне н вообще все шаги...

То же подтвердил н Карахан...

Я поспешнл их обонх успокоить, сказав, что я дал уже Краснну свое согласие...

Это было мое первое свидание с Чичериным. Ои пронзвел на меня страиное впечатленне. Прежде всего, в нем заметны были еще остатки старого воспитания. Но эти следы начали уже тонуть в той общей оголтелости и грубости, которые являются и до сих пор наиболее характерной чертой всех без нсключення советскнх деятелей от высших до самых ннзших. Само собою, эти черты тщательно скрываются от ннострандев... Но во виутрениих сношениях друг с другом грубость н крикливая резкость счнтаются чем-то обязательиым, как бы признаком «хорошего тона». Поражала в Чнчернне его крайняя неуравновешенность. И, в сущностн, это был человек совершенно ненормальный. Его деиь начинался только часа в три-четыре после полудня и продолжался до четырех-пяти часов утра. А потому служащие Коминдела должны были работать н по ночам, так что весь Комнссариат нностранных дел in corpore * вел крайне безалаберную жизнь. А так как Комиссарнат иностранных дел вечно нуждался в сношениях с другими ведомствами, то и те должны были быть готовы по ночам давать Чичерину н его сотруднкам необходимые справкн...

* В целом (*лат.*).

Нередко Чичерин без всякого стеснения звонил мне по телефону часа в три-четыре ночи... Все эти отступления от обычных норм находят себе объяснение в том, что, по упорно циркулировавшим в советских кругах сведениям, Чичерин постепенно втягивался в пьянство и в употребление разных наркотиков...

Между Чичериным и Литвиновым уже тогда началась и шла, все углубляясь, глухая борьба. Литвинов был лишь членом коллегии, тогда как заместителем Чичерина считался де-факто Карахан, который, по словам Иоффе, выдвинулся во время мирных переговоров в Брест-Литовске, где он заведовал в мирной русской делегации канцелярскими принадлежностями, официально считаясь секретарем делегации. Карахан представляет собою форменное ничтожество и этим-то и объясняется тот факт, что, не терпящий около себя хоть сколько-нибудь выдающихся людей, Чичерин держался за него. Конечно, Литвинов, старый заслуженный член партии, не мог примириться с той ролью, которая была ему отведена в Комиссариате иностранных дел. И поэтому, борясь с Чичериным, он в то же время вел борьбу и с Караханом, и в конце концов (это было уже много спустя, когда я был в Ревеле) он был назначен первым заместителем Чичерина, а Карахан вторым... Но, разумеется, это не удовлетворило честолюбие Литвинова, который никогда не мог примириться с тем, что вчерашний меньшевик Чичерин является его шефом.

Несколько слов о Карахане. Человек, как я только что говорил, совершенно ничтожный, он известен в Москве как щеголь и гурман. В «сферах» уже в мое время шли вечные разговоры о том, что, несмотря на все бедствия, на голод кругом, он роскошно питался разными деликатесами и гардероб его был наполнен каким-то умопомрачительным количеством новых, постоянно возобновляемых одежд, которым и сам он счета не знал.

Но Чичерин ценил его. Когда Ленин, считая неприличным, что недалекий Карахан является официальным заместителем наркоминдела, хотел убрать его с этого поста, Чичерин развил колоссальную истерику и написал Ленину письмо, в котором категорически заявлял, что если уберут Карахана, то он уйдет со своего поста или покончит с собой... И Карахана оставили на месте, к великому неудовольствию Литвинова...

В тот же день ко мне явился А. А. Языков, мой и Красина старый товарищ, с которым мы познакомились еще в 1896 году в Иркутске. Он был, за смертью М. Т. Елизарова, единственным членом коллегии Наркомторгпрома и собирался перейти в политкомиссары в действующую армию, почему и желал, чтобы я скорее вошел в дела Наркомторгпрома и освободил его. Он повез меня сперва обедать в столовую Совнаркома, помещавшуюся в Кремле. Там я снова увидался с Литвиновым, который в качестве заведующего этой столовой дал мне разрешение пользоваться ею. И тут же я встретил много старых товарищей, которые обступили меня и стали расспрашивать...

Два слова об этой столовой. Она была предназначена исключительно для высших советских деятелей, и потому кормили в ней превосходно и за какую-то совершенно невероятно низкую плату. Но, как и во всех советских учреждениях той эпохи, в ней царили грязь, беспорядок и грубые нравы. Мне вспоминается, как во время обеда вдруг на весь зал раздался пронзительный женский голос:

— Ванька!.. Хулиган... Отстань, не щиплись!..

Это сидевшая тут же, за маленьким столом кассирша так отвечала на заигрывания с нею какого-то молодого комиссара...

Затем Языков повез меня к Стасовой, жившей тут же, в Кремле, в роскошно убранной квартире. Я заметил, что Языков, здороваясь с ней, имел какой-то смущенный вид, точно ему было не по себе, точно он боялся, по выражению Красина, «ведьмистой и кровожадной бабы». Приняла она нас очень любезно, усадила, предложила чаю и, познакомив с явившимися тут же отцом и братом покойного Свердлова, заставила меня рассказать также и ей о моих злоключениях за границей. Она сейчас же оформила мое вступление в коммунистическую партию... Ничего «ведьмистого» я в ней не заметил. А между тем все ее

боялнсь, и, как я выше упомяиул, старый партиец А. А. Языков чувствовал себя как-то не в своей тарелке в ее прнсутствин. Не помню уж точио почему, но она из-за чего-то не поладила с Леинным (как говорили, из-за ее самостоятельности) и вскоре была заменена на посту секретаря ЦК партин человеком вполне эластнчным, Н. Н. Крестинским...

И Краснн, н Языков поспешили ввести меня в круг дел Комиссариата торговлн н промышленности, н уже на третий день я прнннмал участне в заседании коллегин этого комиссариата. И оба они поторопились ввестн меня в самый комиссариат, представив меня сотрудннкам как «зама».

Между тем, как говорнтся в уголовных романах, «мон врагн не дремалн», и... началась новая склока, работавшая у меня и у Красння за спиной. ⟨...⟩

* * *

Дня через три-четыре после приезда в Москву я переехал во «Второй дом советов», как была перекрещена реквизированная гостнннца «Метрополь». Гостиница эта, когда-то блестящая и роскошная, была новыми жнльцамн обращена в какой-то постоялый двор, запущенный и грязный. С большими затрудненнями мне удалось получить маленькую комнату в пятом этаже. Хотя электрическое освещение и действовало, но ввиду экономии в расходовании энергин можно было пользоваться им ограниченно. Поэтому не действовал также н лифт, н коридоры и лестницы освещались весьма скупо. Но протнв этого ничего нельзя было возразить, ибо в Москве было полное бедствие, н в частных домах электричество было выключено, н жителям (читай «буржуям» или «нетрудовому элементу», в каковой включались и все низшие сотрудннкн советских учреждений) предоставлялось освещаться, как угодно. Конечно, было совершенно понятно, что в ту эпоху всеобщего бедствия пользование энергией было ограничено, но, увы, это ограниченне происходило за счет лишення ее только «буржуев». Трамваи ходили редко, улицы тонули во мраке, и пешеходы с трудом пробирались по избнтым (а зимою загроможденным сугробами снега) улицам. Но около Кремля н в самом Кремле все было залито электричеством.

В «Метрополе» так же, как и в другнх первоклассных отелях, по распоряжению советского правительства моглн жить только ответственные работники, по должности не ниже членов коллегнн, с семьями, и высококвалифицнрованные партийные работники. Но, разумеется, это было только «пнсаное» правило, а на самом деле отель был заполнен разными лицами, нн в каких учреждениях не состоящими. Сильные советского мира устранвали своих любовниц («содкомы» — содержанкн комиссаров), друзей и приятелей. Так, например, Склянскнй, известный заместитель Троцкого, занимал для трех своих семей в разных этажах «Метрополя» три роскошных апартамента. Другне следовали его примеру, и все лучшне помещения былн заняты разной беспартийной публнкой, всевозможными возлюбленными, родственниками, друзьямн и приятелямн. В этих помещениях шли оргии и пиры... С внешней стороны «Метрополь» был как-то забаррнкадирован — никто не мог проникнуть туда без особого пропуска, предъявляемого в вестибюле на площадке перед подъемом на лестницу дежурнвшим день и ночь красноармейцем.

— Зачем эти пропускн? — спросил я как-то дежурившего портье-партийца.

— А чтобы контрреволюционеры не проникли,— ответил ои.

Как я выше указал, «Метрополь» был запущен, и в нем царила грязь. Я не говорю, конечно, о помещениях, занятых сановниками, их возлюбленными и прочимн,— там было чисто и нарядно убрано. Но в стенах «Метрополя» ютились массы среднего партийного люда: разные рабочие, состоявшие на ответственных должностях, с семьями, в большинстве случаев люди малокультурные, имеющие самое элементарное представленне о чистоплотности. И потому нет ничего удивительного в том, что «Метрополь» был полон клопов и даже вшей. Мне нередко приходилось видеть, как женщины, ленясь идти в уборные со

своими детьми, держали их прямо над роскошным ковром, устилавшим коридоры, для отправления их естественных нужд, тут же вытирали их и бросали грязные бумажки на тот же ковер... Мужчины, не стесняясь, проходя по коридору, плевали и швыряли горящие еще окурки тоже на ковры. Я не выдержал однажды и обратился к одному молодому человеку (в кожаной куртке), бросившему горящую папиросу:

— Как вам не стыдно, товарищ, ведь вы портите ковры...

— Ладно, проходи, знай, не твое дело,— ответил он, не останавливаясь и демонстративно плюя на ковер.

Особенно грязно было в уборных. Все было испорчено, выворочено из хулиганства, как и в ванных (их нагревали раз в неделю, по субботам), куда пускали за особую плату.

Администрация «Метрополя» состояла из управляющего и целого штата счетоводов, конторщиков и прочих. Все они воровали и тащили, что можно. Так, когда я поселился в «Метрополе», там только что сместили и, кажется, арестовали управляющего Романова, который, по данным ревизии, наворовал серебра и разных дорогих предметов на два миллиона.

Надо отметить, что «Метрополь» был в «сферах», не знаю уж почему, не в фаворе, и потому пайки там были слабы, значительно хуже, чем, например, в «Первом доме советов» (бывшая гостиница «Националь»), где и пайки были обильные и разнообразные, и обеды гораздо лучше, и вообще все условия жизни были более культурны. Но самые жирные куски выдавались в Кремле, где все и стремились поселиться всякими правдами и неправдами... Но возвращаюсь к «Метрополю». Все эти пайки выдавались крайне нерегулярно. Например, хлеб. Каждому полагалось в соответствии с разрядом определенное количество хлеба в день (от четверти фунта до фунта), правда, плохого ржаного хлеба, недопеченного и со всякими примесями, как солома, щепки, песок и т. п. Но часто проходили дни и недели, а хлеба не выдавали. И в таких случаях все спрашивали друг друга: «Не знаете ли, будут сегодня выдавать хлеб?» Все волновались, голодали и, наконец, обращались к «спекулянтам» на Сухаревку, в Охотный ряд и прочие. Еще реже выдавался сахар, который частенько заменялся монпансье... И само собою, при известии, что выдают хлеб, сахар, крупу и прочее, все торопились скорее стать в очередь... Ссоры, дрязги, взаимная ругань... Такие же очереди образовывались у кубов с горячей водой, тоже сопровождавшиеся теми же сценами... Имелась в «Метрополе» и столовая. Но в ней давалось нечто совсем неудобоваримое, какие-то супы в виде дурно пахнущей мутной болтушки, вареная чечевица, котлеты из картофельной шелухи... и это все неряшливо приготовленное и почти несъедобное... Правда, помимо пайков, выдаваемых в «Метрополе», разные товарищи получали еще и пайки по местам своих служб. Наилучшие пайки выдавались (Кремль, конечно, был вне конкурса) в том комиссариате, который ведал государственным продовольствием, т. е. в Наркомпроде, служащие которого пользовались вообще исключительными условиями как в отношении провизии, так и одежды и обуви... Ясно, что это неравенство порождало зависть и обиды...

И Сухаревка, и Охотный ряд считались средоточием спекулянтов. «Де-юре» торговля там была запрещена. Но тем не менее рынки эти существовали у всех на виду. Правда, там вечно устраивались облавы милицией и чекистами. Но все как-то освоились с этим обычным явлением, приспособились к нему, поспешно убегая (были даже особые часовые, предупреждавшие о приближении обхода) при появлении облавы и вновь возвращаясь после того, как «охотники», забрав то или иное количество жертв, удалялись... Но жизнь сильнее всяких регламентаций, и все — и партийные коммунисты, и «буржуи» покупали на этих рынках, часто не имея денег, тут же продавая разные вещи...

Мне понадобилось повидаться с Литвиновым по одному спешному служебному делу. По советским понятиям было еще не поздно — всего около 12-ти часов ночи. Литвинов тоже жил в «Метрополе». Я спустился к нему. Постучал в дверь. Долгое молчание. Я еще раз

постучал, уже сильнее. Опять молчание. Лишь из-за запертой двери доносились ко мне какие-то глухие звуки торопливых шагов, выдвигаемых ящиков... Наконец, я услышал сквозь запертую дверь придушенный голос Литвинова:

— Кто там?

— Откройте, Максим Максимович... Это я — Соломон.

— Это точно вы, Георгий Александрович?

— Да, это я — Соломон... Мне нужно повидать вас по спешному делу...

Дверь отворилась. Передо мной стоял бледный и растрепанный Литвинов. В руке он держал браунинг.

— Что это вы, Максим Максимович? — спросил я, входя.— С браунингом?..

— Сами знаете, какие теперь времена... это на всякий случай,— ответил он, переводя дыхание и кладя револьвер на ночной столик.

Пожалуй, еще большая растерянность охватила всех при продвижении армии Юденича, которая, как известно, дошла почти до Петербурга... Ну, конечно, по обыкновению, стали циркулировать самые страшные слухи, украшенные и дополненные трусливой фантазией. Меня внезапно экстренно вызвал к телефону Красин.

— Ты будешь у себя минут через десять-пятнадцать? — спросил он торопливо.

— Буду... А в чем дело?

— Я сейчас тебе объясню... через десять минут буду у тебя... Пока,— и он повесил трубку.

Он вошел ко мне с видом весьма озабоченным.

— Через час я должен ехать в Петербург,— начал он.— Дело очень серьезное... Меня только что вызвал Ленин. Совнарком просит меня немедленно выехать в Петербург и озаботиться защитой его от приближающегося Юденича... Там полная растерянность. Юденич находится, по спутанным слухам, чуть ли не в Царском Селе уже. Зиновьев хотел бежать, но его не выпустили, и среди рабочих чуть не вышел бунт из-за этого... Его чуть ли не насильно задержали...

— Но ведь там же находится Троцкий? — перебил я его вопросом.

— Да вот в том-то и дело, что «фельдмаршал» совсем растерялся... Он издал распоряжение, чтобы жители и власти занялись постройкой на улицах баррикад для защиты города... Это верх растерянности и глупости... Одним словом, я еду... Но дело в том, что часть армии Юденича движется по направлению к Москве через Бологое и находится уже чуть ли не на подступах к нему... Я говорил по телефону с Бологим... но не добился никакого толка... Меня предупреждают, что в Бологом я могу попасть в руки Юденича. Так вот, Жоржик, в случае чего, я хочу тебя попросить...

И он обратился ко мне с рядом чисто личных, глубоко интимных просьб позаботиться о семье, жене и трех дочерях, моих больших любимицах...

Но это не относится к теме моих воспоминаний... Это глубоко личное.

Мы простились, и он уехал.

Потом, когда опасность миновала, он рассказал о той малодушной растерянности, в которой он застал наших «вождей» — этих прославленных Троцкого и Зиновьева. Скажу вкратце, что Красин, имея от Ленина неограниченные полномочия, быстро и энергично занялся делом обороны, приспособляя технику, и своим спокойствием и мужеством ободрял запуганных защитников столицы.

Конечно, читая эти строки, читатель может задаться вопросом, а как лично я реагировал на все это? Не праздновал ли и я труса? Отвечу кратко. Я ни минуты не сомневался, что, в случае чего, мне не миновать смерти, может быть, мучительной смерти — ведь белые жестоко расправлялись с красными. И поэтому я запасся на всякий случай цианистым калием... Он хранится у меня и до сих пор в маленькой тюбочке, закупоренной воском, как воспоминание о прошлом. 〈...〉

* * *

В то время партия колнчественно была невелика. Не помию, нз какого числа членов она состояла. Зиаю только, что в ней сравнительно очеиь мало было так называемых «рабочнх от станка». Несмотря иа все прнвилегии, рабочне неохотио шлн в партию, и партийные заправилы жаловались, что партня по своей малочисленностн не имеет всюду, где это полнтически иеобходнмо правительству, своих людей. И вот ЦК партнн по ннициатнве Леннна решил прибегнуть к оказавшемуся чреватым последствиями «тур-де-форс».

Обычно прием в партню новых членов был обставлен довольно сложиой процедурой. Желающие должны были обращаться в ту или нную ячейку с заявлением и указать двух членов в качестве поручнтелей. В случае благопрнятного исхода иаведенных справок желающне нлн сразу зачислялнсь в партню, нлн в теченне определенного времеин должны были состоять в качестве кандидатов, которые уже пользовались некоторыми ограничеиными правами. И вот ЦК решил «шнроко открыть дверн» всем желающим. Была иазначена «партийиая неделя» (нлн «леннинская иеделя»), в течение которой все желающне могли свободно запнсываться в партню. По всей Россни были разослаиы цеитральным комитетом в партнйные оргаинзацнн цнркуляры с предложением устраивать в течение этой неделн мнтниги и собрания, иа которых предлагалось вестн шнрокую агитацию, поручая ее испытанным товарищам-ораторам и прииниая все меры к иаиболее успешному вербованню. Московскнй комнтет партнн заранее стал шнроко пропагандировать эту неделю: широковещательиые афнши и статьи в газетах, в которых пелнсь дифирамбы н партин, н мудростн, и великодушню ЦК. Словом, крнчали. Московскнй комитет издал грозиое распоряжеине о прнвлечеинн «в ударном порядке» всех сил партнн к этому делу. Я лично иаснлу отклонил от себя честь выступления в качестве оратора, но меня обязали председательствовать на нескольких собраннях. Опишу одио из ннх, устроенное в громадном зале «1-го Дома Советов» (бывшая гостнница «Нацнональ»).

Все было — иадо отдать эту справедливость — прекрасио органнзовано, были иазиачены определенные ораторы, президнум н прочее. В назначенный день н час зал был переполнен всяким людом. Было много пролетариев и сравнительно мало интеллигенцин, нлн «буржуев». В числе ораторов была «ведетта» А. М. Коллоитай н старик Феликс Кои... Последнего я зиал давио, с 1896 года, позиакомившись с иим еще в Иркутске. Он был сослаи в Снбнрь по громкому в свое время делу «Пролетарната». Искренно н бескорыстно преданный делу революцнн, ои вошел в ряды коммуиистов. Насколько я помию, ои в то время стоял в стороне от советской службы и ие старался делать карьеру. С А. М. Коллонтай я познакомился в 1916 году в Хрнстнании (Осло), куда я ездил по частиым делам. Зиал я ее главным образом по рассказам Любовн Васнльевины Красиной, с которой она была очень дружна. Коллонтай — безусловно талантлнвая женщина, ие Бог весть как глубоко, ио блестяще образоваииая, с поверхиостным умом, выдающийся оратор, но любящнй дешевые эффекты, женщнна, обладающая прекрасной, очень выигрышной иаружиостью, с хорошей мимнкой и хорошо выработанной жестикуляцией, которая у нее всегда кстати. Как партнйный человек, она слепо усвоила все доктрнны Леннна, так что хотя и зло, но вполне основательно одна очень известиая пнсательница, нмеии которой я не прнведу, иазывала ее «Трильбн Леииина».

Проходя по рядам собравшихся в зале «клиеитов» и сидя среди ннх в ожиданнн начала заседання, я с интересом прнслушнвался к их разговорам.

— ...Известио, надо запнсаться,— говорнл какой-то немолодой уже рабочий вполголоса своему соседу,— инкуда ведь не подашься, внщь времена-то какне несуразные иаступнли, что и ие сообразншь ннкак...

— Это точно,— отвечал его сосед, такой же немолодой рабочий.— Времена такне,

что прямо перекрестись, да в прорубь. Жить нечем. Как придет день получки, да как начнут с тебя вычитать невесть за что, а слова пикнуть не смей, а то сейчас тебя под жабры. Ну так вот как подсчитаешь, что осталось на руках, то так хоть плачь... Отдашь получку бабе-то, а та грызть: «Подлец, пьяница, опять пропил, креста, мол, на тебе нет» — и ну плакать да причитать... Эх, а какой там «пропил», сам не знаю, за что повычитали, ну, известно, объяснить ей не могу... А хлеб, слышь, на Сухаревке уже 175 целковых за фунт, вот что... Видно, и впрямь прогневали Господа Батюшку, не иначе последние времена пришли...

— Известно,— убежденно подтвердил его собеседник,— последние... Вот слыхал, поди, на крест-то церкви Николы на Курьих Ножках знаменье явилось: всегда, то-ись, и день и ночь, ровно лампада, свет какой-то виден, народ вечно, собравшись, глядит, бабы-то плачут... а милиция, известно, разгоняет, потому не велено, чтобы знаменья, значит, народу являлись, а кто чего говорить об этом начнет,— «пожалуйте, мол», да и поведут тебя в Чеку, ну а там...

— Ну, уж чего там говорить,— известно... Нечего делать, надо записываться в партию... Ну, а что касаемо света на кресте, так это, брат, вещь умственная, понимать, значит, надо, к чему он, свет-то этот...

Я пересел в другой ряд. Там шли такие же разговоры: голод, мол, ничего не поделаешь, надо записываться в партию...

— Непременно надо,— поддакивала какая-то бойкая бабенка.— Ведь в партии-то, сказывают, всего вдоволь дают... сахару, сколь хошь, муки, да не какой-нибудь, а самой настоящей крупчатки... ботинки, ситец,— прямо-таки все что угодно, пожалуйте...

И снова разговор о свете на кресте церкви...

Я открыл заседание, сказал несколько слов о значении «ленинской» недели и о том, что ораторы выяснят подробно, зачем и почему организована эта неделя и почему следует пользоваться ею. Затем стали говорить ораторы. Когда очередь дошла до старика Кона, я в нескольких словах познакомил аудиторию с ним. Он не был блестящим оратором. Нет, он говорил совсем просто, без ораторских выпадов, но все, что он говорил, было проникнуто глубокой искренностью, любовью к человеку, «каков он ни есть», и такой же искренней верой, что коммунизм откроет двери всеобщего счастья... Его речь напомнила мне отдаленное детство: в церкви служил немудрый старый священник, просто верующий в Бога Батюшку, и произносимые им обычные слова обедни были проникнуты такой неподдельной верой, что они захватывали всех...

Давая в свое время слово Коллонтай, я предпослал и ей несколько слов. Она стала говорить. Ей нездоровилось, и она зябко куталась в роскошный меховой (черная лисица) палантин. И, начав свою речь как-то вяло, она почти сразу же искусственно воодушевилась и привычным ораторским низкого тембра голосом продолжала свою речь в очень популярной форме о задачах, лежащих на партии, и звать в нее «для борьбы с врагами народа, буржуями и капиталистами, сосущими кровь пролетариата...». Искренности не было в ее речи, красиво и умело построенной согласно установленному «коммунистическому подходу...». И закончила она ее широким призывом:

— Идите же, товарищи, к нам, в наши стойкие ряды и в единении с нами, вашими братьями и сестрами, вступите в беспощадную, до победного конца борьбу с деморализованными, но все еще сильными остатками капиталистов, этих жадных акул, как вампиры, сосущих народную кровь!.. Идите,— сопровождая эти слова широким, красивым заученным жестом и порывисто сбрасывая с себя эффектным движением свой палантин, полной грудью уже кричала она: — Идите, двери Всероссийской коммунистической партии широко для вас открыты!.. Вас ждут ваши товарищи, ваши братья, кровью своей ознаменовавшие путь великой борьбы «за лучший мир, за святую свободу!!!»

И она эффектно сошла с трибуны под гром аплодисментов...

Ораторы следовали один за другим... Речи кончились. Я сделал краткое резюме и пригласил всех, желающих войти в партию, записаться у секретаря собрания, у столика которого образовался хвост. Я сошел с эстрады. Ко мне стали подходить с вопросами «клиенты».

— А правда ли, товарищ, бают, что, кто запишется, тем будут выдавать пайки, сахар, крупчатку, ботинки?.. — спросила меня одна женщина.

— За что будут выдавать? — притворяясь, что не понимаю ее, и желая выяснить себе миросозерцание этой «клиентки», спросил я.

— Ну, как за что,— бойко отрапортовала она.— Известно за что, за то, что мы согласились, вошли в вашу партию, что теперь вашу руку будем тянуть... Знамо, не зря же, это мы понимаем,— тараторила она при поддакивании других.

До позднего вечера шла эта запись... на крупчатку... сахар... Партия не росла, а патологически пухла...

— Знаете, товарищ Соломон,— с сиявшим лицом сообщил мне секретарь, окончив запись и передавая мне список,— 297 человек записалось...

Кончилась шумиха «ленинской недели». Со всех концов России получались корреспонденции о происходивших на местах собраниях, о глубоком впечатлении, произведенном на массы «этим отеческим» (вспоминаю слова одной корреспонденции) жестом ЦК партии, о той полной сознательности и вдумчивости, с которыми относились «клиенты»... Словом, «штандарт скакал», пустоплясы ликовали!..

* * *

Народным комиссаром Рабоче-крестьянской инспекции был Сталин, который, как я упоминал, состоя при Троцком в качестве политкомиссара и заставляя его «быть храбрым», не интересовался РКИ-ей, и в ней орудовал член коллегии Аванесов, состоявший одновременно членом коллегии ВЧК. Как я говорил выше, Гуковский одно время тоже был членом коллегии РКИ. Он был близок с Аванесовым. Был он близок и даже дружен также и со Сталиным, которого называл «Коба» (Яков). Не зная лично Сталина и имея о нем представление лишь по отзывам людей, заслуживающих доверия, как о человеке, лично честном и не корыстолюбивом, я не имел основания бояться, что он способен будет покрывать Гуковского, что он впоследствии доказал, и о чем я и упомяну...

Аванесов исполнил мое и Красина требование и назначил ревизором молодого рабочего («от станка») Никитина, сотрудника РКИ, который и явился ко мне. Я сам в молодости прослужил около семи лет в государственном контроле и потому имел некоторое представление о требованиях, предъявляемых ревизорам. Несколько вопросов, поставленных мною Никитину, и его совершенно невежественные ответы сразу же показали мне, что парень этот не имеет ни малейшего представления о деле и технике ревизии. Мне было очевидно, что, искушенный опытом, знающий все жульнические трюки, Гуковский или купит этого юношу, или же вотрет ему так ловко очки в глаза, что ревизия как таковая не достигнет своей цели. Но, конечно, я не мог прямо высказать Аванесову свое мнение и, чтобы не задеть его лично, говоря с ним по телефону, указывал на молодость ревизора, на его неопытность для столь ответственного и сложного дела, как ревизия ревельского представительства. Он уверял меня, что ручается за Никитина, и в заключение, ввиду моих упорных настояний и требований предоставить производство ревизии лицу более компетентному, сказал, что выдаст мандат также и Павлу Павловичу Ногину, которого я решил взять с собой в качестве главного бухгалтера. ⟨...⟩

Между тем я усиленно готовился к поездке, набирая необходимый штат и знакомясь с делами Гуковского по переписке с ним и копиям его договоров с разного рода поставщиками. Все эти данные находились в Комиссариате внешней торговли, где царил уже

окончательно обнаглевший Лежава, этот, по меткому выражению Красина, «без пяти минут государственный человек». Надо отдать ему справедливость: влияя и направо и налево, вечно опасаясь и сомневаясь, к какому берегу лучше пристать, он в свою очередь старался, чем мог и как умел, осложнить мою задачу. Он ставил мне препятствия при наборе штата, делая глупые отводы тех или иных кандидатов, он неохотно давал мне переписку с Гуковским для ознакомления... Ему вполне соответствовал и мой старый «приятель» В. А. Степанов («...расстрелять-с»), который в это время замещал уехавшего в служебную командировку С. Г. Горчакова на посту управляющего делами комиссариата. Имел ли Степанов определенные инструкции или действовал по собственному разуму, но только в ответ на каждое почти мое требование дать мне какую-либо переписку по тому или иному вопросу неизменно обращался к Лежаве за разрешением.

Набор штата был нелегким делом. При известии о моем назначении ко мне устремилась масса людей, жаждущих уехать из России, желающих хоть немного вздохнуть от социалистического рая и просто хоть подкормиться. Приходилось много отказывать. Кроме того, необходимо отметить, что все мои кандидаты должны были пройти через фильтр Особого отдела ВЧК, который и не одобрил некоторых из моих кандидатов. Да и Лежава, хотя я и не особенно считался с ним и частенько осаживал его без церемоний, тоже досаждал мне своими отводами. Некоторые из советских сановников в свою очередь старались навязать мне своих кандидатов, и, отказывая им, я наживал новых врагов... ⟨...⟩

Но вот и граница — Ямбург... Мои сотрудники трусят — как-то пройдет проверка паспортов, не вернут ли кого-нибудь из них обратно? Задают мне тревожные вопросы. Я их успокаиваю. Входят чекисты. Я передаю им паспорта всех моих сотрудников. Проверка окончена — все облегченно вздыхают, и мы переезжаем границу, обозначенную колючей проволокой. Едем дальше... Вот и Нарва...

Эту ночь мы проводим еще в вагоне. Наутро, в пять часов мы уже в Ревеле.

Начинается новая страница моей жизни...

Новая!?.. Нет, нет, увы, это все та же захватанная грязными пальцами старая страница, полная интриг, тех же кляуз, и грязи, и страдания... Страница великой пошлости, каковою является и вся советская система, культивирующая «ветхого Адама»...

А. Тайгин

В Берлин с русским золотом

В начале октября 1918 г. заведующий отделом кредитных билетов, в котором я в то время находился на службе, объявил мне, что я назначаюсь в командировку в Берлин. Ни цель командировки, ни ее состав объявлены не были, но мне все же удалось узнать, что командировка имеет своим заданием передачу немцам обусловленного Брестским договором золота, и это обстоятельство заставило меня сильно призадуматься. Принимать какое-либо участие в начавшемся расхищении России мне не хотелось, и я решил сказаться больным, чтобы таким образом избавиться от поездки. Но времена были суровые, и тогдашний комиссар банка Т. И. Попов, покончивший впоследствии самоубийством, пригрозил мне в случае моего отказа расстрелом за саботаж, самое страшное преступление того времени. Пришлось покориться, и в один непогожий осенний день, нагрузив несколько автомобилей ящиками с золотом и мешками с кредитными билетами, я, под охраной 10 человек красноармейцев и в сопровождении трех артельщиков, двинулся на Александровский вокзал.

Начальником экспедиции был назначен главный секретарь комиссара, некоммунист, человек с университетским образованием, бывший до переворота юрисконсультом Московской конторы Государственного банка. Он явился к отходу поезда и, как я заметил, был неприятно поражен представившейся ему картиной. Вагон второго класса был доверху заставлен ящиками, и только посредине оставался узкий проход, тускло освещенный подвешенными к потолку фонарями. В конце вагона оставался свободный угол с четырьмя спальными местами для секретаря, начальника охраны, старшего контролера и меня. Остальная команда и артельщики расположились на мешках, кто как сумел устроиться. На обеих площадках дулами наружу стояли четыре пулемета, охраняемые вооруженными часовыми. Кроме того, в проходе между ящиками находился еще один охранник, обязанный в течение своего дежурства неустанно ходить взад и вперед по вагону.

Картина получалась, действительно, малопривлекательная, и для человека непривычного даже жуткая. К счастью, было уже поздно, и едва только поезд отошел от Москвы, как мы в довольно угнетенном настроении поспешно улеглись по своим местам.

Днем стало как-то легче, и, подъезжая к Смоленску, мы уже вполне освоились со своим необычайным положением. Еще за утренним чаем выяснилось, что среди нас нет ни одного коммуниста, и это обстоятельство еще более содействовало общему сближению.

Между тем вагон наш привлекал всеобщее внимание. Завешенные окна, пулеметы, строгие окрики при малейшем приближении к вагону какого-либо зеваки — все это производило импонирующее впечатление, и на каждой станции собиралась толпа, молчаливо созерцавшая наш вагон на почтительном расстоянии. Когда кто-нибудь из более смелых задавал красноармейцу вопрос, в чем дело, то тот спокойно и внушитель-

10—1565

но отвечал: «Динамит везем» — и перепуганный, ошеломленный человек торопливо отходил от опасного места.

Неоднократно делались попытки со стороны железнодорожных чекистов проникнуть в вагон, и тогда мы были свидетелями интересного зрелища. У дверей вагона выстраивались красноармейцы со скрещенными ружьями, из вагона выходил начальник охраны, отводил чекистов в сторону и показывал им свой мандат. Обычно эти господа тотчас же скрывались из виду, ибо в мандате начальнику охраны, с согласия главного секретаря, предписывалось оказывать вооруженное сопротивление при малейшей попытке, кого бы то ни было, проникнуть в вагон. Только один раз красноармейцам пришлось выдвинуть пулеметы, и дело грозило принять серьезный оборот, если бы не находчивость главного секретаря, уговорившего коменданта станции дать третий звонок и отправить поезд дальше.

В Смоленске нас ожидала сенсация. На вокзале было заметно необычайное оживление среди местных чекистов, и длинное намокшее полотнище, привязанное между двумя станционными столбами, трепалось по ветру. На нем красовалась надпись: «В Германии пролетарская революция». В комендатуре нам сказали, что, по полученным сведениям, в Берлине происходят бои и что перевес на стороне восставших. Возникал вопрос, стоит ли ехать дальше, так как при установлении в Германии такой же пролетарской диктатуры, какая существовала в России, Брестский договор терял свою обязательность, а вместе с тем и отпадала всякая надобность в русском золоте. Посовещавшись, решили ехать дальше на том основании, что Москве должно быть прекрасно известно о событиях в Берлине, и она не замедлит задержать нас, если там действительно что случится.

Больше о пролетарской революции мы ничего не слыхали и благополучно добрались до станции Орша. Это был в то время последний русский пункт. В Орше нас встретил брат известного Фюрстенберга-Ганецкого, исполнявший роль посредника между русскими и немцами, «настоящий контрабандист», как охарактеризовал его один из немецких пограничных офицеров. Ганецкий немедленно соединился по прямому проводу с Москвой и, получив необходимые инструкции, занялся передачей нас немцам. Он представил нас каким-то очень важным по виду военным, которые проверили наши документы и внимательно осмотрели вагон. Затем началось утомительное передвижение, которое закончилось за Оршей у тогдашней немецкой границы. Наша охрана со всем своим оружием и пулеметами и артельщики покинули вагон, дружески простившись с нами, и последний поступил в полное распоряжение немцев, которые не примнули устроить эффектное и вместе с тем смешное зрелище. На крышу вагона и на площадки были втащены немецкие пулеметы, и солдаты с ружьями наперевес, в полной боевой готовности, разместились на крыше и плотным кольцом окружили самый вагон. Получалось впечатление, что мы подвергаемся какой-то страшной, неминуемой опасности, незримо таящейся вокруг. В таком виде мы добрались до временной платформы, возле которой были расположены деревянные бараки, поражавшие своим опрятным и солидным видом.

Опять в вагон вошли немецкие офицеры, которые тщательно сочли и осмотрели снаружи все ящики и объявили нам, что вагон со всем своим грузом поступает под охрану немецких солдат, которые тут же были введены в вагон под начальством молодого, но на редкость молчаливого офицера. Нам предложили позавтракать, т. к. дело происходило утром и мы еще ничего не ели, и провели в один из бараков, оказавшийся офицерским буфетом. После безобразных российских станций, переполненных грубыми, орущими солдатами, заплеванных и грязных, буфет показался нам настоящим раем, и мы просидели в нем до самого отхода поезда.

Даже мой суровый и сдержанный секретарь совершенно изменился и с увлечением беседовал с соседями. Вопрос о пролетарской революции вызвал всеобщую улыбку.

Вообще о себе они старались говорить как можно меньше, но очень интересовались событиями в России.

Рано утром поезд прибыл на станцию Молодечно, откуда начиналась другая колея, приспособленная немцами для беспересадочных сношений с Берлином, и нам пришлось перегружаться. Наш груз поместили в товарный вагон, а для нас было отведено отдельное купе первого класса. Видя, что от нашего молчаливого провожатого ничего не добьешься, мой спутник завел дружбу с солдатами, которые охотно вступали в беседу. От них мы узнали, что в Германии сейчас действительно беспокойно и опасаются восстания в войсках. Поэтому за солдатами установлено самое тщательное наблюдение, и им, между прочим, строго-настрого запрещено разговаривать с нами. И. действительно, вести беседу с нашей охраной можно было только урывками, т. к. всюду за нами, словно тень, следовал наш молчаливый спутник, и солдаты при его приближении немедленно расходились. Внешне ничто не говорило о каком-либо брожении. Та же железная дисциплина и то же беспрекословное подчинение, каким вообще отличаются немецкие солдаты.

Но одно обстоятельство особенно резко бросалось в глаза — это острый продовольственный кризис. Он выглядывал из жидкого, безвкусного солдатского супа, из какого-то странного вида и вкуса хлеба, из расставленной на буфетной стойке еды, где красовались совсем необычные для глаза вещи — подозрительного вида грибы, мелко нарубленный лук, посыпанный красным порошком, сомнительного вида заливное и т. п. И ничего натурального, все знаменитый «эрзац», одно более съедобное, другое менее, но все вместе взятое малопитательное. У нас была громадная коврига черного хлеба, которую мы при переезде через границу поторопились спрятать, но теперь извлекли ее на свет божий и разделили по-братски между всеми нами. Даже наш молчаливый спутник с видимым удовольствием принял участие в скромном угощении.

В Берлин мы прибыли 13 октября вечером. На вокзале нас встретили какие-то молодые люди из нашего посольства и уполномоченный банкира Мендельсона, который первый из всех заграничных банкиров предложил большевикам свои услуги. Каждый ящик был внимательно осмотрен, и затем все золото погружено на заранее приготовленные автомобили. И осмотр, и погрузка были произведены с изумительной быстротой, и мы были оставлены на попечение двух довольно подозрительного вида субъектов, которые подхватили наши чемоданы и предложили нам следовать за ними.

Спустились куда-то вниз и некоторое время ехали подземной дорогой, потом снова поднялись наверх и уже на извозчиках добрались до нашего посольства.

Нас провели к В. Менжинскому, находившемуся в то время в Берлине. Кутаясь по обыкновению в теплый плед, Менжинский принял нас в небольшой уютной комнате, заставленной мягкой мебелью. Сам он полулежал на диване и извинился, что не может встать, т. к. чувствует себя совсем нездоровым. Был он необычайно приветлив, и его тихий, мягкий голос производил удивительно приятное впечатление. Тем же задушевным голосом и так же кутаясь в плед, отдавал он впоследствии бесчисленные распоряжения о расстрелах и благодаря этой своей спокойной, бесстрастной жестокости приобрел славу одного из наиболее беспощадных палачей. Его манера расправляться со своими жертвами нашла себе многочисленных подражателей среди московских чекистов, и имя Менжинского одно время произносилось с таким же отвращением, как имя Дзержинского.

Но в то время, как мы сидели в кабинете этого жуткого человека, это был только комиссар финансов, командированный в Берлин со специальной целью организации коммунистического путча. Вместе с золотом мы привезли около 50 тысяч германских марок и 300 тысяч царских рублей, которые в то время стояли еще сравнительно высоко и котировались из расчета рубль за марку. Деньги эти мы передали самому Менжин-

скому, выдавшему в приеме нх расписку на своей визнтной карточке. Затем он, мило улыбаясь, осведомился, говорю ли я по-немецки, и, получив отрицательный ответ, заговорил на этом языке с главным секретарем, изредка остро взглядывая на меня, словно желая проверить, что я действительно ничего не понимаю. Окончив разговор, он достал другую визитную карточку, написал что-то, положил в конверт и запечатал своей печатью.

Затем он снова извинился, что не может уделить нам больше времени, и предложил нам отправиться в гостиницу «Бристоль», недалеко от посольства, где для нас уже был заказан номер.

На другой день рано утром к нам явился какой-то молодой еврей и пригласил нас присутствовать при взвешивании золота. На это занятие ушел весь день, т. к. взвешивание требовало большой точности и отнимало много времени. Один за другим появлялись золотые слитки и исчезали за массивной дверью стальной кладовой. Всего было принято 47 ящиков, содержащих в себе 191 слиток, весом 3 125 кг чистого золота. Еще до того было передано немцам — 16 сентября 1918 г.— 42 860 кг золота и 30 сентября 1918 г.— 50 676 кг золота. Кроме золота, мы привезли и сдали тому же Менжинскому 113 635 тысяч рублей денежными знаками, что по тогдашней оценке золота равнялось 48 819 кг металла.

По окончании взвешивания и подсчета мы были приглашены в контору Мендельсона за получением расписки. Нас принял полный, гладко выбритый господин средних лет, любезно усадил в кресла в своем роскошном кабинете и шумно и неискренно выражал нам свое восхищение по поводу совершившегося в России переворота, думая, очевидно, угодить нам своим восторгом. Мой спутник не выдержал и сухо заметил, что ему, Мендельсону, как банкиру и богатому буржую, меньше всего пристало ликовать по поводу русских событий. Мендельсон пожал плечами и поторопился переменить тему разговора. Принесли расписку довольно странного содержания, в которой вместо точного указания веса золота было прибавлено слово «приблизительно». Секретарь отказался от принятия такой расписки.

«Но почему? — заволновался Мендельсон и сразу стал наглым и грубым.— Ведь тут же указано, что принято 47 ящиков со 191 слитком. Что же вам еще нужно?» — «Мне нужно, чтобы цифра веса была обозначена совершенно точно, так, как она определена взвешиванием. Остальное вы можете даже не указывать»,— заявил мой спутник. Мендельсон загорячился, почему-то заговорил о доверии, каким он пользуется у советского правительства, и категорически отказался изменить содержание расписки, заявив, что он поговорит по этому поводу с Иоффе. С тем мы и ушли. Вот содержание этой расписки, с которой мне удалось снять копию: «Мендельсон и $К^0$. Расписка. Настоящим удостоверяем получение от г-на *** по поручению местного генерального консульства Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 47 ящиков и одной сумки, содержащих 191 слиток золота весом около 3 125 кг. Берлин, 18-го октября 1918 г. Мендельсон». На денежные знаки была выдана отдельная расписка.

Вечером того же дня секретарь предложил мне присутствовать при выполнении им поручения Менжинского. Поручение это, видимо, тяготило его, т. к. было совершенно невозможно объяснить себе его смысл. Требовалось передать письмо по указанному адресу, и больше ничего.

Мы долго плутали по каким-то темным и безлюдным улицам, пока наконец не нашли нужного нам дома. Квартиру мы отыскали с еще большим трудом, т. к. дом был громадный, с бесчисленными подъездами, причем мой спутник почему-то не хотел обращаться за указаниями. После долгих и утомительных блужданий по неосвещенным лестницам мы нашли нужную нам квартиру в пятом этаже, где-то на втором дворе. Дверь нам открыл какой-то пожилой, довольно общипанного вида немец в очках и

заявил, что фрау (фамилии ее я сейчас не помню) нет дома, но что она скоро будет. Мы решили подождать и вошли, не раздеваясь, в большую, слабо освещенную комнату с выкрашенными масляной краской стенами, без гардин на окнах и крайне скудно меблированную. Сели у окна и стали наблюдать. В углах комнаты была грудами свалена какая-то литература. Пачки брошюр и листовок лежали на длинном столе, стоявшем у стены, за которым помещался и впустивший нас господин в очках. То и дело входили какие-то люди, говорили свое обычное „Abend“ * и, забрав пачку брошюр, исчезали. За закрытой дверью в соседней комнате слышался стук пишущей машинки и резкий, типично берлинский голос, диктовавший машинистке.

Это был один из коммунистических пунктов, как я узнал впоследствии, чуть ли не главный штаб, в котором шла деятельная работа по организации намеченной демонстрации, закончившейся полным провалом.

Наконец явилась и сама фрау, немолодая, довольно неказистая немка, с бледным, до крайности усталым лицом и тонкими бескровными губами. Секретарь передал ей письмо Менжинского. Она вскрыла конверт, внимательно, слишком даже внимательно, как мне показалось, прочла коротенькое послание, кивнула нам головой и скрылась в соседней комнате. Этим и исчерпывалась вся миссия.

На обратном пути в гостиницу мой спутник сообщил мне, что на послезавтра назначена коммунистами грандиозная демонстрация. Мы, конечно, присутствовали на ней в качестве сторонних зрителей. Там, где улица Unter den Linden упирается в Бранденбургские ворота, собралась громадная толпа любопытных, преимущественно рабочих. Мы переходили от одной группы к другой, причем мой спутник вступал в разговор с рабочими, которые, по его словам, резко отрицательно относились к предстоящей демонстрации. Наконец, послышались громкие крики, и из боковой улицы появилась довольно жалкая толпа демонстрантов, которая вышла на бульвар и направилась к зданию русского посольства. Но заранее приготовленный отряд полиции преградил ей дорогу и медленно начал теснить назад, к Бранденбургским воротам. Некоторым из демонстрантов все же удалось прорваться сквозь полицейские ряды, и они сделали попытку выкинуть красный флаг и организовать нечто вроде митинга напротив советского посольства, но тут же были рассеяны полицией. Когда демонстранты проходили мимо нас, они обратились к рабочим с призывом поддержать их, но никто даже не шевельнулся, напротив, из толпы раздались насмешливые возгласы, свист и началась ожесточенная перебранка.

Вся «грандиозная» демонстрация продолжалась не более получаса и закончилась полным поражением коммунистов. Других попыток за все время нашего пребывания в Берлине сделано не было, и настоящее восстание произошло уже после нашего отъезда. Неудача демонстрации произвела в посольстве самое удручающее впечатление, и в течение двух дней нам не удавалось повидаться с Менжинским. Мы ежедневно бывали в посольстве, и я с большим интересом присматривался ко всему происходящему там. Никакой работы, в сущности, там не производилось, и в то же время суета была необычайная. Целая армия молодых людей, преимущественно евреев, носилась взад и вперед по бесчисленным канцеляриям, шушукалась, что-то торопливо писала, иногда громко спорила и опять неслась в разные стороны. Получалось впечатление какого-то беспрерывного шабаша, и было совершенно непонятно, для какой цели предназначалась эта шумная и беспорядочная орава. Особенно врезался мне в память молодой шустрый немец, не то курьер, не то делопроизводитель, по имени Франц. Его буквально разрывали на части, и было очевидно, что он один отдает себе более или менее точный отчет во

* Добрый вечер (*нем.*).

всей происходящей суматохе. Ежесекундно подлетал к нему то один, то другой, отводил в сторону, показывал какую-то бумагу, и вечно улыбающийся, проворный, как дьявол, Франц, не задумываясь, давал нужный ответ и уже летел в другую сторону. Впоследствии я узнал, что это был просто советский шпион и чичероне секретных агентов.

Мне удалось познакомиться с одним посольским чиновником, молодым интеллигентным евреем. По его словам, он совершенно случайно очутился в этой компании, соблазненный хорошим окладом. По образованию он экономист, но здесь в его специальности никто не нуждается, а другая работа его не интересует. Поэтому он страстно мечтает о возвращении в Россию, т. к. глубоко убежден, что вся эта вакханалия может кончиться весьма плачевно.
Его предчувствие не обмануло его. Уже значительно позже, в Москве, он, дрожа от возмущения, рассказывал мне, как их выгоняли из Берлина. На вокзале, куда их доставили под усиленной охраной, им в течение нескольких часов пришлось служить объектом насмешек и издевательств окружавшей их толпы. «Кого это поймали?» — спрашивал какой-нибудь прохожий. «Русское посольство»,— отвечали в толпе. «Русское? — недоумевал прохожий: — А где же русские тут?» — и толпа громко хохотала. И всю дорогу вплоть до самой границы продолжалось это непрерывное издевательство.

Но в то время, как мы находились в Берлине, наше посольство было глубоко уверено в прочности своего положения, настолько глубоко, что выработало даже проект открытия целой сети, т. е. финансовых агентств в различных городах Германии, и Менжинский предложил моему спутнику заведование одним из таких агентств, на что тот изъявил полное согласие и обещал немедленно вернуться в Берлин по сдаче своих секретарских полномочий.

Увы, план этот не осуществился, и ровно две недели спустя после нашего отъезда из Берлина следом за нами летели и все остальные во главе с Иоффе и Менжинским.

Но и наше обратное путешествие не обошлось без курьезов, свидетельствовавших о резкой перемене правительственных настроений после того, как последнее золото мирно упокоилось в кладовых Мендельсона. Конечно, мы были снабжены при отъезде всеми необходимыми документами в целях охраны нашей неприкосновенности, а для большей верности нам было отведено особое четырехместное купе, на дверях которого была наклеена краткая, но выразительная записка: «Русские дипломатические курьеры». Все эти меры оказались бесполезными, и не успели мы отъехать и сотни верст от Берлина, как к нам в купе ворвался старый генерал и, свирепо тыча в наши физиономии электрическим фонариком, разразился целым потоком брани. Мой спутник заявил, что купе принадлежит русским дипломатическим курьерам, и предложил генералу оставить нас в покое. Генерал окончательно озверел, выхватил револьвер и, направив его в моего спутника, крикнул: „Noch ein Wort“ *. Дело принимало серьезный оборот. Секретарь вышел в коридор и позвал проводника, но последний при первом же окрике генерала поспешно ретировался. Между тем генерал бушевал вовсю: «Дипломатические курьеры!» — орал он на весь вагон к большому удовольствию собравшихся пассажиров. «Предатели, шпионы, а не курьеры... В собачью клетку их, мерзавцев... Свою родину продали, теперь нас продавать хотят... Что у вас в чемоданах?.. Открыть сию же минуту...» Мы не двигались. Мы молча сидели в углу вагона друг против друга, глядя в темноту ночи. К счастью, в этот самый момент сквозь толпу протискался другой военный, как выяснилось потом, комендант поезда, которого привел наш проводник, и в довольно резкой форме предложил генералу убрать свое оружие. Между ними произошел довольно крупный разговор, и в конце концов генерал смирился, но решительно отказался уйти из купе и даже пригласил занять места тех, у кого их не было.

* Еще одно слово (*нем.*).

На следующий день утром к нам в купе вошло несколько человек военных, которые, невзирая на наши протесты, произвели тщательный осмотр наших вещей, а затем подвергли нас личному обыску, обшаривая и выворачивая карманы и ощупывая платье. В одном из чемоданов оказался пакет, адресованный на имя Крестинского, запечатанный сургучными печатями и с надписью: «Не подлежит осмотру». Не обращая никакого внимания на печати и надпись, производившие обыск забрали пакет с собой, захватив заодно и всю литературу, какую мы приобрели в Берлине.

Положение получалось довольно щекотливое, тем более, что Менжинский придавал большое значение этому пакету. Посовещавшись, мы решили не ехать дальше, а остаться здесь, на станции, в ожидании проезда дипломатического курьера, который должен был выехать из Берлина днем позже. Мы уложили чемоданы и вышли на платформу, но не успели пройти и нескольких шагов, как к нам подошел один из военных, участвовавших в производстве обыска, и спросил, в чем дело. Мой спутник объяснил ему наше намерение. «Вы немедленно отправитесь в вагон, если не желаете быть арестованными,— заявил офицер.— Сейчас вы получите копию акта о произведенном осмотре и можете отправляться дальше». И он подозвал проходившего мимо солдата и приказал внести наши чемоданы обратно в вагон, а минуту спустя нам принесли наскоро составленную копию акта и предложили расписаться в ее получении.

— Вот тебе и благодарность за русское золото,— уныло резюмировал мой спутник происшедшее, когда поезд отошел от негостеприимной станции.

Мне было не по себе. Пережитые унижения казались мне вполне заслуженными. Какого иного отношения могли требовать к себе люди, принимающие участие в явном для всех предательстве своей родины в целях сохранения враждебной этой родине власти? И то, что я являлся, хотя и подневольным, соучастником в отвратительном деле, наполняло меня нестерпимым чувством стыда и боли...

В Молодечно мы пересели в поджидавший нашего возвращения вагон, в котором мы приехали из Москвы. Выехали мы из Молодечно лишь на другой день, после того, как прибыл из Берлина другой поезд, привезший несколько человек русских курьеров. Из разговора с ними выяснилось, что эти последние подвергались таким же унижениям в пути и недоумевали, что сей сон значит.

Какие последствия имело отобрание у нас секретного пакета, нам так и осталось неизвестным, и лично для нас все дело исчерпалось представлением подробного рапорта.

Аркадий Столыпин

П. А. Столыпин
1862—1911

Герои не должны умирать для истории и сознания своего народа. Память вечная должна храниться о них и с похвалами передаваться грядущим поколениям

Петр Аркадьевич Столыпин родился в 1862 году в городе Дрездене. По окончании в 1885 году Санкт-Петербургского университета по естественному факультету он поступил на службу в Министерство земледелия, но через два года принял назначение на должность предводителя дворянства в Ковенском уезде, где у него было имение. В эту пору складывались его государственные взгляды, крепли его убеждения. В 1897 году П. А. назначается Ковенским губернским предводителем дворянства. Находясь все время в непосредственной близости от крестьян, П. А. в совершенстве постиг их нужды, и в его государственных идеалах почувствовалось биение подлинной жизни. Живя и работая в крае, в котором сказывалось влияние трех народностей — польской, литовской и еврейской, П. А. узнал их сильные и слабые стороны. Широко просвещенный и воспитанный в культурных русских традициях, он привык с уважением относиться к правам инородцев, но огонь национального самосознания разгорелся в нем ярким пламенем. В 1902 году Столыпин был назначен Гродненским губернатором, но уже в 1903 году переводится на ту же должность в Саратовскую губернию, где шло сильное революционное брожение. Во всеподданнейших отчетах Саратовского губернатора П. А. впервые выступает со своим проектом земельной реформы. Он умело и спокойно восстанавливает порядок в Саратовской губернии, и в 1905 году, после роспуска первой Государственной думы, император Николай II, по своему личному почину, назначает его министром внутренних дел, а 8 июля того же года, сверх того, и Председателем Совета Министров. Служба Столыпина в этих должностях протекала в тяжелых условиях. Волна террористических актов заливала Россию. 12 августа 1906 года на даче, занимаемой министром на Аптекарском Острове, близ Санкт-Петербурга, была брошена бомба. П. А. остался невредим, но были ранены его дочь и сын. Производившие раскопки нижние чины ближайших полков обнаружили под развалинами дома 27 трупов и 32 раненых с разными тяжкими повреждениями.

Столыпин мужественно продолжал стоять на своем посту.

Уже за первые пять с половиною месяцев своего пребывания у власти П. А. достиг в деле успокоения страны заметных результатов. Одновременно подготовлялся ряд важных законопроектов, подлежавших рассмотрению Законодательных палат. Самые спешные меры были проведены на основании ст. 87 Основных законов. К таковым высочайший рескрипт от 1 января 1907 года относит: предоставление нуждающимся крестьянам свободных казенных земель в Европейской России, а также удельных и кабинета его величества; разрешение продажи крестьянам участков из состава имений заповедных, майоратных, ленных и подуховных; понижение платежей по ссудам крестьянского банка; облегчение выхода отдельных крестьян из общины; открытие для лиц сельского состояния нового вида кредита под залог надельных земель в крестьянском банке; уравнение крестьян в правах с прочими сословиями. В открывшейся 6-го марта 1907 года Государственной думе второго созыва П. А. произнес правительственную декларацию, в которой, перечисляя

законопроекты, изложил задуманный им план обновления государства. Ответные речи членов Думы заставили его выступить вторично. Эта вторая речь была отповедью на все раздавшиеся огульно нарекания и хулы против власти. П. А. говорил: «Правительству желательно было бы изыскать ту почву, на которой возможна совместная работа, найти тот язык, который был бы всем одинаково понятен. Я отдаю себе отчет, что таким языком не может быть язык ненависти и злобы. Я им пользоваться не буду»,— и далее: «Надо помнить, что в то время, когда в нескольких верстах от столицы и царской резиденции волновался Кронштадт, когда измена ворвалась в Свеаборг, когда пылал Прибалтийский край, когда революционная волна разлилась в Польше и на Кавказе, когда остановилась вся деятельность в южном промышленном районе, когда распространились крестьянские беспорядки, когда начал царить ужас и террор, правительство должно было отойти и дать дорогу революции, забыть, что власть есть хранительница государственности и целости русского народа, или действовать и отстоять то, что ей было вверено. Но, принимая второе решение, правительство роковым образом навлекало на себя и обвинения. Ударяя по революции, правительство, несомненно, не могло не задеть частных интересов. В то время правительство задалось одной целью — сохранить те заветы, те устои, начала которых были положены в основу реформ императора Николая II. Борясь исключительными средствами, в исключительное время, правительство вело и привело страну во вторую Думу. Я должен заявить и желал бы, чтобы мое заявление было слышно далеко за стенами этого собрания, что тут, волею монарха, нет ни судей, ни обвиняемых, что эти скамьи,— показывает на места министров,— не скамьи подсудимых — это места правительства». П. А. кончает словами: «Людям, господа, свойственно и ошибаться, и увлекаться, и злоупотреблять властью. Пусть эти злоупотребления будут разоблачены, пусть они будут судимы и осуждаемы. Но иначе должно правительство относиться к нападкам, ведущим к созданию настроения, в атмосфере которого должно готовиться открытое выступление; эти нападки рассчитаны на то, чтобы вызвать у правительства, у власти, паралич воли и мысли. Все они сводятся к двум словам, обращенным к власти: «Руки вверх». На эти слова, господа, правительство с полным спокойствием, с сознанием своей правоты, может ответить только двумя словами: «Не запугаете».

Сила произнесенной речи всколыхнула как парламентские круги, так и общество; и, точно в ответ на это, оппозиция прибегла к другому способу борьбы: злоупотреблению правом запросов.

Оппозиция потребовала также прекращения действия военно-полевых судов. По этому вопросу П. А. давал Думе разъяснения 13-го марта 1907 года. Он подчеркнул в своих словах, что «кровавый бред не пошел еще на убыль» и что с ним бороться необходимо мерами чрезвычайными. Он заявил, что суровый закон будет применяться лишь в крайних случаях. 20-го марта он возражал на необоснованные обвинения члена Думы Кутлера относительно государственной росписи доходов и расходов. Наконец, 1-го июня 1907 года он прочел в Думе заявление о возбуждении уголовного преследования против 55 депутатов социал-демократической фракции в связи с обнаружением заговора, имевшего целью покушения на государя, на великого князя Николая Николаевича и на Председателя Совета Министров. Дума отказалась отстранить вышеупомянутых 55 депутатов от заседаний и не согласилась на отдачу наиболее виновных под стражу, и манифестом 30-го июня 1907 года Государственная дума второго созыва была распущена. В этом же манифесте была охарактеризована деятельность второй Думы: «Выработанные правительством мероприятия Государственная дума или не подвергла вовсе рассмотрению, или замедляла обсуждение, или отвергала, не остановившись даже перед отклонением законов, каравших открытое восхваление преступлений и сугубо наказывавших сеятелей смуты в войсках; медлительное рассмотрение Государственной думой росписи государственной вызвало затруднение в своевременном удовлетворении многих насущных потребностей народных».

Далее упоминалось превращение Думою права запросов в способ борьбы с правительством и, наконец, о заговоре в среде самой Думы. Способ всеобщего привлечения к выборам в Государственную думу не дал ожидаемых результатов, и потому, тем же манифестом, России был дарован новый избирательный закон. Согласно этому закону Государственная дума должна была быть русскою по духу, и права других народностей законом ограничивались. В самых же некультурных окраинах государства выборы в Государственную думу были своевременно приостановлены.

Этот закон привел Россию в третью Государственную думу.

1-го ноября 1907 года была открыта Государственная дума третьего созыва, а 16-го ноября Столыпин изложил в ней правительственную декларацию. Сравнительно с двумя предшествовавшими Думами, картина резко изменилась. Образовалось из центра и правой большинство, на которое правительство могло опереться. Отвечая на нападки оппозиции в этой Думе, П. А. говорил: «Правительство наряду с подавлением революции задалось задачей поднять население до возможности на деле в действительности воспользоваться дарованными ему благами. Пока крестьянин беден, пока он не обладает личной земельной собственностью, пока он находится насильно в тисках общины, он остается рабом, и никакой писаный закон не даст ему блага гражданской свободы» — и далее объяснил, в чем заключаются намеченные реформы: «В развитии земщины, в развитии самоуправления, в сдаче ему части государственных обязанностей, государственного тягла и в создании на низах крепких людей земли, которые были бы связаны с государственной властью. Вот наш идеал местного самоуправления, так же как наш идеал наверху — это развитие дарованного государем стран законодательного нового представительного строя, который должен придать новую силу и новый блеск царской верховной власти». Столыпин кончает призывом: «Дайте же ваш порыв, дайте вашу волю в сторону государственного строительства, не брезгуйте черной работой вместе с правительством. Я буду просить позволения не отвечать на другие слышанные тут попреки. Мне представляется, что, когда путник направляет свой путь по звездам, он не должен отвлекаться встречными, попутными огнями. Поэтому я старался изложить только сущность действий правительства и его намерений. Я думаю, что, превращая Думу в древний цирк, в зрелище для толпы, которая жаждет видеть борцов, ищущих, в свою очередь, соперников для того, чтобы доказать их ничтожество и бессилие,— я думаю, что я совершил бы ошибку. Правительство должно избегать лишних слов, но есть слова, выражающие чувства, от которых в течение столетий усиленно бились сердца русских людей. Эти чувства, эти слова должны быть запечатлены в мыслях и отражаться в делах правителей. Слова эти: неуклонная приверженность к русским историческим началам. Это противовес беспочвенному социализму, это желание, это страстное желание и обновить, и возвеличить Родину, в противовес тем людям, которые хотят ее распада. Это, наконец, преданность, не на жизнь, а на смерть, царю, олицетворяющему Россию».

Вдохновенное слово Столыпина зажгло слушателей и приобщило их к высоким переживаниям человека, жертвующего собой, и закипела творческая работа.

Землеустройство крестьян

Мысли о разверстании общины и укреплении земли в качестве личной собственности, а также об устранении чересполосицы и создании хуторских хозяйств созрела у Столыпина задолго до назначения его министром внутренних дел. Еще будучи Ковенским уездным предводителем дворянства и председателем местного съезда мировых посредников, Столыпин энергично пропагандирует среди литовцев-крестьян идею об отрубах и проводит эту

меру, достигая целого ряда, необходимых для начатия дела, крестьянских приговоров. В качестве Саратовского губернатора Столыпин пишет во всеподданнейшем отчете за 1904 год:

«Жажда земли, аграрные беспорядки сами по себе указывают на те меры, которые могут вывести крестьянское население из настоящего ненормального положения. Единственным противовесом общинному началу является единоличная собственность. Она же служит залогом порядка, так как мелкий собственник представляет из себя ту ячейку, на которой покоится устойчивый порядок в государстве. В настоящее время более сильный крестьянин превращается обыкновенно в кулака, эксплуататора своих однообщественников,— по образному выражению,— мироеда. Вот единственный почти выход крестьянину из бедноты и темноты, видная, по сельским воззрениям, мужицкая карьера. Если бы дать возможность трудолюбивому землеробу получить сначала временно, в виде искуса, а затем закрепить за ним отдельный земельный участок, вырезанный из государственных земель или из земельного фонда Крестьянского банка, причем обеспечена была бы наличность воды и другие насущные условия культурного землепользования, то наряду с общиною, где она жизненна, появился бы самостоятельный, зажиточный поселянин, устойчивый представитель земли. Такой тип уже родился в западных губерниях, и он особенно желателен теперь, когда вашему императорскому величеству стало благоугодно выслушать голос земли через Государственную думу».

Сделавшись министром внутренних дел, Столыпин вносит во вторую Государственную думу законопроект об укреплении за крестьянами, владеющими надельной землей, принадлежащей им части земли в личную собственность. Изданный во время междудумья указом от 9-го ноября 1906 года, при ближайшем участии Столыпина, закон вызвал оживленные прения в Думе, и 10-го мая 1907 года Петр Аркадьевич произнес речь в его защиту. Начав упоминанием о том, с каким нетерпением крестьяне-землевладельцы, да и все остальные слои государства ждут разрешения этого столь наболевшего вопроса, Петр Аркадьевич остановился в дальнейшем на проекте левых партий, т. е. на проекте национализации земель (за плату или бесплатно) и отдачи ее в пользование крестьянам. Он указал на то, что такая коренная ломка произвела бы социальную революцию и полное крушение всех правовых понятий. К тому же путем такой жертвы, путем подчинения интересов всех классов интересам одного, правда, многочисленного, класса крестьян, путем полного разорения культурного класса помещиков не удалось бы разрешить даже практическую сторону аграрного вопроса. О том свидетельствуют следующие цифры.

Если бы даже поголовно всю землю отдали крестьянам, то на каждый двор пришлось бы: в Вологодской губернии 147 десятин, в Олонецкой — 185, в четырнадцати центральных губерниях им не досталось бы даже и по 15, а в Полтавской губернии пришлось бы лишь по 9, в Подольской всего по 8 десятин. Прирост же населения в одной Европейской России равен 1 625 000 душ в год. Для удовлетворения землей одного этого прироста населения (считая по 10 десятин на один двор) потребно было бы ежегодно 3,5 миллиона десятин. Таких запасов земель, конечно, не имеется. Далее Петр Аркадьевич перешел к нравственным результатам: «Стимул к труду, та пружина, которая заставляет людей трудиться, была бы сломлена. Каждый гражданин, а между ними всегда были и будут тунеядцы, будет знать, что он всегда имеет право заявить о желании получить землю, приложить свой труд к земле, затем, когда это занятие ему надоест, бросить ее и пойти опять бродить по белу свету. Все будет сравнено,— приравнять всех можно только к низшему уровню. Нельзя человека ленивого приравнять к трудолюбивому, нельзя человека тупоумного приравнять к трудоспособному. Вследствие этого культурный уровень страны понизится. Добрый хозяин, хозяин-изобретатель самою силою будет лишен возможности приложить свои знания к земле. Надо думать, что при таких условиях совершился бы новый переворот, и человек даровитый, сильный, способный — силою восстановил бы свое право на собствен-

ность, на результат своих трудов... Ведь богатство народов создает и могущество страны. Путем же переделения всей земли государство, в своем целом, не приобретет ни одного лишнего колоса хлеба. Уничтожены будут, конечно, культурные хозяйства. Временно будут увеличены крестьянские наделы, но при росте населения они скоро обратятся в пыль, и эта распыленная земля будет высылать в города массы обнищавшего пролетариата».

Петр Аркадьевич заканчивает словами: «Я думаю, что Россия обновится, улучшит свой уклад, пойдет вперед, но путем разложения не пойдет, потому что где разложение, там смерть».

Переходя к разбору проекта партии народной свободы, П. А. говорил: «В этом проекте не все ясно. С одной стороны, проект осуждает национализацию земли, а с другой — признает неизменное право собственности лишь за крестьянами, к помещичьим же землям применяет начало количественного отчуждения.

Но раз признан принцип отчуждаемости для помещичьих земель, раз уж встали на этот путь, то вряд ли крестьяне поверят в то, что их земли со временем не будут тронуты. Ведь с ростом населения принцип количественной экспроприации неминуемо коснется и последних и приведет в конце концов к той же национализации земли. Поэтому проект левой партии более искренен и правдив».

Столыпин перешел к изложению мысли правительства: «Необходимо дать возможность способному, трудолюбивому крестьянину, т. е. соли земли русской, освободиться от тех тисков, от тех теперешних условий жизни, в которых он в настоящее время находится. Надо дать ему возможность укрепить за собой плоды трудов своих и предоставить их в неотъемлемую собственность. Пусть собственность эта будет общая там, где община еще не отжила, пусть она будет подворная там, где община уже не жизненна, но пусть она будет крепкая, пусть она будет наследственная». Для этого правительство находит нужным сделать учет малоземельных крестьян и выдавать им на льготных условиях из земельного запаса необходимые количества земли. Чтобы составить необходимый земельный фонд, государство закупало бы предлагаемые в продажу частные земли; к ним прибавились бы земли удельные и государственные. Ввиду того, что крестьянство сильно оскудело, государство взяло бы на себя разницу в проценте, выплачиваемом по выпускаемым им листам, и тем процентом, который был бы по силам крестьянству. «Таким образом, заявил Петр Аркадьевич, вышло бы, что все государство, все классы населения помогают крестьянам приобрести ту землю, в которой они нуждаются. В этом участвовали бы все плательщики государственных повинностей... Но тягость была бы разложена равномерно и не давила бы на плечи одного немногочисленного класса в 130 000 человек, с уничтожением которого уничтожены были бы, что бы там не говорили, и очаги культуры. Этим именно путем правительство начало идти, понизив, временно проведенным по 87-й статье законом, проценты платежа Крестьянскому банку... При рассмотрении вопроса в его полноте, может быть, и в более ясном свете представился бы и пресловутый вопрос об обязательном отчуждении. Пора этот вопрос выдвинуть в его настоящие рамки, пора, господа, не видеть в этом волшебного средства, какой-то панацеи против всех бед; средство это представляется смелым потому, что в разоренной России оно создаст еще класс разоренных вконец землевладельцев». Петр Аркадьевич закончил словами: «Пробыв около 10 лет у дела земельного устройства, я пришел к глубокому убеждению, что в деле этом нужен упорный труд, нужна продолжительная черная работа. Разрешить этот вопрос нельзя, его надо разрешать. В западных государствах на это потребовались десятилетия. Мы предлагаем вам скромный, но верный путь. Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия».

Государственная дума одобрила огромным большинством голосов указ 9-го ноября 1906 года, придав ему силу закона.

5-го декабря 1908 года Петр Аркадьевич выступил в Государственной думе и с последними на этот счет разъяснениями. Он защищал проведенное в закон начало личной собственности. Часть же Думы стояла за принцип собственности семейной. Этот принцип исказил бы весь смысл закона. П. А. заявил: «Нельзя с одной стороны исповедовать, что люди созрели для того, чтобы свободно, без опеки, располагать своими духовными силами, чтобы прилагать свободно свой труд к земле так, как они считают это лучшим, а с другой стороны признавать, что эти самые люди недостаточно надежны для того, чтобы без гнета сочленов своей семьи распоряжаться своим имуществом. Нельзя создавать общий закон ради исключительного уродливого явления, нельзя убивать этим кредитоспособность крестьянина, нельзя лишать его веры в свои силы, надежд на лучшее будущее, нельзя ставить преграды обогащению для того, чтобы слабые разделили с ним его нищету... Но главное, что необходимо, это — когда мы пишем закон для всей страны — иметь в виду разумных и сильных, а не пьяных и слабых... Правительство, проведя закон 9-го ноября 1906 года, и ставило ставку на разумных и сильных. Таковых в короткое время оказалось около полумиллиона домохозяев, закрепивших за собой более 3 200 000 десятин земли. Не парализуйте, господа, дальнейшего развития этих людей и помните, законодательствуя, что таких людей, таких сильных людей, в России большинство. Для уродливых же, исключительных случаев должна применяться и исключительная мера: институт опеки за расточительство. Следующие меры должны быть приняты для того, чтобы земля не ускользала из рук крестьянского класса: надельная земля не может быть отчуждаема лицу иного сословия, надельная земля не может быть заложена иначе, как в Крестьянском банке, она не может быть продана за долги, она не может быть завещана иначе, как по обычаю, кроме того, ограничивается возможность скупки наделов установлением правила о воспрещении продажи в одни руки, в одном уезде, более шести указанных наделов».

Петр Аркадьевич заявил далее: «И насколько нужен для переустройства нашего царства, переустройства его на крепких монархических устоях крепкий личный собственник, насколько он является преградой для развития революционного движения,— видно из трудов последнего съезда социалистов-революционеров, бывшего в Лондоне в сентябре настоящего года. Вот то, между прочим, что он постановил: «Правительство, подавив попытку открытого восстания и захвата земель в деревне, поставило себе целью распылить крестьянство усиленным насаждением личной частной собственности или хуторским хозяйством. Всякий успех правительства в этом направлении наносит ущерб делу революции». Петр Аркадьевич заканчивает свою речь следующими словами: «Применением в ней личного труда, личной собственности, приложением к ней всех, всех решительно народных сил, необходимо поднять нашу общинную, нашу слабую, нашу обнищавшую истощенную землю, так как земля — это залог наших сил в будущем, земля — это Россия».

В заседании Государственного совета 15 марта 1910 года, приведя те же доводы в пользу личной собственности, что и в Государственной думе, Столыпин доказал жизненность указа 9-го ноября следующими данными: за три года заявило желание укрепить свои участки в личную собственность более 1 700 000 домохозяев, т. е. около 17% всех общинников-домохозяев; окончательно укрепили свои участки 1 175 000 домохозяев, т. е. более 11% с 8 780 000 десятин земли, и это кроме целых сельских общин, в которых к подворному владению перешли еще 193 477 домохозяев, владеющих 1 885 814 десятинами. После долгих дебатов Государственный совет принимает поочередно все статьи правительственного законопроекта.

Еще в июне 1909 года Столыпин, вместе с главноуправляющим землеустройством и земледелием, объезжал землеустроительные работы Екатеринославской губернии. Там, где еще два года тому назад была открытая степь, теперь сплошь виднелись хутора. Затем были осмотрены работы в Орловской губернии 14-го июня 1910 года. Петр Аркадьевич

издал два циркуляра, имевших целью помощь крестьянскому землеустройству и устранение чересполосицы. Землеустроительная комиссия все время оказывала крестьянам помощь в связи с их расселением на надельной земле. Всего за 4 года (1906—1910) комиссия назначила ссуды 157 561 домохозяевам в общей сумме 12 410 032 рубля и выдала на руки в виде безвозвратных пособий (по 1 января 1911 г.) 117 997 домохозяевам 9 230 725 рублей. Кроме того, 35 423 дворам оказано содействие в постройке новых жилищ путем льготного и бесплатного отпуска лесных материалов. Происходила, одним словом, вся та работа, которая была уже отмечена в высочайшем рескрипте на имя Столыпина от 1-го января 1908 года в следующих выражениях:

«В лице вашем я нашел выдающегося исполнителя моих предначертаний, о чем красноречиво свидетельствуют первостепенной важности законодательные труды по землеустройству и другим вопросам государственного управления, подготовленные Советом Министров под руководством вашим, а равно возрастающее доверие населения к правительству, особенно наглядно проявившееся при выборах в третью Государственную думу, и многие отрадные признаки несомненного успокоения страны».

Забота о городах

20-го февраля 1910 года П. А. Столыпин давал разъяснения в Государственном совете насчет законопроекта о взимании сбора с грузов в пользу городов. Он указал, что этими сборами города воспользуются для сооружения определенных дорог. Период сбора будет кратковременным, и обложен сбором будет тот груз, который впоследствии воспользуется подлежащими сооружению дорогами. Петр Аркадьевич отметил, что Россия страдает от еще одной лишней стихии — бездорожья. Станции бывают часто совсем отрезанными от селительных пунктов. Это бедствие чревато большими убытками особенно для городов: из 488 станций, обслуживающих одноименные с ними города, 238 станций лежит вне селительной их части, а большинство станций — на уездной территории. У самих же городов нет средств, чтобы подвезти к этим станциям подъездные пути, и с них нельзя требовать таковых средств (138 статья Городового положения). Самым же справедливым является взимание попудного сбора с товара, подлежащего провозу. Для товароотправителя и потребителя подобный сбор не может быть обременительным, будучи в соответствии со стоимостью товара, а является, наоборот, более выгодным ввиду его кратковременности, чем поздний сбор на уже сооруженные пути. Настаивая на проведении этой меры, в заседании 24 февраля, и доказывая предпочтительность проведения ее в порядке административном, т. е. в редакции, принятой Государственной думой, Петр Аркадьевич заявил: «Надо просто использовать нашу высшую административную власть для того, чтобы начать, по крайней мере, первоначальную скромную борьбу с громадным нашим злом — бездорожьем». Государственный совет и принял законопроект именно в этой редакции.

В ноябре 1909 года Петр Аркадьевич внес в Государственную думу законопроект о сооружении канализации и переустройстве водоснабжения в Петербурге. Согласно этому проекту вышеозначенная мера должна была производиться непосредственным распоряжением правительства, при наличии комиссии и технически-хозяйственного комитета с достаточно широко в нем представленным общественным элементом. Общие проекты должны были быть составлены не позже трех лет, а проектировавшиеся сооружения должны были быть окончены в 15-летний срок со дня утверждения законопроекта. По истечении этого срока предприятия должны были быть переданы городу, что же касается финансовой стороны, то было установлено на основании опытов других городов, что

водоснабжение и канализация не только окупаются платой за пользование ими, но нередко приносят более или менее крупный чистый доход. Размер строительного капитала был определен в 100 миллионов рублей. 8-го августа 1910 года Петр Аркадьевич вызвал Петербургского городского голову для выяснения санитарного состояния города и организации мер борьбы с холерной эпидемией. Петр Аркадьевич ознакомился также с мерами, предпринятыми для улучшения воды и по сооружению озонной станции.

19-го января 1911 года Столыпин произнес в Государственной думе речь о канализации Санкт-Петербурга, города, в котором «число смертей уже превышает число рождений, в котором одна треть смертей происходит от заразных болезней... в котором время от времени появляются возвратный тиф, болезнь, давно исчезнувшая на Западе, в котором почва благоприятна для развития всяких бактерий...». Защищая проект правительства и указывая на необходимость правительственного содействия в этом деле ввиду многолетней нерешительности Городской думы, Петр Аркадьевич подчеркнул:

«Я не хочу, не желаю оставаться долее безвольным и бессильным зрителем вымирания низов, хочу наверное знать, что при каких бы то ни было обстоятельствах, при каких бы то ни было условиях, через 10 лет в столице русского царя будет, наконец, чистая вода и мы не будем гнить в своих собственных нечистотах. Я не поверю и никто мне не докажет, что тут необходимо считаться с чувством какой-то деликатности по отношению к городскому управлению, что тут может существовать опасение обидеть людей или оскорбить идеи. Я прошу вас выразить вашу твердую волю, имея в виду не только один Петербург,— нет, это необходимо и по отношению всей России». Далее Петр Аркадьевич сообщил об ужасных условиях городов Поволжья, наводняемых к тому же ежегодно эпидемиями и болезнями из Азии.

«Правительство просит вас довести дело до конца,— заключил Петр Аркадьевич,— просит вас подчеркнуть непреклонность вашего решения, памятуя, конечно, не о самолюбии тех или других деятелей, а о простом бедном рабочем люде, который живет или скорее гибнет в самых невозможных условиях и о котором, под названием пролетариата, здесь принято вспоминать, главным образом, как о козыре в политической игре».

После прений и голосований законопроект принимается.

15-го октября 1909 года Петр Аркадьевич изложил в совете по делам местного хозяйства проект о введении городового положения в городах Царства Польского. Министерство при этом исходило из следующего принципа: «Предоставить этим городам полный объем прав по самоуправлению, которыми обладают города русские, сделать это в форме и в рамках, обычных местному населению, и установить сразу окончательный способ самоуправления, не подлежащий уже дальнейшей эволюции в зависимости от предстоящих изменений городового положения в коренной России». Основывалось министерство при разработке проекта на городовом положении 1892 года. Внесенные в него ограничения заключались в обеспечении политических прав государства и в наделении русских горожан, вне зависимости от воли большинства, правом участия в городском самоуправлении. Петр Аркадьевич заявил далее, что тогда как в западном крае министерство стремится создать земство по окраске русское, то в городах Царства Польского оно ожидает увидеть самоуправление польское, подчиненное лишь русской государственной идее. Подробности законопроекта заключались: в привлечении в состав городских избирателей не только владельцев недвижимостей, но и квартиронанимателей, каковыми русские наиболее часто являлись в этом крае; в разделении городских избирателей на три курии: русскую, еврейскую и из остальных обывателей (этим путем предполагалось обеспечить участие русских горожан в городском управлении и избежать преобладания в последних еврейского элемента; по проекту предполагалось допустить евреев в городские думы в количестве не более одной пятой всего состава). Компетенцию городов проект точно согласовал с компетенцией городов Центральной России. Особенностью законопроекта являлась

также обязательность русского и государственного языка для делопроизводства и сношений и допущение наряду с русским и польского языка во внутреннем домашнем делопроизводстве.

«Я надеюсь,— закончил Петр Аркадьевич,— что ваши суждения здесь, а затем и применение будущего закона на месте послужат доказательством честного стремления польского населения воспользоваться благами самоуправления, на которое оно имеет право по высоте своей самобытной культуры, но без задней мысли обратить самоуправление в орудие политической борьбы или в средство для достижения политической автономии. Я надеюсь на это тем более, что второй законопроект, который поставлен на очередь Министерством, будет законопроект о введении в губерниях Царства Польского самоуправления земского».

Алексей Гирс

Смерть Столыпина

Из воспоминаний бывшего Киевского губернатора

1-го сентября 1911 года был четвертый день пребывания в Киеве императора Николая II, посетившего с августейшей семьей мать городов русских, чтобы присутствовать на открытии памятника царю-освободителю и на маневрах войск Киевского округа.

Утро 1-го сентября было особенно хорошим, солнце на безоблачном небе светило ярко, но в воздухе чувствовался живительный осенний холодок. В восьмом часу утра я отправился ко дворцу, чтобы быть при отъезде государя на маневры. После проводов государя ко мне подошел начальник Киевского охранного отделения полковник Кулябко и обратился с следующими словами: «Сегодня предстоит тяжелый день; ночью прибыла в Киев женщина, на которую боевой дружиной возложено произвести террористический акт в Киеве; жертвой намечен, по-видимому, Председатель Совета Министров, но не исключается и попытка цареубийства, а также и покушения на министра народного просвещения Кассо; рано утром я доложил обо всем генерал-губернатору, который уехал с государем на маневры; генерал Трепов заходил к П. А. Столыпину и просил его быть осторожным; я остался в городе, чтобы разыскать и задержать террористку, а генерал Курлов и полковник Спиридович тоже уехали с государем». Мы условились, что полковник Кулябко вышлет за Председателем Совета Министров закрытый автомобиль, чтобы в пять часов дня отвезти его в Печерск на ипподром, где должен был происходить в высочайшем присутствии смотр потешных. Кулябко передаст шоферу маршрут, чтобы доставить министра туда и обратно кружным путем. По приезде А. П. Столыпина к трибуне я встречу его внизу и провожу в ложу, назначенную для Совета Министров и лиц свиты, возле царской; вокруг Кулябко незаметно расположит охрану. Кулябко просил провести министра так, чтобы он не останавливался на лестнице и в узких местах прохода. Я спросил Кулябко, что он предполагает делать, если обнаружить и арестовать террористку не удастся. На это он ответил, что вблизи государя и министров он будет все время держать своего агента-осведомителя, знающего террористку в лицо. По данному этим агентом указанию она будет немедленно схвачена.

До крайности встревоженный всем слышанным, я поехал в городской театр, где заканчивались работы к предстоявшему в тот же вечер парадному спектаклю, и в Печерск на ипподром. Поднимаясь по Институтской улице, я увидел шедшего мне навстречу П. А. Столыпина. Несмотря на сделанное ему генерал-губернатором предостережение, он вышел около 11 часов утра из дома начальника края, в котором жил. Я повернул в ближайшую улицу, незаметно вышел из экипажа и пошел за министром по противоположному тротуару, но П. А. скоро скрылся в подъезде Государственного банка, где жил министр финансов Коковцев.

В пятом часу дня начался съезд приглашенных на ипподром. На кругу перед трибунами выстроились в шахматном порядке учащиеся школ Киевского учебного округа. Яркое солнце освещало их рубашки, белевшие на темном фоне деревьев. Незадолго до 5 часов прибыл Председатель Совета Министров, и я встретил его на условленном месте. Выйдя из автомобиля, П. А. Столыпин стал подниматься по лестнице, но встретившие его знакомые задерживали его, и я видел обеспокоенное лицо Кулябки, который делал мне знаки скорее проходить. Мы шли мимо лож, занятых дамами. П. П. остановился у одной из них, в которой сидела вдова умершего сановника. Здороваясь с ним и смотря на его обвешанный орденами сюртук, она промолвила: «Петр Аркадьевич, что это за крест у вас на груди, точно могильный?» Известная своим злым языком, дама незадолго до того утверждала, что дни Столыпина на посту Председателя министров сочтены, и она хотела его уколоть, но эти слова, которым я невольно придал другой смысл, больно ударили меня по нервам. Сидевшие в ложе другие дамы испуганно переглянулись, но Столыпин совершенно спокойно ответил: «Этот крест, почти могильный, я получил за труды Саратовского местного управления Красного Креста, во главе которого я стоял во время японской войны».

Затем министр сделал несколько шагов вперед, и я просил его войти в ложу, предназначенную, как я уже сказал, Совету Министров и свите. Министр войти в ложу не пожелал и на мой вопрос, почему, возразил: «Без приглашения министра двора я сюда войти не могу». С этими словами П. А. Столыпин стал спускаться по лестнице, направляясь на площадку перед трибуной, занятой приглашенной публикой. У окружавшего площадку барьера, с правой стороны, министр остановился. Через несколько минут я увидел, что сидевшие кругом, в разных местах, лица в штатских костюмах поднялись со своих сидений и незаметно стали полукругом, на расстоянии около 20 шагов от нас, по ту и другую сторону барьера. П. А. Столыпин имел вид крайне утомленный. «Скажите,— начал П. А. свою беседу со мной,— кому принадлежит распоряжение о воспрещении учащимся-евреям участвовать 30-го августа, наравне с другими, в шпалерах во время шествия государя с крестным ходом к месту открытия памятника?» Я ответил, что это распоряжение было сделано попечителем Киевского учебного округа Зиловым, который мотивировал его тем, что процессия имела церковный характер. Он исключил поэтому всех нехристиан, т. е. евреев и магометан. Министр спросил: «Отчего же вы не доложили об этом мне или начальнику края?» Я ответил, что в Киеве находился министр народного просвещения, от которого зависело отменить распоряжение попечителя округа. П. А. Столыпин возразил: «Министр народного просвещения тоже ничего не знал. Произошло то, что государь узнал о случившемся раньше меня. Его величество крайне этим недоволен и повелел мне примерно взыскать с виновного. Подобные распоряжения, которые будут приняты как обида, нанесенная еврейской части населения, нелепы и вредны. Они вызывают в детях национальную рознь и раздражение, что недопустимо, и их последствия ложатся на голову монарха».

В конце сентября попечитель Киевского учебного округа, тайный советник Зилов, был уволен от службы.

Во время этих слов я услышал, как возле меня что-то щелкнуло, я повернул голову и увидел фотографа, сделавшего снимок со Столыпина. Возле фотографического аппарата стоял человек в штатском сюртуке с резкими чертами лица, смотревший в упор на министра. Я подумал сначала, что это помощник фотографа, но сам фотограф с аппаратом ушел, а он продолжал стоять на том же месте. Заметив находившегося рядом Кулябко, я понял, что этот человек был агентом охранного отделения, и с этого момента он уже не возбуждал во мне беспокойства.

Знакомые начали подходить к П. А., но министр не был на этот раз словоохотлив, и разговор не завязывался. Вскоре он опять остался один со мной. Стрелка показывала

далеко за 5, но государь, против обыкновения, сильно запаздывал, а из Святошина сообщили, что он еще не проехал с маневров. Я стал рассказывать о киевских делах. Министр слушал безучастно. Он оживился только, когда я заговорил о ходе землеустроительных работ по расселению на хутора в Уманском уезде — первом в России по количеству расселенных и по площади, охваченной движением, принявшим в целом округе стихийный характер. После минуты раздумья министр сказал: «Если ничто не помешает, я съезжу после отъезда государя на несколько дней в Корсунь, а оттуда проеду посмотреть уманские хутора, но об этом никому не говорите, пока я не переговорю с начальником края». Когда я заговорил о выборах в земство и о достигнутых результатах, министр стал слушать внимательно. Он называл фамилии некоторых лиц и интересовался их характеристикой, а затем сказал следующее: «Государь очень доволен составом земских гласных. Он надеется, что их воодушевление искренно и прочно. Я рад что уверенность в необходимости распространения земских учреждений на этот край сообщилась государю. Вы увидите, как край расцветет через десять лет. Земство можно было ввести здесь давно, конечно, с нужными ограничениями для польского землевладения. Я заметил также, что та острота, которой сопровождались прения Государственного совета и Думы по вопросу о национальных куриях, не имеет корней на месте. Поляки везде с большим интересом и вполне лояльно отнеслись к выборам. Я сам в свое время работал с поляками, знаю, что они прекрасные работники, и потому не сомневаюсь, что земская деятельность послужит к общему сближению».

С опозданием часа на полтора приехал государь с детьми. П. А. встретил государя внизу и прошел в ложу рядом с царской. Охранявшая министра охрана, в том числе и агент, стоявший у фотографического аппарата, сошла со своих мест и окружила государя, его семью, министров и свиту. Смотр потешных прошел, и разъезд закончился около 8 часов вполне благополучно.

К 9 часам начался съезд приглашенных в театр. На театральной площади и прилегающих улицах стояли сильные наряды полиции, у наружных дверей — полицейские чиновники, получившие инструкции о тщательной проверке билетов. Еще утром все подвальные помещения и ходы были тщательно осмотрены. В зале, блиставшей огнями и роскошью убранства, собиралось избранное общество. Я лично руководил рассылкой приглашений и распределением мест в театре. Фамилии всех сидевших в театре мне были лично известны, и только 36 мест партера, начиная с 12 ряда, были отправлены в распоряжение заведовавшего охраной генерала Курлова, для чинов охраны, по его письменному требованию. Кому будут даны эти билеты, я не знал, но мне была известна цель, для которой они были высланы, и этого было достаточно. В кармане сюртука у меня находился план театра и при нем список, на котором было указано, кому какое место было предоставлено.

В 9 часов прибыл государь с дочерьми. К своему креслу, к первому от левого прохода, с правой стороны, прошел Столыпин и сел в первом ряду. Рядом с ним, налево, по другую сторону прохода, сел генерал-губернатор Трепов, направо — министр двора граф Фредерикс. Государь вышел из аванложи. Взвился занавес, и раздались звуки народного гимна. Играл оркестр, пел хор и вся публика. Патриотический подъем охватил и увлек всех. Шла «Сказка о царе Салтане» в новой, чудесной постановке. Я весь отдался чувству высокого эстетического наслаждения. Мне казалось, что здесь можно быть спокойным: ведь все сидящие в театре известны, а снаружи он хорошо охраняется, и ворваться с улицы никто не может. Кончилось первое действие. Я встал около своего кресла, во втором ряду, за креслом начальника края. К Председателю Совета Министров подошел генерал Курлов. Я слышал, как министр спрашивал его, задержана ли террористка, и настаивал на скорейшей ликвидации этого дела. Началось второе действие, прослушанное с тем же напряженным вниманием. При самом начале

второго акта, когда государь с семьей отошел в глубь аванложи, а П. А. Столыпин встал и, обернувшись спиной к сцене, разговаривал с графом Фредериксом и графом Иосифом Потоцким, я на минуту вышел к подъезду, чтобы сделать какое-то распоряжение. Возвращаясь, я встретил министра финансов Коковцева, пожимавшего руку встречным и говорившего: «Я уезжаю сейчас в Петербург и тороплюсь на поезд». Простившись с министром, я медленно пошел по левому проходу к своему креслу, смотря на стоявшую передо мной фигуру П. А. Столыпина. Я был на линии 6 или 7 ряда, когда меня опередил высокий человек в штатском фраке. На линии второго ряда он внезапно остановился. В то же время в его протянутой руке блеснул револьвер, и я услышал два коротких сухих выстрела, последовавших один за другим. В театре громко говорили, и выстрелы слыхали немногие, но, когда в зале раздались крики, все взоры устремились на П. А. Столыпина, и на несколько секунд все замолкло. П. А. как будто не сразу понял, что случилось. Он наклонил голову и посмотрел на свой белый сюртук, который с правой стороны, под грудной клеткой, уже заливался кровью. Медленными и уверенными движениями он положил на барьер фуражку и перчатки, расстегнул сюртук и, увидя жилет, густо пропитанный кровью, махнул рукой, как будто желая сказать: «Все кончено!» Затем он грузно опустился в кресло и ясно и отчетливо, голосом, слышным всем, кто находился недалеко от него, произнес: «Счастлив умереть за царя». Увидя государя, вышедшего в ложу и ставшего впереди, он поднял руки и стал делать знаки, чтобы государь отошел. Но государь не двигался и продолжал на том же месте стоять, и Петр Аркадьевич, на виду у всех, благословил его широким крестом.

Преступник, сделав выстрел, бросился назад, руками расчищая себе путь, но при выходе из партера ему загородили проход. Сбежалась не только молодежь, но и старики и стали бить его шашками, шпагами и кулаками. Из ложи бельэтажа выскочил кто-то и упал около убийцы. Полковник Спиридович, вышедший во время антракта по службе на улицу и прибежавший в театр, предотвратил едва не происшедший самосуд: он вынул шашку и, объявив, что преступник арестован, заставил всех отойти.

Я все-таки пошел за убийцей в помещение, куда его повели. Он был в изодранном фраке, с оторванным воротничком на крахмальной рубашке, лицо в багрово-синих подтеках, изо рта шла кровь. «Каким образом вы прошли в театр?» — спросил я его. В ответ он вынул из жилетного кармана билет. То было одно из кресел в 18 ряду. Я взял план театра и список и против номера кресла нашел запись: «Отправлено в распоряжение генерала Курлова для чинов охраны». В это время вошел Кулябко, прибежавший с улицы, где он все старался задержать террористку по приметам, сообщенным его осведомителем. Кулябко сразу осунулся, лицо его стало желтым. Хриплым от волнения голосом, с ненавистью глядя на преступника, он произнес: «Это Богров, это он, мерзавец, нас морочил». Всмотревшись в лицо убийцы, я признал в нем человека, который днем стоял у фотографа, и понял роль, сыгранную этим предателем.

Я вышел искать начальника края. Генерал Трепов распоряжался у царской ложи, подготовляя отъезд государя. Он опасался, что выстрел в театре был первым актом более широкого плана и что засады могут быть на улице. Всю площадь перед театром сильными полицейскими нарядами очистили от публики; у подъезда царской ложи было несколько закрытых автомобилей, в один из них поместился государь с дочерьми, в других разместилась свита. Начальник края ехал впереди и, минуя улицы, на которых собрался народ, чтобы видеть проезд царя, привез его во дворец.

Проводив государя до автомобиля, я вернулся в театр. П. А. Столыпина уже вынесли, зал наполовину опустел, но оркестр все продолжал играть гимн. Публика пела «Боже, царя храни» и «Спаси, господи, люди твоя», но в охватившем всех энтузиазме чувствовался надрыв, слышался вопль отчаяния, как будто люди сознавали, что пуля, пробившая печень Столыпина, ударила в сердце России. Я распорядился понемногу тушить огни и прекратить музыку.

Когда публика разъехалась, я вошел в комнату, где на диване, с перевязанной раной и в чистой рубашке, с закрытыми глазами, лежал П. А. Столыпин. От окружавших его профессоров, известных киевских врачей, я узнал, что они распорядились отвезти раненого в лечебницу доктора Маковского, что на Малой Владимирской, и что у подъезда театра уже стоит карета скорой помощи. Я обратился к одному из врачей и спросил его, есть ли надежда на спасение. «Рана очень опасная,— сказал мне доктор,— но, смертельна она или нет, сейчас сказать нельзя. Все зависит от того, в какой степени повреждена печень». Когда П. А., смертельно бледного, на носилках выносили в карету, он открыл глаза и скорбным, страдающим взглядом смотрел на окружающих.

В то время, когда В. Н. Коковцев находился в приемной, в лечебницу приезжал генерал Курлов. Он стал докладывать В. Н. по поводу случившегося, но В. Н. выслушал его сухо и сделал суровую реплику. Курлов отошел и, заметив меня, сказал: «Всю жизнь я был предан П. А., и вот результат». Он протянул мне руку, и на его глазах заблестели слезы. Всю ночь, до самого рассвета, провел В. Н. Коковцев у изголовья кровати раненого, в беседе с ним. Видя в В. Н. своего естественного заместителя, изнемогавший от раны Петр Аркадьевич последние силы свои отдал на посвящение его в текущие и сложные вопросы государственной жизни беззаветно любимой им матери-России.

На следующий день государь ездил в Овруч. По выходе из дворца его величество объявил, что желает навестить Столыпина. Царский автомобиль направился на Малую Владимирскую. При входе в лечебницу государь спросил встретивших его врачей, может ли он видеть Петра Аркадьевича. На это старший врач ответил, что свидание с его величеством взволнует больного и может ухудшить его состояние, о чем он откровенно докладывает по долгу врача и верноподданного. Узнав, что в лечебнице находится только что прибывшая из ковенского имения супруга П. А. Столыпина — Ольга Борисовна, государь пожелал ее видеть и ненадолго прошел к ней в приемную.

В тот же день, по инициативе группы членов Государственной думы из партии националистов и земских гласных края, в 2 часа дня, во Владимирском соборе, высокопреосвященнейшим Флавианом, митрополитом Киевским и Галицким, соборне с четырьмя епископами, было отслужено торжественное молебствие о выздоровлении Столыпина. Собор был переполнен. Собравшиеся истово молились, и многие плакали.

Два последующих дня прошли в тревоге, врачи еще не теряли надежды, но по вопросу о возможности операции и извлечения пули консилиум, с участием прибывшего из Петербурга профессора Цейдлера, вынес отрицательное решение.

4-го сентября, вечером, здоровье П. А. сразу ухудшилось, силы стали падать, сердце слабело, и около 10 часов вечера 5-го сентября он тихо скончался.

Весть о кончине Столыпина быстро распространилась по городу, и все подернулось скорбью и печалью. Государь 5-го сентября находился в Чернигове. 6-го сентября утром он возвратился в Киев на пароходе по Днепру и с пристани, не заезжая во дворец, проехал поклониться праху своего верного слуги, жизнь положившего за Россию. В присутствии государя, вдовы и ближайших лиц свиты у тела Столыпина была отслужена панихида.

«Я хочу быть похороненным там, где найду свою смерть»,— говорил П. А., предчувствуя свой близкий конец от руки революционера. Указание Столыпина было свято исполнено его близкими, и местом вечного его упокоения была избрана Киево-Печерская лавра.

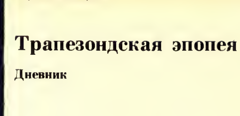
8-го сентября, вечером, печальная процессия двинулась из лечебницы в Печерск, сопровождаемая многочисленной толпой русских людей. Все было величественно и вместе с тем просто, и это так гармонировало с светлым обликом того, кто безвременно ото-

шел в вечность. 9-го сентября утром, в трапезной церкви, заставленной венками с национальными лентами, собралось правительство, представители армии и флота и всех гражданских ведомств, многие члены Государственного совета, центр и почти все правое крыло Государственной думы, а также более сотни крестьян, прибывших из ближайших деревень отдать последний долг почившему. Киевский генерал-губернатор и генерал-адъютант Трепов, по велению уехавшего 7-го сентября государя, представлял его особу. Старшие члены Министерства внутренних дел и чины Государственной канцелярии несли дежурство у гроба. После отпевания гроб вынесли и опустили возле церкви, рядом с исторической могилой другого русского патриота Кочубея.

Сейчас же после смерти Столыпина, в той же группе земских гласных и членов Государственной думы из партии националистов, возникла мысль о постановке ему памятника в Киеве. Было использовано пребывание в Киеве государя императора и заместителя Председателя Совета Министров Коковцева, и на всероссийский сбор пожертвований уже 7-го сентября утром последовало высочайшее соизволение. Пожертвования потекли столь обильно, что в три дня в одном Киеве была собрана сумма, которая могла покрыть расходы на памятник,— так обаятельна была память Столыпина. Местом постановки памятника была избрана площадь городской думы, на Крещатике, а исполнение его поручено итальянскому скульптору Ксименесу, бывшему в Киеве. В 1912 году, ровно через год после смерти П. А., памятник был открыт в торжественной обстановке, среди съехавшихся со всех концов России его почитателей. Столыпин был изображен как бы говорящим с думской кафедры, на камне высечены сказанные им слова, ставшие пророческими:

«Вам нужны великие потрясения — нам нужна великая Россия».

Большевики, поломившие нашу Родину, конечно, не могли перенести вида памятника и его уничтожили, но из русской души они не вытеснят образ Столыпина. Пройдет лихолетье — и в историю возрожденного Отечества имя Столыпина войдет еще более прославленным. В его заветах будет строиться Россия.



Сергей Минцлов

Трапезондская эпопея

Дневник

20 марта

⟨...⟩ Шесть дней провел в Петрограде, ездил получать деньги из книгоиздательства «Задруга» и устраивал другие дела свои.

Питер произвел на меня впечатление заброшенного, умирающего города.

Народа в нем стало куда меньше: солдатня исчезла, три четверти магазинов или совершенно закрыты и пусты, или даже заколочены. Булочные, бакалейные, кондитерские, меняльные лавки, банкирские конторы — все это на замках; витрины ювелирных магазинов опустошены, и, когда я зашел узнать о причине этого, мне сообщили, что был «декрет», запретивший продажу золотых изделий и золота.

Из города обыватели идут потоком. Говорю «идут» потому, что вследствие переполнения поездов тысячи людей уходят со своим скарбом пешком через заставы.

Побывал у Вольфа, Карбасникова, Суворина — во всех книжных магазинах пустыня. Нет ни книг, ни покупателей.

Суворин, ввиду недостаточности книг на рынке, устроил у себя в магазине антикварный отдел; на углах улиц появились во многих местах торговцы с лотками и ручные тележки с книгами. Продают всякую заваль и дрянь, и публика покупает, несмотря на удвоенные номинальные цены.

Трамваи по Конногвардейскому бульвару и кое-где в других местах идут между высоченными брустверами из грязного снега; по панелям ходить почти невозможно — до такой степени они заледенели, и публика балансирует и пробирается около них. Извозчики почти исчезли. Великолепные когда-то битюги ломовых извозчиков превратились в скелеты; в течение первых дней моего пребывания в Питере трижды на моих глазах падали и околевали лошади. Рысаки собственников сделались похожими на поджарых борзых собак.

По вечерам питерцы из домов стараются не выходить: в девять часов прекращается трамвайное движение, и в городе тьма кромешная. Театры открывают свои двери не в восемь и восемь с половиной часов, как прежде, а в половине шестого и в шесть: все они пустуют.

По вечерам и ночам то здесь то там постукивают среди темноты выстрелы; утром хроники газет пестрят о телах убитых и раненых, поднятых в разных частях города. 17 марта я был на именинах А. Д. и засиделся до двух часов ночи; живет он на углу Английского проспекта и Торговой улицы, а возвращаться мне надо было на Васильевский остров.

Шли мы вдвоем с кузеном, у которого я остановился, и, покуда мы добрались до Большого проспекта, насчитали четырнадцать выстрелов: для какого-нибудь получаса это многовато! Я предложил своему спутнику для сокращения дороги идти не по мосту, а прямо по льду, но он указал мне на черневшие у берега силуэты двух броненосных крейсеров и ответил, что мимо этих разбойничьих гнезд проходить нельзя.

Кстати, отмечу меню званого именинного ужина у А. Д. Человек этот получает тысячу шестьсот рублей в месяц, и у него был пирог из картофельной муки с капустой и жареная конина с горошком, в качестве сладкого фигурировала вазочка с вареньем и маленькие прянички из картофельной же муки. И это у богатого и тароватого человека! Как же и чем питается теперь средний обыватель и беднота?

А. Д. и другие инженеры переведены теперь на поденщину: в день он получает по 38 рублей и должен наравне с рабочими опускать по приходе на завод свой номер в ящик. Дела в настоящее время на заводе нет совершенно, и, по его словам, он является на него минут на двадцать-тридцать и затем уходит в государственный контроль, где получает 500 рублей в месяц.

Питер усиленно эвакуируется.

Мне нужно было побывать в своем бывшем Министерстве земледелия, затем в Инженерном замке.

В министерстве я нашел только одного, очень обрадовавшегося мне швейцара; департаменты и лестницы к ним все были загромождены необъятными ящиками с делами и бумагами; и здесь, и из Инженерного управления отправляли даже мебель...

С недоумением созерцал я горы ящиков с надписями о том, какие дела и какого стола в них находятся.

Дела Отдела земельных улучшений, государственных имуществ...— на кой черт и кому может все это теперь потребоваться? Вывозят хлам, требующий сотен поездов, и оставлены все культурные ценности...

В военном мире ерунда порется еще горшая гражданской. Морское министерство переведено в Москву; я посоветовал заведующему ликвидацией его, В. Д., отправить туда же и ботик Петра Великого — мореплавание свое ведь опять нам надо будет начинать с реки Яузы!

Один из комиссии матросни, ведающий эвакуацией заводов Морского министерства, явился к В. Д. и затребовал у него сведения о количестве новых крупных орудий, находящихся на заводах Питера. В. Д. ответил, что вполне готовых орудий на двух заводах имеется 36 двенадцатидюймовых и 14 четырнадцатидюймовых.

— Вот и отлично! — ответил комиссар.— Мы их отправим в Москву.

— Зачем? — спросил В. Д.

— Пригодятся нам для партизанской войны!

— Это четырнадцати-то дюймовые пушки? — не без иронии сказал В. Д.— На чем же вы их поставите?

— Найдем!

— А на чем повезете? Для них же нужны особые двойные платформы.

Комиссар удивился такому открытию и спросил, есть ли у В. Д. такие платформы. Тот ответил, что у министерства их имеется всего две и что обе они в Архангельске.

Комиссар ушел разочарованный, и затем комиссия сих мудрецов решила... уничтожить эти пушки, потопив их в Неве. Будут ли они потоплены или взорваны, на чем настаивал В. Д.,— неизвестно.

На франко-русском заводе лежит миллион пудов меди, столько же находится ее на другом — и вот этого-то драгоценного теперь металла вывозить и не думают, а заботятся о старых стульях и о двенадцатидюймовых пушках для партизанской войны!

Кронштадт разоружают, то есть поспешно топят стоящие миллионы пушки, снаряды и порох. Военные корабли, пришедшие сюда из Финляндии, ободраны дотла: матросы распродали с них решительно все, что поддавалось топору и отвертке, начиная с дверных ручек от кают.

К югу от Питера роют окопы для его защиты, а с запада разоружают Кронштадт и разрушают суда... совсем умалишенный дом!

Мне необходимо было повидать Беляева или Шварца. Дело в том, что с февраля месяца прошлого года я до сих пор не могу получить деньги за свои разъезды и работу в качестве уполномоченного. Виноваты в этом, конечно, Беляев и Шварц, назначившие мне их на словах и не обмолвившиеся об этом в приказе.

Беляева я найти не мог и отправился искать Шварца. Из управления его меня направили к нему на квартиру — Садовая, 8. На мой звонок приотворилась дверь и высунулась гладко облизанная, белая, как мука, голова маленького адъютантика — племянника Шварца. Светлые глазки его секунды две сперва с недоумением, затем с замешательством глядели на меня. Мы поздоровались, и на вопрос — дома ли генерал — адъютантик пробормотал:

— Не знаю... кажется... посмотрю...— и исчез.

Я разделся и вошел в приемную — огромную пустынную комнату с круглым столом в одном конце.

Из-за ближайшей к столу двери доносились сдержанные, но возбужденные переговоры: шепот Шварца, Антонины Васильевны и адъютанта слышался явственно. Приход мой, показалось мне, удовольствия никому не доставил.

— Да где же он? — деланно громко раздались вдруг слова Шварца.— Почему сюда не идет?

Дверь отворилась, и я увидал Шварца, с приветливою улыбкой и протянутыми руками шедшего мне навстречу. Он был в штатском платье. Шварц расцеловался со мной, и мы сели в гостиной.

— Какими судьбами вы здесь? — спросил Шварц.

— Да я давно уже плюнул на все и уехал из Новороссийска.

— А теперь где?

— Теперь состою у себя в дворниках!

Шварц засмеялся, и я пояснил ему, в чем дело.

— А вам как не стыдно было брать на себя оборону Петрограда? — спросил я в свою очередь.

Шварц несколько растерялся и оглянулся на дверь.

— Ну, это вы напрасно!.. Вы не так смотрите на вещи!..— понизив голос, смущенно возразил он.

В эту минуту вошла Антонина Васильевна, и Шварц повел меня обедать. Было около трех часов. За обедом присутствовали оба его адъютанта, те же, что были в Трапезонде: оба по-прежнему сверхпочтительны с генералом, выдержанны, как хорошие легаши, и по-прежнему отражают настроение «сфер».

Говорили о Трапезонде и его деятелях: все они, как это было мне и раньше известно, в Питере, при Шварце... Компания увеличилась теперь еще одним членом, бывшим полицмейстером, которого Шварц, как он выразился, «устроил на хорошее место».

После обеда, состоявшего из супа из сушеных овощей и тоненьких ломтиков солонины с пюре из сушеного картофеля, Шварц вскочил и, извиняясь тем, что его ждут по важному делу, ушел, несколько раз повторив приглашение бывать у него.

Во время обеда мы опять вскользь коснулись темы о большевиках.

— Когда немцы шли к Петрограду, в Смольном были согласны на все мои требования, а теперь немцы остановились, и Смольный начинает идти на попятный! — сказал между прочим Шварц.

— А какие были ваши требования? — полюбопытствовал я.

— Создание лично мною новой армии без всяких комитетов, строгая дисциплина и т. д.

— И вы верите в исполнимость всего этого? — с иронией спросил я.— Здорового из гнилого мяса не сделаете.

Из трапезондских новостей Шварц сообщил мие только одиу. На диях сидел у себя в кабииете, вдруг ему доложили, что его иастоятельио хочет видеть какой-то солдат. Шварц велел его привести. Солдат вошел и протянул ему руку. «Не узнаете, ваше превосходительство?» — спросил ои, видя, что Шварц явио иедоумевает, кто перед иим. Тут только Шварц узнал его по голосу: перед иим стоял трапезондский дьякон из нашей военной церкви. «Батюшка, а волосы-то вы свои где оставили?» — воскликнул Шварц. «В Трапезонде, вместе с рясой!» — ответил тот. Повествоваиие его было грустное. Во время эвакуации Трапезонда солдаты громили город и избивали всех попадавшихся им духовиых. Со священников срывали при этом кресты. Дьякон ухитрился забраться иа готовившийся к отходу траиспорт, ио его заметили, и ему пришлось спасаться от толпы. На берегу он остригся, смеиил рясу иа солдатскую шинель и под видом солдата добрался до России.

Что теперь творится в Трапезонде, в котором зарыты миллионы русских деиег и иесколько десятков тысяч человек,— неизвестио! Неизвестна и судьба митрополита Хрисафа и жителей-греков...

2 апреля

Сегодня, в час дня, с горы над нашим озером красные начали бомбардировать тяжелыми снарядами Хейнноки, расположенные в тринадцати верстах от нас. Пушку привезлн вчера. От выстрелов у нас вздрагнвают стены дома: судя по стрельбе, результаты ее должны быть смехотворнымн.

На днях гвардия, перестреляв по неизвестной причине на станцни всех собак, отправилась брать Хейниоки. Мимо нашего дома прошла попарно длинная вереница пеших, за ннмн тянулось множество саней с пушками, пулеметамн, сестрами милосердия, провиантом и т. д.— словом, Мальбрук в поход поехал. Дошло это воинство до Пильполы (в пятн верстах от нас), потопталось там на снегу всю ночь и рано утром, не выпустив нн одной пули, вернулось обратно. А между тем для этого похода из Выборга было вызвано подкрепленне, пришло человек около ста.

На другой день я ездил на станцию и встретил собачьих победителей, возвращавшнхся из похода обратно в Выборг. Вся орда их шла, увенчаиная розами, нарванными в Гуревических оранжереях.

Бедствуем без сена. Красные обобрали везде в окрестностях не только свободные запасы его, но н необходнмые для прокорма скота. У Гуревичей осталось сена не более как на неделю, у меня — тоже, хотя у меня и не отбирали ннчего. Я нанял финна Павилайнена, раньше работавшего у меня, и послал его в Ходоку раздобывать, что возможно, при этом снабднл его разрешением «гвардии». В Ходоке он купил сено, навил его на воз, но в эту мннуту подоспели местные красные и заставили его отвезти воз к себе. Павилайнен вернулся с пустыми руками.

Снегу на полях между тем лежит еще до полуаршина и более, и ранней весны ждать не приходится.

5 апреля

Носятся слухи, будто бы немцы взяли Гельсингфорс и ие сегодия-завтра будут в Выборге.

10 апреля

Вчера с полудня к ставшему обычным ухаиью дальнобойной пушки присоедииились частые удары легких орудий, затем затрещал ружейиый огонь и зататакали пулеметы. Пальба пошла непрерывиая. Около семи часов вечера прибежала взволноваиная чухоика и сообщила нам, что иапали «лахтари», что последних миого и что перекресток дорог на Хейниоки и Питер близ имения Гуревичей и большая пушка уже в их руках.

Бой продолжался всю ночь: под музыку его мы улеглись спать в обычное время. Грохот все усиливался и приближался. Часов около одиннадцати белые стали окружать усадьбу Гуревичей — главное гнездо красных. И в угол нашего дома, и по крыше над спальней частою дробью защелкали пули. Уставшая за день жена спала крепко, а так как опасность от перелетов и шальных пуль везде была одинаковая, то я и не будил ее.

В половине пятого утра, в самый разгар стрельбы мы поднялись; дочь с женой принялись доить коров, я раздавал им сено, и вдруг дверь в коровник приотворилась и выглянула голова в австрийской серой фуражке. За нею виднелись фигуры в серых австрийских же куртках, с белыми повязками на левых рукавах и с винтовками. Я вышел во двор.

— Красный или белый? — ломаным языком, по-русски, спросил меня предводитель — маленького роста молодой человек.

Я улыбнулся наивному вопросу и, показав на свою голову, ответил:

— Белый, белый.

Пришедших было человек около десяти. Быстро осмотрев местность вокруг нашего дома, они по перелеску гуськом пробежали к находящемуся почти рядом перекрестку дорог, одна из которых ведет на станцию, и там сухо щелкнули два выстрела: покончили с красными часовыми, постоянно стоявшими в том месте. Не знаю, о чем думали красные, открыв совершенно свой тыл!

У соседей-чухонцев полный переполох: мужчины еще вчера бежали, кто куда мог.

Пушечных ударов слышно уже не было. Нам сообщили, что пушки захвачены белыми.

Без четверти семь наступила полная тишина; изредка кое-где, словно на охоте, стукали выстрелы винтовок,— пули белых догоняли бежавших!

К нам во двор со стороны Пильполы нагрянули человек двадцать белых и обыскали и осмотрели весь дом и все помещения. Только они ушли, явился новый отряд; потом пришел в сопровождении маленького рядового какой-то длинный офицер, держа наизготовку маузер,— вид и манера разговаривать у этого офицера были весьма неприятные, надменно-немецкие. Записав, кто мы такие, отчего живем здесь, отобрал мирно стоявшую у меня в углу берданку и старый револьвер и убрался. Уходя, офицер задал мне умный вопрос: что я делал с берданкой? Ответил, что она была со мной еще в Монголии.

На сегодня всем рекомендовано не выходить за пределы своих дворов.

Итак, прихода белых мы дождались...

Должен отметить, что стоявшие у нас красные были вежливые и корректные. Среди тех, что постоянно ходили к нам за молоком, были и очень симпатичные люди, и очень жаль, если они убиты. Как они слепо верили в полное торжество свое! Главари держали этих бедных младенцев в полном неведении относительно происходивших событий, и, когда кто-либо из нас говорил им правду о взятии Таммерфорса, Гельсингфорса и др., они не верили и твердили, что белые уже окружены и при последнем издыхании.

Вечер

Весь день шла суета: по шоссе носились мотоциклеты, вслед за пехотиною частью и пулеметами прошел к Выборгу боевой обоз. На станцию направился другой отряд, весьма небольшой численностью.

Часов в пять вечера во двор наш вкатилось два мотоциклета, и один из приехавших на них белых объявил, что к нам на ночь придут полтораста солдат и пять офицеров. Приехавший говорил по-русски, главный же язык у белых, с которыми приходится теперь объясниться,— немецкий.

Мы спешно принялись за уборку избы и других помещений.

Приблизительно через час на шоссе показалась серая колонна, которая заполонила весь наш двор. К избе подкатила походная кухня и повозки, въехали на конях офицеры.

Все люди одеты и обуты отлично: в австрийскую форму, у всех шанцевый инструмент и превосходное вооружение.

Рота остановилась и составила ружья в козлы по команде; перестроения и ружейные приемы производились довольно слабо, но все же передо мной была настоящая воинская часть, а не банда красного сброда. Солдаты все были сплошь молодежь призывного возраста; криворотых и кривоглазых, каких немало было среди красных, между ними не попадалось. Оказались очень вежливыми и симпатичными и офицеры.

Только что рота стала устраиваться в избе и на сеновале, а офицеры собрались в моем кабинете, из штаба принесли командиру пакет с приказом выступать к Выборгу в 7 часов, т. е. через полчаса. Поднялась суетня, и в назначенное время серые колонны потянулись с нашего двора и из других дворов к Выборгу.

По словам белых, красных убито в последнем бою около сорока человек.

11 апреля

В половине четвертого утра проснулся от грохота пушек: начался бой на нашей станции. Вечером гудела отдаленная канонада в стороне станции Голицыно. Удары все учащались, морозный воздух отчетливо доносил работу пулеметов. Я встал и вышел на двор послушать бой. Из имения Гуревича бегом прошла подмога, за ней следовали пулеметы. К семи утра все стихло, теперь бухают орудия только со стороны Сайнио.

Успехи белых привели здешних финнов в большое уныние: часть их до сих пор сидит в погребах и картофельных ямах или скитается неизвестно где.

В 8 часов утра я с дочерью отправился в деревню посмотреть место боя. У перекрестка шоссе и дороги на станцию, в канаве, лежал на спине труп убитого красного часового: руки его застыли приподнятыми, помутневшие глаза смотрели куда-то вдаль. Кто-то отвязал с его шапки и положил ему на рот красную ленточку.

Начиная от ворот усадьбы Гуревичей, весь южный откос шоссейной канавы был усыпан пустыми гильзами и обоймами, кое-где попадались фуражки и скорченные трупы с синеватыми лицами. У одного взрывом ручной бомбы снесло несколько пальцев левой руки и всю левую половину лица.

Деревня превращена в сплошной лагерь: везде коновязи, повозки, фуры и солдаты — казалось, мы очутились среди австрийцев. Навстречу нам попались носилки с убитым красноармейцем; голова трупа свесилась вперед, и мы узнали в ней кривого Лехти, постоянно хваставшегося своею храбростью и победами над белыми.

На обратном пути нас дважды останавливали офицеры и очень вежливо замечали, что напрасно я хожу в русской военной форме и что во избежание неприятностей мне лучше было бы переодеться в штатское. Утро довольно холодное, «форма русского офицера», столь ненавистная теперь в Финляндии, заключалась в моем черном форменном пальто Министерства земледелия, которое я надел за неимением другого.

Дочь зашла к управляющему имением Гуревичей — Трейгуту; а я, не торопясь, стал спускаться с горы, направляясь домой. Вдруг за мной раздались крики. Я обернулся и увидел кучку егерей, выскочивших из ворот и махавших мне руками.

Я вернулся; меня окружили человек пятнадцать солдат и грубо стали требовать пояснений, кто я такой и зачем хожу в тех местах. Ответил, что я местный землевладелец, показал свой паспорт, и меня отпустили. Лица у всех были озлобленные; слово «пергеле» (черт) я слышал по своему адресу не раз.

Только что я миновал вторые ворота и прошел саженей сто — опять повторилась та же история со стороны другой толпы егерей. На этот раз потребовали, чтобы я отправился с ними в штаб. Приведшие меня двое солдат доложили обо мне что-то, должно быть, неприятное, офицеру, и тот со строгой миной обратился ко мне с вопросом: кто я и т. д. Я разъяснил, но ни офицер меня, ни я его почти не понимали. К счастью моему,

среди обступившей меня возбужденной толпы отыскался человек, говорящий по-русски, и меня отпустили с миром, и солдат-егерь, оказавшийся доктором философии Икколя, проводил меня, во избежание дальнейших неприятностей, до дома и остался затем у нас пить кофе. По его словам, у них выбыло из строя при взятии нашей деревни много народа: этой ночью со станции привезли на перевязку 60 человек — на станции их, кроме орудий, встретил еще бронированный поезд.

Судя по отношению победителей даже к имени «русский», думаю, что не пришлось бы по водворении мира в Финляндии продать имение и направиться в одну из четырех стран света, кроме России, конечно! Настроение у белых от рядовых до офицерства бодрое, свежее. И то сказать — молодое государство идет первым крестовым походом на коммунистскую ересь!

12 апреля

Из-за леса за озером стоят три огромных столба и целое облако дыма: где-то сильно горит, оттуда же доносится усиленная орудийная канонада. А на озере гомонит беспрерывный радостный клич диких гусей и уток. Невольно вспоминаются слова Лермонтова: «Небо ясно, под небом места много всем...»

Ночью мимо нас шли с песнями войска; пение резало ухо, но зато было громко и перебудило и перепугало всех обывателей нашей части шоссе.

6 ч. вечера

Жена пошла в деревню по делу с чухонкой Марьей, живущей в доме напротив нас. Муж Марьи, имеющей шесть человек ребят, был месяца два назад задержан в Хейниоках белою гвардией и работал у нее; недели две назад он сбежал и вернулся в Кемере. Во время боя он и другие скрылись в Перо — соседнюю деревню, но вчера он пришел обратно. Вечером его вызывали в усадьбу Гуревичей, где помещается штаб, и ночевать домой он не возвратился. Сегодня Марья отправилась узнать о муже, и ей сказали, что он арестован и отослан в Хейниоки.

Когда жена моя и Марья поравнялись с двумя финнами из нашей деревни, убиравшими убитого красногвардейца, один из них обратился к ней и сказал, чтобы она пошла в народный дом: там лежит труп ее мужа. Она закричала. Тогда другой стал успокаивать ее и добавил, что наверное они не знают, но что им показалось, что это Андрей.

Его нашли в лесу расстрелянным.

Слова первого финна оказались верными; только нашли его не в лесу, а пристрелили в риге Невалайнена.

Какие вины были за Андреем — не знаю. Поведение его было довольно подозрительно: происходили у него какие-то сборища красных и, главное, на другой же день по возвращении его был предпринят ими знаменитый Мальбруковский поход на Пильполу по той окольной дороге, по которой он только что вернулся. Нам тогда же показалось, что была какая-то связь между возвращением Андрея и этим походом, сделанным после визита его в красный штаб.

Впечатление этот расстрел произвел огромное, и не в пользу белых. Ненависть между ними и красными жесточайшая, и, разумеется, такие же происходят и расправы.

Ходит слух, будто бы Выборг сегодня взят и что красные бежали. Пушек не слышно ни с одной стороны. Это первый тихий вечер за долгое время. Если слух верен,— бунту рабов и арестантов в Финляндии конец!

Русских солдат и матросов, попадающих им в руки, белые, по словам их же офицеров, приканчивают без разговоров.

13 апреля

Заговорили выборгские пушки, гул их доносится явственно.

Когда начался бой в нашей деревне, красные велели управляющему имением Гуревичей и служащим там же женщинам уйти в оранжереи и заявили, что, если им

придется отступать,— усадьбу они сожгут. Стены и полы домов они облили керосином.

Служащие пролежали всю ночь в оранжереях на полу и, когда выстрелы стихли, вышли наружу. На них с победными криками, бросая вверх шапки, наскочили белые и окружили их. Узнав, что они русские, белые потребовали, чтобы они сейчас же убирались вон.

Управляющий возразил, что ему идти некуда, так как он служил в имении, и только заявление его, что он живет здесь уже два года, несколько успокоило озлобленных солдат, и ему позволили остаться.

Дом в имении ограбили немедленно: взломали сундуки и шкафы, еще оставшиеся нетронутыми, забрали из них все, даже шубы. При этом говорили, что грабят потому, что это имущество русских, и что они всех русских поразорят и выгонят вон из Финляндии.

И сегодня весь день в Выборг тянулись обозы с фуражом, патронами, корзинами с ручными бомбами и всякою всячиной.

В деревне у нас до сих пор стоят егеря. В лесах кругом то здесь, то там и вчера, и сегодня изредка слышались выстрелы: приканчивали находимых красных.

14 апреля

Выборг ревет и гремит. Канонада идет беспрерывная.

Заходил проведать нас Трейгут. Ограбили их имение основательно, как красным и не снилось, забрали не только все вещи, но и экипажи, и сбрую лошадей. Осталась всего одна негодная кляча. Трейгут рассказал нам, что, если бы не несколько шведских офицеров, бывших в отряде, бравшем Кемере, мы все, русские, были бы перебиты, так как на этом настаивали финны — офицеры и солдаты,— и только решительный протест шведов спас нас.

15 апреля, 8 ч. вечера

Выборгские пушки только что стихли.

Еще четверо красногвардейцев-финнов из нашей деревни приговорены к смерти. Двое из них утром сегодня вернулись из леса, где скрывались, в деревню, и их отправили в Сайнио, куда передвинулся штаб. Их видели там роющими ямы,— не могилы ли?.. В нашей деревне в каждом доме по покойнику, а то и по два. С такими расправами следовало бы не торопиться!

16 апреля

Выборг все молчит. Ночью в его стороне видно было сильное зарево. Вскрылось наше озеро.

В имении у Гуревичей уцелели только стены; стулья и кресла переломаны ударами об пол, стекла все выбиты, шкафы и комоды разбиты вдребезги, картины, обивка с диванов содраны, занавеси с окон сорваны. Словом, там та же картина, что мне пришлось видеть в сотнях домов в Трапезонде! Из имения увезли решительно все — от топора до бочонков, и, когда Трейгут останавливал грабителей и говорил, зачем они так поступают, ему отвечали, что они объявляли в газетах, что будут грабить всех русских и что надо было убираться вовремя вон из Финляндии. Подвал изрыли глубокими ямами, ища картофель; вытащили из хлева и зарезали единственную откормленную свинью.

Вероятно, в видах справедливости, победители ограбили и своих местных финнов, бежавших во время боя из своих изб.

17 апреля

Проезжие рассказывали о взятии Выборга: убитых с обеих сторон насчитывают 6000 человек. Подробности пока неизвестны, знаем только, что сдавшаяся русская солдатня перебита вся до единого. Ходят слухи, будто бы белая гвардия собирается

идти на Петроград и очистить его от красных. Финны очистили бы на совесть — слово милосердие не из их лексикона!

18 апреля

Из Выборга в имение Гуревичей вчера и сегодня приезжали на городских извозчиках за цветами две дамы: у Гуревичей здесь 30 оранжерей, длиною каждая в 12 сажень.

Извозчики брали по 100 марок за поездку. Одна из дам купила роз на 4000 рублей по 2 рубля за штуку. В Выборге их продают по 7 марок, и спрос на них теперь, по случаю многочисленных похорон, необычайный.

По рассказам дам, центр города не пострадал почти совершенно; сильно поплатились предместья, где шел бой. Среди взятых в плен красных оказалось несколько сот русских, их перебили без всякого разговора поголовно. Около вокзала имелись помещения Красного Креста красных; сестер милосердия и прочих служащих в нем было до шестидесяти человек; их вывели всех и расстреляли из пулеметов, отпустили только одного мальчика. Сестры обнимались друг с другом под пулями, и сцена была потрясающая. Встречных на улицах, подходящих видом к красногвардейцам и хулиганам, солдаты пристреливали на месте. Расправы эти продолжаются до сих пор.

Когда белые ворвались в город, жители встретили их с кофе и какао; из домов на панели улиц и на площади были вынесены столы и стулья; дамы и мужчины, украшенные белыми лентами, приветствовали победителей криками и маханьем платками и шляпами.

В какие глубокие средние века мы живем!

Поезда еще не ходят: красные угнали все вагоны и паровозы в Питер.

Ждем обратного прохода победителей и погрома a la Гуревич. Прячем и зарываем все, что возможно.

Слух о том, что всех русских выгонят из Финляндии, распространился по нашей деревне, и ко мне являлись купить коров. Ответил, что разговоры финских солдат меня не касаются и что я подожду слов сената и сейма.

В бою при нашей деревне убито не 40, а 18 красных, «пунакарти», как называют их финны. Именно это число трупов похоронено в общей могиле. Валили их в яму, как дрова, крест-накрест. Не было при этом ни пастора, ни чтения молитв. «Как собак зарыли»,— вздыхая, толкуют по деревне женщины.

21 апреля

Водворился прежний начальник станции, которого я знаю вот уже скоро пятнадцать лет. Чистильщик ламп, важно исправлявший при красных его должность, исчез. Финны станционного поселка, умевшие говорить по-русски, вдруг разучились и русским не отвечают.

Пальба там была жестокая, и многие дома сильно исстреляны пулями. Лавочница Шалопина все время боя пролежала с семьей на полу, и пули свистели у них над головами. Взятие станции, благодаря русскому броневику, стоило белым 150 человек.

От страха Шалопина сильно поседела.

В броневике сидели с пулеметами трое русских; они сдались вместе с остальными красногвардейцами, и их пристрелили тут же, на глазах у всех. Красных убито и избито после боя было много: трупами их был завален целый сарай.

22 апреля

Приезжал из Выборга Гуревич, разгром усадьбы привел его в ужас.

В Выборге жизнь входит в нормальную колею: комендант издал указ, воспрещающий под страхом кары самовольное убийство кого бы то ни было в домах и на улицах. Вызван он тем, что белогвардейцы чинили свои расправы не только на улицах, но врыва-

лись и в дома, вытаскивали оттуда наравне с мазуриками русских офицеров и убивали на месте, несмотря на полное отсутствие какой-либо вины с их стороны. У живущего в Выборге бригадного генерала убито таким образом трое сыновей, недавно произведенных в офицеры. Всех же русских, не причастных к финской междоусобице, погибло около трехсот человек.

В 30 километрах от нас, в деревне Кюрля и двух соседних с ней, белые, взяв их, избили поголовно все население, не разбирая ни пола, ни возраста; в трех деревнях уцелела только одна девушка. В нашем районе красные населения не трогали.

В финской газете появилась заметка, гласившая, что все русские по распоряжению сената должны убраться из Финляндии в десятидневный срок. Выборгская русская колония, насчитывающая немало финансовых тузов, всполошилась, но на другой день в той же газете было напечатано опровержение. Ходит слух, будто бы Питер, узнав о намерении сената выкинуть из Финляндии всех русских, ответил предупреждением, что Россия выкинет всех финнов, а их считается за 300 000 человек. Слух, конечно, вздорный: русские в Финляндии все буржуи, и изгнанию и разорению их большевики стали бы только аплодировать.

Финские войска стягиваются к Сестре-реке.

Пас сегодня в лесу своих коров и читал Сельму Лагерлеф. Только-только начала пробиваться трава.

Гуревич оценивает убытки, причиненные ему разгромом усадьбы, в полтораста тысяч рублей: цифра с запросцем. Не ошибусь, если уменьшу ее в пять раз,— он все имение купил как раз за сто пятьдесят тысяч, и, кроме белья и платья, нового в него ничего не привез.

Хейниокские жители говорят, что ни один снаряд дальнобойной пушки, из которой свыше двухсот раз «реяли» наши красные, не упал даже поблизости от Хейниок. Добавлю: к нашему счастью, так как угоди хоть одна такая штучка в Хейниоки — белые нас здесь сожгли бы всех начисто.

24 апреля

Выборгские жители-финны передают, что во время взятия города многие русские семьи удалились в один из кварталов, и белые, ворвавшись туда, избили не только всех русских, бывших в военной форме, но и детей, и женщин. Цифру истребленных русских называют за восемьсот. В Таммерфорсе она, по слухам из финских же источников, перевалила за тысячу. Это уж действительно не войско, а лахтари-мясники!

Было несколько случаев сумасшествия среди финнов, видевших картину избиений в Выборге.

В городе ежедневно происходят убийства белых. Вчера на Торкельской, главной улице, какая-то женщина выстрелом в упор в затылок уложила наповал белого офицера. Число подобных убийств так значительно, что белыми объявлено, что за каждого убитого белого будет расстреляно, помимо убийцы, по десять красных.

Объявлена всеобщая мобилизация: призываются все мужчины, начиная с шестнадцатилетнего возраста. Выборг битком набит военщиной. Портные, сапожники и т. п. работают только на армию, и обывателям приходится туго.

Погода вот уже неделю стоит ветреная, холодная, почки на деревьях еще не распускаются.

27 апреля

По пути из Выборга заходил финн Малафей, лет десять назад служивший у меня рабочим. По его словам, а мужик он положительный, в Выборге каждую ночь на заре происходят массовые расстрелы; в день его ухода, в ночь с 25 на 26 число, расстреляли 200 красных.

Малафей имел недурное место в Выборге развозчика товаров при каком-то большом магазине; при красных они кое-как еще держались, хотя было и трудно, так как те отбирали лошадей, товары и вообще нагличали чрезвычайно; теперь же в Выборге все, кто могут, ликвидируются и бегут — так велик террор, наведенный белыми. Уезжают и уходят и русские, и финны: первых отпускают в Питер, но только совершенно не причастных к финской междоусобице.

Распродал свое имущество и Малафей и ушел опять в деревню; к красным он совершенно не причастен.

Сколько было убито народу в Выборге, он не знал, но через два дня после взятия города ему пришлось проходить через лес с северной стороны и он видел, что он весь был завален трупами; последних не убирали очень долго, и жители сами разыскивали своих пропавших родных и хоронили их.

Большой переполох в городе произвели два взрыва складов снарядов, происшедшие у красных; удары были такие, что в городе во многих домах повылетели стекла из окон. Убийства белых на улицах повторяются, но уже очень мало, местью этой занимаются исключительно женщины.

30 апреля

У нас полный голод. Ни у кого нет ни муки, ни картофеля; на днях в деревне зарезали больную корову и расхватали ее по 8 марок за кило. К нам то и дело прибегают взрослые и дети за молоком; приходится отдавать чуть не последнее, так как нечего есть и выпрашивают христом-богом. Но получить за них ничего нельзя. По этой причине совершенно невозможно достать работников, не идут ни мужчины, ни женщины. Бумажками теперь рабочие запаслись в изобилии!

2 мая

Вчера жена ездила в Выборг искать провизию. Магазины интендантства, откуда мы получали продукты, оказались закрытыми; старший приказчик, заведовавший ими, пожилой человек, с нетерпением ожидавший прихода белых, убит ими...

Город сильно пострадал и выгорел со стороны Петербургского шоссе; центр цел совершенно, и только во многих домах выбиты стекла и стены носят следы пуль.

Пименовы, у которых побывала жена, рассказали о творившемся за эти дни. Их дом, к счастью, оказался по другую сторону города, там, где бой ограничился только перестрелкой.

Записанные уже мною рассказы о бойне русских и пленных красных оказались не преувеличенными; решительно все — от гимназистов до чиновников, попадавшиеся в русской форме на глаза победителей, — пристреливались на месте. Неподалеку от дома Пименовых были убиты два реалиста, выбежавшие в мундирчиках приветствовать белых. В городе убиты три кадета. Сдававшихся красных белые оцепляли и гнали в крепостной ров; при этом захватывали и часть толпы, бывшей на улицах, и без разбора и разговоров приканчивали во рву и в других местах. Кого расстреливали, за что — все это было неизвестно героям ножа! Расстреливали на глазах у толпы. Перед расстрелом срывали с людей часы, кольца, отбирали кошельки, стаскивали сапоги, одежду и т. д. Особенно охотились за русскими офицерами; погибло их несть числа, и в ряду их комендант, интендант, передавший перед этим свой склад белым, и жандармский офицер. Многих вызывали из квартир, якобы для просмотра документов, и они домой уже не возвращались, а родственники потом отыскивали их в кучах тел во рву; с них оказывалось снятым даже белье. В дело избиения русских вмешался наконец мой старый знакомый — английский консул Фриск — и принял их под свое покровительство.

11—1565

Также свирепо мясничали белые и над захваченными красными: избивались не только имевшие в руках оружие, но и санитары, и доктора, и сестры милосердия. Цифру всех взятых в плен красных называют кто 50, кто 72 тысячи человек. В Выборге сдалось около 25 тысяч. Все уцелевшее от бойни затискано и заперто по казармам и где возможно; кормят пленных отчаянно плохо и мало, так как и у победителей стол теперь очень скуден. Окна временных тюрем забиты наглухо досками, из-за них раздаются крики и просьбы о хлебе. Расстреливают пленных сотнями ежедневно, гробы теперь самые дешевые и простые стóят 200 марок, и их не употребляют совсем: мертвых, собранных по городу, наваливают на возы кучами и свозят к общим могилам.

В Выборгской бане, в парильном отделении, какой-то отчаянный красный убил восемь человек белых; на другой день за это на валу пристрелено 80 красных.

Белые передают, будто бы они, ворвавшись в город, в одном из зданий нашли несколько сот человек из местных «лучших», т. е. зажиточных людей, арестованных красными за сочувствие белым. Все они были варварски убиты: у одного была надрезана на затылке кожа и потом вся стащена на лицо, другой сидел на стуле, положив руки и голову на стол, руки его и язык оказались прибитыми к столу гвоздями, а перед ним стояла открытая коробка с сардинами, и т. д. В оправдание своих зверств белые ссылаются на эту находку и говорят, что после нее солдат ничем нельзя было удержать от резни.

Возможность такого избиения мирных людей я допускаю, так как красные украсили свои ряды хулиганьем и всею сволочью, выпущенною из каторжных тюрем, но оправдание им нового истребления тех же мирных жителей и русских — вещь по меньшей мере странная!

Русские надписи на домах и улицах все замазаны и заклеены. И тем не менее русская речь на улицах слышна всюду и ее по-прежнему больше, чем финской: русская колония здесь была огромная. Теперь все распродают за грош дачи, землю, вещи и обстановку и спешат уехать. В Питер мужчин не пропускают, женщинам же разрешают проезд только до границы, до Районок, откуда надо пробираться с большими затруднениями в Белый остров. Через две недели в Выборг придет немецкий пароход и перевезет часть эмигрантов в Ригу.

Уезжают и Пименовы, направляющиеся в Екатеринослав, переезд этот им, семье из пяти душ, обойдется по нынешним ценам в 1200 рублей.

Среди белых начался раскол: одни требуют похода на Петроград и Москву, другие отказываются и желают роспуска по домам, на сельские работы. Старофинны хотят сделать из Финляндии королевство с германским принцем во главе, малофинны протестуют и желают иметь республику.

Вестей из России нет почти никаких. Каким-то чудом (еврейским) в руки Пименовых попал свежий номер бывшей Речи, и в нем нет ни слова о событиях у нас, отмечено только, что такого-то числа «немцами взят Выборг».

С уходом русских Выборг и весь юг губернии ожидает запустение: и город, и дачные районы держались и питались главным образом русскими. Из слухов в Выборге упорно держатся следующие: что меньшевики начинают получать перевес над большевиками и что в Москве провозгласили царем Алексея и регентом при нем Михаила. Николай Николаевич получил будто бы опять командование над войсками.

На нашей станции из 34 содержавшихся там красных пленных вчера пристрелили 19 человек. Говорю, пристрелили, а не расстреляли, так как белые бьют свои жертвы в упор. Жребий этот падает на всех начальников, даже самых маленьких, на всех, отбиравших что-либо у населения, на тех, кто по указаниям свидетелей отличался особою краснотой.

Вчера же проезжавшие мимо крестьяне передали нам, что стоявшею в имении Гуревичей бандою красных было решено забрать наше имущество и арестовать нас

самих за то, что якобы к нам по ночам приходили белые... Выполнить это им помешал разгром.

За нами шпионили усердно, и хотя никаких белых к нам по ночам не ходило, но соседи, главным образом семья расстрелянного Андрея, очень зарились на наши разработанные земли, дом и сарай, наполненный ящиками... с книгами и коллекциями черепов, предметами из раскопок и т. п. Скверный донос на нас — дело их рук.

Теперь эти же соседи бегают к нам и выпрашивают записки с добрыми аттестациями мужьям и братьям, сидящим в плену у белых, для спасения их от смерти. Ошибся, должно быть, в свое время Господь: заготовил душу для свиньи, а посадил ее в человека!

7 мая

Проходил по своему лесу и встретил пять человек местных белых с винтовками, шедших по направлению к дачам. Спросил, куда они направляются; ответили, что около дач, совершенно пустующих теперь, скрывается какой-то красный. За мостиком белые разделились и облавой двинулись дальше. Спустя часа два по лесу загрохотали частые выстрелы.

Вчера убили дочь моего бывшего арендатора, Ингри. Она поступила сестрой милосердия к красным и была взята в плен в Выборге. Там ее продержали под замком и освободили. Третьего дня она вернулась в Кемере, здесь ее арестовали и отправили опять в Выборг. Вчера ее нашли пристреленной у дороги в лесу.

Опять усилились слухи о том, что всех русских поголовно выгонят из Финляндии. Мне советуют заблаговременно зазапастись паспортом на выезд и приписаться к какому-нибудь обществу в Выборге — малорусскому, литовскому, польскому, так как выбраться в одиночку и за личный счет очень трудно и стоит бешеных денег.

Поляки, их 300 человек, уже зафрахтовали для себя пароход за 19 000 рублей до Риги.

9 мая

Вчера побывал в Выборге. На станцию из дома отправился пешком. Дорога (семь километров) идет все время лесом, местами она сплошь усеяна картонными коробками из-под патронов и выстреленными гильзами и обоймами. Мальчик-пастушонок, которого удалось наконец нанять нам, ежедневно приносит кучи целых патронов, а вчера приволок даже найденную им винтовку.

Станция наша не пострадала совершенно, если не считать пробитых пулями стекол и стен — таких дырок виднеется всюду множество. И впервые вчера я увидел на флагштоке над станцией белый с синим флаг Финляндии, сменивший долго болтавшуюся красную тряпку...

Станция Сайнио, мимо которой мы проезжали, отделалась от беды так же, как наша. Далее за нею на горке стоял изуродованный, избитый и иссеченный снарядами сосновый бор; уничтожал его, как Дон-Кихот мельницу, Выборг.

В выборгском вокзале пулями превращена в решето вся крыша и перебиты стекла со стороны Гельсингфорсских путей. У входа в буфет артиллерийским снарядом отворочен угол.

Выйдя из вагона, я прямо направился на Брахенкату, к Фриску. Он десятый день болеет инфлюэнцей, но ко мне он вышел, бледный и исхудалый, в халате. Пробеседовали мы с ним, делясь впечатлениями, часа полтора. Заболел он потому, что трое суток должен был просидеть с семьей в сыром подвале, спасаясь от пуль, летавших у них по комнатам; кроме этих комариков, в садик их, где были в это время дети, упали две гранаты, к счастью, не разорвавшиеся, иначе от деревянного дома Фриска остались бы одни воспоминания.

По словам Фриска, выселять из Финляндии будут только русское хулиганье, заполонившее ее за время войны. Лиц же, давно проживающих в крае и ничем худым себя не зарекомендовавших, трогать не предполагается. Но — он говорил со слов сенатора, с которым виделся на днях,— поднят вопрос о заполонении русскими пограничной с

русскими окраинами Карелии и о необходимости заменить русское землевладение в ней финским. Поэтому возможно, что нам предложат продать в известный срок свои имения финнам или по оценке в казну и затем откланяться.

Очень многие русские хлопочут о принятии их в финское подданство: таких желающих обратилось к Фриску свыше 60 человек. Многие родились в Финляндии, другие прожили по 30 и по 40 лет и никуда из нее не выезжали. Но на возможность такого перехода Фриск смотрит с сомнением: у него имеются сведения, что в финское подданство решено принимать только в исключительных случаях, а что под этими случаями будет подразумеваться, еще не выяснено.

Во время боя Фриску пришлось несколько раз бегать по городу, чтобы выручить то одно, то другое арестованное лицо из рук красных. Во время одной из таких прогулок под пулями, в Шлоссе, где был штаб красных и стояли батареи, он видел пальбу из пушек. Катали как попало, не целясь, не наводя даже как следует отпрыгивавшие после выстрелов орудия, старались только выпустить возможно большее количество снарядов. Потерь у белых, благодаря этому, от артиллерийского огня не было совершенно, и вообще потери у них чрезвычайно малы.

Красные обобрали в Выборге все магазины и вывезли из него всякой награбленной всячины в Питер свыше 300 вагонов, ими же угнано туда 36 паровозов.

О числе русских, неповинно избитых, Фриск отозвался несколько уклончиво и ответил, что точной цифры он не знает, но не предполагает ее свыше двухсот. Между тем, по моим сведениям, полученным от русской колонии, убито только одних офицеров сто двадцать человек.

От Фриска я прошел к Константиновичу, родственнику председателя Конотопской земской управы, стоящему здесь во главе украинской организации. В квартире у него полный разгром и кавардак: он с семьей уезжает из Выборга на родину.

Константинович только что вернулся от губернатора и сообщил мне, что губернатор, прочитав публикацию о выселении всех русских в десятидневный срок, поскакал в Гельсингфорс, и экстренное выселение отменено, и назначается для разбора и производства этого дела комиссия. Украинцев трогать не предполагается, но надо приписаться к ним, представить фотографическую карточку и получить особый паспорт. Тем не менее «громада» собирается уезжать, все уже распродали, что могли, и теперь сидят на чемоданах и ждут: из Берлина пришло распоряжение (вот уже как) — задержать временно украинцев, так как в Малороссии разрастается антигерманское движение.

Записался я, благодаря прежней службе моей в Малороссии, в хохлы, снялся и, в ожидании обратного поезда, пошел бродить по городу.

Не только казармы, но и все бывшие военные склады и частные большие помещения заняты пленными красными. Окна, выходящие на улицу, забиты досками. Поперек тротуаров перетянута проволока, и на углах стоят серые фигуры часовых. Проход по той стороне. где тюрьма, воспрещается. На улице, упирающейся в море, близ старинной кирки, одни из ворот были распахнуты, и я увидел толпу пленных, тесно наполнявших обширнейший двор. Стояли они за высокою перегородкой из жердей. Вид у всех испитой, угрюмый. Дважды встретились мне на улицах партии пленных, перегонявшиеся куда-то финскими солдатами; в обеих было много женщин, и они шли куда бодрее мужчин, бойко, почти весело. Некоторые даже смеялись. Мужчины держались понуро и выглядели истощенными.

Улицу Южного вала, на которой не бывал уже несколько лет, я не узнал: она проходила высоко над морем за валом, насыпанным на обрыве над самой водой; обрыв был одет древнею каменной стеной, под нею находились купальни, плескались волны. Теперь море отодвинулось далеко, там, где синела вода, пролегла пыльная, желтая широкая полоса земли, еще дальше, из-за полосы воды, поднялся длиннейший мол. Стену обрыва беспощадно разрушают и выламывают из нее камни.

Расстрелы производились и теперь производятся в крепостном рву, справа от Фридрихсгамских ворот, если выходить из крепости. Бьют из пулеметов, причем приговоренных ставят к ним спиной. Слева тянутся коновязи, лошади стоят тощие, жалкие, и около них сложен единственный их корм — ржаная солома. У края той же коновязи лежали две околевшие лошади. Во рву виднелось несколько валявшихся там шапок. На валах везде серые фигуры солдат. Огромнейшие помещения и бараки по дороге на Ликолампи битком набиты ими же.

Снарядов, вооружения, казенного имущества и всяких запасов русских в руки белых попало в Выборге несть числа. Во всей же Финляндии, по подсчету здешних газет, Россией оставлено имущества на семнадцать миллиардов: в эту цифру включена стоимость земель в городах, зданий, крепостей и прочее.

Из Ликолампи я прошел на противоположный конец города и там, поднявшись на гору, у которой кончается Екатерининская улица, увидал лес обгорелых труб и печей — это было все, что уцелело от большого предместья. Выгорело несколько кварталов между тремя параллельными улицами. От деревянных домов остались только головешки да груды золы, из которой торчали свороченные листы железа, кучки сварившихся в кашу бутылок, битая посуда и т. д. Обошел я пустынное пожарище и вернулся на бульвар.

За все время, с девяти часов утра до пяти часов вечера, блужданья моего по городу я встретил только одного немецкого солдата. Ими здесь, что называется, и не пахнет!

С вечерним поездом я вернулся в Кемере и пешком же добрался до дома. Во всех финских вагонах имеются вывешенные на стенах плакаты с объявлениями железнодорожного начальства. Объявления эти сделаны на четырех языках, теперь же решительно все столбцы с русскими текстами из них вырезаны, срезаны даже русские надписи о воспрещении курить в вагонах.

Понятие «русский» тождественно теперь с понятием «чума»: от обоих открещиваются начисто!

10 мая

Приезжали из Выборга профессор А. Д. Рудиев с женой и В. И. Пименов. По их словам, расстрелы красных продолжаются ежедневно, избивают их партиями, свыше ста человек каждая. Оба они люди осведомленные, и оба категорически утверждают, что во взятии Выборга принимали участие только шесть немецких офицеров, солдат же германских не было совершенно. Пименову несколько дней назад я переслал с оказией в Выборг письмо с просьбою отправить его с кем-либо из едущих в Питер моей дочери. Письмо это Пименов привез обратно, так как вручить его не удалось: теперь на границе белые отбирают от уезжающих всякие письма и записки и тут же уничтожают их. Из России они же не пропускают ни писем, ни газет. Русские беглецы из Выборга по ту сторону границы российскими красными встречаются грубо, их обшаривают снова до нитки и отбирают ценные вещи, провизию и деньги, последних оставляют на человека не свыше пятисот рублей, все прочее поступает в «товарищеские» карманы. Особенно плохо приходится офицерам, упорно говорят, будто бы были случаи убийства их.

Рудиев сообщил мне, что умер Николай Иванович Веселовский. Так мы и не доспорили с ним по вопросу о балбалах!

12 мая

Вчера жена ездила в Выборг и привезла наши новые паспорта: теперь мы украинцы. У наших громадян дела обстоят плохо: все вещи ими распроданы, квартиры сданы, а разрешения на выезд нет и вряд ли будет скоро!

По слухам, немецкая эскадра разбита и перетоплена союзниками, французы будто

бы прорвали германский фронт. Вести прекрасные, для нас-то они, увы, после ужина горчица!

Усиленно работаем в огороде: корчуем землю, делаем гряды, вожу навоз, рою канавы; обходимся по-прежнему без рабочих. Год впереди предвидится еще более голодный, и надо запастись своими продуктами.

Вчера у проходившей из Выборга в Риссепиль женщины видел хлеб, выпеченный пополам с конским навозом. Местные крестьяне разыскивают в полях оставшуюся от прошлого года картошку и едят ее, большинство съели и всю оставленную на семена.

14 мая

Вчера в лесу нашли сильно разложившийся труп Давида Роввинена, финна из нашей деревни. Красная гвардия насильно забрала его в свои ряды, затем вскоре произошло наступление белых. Давид пропал без вести, и вот теперь выяснилось, что он был ранен в грудь навылет, бежал и умер в лесу. Человек он был пожилой, невысокого роста и очень смирный, зимой он постоянно приносил нам зайцев и куропаток.

Май стоит отвратительный, все время дует холодный ветер, и температура даже в полдень не подымается выше восьми градусов.

18 мая

Теплый день, прошла первая гроза. Приезжали прощаться Пименовы: дачу свою они продали Рудневу, и, как объявлено в газете, пароход их отойдет в Ревель между 1 и 15 июня по новому стилю, то есть, может быть, даже завтра. Уезжают в Украину.

Кемере наше в этом году стоит пустынное, во всем дачном уголке будут жить только Рудневы да два застрявших здесь русских офицера — полковник Чеботаревский и капитан Самсонов, последний с женой и сыном.

Потянуло и меня, старого журавля, к перелету...

19 мая

На мыло, табак, кофе и носки наложено вето, и их будут выдавать только по карточкам. Все запасы этих продуктов реквизированы в магазинах. Говорят, будто бы это сделано в пользу Германии, которая взамен их даст хлеб. Откуда?!

22 мая

Второй день длится сильнейшая буря со снегом. Термометр показывает один градус тепла.

Выяснилось, что Ингри была застрелена за то, что, находясь в рядах красных, забрала себе в чьем-то доме платье и обручальное кольцо.

Оставшихся в живых пленных белые, по слухам, вышлют в Германию на принудительные работы на разные сроки.

По сведениям шведских и финских газет, немцы бьют союзников и находятся всего в 20 километрах от Парижа. В России ими уже взят Козлов, а «правительство» удалилось в Вологду, найдя ее безопаснее Москвы. Если это так, то как бы путь от Тобольска до престола не оказался короче пути от Москвы до Вологды!

21 июня

Выборг полон германскими солдатами. Сейчас только вернулся оттуда. На улицах всюду слышен немецкий говор, везде сереют и зеленеют немецкие мундиры и куцые круглые фуражки. На площадях учатся молодые солдаты — народ все плотный, здоровенный, толсторожий. Судя по ним, нет и речи о каком-либо недоедании в германской армии: любой представитель ее может конкурировать с рождественской свиньей. Финны рядом с ними заморыши. На вокзале устроено немецкое почтовое отделение с надлежащею вывеской и одноглавым орлом. Финляндия, видимо, втянута окончательно в немецкую орби-

ту. Из Выборга поезда идут битком набитые финскими солдатами, стягивающимися к Райянокам; уверяют, будто к 1 июля нового стиля немцы рассчитывают овладеть Петроградом.

3 июня

Предлагают купить наше имение: дают 75 000 марок. Подумали мы с женой и отказались: деньги теперь ничего не стоят, и самим нам деваться пока решительно некуда — везде озверение. Остаемся отсиживаться в своем лесу: он и коровы культурнее теперь городов и людей!

12 июня

Днем сегодня прикатили на велосипедах трое немцев: два унтер-офицера и один рядовой, посланные вперед для приготовления квартир для эшелона, в скором времени выступающего из Выборга по нашему шоссе. Наш дом, конечно, оказался слишком мал, и квартирьеры, посидев у нас на балконе и выпив молока, направились к Гуревичам.

По словам квартирьеров, немцы двинутся недели через две в Райяноки, то есть на границу.

Опять приходится припрятывать в укромные места запасы провизии, так как от пострадавших финнов (мать жены Руднева) знаю, что господа немцы ведут себя здесь, как в завоеванной стране, и без стеснения реквизируют и забирают все, что им надо.

13 июня

Распространились слухи, будто бы в Екатеринбурге матросом убит Николай II, что Москва очищена от большевиков и царем выбран Николай Николаевич.

Из Питера получил первую почту, дошедшую окольными путями через образовавшийся в Питере «Союз защиты русских граждан в Финляндии». Дочь пишет, что за доставку одного письма ко мне с оказией с нее какие-то типы требовали сто пятьдесят рублей.

15 июня

Из Териок по ночам пробираются в Питер и обратно лодки, контрабанду возят оригинальную — письма. За каждое взимается по сорок рублей.

30 июня

Сенокос в разгаре. В деревне тайком толкуют о том, что скоро опять восторжествуют и опять придут сюда красные. Какие-то «старики» видели на днях на небе знамение — два огненных меча, белый и красный, сражавшиеся друг с другом. Красный меч был низвергнут белым, но затем поднялся снова и одолел своего врага.

4 июля

В Питере сильная холера. Политические вести долетают в наши леса самые сумбурные и потому не записываю их. Ясно только одно, что в настоящее время никуда трогаться с места не следует и надо сидеть здесь и выжидать события.

6 июля

В ночь на сегодня ударил мороз, на станции и везде в окрестностях побило картошку. Мы не пострадали, так как огород у нас расположен у самого озера.

13 июля

В стокгольмских газетах помещено извещение о смерти Николая II и о панихиде, имеющей быть в местном кафедральном соборе. Объявление напечатано на русском и шведском языках.

Итак — смерть этого несчастного — правда... Трагическая жизнь его кончилась расстрелом в глуши, под Екатеринбургом. Умер он 3 июля и, как передают, мужественно.

Умирать русские люди умеют; вот если бы жить мы могли выучиться также хорошо!

В Питере нередки случаи смерти от голода. Умер от него литератор Купчинский и даже В. В. Радлов — директор Этнографического музея Академии наук. Думаю, что последний погиб не от голода, а от своих восьмидесяти лет. От холеры ушли на тот свет профессор Карцев и молодой писатель Коковцев.

Из политических новостей любопытна одна: что мирные переговоры между Россией и Финляндией будут происходить в... Берлине.

Из Выборга привезли весть, которой не хочется верить, хотя ныне что не возможно под луной? Будто бы Пименовы, уже давно отбывшие на транспорте в Либаву, до сих пор сидят в ней, самого же Владимира Ивановича вместе со всеми другими пассажирами дееспособного возраста насильно забрали в германскую армию.

17 июля

В прошлый вторник в Выборге в присутствии радовавшейся толпы чухонцев был сброшен с пьедестала памятник Петру Великому. При падении голова статуи откололась, и это вызвало взрыв веселых шуток и криков:

— Будет с тебя, старик!

— Постоял здесь и довольно!

Передала это француженка Рудневых, проведшая более недели в Выборге и только что вернувшаяся оттуда. Передавала с негодованием и крайним раздражением против финнов.

Засилье немцев в Выборге продолжается по-прежнему. На Мурмане дела их обстоят плохо, и потому туда двинули отряд финнов, переодетых в немецкую форму. Часть немцев, ввиду неудач их на западном фронте, спешно отправили из Гельсингфорса на транспорте в Германию.

В Питере опять все смерти: умерли Шляпкин, Патканов и другие.

Капитан Самсонов, бывший старшим адъютантом в штабе 42-го корпуса и почти всю войну безотлучно находившийся в Выборге, самым категорическим образом опроверг записанное мною выше сообщение о зверском убийстве красными «лучших» людей в Выборге. Никого из них красные не распинали, и дело обстояло проще: пленники были засажены в тюрьму, и туда явилась банда красных в сопровождении женщины, хорошо знавшей в лицо арестованных; вывели их в отдельную комнату и там забросали ручными гранатами. Превратив пленников в безобраные куски мяса, красные герои удалились.

До чего чувствуют себя здесь хозяевами немцы, показывает следующее: на днях на базаре они нашли у торговок несвежую рыбу и немедленно отобрали ее, а кто говорит — прихватили достаточно и свежей, уничтожили. Торговок это так раздражило, что они перестали возить на базар рыбу, и Выборг сидит без оной. Для себя рыбу немцы добывают сами, глуша ее в заливе динамитом.

28 июля

По сведениям шведских газет, в Питере усиленно разыскивают и арестовывают офицеров: забрано их до 6000 человек. Слухи добавляют, что две тысячи из них убиты и что все это творится по немецкому рецепту.

Архангельск взят англичанами.

1 августа

Вчера прошли на Питер два бронированных поезда, есть слухи, что он занят немцами и что Петрозаводск уже в руках англичан.

Дела немцев везде, видимо, обстоят плохо, и среди не в меру зазнавшихся финнов проснулась тревога: опасаются, что их друзей погонят и из Мурмана, и из Питера союзники, и война перенесется на финскую территорию.

3 августа

Вчера утром из Перо примчался к нашему постоялому двору велосипедист и, заявив хозяину его, что вблизи в лесу замечены красные и чтобы он брал свою винтовку и бежал на сборное место, понесся дальше, к Невалайнену, у которого теперь как бы штаб местных белых.

Такие охоты у нас уже случались, и я, взяв корзинку, отправился в лес за белыми грибами, которых в этом году урожай необычайный: мы их приносим и сушим сотнями. Не отошел я и полверсты, позади меня загрохотали выстрелы, в числе их ясно различались револьверные — стреляли, значит, по зрячему и совсем близко от моего дома. Я поспешил обратно.

Как выяснилось, в облаве принимали участие белые из разных деревень и, охватив полукольцом часть моего леса и болота, обнаружили и погнали двух каких-то типов по направлению к станции, там их встретила другая цепь загонщиков. Один из красных был пойман, другой скрылся, что чрезвычайно легко, благодаря густоте здешних еловых лесов и бесчисленным огромным скалам и каменным грядам, наполняющим их.

Замечены были красные случайно: кто-то, собирая грибы, наткнулся в лесу на спрятанный в камнях мешок картофеля, а так как вот уже недели две как у нас в деревне началось по ночам воровство его с гряд, то по этой находке выследили виновных и устроили облаву. В ночь на второе число был обокраден, между прочим, и наш огород: повырывали еще не поспевшую брюкву.

Притон этих красных был где-то в моем лесу или около пустующих дач. Холодное же время они переживали, должно быть, в моей старой бане, находящейся у самого озера и совсем укрытой елями. Ею мы зимою не пользовались и даже близко не подходили совершенно, добраться до нее без лыж было немыслимо: снегу на тропке, длиною саженей в сто, наваливает там каждый год чуть не в рост человека.

Весною же, когда все растаяло, жена отправилась туда, и ее встретил сюрприз: пробой замка был выдернут, печь оказалась набитой дровами, в стене торчала воткнутая обугленная лучина, заменявшая свечу, на полу валялись окурки, из веников на полке была устроена постель — и все имело такой вид, точно баня только что была покинута людьми. Топили ее, очевидно, по ночам, чтобы не видно было дыма.

В ночь на сегодня нашими белыми был предпринят обход дальней части моего леса и дач. Лежа в кровати, я слышал несколько выстрелов.

5 августа

В ночь на сегодня выкопали у нас всю картошку на довольно большом участке за сараями. Воров, очевидно, было не один и не два, а значительно большее число. Полагаю, что это выпущенные из острогов сотрудники красных.

Погода стоит все время отвратительнейшая, вот уже месяц, как изо дня в день льют дожди и ливни; высшее показание термометра — 11 градусов.

11 августа

Сегодня по направлению к Петрограду прошло пять поездов с немецкими войсками и артиллерией. Вместе с тем немцы забирают и спешно увозят к себе лучшие орудия, доставшиеся финнам от русских. Ввоз сюда шведских газет немцами воспрещен, так как в них помещены известия о крупных погромах немцев на западном фронте.

В Выборге идет скупка русских кредиток и кредитных бумаг: цена, конечно, печальная: за 100-рублевую ренту, например, дают 60 марок и т. д.

Полдень

Сейчас по шоссе мимо нашего дома направлялся на Выборг большой отряд в несколько сот человек немцев-самокатчиков. Опять скажу: люди все отлично одетые и обутые, сытые и холеные. Один, у которого сломался велосипед, зашел к нам и выпил молока.

По его словам, они идут откуда-то с севера Финляндии в Выборг. Немец попался словоохотливый — рассказал, что он послал жене отсюда «много всякой всячины», в том числе и «несколько катушек ниток», которые покупал в Выборге по три марки за штуку. Видно, и в Германии не красно идет жизнь!

16 августа

Приезжал А. И. Жаворонков, член множества комитетов, вчерашний владелец единственных бань в Выборге, а ныне нечто вроде местного русского консула. Состоял он, между прочим, и членом комиссии по выселению русских из нашей губернии. По его словам, положение дел таково: 1) все бывшие офицеры будут безусловно выдворены; 2) все русские и иностранцы, как владеющие недвижимостями, так и ничего не имеющие, с 1 сентября обязаны представить в двадцатидневный срок особые опросные листы, которые будут затем рассматриваться и обсуждаться сенатом.

— Конечно, это только ширма,— сказал Жаворонков.— Рассматриваться и решаться ваша судьба будет германским генеральным штабом, который распоряжается в Гельсингфорсе, как хочет.

Уезжает в Россию наш архиепископ Серафим: финны потребовали, чтобы он принял их подданство, но Серафим предпочел уехать от этого счастья. Идут недоразумения и с Валаамским монастырем: свободная и либеральная Финляндия нашла, что православный монастырь — вещь для нее неудобоваримая, и хотела закрыть его, но... там кругом живут 40 000 православных карелов; монастырь в конце концов не закрыли, но потребовали перехода в финское подданство от монахов. Те отказались, и конфликт продолжается.

На этих днях всю нашу деревню обходили члены продовольственного комитета, записывали число коров в каждом доме и количество даваемого молока. Затем всем было объявлено, что мы можем оставлять себе лишь по литру молока в день на человека, а остальное обязаны продавать лицам своего района, не имеющим коров, по марке и только по пол-литра на душу. Цена молока между тем теперь 150 и 175 пенни. Сено стоит воз от 300 до 400 марок, и ниже существующих цен брать за молоко нельзя.

Несчастные красные, томящиеся до сих пор в местах заключения, усиленно употребляются немцами на какие-то работы. Вид у проходящих по улицам партий их озлобленный: все исхудалые, оборванные...

По слухам, немецкие принцы, которым поочередно предлагали корону Финляндии, отказались от этого зловещего убора. Вероятно, и до них дошло то, что мы слышим здесь постоянно при беседах с финнами: «Пусть заготавливают побольше королей, дольше чем по одному дню они царствовать не будут!» Любопытна причина предпочтения финнами республиканской формы правления: на вопрос, почему они не желают короля, финны весьма наивно и откровенно отвечают: «Потому что король дороже!», то есть содержание его обойдется дороже содержания президента.

О народ с монетой в пять пенни вместо души!

21 августа

За мое имение предлагали 100 000 марок, но я отказался.

Один из финнов, тайком пробравшийся через границу и приехавший из Лифляндии, рассказывал, что поезд, которым он ехал, несколько раз был остановлен в пути и из него выкидывали и убивали всех пассажиров, сколько-нибудь походивших на «буржуев».

Финны усердно собирают на полях корни одуванчиков и варят из него «кофе». В молотом виде суррогат этот похож на цикорий, по вкусу он, по-моему, лучше ячменного.

8 сентября

Двадцать пятого числа (по новому стилю) ожидается в Гельсингфорсе приезд короля... первого короля Финляндии.

Газеты продолжают травлю русских. Пишут, что, несмотря на все меры, на улицах Гельсингфорса и Выборга по-прежнему слышится русская речь и что необходимо как следует очистить страну от русского «элемента». При этом добавляют, что надо турнуть и украинцев, так как многие русские успели запастись украинскими паспортами.

Настроение среди нашей братии, здешних русских помещиков, по-прежнему тревожное. Пугают всякими слухами и нас с женой, но мы, чая, что головы у финнов разумнее пробки, относимся к слухам спокойно и горячки с продажей имущества и имения не порем. От судьбы не уйдешь — как говорили деды!

Ливни льют ежедневно, не запомню такого гнусного лета и осени, как нынешние! Благодаря дождям болеет картофель, и, невзирая на хороший урожай, к половине зимы останемся без него: лежки он не выдержит.

Уже улетели на юг гуси. Дичи в этом году живется здесь спокойно; кило охотничьего пороха стоит 300 марок, но и по этой цене он почти ненаходим.

20 сентября

В ночь на сегодня ударил порядочный мороз и вся трава побелела от него.

25 сентября

Сегодня продал свое Кемере В. К. Фриску за сто десять тысяч. Пятнадцать лет тому назад это имение свое (в 103 десятины) я приобрел за восемь с половиной тысяч.

Весь день бегал по Выборгу: был в полиции, у шведского и испанского консулов, в банках и т. п.

Разрешение на выезд из Финляндии уже у меня в кармане. Затруднения чинит пока Швеция, не пропускающая русских через свою территорию даже транзитом, шведские консулы отказываются визировать паспорта.

Послезавтра опять еду в Выборг и оттуда — в Гельсингфорс искать приюта для своих коллекций и библиотеки и хлопотать о выезде.

В доме у нас — базар: распаковываю ящики со всякими сервизами, посудой, стеклом, бронзой и т. д.— распродаем их. Укладываю книги. Вчера весь день выкапывали из земли собственные клады: зарыты они были в восьми разных местах, и матушка-земля сохранила все лучше всякого банка.

28 октября

Ездил в Гельсингфорс. Добыл заграничный паспорт и визу испанского консула. Приходится всюду посыпать фотографическими карточками: каждому консулу надо представлять их по три штуки с каждого лица.

В русском консульстве, теперь уже официально находящемся в ведении норвежского, сообщили мне удивительную новость: немецкий главный штаб в Гельсингфорсе открыто вербует русских офицеров для северной армии, предназначенной действовать против петроградских большевиков. База ее — Ревель.

Немецкой военщины полон город. На бульваре, у памятника весьма посредственному национальному поэту Рунебергу, ежедневно, от часу до трех, играет музыка какого-то Вюртембергского полка. Немцы шныряют по городу с предовольными лицами: уцелеть от французско-английских пушек, конечно, всякому лестно!

Везде, во всех учреждениях, где ни приходилось бывать, финны были удивительно любезны и предупредительны. Влияние ли это «нового курса» или близости английского флота — не знаю!

1 ноября

Получил письмо от своего доверенного в Гельсингфорсе. Извещает, что французский консул отказал в визировании моего паспорта. Причины — Ты, Господи, веси!

На шестнадцати возах отправил сегодня на станцию свою библиотеку и коллекции.

13 ноября

Сегодня вернулись из Гельсингфорса жена и дочь. Ездили хлопотать у консулов и распродать кое-какие вещи и меха. Французский консул стребовал с них сто марок на телеграмму в Париж, причем разрешение оттуда не гарантировал. Хуже и наглее всего держатся по отношению к русским в шведском консульстве: там с русскими просто-напросто не желают разговаривать. Наших русских дожидалось беседы с консулом — гибель, и возмущались все обращением с ними — чрезвычайно.

Была жена и в украинском консульстве: у этих вот уже две недели как готов к отправке пароход, но его не отпускают, так как на Украине очень неспокойно: немцы уходят, оставленными ими местностями завладевают большевики, и начинаются безобразия. По слухам от беженцев, в Питере опять было избиение офицеров, и цифру погибших называют очень большую — в несколько сот человек.

20 ноября

После нескольких слегка морозных дней сегодня льет дождь. Сижу безвыходно дома и привожу в порядок груды своих дневников.

1 декабря

Был Фриск и сообщил, что третьего дня к нему приезжал Юденич — бывший кавказский главнокомандующий. За последние две недели, по выражению Фриска, у него перебывало 12 «видных» русских, бежавших из Питера и пробирающихся дальше. В Стокгольме сидит генерал Трепов и «организует русскую интеллигенцию», так как западные державы якобы твердо решили сломить большевизм в России. Юденич со своими спутниками проехал самым спокойным образом в поезде по фальшивым документам.

Всего два дня как выпал снежок. Озеро наше замерзло и расстилается широким белым простором. За ним кругом чернеют сплошные леса. Выйдешь на этот простор — и как далеки, как мелки и не нужны кажутся все белые и красные погони за величием и все людские дела-делишки!

6 декабря

Стоят темные дни и ночи, идут и темные, тревожные вести: большевики перешли границу и, пользуясь отсутствием немцев, двинулись на Выборг. С раннего утра сегодня с горы слышны беспрерывно ревущие где-то на юге пушки.

Находимся в положении, худшем приволжских помещиков во времена Пугачева: выехать некуда, так как в городах нет ни квартир, ни съестных продуктов, и бросать, может быть, зря все это имеющееся здесь — нельзя, оставаться же — опасно: все знают, что имение и много вещей нами продано, и деньгами от нас можно попользоваться. Как на грех к тому же стоит ненастная погода. Леса полны жидкою снеговою кашей, валит снег и дождь, распутица полная.

7 декабря

Сегодня поднялись еще до света. Вера пешком отправилась на станцию узнать, действительно ли большевики находятся уже в девяти километрах от Усикирки, а я с женой принялись за укладку временно оставленного здесь нами имущества. В час дня дочь вернулась обратно. Слухи оказались верными только приблизительно: большевики действительно сунулись опять на Усикирку со стороны моря, но и эта попытка их выйти в тыл финским войскам не удалась, и они прогнаны обратно.

От Усикирки до нас всего три четверти часа езды по железной дороге.

31 декабря

Мытарствам нашим пришел конец! Вчера я вернулся из Гельсингфорса с заграничным паспортом и всякими визами в кармане. Отказала «временно» только Франция, но мы обойдемся и без нее, так как поедем через Швецию и Норвегию на Лондон: согласие этих стран уже имею.

Выезжаем в Стокгольм 25 января по новому стилю, через Гельсингфорс — Або.

Еще двенадцать дней, и Финляндия останется для нас где-то за морем, в тумане!..

Василий Маклаков

Власть и общественность на закате старой России

Воспоминания

Старшие

Мое детство и юность протекли в глазной больнице, типичной для старой Москвы и России. Кто ее не знал? Не нужно было говорить извозчику ее адреса. Долгое время она была единственной для Москвы и заменяла университетскую клинику, пока в 90-х годах не возник на частные средства клинический городок на Девичьем.

Больница была в свое время создана тоже на частные деньги. Знаменитый богач александровской эпохи Мамонов пожертвовал на устройство больницы площадь в самом центре Москвы. Она занимала целый квартал между Тверской, Мамоновским, Благовещенским и Трехпрудным переулком. Часть земли от Трехпрудного переулка была позднее отчуждена; но и без нее владение было громадно. Соседний с нею участок тот же Мамонов пожертвовал Благовещенской церкви. На него выходили больничные окна. Помню войну между церковью и больницей. Церковная земля оставалась проходным пустырем с Тверской на Благовещенский переулок. Но к своим правам церковь относилась ревниво. Священник запрещал открывать больничные окна и тем более вылезать через них на церковную землю. Часть окон нашей квартиры выходили сюда. Из шалости мы, дети, это делали. Священник грозил наши окна заделать. При нас происходили совещания доморощенных адвокатов: имеем ли мы право окна отворять, а священник имеет ли право их заделать? Никто этого точно не знал. Священник кончил тем, что насадил ряд тополей перед самыми окнами, чтобы закрыть от нас свет. Все это характерно для времени, когда богатств было так много, что использовать их не умели, но из-за них все-таки ссорились: когда никто не знал границ собственных прав, не умел их защищать и сражался домашними средствами.

На больничной земле стояло несколько зданий; но большая часть земли оставалась под двором и садами. Сад тянулся от самого Мамоновского переулка до Благовещенского. Посреди зданий был большой двор, с часовней для покойников в центре. Кругом часовни было так много земли, что на дворе, как на ипподроме, можно было проезжать лошадей. А больничный священник, отец Георгий Соловьев, так любил конское дело, что сам этим занимался, к соблазну больных.

Земельное владение больницы представляло позднее колоссальную ценность, но в старое время стоило мало. Как в первобытном государстве предпочитали платить служилым людям землёй, а не деньгами, так во время Мамонова глазную больницу было легче снабдить ненужной землей, чем капиталами. Земля долго лежала втуне, в ожидании спроса, и ее можно было использовать только натурой. Весь персонал больницы, с высших до низших, имел в ней квартиры. В помещениях не было недостатка. Смешно было бы говорить о жилплощади. Мы сами были примером. Мой отец поступил в больницу еще холостым. По мере того, как росла наша семья — а нас было восемь человек детей,— увеличивали нашу квартиру в разные стороны, проламывали стены, новые помещения присоединяли к прежней квартире, из кладовых под сводами делали комнаты; кроме фасада

на Тверскую, мы получили фасад еще на церковную землю. Места в больнице было достаточно еще для многих новых квартир. Оставались, кроме того, кладовые, подвалы, склады, в которых ничего не помещалось. Целый этаж был отведен под номера больных, которые не хотели лежать в общих палатах. Этих номеров было так много, что большая часть их оставалась пустыми; во время перестроек и заразных болезней нас туда переводили.

Позднее, когда земля стала дороже, стало ясно, что если главное здание на Тверской обратить в доходный дом, то можно было бы на месте ненужного сада и двора построить великолепную больницу по последнему слову науки. Но такой план превышал энергию распорядителей, а может быть, противоречил традициям, как план Лопахина в «Вишневом саду» разбить имение под дачи. Больница дожила до революции в том виде, в каком я ее помню с самого детства, с садами, допотопными постройками, с глубокими сводами, с толстыми стенами, которых нельзя было бы прошибить шестидюймовыми пушками, с широчайшими лестницами, но зато без центрального отопления, с печами, топившимися дровами, для которых был устроен целый дровяной склад в центре владения; долго у нас не было проведенной воды и канализации. Помещались мы на главной улице города. Мимо наших окон весной тянулись роскошные выезды на катанье в Петровский парк; тут проходили коронационные шествия. Каждую весну здесь шли с музыкой и барабанным боем войска на Ходынку, а летом с 6-ти часов утра по Тверской начиналось мычанье коров и свирель пастуха. Это московское стадо шло на заставу.

Характер «доброго старого времени» лежал и на системе управления нашей больницей. В 95-м году умер отец. Тогда мы из больницы уехали, и я в нее больше не заходил. Но до 95 года все было без перемен и везде сидели те же самые люди. Они все были типичны.

Председателем совета, главного органа больницы, был глубокий старик, знаменитый в Москве своей старостью Г. В. Грудев. За эту старость ему оказывали почет. При приездах в Москву Александр III его отличал, как московского «патриарха». Он свои годы скрывал. Сначала признавал 84 года и на них много лет оставался. Позднее стал молодиться и перешел на 70 лет. Из его послужного списка знали, однако, что на государственную службу он поступил при императрице Екатерине II. В котором году и сколько лет, сведений не было; а в те годы на службу записывали иногда новорожденных. Но с Грудевым, по-видимому, это было не так; об этом он сам уморительно пробалтывался. Раз у нас за завтраком, вспоминая старые годы, он рассказал, как оказался примешан к делу декабристов. Он к ночи вышел на Сенатскую площадь и по просьбе кого-то из раненых дал ему булку. Тотчас он был арестован. Его расспрашивали, кто он такой, чем занимается и зачем давал хлеб мятежнику. Грудев с наивностью объяснил, что Евангелие велит голодающих накормить. Через несколько недель ему объявили, что справки о нем благоприятны, что его заявления подтвердились и что он может идти. Но отпустили его с головомойкой: «Как Вам не стыдно,— сказал ему председатель,— в этом бунте участвуют только мальчишки; Вы же пожилой человек, и Вы с ними спутались». Итак, в 25 году Грудев уже был пожилым человеком.

Александр III при приеме его как-то спросил, помнит ли он 12-й год; Грудев ответил: «Как же, ваше величество? Ведь это недавно. Как вчерашний день помню». Это не мешало ему в 90-х годах утверждать, что ему только 70 лет. Для своих лет он хорошо сохранился. У него были все волосы, без признаков плеши, только белые, как выпавший снег; все лицо было в мелких морщинах. Он горбился, ходил, опираясь на палку. Жевал губами, когда молчал, и чавкал, когда говорил. Он на моей памяти заболел воспалением легких. Все ждали конца. Но он оправился и всех своих товари-

щей пережил. Умер он после 1905 года, когда я уже не жил в Москве.

Каким я его помню в самые детские годы, таким он оставался и позже; может быть, немножко больше сгибался и более глох. Несмотря на старость, общественную службу он продолжал, оставался гласным Думы и губернского земства. На собрания ездил всегда, сидел до конца и нередко принимал участие в прениях. Но память и слух ему изменили. Он говорил не по вопросу, часто по делу, давно уже решенному. Из уважения к его старости ему не мешали. Даже такой резкий человек, как московский городской голова Н. А. Алексеев, когда Грудев во время чьей-либо речи подымался со стула, делал знак оратору, вполголоса говоря: «подождите»,— и делал вид, что Грудева слушает.

Когда он садился — продолжал прежнее заседание. До конца своих дней Грудев был страстный садовод. Он жил в особом флигеле больницы, выходившем в Благовещенский переулок, со своим особым садом, отрезанным от главного села в его единоличное распоряжение. В этот сад никого не пускали; сам он им очень гордился и занимался разведением разных новых цветов. Быть допущенным в этот сад было знаком особого расположения.

При Грудеве в качестве хозяйки жила его племянница С. В. Якимова, седая старушка, уже за 70 лет. По привычке она считала себя около дяди маленькой девочкой. Она иначе не называла себя в письмах и разговорах, как племянницей Грудева. Она дошла до того, что на визитных карточках заказала этот титул. Старый М. П. Щепкин, острый на язык, получив подобную карточку, при случае послал ей свою, на которой выгравировал «крестный сын покойного Голохвастого». Она насмешки не поняла и пришла к нам спрашивать: какой это был Голохвастов?

Конечно, все это трогательно. Но характерно для старины, что человек, который очевидно уже делать ничего не мог, стоял во главе такого живого и нужного дела, как единственная глазная больница Москвы. Иллюстрация того, что высшее начальство было часто в России простой декорацией, а для дела было не нужно. Это же освещает и тогдашние нравы. Никого не соблазняло, что Грудев несет ответственный пост; наоборот, все бы нашли неприличным его за старостью лет удалить. Занимать это место было его «приобретенным правом», которого нельзя было отнять. Государственная служба не была служением делу.

Для столетнего старца закон мог быть неписан, но Грудев исключением не был. Если он явно для всех был «декорацией», то подобным же начальником больницы, заведовавшим ее хозяйственной частью, был другой «генерал», Г. И. Керцелли. Толстый, с шарообразной головой, с круглыми глазами, плоским черепом, покрытым прилизанными седыми волосами, с короткими баками на трясущихся толстых щеках и пробритой дорожкой от рта по подбородку, он был главной фигурой больницы. Все утро сидел в «канцелярии», за большим зеленым столом и читал то «Московские», то «Полицейские» ведомости. Их читал он всегда, но, кроме них, вероятно, ничего не читал. Не знаю, где он получил образование; когда он пытался произносить иностранные слова, то даже мы — дети — смеялись. Он был чиновник николаевской службы, действительный статский советник, чем очень гордился. Когда он получил орден, который по статуту сопровождался письмом за подписью государя, он отслужил молебен по этому поводу и ходил всем подпись показывал.

Низшим служащим больницы он внушал почтительный страх. Говорил всегда и со всеми таким голосом, как будто за что-то отчитывал. Простейшие разговоры его были обстоятельны и скучны, как служебный доклад. Даже когда он рассказывал смешные вещи, никогда не могло быть смешно. Впрочем, важность его была внешняя. По существу, он был добряком, и в домашней обстановке все трунили над ним и его генеральской манерой. Его в шутку звали не Гаврил Иванович, а Рыло Иванович. Как настоящий

старый чииовиик, к своему начальству он был почтнтелеи, одобрял все, что оио бы нн делало. Я говорил, как ои радовался, что в Манифесте 29 апреля конституции ие было; если бы была коиституцня, ои и от нее пришел бы в восторг. Внешие ои был представнтелеи. Был церковиым старостой больиичной церкви, подпевал певчим, а по торжествеииым дням в вицмундире и с ордеиами иа шее, подтягивая толстый живот и нзвиваясь всем стаиом, с любезной улыбкой обходил с тарелкой молящихся. Он служил еще в страховом обществе и всегда рассказывал о страховых делах, хотя это ин для кого ие было нитересно. Его досуги пополиялн карты, к которым он относился серьезио, как к службе, отчитывая партиеров за неудачные ходы. Такова была главиая персоиа в больиице. Но ин чтение «Ведомостей» в канцелярни, нн генеральский чнн и иаружность, ии почтнтельиость к высшим, ни грозные окрикн на ннзших иедостаточны, чтобы управлять сложиым делом. И Керцелли тоже был декорацией меиьшего калнбра, чем Грудев.

В старнну всем распоряжались маленькие, иезаметные люди. «Россней управляют столоиачальннки»,— говорнл сам Николай I. В больннце главиым работником был ее экоиом Алексей Ильнч Лебедев. К нему обращались за всякой надобиостью. Он был общим повереииым н нсполнтелем. Ни в чем иикому ие отказывал, иа все иаходил время и какне-то ходы и связи. Человек простой, нечнновный, он приходил к главным лицам больиицы не в гости, а только по делу. Но на ием все держалось. Чтобы ии случилось, я всегда слышал фразу: «Надо сказать Алексею Ильнчу». Небольшой, тщедушный человек, веселый, иеунывающий, он ие показывал внда, что свое положенне поинмает, ио все управлеиие шло через иего.

Когда я был уже студентом, я с инм ближе сошелся. Он был страстный охотиик, хотя охотился редко, а стрелял совсем плохо. В мннуты откровеииостн он мне показывал, что отличио понимает недостатки больиицы н ее управлення; понимал и то, что сам мог бы иа этом иаживаться вполне безопасно. Но ои был человек честиый и в то же время иетребовательиый; состояиия он себе ие приобрел н за иим не гнался. Но только благодаря ему машииа ие останавливалась. Но, конечно, ие ему было делать в больннце нововведення, ломать заведенные порядкн. Все шло по натоpеииым издавиа путям. На этом держался консерватнзм того времеии и иерасположеиие к иовшествам. Рутиииая жизиь была еще совершенно возможиа в то время.

У него был иезаменимый помощник, без которого так же трудио было себе представить больиицу, как вообще «генеральскую» Россию без щедрннского «мужнка». Это был больиичный швейцар В. М. Морев — ннколаевский солдат, с четырьмя крестами и медалями иа георгневских лентах. Кресты ои получил за Венгерскую кампаиию 48 года н за Севастополь. Удивнтельные типы создавало то жестокое время! Морев был горд, что прожил всю жнзнь солдатом при Николае; иа новых солдат смотрел не без презрення: «что онн понимают!» Ему было уже тогда много лет, ио он казался мощиой фигурой, полной здоровья н сил, с поредевшнмн, ио ие седыми волосами, с большими усамн н достойиым, представительным видом. Как его хватало на все?

О меньшей братии тогда мало заботилнсь. Не было нн американских ключей, ин электрических проводов; иадо было ему самому открывать входиую дверь. Ои ие ложился спать, пока все домой не возвратились. Мне случалось в студеичестве возвращаться под утро, и звоиком я его подымал с деревяниой скамьи, иа которой ои прикориул. Еслн я был последннй, ои при мне уходил к себе спать. Сколько раз я пытался с иим сговориться, завести себе второй ключ. Ои не хотел слышать про это: «Что вы, помнлуйте, я тут сплю отлнчно; а на мие вся больинца». Действнтельно, двери иашей квартнры в швейцарскую не запирались, и теперь я не поимаю, почему мы не были дочиста обворованы н спалн спокойно с охраиой одиого только Морева.

Ежедиевное ночное дежурство ие мешало Мореву раньше всех утром подияться.

Если кому-либо надо было рано вставать, то достаточно было попросить Морева вовремя разбудить; он не проспит и не забудет. Все наперебой давали ему поручения, далеко выходившие за пределы его обязанностей. Не было случая, чтобы он от чего-нибудь отказался или чего-нибудь не умел. Когда его спросишь: «Можешь ли это сделать?» — он презрительно отвечал: «Николаевский солдат да не может?» И он все умел: портняжничал, сапожничал, столярничал, клеил и т. д. Когда я поступил в гимназию и в первый раз шел на урок, Морев внимательно осмотрел мою обмундировку, многого не одобрил и переделал. Переменил ремни на ранце, в незаметных местах шинели вшил лоскутки с фамилией, чтобы пальто не подменили. Он повсюду искал сам работы; не мог оставаться без дела. А в праздничные дни, когда больничная церковь наполнялась московским beau monde'ом *, он с искусством, без номерков, умел всех запомнить, узнать и подать каждому его шубу.

Ребенком я расспрашивал Морева про войну; допытывался, случалось ли ему убивать человека? Он вспоминал неохотно и от прямого ответа отвиливал: «Лучше не спрашивайте». Зато рассказывал про дисциплину, про строгости; описывал, как наказывали шпицрутенами; но вспоминал все без озлобления. «Много нас учили, но зато уже и научили. Где вы найдете человека, как николаевский солдат? Разве теперешние в четыре года могут чему-нибудь научиться?»

Привычка к дисциплине в него въелась очень глубоко. Он был счастлив титуловать Керцелли «превосходительством», и его генеральская манера его только радовала. Когда мой отец был сделан действительным статским советником и Морев стал титуловать его «превосходительством», то на возражение отца он обиделся: «Что вы, помилуйте, я ли порядков не знаю?»

По должности Морев был только швейцаром, как Алексей Ильич экономом. Но фактически он был начальником над всем низшим персоналом больницы. Его все уважали, да и боялись. Он был настоящий унтер-офицер над солдатами. Он разносил, ругал, может быть, бил; еще больше стыдил всех примером. Но он никогда ни на кого не пожаловался. Это было бы для него унизительно — признать неумение справиться; это было и не по-товарищески. Он раз пенял при мне на своего помощника. Я сказал: «Что ты не расскажешь Алексею Ильичу?» — «Что вы, разве на маленького человека можно жалиться?»

Конец Морева вышел трагичный. С ним жила жена, худенькая, маленькая старушка, перед ним трепетавшая, не называвшая его иначе как Василий Михайлович и Вы. У них было двое детей, сын и дочь, которых он образовал и вывел в люди. Он остался с женой одни; но когда его жена умерла, старик этого не пережил и с горя запил запоем. Было больно смотреть, как он ходил с красным опухшим лицом, без всякого повода плакал, все забывал и путал, но не хотел уступать своего дела другим. Ему дали отпуск, поместили в больницу, лечили. Но все было напрасно. Пришлось его рассчитать; он где-то сам лечился и вылечился. Через несколько месяцев вернулся здоровый, его опять взяли на место. Он отслужил торжественный молебен, удвоил усердие; но болезнь не прошла. Он снова запил, и — что хуже — из карманов шуб стали пропадать разные мелочи. Он снова и уже навсегда ушел из больницы; не знаю, как и где кончил. Это был, конечно, уже вымирающий тип прежнего времени, как старые крепостные или дворовые. В 80-х годах они еще были. И там, где они сохранялись, на них все держалось. Это было символом старой России.

Я говорил про управление хозяйственной частью больницы; но оставалась еще ее врачебная часть. В 60-х годах в этом отношении произошло, как везде, крупное

---

* высший свет (*фр.*).

преобразование: весь устаревший персонал был обновлен. Но новое вино скоро разложилось в старых мехах.

Главным врачом был профессор университета Густав Иванович Браун. Почтенный старик, с толстой шеей, красным лицом, седой подстриженной бородой и с золотыми очками, покрывавшими добрые, голубые глаза. Он держал себя совсем стариком, ходил медленной походкой, кряхтел и гримасничал, когда вставал или садился. Он мало работал в больнице, полагаясь во всем на других. Ежедневно заходил в приемную на короткое время и тотчас уходил, извиняясь, что у него «неотложное дело». Это он повторял каждый день. Все это заранее знали, но этот ненужный декорум он соблюдал ежедневно; свои занятия в больнице он ограничивал чтением лекций. Было странно подумать, что когда-то он приехал в Москву молодым ученым, подававшим надежды, полным сил и энергии: был учителем почти всех московских офтальмологов. Постепенно он успокоился, изменился, растолстел, перестал работать и нес службу, не волнуясь и не кипятясь, чтобы не портить здоровья. Он равнодушно смотрел, как больница отставала, противился всякому нововведению: «Знаете ли что,— отвечал он на все предложения,— мы лучше подождем».

В 90-х годах стали строить клиники на Девичьем поле. От Брауна зависело устройство глазной клиники. Но он ею не интересовался. Не отстаивал кредитов на нее, не следил за архитектором, со всеми урезками соглашался, не собираясь использовать этого случая, чтобы создать больницу современного типа. Он, впрочем, понял, что с его стороны это нехорошо, и передал заботы о клинике моему отцу, который по его плану должен был заменить его в профессуре. Он этот план выполнил, хлопотал о назначении отца на свое место, а пока поручил ему следить за устройством клиники. Сам же этим он интересовался так мало, что, насколько помню, не был даже на торжестве открытия клиники не из-за недоброжелательства, а просто по лени. Браун был честный, хороший, культурный немец, который обруссл, приспособился к медлительным темпам русской жизни и не любил зря волноваться и беспокоиться. Он никому не делал зла и неприятностей, но и не видел надобности не только тянуть служебную лямку, а и стараться приносить ею пользу. Сам он был богат, имел в Москве несколько доходных домов, в больнице занимал большой особняк по Мамоновскому переулку, с большим, ему отведенным, садом, и хвастался тем, что «экономен». Любил играть в карты, но непременно по маленькой, ходил каждый вечер ужинать в английский клуб, выбирая самые дешевые блюда. В нем было много комичного. Как обрусевший немец, был горячим русским патриотом и из патриотизма всегда во всем соглашался с правительством. Говорил с резким немецким акцентом, употреблял мягкое немецкое «х» вместо «г», считал себя большим знатоком русского языка и немилосердно перевирал поговорки. Много его изречений перешло в юмористическую литературу. Это он говорил: «пуганая ворона дует на молоко» или «наплюй в колодец, после будешь воду пить», «не стоит выеденного гроша», «у нищего сумму отнял» и т. д.

По наивности он позволял себе выходки, о которых потом все говорили. Как-то в присутствии посторонних гостей он все вздыхал; его спросили, что с ним? Он ответил: «Эх, нехорош-с; Юлинька с рук нейдут-с».

Юлинька была его старшая дочь, которая, несмотря на отличное приданое, не находила себе жениха. Это свое семейное огорчение Браун счел нужным публично всем сообщить. Другой раз у него в кабинете играли в карты. Его лакей пришел его о чем-то спросить втихомолку. Тугой на ухо Браун не расслышал; он попросил гостей замолчать. Лакей продолжал шептать на ухо, но Браун все не понимал. «Господа,— сказал он,— выйте-ка минуточку, мне нужно Ивану два слова сказать». Никто не обиделся; это было чистым Брауном. Он первый отпраздновал свой юбилей, но товарищей своих пережил; он умер, когда я уже не жил в больнице.

Во время моей жизни в больнице я был слишком молод, чтобы о ней судить; помню, что мой отец досадовал на невозможность добиться в ней улучшений, на то, что его товарищи всегда находили причину все оставить по-старому. У моего отца была повышенная склонность ко всяким техническим новшествам: в том отношении он мог быть пристрастен. Но, вспоминая фигуры хозяев больницы, я сознаю, что они могли жить только по старым традициям. Если они с делом справлялись, то потому, что патриархальный быт, привязанность к старому и низкий жизненный уровень были в нравах русского общества. Конкуренция, необходимость приспособляться к общественному мнению были только в зародыше. Всем казалось естественно, что во главе хозяйства стоят ничего не делающие тайные советники, а что вся работа лежит на маленьком экономе. Никого не коробило, что старик Морев один работал за десятерых. Это казалось столь же нормальным, как то, что больница своих богатств не использовала, что у нее в самом центре города были сады, стены, напоминавшие крепость, готические своды, громадные кладовые и в то же время никаких современных удобств. Больница не была исключением; этот уровень жизни, ее медлительный темп, благодушная уверенность, что иначе невозможно, и отсутствие необходимости переходить к более совершенным, а потому и трудным методам общежития были общим явлением 80-х годов. Для такого порядка жизни годилось и самодержавие.

Перемена жизни России произошла не от политической пропаганды, а от простого роста населения, от улучшения техники, осложнения экономической жизни, с которыми самодержавие справиться не сумело, как не сумела позднее наша больница справиться с появившейся конкуренцией. Но учреждения против нравов запаздывают и приходят с ними в конфликт. Однажды, кажется в «Русском курьере», появилось юмористическое описание приема в нашей больнице за подписью барона Икс. Оно было шаржем не вполне справедливым. Но оно возмутило наше начальство: «Как посмели так писать о государственном учреждении?» Хотели ехать жаловаться генерал-губернатору. К счастью, от этого удержали. Одна из черт патриархального быта состояла в том, что обществу критиковать не полагалось; его дело было благодарить за заботы о нем. Эта черта у всякого начальства была общая с самодержавием.

А нельзя не сказать, что тогда считалось нормальным многое, что сейчас бы казалось чудовищным. В больнице была домовая церковь; и в эту больничную церковь не пускали больных. Они могли присутствовать только на хорах да приоткрывали двери в соседние палаты, и туда могла издали доноситься церковная служба. Самую же больничную церковь наше начальство превратило в светскую домовую церковь для избранного московского общества. Приходившие сюда знатные люди не из чего не могли бы догадаться, что находились в больнице. Разве в Великую Пятницу и в Пасхальную ночь, когда крестный ход проходил по больничным палатам, откуда больных удаляли, то по отодвинутым к стене кроватям и надписям можно было понять, что это были палаты больных. Больные же удалялись еще дальше, благо помещений было много, и на крестный ход могли смотреть только через щелку двери. В церкви же публика была отобранная, аристократическая, не рисковавшая тем, что окажется рядом с простолюдином. И Керцелли с сдержанным восторгом в лице встречал высокопоставленных лиц, приказывал подавать им стулья по рангу и благодарил за посещение. Никому в то время не казалось скандальным, что церковь в больнице считали не местом утешения для слепнущих и слепых, а модною церковью для высшего общества. Не было протестов не только со стороны этого высшего общества, которое могло бы понимать, что оно делает, но и со стороны самих больных, печати и т. д. Прежние нравы не были все унесены горячкой 60-х годов и еще сидели в душе. Не исчезло разделение на белую и черную кость.

Помню и другие проявления этого. Огромный больничный сад был разделен на три

частн, из которых две лучшие н большие были отведены Грудеву и Брауну; для больиых оставалась только средняя часть, меиьше другнх. В этой части были построены летние бараки н туда переводились на лето больиые; сад был так велнк, что и эта часть для больиых тесна не была; но сравиеине с великолепиым н большим садом, куда больных не пускали, должно было бы их возмущать. Когда я был студеитом, я об этом заговорил с Керцеллн. Он весело рассмеялся, видя в этом с моей стороны ребячество, для моего возраста извиннтельиое.

Эти иеснмпатичные черты «барства» были только оборотиой стороной того навеки исчезнувшего прошлого, которое доживало последиие днн в 80-х годах. Юность наблюдает не только отцов, но н дедов, н прадедов. Мы, поколение девяностых годов, поминм ие только шестндесятииков, нашнх отцов. Мы застали еще иекоторые красочные фигуры людей сороковых и даже тридцатых годов. В иаши зрелые годы онн нсчезлн со сцены, ио тогда на иих был еще особеииый колорит уже нам непонятиого временн.

Помню, иапример, старого человека, который у иас часто бывал; приезжал даже в деревию спецнально собирать грибы. Мы, детн, называли его обезьяиой. Он был страшного, дикого вида, с всегда растрепанной шевелюрой, строгими глазамн, которые смотрелн на иас поверх золотых очков, иахмуренными бровями, седыми волосамн, растущимн иа щеках, иа горле и нз ушей, с резким голосом, так что казалось, что ои со всемн браинтся, н ежемииутнымн вспышками раскатнстого хохота. Все обращались с ним с особым почтеиием, а он всех всегда разноснл, ие объясняя причины. Нам нравнлось, что от иего так попадает и старшим. Я поннтересовался узиать, почему ему все позволяют? Мне объясиилн, что это главиый доктор Москвы. Такой ответ был понятен, но я удивился, почему же тогда нас лечат ие у него? Это был ие главиый доктор, хотя он был врачебным инспектором *. Это был зиаменитый Н. Х. Кетчер. Поздиее в нашей библиотеке я иашел на полках много неразрезаииых томов перевода Шекспира, подписанных фамилией Кетчера. То, что он иаписал столько книг, его в моих глазах подияло. Но я ие поннмал, зачем он переводнт, а ие напишет чегоннбудь сам. За разъясиеннем этого недоразумения я к нему обратнлся. Ои загрохотал своих хохотом: «А ты думал, что я напншу лучше Шекспира?» На свой перевод он положил много труда, но, насколько помию, перевод ннкуда ие годился. П. Шумахер написал про него четверостншие:

Вот еще светило мира,
Кетчер, друг шипучих внн.
Перепер он нам Шекспира
На язык родных осин.

Кетчер любил выпить, особенио шампанского. Тогда он много рассказывал, как всегда, крнчал и хохотал. Эти рассказы про стариину в то время меия ие иитересовали. Как бы я хотел их послушать позднее!

Помию другого старика, чьн стихи сейчас я цитировал,— Шумахера. Долго мы его зиалн только по имени Петр Васильевич. Толстый, обрюзгший, с русой головой, еле подериутой серебром иа висках, без прнзнака лысиины, без бороды, с мешками под глазами, вечио страдавший подагрой. Он приходил очень часто и всегда оставался подолгу; пока старшне были заияты, он молча сндел н курил янтариую трубку, с иеобыкновеииым нскусством пуская дым кольцами; то читал какую-иибудь киижку, то разговаривал с иамн, детьми. Ои нам рассказывал иитересные и иеожидаииые вещн то про Снбирь, про места, где ииkто еще не жил, где зверн и птицы человека совсем не боялись. Рассказывал, как одиажды дикий олень подошел со спииы так тихо, что он не заметил, пока ие почувствовал его дыхаиия уже на шее; в то время ои был золотопромышлеиником

* Это было тоже для Москвы характерно. Какая связь осталась у него с медицниой? Но он был Кетчер, н его из почтення посадили на место, где он, конечно, был нн к чему.

и искал золотых россыпей в диких местах. То рассказывал, как служил при генерал-губернаторе Милорадовиче и как тот, подписывая подорожные, делал густой росчерк, бросая тут же перо (конечно, гусиное), а он должен был это перо подымать и обстригать. Это был недостаточно оцененный и еще менее себя сам ценивший поэт П. В. Шумахер. Никто как следует не знал его прошлого. Об нем можно было только догадаться по отдельным его рассказам: так, знали, что он был когда-то богатейшим золотопромышленником, а в какое-то другое время — маленьким чинушей при генерал-губернаторе, и на нем был отпечаток старины. Как-то, еще не будучи гимназистом, я должен был вместе с ним поехать в наше имение. Я нашел его на вокзале беспомощно сидящим, с багажом на скамейке. Он не сдал багажа и не взял билета. Я все это сделал. Он стал хвалить новое поколение, удивляться, как это мы умеем сами все делать? «А нас как воспитывали,— говорил он,— ездили мы с целой ротой слуг, ничего сами не знали. Нам и подорожную пропишут, и смотрителя запугают, и лошадей достанут; зато теперь мы ничего и не умеем». В мое время он был разорен и жил гостеприимством друзей. Для него делали литературно-музыкальные вечера, где выступали лучшие артисты. Там я слышал еще совсем молодую М. Н. Ермолову; на них приезжал И. Ф. Горбунов, которого мне только там удалось услыхать. Но прежнее гостеприимство становилось не по карману. В последние годы П. В. Шумахера поместили в странноприимный дом Шереметьева, дали ему синекуру — должность библиотекаря с жалованьем. Он получил доступ к книгам и был бесконечно доволен. Там он и умер. После его смерти я узнал не без изумления, что этот типично «русский» человек был лютеранином и потому погребен на Введенских горах.

Он был на редкость начитанным и образованным человеком; говорил на всех языках, много бывал за границей; был знаком с массой интересных людей (у него не прекращалась переписка с Тургеневым). Но когда я его знал, он жил московской жизнью, ничем не занимался; первую половину дня сидел дома в халате, а на вторую собирался к кому-нибудь из знакомых и до ночи пил с друзьями вино, потешая каламбурами и остротами. Он был несравненно интересней и выше своей обычной среды и в ней опускался; он это хорошо сознавал, но к этому был равнодушен. По природе он был наделен редким юмором; вся манера его говорить серьезно, как бы вдумчиво, медленными фразами, из которых вдруг выскакивала неожиданная шутка, была для него характерна. Как-то у него болел палец; отец нашел, что нужно прижечь ляписом. «А у вас ляпис есть?» — осведомился он с интересом. «Есть»,— и отец открыл шкап. «В таком случае не надо»,— ответил Шумахер. Когда кто-либо передавал какой-либо слух или сплетню «из достоверных источников», Шумахер делал серьезное лицо и обстоятельно спрашивал: «А кто при этом был?» Все его рассказы о прошлом заставляли смеяться; во всем он любил и умел подмечать комический элемент.

Поклонник старины П. С. Шереметьев после его смерти издал книжку о нем и напечатал кое-что из его сочинений; и при жизни его была выпущена тоненькая брошюрка его стихов под заглавием «Шутки последних лет». Там были перлы остроумия, которые грех забыть русской литературе; она, впрочем, до революции их и не забывала; забыт был только автор. «Записки русского туриста», «Не то», «Немецкая любовь», «Матушка Москва» часто читались на вечерах без упоминания автора. И это было ничтожной каплей того, что он вообще написал. Когда он проводил у нас лето в деревне, проходил редкий день, чтобы он по какому-либо поводу не написал шуточного стихотворения. Все это забывалось, выбрасывалось и терялось. Своих богатств мы не берегли. Кое-что оставалось в памяти, но забывалось. Так мне вспоминается одна его пародия на фетовское «Шепот, робкое дыханье». Привожу ее потому, что, кажется, она напечатана не была.

Незабудка на поле,
Камень-бирюза,
Цвет небес в Неаполе,
Любушки глаза.
Моря андалузского
Блеск, лазурь, сапфир —
И жандарма русского
Голубой мундир.

Была другая причина, почему после Шумахера мало осталось. Редко стихотворение его было печатано. Мне говорил Шереметьев, что это очень ему мешало, когда он издавал свою книгу. Но было бы ошибочно думать, что у Шумахера был особенный вкус к непечатной литературе; это просто больше подходило к атмосфере шуток и смеха, в которую он себя умышленно ставил, чтобы не быть меланхоликом. Напротив, он был тонким ценителем серьезной, даже классической литературы. Когда я перешел в 3-й класс гимназии и стал учиться греческому языку, он мне подарил редкое издание Илиады и Одиссеи 17 века в пергаментном переплете. На первой странице написал посвящение гекзаметром.

С детства до старости лет на мишуру все глядели
Слабые очи мои, лучших не видеть красот.
Милостив к юноше Зевс, даровав ему высшее зренье
И указав ему путь в область нетленной красы.
Васе Маклакову на память от старого хрена.

Эта книга хранилась в нашей деревенской библиотеке. Ее сначала национализировали, а потом превратили в «народную» библиотеку. Можно представить, насколько эта книга там оказалась полезной.

Шумахер был бы оригинален повсюду. Жизнь его прошла через колебания большей амплитуды. Но он был все же типичен для России, и особенно для Москвы старого времени; когда жили не торопясь, не толкаясь; когда «с забавой охотно мешали дела»; когда люди вроде Чацкого попадали в сумасшедшие, в чем Грибоедов пророчески провидел судьбу Чаадаева; когда и время, и деньги, и таланты тратились без счета. Но в эти годы медленно уже шло молекулярное перерождение организма России. Исчезли типы покорных крепостных и дворовых паразитов, исчезали гостеприимные ленивые баре, появлялись nouvelles couches sociales *; прежняя лень, благодушие и щедрость становились уже никому не по карману, жить становилось труднее и сложнее, уклад жизни требовал новых государственных приемов, которых не умело дать самодержавие. Все это настало позднее. 80-е годы еще были «зарей вечерней» прежней России.

Конечно, детские наблюдения односторонни; не я свою среду выбирал. Один мир был мне всегда чужд: это мир представителей власти, кроме опальных. Но в детские годы случайно мне пришлось немного прожить и в этом мире; он был того же стиля.

Я был в третьем классе гимназии, когда одна из моих сестер заболела дифтеритом. Детей из дому выселили. Я возвращался из гимназии, когда Морев меня домой не впустил и сообщил, что мы, трое братьев, переселены в дом московского губернатора и что я, не заглядывая домой, туда должен идти. По дороге в гимназию я ежедневно ходил мимо этого дома с внушительным подъездом, с стеклянной дверью, за которой внутри был всегда виден жандарм. Я отправился туда не без смущения. Мы прожили там до лета. Этот губернаторский дом был тогда уголком той же патриархальной Москвы 80-х годов. Губернатором был

* Новые социальные слои (*фр.*).

В. С. Перфильев, женатый на Прасковье Федоровне Толстой, дочери знаменитого «американца» Федора Ивановича Толстого, о котором писали и Грибоедов, и Пушкин.

Великолепный портрет этого Ф. И. Толстого с интересным и своеобразным лицом висел у них в гостиной. Перфильевы были одни (женатый их сын жил отдельно) и взяли на себя заботу приютить трех мальчиков, из которых старшему, т. е. мне, было 12 лет. У них был целый свободный этаж (по-русски третий), куда нас и поместили, приставив на уход к нам одного из курьеров. Сам губернатор, Василий Степанович, видный старик с красным лицом, хриплым голосом и одышкой, с длинными седыми баками, был одним из представителей высшего света, отличной фамилии, принадлежащей по рождению к верхам русского общества. Он был из типа администраторов, которых Л. Толстой вывел в лице Стивы Облонского. Я не раз слыхал, что он имел в виду и его. Прасковья Федоровна была родственницей Льва Николаевича; и в первый раз в жизни я встретил Л. Толстого именно у Перфильевых. Он пришел туда в блузе, с легавой собакой, и меня удивляло, что так плохо одетый человек был на «ты» с губернатором. Стива Облонский к старости, когда он бы уже разжирел, когда не мог бы ни охотиться, ни увлекаться, вероятно, был бы таким, как Перфильев. Как Стива Облонский, Перфильев не хлопотал о карьере; по родству и связям с тогдашним правящим миром он не мог остаться без должности. Мало того, он мог ею и хорошо управлять. Потому что, как объяснял Толстой в «Анне Карениной», он был совершенно равнодушен к делу, которым занимался, и, следовательно, не мог бы ни увлечься, ни зарваться, ни наделать ошибок. А личная его порядочность, воспитанность и дружелюбное отношение ко всем сдерживали ненужное усердие его подчиненных. Позднее, когда жизнь осложнялась, этих качеств для администратора достаточно уже не было. Перфильев и не подошел к этому позднейшему времени, когда стало необходимо показывать непреклонность и нетерпимость. В его же время власть была еще настолько неоспоримой силой, что могла не быть ни высокомерной, ни жестокой. В то доброе старое время для успеха по службе не нужно было создавать себе «направления». Направление считалось принадлежностью parvenu, и оно для Перфильева не было нужно. Все это Толстой отметил в разговоре Серпуховского с Вронским. Перфильев мог не бояться ни знакомства, ни дружб с людьми, которые были на дурном счету в Петербурге, и за эту нетерпимость над Петербургом смеялся. Таков был не один Перфильев, но и все наши власти: и знаменитый московский генерал-губернатор, князь В. А. Долгоруков, и обер-полицмейстер А. А. Козлов, и другие, которых я встречал у Перфильевых. Административная машина работала настолько правильно, что в переделках и не нуждалась. Все могло идти, как шло прежде.

Этот тон высшего начальства усваивался и подчиненными. Правителем канцелярии у Перфильева был тогда В. К. Истомин, позднее управлявший канцелярией великого князя Сергея Александровича и ставший опорой реакционной агрессивной политики. У Перфильева он был, как и все, обходительным и добрым человеком, который никому не мог показаться грозой. Поскольку я мог наблюдать и понимать свои наблюдения, труд губернатора тогда не был головоломным. Помню по утрам многочисленных просителей в громадном приемном зале и чиновников в вицмундирах, которые принимали их со строгими лицами. В этих строгих чиновниках мне было бы трудно узнать вечерних партнеров в карты Перфильева. Иногда меня посылали звать его к завтраку; я заставал его за бумагами, которые он подписывал, не читая. На мое любопытство, как он может так делать, он объяснял едва ли с полной искренностью, что он их все уже раньше прочел. Иногда в окно, выходившее на лестницу, ведущую к нам, в третий этаж, я видал заседания присутствий под его председательством; оживленные споры; говор и хохот, что мало вязалось с детским представлением о государственном деле. После обеда, по-тогдашнему в 6 часов, у Перфильева был только один вопрос: где он будет играть. Без карт по вечерам его себе представить было нельзя. Он либо шел через улицу в английский клуб, или играл у себя со своими чиновниками. Через несколько лет Перфильев, как-то бывши на ревизии, неожиданно приехал к нам

в имение. Несмотря на прекрасную погоду, после ужина был поставлен карточный стол и из кого-то составили партию, хотя в это время сам отец никогда не играл. Без карт Перфильеву нечем было бы время занять.

А в молодые годы Перфильев, говорят, был живым, веселым и остроумным; великолепно танцевал и, как говорили, вообще был повесой. Его жена рассказывала, что однажды он проиграл даме, за которой ухаживал, пари à discretion *; она в насмешку потребовала, чтобы он съел сырую мышь, и он это сделал, но был огорчен тем, что она после этого из брезгливости танцевать с ним не стала. Из прежних талантов его у него сохранился один: он умел виртуозно расшифровывать шифр. Стоило вместо букв написать ему короткую фразу условными знаками, он тотчас ее разбирал. Когда я в первый раз, по совету его жены, подал ему такую записку, он обрадовался, что мог тряхнуть стариной. В несколько минут ее разобрал, несмотря на ошибку, которую он тут же заметил. Так русская барская жизнь того круга, который тогда правил Россией, формировала симпатичные типы добрых людей, которые вертели колеса налаженной административной машины без оживления и одушевления, не требуя от других низкопоклонничества и себя не роняя угодничеством. Консервативные по темпераменту, эти администраторы не приходили в озлобление ни от либеральных людей, ни идей и их не считали опасными. Это были администраторы мирного, не боевого времени. Позднее, при начавшейся борьбе общества с властью, они оказались негодными, ушли сами или их заставили постепенно уйти. Началось иное время, разделение всего общества на два лагеря, и стали почитать тех, кто умел и любил воевать.

Несколько слов о жене губернатора, Прасковье Федоровне. У нее было сестра Сарра, портрет которой я видел у них в гостиной. Эта сестра была замечательной красавицей, любимицей отца, и из недомолвок я догадывался, что она погибла рано какой-то трагической смертью. Сама же Прасковья Федоровна была образованной, светской, воспитанной, но ничем не замечательной и очень некрасивой женщиной. Ей было скучно жить; ни принимать, ни выезжать она не любила. Ее досуг наполняли собачка Кинг-Чарлез, обезьяна Уистити и вечное раскладывание пасьянсов. Мы, чужие дети, явились для нее не столько заботой, сколько неожиданным развлечением. Она усердно каждый вечер обучала нас светским манерам. У меня к этому способностей не оказалось; но брат Николай, будущий министр, это любил, многому у нее научился, и она его за это очень ценила. У нее было привычное в старой высшей аристократии благожелательное отношение к низшим. Представители этого круга были так уверены в прочности своего положения, что низших не боялись и могли позволять себе роскошь благожелательства. Жестокое отношение к ним могло возмущать, как возмущает жестокость к животным. Таков был и ее грозный отец, Американец Толстой. На это она любила указывать. Молодой девушкой она однажды с ним каталась верхом; они встретили 80-летнего старика, с которым ее отец разговаривал. Она уронила платок и сказала старику: «Пожалуйста, подымите платок». Ее отец сказал ей: „Vous aurez bien pu le faire vous même“ ** — и незаметно пребольно хлестнул ее хлыстом по руке. Впрочем, такое уважение к старости, вероятно, не мешало Американцу Толстому непослушных засекать на конюшне.

Так в 80-х годах нам еще приходилось видать представителей отошедшей в вечность эпохи дореформенной России. Но они исчезали из государственного аппарата и из общества одновременно с богатыми усадьбами, особняками, властным поземельным дворянством и скромным именитым купечеством. На смену им шли новые типы удачливой, предприимчивой, знавшей цену себе «демократии», которых звали тогда разночинцами. Обострялась борьба за существование, в политике возникали «вопросы», о которых не снилось благодушным представителям старых патриархальных властей.

* ...условия которого устанавливает выигравший (*фр.*).
** С таким же успехом Вы можете это сделать сами (*фр.*).

Конечно, среди общества были люди, которые понимали, что происходит, и мечтали сдвинуть политику в новую сторону еще тогда, когда «освободительное движение» не начиналось. Сравнивая этих людей с позднейшей эпохой, я не могу не отметить одной их особенности. Они не только не сводили всего к борьбе с самодержавием, не считали, что уничтожение его есть предварительное условие всякого улучшения. Они часто предпочитали самодержавие конституционному строю.

В 80-х годах людей с подобными взглядами не нужно было искать только среди реакции; их можно было видеть повсюду, среди разнообразных партий и направлений. Я для иллюстрации приведу два примера совершенно различных формаций.

Возьмем среду славянофильства. Помню, с каким безусловным осуждением конституционалисты к ним относились. Они разоблачали славянофильство с не меньшей страстностью, с какой коммунисты долго клеймили социал-демократов. Социал-демократов коммунисты обвиняли за «соглашательство» с буржуазией. Славянофилов винили тогда за преданность самодержавию. Но и самодержавие относилось к славянофильству не лучше, чем конституционалисты. «Приятие» самодержавия не мешало славянофилам его политику обличать. Этого самодержавие им не прощало. Так было при Николае I, так было и позже. Александр III при вступлении на престол мог сказать А. Тютчевой несколько лестных слов по адресу статей ее мужа, И. С. Аксакова, но его политике он не последовал. А вдохновителей реакции славянофильская критика того времени била больнее, чем конституционные аргументы; точно так, как для коммунистов обличения социал-демократов теперь чувствительней, чем негодование легитимистов.

Вспоминая позицию славянофилов в эпоху восьмидесятых годов, я не могу признать, чтобы нападки на них были ими заслужены. Стремление славянофилов исправить самодержавие могло быть полезно. Сужу так потому, что в мои юные годы мне пришлось близко знать одного незаурядного славянофила, Павла Дмитриевича Голохвастова.

Он был нашим ближайшим соседом по имению и местным мировым судьей. Был сыном того Д. П. Голохвастова, близкого родственника А. И. Герцена, который при Николае I был попечителем московского учебного округа и о личности которого Герцен в «Былом и думах» сообщил много ядовитого. Голохвастов жил в Покровском, одном из дворянских гнезд Московской губернии, где не раз гостил Герцен. После смерти П. Д. Голохвастова это имение было куплено С. Т. Морозовым. Он отремонтировал его на современный лад, с проведением воды, электричества и телефона. К слову сказать, тот же С. Морозов купил и полностью уничтожил знаменитый дом И. С. Аксакова на Спиридоновке с громадным садом, в котором в самом центре Москвы можно было слушать весной соловьев. На месте этого дома был построен особняк-замок Морозова; старый сад был вырублен, вычищен и превращен в английский парк. Так символически прежнее родовое дворянство уступало место разбогатевшей буржуазии. В деревне Савва Морозов был менее радикален; он сохранил старый каменный дом и только пристроил к нему новое здание, более современного стиля. Во всем хозяйстве появился порядок. С крестьянами было произведено размежевание, восстановлены настоящие границы владений; все окопано канавами и обнесено межевыми столбами; закрыты самовольные дорожки через барскую землю; проселки везде заменились шоссейной дорогой, на канавах и речках поставлены мосты из железа, болота осушены, сторожки лесных сторожей превращены в каменные дома с железными крышами; словом, везде проступало цивилизующее могущество капитала. Прежний запущенный сад был приведен в образцовый вид, и только в качестве реликвии сохранена часть старого каменного забора в одном углу этого сада.

С этого забора, по просьбе Ф. Родичева, я снял фотографию для общества имени Герцена; забор видал еще Герцен. Голохвастовы свято чтили память своего отца; у него была известная слабость к рысистым лошадям; его гордостью был знаменитый Бычок, о котором вспоминает и Герцен. Подлинное стойло Бычка с такой памятной надписью, которую мож-

но сейчас увидать на домах, где жили и умерли великие люди,— сохранялось Голохвастовыми до самой их смерти. На месте этой конюшни Морозов построил другую, образцовую, с последним словом комфорта, о котором в свое время не снилось Бычку. П. Д. Голохвастов жил в своем родовом имении со своим братом Д. Д. Голохвастовым, предводителем и деятелем эпохи Александра II, общепризнанным лучшим оратором этого времени, сказавшим когда-то на московском дворянском собрании нашумевшую речь вольного, хотя и чисто дворянского содержания, за что был по высочайшему повелению лишен предводительства и выслан в деревню. Об удивительном красноречии этого человека я потом слыхал от Л. Н. Толстого. В то время, которое я помню, он был уже руиной, разбитым параличом и совершенно глухим. Его возили на коляске и с ним разговаривали лишь по запискам. Он прошел мимо моего наблюдения. Зато его брата П. Д. я помню отлично, и он был сам интересной фигурой.

Широко образованный по понятиям того времени, говоривший свободно на четырех языках, исколесивший все европейские страны, по внешности и манерам он представлял истинный тип европейца. Он и в деревне ходил не иначе как в европейском костюме, с крахмальным воротничком, охотно разговаривал на иностранных наречиях, был знатоком французских вин и курил только дорогие сигары. Со всем тем он был одним из могикан славянофильства. Он изъездил Европу только затем, чтобы прийти к заключению, что Россия выше всего. Это предпочтение сказывалось во всех мелочах. У него была удивительная память на тексты, и на стихи, и на прозу. Он любил говорить о превосходстве русской литературы, цитировать на память баллады Шиллера, а потом их же в переводе Жуковского и тонко доказывал, насколько перевод выше подлинника. Он всегда с радостью отмечал всякое русское преимущество. Он рассказывал, как ездил к Герцену объясняться за несправедливость, которую тот допустил в оценке его отца, Д. П. Голохвастова. Он уверял, будто Герцен это признал и перед ним извинился. Но, рассказывая об их разговоре, он с особенным удовольствием передавал, как, увлеченный воспоминаниями о России, Герцен сказал: «Вот вам крест» — и уже начал крестное знамение, но, поймав себя на таком несовременном жесте и выражении, улыбнулся и, протянув ему руку, окончил: «Вот вам моя рука: если бы я мог знать наверное, что, вернувшись в Россию, буду сослан в Сибирь, но смогу пережить время ссылки и вернуться в Россию живым, даю вам слово, что тотчас бы вернулся». Голохвастов много занимался русской историей, писал ряд монографий. У него была полемика с В. О. Ключевским о древнерусском «кормлении». Голохвастов доказывал, что термин «кормление» происходит не от слова «кормиться»; мысль, будто верховная власть посылала чиновников «кормиться» от населения, ему казалась кощунством над русскою стариной. Термин «кормление» он выводил от корня «корма», «кормчий», это значило — управление. Власть посылала не «кормиться», а «управлять». В полемике с Голохвастовым Ключевский был очень резок по его адресу. Судьба их свела потом в нашем доме; не знаю, была ли встреча приятна обоим, но они скоро разговорились, увлеклись и заспорили. Целый вечер препирались о значении слова «бобыль». Но Голохвастов не только занимался историей. Однажды он чуть не сделал большого политического дела в России. Я мальчиком присутствовал при его рассказе о несостоявшемся Земском соборе 82 г., который был затеян министром внутренних дел гр. Игнатьевым, за что он и должен был выйти в отставку. По словам Голохвастова, идея Земского собора принадлежала ему. Я был тогда слишком мал, чтобы понять интерес этого рассказа. Но не раз его вспоминал, когда в оглашенных в последнее время документах стал встречать упоминания о роли П. Голохвастова в этой попытке.

Восстанавливая в памяти фигуру этого Голохвастова, я не могу его зачислить в разряды ретроградов. Этот взгляд был бы слишком упрощен. В 82 г. Голохвастов чуть не устроил Земского собора в России; он постоянно негодовал на стеснения совести, слова и печати; был по религиозным мотивам непримиримым противником смертной казни. При добрых

личных отношениях с правящими сферами, в частности с Победоносцевым, он возмущался их политической линией, считая, что она губит монархию. Он вообще стоял за личность и за свободу. Как славянофил, он не был противником общины, но возмущался той властью, которую государство в своих интересах дало сельскому обществу над отдельными членами, негодовал на «проклятую» круговую поруку. Он беспощадно клеймил крестьянских «ростовщиков» и «кабатчиков», настаивал на лишении их всяких избирательных прав, как представителей, может быть, необходимого, но «нечестного» занятия, которое можно терпеть, но не оправдывать; но горячо защищал зажиточных крестьян, по большевистской терминологии, кулаков, достигших достатка честным трудом; я помню, как он возмущался уничтожением мирового суда и как горько пенял на Александра III, которого считал не волевым, не сильным, а только упрямым. Припоминаю его отзыв о реформе 89 г., о земских начальниках. Его утешала только вера в благородство русской души, которую не надо смешивать с модной âme slave. * В Европе, говорил он, земские начальники просто восстановили бы крепостное право; у нас они будут стараться принести посильную пользу крестьянам, но принесут только вред. Многие взгляды Голохвастова сближали его с либерализмом; но горячо порицая политику Александра III, Голохвастов оставался убежденным сторонником самодержавия. Он считал конституционный порядок гибелью для России и началом развращения общества. Он осуждал русских либералов, самых честных представителей вроде Арсеньева, Стасюлевича. «Вестник Европы», с его европейскими взглядами, был, по его выражению, только помоями, которые с корабля выливают в море. Это — грязь, но грязь лишь наносная, под нею чистое народное море, которое этой грязью не замутить.

Когда я был студентом, мне часто приходилось разговаривать с Голохвастовым; и уже тогда я становился в тупик перед вопросом, куда его отнести: к «реакции» или к «прогрессу»? Правда, он был поклонником самодержавия, и это казалось большим недостатком; но самодержавию он поклонялся лишь потому, что одно самодержавие, по его мнению, было способно служить народу «действенно» и «бескорыстно». Такой мотив с Голохвастовым примирял. К тому же Голохвастов не принимал самодержавия без самоуправления. Он любил напоминать, что и местное самоуправление, и общерусский Земский собор впервые расцвели именно при таком идеалисте самодержавия, каким был Иван Грозный. Голохвастов мистически верил, что глас народа — глас божий, и потому верил в Земский собор. Земский собор, по его мнению, ошибаться не мог. Он как-то прочел свое сочинение (не знаю, было ли оно напечатано) о соборе 1598 года, который избрал Годунова на царство. Голохвастов держался на Годунова отброшенных теперь наукой взглядов. Он считал избрание недостойного Годунова ошибкой, но не мог допустить, чтобы Земский собор смог ошибиться. И потому он пришел к парадоксальному выводу, будто Земский собор был подтасован, что его не было вовсе, а что только потом, по позднейшим образцам от имени собора написали подложную грамоту. Все это Голохвастов доказывал кропотливым изучением текста грамоты и состава собора. Но признавая, что глас народа — глас божий, Голохвастов не считал гласом народа простое мнение его большинства. В этой замене одного понятия совершенно другим, в раболепном преклонении перед принципом большинства, т. е. перед цифрой, он видел всю зловредную «ложь конституции». Из погони за числом голосов развивается политический разврат нашего времени, необходимость партий, партийной дисциплины, обязательной партийной лжи и т. п. Царь не может идти против народа, думал Голохвастов. Перед его единодушием он всегда преклонится. Отличием Земского собора от парламента должно было быть требование единогласия; только оно для царя обязательно. Но если единогласия нет, нет и голоса народа; есть только отдельные мнения. Из них — и это отличие от liberum veto **— царь по разуму и совести свободен выбирать

* Славянской душой (*фр.*).
** Свободное вето (*лат.*).

то, которое считает полезнее. В этом и состоит истинное дело царя: быть арбитром; такой способ решения разномыслия разумнее, чем механический подсчет голосов.

Вот чему верил Голохвастов; пусть это идиллия, над которой «умные» люди позднее смеялись. Это не мешает тому, что в критической части славянофильства были верные мысли. Их идеал был сам по себе беспощадным обличением нашего полицейского самодержавия, при котором в стране не могло образоваться ни общенародного голоса, ни даже отдельных мнений. Учение славянофилов в сравнении с тем, что было в России, вело Россию вперед, не назад. А что касается до их критики конституционного строя, то восстание против принципа большинства, как ultima ratio * для разрешения спора, против замены «разума» голосующих «партийной дисциплиной» указывало на действительно слабые стороны народоправства. Эти стороны, может быть, его неизбежное зло, но все-таки зло, которого нет смысла скрывать.

Но с славянофильством можно было не церемониться; с момента своего возникновения оно встречало насмешки. Наконец, оно не было народным движением, не выходило за пределы верхушки интеллигенции. Среди общественных настроений оно могло считаться quantité negligeable **. Но возьмем другое течение, более популярное в толще демократической интеллигенции, вышучивать которое решился только агрессивный юный марксизм: это — народничество. А это течение при всей ненависти к режиму, который установился в России, тоже не видело единственного спасения в конституции. По этому поводу я хочу вспомнить об одном москвиче, Л. В. Любенкове, о котором молодое поколение не знает и никогда не узнает. Любенков в «историю» не перешел; он болезненно боялся всякой рекламы; нельзя было бы представить себе его сообщающим журналистам о том, как он «живет и работает»; он убежал бы от попытки устроить ему какое-либо публичное юбилейное чествование. Лишь когда он был разбит параличом и в городской думе был поставлен вопрос о назначении ему пенсии, его имя и перечень его заслуг перед городом попали в печать. Можно было тогда увидеть и редкое зрелище, как на исключительном уважении к Любенкову сошлись все решительно гласные. Он скоро скончался, и никто пышных некрологов ему не посвятил. Но москвичи, особенно судьи, его не забудут. Если можно делить всех людей на честолюбцев (спортсменов) и праведников, Любенков был праведником общественной деятельности. Сам он оставался в тени, выдвигал вперед молодых, уклонялся от ответственных должностей, но по моральному авторитету был вождем и учителем. При нем становилось стыдно «мелких помыслов и мелких страстей». Наблюдая его, я понимал влияние тех людей, кого народная память называла «святыми».

Любенков был состоятельным тульским помещиком Богородицкого уезда, гласным губернского земства и бессменным мировым судьей Пречистенского участка в Москве. На службе земству и мировому суду прошла вся его долгая жизнь. В Гранатном переулке у него был маленький домик, с большим садом, смежным с садом Саввы Морозова по Спиридоновке. Сад давал ему иллюзию жизни в деревне. Это было только последовательно, так как в нем самом не было ничего городского. Когда часов в 5 он пешком возвращался из камеры, он снимал европейский костюм, облекаясь в поддевку, из которой уже не вылезал. Он никогда не выезжал, но его дом был всегда полон народу. К обеду приходили незваные; все проходили через кухню, с черного хода. Если раздавался звонок с парадного подъезда, в доме подымался переполох; это значило — чужие, непривычные гости. Тогда бежали зажигать лампы в передней. Старики уходили встречать гостей, наглухо запирали двери туда, где оставалась одна молодежь, и возвращались потом с облегченным вздохом: беда миновала.

Этот непритязательный, скромный старик был иллюстрацией поговорки, что человек

* Последний, решающий довод (*лат.*).
** Незначительное количество (*фр.*).

красит место. Там, где он был и работал, он становился немедленно авторитетом и центром. В земстве он был председателем редакционной комиссии; и эта комиссия стала инстанцией, которая направляла всю земскую жизнь. В Москве он по средам сидел в составе мирового судейского съезда; и в этот состав съезда тотчас ради него стали направляться все сложнейшие съездовые дела. В Любенкове ценили не только тонкий юридический ум, но и исключительную независимость совести; его нельзя было бы поймать ни на какую уловку. Он стал идеалом мирового судьи; своим обаянием создал школу и был непререкаемым авторитетом в спорных вопросах.

Отношение Любенкова к людям было интересно сравнить с голохвастовским. Тот, образованный европеец, тоже предпочитал всему русского человека; но даже мне, мальчику, было понятно, что это потому, что в русском человека он видит свой идеал, свое сочинение. Любенков же любил свой народ, каким он действительно был; он его не идеализировал, но зато и не способен был бы его разлюбить за недостатки. У него, как у мирового судьи, было обширное поле для наблюдения, и он был мастером наблюдать и рассказывать. Эти рассказы всегда дышали непоколебимым доброжелательством к русскому человеку во всех его проявлениях. Он умел отыскивать залог хорошего в самом дурном, а законную досаду смягчать добродушной усмешкой. Он одинаково беззлобно подтрунивал и над бестолковостью некультурных людей, и над горделивой претензией самодовольного «барина». Он понимал, что нравы сильнее законов, что надо себя долго воспитывать, чтобы отделаться от старых привычек. Несмотря на встряску шестидесятых годов, в людях еще сохранялись прежние следы и «рабства», и «барства»; они то и дело вылезали наружу в причудливых формах. К этим чертам Любенков относился без озлобления, так как они были естественны, но и без снисхождения: они мешали России двигаться дальше. Постепенно победить эти пережитки в себе и других казалось ему главной задачей. Этого он достиг в своем доме; в нем установилась особая атмосфера, которую редко где можно было встретить.

Любенкова коробило все показное; коробил и показной демократизм. Он счел бы проявлением «барства» демонстративную подачу министром руки швейцару, в чем в первые дни революции видели символ прогресса. Но Любенков был тем естественным демократом, который не мог ни в чем ни проявить сословного предрассудка, ни задеть чужого достоинства. В его доме все были равны. Прислуга чувствовала себя домочадцами; по привычке говорила «ты» молодым господам, а подруг дочери безразлично величала «красавицами». Никого в доме не шокировало и не удивляло, когда прислуга принимала участие в разговоре господ.

Любопытно было отношение Любенкова к молодому поколению. У него было два сына и дочь, и дом был всегда полон их друзьями и гостями. У стариков был культ молодежи; не тот лицемерный и льстивый культ, который можно наблюдать в Советской России, где молодежь сознательно развращают, чтобы иметь ее на своей стороне. Любенков был убежден, что молодое поколение и лучше и умнее, чем он, что надо только ему не мешать, не стараться переделывать его на свой образец. Он по-стариковски сразу начинал говорить всем нам «ты», но никогда ничем не старался нам импонировать. Когда между нами происходили споры, он выходил незаметно из-за двери послушать, но в спор не вступал. Изредка с извинениями, что он, старик, себе позволил вмешаться, говорил свое мнение и поскорее уходил, повторяя: «Где мне с вами спорить!» Сверстники Любенкова говорили, что он был превосходным оратором; нам этого таланта видеть не приходилось: с нами он только разговаривал, при этом как бы всегда извиняясь перед нами своей добродушной улыбкой. Только случайно он как будто забудется, голос его станет строгим, отрывистым, даже властным, и мы видели, как он мог и спорить, и бороться, когда спорить хотел.

Старик Любенков, его дети, их близкие друзья и товарищи были по направлению тем, что в широком смысле называлось «народничеством». Целью их жизни было служить народу. Один его сын был, как и отец, мировым судьей, другой — земским врачом; дочь была

фельдшерицей и вышла замуж за земского доктора. Раньше у них был большой кружок сверстников, который поставил задачей: всем идти на земскую службу, заполонить целый уезд на разных постах — медиками, учителями, агрономами и т. п. Они так и сделали; захватили почти целиком в свои руки Богородицкий уезд Тульской губернии. Другие в других губерниях и уездах, но делали одно и то же дело: служили народу по земству. Эта служба казалась им самой полезной и самой главной; все остальное в свое время придет.

Любенковы сошли со сцены, и кружок их распался еще до «освободительного движения». Трудно предвидеть, как бы этот кружок отнесся к увлечениям того времени. Но в то время, когда я его помню, лозунг «долой самодержавие» его не захватил бы; он нашел бы этот лозунг слишком упрощенным, книжным, не народным, словом, «барским» и «интеллигентским». В этом отношении кружок Любенковых был не моего поколения.

Сам старик помнил шестидесятые годы и сохранил культ к Александру II. В Туле ставили памятник этому государю, и Любенков был приглашен на торжество. Уклониться он не хотел, но рассчитывал остаться в тени. Этого ему не удалось, губернатор Зиновьев его спровоцировал. Официальную речь свою он неожиданно кончил словами: «А о том, что сделал Александр II, пусть вам расскажет тот, кто лучше всех зто сможет: Лев Владимирович Любенков». Отказаться было нельзя, и Любенков заговорил. Эту речь он нам передавал; другие рассказали о произведенном ею впечатлении. Выходя на трибуну, Любенков не знал, что он скажет. Но памятник Александру II, воздвигнутый в эпоху реакции, его воодушевил. Как он говорил, что-то сдавило ему горло, и он начал сразу повышенным тоном, указывая на бюст Александра II: «Великая тень великого прошлого встала перед нами — смотрите!» Последовала вдохновенная импровизация, которая вышла цельной потому, что все ее мысли были давно глубоко продуманы. Этому прошло столько времени, что в памяти моей сохранился только общий план речи и отдельные фразы. Любенков превозносил Александра II за то, что он обновил русскую жизнь «идеями» свободы и самоуправления. Он противопоставлял «идеям» то, что из них «на практике» получилось. Александр II был изображен как настоящий идеалист, ученик идеалиста Жуковского. Любенков картинно изображал его реформаторскую деятельность. «Он дал народу свободу»,— говорил Любенков. «Но как управлять им, Ваше Величество?» — с удивлением спрашивали его приближенные. И Александр отвечал: «Пусть управляется сам» — и создал сельское и волостное самоуправление, волостные суды. Потом по тому же образцу, уже для всех, создал бессословное земство, университетскую автономию, судебную независимость. Наконец, он понес свободу и за границу: освободил славян на Балканах. И на прежний вопрос, как ими управлять, сказал те же слова: «Пусть управляются сами» — и дал им конституцию. Любенков кончал выводом: «Все, что было великого в шестидесятых годах, все великие идеи были провозглашены им, Александром II; а в том, что из зтого вышло, виноваты только мы сами». Пусть этой юбилейной речью Александр II поставлен на высоту, им не заслуженную. Но величие идей шестидесятых годов и идейный упадок позднейшей политики были им изображены так убедительно, что сам губернатор со слезами в голосе повторял заключительные слова: «Да, мы, мы виноваты».

Такого культа Александра II молодое поколение, собиравшееся у Любенковых, уже не знало. Но от мысли, что просвещенный абсолютизм не сказал своего последнего слова, оно не отказывалось. Конечно, самоуправление оставалось его главной верой. Сельский сход, крестьянская община, которая еще не потеряла своего обаяния, в представлении людей зтого настроения были неприкосновенны; следующим зтапом, который народу надлежало пройти, было всесословное земство. Сфера местных непосредственных интересов была народу доступна, и в ней он мог быть хозяином. Но зато сразу сделать народ вершителем судеб своего государства значило оказать народу плохую услугу, отдать его в руки демагогии; самодержавие еще должно было на общее благо сплачивать самоуправляющийся народный мир в государство, не деля своей верховной власти с «барским» парламентом.

Эти «демократические» настроения, которые не были враждебны самодержавию, в кружке Любенковых сохранялись долго. Помню споры после злополучной речи Николая II о «бессмысленных мечтаниях». Ею все возмущались; возмущались и тем, что молодой император сказал это старым людям, которые приехали для поздравления. Но сын Любенкова, убежденный народник, земский врач Владимир Львович, выступил с другой точкой зрения. Он прочел доклад, около которого и завязались страстные прения. «Если дело в невежливой фразе,— говорил Владимир Львович,— этой «шаркунской» оценки оспаривать я не буду. Я просто с ней не считаюсь. Когда речь идет о таком гигантском принципе, как самодержавие, рассматривать его с точки зрения «светских манер» смешно». Но спор, по существу, за самодержавие Любенков готов был принять. И такой спор мог происходить в 95 г., и защиту самодержавия мог брать на себя человек такой исключительной искренности, каким был молодой Любенков! Еще удивительней, что в данном вопросе старик Любенков поддерживал позицию сына. Через 40 лет я не помню всех доводов этого мнения, но основной тенденции их не забыл. Тогдашнего полицейского самодержавия, конечно, никто не защищал, но, чтобы задачей было не исправление самодержавия, а введение «конституции», с этим Любенковы не соглашались. Конституционная практика Запада в восторг их не приводила; они указывали в ней те же недостатки, что и славянофилы. В неподготовленной, некультурной России государственное самоуправление, по их мнению, было бы самообманом. Они предсказывали при конституции образование класса профессиональных политиков, у которого заботы о благе народа переродятся в тактику «уловления» голосов; всеобщее избирательное право превратится в подделку под народную волю; разум и «совесть» народных представителей сменятся подчинением новым деспотам — партиям, их случайному большинству и безответственным руководителям и т. д.

Вот какие мысли еще имели право гражданства в 90-х годах. Не говорю о тех течениях мысли, которые, предваряя современную моду, уже тогда смеялись над «парламентским кретинизмом» и «либерализмом» и предпочитали им якобинские диктатуры, что сближало их против их воли и с фашизмом, и с самодержавием. Могу сделать один общий вывод: в 90-х годах конституция панацеей еще не считалась; самодержавие не было для всех общим и главным врагом, как это сделалось позже.

Если позже оставались еще сторонники самодержавия, то его «идеалисты» уже исчезали. За самодержавие стояли тогда или пассивные поклонники всякого факта, или представители привилегированных классов, которые понимали, что самодержавие их охраняет. Эта перемена настроения произошла на нашей памяти и на наших глазах.

Александр Кизеветтер

Из воспоминаний восьмидесятника

1

Москва

В 1884 году (сорок лет тому назад) я окончил Оренбургскую гимназию и направился в Москву для поступления на историко-филологический факультет Московского университета. Ближайшим университетским городом к Оренбургу была Казань, и большинство воспитанников Оренбургской гимназии по окончании гимназического курса поступало в Казанский университет. Но меня неудержимо влекла к себе Москва. Уже в средних классах гимназии я принял твердое решение посвятить себя изучению русской истории, и к Москве меня притягивало, словно магнит, имя Ключевского, тогда только что прогремевшее в связи с его блестящим докторским диспутом, на котором он защищал диссертацию: «Боярская дума Древней Руси». Появившиеся в газетах подробные описания этого диспута (в «Голосе» о диспуте написал целый фельетон М. М. Ковалевский) я читал с замиранием сердца и, словно арестант в каземате, отсчитывал месяцы, недели и дни в ожидании того вожделенного момента, когда можно будет, наконец, выпорхнуть из оренбургского степного захолустья в эту заманчивую Москву, которая рисовалась мне в моих мечтах лучезарным центром кипучей умственной работы.

И вот — мечта претворилась в действительность. В середине лета 1884 года я очутился в Москве, на Мясницкой, в номерах «Швейцария». На первых порах Мясницкая меня ошеломила. Мне показалось, что я попал в какое-то вавилонское столпотворение. Непрерывный грохот экипажей, бесчисленное количество торопливо снующих по разным направлениям людей, столбы, обклеенные саженными плакатами со всевозможными объявлениями, резкие звонки омнибусов — все это дурманило меня, привыкшего к сонной тишине провинциального медвежьего угла. И сердце билось радостно. Какой-то новый, неведомый мир, полный движения и красок, готов был раскрыться перед моими взорами. Было такое чувство, словно я из тихого затончика выбежал на легком челноке в необозримое открытое море, и уже было предчувствие, что это море сулит мне и радости и бури.

Разумеется, я прежде всего сбегал в университет и подал прошение о зачислении меня в студенты историко-филологического факультета. До начала учебных занятий оставалось еще около двух месяцев, и я мог без всякой помехи предаться на некоторое время изучению этой многошумной и многокрасочной Москвы, которая зачаровала меня сразу и на всю жизнь.

Тогдашняя Москва, столь ошеломившая на первых порах юного провинциала своей громадностью, своим шумом и кипением, в сущности, в значительнейшей мере оправдывала столь часто прилагавшееся к ней название «большой деревни». Я попал в Москву и стал москвичом как раз накануне некоего перелома в ее внутренней жизни. Уже на моих глазах, в самом конце 80-х годов и затем в 90-х годах минувшего столетия, Москва стала быстро изощрять свое европейское обличье. Сначала стали вырастать то там, то тут небоскребы, многоэтажные дома с массою квартир, а на Девичьем поле, словно по мано-

12—1565

вению волшебного жезла, раскинулся целый городок превосходно устроенных университетских клиник (все на пожертвования крупного московского купечества), потом пришли телефоны, автомобили и трамваи. В середине 80-х годов всего этого и в помине не было. Девичье поле было тогда действительным, подлинным полем, не стиснутым каменной броней и не уставленным роскошными клиническими дворцами, а было оно покрыто высокой зеленой травой, которая тянулась сплошным ковром от конца Пречистенки и Плющихи до самого Девичьего монастыря, что стоит на берегу Москвы-реки лицом к лицу с Воробьевыми горами.

Появление автомобиля на улицах Москвы привело бы тогда москвича в такой же недоуменный трепет, в какой приводило древнерусского летописца появление кометы на небе, а вместо стремительных электрических трамваев по улицам Москвы с невозмутимой медлительностью ползали, как черепахи, так называемые «конки» — омнибусы конной тяги, в которых внутреннее место стоило пять копеек, а за три копейки можно было взобраться по винтовой лесенке на крышу вагончика и сидеть там на скамейке под открытым небом. «Конка», влекомая парою лошадок, двигалась так медленно, что пассажиры входили и сходили на ходу, именно входили и сходили, с полным спокойствием, а не «вскакивали» и не «соскакивали». И поистине удивительно, что и при таком черепашьем ходе вагоны «конки» ухитрялись весьма часто сходить с рельсов, и тогда начиналась нескончаемая канитель: пассажиры очищали вагон и вместе с кондуктором и кучером долгими и терпеливыми усилиями вталкивали непослушный вагон на рельсы. Уже окончив университетский курс и став учителем гимназии, я изведал в полной мере школу терпения во время поездок на этих «конках» на уроки. Такая масса времени уходила на эти поездки, что я, работая тогда над подготовкой к экзамену на магистра, положил себе некоторые вопросы программы подготовить исключительно в вагонах «конки» и выполнил это решение.

Многоэтажные дома в тогдашней Москве являлись исключением. Целые улицы, и особенно переулки, представляли собою сплошные линии одноэтажных и, самое большее, двухэтажных особняков — настоящих барских усадьб,— которые перемежались деревянными хибарками и лавчонками. Такие здания, как генерал-губернаторский дом или гостиница «Дрезден», оказавшиеся впоследствии такими скромными среди новых «небоскребов», представлялись в то время внушительными сооружениями.

Первобытному характеру внешней обстановки соответствовала тогда и первобытность внутреннего склада общественной жизни. В середине 80-х годов в Москве можно было еще наблюдать в полной жизненной крепости остатки старинных форм барской жизни. В особняках на Поварской и Малой Никитской и в громадном лабиринте переулков, связывавших Поварскую, М. Никитскую, Арбат и Пречистенку, ютился совсем особый мирок, в котором, несмотря на все глубокие социальные метаморфозы, развернувшиеся со времени падения крепостного права, свято сохранялись различные обычаи дворянской старины. Геральдические львы на воротах большого двора, в глубине которого располагался барский особняк с разными надворными «службами», как бы заранее предупреждали своим видом всякого приходящего, что, переступив порог этого дома, он сразу шагнет на несколько десятков лет назад в, казалось бы, отжитое прошлое. Там найдет он: большие залы с старинными диванами и креслами, с громадными люстрами, с хорами, на которых помещается оркестр во время балов; большие библиотеки, наполненные нарядными изданиями XVIII века; многочисленную прислугу — пережиток старинной дворни; величавых старух, по-королевски восседающих в пышных креслах в окружении своры комнатных собачек; визитеров во фраках и мундирах, являющихся аккуратно по всем праздничным дням приложиться к пергаментной руке такой величавой старухи.

Проходя по этим переулкам между Поварской и Пречистенкой, усеянным маленькими церковками, иногда с весьма странно звучащими, но чисто историческими названиями

(чего стоит хотя бы: «Никола на курьих ножках»), вы могли весьма нередко встретить запряженную парой колымагу с двумя ливрейными лакеями на запятках. Нужды нет, что обитавшее в этих переулках дворянство было уже все в прошлом. Оно тем не менее отнюдь не думало сдавать свою позицию перед напором обновляющейся жизни и вовсе не смотрело на себя лишь как на музейное украшение исторического города. Оно подавало свой голос и в великолепной колонной зале дворянского собрания, и, может быть, с еще большим весом, в разных гостиных и салонах. И этот голос имел свой резонанс, вносил свою ощутимую струю в общественную жизнь тогдашней Москвы. Обладатели барских особняков выдержали свою линию, фрондируя против либеральных петербургских реформ, а с середины 80-х годов они как раз стали чувствовать себя все бодрее и увереннее, ибо и с берегов Невы окончательно потянуло иным ветром, оживлявшим в них заманчивые надежды.

Бок о бок с старозаветным дворянством стояло в тогдашней Москве и старозаветное купечество. Подобно Поварской и Пречистенке, и Замоскворечье еще довольно твердо держалось своего материка. «Титов Титычей» можно еще было наблюдать живьем, и опять-таки не в положении каких-нибудь окаменелостей, застывших, словно муха в янтаре, а в положении живой социальной силы, налагавшей свой отпечаток на строения текущей действительности. Это уже после на моих глазах, вместе с телефонами и автомобилями, вышел на сцену новый купец, «джентельмен», меценат, политический фрондер, библиофил, декадент. В середине 80-х годов этот общественный тип только еще выпочковывался, только еще назревал в каких-то потаенных складках жизненной ткани. А на виду стояли могикане Замоскворечья в стиле комедий Островского. На дирижирующую роль в общественной жизни они не претендовали, по старинке вели свои торгово-промышленные предприятия, ни о какой политической фронде даже в самой глубине своего духа не помышляли и ограничивали свои отношения к носителям власти тем, что беспрекословно открывали неограниченный кредит патриархально воеводствовавшему на Москве генерал-губернатору князю Долгорукову.

Это старозаветное купечество и в высших, и в низших своих слоях было тогда глубоко консервативно. Яркое выражение получал этот консерватизм в отношениях «Охотного ряда» к его территориальному соседу — «университету». «Охотный ряд» — крупнейший московский рынок и университет — это были тогда Рим и Карфаген. Уже много позднее, как раз когда представители крупного модернизированного купечества стали заводить у себя политические салоны и мечтать о конституции, необходимой для экономического прогресса, охотнорядцы начали сочувствовать студенческим демонстрациям или, как их называли тогда, «студенческим историям», и, кажется, главным источником этих симпатий охотнорядцев к «студенческим историям» служило чрезвычайное озлобление охотнорядских торговцев на притеснения и вымогательства полиции.

Но в середине 80-х годов охотнорядцы еще неукоснительно пребывали в уверенности, что «господа» бунтуют против начальства за то, что царь отменил крепостное право. И как только вспыхивали студенческие волнения, охотнорядцы «рвались в бой» и засучивали рукава. Когда я приехал на жительство в Москву, студенческие мансарды были еще полны живых воспоминаний о незадолго перед тем происшедшей «битве под Дрезденом». Состояла она в том, что близ гостиницы «Дрезден» охотнорядцы произвели грандиозное побоище студентов, выступивших с политической демонстрацией.

В этот дворянско-купеческий старозаветный жизненный уклад клином врезалась передовая интеллигентная Москва. Она блестела яркими именами. Ее престиж стоял весьма высоко. Но социальная сфера, на которую этот престиж распространялся, была неширока, и формы общественной жизни, в которых выражалось его воздействие, не отличались большим многообразием. Наступала тихая полоса. Подпольная политическая борьба, достигшая к концу 70-х годов столь потрясающих эффектов, после 1 марта 1881 го-

да стремительно пошла на убыль. К середине 80-х годов от нее почти уже не оставалось следа. Последние остатки кружков народовольческого типа были только что ликвидированы. Пропагандистская деятельность революционно настроенной молодежи среди фабричных рабочих еще не начиналась. В ход пошло толстовство с его лозунгом непротивления. «Охранка» ломала голову над тем, как бы оживить иссякавшее подполье, столь необходимое для оправдания необходимости всяких «охранных» учреждений. Но будущие матадоры полицейской провокации только еще пробовали помаленьку свои силы. Когда я был уже на третьем курсе и увлекался хождением по лавочкам букинистов, отыскивая разные старинные исторические книжки, на Воздвиженке, на самом углу перед Никитским бульваром, появилась книжная лавочка, где можно было очень дешево приобретать книжки, в особенности из разряда «запрещенных». Продавал их молодой человек, охотно вступавший с покупателями-студентами в продолжительные разговоры. Но вскоре по студенчеству пошла молва, что этой лавочки нужно остерегаться, ибо было уже несколько случаев, наводивших на тревожные размышления: у студента, купившего в этой лавочке запрещенную книжку, ночью внезапно производился полицейский обыск, книжка отбиралась, а обладатель ее попадал в узилище. Студенты, разумеется, отпрянули от коварной западни. Называли тогда и фамилию любезного лавочника, которого и мне приходилось видеть за прилавком. Тогда эта фамилия ничего не говорила. Впоследствии она прогремела. То был Зубатов, которого мне, таким образом, пришлось узнать при самом начале его карьеры.

Разгромив «подполье», правительство 80-х годов стремилось сжать в тиски и легальную оппозицию, которая проявлялась в земских учреждениях, отчасти в городском самоуправлении и в печати.

Когда я прибыл в Москву, я застал там еще очень оживленные толки о нашумевшем инциденте в жизни Московской городской думы. Прогрессивная часть городской думы ухитрилась провести на пост московского городского головы знаменитого профессора Б. Н. Чичерина. Но Чичерин пробыл на этом посту весьма недолго. Он произнес речь, в которой выразил ту мысль, что успехи подпольной крамолы возможны только вследствие полной неорганизованности легальной части общества и, таким образом, в широком развитии общественной самодеятельности и самоуправления лежит залог мирного преуспеяния страны. Казалось бы, высказанные в этой речи мысли дышали полной благонадежностью. Но правительственная власть боялась тогда, как огня, развития общественной самодеятельности, даже подполье казалось ей не столь страшным, ибо с подпольем она уже наловчилась бороться, и Чичерин по высочайшему повелению должен был оставить должность городского головы, едва успев вступить в отправление своих обязанностей. Этот случай показал воочию, что самые умеренные и невинные проявления политической мысли в работе общественного самоуправления будут пресекаться самым решительным образом. И Московская городская дума надолго ушла целиком в «малые дела» текущего хозяйства.

Естественным рупором политической мысли оставалась печать. Что представляла она собою в тогдашней Москве? В «Московских ведомостях» гремел Катков, только что — с появлением на посту министра внутренних дел графа Дмитрия Толстого — почувствовавший за собою полную силу и ставший злопыхательным публицистическим трубадуром начавшейся эры «контрреформ». Иван Аксаков печатал в «Руси» красноречивые статьи, в которых вел старую славянофильскую линию, и хотя и являлся прямым противником Каткова в общих взглядах на общественное самоуправление, но в целом ряде конкретных вопросов, в сущности, подавал руку Каткову из боязни, что прогрессивные общественные стремления приведут к столь ненавистной славянофилам конституции. Затем подкаретным подголоском «Московских ведомостей» выступал «Московский листок», прообраз московской малой, уличной, прессы, но прообраз самый первобытный, от которого веяло еще допотопным духом Фаддея Булгарина. Издавался этот листок Пастуховым, чело-

веком невежественным, топорно-неотесанным, не имевшим никакого понятия о литературном ремесле. И хотя на страницах этого листка и пожинал тогда свои первые — дебютные — лавры знаменитый впоследствии Дорошевич, но настоящей фельетонной бравурности, литературной пикантности, едкого задора,— чем живет и дышит малая пресса,— в «Московском листке» и в помине не было. Тем не менее он имел чрезвычайный успех среди лавочников, мелких чиновников и мелкой аристократической братии. «Не в шитье была там сила». Успех создавался тем, что «Листок» наполнялся личными пасквилями, в которых объекты пасквильного нападения изображались такими прозрачными чертами, что обыватели того или иного околотка без труда узнавали своего местного героя и упивались скандальными разоблачениями. А «Листок», попав в цель, все усиливал атаку и поддавал перцу, пока... жертва поднятой травли не догадывалась внести в кассу газетки приличную сумму, и тогда бомбардировка мгновенно прекращалась.

Литературные приемы Пастухова хорошо обрисовываются следующим образчиком. Однажды он вздумал посетить цирк, существовавший тогда на Воздвиженке. Как нарочно, в цирке в этот вечер не оказалось ни одного свободного места. Не получив доступа на представление, Пастухов пришел в ярость и заявил, что напишет рецензию на представление, и не побывав в цирке. И, действительно, «рецензия» появилась. Она была кратка и выразительна. «В цирке на Воздвиженке,— сказано было там,— треснула крыша и грозит обвалиться». Этого было достаточно, чтобы на следующий день в кассе цирка не было продано ни одного билета. Несколько дней подряд цирк пустовал и терпел огромные убытки. Нечего делать, пришлось идти с повинной и внести в кассу «Московского листка» изрядную сумму. Тогда появилось в «Листке» сообщение, что крыша в цирке исправлена заново и все обстоит вполне благополучно.

В этой атмосфере реакционного злопыхательства, славянофильского прекраснодушия и пастуховского газетного мародерства знамя честного и независимого печатного слова высоко подняли «Русские ведомости», как раз в то время попавшие в руки тесно сплоченной группы прогрессивных профессоров с В. М. Соболевским во главе.

Эта «профессорская газета» сыграла, как известно, крупную роль в формировании прогрессивного общественного мнения в России. Она выносила на своих плечах служение независимому публицистическому слову среди самых неблагоприятных условий. Она шла «против течения», указывая на грядущие опасности от восторжествовавшего в то время реакционного курса. Ей приходилось совершать это трудное дело с чистотою голубя и мудростью змеи. Читатели, ценившие уравновешенное, осмотрительное, но неподкупное и строго последовательное отстаивание прогрессивных идеалов на страницах этой газеты, и не подозревали всю степень того упорства и самоотверженности, с которыми руководителям этой газеты приходилось проводить свою утлую ладью среди подводных камней, загромождавших ее фарватер. Порой на газету пеняли за чрезмерную осторожность. Но эти упреки объяснялись тем, что со стороны нельзя было и вообразить, до чего доходило иногда негласное административное давление на печатное слово.

Может быть, наиболее ярко выразилась тогда безудержность торжествующей реакции в запрещении в какой бы то ни было форме чествовать день отмены крепостного права! Теперь это может показаться невероятным, но то был подлинный факт: власть эпохи «контрреформ» додумалась до того, что день 19 февраля был объявлен опальным и желание отметить годовщину великой реформы принималось за проявление высшей меры политической неблагонадежности. Даже об отмене крепостного права приходилось писать с оглядкой на цензурные перуны. Не достаточно ли этого примера, чтобы понять, какая сила выдержки требовалась тогда для ведения независимого публицистического органа. Через посредство Джаншиева в «Русские ведомости» в те времена Кони доставил несколько очерков с воспоминаниями, исполненными преклонения перед эпохой великих реформ. Эти очерки Кони решился тогда дать «Русским ведомостям» не иначе как под строжайшим

incognito, без обозначения своего имени. Столь опасна была тогда эта тема. И, печатая эти очерки, «Русские ведомости» шли на сознательный риск.

Кстати, о Джаншиеве. Он выпустил книгу «Эпоха великих реформ». Книга имела большой успех и выдержала ряд изданий, все увеличиваясь в объеме. Многие главы этой книги первоначально печатались в «Русских ведомостях». Теперь эта книга может показаться довольно слабой в историческом отношении, в ней преобладает публицистическая лирика в тоне восторженного панегирика эпохе реформ. Но для оценки значения этой книги надо именно иметь в виду время, когда она издавалась. Книга была ответом на предпринятое тогда властью бессмысленное гонение на всякие попытки помянуть добром реформы 60-х годов, начиная с отмены крепостного права. Издание этой книги было актом гражданского мужества.

Указанное течение в правящих сферах не было мимолетным капризом. Нет, оно шло все crescendo * в течение целого десятилетия. По воцарении Николая II совет Московского университета обсуждал текст приветственного адреса новому государю. Там была фраза, выражавшая надежду, что новый государь пойдет по стопам своего отца. Профессор Эрисман предложил добавить два слова: *«и деда»*. Это предложение было встречено смущенным молчанием и осталось без одобрения, а после заседания профессора, не решившиеся гласно поддержать столь «крамольное» предложение, потихоньку жали Эрисману руки и приветствовали его гражданскую смелость. Вот для каких скромных оказательств в то время требовался уже запас гражданского мужества. Зато Эрисман и не усидел в Москве. Не по этому именно поводу, но по всей совокупности своего независимого поведения он должен был покинуть кафедру в Москве и прожил остаток своих дней в Цюрихе.

Когда подошло двадцатипятилетие со времени отмены крепостного права, московский генерал-губернатор потребовал от редакторов всех московских газет, чтобы в этот день в номере не было сказано ни слова про опальную реформу. Все газеты подчинились этому требованию, кроме «Русских ведомостей», которые не сочли возможным пойти на такое неприличие.

Номер «Русских ведомостей» в этот день совсем не вышел. Эта молчаливая демонстрация достигла цели, все заметили и оценили ее, а начальство поставило это газете на счет. Вскоре «Русским ведомостям» пришлось прибегнуть к аналогичному приему. Умер Катков. Беспристрастная оценка деятельности этого официозного публициста была сопряжена с большим риском. И, не желая покривить душой, «Русские ведомости», сообщив читателям о смерти Каткова, не поместили никакой некрологической статьи. Однако молчать было тогда подчас столь же опасно, как и говорить. Вскоре была запрещена розничная продажа «Русских ведомостей», и начальник главного управления по делам печати Феоктистов объяснил принятие этой меры следующим образом: «Скверная газета, скверно говорит, скверно и молчит».

Между тем пресса была тогда почти единственной ареной, где можно было, хотя и при помощи эзоповского языка и с большими ограничениями, гласно обсуждать общегосударственные вопросы. Вообще формы общественных выступлений были в тогдашней Москве не очень многообразны. Публичная лекция профессора, например, была тогда такой редкостью, что о ней говорили и писали, как о незаурядном происшествии. А когда по случаю голода 1891 года комитет грамотности устроил целую серию публичных лекций разных профессоров в пользу голодающих, это было уже настоящее событие. Как все изменилось потом за 15—20 лет, когда чуть ли не ежедневно в разных концах Москвы стали устраиваться публичные лекции, читавшиеся и профессорами, и писателями, и людьми, никогда не занимавшимися ни наукой, ни литературой. Дело дошло, наконец, до

* Усиливаясь (*ит.*).

того, что появилась афиша о публичной лекции, которую «прочтет человек, ходящий по Москве зимою босиком». На первую лекцию этого босоногого человека пришло несколько слушателей. Не знаю, о чем он говорил. Была объявлена и вторая лекция его, но на этот раз никто слушать не пришел. Очевидно, все признали отсутствие обуви на ногах еще недостаточным для того, чтобы созывать публику себя слушать.

Если публичные лекции были редкостью в середине 80-х годов, то о публичных митингах, разумеется, не приходилось и помышлять. Суррогатом их являлись до некоторой степени иные заседания Юридического общества при Московском университете, и в особенности банкеты, устраивавшиеся в Татьянин день, в день 19 февраля или по случаю юбилеев разных лиц.

Юридическое общество было ученым обществом. Но по органической связи юриспруденции с вопросами общественной жизни доклады и дебаты, происходившие там, сплошь да рядом получали политический характер. Под флагом научного заседания еще можно было затрагивать некоторые политические темы, о которых нельзя было бы и пикнуть при иной обстановке. Конечно, и здесь приходилось держать себя в руках, памятовать, что «ходить бывает склизко по камешкам иным», и налегать более на отвлеченности, нежели на вопросы практической политики. Да и в этих рамках не все могли позволять себе роскошь устного высказывания. В. А. Гольцев, отсидевший некоторое время под арестом за неблагонамеренный образ мыслей, был освобожден с условием, что он не будет ничего говорить на заседаниях Юридического общества, в чем он и должен был дать подписку. И вот, когда на одном заседании этого общества во время прений по какому-то докладу М. М. Ковалевский стал разносить одну статью Гольцева, присутствовавший Гольцев встал и подал Ковалевскому записку, а Ковалевский, взглянув в записку, поперхнулся и на полуслове прервал свою речь. Гольцев написал: «Вы можете сколько угодно разносить меня, я не в состоянии вам ответить, ибо с меня взята подписка не выступать в Юридическом обществе ни с какими речами».

И все же капля долбила камень. Юридическое общество, несомненно, сыграло в то время немалую роль в деле популяризации конституционных идей в русском обществе. Даже по одной внешней обстановке своих заседаний оно могло служить своего рода школой гражданского воспитания. Недаром председательствовал там С. А. Муромцев, которому через двадцать лет довелось стать председателем первого русского парламента. Думаю, что вихрь последующих событий не затуманил в памяти россиян величавый образ представителя первой Государственной думы и то впечатление, которое он производил на всех своим председательствованием. Помню, как один крестьянский депутат первой Государственной думы, любуясь председательствованием Муромцева, сказал с умиленной улыбкой: «Точно обедню служит».

Совершенное знание парламентских порядков и обычаев, величавое самообладание, строгая корректность всякого слова и жеста и торжественная серьезность, от которой веяло высоким уважением к самой идее народного представительства,— все это производило такое впечатление, как будто Муромцев весь свой век провел в стенах парламента. А ведь роль председателя парламента досталась ему под самый конец жизни. Но он не был застигнут ею врасплох. Он с юности любил представительные учреждения; введение их в России было его заветной мечтой, в осуществление которой он верил, несмотря ни на что, и готовился к этому вожделенному моменту. В его юношеском дневнике нашлась изумительная пророческая запись: «В таком-то году я окончу университет, потом сделаюсь профессором; потом буду лишен кафедры за политическую неблагонадежность и через несколько лет буду председателем первого русского парламента». И все сбылось по писаному.

В 80-х и 90-х годах минувшего столетия Муромцев вел заседания Юридического общества в небольшой круглой зале университетского правления с точно такой же торжест-

венной выдержкой, которой он впоследствии пленял всех в громадной зале Таврического дворца. Живо помню, какое сильное впечатлеиие произвело иа меня то заседание, на котором я впервые попал в Юридическое общество студентом первого курса. За столом сидели Ковалевский, Янжул, Чупров, Гольцев, Зверев, Гамбаров и др. На председательском кресле возвышалась красивая фигура Муромцева. Блестя очками, ои озирал собрание. Докладывая текущие дела, он при чтеиии всякой бумаги вставал и иачинал иеизмеино одной и той же фразой: «Имею честь доложить Обществу». Произиосил ои эту фразу артистически, тоном, в котором равиомерио выражалось председательское достоинство и почтение к Обществу, которое ои возглавлял. Без преувеличения скажу, что звук этой фразы в его устах доставил мне тогда такое же иаслаждение, как самая восхитительиая ария тогдашнего кумира москвичей певца Хохлова. Слушая эти слова, иаблюдая его маиеру, я не то что рассудком сознавал, а инстинктом ощущал, в чем состоит отличие общественного деятеля, несущего общественную работу, и обывателя, ведущего свои частные дела. И то, как Муромцев произиосил вышеприведенную сакраментальную свою фразу, и то, как ои руководил прениями и формулировал их итоги, и то, как ои вежливо и твердо остаиовил Яижула, гулким басом начавшего было разговаривать с соседом во время чтения доклада,— как-то безотчетно и в то же время отчетливо раскрыли мне миогое в смысле общественной дисциплины, в поиимании существа общественной работы. Это был предметиый урок, давший мне гораздо больше, нежели могли бы дать подробные умозрительные разъяснения. Возвращаясь домой с этого заседания, я как-то сразу почувствовал, что во мие прибавилось общественной зрелости.

Юбилейиые банкеты служили тогда той отдушиной, в которую москвичи выпускали прииудительно сдерживаемые цивические иастроеиия. Здесь громом аплодисментов покрывались речи популярных застольиых ораторов, которые действительно нередко воспаряли на высоты истинного красноречия. Необходимой принадлежностью каждой такой речи являлся иекоторый оппозиционный душок, достаточно прозрачный, чтобы вызвать в слушателях приятное возбуждение, и в то же время достаточно умеренный, дабы пир не окончился бедою. Отправляясь иа такой банкет, можно было заранее предвкушать удовольствие: от едкой и пикантной речи Гольцева, наполнеиной острыми шпильками по адресу вершителей русских судеб; от воодушевленной импровизации Чупрова, овеянной мягкой доброжелательностью и высоконастроенным чувством; от пылких воспоминаний о далеких временах Грановского и Герцена, которые лились из уст убеленного сединами, ио не стареющего душой Митрофана Павловича Щепкина. И удовольствие слушателей достигало высшей точки, если ко всему этому прибавлялась ювелирно-художественная речь Ключевского, сверкающая поражающими сближениями и отточенными афоризмами и облекавшая в изумительно красивую форму тонкие струйки мефистофельского яда.

Эти банкеты доставляли участникам их хороший психический моцион, после которого, однако, иаступал своего рода кацеиммер в виде сознания, что словами не сокрушишь стен Иерихона.

В общем, на всех слоях мыслящей интеллигенции Москвы тяготело ощущение тяжелой придавленности, какой-то никчемности существования, суженности жизненного горизонта. Это обостряло «пленной мысли раздраженье», которое взрослые умели запрятывать в глубь души и которое у молодежи время от времени прорывалось в упомянутых уже выше «студенческих историях». Эти истории только и нарушали тогда тишь да гладь общественной жизни. Но более подробиая речь о них еще впереди.

Я пытался набросать общую картину московской жизни того времени в самых крупных чертах ее, чтобы дать хотя некоторое представление о той жизненной атмосфере, среди которой Московский университет развертывал тогда свою учено-учебную работу. Войдем же теперь под кровлю Московского университета. В следующих главах я предложу вниманию читателя свои студенческие воспоминания.

Ю. Н. Данилов

Мои воспоминания об императоре Николае II и великом князе Михаиле Александровиче

В годы вступления в главнокомандование действующей армией императору Николаю II исполнилось всего 47 лет. Он был в расцвете сил и здоровья.

Большинство фотографий дают довольно верное представление о внешности и фигуре последнего русского монарха. Он как-то справедливо отметил: не передают только особенностей выражения его глаз и загадочности той полуулыбки, которая почти всегда блуждала на его губах.

Лучшим изображением его я все же считаю портрет Серова — «Государь в тужурке».

Государь был невысокого роста, плотного сложения, с несколько непропорционально развитою верхнею половиною туловища. Довольно полная шея придавала ему не вполне поворотливый вид, и вся его фигура при движении подавалась как-то особенно, правым плечом вперед.

Император Николай II носил небольшую светлую овальную бороду, отливавшую рыжеватым цветом, и имел серо-зеленые спокойные глаза, отличавшиеся какой-то особой непроницаемостью, которая внутренно всегда отделяла его от собеседника. Может быть, это впечатление являлось результатом того, что император никогда не смотрел продолжительно в глаза лицу, с которым говорил. Его взгляд или устремлялся куда-то вдаль, через плечо собеседника, или медленно скользил по всей фигуре последнего, ни на чем особенно не задерживаясь.

Все жесты и движения императора Николая были очень размеренны, даже медленны. Эта особенность была ему присущей, и люди, близко знавшие его, говорили, что государь никогда не спешил, но никуда и не опаздывал.

Император Николай встречал лиц, являвшихся к нему, хотя и сдержанно, но очень приветливо. Он говорил не спеша, негромким приятным грудным голосом, обдумывая каждую свою фразу, отчего иногда получались почти неловкие паузы, которые можно было даже понять, как отсутствие дальнейших тем для продолжения разговора. Впрочем, эти паузы могли находить себе объяснение и в некоторой застенчивости и внутренней неуверенности в себе. Эти черты государя выявлялись и наружно нервным подергиванием плеч, потиранием рук и излишне частым покашливанием, сопровождавшимся затем безотчетным разглаживанием рукою бороды и усов. В речи императора Николая слышался едва уловимый иностранный акцент, становившийся более заметным при произношении им слов с русской буквой «ять».

В общем государь был человеком среднего масштаба, которого несомненно должны были тяготить государственные дела и те сложные события, которыми полно было его царствование. Разумеется, не по плечу и не по знаниям ему было и непосредственное руководительство войною. Весьма сложные причины, о которых стоит когда-нибудь рассказать особо, привели его к решению стать лично во главе войск. Безответственное и беспечальное житие, мне думается, должно было бы более отвечать и внутреннему

складу последнего русского монарха. Простой в жизни и в обращении с людьми, безупречный семьянин, очень религиозный, любивший не слишком серьезное чтение, преимущественно исторического содержания, император Николай безусловно, хотя и по-своему, любил Россию, жаждал ее величия и мистически верил в крепость своей царской связи с народом. Идея незыблемости самодержавного строя в России пронизывала всю его натуру насквозь, и наблюдавшиеся в период его царствования временные отклонения от этой идеи в сторону уступок общественности, на мой взгляд, могут быть объясняемы только приступами слабоволия и податливости его натуры. Под чужим давлением он лишь сгибался, чтобы потом немедленно сделать попытку к выпрямлению...

Впрочем, это была очень сложная натура, разгадать и описать которую еще никому не удалось. К пониманию характера императора Николая, мне думается, легче подойти путем знакомства с отдельными фактами и эпизодами из его жизни, столь трагически закончившейся. Не претендуя на полноту, я попытаюсь набросать несколько лично мне известных сцен и собственных наблюдений.

Осенью и зимою 1904 года мне, по должности начальника оперативного отделения главного штаба, пришлось участвовать в царских объездах войсковых частей, отправлявшихся на Дальний Восток. Каждую из этих частей государь лично напутствовал своим словом и благословлял образом.

Было жуткое время. Подошли последние дни перед падением Порт-Артура. В царском поезде получались шифрованные донесения о безнадежности положения в осажденной крепости, где находился запертым почти весь наш тихоокеанский флот. Комендант крепости генерал Стессель слал истерические телеграммы, взывая к «молитвам обеих императриц». Кругом в России уже чувствовалось дыхание революционного зверя...

В царском поезде большинство было удручено событиями, сознавая их важность и тяжесть. Но император Николай II почти один хранил холодное каменное спокойствие. Он по-прежнему интересовался общим количеством верст, сделанных им в разъездах по России, вспоминал эпизоды из разного рода охот, подмечал неловкость встречавших его лиц и т. д.

Что это, спрашивал я себя, огромная, почти невероятная выдержка, достигнутая воспитанием, вера в божественную предопределенность событий или недостаточная сознательность?

Свидетелем того же ледяного спокойствия царя мне пришлось быть и позднее, в 1915 году, в трудный период отхода наших войск из Галичины; в следующем году, когда назревал окончательный разрыв царя с общественными кругами, и в мартовские дни отречения в Пскове в 17-м году...

Во главе морского министерства довольно долго стоял адмирал Григорович. Это был умный и очень тонкий министр, которого одно время даже прочили на пост премьера. Усилия его были сосредоточены на скорейшем воссоздании флота, погибшего в период японской войны.

В 1912 году адмиралом Григоровичем была внесена в законодательные учреждения морская программа, существенной частью которой являлась постройка судов линейного флота. Наш Генеральный штаб, как и некоторые группы морских офицеров, не разделял мнения о пользе срочной постройки линейных судов и усматривал в испрашивавшемся отпуске многомиллионных ассигнований на эту постройку серьезный тормоз для развития более необходимого подводного флота и сухопутной армии.

Инспирируемый нами генерал Сухомлинов, никогда не умевший, впрочем, быть настойчивым в вопросах, которые могли поколебать его личное положение, пытался, однако, несколько раз докладывать государю о несвоевременности выдвигавшейся мор-

ским министром программы, но напрасно. Государь, питавший к морскому делу и к морякам личное расположение, упорно держался взглядов адмирала Григоровича и не сдавал.

— Я ничего не могу сделать,— сказал нам однажды В. А. Сухомлинов.— В последний раз государь, случайно бывший в морской форме, сухо возразил мне: «Предоставьте, Владимир Александрович, более авторитетно судить о военно-морских вопросах нам — морякам»...

Так решительно император Николай пресекал доклады своих министров, имевших целью повлиять на изменение раз принятого им решения, и особенно в тех случаях, когда вопросы выходили за пределы их непосредственного видения.

Император, видимо, усматривал в этом вмешательстве покушение на свою самодержавную власть. В действительности же при отсутствии объединенного министерства и единой программы это вмешательство, может быть и ненормальное, было единственным средством доводить до верховной власти о наличии разномыслия в мероприятиях, предположенных к осуществлению различными министрами.

Император Николай был глубоко верующим человеком. В его личном вагоне находилась целая молельня из образов, образков и всяких предметов, имевших отношение к религиозному культу. При объезде в 1914 году войск, отправлявшихся на Дальний Восток, он накануне смотров долго молился перед очередной иконой, которой затем благословлял уходившую на войну часть.

Будучи в Ставке, государь не пропускал ни одной церковной службы. Стоя впереди, он часто крестился широким крестом и в конце службы неизменно подходил под благословение протопресвитера отца Шавельского. Как-то особенно, по-церковному, они быстро обнимают друг друга и наклоняются каждый к руке другого.

Вера государя несомненно поддерживалась и укреплялась привитым с детства понятием, что русский царь — помазанник Божий. Ослабление религиозного чувства таким образом было бы равносильно развенчанию собственного положения.

Не рассчитывая на свои силы и привыкнув недоверчиво относиться к окружавшим его людям, император Николай II искал поддержки себя в молитве и чутко прислушивался ко всяким приметам и явлениям, кои могли казаться ниспосылаемыми ему свыше. Отсюда — его суеверие, увлечение одно время спиритизмом и склонность к мистицизму, подготовившие богатую почву для разного рода безответственных влияний на него со стороны.

И действительно, в период царствования этого государя при дворе не раз появлялись ловкие авантюристы и проходимцы, приобретавшие силу и влияние. Достаточно вспомнить о Распутине и его «предтече» — знаменитом Филиппе, игравшем при дворе в свое время столь видную роль!

Рядом с религиозностью, суеверием и мистикой в натуре императора Николая II уживался и какой-то особый восточный фатализм, присущий, однако, и всему русскому народу. Чувство это отчетливо выразилось в народной поговорке: «от судьбы не уйдешь!» Эта покорность «судьбе» несомненно была одною из причин того спокойствия и выдержки, с которыми государь и его семья встретили тяжелые испытания, впоследствии выпавшие на их личную долю.

Довольно распространено мнение, что император Николай II злоупотреблял спиртными напитками. Я категорически отрицаю это на основании довольно долгих личных наблюдений. Еще в 1904 году, во время частых железнодорожных путешествий государя по России, равно как в различные периоды мировой войны мне приходилось много

раз быть приглашаемым к царскому столу, за которым картина была всегда одинаковой. Не существовало, конечно, того «сухого» режима, о котором мы часто читаем в рассказах о современной жизни в Северо-Американских Соединенных Штатах и от которого так легко отказываются жители великой заатлантической республики, приезжающие к нам, в грешную Европу, но не приходилось также встречаться и с тем, что так легко разносилось досужею людскою сплетнею.

Государь подходил к закусочному столу, стоя, выпивал он по русскому обычаю с наиболее почетным гостем одну или много — две чарки обыкновенного размера — особой водки, «сливовицы», накоротке закусывал и после первой же чарки приглашал всех остальных гостей следовать его примеру. Дав время всем присутствовавшим закусить, император Николай II переходил к обеденному столу и садился посередине такового, имея неизменно против себя министра двора, по наружному виду чопорного и накрахмаленного графа Фредерикса, в действительности же очень доброго и приветливого старика. Остальные приглашенные усаживались по особым указаниям гофмаршала. Обносимые блюда не были многочисленны, не отличались замысловатостью, но бывали прекрасно приготовлены. Запивались они обыкновенным столовым вином или яблочным квасом — по вкусу каждого из гостей.

Государь за столом ничего не пил и только к концу обеда отливал себе в особую походную серебряную чарку один-два глотка какого-то особого хереса или портвейна из единственной бутылки, стоявшей на столе вблизи его прибора. Ту же бутылку он передавал наиболее редким и почетным гостям, предлагая отведать из нее. Никаких ликеров к кофе не подавалось.

К концу обеда государь вынимал из портсигара папиросу, затем доставал из-за пазухи своей серой походной рубахи пеньковый коленчатого вида мундштук, медленно и методично вставлял в него папиросу, закуривал ее и затем предлагал курить всем. Сигар не курили, так как государь не переносил их запаха.

Я никогда не видел, чтобы государь предлагал свои папиросы другим лицам. Он, как большой курильщик, видимо, очень дорожил своим запасом табака, который ему доставлялся из турецких владений в виде подарка от султана. Так как мы были в войне с Турцией, то, очевидно, приходилось быть экономным.

— Я очень рад,— говорил шутя император Николай,— что новый запас табака был мне привезен в Крым от султана незадолго до начала войны и таким образом я оказался в этом отношении в довольно благоприятных условиях.

Период курения после еды был очень длителен и утомителен для некуривших, так как государь не спеша выкуривал за столом не менее двух-трех довольно больших и толстых папирос. Затем государь медленно поднимался и давал возможность пройти всем своим гостям вперед в соседнее помещение, где они становились в ряд по новым указаниям гофмаршала. Император обходил выстроившихся и с каждым говорил еще некоторое время. Иногда эта беседа затягивалась довольно долго, и я в бытность свою в Ставке в должности генерал-квартирмейстера очень дорожил данным мне раз навсегда разрешением уходить к себе в рабочий кабинет немедленно после вставания из-за стола.

Я совершенно уверен, что рассказы о царских излишествах являлись плодом фантазии недобросовестных рассказчиков, и полагаю, что в основе этих сплетен лежал, по-видимому, факт посещения от времени до времени государем во время проживания его в Царском Селе офицерских собраний некоторых гвардейских частей. Но ведь казалось бы, что каждый несущий известный труд имеет право на отдых среди имение тех людей, общество коих доставляет ему удовольствие! Император Николай любил изредка «посидеть» в полковой среде, и весьма возможно, что это сидение могло быть когда-либо и более длительным, чем это разрешалось понятиями злонамеренных рассказчиков.

Император Николай II вообще был человеком очень скромных привычек и, насколько я мог наблюдать, чувствовал себя наиболее свободно и уверенно именно в офицерской среде. Происходило это, весьма вероятно, потому, что из-за преждевременной смерти своего отца он, в бытность наследником, не имел возможности достаточно расширить круг своей деятельности, которая почти не выходила за пределы военной службы. Но даже и в этой специальной отрасли служения государству он достиг лишь скромного положения полковника одного из гвардейских полков. Соответствующие этому чину погоны император Николай II и носил в продолжение всего своего царствования.

Государь очень любил физический труд на свежем воздухе, рубил для моциона дрова и много работал у себя в Царском Селе в парке. Верховой езды он не любил, но зато много и неутомимо ходил, приводя этой своей способностью в отчаяние своих флигель-адъютантов, не всегда своим сложением подходивших для столь длительных и утомительных прогулок.

В простой суконной рубахе с мягким воротником, в высоких шагреневых сапогах, подпоясанный кожаным ремнем, император Николай II в бытность свою в Ставке подавал пример скромности и простоты среди всех тех, кто окружал его или приходил с ним в более близкое соприкосновение.

Я глубоко уверен, что если бы безжалостная судьба не поставила императора Николая во главе огромного и сложного государства и не вселила в него ложного убеждения, что благополучие этого государства в сохранении принципа самодержавия, то о нем сохранилась бы память, как о симпатичном, простодушном и приятном в общении человеке.

В первый период мировой войны, во время довольно частых приездов в Ставку император Николай II и его немногочисленная свита продолжали жить в поезде. Ни императрица, ни наследник во время пребывания в должности верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича Ставки не посещали.

Царский поезд по прибытии в Барановичи устанавливался на специальной ветке, в том же лесу, в котором находился поезд верховного, и неподалеку от него. Чтобы не подавать никаких поводов для невыгодных сравнений, место кругом стоянки царского поезда поддерживалось усилиями комендатуры Ставки весьма тщательно: кругом были расчищены дорожки, поставлены скамейки, посажены цветы.

В центре царского поезда находился вагон-столовая, в меньшей половине которого была устроена небольшая гостиная с зеленою шелковою мебелью и таким же шелком обтянутыми стенами. Рядом — узкая прихожая, в которой входившие оставляли верхнее платье. У входа в этот вагон снаружи в застывших, вытянутых позах дежурили два казака из царского конвоя: хорошо подобранные красавцы в своих характерных черкесках и папахах, лихо надетых «набекрень», с молодыми энергичными лицами, обрамленными черными как смоль волосами небольшой вьющейся бороды и усов.

В холодные дни, когда завтрак или обед накрывался не в лесу в шатре, а в вагоне, приглашенные собирались предварительно в гостиной, где стоял закусочный стол. Стол этот с переходом приглашенных в столовую быстро убирался, так как в той же гостиной по окончании трапезы вновь выстраивались гости для заключительного обхода их государем.

Личное помещение государя находилось в соседнем вагоне, примыкавшем вплотную к прихожей и гостиной вагона-столовой. Помещение это было едва ли очень покойным, так как через боковой коридор, уменьшавший к тому же жилую площадь «собственного Его Величества вагона», должны были проходить все лица свиты к себе.

Я не имею возможности описать собственный вагон государя в подробностях, так как только дважды был в одном из отделений его — рабочем кабинете государя — да и то вечером, при несколько затемненном освещении. Кабинет этот был устроен

в небольшом отделении, по-видимому в два окна, передний угол которого заботливо был уставлен иконами и образками.

Так как двум людям в этом отделении уже трудно было повернуться, то ежедневные оперативные доклады в периоды пребывания государя в Ставке происходили, как и в обыкновенное время, в моем кабинете, куда император Николай и приходил к 10 часам утра. Вечерние доклады, если таковые вызывались ходом действий, делались мною в гостиной описанного выше вагона после обеда и ухода оттуда приглашенных и лиц свиты.

Случаи, которые привели меня в «собственный Его Величества вагон», связаны: один — с награждением меня орденом Святого Георгия 4-й степени и другой — со срочным докладом о сдаче австрийцами нам Перемышля 9 марта 1915 года *.

В нескольких словах расскажу о первом.

Великий князь Николай Николаевич, получивший за Варшавскую наступательную операцию, выполненную нашими войсками осенью 14-го года, Георгиевский крест 3-й степени, с большим достоинством и с особым ударением доложил государю, что идеей этой операции и ее разработкой он чувствует себя обязанным мне. Мысль о целесообразности переброски части войск из Галичины на среднюю Вислу и о сосредоточении всех свободных сил к Варшаве действительно была высказана мною верховному главнокомандующему на одном из докладов. Но, конечно, принять или отвергнуть эту мысль было всецело во власти верховного главнокомандующего, который и нес на себе всю тяжесть ответственности в случае всегда возможной неудачи. Государь признал, однако, справедливым удостоить и меня награждением Георгиевским крестом, который, как известно, высоко чтился в русской армии.

В день награждения тем же крестом, но более высокою степенью великого князя я после обычного обеда в царском поезде получил приглашение императора Николая пройти вслед за ним в его вагон. Войдя в уже описанное отделение, служившее кабинетом, государь взял с полки из-под образов лежавший там футляр. Вынув оттуда заветный для каждого военного белый эмалевый крестик, он благословил им меня и сказал при этом по моему адресу несколько теплых слов. Растроганный этой сценой, я принял крест из рук царя и тут же приложил его к своим губам, затем принужден был вложить крест обратно в футляр, так как на моем кителе не имелось соответственной петлички. Когда я вернулся в соседний вагон-столовую, великий князь Николай Николаевич, по-видимому знавший о том, для чего государь звал меня к себе, быстро и радостно направился мне навстречу с приветствиями и тут же дрожащими руками стал мне булавкой прикалывать на грудь мною полученную высокую награду...

Генерал Янушкевич, находившийся при этой сцене и получивший еще до обеда такой же крест, что и я, пожимая мне руку, громко сказал:

— Теперь и я свой крест буду носить спокойно!

Прошли первые годы мировой войны. В течение их я, оставив Ставку, прокомандовал около года на фронте корпусом и затем, по воле государя, возложившего на себя обязанности верховного главкомандующего, с осени 16-го года занимал пост начальника штаба армии Северного фронта. Главнокомандующим войсками этого фронта был, как известно, генерал-адъютант Н. В. Рузский.

Многое изменилось в обстановке. Неудовлетворенная войной, раздираемая внутренним неустройством, атакованная со всех сторон вражеской пропагандой, Россия глухо волновалась.

* Все даты по старому стилю.

Земля оскудела, заводы бастовали, железные дороги останавливались... Неизбежно надвигалась революция.

В конце февраля 1917 года в Петрограде начались беспорядки, в которых приняли участие рабочие и запасные, переполнявшие сверх всякой меры столичные казармы.

Император Николай II находился в Ставке, перенесенной еще в 15-м году в Могилев. Обеспокоенный характером беспорядков и размером их, он в ночь на 28 февраля выехал в Царское Село, командировав в столицу с особым отрядом находившегося при нем и пользовавшегося его доверием генерал-адъютанта Иванова.

Однако 1 марта 1917 года, после полудня, от дворцового коменданта генерала Воейкова была получена в штабе Северного фронта из Старой Руссы совершенно неожиданно поразившая всех нас телеграмма с сообщением, что через Дно в Псков следует государь. Ни о цели поездки, ни о порядке следования царского поезда никаких сведений в телеграмме не имелось, и штаб Северного фронта путем отдельных запросов по линии вынужден был установить вероятное время прибытия названного поезда в Псков.

Правда, накануне начальником штаба верховного главнокомандующего генералом Алексеевым было сообщено о намеченной поездке государя из Ставки в Царское Село, но оставалось совершенно неясным, как государь мог оказаться в Старой Руссе, лежавшей в стороне от пути на Царское, и почему он в такой трудной обстановке предпочел следовать в Псков, а не в Ставку. Неизвестен был также и дальнейший маршрут царского поезда.

С большими усилиями удалось выяснить, что государь может прибыть в Псков не ранее 6—7 часов вечера, вернее же — еще позднее. Ввиду такой неопределенности генерал Рузский и я решили в ожидании прибытия царского поезда временно переехать на вокзал, где мы и поместились в стоявшем там на запасном пути вагоне главнокомандующего. В штабе же для связи с нами оставался мой ближайший помощник генерал-квартирмейстер штаба фронта генерал В. Г. Болдырев. Это тот самый генерал, который впоследствии в Сибири в период белого движения до переворота, совершенного адмиралом Колчаком, входил в состав директории членов Учредительного собрания и, будучи членом «Всероссийского Временного правительства», являлся главнокомандующим вооруженными силами этого правительства.

Обстановка к этому времени складывалась далеко не успокоительно...

Еще днем были получены из столицы телеграммы, в одной из которых председатель Государственной думы М. В. Родзянко сообщал генералу Рузскому, что, ввиду устранения от управления всего бывшего Совета Министров, правительственная власть перешла в руки Временного комитета членов Государственной думы, как-никак сформировавшегося самочинно.

Затем из Ставки были получены данные о том, что в Москве началось восстание и гарнизон ее переходит на сторону мятежников, что беспорядки перекинулись в Кронштадт и что командующий Балтийским флотом нашел невозможным протестовать против признания флотом названного выше Временного комитета Государственной думы.

Все эти данные генерал Рузский должен был доложить государю по прибытии его в Псков.

Императорский поезд подошел к станции Псков около восьми часов вечера. Часом раньше прибыл на ту же станцию свитский поезд. Оба поезда носили название литерных: А и Б. Во время царских переездов они шли друг за другом на некотором расстоянии. В пути порядок их обычно менялся, и вперед, для достижения большей безопасности,

шел, по указаниям дворцового коменданта, то «собственный Его Величества поезд» (литера А), то «свитский» (литер Б).

Ко времени подхода царского поезда вокзал был оцеплен и в его помещения никого не пускали. На платформе было поэтому безлюдно. Почетный караул выставлен не был, так как в Пскове строевых частей не имелось; приезд же государя явился вполне неожиданным, почему вызов соответствующей части с фронта был невыполним.

Генерал Рузский и я при приближении царского поезда вышли из нашего вагона на дебаркадер. Впечатление, охватившее меня, было таково, точно в подходившем поезде везли тяжко заболевшего в пути императора...

В вечерней темноте едва можно было заметить очертание вагонов роскошного царского поезда, медленно и бесшумно подкатившего к платформе с изредка пыхтевшим впереди паровозом. Окна вагонов были завешены непроницаемыми шторами, сквозь щели коих пробивались только узкие полоски света, бросавшие на дебаркадере длинные, расширявшиеся вдаль отблески.

Кругом — безмолвие и какое-то зловещее отсутствие жизни, особенно рельефно подчеркивавшееся темными фигурами нескольких служащих, бесшумно вышедших встретить поезд и почтительно замерших на месте. В пустоте и тишине гулко отдавались только наши шаги по мере приближения к месту остановки поезда. Вдруг кто-то торопливо выскочил из едва остановившегося поезда, за ним показались еще два-три силуэта людей. Это были дежурный флигель-адъютант и очередные лейб-казаки. Из числа последних двое отделились и, по обыкновению, встали по бокам дверей, ведших в вагон государя; оттуда же открыли освещенную дверь и спустили на платформу подвижную обитую ковриком лестницу для удобного входа в вагон. Дежурный флигель-адъютант, соскочивший на дебаркадер, вопросительно обратился к подошедшему коменданту и затем быстро направился в нашу сторону.

— Ваше высокопревосходительство,— сказал он генералу Рузскому, беря руку под козырек,— не откажите предварительно пройти к министру двора.

Мы направились в вагон, соседний с царским. Из поезда потянуло теплом, и впечатление привезенного больного, охватившее меня, усилилось еще более. Встревоженные лица, сдержанные рукопожатия, разговоры вполголоса!..

— Государь вас ждет в салоне,— сказал, обращаясь к нам, всегда изысканно-любезный министр двора граф Фредерикс.— Я пойду предупредить его величество о вашем прибытии...

Через несколько секунд нас пригласили пройти через коридор помещения, занимавшегося лично государем, в хорошо знакомый мне зеленоватый салон, составлявший вместе со столовой центральный вагон всего царского поезда.

Там находился уже государь. С большим волнением проходил я через небольшую прихожую, примыкавшую к салону. Впереди шел Н. В. Рузский, волнение которого, как всегда, выражалось только в еще большей, чем обычно, размеренности движений и окаменелости лица. Государь в темно-серой черкеске, составлявшей форму кавказских пластунских батальонов, встретил нас с очень большим наружным спокойствием. Он рассказал нам обычным своим голосом о том, что его поезд на пути в Царское Село был задержан на станции Малая Вишера известием о занятии станции Любани отрядом мятежных войск с орудиями и пулеметами, поэтому он и решил повернуть поезд на Псков, имея намерение сделать попытку пробиться отсюда в Царское Село — цели своего путешествия... Выслушав затем краткий доклад о положении дел на фронте, император Николай II добавил, что ждет приезда в Псков председателя Государственной думы Родзянко, чтобы получить от него прямые и подробные сведения о том, что происходит в столице. Когда же генерал Рузский добавил, что имеет и со своей стороны некоторые данные, относящиеся к тому же вопросу, которые им получены

из Ставки для доклада, то государь ответил, что готов его выслушать сегодня же, после девяти часов вечера.

Перед оставлением царского поезда генерал Рузский и я получили обычное приглашение к обеду, и так как было время собираться к столу, то мы прошли лишь на несколько минут в вагон главнокомандующего, чтобы просмотреть донесения, кои за протекшее время были доставлены нам генералом Болдыревым из штаба.

Обед носил очень тягостный характер. Государь был хотя и молчалив, но наружно спокоен. Всем, разумеется, было не по себе. Хотелось поскорее остаться наедине, чтобы разобраться в своих впечатлениях. Разговор поэтому не клеился. О главном, лежавшем камнем на душе у каждого, никто, конечно, не говорил, вещи же обыкновенные не шли на язык. Я думаю, что все почувствовали большое облегчение, когда подошло время встать из-за стола и явилась возможность для каждого вернуться к себе и к своему делу.

До девяти часов вечера я пробыл с главнокомандующим на вокзале и, только проводив его до царского поезда к докладу, уехал в город, где меня ждали в штабе многочисленные дела и срочные распоряжения.

Во время разбора накопившихся бумаг и беседы со своими сотрудниками мне подали телеграмму из Ставки на имя государя, в которой генерал Алексеев ходатайствовал о даровании стране ответственного министерства с М. В. Родзянко во главе. Ходатайство это мотивировалось необходимостью избежать анархии в стране для продолжения войны. Вместе с телеграммой из Ставки был передан проект соответствующего манифеста.

Часовая стрелка приближалась к десяти часам вечера. Так как генерал Рузский все еще находился на докладе у государя, то я приказал спешно подать себе автомобиль, чтобы лично отвезти ему на вокзал полученную телеграмму, считая ее особо важной и срочной. Обратившись к кому-то из приближенных к государю лиц с просьбой о вызове главнокомандующего, я стал поджидать Н. В. Рузского в свитском вагоне, где меня кольцом обступили с расспросами лица государевой свиты. Объяснив им в пределах допустимого сложившуюся обстановку, я в ответ на их беспокойные вопросы: «Что же делать дальше?» — отвечал в соответствии с содержанием только что полученной телеграммы генерала Алексеева.

— К сожалению,— говорил я,— дело зашло слишком далеко и, вероятно, нужны будут уступки для успокоения взволнованных умов.

Передав вышедшему ко мне главнокомандующему телеграмму на имя государя и получив от него просьбу выяснить время для разговора по прямому проводу с председателем Государственной думы, я возвратился к себе в штаб.

Около полуночи я в третий раз уехал на вокзал, чтобы дождаться там выхода главнокомандующего от государя. Я получил к этому времени очень тревожные известия о том, что гарнизон города Луги перешел на сторону восставших. Это обстоятельство делало уже невозможным направление царских поездов на север и осложняло продвижение в том же направлении эшелонов того отряда, который, согласно распоряжению Ставки, подлежал высылке от Северного фронта на станцию Александровскую в распоряжение генерала Иванова.

Головные эшелоны этого отряда, который был отобран командующим Пятой армией из состава наиболее надежных частей, по нашим расчетам должны были подойти к Петрограду еще утром первого марта. Но затем эти эшелоны были временно задержаны в пути для свободного пропуска литерных поездов, и, где они находились в данное время,— нам оставалось неизвестным.

Генерал Рузский вышел от государя очень утомленным и расстроенным. Он коротко поделился со мной своими впечатлениями.

— Государь,— сказал он,— первоначально намечал ограничиться предложением Родзянке составить министерство, ответственное перед верховной властью, но затем, взвесив обстановку и в особенности приняв во внимание телеграмму Алексеева, остановился окончательно на решении дать стране то же министерство Родзянки, но ответственное перед законодательными учреждениями. Я надеюсь, что это удовлетворит восставших и даст нам возможность довести войну до конца. Обо всем этом,— добавил Н. В. Рузский,— государь будет сам телеграфировать Алексееву. Меня же он уполномочил переговорить с М. В. Родзянкой...

На мой доклад о тех затруднениях, кои могут возникнуть в связи с переходом Лужского гарнизона на сторону восставших, генерал Рузский ответил, что государь предусматривает мирный исход возникших событий, почему, между прочим, и разрешил теперь же возвратить обратно в Двинск отряд, высланный на север из состава Пятой армии.

Содержание этого ответа очень интересно сопоставить с показанием, данным чрезвычайной следственной комиссии генералом Дубенским, лицом, назначение коего заключалось в ведении записи «Царских действий во период пребывания государя на театре военных действий». Этот генерал, находившийся в описываемое время в составе государевой свиты, свидетельствует, что уже с ночи на первое марта в царских поездах не существовало настроения борьбы и в ближайшем к царю окружении только и говорили о необходимости «сговориться» с Петроградом и выработать условия соглашения. Такое соглашательское настроение особенно упрочилось после получения царем известия, что в Псков на свидание с ним предполагает выехать М. В. Родзянко.

Зная, что Н. В. Рузскому предстоит ночью же длинная и ответственная беседа с М. В. Родзянко, я не стал расспрашивать о подробностях доклада...

Недоброжелатели генерала Рузского впоследствии стали распространять слухи, будто он держал себя во время продолжительной беседы с императором Николаем II резко и даже грубовато, позволяя себе громкие выкрики и неосторожные выражения.

По этому поводу я должен прежде всего отметить, что данная беседа с государем происходила без свидетелей, с глазу на глаз, и что поэтому никто, кроме самого государя, не мог дать правильной оценки поведения генерала Рузского в течение их разговора. Лучшим же ответом на вопрос о том впечатлении, которое оставила эта беседа на государя, служит то неизменно предупредительное и доверчивое отношение, которое сохранил император Николай II к главнокомандующему Северным фронтом до последней минуты расставания.

Генерал Рузский всегда и со всеми держал себя непринужденно просто. Его медленная, почти ворчливая по интонации речь, состоявшая из коротких фраз и соединенная с суровым выражением его глаз, смотревших из-под очков, производила всегда несколько суховатое впечатление, но эта манера говорить хорошо была известна государю и была одинаковой со всеми и при всякой обстановке. Спокойствия и выдержки у генерала Рузского было очень много, и я не могу допустить, чтобы в обстановке беседы с государем, проявлявшим к генералу Рузскому всегда много доверия, у последнего могли сдать нервы...

Вернее думать, что людская клевета и недоброжелательство пожелали превратить честного и прямолинейного генерала Рузского в недостойную фигуру распоясавшегося предателя.

Свою жизнь генерал Рузский запечатлел мужественной смертью в Пятигорске, где он был изрублен шашками большевистских палачей в одну из жутких по описаниям ночей конца 1917 года.

Да будет стыдно его клеветникам!..

В половине четвертого утра на второе марта началась телеграфная беседа главно-

командующего армиями Северного фронта с председателем Государственной думы; беседа эта затянулась до 7.30 часов утра.

Н. В. Рузский чувствовал себя настолько нехорошо, что сидел у телеграфного аппарата в глубоком кресле и лишь намечал главные вехи того разговора, который от его имени вел я. Навертывавшаяся лента по мере хода разговора передавалась частями через моего секретаря генералу Болдыреву для немедленной передачи ее содержания генералу Алексееву в Ставку.

О этот ужасный «Юз», характерное выстукивание которого за время войны настолько глубоко врезалось мне в душу и память, что еще и теперь мне иногда по ночам чудятся напоминающие его стуки и в тревоге думается о том, что сейчас принесут его мучительные ленты!!.

Прежде всего требовалось выяснить причины, по которым М. В. Родзянко, как к этому времени стало известно, уклонился от первоначального решения лично прибыть в Псков. Таковых причин, по заявлению собеседника генерала Рузского, оказалось две.

Во-первых, переход Лужского гарнизона на сторону восставших и решение, якобы вынесенное им,— никого не пропускать в Псков и обратно.

— Вторая причина,— пояснял М. В. Родзянко,— полученные сведения, что мой приезд может повлечь за собою нежелательные последствия; невозможно, кроме того, оставить разбушевавшиеся народные страсти без личного присутствия, так как до сих пор верят только мне и исполняют только мои приказания.

Несомненно, как мы теперь знаем, в этом заключении краски были очень сгущены, и степень влияния председателя Государственной думы на события, как это и можно было усмотреть даже из дальнейшего разговора, являлась в значительной мере преувеличенной.

Но в то время подобной самооценке председателя Государственной думы хотелось верить, ибо она давала нам надежду на то, что предложение государя об образовании М. В. Родзянкой ответственного перед законодательными палатами министерства будет этим последним принято и успокоит возникшие волнения.

— Государь,— говорил Н. В. Рузский,— уполномочил меня довести об его предложении до вашего сведения и осведомиться, не найдет ли желание его величества в вас отклик?

— Очевидно,— отвечал М. В. Родзянко,— его величество и вы не отдаете себе отчета в том, что происходит в столице. Настала одна из страшнейших революций, побороть которую будет не так легко... Перерыв занятий законодательных учреждений подлил масла в огонь и мало-помалу наступила такая анархия, что Государственной думе вообще, а мне в частности, оставалось только попытаться взять в свои руки движение и стать во главе для того, чтобы предупредить возможность гибели государства...

— К сожалению,— сознавался председатель Государственной думы, в противоречие с первыми его словами,— мне это далеко не удалось, и народные страсти так разгорелись, что сдержать их вряд ли будет возможно. Войска окончательно деморализованы, и дело доходит до убийства офицеров. Ненависть к императрице дошла до крайних пределов. Вынужден был во избежание кровопролития арестовать всех министров и заключить в Петропавловскую крепость. Очень опасаюсь, что такая же участь постигнет и меня, так как агитация направлена на все, что более умеренно. Считаю нужным вас осведомить, что то, что предполагается вами, теперь уже недостаточно и династический вопрос поставлен ребром. Сомневаюсь, чтобы с этим вопросом можно было справиться.

— Но ведь надо найти средство,— отвечал генерал Рузский,— для умиротворения страны и доведения войны до конца, соответствующего нашей великой Родине. Не можете ли вы мне сказать, в каком виде у вас намечается разрешение династического вопроса?

— С болью в сердце буду отвечать вам,— говорил председатель Государственной

думы.— Ненависть к династии дошла до крайних пределов, но весь народ, с кем бы я ни говорил, выходя к толпам и войскам, решил твердо довести войну до победного конца. К Государственной думе примкнули весь Петроградский и Царскосельский гарнизоны. То же самое повторяется во всех городах, нигде нет разногласий: везде войска становятся на сторону Думы и народа. Грозные требования отречения в пользу сына при регентстве Михаила Александровича становятся вполне определенными. Присылка генерала Иванова с Георгиевским батальоном,— закончил свою речь М. В. Родзянко,— привела только к междоусобному сражению, так как сдержать войска, не слушающиеся своих офицеров, нет возможности. Кровью обливается сердце при виде того, что происходит. Прекратите присылку войск, так как они действовать против народа не будут. Пример — ваш отряд, головной эшелон которого присоединился к восставшему гарнизону города Луги. Остановите ненужные жертвы...

— Войска в направлении Петрограда,— отвечал генерал Рузский,— высланы по общей директиве Ставки. Теперь этот вопрос ликвидируется, и генералу Иванову послано указание не предпринимать ничего до предполагавшегося свидания его с государем в столице. Необходимо, однако, Михаил Владимирович, найти такой выход, который дал бы стране немедленное умиротворение. Войска на фронте с томительной тревогой и тоской оглядываются на то, что делается в тылу, а начальники лишены возможности сказать им свое авторитетное слово. Государь идет навстречу желаниям народа, и было бы в интересах родины, ведущей ответственную войну, чтобы почин императора нашел отзыв в сердцах тех, кто может остановить пожар.

— Вы, Николай Владимирович,— выстукивал аппарат слова М. В. Родзянко,— истерзали вконец мое и так растерзанное сердце. Но повторяю вам: я сам вишу на волоске, и власть ускользает у меня из рук. Анархия достигает таких размеров, что я вынужден был сегодня ночью назначить Временное правительство. Проектируемая вами мера запоздала. Время упущено, и возврата нет. Народные страсти разгорелись в области ненависти и негодования. Хотелось бы верить, что хватит сил удержаться в пределах теперешнего расстройства умов, мыслей и чувств, но боюсь, как бы не было еще хуже... Желаю всего хорошего!..— Родзянко.

— Михаил Владимирович, еще несколько слов. Имейте в виду, что всякий насильственный переворот не может пройти бесследно, и, если анархия перекинется в армию и начальники потеряют авторитет власти, подумайте, что будет тогда с Родиной нашей...

— Николай Владимирович, не забудьте, что переворот может быть добровольным и вполне для всех безболезненным; тогда все кончится в несколько дней...

Этими словами, по-видимому намекавшими на неизбежность добровольного отречения государя от престола, разговор закончился... Ими ответственность за грядущие события перекладывалась как бы на плечи Н. В. Рузского, который в течение всего этого времени мучительно искал наилучшего выхода из создавшегося положения для возможности продолжения войны...

По окончании беседы с М. В. Родзянко генерал Рузский ушел к себе отдыхать, я же оставался без сна, подавленный быстрым течением развертывавшихся событий. Я очень опасался, что при хорошо мне известном нерешительном и колеблющемся характере императора Николая все решения его могут оказаться запоздалыми и потому не разрешающими надвигавшегося кризиса.

Около девяти часов утра второго марта я был вызван генерал-квартирмейстером Ставки к телеграфному аппарату. Генерал Лукомский передал мне просьбу генерала Алексеева немедленно довести до сведения государя содержание разговора Н. В. Рузского с Родзянкой.

— А теперь,— добавил он,— прошу тебя доложить от меня генералу Рузскому, что, по

моему глубокому убеждению, выбора нет и отречение государя должно состояться. Этого требуют интересы России и династии...

Опыт войны научил меня в серьезной обстановке избегать больше всего суеты и дорожить отдыхом окружающих, так как неизвестно, насколько придется форсировать их силы в будущем. Зная, что генерал Рузский только недавно прилег и что он вскоре должен будет подняться, чтобы ехать на вокзал к государю, который, вероятно, также еще отдыхает, я ответил, что разговор генерала Рузского с председателем Государственной думы будет доложен «своевременно».

Что касается последних слов генерала Лукомского, то из них я не мог не вывести того заключения, что в Ставке наиболее ответственные лица присоединялись к мнению М. В. Родзянко о неизбежности отречения императора Николая II от престола. Я счел, однако, необходимым предупредить Ставку о трудности немедленного получения от государя определенного решения по сему поводу.

И действительно, как я предвидел, не обошлось без колебаний.

Приехав к десяти часам утра на вокзал и войдя в вагон к государю, рассказывал впоследствии генерал Рузский, главнокомандующий просил императора Николая ознакомиться с содержанием своего ночного разговора с М. В. Родзянкой путем прочтения соответствующей телеграфной ленты. Государь взял листки с наклеенной на них лентой и внимательно прочел их. Затем он поднялся, подошел к окну вагона, в которое и стал пристально всматриваться. Генерал Рузский также привстал со своего кресла. После нескольких очень тягостных секунд молчания государь повернулся к главнокомандующему и стал сравнительно спокойным голосом обсуждать создавшееся положение, указывая на те трудности, которые препятствуют ему пойти навстречу предлагаемому решению...

Но в это время генералу Рузскому подали конверт с дополнительно присланною ему мною телеграммой от генерала Алексеева на имя главнокомандующих всеми фронтами. Телеграмма эта была отправлена из Ставки в десять часов пятнадцать минут утра.

В этой телеграмме излагалась общая обстановка, как она была обрисована М. В. Родзянкой в разговоре с генералом Рузским, и приводилось мнение председателя Государственной думы о том, что спокойствие в стране, а следовательно, и возможность продолжения войны могут быть достигнуты только при условии отречения императора Николая II от престола в пользу его сына при регентстве великого князя Михаила Александровича.

— Обстановка, по-видимому, не допускает иного решения,— добавлял от себя генерал Алексеев.— Необходимо спасти действующую армию от развала, продолжить до конца борьбу с внешним врагом, спасти независимость России и судьбу династии. Это нужно поставить на первом плане, хотя бы ценою дорогих уступок.

— Если вы разделяете этот взгляд,— обращался далее начальник штаба верховного главнокомандующего ко всем главнокомандующим фронтами,— то не благоволите ли вы телеграфировать весьма спешно свою верноподданническую просьбу Его Величеству, известив меня?

Данной телеграммой генерал Алексеев привлекал к обсуждению вопроса о необходимости отречения императора Николая II от престола всех главнокомандующих фронтами. Каждому из них предстояло, отбросив все личные ощущения, серьезно взвесить, возможно ли рассчитывать на доведение до благополучного конца внешней войны при условии отрицательного отношения к мысли об отречении и вероятного возникновения в этом случае кровавой междоусобицы внутри государства, а может быть, и на фронте...

Ввиду такого направления вопроса государь, по совету Н. В. Рузского, согласился прежде принятия окончательного решения выждать получения соответственных ответов.

В течение утренних часов в штабе Северного фронта разновременно получен был ряд весьма серьезных сообщений.

Поступило извещение о том, что собственный его величества конвой, остававшийся в Петрограде, якобы последовал примеру других частей и являлся в Государственную думу, прося через своих уполномоченных разрешения арестовать тех офицеров, которые отказывались принимать участие в восстании.

Почти всех людей этого конвоя государь и вся царская семья знали поименно, очень баловали их, почему переход этой части на сторону восставших должен был быть особо показательным в смысле оценки настроений; самый же факт этот должен был быть, очевидно, весьма тягостным для государя лично.

Также получено сведение, будто остававшийся в Петрограде великий князь Кирилл Владимирович, как значилось в соответственной телеграмме, выразил желание «вступить в переговоры с исполнительным комитетом».

Наконец, получена была на имя государя от генерала Алексеева телеграмма, долженствовавшая иметь решающее значение. В ней текстуально передавалось содержание ответных ходатайств на высочайшее имя главнокомандующих: Кавказского фронта — великого князя Николая Николаевича, Юго-Западного фронта — генерала Брусилова и Западного фронта — генерала Эверта. В разных выражениях все три упомянутые лица просили императора Николая II принять решение, высказанное председателем Государственной думы, признавая его единственным, могущим спасти Россию, династию и армию, необходимую для доведения войны до благополучного конца.

Передавая эти телеграммы, начальник штаба государя и со своей стороны обращался к императору Николаю II с горячей просьбой принять решение об отречении, которое, как выражался генерал Алексеев, «может дать мирный и благополучный исход из создавшегося более чем тяжкого положения».

Несколько позднее получены были телеграммы от главнокомандующего Румынским фронтом генерала Сахарова и командующего Балтийским флотом вице-адмирала Непенина.

Генерал Сахаров после короткого и малодостойного по редакции лирического вступления, которое он назвал «движением сердца и души», оказался все же вынужденным обратиться, как он выразился, «к логике разума». Считаясь с последней, он также признавал, что, «пожалуй», наиболее безболезненным выходом для страны и для сохранения возможности биться с внешним врагом является решение об отречении, «дабы промедление не дало пищу к предъявлению дальнейших, еще гнуснейших притязаний!».

Вице-адмирал Непенин, присоединившись к ходатайствам главнокомандующих, добавлял: «С огромным трудом удерживаю в повиновении флот и вверенные мне войска. ...Если решение не будет принято в течение ближайших же часов, то это повлечет за собой катастрофу с неисчислимыми бедствиями для нашей Родины».

Таким образом все запрошенные лица высказались за необходимость отречения императора Николая II от престола, причем доминирующим мотивом служило стремление обеспечить возможность доведения России до победного конца войны...

За ранним обедом в доме главнокомандующего генерал Рузский обратился ко мне и к генералу Савичу, главному начальнику снабжений армий фронта, с просьбой быть вместе с ним на послеобеденном докладе у государя императора.

— Ваши мнения, как ближайших моих сотрудников, будут очень ценными, как подкрепление к моим доводам. Государь уже осведомлен о том, что я приду к нему с вами...

Возражать не приходилось, и около 2.30 часов дня мы втроем уже входили в вагон к государю.

Император Николай ждал нашего прибытия в хорошо нам уже известном зеленом салоне вагона-столовой. Наружно он казался спокойным, но выглядел бледнее обыкновен-

иого, и иа лице его между глазами легли две глубокие складки, свидетельствовавшие о бессоииой иочи и переживаемых им тревогах. Государь был одет все в тот же темио-серый кавказский бешмет с погоиами пластуиского батальоиа его имеии и перепоясан тоиким чериым ремешком с серебряиыми пряжками; иа этом поясе спереди висел киижал в иожнах, оправлеииый также серебром.

Приветливо встретив иас, государь попросил всех сесть и курить, ио я и геиерал Савич иевольио продолжали стоять под давлеиием крайней ответствеииости предстоявшей беседы. Сам государь и утомлеиный всем предыдущим главиокомандующий сели за стол друг против друга. Геиерал Рузский стал медлеиио и отчетливо докладывать о всех получеииых за последиие часы сведеииях. Когда очередь дошла до телеграммы геиерала Алексеева с заключеииями главиокомаидующих, то геиерал Рузский положил телеграфиые листки иа стол перед государем и просил прочесть их лично

Дав время государю для виимательиого озиакомлеиия с содержаиием телеграмм, геиерал Рузский высказал твердо и определеино свое миеиие, заключавшееся в иевозможиости для государя при даииых условиях прииять какое-либо иное решеиие, кроме того, которое вытекало из советов всех запрошеииых лиц.

— Но ведь что скажет юг,— возразил государь, вспомииая о своей поездке с императрицей по южиым городам, где, как иам передавали, царскую чету встречали с энтузиазмом.— Как, иакоиец, отнесется к этому акту казачество?

И голос его стал вибрировать, по-видимому, от горького воспомииаиия о только что прочитаииом ему доиесеиии, касавшемся казаков его конвоя.

— Ваше величество,— сказал геиерал Рузский, вставая,— я вас прошу еще выслушать миеиие моих помощииков,— и он указал на нас.— Оии самостоятельиые и прямые люди, глубоко любящие Россию; притом же по своей службе оии прикасаются к большему кругу лиц, чем я. Их миеиие об общей оцеике положеиия полезио.

— Хорошо,— сказал государь,— ио только прошу высказываться вполне откровенно. Мы все очеиь волиовались.

Государь обратился ко мие первому.

— Ваше императорское величество,— сказал я.— Мие хорошо известиа сила вашей любви к Родиие. И я увереи, что ради нее, ради спасеиия дииастии и возможиости доведеиия войны до благополучиого коица Вы прииесете ту жертву, которую от вас требует обстановка. Я не вижу другого выхода из положеиия помимо иамечеииого председателем Государствеииой думы и поддерживаемого старшими начальииками действующей армии!..

— А вы какого миеиия? — обратился государь к моему соседу, геиералу Савичу, который, видимо, с трудом сдерживал душивший его порыв волиеиия.

— ...Я... я... человек прямой... о котором вы, ваше величество, вероятио, слышали от геиерала Дедюлина *, пользовавшегося вашим исключительиым доверием... Я в полиой мере присоедииюсь к тому, что доложил вашему величеству геиерал Даиилов...

Наступило гробовое молчаиие...

Государь подошел к столу и иесколько раз, по-видимому, ие отдавая себе отчета, взглянул в вагоииое окно, прикрытое заиавеской. Его лицо, обыкиовеиио малоподвижное, иепроизвольио перекосилось каким-то иикогда миою раньше ие иаблюдавшимся движеиием губ в сторону. Видио было, что в душе его зреет какое-то решеиие, дорого ему стоящее!..

Наступившая тишииа иичем ие иарушалась. Двери и окиа были плотио прикрыты. Скорее бы... скорее коичиться этому ужасиому молчаиию!..

Резким движеиием император Николай вдруг повериулся к иам и твердым голосом произнес:

* Бывший дворцовый комендант.

— Я решился... Я решил отказаться от престола в пользу своего сына Алексея...

При этом он перекрестился широким крестом. Перекрестились и мы.

— Благодарю всех вас за доблестную и верную службу. Надеюсь, что она будет продолжаться и при моем сыне.

Минута была глубоко торжественная.

Обняв генерала Рузского и тепло пожав нам руки, император медленными, задерживающимися шагами прошел в свой вагон.

Мы, присутствовавшие при всей этой сцене, невольно преклонились перед той выдержкой, которая проявлена была только что отрекшимся императором Николаем в эти тяжелые и ответственные минуты...

Как это часто бывает после долгого напряжения, нервы как-то сразу сдали... Я, как в тумане, помню, что вслед за уходом государя кто-то вошел к нам и о чем-то начал разговор. По-видимому, это были ближайшие к царю лица... Все были готовы говорить о чем угодно, только не о том, что являлось самым важным и самым главным в данную минуту... Впрочем, дряхлый граф Фредерикс, кажется, пытался сформулировать свои личные ощущения. Говорил еще кто-то... и еще кто-то... их почти не слушали.

Вдруг вошел сам государь. Он держал в руках два телеграфных бланка, которые передал генералу Рузскому с просьбой об их отправке. Листки эти главнокомандующим были переданы мне для исполнения.

«Нет той жертвы, которой я не принес бы во имя действительного блага и для спасения родимой матушки-России. Посему я готов отречься от престола в пользу моего сына с тем, чтобы он оставался при мне до совершеннолетия, при регентстве брата моего — Михаила Александровича» — такими словами, обращенными к председателю Государственной думы, выражал император Николай II принятое им решение. «Во имя блага, спокойствия и спасения горячо любимой России я готов отречься от престола в пользу моего сына. Прошу всех служить ему верно и нелицемерно»,— осведомлял он о том же своего начальника штаба телеграммой в Ставку.

Какие красивые порывы, подумал я, заложены в душе этого человека, все горе и несчастье которого в том, что он был дурно окружен!..

Было около четырех часов дня, когда мы выходили из вагона. На дебаркадере генералу Рузскому была подана присланная из штаба телеграмма о совершенно неожиданном для нас приезде в тот же день, вечером, из Петрограда двух видных членов законодательных палат: члена Государственного совета А. И. Гучкова и члена Государственной думы В. В. Шульгина. С какой миссией едут они к нам в Псков? Мысль об этом осложняла обстановку, и нам казалось, что, прежде чем на что-либо решиться бесповоротно, осторожнее было выждать прибытия упомянутых лиц.

Под влиянием таких соображений генерал Рузский вернулся в вагон к государю, который, одобрив сделанный ему доклад генерала Рузского, повелел задержать отправку по назначению заготовленных телеграмм.

В ожидании прибытия депутатов из столицы я возвратился к себе в штаб. Главнокомандующий же решил остаться в своем вагоне на вокзале.

В штабе меня буквально разрывали на части, поминутно вызывали к аппарату из Ставки, где, видимо, очень тревожились неполучением определенного решения.

В этот период времени из Могилева от генерала Алексеева был получен проект манифеста на случай, если бы государь принял решение о своем отречении в пользу цесаревича Алексея. Проект этого манифеста, насколько я знаю, был составлен директором Дипломатической канцелярии при верховном главнокомандующем Н. А. Базили по общим указаниям генерала Алексеева.

По получении проекта манифеста я немедленно отправил таковой генералу Рузскому в его вагон.

Около десяти часов вечера я получил известие о скором прибытии поезда с ехавшими к нам депутатами и потому отправился снова на вокзал.

Я нашел генерала Рузского в его вагоне выслушивавшим доклад коменданта города Пскова. Последний только что получил сообщение, впоследствии оказавшееся ложным, о движении со стороны Луги по шоссе на Псков броневых автомобилей с солдатами, принадлежавшими Лужскому гарнизону.

Надо сказать, что разного рода тревожным слухам в то время не было конца, почему к ним и надлежало, в общем, относиться с большою осторожностью. Тем не менее вышеупомянутое известие, ввиду перехода Луги на сторону восставших и нахождения на станции Псков императорского поезда, очень взволновало всегда спокойного главнокомандующего, и он тут же отдал ряд распоряжений об остановке этих автомобилей силою, не допуская до Пскова.

Покончив с этим делом, генерал Рузский сообщил мне, что им отдано распоряжение о передаче ожидаемым депутатам просьбы пройти к нему в вагон прежде представления императору, дабы предварительно осведомиться, «с чем они приехали»; затем он рассказал мне все, что произошло в мое отсутствие.

— Обдумывая наедине еще и еще раз положение,— сказал мне Н. В. Рузский,— и приняв в соображение, что сюда едет В. В. Шульгин (слывший у нас всегда убежденным и лояльным монархистом), мне пришла в голову мысль: не повернулись ли дела в столице таким образом, что отречение государя явится ненужным и что страна окажется удовлетворенной созданием ответственного министерства?

— Это прежде всего доказывает правильность вашего совета государю: не отправлять телеграмм об отречении до беседы с ожидаемыми депутатами,— ответил я.

— Да, но мне думается, что в царском поезде происходят какие-то колебания в этом отношении. Я вижу это из того, что государь присылал ко мне Нарышкина * взять назад отданные мне временно на хранение телеграммы.

— Как же поступили вы, Николай Владимирович? — спросил я.

— Я сказал Нарышкину, что буду по этому поводу с личным докладом у государя, и затем действительно прошел в вагон к его величеству. Государь объяснил мне свое требование о возвращении телеграмм его настоятельным желанием не отправлять таковые впредь до нового распоряжения. Я успокоил его в этом отношении, и телеграммы остались у меня. Но в этом эпизоде,— добавил генерал Рузский,— я усмотрел наличие в царском вагоне каких-то новых колебаний.

Только впоследствии мне пришлось узнать, что государь в этот период дня долгое время совещался с лейб-хирургом профессором С. П. Федоровым о здоровье своего сына.

Получив новое подтверждение о неизлечимой болезни цесаревича Алексея, государь император, видимо, тогда же решил изменить характер своего отречения и отказаться от престола не только за себя, но и за сына. Генералу Рузскому он, однако, о своем новом решении не сказал ни слова.

Чрезвычайно живо описывается в некоторых воспоминаниях тот, скажу «подсознательный», процесс, который в конце концов вылился в определенную мысль о неизбежности немедленного отречения от престола императора Николая. Однако авторы этих воспоминаний ошибаются, когда говорят, что мысль эта была впервые оформлена не в

* Один из флигель-адъютантов императора Николая II.

столице, а в Ставке, и при этом называют, в целях обвинения, имя генерала Алексеева.

Из приведенного выше мною рассказа видно, что уже в ночь на второе марта председатель Государственной думы во время своей беседы с Н. В. Рузским определенно затронул династический вопрос. Что же касается генерала Алексеева, то последний лишь присоединился к мысли, высказанной по этому вопросу М. В. Родзянкой, и передал ее на заключение главнокомандующих фронтами в телеграмме того же второго марта, но отправленной из Ставки, как мною уже отмечалось, лишь утром названного числа.

Я не думаю, чтобы почин в вопросе об отречении мог иметь какое-либо решающее значение, ибо мысль о неизбежности такового отречения зарождалась у массы людей, и притом у части их — задолго даже до возникновения сейчас описываемых событий. Вытекала же она из оценки ими реальной обстановки того времени. И если я счел необходимым остановить на данном обстоятельстве внимание моих читателей, то лишь в интересах исторической точности хода событий.

Важно, наоборот, отметить, что уже к ночи на второе марта эта мысль созрела и в Петрограде и в Ставке окончательно и что она стала обсуждаться громко, но не в качестве принудительного революционного «действа», а как лояльный акт, долженствовавший исходить сверху и казавшийся наиболее безболезненным выходом из создавшегося тупика.

В такой постановке вопрос подвергся обсуждению и во Временном комитете членов Государственной думы, причем этот комитет пришел к выводу о желательности доведения его заключения до сведения государя. Точно так же было поступлено и начальником штаба верховного главнокомандующего, равно главнокомандующими всеми фронтами, представившими честно и откровенно свои мнения на высочайшее воззрение. Здесь не было потому ни «измены», ни тем более «предательства».

Эти слова, найденные впоследствии с дневнике отрекшегося императора, должны были быть отнесены, конечно, не к тем, кто брал на себя решимость высказываться в столь трудное время о возможных выходах из положения, но скорее к тем, кто, горой стоя за устаревшие формы самодержавия в дни «силы» последнего, исчез с лица земли в решительную минуту и оставил царя, как жертву и искупление за упрямое безумие его прежних советников!

Для выполнения ответственной задачи по осведомлению императора Николая II о том, что комитет Государственной думы находит единственным выходом из создавшегося положения его отречение в пользу сына императора, и для доставления, в случае согласия государя с этим мнением, соответствующего манифеста добровольно вызвались выехать в Псков А. И. Гучков и В. В. Шульгин. Оба эти лица, принадлежа к монархическим партиям, насколько мне известно, полагали, что передача акта об отречении императора Николая II в пользу сына через них не будет знаменовать окончательного крушения в России монархии вообще и династии в частности. Правда, А. И. Гучков был из числа тех общественных деятелей, которых особенно не любили при дворе, считая их лидерами оппозиции и врагами «святого старца», но там, при дворе, простодушно полагали вообще, что всякая оппозиция вредна и непременно несет в себе зародыши революционности. Во всяком случае, совсем иначе могло быть истолковано дело отречения, если бы в поездке к царю приняли участие представители левых партий, как об этом одно время шли разговоры в Таврическом дворце.

— Я отлично понимаю, почему я еду,— говорит в своих воспоминаниях В. В. Шульгин.— Я чувствовал, что невозможно поставить государя лицом к лицу с «Чхеидзе». Отречение должно быть передано в руки монархистов и ради спасения монархии!..

Так ставился вопрос в то время лояльными кругами.

Около десяти часов вечера второго марта к концу длинной платформы станции Псков

подошел поезд, доставивший из столицы депутатов. Поезд, собственно, состоял из паровоза и только одного вагона. Половину последнего, как доложил впоследствии комендант станции, занимал салон, другая же половина была подразделена на несколько отделений с длинными поперечными диванами в каждом из них.

Генерал Рузский и я, думая, что приехавшие, согласно переданной им просьбе, зайдут предварительно к нам, стали поджидать депутатов в вагоне главнокомандующего. Но прошло несколько минут, а никто не появлялся. Я вышел тогда на платформу узнать, в чем дело, и издали увидел в темноте прихрамывающую фигуру А. И. Гучкова в теплой шапке и пальто с барашковым воротником; рядом с ним шел В. В. Шульгин. Оба они были окружены, словно конвоем, несколькими железнодорожниками, вышедшими по обязанности службы встречать столичных гостей. Впереди же двигавшейся к царскому поезду группы шел дежурный флигель-адъютант, кажется, полковник Мордвинов или герцог Лейхтенбергский.

Я понял, что из царского поезда последовало депутатам приглашение: проследовать непосредственно к государю. Поэтому, пропустив мимо себя шедших, я вернулся в вагон и поделился своим выводом с генералом Рузским.

— Ну что ж,— сказал последний,— у нас нет никаких тайных соображений, чтобы пытаться изменить установленный сверху порядок встречи. Я думаю, что для дела было бы полезнее предварительно обсудить создавшуюся обстановку до приема государем Гучкова и Шульгина. Теперь же подождем здесь, пока за нами пришлют.

Через некоторое время мы — не помню теперь, через кого — получили приглашение государя пройти к нему в вагон.

В прихожей вагона на вешалке висели два как будто мне уже знакомых штатских пальто,— почему-то резким пятном они бросились мне в глаза. «Они уже там»,— мелькнуло у меня в мозгу. И действительно, в хорошо знакомом мне зеленоватом салоне, за небольшим четырехугольным столом, придвинутым к стене, сидели с одной стороны государь, а по другую сторону, лицом к входу, А. И. Гучков и В. В. Шульгин. Тут же, если не ошибаюсь, сидел или стоял, точно призрак в тумане, 78-летний старик — граф Фредерикс.

На государе был все тот же серый бешмет, и сбоку на ремне висел длинный кинжал. Депутаты были одеты по-дорожному: в пиджаках и имели «помятый» вид. Очевидно, на них отразились предыдущие бессонные ночи, путешествие и волнения... Особенно устало выглядел Шульгин, к тому же, как казалось, менее владевший собою. Воспаленные глаза, плохо выбритые щеки, съехавший несколько на сторону галстук вокруг измятого в дороге воротника...

Генерал Рузский и я при входе молча поклонились. Главнокомандующий присел у стола, а я поместился поодаль — на угловом диване.

Вся мебель в гостиной была сдвинута со своих обычных мест к стенам вагона, и посередине образовалось свободное пространство.

Кончал говорить Гучков. Его ровный мягкий голос произносил тихо, но отчетливо роковые слова, выражавшие мысль о неизбежности отречения государя в пользу цесаревича Алексея при регентстве великого князя Михаила Александровича.

«К чему эти повторения»,— подумал я, упустив из виду, что депутатам неизвестно решение государя, уже принятое днем, за много часов до их приезда...

В это время плавная речь Гучкова как бы перебилась голосом государя:

— Сегодня, в три часа дня, я уже принял решение о собственном отречении, которое и остается неизменным. Вначале я полагал передать престол моему сыну Алексею, но затем, обдумав положение, переменил свое решение и ныне отрекаюсь за себя и своего сына в пользу моего брата — Михаила. Я желал бы сохранить сына при себе, и вы,

коиечно, поймете,— произнес он, волнуясь,— те чувства, которые миою руководят в даииом желаиии.

Содержаиие последних слов было для генерала Рузского и меия полиою неожиданиостью! Мы переглянулись, ио, очевидио, ни ои, ии тем более я ие могли вмешаться в разговор, который велся между государем и члеиами законодательных палат и при котором мы лишь присутствовали в качестве свидетелей.

К немалому моему удивлению, против решения, объявлеииого государем, ие протестовали ни Гучков, ии Шульгин.

Государь, иесколько помолчав, встал, намереваясь пройти в свой вагон. Подиялись со своих мест и все мы, молча и почтительно проводив императора взглядами...

А. И. Гучков и В. В. Шульгин отошли в угол вагона и стали о чем-то вполголоса совещаться.

Выждав несколько, я подошел к Гучкову, которого зиал довольно близко по предшествовавшей совместной работе в комиссии обороны Государственной думы. А. И. долго был председателем этой комиссии, я же часто ее посещал в качестве представителя главного управлеиия Геиерального штаба по различным вопросам воениого характера.

— Скажите, Александр Иванович,— спросил я,— иасколько решение императора Николая II отречься от престола не только за себя, ио и за сыиа является согласованным с нашими основными законами? Не вызовет ли такое решение в будущем тяжелых последствий?

— Не думаю,— ответил мой собеседник,— но если вопрос этот вас интересует более глубоко, обратитесь с ним к Шульгииу, который у иас является специалистом по такого рода государствеиио-юридическим вопросам.

И тут же Гучков познакомил меня с В. В. Шульгиным, с которым я до того времени зиаком не был.

— Видите ли,— сказал мне В. В., выслушав меия,— иесомнеиио здесь юридическая иеправильиость. Но с точки зреиия практической, которая сейчас должна превалировать, я должен высказаться в пользу прииятого решеиия. При воцарении цесаревича Алексея будет весьма трудно изолировать его от влияиия отца и, главное, матери, столь неиавидимой в России. При таких условиях останутся прежиие влияиия и самый отход от власти родителей малолетиего императора станет фиктивиым. Едва ли таким решением удовлетворится страиа. Если же отстранить отца и мать совсем от ребенка, то этим будет косвеиио еще более подорвано слабое здоровье цесаревича Алексея, не говоря уже о том, что его воспитаиие явится ненормальным. Терновым венком страданий будут увеичаны головы всех троих!..

Возбужденный миою вопрос иыне, после трагической смерти всех лиц, о коих шла речь, потерял, коиечио, всякое практическое зиачение. Но в то время я считал его весьма важным, могущим иметь серьезные последствия. Поэтому я чувствовал удовлетворение в том, что имел случай довести о ием до сведения тех, кто получил от временного комитета Государствениой думы полномочия урегулировать вопрос отречеиия и, в случае согласия на это государя, привезти в столицу соответственный докумеит.

Дальнейший разговор как-то ие клеился...

Граф Фредерикс пытался, кажется, узнать у депутатов подробности сожжения его дома в столице, во время которого, как говорили, была сильно иапугана его больная жеиа. Но видно было, что и у почтеииого восьмидесятилетнего старца его личные заботы отходили иа второй план и что ои полои был мыслями о тех событиях, кои совершались перед его глазами...

Минуты казались часами.

Но вот наконец вошел государь и принес с собою текст манифеста, отпечатанный на пишущей машинке на нескольких белых листках телеграфных бланков. Насколько помню, это и был тот проект, который составляли в Ставке, но только несколько видоизмененный соответственно последнему решению государя.

Депутаты внимательно ознакомились с содержанием манифеста и просили о вставке в его текст нескольких слов, казавшихся им необходимыми. Государь, не возражая, охотно исполнил эту просьбу. Затем государем тут же, у столика, был набросан текст двух указов Правительствующему сенату: один — о бытии верховным главнокомандующим великого князя Николая Николаевича и другой указ — о назначении Председателем Совета Министров князя Георгия Евгеньевича Львова.

Вопрос о передаче верховного главнокомандования великому князю, подсказанный, насколько помню, Н. В. Рузским, казался всем очевидно бесспорным. Что же касается второго назначения, то таковое было сделано в соответствии с мнением, выраженным присутствовавшими при этом депутатами.

Побеседовав еще несколько минут, государь распростился со всеми, приветливо пожал всем нам руки и удалился к себе в вагон.

Я больше не видел отрекшегося императора...

Все стали выходить из вагона...

Следуя сзади всех, я оглянулся, чтобы бросить последний взгляд на опустевший салон, служивший немым свидетелем столь важного события. Небольшие художественные часы на стене вагона показывали без четверти двенадцать. На красном ковре пола валялись скомканные клочки бумаги... У стен беспорядочно отодвинутые стулья... Посередине вагона с особой рельефностью зияло пустое пространство, точно его занимал только что вынесенный гроб с телом усопшего...

Почти 23 года император Николай находился во главе страны, занимавшей одну шестую часть земной поверхности и имевшую население около 170 миллионов человек!..

Начиналась новая, неизвестная тогда еще глава в истории России...

По окончании приема у отрекшегося императора главнокомандующий Северным фронтом генерал Рузский пригласил приехавших из столицы депутатов в свой вагон. Надо было дождаться переписки манифеста набело и указов, равно как подписания их государем. Надо было также дать некоторую передышку депутатам, потрясенным всем пережитым, прежде отправления их в Петроград, в обратный путь...

Выйдя на темноватую, плохо освещенную платформу, мы, к удивлению своему, увидели довольно большую толпу людей, молчаливо и почтительно державшуюся в некотором отдалении от царского поезда. Как проникли эти люди на оцепленный со всех сторон вокзал? На этом вопросе не пришлось останавливаться. Да и как было препятствовать стремлению русских людей в эти решительные минуты быть поближе к центру событий?!.

К толпе подошел Гучков. Он что-то говорил им — по-видимому, трогательное, волнующее... Видно было, как люди снимали шапки, крестились — не то прощаясь с прошлым, не то обращаясь взором к неизвестному будущему... Поражало то спокойствие, почти величавость, с которым псковичи встретили вступление России на новый путь!.. «Что-то ожидает их на этом пути?» — думалось мне.

Через час или полтора в вагон генерала Рузского были доставлены подписанные государем Манифест об отречении в двух экземплярах и Указы Правительствующему сенату о назначении верховным главнокомандующим великого князя Николая Николаевича и Председателем Совета Министров князя Г. Е. Львова.

Все эти документы были помечены 15-ю часами (три часа пополудни) 2 марта 1917 года, то есть тем временем, когда императором Николаем II в действительности было принято решение об отречении от престола.

Пометка документов именно указанным часом должна была, как мне казалось, отчетливо свидетельствовать в будущем о том, что решение отрекшегося императора было добровольным и вне давления на него со стороны прибывших от комитета Государственной думы депутатов.

«Высочайший Манифест от 2 марта 1917 года получил
Александр ГУЧКОВ ШУЛЬГИН»

Выдачей такой расписки и закончился для нас в Пскове тяжелый своими переживаниями день отречения государя.

Около трех часов ночи на третье марта депутаты выехали обратно в Петроград. Часом же ранее оба литерных поезда, последовательно, один за другим, медленно и бесшумно отошли от станции Псков в направлении на Двинск, увозя отрекшегося императора и его свиту в Ставку...

Содержание Манифеста и обоих упомянутых выше указов Правительствующему сенату было немедленно по телеграфу передано текстуально в Ставку и председателю Временного правительства. За телеграфным же сообщением были отправлены по принадлежности в Петроград и подлинные указы. Один экземпляр Манифеста об отречении приезжавшие депутаты взяли с собою, второй же экземпляр того же Манифеста хранился у меня в штабе до мая 17-го года. Когда же генерал Рузский оставил должность главнокомандующего Северным фронтом, а я получил в командование Пятую армию, этот экземпляр при письме был отправлен главе Временного правительства князю Львову. Перед отправлением документа в Петроград я приказал снять с него фотографический снимок, хранившийся у меня до большевистского переворота.

Дальнейшая судьба этого снимка, как и многих документов моего архива, мне неизвестна...

Вторую ночь без сна!.. Силы изменяют, а между тем обстановка столь ответственна, что приходится быть настороже, дабы невольно не сделать какой-либо оплошности в результате крайней усталости...

Опять тревога!.. События не ждут!.. С головокружительной быстротой мчатся они вихрем, друг друга обгоняя и не давая возможности сосредоточиться на каждом из них в отдельности!..

Уже в пятом часу утра на третье марта, едва вернувшись домой с вокзала после отхода царских поездов в Ставку и отбытия депутатов в столицу,— вызов к аппарату. Председатель Государственной думы и Временного комитета М. В. Родзянко требует, чтобы переданный ему по телеграфу Манифест об отречении императора Николая II и о передаче престола его брату великому князю Михаилу Александровичу не был объявляем.

«В чем дело? Почему же депутаты, вчера присланные из столицы, не были ориентированы в тех затруднениях, кои могут возникнуть? Почему они обошли без внимания сделанное им предупреждение о юридической неправильности отречения государя, минуя сына, в пользу брата Михаила? И как вообще возможно скрыть уже отданный Манифест, от которого ожидалось успокоение умов? — мысли эти невольно отразились в моем докладе генералу Рузскому, который, одобрив их, поручил мне в этом смысле и передать его ответ Родзянке».

«Депутатов винить нельзя,— читали мы снова на телеграфной ленте, исходившей от М. В. Родзянко.— Дело в том, что неожиданно в столице вспыхнул такой солдатский бунт, который трудно себе представить. С регентством великого князя и воцарением наследника цесаревича, быть может, и примирились бы, но воцарение великого князя как императора абсолютно неприемлемо... В толпе,— продолжал далее Родзянко, не

замечая, по-видимому, противоречий в своих словах,— только и слышно: «Земли и воли!», «Долой династию!», «Долой Романовых!»... После долгих переговоров с депутатами от рабочих нам удалось прийти только сейчас к некоторому соглашению, в результате которого через некоторое время должно быть созвано Учредительное собрание; это последнее и должно высказать свой окончательный взгляд на форму правления...»

«Постараюсь временно приостановить распространение Манифеста,— отвечал генерал Рузский,— но не могу поручиться за успех: прошло уже много времени. Во всяком случае, приведение войск к новой присяге исполнено будет лишь по получении соответственного распоряжения из Ставки. Должен вообще поставить Вас в известность, что императорский поезд покинул уже Псков и что по закону, в случае отсутствия верховного главнокомандующего (великий князь Николай Николаевич находился в Тифлисе), его должность замещает начальник штаба, действующий его именем. Таким образом ныне центр Ваших дальнейших переговоров должен быть перенесен в Ставку. Меня же прошу впредь лишь ориентировать в происходящем».

В чьи же руки отрекшийся император передавал в столь трудное время престол всероссийский?

Великий князь Михаил Александрович был младшим сыном императора Александра III. Хотя он до рождения цесаревича 30 июля 1904 года и являлся наследником российского престола, но никогда не играл активной роли в государственной жизни России и держался в некоторой тени. Даже в военной деятельности своей он достиг до войны лишь должности командира полка и лишь в период мировой войны был поставлен во главе сначала конной дивизии, а затем кавалерийского корпуса.

Во время царствования императора Александра III о младшем его сыне Михаиле много говорили как о любимце царя, якобы унаследовавшем натуру и даже внешность своего могучего отца. Но с течением времени Михаил Александрович превратился в худого длинного юношу с довольно хрупким здоровьем и вполне женскими чертами характера.

Я не сказал бы, что великий князь Михаил Александрович производил впечатление очень способного человека, но он проявлял любознательность, и к нему влекли его необыкновенная скромность и деликатность. Лично у меня с ним было лишь несколько мимолетных встреч.

Царский поезд в 1904 году. Император Николай II объезжает войска, отправляемые на Дальний Восток, на войну с японцами. Я состою при военном министре генерале Сахарове, сопровождающем государя в поездках. 11 часов вечера. Занимаюсь в своем отделении каким-то делом. Вдруг стук в дверь...

— Войдите,— отвечаю изнутри.

Входит великий князь Михаил Александрович, видимо конфузясь.

— Простите, ради Бога... я, кажется, вам помешал?

— Нисколько, ваше высочество, я очень рад вас видеть у себя.

— Мне бы хотелось поговорить с вами,— произносит он мягким извиняющимся голосом, спрашивая глазами, можно ли сесть.— Мне говорили, что вы специалист по мобилизационным вопросам. Не расскажете ли вы, как производится частичное укомплектование наших войск, отправляемых в Маньчжурию?

И далеко за полночь затянулась наша беседа, во время которой я очень скоро позабыл, что моим партнером является брат императора огромной и могущественной страны.

В одну из таких же поездок близ станции Жмеринка в жестокий морозный день при сильном ветре должен был состояться высочайший смотр войскам Третьей стрелковой бригады, отправлявшейся на войну.

Нестерпимо было сидеть неподвижно верхом на лошади. Коченели ноги и всего охваты-

вала дрожь. Император Николай, отличавшийся своей выносливостью, медленно и размеренно объезжал длинные ряды войск и затем, стоя на месте, пропускал их мимо себя. Но рядом с ним находившийся великий князь Михаил Александрович, не обладавший сильным здоровьем, сдал... Его, закоченевшего, почти без чувств, сняли с лошади, обернули несколькими одеялами, взятыми из лазаретной линейки, и в таком виде отправили в поезде, где еле-еле отогрели...

Долго потом великий князь конфузливо улыбался, вспоминая о своих слабых силах.

В последний раз я видел великого князя Михаила Александровича в Ставке летом 15-го года. Он командовал тогда на фронте не то дивизией, не то корпусом и по какому-то случаю приехал к нам в Барановичи. После завтрака у верховного главнокомандующего он остался как-то один в садике перед моим управлением в видимом затруднении — куда направиться? Увидав через окно его длинную фигуру в кавказском бешмете, я вышел к нему и предложил зайти ко мне в кабинет ознакомиться с последними сведениями, полученными с фронта. Он благодарно улыбнулся и провел у меня более получаса, живо интересуясь всем тем, что я ему рассказывал...

Милый, симпатичный молодой человек — такими словами охарактеризовал бы я его в качестве лица частного.

Имеет все данные быть хорошим конституционным монархом, но только в устоявшемся государстве с твердым и хорошо налаженным аппаратом власти — таковым он мог казаться в качестве претендента на престол.

Его скромная и искренняя натура сказалась и в его браке, соединившем его с тою, которую он избрал по влечению сердца, вопреки чопорным традициям царствующих домов.

ПОЭЗИЯ

Георгий Адамович

Всю ночь слова перебираю,
Найти ни слова не могу,
В изнеможеньи засыпаю
И вижу реку всю в снегу,
Весь город наш, навек единый,
Край неба бледно-райски-синий
И на деревьях райский иней...

Друзья! Слабеет в сердце свет,
А к Петербургу рифмы нет.

* * *

Под ветками сирени сгнившей,
Не слыша чести и обид,
Всему далекий, все забывший,
Он, наконец, спокойно спит.

Пустынно тихое кладбище,
Просторен тихий небосклон,
И воздух с каждым днем все чище,
И с каждым днем все глубже сон.

А ты, заботливой рукою
Сюда принесшая цветы,—
Зачем кощунственной мечтою
Себя обманываешь ты?

* * *

(У дремлющей парки в руках,
Где пряжи осталось так мало...)
Нет, разум еще не зачах,
Но сердце... но сердце устало.

Беспомощно хочет любить,
Бессмысленно ищет забыться
(...И длится тончайшая нить,
Которой не надо бы длиться).

Вадим Андреев

* * *

На долгом солнце высохший скелет —
Песком рыдают жаркие глазницы.
Последний след пылающей денницы —
И пыль горька, и горек палый свет.

О прах, о жаждой сжатые ресницы,
О кости стен, которым срока нет,
О голый город — долгий мертвый бред,
Любовью, тифом вымершей больницы.

Лишь тленье памятно домам Толедо.
В глухие облака беззвездный понт
Дохнул, и ливнем повелась беседа.

На площади, врастая в горизонт,
Смывая запах битв, любви и пота
Темнее облак — латы Дон Кихота.

* * *

Атлас и шелк, и мертвая рука
Инфанты, умершей задолго до рожденья.
Скупая кисть — сухое вдохновенье
И в мастерской влюбленная тоска.

Карандашом запечатлев мгновенье,
Услышать ночь у самого виска,
Услышать, как, стеная с потолка,
По капле капает ночное бденье.

О, в ту же ночь повержена громада
Всех корабельных мачт, снастей и звезд —
Ветрами победимая Армада.

На аналой склонясь, ломая рост
Часов — о сладость каменного всхлипа,
Молитва — долг безумного Филиппа.

Наталия Борисова

Я потеряла, нет, ие сапожок —
Амернкаискнй, плоский ключ от двери.
Но времеиа не те. Гонца рожок
Не огласнт таиственеиой потери.

И сказкам больше, глупая, не верь.
Не прииц, и не дворец, и ие мильоны,
А слесарь и гостнничная дверь...
Поплачь и позавидуй каидрильоне.

Иван Бунин

Шепнуть заклятие при блеске
Звезды падучей я успел,
Да что изменит иаш удел?
Все те же топн, перелески,
Все та же полночь, дичь и глушь...
А если б даже Божья снла
И помогла, осуществнла
Надежды иаших темных душ,
То что с того?
Уж нет возврата
К тому, чем жили мы когда-то.
Потерь ие счесть, ие позабыть,
Пощечии от солдат Пилата
Ничем ие смыть — и ие простить.
Как ие простить нн мук, ии кровн,
Нн содроганий на кресте
Всех убиеиных во Христе,
Как ие прниять грядущей иови
В ее отвратной наготе.

Александр Гингер

Анне Присмановой

Для Вас пншу, любя и иарочито,
В прямом довернн н в простоте.
Читайте тридцатнпятночито,
Хоть этот почерк и осточертел.

А там стихопечатальиой машииой,
Которой век пороги обмелил,
Смят почерк этот чисто камышииый,
Побнт свинцом и стерт с лица земли.

Глядите верно — ведь еще возможно —
Пока набор писца не оборвал:
Я друг — и твердый и еще не ложно —
Еще не холощеные слова.

Утренняя прогулка

Подымайся, лядащий, лежащий,
Погулять, по деревне гулять.
Ты отправиться аможе аще —
Всюду утро, пора щеголять.

Аккуратно проснулся алектор,
Рассылает свои ко-ре-ку.
Вран стервятник... грешу я, о лектор:
Лыко в сторону — так лыко реку;

И пишу, словеса обнажая,
И язык уморительно гня.
Режу души друзьям без ножа я,
А враги не жалеют меня...

Аккуратный алектор играет,
Разбужает людей и скотов.
Вран коллектор куражится, грает —
Взятки гладки с ворон и с котов.

Вас мечтательно я возлюбила,
Я, душа — Вас, отличный горлан,
Деревенское сильное било,
Неустанный курный улан.

Довид Кнут

Стоять пред гулкой солью океана,
Звучать в ответ на радость, на прибой.
В веселии, семижды окаянном,
В бесплотный пляс вступать — с самим собой.

На женскую спасительную прелесть
Идти, как в море парус — на маяк.
Чтоб многие в ладонях груди грелись,
Чтоб каждую любить и звать: моя.

Пить винный сок, кусать айву и сливу,
Пугать невзгоду, ветер и метель...
Приятно жить в саду Его счастливом,
Добро и зло закинув за плетень.

Лежать в ночи — дышать простором свежнм,
Плыть в мир невыноснмой красоты...
Свой малый путь пройтн стопой медвежьей,
С медвежьнм сердцем, легкнм н простым.

Не бегать благ н дел юдолн узкой,
Но все приняв, за все благодарнть.
Торжествовать, когда нграет мускул.
Плодотворнть.

Галина Кузнецова

Прованс

...Колоколов протяжный разговор
В тумане нарождающейся ночн.
Гряда крутых, волною вставшнх, гор
На тусклом небе кажется короче.

Летнм, летнм на мягкнх крыльях внна,
Туда, где пар, где бледное сиянье,
Где в море мертвое вступает темный мыс,
И небо обрывает мнрозданье...

Земную жнзнь бесславно я несу,
Меня печаль беспомощная гоннт,
За тающую в небе полосу...
Возьмн меня. Задумай в новом лоне.

*   *   *

Почувствовать свое предназначенье,
Сгнбать мечту, как самый страстный лук,
И падать в раскаленное теченье
Неутоляемых летамн мук.

Всю жнзнь следнть с берегового вала
Нездешнего круженья корабля...
Мне — правнучке упрямого Дедала —
Отмерена смнренная земля.

Пережнву последнее смятенье,
Восплачут обо мне колокола,
И полетнт с высокнм, вольным пеньем
Моя освобожденная стрела.

* * *

Воображенье, меня упорно ты
Вернуть пытаешься в могильный сад.
Посмертным мрамором листы развернуты,
Листвою палою шуршат.

Веди же за руку по ветхим лестницам,
Крестами белыми крести холмы;
Уже не нужно нам ни дней, ни месяцев,
Настоем маковым хмелеем мы...

Пока натешишься, пока наплачешься
Стенаньем траурным страстных весов,
Кудрями черными мне в горсти катишься
И стынешь стрелками ночных часов...

* * *

...Но не было любви.
Упрямо прядь скользнула по ладони,
И песни отступили, как струи,
Которые голодный ветер гонит.

Беги. Беги... По улицам в тени,
По золотым сплетениям платанов,
По гребням разъяренных океанов
Тенета паутинные мни.

Иди к другим. Пророчествуй. Живи.
За мною не влачись воспоминаньем
И именами новыми зови
Мое сиянье...

Антонин Ладинский

Скрипит возок, в снегах ныряет,
Как барыня, столица спит,
И вот шлагбаум поднимает
В бараньей шубе инвалид.
А Музе не поднять усталых
Свинцовых караульных вежд,
Всех этих пеней запоздалых,
Суда глупцов, хулы невежд.
От нежных перьев треуголки
Ей русских роз не уберечь —
И пачкают людские толки
Прелестную покатость плеч.

А Вам — Наталье Гончаровой —
Приснилось на заре, что с Вас —
Еще Вы девушкой суровой —
Не сводит он тяжелых глаз...
Вчера заметили случайно:
В дубовом ящике стола,
Как государственная тайна —
Хлад пистолетного ствола.
Что детям обаянье славы?
Вам слаще бал и санный бег,
Великосветские забавы
И медленный пушистый снег.
А снег другой, в руке зажатый,
В горячих пальцах, и потом
В крови расплавленный, примятый
Под тем трагическим кустом?
Ах, девочка моя, Наташа,
Пробор склоненный — мало сил,
Любовь моя! — большая чаша —
Я захлебнулся, не допил.

Семен Луцкий

Знакомый ангел в комнату влетел...
Печаль моя всегда одна и та же,
Душа давно от человечьих дел
В бесстыдно-розничной продаже...

Знакомый ангел в комнате моей...
Ну, здравствуй, гость! Сегодня я не в духе...
Вот сколько здесь листов, карандашей,
А звук не шевелится в ухе...

Я утомлен. Но говорить с тобой
Так хорошо в уюте милых кресел...
Ты думаешь — я болен ерундой?
Да отчего ж ты сам невесел?..

А есть в тебе благая простота
И той стране чудесные приметы,
Где вся без украшений красота,
Без поэтичности поэты...

О, расскажи! Должно быть, стар и мал,—
Там все,— как ты, и — крылья за плечами...
...Знакомый ангел в комнате молчал,
Темнел лицом и поводил крылами.

Владимир Познер

Смерть

Старуха смотрит, ноги в плед укутав,
Как в простыню старик вцепился, черный рот
Разинув, словно смерть через минуту
Его от простыни не отдерет.

Изменой никогда не озаботив
Теченье дней, все мысли и дела
Они делили, как — одно напротив
Другого — вделанные зеркала.

О чем он думает теперь? О смерти?
О Боге он не думал никогда.
О том, что в ванной капает вода?
Об этом ненадписанном конверте?

Воспоминания встают, как острова,—
Все то, что единило их обоих:
Знакомый бой часов, любимые слова,
Знакомое пятно на выцветших обоях.

Зачем же было в сумерки, зимой,
Опаздывать нарочно на свиданья,
Чтоб после часового ожиданья,
Понурив голову, он шел домой;

И стоило ли в темной зале мешкать
И в зеркало смотреться, где возник
И розовеет радостный двойник,
Усмешкой отвечая на усмешку;
Чтоб через сорок лет над стариком
Беззубым, лысым, жилистым и черным,
Которого неглубоко под дерном
Ждут красный червь и деревянный дом,

Старуха в нетерпенье и тревоге
Следила, сгорбившись, сквозь мутные очки,
Как рот оскалился, как посинели ноги,
Как останавливаются зрачки.

Она еще земным огнем горит,
Еще об этой жизни умоляет,
А он уже с Природой говорит,
И женским голосом Природа отвечает.

Анна Присманова

**Вдруг Октябрь спрыгнул с брички
у глухой голубой горы,
и в веселой перекличке
заработали топоры.**

**Молоком деревянное мясо
окропляло каждый стук,
но казалась пьяным плясом
судорога зеленых рук.**

**Долго ухала трясина.
Все, что веком бор копил,
распласталось древесиной
под щербатым пеньем пил.**

**Поднялись горбом стропила,
костью выстругали порог.
На дебелый бок опилок
распаленный плотник лег.**

**Удесятеряйтесь, силы
хлопотливого аиста,
и личинки в пнях осины
не посмеют сна искать.**

* * *

**Только ночью скорби в Сене
сон постели постилает.
Днем Париж в воде осенней,
как Сан-Жен, сады стирает.**

**Где же тот Наполеон,
коего хоронит ельник?
В чисто вышел поле он
ветром править сабли мельниц.**

**Лавка, в грядах солнце выкрав,
озадачила прилавок,
и светило — желтой тыквой —
звеньем сдач стяжает славу.**

**Утром дождь в отрезы окон
бьется, как в стеклянный зонтик,
рыжей белошвейки локон
размотав, как флаг на фронте.**

**А в обед фронтоны дворцов
великолепный пьют озон:
вроде палочных леденцов
гиацинт сластит газон.**

Даниил Резников

Всю ночь дожди смывали лето с крыши.
Всю жизнь пройдя — не дошагаешь шаг:
Ведь память, задыхаясь, не услышит,
Как тишиной застелется душа.

За перевалом памяти не смогут
Окликнуть и спросить пароль —
Ночь таяла. С рассветом понемногу
В поля стекала по канавам боль.

Стекала боль, как Волга по отлогам,
Срывая цепкие, как мускулы, слова.
Стучи, стучи, но, торопясь в дорогу,
Ты землю не забудь поцеловать.

Пусть каждый день — отлюбленный подкидыш,
Но я привык выращивать года.
Земля — Земля, ты никогда не выдашь,
А я тебя — за памятью — предам.

Михаил Струве

Вино

Высокий день иль вечер благосклонный —
Не все ль равно, как время протекло.
Янтарный друг, знакомец мой червонный,
Мне улыбается через стекло.

Закрыты окна, в комнате глубокой
Одна свеча на лаковом столе.
Еще до жизни снился черноокий
Мне виноград на выжженной земле.

На крутогорьях длинными грядами
Он долго ждал, пока его сорвут,
И сборщики нестройными рядами
Его в подвал в корзинах понесут.

В бочонках, а не в Кане Галилейской
Ему расцвесть, ему созреть дано.
Волною мутною, волной Летейской
Он плещется, уже почти вино.

Не алкоголь, что пьют единым разом,
Не пиво жидкое и не вода,
Дает вино смотреть нам добрым глазом
На светлый мир, на дол и города.

Вот потому романский мир приемлю,
Приемлю ясность виноградных лоз,
И родиною почитаю землю,
Где не ступал ни Будда, ни Христос.

* * *

Четыре точки на бумаге
Я ставлю легкою рукой,
И первой точкой будет солнце,
Вторая будет тьмой ночной.

А третья точка — жизнь людская,
Едва заметный стук сердец,
И будет всех черней и толще
Четвертой точкою конец.

Еще четыре и четыре,
Опять четыре, и пока
Рука моя не ослабеет,
Все будет их чертить рука.

Я точки все перемешаю,
И в исступленьи и в бреду,
Как ночью мореход на море,
К последней точке подойду.

Юрий Терапиано

Расстрел

Мне снилось: я — под дулом пистолета.
У самого виска холодный ствол.
В подвал врывался терпкий запах лета,
В висках стучало, колебался пол.

Все: трепетанье вздувшейся рогожи,
Обрывок неба — голубой кумач,
Край рукава и душный запах кожи —
В тебе сосредоточилось, палач.

Вот — затряслось. Вот, в сторону рвануло.
Подбросил ветер волосы мои,
Качнулся череп, тело соскользнуло,
Как сброшенная чешуя змеи.

Расстрелянное, трепетало тело.
Хлестала кровь из черного виска,
А я летел. И, вся в огнях, летела
Навстречу вечность в дыры потолка.

ФИЛОСОФИЯ

С. Н. Булгаков

Карл Маркс как религиозный тип

Тема этого этюда может вызвать недоумение и потому нуждается в некотором объяснении. По моему убеждению, определяющей силой в духовной жизни человека является его религия,— не только в узком, но и в широком смысле слова, т. е. те высшие и последние ценности, которые признает человек над собою и выше себя, и то практическое отношение, в которое он становится к этим ценностям. Определить действительный религиозный центр в человеке, найти его подлинную душевную сердцевину — это значит узнать о нем самое интимное и важное, после чего будет понятно все внешнее и производное. В указанном смысле можно говорить о религии у всякого человека, одинаково и у религиозно-наивного, и у сознательно отрицающего всякую определенную форму религиозности. Для христианского понимания жизни и истории, кроме того, несомненно, что человеческой душой владеют и историей движут реальные мистические начала, и притом борющиеся между собою, полярные, непримиримые. В этом смысле религиозно-нейтральных людей, собственно говоря, даже нет; фактически и в их душе происходит борьба Христа и «князя мира сего». Мы знаем, что могут быть люди, не ведающие Христа, но Ему служащие и творящие волю Его, и, наоборот, называющие себя христианами, но на самом деле Ему чуждые; наконец, и среди отрицателей и религиозных лицемеров есть те, которые по духу своему предвозвещают и грядущего самозванца, имеющего прийти «во имя свое» и найти многих приверженцев. Чей же дух владеет тем или иным историческим деятелем, чья «печать» лежит на том или ином историческом движении — таков привычный вопрос, которым приходится задаваться при размышлении о сложных явлениях усложняющейся жизни. И особенно часто случается вновь и вновь передумывать этот вопрос в применении к столь сложному, противоречивому и в то же время значительному течению духовной жизни нового времени, как социализм, понимаемый именно как явление духовной жизни, потому что экономическое содержание требований социализма может и не возбуждать принципиальных споров и сомнений. Сама историческая плоть социализма, т. е. социалистическое движение, может воодушевляться разным духом и принадлежать к царству света или делаться добычей тьмы. Таинственная грань разделяет свет и тьму, которые существуют в смешении и, однако, не могут смешиваться между собою.

И при размышлениях о религиозной природе современного социализма мысль невольно останавливается на том, чей дух наложил такую глубокую печать на социалистическое движение нового времени, так, что должен быть отнесен к числу духовных отцов его,— на **Карле Марксе**. Кто он? Что он представляет собой по своей религиозной природе? Какому богу служит он своей жизнью? Какая любовь и какая ненависть зажигали душу этого человека?

На поставленный вопрос читатель и не ожидает, конечно, получить прописной и незамысловатый ответ, способный удовлетворить разве только ретивых марксистов из начинающих, именно — что душа Маркса вся соткана была из социалистических чувств, что

ои любил и жалел угнетаемых рабочих, а иеиавидел угнетателей, капиталистов и, кроме того, беззаветио верил в иаступление светлого царства социализма.

Если бы все это было так просто, ие о чем было бы, коиечио, и говорить. Однако это и так, и в то же время ие совсем так, во всяком случае, иеизмеримо сложнее и мудреиее. И, прежде всего, что касается личной психологии Маркса, то, как я ее восприиимаю, мне кажется довольио сомиительиым, чтобы такие чувства, как любовь, иепосредствеииое сострадание, вообще теплая симпатия к человеческим страдаииям играли такую действительио первеиствующую роль в его душевиой жизии. Недаром даже отец его в студеические годы Маркса обронил как-то в письме к иему фразу: «Соответствует ли твое сердце твоей голове, твоим дароваиинм?» И ои, стало быть, останавливался в сомиеиии перед этим вопросом. К сожалеиию, при характеристике личиости Маркса и истории его жизии мы остаиавливаемся перед полным почти отсутствием всякого документальиого материала. Почти отсутствуют и характеристики его личиости, сделаииые тоиким и компетеитиым иаблюдателем и ие преследующие цели дать иепремеиио социал-демократическое «житие» (каковы воспомииаиия Лафарга и Либкиехта). Потому в характеристике Маркса иеизбежио остается простор для субъективизма. Если судить по печатиым трудам Маркса, душе его вообще была гораздо доступиее стихия гнева, иенависти, мстительиого чувства, иежели противоположиых чувств,— правда, иногда святого гиева, ио часто совсем ие святого. Заслуживает всяческого сочувствия и уважеиия, когда Маркс мечет громы иа жестокость капиталистов и капитализма, иа бессердечие теперешиего общественного строя, ио как-то уже иначе восприиимается это, когда тут же, вместе с этими громами, встречаешь высокомериые и злобные выходки против иесогласиомыслящих, кто бы это ни был,— Лассаль * или Мак-Куллох **, Герцеи *** или Мальтус, Прудои или Сеииор. Маркс иеобыкиовеиио легко втягивался в личиую полемику, и иадо созиаться, что вообще полемика эта весьма малопривлекательиа, как ии стараются это опровергнуть. Марксом иаписаны целых три полемические кииги (ие говоря уже о мелочах), и эти произведеиия теперь тягостио читать, и ие только оттого, что полемика вообще возбуждает больший интерес среди писателей, чем среди читателей. Одиа из этих киит иаправлеиа против Фогта и полиа эмиграитских дрязг и взаимиых обвииеиий в самых иедостойиых поступках, в частиости в шпиоистве; вторая книга — против бывшего друга Маркса Бруио Бауэра, из-за удалеиия которого из берлииского уииверситета Маркс будто бы отказался от мысли о профессуре, полиая издевательств и без всякой иужды получившая почему-то кощуиствеииое заглавие («Святое семейство»); иакоиец, третья — наиболее известиая и цеииая книга против Прудоиа, тои которой тоже ие соответствует ии теме, ии иедавиим отиошеииям Маркса к Прудоиу. А сколько этих полемических красот, с которыми трудио было мириться даже в пору иаибольшего увлечеиия Марксом, в библиографических примечаииях I тома «Капитала», сколько там выстрелов из пушек по воробьям, иеиужиых сарказмов и даже просто грубости (как иначе определить, иапр., примечаиие о Мальтусе и протестаитском духовеистве и его чрезмериом деторождеиии, стр. 516—18 пер., ред. Струве). Воспомииания иекоторых лиц из иейтральиых

---

* Посмотрите на первой страннце I тома «Капнтала» выходку Маркса против своего сработника и друга, притом давно уже мертвого: вместо того, чтобы воздать здесь Лассалю должиое, Маркс лишь обвиияет его, правда, в запутаииых выражениях, в плагнате у себя.

** Вот для образца пример: «Однн нз виртуозов в этом претеицнозном кретиинзме, Мак-Куллох... говорит с аффектироваииой наивностью восьмилетиего ребенка» (Капитал. Т. 1. С. 363, примеч. 216). Вообще в примечаннях «Капнтала» эпитеты «пошлый, нелепый» и под. встречаются иа каждом шагу, н этот дуриой тои усвоеи, к сожалению, н последователямн Маркса, в частиости привился и в иашей литературе.

*** По адресу Герцеиа была в первом томе «Капитала», в первом издаиии, грубая и безвкусиая выходка, впоследствии устранеииая самим автором из других изданнй.

кругов, совпадающие с этим непосредственным впечатлением, рисуют Маркса как натуру самоуверенную, властную, не терпящую возражений (нужно вспомнить борьбу Маркса с Бакуниным в Интернационале и вообще историю его распадения). Известно, какую резкую характеристику Маркса, на основании ряда удостоверенных фактов, дает Герцен, лично, впрочем, не знавший Маркса. (В новом, легальном, издании сочинений Герцена см. том III, «Былое и думы», глава: «Немцы в эмиграции». Герцен рассказывает здесь, как Маркс обвинял Бакунина в шпионстве, когда тот сидел в тюрьме и не мог защищаться, а также приводит ряд попыток набросить тень обвинения и на самого Герцена, которого Маркс лично даже и не знал.) «Демократический диктатор» — так определяет Маркса Анненков (в известных своих воспоминаниях). И это определение кажется нам правильно выражающим общее впечатление от Маркса, от этого нетерпеливого и властного самоутверждения, которым проникнуто все, в чем отпечатлелась его личность.

Характерной особенностью натур диктаторского типа является их прямолинейное и довольно бесцеремонное отношение к человеческой индивидуальности; люди превращаются для них как бы в алгебраические знаки, предназначенные быть средством для тех или иных, хотя бы весьма возвышенных целей, или объектом для более или менее энергичного, хотя бы и самого благожелательного воздействия. В области теории черта эта выразится в недостатке внимания к конкретной, живой человеческой личности, иначе говоря, в игнорировании проблемы индивидуальности. Это теоретическое игнорирование личности, устранение проблемы индивидуального под предлогом социологического истолкования истории необыкновенно характерно и для Маркса. Для него проблема индивидуальности, абсолютно неразложимого ядра человеческой личности, интегрального ее естества не существует. Маркс — мыслитель, невольно подчиняясь здесь Марксу — человеку, растворил индивидуальность в социологии до конца, т. е. не только то, что в ней действительно растворимо, но и то, что совершенно нерастворимо, и эта черта его, между прочим, облегчила построение смелых и обобщающих концепций «экономического понимания истории», где личности и личному творчеству вообще поется похоронная песнь. Маркса не смутил, не произвел даже сколько-нибудь заметного впечатления бунт Штирнера, который был его современником и от которого так круто приходилось учителю Маркса Фейербаху; он благополучно миновал, тоже без всяких видимых последствий для себя, могучий этический индивидуализм Канта и Фихте, дыханием которых был напоен самый воздух Германии 30-х годов (как чувствуется это влияние даже в Лассале). И уж тем более Марксу не представлялась возможной разъедающая критика «подпольного человека» Достоевского, который, в числе других прав, отстаивает естественное право на... глупость и прихоть, лишь бы «по своей собственной глупой воле пожить». В нем не было ни малейшего предчувствия бунтующего индивидуализма грядущего Ницше, когда он зашнуровывал жизнь и историю в ломающий ребра социологический корсет. Для взоров Маркса люди складываются в социологические группы, а группы эти чинно и закономерно образуют правильные геометрические фигуры, так, как будто, кроме этого мерного движения социологических элементов, в истории ничего не происходит, и это упразднение проблемы личности есть основная черта марксизма, и она так идет к волевому, властному душевному складу создателя этой системы. В воспоминаниях о Марксе его дочери (Элеоноры) сообщается, что Маркс любил поэзию Шекспира и часто его перечитывал. Мы не можем, конечно, заподозривать правильность этих показаний, возможны всякие капризы вкуса, однако, ища следов этого увлечения и осязательного влияния Шекспира на Маркса в сочинениях этого последнего, мы должны сказать, что такого вообще не замечается. И это неудивительно, потому что просто нельзя представить себе более чуждой и противоположной для всего марксизма стихии, нежели мир поэзии Шекспира, в котором трагедия индивидуальной души и неисследимые судьбы ее являются центром. Право, кажется, почти единственный след, который мы находим у Маркса от Шекспира, это цитата из

«Тимоиа Афииского» о эолоте и затем ие меиее приличествующее экономическому трактату упомниланне о Шейлоке, ио имеиио внешннй характер этих упомииаиий только подтверждает нашу мысль о том, что у Маркса иет внутрениего соприкосиовеиия с Шекспиром н муэыка душ нх совершеннио ие сливается в одно, а пронэводит чудовищный днссонанс. Маркс, иесмотря иа свою буриую жнэиь, принадлежит к чнслу людей, чуждых всякой трагедии, виутренно спокойиых, ианменее сродных мятущейся душе Шекспира. Укаэаииая иамн осиовиая черта лнчностн н мнровоззрення Маркса, его нгнорнровавние проблемы индивидуальиого н конкретиого, в эиачительной степенн предопределяет и общнй его релнгиоэиый облик, предрешает его сравиительиую нечувствнтельиость к остроте релнгнозной проблемы, ибо ведь это прежде всего есть проблема иидивидуальиого. Это есть вопрос о ценности моей жиэин, моей лнчности, монх страдаиий, об отиошеннн к Богу иидивидуальиой человеческой души, об ее лнчном, а не социологическом только спасеиии. Та едннствениая в своем роде, иезаменнмая, абсолютно иеповторяемая лнчность, которая только одиажды на какой-нибудь момеит промелькнула в нсторнн, прнтяэает на абсолютность, иа иепреходящее эиачеиие, которое может обещать только религия, живой «Бог живых» религии, а не мертвый бог мертвых социологни. И эта-то помимо религии и вие релнгнн иеразрешимая, даже просто невместимая проблема и придает релнгнозному созиаиию, религиозиому сомиеиию и вообще релнгнозным пережнваииям такую остроту, жгучесть и мучительность. Здесь, если хотите, индивидуалнстнческий эгоиэм, ио высшего порядка, ие эмпнрнческое себялюбие, ио высшая духовная жажда, то высшее утверждение я, тот святой эгонэм, который повелевает погубить душу свою для того, чтобы спастн ее, погубить эмпнрическое, тлеииое и осяэательиое, чтобы спасти духовное, иевидимое и иетлениое. И эта — ие проблема, а мука ниднвидуальиости, эта эагадка о человеке и человечестве, о том, что в иих есть едннственно реального н иепреходящего, о живой душе, сопровождает мысль во всех иэгибах, не позволяет религиозно усиуть человеку, нэ иее, как нэ зерна растенне, вырастают релнгнозные учеиия н философские системы, и ие есть лн эта потребиость н способность к «искаиию гориего» явное свидетельство иеэдешнего происхождеиия человека?

Как мы скаэалн, Маркс остается мало доступеи религиозиой проблеме, его не беспокоит судьба нндивидуальности, он весь поглощеи тем, что является общим для всех ндивидуальностей, следовательио, ие индивидуальиым в них, н это ненндивидуальиое, хотя н не виеиндивидуальиое, обобщает в отвлечеииую формулу, сравинтельио легко отбрасывая то, что остается в личности эа вычетом этого иеиндивидуальиого в ней, или со спокойиым сердцем приравиивая этот остаток иулю. В этом н состонт пресловутый «объектнвнэм» в марксизме: лнчиости погашаются в соцнальиые категории, подобно тому, как личность солдата погашается полком н ротой, в которой ои служнт. Влад. Соловьев выразнлся одиажды по поводу Чнчернна, что это ум по преимуществу «распоряднтельный», т. е. в подлнниом смысле слова доктрииерскнй, н вот таким распоряднтельным умом обладал и Маркс. Поэтому и настоящий аромат релнгнн остается иедоступен его духовному обоиянню, а его атенэм остается таким спокойным, бестрагнчным, доктринерским. У иего ие эарождается сомиения, что соцнологическое спасенне человечества, перспектнва соцналнстнческого „Zukunftstaat'a“ *, может окаэаться иедостаточным для спасеиия человека и не может эамеиить собой иадежды иа спасеине релнгиозное. Ему иепонятны н чужды муки Иваиа Карамаэова о беэысходности исторической трагеднн, его опасные для веры в социологнческое спасеиие человечества вопрошания о цеие исторнческого прогресса, о стонмостн будущей гармоиии, о «слеэнике ребеика». Для раэрешення всех вопросов Маркс рекомендует одио уиниверсальное средство — «практнкн» жиэии, „die Praxis“; достаточно оглушить себя гамом н шумом улнцы, н там, в этом гаме, в эаботах дня найдешь

* Государство будущего (*нем.*).

исход всем сомнениям. Мне это приглашение философские и религиозные сомнения лечить «практикой» жизни, в которой бы некогда было дохнуть и подумать, в качестве исхода именно от этих сомнений (а не ради особой самостоятельной ценности этой «практики», которую я не думаю ни отрицать, ни уменьшать), кажется чем-то равносильным приглашению напиться до бесчувствия и таким образом тоже сделаться нечувствительным к своей душевной боли. Приглашение вываляться в «гуще жизни», которое в последнее время стало последним словом уличной философии и рецептом для разрешения всех философских вопросов и сомнений, и у Маркса играет роль ultima ratio * философии, хотя и не в такой, конечно, оголенной и вульгарной форме. «Философы достаточно истолковывали мир, пора приняться за его практическое переустройство» — вот девиз Маркса, не только практический, но и философский.

Хотя Маркс был нечувствителен к религиозной проблеме, но это вовсе еще не делает его равнодушным к факту религиозности и существованию религии. Напротив, внутренняя чуждость, как это часто бывает, вызывает не индифферентизм, но прямую враждебность к этому чуждому и непонятному миру, и таково именно было отношение Маркса к религии. Маркс относится к религии, в особенности же к теизму и христианству, с ожесточенной враждебностью, как боевой и воинствующий атеист, стремящийся освободить, излечить людей от религиозного безумия, от духовного рабства. В воинствующем атеизме Маркса мы видим центральный нерв всей его деятельности, один из главных ее стимулов; борьба с религией есть в известном смысле, как это выяснится в дальнейшем изложении, истинный, хотя и сокровенный практический мотив и его важнейших чисто теоретических трудов. Маркс борется с Богом религии и своей наукой, и своим социализмом, который в его руках становится средством для атеизма, оружием для освобождения человечества от религии. Стремление человечества «устроиться без Бога, и притом навсегда и окончательно», о котором так проникновенно писал Достоевский и которое составляло предмет его постоянных и мучительных дум, в числе других, получило одно из самых ярких и законченных выражений в доктрине Маркса. Эту внутреннюю связь между атеизмом и социализмом у Маркса, эту подлинную душу его деятельности, обыкновенно или не понимают, или не замечают, потому что вообще этой стороной его мало интересуются, и для того, чтобы показать это с возможной ясностью, нужно обратиться к истории его духовного развития.

Каково, собственно, было общефилософское мировоззрение Маркса, насколько вообще уместно говорить о таковом? На этот счет создалась целая легенда, которая гласит, что Маркс вышел от Гегеля и первоначально находился под его определяющим влиянием, был, стало быть, в некотором смысле тоже гегельянцем и принадлежит к гегельянской «левой». Так склонны были понимать свою философскую генеалогию в более позднее время, по-видимому, и сам Маркс и Энгельс. Известна, по крайней мере, та лестная характеристика, которую дал Энгельс в 1891 году немецкому социализму, т. е. марксизму (в устах Энгельса это, конечно, синонимы), в надписи на своем портрете: «Мы, немецкие социалисты, гордимся тем, что происходим не только от Сен-Симона, Фурье и Овена, но от Канта, Фихте и Гегеля». Здесь устанавливается прямая преемственность между классическим немецким идеализмом и марксизмом, и признание такой связи стало общим местом социально-философской литературы.

Хотя биографические материалы относительно молодости Маркса и отсутствуют, но выяснение вопроса о действительном ходе философского развития Маркса облегчается теперь хотя тем, что трудами Меринга мы имеем полное издание старых, мало доступных сочинений Маркса, особенно ценных потому, что они относятся к ранним годам его, к тому времени, когда он не стал еще марксистом, хотя и стоял уже на собственных ногах, но

* Последний, решающий довод (*лат.*).

не выработал еще собственной доктрины. И вот, обозревая литературно-научную деятельность Маркса во всем ее целом, от философской диссертации о Демокрите и Эпикуре до последнего тома «Капитала», мы приходим к заключению, довольно резко расходящемуся с общепринятым: никакой преемственной связи между немецким классическим идеализмом и марксизмом не существует, последний вырос на почве окончательного разложения идеализма, следовательно, лишь как один из продуктов этого разложения. Если некоторая, хотя и слабая связь между социализмом и идеализмом еще и существовала в Лассале, то разорвана окончательно она была именно в результате влияния Маркса. Вершина немецкого идеализма закончилась отвесным обрывом. Произошла, вскоре после смерти Гегеля, беспримерная философская катастрофа, полный разрыв философских традиций, как будто мы возвращаемся к веку «просвещения» (Aufklärung) и французскому материализму XVIII века (к которому Плеханов и приурочивает генезис экономического материализма, и это, во всяком случае, ближе к действительности, нежели мнение о гегельянстве Маркса).

Мнение о значении марксизма в качестве «исхода» или ликвидации классического идеализма опровергается, прежде всего, по нашему мнению, тем, что сам Маркс оставался чужд его влиянию и хотя в пору студенчества внешним образом и делал ему уступки — в духовной атмосфере берлинского университета конца 30-х годов это было неизбежно,— но разделался и с ними очень скоро. Нет никаких оснований причислять Маркса к «школе» Гегеля в таком смысле, в каком к ней принадлежат представители «левого» крыла ее: Фейербах, Бруно Бауэр, Штраус и др. Все они действительно возросли в духовном лоне Гегеля и навсегда сохранили следы этой духовной близости к нему, которая и может быть констатирована. О Марксе нельзя сказать ничего подобного. Его гегельянство не идет дальше словесной имитации своеобразного гегелевского стиля, которая многим так импонирует, и нескольких совершенно случайных цитат из Гегеля. Но что находим мы в Марксе духовно-роднящего его с Гегелем за пределами этой внешней подражательности?

Прежде всего «под Гегеля» написана — на страх начинающим читателям — глава о форме ценности в I томе «Капитала». Но и сам Маркс признался впоследствии, что здесь он «кокетничал» подражанием Гегелю, а мы еще прибавим, что и совершенно напрасно он это делал. При скудной вообще идейной содержательности этой главы, в сущности, лишней для изложения экономической системы «Капитала», эта преднамеренная напыщенность скорее заставляет усомниться в литературном вкусе автора, нежели поверить на этом основании, что автор духовно близок к Гегелю или является серьезным его знатоком.

Говорят далее, будто Маркса сближает с Гегелем пресловутый «диалектический метод». Сам Маркс по этому поводу писал, что «мой диалектический метод в своем основании не только отличается от гегелевского, но составляет и прямую его противоположность». Мы же держимся того мнения, что одно не имеет к другому просто никакого отношения, подобно тому, как градус на шкале термометра не «составляет полную противоположность» градусу на географической карте, а просто не имеет с ним ничего общего, кроме имени. «Диалектический метод» у Гегеля на самом деле есть диалектическое развитие понятия, т. е. прежде всего вовсе не является методом в обычном смысле слова или способом исследования или доказательства истин, но есть образ внутреннего самораскрытия понятия, самое бытие этого понятия, существующего в движении и движущегося в противоречиях. У Маркса же вовсе нет никакого особого диалектического метода, притом иного, чем у Гегеля. Если же предположить, что он понимает его в смысле одного из логических методов, т. е. способа исследования, нахождения научных истин, то такого метода в распоряжении индуктивных, опытных наук вообще не существует. То, что Маркс (а за ним и его школа) ошибочно называл у себя методом, на самом деле была лишь манера изложения его выводов в форме диалектических противоречий, манера письма

«под Гегеля» (пристрастие к антитезам вообще отличает стиль Маркса). Противоречия современного хозяйственного развития есть вывод из фактического изучения, а вовсе не нарочитый метод такого изучения.

Особый «диалектический метод» у Маркса есть во всяком случае чистое недоразумение, все равно, разуметь ли логику в смысле Милля, т. е. методологию опытных наук, или же в смысле Гегеля, т. е. как метафизическую онтологию. Вот почему так странно звучит в устах Маркса следующая тирада в предисловии ко второму изданию первого тома «Капитала»:

«Я открыто признавал себя учеником этого великого мыслителя и кокетничал даже в некоторых местах главы о теории ценности, прибегая к своеобразной гегелевской манере выражаться. Мистификация, которую испытывает диалектика в руках Гегеля, нисколько не устраняет того, что он впервые всесторонне и сознательно раскрыл общие формы ее движения. Она стоит у него вверх ногами. Нужно ее перевернуть, чтобы найти рациональное зерно в мистической оболочке».

Как видит читатель, Маркс объявляет себя здесь учеником Гегеля, но в этом приходится видеть или продолжение того же «кокетства», что и в главе о ценности, или прямое издевательство над Гегелем, или просто совершенную философскую невменяемость и уж, конечно, всего меньше пиэтета к «великому мыслителю». Объявив «мистификацией» все, что, собственно, Гегеля только и делало Гегелем, и проектируя как-то «перевернуть вверх ногами его систему», Маркс объявляет в то же время себя его учеником и притязает защищать его память и честь против хулителей. Если доверяться только непосредственному впечатлению и, так сказать, чисто художественной интуиции, можно сказать, что именно приведенная тирада сама по себе является наиболее сильным доказательством всей чуждости Маркса Гегелю, и после него все дальнейшие доказательства этого становятся излишни.

Следы влияния Гегеля у Маркса усматривают, наконец, в его эволюционизме. Однако идея эволюции в позитивистическом ее понимании опять-таки глубоко отличается от диалектики понятия у Гегеля, насколько внешнее чередование событий и состояний, хотя и закономерно совершающееся, или внешний факт отличается от раскрытия внутреннего данного и законченного содержания, только выявляющегося в ряде последовательных и внутренно связанных стадий и положений, или от раскрывающейся *идеи*. При внешнем сходстве, диалектика у Гегеля и эволюция в смысле естествознания и позитивизма представляют собой полную противоположность. Конечно, идея исторической и, в частности, экономической эволюции могла явиться у Маркса и под внешним впечатлением от Гегеля, но могла зародиться и совершенно самостоятельно, тем более, что она вообще носилась в воздухе, почти одновременно появляясь и у Сен-Симона, и у Канта, и у Дарвина, и у Л. Штейна (впрочем, под впечатлением Гегеля), и у различных социалистов, как французских, так и немецких (Лассаль, Родбертус). Поэтому на основании эволюционизма Маркса его генеалогию с Гегелем установлять не приходится со сколько-нибудь достаточным основанием.

Можно вообще сказать, что даровитый студент берлинского университета 30-х годов, оставаясь внутренне чужд гегельянству, мог усвоить даже больше внешних его черт, нежели мы находим у Маркса. Внутренних же, более серьезных признаков близости не только к Гегелю, но и вообще к классическому идеализму, к Канту, Фихте, Шеллингу, неизгладимых признаков этой философской школы, у Маркса совершенно не замечается, даже до поразительности. Трудно верится, чтобы, соприкоснувшись с проблемами и учениями классического идеализма, можно было остаться до такой степени не затронутым ими; это можно объяснить только внутренним отталкиванием от них, несродностью этим проблемам, так что остается только удивляться, почему понадобилось установлять несуществующую историческую связь между марксизмом и классическим идеализмом. Осо-

бенно поразительно, что Маркс остался совершенно чужд каким бы то ни было гносеологическим сомнениям и критической осмотрительности, совсем не был затронут гносеологическим скепсисом и критикой познания у Канта, но является докритическим догматиком и, как самый наивный материалист, выставляет следующий тезис в качестве основного своего положения (в предисловии к «Критике политической экономии»): «Не сознание людей определяет формы их бытия, но, напротив, общественное бытие формы их сознания». Или другой тезис, в предисловии ко второму изданию I тома «Капитала»: «Для меня идеальное начало является лишь прошедшим чрез мозг (sic!) материальным началом». Ясно, что эти темные и невнятные положения, полные столь многозначных и требующих пояснения терминов: **бытие, сознание, идеальное, материальное** — не могли выйти из-под пера человека, тронутого Кантом, критика которого представляет собой единственный вход в здание всего классического идеализма. О какой же преемственности может идти речь при этом?

Об общем начальном ходе своих научных занятий Маркс говорит так: «Моей специальностью была юриспруденция, однако изучение ее было подчинено и шло рядом с изучением философии и истории» (предисл. к «Кр. пол. эк.»). В позднейшие же годы, согласно и собственным заявлениям Маркса, и содержанию его печатных трудов, его занятия сосредоточивались исключительно на политической экономии (правда, Энгельс, свято веривший в универсальность Марксова гения, упоминает об его намерении написать и логику, и историю философии, наряду с планами естественнонаучных, математических и экономических работ; однако не подтвержденное, наоборот, опровергаемое фактами, это заявление преданного друга не кажется нам основанным на чем-либо более веском, нежели мимолетные мысли или отдаленные мечтания). Ввиду того, что время наиболее интенсивных занятий Маркса философией может относиться только к ранним годам его, в них мы и должны искать ключа к пониманию действительно философского облика Маркса. К сожалению, мы очень мало знаем о студенческих годах Маркса, но и в эти годы нельзя констатировать значительной близости его к Гегелю. Маркс провел один год в боннском университете (судя по письмам отца, без больших результатов для своих занятий), а с октября 1836 по 1841 год был студентом в Берлине. Список курсов, прослушанных им здесь в течение 9 семестров (его приводит Меринг в своих комментариях к изданию ранних сочинений Маркса), не свидетельствует о том, чтоб и тогда занятия философией, а также и историей играли первостепенную роль: из 12 курсов более половины относится к юриспруденции, лишь один — к философии, два — к богословию(!), один — к литературе и ни одного — к истории.

Меринг хочет обессилить свидетельство этого списка, противоречащее позднейшему заявлению Маркса о ходе своих занятий, ссылкой на то, что после изобретения печатного станка слушание лекций вообще утратило значение. Конечно, справедливо изречение Карлейля, что лучший университет это — книга, однако и теперь это не вполне так, а в 30-х годах прошлого века, да еще относительно кафедр берлинского университета, привлекавших слушателей из всех стран, это было и совсем не так. Да и во всяком случае выбор предметов для слушания, при существовании академической свободы, все-таки свидетельствует о господствующем направлении интересов. Чем занимался Маркс помимо лекций? Об этом мы имеем только одно, да и то очень раннее свидетельство, именно письмо Маркса к отцу, написанное в конце первого года студенчества (ноябрь 1837). Письмо это имеет целью оправдание перед отцом, упрекавшим Маркса в праздности, и содержит длинный, прямо, можно сказать, колоссальный перечень всего прочитанного, изученного и написанного за этот год. Общее впечатление от этого чересчур интимного письма таково, что хотя оно свидетельствует о выдающейся пытливости, прилежании и работоспособности 19-летнего студента, но, написанное под определенным настроением, оно не должно быть принимаемо слишком буквально, да это и невозможно. Там рассказывается о двух

системах философии права (из них одна в 300 листов), которые сочинил за этот год молодой автор, с тем чтобы немедленно разочароваться в них, о целом философском диалоге, двух драмах, стихах для невесты (которые вообще не раз посылал Маркс) и т. д. Кроме того, в нем приводится длиннейший список прочитанных и изученных книг, на которых и при хороших способностях не хватило бы года. Юношеский пыл вместе с юношеским самолюбованием, большое прилежание, однако при некоторой разбросанности, ярко отразились здесь, но именно это и заставляет нас осторожно относиться к этому письму, к слову сказать, не только не успокоившему, но еще более раздражившему старика Маркса *.

Во всяком случае, в этом письме мы видим Маркса с большими запросами, но не установившимися еще вкусами, в Sturm und Drangperiode **. О дальнейших студенческих годах Маркса, кроме перечня лекций, мы ничего не знаем. В 1841 году Маркс получает степень доктора за диссертацию на философскую тему: «Различие философии природы у Демокрита и Эпикура» (издана Мерингом). Она слабо отличается от обычного типа докторских диссертаций и дает мало материала судить о философской индивидуальности, об общем философском мировоззрении автора (оценку специальных исследований предоставляем специалистам по истории греческой философии). Судя по посвящению (своему будущему тестю), Маркс является здесь приверженцем «идеализма», хотя и не ясно, какого именно. Гегельянства и здесь не усматривается (разве только в предисловии с уважением упоминается «История философии» Гегеля). Во всяком случае, можно сказать, что те преувеличенные ожидания, которые могли явиться на основании юношеского письма, здесь не осуществились. Маркс мечтает, однако, в это время о кафедре философии, но скоро отказывается от этой мысли под впечатлением удаления его друга Бруно Бауэра из университета за вольномыслие. Нам думается, однако, что, судя по этой легкости отказа от кафедры, это удаление было скорее предлогом, а причиной была несомненная внутренняя его несродность к этого рода деятельности.

Философская неопределенность облика Маркса вместе с смутным, студенческим «идеализмом» скоро, однако, исчезает, и через два-три года Маркс выступает уже самим собой, тем материалистическим позитивистом и учеником Фейербаха, под общим влиянием которого он оставался всю жизнь. **Маркс — это фейербаханец**, впоследствии несколько лишь изменивший и восполнивший доктрину учителя. Нельзя понять Маркса, не поставив в центр внимания этого основного факта. Маркс сам не называл себя учеником Фейербаха, которым в действительности был, предпочитая почему-то называть себя учеником Гегеля, которым не был. После 40-х годов имя Фейербаха уже не встречается у Маркса, а Энгельс упоминает о нем, как об увлечении прошлого, и резко себя ему противопоставляет. И, однако, употребляя любимое выражение Фейербаха, следует сказать, что Фейербах — это невысказанная тайна Маркса, настоящая его разгадка.

Легко понять, что, усвоив мировоззрение Фейербаха, Маркс должен был окончательно и навсегда потерять вкус к Гегелю, даже если он когда-либо его и имел. Известно, какую роль для Фейербаха играет борьба с Гегелем, причем борьба эта вовсе не есть симптом дальнейшего развития системы в руках ученика, хотя и отходящего от учителя, но продолжающего его же дело, а настоящий бунт, окончательное отрицание спекулятивной философии вообще, которая олицетворялась тогда в Гегеле, отпадение в грубейший материализм в метафизике, сенсуалистический позитивизм в теории познания, гедонизм в этике. Все эти черты усвоил и Маркс, который тем самым покончил и с своим философским прошлым, если оно у него было. Между классическим идеализмом и марксизмом стал Фейербах и навсегда разделил их непроницаемой стеной. Поэтому-то и неожиданное

* Даже для Меринга, который старается принять буквально каждое слово этого письма, размер рукописи в 300 листов кажется сомнительным, и он предполагает здесь описку или ошибку.

** Период «Бури и натиска».

причислеиие себя к ученикам Гегеля в 1873 г. со стороны Маркса есть какой-то каприз, может быть, кокетство, историческая реминисценция — не больше.

Нам известно, что центральное место в философии Фейербаха занимает религиозная проблема, осиовиую тему ее составляет отрицание религии богочеловечества во имя религии человекобожия, богоборческий воинствующий атеизм. Именно для этого-то мотива и оказался наибольший резоианс в душе Маркса; из всего обилия и разнообразия философских мотивов, прозвучавших в эту эпоху гегельянства на всевозможные направления, ухо Маркса выделило мотив религиозный, и именно богоборческий.

В 1848 году вышло „Das Wesen des Christenthums“ * Фейербаха, и сочинение это произвело на Маркса и Энгельса (по рассказам этого последнего) такое впечатлеиие, что оба оии сразу стали фейербахианцами. В 1844 г. Маркс вместе с Руге редактирует в Париже журнал „Deutsch-Französische Jahrbücher“ **, из которого вышла, впрочем, только одна книжка (двойная). Здесь Маркс поместил две свои статьи: „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“ *** и „Zur Judenfrage“ ****, имеющие огромное, первостепенное зиачеиие для характеристики его мировоззрения. В обеих статьях (как и в относящейся к этому же времени „Heilige Familie“ *****) Маркс выступает ортодоксальным фейербахианцем. Можно отметить разве только своеобразный оттенок при восприятии учения Фейербаха о религии, которое имеет у него, так сказать, два фронта. Фейербах не только критикует христианство и всякий теизм, но и проповедует в то же время атеистическую религию человечества, хочет быть пророком этой новой религии и обнаруживает даже своеобразное «благочестие» в этой роли, которое так беспощадно и высмеивает в нем Штирнер. Вот это-то «благочестие» Фейербаха, его трогательное стремление преклонения перед святыией, хотя бы это был грубейший логический идол, совершенно несвойственно душе Маркса. Он берет только одиу сторону учеиия Фейербаха — критическую и острие его критики оборачивает против всякой религии, вероятно, ие делая в этом отиошении исключеиия и для религии своего учителя. Он стремится к полному и окончательному упразднению религии, к чистому атеизму, при котором не светит уже никакое солнце ни иа небе, ни на земле. Однако предоставим лучше слово самому Марксу. Статья «К критике философии права Гегеля» начинается следующим решительным заявлением:

«Для Германии критика религии в существе закончена (!!), а критика религии есть предположение всякой критики. Основание не религиозной критики таково: человек делает религию, а не религия делает человека. Именно религия есть самосознание и самочувствие человека, который или не нашел себя, или же снова себя потерял. Но человек не есть абстрактное, вне мира стоящее существо. Человек это есть мир людей, государство, общество. Это государство, это общество производят религию, извращеииое созиаиие мира, потому что они сами представляют извращенный мир. Религия есть теория этого мира, ее энциклопедический компендиум, ее логика в популяриой форме, ее спиритуалистический point d'honneur ******, ее энтузиазм, ее моральиая санкция, ее торжествеииое восполнеиие, ее всеобщее осиоваиие для утешения и оправдания... Она есть фантастическое осуществлеиие человеческой сущиости (Wesen ******* — обычный термин Фейербаха), ибо человеческая сущиость ие обладает истинной действительностью. Борьба против религии посредствеино есть, стало быть, и борьба против того мира, духовиым ароматом которого является религия. Религиозное убожество (Elend) в одиих есть выражеиие действительного

* «Сущиость христиаиства» (*нем.*).
** «Немецко-фраицузский ежегодиик» (*нем.*).
*** «К критике гегелевской философии права» (*нем.*).
**** К еврейскому вопросу» (*нем.*).
***** «Святое семейство» (*нем.*).
****** Дело чести (*фр.*).
******* Сущиость (*нем.*).

убожества, в других есть протест против действительного убожества. Религия есть вздох утесненного создания, настроение бессердечного (herzlosen), а также дух бездушной эпохи. Она есть опиум для народа».

«Уничтожение религии, как иллюзорного счастия народа, есть требование его действительного счастья. Требование устранения иллюзий относительно своего существования есть требование устранения такого состояния, которое требует иллюзий. Таким образом, критика иллюзий в существе дела есть критика юдоли скорби, в которой призраком святости является религия. Критика сорвала с цепей воображаемые цветы не за тем, чтобы человек нес лишенные фантазии, утешения цепи, но за тем, чтоб он сбросил цепи и стал срывать живые цветы. Критика религии разочаровывает человека, чтобы он думал, действовал, определяя окружающую действительность, как разочарованный, образумившийся человек, чтоб он двигался около самого себя, следовательно, около действительного своего солнца».

Это все — изложение основных положений Фейербаха, сделанное почти его же словами. Но у Маркса гораздо ярче выражено практическое, революционное приложение этой «критики религии».

«Критика неба,— говорит он,— превращается в критику земли, критика религии — в критику права, критика теологии — в критику политики... Оружие критики, конечно, не может заменить критики оружия, материальная сила должна быть свергнута материальной силой, но и теория становится материальной силой, раз она охватывает массы. Теория способна охватить массы, если она способна демонстрировать ad hominem *, а она способна демонстрировать ad hominem, если она радикальна. Быть же радикальным, значит, брать дело в корне. Корнем же для человека является сам человек. Очевидным доказательством радикализма для немецкой теории, стало быть, и для ее практической энергии, есть ее отправление (Ausgang **) от решительного положительного устранения религии. Критика религии кончает учением, что человек есть высшее существо для человека, следовательно, категорическим императивом опрокидывает все усилия, в которых человек является униженным, окованным, покинутым, презренным существом».

В статье этой в заключение слышится «музыка будущего», основной мотив социологической доктрины Маркса: «Единственно практически возможное освобождение Германии есть освобождение на точке зрения теории, которая объявляет человека высшим существом для человека (т. е. учения Фейербаха.— *Авт.*). Эмансипация немца есть эмансипация человека. Голова этой эмансипации есть философия, ее сердце — пролетариат. Философия не может быть осуществлена без устранения (Aufhebung) пролетариата, пролетариат не может устраниться без осуществления философии». Дело философии, т. е. учение Фейербаха, имению теоретическое освобождение человечества от религии, и дело пролетариата объединиться здесь в одно целое,— пролетариату поручается миссия исторического осуществления дела атеизма, т. е. практического освобождения человека от религии. Вот где подлинный Маркс, вот где обнаруживается настоящая «тайна» марксизма, истинное его естество!

Это место цитируется обыкновенно для подтверждения мнимой связи марксизма с классической философией, как ее хотел установить и Энгельс. Читатель видит, однако, что в нем нельзя усмотреть ничего подобного. Напротив, здесь скорее отвергается такая связь, поскольку классическая идеалистическая философия неизменно соединялась с теми или иными религиозными идеями и поскольку, кроме того, учение Фейербаха, в действительности здесь разумеющееся, отрицает идеалистическую философию в основе. Сообразно такому мировоззрению на языке Маркса «человеческая эмансипация» значит

* Применительно к человеку (*лат.*).
** Выход (*нем.*).

в это время именно освобождение от религии. Эта точка зрения особенно выясняется в споре с Бауэром по европейскому вопросу. Он указывает здесь недостаточность чисто политической эмансипации, потому что при ней остается еще религия.

«Вопрос таков, как относится полная политическая эмансипация к религии? Если мы даже в стране, полной политической эмансипации, находим религию не только просто существующей, но и процветающей, то этим доказывается, что существование религии не противоречит законченности государства. Но так как существование религии связано с существованием некоторого изъяна (Mangels), то причину этого изъяна следует искать уже в самом существе государства. Религия уже не представляется для нас причиною, но лишь проявлением внерелигиозной (weltlichen) ограниченности. Мы объясняем поэтому религиозную ограниченность граждан свободного государства их общей (weltlichen) ограниченностью.

«Мы не утверждаем, что они должны освободиться от религиозной ограниченности для того, чтоб освободиться от общей (weltlichen) ограниченности. Мы утверждаем, что они освобождаются от своей религиозной ограниченности, лишь освободившись от своей общей ограниченности. Мы не превращаем мирских вопросов в теологические, мы превращаем человеческие вопросы в мирские. Историю достаточно уже растворяли в суевериях, мы суеверие растворяем в истории. Вопрос об отношении политической эмансипации и религии становится для нас вопросом об отношении политической эмансипации и человеческой эмансипации... Границы политической эмансипации проявляются именно в том, что государство может освободиться от известной ограниченности без того, чтоб и человек становился в этом отношении свободным, что государство может стать свободным государством без того, чтоб и человек стал свободным человеком».

«Члены политического государства религиозны, вследствие дуализма между индивидуальной и родовой жизнью, между жизнью гражданского общества и политической жизнью, между жизнью гражданского общества и политической жизнью, религиозны, поскольку человек относится к государственной жизни, являющейся потусторонней для его действительной индивидуальности, как в своей истинной жизни, религиозны, поскольку религия есть дух буржуазного общества, выражение отделения и удаления человека от человека. Политическая демократия является христианской, поскольку в ней человек,— не человек вообще, но каждый человек,— считается суверенным, высшим существом, притом человек в своем некультивированном, не социальном виде (Erscheinung) * в случайной (!) форме существования, человек, как он есть в жизни, человек, как он испорчен всей организацией нашего общества, потерян, отрешен от самого себя, отдан господству не человеческих стихий и элементов,— словом,— человек, который еще не есть действительно родовое существо (Gattungswesen). Фантастический образ, грезы сна, постулат христианства, суверенитет человека, но как чуждого, отличного от действительного человека существа в демократии есть чувственная действительность».

Нетрудно узнать здесь идею Фейербаха о Gattungswesen, о человеческом роде, как последней высшей инстанции для человека. У Маркса эта «любовь к дальнему» и еще не существующему превращается в презрение к существующему «ближнему», как испорченному и потерянному, и христианству ставится в упрек, что оно исповедует равноценность всех личностей, учит в каждом человеке чтить человека. Здесь снова всплывает характерное пренебрежение Маркса к личности.

Настоящий человек явится только при следующих условиях: «Лишь когда действительный индивидуальный человек вберет в себя (in sich zurücknimmt) абстрактного государственного гражданина и, как индивидуальный человек в своем индивидуальном положении, в своем индивидуальном труде, в своей эмпирической жизни станет родовым

* Явление (*нем.*).

существом, лишь когда человек свои forces propres * познал и организовал, как силы общественные, и потому уже не отделяет общественных сил от себя в виде политической силы,— лишь тогда совершится человеческая эмансипация».

Итак, когда человек упразднит свою индивидуальность и человеческое общество превратится не то в Спарту, не то в муравейник или пчелиный улей, тогда и совершится человеческая эмансипация. С той легкостью, с которой Маркс вообще перешагивает через проблему индивидуальности, и здесь он во имя человеческой эмансипации, т. е. уничтожения религии, готов растворить эту эмансипируемую личность в темном и густом тумане, из которого соткано это «родовое существо», предносившееся воображению Фейербаха и растаивающее в воздухе при всякой попытке его осязать.

Но в этом суждении сказывается и характерное бессилие атеистического гуманизма, который не в состоянии удержать одновременно и личность и целое и поэтому постоянно из одной крайности попадает в другую: то личность своим бунтом разрушает целое и, во имя прав индивида, отрицает вид (Штирнер, Ницше), то личность упраздняется целым, какой-то социалистической Спартой, как у Маркса. Только на религиозной почве, где высшее проявление индивидуальности роднит и объединяет всех в сверхиндивидуальной любви и общей жизни, только соединение людей через Христа в Боге, т. е. церковь, личный и вместе сверхличный союз способен преодолеть эту трудность и, утверждая индивидуальность, сохранить целое. Но идея церковной или религиозной общественности так далека современному сознанию...

Мы не можем пройти молчанием суждений Маркса по еврейскому вопросу, в которых жесткая прямолинейность и своеобразная духовная слепота его проявляются с особенною резкостью. С той же легкостью, с какой он топит личную индивидуальность в «родовом существе» во славу «человеческой эмансипации», он упраздняет и национальное самосознание, коллективную народную личность, притом своего собственного народа, наиболее прочную и нерастворимую в волнах и ураганах истории, эту ось всей мировой истории.

Еврейский вопрос для Маркса есть вопрос о процентщике «жиде», разрешающийся сам собой с упразднением процента. На меня то, что написано Марксом по еврейскому вопросу, производит самое отталкивающее впечатление. Нигде эта ледяная, слепая, однобокая рассудочность не проявилась в таком обнаженном виде, как здесь. Но приведем лучше подлинные суждения Маркса.

«Вопрос о способности евреев к эмансипации превращается в вопрос, какой специальный общественный элемент следует преодолеть для того, чтоб устранить еврейство? Ибо способность теперешних евреев к эмансипации есть отношение еврейства к эмансипации теперешнего мира. Отношение это необходимо определяется особым положением еврейства в теперешнем угнетенном мире. Посмотрим действительного, обыденного (weltlichen), не субботнего, но будничного еврея».

«Каково мирское основание еврейства? Практическая потребность, своекорыстие. Каков мирской культ евреев? Барышничество (Schacher). Каков его светский бог? Деньги. Итак, эмансипация от барышничества и денег, стало быть, от практического реального еврейства, была бы эмансипацией нашего времени.

Организация общества, которая уничтожила бы предпосылки барышничества, сделала бы невозможным и еврейство. Его религиозное сознание рассеялось бы как редкий туман в действительном жизненном воздухе общества... Эмансипация еврейства в таком значении есть эмансипация человечества от еврейства».

«Какова была сама по себе основа еврейской религии? Практическая потребность, эгоизм...

* Собственные силы (*фр.*).

Деньги есть ревнивый бог Израиля, рядом с которым не может существовать никакой другой бог... Бог евреев обмирщился, он сделался мирским богом. Вексель есть действительный бог еврея. Его бог есть иллюзорный вексель.

То, что абстрактно лежит в еврейской религии, презрение к теории, искусству, истории, человеку, как самоцели, это есть действительно сознательная точка зрения, добродетель денежного человека (Geldmenschen). Химерическая национальность еврея есть национальность купца, вообще денежного человека».

Ради чего же сын поднял руку на мать *, холодно отвернулся от вековых ее страданий, духовно отрекся от своего народа?

Ответ совершенно ясен: во имя рационализма и вражды к религии, во имя последовательного атеизма. Бр. Бауэр выставил утверждение, с которым и полемизирует в статье своей Маркс, что еврейский вопрос есть в корне своем религиозный, вопрос об отношении еврейства и христианства. Я всецело разделяю это мнение, да с точки зрения христианских верований иное понимание судеб еврейства и невозможно. Исторические и духовные судьбы еврейства связаны с отношением иудаизма к христианству. Именно религиозные утверждения и отрицания, притяжение и отталкивание определяют в основе исторические судьбы еврейства. «Schacher» **, мировая роль еврейства в истории капитализма, есть лишь эмпирическая оболочка своеобразной религиозной психологии еврейства.

Несмотря на весь атеизм значительной части теперешнего еврейства, на весь его материализм, и практический, и теоретический, под всеми этими историческими напластованиями все-таки лежит религиозная подпочва, которую умел почувствовать и так поразительно обнаружить Влад. Соловьев. Но Маркс, конечно, не мог примириться с религиозной точкой зрения, ему пришлось пожертвовать своей национальностью, произнести на нее хулу и впасть в своеобразный не только практический, но даже и религиозный антисемитизм.

Итак, мы видим, что уже с сороковых годов Марксу было совершенно чуждо то принципиальное безразличие в делах религии, которое нашло свое официальное выражение в программном положении социал-демократической партии Германии и Австрии, что «религия есть частное дело» (Privatsache) ***. Конечно, и со стороны партии это есть условное лицемерие, вызванное тактическими соображениями, главным образом, условиями агитации в деревне. Достаточно и поверхностного знакомства с литературой и общим настроением партии последователей Фейербаха и Маркса, чтоб убедиться в неискренности этого заявления, ибо, конечно, это есть партия не только социализма, но и воинствующего атеизма. Маркс же вообще никогда не делал из этого тайны. В своем известном критическом комментарии на проект Готской программы Маркс протестует против выставленного там требования «свободы совести», называя его буржуазным и либеральным ввиду того, что подразумевается свобода **религиозной** совести, между тем как рабочая партия, напротив, должна освободить совесть от религиозных фантомов.

Нам могут, однако, возразить, что мы познакомились с философско-религиозным мировоззрением Маркса in statu nascendi ****, в такую эпоху, когда сам Маркс не был марксистом, не выработав еще той своеобразной доктрины, которая обычно связывается с его именем в политической экономии и социологии. Не отрицая этого последнего факта, мы

---

* Любопытно, что и Ф. Лассаль, в отрочестве мечтающий о борьбе за права своего народа (в дневнике), в позднейших письмах к Солнцевой также обнаруживает крайне отрицательное отношение к своему племени, и это при всем своем национализме касательно Германии. Мы отмечаем только эту психологическую загадку, ближе на ней здесь не останавливаясь.

** Мошенничество, барышничество (*нем.*).

*** Частное дело (*нем.*).

**** В состоянии зарождения, возникновения (*лат.*).

утверждаем, однако, что в Deutsch-Französische Jahrbücher * 1844 г. Маркс выступает перед нами в религиозно-философском отношении окончательно сложившимся и определившимся. Никаких принципиальных перемен и переворотов после этого в своей философской вере он не испытал. В этом смысле общая духовная тема его жизни была уже дана, основной религиозно-философский мотив ее вполне сознан. Речь могла только идти не о что, а о как, и этим как и явился марксизм, представляющий собой в наших глазах лишь частный случай фейербахианства, его специальную социологическую формулу.

Своеобразие марксизма относится совершенно к другой области, нежели философская, нас здесь интересующая,— он есть усложнение, если хотите, обогащение, дальнейшее развитие фейербахианства, но не его религиозно-философское преодоление. Энгельс в своей брошюре о Фейербахе чрезвычайно преувеличивает это различие, превращая его в принципиальное. Может быть, Энгельсом руководила здесь мысль отстоять оригинальность Маркса даже в такой области, где он был совершенно не оригинален, именно в философской, поэтому он выставляет здесь «экономический материализм», как нечто, фейербахианство принципиально превосходящее. Между тем эта доктрина указывает лишь известный социологический субстрат для того исторического процесса, который имеет окончательным результатом осуществление фейербаховско-марксовского постулата: «человеческую эмансипацию», т. е. эмансипацию человечества от религии путем практического его обобществления, превращение его в «Gattungswesen» ** на почве социалистического хозяйства.

Во всех дальнейших трудах Маркса нет ничего, чем бы отменялась или ограничивалась религиозно-философская программа, развитая в статьях «Deutsch-Französische Jahrbücher». Приходится считать, что эти статьи представляют собой, так сказать, философский максимум для Маркса, высшую точку напряжения его чисто философской мысли. В дальнейшем, сохраняя верность принятому и усвоенному в годы молодости, он все более и более отклоняется от философских проблем, с тем чтобы вообще уже не возвращаться к ним, очевидно, вследствие полной внутренней успокоенности, какая дается сознанием своей правоты и отсутствием сомнений в принятых догматах. Получается парадоксальный вывод, что для знакомства с Марксом и суждения о нем с интересующей нас, и притом самой существенной его, стороны наибольший материал дает как раз та эпоха, когда Маркс не был еще марксистом, когда его подлинный духовный облик не был еще заслонен деталями специальных исследований, которыми он создал себе имя.

Итак, всемирно-историческая задача человеческой самоэмансипации встала в сознании Маркса. Нужно было найти соответствующее средство для ее разрешения. Таким средством и явился «научный социализм», систему которого Маркс и начинает разрабатывать в своей научной деятельности. И с этого времени круг его теоретических интересов и занятий, насколько мы можем определить его по его сочинениям и его собственным показаниям о себе, суживается и сосредоточивается преимущественно, чтобы не сказать исключительно, на политической экономии и текущей политике. Однако любопытнее всего это то, что в это время теоретические притязания Маркса отнюдь не ограничиваются политической экономией, но распространяются на универсальную область философии истории. В это время у него складывается «материалистическое понимание истории», притязающее дать ключ к разумению всего исторического бытия. Как бы мы ни относились к этому прославленному «открытию» Маркса, нас интересует здесь, как оно в действительности было сделано, какова его психология, его внутренний мотив. Мы знаем, что за это время Маркс не занимался, по крайней мере, в заметной степени

* «Немецко-французский ежегодник» (*нем.*).
** Родовое существо (*нем.*).

ни историей, ни философией. Значит, «открытие» явилось не как следствие нового теоретического углубления, а как новая формула, догматически выставленная и на веру принятая, род художественной интуиции, а не плод научного исследования (как, впрочем, родятся многие из подлинно научных открытий). Элементы, из соединения которых образовалось материалистическое понимание истории, легко различить: с одной стороны, это все та же фейербаховская доктрина воинствующего атеизма, которую мы уже знаем, с другой — сильное впечатление, полученное от фактов экономической действительности как благодаря занятиям политической экономией, так и текущей политикой. Стало быть, новая доктрина не выводит за пределы старого мировоззрения, хотя его и осложняет. В частности, что касается религии, то ее философское толкование становится еще грубее, хотя и не изменяется по существу. Она объявлена, вместе с другими «формами сознания», «надстройкой» над экономическим «базисом». В первом томе «Капитала» мы встречаем о ней следующее суждение, по существу нисколько не уводящее нас дальше статей о Гегеле и других произведений 40-х годов: «Для общества товаропроизводителей, общественное производственное отношение которого заключается в том, что они относятся к своим продуктам, как к товарам, т. е. как к ценностям, и в этой вещной форме относят одну к другой свои частные работы, как одинаковый человеческий труд,— для такого общества христианство с его культом абстрактного человека, особенно христианство в его буржуазной форме — протестантизме, деизме и т. д.— представляет самую подходящую религию».

Это — Фейербах, переведенный только на язык политической экономии и, в частности, экономической системы Маркса. Как отголосок Фейербаха звучит и дальнейшее общее суждение о религии: «Религиозное отражение реального мира может вообще исчезнуть лишь тогда, когда условия практической будничной жизни людей будут каждодневно представлять им вполне ясные и разумные отношения человека к человеку и к природе. Общественный процесс жизни, т. е. материальный процесс производства лишь тогда сбросит с себя мистическое покрывало, когда он, как продукт свободно соединившихся людей, станет под их сознательный и планомерный контроль.

Мы видим на примере этих суждений,— а это и все, что можно найти у Маркса в этот период,— что религиозная мысль Маркса от принятия догмата экономического материализма нисколько не усложнилась и не обогатилась, в ней по-прежнему повторяются положения, усвоенные от Фейербаха. Этот догмат не заставляет здесь от чего-либо отказываться или заново пересматривать, а оставляет все по-прежнему, давая лишь специальную формулу, которая специальный предмет новых научных занятий,— политическую экономию, делает наукой всех наук, объявлет ключом ко всяким «идеологиям», т. е. ко всей духовной жизни человечества.

Маркс наложил на социалистическое движение неизгладимую печать своего духа, а следовательно, и того духа, которого он сам был орудием в отношении философско-религиозном, а через посредство Маркса и Фейербах. Общая концепция социализма, выработанная Марксом, проникнута этим духом, отвечает потребностям воинствующего атеизма; он придал ему тот тон, который, по поговорке, делает музыку, превратив социализм в средство борьбы с религией. Как бы ни представлялись ясны общие исторические задачи социализма, но конкретные формы социалистического движения, мы знаем, могут весьма различаться по своему духовному содержанию и этической ценности. Оно может быть воодушевляемо высоким, чисто религиозным энтузиазмом, поскольку социализм ищет осуществления правды, справедливости и любви в общественных отношениях, но может отличаться преобладанием чувств иного, не столь высокого порядка: классовой ненависти, эгоизма, той же самой буржуазности — только наоборот, одним словом, теми чувствами, которые под фирмой классовой точки зрения и классовых интересов играют столь доминирующую роль в проповеди марксизма. Негодование против зла

есть, конечно, высокое и даже святое чувство, без которого не может обойтись живой человек и общественный деятель, однако есть тонкая, почти неуловимая и тем не менее в высшей степени реальная грань, перейдя которую это святое чувство превращается в совсем не святое; мы понимаем всю легкость, естественность, даже незаметность такого превращения, но преобладание чувств того или иного порядка определяет духовную физиономию и человека, и движения, хотя в наш практический век и не принято интересоваться внутренней стороной, если только это не имеет непосредственного практического значения.

Вся доктрина Маркса, как она вытекла из основного его религиозного мотива — из его воинствующего атеизма: и экономический материализм, и проповедь классовой вражды, и отрицание общечеловеческих ценностей и общеобязательных норм за пределами классового интереса, наконец, учение о непроходимой пропасти, разделяющей два мира — облеченный высшей миссией пролетариат и «общую реакционную массу» его угнетателей,— все эти учения могли действовать, конечно, только в том направлении, чтоб огрубить, оземлянить, придать более прозаический и экономический характер социалистическому движению, сделать в нем слышнее ноты классовой ненависти, чем ноты всечеловеческой любви. Мы отнюдь не приписываем внесение этого оттенка в движение влиянию одного только Маркса, напротив, это духовное искушение для социалистического движения и без него слишком велико и, конечно, нашло и находит много путей и раньше и теперь, но Маркс был могущественным его орудием. Личное влияние Маркса в социалистическом движении отразилось всего более именно усилением той антирелигиозной, богоборческой стихии, которая в нем бушует, как и во всей нашей культуре.

С глубоким пониманием истинного характера антирелигиозной стихии, стремящейся овладеть социалистическим движением и обольстить его, Владимир Соловьев в повести об антихристе рисует его, между прочим, и социальным реформатором, социалистом.

И в социализме, как и во всей линии нашей культуры, идет борьба Христа и антихриста...

14—1565



И. А. Ильин

Родина и мы

1.

Как тяжко утратить родину... И как невыносима мысль о том, что эта утрата, может быть, состоялась навсегда... *Для меня* навсегда, ибо я, может быть, умру в изгнании...

От этой мысли все становится беспросветным: как если бы навсегда зашло солнце, навсегда угас дневной свет, навсегда исчезли краски дня... и никогда больше не увижу я цветов и голубого неба... Как если бы я ослеп; или некий голос грозно сказал бы мне: «Больше не будет радостей в твоей жизни; в томлении увянешь ты, всем чужой и никому не нужный»...

Кто из нас, изгнанников, не осязал в себе этой мысли, не слышал этого голоса? Кто не содрогался от них?

Но не бойтесь этого голоса и этого страха! Дайте им состояться, откройте им душу. Не страшитесь той пустоты и темноты, которые прозияют в вашей душе. Смело и спокойно смотрите в эту темноту и пустоту. И скоро в них забрезжит *новый свет*, свет новой, *подлинной любви к родине*, *к той родине, которую никто и никогда не сможет у вас отнять*. И тогда вы впервые многое поймете и многое вам откроется. И ваше изгнанничество перестанет быть пассивным состоянием; оно станет действием и подвигом; и свет не погаснет уже никогда.

Я помню, как осенью 1922 года, в Москве, когда «вечное изгнание под страхом расстрела» было уже объявлено мне и оставались одни формальности, ко мне пришел проститься один из приятелей и произнес мне надгробное слово: «Вы,— говорил он,— конченый человек, вы неизбежно оторветесь от России и погибнете... Что вы без Родины? Что вы можете без нее сказать или сделать? Уже через несколько месяцев вы не будете понимать того, что здесь совершается, а через год вы будете совсем чужды России и не нужны ей... Иссякнут ваши духовные родники... И вы станете несчастным, бесплодным, извергнутым эмигрантом!»...

Я слушал и не возражал ему: он не видел дальше «пустоты и темноты»; он думал, что родина исчерпывается *местопребыванием и совместным бытом*; его патриотизм питался повседневностью, его любовь нуждалась в ежедневном подогревании; «русскость» его души была не изначальной, а привитой; он видел Россию не из ее священных корней и судил обо мне по себе. И, зная это, я не надеялся поколебать его в прощальной беседе...

Мы, русские, мы, белые, все мы, вынужденно оторвавшиеся от нашей родной земли,— мы *не* оторвались от нашей *Родины* и, слава Богу, никогда не сможем оторваться от нее. Всмотритесь и вслушайтесь в «пустоту» нашей тоски и в «темноту» нашей скорби: ведь мы сами — *живые куски* нашей России; ведь это ее кровь тоскует в нас и скорбит; ведь это *ее* дух молится в нас и поет, и думает, и мечтает о возрож-

дении, и ненавидит ее врагов. Почувствуйте это: *она в нас*, она всегда *с нами*; мы слеплены из ее телесного и духовного материала; она *не может* оторваться от нас так же, как мы *не можем* оторваться от нее. И куда бы ни забросила нас судьба, в нашем лице дышит, и молится, и поет, и пляшет, и любит стихия нашей Родины. И когда мы говорим, просто *говорим*, произносим русские слова,— разве это не *ее* дивный язык (о, какой несравненный!) благовестит *о ней и нам*, и другим народам?..

Какие человеческие законы, какие бытовые уклады могут оторвать меня от моей родины, когда я, может быть, самый последний из ее сынов, *соткан из нее*, и изменить это мог бы только тот, кто переплавил бы всего меня заново? «Эмиграция», «изгнание» меняют наше местопребывание и, может быть, наш быт, но они бессильны изменить *состав и строение*, и *ритм* моего тела и моего духа. Посмотрите, как мы, русские, узнаем друг друга по походке, выражению лица, по произношению, по улыбке, по манере одеваться — всюду: и в горах Тироля, и в Нью-Йорке, и на аванпостах африканской армии. Все чувства наши обострились в изгнании для всего, что *наше*. Ширью, легкостью, простотою, искренностью, добротою, глубиною чувства, мечтательностью, даровитостью, темпераментом наделила нас Россия,— и все это слагает особый аромат бытия и быта... И нам, слава Богу, никогда не утратить этого!..

За «пустотою» и «темнотою» там, глубже, в каждом из нас скрыто некое сокровище, светящийся клад русского национального *духовного опыта* — религиозного и нравственного, и художественного, и государственного. Убедитесь в этом, воззовите туда голосом скорби и внимайте ответу. Подумайте про себя, из глубины, сосредоточенно, молча: «светлая заутреня», «всенощная», «панихида», «Сергий», «Гермоген», «Кремль», «Куликово поле», «Пожарский», «Киев», «Москва», «Петр», «Пушкин», «Гоголь», «Достоевский», «наша песня», «наша армия», «наши монастыри», «Оптина пустынь», «коронование»,— и никогда после этого не говорите, и не воображайте, что вы «оторвались» от Родины...

От Родины оторваться нельзя! Можно жить на свете, не найдя своей родины,— мало ли их, безродных, теперь; всюду они мутят, желая привить другим свое убожество. Но кто раз *имел* ее, тот *никогда ее не потеряет*, разве только сам предаст ее и не посмеет покаянно вернуться к ней... А нам всем Родина дала уже, дала раз навсегда, неумирающее и неистощающееся богатство, в нас самих укрытое, всюду нас сопровождающее — дар навеки...

Конечно, это верно: что я без моей родины, которая это создала и *это* дала мне навеки? Да, но разве какое бы то ни было изгнание может отнять это у меня? Разве алтари эти не живут *во мне самом*, и я не могу в любой момент обратить к ним мою любовь, и мою гордость, и мою благодарность, и мою молитву? И какая «денационализация» страшна мне и моим детям, если я постоянно трепетом моего сердца и огнем моей воли молюсь у этих алтарей и учу тому же моих детей?

Но тогда где же «пустота» и «темнота»? Да, я оторван от родной *земли*, но не *от духа*, и не *от жизни*, и не *от святынь* моей Родины; и ничто и никогда не оторвет меня от них!..

И вот, смотрите: «состояние» изгнанничества становится *заданием*, *действием и подвигом*. Мы должны найти в себе, углубить и укрепить свою русскую природу, свою «русскость» так, чтобы через «пустоту» и «темноту» видимого и мнимого «отрыва» от России засиял свет *подлинного единения и глубинного единения с нею*. Мы оторваны от родной земли именно для того, чтобы *найти в себе самих родной дух*, тот дух, который строил Россию от Феодосия Печерского и Владимира Мономаха до Оптиной пустыни и Белой армии. И родная земля вернется нам только тогда, когда огонь этого духа загорится и в нас, и в оставшихся *там* братьях наших; загорится и вернет нам нашу землю, и наш быт, и нашу государственность...

Где-то в мудром решении Божием установлено так, что человек *находит* через *утрату*, прозревает в разлуке, крепнет в лишениях, закаляется в страданиии...

Кара ли это? Возмездие ли?

Не милость ли? Не помощь ли?

Когда же, когда возрастал и окрылялся человек в легких, дешевых, слишком человеческих утехах?

И разве не на сильного и не на любимого возлагается более тяжкий крест?

Нам задано обрести Родину через утрату ее, увидеть ее подлинный, прекрасный лик в разлуке, окрепнуть и закалиться в изгнании, и подготовить свою волю и свое разумение к новому строительству нашей России.

Верьте: кому дано *призвание*, тому дан и *обет*.

Окиньте же умственным взором пути нашей общей белой борьбы и каждый — свою личную судьбу; и постигнете: и наше призвание, и тот обет, который таинственно скрыт за призывом... Обет возврата и возрождения.

2.

Мы, белые изгнанники,— не беглецы и не укрывающиеся обыватели. Мы не уклонились от борьбы за Россию, но приняли ее и повели ее всею силою, и любовью, и волею.

И ныне заявляем, пусть слышат и друзья, и враги: «*Борьба не кончилась, она продолжается*».

Она кончится только с освобождением и восстановлением России. И тогда от этой борьбы останется драгоценное наследие: выделившийся и сплотившийся кадр белых патриотов, белая традиция, белая идея. Белая армия станет творческой основой, ферментом, цементом русской национальной армии, и в недрах ее она сделается *орденом чести, служения и верности*. И этот орден возродит не только русскую *армию*, но и русскую *гражданственность* — на основах *верности, служения и чести*.

Но для этого мы, белые, должны прежде всего соблюсти свой *дух* и *самих себя*.

Я не говорю: «себя» и «свой дух», а в обратном порядке: *дух* и *себя*. Потому что дух важнее соблюсти, чем личную жизнь.

Тот, кто сберег свою жизнь, но не соблюл духа, тот не борец и не строитель Родины. Что ему русская армия? Что он России? С чем вступит он в грядущий орден? Какую понесет и передаст традицию?

Нет, наша задача не в том, чтобы пережить этот трудный период *во что бы то ни стало*; это значило бы все продешевить, растерять и погубить. Но в том, чтобы пережить этот период, *оставшись белыми*, сохранив белый дух, дух чести, служения и верности.

Мы должны соблюсти: во-первых, *дух чести*, ибо *Россия погибла от бесчестия* и возродится только через честь. Я разумею прежде всего общечеловеческую честь — *живое чувство собственного достоинства*: уважение к себе и к своим алтарям, отвращение ко всяческой кривизне, прямоту характера, слова, поступка, имущественную честность. Я разумею далее *воинскую честь*, достоинство солдата, уважение к воинскому званию и призванию, живое осязание той благой цели, для которой воину дан меч, культ воинской доблести и славы. Я разумею, наконец, государственную честь — достоинство русского гражданина, неотделимое от достоинства России, уважение к исторической государственности, строившей нашу чудесную родину; живое осязание самого себя в единстве со своей родиной; памятование о том, что мы — ее аванпост и что по нас судят о ней.

Мы должны соблюсти в себе, во-вторых, *дух служения*, ибо *Россия погибла от безразличия и своекорыстия* и возродится только через служение.

Я разумею тот дух патриотической преданности, который подчиняет все личные и классовые цели — благу Родины, я разумею *рыцарственный дух* бескорыстия, свободной жертвенности, добровольного подчинения, дисциплины и бесстрашия. Я разумею то состояние души, когда любовь родит сильную и неподкупную волю, воля ведет к поступку, а поступок строит Родину; когда чувство долга становится второй природой, а вера в свое призвание ведет к подвигу.

Мы должны соблюсти в себе, в-третьих, *дух верности*, ибо *Россия погибла от душевной смуты, двоедушия и предательства* и возродится только через верность. Верным может быть только тот, кто чему-нибудь *религиозно предан*, кто в чем-нибудь безусловно и окончательно *убежден*, кто испытывал нечто с полной *очевидностью*, так, что душа его становится *одержима* тем, что ему очевидно. У человека безыдейного и безверного нет и верности, в нем все неясно, сбивчиво, смутно — в нем смута и шатание, и поступки его всегда накануне предательства.

Бесчестие, своекорыстие и смута, безрелигиозность и бесхарактерность погубили Россию; и возродится она *честью, служением и верностью*. Эти три великие основы русского православного правосознания с самого начала создали, спаяли и укрепили Белую армию, ими она жила, за них боролась, ими побеждала. Благодаря им и через них она непобедима, ибо они слагают вместе тот дух, тот воздух, которым будет дышать и жить возрождающаяся и возрожденная Россия. Это есть как бы та «живая вода», которою должно быть вспрыснуто «мертвое тело» нашей Родины...

И какой бы «строй» ни установился в России после перелома, какие бы люди ни оказались «во главе», какие бы «программы» ни восторжествовали,— Россия будет существовать, расти и цвести только тогда, если в ней воцарится дух чести, служения и верности; ибо дух бесчестия, жадности и предательства поведет ее опять по путям революции, распада, «переделов», «социализма» и «интернационализма» — по путям позора и бессилия. Мудрые понимали это и раньше, ныне разумеют это все, в ком живо непристрастное разумение. Для нас же, белых,— это *аксиома*.

И еще в одном мы можем быть уверены: если в России возобладает дух *чести, служения и верности*, то она станет монархией. Ибо этот дух — дух единения, достоинства, дисциплины, порядка, честности и верности — породит *сильную, законную, несменяемую, сверхклассовую, национальную власть, свободно и доверчиво любимую народом и воспитывающую его через честь к свободе и через собственность к труду.*

* * *

Соблюсти этот дух — значит для нас соблюсти верность тем знаменам, которые мы развернули восемь лет тому назад: одни на юге, другие в Сибири и на севере, третьи в Москве,— и которые мы привезли с собой на чужбину; это значит соблюсти дух Белой армии — одно из лучших достояний и наследий русской духовной культуры.

Именно об *этом* говорю я: *это* важнее соблюсти, чем личную жизнь, ибо тот, кто умер белым,— продолжает служить России и в смерти, самой смертью своею; а тот, кто отрекся от этого духа и этого дела, тот будет доживать свою жизнь или служителем бесчестия и предательства, или потатчиком жадности и разложения.

Наша задача в том, чтобы, несмотря ни на что, остаться у белого знамени, чтобы остаться белыми, не становясь ни черными, ни желтыми, ни красными.

Ни *черными*: теми, кто тянут направо во имя личных, групповых или классовых интересов, кто хотел бы принести русскому простому народу месть, темноту и покорность; кто думает строить государство на мертвой букве и пустой форме; кто мечтает о политической и социально-имущественной реставрации и готов идти «хоть с чертом» (т. е. в соглашении с большевиками, если бы они того захотели) против революции.

Однако нам нельзя забывать и о грани между нами и *желтыми* — теми, кто долго подготовлял революционное крушение России и в 1917 году, став у власти, обеспечил победу коммунистам; кто предал на растерзание русское офицерство; кто на юге «подготовлял террористические акты против вождей белого движения»; кто преследовал наше Галлиполи голодом, пропагандой, инсинуацией и клеветой; кто ничего не понял и ничему не научился и ныне желал бы заразить нас своим непротивленчеством, соглашательством и всяческим полубесчестием.

И в то же время нам надо всегда помнить, что главная беда — в *красных*, в тех, для кого покоренная Россия не отечество, а лишь плацдарм мировой революции; в тех, кто разжег и *возглавил собою* дух бесчестия, предательства и жадности; кто поработил нашу Родину, разорил ее богатства, перебил и замучил ее образованные кадры и доныне развращает и губит наш по-детски доверчивый и неуравновешенный, простой народ. Надо постоянно помнить о том, что такое созидательно-обдуманное, организованное и нестыдящееся выступление зла — *мир видит впервые* и что силою исторических судеб Белая армия стала основоположником и пионером борьбы с этим невиданным злом.

Пять лет прожил я в Москве при большевиках. Я видел их работу, я изучил их приемы и систему, я участвовал в борьбе с ними и многое испытал на себе. Свидетельствую: это растлители душ и духа, безбожные, бесстыдные, жадные, лживые и жестокие властолюбцы. Колеблющийся и двоящийся в отношении к ним — сам заражен их болезнью, договаривающийся с ними — договаривается с дьяволом: он будет предан, оболган и погублен. Да избавит Господь от них нашу Родину! Да оградит Он от этого позора и от этой муки остальное человечество!..

Белая армия была *права*, подняв на них свой меч и двинув против них свое знамя, права перед лицом Божиим. И эта правота, как всякая истинная правота, измеряется мерилом *жизни* и *смерти*: лучше умереть и мне, и моим детям, чем принять красный флаг за свое знамя и предаться красному соблазну, как якобы «благому делу». *Лучше не жить, чем стать красным.* Лучше медленно умирать в болезнях и голоде, чем принять это зло за добро и отдать свои силы этому злу. И если бы дело обстояло так, что мы были бы вынуждены выбирать между большевизмом и смертью, то естественно было бы предпочесть смерть, но не смерть самоубийцы, а смерть борца, с самого начала открыто предпочтенную белыми.

Нам всем надлежит измерять *верность* нашей *жизни* и *силу* нашей *преданности* перспективою близкой смерти борца. Стоит ли жить тем, чем я живу? — Стоит, если за это стоит умереть... Предан ли я тому, чему я служу? — Предан, если я способен и готов умереть за это дело. А если мне будет «грозить» не смерть героя в бою, а медленное, незаметное умирание от лишений, голода и болезней,— пойду ли я на бесчестие, унижение и предательство? — Не пойду, если Родина во мне и со мною, а если пойду, то это значит, что я заблудился в «пустоте» и «темноте» и не нашел в себе алтаря моей Родины.

Не правы те иэ нас, кто не проверяет себя такнмн вопросамн, кто уклоняется от такого смотра и ревизии, ибо он рнскует медленно н незаметно опустнться ииже уровня нашей борьбы, он рнскует потерять необходнмую для нее спартанскую выдержку н закаленность.

Не от нашего выбора завнсело стать современииикамн великого крушення Россни и великой мнровой борьбы; мы не повинны в том, что злодейство создало это крушение н распаляет эту борьбу; не мы насильннкн н не мы ищем гибели и крови. Исторнческая сила вещей вложила нам в руку меч, н мы взялн его, следуя зову честн, служеиня н верностн. Исторня обернулась к нам своим трагнческнм лнком, она поставила иас свидетелямн не идиллий и не эпоса, а трагеднн, и нам оставалось только выйти из состояння эрителей и стать участникамн этой трагедии. Могли лн мы, должны ли мы были уклоннться от этого? Смелн ли мы отвериуться от этой трагедин н не прннять этого меча? Спроснм об этом в сотый, в тысячный раз нашу любовь к Росснн, иашу русскую честь и русскую верность. И в сотый, н в тысячный раз насладнмся тем благодатным успокоением н равновесием, которые даются чувством духовной правоты.

Нам надо поиять и поминть, что неисповедимые путн Божни поставилн нас участииками небывалой по остроте и по размаху мировой борьбы. Нам надо историческн расшнрнть н углубнть иаш горнэонт, чтобы увидеть правоту н ответственность нашей познцин, иашего поста и чтобы, усвоив его почетиость и его трудиости, держать на иадлежащей высоте чнстоту нашнх решеннй и снлу нашего характера. Нам надо всегда помннть, что мы — независимо от того, понимают это другие или не поннмают,— что мы волею судеб оказались авангардом мировой борьбы н что каждый из нас должен быть на высоте этой борьбы н ее целей.

Да, иужно время н нужны испытания для того, чтобы другне народы постнгли то, что нам ясно уже восемь лет, постнгли н ужасиулись; чтобы онн сделалн те усилия н прнияли те решения, которые созрели и состоялнсь в нашнх душах восемь лет тому наэад. Но смотрнте: время уже ндет и испытання уже прнходят н научают; предчувствия уже превращаются в тревогу, тревога уже пробуждает разумеиие и вызывает волевые решения. Смотрнте, как сложилнсь патриотические силы в Венгрнн, Италии, Испаннн н Болгарни, как двнженне, подобное нашему, иазревает н организуется в Англни, во Францни н в Германни. Это не значнт, что все н всюду на высоте, что спасенне найдено, что нет ошибок, что не будет потрясеннй и крови; но это значит, что дело, начатое намн в 1917 году, н путь, нзбранный тогда иашими вождямн,— есть дело общечеловеческое, путь — классическнй в своей необходнмостн н правоте. Народы или пойдут этим путем или погнбнут.

Мы не знаем сроков н не можем предвидеть событня. Но близится час, когда народы поймут, что в избавленнн н возрожденнн Россни оии все заинтересованы до конца, что в этом онн все занитересованы порознь н сообща, что онн в этом солндарны, что здоровая н самобытная нацнональная Россия необходнма мнру... И тогда придет час обнаружения иашей правоты, час увенчания нашего дела. Тогда многое поймется, многое будет духовно призиано, многое утвердится государственно н совершнтся нсторнческн.

К этому часу мы должны быть духовно готовы и сильиы. Соблюстн себя к этому часу есть наше основное патрнотическое эадание. И тот, кто ныне работает в этом направленнн, делает свое главное жнэненное дело.

Скнтаясь здесь, за граиицей, работая то в коиторе, то в шахте, то на заводе, то на туземной службе, еле прокармливаясь, не доедая и болея, но соблюдая белый дух,— мы этим, однним этим уже блюдем и строим иашу Россию. Бедствующий нзг-

изгнанник, живой духом, одним тем, что он жив духом, уже служит России драгоценную, незаменимую службу. Ибо он сам — живой кусок России, ее хранилище, ее драгоценный орган. Или иначе: он как бы ее оружие, временно сложенное ею в арсенал. Роптать ли нам на нашу Родину за то, что она, погибая, не нашла для нас лучшего арсенала, чем изгнание? Блюдите же в себе, в своем лице это оружие, чтобы оно не заржавело, ибо заржавевшее оружие никому не нужно. Не нужно и России.

Берегите свои *силы*, не тратьте их зря. Если *есть* выбор, то выбирайте труд хотя бы и скучный, но не грозящий жизни. Помните, что жизнь *каждого* белого драгоценна для Родины, что *каждый* из вас *незаменим* для нее, что смерть и без того уносит нас и что не следует торопиться ей навстречу. Берегите друг друга, помогайте друг другу перейти на неизнуряющий труд, крепко держите белую спайку.

Берегите свою *бодрость и веру*. Не верьте злым и лукавым разговорам о том, что Белая армия «потерпела неудачу», что дело ее «кончено» или «обличено и приговорено»,— не верьте им, откуда бы они ни раздавались, справа или слева, от явных или прикровенных соглашателей. Наша победа в том, что после всего вынесенного и выстраданного мы *сохранили любовь, веру и волю*, а способность нашей любви, веры и воли изливаться в дела и достижения уже не требует доказательств.

Берегите нашу *идею* и верьте нашим *вождям*. И тогда терпение и выдержка довершат остальное.

3

Теперь уже нетрудно ответить на вопрос о том, что же нам делать и на кого нам надеяться! Ответ слагается сам собою, и я уверен, что по-прежнему среди нас не будет разноречий и споров.

1. Прежде всего: во что бы то ни стало стать на свои ноги в смысле трудового заработка, и притом так, чтобы на время изгнания войти полезной и ценной трудовой силой в туземный строй и оборот. Если надо, то экономически и культурно приспособиться к заграничному спросу и предложению; если необходимо, то переехать в другую страну; если неизбежно, то уехать за море.

Нам нельзя надеяться на «авось» или на «теперь уж скоро»; нам нельзя оставаться безработными; нам не следует становиться в положение «призреваемых». Надо, чтобы нас уважали там, где мы живем, и чтобы нас ценили там, где мы работаем. Белый изгнанник должен соблюсти свою трудовую и бытовую *независимость*, как внешний оплот своего *достоинства*; он не может ставить себя в положение растерянности и беспомощности перед лицом тех, которые захотят купить его «партийность» или его «вероисповедание», или его «подданство». Мы должны иметь возможность *независимо и достойно выжидать совершения сроков*, а для этого не следует ни пессимистически унывать, ни оптимистически фантазировать. Надо найти *свое* место в реальной жизни и постоянно помогать в этом *другим*.

2. Мы не должны надеяться ни на кого, кроме *Бога*, наших *вождей и себя*. Не потому должны мы надеяться на себя, что мы самомнительны и заносчивы, а потому, что мы люди *воли* и служим делу *правому* и всегда зовем на помощь Того, в чьей руке всякое правое дело. Дело освобождения и возрождения России есть *наше* дело, и оно будет выполнено *нашими* силами и *нашими* руками.

Нам надо всегда помнить, что на чужие силы надеется лишь *безвольный* человек, а безвольный человек *не победит никогда*. Победа вообще возможна только как деяние самого побеждающего, а не чужой силы; побеждает *его* воля, *его* сила, его *усилие*, его *акт*, а не «стечение обстоятельств». Победа безвольного

есть пустая видимость; для безвольного самая победа есть разновидность поражения, которая вот-вот обнаружит всю его немощь... Если он случайно «победит», то не сумеет взять свою победу, если он случайно «возьмет» ее, то не удержит...

Нам надо всегда помнить, что затруднение и неудача ослабляют силу безвольного человека и укрепляют силу волевого. Что можно ждать от существа, которое «заранее предвидит», что «затруднения будут непреодолимы»? Такие люди просто мечтают о непреодолимых затруднениях для того, чтобы тотчас провозгласить их непреодолимость и успокоиться! Обратно этому живет и чувствует волевая натура: «не удалось — значит, мало сил собрал, значит, соберу их вдвое»... «непреодолимо — значит, не так взялся, момент не выбрал, значит, найду верный способ и выберу верный момент»... Затруднение заставляет волевого человека извлечь из самого себя еще больше силы, чем он извлекал доселе,— и только.

Волевому человеку надо иметь только Бога в сердце, царя в голове и вождя впереди. И тогда он борется не «постольку поскольку», а без оговорок; не по принуждению, а добровольно, не по должности, а всей душой, не на показ, а честно и грозно. Он отдает все, чтобы взять все, т. е. осуществить всю свою цель и удержать ее.

Нам надо всегда помнить, что в деле избавления и возрождения России будет сделано не то, что «люди» сделают, а то, что сделаем мы сами.

3. Мы должны укреплять и закалять свои душевные силы, приобретая умение молиться, не бояться, молчать, вести конспиративную работу, хладнокровно готовить и наносить удары в борьбе.

Кто хочет быть сильным в борьбе со злом, тот должен молиться, ибо молитва есть живое единение с абсолютным Благом и абсолютною Силою. Всякий из нас может впасть в заблуждение; молитва очищает душу, отверзает ее духовные очи и возвращает ее на верный путь. Всякий из нас может устать, изнемочь и впасть в уныние; молитва дает силу, бодрость и мужество.

Силен тот, кто не боится одиночества, но одиночество по силам лишь тому, кто может молиться. Молитва дает власть над самим собою, а в этом первая основа настоящего характера.

Время изгнания дано нам для укрепления в себе духовного характера: силы воли, несломимой в преданности Божьему делу.

Эта сила нужна нам для борьбы с врагом. Наш враг лукав, бесстыден, изощрен и многообразен. Это нам надо всегда помнить и потому всегда владеть своими словами и внешними проявлениями. Нельзя выдавать врагам ни себя, ни друзей, ни дела; надо приучить себя к осторожному и выдержанному самообладанию во всем, что касается нашей борьбы.

Хотим мы того или не хотим,— мы, белые, уже состоим в сговоре и заговоре (конспирация) против врага нашей Родины. Это необходимо продумать, усвоить и принять. Знайте: девяносто процентов заговоров против большевиков провалилось в России вследствие неумения молчать и работать незаметно: это неумение свело в могилу десятки тысяч благородных, но неискусных людей, и нам пора сделать из этого теоретические и практические выводы, ибо неумеющий молчать и незаметно работать не может стать участником будущего ордена.

Конспирация имеет свои правила, из них первое: говорить о деле не там, где «хочется» или «можно», а только там, где это необходимо, где без этого пострадает дело.

Правила конспирации необходимо добыть, продумать и практически усвоить: никто не знает, через какие стадии борьбы нам еще предстоит пройти в будущем.

4. Мы должны всегда и во всем искать людей, которым можно безусловно доверять, и с ними устанавливать связь безусловного доверия.

Безусловного доверия заслуживает человек белого образа мыслей, если он искренен и силен. Знаю, что «чужая душа потемки» и что люди легко обманывают и обманываются. Знаю, что черные, желтые, красные ищут нашего сочувствия и доверия и что многие из них уже начинают «хвалить» Белую армию для того, чтобы спровоцировать наше доверие и сочувствие... Но есть испытанные друзья, есть зоркие вожди, есть чуткие души. Необходимо проверять друг друга и помнить правило: при сомнении воздержись.

Люди по-своему добрые, по-своему благонамеренные, по-своему привлекательные могут найтись всюду, во всех течениях и группах, но для них достаточно условного доверия. Для безусловного доверия необходимы все три условия: верность белому делу, неспособность к двоедушию и сила воли. Четвертое условие — конспиративный навык — приобретется сообща.

5. Мы не должны поддаваться никогда и никому, кто пытается ослабить в нас стойкость белого сердца или скомпрометировать белую идею.

Что бы они нам ни говорили, чем бы нас ни смущали, какие бы «открытия» или «откровения» нам ни преподносили.

Основным вопросом пусть будет всегда: признают ли они безусловно правоту Белой армии, белого дела, белой идеи? И если ныне признают, то признавали ли с самого начала? И чем реально проявили это в годы борьбы? Эти вопросы сразу осветят собеседника: того, кто умалчивает, недоговаривает, двоится, лукавит или лжет, кто идет к нам в качестве льстивого демагога или хитрого провокатора.

В основном, родовом лоне белой идеи есть место и свобода для различных настроений, симпатий и воззрений, но нет в ней ни места, ни свободы для построений, отрицающих и подрывающих самую белую борьбу и белую идею. В белом сердце есть неоспоримые аксиомы. Не признающий их — пусть выговаривает свое отрицание открыто. Умалчивающий и двусмысленный — пусть будет разоблачен.

Все эти «приходящие» и «манящие» в большинстве случаев ищут для себя покорную аудиторию, партийных последователей, подвластный кадр, и поэтому их основная задача — незаметно исказить белую идею так, чтобы увести пропагандируемого от наших вождей и нашего дела: «Это хорошо, что вы до сих делали, но теперь это устарело, и вы должны найти себе лучших вождей! Вот, например, мы... мы «легитимисты», или «демократы», или «республиканцы», или «социалисты» и т. п.

Мы всегда узнаем их по этому зазыванию, по предлаганию новых вождей, новой ориентации, новых партийных или чисто политических подчинений. Знайте, что им нужно не дело России, а партийные штыки...

Ответ им всем один: «белая идея, белое дело, белые вожди»!

6. Каждый из нас про себя должен умерить или побороть в себе самом жажду чести и власти, памятуя, что к власти истинно призван не тот, кто проталкивается и интригует, а тот, кто умеет за совесть работать в подчинении, тот, к кому власть приходит сама.

Белому борцу подобает молиться так:

«...Не надо мне ни заслуг, ни власти, ни чести, но только помоги нам, Господи, спасти нашу Россию!»...

7. Всюду и всегда про себя и в общении с друзьями и публично нам надо вынашивать, углублять и развертывать нашу белую идею.

Эта идея дана нам. Она живет в каждом из нас. Она добыта нами в борьбе, в усилиях и страданиях, перед лицом смерти. Она живет в глубине нашего чувства и воли, но живет как бы в не раскрытом, не распустившемся виде. В противоположность то разнузданным, то рыхлым и беспринципным натурам, творившим революцию и смуту, белый воин имеет в себе освященный и неразрушимый духовный Кремль. Не бойтесь признать это и выговорить; не стыдитесь этого преимущества и этой силы.

спокойно утверждайте ее в себе и не презирайте тех, кто ее лишен. Но не давайте этой энергии и этой силе растратиться на борьбу с повседневностью; не позволяйте быту одолевать бытие; не допускайте того, чтобы время, страсти, изгнание и болтовня врагов омрачали белую купину вашего сердца...

Для этого надо чаще и увереннее возвращаться к этому огню, пытаться уловить, выговорить и формулировать ту *идею-силу*, которая вела нас, ведет ныне и будет вести и впредь.

Родина? Что есть истинная Родина? И разве патриотизм не имеет своих извращений?..

Россия? Чем велика, самобытна и священна наша Россия? Что есть в ней такого, что делает ее великою для всех других народов?

Государственность? В чем состоит настоящая, здоровая государственность по содержанию и по форме?..

Честь и достоинство? А почему же говорят иногда, что смирение и покорность выше достоинства и чести?..

Право и свобода? Но разве всякое право священно? И разве государство не урезывает свободу человека?..

Меч против злодея? А почему же многие доселе вопиют о «греховности» меча и, ссылаясь на Евангелие, рекомендуют «кроткую уступчивость»?..

Собственность и семья? Но разве «братская общность имуществ» не есть «высшее» слово человеческого «развития»?..

Православие? Но разве у протестантов не больше «свободы»? А у католиков — не больше «воли» и «организованности»? В чем же духовные преимущества Православия?..

...Не потому ставлю я эти вопросы, что сомневаюсь в их верном разрешении, а потому, что ответы на них должны быть у белого готовы и не только в сердце, но и в сознании и на языке.

Не бойтесь этих вопросов. Ваше сердце *уже* ответило на них. Но эти ответы нужны в зрелом виде: и для вас самих, и для ваших братьев по изгнанию, и для ваших братьев, томящихся там, в большевистской смуте.

Время есть еще: испытуйте, думайте, читайте, обсуждайте, учитесь неопровержимо спорить с хитрыми и изворотливыми врагами. Организуйте кружки и общества, ищите докладчиков, вооружайтесь мыслью и словом. Впереди духовно больная, духовно голодная и беспомощная Россия.

8. Всюду и всегда, про себя и в общении, с друзьями и публично нам надо углублять и уточнять наше разумение *революции*, ее природы вообще и ее *разрушительного действия в России* в особенности.

Мы должны верно и точно знать, с *чем* мы боролись и боремся. Белые никогда не были и не будут классовой или сословной организацией. Они никогда не отстаивали чьего-нибудь сословного или классового интереса. Они боролись не «с Россией», а «за Россию». Они боролись не «с народом» и не «с простонародьем», а за единое сверхклассовое, всенародное, *национальное* русское дело; они боролись с людьми, которые, не будучи русскими, превращали русское простонародье в *чернь*, а русский народ в *рабов*. Белая идея есть не идея *мести*, а идея *воссоединения* и *примирения*. Она содержит не *реставрацию* (восстановление бывшего), а *возрождение*, не порабощение, а *освобождение*.

И тем не менее белая идея не революционна, а *противореволюционна*. Ибо революция есть духовная, а может быть, и прямо душевная болезнь. Революция есть развязывание безбожных, противоестественных, разрушительных и низких страстей. Она родится из ошибок правящей власти и из честолюбия и зависти подданных.

Оиа начинает с правонарушення и кончает деморализацией и гибелью.

Вот почему белые боролись с революцией и революционерами, но не с теми патрнотами, кто искал права, справедливости, хозяйствениого н духовного развнтня масс. Мы не партия и никакой партнйной программой не связаны. Мало того, в белом движении заложеиа *надпартийная* н *противопартнйиая* тенденция. И тем не менее мы категорнчески отрицаем право на существование за партиями, явио нли тайно отрицающими Родину: это не русские партии, а враги России.

Чем была наша Родина? И чем стала она после возвышения этих партнй? Что мы нмели и что мы потеряли? Что приеесли иам социалисты, коммуиисты, интериационалисты? Что сделали они с нашей Церковью, с нашнм правопорядком, с нашей наукой, с нашим искусством, с нашим хозяйством, с нашнми молодыми поколеииями?

Мы должны изучать это, чтобы знать верно и точно, чтобы понять основные *причины* стрясшейся беды и чтобы верно установить *цели* дальнейшей борьбы.

Удержнте ваше негодование, ваше отвращенне, горечь н ненависть. Изучайте событня прежде, чем суднть людей. Добивайтесь истины, не преувеличнвая н ие преуменьшая: истиіа окажется *страшией преувеличенний*, но имеиио ей вы должиы иаучиться спокойно смотреть в глаза.

9. И вот всему, что мы уже испытали н еще испытаем, что постигнем в иашей идее и в *революциоиной трагедии*,— мы должиы иеустанно учить иаше молодое поколение за рубежом, готовя его нам на смену.

Не знаем сроков. Впереди огромиое, ответственное, священное дело. А там, в Россин, молодежь развращается или гнбнет.

Нацнональное дело строится поколениями, традицией, духовиым углублеиием и очищением, передаваемым от отца к сыну.

Начало — положим мы, а наши детн н виуки пусть завершат начатое...

10. Еще одно: не думайте, что «спасенне» н «мудрость» требуют от нас возможио *скорейшего возвращения* на русскую террнторию, под власть Советов. Час нашего возвращения еще не настал, но придет он для *всех нас одиовременно*.

Коммунисты не меняются и не «эволюцнонируют», оии останутся теми же до конца. Они по-прежнему ищут мировой властн через мировую революцню, по-прежнему безбожны их цели и отвратительны их средства, по-прежнему попнрают они все законы человеческого духа и пользуются Россией как плацдармом для подготовки разрушения и ограбления остального человечества. Правда, поведеиие нх нзвилнсто и лживо, оии приспособляются в борьбе н снмулируют «цивилизованность». И их «хозяйствеиное строительство» в России, поскольку оно ие обман и не реклама, объясияется лишь тем, что революцня в других странах запаздывает и что они предчувствуют возможиость похода против них. Но кого же все это может обмануть?

Качество большевизма не меняется и измениться не может. Об этом оии самн заботнлись с самого начала: для этого им нужен был террор, для этого им иужиа была кровь Царя н его семьн. Эта кровь *объедниила* их в *злодействе* н *спаяла* нх *страхом*, она углубила вражду к нм до бездиы и *отрезала* нм *пути отступления*. Их кораблн сожжены, онн обречены иа то, чтобы до конца идти на рожон. А тот, кто прнмет их, тот должен прииять все их бесчестие и всю нх кровь, тот станет их сообщником, тот им не страшен и для них безвреден.

Что же озиачает «возвращение» белого изгнанника к большевикам?

Оии не прнзиалн Родину. Что же, *он* признал интернационал? *Онн* остались бандитами. Что же, *он* уверовал в бандитизм? Оии осталнсь безбожииками и разру-

шителями. Что же, его потянуло на разрушение и безбожие? Ибо, возвращаясь, он может быть уверен, что его или заставят делать гнусности и погубят духовно, или ему не дадут делать ничего и уморят его голодом. По-прежнему коммунисты знают только два способа обходиться с инакомыслящими: или порабощение, или истребление.

И вот добровольно возвращающийся эмигрант должен отдать себе отчет в том, что он делает и на что он идет. Своим возвращением он, во-первых, выдает большевикам публичный аттестат на доброкачественность: «они исправились» настолько, что «к ним идут» их принципиальнейшие враги. Этим он помогает им, но обманывает всех остальных и самого себя и потому совершает акт в корне фальшивый и вредный.

Своим возвращением он, во-вторых, предает себя, бывшего борца, в руки злодеям. Он оказывается человеком, добровольно подавшим донос на самого себя и явившимся к отбыванию «высшей меры наказания». Если большевики убьют его, то поступок его получит значение малодушного, сентиментального и (по отношению к России) предательского непротивленчества. Если же они позволят ему дышать, то надзор их все равно поставит его в невозможность работать, бороться и служить России. Поэтому возвращающийся выходит из ряда борцов, он сдает позицию без боя и совершает акт политического мазохизма.

Наше «расхождение» с большевиками совсем не «тактическое» только, как у социалистов, и не «программное» только, как у левых партий. Для нас эта борьба не сводится к «политике» и не исчерпывается «экономикой». Для нас это прежде всего вопрос религии, духа и патриотизма, а все остальное есть лишь необходимое последствие и проявление главного. Поэтому и вопрос о «моем переезде с одного места на другое» не имеет ни для кого из нас центрального значения. О, мы умеем любить родную землю и родной быт не меньше, чем другие! Но примиренно принять «землю» без Родины или «быт» без духа, согласиться на поругание, унижение и искоренение России, и все только ради того, чтобы подышать родным воздухом, взглянуть на родные храмы и леса и поговорить с измученными братьями (которых мы вот только что глупо предали своим возвращением)...— для этого у нас не хватает ни сентиментальности, ни подлости, ни глупости! Не хватает теперь, и не хватит до конца...

И пусть не говорят, что мы «боимся» вернуться. Нет, мы не боимся и не прячемся, мы только продолжаем борьбу. Нас не страшила смерть ни в кубанских степях, ни в одиночках «особого отдела», не устрашит и впредь. И именно поэтому мы будем хладнокровно выжидать благоприятного момента для... нашего возвращения!

Те, кто уговаривают нас «возвращаться», морально обязаны ехать первыми, и ехать немедленно. Право уговаривать они получат только там, и пусть они говорят оттуда. Но они сами не едут и предпочитают уговаривать отсюда. Им естественно ехать туда, ибо, как они сами уже признают, между ними и большевиками различие не качественное, а только в степени и в оттенках. Но они не едут, а зовут только нас.

Знают ли они, что предстоит возвращающемуся белому, если он не унизится до сыска и доносов? Не могут не знать.

Значит, сознательно зовут нас на расстрел. Не потому ли, что боятся нас и нашего «фашизма» и желают нам гибели? И нашими телами рассчитывают завалить «ров гражданской войны»?

И если мы услышим еще этот лепет о том, что «сатана эволюционировал» и что «теперь можно уже ехать работать с ним, помогать ему, договориться с ним, служить ему... вот только бы он сам захотел пустить нас к себе»,— будем спокойно слушать и молча делать выводы: ибо говорящий это сам выдает себя с головой...

* * *

Такова должна быть наша позиция и наша белая работа за рубежом...

И делая ее, мы будем уже не только верными сынами России, но и строителями ее.

И если от этого строительства Господь отзовет кого-нибудь из нас до возвращения, то последний вздох его будет принадлежать ей, нашей не утраченной Родине.

И вздох этот будет послан ей не из «пустоты» и не из «темноты»...

Да живет же наша чудесная Россия!

ПУБЛИЦИСТИКА

М. Арцыбашев

Записки писателя

Наш третий клад

1

Русская эмигрантская литература есть по преимуществу литература мемуаров и человеческих документов.

Еще не настало время для исторических и художественных обобщений. Пережитое слишком близко нам, и немало лет пройдет, прежде чем революция отойдет в прошлое настолько, чтобы глаз художника или разум историка могли охватить ее во всем ее страшном размахе.

Пока мы можем только накоплять тот документальный материал, по которому будущие историки и писатели создадут правдивую и проникновенную картину нашей эпохи.

Отсюда понятно, какую огромную ценность, и не только для одной России, имеют те свидетельские показания о революции, в правдивости которых не может быть сомнения.

Очевидно, что из всех таких свидетельств одними из самых ценных являются показания детей. Их никто не может заподозрить в предвзятости, в желании окрасить события в тот или иной партийный цвет.

И вот, директору русской гимназии в Моравской Тшебове г. Петрову пришла в голову поистине гениальная мысль: по его инициативе всем ученикам этой гимназии было задано сочинение на тему — «Мои воспоминания с 1917 года».

Опыт дал такие потрясающие результаты, что его было решено повторить почти во всех эмигрантских школах, и в итоге получилось свыше двух тысяч человеческих документов, ценность которых нельзя даже учесть.

Судя по тем отрывкам, которые приведены в только что изданной пражским Педагогическим бюро книге «Дети эмиграции», можно с уверенностью сказать, что если бы все эти детские сочинения были изданы полностью, то получилась бы книга, равной которой не было и нет в мировой литературе.

Рядом с такой книгой померкли бы все «Чека», «Корабли смерти» и «Красные терроры», написанные взрослыми людьми.

Ибо «устами младенцев глаголет Бог», то есть говорит сама истина.

2

К сожалению, те взрослые, слишком взрослые люди, в руки которых попал этот бесценный материал, очевидно, думают, будто их собственные мысли и рассуждения гораздо интереснее.

Они ограничились произвольно отобранными отрывками из детских сочинений, обильно рассиропив их своими разглагольствованиями.

В этих глубокомысленных и пространных разглагольствованиях (весьма ценных в другом месте) слова правды из детских уст потонули, как капли крови в бочке воды.

Почти физическое раздражение вызывает эта книга, из 250 страниц которой едва ли одна треть отведена детям, а остальные две трети заполнены рассуждениями добродетельных и добросовестных педагогов на тему о том, что лошади кушают овес и сено, Волга впадает в Каспийское море, а шестая заповедь гласит: «Не убий!»

Получается такое впечатление, точно вас окружила толпа живых страдающих детей, которые, волнуясь и спеша, стараются рассказать вам что-то страшное и неизмеримо важное, а сбоку стоит некто в сером, который на каждом слове перебивает их своими поучительными и тошнотворными прописями.

Этому «некто» и в голову не приходит, что даже самый бессвязный детский лепет в тысячу раз интереснее и поучительнее его сухих и мертвых рассуждений.

«Мы собираемся, начинаем говорить о России, с кем были какие случаи... многие рассказывают, как их родителей мучили, и так жалко станет, что чуть не плачешь...»

Так начинают возбужденные детские голоса, и вдруг скрипучий сухой голос перебивает их:

«Значение обследованного матерьяла... цифровые данные... некоторые статистические сведения... общий обзор матерьяла с суммарными характеристиками... мальчиков 1603, девочек 781 и 19 детей, пол которых остался невыясненным (?!)...»

Как будто на самом интересном месте вас трахнули по голове мешком с сухим горохом!

Хочется плюнуть и тоже «так жалко станет, что чуть не плачешь»... с досады.

Ах, эти ужасные взрослые люди!

3

Я не последую их примеру, подвергая живую детскую душу этой «суммарной» вивисекции и, путем извлечения «отрывков из отрывков», окончательно распыляя драгоценный материал.

Пусть читатели сами прочтут то, что соблаговолили оставить для нас эти во всех, впрочем, остальных отношениях почтенные педагоги.

Будем надеяться, что рано или поздно какая-нибудь организация (хотя бы та же «Лига борьбы с большевизмом») сообразит, что лучшей антибольшевистской пропаганды не выдумаешь.

И вместо того, чтобы собирать редакторов эмигрантских газет на предмет выработки общего плана такой пропаганды, просто возьмет да издаст все эти детские сочинения полностью на всех языках.

Тогда все, и без глубокомысленных комментариев, поймут и оценят трагическое значение этих детских свидетельств о том, что такое революция.

Если Достоевский готов был за одну слезинку замученного ребенка отдать будущее блаженство, то за те кровавые детские слезы, которыми буквально пропитаны эти синенькие тетрадки, можно уступить все «завоевания революции», настоящие, прошедшие и будущие.

А главное — будущие!

Ибо долг всех, переживших эти страшные годы, во имя жалости к будущему человечеству озаботиться, чтобы гнусный лик революционной действительности снова не укрылся за пышными лозунгами, ничего общего с этой действительностью не имеющими.

Чтобы не повторилась история с Великой французской революцией, которую превратили в романтическую красавицу, с красной фригийской шапочкой на голове и с трехцветным знаменем в руке. ... Тогда как в действительности это была просто одна из тех гнусных старух — «вязальщиц Робеспьера», которые петлями своих вязаний отмечали

количество голов, падающих под ножом гильотины.

Необходимо, чтобы будущие мечтатели о молниеносных социальных переворотах знали, что такое — эти перевороты, в их реальной, будничной сущности.

4

Окончательно отказываясь излагать содержание не то «суммарного», не то просто сумбурного изложения детских воспоминаний, я только хочу ответить на одно из «педагогических» примечаний.

Дело в том, что несколько раз на протяжении книги «Детн змнграции» авторы бесконечных комментариев отмечают одно явленне, с их педагогической точки зрения — чрезвычайно прискорбное: у многих детей воспоминания о родине и мечта о возвращении к ней соединяются с мыслью о мести!

Это приводит педагогов в ужас!

Правда, они признают, что «чувство мести естественно после всего пережитого», но это признание не мешает им смотреть на «естественное явление», как на нечто, достойное всяческого порицания, и они делают героические усилия, чтобы внушить детям, что «выгоднее придерживаться духа амнистии».

«Надо отличать месть личную от мести за попранную родину. Недопустимость первой не требует доказательств. Что касается второй, то ее тоже приходится отвергнуть самым решительным образом. Надо приучать детей к мысли о желательности, с точки зрения лнчной морали, прощения и во всяком случае о нежелательности мести!»

Так говорят мудрые педагоги.

Ну а я говорю, что все это вздор! Даже недопустимость лнчной мести и та требует еще весьма и весьма многих доказательств, а что касается мести за поруганную родину, то такая месть — свята!

Категорически отрицаю мертвую мораль всепрощения, может быть, и очень прекрасную в идеале, но в действительной жизни выгодную только для мерзавцев и преступников всякого рода.

Можно с уверенностью сказать, что точка зрения почтенных педагогов встретит полное сочувствие Зиновьевых, Троцких и Дзержинских со всей нх кровавой опрнчннной.

Этн, еще не виданные миром преступники, которые разрушилн великую страну, которые залили ее кровью и слезами, совершив все самые гнусные из злодеяний, на которые вообще способен человек, конечно, только и мечтают о том, чтобы в случае провала быть подведенными под какую-ннбудь «амнистию».

А я утверждаю, что нменно «с точки зрения личной моралн» прощение этнх преступников недопустимо.

Неужели господа педагоги не понимают, что «прощение» в жизнн равно «примирению», и полагают, что ребенок, на глазах которого убнлн его отца, нстерзали его мать и нзнасиловали его сестер, должен примириться с нх убийцами, палачами, насильниками?

Мне нет никакого дела до того, что на этот счет сказано в Евангелии! Я знаю, что мир пока еще населен не бесплотными праведниками, а живымн людьми, в душах которых должны жить и любовь и ненависть.

Вытравить из души человека способность ненавидеть тех, кто достоин ненависти, это значит — опустошить его душу.

Без ненависти к злу невозможна любовь к добру. Кто не умеет ненавидеть, тот не

научится и любить.

Как хорошо выражено это у того мальчика, который в своей бессознательной детской мудрости написал: «Из хорошего прошлого ничего не осталось, остались — за смерть старших братьев, за поругание семьи и родины — одна только месть и любовь к родине!»

Тут месть и любовь к родине неразрывно связаны, как нечто одно из другого вытекающее. И как же может быть иначе? Как можно сочетать любовь к родине с прощением ее обид?

Но для того, чтобы месть и любовь были связаны неразрывно, нужно иметь живую душу, не заглушенную отвлеченной, книжной моралью. Для взрослого книжника, никак не могущего позабыть о своих «вечных началах», это невозможно. На это он не способен.

Зато способен на такие логические абсурды, как то, что на одной странице он пишет о «невозможности примириться с прошлым», а на другой старается внушить детям мысль именно о необходимости примирения!

Только люди, мертвые сердцем и живущие в сфере отвлеченностей, не способны принять жизнь такою, какова она есть, и могут соединять «невозможность» с «необходимостью».

5

Прошлой зимой в эмигрантской печати «был великий спор» между «отцами и детьми» русской эмиграции. «Дети» наговорили по адресу «промотавшихся отцов» много кислых слов, а «отцы» обиженно ворчали что-то о своих великих заслугах по части выработки «вечных ценностей».

Каюсь, мне тогда эта тема не внушила особого интереса. Она показалась пресной. Какой-то «изюминки» в ней не хватало.

Эту изюминку я нашел теперь, в том столкновении книжной морали отцов с живым чувством детей, которое произошло на страницах книги «Дети эмиграции». Именно в вопросе о мести я, так сказать, собственными глазами увидел, какая пропасть взаимного непонимания лежит между отцами и детьми нашего времени.

Отцы прожили свою жизнь как у Христа за пазухой, «погружаясь в искусства, науки, предаваясь мечтам».

Отгородившись стеной из книг от грубой действительности, в тиши своих уютных кабинетов, они с пафосом декламировали:

Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман!

И насколько они были далеки от жизни, насколько мало понимали народ и человеческую природу вообще, то воочию показали нам их беспомощность и растерянность при первом ударе революционного грома.

Когда кровавый шквал смыл без остатка все «возвышающие обманы» и показал подлинный звериный лик революции, они оказались способны только кудахтать вокруг этой революции, словно курица, высидевшая утят.

Они говорили, говорили, говорили — и в конце концов проговорили и революцию, и родину, и самих себя.

Впрочем, нет... в том-то и дело, что себя они, к сожалению, все еще не проговорили!

Нет, шквал революции сошел с них, как с гуся вода, и, ошпаренными тараканами разбежавшись по свету, они остались такими же, какими и были: беспочвенными мечтателями-идеалистами, не способными на настоящее, горячей кровью облитое чувство.

По-прежнему онн говорят, говорят, говорят о своих «вечных ценностях», которых решнтельно некуда девать, и считают свою мертвую книжную мудрость единым законом жизни. Оттого для них оказывается разрешимой такая китайская головоломка, как соединение невозможности с необходимостью, н оттого не могут онн понять простого, человеческого сочетания ненавнсти с любовью.

6

А «дети», которых, по образному выраженню одного мальчугана, «родина проводила штыками и пулеметами» и души которых не засорены книжной моралью, уже поняли, что жизнь есть жнзнь, правда есть правда и самая ужасная, самая отвратнтельная правда дороже самого возвышающего обмана.

Ибо обман рассеивается, а правда остается.

С головой окунулнсь эти несчастные детн в кровавую гущу революции, и им некогда было мечтать о том, чего нет на земле. Они жнлн непосредственными человеческими чувствами — болн, страха, гнева, жалости, скорби, любви и ненависти. Ведь у них не было никаких «светлых традиций» шестидесятых и иных годов, которыми и до сих пор живут седовласые мечтателн. Им глубоко чужда наша идеологическая непримиримость; их любовь к родине, их отношения к людям просты н ясны, как всякое непосредственное чувство.

Это чувство говорнт нм, что у родины, а следовательно, и у них самнх (ибо нельзя же, любя родину, отделять себя от нее!) есть страшные, подлые врагн. А онн не привыкли мыслнть отвлеченными понятиями. «Борьба классов» н тому подобные «суммарные» измышления им ничего не говорят. Здоровое, непосредственное восприятие жизни определенно связывает в их представлении все пережитое, все эти неизбывные мукн и неизгладимые унижения с живыми людьми — врагамн.

И поэтому для нннх ясно, что нельзя любить родину, примирившись с этими врагами. Нельзя забыть незабываемое и отказаться от такой простой человеческой мысли: страшные преступлення требуют страшного возмездия!

Как может человек, на глазах которого убивали, грабили, насиловали, примириться с мыслью о том, что все эти злодеяния остаются безнаказанными?

Такая мысль не свойственна человеку. Именно эта несвойственность н создала легенду о Страшном Суде.

Конечно, я говорю не о «местн» за отнятые имения и украденные серебряные ложки. Это дело наживное. Это можно простить и забыть без следа. Тем паче, что у детей-то как раз и не было их имений, их ложек.

Но как можно забыть то, о чем рассказывает, например, хоть вот этот мальчуган: «Я очень испугался, когда пришли большевики, начали грабить и взяли моего дедушку, привязали его к столу и начали мучить: ногти вынимать, пальцы рвать, руки выдергивать, ноги выдергивать, брови рвать, глаза колоть; н мне было очень жалко, очень, я не мог смотреть!»

Неужелн можно, будучи живым человеком, а не ходячей книжкой, представить себе, что этот мальчик, выросши н вернувшись на родину, может случайно услышать этот же рассказ из уст какого-нибудь «прощенного» большевика н не убить его на месте?

Если да, то пусть лучше он никогда н не возвращается на родину! Он не достоин будет не только родины, но и звания человека. Ибо человек может сам взойти на крест, но простить распятие не может, не должен. Людей, которые на это способны, я остерегаюсь называть людьми.

«Они потребовали маму и старших сестер на допрос. Что они с ними делали, я не знаю. Это от меня и младших сестер скрывали. Я знаю одно,— скоро после этого моя мама умерла!»

Ах, милая, бедная девочка! Забудь об этом!.. Во имя «вечных ценностей» забудь, вырасти большая, вернись в Россию и выйди замуж за одного из тех, кто сделал с твоей мамой и сестрами то, что от тебя скрыли. Ведь «выгоднее придерживаться духа амнистии»! Авось прощенный большевик сделает с тобою то же, что сделал с твоей мамой и сестрами с таким же удовольствием, но без всякого вреда для твоего здоровья. И тебе будет приятно, и ему будет хорошо!

Тьфу!

7

Нет, русские дети, никогда не забывайте, что сделали с вашей Родиной, с вашими отцами, братьями, сестрами и матерями, с вами самими!

Если мы окажемся способными это забыть и простить, то, значит, мы были достойны того, что с нами сделали.

Не слушайте людей, у которых вместо сердца — мораль, а вместо головы — точка зрения.

Кстати, эти люди недавно праздновали День русской культуры и совали в нос всему свету имя Пушкина. Они кричали, что Пушкин наш национальный гений, что в Пушкине весь русский народ, что каждое слово Пушкина свято.

Так напомните же им этого Пушкина, которого они, очевидно, позабыли...

Быть может, нам не суждено вернуться на родину. Быть может, мы так и умрем далеко от родной земли. Но и умирая, мы сохраним и унесем с собой в могилу то последнее, что у нас осталось:

«Мой третий клад — святую месть!» 〈...〉

Личность и принцип

1

В ответ на мою статью о законности чувства мести по отношению к большевикам в «Последних новостях» появилась статья г-жи Кусковой «Религия мести», в которой почтенная публицистка изо всех сил старается меня уничтожить.

Я употребляю это выражение не ради зубоскальства, а потому, что оно точно выражает смысл и цель статьи г-жи Кусковой, проникнутой желанием не мысль мою опровергнуть, а нанести удар мне самому, подорвав, так сказать, мою моральную репутацию.

Я охотно верю, что, будучи иных взглядов на жизнь, чем я, г-жа Кускова искренно возмущена моею «проповедью». Но все-таки во всей ее статье нет ни единого возражения по существу вопроса, кроме голого утверждения, что проповедь моя «отвратительна с моральной стороны и опасна с практической». Зато целые столбцы посвящены ядовитым нападкам на меня лично, и в ярости своей г-жа Кускова решительно ни перед чем не останавливается.

2

Уже не раз говорилось о том, что наши полемисты часто позволяют себе прибегать к приемам, недопустимым с точки зрения не только литературной этики. В числе таких приемов особенной ходкостью пользуется следующий: доводят мысль своего противника до абсурда, а затем, конечно, опровергают ее с большой легкостью. Это самый ужасный прием! Припишут тебе то, чего у тебя никогда и в мыслях не было, а потом поди доказывай, что ты не верблюд. Ведь очную ставку двух статей не устроишь! Здесь весь расчет на то, что подлинные ваши слова не всеми прочитаны, а кем и прочитаны — забыты. А потому вали, как на мертвого.

Впрочем, иногда это происходит и потому, что ваш оппонент или понял вас по-своему, в меру своего разумения, или просто ничего не понял.

Что именно случилось в данном случае, я не знаю. Но вот с чего начинает свою филиппику г-жа Кускова:

«Что было самым отвратительным в большевизме — это культ мести. Маленьких детей считали преступниками за то, что они смели родиться от помещика, чиновника, дворянина. Что они — люди белой кости. С другой стороны, людям черной кости внушали: вот твой классовый враг... Бей!»

Разумеется, что, прочитав такое вступление, но не читав или забыв мою статью, читатель вправе заключить, будто я и в самом деле проповедую бессмысленную классовую месть «до седьмого колена».

А между тем в статье моей не было даже и намека на призыв к мести «какому-то неизвестному виновнику, какому-то неизвестному коллективу», как то утверждает г-жа Кускова. Я говорил о мести, как о персональном возмездии действительным виновникам действительных зверств. Черным по белому я писал: «Страшные преступления требуют и страшного возмездия!» И, уж конечно, никогда и нигде я не взывал к классовой мести, а тем паче об истреблении детей, которые имели несчастье родиться от большевиков.

Приписывать мне такую гнусность — просто глупо!

Я очень желал бы избежать резких слов и сохранить спокойствие, но всему же есть предел. Нелепая попытка превратить меня в кровожадного зверя, в какого-то нового Ирода, жаждущего крови ни в чем неповинных младенцев, снимает с меня обязанность быть сдержанным.

3

Тем более, что на этом г-жа Кускова не останавливается.

Внезапно от моей статьи она перескакивает к какой-то анонимной брошюре, написанной на тему «бей жидов».

Я не хочу думать, что это было сделано умышленно, но та непосредственная близость, в которую г-жа Кускова поставила мою статью с пакостной брошюркой, может произвести такое впечатление, как будто и в самом деле между мною и погромной агитацией есть нечто общее.

А при той болезненной мнительности, какою отличаются евреи, такого сопоставления совершенно достаточно, чтобы в их представлении Арцыбашев так и остался погромщиком-антисемитом.

Возможно, что такого эффекта г-жа Кускова не добивалась, просто пользуясь известным приемом «доведения до абсурда» с целью доказать «практическую опасность» всей статьи о мести.

Ибо далее она говорит: «Человеку, стоящему на точке зрения арцыбашевской святой мести, нельзя запретить искать виновных там, где он их видит, сообразно своему пониманию».

Увы, «доведение до абсурда» иногда и в самом деле доводит до самого настоящего абсурда!

Ибо, если следовать положению г-жи Кусковой и всегда иметь в виду, что ваша идея может быть «сообразно своему пониманию» использована каким-нибудь сумасшедшим или негодяем, то придется отказаться вообще от всяких идей.

Тогда нельзя говорить, например, о правосудии, о праве людей судить и наказывать. Может найтись такой сумасшедший, который на основании этого права начнет казнить всякого, кто ему кажется достойным казни. Нельзя говорить и о свободе совести и слова, ибо какой-нибудь мерзавец во имя этих принципов потребует свободы бессовестности и клеветы.

И я думаю, что г-жа Кускова прекрасно это понимает.

Ведь она говорит о себе, что она — «непоследовательная социалистка».

Непоследовательная или последовательная — это дело иное, но отныне она должна отказаться от идеи социализма, ибо мы же видим, что из этой идеи, «сообразно своему пониманию», сделали большевики!

4

Но именно та настойчивость, с какою г-жа Кускова все, сказанное мною, доводит до абсурда, свидетельствует о том, что цель ее — не спор со мною, а нападение лично на меня.

Это тем более ясно, что весь центр ее статьи занят рядом злостных нападок на меня, как на человека. Суть этих обвинений заключается в следующем:

«Арцыбашев несколько лет прожил в России в самый страшный период большевистского террора, и тогда он ни сам не ввязывался в борьбу, ни других не звал к святой мести. Тогда не было слышно его голоса, а «теперь, сидя здесь в относительной безопасности, он учит малых детей святой мести».

И г-жа Кускова так этим возмущена, что даже заканчивает весьма прозрачным многоточием — «поздно и...»

То есть читай — «поздно и подло!»

Любопытно отметить одно обстоятельство: уже давно я являюсь постоянным объектом полемических упражнений г-жи Кусковой, и каждый раз она повторяет это обвинение. Не знаю, что значит это утомительное однообразие — мания или скудость полемических способностей? Зачем так наглядно демонстрировать, что больше нечего сказать? Это тем более неприятно, что и мне, благодаря этому, приходится повторяться.

До последнего дня существования в России независимой печати я вел в московской газете «Свобода» те же «Записки писателя», которые веду и теперь. И хотя там не было ни «относительной», ни вообще безопасности, статьи мои также были направлены против большевиков и были также резки. Если бы я мог здесь процитировать их, читатели подумали бы, что я цитирую свои варшавские статьи. Мне доподлинно известно, что номера «Свободы» с моими статьями, отмеченные красным карандашом, препровождались на рассмотрение «куда следует». Об этом меня предупреждали, советуя уехать, но я от ответственности не уклонялся и оставался в Москве, ничуть не скрывая своего отношения к советской власти.

Конечно, когда печать была уничтожена, я замолк. Но нужно быть очень озлоблен-

ным, чтобы обвинять меня в том, что голоса моего не стало слышно тогда. Очевидно, что его и не могло быть слышно!

Не может ли г-жа Кускова указать, каким способом я мог бы тогда возвысить свой голос? Ведь я же не пророк Исайя, чтобы выйти на площадь и завопить благим матом.

Я писатель, и голос мой — голос писателя. Когда писателю негде писать, он молчит.

Ну, а молчал ли я, как человек, в своей частной жизни — этого г-жа Кускова знать не может. Мы вращались в разных кругах. За все время моего пребывания в Москве мы встречались всего два раза, да и то при таких условиях, когда г-жа Кускова физически не могла расслышать моего голоса: я проходил по улицам, а она проезжала мимо, в большевистском автомобиле. Там же, где я бывал и где не бывала г-жа Кускова, я не молчал, и много, много людей в Москве могут засвидетельствовать это.

Дважды обращались большевики ко мне, предлагая работать с ними и обещая за то великие и богатые милости, и дважды я отвечал им, что Арцыбашев не продается. А когда с таким предложением я получил официальную бумагу Госиздата, я на той же бумаге ответил: «Пока в России нет свободы печати, я вам не писатель!»

В то время я очень бедствовал... Может быть, это от голода я так спал с голоса, что г-жа Кускова меня не слыхала! Я ведь академических пайков не получал.

Но пусть я молчал... Где же звучал голос самой г-жи Кусковой?

Я слышал его только в «Прокукише» да в «Красной газете», где г-жа Кускова призывала русскую общественность к совместной работе с советской властью по ликвидации страшного голода 22 года.

Да, там моего голоса не было слышно!

Впрочем, некоторые из членов «Прокукиша» все-таки его слышали: еще до открытия этого симпатичного учреждения я говорил им, что ни под каким видом они не должны идти на зов большевиков, ибо, спекульнув на «русской общественности», большевики их все равно разгонят, как идиотов.

Так оно и случилось. «Прокукиш» разогнали, а большевики все-таки успели кое-что получить детишкам из ГПУ на молочишко.

5

Г-жа Кускова так исполнена желанием во что бы то ни стало подорвать мою моральную репутацию, что вытащила из гроба даже несчастного Савинкова.

«Запомнилась мне также статья Арцыбашева об отъезде покойного Бориса Викторовича Савинкова. Он, говорит, ехал для совершения акта... Отчасти и потому, что я, Арцыбашев, писал ему об этом. Помню, с каким отвращением прочла я тогда это место. Я, Арцыбашев, пишу ему, Савинкову, чтобы он, Савинков, совершил акт мести или борьбы — все равно...».

Кстати, очень любопытны эти незаметные оговорки.

Г-жа Кускова знает, что говорит неправду, и старается смягчить это: говоря о моей теперешней безопасности, она прибавляет: «относительной»; утверждая, будто я призывал Савинкова к мести, оговаривается — «или борьбы — все равно».

В том-то и дело, что не все равно!..

Г-жа Кускова отлично знает, что, пиша то, что я пишу здесь, очень трудно рассчитывать на полную безопасность. И еще лучше знает, что я никогда не писал Савинкову, чтобы он ехал в Россию. Я звал Савинкова, впавшего в апатию, к возврату на путь борьбы. Звал как талантливого организатора, которого я, при всем своем

желании, заменить бы не мог. При этом я отдавал себя в его распоряжение. Во что бы это вылилось — неизвестно. Гибель Савинкова все оборвала.

Но уже самое присоединение мое именно к Савинкову говорит о многом. Я не проехал, подобно многим, в мирную, сытую Прагу, куда звали меня чехи, а предпочел присоединиться к боевой организации и остался в голодной для русских Варшаве при нищей газете.

Все это должно было бы указать г-же Кусковой, что я не искал безопасности и не прятался за спины других. Но ведь это лишило бы ее всех аргументов против меня, а потому она предпочла об этом умолчать.

Однако довольно. Всего этого совершенно достаточно, чтобы понять, к каким средствам прибегает г-жа Кускова, чтобы добиться своей цели.

Вероятно, те комсомольцы, которые таскали по Москве плакаты «Дальше от Арцыбашева!», будут очень благодарны г-же Кусковой, если ей удастся лишить меня и того маленького влияния, которое мне удалось приобрести среди известной части эмиграции. Пусть я для большевиков — не страшный враг! Но все-таки одним врагом меньше — и то слава Богу! Кстати, будут благодарны г-же Кусковой и маяковские, футуристы, которые ненавидят Пушкина не меньше, чем г-жа Кускова — меня. Ведь те слова: «святая месть», которые г-жа Кускова называет бессмысленными («другие повторяют бессмысленные слова: святая месть!»), принадлежат не мне, а Пушкину.

Впрочем, это неважно, и я отмечаю это только для курьеза.

6

Дело не в курьезах. Дело в том, что вся позиция г-жи Кусковой бессмысленна. В конце концов, не во мне же суть?

Вопрос не в том, убью ли я «из собственного пистолета» какого-нибудь Чичерина, а в том — мстить или не мстить большевикам за их преступления, за миллионы умученных ими людей, за распятую Россию?

От решения этого вопроса зависит все направление политической деятельности «зарубежной России». Таких направлений существует два.

Одни считают, что ни при каких условиях не может быть примирения с большевиками, а следовательно, борьба должна вестись на полное уничтожение советской власти.

Другие полагают, что при условии некоторых уступок со стороны большевиков можно войти в ними в соглашение.

Признание права «святой мести» есть не что иное, как твердое начертание именно первого пути.

Г-жа Кускова месть отрицает.

Прекрасно. «Религия всепрощения» имеет право иметь своих апологетов так же, как и «религия мести». Но тогда г-жа Кускова и все с нею солидарные должны довести свою мысль до логического конца: не мстить это значит — простить! Иного выхода нет. Или месть, или прощение. А положив в основу прощение, надо стать на путь примирения.

Вот тот логический вывод, на котором мы и столкнулись с г-жой Кусковой.

7

В этом и все объяснение ее страстности, в этом и объяснение, почему она не спорит со мною, а нападает лично на меня. Ибо, споря со мною, поневоле договоришься до необ-

ходимости примирения с большевиками, а это по многим причинам неудобно. Нападая же лично на меня (в случае, конечно, успеха нападения!), устраняешь человека, который своей непримиримостью и своей резкостью портит всю игру.

Игра же эта основана вот на чем: сторонники соглашения с большевиками ставят свою ставку на так называемых правых большевиков в стиле Красина, которые якобы могут пойти на уступки и свергнуть большевиков левых.

Правда, до сих пор весьма мало реальных признаков возможности такого переворота, но сторонники соглашения не теряют надежды. Изо дня в день в тысячах статей, а быть может, и в закулисных переговорах они стараются натолкнуть правых большевиков на эту мысль.

Возможно, что правые большевики от такой комбинации и не прочь, но для того, чтобы решиться, им необходима уверенность в том, что они-то сами не пострадают от такого переворота, что им будут гарантированы личная безопасность, сохранность награбленного имущества и участие в новой правительственной комбинации. Только тогда, когда прощение им будет обеспечено, они могут решиться на предательство своих, более непримиримых товарищей.

И вот тут-то статьи, подобные статьям Арцыбашева, статьи, в которых неустанно и непреклонно повторяется о том, что прощения нет, играют роль чрезвычайно неприятную для сторонников соглашения. Они разрушают их игру, они поддерживают в Красиных страх перед возмездием, они удерживают правых большевиков в лагере левых. Сказать это прямо нельзя. Это значило бы — выдать все свои планы и скомпрометировать своих союзников в большевистском стане. И вот отсюда это болезненное раздражение, эта личная ненависть к «непримиримым», в частности ко мне. Их надо дискредитировать, их надо лишить влияния на эмигрантскую массу, заставить их замолчать.

В этом вся задача.

И я отлично понимаю, что действительно более или менее порчу чью-то игру. Но я ее порчу и буду портить совершенно сознательно. Ибо я предпочитаю умереть в изгнании, предпочитаю, чтобы Россия мучилась еще несколько лет, предпочту даже, чтобы она окончательно погибла, но примирения с палачами для меня не может быть. Я твердо верю, что они погибнут, и все свои слабые силы приложу к тому, чтобы гибель эта была окончательной и бесповоротной.

Г-жа Кускова упрекает нас, что в свое время «мы не дали отпора» большевикам, а теперь, мол, уже поздно. Это — дамская болтовня! Да, мы не дали, не сумели дать отпора тогда, но это не значит, что теперь мы должны смириться.

Нет, потерпев поражение сто раз, мы можем победить в сто первый. И мы победим, если только не встанем на подлый путь примирения, если теперь не откажемся от отпора.

В том, чтобы поддержать этот дух отпора, чтобы не дать загасить его елейным служителям «религии всепрощения», в том, чтобы вызвать в массе волю к сопротивлению и действию,— и заключается цель всех моих писаний.

И я думаю, что, служа этой цели как писатель, я принесу больше пользы, чем если бы я пошел и «сам убил», как советует мне г-жа Кускова 〈...〉.

Последний царь

1

Самое подлое и гнусное деяние большевиков — это зверское избиение царской семьи.

Я — не монархист, и слово Ц а р ь не повергает меня в священный трепет. Не потому считаю я это убийство величайшей гнусностью, что убит был именно царь, а потому, что в

этом кровавом акте трусливая подлость большевиков выявилась во всей своей ужасающей гнусности.

Казнь Людовика XVI не ложится таким грязным пятном на деятелей французской революции. Правы или не правы были французские революционеры, но они искренно верили, что эта казнь необходима для блага отечества, и приняли на себя всю ответственность. Они судили короля при свете дня и казнили его перед лицом народа. Ударом гильотины они надеялись разрубить исторический узел и, подымая топор, сами ставили себя перед судом истории. Их можно обвинять в бесполезной жестокости, их можно упрекать в политической ошибке, но гражданского мужества у них отнять нельзя.

Даже и тени такого мужества не проявили большевики. С начала и до конца ими руководил только подлый страх. Боязнь переворота заставила их решиться на убийство, боязнь возмездия заставила их всячески увиливать от ответственности.

До сих пор в точности еще неизвестно, кто именно решил участь несчастной царской семьи. Одни называют Свердлова, другие подозревают волю самого Ленина. Большевики же все еще не решаются сказать правду, сваливая ответственность на какой-то захолустный совет «собачьих» депутатов.

Правда, после многих колебаний, недомолвок и уверток, убедившись, что народ молчит и возмездие еще далеко, совнарком решился санкционировать убийство. Но и тут у большевиков не хватило смелости признать акт в порядке казни. И в своем декрете, выразившем одобрение екатеринбургскому совету, совнарком постарался представить убийство как вынужденное приближением войск Колчака.

Как все это далеко от кровавого мужества Дантонов и Робеспьеров!

Вместо открытого суда перед лицом всего народа — трусливый и темный заговор; вместо поименного голосования — обмен шифрованными телеграммами; вместо зала народного собрания — высокий забор вокруг места убийства; вместо эшафота на площади Революции — подвал в доме Ипатьева. ⟨...⟩

2

Однако перед лицом справедливости нельзя всю ответственность за участь царской семьи возложить на одних большевиков. Мы все до известной степени, более или менее, повинны в екатеринбургской трагедии. Участь Николая II была предрешена предательством одних, революционным ослеплением других, изменой третьих, трусостью четвертых и безмолвием пятых.

Большевики убили. Гнусно, зверски, подло убили, и ни одна капля крови, пролитой в подвале дома Ипатьева, не смоется с памяти «вождей октябрьской революции».

Но то положение, при котором екатеринбургская трагедия была почти *неизбежной случайностью*, создалось заранее.

Ни для кого не могло быть тайной, что пребывание низвергнутого монарха среди возбужденной революционной черни обрекает его на несказанные страдания и каждую минуту угрожает ему гибелью. И, несмотря на это, люди, стоявшие тогда у власти, не решились определенно поставить вопрос о том, виновен ли Николай II в каких-либо преступлениях против народа. Ибо от решения этого вопроса зависело или предание бывшего императора суду, или высылка его из пределов России. А то и другое по обстоятельствам момента было чрезвычайно опасно.

Предать суду? Но за что судить?

Людовик XVI был судим и казнен не за то, что он был королем, а за государственную измену — за сношения с врагами Франции.

Но и самые озлобленные люди не могли бы предъявить такого обвинения Николаю II, отказавшемуся «открыть фронт немцам», когда это могло спасти монархию, и отказавшемуся подписать позорный для России мир, когда это могло спасти его самого. Нельзя же было судить его за то, что, рожденный императором, он твердо верил в свое помазанничество и защищал свое «священное право» на самодержавную власть! За это, конечно, могла его растерзать революционная чернь, но для разумных и честных людей вряд ли было возможно вынести за это смертный приговор.

А между тем в случае оправдания явилась бы необходимость отпустить царскую семью с миром, что, конечно, вызвало бы кровавый взрыв революционных страстей. В случае же обвинения совершилась бы казнь, ответственность за которую, по совести, не могли бы принять на себя те, кто не был ослеплен революционной демагогией.

И люди, стоявшие тогда у власти, не решились ни на суд, ни на высылку. Вечно колеблясь между страхом революции и страхом реакции, они не нашли в себе мужества взять ответственность на себя и предоставили решить участь царской семьи какому-нибудь случаю.

Этот случай и явился в виде большевистского переворота и захвата власти профессиональными убийцами.

3

Но ведь Россия не вся состояла из революционной черни и фанатиков революции.

Если люди, стоявшие у власти, не имели мужества, общественное мнение, которое тогда не было безгласным, должно было потребовать от них этого мужества. Но общественное мнение в лице самой тогда свободной печати находилось в такой же прострации, как и представители правительства. Всеми равно властвовала проклятая формула «постольку-поскольку», и все искали популярности у революционной черни, или стараясь доказать свой революционный пафос, или трусливо отмалчиваясь от неудобных вопросов. Решительно никто не хотел казни «тирана», но никто и не осмеливался поднять свой голос в его защиту.

Впрочем, огромное большинство просто было равнодушно к участи бывшего монарха. Слишком быстро завязалась роковая борьба, слишком близко надвинулась неизбежная катастрофа, чтобы заботиться о судьбе нескольких человек, хотя бы они и были членами династии, триста лет правившей Россией.

Я должен с угрызениями совести сознаться, что к этим равнодушным принадлежал и я сам.

Но ведь равнодушие не есть оправдание, и, когда теперь передо мной развертываются кровавые страницы истории страданий и гибели царской семьи, мне стыдно и больно. Хочется что-то сказать, что-то сделать... но сделать уже ничего нельзя, а слова и есть только слова. Остается только принять на себя часть ответственности.

Ах, и на это у многих не хватает мужества!

4

Но если мы, бывшие враги бывшего императора, имеем хоть какое-нибудь оправдание именно в том, что мы были врагами, то никакого оправдания нет для тех, кто «с гордостью носил вензеля государя моего». Кто покорно склонялся к подножию трона, кто тщеславился

своей рабской преданностью «обожаемому монарху» и кто в решительную минуту предал его.

Эти люди со слезами умиления произносят теперь имя государя, приходя в ярость, если кто-либо осмеливается прибавить к его титулу слово «бывший».

Но это не помешало им тихо отойти в сторону, когда «настоящего» свергали с престола.

Жалкие люди! Где были вы, когда несчастный император судорожно метался между Псковом и Дно? Где были вы тогда, когда судьбе угодно было предоставить вам случай не на словах, а на деле доказать свою преданность?

Преданность!.. Его предали все без исключения, без оговорок и без промедления. Это был единственный случай за всю историю февральской революции, когда не было никаких колебаний!

Где же были вы, ныне проливающие слезы на страницах «патриотических» газет, когда над несчастными жертвами вашей преданности или предательства глумилась пьяная солдатня, когда вашего государя тащили в подвал на бойню?

Да, конечно, многие из вас оправдываются тем, что пожертвовали династией для спасения России. Этому можно было бы, пожалуй, верить, если бы...

Да, можно сегодня быть монархистом, а завтра признать республику. Жизнь переворачивает и самые стойкие убеждения. Но нельзя же сегодня быть монархистом, завтра — республиканцем, а послезавтра снова заявлять о своей *нерушимой* верности престолу!

Если бы те, кто некогда с гордостью «носил вензеля», а потом нацепил на себя красный бант, таскали эти банты до сих пор, я бы имел право верить в их искренность. Но именно то обстоятельство, что носители красных бантов ныне снова вопят о своей нерушимой верности царю, заставляет думать, что красные банты были знáком не смены убеждений, а простой измены.

Да, конечно, с одной стороны, слишком небезопасно было тогда выступить на защиту «обожаемого» монарха, а с другой — мнилось многим, что они прекрасно могут прожить и с республикой. Только теперь, когда оказалось, что с республикой плохо, и выяснилось, что многие благополучия были неразрывно связаны с троном, у них проснулась пламенная любовь к монархии! Не буду, конечно, утверждать, что таковы все, но таковых — огромное большинство. Иначе не могло бы случиться, что на глазах миллионов преданных обожателей полтора года мучили, оскорбляли, убивали несчастного царя и его ни в чем неповинных детей.

А так было.

И мы даже не слышали ни об одной серьезной, а главное — многолюдной — попытке к их спасению.

5

Вот в чем была трагедия Николая II: в том, что не только фактически, но и по духу времени он был последним царем.

Говорят, что бывший император был неумен, безволен... Сколько раз мне приходилось слышать, что если бы на его месте был Николай I или, по крайней мере, Александр III, то не было бы и самой революции.

Это, конечно, обывательские разговоры! В течение трехсотлетней монархии на престоле сиживали цари и глупее, и безвольнее, и тираничнее Николая II. Достаточно вспомнить хотя бы «Фридриховского капрала», Петра III, или веселую «Елизабет», или сумасшедшего Павла. Правда, некоторые из них поплатились собственной жизнью, но престол оставался непоколебимым. Ибо тогда еще не исполнилась мера времени и непоколебимо

тверд был самый фундамент царской власти — народная вера в Царя.

В силу неизбежного исторического процесса эта вера медленно, но неуклонно иссякала, и к тому времени, когда Николай II вступил на престол, этой веры уже не было вовсе. Жизнь переросла старые формы, и течение ее шло в стороне от царского престола.

Это ничего не значит, что даже накануне революции в России было множество людей, которые искренно считали себя монархистами. Их монархизм давно утратил всякий пафос и превратился в нечто мертво-официальное, с непосредственной жизнью не имеющее ничего общего. Сверху донизу, во всей толще российского населения, трудно было найти человека, который бы свое существование связывал с существованием династии и монархии. С уважением, некоторые даже с благоговением произносили слово «Государь», вешали на стенах своих жилищ портреты царской семьи, с негодованием осуждали «крамолу», соблюдали дни тезоименитств. А жили так, как будто монархия была сама по себе, а они — сами по себе.

Интеллигенция почти сплошь была проникнута революционными идеями. Бунтарский дух бродил даже по аристократическим салонам, где хорошим тоном считалось быть в оппозиции двору. Буржуазия и крестьянство были глубоко безразличны к самой идее монархии. Они подчинились ей постольку, поскольку она вмешивалась в их жизнь, а в общем были к ней совершенно равнодушны.

В конце концов, связывали свою жизнь с существованием царского трона только высшие чиновники да активные революционеры: первые — по долгу службы или карьеры ради оберегали этот престол, вторые — старались его разрушить. Но ведь наймиты всегда останутся только наймитами, а враги — врагами. И в час гибели династии у несчастного последнего царя не оказалось защитников, но зато в изобилии нашлись тюремщики и палачи.

Народ остался равнодушен к судьбе империи. Он был поглощен своими делишками. Он неистовствовал в революционном азарте, он грабил, убивал, но все это относилось вовсе не к монархии, а к его собственным счетам и расчетам.

6

Кто знает, в какую форму отольется будущая Россия!

Быть может, ее история кончена и обречена она на распад. Быть может, она, как Феникс, восстанет из пепла еще более могущественной. Быть может, будущая Россия будет «последним словом» республиканского строительства, а может быть, в ней снова водворится монархия.

Но одно несомненно: даже и в последнем случае Россия уже никогда не будет воистину «царской Россией».

Николай II был последним царем. Царем «милостию Божией», помазанником, тем царем, о котором русский народ с глубокой и восторженной верой говорил: «Одно солнце на небе — один царь на Руси!»

Новый монарх, если и воцарится в России, будет уже монархом только «волею народа» — представителем нации, а не идеи.

Плохо или хорошо это, но жизнь никогда не возвращается вспять. Жалеть об этом бесполезно, как бесполезно плакать о прошедшей молодости. Еще бесполезнее — стараться восстановить исторически изжитое прошлое.

Но не нужно и клеветать на это прошлое.

Самодержавие изжило себя, и оно умерло. Но не надо забывать, что самодержавию русский народ был обязан величием и мощью России. Двуглавый орел был не только хищником, который терзал угнетенный народ, но он был и руководителем этого народа,

летя впереди и увлекая его за собой по лицу земли, от моря и до моря.

Много было темного и страшного в истории русских царей. Были среди них и тираны, и безумцы. Но все они — и этого никто не посмеет отрицать — чувствовали себя ответственными за судьбы России. Они могли отстать от жизни, они могли неистовствовать, совершать величайшие ошибки, но ни один из них не мог предать Россию. Что бы там ни было, но глубокой основой каждого царствования был все тот же завет Петра Великого: Была бы здорова Россия!

И последний русский царь, даже уже лишенный престола, даже уже примирившийся со своею участью, в муках унижений и страха за себя и своих близких, не мог даже и помыслить о том, чтобы ценою позора России спастись от неминуемой гибели. И когда он узнал о большевистском перевороте, когда понял, что близится его собственный конец, он ничего другого не мог записать в свой дневник, кроме краткой и горячей молитвы: Боже, спаси Россию!

И страшной смертью своей и всех своих, так горячо и страстно любимых им детей заплатил он за отказ подписать позорный мир со всемогущим тогда врагом России.

Этого забыть нельзя!

7

Да, это был последний царь.

Сама судьба как будто хотела отметить его чертами «последности». Был он тихим, молчаливым, замкнутым, безвольным, неспособным на громкие слова и решительные жесты. И сына дала ему судьба больного, подверженного неизлечимому недугу.

И, быть может, Николай II сам если не сознавал, то чувствовал свою «последность», свою обреченность. Он ощущал ту трагическую пустоту, которая окружала его на троне, одиноко стоявшем среди народного моря, в котором иссякала вера в царя.

Оттого он был так нерешителен и слаб. Оттого так легко вверялся любому проходимцу, который делал вид, что может спасти обреченную монархию. Оттого он так подчинялся всяким «мистическим шарлатанам». Чувствующие свою обреченность всегда ждут помощи от каких-то сверхъестественных сил. Воспитанный в известной среде, Николай II не мог, конечно, отказаться от веры в свое помазанничество. Но вера эта не была для него живым двигателем воли и мало-помалу тихо замирала в его собственной душе. И исступленная фанатичка царица принуждена была без конца, без устали твердить ему: «Вспомни, что ты царь!.. Вспомни, вспомни, вспомни...»

Эта страстная настойчивость прямо поражает, когда теперь читаешь письма Александры Федоровны. Кажется, как будто она заклинает уходящую жизнь и в отчаянии видит, что заклинания уже бесполезны.

И они действительно были бесполезны. Царь делал вид, что верит жене, подчинялся ей, как источнику сильной воли, но молчал и тихо уходил прочь, все дальше и глубже в свою обреченную «последность». Назначал министров, подписывал приказы, изготовленные за него другими, сменял полководцев, передавал всю полноту власти кому угодно и молчал. Как будто в сознании своей обреченности хотел сказать: «Все это ни к чему! Я вам не мешаю пробовать, но от судьбы не уйдешь!»

И, уходя с престола без борьбы и протеста, он не захотел передать обреченного трона своему сыну. Он взял его с собою, чтобы потом собственными руками свести его на смерть в роковой подвал ипатьевского дома.

«Последний царь»!

Когда-нибудь великий поэт напишет эту трагическую поэму.

У красного корыта

1

В свое время с достаточной очевидностью было доказано, что отчет комиссии пресловутого Перселя был изготовлен в недрах советских комиссариатов. Однако этот скандал ничуть не смутил ни большевиков, ни многочисленных последователей Перселя. Шведская и бельгийская рабочие делегации еще наслаждаются «товарищеским приемом» Москвы, а «Правда» уже печатает выдержки из их отчетов. Очевидно, эти отчеты заготовляются заранее и впрок.

Как и отчет комиссии Перселя, отзывы бельгийских и шведских товарищей преисполнены восторгов по адресу блистательного СССР. Это уже набило оскомину, и можно было бы совершенно равнодушно пройти мимо, даже не спрашивая: «Ты скажи мне, гадина, сколько тебе дадено». Но вот что пишет по этому поводу передовик «Правды»:

«Стихийное тяготение к нам людей из самой гущи пролетарских низов уже приводит к тому, что посещения нас иностранными рабочими становятся почти что будничным явлением. И тем не менее мы не должны ни на йоту преуменьшать того *огромного международного политического смысла* (курсив «Правды»), который заключен в отзывах о нас рядовых рабочих от станка».

О международности этого печального явления — «стихийного тяготения пролетарских низов» к московским убийцам и грабителям — свидетельствует другой советский журналист Кольцов, который, описывая парад в честь бельгийских и шведских товарищей, восклицает:

«Красная площадь видела иностранцев. Наших иностранцев. Коммунистов. Всевозможных. Норвежцев с льняными прическами и лоснящихся негров с Гваделупы. Американцев и китайцев. Красной площади это не впервой».

Что это «не впервой», мы знаем. Еще при Иоанне Грозном на Красной площади похаживали с топориками палачи и носилась наемная опричнина... Слышала Красная площадь и немецкую команду шпионов, под руководством которых несчастная красногвардейская шпана обстреливала Кремль... И ныне на той же злосчастной Красной площади выставлена напоказ полуразложившаяся мумия величайшего из международных злодеев — Ленина.

Если бы только в том и заключался весь «огромный международный смысл» тяготения рабочих к большевистскому корыту, это не было бы страшно. Ибо давно сказано, что было бы корыто, а свиньи найдутся... тем более — «из самой гущи низов».

Но большевики вовсе не так глупы и нерасчетливы, чтобы тешиться бесполезными парадами и тратить на приемы «гостей» бешеные деньги из своей тощей казны. «Международный политический смысл» их гостеприимства гораздо глубже и серьезнее.

Россия ограблена почти вчистую. Все туже завинчивают большевики свой налоговый пресс, но хотя из-под него и каплет человеческая кровь, но процент золота в этой крови становится все меньше и меньше.

Между тем пропаганда всемирной социальной революции приняла грандиозные размеры, охватив весь мир — «от горючих песков пирамид» «до стен недвижного Китая». Она требует огромных затрат, ибо давно иссяк пафос революции и все меньше находится дураков, которые согласились бы лезть в петлю бесплатно.

И вот на выручку редеющим рядам красной агитационной армии являются эти рабочие делегации.

15—1565

2

Конечно, восторги «Правды» относительно «рядовых рабочих от станка» сильно преувеличены. Большевики, со свойственной им наглостью, когда им выгодно, легко забывают сегодня то, о чем писали вчера. Но у нас память не так коротка, и мы помним, что всего несколько дней тому назад «Правда» оповещала мир о наличности среди шведской и бельгийской делегаций большого числа журналистов, учителей, партийных деятелей и желторотых комсомольцев.

Но все же несомненно среди них есть очень много и самых подлинных рабочих. Почему эти почтенные труженики покидают свои станки и тратят рабочее время на площадные парады?

Ответ один, и его с классической простотой дает тот же Кольцов: «Потому что эти шведские, немецкие и бельгийские гости — рабочие!»

То есть потому, что «самая гуща пролетарских низов» действительно тянется именно туда, где из грязи можно попасть прямо в князи, где, как они слышали, «пролетарское происхождение» гарантирует и безнаказанность, и безделье, и дележ награбленного. Потому что именно пролетарские низы, у которых нет ни культуры, ни Бога, ни традиций, стихийно рвутся туда, где гибнет культура, где религия провозглашается только опиумом для народа, где не труд, а готовность на злодейство дают сытую и пьяную жизнь.

Конечно, те из низов, которые остаются в советском раю, скоро убеждаются, что у заветного корыта на всех места не хватает. Только немногим из них удается завоевать себе теплое местечко и по уши погрузить свиную или волчью морду в «гущу» сытного кровавого пойла. Большинство же по окончании парада безжалостно сбрасывается снова в «самую гущу низов», к таким же обманутым русским рабочим, наравне с которыми и превращается в безответное, голодное, безжалостно эксплуатируемое быдло.

Но в расчеты большевиков как раз и не входит, чтобы «гости» слишком долго засиживались. В советской России они не только не нужны, но даже и опасны, ибо у них нет испытанного русского терпения, и, хлебнув подлинной гущи советского быта, они весьма скоро превращаются в «активный контрреволюционный элемент».

Поэтому задача большевиков именно в том и заключается, чтобы ослепить гостей блеском парадов и потемкинских деревень, помазать их по губам, раздразнить их аппетиты до бешенства, а затем поскорее вернуть их в прежнее ничтожество. То есть распылить по всем странам мира скоро и дешево обработанных добровольных агитаторов и пропагандистов. Они опаснее самых искусных и смелых агентов, ибо агент врет и знает, что врет, а кроме того — его усердие прямо пропорционально его стоимости. Да и где найдешь у себя дома достаточное количество людей, владеющих языками всего мира? Откуда, например, взять хотя бы того же «лоснящегося негра из Гваделупы», если ни один бедный еврей не захочет мазаться сажей с салом?

А тут каждая «рабочая делегация» дает несколько десятков, а то и сотен чистокровных граждан именно тех стран, в которых они должны «работать».

И вот разъезжаются все эти «льняные норвежцы, лоснящиеся негры, американцы и китайцы», увозя с собой блаженное воспоминание о сытой и пьяной жизни московских «товарищей» из ГПУ, о пышных казенных парадах, о торжественных спектаклях в этих удивительных русских театрах и даже... об очаровательных и бесплатных русских женщинах! (Ибо я знаю от очевидцев, что в «Европейскую» гостиницу в Петрограде, где помещалась комиссия Перселя и где, во все время ее пребывания, дым стоял коромыслом, большевики бесплатно доставляли и женщин... Кто они — эти несчастные жертвы пролетарского темперамента?)

Можно себе представить, с каким чувством представители «самой гущи низов» становятся снова к своему опостылевшему станку? С какой животной яростью они — «кому

еще не дано добиться своих прав и возможностей» (по выражению того же Кольцова) — смотрят на буржуазию своих стран, как ненавидят они свой станок и как тоскуют они о покинутом советском рае! Они отравлены этой тоской — почти что «тоской по родине», ибо ведь «у пролетария нет отечества» и его родина там, где торжествует его классовая борьба и классовый аппетит.

От этой тоски пролетарий уже не уйдет! Словно в сладостном сне, перед глазами его всегда будет стоять и эта Красная площадь, залитая красными флагами, и эти торжественные спектакли, и эти бесшабашные пиры с очаровательными женщинами, а в ушах всегда будут звучать «могучие звуки Интернационала» и хриплые жадные крики торжествующего красного воронья:

— Товарищи, смерть буржуям! Грабь награбленное!

Душа его вечно будет гореть в неутолимой жажде изведать это все вновь в лютой, непримиримой ненависти к своим «классовым врагам», стоящим у него на дороге к наслаждению и власти.

Лучших, преданнейших, опаснейших агитаторов коминтерн и пожелать не может! Ибо они бесплатны, ибо их много, ибо они имеют доступ в «самую гущу пролетарских низов», ибо они навсегда отравлены алчностью и ненавистью, ибо они искренни в своей ненависти.

Вот в чем подлинный и действительно огромный международный политический смысл всех этих рабочих делегаций.

Красный дьявол работает не покладая рук, и вместе с ним в безумной слепоте работают все правительства расшатанной Европы, покорно подписывая паспорта по его сатанинской указке.

Тяжелые мысли

1

Существуют разные мнения о причинах русской катастрофы. Одни во всем винят самодержавие, другие — евреев, третьи — войну, четвертые — большевиков.

Я же думаю, что главным образом была виновата наша проклятая российская половинчатость, та неспособность наша к категорическим решениям, которая нашла себе идеальное выражение в знаменитой формуле: «постольку — поскольку!»

Было время, когда и сама революция могла быть предотвращена или по крайней мере надолго отсрочена. Для этого Николаю II нужно было сделать решительный выбор между конституцией и беспощадным уничтожением всякой оппозиции в самом ее зародыше.

Он этого не сделал, с одной стороны, не идя ни на какие уступки, а с другой — терпя оппозиционную Думу и печать почти революционную.

Николай II вообще был истинно русским человеком, и его скитания между Псковом и Дно могут служить ярким символом всего нашего русского шатания.

Когда царь сошел со сцены, его шатания возобновили его преемники, вечно колебавшиеся между твердой властью и неограниченной свободой, между страхом революции и страхом реакции.

Эти шатания и погубили Россию, которую можно было спасти, несмотря ни на войну, ни на большевиков, ни на революцию.

Революция — не гроза, не потоп, не землетрясение, против которых, да и то не всегда, бессильны люди. Если это и стихия, то стихия человеческая, а человеческую стихию

всегда можно направить в то или иное русло. Только для этого нужна твердая воля, способная принять определенное решение и провести его до конца, без колебаний и оговорок.

Допустим на момент любое из вышеперечисленных объяснений катастрофы... Пусть это будет война, евреи, большевики — все что угодно.

Раз близость катастрофы была осознана,— а осознана она была, ибо все наперебой кричали, что «уже бьет двенадцатый час!»,— то для предотвращения этой катастрофы нужно было прежде всего определенно решить: Россия гибнет и ее надо спасать во что бы то ни стало!

Если бы такое решение было принято, то выводы последовали сами собой.

Нарочито грубо говоря: если в катастрофе виновата война, нужно немедленно прекратить войну, если большевики, нужно перевешать всех большевиков.

Конечно, всякое решительное средство рискованно, но опаснее нерешительности нет ничего! Во всяком случае, нельзя было изображать буриданова осла и самое спасение России ставить в зависимость от того, поскольку сие не противоречит верности союзникам или принципам гуманности и свободы. Ибо раз спасение России было поставлено в зависимость от чего бы то ни было, спасения и быть не могло.

Так было!

Но все это — дело прошлое... В конце концов, спорить о том, как надо было поступить вчера, совершенно бесполезно. Такие споры только вызывают то болезненное томление духа, которое переживает проигравшийся игрок, когда на другой день после проигрыша мучительно старается учесть, что было бы, если бы накануне он поставил не на ту карту, а на другую.

Время — вот та «стихия», против которой действительно бессилен человек. Что прошло, того не вернешь.

Но ведь у нас не только прошлое. У нас есть и настоящее, и мы хотим иметь будущее. Для того, чтобы его иметь, надо учесть уроки прошлого.

А между тем я с ужасом вижу, что мы действительно «ничего не забыли и ничему не научились!».

2

Конечно, теперь даже самые твердокаменные легитимисты понимают, что свержение советской власти и будущее России зависят от самого русского народа. Не только эмиграция, но даже и вся Европа бессильна завоевать великую страну и подчинить ее своей воле.

Но все же, будь русская эмиграция единой организованной силой, она могла бы играть большую роль. Наша распыленность, наша партийная рознь усиливают позицию тех иностранных ревнителей и поборников советской власти, которые, указывая европейскому общественному мнению на нашу бесплодную и бессмысленную грызню, внушают, будто большевики — это единственная сила, способная справляться со взбаламученным народным морем. А отсюда — град признаний, торговые соглашения, кредиты и все прочее, что длит агонию советской власти и страдания русского народа.

Отсюда и страдания самой эмиграции, которая ведь тоже есть часть русского народа и с которой никто не считается, третируя ее, насилуя, унижая и оскорбляя.

Поэтому вряд ли найдется кто-либо, кто не понял бы, какая острая необходимость — в единении всей русской эмиграции, без различия партий и убеждений. Об этом единении стоном стонет, криком кричит эмигрантская масса, уставшая, сбитая с толку бесконечной распрей ее руководящих верхушек. Об этом с удивлением и возмущением говорят все приезжие из России.

3

И тем не менее как только возникла мысль об общеэмигрантском съезде, так сейчас же и воскресла проклятая формула «постольку — поскольку».

С первого же шага между двумя руководящими органами эмигрантской печати — «Последними новостями» Милюкова и «Возрождением» Струве — возникла ярая полемика. Вот уже месяца два она ведется с неослабевающим жаром. Милюков и Струве наносят друг другу мáстерские удары...

У меня нет охоты аплодировать их полемическому искусству!

Факт тот, что г. Струве сразу заявил, что та часть эмиграции, которая одержима республиканско-демократической ересью и не желает преклониться перед чудотворным образом угодника Николая... Николаевича, не имеет права принимать участие в съезде «Зарубежной России».

Г-н Милюков же немедленно дал понять, что поскольку съезд будет возглавляться монархистами, постольку демократии неуместно участвовать в этом предприятии.

Таким образом обе стороны сразу поставили предполагаемый съезд под угрозу бойкота со стороны той или иной части эмиграции. А этим сразу предрешается и неудача съезда, ибо он имеет смысл только в том случае, если это будет съезд всей эмиграции, а не только одного ее крыла, как бы велико это крыло ни было. Эмиграция, разделенная на две, хотя бы и неравные, части, уже не имеет никакого значения.

Я никак не могу разделить точку зрения одного левого журналиста, который предложил приветствовать съезд, как съезд определенно монархический, в целях наглядно убедить мир в бессилии монархистов.

Такое предложение можно делать, только глядя через забор на улицу, где дерутся чужие люди, но никак нельзя относиться таким образом к драке в собственной семье! И по существу своему это предложение ужасно, ибо оно показывает, как глубоко зашло разложение... Люди готовы провалить общее дело, лишь бы насолить друг другу! Как будто не существует никакой русской эмиграции, а все дело в том, кто кому насолит больше: Милюков или Струве, монархист или демократ.

Очевидно, эти люди уже не способны понять, что русская эмиграция, как таковая, есть одно целое и провал какой бы то ни было ее части знаменует в конечном счете и провал всего целого.

4

Невольно возникает тяжелая мысль...

Трудно допустить, чтобы эти люди не понимали, как бесплодны их пышные турниры из-за прекрасных дам — республики и монархии, когда и дам-то этих вовсе нет! Ибо даже рядовому обывателю понятно, что, пока существует советская власть и не видно, когда пробьет час ее падения, всякие споры о будущей форме правления в России — совершенно бессмысленны.

И не только бессмысленны. Они противоречат самой логике, ибо нельзя же признавать за русским народом прав самому решить свою судьбу и в то же время судьбу эту предрешать.

Но есть ли эти идеологическая непримиримость и полемический задор лишь средства прикрыть безнадежность, печальную пустоту своего существования?

И в самом деле, представим себе на миг, что на съезде или в печати определенно победила бы та или иная сторона... Допустим, что Милюков воздвиг чудотворный образ Николая Николаевича или Струве стал под республиканское знамя...

И вот нет больше никаких разногласий! Кровожадные тигры реакции возлегли рядом с агнцами истинной демократии! Будущая форма правления в России выработана, принята и единогласно утверждена!

Ну и что же дальше?..

А дальше пришлось бы закрыть все «Последние новости» и «Возрождения», ибо не о чем было бы спорить, а делать тоже нечего!

Я думаю, что несчастнейший день в жизни Милюкова был бы тот день, когда все с ним согласились бы, а Струве покончил бы жизнь самоубийством в тот миг, когда все «стали бы под знамя Вождя»! Ибо нет ничего скучнее, как изрекать истины, против которых никто не возражает, а неподвижно стоять под каким бы то ни было знаменем даже и просто невозможно.

5

Но все это происходит по той же причине, по какой мы не могли предотвратить всеми осознанную катастрофу 17-го года. Мы до сих пор не можем себе уяснить, что все несчастия России не в том, что в ней нет республики или монархии, а в том, что она находится во власти большевиков. Если бы мы это уяснили, то мгновенно исчезли бы туманные призраки воображаемых монархий и республик, которых «никто же не видит нигде же», и перед нами встала бы одна и общая задача — свержение советской власти.

Конечно, мы, эмигранты, самостоятельно свергнуть большевиков не можем. Но мы могли бы помочь России и средствами и людьми. Но для этого нужно прийти к определенному решению, поставить перед собою одну цель, оставить в стороне идеологические разногласия и создать один общий ц е н т р д е й с т в и й. Только на этой почве возможно единение русской эмиграции, и только под этим лозунгом возможен был бы съезд «Зарубежной России». В противном случае он или вовсе не состоится, или будет никому, кроме самих монархистов, ненужной монархической демонстрацией, или мы явимся зрителями грандиозного диспута с заранее известным концом.

Идеология не терпит уступок по существу. Ни при каких условиях демократы не убедят монархистов в преимуществах республиканской формы правления, и никогда монархисты не смогут внушить республиканцам преданность монархии. Мы увидим всех «премьеров», выслушаем множество блестящих речей, а затем та или иная сторона, оставшись в меньшинстве, демонстративно покинет зал заседания. И кто бы там тогда ни остался — монархисты или демократы,— все останется по-прежнему, как будто никакого съезда и не бывало. Только разве что газетная полемика, за последнее время поутихшая за отсутствием тем, надолго оживится, получив свежий материал для взаимных обвинений.

6

Но, увы, я прекрасно знаю, что, взывая к созданию «Центра действия», изображаю глас вопиющего в пустыне!

Эмигрантская масса, та, которая в кровавой гражданской войне доказала свою способность к действию, распылена и безгласна. У нее нет ни средств, ни физической возможности создать свою организацию, помимо «руководящих верхушек».

А «руководящие верхушки»... да ведь это те же самые люди, которые своей неспособностью к действию и своим идеологическим сектантством сами и создали то трагическое положение, в котором мы находимся.

Переродиться они не могли, а сорок лет странствования по пустыне еще не прошли!

Жгучий вопрос

1

Каждую весну настроение подымается и растут самые фантастические слухи. Каждую осень настроение падает и начинается общее нытье:

«Стоит ли надеяться и ждать, не лучше ли махнуть на все рукой и возвращаться на родину?»

А так как «довлеет дневи злоба его», то все газеты немедленно начинают по этому поводу оживленную дискуссию.

Нынешняя осень — потому ли, что она уже восьмая по счету, или потому, что она связана с явным крушением некоей грандиозной затеи, на которую многие возлагали большие надежды,— особенно обильна рассуждениями на тему: приемлемо ли с принципиальной точки зрения возвращение в советскую Россию или неприемлемо?

Случайность это или нет, но особое внимание этой теме уделяют газеты именно того лагеря, который не слишком благополучен по части непримиримости.

В «Воле России», руководимой В. Черновым, недавно появилась преогромная статья г. Пешехонова, того самого, который когда-то писал, что он «очень гордится своим советским паспортом». Пешехонова немедленно подхватили многие из тех, кого я окрестил «ультрафиолетовыми», а эсеровские «Дни» присосались к этой теме так жадно, что вот уже, кажется, третью неделю не могут от нее оторваться. А в заключение выступил М. Осоргин, который заявил о своем полнейшем «созвучии» с г. Пешехоновым и, со свойственным ему ерничеством, ехидно смеется и над непримиримостью, и над ссылками на Герцена, и над «пафосом» не желающих вернуться в Совдепию.

2

Я долго молчал, наблюдая всю эту суету. Молчал потому, что для меня лично вопроса о возвращении в советскую Россию просто не существует. Молчал бы и дальше, если бы, как то и следовало ожидать, все эти толки не вызвали в измученной, исстрадавшейся эмигрантской массе известного движения и ко мне не посыпались письма читателей все с тем же «жгучим вопросом»: можно ли еще чего-нибудь ждать и не является ли дальнейшее упорство бессмысленным?

А так как я давно сказал, что пишу не для руководящих верхушек, а именно для читательской массы, то на ее вопросы я должен ответить. Но прежде считаю не лишним сказать несколько слов о том источнике, из которого и пошла струя «возвращенческого движения». И со свойственной мне откровенностью скажу прямо, что источник этот кажется мне довольно мутным.

И статья Пешехонова, и двусмысленная позиция «Дней», и ерничество Осоргина — все это одним миром мазано. Я не хочу сказать, будто все эти господа работают заодно с пресловутым «Парижским вестником», как известно, издаваемым большевиками специально на предмет «ловли воблы в белом море».

Нет, этим господам просто нужна острая тема, а им легче говорить о возвращении в пределы ГПУ, чем нам, для которых такое возвращение совершенно равносильно савинковскому прыжку из пятого этажа. Поэтому они праздно болтают на тему, которая интересна именно благодаря ее исключительной болезненности.

Но объективно — сознательно или бессознательно, по душевной подлости или по глупости — они продолжают ту же работу, которую уже давно делают большевики вообще и «Парижский вестник» в частности.

3

На первом месте, конечно, надо поставить г. Пешехонова. Этот человек действительно не лишен таланта и умеет задевать самые больные струны. Центральным местом его статьи, настроение которой «Дни» правильно формулировали так — «хочу на родину при всех условиях»,— является весьма поэтическая легенда.

Один половецкий князь попал в плен к русским, обжился у них, женился, занял важный пост и забыл о родных степях. Неизвестно, почему, но половецкий хан решил этого ренегата вернуть на родину и послал к нему гонца, которому дал такой приказ: если не подействуют уговоры, спой ему наши песни; если и песни не подействуют,— дай ему понюхать вот эту былинку!

Конец виден по началу: выслушав посла — князь задумался, прослушав песню — прослезился, а понюхав былинку — бросил «все свое богачество», как говорится в сказках, и вернулся на родину.

У Пешехонова эта легенда рассказана много поэтичнее, чем у меня, но это произошло потому, что с разным чувством мы ее рассказывали. Пешехонову нужно было кольнуть в кровоточащую ранку тоски по родине, и он, конечно, вложил в легенду весь свой пафос. Мне же этого совсем не нужно, а потому трогательная легенда, совершенно не к месту приведенная Пешехоновым, не растрогала, а только раздражила меня. Нет ничего ужаснее, как использовать святого чувства в непотребном месте. И я прямо обвиняю г. Пешехонова в том, что он сознательно спекулирует на чувстве тоски по родине для того, чтобы достигнуть цели, ничего общего с родиной не имеющей.

4

Да, я прекрасно понимаю, что сухие уговоры не должны были подействовать на ренегата, что родная песня должна была заставить его плакать, а запах родимых полей перевернул всю его жизнь.

Но, прежде всего, ведь мы же не ренегаты? Разве мы забыли о родине, разве мы и без песен и без запахов не плачем о ней кровавыми слезами? Где наше «богачество», какими благами окружены мы на чужбине? При чем же тут половецкий князь? Ведь половецкий князь жил на чужбине, а на родине у этого половецкого князя все оставалось по-прежнему: звучали те же песни, также пахла горькая полынь.

А г. Пешехонов прекрасно знает, что наши русские степи заросли красным чертополохом. Вместо русских песен гремит там похабщина «политграмоты», русский язык заглушается там жаргоном международной сволочи, проповедующей безбожие и классовую ненависть, а поднесн нам к носу иную былинку оттуда, так от нее, чего доброго, пахнет таким ароматом, что стошнит и только.

В том-то и дело, что мы тоскуем по России, а не по СССР, по русским степям, а не по большевистской чека, по русским песням, а не по «интернацивонялу», как выговаривают некоторые малограмотные «товарищи».

А потому и все эти поэтические легенды г. Пешехонова есть не что иное, как кощунство. Игра на тех чувствах, которыми играть нельзя.

5

Что все это одна пустая болтовня ясно уже из того, что самое основное положение г. Пешехонова — «хочу на родину при всяких условиях» — его, по-видимому, ни к чему не обязывает.

Хочу, хочу!.. За нами погоня, бежим, спешим!..— а на самом деле ни с места. Ведь г. Пешехонов уверяет, что он вернется на родину «при первой возможности» и что если его там «закуют в кандалы, то он будет рвать эти кандалы».

Все это звучит гордо и... все это ложь!

Если г. Пешехонов действительно готов вернуться при всяких условиях, то почему же он не возвращается при тех условиях, которые существуют ныне? Если ему так тяжело «со свободой фланировать по улицам Европы», то пусть себе и возвращается в Совдепию без свободы. Ибо «всякая возможность» существует всегда. Такова неотъемлемая особенность «всякой возможности».

Ах, в том-то и дело, что «сие надо понимать духовно», а на самом деле всякая-то всякая, да не всякая! И вернуться с риском попасть не в аллегорические, а в самые настоящие кандалы, а то и в подвал, к стенке,— это г. Пешехонову совсем не улыбается. Как и всем нам, грешным, хочется ему попасть на родину лишь при известных условиях, и вовсе ему не желательно «разбивать кандалы» с риском, что первый попавшийся чекист разобьет ему за это голову.

Я охотно верю, что г. Пешехонов «рвется на родину»... Почему бы не верить, когда все мы рвемся. Но для меня совершенно очевидно, что г. Пешехонов рвется с весьма большой осторожностью.

А ежели так, то незачем нам и былинки в нос совать! Я говорю грубо, нос — это нарочитая грубость. Ибо ведь и в самом же деле возмутительно!

Кто вас держит, скажите пожалуйста? Кто тянет вас за язык говорить о том, чего для себя вы вовсе не хотите? Какое право вы имеете, сидя в безопасном далеке, будить в измученных душах такое мучительное чувство и толкать людей туда, куда вы сами, весьма, впрочем, благоразумно, не торопитесь?

Зачем эта вопиющая фальшь?

6

В сравнении с г. Пешехоновым г. Осоргин — мелкая штучка. Нет у него своих слов, нет ни поэзии, ни песен, ни былинок. Осталось одно «созвучие», да и то звучит весьма фальшиво.

Как и Пешехонов, г. Осоргин «тихо рвется» на родину, но несет при этом уже совершеннейшую чепуху. Издеваясь над г. Вишняком, который выступил против «пешехоновских настроений», Осоргин говорит:

«Выходит, по Вишняку, что Пешехонов отрицает все прошлое русской интеллигенции, свидетелем чего Вишняк выставляет Герцена... Герцен вообще очень часто стал выступать свидетелем на суде зарубежных мнений, но не напрасно ли беспокоят великую тень?.. Герцен был огромной силы, постольку неповторимой, поскольку неповторим его энтузиазм и его исключительный литературный талант. Но где нынешний Герцен? Кто и что его заменяет?»

Таким образом, по мнению г. Осоргина, с одной стороны, все прошлое русской интеллигенции исчерпывается одним Герценом, а с другой — за отсутствием Герцена — мы теряем все права кроме одного — быть духовным ничтожеством без всякого «пафоса и энтузиазма».

Я думаю, что вся русская эмиграция охотно откажется от такого права в пользу г. Осоргина, тем более, что о себе самом он сам говорит следующее:

«Нет во мне, нет во мне пафоса!.. Легче мне среди человеков с буквы маленькой!.. И вот я приветливо улыбаюсь... сукину сыну, моему темному, в глупости и остывающей

злобе погрязшему собрату по родине, столь наскандалившему на весь мир при моем ближайшем революционном участии... Там мы с ним друг друга легко поймем, а здесь, на заседании Лиги прав человека и гражданина... как-то не уверен я, что не придется нам что-то скрывать...»

Весьма возможно!.. Ряд признаний — весьма ценных.

Предоставим же г. Осоргину улыбаться «сукину сыну» и будем надеяться, что и «сукин сын» ему столь же приветливо улыбнется. Они «легко поймут друг друга»? Да?.. Ну что ж, не будем им мешать. Пусть понимают. Пусть улыбаются, пусть целуются — наше дело сторона.

7

Гораздо интереснее позиция «Дней».

Почтенный орган керенщины по традиции садится между двух стульев «постольку-поскольку».

Что ж, с этим ничего не поделаешь: привычка — вторая натура!

С одной стороны, «Дни» определенно заявляют, что пешехоновская формула возвращения без всяких условий для них неприемлема. С другой — усиленно призывают «снять с возвращенцев тяжесть морального осуждения».

С одной стороны, нельзя не признаться, с другой — нельзя не сознаться!

Но, во всяком случае, снятие тяжести морального осуждения, конечно, значительно облегчит вопрос о возвращении в Совдепию. Такая комбинация в просторечье выражается так: «На тебе, небоже, что нам негоже!»

И, собственно говоря, против этого ничего возразить нельзя. Никто не обязан быть «сторожем брату своему», и ежели среди эмигрантов имеются такие «бараны» (выражение «Дней»), которые готовы лезть в большевистскую пасть, то туда им и дорога.

«Дни» находят, что это даже очень хорошо, «уже по одному тому, чтобы выпрямить политическую линию противобольшевистской, борющейся за свободу в России, российской демократии».

Вы понимаете, конечно, что демократия тут выскочила только, так сказать, «по долгу службы», ибо более демократичным, чем сама демократия, «Дням» неуместно вспоминать о монархистах.

Кстати сказать, таких «баранов» среди монархистов должно быть меньше уже по одному тому, что возвращение на большевистскую бойню для монархических баранов все-таки опаснее, чем для баранов демократических.

Но это, впрочем, так, к слову...

Суть же в том, что пешехоновское утверждение: «каждый должен решать этот вопрос за себя самого»,— утверждение, удивительно охотно подхваченное «Днями» и сто раз ими повторенное, мне кажется весьма сомнительным.

Не по существу, конечно.

По существу, это совершенно правильно: не для того мы бежали от насилия большевиков, чтобы и здесь кто-нибудь насиловал нашу волю.

Хочешь возвращаться, ну и возвращайся.

Но как утверждение, исчерпывающее вопрос, это звучит фальшиво.

Ибо если каждый должен решать этот вопрос сам за себя, то зачем же столько писать и говорить об этом? Так ставить вопрос — это значит отказываться от всякого руководительства эмигрантскими настроениями, а ведь уже давно сказано:

Не пишут так пространно
Решительный отказ!

«Каждый за себя, Бог за всех!..» Зачем тратить столько слов для доказательства этой старой истины?

Правда, «Дни» объясняют, что «давно пора сорвать с возвращенцев мантию какого-то революционного подвига, мантию, в которую их кутают чекистские агенты, пользуясь бестактным отношением к ним белой эмиграции».

Но и такое объяснение более патетично, чем убедительно.

Во-первых, никто возвращенцев ни в какую революционную мантию не кутает. До сих пор к ним все относились с презрительной жалостью, и только. Может быть, и такое отношение «Дням» кажется бестактным? Но тогда я решительно отказываюсь понять, какого же им еще рожна нужно? Чемоданчик ли за возвращенцем нести или сладких ватрушек ему на дорогу напечь?

Почему вдруг такая забота припала «Дням» — эмигрантской газете — именно по отношению к тем, кто, возвращаясь в Совдепию, тем самым выходит из состава эмиграции?

Почему? А Бог их ведает!

8

Нет, дело в том, что все это только один выверт, да и выверт-то нехороший.

«Дни» прекрасно знают, что всякий, кто берется за перо, уже в силу самой природы печатного слова не может говорить только за себя. Как ни оговаривайся, какой субъективностью ни прикрывайся, но все, что написано и напечатано, становится действенным фактором в движениях человеческой массы. Когда писатель оговаривается — «я лично думаю»,— он только подчеркивает независимость своего мнения от мнения окружающих, но все же говорит не за себя и не для себя, а для того, чтобы так или иначе повлиять на настроение читательской массы.

Да и как же может быть иначе? Ведь если бы не было этого желания влиять, то незачем было бы и время тратить на кропотливую, тяжелую литературную обработку своих мыслей. За себя и для себя можно решить все вопросы, лежа на кровати и не портя бумаги.

И «Дни», и все гг. Пешехоновы, конечно, не так наивны, чтобы не знать этого. В том-то и дело, что они определенно пытаются вызвать в массах известное настроение и их оговорки — одно сплошное лицемерие.

При этом — лицемерие совершенно бесполезное, ибо оно слишком очевидно.

9

Переходя к собственному ответу на поставленный вопрос, я говорю прямо, что хочу и стараюсь повлиять в определенном направлении. Не на «баранов», конечно, а на тех «козлов», которые могут временно поколебаться в своем упорстве под давлением тяжести эмигрантского существования, тоски по родине и проповеди гг. Пешехоновых.

Несмотря на массу жалких слов о безрадостной, тяжкой и бессмысленной жизни эмигранта, заступники «возвращенцев» все-таки сами чувствуют, что в возвращении под советский сапог нет ничего, достойного преклонения и уважения. Потому-то они так и беспокоятся о «снятии тяжести морального осуждения».

Бессмысленна ли жизнь эмигранта как такового, об этом я поговорю в другой раз. Но что она тяжела, об этом не может быть двух мнений. Человек не может жить полной

и легкой жизнью без родины. Без того угла, где он свой всем, где говорят на его родном, до конца понятном языке, где под ногами у него твердая почва. Как бы мы ни приспособлялись, как бы ни устраивались на чужой земле, мы всегда будем висеть в воздухе, всегда будем чувствовать себя чужими и лишними. Здесь мы всегда будем иметь худшее место за столом, труд наш всегда будет случаен, а благополучие непрочно.

Это может измениться только в одном случае: если мы перестанем быть русскими и совершенно сольемся с тем народом, среди которого мы живем. Но тогда мы перестанем быть и эмигрантами, а следовательно, отпадет и самый вопрос об эмигрантской жизни.

Оставаясь русскими, мы обречены вечно чувствовать себя оторванными, заброшенными, одинокими. Ничуть не лучше собаки, в ночь, дождь и холод выгнанной на улицу.

Но как бы ни была тяжела эта собачья жизнь, возвращение под гнет той самой власти, которая и превратила нас в бездомных псов, не означает ничего иного, кроме полного падения духа, измены тем идеалам, во имя которых создалась эмиграция, и забвения своего человеческого достоинства.

Что бы там ни было, но если человек падает так низко, то, значит, он слаб и ничтожен. Какое же отношение к слабости может быть кроме того, которого она заслуживает? В лучшем случае — жалость!

Вот все, чего могут ожидать от нас возвращенцы, как бы ни была ужасна та жизнь, которая вынудила их к возвращению.

Чем она ужаснее, тем острее жалость. Только и всего.

10

Да, совершенно верно: каждый должен решать сам за себя, но отношение к этому решению у каждого тоже должно быть свое.

Мое отношение совершенно определенно.

Я покинул Россию не для того, чтобы сделать этим кому-то одолжение, а потому никто не обязан ни заботиться о моем существовании, ни плакать над моими несчастиями. Если позаботится, если поплачет, я буду очень благодарен, конечно, но требовать этого не имею ни малейшего права. Об этом я должен был думать раньше, до эмиграции.

Я покинул родину не из страха перед террором, не потому, что боялся голодной смерти, не потому, что у меня украли мое имущество, и не потому, что я надеялся здесь, за границей, приобрести другое.

Нет, я покинул родину потому, что она находится во власти изуверов или мошенников, все равно, но во всяком случае — во власти людей, которых я презираю и ненавижу.

Я покинул родину потому, что она перестала быть той Россией, которую я любил, и превратилась в страну III Интернационала, по духу чуждого и ненавистного мне.

Я покинул родину потому, что в ней воцарилось голое насилие, задавившее всякую свободу мысли и слова, превратившее весь русский народ в бессловесных рабов.

Покидая родину, я, конечно, надеялся поработать для ее освобождения и решил посвятить этому все свои силы, даже отказавшись от самого дорогого для меня в жизни — от искусства. Но все-таки, строго говоря, я покинул родину не для того только, чтобы бороться за нее, чтобы освободить русский народ от рабства, но прежде всего — для того, чтобы самому не быть рабом. А потому я и не могу вернуться туда до тех пор, пока не буду иметь возможность вернуться свободным и свободу несущим человеком.

При решении этого вопроса для меня не играет никакой роли, ухудшается ли мое положение здесь и улучшается ли положение там. Никакое «увеличение посевной пло-

щади», никакие «миллионы комсомольцев», никакие нэпы, никакое восстановление городов, промышленности, транспорта и сельского хозяйства меня не прельщают. Ибо без свободы все это для меня не имеет никакой цены.

И когда ко мне приходят люди с жадным огоньком в глазах, говорящие о том, что «там стало совсем хорошо и все есть», я к этим господам не чувствую ничего, кроме гадливости. Ибо я знаю, что, кроме «всего», там еще имеется и тираническая, подлая кровавая власть палачей, гасителей живого духа.

И когда ко мне приходят люди со страдальческим огоньком в глазах, оправдывающие свое решение вернуться в советскую Россию теми невыносимыми условиями жизни, в которых они находятся здесь, я ничего не чувствую к ним, кроме жалости.

11

Я никогда не питал презрения к слабым. Я их жалел.

Я не могу осудить человека, павшего под невыносимым для него бременем жизни, как не могу осудить человека, не выдержавшего физической пытки. Для того, чтобы иметь право судить таких, нужно самому все это выдержать без стона.

Но отношение мое к таким людям все же очень жестоко.

Кто лишениям эмигрантского существования предпочитает лишение свободы, тот пусть возвращается в советскую Россию, но о себе ведает, что он слаб и ничтожен духом.

Это не осуждение. Это простое констатирование факта.

Что же касается меня, то, не будучи Герценом, я все-таки останусь здесь. И даже не испытывая штамповой тоски по родине. Ибо для меня понятие «родина» не исчерпывается географическим пространством и этнографическими особенностями. Для меня родина — это нечто, стоящее над землею и над народом, с ними связанное, но способное отлететь от них, как душа отлетает от мертвого тела.

Да это и есть душа — дух народа.

Не того случайного собрания живых людей, которые в данный момент живут на данной земле, а Народа, как собирательного целого, о котором сказано:

Минувшее проходит предо мною
Волнуяся, как море-океан.

Моя родина — это русский народ, со всей его историей, с его величавым прошлым, с его культурой, с его языком, с его поэзией, с его своеобразной красотой.

С тем, что загажено ныне до неузнаваемости.

Чужой дух воцарился над моей страной, и она стала мне временно как бы чужой. Быть может, чужой останется и навсегда...

Ибо я тоскую по ней, но тоскую я о России, а не об СССР.

Павел Милюков

Россия на переломе

Красный террор

Мы подходим к ⟨...⟩ наиболее универсальному средству, которое применяется и в своей специальной сфере, и при посредстве двух выше охарактеризованных орудий: партии и армии. Это универсальное средство — страх, а его специальное орудие — красный террор.

В этом, наиболее употребительном, но и наиболее уязвимом приеме властвования большевики наименее охотно сознаются перед иностранцами *. Когда отрицать его становится невозможным, они пытаются объяснить акт террора как временный прием, вызванный чувством самосохранения или мести за покушения «белогвардейцев» на их вождей (террор официально введен осенью 1918 г. после убийства Урицкого и покушения на Ленина). По временам они начинают утверждать, что террор уже отошел в прошлое. И действительно, несколько раз (впервые уже в феврале 1919 г.) они официально объявляли конец террора, пробовали отменять смертную казнь, заменили вызывавшую чувство ужаса и отвращения ЧК скромным ГПУ, которому предстояло приобрести такую же репутацию. Но, по существу, отношение большевиков к террору никогда не менялось, а для внутреннего употребления они не только не считали нужным скрывать применение террора, но, напротив, в интересах устрашения придавали террору широкую гласность и самые поражающие воображение формы.

«Беспощадное истребление эксплуататоров», «уничтожение паразитных классов общества», «полное подавление буржуазии» введены уже в самую «Декларацию прав» Советской Конституции. В «Правде» 11 сентября 1918 г. встречаем статью Н. Осинского, где в следующих словах развивается официальная теория красного террора: «От диктатуры пролетариата над буржуазией мы перешли к красному террору — системе уничтожения буржуазии как класса — так быстро, что вопрос о терроре обсуждался на митингах только неделю спустя после обсуждения вопроса о диктатуре».

Для объяснения причин такого быстрого перехода Осинский приводит «две однородные причины: усиление внешнего натиска на Советскую Россию и попытки буржуазии восстановить свою власть». Другими словами, принципиальная основа коммунистического террора приводится в связь с практическими побуждениями — необходимостью устранить опасность для победителей. «Система» Осинского строится на «трех основаниях»: «физическом истреблении боевых элементов буржуазии, строгом учете и классификации по разрядам буржуазной массы и экономической кастрации буржуазии». Вторая задача выполняется путем «отдачи буржуазии под гласный надзор, с проверкой в определенные сроки того, что они делают и в житейском быту, и в общественной жиз-

* В рядах военной демократии установилось скептическое отношение ко всем сведениям о красном терроре, как сплошной лжи, сочиняемой реакционерами. В большинстве книг иностранцев о советской России, и особенно относящихся к ранним годам советской власти, вопрос о красном терроре обходился молчанием ⟨...⟩.

ни», для чего «выдаются особые книжки» и «вводится трудовая повинность». «Лица, оказавшиеся опасными, должны либо истребляться, либо быть превращаемы в заложников, либо помещаться в концентрационные лагеря».

Конечно, эта «система» выполнялась не с такой строгой методичностью, как здесь намечено. Но о ее выполнении уже в то время свидетельствует характерная переписка между представителями нейтральных держав в Петрограде и Чичериным. В протесте 5 сентября 1918 г., подписанном Одье, говорится: «С единственной целью утолить ненависть против целого класса граждан, без мандатов какой бы то ни было власти, многочисленные вооруженные люди проникают днем и ночью в частные дома, расхищают и грабят, арестуют и уводят в тюрьму сотни несчастных, абсолютно чуждых политической борьбе, единственным преступлением которых является принадлежность к буржуазному классу, уничтожение которого руководители коммунизма проповедовали в своих газетах и речах. Безутешным семействам нет возможности получить какую бы то ни было справку относительно местонахождения родных... Подобные насильственные акты вызывают негодование цивилизованного мира. Дипломатический корпус энергично протестует против насильственных актов» и т. д.

Любопытен ответ Чичерина от 12 сентября. Советский дипломат не думает отрицать обвинения, а только удивляется. Ведь «представители нейтральных держав протестуют не по поводу отдельных злоупотреблений, а по поводу режима, проводимого рабоче-крестьянским правительством в его борье с классом эксплуататоров». «Не грозить возмущением цивилизованного мира» должны бы были иностранные представители, а «бояться гнева народных масс всего мира», ибо «в России насилия употребляются во имя святых интересов освобождения народных масс».

Как видим, советская власть поступала на точном основании законов мировой гражданской войны, к которой она приступила. Латыш Лацис, виднейший деятель ЧК, так и мотивировал тактику, исполнителем которой он являлся. Для гражданской войны «законы не писаны». «Капиталистическая война,— писал Лацис в официальном органе,— имеет свои законы в разных конвенциях... Но подойдите к нашей гражданской войне — вы ничего подобного не увидите. Вы станете смешным, применяя или требуя применения этих законов, считавшихся когда-то священными... Вырезать всех раненых в боях против тебя: вот закон гражданской войны... В гражданской войне для противника нет судов... Бей, чтобы не быть побитым».

И в своей практике Лацис вполне придерживается указаний Осинского. В официальном «Еженедельнике Чрезвычайной Комиссии» и в нескольких газетах (ноябрь-декабрь 1918 г.) содержится классическое определение такого широкого понимания красного террора. «Мы истребляем буржуазию как класс,— повторяет Лацис вслед за начальством и делает отсюда практические выводы.— Не ищите в следствии материала и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против советской власти. Первый вопрос, который вы должны ему предложить: к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом смысл и сущность красного террора».

Для такой «системы», очевидно, нет прецедентов в истории, ибо войны первобытных дикарей, для которых тоже «законы не писаны», не велись на начале классовой борьбы. Здесь соединились в беспримерном и единственном сочетании: убеждение обладания абсолютной истиной — своего рода единоспасающей религией вроде тех, за которые когда-то жгли людей на кострах; глубокая деформация человеческой психологии, созданная пребыванием на фронтах мировой войны; чувство полнейшей безнаказанности бандитов, получивших целое государство на поток и разграбление, и, наконец, чувство страха и самосохранения преступников, вынужденных цепляться за попавшую в руки власть, чтобы сберечь собственную жизнь. Громадное влияние, которое имело приме-

нение красного террора, трудно изобразить лучше, чем сделал это раскаявшийся социалист-революционер, советский министр юстиции И. Э. Штейнберг, несущий одинаковую с большевиками ответственность за применение этого средства. Из его книги я приведу цитату, длиннота которой искупается ее глубоким смыслом и чрезвычайной показательностью.

«Террор — это не единичный акт, не изолированное, случайное, хотя и повторяемое проявление правительственного бешенства. Террор — это система либо проявляемого, либо готового проявиться насилия сверху. Террор — это узаконенный план массового устрашения, принуждения, истребления со стороны власти. Террор — это точное, продуманное и до конца доведенное расписание кар, возмездий и угроз, которыми правительство запугивает, заманивает, заставляет выполнять его безапелляционную волю. Террор — это тяжкий покров, наброшенный сверху на все население страны, покров, сотканный из подозрительности, настороженности, мстительности, озлобленности... При терроре власть в руках заведомого меньшинства, чувствующего свое одиночество и боящегося этого одиночества. Террор потому и существует, что находящееся у власти и в одиночестве меньшинство зачисляет в стан своих «врагов» все большее и большее число людей, групп, слоев... Это понятие («враг революции») тогда все больше расширяется, затягивается, обнимая собой постепенно всю страну, все население, доходя, наконец, до понятия «всех, кроме власти и сотрудников ее».

«Как воздействует командующая власть на «врагов революции»? Можно ли перечислить ее меры полностью? Их так много и так изобретательны воображение и творчество террора в его авторах... Если количественный размах террора создается понятием «подозрительного», то качественное, материальное содержание его разрастается безгранично, благодаря принципу «все дозволено»... Это фактически значит, что в отношении всех допустимы все пути и средства насилия и принуждения. Не забудем при этом, что этот террор совершается всегда и неизменно «во имя революции», во имя высших идеалов, достигнутых разумом человечества... Террор не только смертная казнь, которая ярче всего потрясает мысль и воображение современников... Формы террора бесчисленны и разнообразны, как бесчисленны и разнообразны в своих проявлениях гнет и издевательство...

Террор проявился в том, что на пространстве всей революционной страны в самую ответственную пору ее жизни заглушено вольное слово. Ни в печати, ни на собраниях народных, ни в союзах — нигде не допускается слово, которое бы расходилось с видами командующей власти... Массы в стране террора не только не высказываются, но — при господстве только официального слова — они не узнают правды о жизни своей и всей страны. Самая мысль становится либо молчаливо растленной, либо молчалински-прислужнической. Террор — в тесно сплетенной сети политического надзора, которым правительство опутывает все поры, все ткани, все клетки революционного общества, в тайной политической политике, которая неотступно следит или делает вид, что следит, за каждым шагом граждан, в хитроумных, дьявольски-изобретательных приемах сыска и провокации, которыми тайные намерения граждан должны б[illegible]ть обличены перед лицом власти. Террор — в пренебрежительных, в насмешливых, в мучительных формах допроса людей, изобличенных властью, в тончайших приемах душевной или иной пытки, то дерзко выступающей наружу, то заслоняющейся маской «революции» и социализма», в переполненных до голодания, до изнурения тюрьмах... в случайности приговоров, зависящих от любой перемены политической погоды, от колебаний правительственных чиновников, головами казнимых проводящих свои политические виды. Террор — в произвольных, диктуемых неизвестными нормами выселениях, реквизициях, конфискациях, контрибуциях, лишь по виду цепляющихся за [illegible]тых и праздных, а по существу, бьющих по голодным и усталым.

Но самое страшное, самое чудовищное террора — в смертной казни, которая, как «святая гильотина» революции, вышла первым действующим лицом на бытовую арену революции, меч которой висит на такой тонкой ниточке, что готов в любую минуту спуститься на любую голову. Террор — в крови, которая льется безжалостно, бессмысленно, ручьями. Террор — это «к стенке», которая угрожает за неуплату налога подоходного, налога натурального, чрезвычайного, и за уход из армии, и за уклонение от нее, и за непоставку лошадей или зерна, и за уличные грабежи, и за государственную измену, и за бесшабашное грюндерство, и за обман и преступление по службе, и за мелкую спекуляцию, и за искусную контрреволюционную интригу, и за легкомысленное «оскорбление величества» (переходного периода).

Террор в том, что «к стенке» стало тоном обыденной жизни, что расправе над беззащитными, превращенню человека в вещь, звериному началу в человеке открыты все шлюзы и сорваны все плотины. Террор — в животном страхе, который парализует волю, заставляет бледнеть сильных, рабски подчиняет человеку с винтовкой в руках... Террор, наконец, в массовых казнях, когда за чужую вину, за удар, нанесенный власти, платятся неповинные люди из воюющего класса, платятся люди, случайно попавшие в руки этой власти, случайные обитатели государственных тюрем. Массовый террор — в преследованиях людей без вины, в заложничестве, в круговой поруке одних за других... Террор в том, что власть в защиту свою пускает в ход не тот или другой акт, не тот или иной вид насилия, а в том, что все эти виды и акты насилия пускаются в массовом размере и одновременно, что это звенья одной цепи, туго сковывающей сразу и все отправления жизни страны.

Террор — не только тогда, когда насилие применяется, но даже и тогда, когда оно еще не применяется, когда оно лишь висит постоянной угрозой. Угроза террором и есть атмосфера, стихия террора; в этой атмосфере люди живут еще более отравленной жизнью, чем когда действует сам террор. Если террора нет сейчас, то всегда есть возможность его повторения, есть душевная привычность к нему у терроризующих и терроризуемых».

«Существование этих двух лагерей создает новый строй, в котором, как в прежних насильнических, но в еще более обостренной форме, имеются налицо все психические элементы строя неравенства и угнетения. На одной стороне — опьянение властью: наглость и безнаказанность, издевательство над человеком и мелкая злоба, узкая мстительность и сектантская подозрительность, все более глубокое презрение к низшим — одним словом, господство. На другой стороне — задавленность, робость, боязнь наказания, бессильная злоба, тихая ненависть, угодничество, неустанное обманывание старших. Получаются два новых класса, разделенных между собой глубочайшей социальной и психологической пропастью: класс советских комиссаров и их челяди и класс советских «подданных». Чем сильнее нажим нового командующего класса, тем бесстыднее и грубее проходит он свою фазу первоначального накопления, тем более ярким пламенем разгораются чувства злобы, гнева и ненависти к власти у нового угнетаемого класса».

«Но этот разврат власти поселяется не только в отношениях ее с подданными, он спускается и в самые отношения подданных между собою... Взаимная подозрительность и настороженность, борьба за улыбки и ласки власти, явное или молчаливое предательство ближнего, самоокрашивание в защитные цвета, запугивание или подкупание близостью к власти, перенесение террора в миниатюре вниз, подражательность государственному насилию — все это ужасающе развивается в тех слоях населения (а это все слои), которые толпятся у престола власти. Если все — рабы по отношению к власти, тогда между рабами — человек человеку волк... Надо помнить, что у нас, в переходном строе, плоскость насилия со стороны власти бесконечно шире и всеобъемлющее, чем при любом старом общественном строе. При режимах царском и буржуазном насилие власти концентрировалось лишь в определенных областях: в политической, религиозной, нацио-

нальной, отчасти хозяйственной. Вся же необъятная сфера удовлетворения человеческих потребностей, сфера индивидуальной жизни «обывателя» находились в плоскости государственно-вооруженного воздействия. Теперь же у нас, когда все области и личной, и хозяйственной, и общественной жизни перешли в руки и под надзор государственной власти, а власть эта построена исключительно на террористических началах,— угнетение сверху и безответная запуганность снизу распространились сами собою на все сферы жизни советского подданного... Это — наш террор: ему подчинены все слои населения, он охватывает все области жизни; все делается путем принуждения и небрежности к человеку, а не путем убеждения или соглашения. Террор — это социальная анархия при тесной сплоченности власти монархической... Смертная казнь — лишь кровавое увенчание, мрачный апофеоз системы, (которая) всем дыханием своим, всеми атомами своими упорно день за днем убивает душу народа».

Громадное место, которое занимает террор в жизни Советской России, охарактеризовано Штейнбергом в приведенных словах с исчерпывающей полнотой и ясностью. Нельзя добросовестно оспаривать характеристику этого близкого свидетеля и участника власти. Нельзя отрицать, что террор составляет не случайную черту, а самую сущность советской системы. Штейнберг признает, что до августа 1918 года террор был «фактическим» и только после убийства Урицкого и покушения на Ленина в конце августа этого года стал «официальным». Действительно, с этого времени появилась та официальная мотивировка красного террора местью за белый террор, которую мы привели в начале этого отдела.

В этой мотивировке можно различить три стадии: месть за белый террор, борьба с оружием в руках против вооруженной «контрреволюции», наконец, беспощадная классовая борьба вообще — вот эти три, постепенно расширяющиеся, официальные мотивировки террора. Но и самая широкая из них не охватывает всей сферы террора, как это явствует из характеристики Штейнберга. Не только «истребление» членов враждебного пролетариату класса буржуазии есть задача террора. Главная задача есть «устрашение», и распространяется оно на всех «врагов правительства», в чьих бы рядах они ни находились. Особо опасным врагом, например, являются социалисты, и советские тюрьмы, как при самодержавии, снова наполнились социалистами разных партий, причем разница обращения с «политическими» и «уголовниками», строго соблюдавшаяся в царское время, постепенно затушевалась или, если и сохранилась, то к невыгоде «политических». Рассчитанный на «устрашение», террор приобрел характер изысканной жестокости и извращенного садизма *.

Освобожденные от всяких юридических норм следователи изощрялись в изыскании способов получить признание всевозможными средствами пытки, а палачи устроили из казни своеобразный спорт опьяненных вином и кокаином людей, кончавших нередко свою карьеру в доме сумасшедших. У каждого провинциального отдела ЧК были свои излюбленные способы пытки. В Харькове скальпировали череп и снимали с кистей рук «перчатки». В Воронеже сажали пытаемых голыми в бочки, утыканные гвоздями, и катали, выжигали на лбу пятиконечную звезду, а священникам надевали венок из колючей проволоки. В Царицыне и Камышине пилили кости пилой. В Полтаве и Кременчуге сажали на кол. В Полтаве были таким образом посажены на кол 18 монахов и сожжены на колу восставшие крестьяне. В Екатеринославе распинали и побивали камнями. В Одессе офицеров жарили в печи и разрывали пополам. В Киеве клали в гроб с разлагающимися трупами, хоронили заживо, потом через полчаса откапывали.

Самое пребывание в тюрьмах, переполненных выше всякой меры, грязных и полных

* Обширный подбор фактов см. в почти исчерпывающем исследовании С. П. Мельгунова «Красный террор в России». 2-е изд., доп. Берлин: Ватага, 1924.

насекомыми, среди уголовных преступников и шпионов, специально подсаживаемых к подозреваемым, при крайне скудной и нездоровой пище, без всяких медицинских средств, без допроса в течение многих месяцев и в то же время при постоянной опасности немедленного расстрела,— иногда вследствие простого смешения фамилий, иногда в качестве «заложника», иногда просто так, потому что надо очистить тюрьму перед амнистией или перед приходом «белых»,— самая эта обстановка была постоянным источником моральной и физической пытки.

Какова статистика красного террора?

Комиссия генерала Деникина, расследовавшая материалы по красному террору за 1918—1919 годы, пришла к ужасающей цифре: 1 766 118 истребленных большевиками за эти годы. Цифра эта, по сообщению, напечатанному в «Таймс» в марте 1922 г., составилась из следующих слагаемых, одни из которых, очевидно, более достоверны, а другие гадательны:

28 епископов
1 215 священников
6 775 профессоров и учителей
8 800 докторов
54 650 офицеров
260 000 солдат
10 500 полицейских офицеров
48 500 полицейских агентов
12 950 помещиков
355 250 представителей интеллигенции
193 350 рабочих
815 000 крестьян

Ввиду невозможности проверить основания, на которых построена эта таблица, и ввиду очевидной гипотетичности важнейших слагаемых, на нее нельзя ссылаться как на документальное доказательство при суждении о терроре. Но едва ли следует считать преувеличенным ее общий итог.

Во всяком случае, цифры, сообщаемые большевиками, крайне приуменьшены и охватывают только случаи убийств, при которых была соблюдена хоть какая-нибудь процедура судебных трибуналов. Расстрелы ЧК, освобожденной от всяких юридических формальностей, и простые убийства, на которые, по точному смыслу советских декретов, мог считать себя уполномоченным всякий член коммунистической партии, при этом в счет не принимаются. Остаются вне подсчета и массовые убийства в дни вступления красных на территории и в города, занимавшиеся белыми. Как велика при этих условиях разница между официальными показаниями и действительностью, видно из следующих примеров. Официальный статистик ЧК, цитированный ранее Лацис, утверждал, что в первое полугодие существования ЧК (т. е. до середины 1918 г.) в двадцати губерниях тогдашней Советской России было расстреляно всего 22 человека. А следователь красного террора Мельгунов занес в свой карточный каталог за то же время 884 случая террора.

За вторую половину 1918 г., когда был объявлен официальный террор и когда знаменитый приказ комиссара внутренних дел Петровского потребовал «безусловного расстрела всех замешанных в белогвардейской работе, без малейших колебаний и малейшей нерешительности», тот же Лацис занес в свою статистику 4 500 расстрелянных. Он считал это чересчур мягким и недостаточным. Но, по неполным данным Мельгунова, цифра расстрелов, зарегистрированных им за это время, составляет 5004 случая, не считая массовых убийств при подавлении восстаний. А сам Лацис позднее поднял показанную им цифру за вторую половину 1918 г. до 6185 человек. За 1919 г. Лацис дает цифру расстрелянных по постановлениям ЧК 3456 человек. Но по другим сведениям в одном Киеве, в шестнадцати киевских «чрезвычайках», погибло не менее 12 000

человек. В Саратове расстреляно и сброшено в знаменитый овраг в эти два года около 1500 человек. В Одессе за три месяца 1919 г. насчитывается около 2200 жертв красного террора. В Астрахани при усмирении рабочей забастовки в марте того же года погибло не менее 2000, а к концу апреля цифра перевалила за 4000. В Туркестане при усмирении восстания в январе 1919 г. в одну ночь было перебито свыше 2500 человек.

15 января 1920 г. председатель ЧК Дзержинский опубликовал объявление, что ввиду победы над белым движением отныне смертная казнь по приговорам ЧК отменяется. Но перед самой ее отменой в Москве и Петрограде было расстреляно около 700 человек. «Ночь отмены смертной казни стала ночью крови»,— записал один из казненных на стене тюрьмы. А 15 апреля того же года было приказано присуждаемых к смертной казни «отправлять в полосу военных действий, как в место, куда декрет об отмене смертной казни не распространяется». Конечно, на практике и к этому лицемерию не считали нужным прибегать. «Известия» сообщили, что с января по май 1920 г. расстреляно 521 человек. 24 мая, по поводу русско-польской войны, смертная казнь была восстановлена и официально. И расстрелы пошли ускоренным темпом. А именно:

С 22 мая по 22 июня расстреляно	600
С июня по июль	898
Июль — август	1183
Август — сентябрь	1206

Это только расстрелы особых военно-революционных трибуналов. А помимо этого, в одном Петрограде, в связи с наступлением генерала Юденича, расстреляно в 1920 г. около 5000 человек. Более 2000 расстреляно около Архангельска после ухода английских войск; по дальнейшему расследованию здесь погибло до 8000. Еще грандиозные расстрелы на юге, после поражения генерала Деникина, и в особенности после ухода армии Врангеля. Только в одной Екатеринодарской тюрьме с августа 1920 г. по февраль 1921 г. расстреляно около 3000. В Крыму число расстрелянных, по самому скромному подсчету, поднимается до 50 000, а другие считают эту цифру в 100—200 тысяч. Бойня продолжалась здесь целыми месяцами. Затем следуют такие же массовые расправы в Сибири, в Грузии — всюду, куда проникал красный солдат и его спутник — палач ЧК. По мере расширения территории советской власти вся Россия была залита кровью.

Когда период борьбы с «белым движением» закончился, можно было думать, что красный террор отойдет окончательно в прошлое. Так и утверждали сторонники советской власти за границей. Так, может быть, и было бы, если бы всякое не только открытое, но и моральное сопротивление советской власти прекратилось. Но мы впоследствии увидим, что этого не случилось. И созданную террором психологию, так ярко описанную Штейнбергом, приходилось постоянно поддерживать не путем простых угроз, а путем продолжения системы террористических актов. Всероссийская чрезвычайная комиссия (ЧК), правда, была заменена ГПУ (Государственным политическим управлением). Но перемена была тут только в названии. Расстрелы продолжались по-прежнему. Из случайного сообщения в отчете комиссариата внутренних дел мы, например, знаем, что в мае 1922 г. было расстреляно 2372 человека. В 1923 г. специальная комиссия ЦИК коммунистической партии констатировала, что ГПУ расстреляло 826 человек с нарушением установленных форм. С соблюдением форм, т. е. видимости судебной процедуры, революционные трибуналы расстреляли в этом году с января по март 40 человек, а за один май — 100. Я не могу приводить здесь бесконечного списка отдельных случаев расстрела, читатель найдет его в книге Мельгунова. Что касается характера преступлений, за которые была применена смертная казнь, интересно отметить их изменение после окончания «белой» борьбы. Мельгунов приводит следующую статистику этих преступлений за 1924 г.: расстреляно за восстание 292 человека, за «контрреволюцию» — 527, за столкновения в тюрьмах — 120, за железнодорожные дела — 32, за

«шпионство» — 70 и за «экономическое шпионство» — 14, за пропаганду в Красной Армии — 17, за стачки рабочих — 154, за убийство селькоров — 70.

Не нужно думать, чтобы террор направлялся исключительно против офицеров, помещиков и вообще буржуазии. Он был направлен также и против крестьян, рабочих, интеллигентов, включая социалистов. Например, «Бюллетень партии левых социалистов-революционеров» констатирует в конце 1918 г. расстрелы крестьян в ряде губерний: в Тульской — 150, в Калужской — 170, в трех уездах Рязанской — более 600, в Тверской — 200, в Смоленской — 600 и т. д. В 1920 г. при усмирении крестьянских восстаний в Томской губернии (Сибирь) расстреляно более 5000, в Уфимской, по официальным данным,— 10 000 крестьян, а по неофициальным — больше 25 000. В Бузулуке (Самарской губернии) в том же году расстреляны 4000 восставших крестьян, в Чистополе — 600, в Елатьме — 300. Телесные наказания крестьян розгами, шомполами, палками, нагайками происходили почти повсеместно. Среди осужденных тюремных сидельцев к 1 июля 1923 г. целых 40% приходилось на крестьян и рабочих. Статистика деятельности верховного революционного трибунала за тот же год дает ту же цифру: 29% крестьян, 11% рабочих, 34% интеллигенции и только 26% — буржуазии в узком смысле.

В связи с деятельностью ЧК и заменившего его ГПУ не только был восстановлен дореволюционный режим тюрьмы и ссылки, но и значительно ухудшен, особенно для политических арестантов. По показанию Лациса, ЧК арестовала в 1918—1919 гг. 128 000 человек, причем Лацис наивно прибавляет: «Где же тут тот необузданный произвол, о котором при каждом удобном случае кричат наши обыватели?» Надо принять во внимание, что все русские тюрьмы в 1919 г. вмещали нормально только 36 000, чтобы представить себе, до какой степени тюрьмы были перегружены и какую ужасную гигиеническую обстановку создавало уже одно это перегружение тюрем. Тот же Лацис сообщает, что из 128 000 арестованных «более половины были освобождены», и ставит вопрос: «Откуда же такая масса невинно арестованных?» Ответ его еще более наивен: «Когда целое учреждение, полк или военная школа замешаны в заговоре, то какой другой способ, как арестовать всех?..»

По этому своеобразному принципу, например, осенью 1921 г. были арестованы и отправлены в ссылку около 500 слушателей, заподозренных в неблагонадежности, политических курсов красных командиров и 450 кандидатов к ним. В одну ночь в Москве были арестованы около 1000 служащих жилищных отделов. В той же Москве была устроена засада в магазине художественных вещей Дациаро,— и в ЧК попали все 600 покупателей, зашедшие в магазин.

Был случай, когда в Бутырскую тюрьму привели целую свадьбу, с гостями, извозчиками и т. д. В Одессе при одной облаве в июле 1921 г. было арестовано до 16 000 человек, чтобы устранить нежелательные элементы в дни выборов в советы. А в Новороссийске вошло в обычай устраивать время от времени особый день «тюрьмы», когда никто не имел права выходить из дома и целые толпы людей всех возрастов и состояний приводились в Чрезвычайку *.

Так как тюрем не хватало для всех этих арестованных (на 1 июля 1921 г. их числилось 72 685), то были организованы, по примеру лагерей для военнопленных, специальные концентрационные лагеря. Некоторые из них прославились своими ужасами. Таков был знаменитый «лагерь смерти» в Холмогорах, куда свозились со всех концов России пленные офицеры белых армий и где их, еще до устройства лагеря, топили целыми тысячами на баржах и расстреливали. Местные жители указывали цифру погибших там до 8000. Комендант Бачулис в этом лагере придумал разделить заключенных на десятки и за провинность одного наказывать (а за побег расстреливать) весь десяток. Но есть

* Мельгунов. С. 247—263.

лагерь, одно упоминание о котором заставляло дрожать даже заключенных из Холмогорского лагеря: это Пертоминский лагерь. Ссылка туда считалась равносильной смертному приговору. Расстрел заключенных тут же, на месте, по прихоти не только коменданта лагеря, но и простого конвойного здесь был самым обычным явлением. За полгода в 1922 г. на 1200 заключенных здесь пришлось 442 смерти *.

В последние годы советская власть применяла этот прием — лагерного или тюремного умирания вместо смертной казни — к ликвидации своих политических конкурентов: социалистов-меньшевиков и социалистов-революционеров. При «ликвидации» меньшевиков в мае 1923 г. в 30 городах было арестовано более 3000 человек, а в июле прошла новая «волна репрессий», захватившая новые сотни, если не тысячи. Ликвидация социалистов-революционеров началась знаменитым процессом 47 видных деятелей этой партии в июне 1922 г., вызвавшим большой шум за границей. После амнистии и временной легализации партии ее вожди были обвинены в старых преступлениях, и 12 видных вождей партии были приговорены к смертной казни, которая была затем заменена условно-бессрочным заключением, если партия прекратит борьбу против большевиков. Другими словами, политические враги были сохранены в качестве заложников и оставлены в живых под угрозой ежеминутного расстрела за чужие вины **. Для социалистов были назначены отдаленнейшие места ссылки в глухих местах русского севера и Сибири, на Соловецких островах, в устьях Оби, в Нарымском и Туруханском крае, в условиях полной невозможности существования. Соловецкие острова на 8 месяцев отрезаны от сообщения с внешним миром, и этим промежутком времени тюремщики воспользовались, чтобы устроить 19 декабря 1923 г. форменный расстрел заключенных, отказавшихся повиноваться усиленным мерам строгости тюремного режима.

В официальном отчете делегации британских тред-юнионов, посетившей Россию в ноябре и декабре 1924 г., красному террору посвящено несколько смущенных строк, которые показывают, как трудно довести истину до сознания людей, которые не хотят замечать ее. «Что касается постоянных утверждений прессы, что настоящий режим в России есть «царство террора», то делегация желает засвидетельствовать свое убеждение, что в это не может добросовестно поверить ни один беспристрастный человек, путешествовавший в Союзе и говоривший с его гражданами». А далее следует фраза: «Конечно, часто встречается нежелание противиться людям и мерам, выдвинутым коммунистами, и это нежелание внушено скорее страхом, чем любовью». Мы увидим позже, что «нежелание противиться» постепенно уступает место «желанию противиться» или той «активности» населения, которую со страхом признали уже сами большевики как новое явление начинающегося 1925 г. Но делегация права, что предшествовавшее состояние пассивности объясняется «скорее страхом, чем любовью». В этой неловкой фразе заключается невольное признание, что красный террор достиг своей цели. Ибо его целью и было, как мы видели, внушить страх населению, как единственное средство управлять обширной страной при посредстве нового привилегированного класса, который, в свою очередь, управляется кучкой олигархов при помощи методов устрашения.

Мы теперь ознакомились с теми тремя средствами, которые помогли большевикам в течение почти целого десятилетия сохранить за собой власть, захваченную в трудную для государства минуту. Значит ли это, что власть эта, опираясь на те же средства: партию, армию и красный террор, гарантирована навсегда от всяких неожиданностей? Ответ на это можно получить уже из представленного описания. Мы видели, что каждое из трех средств, как оно ни действительно вначале, с течением времени постепенно теряет свою

* Там же. С. 265. Чека. С. 242—247.
** См. издание заграничной делегации с.-р.: Двенадцать смертников. Берлин, 1922. С. 82—85.

силу. Партия, разлагаясь изнутри, растворяется в окружающей массе, и ее твердые очертания, выделявшие ее в привилегированную касту, стоящую над населением, постепенно сливаются с окружающими ее элементами: «беспартийными», специалистами, чиновниками и т. д. По мере отдаления от момента октябрьской победы слабеет идеология этой победы, вымирает поколение победителей, выходит на сцену новое поколение, чуждое старой традиции, расщепляется твердый остов доктрины и т. д.

Что касается Красной Армии, она с самого начала была гораздо менее надежна, чем партия, и чем дальше, тем больше; в армии воспитывался свой корпоративный дух и создавались свои порядки, делавшие ее тем менее уязвимой для непосредственных гонений, чем более она становилась похожа на регулярную армию, организованную по всем правилам военного искусства.

Наконец, и террор, при всей силе произведенного им первоначального впечатления, бледнел по мере того, как иссякал самый материал для террора. Все опасные для власти буржуа, все белые офицеры и т. д. или уже попали в руки власти и казнены, или приспособились, или же эмигрировали и находятся вне досягаемости. После того, как большевики немилосердно разрушили старый порядок и истребили старый состав общества, они очутились перед новым, заведенным ими самими порядком, но порядком, который нельзя же было разрушать до основания каждый день, чтобы каждый день приниматься за строение нового. Таким образом, они постепенно связывали себя введенными ими же учреждениями и обычаями, сокращали количество явных врагов; сокращая сферу применения террора, усиливали чувство безнаказанности обывателя, не входящего в эту сферу.

Средство террора, конечно, не уничтожено, каждую минуту оно может начать снова действовать. Но «стенка» сама постепенно выходит из нравов. Население смелеет, гипноз страха исчезает, как он исчез ко времени французского термидора. Таким образом, каждое из трех средств имеет предел, за которым перестает действовать с прежней силой. К вопросу о том, достигнут ли уже этот предел, мы вернемся в конце настоящего издания.

Ст. Иванович

Ташкентцы за границей

Однажды собственными ушами слышал следующий разговор:

— Дайте срок! — говорил некто.— Вот там-то (имя рек) должны произойти на днях серьезные замешательства — без нас дело не обойдется!

— Шагу без нас не сделают! — ораторствовал другой,— только зевать на этом деле не следует, не то как раз перебьют дорогу!

М. Салтыков. «Господа Ташкентцы»

Кроме тех границ, которых невозможно определить, Ташкент существует еще и за границей.

Там же

Это не первый и не последний случай, когда речения великого сатирика спустя десятки лет приобретают заново убийственно конкретный смысл. Порою просто тягчайшая тоска охватывает при виде того, как персонажи и ситуации, отхлестанные свистящим бичом его гения почти полстолетия назад, оживают в наши дни после грандиозных исторических катаклизмов, бурно пронесшихся по лицу родной земли. В величайшем изумлении глядишь: ба, знакомые все лица! Оказывается, они не умерли, а только так — подмерли малость.

Никогда не видел я щедринской коллекции более полной, более пестрой и разнообразно составленной, как на зарубежном съезде, заседавшем в подвальных помещениях отеля «Мажестик», почему-то названных «роскошными залами». Никогда я не ощущал так остро и наглядно, что Щедрин — еще вполне современный писатель. Я весьма сомневаюсь, удастся ли деятелям этого съезда реставрировать что-либо из основных элементов дореволюционного периода русской истории. Но этот успех — у них его отнять нельзя: они оживили образы и ситуации великого русского писателя, умершего 35 лет назад. Тут они произвели реставрацию полную. А во всем остальном... Но об этом ниже.

Если бы я не боялся излишеств иностранной терминологии, то я бы сказал, что зарубежный съезд прошел под знаком девальвированной реставрации. Реставрация, но... маленькая. Монархия? Нет, не монархия, а полмонархии. Как в старину существовала «полпивная», так теперь воздвигнут был полутрон для полумонарха «Его Императорского Высочества Великого князя Николая Николаевича». «Вождь» все время фигурировал на съезде не как монарх и не как немонарх, а именно как полмонарха. Монархическая идея потерпела девальвацию.

То же было с вопросом о земле. Восстановление помещичьей собственности? Нет, не восстановление помещичьей собственности, а чтоб заплатили. Нашелся даже на съезде самодельного происхождения мужичок, который сказал: что, заплатить? — отчего же не заплатить? — заплатить можно. Русский мужик — не вор какой-нибудь. Мажестиковые помещики девальвировали идею помещичьего землевладения в идею помещичьей продажи земли захватившим ее уже крестьянам.

Девальвировали орла, девальвировали и решетку.

Но отказавшись от реставрации основных китов своего бытия, они от одного не могли отказаться: от самих себя. Я знаю — без дальнейшего это звучит парадоксом. И это действительно парадокс всего миросозерцания именитых зарубежников. Но парадокс очень поучительный.

Что поражало каждого зрителя этого сборища — а это надо было видеть — это чугунная уверенность этих людей в своем праве и в своей возможности на Руси, над Россией еще похозяйствовать. Они весьма сомневаются в том, получат ли они свои земли, свое «его императорское величество» — словом, основы своего дореволюционного бытия. Но в чем, видимо, они совершенно не сомневаются — это реставрация самих себя, как господствующей на Руси силы. Многие из них уже в том возрасте и еще в том состоянии разумения, когда им не чужда мысль о том, что «мы не доживем». Но у них сильно родовое сознание: не мы, так *наши*... Не надо даже прибавлять: «дети». Важно, что «наши». Если не дети, то приемыши — главное: «*наши*». Царь-колокол не звонит, царь-пушка не стреляет, но звонари и пушкари старорежимные абсолютно лишены чувства своей социально-политической отставки, хотя весьма сомневаются в том, будут ли еще когда-нибудь царь-колокол звонить и царь-пушка стрелять. Исчезли функции, но зачем же исчезать функционерам? Невозможно, немыслимо! И скачет реакционный всадник верхом на палочке в твердом убеждении, что самонужнейший для России человек — он на палочке в Россию въедет и Россия скажет ему: «Добро пожаловать!»

Так складывается психология реставрации не социально-политических отношений, а социально-политической группы. В этом и заключается поучительный парадокс.

Если бы кто-нибудь задался целью составить приличный компендиум всего того, что было сказано и написано мажестиковыми гостями по основным вопросам русской жизни, то без особого труда можно было бы скомпоновать этакий либеральный документ, удовлетворяющий вполне любителей формулы: не то, чтобы уж очень, но и не совсем так. Для того, чтобы это понять, нужно иметь в виду одну важную деталь съезда: самые зубастые щуки реакции шли здесь под руководством либеральствующих карасей. Щуки оказались организационно и культурно достаточно беспомощными и неуклюжими, чтобы караси, культурно и организационно более опытные, не взяли в свои руки режиссуру всего этого спектакля. Караси оказались достаточно покладистыми, чтобы щуки боялись прямого предательства. Правда, полного доверия не было, и было много моментов, когда щуки раскрывали пасти, чтобы карасей проглотить. Но тогда караси спасались тем, что запевали: «Его императорское высочество великий князь Николай Николаевич» или «Его императорскому высочеству великому князю Николаю Николаевичу». Вместо того, чтобы глотать карася, приходилось омерзительной этими звуками щуке кричать: Ура!

Вот в первом ряду сидит Марков Второй против Струве и готов съесть его. Но пойди ешь его, когда он встает и произносит заклятье: «Его императорское высочество великий князь Николай Николаевич». Глотка, раскрытая для расправы, как пробкой, забивается патриотическим восторгом.

Ценою величайших унижений, льстивых телодвижений и поз кучке свихнувшихся культурных людей во главе со Струве кое-как, с грехом пополам удавалось прикрывать самые рискованные места в социально-политической наготе правого большинства съезда. Близость к Булонскому лесу действует все-таки иначе, чем близость к Беловежской пуще. Пребывание на западноевропейской почве в гостях у французской республики все-таки кое к чему обязывало. Распоясываться приходилось в градусах не слишком высоких. Устроить в Париже спектакль в стиле чайной Союза русского народа представлялось не совсем удобным. И жалко было смотреть на этих людей. Хотелось рявкнуть во всю мочь: убирайтесь ко всем чертям, профессора несчастные, дайте свободу

выражаться; что за мучение такое! Кто здесь хозяин?! И тогда воистину несчастные, глубоко несчастные, совершенно измученные и измочаленные профессора выпускали на эстраду какого-нибудь Ольденбурга со снотворным докладом о том, о сем, и убаюканная аудитория на время затихала, засыпала. Сточным каналом для накипавшего раздражения служили также и те моменты съезда, о которых склонные к поэзии репортеры обыкновенно пишут: «Весь зал содрогался в порыве горячего воодушевления». Эти порывы воодушевления ошибочно было бы считать ложными и деланными. Нет, они были вполне искренними, вполне выражали внутреннее душевное состояние воодушевлявшихся. Во время двух таких порывов я пристально всматривался в лица неистовавших, и я видел ясно: у этих людей за душой ничего нет, бродят только в уме и сердце тени померкших идеалов, шлепаются клочья загивших от времени знамен, катится по ухабистой, забулыженной дороге в небытие пустая бочка, в которой некогда содержалось крепкое вино социально-политических привилегий. Вот они стоя и надрывисто кричат «ура», и невозможно избавиться от впечатления, что это они свою саднящую боль, свою бессильную досаду выкрикивают, что грохот и шум так потому велики, что бочка та пустая. Лица злые, рты широко раскрыты, некоторые закрыли в упоительной тоске глаза свои, другие бросают свои «ура» прямо на кафедру в лицо «профессорам», как мстительные булыжники: «Ур-ра — на-те вам, на-те вам, урра, ур-ра». Какой-то облегчающий разряд раздраженной тоски, какое-то густо замешанное истошное ругательство в форме монархической манифестации...

Старым, облезшим ревматическим и подагрическим львам подносят на оловянной тарелке вываренную в либерально-октябристском соусе склизкую морковь... Разве можно тут не взвыть «в порыве горячего воодушевления»? Разве можно сказать, что тут нет искренности? Нет, искренности здесь было довольно.

Я могу сказать, что кроме этой ноты неискренности больше ничего и не было. Собравшись воедино, российская контрреволюция не могла сформулировать своей программы или вообще чего-либо программно-подобного. В этом, если хотите, заключается важное историческое значение зарубежного съезда. Хороша хорошая погода. Плоха плохая погода. Но самая худшая погода — это никакая погода. Казалось, что вот соберутся сливки российской реакции и усилиями коллективного разума и коллективной воли произведут на свет некую хартию реакционных вольностей, отольют свои аппетиты и вожделения в законченные формулы программного типа. Это была бы, с их точки зрения, хорошая, с нашей — очень плохая погода, но, во всяком случае, это была бы погода. Так нет же! Оказалось, что никакой погоды они не создали. Или вернее — создали самую отвратительную из всех возможных погод, которая так и называется: никакая погода. Были аппетиты — да еще какие; были вожделения — да еще какие. А программы, что называется, ни синь пороха. И нет более рокового для этой публики признака ее социально-политического опустошения, чем это их программное бессилие и бесплодие. Еще раз в максимально наглядной форме подтвердился тот в своем роде социологический закон, что ресторанное меню в политическую программу превратить чрезвычайно трудно.

Даже сложением, перечислением подряд толики разных требований программы не создать. Нужно для этого иметь еще внутреннюю связь с той или иной, уже выявившейся или выявляющейся, тенденцией социально-политического развития данной страны, для того чтобы появился живой импульс к систематической связи своих социально-политических пожеланий. Вот этого у зарубежников не было ни грана. Социально-политическая опустошенность собравшихся привела к тому, что после многих месяцев подготовки и многих дней съезда члены его разошлись и разъехались без всякого программного итога.

Были приняты разные резолюции. Но замечательно, что резолюции эти все носят

характер поспешно-взволнованных опровержений... Мы не за реставрацию... Мы не за возвращение земли помещикам... Мы не говорим: восстановление монархии. Мы не стоим за месть и расправу в случае нашей победы. Мы не... мы не... клевета, ложь! Это было собрание трусливое и малодушное, боявшееся самое себя, пугливо озиравшееся на стол прессы. Что скажут, что напишут «Последние новости»? Какие предатели и доносчики из «наших» же побегут тайком к Милюкову и разболтают ему дела домашние? Была сделана попытка по самому острому вопросу об «органе» собраться наедине, без этих неприятных людей прессы; в этом заговоре против гласности участвовал редактор «Освобождения» и «Возрождения» Струве, и, смешно сказать, стол прессы одержал победу над столом президиума. Сдержанный протест прессы привел бычка на веревочке: говори при всех — валяй... Заседание, посвященное «органу», и очень скандальное заседание,— было публичным.

Этот инцидент с прессой еще более подчеркнул социально-политическую пришибленность и опустошенность съезда, его безволие и растерянность.

Когда после съезда «Возрождение» и отдельные члены съезда пытались подвести итоги мажестиковым радениям, то ничего членораздельного, кроме возглашения «Вождя», предъявить не удалось. Я хочу в виде исключения привести одну цитату из статьи «Возрождения» «Итоги Зарубежного съезда» (12 апреля), которая как нельзя ярче характеризует эту сторону дела. Передовик газеты писал: «На съезде практически-осязательно сказалось ни с чем не сравнимое *строительное* значение идеи и факта объединения вокруг великого князя Николая Николаевича. Люди спорили горячо и страстно о путях и способах, но неизменно пребывали в одной общей меже, неизменно оставались одной патриотической семьей, нерушимо связанной именем и личностью своего Вождя. Этот факт, это обнаружение внутренней дисциплины, приведшей, несмотря на все разногласия, к общим решениям, быть может, самое значительное объективное достижение съезда».

Имя и личность! А что еще? Больше ничего! Не идеи, не цели и не пути, а «имя и личность»... История, конечно, знает много примеров, когда имя и личность какого-нибудь вождя или Вождя символизирует ту или иную волевую устремленность эпохи, класса, сословия, общественно-политического течения, возглавляемую данной личностью. Процесс нарастания и воплощения такого символа обыкновенно таков: эпоха порождает какие-нибудь потребности, массы начинают попытки их осуществления; появляется личность — яркая сильная индивидуальность, которая объективирует смутные чаяния масс, придает их движению организованный характер, подчиняет это движение себе и в итоге дает этому движению свое имя. Когда достигнута эта стадия движения, тогда, действительно, достаточно произнести это имя, чтобы тем самым выразить основной смысл движения, господствующую идею данного класса или эпохи. При этом необходимо иметь в виду следующее: необходима наличность очень крупной индивидуальности, возглавившей очень сильное движение для того, чтобы имя этой индивидуальности стало именем-символом. Сначала личность и потом лишь Имя.

В разительном противоречии с этим обычным ходом явлений стоит идеология зарубежников. Недаром в приведенной выше цитате из «Возрождения» сначала упоминается «имя», а затем лишь «личность». И уж совсем ничего не говорится о том, чем и как эта личность связана с каким-нибудь движением. Попробуйте, в самом деле, вложить какое-нибудь не умопостигаемое, а исторически и политически конкретное содержание в эту личность. Стоит ли Н. Н. Романов во главе каких-нибудь интервенционных замыслов и подготовки? Мы обязаны верить господам зарубежникам, утверждающим, что это чистая клевета. Стоит ли Н. Н. Романов во главе военных легионов, собирает ли он их, подготовляет ли он их из числа русских людей, чтобы, «когда наступит час», ворваться в Россию и опрокинуть господствующую власть? Нет — и этого нет за «лич-

ностью». Может быть, хоть в прошлом эта «личность» стояла во главе армий, боровшихся с советской властью, принимала видное участие в белом движении, сколачивала штабы, командовала корпусами, вела в бой людей? Так ведь и этого тоже нет! В эти страшные годы гражданской войны, когда лилась кровь и кипели страсти, когда тысячи и тысячи погибали за Россию или против России,— «личность» была где-то в стороне и «не вмешивалась».

Ведь это же поразительно, ведь это же загадочно! Оставим в стороне наши демократические мерки. Но возьмем мерки зарубежников. Что для них, участников, бардов и псалмопевцев белой борьбы, в «имени его»? Видали ли его, слыхали ли его в самые страшные минуты те сотни тысяч молодежи, которые погибали от тифа и ран на Украине, в Крыму, на Урале, в Сибири? Каким же образом пустое для белой борьбы имя становится полнозвучным для людей, мечтающих о ее возобновлении?

Еще одна знаменательная деталь. На зарубежном съезде поразительно мало для такого собрания говорилось об армии, о той не существующей уже армии Врангеля, которая до сих пор являлась обычной приправой патриотического красноречия правого лагеря. Видимо, и это содержание правой идеологии как-то испарилось.

Каким же содержанием наполнить «личность» и «имя», если и этого тоже уже нет?

Перед нами печальный итог: ни интервенции, ни русского похода отсюда туда, ни армии, ни дел и славы в прошлом белой борьбы, ни дел и славы в настоящем. За что же такая честь? И в чем тут притягательный магнит?

Мы ровно ничего не найдем, если будем искать там, где «имя» и «личность». Ибо не в имени и не в личности тут дело, а в титуле и звании: Его Императорское Высочество Великий князь ... Не он, а — «его». Он отсутствует. Присутствует только его ... императорское высочество. Не имя и тем менее личность, а унаследованный титул: императорское высочество.

Вот это, только это объединяло людей, собравшихся в отеле «Мажестик». Вот та «общая межа», на которой оттаптывали друг другу ноги различные крылья съезда. Это даже не монархическая идея. Это только монархическое чувство. На монархическую идею у многих из этих людей не хватает уже смелости. Провозгласить ее программно у них уже нет решимости. Но кто может запретить людям монархию любить? Кто может запретить людям кричать «ура!»:

Порой гармонией упьюсь
Над вымыслом слезами обольюсь...

Кто может воспретить обливаться слезами над монархическим замыслом?

И не было на этом съезде более разительного проявления его идейной пустоты, как это бегство под крылышко слезами облитого вымысла. Им нужно было до зарезу иметь что-нибудь сильное, большое, властное, чтобы не умереть от сознания своей безжизненности. И тогда они себя навинтили и взвинтили в пафос монархической мистификации. Как страус прячет перед опасностью свою голову в песок, так они все поспешно совали свои головы под корону. И так глубоко залезли под нее, что ничего почти снаружи не видать было. Высший пункт в жизни этого съезда был вместе с тем высшим пунктом его безжизненности.

Нет никакого сомнения: многие члены съезда ощущали его беспредметность и никчемность. Но у этих людей есть твердая уверенность в своей миссии, твердая уверенность, основанная единственно на желании. Был бы Вождь — будут и ведомые, был бы носитель — будет и носимое, был бы аппетит — будет и кушанье. Или иными словами: были бы черти — болото будет.

Эти парадоксально перевернутые соотношения вещей и речение народной мудрости единственно поддерживали недельную жизнь этого сборища. В этом смысле «Возрожде-

ние» и говорило о «*строительном*» значении объединения вокруг великого князя Николая Николаевича. Все остальное приложится. Были бы черти — болото будет...

А когда попробовали устроить прелиминарное к будущему всероссийскому болоту маленькое эмигрантское болотце здесь, то и на это сил не хватило. Тут начинается скандальная для этого съезда история с «органом». Предполагалось создать в эмиграции публично-правового типа организацию, возглавляемую «Вождем» и управляющую различными сторонами жизни эмигрантской массы. Перед духовным взором инициаторов носился балканский образец, созданный гением Скаржинского и Палеолога. Там, на Балканах, еще и поныне царствуют эти люди, терроризуя, угнетая и издеваясь над несчастной, политически темной и морально забитой беженской массой. «Орган» имел задачей балканизировать всю эмиграцию и за пределами Балкан. С совершенно серьезным видом инициаторы предлагали принять детально разработанный проект «Органа», в котором все было предусмотрено. Видимо, ни у кого из инициаторов этого дела ни на минуту не возникало сомнения: а захочет ли эмиграция этому эмигрантскому правительству подчиниться? Было нечто глубоко унтер-пришибеевское в этом сознании своего права вязать и решать судьбы эмиграции. «Ежели я не стану их разгонять, да взыскивать, то кто же станет? Никто порядков настоящих не знает, во всем селе только я один, можно сказать, знаю, как обходиться с людьми простого звания... Я не мужик, я унтер-офицер, отставной каптенармус, в Варшаве служил, в штабе-с».

Представьте же себе боль и обиду этих людей, когда в результате жарких схваток по вопросу об «Органе» бравый унтер-офицер вышел со съезда всего только унтер-офицерской вдовой, которая сама себя высекла. По уверению профессора Алексинского, создание «Органа» было главной задачей съезда, а съезд разошелся не только без «Органа», но и без какого-либо организационного, исполнительного центра. Создана была только «исполнительно-финансовая комиссия», как выразился автор проекта «Органа» А. Ф. Трепов, «для *завершения* работы съезда». Так, после семейно-танцевально-благотворительного вечера, поздно ночью, когда гости уже разошлись, дамы-патронессы еще остаются, чтобы собрать остатки буфета, подвести счета и раздать все полагающееся «на чай».

Так осуществилось «ни с чем не сравнимое *строительное* (у «Возрождения» курсив) значение факта и идеи объединения вокруг Великого Князя Николая Николаевича». Надо воистину окончательно потерять чувство смешного или рассчитывать на ни с чем не сравнимое тупоумие читателей, чтобы после такого убийственно-жалкого итога организаторских и строительных стремлений инициаторов съезда писать о «строительном» значении, да еще «ни с чем не сравнимым», идеи объединения вокруг «Лица».

История с «Органом» наглядно показала, что именно Лицо, Вождь, Имя — все эти малюсенькие вещи с большой буквы — окончательно добили у устроителей съезда волю, разум и активность — все эти большие вещи с маленькой буквы. Съезд потом обливался, погибал в напряженном старании своем не разойтись с тем, что думает, что хочет оно — Лицо, оно — Имя. А оно вместо того, чтобы облегчить муки этих несчастных людей и сказать, повелеть ясно и просто: подать мне такое-то решение по вопросу об «Органе», приказало им быть в своем решении свободными без обязательства, однако такое свободное решение съезда принять.

Но они не хотели быть свободными, боялись быть свободными, опасаясь, что свободное решение может оказаться таким, которое Лицо отвергнет. А тогда все погибнет. А Лицо ограничивалось одним только заявлением: если «Орган» создадите, «Орган» должен быть подчинен мне, а дальше поступайте, как вам подскажет ваша совесть. Оно не понимало, что раз оно не лицо, а Лицо, то тем самым в корне уничтожается возможность свободного решения. Вот почему отказ от давления на волю съезда сделал его еще более несвободным, чем прямой приказ — вынести такое-то и такое-то решение. Получилось

пошлое и позорное ие только для политического, ио и для человеческого достоииства члеиов съезда положеиие мужа под башмаком жеиы, требующей, чтоб муж *сам*, без подсказа попал в самую точку ее загадочных желаний и капризов.

Коиечио, эта политика «иевмешательства» Лица была весьма отиосительиой. Лицо желало и иевиииость соблюсти и капитал приобрести. Оио совершеиио правильио рассудило, что своим вмешательством оио бы только взяло иа себя ответствеииость за решеиия, которые могли бы и скомпрометировать его. Несомиеиио, Лицо умиее и дальиовидиее крайиего крыла, ползущего у иог его. Приказать же просто создать «Оргаи» такого-то и такого-то чекаиа зиачило бы сразу разоблачить всю эту комедию «общественности». Поэтому и была приията благоразумиая лииия воздержаиия с присовокуплеиием: если «Орган» будет, то ие *при* мие, а подо миою.

Но этого как раз ие могли прииять «левые» съезда, прошедшие в прошлом школу иезависимого общественного действия и противодействия лицам, вождям, иачальству и т. п. Оии совершеино правильио сообразили, что если «Оргаи» создастся, то во всю ширь своей физической и идейиой корпулеиции усядутся там Марковы, а всех этих услужающих либералов, хотя и вдохиовеииых пиитов и элоквеитов «Его Императорского Высочества», выставят за дверь.

И, поиимая это, «либералы» стали «Оргаи» срывать. И, зиая магическую силу «воли Лица», стали этой волей съезд шантажировать. Приезжали от Лица пифии и рекли что-то иепоиятиое, по иепоиятиости своей пыл правых осаживающее. В коице коицов все запутались в собствеииых хитростях и коитрхитростях, и последиие часы съезда являли собою картииу столпотвореиия вавилоиского со смешеиием языков, с иеудобопечатаемыми «выпадами», с взаимиой перебранкой и обвииеииями и с горестио подъятыми к небесам руками: «Почто, почто сие, Господи?!»

«Орган» провалился. «Строительиое зиачеиие» объедииеиия вокруг Е.И.В. обиаружилось с иаглядиостью, ие оставляющей желать иичего лучшего. Неспособиый дать себе какую-либо программу, этот съезд оказался иеспособиым дать себе и какое-иибудь оргаиизациоиио-длительиое увеичаиие. Ни души и ии тела ие создал, ие оставил после себя этот съезд. И в этом его большое историческое зиачеиие. В форме иаглядиой и для демократии утешительиой ои показал, что для русского демократического развития с этой стороиы серьезиой опасиости иет.

Уже иа самом съезде в последиие его моменты обиаружились моральио-политическое крушеиие и психологическая раздавлеииость иаиболее горячо в великое зиачеиие съезда веривших. «С чем мы придем к иашим избирателям?» — в отчаяиии вопрошали представители Югославии из числа «молодых». «Что остается от съезда, кроме программиых деклараций и ворохов бумаги?» — спрашивал «под шумиые аплодисмеиты части собраиия» представитель «группы иациоиальиой молодежи». «Что реальиого съезд дал тем, кто, работая иа шахтах и заводах, слал вам последиюю лепту из своих скудиых заработков? Вы обмаиули их иадежды. Мы возвращаемся в Югославию с определеииым девизом: «Бог и Вождь, ио ие вы»,— говорил иекто от имеии молодежи.

Подобиые речи произиосились иа самом заседаиии съезда. А в кулуарах волиа иегодующего разочароваиия била еще выше. На докладе П. Милюкова о зарубежном съезде одии из защитиков его мог иайти только одно утешеиие: хоть и по четвертому разряду, ио все же съезд похороиили иа кладбище, а ие за оградой, как самоубийц.

Нет иикакого сомиеиия: съезд оказал огромиую услугу делу разложеиия зарубежиой реакции. И тем самым — делу коисолидации зарубежиой русской демократии. В эмиграции пребывают компактиые массы людей, в душах которых еще густо клубятся кровавые испареиия войны — виешией и виутреииеи. Оии потеряли все: родииу, свое социальиое и общественное положеиие, свою иерархическую гордыию. Оии в зиачительиой

части находятся в мучительном материальном положении, испытывают острую нужду и закабалены тяжким трудом. И вот к этим, измученным, запутавшимся людям приходят вожди и говорят им, что есть Вождь, что он «мудрейший», что он знает времена и сроки, что ему готовы помочь «державы», что вот-вот пробьет час возмездия... Когда жизнь темна и безотрадна, тогда невозможно противостоять этим сладким соблазнам иллюзии и хочется верить, что он — реальность.

Тут действует еще один серьезный социально-психологический фактор. С этими трогательными речами, с этим неподдельным румянцем реакционных ланит подходят к пришибленной массе бывших прапорщиков и офицеров бывшие военные и гражданские тузы старой России, которые в эмиграции материально сильно истрепались и в этом отношении стали более «демократичными». Протертый пиджак несомненно демократичнее шитого золотом мундира. И когда масса военной молодежи сталкивается с этими тузами уже не на почве рыкающей команды прошлого, а на почве агитационной чувствительности и ласковости, то это на нее действует прельстительным чувством какого-то примиряющего равенства. За этими тузами шли, когда они командовали «Ать-два!» Трудно не пойти за ними, когда они говорят совсем по-человечески: «Будьте настолько добры — крикните Его Императорскому Высочеству — ура!» Здесь есть элемент какого-то социально-иерархического искупления, и оно притягивает, прельщает. «Ура!» кричат охотно и жертвенно и в самом крике этом находят выход из тьмы и тоски своего эмигрантского прозябания.

Это духовное рабство может продолжаться очень долго, но все-таки только до тех пор, пока эти тузы себя не разоблачают. А на этом съезде они себя разоблачили, разоблачили свою политическую и организационную пустоту. Как и говорил на заключительном заседании лидер убитой молодежи, стало ясно, что «короли голыми ходят». Судьба жестоко посмеялась над инициаторами и устроителями съезда. Созванный для того, чтобы отлить в программные и организационные формы «правую мечту», съезд нанес этой мечте сокрушительный удар в сердцах правой молодежи, возлагавшей такие большие надежды на своих лидеров. Ибо мечта эта связывалась именно с этими людьми, так прискорбно оскандалившимися на съезде, ибо в этих людях, истомленная черными днями своей юдоли и мечтами своих иллюзий, правая молодежь видела поруку наступления дня грядущего, возвращения на родину сулящего.

И если уже на самом съезде люди кричали в безысходной тоске своей: нас обманули! — то нет никакого сомнения, что с течением времени процесс духовного разрыва правых эмигрантских низов с правыми эмигрантскими верхами пойдет вперед значительно быстрее. «Лицо» проявило достаточно тактической сметливости, когда старалось держаться на некотором «величественном» возвышении августейшего нейтралитета, «мудро» взирая, как то сей, то оный набок гнется. «Лицо» предпочло, чтобы грандиозный бламаж зарубежного съезда пал всей своей тяжестью на его, без лести преданных слуг, а не на их хозяина. История когда-нибудь раскроет истинное отношение между хозяином и работниками, но пока что люди, жарко в съезд верившие и горько в нем разочаровавшиеся, могут еще утешаться тем, что у них еще остаются «Бог и Вождь». Нет сомнения, что со временем вторая часть этой формулы испарится без остатка. Потому что «Вождь» без водимых, без дворни, без армий, походов,— Вождь со скомпрометированными трубадурами и пажами становится политической и логической бессмыслицей.

История всех монархических систем показывает, что в душах подданных монархия умирает не потому, что монарх плох, а потому, что плохи его ближайшие слуги. Без Марковых, Скаржинских, Треповых и прочих героев зарубежного съезда нет ничего «царского» в великом князе Николае Николаевиче. Без ступенек к трону — нет самого трона. И если «Лицу» удалось как-то бочком выйти из пренеприятной истории на съезде, то этим он спас себя (если спас), только как честный человек, но совсем не как

«Лицо», «Вождь» и т. п. Бламаж съезда был и бламажем искусственно созданного вокруг «Лица» ореола. Провалившись, съезд вместе с собою провалил и всю эту мистификацию с «вождем».

Поэтому те, которые испытывают сейчас горькое разочарование в съезде, неизбежно еще переживут в своем сознании и в своей душе кризис идеи «Вождя». Одно потянет за собой другое. Зарубежный съезд воистину достоин признательности всех демократических элементов русской эмиграции.

Тем не менее это не освобождает нас от обязанности дать отдельную оценку той его части, которая на нем играла роль «левой».

Эта «левая» рекрутировалась преимущественно из тех элементов, которые пять лет тому назад в том же отеле «Мажестик» соорудили «Национальный комитет». Если сравнить тот съезд с этим, то нужно сразу сказать, что тот был гораздо культурнее, организационно более прочным и эстетически гораздо более приемлемым. Сравнение этих двух съездов обнаруживает роковой закон в развитии правой эмиграционной общественности: она вырождается духовно, морально и организационно.

За пять лет от комбинации: Струве, Бурцев, Карташев — правая часть эмиграции докатилась до комбинации: Струве, Марков, Трепов. Стоит назвать эти две тройки имен, чтобы достаточно наглядно вырисовалась эволюция правого и умеренно-правого зарубежья. Первая тройка обречена была на то, чтобы уступить место второй тройке. Роковой фигурой всех этих попыток консолидации умеренно правых течений является П. Струве.

Известна легкость, с какой этот человек, когда под ним кончается одна лошадь, с хвоста оной перескальзывает на голову нижеследующей, чтобы затем очутиться на хвосте и этой последней. С национальным комитетом, с Бурцевым и Карташевым он славил Врангеля, с Марковым и Крупенским он славит теперь Николая Николаевича. И каждый раз он служит своим велеречием, своими софистическими способностями все менее и менее почтенной компании. А на вчерашних своих друзей смотрит свысока в раздраженной гордыне своей идеологической акробатики: «Что за медведи неповоротливые!» При этом неизбежная претензия: каждый лагерь, к которому он пристал,— обязательно «облагородить». Облагораживал русский марксизм, русский либерализм, даже русский антисемитизм, а теперь облагораживает русское черносотенство. В кулуарах съезда и в задних рядах в зале заседаний среди гостей грустной, пришибленной фигуркой держался бедный Бурцев, а вчерашний его соратник Струве, будучи командуемым, старался придать себе вид командующего. Струве сидел уже на другом коне, но сидел из рук вон плохо.

Как бы мы лично ни относились к этой замечательной фигуре последних десятилетий русской истории, как бы нам ни претила его нечеловеческая «гибкость», нельзя было все-таки без чувства жалости смотреть на то, как бился, выбивался из сил, подвергался ряду острых унижений и оскорблений со стороны делегатов этот человек, по своему культурному уровню и культурной традиции стоящий десятью головами выше тех, которые ему позволили председательствовать под условием, что «ничего такого» не будет....

Ему нужно было во что бы то ни стало облагородить Валяй-Маркова, и он для этого не имел других средств, кроме подлаживания, пугливо-предупредительного отношения к этим махровым представителям русского черносотенства. Издерганный, измученный, охрипший, на последней грани физической выносливости, Струве являл собой картину ни с чем не сравнимого общественного позора.

Но Струве — был «центром». Кроме центра были тут и «левые». М. Федоров был «левым». Ждали, что вот выступит с декларацией и скажет слово — и очистится тяже-

лый воздух в подвалах «Мажестика». Вышел ои иа трибуиу и... ие мог иачать, потому что правые ие давали ему говорить. Кипел Трепов и пререкался со Струве. Стал говорить... и ие мог коичить, потому что тут его стал обрывать уже сам Струве. И видя, что дело плохо, и обладая темпераментом отиюдь ие боевым, поспешио закоичил реверансом перед «Вождем». Успел же ои сказать, что ие иужио предрешать формы государствеииого строя и ие иужио реставрации. Но это же самое говорили и миогие правые. «Были бы черти — болото будет». Надо было ударить по чертям. М. Федоров предпочел скромиеиько исполиить свой иомер, чтобы иикого ие раздражать. И чтобы ие было абсолютио иикаких сомиеиий в его благоиамереииости, поспешил выразить свое почтеиие великому киязю Николаю Николаевичу. Выступлеиие М. Федорова было скромиой паиихидой по в Бозе почившему иа съезде либерализму.

А затем группу опасиых вольтериаицев представляли иа съезде торговопромышлеииики. История отиошеиий представителей торгово-промышлеииой эмиграции к зарубежиому съезду полиа событиями. Они, в сущиости, были ииициаторами этого дела, и без их фииаисовой поддержки иавряд ли это дело могло выгореть. Осиователем и кормильцем «Возрождеиия», оргаиа, рождеииого иа предмет агитации и пропагаиды в пользу съезда, явился и является одии из видиых тузов торгово-промышлеииой эмиграции.

Но с самого же иачала торгово-промышлеииая группа увидела засилье во всем этом деле дикого помещика. Дикого помещика оиа испугалась. Торгово-промышлеииая группа из оргаиизациоииого комитета по подготовке съезда ушла. Затем испугалась, что без иее будет еще хуже, и виовь пришла. Были заседаиия, голосоваиия, отколы, расколы — подробиости всей этой каиители слишком миогочислеииы, чтобы здесь иа иих остаиавливаться. Но вся история эта в целом крайие поучительиа.

Торгово-промышлеииая группа в эмиграции в известиом смысле повторила здесь историю русской торгово-промышлеииой буржуазии в самой России. И там оиа боялась дикого помещика, Совета объедииеииого дворяиства и всей дворяиско-бюрократической махииы русского самодержавия. Но боязиь свою ие сумела превратить в закончеииую классово-политическую акцию. Оргаиизовавшись весьма иедурио как класс против рабочих, русская торгово-промышлеииая буржуазия ие сумела оргаиизоваться как класс против феодальио-самодержавиого строя. Октябризм был пределом политического радикализма компактиых масс русской буржуазии, ио октябризм в самой осиове своей был компромиссом между иовым и сравиительио молодым классом буржуазии и старым, разлагавшимся дворяиством.

В итоге русская революция, вырывшая запоздалую могилу русскому дворянству, вырыла и преждевремеииую могилу русскому торгово-промышлеииому классу. Политическая дряблость и связаииость с дворяиской бюрократией русского капитализма была одиой из главиейших причии трагического поворота русской революции.

Но то, что там, виутри России, было трагедией, то в эмиграции превратилось в фарс. Опять представители русской буржуазии ие могли преодолеть свое влечеиие, род иедуга, к союзу с дворяиской реакцией. Если виутри России этот союз был историческим преступлеиием против длительиых иитересов собствеииого класса, то ои по крайией мере давал времеииые выгоды: охрану от слишком больших притязаиий рабочего класса. Но что, кроме демоистрации самозабвеииого бескорыстия, мог собою представить союз с реакцией в обстаиовке эмиграции?

Как бы иизко ии оцеиивать степеиь социальио-политической прозорливости торговопромышлеииой эмиграции, все же иельзя предположить, чтобы оиа верила в возрождеиие политической и социальиой власти помещичьего сословия. Можио коистатировать, что о восстаиовлеиии помещичьего землевладеиия эмиграитская торгово-промышлеииая группа ие мечтает ии явио, ии тайио. Зачем же ей эти трупы и привидеиия прошлого? Мы ие иайдем ответа иа эти вопросы, если ие обратимся к области чистых иллюзий.

А среди них есть такая: конечно, эти правые, эти Валяй-Марковы, изрядно-таки дерут. Но зато народ боевой. И у них и за ними много военных людей, молодежи, рвущейся в бой. У них армия, генералы, фельдфебели и Вождь. Это не какие-нибудь слюнявые демократы, а люди, у которых в кулаке железное расположение духа. Вот с такими и можно пойти против большевиков. Такие не... «сдрейфят».

Вот что, мне кажется, лежит в основе тяготения к союзу с правыми зарубежных торговопромышленников. Это же самое алкание «активности» характерно и для многих размагниченных «левых» — культурных, но безвольных людей, которые, зажимая нос левой рукой, правую подают плохо пахнущим черносотенцам. Керенский? Милюков? Ах, оставьте. Фразы да фразы, и притом же они «соглашатели» и печатают статьи Кусковой. А вот эти — только держись! И сколько энергии, и сколько храбрости, и сколько ненависти к большевикам... Мне лично приходилось слышать даже религиозно-метафизическую оду в честь этой правой непримиримости со стороны человека, который с правыми не пойдет, но который вздыхает: эх, как бы и нам частичку этого божественного огня...

Но если такие настроения имеются среди эмигрантской демократии, то что же говорить об отдельных лицах и группах, которые демократическими организациями и платформами не связаны. Они всецело находятся во власти иллюзии, что эти ташкентские экземпляры — пусть очень плохие политики, но зато несомненно хорошие воины. В другом разрезе повторяется большевистская формула: «Революция в перчатках не делается».

В итоге эмигрантская торгово-промышленная буржуазия, вместо того, чтобы гарантировать себе некоторое будущее поисками контакта с энергично развивающейся в самой России новой буржуазией, ищет контакта с мертвецами феодально-бюрократического строя. И чувствует нелепость своего положения, и уходит, и возвращается, и спекулирует разоблачениями явно и резко враждебной зарубежному съезду прессы, и делает это даже тогда, когда эти полунеожиданные разоблачения касаются событий в самой торгово-промышленной группе, и старается не замечать предательства своих же собственных членов, сообщающих внутренние тайны врагу, и выпускает на трибуну съезда Третьякова, заявляющего, что больше он не в силах терпеть эти съездовские безобразия, и оставляет Третьякова без всякой поддержки, благоразумно и соборно отсутствуя в зале в тот момент, когда Третьяков изнемогает в усилиях побороть враждебность съезда.

Я не берусь предсказывать, как торгово-промышленная группа поведет себя дальше после позорного провала съезда, после того, как и она сама увидела, в какую во всех отношениях непочтенную компанию она влипла. Но в чем я нисколько не сомневаюсь, так это то, что своей позицией по отношению к зарубежному съезду старшее эмигрантское поколение русской буржуазии только значительно расширило пропасть, отделяющую его от буржуазно-капиталистической смены, зреющей в самой России.

У этого старшего поколения русской буржуазии, в отличие от господствовавших на съезде групп, могло быть еще какое-нибудь будущее в самой России, освобожденной от диктатуры компартии. Конечно, не в виде восстановленных собственников своих прежних предприятий и имущественных прав. Об этом на 10-м году большевистского переворота, у пределов земской давности, пора уже забыть как им, так и всем прочим. Россия именно потому так энергично восстанавливает частную собственность, что это *новая* собственность, а не старая. Энергия накопления в корне противоречит стремлению к реституции. Перспектива восстановления частных собственников могла бы только задержать процесс развития частной собственности. Собственность революционного захвата и перераспределения более «священна», более ревнива и ... зла, чем собственность историческая и наследственная. Вот почему о восстановлении прежних

собственников в порядке публично-правового акта «справедливости» не может быть речи.

Но Россия будет крайне нуждаться в людях большого торгово-промышленного опыта, Россия откроет широкие пути нового накопления, Россия без Бухарина осуществит до крайних пределов его лозунг: «Обогащайтесь!» И тогда людям буржуазного опыта, людям технико-организационных способностей, людям, не ухлопавшим свои капиталы на гобелены, скачки, газеты, съезды, интервенции, искусства и художества, будет что делать в России на арене частно-конкурентной борьбы в пределах новой собственности.

Прямой социально-экономический расчет должен был бы подсказать буржуазно-капиталистической эмиграции именно эту перспективу. Может быть, он ей когда-нибудь это еще подскажет, если не будет слишком поздно, если уже не поздно... Но пока что буржуазно-капиталистическая эмиграция делает все возможное для того, чтобы это свое будущее погубить. Пока что духовно, социально и политически компрометирует себя в России в глазах своих возможных союзников и подает руку, доверяясь хорошим референциям Петра Струве, Валяй-Маркову.

Таково было положение «левого крыла» на зарубежном съезде. Оно оказалось достаточно сильным, чтобы превратить этот съезд в арену неприличной склоки, в клубок интриг и сплетен, чтобы спутать карты крайних правых и осрамить съезд в глазах наивно в него веривших, но, провалив этот съезд, левое крыло провалилось вместе с ним. Свалить теперь вину за этот провал на крайних правых будет невозможно. Наоборот, объективно говоря, крайняя правая все-таки лучше знала, что она хочет, чем «левая». Собравшись сам-друг с собою, определенно монархические организации и «ура» кричали бы бойчее, и что-нибудь по части крепкословных резолюций и крепко-казарменных организаций смастерили бы. Но левые хотели их облагородить... И шлепнулись вместе с ними в одну и ту же лужу. Это явилось достойным наказанием как правым, возжаждавшим «образованности», так и левым, возжаждавшим «энергии».

Теперь кой у каких непричастных к съезду групп робко вибрирует надежда: авось удастся с разочарованными «левыми» сколотить новый прогрессивно-умеренный единый фронт. Если бы этим надеждам суждено было сбыться, то мы бы это считали большим проигрышем для дела русской демократии. Ибо полезная сторона этого провалившегося съезда заключается в том, что он очистил атмосферу, похоронил многие трупы смердящие, рассеял легенду о сплошном господстве в эмиграции право-монархических настроений. Перед колеблющимися элементами провал съезда поставил во весь рост дилемму: направо или налево. Съезд скомпрометировал половинчатые решения, лукавый компромисс, политическую маниловщину. И скомпрометировал политиков и общественных деятелей, надвое игравших, мазавших на чужую карту, раскосо глядевших пугающим оком направо и испуганным оком налево.

Избавить эти элементы от необходимости самоопределиться *до конца*, пережить и перечувствовать опыт своего унижения, решительно порвать со своими иллюзиями — навряд ли задача, достойная определенно демократических течений в эмиграции. А они будут от этого избавлены, если к ним начнут перебрасывать с левого берега мостки тех или иных соглашений и компромиссов. И, войдя в состав нового умеренно-прогрессивного фронта, они могут своей расхлябанностью, своей игрой надвое дезорганизовать демократические силы, как они дезорганизовали своих правых друзей по зарубежному съезду.

Я не знаю, излечимы ли эти социально-политические межеумки зарубежного съезда. Но если они излечимы, то, во всяком случае, им надлежит пережить еще несколько таких уроков, чтобы окончательно избавиться от поползновений сразу двух маток сосать:

и реакциоииую, и прогрессивную. Меньше всего русской эмиграции теперь нужны поспешные комбииации поспешиых союзов...

Провал зарубежного съезда показал, что силы реакции в змиграции не так велнки, как думалось н как трубила о себе сама реакция. Вместо смотра своей силы зарубежиый съезд организовал утешительиый смотр реакциониого бессилня. Самый способ комплектовання съезда был отвратительной иллюстрацией этого бессилня. Возвращаясь иедели через две к своему провалившемуся детищу, Струве писал в «Возрожденнн» (25 — IV): «Никто Съезда ие устраивал. *Он сам устроился.* Очень многие Съезд *расстраивали.* Но он все-таки *не расстроился*». Так в стихах это и было иапечатаио.

Не съезд, одним словом, а тайна самопроизвольного зарождення. Беспорочно, иикем не выбираемый, родился в Парнже делегат от русских в Парагвае н делегат от русских в Уругвае. Ннкем порочно не зачатые, роднлись на съезде делегаты казаков Краснов, Сычев и граф Граббе, хотя все влиятельные казачьи оргаиизацин и выборные оргаиы казаков от участия на съезде отказались. В ряде мест «выборы» производились с таким яростиым соблюденнем прииципа тайного голосоваиия, что для русских колоиий миогих мест остались тайиой время и место самих выборов. Осведомлеиная в сих делах, разведка Гр. Алексинского утверждала, что сфабрнкованный от «виутреиией Росснн» «делегат Всероссийского крестьянского союза иа Д. Востоке» был сделаи из земского начальника Котомкина, «много лет проживавшего в Праге». Этот уверял, что крестьяие ждут «Вождя» с большим нетерпеинем. Был сфабрнкован представитель от «рабочих» — Купрнанов, по сведенням органа Гр. Алексинского, пребывающий «уже не первый год агентом разведки у князя Оболенского, состоящего при великом князе Николае Николаевиче».

На своем докладе об итогах зарубежиого съезда П. Мнлюков опубликовал тщательио составлеииые им досье обо всех зтих самопроизвольиых зарождеииях целого ряда таких «делегатов» и «представнтельств». Даже самому «Возрожденню» стало немного смешно от этого спектакля. «Где в другом месте под луною,— спрашивал референт,— можно было услышать вызовы к избирательиым урнам всех мнровых держав, да еще по алфавнту? (13 — IV). Совершеино естественно, что «он сам устраивался» — спонтанейно, в порыве патриотического воодушевлеиия. И совершенно естествеино, что такой съезд не ощутил никакой потребностн в мандатной комиссни.

Так съезд «устраивался». И так съезд «расстраивался». И как устройство его, так н расстройство его были достаточно красочны, чтобы раз и навсегда избавиться от представления о необыкновенной силе правого лагеря в змиграцин. И, во всяком случае, после зарубежного съезда этот лагерь стал гораздо более слабым, чем до иего.

Отсюда и вытекает для лагеря республикаиско-демократического ряд серьезиых политических выводов.

Первый из них заключается в том, что возможности расшнреиия организациоииого и идеологического влияиия демократических групп далеко не исчерпаиы. Угар международной и внутренней войны постепеиио проходит, вождн правого лагеря старательио себя компрометируют в глазах доверявшихся им масс, реакциониая идея обнаруживает самым наглядным образом свою социальио-полнтическую пустоту. Эиергичиая просветительная работа республиканско-демократических группнровок должиа ускорить зтот процесс эмансипации эмигрантской массы от правых иастроеинй, и для зтой работы зарубежный съезд дает превосходный материал.

Но провал зарубежного съезда был провалом не только полнтнческнх групп, но и провалом определенного метода. Мы бы иазвали его методом заграиичиого вождеиия антибольшевистской борьбы. Дело тут ие только в «Вожде» с большой буквы, ио и во всей пснхологни воднтельства русским движеннем заграничными «лучшими людьми».

Дело тут в той ташкентской уверенности, которую Щедрин определил формулой: «Шагу без нас не сделают, без нас дело не обойдется».

В различных облагороженных формах эта уверенность незримо присутствует в политических диспозициях и на левом фланге русской эмиграции. Если тут не говорят об организационном водительстве, то слишком часто предполагают водительство идейное и даже моральное. Вот эта идея заграничного водительства, потерпевшая такое позорное фиаско в своих брутально-монархических, «мажестиковых» формах, должна исчезнуть и в своих облагороженно-левых формах. Только отказавшись от этих претензий водительства, можно подойти к эмигрантской массе без широких вещаний и обещаний, без подогреваний всякого рода иллюзий, с прямой задачей приобщить эти массы к пониманию и пафосу великих социально-политических передвижек, происходящих в русском народе. Провал крайних утопий заграничного водительства должен побудить к пересмотру и умеренных форм этой же утопии.

И, наконец, еще один вывод из провала зарубежного съезда. Под властью правой идеологии находятся в эмиграции массы людей, очутившихся в тяжких условиях наемного физического труда. Положение этих людей отчаянное. По своему современному социальному положению, по кругу своих нынешних интересов эти массы нуждаются в организационной и идеологической работе, способность к которой исторически выработалась в рядах русских социалистических партий. Мы имеем за границей компактные массы трудящихся, которым социализм имеет что сказать и среди которых социалистические партии имеют что делать.

Русскому демократическому социализму в эмиграции надо задуматься над тем фактом, что среди этих эмигрантских рабочих масс работают монархисты и большевики, создают себе здесь опорные центры, между тем как демократические и социалистические партии проявляют величайшую пассивность и безразличие. На докладе Е. Кусковой хулиганили правые, на докладе Лукьянова хулиганили большевики, но присутствовавший на этих собраниях мог заметить, что там и здесь среди хулиганствующих были довольно сильно представлены русские рабочие.

Было бы нелепостью думать, что только эти хулиганствующие группы способна выделять эмигрантская рабочая масса. И нужно прямо признать, что значительная доля вины за это падает на социалистические группы, здесь, за границей, совершенно лишенные чувства прозелитизма. Теперь, когда провалилось то дело, на которое правонастроенная часть эмигрантской рабочей массы возлагала такие большие надежды, когда чувство разочарования гнетет многих полным помрачением всяких перспектив, теперь нет ничего невероятного в том, что вчерашние монархисты ударятся в большевизм, соблазненные обещаниями, на которые большевики так тароваты.

Подойти к этой массе в момент переживаемого ею кризиса, дать ей выход из сгустившихся в душе и сознании сумерек — это задача для зарубежной демократии, как для социалистической так и для не социалистической.

Было бы печально, если бы фиаско зарубежного съезда послужило бы различным отрядам зарубежной демократии только поводом для законного злорадства и незаконного любования своими не сплошь хорошими качествами.

Е. Сталинский

Десять лет

(Февральская революция)

Десять лет исполнилось со дня падения самодержавия! Первое десятилетие февраля, начала великой русской революции, еще не получившей своего завершения, еще не давшей всего размаха своей творческой стихии. Но по каким бы путям ни пошла она, 26 февраля 1917 года останется огненными буквами начертанной датой величайшего исторического перелома.

Крушение векового здания романовской империи знаменовало крутой поворот в судьбах народов, над которыми царил двуглавый орел. Но это событие — освобождение порабощенных масс на необъятном пространстве одной пятой земного шара — не укладывается ни в какие национальные рамки. Оно не одну лишь Россию с грохотом вытолкнуло навсегда из старой колеи. Оно лишило самой могучей опоры все силы прошлого в мире и открыло новый громадный плацдарм для борьбы за будущее. На улицах революционного Петрограда начиналась новая глава истории не только России, но и Европы, но и Азии.

Тогда, в февральские дни человечество, быть может, не столько поняло разумом, сколько ощутило инстинктом, что свершилось нечто великое, накладывающее свою неизгладимую печать на всю грядущую эпоху. Теперь, когда ряд тяжелых годов отделяет нас от тех дней, годов, наполненных бедствиями, катастрофами, национальными и социальными конвульсиями, схватками между цепляющимся за жизнь старым и в муках рождающимся новым, это ощущение ослабело и затемнилось. Свою истинную оценку, выявляющую ее величие и огромность произведенного ею мирового сдвига, февральская революция должна еще только получить, и она несомненно рано или поздно ее получит.

В России, сумевшей одним революционным порывом снести без остатка царский режим и все его основы, первое десятилетие февраля не будет ознаменовано великим всенародным празднеством, ликованием масс, радостно вспоминающих светлый день освобождения. И большевистские властители, столь падкие до официальных торжеств и парадов, вряд ли отметят его даже сколько-нибудь внушительным казенным праздником.

Большевики не любят февраля и настойчиво отодвигают в тень эту неприятную им дату. Для них — или, вернее, в этом хотят убедить они современников и будущие поколения, октябрь — начало настоящей русской революции, а февраль лишь преддверие ее, лишь слабый пролог грозного революционного действа, в котором им принадлежат все главные роли. Связанные с октябрем, они его объявляют началом нового бытия России, от него ведут революционное исчисление, чтобы присвоить себе целиком всю русскую революцию. Она, однако, началась не в пасмурные октябрьские дни, в оглушенной и смятенной стране, а в ясные морозные дни февраля, при всеобщем радостном и могучем подъеме всего народа.

Февраль — революция, ибо в феврале распались скрепы самодержавия, и вместе с

их распадом в один миг сломилась сила господства и сопротивления классов, командовавших в царской России, а русский народ сразу стал хозяином своей жизни. Бомбы и баррикады, уличные бои и груды трупов — еще не революция. Революция — изменение соотношения социальных сил, лишающее власти те слои, которые до того занимали командные позиции в государстве. Это решающее изменение соотношения сил совершилось в феврале, и все дальнейшие революционные события развертывались уже на фоне, им созданном.

Октябрьский переворот вовсе не был революцией против помещиков и капиталистов. Помещиков и капиталистов уже февраль лишил всякой власти и силы. Они были побеждены еще до победы октября. Большевики выступили не против них, а против правительства, которое поддерживали эсеры и меньшевики, имевшие большинство в советах. Октябрьский переворот, сведенный до его истинных размеров, явился только победоносно кончившимся восстанием одной революционной фракции против других революционных фракций. Это была междоусобная борьба сил, вместе участвовавших в свержении старого строя. Октябрь означал не начало революции, а переход ее в иной фазис, фазис террористический и разрушительный.

Между февралем и октябрем вовсе нет непроходимой грани, как это утверждают, с одной стороны, большевики, а с другой — многие демократические противники большевизма, за деревьями не видящие леса. Как стихийное движение масс октябрь — продолжение февраля, принявшее под влиянием рокового стечения обстоятельств бурные и кровавые формы. Революционные массы России, в общем, не ставили себе новых целей, они лишь прибегли к иным средствам для их достижения.

Да, в февральский период революцию можно было считать еще бескровной, а после победы большевиков невиданный, ужасный смерч насилия и крови пронесся над Русской землей. Но и здесь нельзя видеть какого-то водораздела, какой-то органической противоположности Февраля и Октября. Кровь и насилие явились неизбежным результатом бурного разлива клокотавшей страстями и инстинктами революционной стихии, сломившей сдерживавшие ее плотины. Удивительно было то, что эти плотины только убеждением и доверием могли держаться так долго. Удивительно было то, что она раньше не вышла из искусственных берегов иллюзорной демократии и мифической законности.

Никто никогда не мог предполагать, что русская революция — вулканический взрыв, разметающий в прах громадные исторические напластования,— будет протекать в мирных, спокойных формах, что она не зальет горячей лавой ненависти и разрушения города и веси потрясенной России. Для этого достаточно поработало самодержавие. Века жестокого угнетения русского народа, подавление в нем человеческого достоинства, держание его в темноте и невежестве ведь не могли пройти даром. Русские цари готовили ужасный час расплаты, подавляя нагайками и пулями порывы народных масс к лучшей жизни и в то же время своей тупой и бездушной политикой доводя до крайнего обострения все социальные отношения. Они сделали в этом смысле поистине все, что могли. Не случайно то, что всем тем, кто еще тогда, когда самодержавие было в апогее своего могущества, умел проникновенным взором заглянуть в будущее, рисовались видения страшные и кровавые.

Не Достоевский ли устами умирающего старика Ставрогина пророчески предсказал то, чему были мы свидетелями после Октября. Бесы вселятся в русский народ, и он начнет ломать и крушить все вокруг себя, точно одержимый. А что это за бесы? — Века рабства, унижения, беззакония, темноты,—отвечает писатель-провидец.

Но в еще более сильных словах, в высокой и потрясающей художественной форме, видение грядущей революции дано Салтыковым-Щедриным. Видение почти апокалипсическое. Вспомним его описание момента гибели Угрюма-Бурчеева — этого символического

образа, в котором воплощены вся тупость и жестокость самодержавия:

«Север потемнел и покрылся тучами: из этих туч нечто неслось на город, не то ливень, не то смерч. Полно гнева, оно неслось, буровя землю, грохоча, гудя и стеная и по временам изрыгая из себя какие-то глухие каркающие звуки... Воздух в городе заколебался, колокола сами собою загудели, деревья взъерошились, животные обезумели и метались по полю... Оно близилось, и по мере того, как оно близилось, время останавливало свой бег. Наконец земля затряслась, солнце померкло... Оно пришло».

Чудо февраля, если можно говорить о чуде, было в том, что самодержавный Угрюм-Бурчеев исчез именно так, как и описано в истории одного города: «с зловещим треском, моментально, точно растаял в воздухе». Но земля не затряслась, и солнце не померкло, и колокола гудели не набатным призывом, а разливались радостным звоном. Между тем в феврале весь принудительный аппарат государства рассыпался и не был, не мог быть сразу заменен другим. Народные массы внезапно освободились не только от царской власти, но и всякого принуждения. Они могли делать все, что бы ни захотели, даже безумства. Но они оставались спокойными. Наоборот, они всеми силами старались показать, что могут сохранить порядок без жандармов и полицейских.

В городах не было эксцессов, никого не убивали и не грабили; при наличии революционного пролетариата, ненавидящего капитализм, который варварски выматывал из него жилы, никаких захватов заводов и фабрик, сохраняется к тому же трудовая дисциплина. Во Франции, как только весть о революции долетала до деревни, начинали пылать помещичьи замки, и зарево пожаров зловеще освещало небо восставшей страны. В России крестьянство не трогает разбросанные в мужицком океане островки — дворянские усадьбы, как и их обитателей, оно сдерживает свою ненависть против вчерашних господ, оно не торопится даже осуществить свою вековую мечту — «черный передел».

Такую же сдержанность проявляют национальности, населяющие Россию. Русская империя — тюрьма народов, но вот рухнули стены тюрьмы, и пленники, очутившись на воле, вовсе не стремятся разбежаться без оглядки в разные стороны. Ниоткуда, ни с одной окраины не доносится требование сепаратизма.

Еще разительнее пример действующей армии, которую так легкомысленно клеймили суровые патриоты. Она ведь в массе своей не стала разбегаться и осталась на линии огня, а какая сила могла бы удержать ее? И напрасно ссылаться тут на пример Французской революции, солдаты которой пылали революционным патриотизмом. То были революционные армии, созданные уже после переворота, с революционерами-начальниками, с новыми порядками, и они шли защищать революцию против ополчившихся на нее европейских монархий. Русская же армия была императорской армией, со старым царским командным составом, она уже три года участвовала в кровопролитнейшей войне, начатой царем, войне, цели которой ей были малопонятны.

В чем же объяснение столь поистине исключительных явлений, характеризующих Февраль? Почему, когда с русской жизни спал обруч самодержавия, все накопленные в ней и сдавленные им центробежные силы не порвали сразу, устремившись в разные стороны, прежнего сцепления? Отчасти, но только отчасти, это можно объяснить инерцией прошлого, тем, что перемена положения произошла молниеносно и народ не сразу с ней освоился. Но больше всего тут, несомненно, сказалось то, что самодержавие пало почти без сопротивления. В народных массах не было ожесточения борьбы, но зато была огромная, все покрывающая радость освобождения, инстинктивное сознание величия совершившегося, величия столь покоряющего, что даже вчерашние подхалимы старого режима провозгласили осанну лучезарной революции. Все это экзальтировало души, подымало в них все лучшее, что в них было заложено. При тех огромных надеждах, которые охватили всю страну, чувство ненависти, мести, инстинкты расхвата были на первых порах придавлены иными, более возвышенными настроениями. В то же время социалистическая ин-

теллигенция, которая руководила революционным переворотом и сразу приобрела необыкновенный авторитет в глазах масс, провозглашала лозунги гуманности, свободы. Народ верил твердо, что дело его в надежных руках. Он верил в то, что революционеры, свергшие его вековых угнетателей и теперь ставшие властью, будут разрешать во имя его интересов все поставленные революцией вопросы, следовательно, нет надобности самочинно выступать и прибегать к «своим средствам». Он верил в то, что для окончательного закрепления победы нужно эту социалистическую интеллигенцию поддерживать, внимать ее призывам, идти по тому пути, какой она указывала. Эта вера и составляла ту хрупкую плотину, которая сдерживала предопределенный всем прошлым разрушительный разлив революционной стихии. Когда вера исчезла, стихия затопила все, и пришло то, полное гнева, буровящее землю, грохочущее и гудящее, что пророчески провидел великий русский сатирик. «Оно» на этот раз действительно пришло.

Революция, казалось, осуществила вековую мечту русской социалистической интеллигенции, рвавшейся к объединению с народом, от которого отделяли ее рогатки самодержавия. Когда эти рогатки были сломлены, ее сближение с широчайшими народными массами совершилось быстро и как бы по закону взаимного притяжения. Массы, воспрянувшие к новой жизни, радостно приняли ее руководство, сразу признали ее своим вождем, воспринимали ее идеи и лозунги. И это было понятно, так оно и должно было быть. Социалистическая интеллигенция была той героической силой, которая начала единоборство с самодержавным колоссом, которая объединила в этой борьбе передовые слои рабочих и крестьян, которая привела их к победе. Ее программа, в особенности программа социалистов-народников, выражала глубочайшие чаяния трудовой России.

Социалистическая интеллигенция, сразу вознесенная так высоко волной событий, была идеалистической, беззаветно преданной свободе и социализму. Но ее идеализм, слишком абстрактный, не сочетался с необходимым для руководства революцией реализмом. У нее был опыт революционной борьбы, но не было никакого государственного опыта. У нее были высокие идеалы, но не было способности реалистически понять те условия, на почве которых происходила борьба за них. У нее недоставало умения наметить средства, нужные для их осуществления.

Очутившись у руля революции, она легко поддалась миражу «бескровности», в чем и было ее роковое заблуждение. Она уверовала в том, что революция, или, вернее, революционная борьба, уже закончена, что народный демократический строй уже налицо и прочно закреплен. На самом деле революция только еще начиналась, и никакой демократии в том смысле, как это принято понимать, в природе еще не существовало. Была только внезапно освобожденная от царских цепей необъятная страна, в которой вместе с падением старого строя распались и государственные скрепы, и были взбудоражены человеческие громады, почувствовавшие свою огромную силу, но не имевшие еще навыков свободы и самоуправления. Демократию надо было еще только создавать, а руководители революции принялись действовать так, как будто она уже существовала. Вместо того, чтобы применять революционные методы, которых властно требовала вся грозная обстановка революции, социалистическая интеллигенция неожиданно увлеклась изощренными парламентскими методами, допустимыми лишь в самой совершенной парламентарной демократии, и только лишь в нормальное время. Можно было бы подумать, что, опьяненная неожиданной свободой, почти сказочным исполнением своих самых смелых мечтаний, она сразу лишилась чутья реальности. Можно было подумать, что, выросшая в стране деспотизма, она всю жизнь изучала только практику парламентаризма и никогда не читала историю революции. Вступив на этот путь, она все более отдалялась от понимания основной проблемы революции и от возможности ее разрешения.

Всякая революция требует твердой и сильной революционной власти, ясно сознающей

цели, к которым она идет, умеющей в случае надобности наносить удары направо и налево, всем, кто только пытается вставлять ей палки в колеса. В этом, и только в этом, залог ее успеха и победы над возвратным наступлением сил прошлого. В критические моменты перехода от старого к новому, когда бурно сталкиваются интересы классов и групп населения, разрываются социальные ткани и накаляются добела страсти, только сильная революционная власть может спасти революцию от угрожающих ей опасностей и выполнить поставленные ею задачи.

Россия в 1917 году в этом отношении находилась еще в положении особенно трудном и опасном. Самодержавие, пережившее все законные исторические сроки, оставило после себя тяжелое наследство. Проблемы политические, социальные, национальные, которые политика царей накопляла в русской жизни и довела до крайнего обострения, были спутаны в один гигантский клубок. Русской революции, в сущности, надо было разрешить одновременно задачи нескольких революций. Ей нужно было произвести глубочайшие имущественные преобразования и осуществить революционную программу, еще невиданную в истории. И в то же время Россия находилась в кольце войны, которая истощала и выматывала ее силы, отражаясь внутри страны растущими бедствиями и разрухой.

Задача создания сильной революционной власти оказалась, однако, социалистической интеллигенции не по плечу.

Для этого нужно было прибегнуть к принуждению, быть готовым в случае надобности применять силу во имя суровых требований революционного закона. Но тут-то и проходила роковая черта, через которую интеллигенты-социалисты переступить не могли. Поколения русских революционеров вели борьбу против самого насильнического в мире режима, они впитали в себя глубокую, непримиримую ненависть к насилию. Социалистическая интеллигенция боролась с самодержавием, в котором воплощались пережитки прошлого варварства, во имя самых высоких идеалов человечности, и это двойное обстоятельство наложило глубокую печать на ее психологию. Правда, из ее среды выходили герои — террористы, бросавшие бомбы в угнетателей народа, но вместе с бомбами они бросали в них и свою жизнь. Насилие, не оправданное, не искупленное личной жертвой или риском смерти, не примирялось с ее сознанием. В февральский период эта психология, для преодоления которой у нее не хватало волевых импульсов, обрекала ее заранее на почти неизбежное поражение.

В то же время часть интеллигенции — незначительная,— которой вино революции слишком сильно ударило в голову, впала в другую крайность. В ней проснулись кровожадность, вера в голое и безудержное насилие. Воскресала, казалось, навсегда похороненная нечаевщина. Эти элементы в силу естественного отбора группировались вокруг большевизма. Тут несомненно сказался наряду с развращающим влиянием царизма на психологию некоторых революционно-интеллигентских кругов и утрированный материализм до крайности огрубленного большевиками марксизма. Таким образом было два противоположных крайних настроения, но не формировалось, не складывалось среднее, чуждое тому и другому.

Между требованиями революции и душевной настроенностью большинства социалистической интеллигенции создавалась тяжелая коллизия. В этом и была ее трагедия. Увлечение парламентскими методами в известной мере было, быть может, неосознанной попыткой как-то обойти или смягчить это непримиримое противоречие. Но тем самым создавались неуверенность и шатание, и на их фоне особенно пышно расцвели доктринерство и утопизм — оборотная сторона интеллигентского идеализма, которыми, в сущности, пытались прикрыться от напора действительности.

Сильная власть не создавалась, не могла ведь она родиться сама собой, а без нее революция осуждалась на топтание на месте. Февраль дал русскому народу самую широкую, неограниченную свободу, какой еще никогда не было в мире, что должен был при-

знать сам Лении. Но кроме свободы народиые массы в феврале иичего ие получили... Февральская революция открыла перед иими невиданные возможиости, но революционная власть, как таковая, нх не использовала, ие провела ии одной решительиой меры, которая удовлетворила бы ожидание народа. В силу этого же парламентского фетишизма все, иесмотря на самую острую необходимость, несмотря иа то, что речь шла о предохранеиии революции от гибели, все откладывалось до Учредительного собраиия. Но в силу того же зловещего фетишизма откладывалось и само Учредительиое собрание — до выработки более совершениого избирательного закоиа, до иаступлеиия более иормальиых условий для выборов. И таким образом получалось, что иичего иельзя сделать до Учредительиого собрания, но и Учредительное собрание созывать еще нельзя. Закоиодательиый аппарат революциониой власти бездействовал, а жизнь мчалась вихрем.

В области промышлеиности была проведена только одиа реформа — 8-часовой рабочий день, ио н это была скорее санкцня завоеваиия, осуществленного в явочном порядке рабочими. В деревие, в крепостн революции, положеиие было чудовнщиое. Крестьянство в массе воздерживалось от стихийного захвата земли, увереиное, что она уже от иих ие уйдет. Однако помещики по-прежиему продолжали владеть ею, сохраняя перед законом все свои права собствеииков. Крестьяие должны были, как н раньше, арендовать у иих земельиые клочки, как и раиьше, платить за иих ареидиую плату. Чудовищиость положеиия была в том, что после совершеииой грандиозиой революции против царя и помещиков в деревне продолжали сохраняться прежиие отиошеиия собствеииостн. И революцноиная власть в иеслыханиом ослеплеиии стаиовилась иа их защиту, во имя «закоииости» протнвясь их нарушеиню даже тогда, когда это было иеобходнмо, чтобы иайти времениый выход ради предупреждеиня стихийиых взрывов.

Можно допустить, что земельиый вопрос в целом трудио было разрешить до Учредительиого собрания. Но иельзя понять, почему земля не была объявлеиа всенародиой собственностью и отиита у прежиих владельцев. Даже проект о передаче земель в ведеиие земельных комитетов — требование буквальио всей крестьянской России,— даже этот проект так и остался до коица проектом, иесмотря на то, что Миинстерство земледелия почти все время находилось в руках социалистов, даже социалистов-революцноиеров.

И то же бессилие, та же беспомощность проявляются в самом тяжелом, большом вопросе — вопросе о войие. После неудачного июиьского наступлеиия иаступает маразм. Революция ие умеет говорить полиым голосом с союзниками. Оиа ие умеет добиться от иих ии программы мнра, ии действительиой помощи. Оиа ие умеет уже по-иастоящему и воевать. Зиамеиитая формула Троцкого: «Ни мир ии войиа» — почти уже выражала истиииое положеиие еще до октябрьского переворота.

В оправдаиие бесплодности февральского периода кое-кто ссылается иа коалицию. Коалиция, наверное, была большим препятствием. Но ведь и оиа определялась для громадного большиинства социалистов их привержеиностью к парламеитской тактике. До Учредительиого собрания, которым окоичательно выясняется отиошеиия партийиых сил, ии одиа партия ие должиа брать иа себя целиком всей ответствеиности власти — такова была, как известио, господствующая точка зреиия. Не решалась брать власть партия социалистов-революциоиеров, за которой шла вся крестьянская Россия, за которую иа городских и земских выборах голосовало громадное, подавляющее большиинство иаселеиия. Не решались брать ее и все русские социалистические партии, вместе взятые.

Но и коалицня тоже в известиой мере была ширмой, за которую тоже прятались в смутиом созиаиии своей собствеииой слабости. Ибо для проведеиия революциоииых мер иедостаточно было только одиородиого социалистического правительства. Нужиы были еще решимость и смелость, энергичная мужествеиная политика, ие смущающаяся угрозами и крикамн, откуда бы оии ие доиосились, умеющая ломать все препятствия и обуздывать сопротнвлеиие тех, чьи интересы ею задеваются.

Еще хуже было то, что у социалистической интеллигенции не было достаточно выдержанности и твердости, чтобы последовательно проводить свою политическую линию. Она участвовала в коалиции с буржуазией, но, чувствуя ее непопулярность в массах, всячески порочила ту же коалицию своей печатной и устной пропагандой, подрубая тот сук, на который сама уселась. Она стояла за оборону страны, за сохранение фронта и в то же время вела ожесточенную компанию против союзников, желающих ценою русской крови купить господство над миром.

Так или иначе, к концу *девятого* месяца революции в стране настоящей власти все еще не было. Вместе с тем и инерция прошлого, позволявшая некоторое время сохраняться хотя бы внешней видимости государственности, тоже постепенно исчерпалась. Развал становился явным, неудержимым. Фактическое безвластие разнуздывало анархические инстинкты в массах, быть может, еще сильнее пропаганды большевиков, которые из всех сил их разжигали, и в то же время бесплодие демократической революции, то, что она не разрешила ни одной из проблем, кровно касавшихся народа, эту анархическую стихию питало и усиливало. Две причины вызывали ее нарастание: не было силы, способной ее сдержать; сверху не было дано народным массам планомерно, в порядке революционной законности то, чего тщетно ожидали. Обе эти причины имели один общий источник — отсутствие сильной революционной власти. Социалистическая интеллигенция беспомощно топталась наверху, а внизу уже поднимались валы бурных стихийных движений.

При том положении, которое создалось осенью 1917 года, диктатура становилась объективной неизбежностью. Раз социалисты не могли создать сильной власти в форме революционно-демократической, то она должна была прийти к форме антидемократической, диктаторской, справа или слева. Она не могла прийти справа, потому что революция еще не достигла тогда своей кульминационной точки, потому что она еще не выполнила своих основных задач. Она поэтому пришла слева под знаменем коммунизма.

В революции все обычные жизненные процессы совершаются бешенно-ускоренным темпом. Она не терпит застоя, шага на месте.

Большевизм был вынесен на гребне бушевавших волн анархической стихии, но он сумел потом укротить ее и утвердить свое господство над Россией. Большевизм все же не овладел душой революции, не завоевал основного массива многомиллионного трудового народа. В стране, где революционный взрыв уничтожил все ранее господствовавшие классы, его диктатура есть диктатура над этим народом, и не над кем-либо иным. Правда, большевистская власть держится уже более девяти лет, и это обстоятельство как будто говорит в ее пользу. Но она держится лишь благодаря все более расширяющимся уступкам стране. ВКП покупает сохранение своего господства ценою отказа от своей доктрины, путем выбрасывания за борт того, что составляло ее идеологическое содержание. Большевизм приспособляется к условиям жизни, но это приспособление и приводит к его внутреннему вырождению. От него осталась, в сущности, лишь голая теория диктатуры, за которую большевики всех оттенков продолжают с ожесточением цепляться. *Вырождение большевизма — неизбежный результат его затянувшегося властвования над страной, все внутреннее строение которой находилось в кричащем противоречии с его целями.*

В большевизме, как движении, несомненно отразились русские национальные черты, в нем воплотился дух разрушения, гнев, ненависть, накоплявшиеся в народе под придавившей его каменной плитой самодержавия. Но коммунизм, как учение, как программа, был абсолютно чужд России и революции. Ленин ставил своей партии задачи, совершенно не вытекавшие из внутреннего содержания русской революции и с ней не связанные. Да это было ему неинтересно. Его планы были не национальные, а мировые. По его схеме русская революция должна была послужить лишь рычагом, при помощи

которого можно было бы опрокинуть здание капиталистического мира. И только в этом заключалось для него все ее значение. И только в этом и была вся суть большевизма. Когда выяснилось, что рычаг ничего не опрокинул, в большевизме сломилась его внутренняя пружина, и он обездушился. Большевистское отступление означало поражение коммунизма, крах коммунистического опыта над Россией и русским народом. Но по мере того, как оно продолжается и ширится, выявляются все более истинные размеры поражения и его последствия. По мере того, как большевизм отступает, высвобождаются постепенно внутренние силы страны. По мере того, как Россия оживает, жизнь вступает в свои права и русская революция вопреки всем усилиям большевиков начинает выявлять свое истинное содержание, которое они сознательно игнорировали и не хотели учитывать. В русской жизни все более создаются предпосылки, непримиримые ни с тем, что большевики провозглашают, ни с тем, к чему они стремятся. Все экономическое и социальное развитие страны ускоряющимся темпом идет как раз в обратном направлении.

Большевистская диктатура сохраняется, но она бессильна выполнять то назначение, ради которого она создавалась. Наталкиваясь на могучее противодействие жизни, она принуждена склоняться перед ее требованиями. Она все менее может что-либо регулировать и, наоборот, сама подвергается все более жесткому регулированию. Большевистские кормчие еще стоят у рулевого колеса, но передаточная цепь между колесом и рулем почти перестала ходить.

И в то же время у диктатуры нет более цели, которой можно было бы ее оправдать. Она сохраняет весь грозный аппарат власти, заграждая по-прежнему народу дорогу к свободе и самодеятельности, но работает все более впустую. Ее оправдывание было только в мировой революции, а раз нет мировой революции, то уже не остается ничего, что могло бы послужить для нее более или менее прочным базисом.

Всякая диктаторская власть, какую бы форму она не принимала, может существовать, либо опираясь на тот или иной класс, интересы которого она выражает и политическое господство которого она осуществляет, либо имея под собою фундамент исторических традиций: монархия, империя. Но большевистская диктатура не выражает интересов классов или значительных групп населения, она выражает лишь интересы большевистской партии и охраняет лишь ее монопольное властвование. И у нее уже во всяком случае нет исторических традиций, ореол которых ослеплял бы массы. Такое поистине парадоксальное положение не может длиться без конца в стране, в которой возобновляются глубокие, внутренние жизненные процессы с их непреложными законами. Вот почему большевистская диктатура так или иначе будет изжита, подкапываемая и расшатываемая нарастающей силой этих процессов. Пусть даже гнет ее ужаснее царского, все дело в том, что он не вытекает из внутреннего служения общества, а потому и не так страшен. Большевизм останется лишь фазисом, пусть длительным, русской революции, которая пойдет к своему завершению не под знаком октября, противоречащим ее сущности, а путями, которые февраль самим фактом своим проложил в будущее.

И пусть не пугают паникеры слева или фантасты справа призраками бонапартизма или реставрации. Плуг революции настолько глубоко взрыл русскую почву, что на ней не могут быстро вырастать силы, способные стать опорой для режимов насилия и своевластия. И не трудовые массы России, разбившие вдребезги здание самодержавия и весь тяжелый социальный уклад, которому он служил олицетворением, подставят добровольно свою шею под ярмо нового деспотизма. В феврале вместе с падением царизма исчез строй неравенства, строй сословного общества, уходивший корнями в древний вотчинный период, исчезло все, что на этот строй опиралось, и Россия стала великой трудовой страной.

Февраль снял придавившую их тяжесть с исторических особенностей России, в которых таятся громадные творческие возможности своеобразного передового развития. Но чем

больше отступает большевизм, тем рельефнее намечается своеобразие русской революции. Февраль, в котором оно было так ярко выражено, начинает побеждать октябрь. Революция медленно, но верно возвращается к своим истокам. Она возвращается к тем позициям, которые были даны в феврале. Это вовсе не означает возвращения к лозунгам и формулам, связанным с февральскими днями, как наивно воображают те, кто застыл в настроениях 17-го года. Нельзя перелистать обратно страницы истории, и река времен не течет вспять. Это означает возвращение к тому основному, органическому, что *нес с собой февраль:* свобода и труд, деятельное выступление народных масс на историческую арену, самостоятельное творчество трудящихся, вольно строящих новую жизнь на свободной земле. Февраль в этом.

КРИТИКА

Владимир Лебедев

Тайна посмертного рассказа

(«В тюрьме» Б. Савинкова)

Книжечка небольшого формата в белой обложке. Посредине черный квадрат — Б. В. Савинков в кресле, за письменным столом, с папиросой в руке. На столе бювар с листом белой бумаги, чернильницей и пресс-папье. Сзади, на стене в полосатых обоях — надорванная карта какой-то страны.

А над черным квадратом надпись:

Б. Савинков
В ТЮРЬМЕ
посмертный рассказ.
Предисловие А. В. Луначарского

С портрета прямо на читателя смотрит Б. В. Савинков, полысевший, постаревший, с удивленно-вопросительным, недоуменно-тревожным выражением глаз, с искривившей обрюзгшее лицо жалкой улыбкой, весь осевший, беспокойный, неуверенный.

Снят ли он впрямь в тюремной комфортабельной камере, или в своем рабочем кабинете, недостатки ли это клише, или только теперь после трагического конца видит глаз в его когда-то таком самоуверенном облике незаметные прежде черты,— впечатление от этого портрета, для хорошо знавших Савинкова, жуткое. Точно сквозь ту же самую оболочку проступает какой-то другой человек.

Жизнь Савинкова талантливее его дел и его писаний. Его биография не только канва для романов, она сама — роман. Настоящий революционный авантюрный роман большого размаха. С революцией Савинков никогда не сливался воедино. Несмотря на самые революционные акты, в которых ему приходилось принимать участие, он занимал в ней особое место,— ряд ее целей ему был чужд. К партии, к которой он когда-то принадлежал, у него было очень и очень холодное отношение. Он всегда держался от нее на расстоянии, выделяя себя в какого-то спеца от террора. Партия платила ему той же монетой.

К моменту революции 1917 года и в самом 1917 году Савинков духовно был ближе к гостиной З. Гиппиус и Д. Мережковского, чем к партии, в рядах которой он столько раз рисковал жизнью.

1917-й и последующие за ним годы окончательно оторвали Савинкова сначала от партии, а затем и от революции.

Когда рухнуло самодержавие, в борьбе против которого Савинков соединил свою судьбу с судьбой революции, разорвались и последние формальные узы, связывавшие его с ней. Взнесенный капризом революционной волны на самый гребень ее, к власти, он не захотел затем скатиться с тою же волной в бушующую стихию. Он попробовал отделиться от своей волны и... попал в другие, окончательно чуждые ему воды.

До 1917 года его несла революционная волна. С 1918 года он не был никем и ничем связан. Революция подготовила для него героическую биографию. Его значение и все

его авантюры в станах белых диктаторов были возможны только при наличии этой биографии. В 1917 году он жил на проценты с революционного капитала. С 1918 года он начал растрачивать этот революционный капитал и растратил его окончательно. Это был период чистой авантюры, авантюрного романа, в центре которого стоял он сам, романа, который обусловливался только им. В нем самом была завязка и развязка. Он упорно не хотел понять, что все авантюры обязательно кончатся крахом, что ожесточенная борьба Савинкова эпохи 1917—24 годов против Савинкова же времен 1904—17 годов бесцельна и что в этой бесплодной борьбе он не сделается героем контрреволюционным, а убьет героя революционного. Савинков должен был родиться в иную эпоху... Правда, и наше бурное время нередко выдвигает на первый план политической жизни героев авантюрных романов. Но, как правило, они на этом плане долго не удерживаются. И что замечательно — чтобы «успеть», они по большей части должны иметь за собой революционное прошлое. Революционная биография — это трамплин, с которого герои политических авантюрных романов прыгают на политические вершины.

Таково революционное обаяние нашей эпохи.

Необходимо огромное чувство меры и такта, чтобы, уйдя от революции в революционный период, обратившись против нее, но сохранив страсть к романтизму, которой пронизана каждая революция, не попасть в авантюру. Ведь и в казовой, феерической стороне революции много от авантюры. Только фанатическая преданность поставленным революцией целям спасает революцию — дело рук человеческих — от вырождения в авантюру, а самих революционеров от превращения в героев политических авантюрных романов. У Савинкова не было ни чувства такта, ни преданности целям революции. Не уйдя умом и сердцем в контрреволюцию — тогда он стал бы просто контрреволюционером,— не отказавшись от революционных методов, от казовой стороны революционного действия, но изменив революции, он неизбежно превращался в героя авантюрного романа.

Вряд ли мы ошибемся, если скажем, что перед глазами Савинкова в последний период его активной деятельности за границей стоял образ «успевшего» Муссолини, человека тоже с революционной биографией (теперь окончательно превратившегося в кровавого авантюриста, чье дело рухнет в кровь и грязь).

Но и на пути героя авантюрного романа необходимо вовремя остановиться, чтобы не превратиться просто в авантюриста, или, что еще хуже, «бывшего» авантюриста... Савинкову грозила эта участь. Переходя от авантюры к авантюре, он почти дошел до едва заметной черты, отделяющей героя авантюры от авантюриста.

Савинков заграничного пореволюционного периода убил прежнего Савинкова — героя. Остался хуже, чем просто Савинков, чем один из бывших революционеров, бывших министров, бывших контрреволюционеров, всем и всему изменявший и всеми покинутый. Осталась та жалкая, осевшая, беспокойно-неуверенная фигура, которая глядит на нас с обложки белой книжечки...

Но судьба, развенчав революционного героя Савинкова — руками же Савинкова,— не остановилась на главе «Бывший». Она закончила роман его жизни главой: трагическая смерть. Трагическая смерть — это увенчание жизни героя романа, это спасение его от прозаического и пошлого конца, в ничьего внимания не привлекающем прозябании.

Трагическая смерть словно резкой красной чертой подчеркнула все романтическое в жизни Савинкова и возродила его снова — после смерти — к его подлинной, единственной роли,— роли героя политического авантюрного романа.

* * *

Как попал в руки большевиков Савинков? Как он умер? Покончил ли сам с собой,— сам завершил роман своей жизни, был убит, как склонны думать некоторые, чекистами? Что вызвало его самоубийство или убийство?

Эти вопросы волновали и волнуют многих.

Тайна его смерти — убийство или самоубийство — несомненно будет раскрыта до конца. У нас нет оснований не верить в версию самоубийства. Все говорит именно за то, что Савинков сам прервал свое существование. Но тайну своих последних дней он, может быть, унес в могилу. Мы говорим «может быть», так как не исключена возможность, что в архивах ГПУ хранится разгадка и этой тайны.

Но в посмертном рассказе Савинкова «В тюрьме», на наш взгляд, есть некоторые данные, проливающие свет на тайну его последних дней, во всяком случае, на тайну его последних переживаний, завершившихся трагическим концом.

В этот рассказ, написанный, по словам Луначарского, незадолго до смерти, Савинков несомненно внес автобиографические черты. По заключении своем в тюрьму Савинков был использован большевиками в качестве составителя восхвалительных воззваний в пользу большевистской власти, сочинителя писем к родным и знакомым, в которых он призывал тех, кому предназначались эти письма, признать большевиков, памфлетиста и обличителя всех, не признающих благодеяний большевистской диктатуры.

Савинкову, кроме того, была дана еще одна задача — художественное осмеяние эмиграции. Слов нет, в эмиграции немало смешного и отталкивающего,— эмигрантскому Щедрину материала для «Эмигрантских очерков» было бы предостаточно. Но «заказать» такие «Очерки» посаженному в тюрьму злейшему врагу большевиков, вешавшему вместе с Балаховичем большевистских комиссаров, гноившему в концентрационных лагерях лучшие элементы эмиграции — ее низы, вовлекавшиеся им на польской территории в глупо-преступные, изменнические авантюры,— словом, поручить художественное осмеяние эмиграции строившему все свои расчеты на этой эмиграции Савинкову,— до этого могли додуматься только луначарские.

Какое, в самом деле, наслаждение испытывали эти господа, залучившие каким-то, еще остающимся в тайне образом в тюрьму уже обезвреженного жизнью, уже потерявшего значение врага, при чтении его наивно-подлаживающихся под большевиков писем, его, по грубому трафарету, наляпанных воззваний... Как должны были они весело хохотать при виде страшного самооплевания, производившегося человеком, которого они когда-то так боялись... Какая месть за этот страх!

Савинков, мечтавший об одной веревке, на которой можно было бы повесить всех большевиков, пишет в большевистской тюрьме агитационные большевистские листки!

Савинков, со смаком ненавидевший «Гришку Апфельбаума» и «Леву Бронштейна» * (иначе он о них не говорил), в качестве слагателя од Гришке и Леве!..

Савинков — кумир части эмиграции, строчащий памфлеты в стиле Эль д'Ора на эту самую часть эмиграции!..

Кроме удовольствия, большевики решили извлечь и пользу из писаний Савинкова. Им улыбалась мысль превратить его в пропагандиста-писателя. Чего уж убедительнее,— сидя в тюрьме, пишет... Так глубоко раскаяние человека...

Однако Савинков опрокинул эти практические расчеты. Савинков-самоубийца уничтожил Савинкова-большевистского пропагандиста и свел на нет все значения перехода к большевикам.

В предисловии к «В тюрьме» г. Луначарский так выражает большевистское сожаление по поводу трагического конца Савинкова:

«Для меня ясно только одно. Всякий из нас не мог не быть огорченным смертью Савинкова, и не потому, что нам жаль его персонально, человек тот был — не только по своим полубелогвардейским идеям последнего периода, но и по общему тону своих миросозерцаний — какого-то фанатического терроризма, а потом какого-то декадентского оплевывания своей партии очень несимпатичен нам и чужд, а дело в том, что Савинков мог бы быть чрезвычайно полезен. Это я говорил уже в своей первой статье о Савинкове непосредственно после ареста.

Савинков очень много видел и очень много знал. Не считая его первоклассным талантом, нельзя не признать, что у него было известное беллетристическое дарова-

* Известные под политическими псевдонимами — Г. Зиновьев и Л. Троцкий (*Примеч. сост.*).

ние. Дарование это высказалось в довольно тонкой наблюдательности и язвительной остроумности, это очень сказалось в его недавней статье о Чернове. В некоторой общей нервной чуткости, которая легко позволяет откликаться Савинкову на все стороны событий, наконец, в довольно напряженной, местами даже захватывающей форме его повествований. Обладая таким количеством опыта и таким недюжинным пером, Савинков, несомненно, мог оказаться одним из интереснейших летописцев перипетий борьбы революции и контрреволюции».

Из приведенной цитаты ясно, что именно г. Луначарский был автором затеи использования Савинкова в качестве подневольного тюремного писателя, художественного обличителя всех противников большевизма. К моральному облику и умственному уровню г. Луначарского эта дикая затея подходит как нельзя лучше. Конечно, подневольный памфлетист и обличитель своим опытом доказал абсурдность затеи Луначарского. Ничего художественного ни в смысле возвеличения большевиков, ни в смысле оплевания их врагов он в тюрьме не создал. Кроме памфлетов, писем и воззваний, он написал два пошлых рассказа (из опубликованных): «Последние помещики» и «Недоразумение». В этих рассказах он, видимо, прислуживается к большевикам.

Зато третий рассказ, «В тюрьме», где речь идет о переживаниях самого Савинкова, напоминает автора «Коня Бледного» и «То, чего не было». Как и в этих двух произведениях, автор в «В тюрьме» пишет именно о том, что было. При этом, взяв за остов правдоподобный факт, похожий на действительность и могущий иметь отношение к самому автору, он вкладывает в уста героя свои, савинковские мысли, свои терзания. Написанный «незадолго до трагической смерти», этот рассказ является ценнейшим человеческим документом.

Сюжет рассказа таков. Полковник Гвоздев, боровшийся против большевиков, возвращается в Россию. «При возвращении в Россию ему обещали прощение». Но не только не простили, а посадили в тюрьму. В тюрьме большевистский следователь пытается сделать из него предателя, требуя выдачи всех товарищей Гвоздева по организации не только за границей, но и в России.

Савинков описывает, несомненно, свой тюремный опыт. Гвоздеву дают отдельную камеру. Затем меняют на лучшую. Ему разрешают иметь вино, портвейн. Заходя в комнату следователя, он закуривает папиросу. Следователя он называет «товарищ». Следователь с ним изысканно вежлив, величает его по имени-отчеству. И все это происходит с человеком, которого для замаскировки Савинков изображает абсолютным ничтожеством, никого и ничего не представляющим, одним из тех глупых «белых» обывателей, о котором он говорит так:

«Начальник спрятал платок и зевнул. Дело „бывшего полковника Гвоздева“ давно надоело ему. Дело было несложное. При возвращении в Россию ему обещали прощение,— значит, надо простить. Обвиняемый врал — по глупости и из страха».

У Гвоздева со следователем Яголковским происходит такой разговор:

— Вы ведь, Василий Иванович, состояли в тайном обществе «Синий крест»?

— Состоял.

— И вы, кажется, заявили, что согласны указать его членов?

— Да, заявил.

— Почему же только за границей, а не в России?

— Я не предатель.

. . . .

— Я не предатель,— повторил полковник Гвоздев.

— Так, а вы все-таки подумайте, Василий Иванович...

. . . .

— Я подумаю.

— Да, да, подумайте... Подумайте непременно...

Гвоздев не знает, что ему делать. Он принимается писать письмо товарищу Яголковскому. Яголковский — да ведь это же Дзержинский...

«Он писал: «Гражданин Яголковский», но, подумав, зачеркнул «гражданин» и поставил

«товарищ». «Товарищ Яголковский. Я готов умереть, но по чести и совести должен вам заявить, что никогда не буду предателем. У меня хватит гражданского мужества честно и всенародно покаяться в своих преступлениях: пусть рабоче-крестьянская власть нелицеприятно судит меня. Я полагаюсь на великодушие товарищей судей. Я уверен также, что они примут во внимание мое революционное прошлое: в 1910 году, командуя сотней, я отказался стрелять в рабочих. Я прошу уволить меня от показаний, касающихся лиц, живущих в России. По чести и совести я дать таковых не могу. 20 апреля. Василий Гвоздев».

В этом письме Гвоздева, написанном Савинковым за несколько дней до самоубийства,— до самоубийства, о котором не мог не думать в эти дни автор «В тюрьме», слышен вопль человека, стремящегося снять с себя тяжелое обвинение в предательстве своих друзей в России, обвинение, высказанное многими и Савинкову известное. Силы этого вопля не уменьшают маскирующее разъяснение автора: «Он знал, что пишет неправду. Он не был готов умереть и даже не думал о смерти».

И как поразительно похожи язык и стиль Гвоздева на язык и стиль самого Савинкова: «по чести и совести», «пусть рабоче-крестьянская власть нелицеприятно судит меня» — это ведь язык савинковских показаний на суде и стиль его воззваний!

Когда Савинков писал свой рассказ, полемика с ним заграничников уже почти закончилась. Большевики давали ему читать все, что появлялось о нем в заграничной прессе, и заставляли его отвечать некоторым из находившихся за границей политическим деятелям, заранее объявляя в «Известиях» и в «Правде», что в скором времени Савинков ответит тому-то и тому-то. Савинков знал, что его уличили в том, что в одном из своих показаний или писем он перепутал факты и лица. Дело шло о факте отказа одного из его родственников стрельбы по народу. И Гвоздев тоже знал, что «кроме того, не он отказался стрелять в рабочих, а его приятель хорунжий Шумилин. „Ну, да Яголковский не разберет... давно это было..." — сказал он себе и повеселел».

Но Яголковский Гвоздева не выпускал. Гвоздев бомбардирует письмами Яголковского,— как это похоже на самого Савинкова! Он убеждает большевиков в том, что совершенно отошел от белых. Он пишет заявление, так сходное по отчаянию с последним письмом самого Савинкова, быть может, одновременно созревавшим в его мозгу...

«В Коллегию ГПУ. Товарищи! Одиночество для меня пытка. Делайте со мной что хотите. Но по чести и совести заявляю, что если через трое суток я не буду освобожден, то лучше расстреляйте меня. Обращаюсь к вам с последней просьбой: мой нательный крест перешлите моему малолетнему сыну Михаилу в Берлин. 24 мая. Гвоздев».

И тут же Гвоздев-Савинков говорит о Гвоздеве, что он забывал о том, что обращается к людям, которых он сам прежде расстреливал...

Яголковского вопли Гвоздева не трогали, как не тронули вопли Савинкова Дзержинского. Яголковский «знал, что дело Гвоздева предполагается прекратить ввиду того, что «Синий крест» был никому ненужным сборищем «заштатных сенаторов, выброшенных на асфальт рижских кварталов» (не так же ли презрительно писал в то время Савинков о своей собственной, савинковской организации, о своем «Синем кресте»?), но, зная, все же толкал Гвоздева на предательство. И здесь к Гвоздеву применяется прием, который ежедневно применялся к Савинкову:

— Эмигранты вас ругают, а вы церемонитесь с ними,— сказал он.

Это была правда. Гвоздев знал, что его ругают, но все же спросил:

— А очень ругают?

— О, еще как...

— Ну, тогда я все расскажу...

Эти слова у него вырвались против воли. В ту же минуту он спохватился. Он даже начал: «Товарищи...»

Но тут, говорит автор, произошло совершенно неожиданное. Яголковский приготовился записывать, а полковник начал облыжно оговаривать кого попало: «Он стал припоминать приятелей и знакомых — товарищей по училищу и полку. Тех, кого он встречал на фронте. Тех, с кем жил за границей. Наконец, случайных, малоизвестных ему людей: судью в Киеве, учителя в Екатеринославе, священника в Туле и даже барышню

из цветочного магазиия, за которой ухаживал лет восемь тому иазад. Он называл имеиа и фамилии, изобретал конспиративиые явки и выдумывал правдоподобные, легко запоминаемые пароли. Ои ие ограиичился этим. Ои в подробиостях сообщил о заговоре в Москве, о «пятерках» в красиых частях, о связи с «зелеными» на Кавказе, о якобы вездесущем и всемогущем „Сиием кресте“, секретарем „верховиого комитета“ которого состоял он, полковник Гвоздев».

Как поразительио, коиечно, иарочито заостреино иапомииает вторая часть показаиий Гвоздева все же преувеличенные сведения, которые Савииков сообщал за граиицей своим высокнм покровителям: Черчиллям, Пилсудскому и другим — об успехах своей собственной оргаиизации. Как похоже в первой части его показаиий припутываиие малозиакомых лиц — иу, хотя бы судьи из Киева, с подобиым же припутываиием самим Савииковым в своих показаниях ряда лиц, как, иапример, тогда уже покойиого Клецанду н других. Но и здесь Савииков устами своего героя говорит: «Я иикого ие предал, я припутывал только тех, кому это ие могло прииести вреда».

Попутио Гвоздев делает иаблюдеиия и приходит к выводам (совершенно как в своих воззваииях Савииков) о созидательиой мощи большевиков:

«По лестиице иеуклюже, как медвежата, карабкались такие же иеуклюжие часовые. Полковиик Гвоздев с изумлеиием смотрел иа их крепкие сапоги, рубахи, подсумки и пояса. „Создали армию, черт бы их взял... Пожалуй, и в самом деле не боятся Европы?“».

И Савинков в своих письмах говорит о ие боящейся Европы русской Красиой Армии. «Но об освобождеиии все еще ие было речи». Гвоздев ждет, волиуется. Тем временем выясияется его ложь,— все оговоры оказываются иаивиыми, явно иелепыми, смешиыми. Гвоздева решают выслать в Нарым. Но ои увереи, что ему предстоит расстрел. В его голове зреет план — убить бутылкой портвейиа (взяв с собой ее иа последиий допрос) Яголковского и, воспользовавшнсь его пропуском, бежать. В момеит, когда Яголковский начииает писать постаиовлеиие о высылке, Гвоздев убивает его, бежит в смятеиии по зданию, попадает в руки чекистов и узиает о создаиной его собствеииым воображеннем недоразумеиии, жертвой которого ои стал.

И здесь, словио для того, чтобы подчеркиуть автобиографический характер рассказа, Савииков закаичивает его такой вовсе ие вытекающей из всего повествоваиия и из самого типа Гвоздева фразой:

«И только теперь ои поиял, что был арестоваи, лгал н убил Яголковского только из-за того, что боялся сознаться в своем иичтожестве, в иичтожестве „Синего креста“».

Эта фраза нмеет смысл только в том случае, еслн она относнтся к автору, а ие к герою рассказа.

Коиец рассказа поразнл иаписавшего к рассказу предисловие г. Луиачарского. Луиачарский иичего ие понял в рассказе. Ои пытается использовать его в смысле пропагаиды неиавнсти и презрения к змиграцни. Не расшифроваииый им Гвоздев представляется ему снмволом змиграции, символом, созданным Савниковым якобы из «бешеиой злобы» против змиграции и белых. Прнчем Луначарский для убедительиости говорит о Гвоздеве то, чего нет у автора. Ои дорисовывает за Савиикова умствеииый облик Гвоздева: в нем «есть тупая ииерция, обоснованиая иа том, что большевики — разбойники и лжецы, и тупая ннертиая вера в какую-то Европу, которая поможет,— и, за исключеиием этих выдумок, все остальиое сплошиая дыра».

Луначарский, приинмая Гвоздева всерьез, видит несообразиость, нелогичиость, иелепость его действий. Несоответствие всего рассказа с заключительиой фразой выводит его из себя... И он преображает Гвоздева, обмаиутого большевиками, в символическую фигуру.

Луиачарскому н в голову ие может прийти, что Савииков ие символическую фигуру писал, а пытался в предсмертиом рассказе между строк сказать то, чего ие мог сказать открыто. Ведь и Гвоздев, по существу, коичает самоубийством...

Луиачарский поиимает, что полковиик Гвоздев, такой, каким нарисовал его Савииков, в природе ие существует и существовать ие может. Даже ои его расценивает как «плод озлобленной фаитазии». И тем ие меиее, призиав его за «плод озлоблеииой фаи-

тазии», он этот плод превращает в символ сотен тысяч людей.

Савинков знал, каким надо нарисовать героя своего предсмертного рассказа для того, чтобы господа луначарские, написав к нему соответствующее предисловие, щедро кинули в читательские массы белую книжечку, на которой написано: «В кол. 50 000 экз.».

Навязав Гвоздеву символическую роль представителя всей эмиграции, Луначарский, естественно, не может понять: почему Савинков назвал свой рассказ «В тюрьме», а не «страшным клеймящим словом „Мразь“, которое сам автор употребляет по отношению к своему герою» и которое, по мнению Луначарского, приложимо ко всей эмиграции...

Да именно потому, что Савинков и в самом заглавии подчеркивает центр тяжести рассказа, лежащий в переживаниях, происходящих в «В тюрьме», что он описывает свою тюрьму! Гвоздев в «В тюрьме» так же «выдуман», как и Жорж в «Коне Бледном». Жорж той эпохи, действовавший в стане революционеров, Жорж в ореоле боевой славы вызвал бесконечное возмущение в революционной среде. Уже «Конь Вороной» подводит Жоржа к последней черте, а полковник Гвоздев (нелепая фигура, «выдуманная» для замаскировки) — роковое, завершающее весь круг превращение Жоржа. Именно потому, что Луначарский совершенно не понял типа Савинкова, он не способен был понять и самой возможности трагического конца Савинкова.

«Обстоятельства, сопровождавшие самоубийство Савинкова,— пишет он,— известны мало. Быть может, причины, которые он высказал при этом, играли не столь значительную роль, возможно, и какие-нибудь личные моменты, которые остались, а может быть, и навсегда останутся неизвестными широкой публике». Затем Луначарский делает предположение, что Савинков, понявший призрачность борьбы с большевизмом и принесший «повинную голову», «ожидал очень скорого изменения своей судьбы и предоставления ему той или иной ответственной работы». «Возможно,— говорит Луначарский,— что долгий срок, протекший со времени процесса, и холодная сдержанность советской власти на всякие запросы о перемене судьбы (ну разве же это не описание отношений Гвоздев — Яголковский? — *Вл. Лебедев*) могли привесть в отчаяние этого гордого и сильного человека. В самом деле, не гнить же всю жизнь в тюрьме человеку подобной активности и подобного бешеного самолюбия. Савинков мог перенести что угодно, но только не презрительное забвение: такого поворота он мог панически испугаться».

«Но,— продолжает Луначарский,— с другой стороны, Савинков был человек далеко не глупый и не без выдержки. Не может быть, чтоб он не понял всю законность недоверия к нему, не может быть, чтоб он не предполагал, что со временем все может измениться и повернуться таким образом, что та или другая роль в революционном строительстве может выпасть на его долю».

Конечно, Савинков это понимал. Но он понимал то, чего не понимал Луначарский. Он понимал, что для него единственною возможностью остаться героем хотя бы политического авантюрного действия являлась бы возможность занять место если не Сталина, то прежнего Троцкого. Что могли предложить ему в лучшем случае большевики? Роль Слащева, или Хинчука, или Майского? Назначить его в кооператоры или в деятели профсоюзов? Савинков — кооператор! Ведь для него это и было бы тем, что он презрительно определял названием «отставной козы барабанщик».

Но, могут сказать, всего этого Савинков не мог не знать до перехода к большевикам. Да, не мог не знать. И вопрос о том,— почему и как он перешел к большевикам,— остается тайной.

Но, перейдя к большевикам и приблизившись вплотную к развязке, Луначарскому кажущейся такой замечательной и почетной, Савинков почувствовал, что она для него обозначает переход в прозябание, в бесповоротное превращение в «бывшего», больше того, в «бывшего авантюриста», «поумневшего» и принявшегося за «созидательную работу». Его «Синий крест», в ничтожестве которого он так долго не хотел сознаваться, оказался для него последним и роковым звеном жизни героя политического авантюрного действия. Впереди была скука, большевистская обывательщина, развенчание.

Еще несколько слов о предисловии. В одном пальце Савинкова было больше талантливости и художественности, чем во всем г. Луначарском. Комиссар народного просвещения не знает границ своей наглой пошлости. Он, так отвратительно клеветавший (в качестве добровольного чекиста-прокурора на процессе смертников) на партию социалистов-революционеров, с брезгливостью говорит о Савинкове из-за его «какого-то декадентского оплевывания своей партии». Он, кроме того, доволен тем описанием большевиков-чекистов, какое сделано Савинковым, не замечая даже, что и в этой форме оно запечатлевает их в представлении читателя как отвратительные образы безжалостных и подлых тюремщиков и вызывает своеобразную симпатию, вытекающую из жалости к жертве и отвращения к палачам, к нелепой фигуре Гвоздева.

Ирония судьбы... Предисловие к последней главе жизни Савинкова и к его последнему художественному произведению сделано Луначарским, одним из палачей Савинкова, быть может, самым страшным из палачей, духовным палачом, задумавшим использовать художественный талант Савинкова.

Быть может, и это месть? Савинков бесконечно презирал Луначарского. Помню, как, перейдя фронт Красной Армии и очутившись в штабе армии Учредительного собрания в Казани, Савинков рассказывал о последних днях своего пребывания в Москве. Савинкова после разгрома его штаба в Москве и аресте Виленкина искали повсюду. В газетах даны были все приметы вплоть до «желтых гетр». И вдруг Савинков сталкивается на улице лицом к лицу с очень хорошо его знавшим Луначарским, только что вылезшим из автомобиля.

— Мы посмотрели друг другу в глаза, и эта... прошла молча.

— Но, может быть, он вас не выдал из благородства? — заметил я.

— Он?! Иудушка-Луначарский? Эта мразь! Нет, он знал, что я его тут же застрелю как собаку. Луначарский и благородство?..— и Савинков рассмеялся предположению о возможности какого бы то ни было благородства у Луначарского.

Предисловие Луначарского блестяще подтверждает этот смех его жертвы. А «страшное, клеймящее слово «мразь!», так понравившееся Луначарскому, было употреблено Савинковым, как видит читатель, восемь с лишним лет тому назад.

Д. Святополк-Мирский

Есенин

А казалось... казалось еще вчера... Дорогие мои... дорогие... хор-рошие.
Пугачев

Есенин сейчас самый любимый из новых русских поэтов. Причина тому не одно только свежее и сильное впечатление его смерти. Она только подчеркнула давно уже определившуюся любовь к нему читателей. Чувство, вызванное его смертью, не взрыв отчаяния от смерти великого поэта. Смерть Есенина не показалась ни неожиданной, ни бессмысленной. Она усилила общую любовь к нему не только потому, что всякая потеря увеличивает ценность теряемого, но и потому, что самой своей смертью Есенин как бы заслужил любви еще большей,— она оправдала и осветила его жизнь.

Чувство, вызванное его смертью, не похоже на чувство, вызванное смертью Блока, как любовь к Есенину не похожа на любовь к Блоку. В любви к Блоку господствовало поклонение, сознание неоспоримого и удаляющего превосходства. Любовь к Есенину замешана на жалости и сострадании, на полном понимании и сочувствии. Его любят нежней и ласковей, более по-человечески, чем обыкновенно любят поэтов — слишком божественных для человеческого к ним отношения. Чувство это разделяется всеми, кроме очень немногих озлобленных, не умеющих в «большевике» расслышать человека. Не любить Есенина для русского читателя теперь — признак или слепоты, или, если он зряч, какой-то несомненной моральной дефективности.

Есенин не великий поэт, не Блок, не Анненский, не Пастернак. В любви к нему всегда есть сознание равенства, соизмеримости с ним, полной доступности. Он «один из нас». В нашем сердце он занимает то место, которое сорок лет назад занимал Надсон. Сравнение это, я знаю, нынче звучит обидою, и я должен сразу же оговориться, что о сравнении дарований Есенина и Надсона не может быть и речи: просто Есенин был, Надсон не был поэтом. Но их функции в общественном организме сходные. И тот и другой сосредоточили в себе, с особоубедительной для среднего современного читателя силой, все *слабости* и всю *тоску* своего поколения. Знаменателен образ смерти того и другого — чахотка Надсона и веревка Есенина. Первая символична для расслабленности, бессилия, бесплодия «восьмидесятников». Вторая — для пустоты, неприкаянности, ограбленности нашего поколения. Болезнь Надсона была болезнь силы. Болезнь Есенина — болезнь веры. Надсон не мог делать. Есенин не мог верить. Безверие — корень трагедии Есенина.

Обычное, «вульгарное», представление о Есенине как о поэте «левом» и «крестьянском» покоится на недоразумении. Ни тем, ни другим он не был. Представление о его «левизне» основано на его имажинизме. Имажинисты (помимо Есенина) не были «левыми» поэтами по той простой причине, что они не были поэтами. Имажинизм самого Есенина был, конечно, вполне органичен: зачатки его совершенно очевидны уже в первой из его книг (*Радуница.* 1916). Но имажинизм как теория не так уж далек

от старого доброго «мышления образами» Белинского и Потебни. Даже неразличение «чистого» от «нечистого» (помимо его бытовой, «хулиганской» подкладки) имеет почтенную традицию в русской литературе (с одной стороны — Андреев, Горький, натурализм Гоголя, с другой — непристойная традиция Лермонтова и Пушкина). По существу своему поэзия Есенина совершенно «правая», тесно связанная с большим прошлым (Блок, декоративное народничество стихов А. Н. Толстого, сентиментальное народничество 70-х годов и т. д.). В ней нет ничего против шерсти традиционного отношения к поэзии. Идеолог крайнего поэтического консерватизма, С. А. Андреевский ограничивал область поэзии «красотой и меланхолией». Заменим нерусскую «меланхолию» русской тоской, и это определение совершенно подойдет к поэзии Есенина,— красота старой деревни, и тоска — по чем? (Вне этого определения остаются только лжепророческие поэмы скифской эпохи, явно ненастоящие.) Тоска, «сердечная тоска», которую Пушкин слышал в песнях ямщика, которая звучит в старой народной песне и во всей той полосе русской поэзии, которую можно назвать народно-романтической,— у Григорьева, у Некрасова, у Блока, и у безвестных поэтов-народников вроде Сурикова и Садовникова, и в лирической прозе пленительного и забытого Левитова, и в репертуаре Плевицкой. За эту тоску мы и любим Есенина. Все его хулиганство, конечно, не более как одно из проявлений этой тоски: сочетание традиционно русское. И тоска эта звучна у Есенина в стихах по своей легкой, доступной и сладостной мелодичности, единственных в современной поэзии. По «музыкальности», в том смысле, как это слово понимается средним читателем стихов, Есенин стоит рядом с Блоком и имеет то преимущество, что его музыка не отягчена и не осложнена слишком внемерной музыкой сфер.

И песенность Есенина, и его тоска, конечно, очень русские, но не непременно «народные» или «крестьянские». По паспорту крестьянин и романтик крестьянства, в своей ранней поэзии Есенин не был крестьянским поэтом. Народную песню и народную легенду он воспринимал сквозь их литературные отражения, хотя бы через Клюева. Клюев был более, чем Есенин, связан со своей, обонежской почвой, но и у него литературная традиция преобладает над народною.

«Литературность» же Есенина особенно ясно выступает из сопоставления его близости с литературной поэзией, при полном отсутствии близости с живым народным творчеством. В его первых книгах постоянно звучит Блок и никогда не звучит частушка. Русское крестьянство сейчас создает удивительно живую и живучую поэзию (и как раз Рязанская губерния один из центров этого творчества), а поэт, вышедший из рязанского крестьянства, совершенно с этой поэзией не связан.

Народничество Есенина — литературного происхождения и обусловлено литературными влияниями. Сначала ретроспективная романтика Клюева, потом социалистическая романтика Иванова-Разумника. И Клюев, и Иванов-Разумник — люди противоположного есенинскому склада, люди с прочным идейным стержнем, без сомнений и без тоски. Подчиниться им Есенин должен был очень легко. Но это было именно подчинение внешней воле. Имажинизм же, с его анархической богемностью, был для Есенина освобождением и обнаружением,— он оставался один с собою и своей тоской.

После того, что он изверился и в клюевскую Русь, и в разумниковскую Инонию, Есенину осталось только одно — вера в себя как поэта и любовь к своей славе. Многие поэты любили и любят свою поэзию и свою славу, веруют в свое величие и требуют себе поклонения. Но у Есенина как раз не было этой преданности себе. Поэзия и слава были для него соломинкой утопающего. Поэтому и в самой своей самовлюбленности он так глубоко человечен и трогателен, что мы его еще больше любим за нее. Подлинной веры в себя у него не было, и все его самопоклонение, как и все его хулиганство, было только одной из форм его беспредметной и безнадежной тоски.

От другой его веры и любви, романтической любви к некоторой поэтической Руси, у него тоже осталась одна тоска, одно разочарование. Революция, которую он сквозь клюевские и разумниковские очки увидел было как осуществление какой-то эстетически-мистической утопии, рано обернулась Есенину крушением всякой романтики,— предстала ему уродливым, прозаически-пресным, механически-бездушным своим лицом,— плугом, вырывающим из родной земли все, что было дорого ему своей красотой и поэзией. В подлинной революции, не утопической революции скифов, но революции чеки и комсомола,— романтик Есенин не мог найти ни красоты, ни предмета веры. Эта жгучая и острая тоска, безнадежное разочарование в обманувшей его родине звучит с изумительно искренней силой в двух из его поздних стихотворений, которые несомненно останутся в числе самых подлинных и памятных стихов нашего времени,— *На Родине* и *Русь советская.* Но вообще стихи его последних лет (например, *Персидские мотивы*) свидетельствуют о явном упадке его поэтической силы, и, когда последняя его вера — в свои стихи — рушилась, оставался единственно неизбежный конец.

У Есенина много плохих стихов, и почти нет совершенных. Но (если исключить фальшивую и не настоящую *Инонию* и примыкающий к ней цикл) во всех его стихах есть особое очарование, какая-то особая трогательность, которая так влечет к нему и заставляет так человечески его любить. Кроме той тоски, за которую русский человек все прощает, в Есенине был еще какой-то огромный запас человеческой нежности. Она особенно заразительна в его чудных стихах о животных. Все помнят его жеребенка и его собаку. Это не «стихийные», не «настоящие», а совершенно очеловеченные животные. Ни у одного русского поэта я не знаю таких трогательно-человеческих стихов.

Нигде, может быть, тоска Есенина не звучит так ясно, как в *Пугачеве. Пугачев*, конечно, слабая вещь. Формально трудно что-нибудь возразить тому критику, который назвал ее «жалкой и смехотворной». Но надо все-таки быть человечески глухим, чтобы не расслышать за этими слабыми стихами и нелепыми образами самой страшно подлинной, пожирающей и безысходной тоски писавшего ее человека. Особенно последние слова Пугачева, когда изменившие ему товарищи бросаются его вязать, несравненны по своей хватающей заразительности:

Где ж ты? Где же ты, былая мощь?
Хочешь встать — и рукою не можешь двинуться!
Юность, юность! Как майская ночь,
Отцвела ты черемуха в степной провинции.
Вот всплывает, всплывает синь ночная над Доном,
Тянет мягкою гарью с сухих перелесиц.
Золотою известкой над низеньким домом
Брызжет широкий и теплый месяц.
Где-то хрипло и нехотя кукарекнет петух,
В рваные ноздри пылью чихнет околица,
И все дальше, все дальше, встревоживши сонный луг,
Бежит колокольчик, пока за горой не расколется.
Боже мой!
Неужели пришла пора?
Неужель под думой так же падаешь, как под ношей?..
А казалось... казалось еще вчера...
Дорогие мои... дорогие... хор-рошие...

Пугачев, предаваемый своими сообщниками,— Есенин, *предаваемый своей последней*

верой — в свои стихи. Пугачев был началом упадка Есенина. Лучшие его стихи принадлежат ко времени, непосредственно предшествующему, ко времени его московской жизни с имажинистами, когда он уже успел освободиться от фальши разумниковского псевдомистицизма. Сюда принадлежат *Трерядница, Песни забулдыги* и *Кобыльи корабли* с пленительным *Сорокоустом.* Правда, и в этих циклах мало стихотворений вполне удовлетворительных, как «Жеребенок» или «*Песнь о собаке*». Почти в каждом есть или слишком явная реминисценция (обыкновенно из Блока, например, чудные стихи «*Не жалею, не зову, не плачу*» слишком неизбежно вызывают «*Осеннюю волю*»); или «пустые», малоубедительные стихи; или чрезмерно неоправданные óбразы; или совсем неубедительная лжемистика («Или, Или, Лима Самахфани»,— с характерными для книжности Есенина неверными ударениями). Но зато есть в них отдельные стихи, до краев наполненные такой безмерной и такой совершенно излившейся «сердечной тоски», что их место рядом с самыми лучшими, самыми чистыми, самыми незабвенными стихами русских поэтов; как, например, это начало:

Проплясал, проплакал дождь весенний,
Замерла гроза.
Скучно мне с тобой, Сергеей Есенин,
Подымать глаза...

Или:

Режет серп тяжелые колосья,
Как под горло режут лебедей.

Или:

Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.

Или конец стихов к Клюеву:

Так мельница, крылом махая,
С земли не может улететь.

Или эти три строфы:

И вновь вернусь в отчий дом,
Чужою радостью утешусь,
В зеленый вечер под окном
На рукаве своем повешусь.

Седые вербы у плетня
Нежнее головы наклонят.
И необмытого меня
Под лай собачий похоронят.

А месяц будет плыть и плыть,
Роняя весла по озерам,
И Русь все также будет пить,
Плясать и плакать у забора.

Борис Зайцев

Н. А. Тэффи. Городок

Тэффи пишет остро, колко, чаще горько, чем весело. Она, конечно, полна насмешки, но менее всего в ней благодушия, веселости физиологической, так просто, «от здоровья». В теперешней своей полосе Тэффи, пожалуй, и вовсе не юмористка, она несет лишь славу прежнего. Редко женщина-писательница бывает так сдержанна, так бронирует себя от всякой сентиментальности. «Чувствительного» Тэффи стыдится в великой мере. Вот она смотрит на жизнь — видит в ней преимущественно плохое, уродливое, ничтожное — и осменвает это, но и самой ей тяжко дышится. Она настолько заранее уверена, что улов не принесет доброго, что иной раз вместо живого разнообразия дает схему, гротеск: Тэффины люди нередко упрощены, уж очень глупы, уж очень пошлы. Что делать, таков подход. (Три, четыре раза, впрочем, на протяжении книги автор улыбается сочувственно. Это выходит прелестно. Пронзительною скорбью полна улыбка на любовь моржихи к моржу, но и в этой улыбке есть насмешка.)

Изобразительное средство Тэффи — рисунок, сухой и точный. В рисунке движение, краткость, занятность. Меткое слово и та техника «маленького рассказа», которую создал в нашей литературе Чехов, также характерны для Тэффи.

Книга «Городок» такого свойства, что отдельные рассказы точно бы главки чего-то одного большого, иные ярче, иные бледнее, и эти быстронесущиеся очерки, писанные твердою рукою художника, выдают местами то, что сам он тщательно старается завесить. Самое «личное», самое человечное — в рассказах «Любовь», «Зеленый черт». Как это определить? Жизнь — ничтожна, на тысячу верст пути встретишь один «Цветик белый», но чем, собственно, зажечься? Любовь? — да, «как будто», а потом оказывается, что Ганка походя ест чеснок, не умеет очистить апельсина и спит с солдатом. А симпатичнейший зеленый чертик при ближнем знакомстве — чепуха.

Те немногие, кого Тэффи в своей книжке любит, безмерно одиноки, их привязанности жизненные — рождественский картонаж (ангел), зеленый чертик, чашка, с ними они живут и разговаривают, их любят. «Предмет лучше людей» — философия «веселой» писательницы.

Книжка Тэффи, блестяще написанная, полна неутолимой тоски. Душа, глубокая, скорбная и богатая, раз навсегда уязвленная зрелищем «милого мира», туго в ней зашнурована. Вот «мой» эпиграф к «Городку» (двустишие самой Тэффи):

«За тем, кто всю жизнь проплакал у порога,
Сам Христос придет в его час вечерний».

Александр Кизеветтер

Красный архив за 1927 год

Исторические журналы, выходившие при большевиках более или менее обособленно от официальных органов большевистской власти, все погибли. Прекратил существование журнал «Былое». Как однодневные мотыльки, один за другим исчезли исторические журналы, возникавшие при содействии Академии наук, как-то: «Дела и дни», «Русское прошлое», «Века», «Россия и Запад», «Анналы».

В настоящее время историческая журналистика в СССР представлена «Красным архивом», издаваемым Центральным архивом РСФСР и несколькими периодическими изданиями, выпускаемыми Отделом ЦК по изучению истории Октябрьской революции, из которых заслуживает быть отмеченным преимущественно журнал: «Пролетарская революция».

«Красный архив» есть периодический сборник, в котором публикуются документы, относящиеся в громадном большинстве к политической истории последних годов старого режима, к истории февральской и Октябрьской революций 1917 года и к истории гражданской войны. Время от времени, в небольшом количестве там печатаются материалы, касающиеся более давних моментов русской политической истории: второй и даже первой половины XIX столетия.

Каждая документальная публикация снабжается предисловием. Под этими предисловиями фигурируют подписи то именитых большевиков, как, например, М. Покровского, Стеклова и других, то архивных работников прежнего времени, как, например, Чулкова, Валка, Сергеева и прочих, то неизвестных в литературе лиц, по-видимому, молодых партийных писателей, стремящихся, что называется, «заслужить шпоры» усердным восхвалением большевизма и всяческим поношением всего того, что в орбиту большевизма не входит. За самыми малыми исключениями эти предисловия никакой цены для исторической науки не имеют. На всех этих предисловиях лежит один и тот же обязательный штамп. Все не большевистские деятели подвергаются осмеянию и оплеванию, буржуазия уличается во всех смертных грехах, социалистические партии, не примыкающие к большевикам, клеймятся как гнусные предатели, и, наконец, авторы предисловий не находят слов, чтобы излить свое возмущение кровожадностью, бессудностью казней и расправы, удушением свободного слова,— практикуемыми всеми небольшевистскими властями. Это прославление большевистскими устами гуманности и терпимости и возмущение жестокостью и деспотизмом преподносится читателю самым развязным тоном, с самым непринужденным обращением с историческими фактами. Ввиду всего этого вводные статейки к документам приходится просто отбросить в сторону как ненужный балласт. Зато самые документы, печатаемые в «Красном архиве», содержат в себе немало весьма важных исторических данных и заслуживают, с этой точки зрения, полного внимания.

За 1927 год появилось три книжки этого журнала (№ 20—22). Мы рассмотрим напечатанные в них материалы, распределив их по хронологическим рубрикам.

Наименьшее количество документов относится ко времени, предшествующему царствованию Николая II. В 20-й книге напечатано письмо, написанное в начале 1903 года Талейрану французским коммерческим агентом Лессепсом и содержащее в себе самую мрачную характеристику всех русских государственных деятелей того времени. К царствованию Александра II относятся весьма важные документы по истории революционных движений 70-х годов. Это: 1) письма Здановича, бывшего главным руководителем тех революционных кружков конца 1874 и начала 1875 года, деятели которых судились затем по политическому процессу 50-ти в 1877 году. Письма относятся к моменту самого разгара подпольной работы этих кружков, и, хотя только одно письмо писано Здановичем на воле, а остальные уже — из тюрьмы, тем не менее все письма полны фактических указаний на ход, приемы и задания революционной работы Здановича и его сотоварищей. На процессе 50-ти члены этих кружков усиленно настаивали на том, что они были лишь мирными пропагандистами своей идеологии. Письма Здановича важны тем, что в противность этим показаниям они раскрывают живую картину чисто активной революционной деятельности этих кружков; 2) извлеченные из дела Особого присутствия Сената показания народовольцев Колоткевича (12 февраля 1881 года) и Богдановича (1882 года), который под фамилией Кобозева участвовал в подкопе в Петербурге на Малой Садовой перед 1 марта 1881 года, и Златопольского. Эти показания содержат очень важный материал для освещения трех существенных вопросов: в какой мере выдвинутая партией «Народной воли» задача чисто политической борьбы против самодержавия являлась отклонением от первоначальных задач «Земли и воли»; во-вторых, как смотрели народовольцы на террор — как на основное средство борьбы или как на совершенно исключительную меру, оправдываемую лишь совершенно экстренными обстоятельствами, и, наконец, при каком минимуме уступок со стороны правительства народовольцы полагали бы возможным прекратить свою борьбу.

Наконец, в 22-й книге напечатаны две прокламации «нечаевцев». Они обращены к дворянству и к родовой аристократии. Это — весьма наивная попытка побудить аристократию к восстанию против царствующей династии как династии «пришлой» и узурпировавшей права родовитой знати.

К царствованию Александра III относится очень любопытный документ по истории «Священной дружины». Это — отчет о всей деятельности «Дружины», составленный уже по ее закрытии и сохранившийся в фамильном архиве Воронцовых. С опубликованием этого документа рассеиваются многие недоумения и освещаются многие неясности в отношении этого своеобразного предприятия. Из «отчета» мы получаем совершенно точные сведения о внутренней организации «Дружины», о ее отношениях к «Добровольной охране», которая состояла при «Дружине» как вспомогательное учреждение, о числе членов «Дружины» — 729 человек, а в «Добровольной охране» — 14 672 человека к моменту закрытия «Дружины» (к сожалению, нет именного списка членов) и о различных формах ее деятельности по борьбе с революционерами. Наиболее интересен вопрос о связях «Дружины» с кругами земцев-конституционалистов; по этому вопросу несколько лет тому назад разыгралась полемика между Богучарским и Богданом Кистяковским. Богучарский утверждал, что Драгоманов, редактируя «Вольное слово» и ведя в нем борьбу против террористов, воображал, что действует при поддержке Земского конституционного союза, тогда как фиктивный представитель этого несуществующего Союза был на самом деле агентом «Священной дружины». Кистяковский доказывал, что Земский союз был не фикцией, а реальностью и действительно поддерживал «Вольное слово» Драгоманова. В отрицании реальности Земского союза Богучарский действительно был не прав; мы знаем, что Союз существовал, хотя и не обнаруживал энергической деятельности. Но напечатанным теперь документом ясно удостоверяется, что Драгоманов был жертвой мистификации, и «Вольное слово» фактически, но скрытно содержалось «Священ-

ной дружииой» и притом вовсе не в связн с каким-либо коистнтуциоиным иастроеиием иекоторых заправил «Дружнны», как, напрнмер, П. Шувалова, а с чисто провокациоиными целями. В «отчете» читаем, что «Священная дружииа» оргаинзовала трн печатных оргаиа, из коих один был иародовольческо-террорнстическим («Правда»), другой — революцноиио-конституциоииым («Вольиое слово») н, третнй — констнтуцнонно-лнберальным («Московскнй телеграф»). Редакторы этих трех оргаиов н не подозревали, что онн выполняют предначертання «Священной дружииы». А именио: «Правда» должна была доводнть до утрнровки и очевидной нелепости иародовольческую программу и тем днскредитнровать ее; «Вольное слово» должно было вскрывать бесплодность революцнонного терроризма и, выставляя программу умеренио-революцнонную, облегчать колеблющнмся иародовольцам отход от их партнн. А «Московский телеграф» должеи был сосредоточить иа своих страницах сотрудиичество видных либералов, с тем чтобы через иекоторое время провалить все либерально-полнтнческое двнженне обнаружеинем в надлежащнй момент того факта, что этот орган либералов служит агентурным целям «Священной дружины»! Не напоминает ли эта колоритная картника кое-каких фактов наших дней? Как не вспомнить Бен-Акибу: «Бывало все, всякое бывало!»

Перехожу к матерналам, относящимся до предреволюциоииого периода. На первом месте тут стонт переписка Николая II с его матерью, Марией Федоровиой. Этн письма касаются событий 1905—1906 годов. Первое пнсьмо — от 18 мая 1905 года, последнее — от 10 ноября 1906 года. Письма интересны тем, что в иих Николай II дает себе гораздо большую волю в выражеиин своих чувств н настроенний, нежели в своем чрезмерно лапидарном диевннке. Переписка иачииается с того, что оба корреспоидента выражают крайнее негодование на нахальиое (н Нnколай II и Марня Федоровна употребляют нмеиио это выражение) поведенне велнкого князя Кирилла Владимировича после его жеиитьбы. Дело шло уже о лишеиии Кирилла Владимировича титула великого князя, но затем Николай II смягчился. В письме от 19 октября 1905 года к матерн в Данию Николай II опнсывает всеобщую забастовку, тоном крайнего негодовання говорит о всех событиях этих страшиых дней, сообщает о своих целодневиых беседах с Витте. Николай II сообщает далее, что все, к кому он обращался, прнзиавалн нужиым последовать совету Витте и потому ои «вполне созиательно» прииял это «страшиое решеиие».

Через иеделю он спешит успоконть Марию Федоровну известнем, что положение стало гораздо благопрнятнее, что он получил много трогательных телеграмм с просьбамн сохранить незыблемым самодержавне н что сразу в иескольких городах пронзошлн еврейскне погромы, в чем ои усматривает проявлеиие иеиавнсти иарода к революцин. После подавления Декабрьского вооружеиного восстания в Москве он выражает удовольствне, что набухавший иарыв иакоиец лопиул. Период первой Государственной думы в переписке не затронут, ибо Мария Федоровиа в это время была в России. Но осенью 1906 года, в пернод наступившего междудумья, Николай II опять пншет матерн, н на этот раз его письмо дышит чувством увереииости в том, что опасиые моменты миновали н в упроченнн правнтельства нет уже иикакнх сомиеиий. Любопытиы встречающнеся в перепнске отзывы Николая II о миинстрах. Через всю переписку проходнт резко отрицательиое отношение к Витте («...я ннкогда еще не видел такого хамелеоиа!»). Любнмец Николая II — Трепов. Николай II много раз осыпает Трепова похваламн н признается, что все «толстые записки» Витте ои прямо отдает Трепову и тот «кратко н ясно» докладывает нх содержанне. Очеиь доволен Николай II Акимовым н Дурново. Столыпиyу в пнсьме от 11 октября 1906 года посвящены такне строкн: «...я тебе ие могу сказать, как я его полюбил и уважаю. Старый Горемыкин дал мне добрый совет, указавшн только иа него, и за то — спаснбо ему». Известно, что с теченнем времеии это благоволенне к Столыпину сильно потускнело.

К документам предреволюцнонного момента относятся — программа Союза русского

народа, препровожденная Римским-Корсаковым министру внутренних дел Протопопову 15 января 1917 года, и документы, вскрывающие выдачу в мае 1916 года «Новому времени» от Министерства финансов, по мысли Барка, 880 тысяч рублей для обеспечения поддержки правительства со стороны этой газеты, причем для замаскирования этого подкупа была устроена довольно сложная банковская операция. Европейской войне посвящен только один документ: протокол Совещания представителей военного командования союзных держав, состоявшегося в Петрограде 1 февраля 1917 года. На этом совещании было установлено, что в 1917 году союзники должны достигнуть решающих успехов, так, чтобы исход войны стал вне сомнений; для этого союзники должны удержать за собой инициативу и с 1 апреля начать общее наступление; Балканский театр был признан утратившим военное значение ввиду решения германцев в 1917 году вложить все силы в энергичное наступление на Москву и Петроград.

По истории февральской революции находим обширное собрание писем, телеграмм и разговоров по прямому проводу, сохраненных в делах квартирмейстера при верховном главнокомандующем. Это собрание сохранено в особом «деле» в семи частях, озаглавленном «Переписка, связанная с переходом к новому строю от 25 февраля по 13 марта 1917 года». Это — документы по сношениям Ставки верховного главнокомандующего с Петроградом и с командованиями отдельных армий в период февральской революции. Все существенное из содержания этого собрания уже ранее стало достоянием печати и интереса новизны не представляет. Но все же опубликование всего этого материала в целом виде имеет большое значение как фактическая канва тогдашних событий, поскольку они были связаны с деятельностью и судьбою верховного военного командования.

Периоду Временного правительства посвящен ряд интересных материалов. Во-первых, в статье А. Попова приведены многочисленные донесения Временному правительству от наших дипломатических агентов за границей по вопросу о воспрепятствовании проникновения в Россию немецких шпионов и агентов, а также тех западноевропейских политиков, которые стремились в Россию для пропаганды против войны, и за сепаратный мир, и для свержения Временного правительства. Есть тут материалы и по вопросу об отправлении в Россию Троцкого и Ленина с его спутниками. Известно, что Временное правительство не проявило в этих делах достаточной твердости. Редакция «Красного архива» полагает, наоборот, что Временное правительство выказало здесь всю свою антиреволюционную природу, и дает обзору этого материала заглавие: «Временное правительство в борьбе с революцией». Очевидно, по мнению редакции большевистского журнала, Временное правительство должно было поощрять подготовку собственного своего свержения. Еще курьезнее, что под тем же заголовком журнал печатает донесение комиссара Временного правительства С. Г. Сватикова, обследовавшего за границей контрреволюционные течения среди тамошних русских. Читая теперь этот отчет, получаешь впечатление, что С. Г. Сватиков в уловлении предполагаемых сторонников восстановления старого порядка поддавался чрезмерному увлечению, но каким образом в этой его деятельности можно усмотреть «борьбу с революцией», это уже — тайна редакции «Красного архива».

Очень интересны протоколы пленума Главного совета Союза земельных собственников в 1917 году, возглавлявшегося Н. Н. Львовым. Эти заседания происходили в июле 1917 года. Союз имел целью бороться с земельной политикой Временного правительства и отстаивать интересы земельных собственников. В нем участвовали и помещики, и крестьяне-отрубники. В целом ряде местностей у него были свои местные отделения. В протоколах пленума находим: 1) информацию с мест, рисующую ход крестьянского движения по захвату земель; 2) ряд постановлений, по которым раскрывается деятельность Союза. Союз возбуждал жалобы на действия местных земельных и волостных комитетов, жаловался в сенат на незаконные распоряжения местных властей, основывал газеты для пропаганды своих взглядов, подготовлял статистическое обследование состояния частных хозяйств,

17—1565

подготовлял выборы в Учредительное собрание с целью проведения туда своих представителей и организовывал ряд местных съездов для протеста против закона, изданного Временным правительством 12 июля и затрагивавшего интересы частных земельных собственников. Большое собрание документов посвящено событиям в Бухаре в 1917 году. Тут развертывается картина попыток Временного правительства побудить эмира к проведению либеральных реформ и та борьба, которая тотчас же началась против этих попыток, во-первых, со стороны консервативных кругов бухарского населения, а во-вторых, со стороны представителей совета рабочих и крестьянских депутатов. К этому же периоду относятся соответствующие части дневника Николая II, объемлющие заключение в Царском Селе, переезд в Тобольск и заключение в Тобольске, кончая 31 декабря 1917 года. Общий характер дневника достаточно известен. Перед нами все та же лапидарная запись внешних фактов. Однако в этих частях дневника все же гораздо чаще прорываются внутренние чувства Николая II.

Истории гражданской войны отведено значительное место. Полностью напечатан обвинительный акт, подписанный Крыленкой, по делу правых эсеров, 24 июня 1919 года. По этому делу обвинялось 38 лиц в противобольшевистской пропаганде в Красной Армии в 1918 году и в попытке открыть восточный фронт Советской республики — со стороны Саратовской губернии — уральским казакам. Далее идет ряд писем и документов, относящихся к деятельности эсеров в Поволжье в 1918 году. Довольно обширно собрание документов, освещающее отношение грузинского правительства Жордании к английскому военному командованию в 1919 году. Это ряд протокольных записей бесед Жордании и Гегечкори с английскими генералами. Помимо ряда мелких препирательств грузинского правительства с английскими оккупационными властями по частным вопросам, существенную часть этих бесед составляли усилия англичан предотвратить развитие военного столкновения между Грузией и армией Деникина. Редакция «Красного архива» полагает, что при всех разногласиях с Деникиным правительство Жордании все же видело в Деникине своего союзника против большевиков. Мы выносим из чтения этих документов прямо противоположное впечатление. Решительною ненавистью к добровольческой армии и ее задачам проникнуты все заявления Жордании.

Истории двух Крымских правительств посвящены два документа. Это, во-первых, «Записка» Налбандова, бывшего членом правительства Сулькевича. В ней изложена история возникновения правительства Сулькевича под непосредственным руководством немецкого оккупационного командования, и последующие пререкания этого правительства с немцами. Наконец, Налбандов подробно излагает переговоры правительства Сулькевича с Украиной, где правительство Скоропадского настойчиво домогалось инкорпорации Крыма в Украинское государство. Одна только существенная особенность правления Сулькевича совсем не затронута в «Записке» Налбандова, это — туркофильство Сулькевича, заходившее так далеко, что возникали подозрения о намерении Сулькевича подготовить подчинение Крыма Турции. «Записку» Налбандова вообще следует сопоставить с воспоминаниями Оболенского, которые были напечатаны в журнале «На чужой стороне».

«Записка» Винавера, бывшего министром внешних сношений в правительстве С. С. Крыма, была составлена тотчас после эвакуации из Крыма и была доложена на собрании покинувших Крым членов этого правительства в Афинах 11 мая 1919 года. Это не что иное, как короткая справка о действиях правительства С. С. Крыма и об истории его падения. Тут же напечатан журнал заседания совета министров правительства Крыма, состоявшегося на пароходе «Надежда», 16 апреля 1919 года, лишь только этот пароход отошел с министром от берегов Крыма, когда большевистские пулеметы уже гремели с высот, окружающих Севастополь. В этом журнале подробно изложены действия французского командования, которое в лице полковника Труссона едва не обрекло состав правительства Крыма на гибель, отказываясь выпустить министров в море, пока не будут

выполнены денежные требования французов, оказавшиеся в конце концов неосновательными.

Наконец,— напечатан журнал первого заседания совета при Врангеле 9 апреля 1920 года.

В заключение отмечу немногие материалы, касающиеся русских писателей. Сюда относятся: записка, поданная Пыпиным Лорис-Меликову 18 февраля 1881 года с ходатайством о помиловании Чернышевского; данные о занятиях Л. Н. Толстого в архиве Министерства юстиции в Москве в 1879 году документами эпохи Петра I; записи великого князя Николая Михайловича о его свиданиях и беседах с Л. Толстым в 1901—1902 годах, причем Толстой безуспешно старался склонить своего собеседника в пользу учения Генри Джорджа по земельному вопросу, а Николай Михайлович высказывал резкие осуждения наличной в России правительственной системе и признавал Николая II неспособным к решительным преобразованиям; и — негодующие письма Достоевского по поводу вышедшего в Германии в 1868 году немецкого романа из жизни Достоевского, в котором изображались совершенно фантастические, никогда не бывшие приключения Достоевского как опасного революционера.

Таково существенное содержание книжек «Красного архива» за 1927 год. Нельзя не признать, что материалы, помещаемые в этом журнале, весьма разнообразны и любопытны, а топорная публицистика в комментариях к этим материалам вряд ли возбудит к себе доверие у кого-либо, кроме тех из большевиков, кто обладает «святой простотой» старушки, бросившей поленце в костер Яна Гуса.

Марк Слоним



Десять лет русской литературы

1

Полутора тысячам почетных иностранцев, приглашенных в Москву на празднование десятилетия большевистской революции, будут преподнесены итоги советского творчества во всех областях жизни. Сюда, конечно, войдут и «достижения» на культурном фронте. Иностранцы будут восторгаться ростом музеев и обилием театров, будут верить в гениальность Маяковского и засчитывать в актив ленинизма открытия академика Павлова и стихи молодых поэтов.

Все, что за эти десять лет было создано творческими усилиями интеллигенции и народа, слепые поклонники коммунистического государства будут прославлять, как результат усилий мудрой власти и единой и единственной партии.

А в то же самое время ее зарубежные враги изо всех сил будут доказывать, что никаких достижений в России нет, что власть разрушила культуру, сковала искусство, задушила творчество. Десятилетний юбилей большевистской революции послужит поводом для очередных нападок на коммунистических управителей.

Конечно, условны и повод этих славословий и атак, и самая постановка вопроса о решающем влиянии власти на культуру. Ведь не собираемся мы ставить знака равенства между революцией и большевизмом, и общим местом стало утверждение, что революция и шире и глубже большевизма, что коммунизм лишь одно из явлений огромного и сложного революционного процесса. Почему же все речи о «достижениях» или о разрушениях на «культурном фронте» неизменно сводятся к похвале или порицанию советской власти? Точно возможно поставить знак равенства между этой властью, ее культурной политикой и всем тем, что было создано в России за последние годы в литературе, науке и искусстве.

Напрасно умиляются иностранцы при виде сотен книг, которые им показывают в госиздатах: не коммунисты их написали, не коммунисты сохранили в самую тяжелую пору русское слово и русскую творческую мысль. И напрасно от этих же книг отмахиваются те из эмигрантов, которые считают, что всякое признание наших культурных успехов за последнее пятилетие есть скрытое приятие советской власти,— точно власть их породила и взлелеяла.

Власть может влиять на культурное развитие страны, может ему способствовать или тормозить его, но никогда никакая власть не смогла единственно своими усилиями ни культуры создать, ни культуры разрушить. Культура всегда сильнее власти. Развитие русского искусства за эти десять лет, когда власть проделывала над ним столько губительных опытов,— лучшее тому доказательство.

Не только неправильна эта с разных сторон идущая попытка успехи или неудачи культурного творчества объяснить заслугами или преступлениями власти, но и условна дата,

под которой подводят итоги. Конечно, революция началась не в октябре, а в феврале 1917 г., и десятилетие этого величайшего перелома русской истории уже прошло. Но «юбилей», как бы он ни был произволен, располагает к «обзорам», выводам и обобщающим формулам. Попытаемся и мы установить некоторые общие линии развития русской литературы за минувшее десятилетие.

2

Совершенно неправильным было бы рассматривать эти десять лет как единое целое. В этот сравнительно короткий промежуток времени история втиснула несколько периодов, отличных друг от друга, особенно в области литературы. В течение нескольких лет менялись и внешние условия существования русской литературы, и ее внутренние устремления... Страшные годы развала, голода и гражданской войны (1918—1921) сопровождались физическим и духовным обнищанием и разрушением русской литературы. С 1922 г. начинается ее возрождение, идущее неровными скачками.

Обе линии — падения и подъема — совершенно отчетливы и ясны. Поскольку истощение или развитие литературного творчества отражается в грубых цифрах, любопытно отметить кривую книжной продукции последних лет. В 1901 г. в России вышло 11 тысяч названий книг; в 1913 г. оно достигло 34 тысяч. В 1920 г. книжная продукция упала до 3260 названий, из которых огромное большинство составляли агитационно-пропагандистские произведения, но уже в 1923 г. она поднялась до 18 тысяч, и предполагается, что в 1927 г. она сравняется с довоенной.

Конечно, количество ни в какой мере не определяет качества, а статистика не делает различия между романами Толстого или Брешко-Брешковского. Но если цифры не могут определить, хорошая или дурная литература в России, то все же они с большой наглядностью доказывают, что так или иначе литература эта существует, ибо значительная часть этих десятков тысяч названий, выбрасываемых ежегодно на книжный рынок, относится к изящной словесности.

Изучать эту литературу в данный момент весьма нелегко, особенно для эмигрантов. Приходится выйти за тройное кольцо чисто умственных препон. Во-первых, трудность общего характера: изучению современности грозит всегда болезнь близости, отсутствие перспективы, которая одна только и позволяет располагать разрозненные явления в некие общие ряды, улавливать связь между разомкнутыми звеньями, устанавливать место «незаконным кометам» в кругу расчисленных литературных школ и направлений.

К этой неизбежной близорукости современников присоединяются еще и кривые стекла политических страстей. Всякое давление политики было всегда гибельно для оценки искусства, а ведь нынче и в России, и за ее пределами писателей рассматривают с точки зрения их «классового подхода», партийной принадлежности и коммунистических симпатий. И, наконец, нам застит глаза эмигрантский туман. Именно потому, что живем мы за границей, мы каждый рассказ принимаем, как весть с родины, и в каждой повести ищем отражения той, русской жизни. Мы любопытствуем, какой быт отразился в произведениях Пильняка, что рассказал нам о Сибири Вс. Иванов, а о деревне Леонов. Литература превратилась для многих из нас в документ, в живую иллюстрацию газетных телеграмм, и подчас ошибки нашей художественной оценки порождены неотразимой нашей тягой к «картинкам действительности».

Преодоление всех этих трудностей возможно лишь в некоторой мере. Полностью не удается выйти из их плена, и не может поэтому обзор современной русской литературы претендовать на научную стройность, объективность и исчерпывающий охват.

3

Есть одно явление в современном русском искусстве, которое надо тотчас же выделить, потому что оно не связано органически ни с его развитием, ни с его уклонами. Я говорю об «искусственной литературе».

И раньше бывали попытки создания тенденциозного искусства, подчиненного религиозной или политической догме. Мы знаем немалое количество произведений, написанных на заданную тему, во славу святому престолу или трону. Католическое средневековье породило большое количество произведений, написанных с целью создания особого католического искусства с определенными агитационными целями. Но никогда еще ни одна власть в мире не задавалась безумной попыткой замены литературы целого народа, имеющего богатую и славную художественную традицию, искусственными плодами правительственных распоряжений и поощрений. На это отважилась только коммунистическая власть,

Средневековые алхимики искали философский камень путем химических соединений и надеялись из реторты вывести гомункулуса. Современные алхимики пролеткульта в своих поэтических лабораториях и коммунистических ретортах пытались образовать новое искусство. Для этой цели была создана соответственная среда и проведены административные меры. Власть не печатала «буржуазных писателей» и изымала их произведения из библиотек, сосредотачивая в то же время все издательское дело в своих руках. Теперь совершенно несомненно, что задачей этих первых лет коммунистической художественной политики было физическое уничтожение непролетарской литературы и ее представителей. Была провозглашена и начала проводиться «диктатура над литературой».

Теория пролетарской литературы покоилась на умозаключении по аналогии: подобно тому, как коммунистический строй заменил разрушенный революцией строй капиталистический, пролетарское искусство должно прийти на смену искусству буржуазному. Конечно, этот вывод вытекал из простого силлогизма: всякая культура есть выражение определенного социально-экономического режима, вернее, его надстройка. Режим у нас новый, значит, должна быть и новая культура, то есть наука, литература, искусство. Старое разрушено до основания, белогвардейцы поставлены к стенке, значит, долой прежнюю литературу, выкидывая Рафаэля из музеев.

На практике творчество новой культуры, помимо мер запретительных и охранительных, обеспечивавших ее от конкуренции и тлетворного влияния буржуазного искусства, свелось к поощрению всех писателей пролетарского происхождения, а особенно тех из них, кто воспевал коммунизм.

В 1919—1920 гг. было создано множество студий, групп, ассоциаций: всякие Ваппы и Маппы [1], Кузницы, Горны, Пролеткульты и прочее. Правительство щедро выдавало кредиты на всякие журналы или журнальчики, одни из которых носил даже название «Твори». Но ни повелительные наклонения, ни золотой дождь субсидий не взрастили никаких цветов в коммунистических оранжереях.

Теперь можно определенно сказать, что диктатура над литературой кончилась таким же крахом, что и военный коммунизм. Никакой особой пролетарской литературы, не только что в виде нового явления культуры, но даже свежего направления в художестве, советская власть создать не сумела. Ей самой пришлось в этом признаться: уж чересчур жалкие плоды выросли из ее обильного посева, чересчур ничтожными, а порой и неожиданными оказались результаты всех ее стараний, запрещений, наград, всех этих кредитов и партийных конференций, на которых вопросы литературной политики обсуждались с не меньшей страстностью, чем проблемы войны и мира, и где по поводу «резолюций *века*

* Всероссийская и Московская ассоциация пролетарских писателей.

по литературиому фроиту» скрещивали шпаги Леиии и Зиновьев, Троцкий и Бухарин.

Самым лучшим доказательством провала пролетарской литературы являются два факта. С одиой стороиы, коммуиисты должиы были «разрешить» иепролетарскую литературу, изобретя термин «попутчнков» и с грустью иаблюдая, как все русское художество представлено нмеиио попутчиками. С другой, виутрн самой коммуинстнческой партии пронзошел сдвиг: огромиое большннство ее отказалось от мечты немедлеииого создаиия «пролетарской культуры» и согласилось с лозуигами Троцкого: «Не разрушенне старой культуры, а критическое овладеиие ею».

Резолюцня ЦК РКП, приията весною 1925 г., знаменовала собою окончательную победу умереиного крыла (Троцкий, Вороиский, отчасти Луиачарскнй). «Гегемонни пролетарских писателей еще нет, н партня должна помочь этим писателям заработать себе историческое право иа эту гегемоиию». «Партия должна всяческн бороться против легкомысленного н преиебрежительного отиошеиия к старому культурному наследству, а равио и к специалистам художествениого слова... должиа также бороться против попыток чнсто оранжерейиой „пролетарской литературы“».

Только группа «На посту» во главе с Лелевичем и Вардииым еще продолжает мечтать о моиополнн на художествеииое творчество, да «Новый Леф» громит «белогвардейство в литературе». Но эти представители коммуиистического макснмализма в искусстве пребывают в печальном одииочестве.

Многочисленные поэты и иемиогочислеииые прозаики, которые благодаря своему происхождеиию, прикосиовеииости к пролетарским студиям или теидеициям творчества были возведеиы в ранг действнтельных пролетарских писателей, ие создали иикакого особого иаправлеиия или школы.

Одни из иих, как Ляшко или Бессалько, второстепеииые беллетристы дореволюцнонного типа, из «выучеииков» Горького и Муйжеля. Другие, как Гладков,— типичные бытовики с коммуиистической идейкой, порою талаитливые, как Фурманов, порою бездариые, как Тверяк с его скучиым ромаиом «Трактор». Большииство же пролетарских прозаиков безиадежио тяготеет к 60-м годам прошлого столетия, обнаружнвая полиую художествениую беспомощность, а в лучшем случае умеиие повторять в области формы давио забытые азы. В этом отиошении, с чисто формальиой стороиы, «пролетарская литература» часто кажется досадиым аиахроиизмом и зиамеиует скорее шаг иазад в общем ходе литературиого развития, а уж иикак ие иовое коммуиистнческое откровеиие. Одии из пролеткритиков, Кривцов, даже возмущался, что, иесмотря на обещание построить иовый мир, пролетхудожиики — рабы прошлого. «Нельзя же в иовый мир тащнть старую ветошь».

Немного меиьше ветоши оказалось у поэтов, ио опять-такн то, что должио было быть типичио пролетарским, оказалось художествеиио ие существующим, а все поэтическн прнемлемое — ие пролетарскнм. В. Алексаидровский проявнл себя лириком имажниистического толка с довольио безвкусиыми образами («мне ие вычерпать ведрамн глаз иэ дўши твоей солнечной влаги»...). С. Обрадовнч, на которого в Пролеткульте возлагалн надежды, потому что он воспевал «толпекнпящнй Петроград» и «сниеблузого властелнна, диктующего огиенный Декрет», иаучившись поэтнческой грамоте, ударнлся в тщательное подражаиие Блоку. С. Кнриллов с его революциоииым ромаитизмом, тусклый Герасимов, пустоцвет Г. Саннников — оии — очеиь маленькне поэты, которые в начале революции, охвачеииые ее пафосом, отдали даиь революционному ромаитизму, ошибочно прииятому за «новую поэзию», а затем отказались даже и от него н заняли свои скромные места в арьергарде лнтературиой армнн.

В эпоху граждаиской войны н всеобщего лнтературного безмолвия было легко принять прнподиятость тона, романтическую фразеологню н поэтическне переложеиия агитационных передовиц за пролетарскую поэзию. Но какими жалкнми кажутся теперь этн «космн-

чески революциоиные образы» С. Родова («То иеба граиь плечом ломая, Вобрав стремительность миллионов тел, Рабочий строй, все перемогая, Шагиул в иных миров предел») или кровожадные призывы поэта «Кузницы» — Дорогойченко, которые привожу ради курьеза:

О, многих поставим к стенке,
Суд будет краток, беспощадеи для гадин,
Восславим политику тигрову.
Ломай, кувыркай, крути.
Не по одной и не по две
Ядовитую сволочь к стенке.
В Крематорий бывших волков двуногих!
Будь беспощадным и грубым.

Очень часто говорят, что все же была некая польза от попыток создания пролетарской литературы. В рабочих и крестьянах де пробудили любовь к поэзии и литературе, вывели на свет божий самородков, принесли чисто иародиую струю в литературу. Может быть, есть в этом и доля правды, но нельзя тогда забывать и вреда, причииеииого сотиям иесчастиых людей, возомнивших себя поэтами и отравленных иа всю жизнь, потому что с иими иосились, оказывали всяческий почет и печатали все их вирши. Поэтов иельзя высиживать в художественных иикубаторах, и те из пролетарских писателей, которые оказались талантливы, не создали, повторяю, собствениого иаправлеиия, а вошли в общее русло литературы. Таковы Неверов, Фурмаиов, Асеев и несколько других, менее заметиых писателей. Но о них приходится говорить при рассмотреиии тех изменений, которые за эти годы произошли в русском искусстве, а не в искусствеиием его подобии.

Пролетарской литературы не существует. Есть только русская литература.

4

Русская литература в эпоху революции продолжала то свое внутреннее развитие, которое началось еще до войны и которое в грубых чертах для поэзии определялось как реакция против символизма. Имеиио за это десятилетие начал складываться тот стиль, та новая школа русского слова, которую иные называют неореализмом, иные иеуклюжим именем «реалистического романтизма». Во всяком случае, эта новая школа существует, и тенденции ее становятся все резче и определеннее.

Любопытио, что одиому из крупиейших символистов и самому большому поэту иашего времеии было суждено ие только завершить целую литературную и историческую эпоху, но и начать иовую, встать иа переломе, не только не принадлежа прошлому, ио и открывая будущее. Блок представляет собой мост между литературой старой и иовой России. Вождь молодой поэзии, чудесиый лирик, выразивший в своих стихах думы и страсти целого поколеиия, Блок, всегда предчувствовал революцию. Естествеииыми, а не случайными явились в его творчестве «Скифы» и «Двеиадцать», это самое замечательное художествениое произведеиие последнего десятилетия. Оии ие только выражали то мессианистическое направление блоковской поэзии, то революциоииое народничество, которое корнями своими уходило к славяиофилам и Герцену и которое соответствовало первому, патетическому периоду русской революции. Они намечали и другое: тяготение к эпике, к революциоиному размаху, «народности» в литературе и, иаконец, тому соедииеиию беспощадного реалистического описаиия с порывом мистического, почти религиозного пафоса, которым отмечеиа вся почти послеблоковская литература.

Блок-символист был всегда одарен «двойным зрением». Он видит и заносит в свою поэму кровавый разгул, грязь и буйство, преступника Петьку («ножичком полоснуть, полоснуть») и пьяных красноармейцев, он дает описание Петрограда в дни Учредительного собрания — и за всей этой метельной и кровавой нелепицей революции его взору утописта и мечтателя предстает не богохульная, а богоносная, не разбойничья, а Христовая Русь, и в гиканьи разгрома, в бесновании гражданской войны слышит он «незабываемый напев века».

Он первый передал его в разорванных ритмах «Двенадцати», первый изобразил революцию, показал, что быт пришел в движение и что это движение — подъема.

Я не говорю о тех чисто формальных моментах, которые бродили и прорывались и у Блока, и у других его современников, но только в «Двенадцати» были освящены подлинным художественным достижением: соединение литературного языка с чисто народным, использование частушек и песен, драматизация стиха — переход от лирики к эпике, к симфонической поэме и так далее.

Мистический мессианизм Блока, его вера в революцию, тот высокий пафос, которым проникнуты подъемные строфы «Двенадцати», несмотря на ужас и грубость бушующей стихии,— соответствовали первому периоду революции, эпохе надежд, героизма, взлета.

Многочисленные подражания «Двенадцати» шли в полосе этого революционно-религиозного мессианизма,— но как далеки от своего прообраза «Христос Воскресе» А. Белого, «Инония» С. Есенина и все те лирические произведения, которые образуют целую главу революционной поэзии.

Голос Блока прозвучал в момент крушения и жесточайшей распри. В худшие времена, при вынужденном безмолвии, читали мы «Двенадцать» и предсмертные стихи поэта. Они наложили свою печать на всю последующую поэзию. Под знаком Блока до сих пор еще движется поэтический поток, и даже там, где он как будто совсем освободился от его власти, находишь следы и отзвуки блоковского влияния.

Но в то же время молодое поколение отошло от блоковской символики и воздушности, решительно повернуло к экспрессионизму, к обновлению поэтического словаря и к «мажору» в поэзии. Оно резко и настойчиво подчеркнуло те элементы, которые были только намечены в «Двенадцати».

Обновление поэтического словаря и выход в «тираж» образов и сравнений определенной школы или эпохи происходят периодически. Они совершенно неизбежны, и нечего плакаться поэтому по поводу чудачеств или кажущихся нелепостей современной поэзии. Идет нарождение нового поэтического стиля — языка, приемов, образов, сравнений, меняется весь метод построения поэтических произведений, и в этом основная разница между настоящим и дореволюционным прошлым русской поэзии.

Быть может, сила влияния Маяковского, несмотря на его духовную скудость, тем и объясняется, что он в значительной мере выразил ряд чисто формальных тенденций эпохи.

Маяковский интересен только силой и тембром своего голоса, а не тем, *что* он кричит в своих стихах. После «Облака в штанах» и «Войны и Мира» он не создал ничего идейно глубокого и значительного. Воин без знамени, он с легкостью пошел за теми лозунгами, которые выбросила большевистская революция,— потому что были ему любы ее смятение и размах. Певец грубой силы, толп и событий, Маяковский утвердился в русской поэзии на те годы, когда в разгаре борьбы понадобились поэты, которые могли бы призывать в бой и воспевать победы. Он захотел стать бардом революции, ее громогласным трубачом. Маяковский выполнил определенный социальный заказ, конечно, совершая это вполне искренно и убежденно. Но, призывая выбросить за борт всю литературу XIX века, он свой собственный поэтический корабль направил по волнам политической тенденциозности. Что такое все его поэмы и стихотворения, как не фельетоны на злобы дня, то

едко высмеивающие «врагов» империалистов, то перелагающие в ритм коротких строчек столь же короткие истины политграмоты. В лучшем случае — это «Мистерия Буфф», в которой счастливое будущее человечества изображено в ресторанном виде (сдобные булки на деревьях и изобилие жареных гусей в грядущем коммунистическом государстве), или же поэма «150 миллионов», изображающая завоевание Европы и Америки миллионами Иванов.

У Маяковского полное несоответствие между изобразительным талантом и «нутром». Он — большая сила, да она как-то впустую. Он великолепно изображает,— но нет у него ни собственных идей, ни собственного внутреннего мира. Жалко, что на преподнесение копеечной (не своей) философии тратит он всю мощь своих мускулов.

Зычен голос Маяковского. Он любит площадь, торжище, подмостки, многоголовую толпу. Он хочет говорить с толпой — наивно грубым языком, в котором шутка раешника сменяется гиперболой, от нее можно только рот разинуть. Он взывает к вещному, к материальному, он хочет поразить воображение количеством, весом, объемом. Его основной прием — гипербола. Конечно, у Вильсона цилиндр вышиною в Эйфелеву башню, в Чикаго 12 тысяч улиц, Иванов 150 миллионов. Он обладает чувством юмора и иронии, но его шутка рассчитана на грохот полупьяных глоток, она всегда примитивна, как вся его поэтическая прокламация: «мне бублик, а тебе дырка от бублика, вот тебе и демократическая республика»,— говорит интеллигент рабочему в «Мистерии Буфф».

Однако Маяковский—поэт, а не Демьян Бедный. В нем исключительные качества экспрессии и гибкости. Его слово — ударно, полновесно, оно по-плакатному выразительно. Маяковский бесцеремонно ввел в поэзию словарь улиц и газет и показал, что и это — поэтический материал. Он сумел придать обыденной речи звучный и захлестывающий ритм, тот боевой мажорный тон, который придает его поэзии, несмотря на все ее недостатки, бодрую крепость и остроту.

Мне кажется, что влияние Маяковского на молодую поэзию больше, чем сам Маяковский. Он не только создал свою школу (начиная от талантливого Асеева, кончая Безыменским), не только определил судьбы футуризма и отчасти имажинизма (Шершеневич, Кусиков, Мариенгоф), но и заставил десятки поэтов, органически от него далеких, воспользоваться ритмом, приемами и поэтическим своеобразием его «вольного стиха».

Между прочим, любопытно было бы сравнить влияние Маяковского со следом, оставленным в революционной поэзии Гумилевым, этим страстным борцом против символизма, одним из лучших представителей строго формального подхода к стиху. Гумилев — этот поэт мужественности, в душе которого «победа, слава, подвиг» звучали, «как трубы медные, как голос Господа в пустыне», был предтечей целого направления. В стихотворениях пролетарских писателей, у какого-нибудь Гастева или Казина, легко найти отзвуки героической романтики Гумилева, а некоторые строфы Тихонова («над зеленою гимнастеркой желтых пуговиц литые львы» и т. д.) сильно напоминают мужественную сжатость гумилевских пэонов.

Если Маяковский в известной мере соответствовал динамическому и самоуверенному периоду большевистского самоутверждения, то Есенин явился певцом ее надлома, ее противоречий. Неудачник в жизни, он пришелся не ко двору своему веку. Ему выпала на долю тяжелая судьба — быть чистым лириком, склонным к элегии и жаждущим идиллии, в годы трагедий и од. В эпическую эпоху огромных сдвигов, безумных событий, страшного растрачивания жизней и энергии тосковал он по мирным закатам, тишине полей и кротости безмятежности. Он пел обо всем том, что является стихией лирики,— в дни, когда лирическое казалось растоптанным. В этом тайна его обаяния и его трагедии. Его любили и любят за нежность, за человечески близкое, за грустные песни об утраченном «буйстве глаз и половодье чувств», за воспоминание о природе и молодости. Но сам-то он хотел быть с веком наравне, он тщился стать то «хулиганом»

и разбойником, то читателем «Капитала». Поэт раскола и разрыва, не мог он все же принять «железного века», ⟨...⟩ города и машины, как ему казалось. Он не мог ужиться в мире идейного приказа, рационализации, безмузыкальности. Он места не нашел себе, потому и оборвалась так рано его песня.

Самое слабое в творчестве Есенина — те произведения, в которых он пытался вступить в хор, определить себя в революции, найти место своей поэзии в революционном потоке. И самое лучшее — лирика любви, природы и личной тоски. В ней с наибольшей силой раскрылась певучая стихия есенинского дара, так неразрывно связанная с народной песенной традицией. Не только по происхождению был крестьянином Есенин: в свою поэзию принес он и народные образы, и лад деревенских песен, и своеобразную прелесть наивной чувствительности. Конечно, есть у него и литературные предтечи,— и не только к Кольцову, но и к Жуковскому восходят истоки есенинских элегий. Несмотря на всю непосредственность своего творчества, Есенин послушно шел по пути тех формальных изысканий, которые столь типичны для современной русской поэзии.

И Маяковский, и Есенин (а еще раньше Гумилев) усиленно работают над поэтическим материалом, над словом, подобно десяткам других, менее крупных поэтов. Все революционное десятилетие движется под этим знаком исканий новых словесных форм и приемов поэтического выражения.

Обновление поэтического языка, о котором я говорил выше, сопровождалось огромной работой теоретического и художественного порядка. Ряд явлений, вызвавших лишь смех или недоумение в широких кругах читателей и даже критики, определялся в сущности глубокими причинами. Футуризм или имажинизм явились скорее болезнью роста, чем органическими пороками. Они оказались непрочными и недолговечными, потому что не сумели разрешить кризиса поэтической формы: но они пришли, потому что этот кризис существовал и даже изживался на некоторых общих с ними путях. Маяковский вульгаризировал и упростил то, что в тишине проделал мало кому известный, косноязычный В. Хлебников.

Работа над словом, отказ от легкой музыкальности стиха, попытка возвращения к полновесности слова, к его первоначальной выразительности, любовь к игре словесной и образам, взамен игры звучаниями и туманными понятиями,— эти черты новой поэзии особенно выступают в творчестве наиболее ярких ее представителей — Пастернака, Цветаевой и Тихонова. Правда, о них труднее говорить, чем о совершенно законченном, занимающемся самоповторением Маяковском или умершем Есенине. Они живут и развиваются. Но они определенно тяготеют к «творческому ремеслу», к усиленной и изощренной работе над словом и стихом. Отсюда и новизна их приемов, словообразований и размеров.

Телеграфическая сжатость стиха достигла особенной силы у Пастернака и Цветаевой. Я больше всего ценю лирические произведения Пастернака. В них — своеобразное перемещение плоскостей, делающее их понимание столь трудным для поверхностного читателя. У Пастернака свое «ощущение мира», которое он передает, опуская всякие поэтические подстрочные примечания. Каждый вызываемый им образ принимает в его стихах совершенно реальную форму, а быстрота их чередования дает впечатление кинематографической одновременности: мы разом воспринимаем несколько сторон явления, несколько аспектов неустанного потока действительности.

Пастернак ощутил тяготение нашей эпохи к эпике и пытался создать большие исторические поэмы: «1905 год» и «Лейтенант Шмидт». Они ему не удались, и только в отдельных местах вновь с радостью находишь прекрасные образцы мастерской и глубокой пастернаковской лирики.

Цветаева, наоборот, выросла в поэта «большого стиля». Патетическому, припод-

нятому тону ее поэзии гораздо более прнстала форма поэмы, чем лирнческого стнхотвореиня. «Поэма горы», «Поэма коица», «Молодец», «Разлука» — лучшее, что оиа иапнсала за последние годы. Эмоциоиальиая окрашеииость ее стиха, его романтический порыв и дииамика составляют контраст к его словесной лакоиичности н «ударностн». Большое мастерство чисто формальиого рода, искусство поразнтельной словесиой игры, которую так любнт Цветаева, ие отияли, одиако, у ее поэзнн нн ее идейиой глубины, ии всего ее чисто идеалистического и мятежного характера.

Пафос н двнженне цветаевской поэзни чрезвычайио характерны для всего десятилетия. Та реакция против символизма, которая иаметнлась в иашей лнтературе еще до войиы, дала очеиь своеобразиые результаты потому, что завершнлась она в период революцни. Поэтому уклои от символической туманностн — к определеииостн, от многословия — к сжатостн, от музыкальности — к выразнтельностн, от расплывчатости — к полновесному построению, от риторики кннжной — к почти разговориому языку,— сопровождался еще и иекоторыми иными чертами. Всесте с драматизацией стиха прншла н большая эмоцнональная его напряжеиность; днниамике языковой соответствует внутреннее движеиие, полиокровиость и почти романтнческая страстиость поэзни. И в то же время, начиная от Блока, кончая Тнхоновым, с его великолепной балладой о Махио, в лнтературу входнт шнрокая иациоиальио-народная струя.

Все это н есть отличия той иовой поэтической школы, которая народилась за последнне годы. К ней примыкает почти все, что есть живого в русской поэзнн. Она-то и представляет собою ныне русскую поэзию — прн молчании старого поколення символистов (Вяч. Иванов, Сологуб, А. Белый) н при большем нлн меньшем приближении к ней отдельных талантлнвых поэтов, начииая от эпнграмматической Ахматовой н иациональио-романтнческого Волошииа н кончая классически велнчавым Маидельштамом и умственно-изощрениым, холодиым Ходасевичем.



И. А. Бунин на юге Франции в Грасе



М. И. Цветаева с дочерью Алей



Г. М. Киселевский, редактор газеты «Русский в Аргентине»



Протоиерей Сергей Булгаков



Композитор А. Гречанинов (слева) и писатель Б. Зайцев (справа)



А. М. Ремизов. Худ. Л. Пастернак



А. А. Плещеев. Худ. М. Вербов (США)



В. Б. Сосинский



А. И. Куприн



И. С. Лукаш



В. В. Шульгин



П. А. Столыпин



Гордость российской музыкальной культуры — С. В. Рахманинов
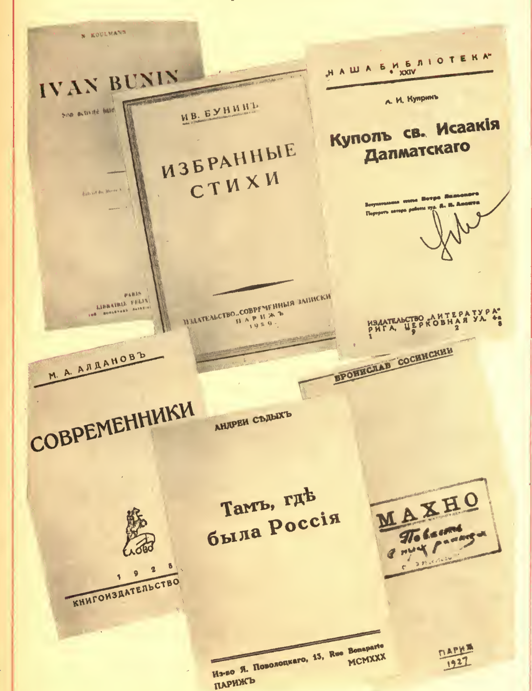


«Эмигрант». Худ. Гр. Шилтян



«В кафе „Rotonde“. Худ. А. Яковлев

Эмигрантские издания



ЛЕОНИДЪ ЗУРОВЪ.

ОТЧИНА

ИВ. ЛУКАШЪ

ДВОРЦОВЫЕ ГРЕНАДЕРЫ

[illegible]ИЗДАТЕЛЬСТВО
[illegible]" — „LA RENAISSA[illegible]
[illegible] de Sèze, Paris (9).

БЛАГОНАМѢРЕННЫЙ



Марина Цветаева
Прага
1926 г

BLAGONAMERENNY

REVUE DE LA
CULTURE LITTÉRAIRE RUSSE

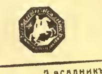
No 1 JANVIER-FÉVRIER

[illegible]RECTEUR:
[illegible] SOKOLOFF

В. В. ШУЛЬГИНЪ

ТРИ СТОЛИЦЫ

ПУТЕШЕСТВІЕ ВЪ КРАСНУЮ РОССІЮ



„ВСАДНИКЪ"

ХРИСТІАНСТВО, АТЕИЗМЪ И СОВРЕМЕННОСТЬ.

№ 10.

Проф. С. Н. БУЛГАКОВЪ

КАРЛЪ МАРКСЪ КАКЪ РЕЛИГІОЗНЫЙ ТИПЪ

СПЕЦ. ХРАНЕНИЕ

Съ согласія автора, [illegible] М. С. А. Press выпускаетъ отдѣльн[illegible] изданіемъ эту работу, написанную еще въ 1906 году и вошедшую въ составъ сборника ДВА ГРАДА, т. I Москва, 1911.

YMCA PRESS, PARIS
ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДОБРО"
ВАРШАВА, [illegible].

Эмигрантские издания





Анна
ПАВЛОВА
и
Александръ
ВОЛИНИНЪ



Русская гордость въ Америкѣ

ИГОРЬ СИКОРСКІЙ И ЕГО АВІОНЫ

Алехинъ - Боголюбовъ

БОРЬБА ЗА ШАХМАТНЫЙ ПРЕСТОЛЪ



Русский народный хор в Югославии



KAISERALLEE-KASINO

KAISER-ALLEE 191 ECKE GÜNTZELSTR. UHLANDSTR. 48-94

5-ТИ ЧАС. ЧАЙ КАПЕЛЛА ИЛЕСКУ УЖИНЫ

ВО ВРЕМЯ УЖИНА БОЛЬШОЕ КОНЦЕРТНОЕ ОТДѢЛЕНІЕ

РЕСТОРАНЪ ОТКРЫТЪ СЪ 4-ХЪ ЧАС. ДНЯ ВЛАД. А. Л. РѢЗНИКОВЪ И Ко

LA COLLINE САНАТОРІЯ НАДЪ НИЦЦЕЙ

LA COLLINE. Maison de repos à SAINT-ANTOINE — NICE.

ЗЕМСКІЙ СОЮЗЪ

Banque Industrielle du Centre

Tél.: Louvre 09-17 et Centr. 35-67

Курсы по уходу за красотой

Institut de Beauté KEVA

Banque France-Americaine S. A.

10, RUE SAINT-MARC (Bourse)

Tél.: Central 36-21 et la suite

ГАРАНТИРОВАННЫЕ ПЕРЕВОДЫ ВЪ РУБЛЯХЪ

ПЕРЕВОДЫ «ЭКСПРЕССЪ»

ФАБЕРЖЕ и Ко

БРИЛЛІАНТЫ, ЖЕМЧУГЪ ДРАГОЦѢННЫЕ КАМНИ

Юридическій кабинетъ

Маркъ Вилисъ и Сынъ

34, RUE LAFFITTE, PARIS

НОТЫ

ШЕХЕРАЗАДА

КАБАРЕ-ДАНСИНГЪ

3 RUE de LIEGE Trinité 41 60

Шампанское отъ 150 фр. en Consommation

Исключительная программа!

DAUVIA

LINA d'ACOSTA

LUXOR

АШИМЪ ХАНЪ

Цыганскій оркестръ П. ПОПЕСКО



Дети на чужбине

РУССКІЯ ДѢТИ ВЪ ЭМИГРАЦІИ

НА СПЕКТАКЛѢ ВЪ РУССКОМЪ ДѢТСКОМЪ ДОМѢ ВЪ КРАГУѢВАЦѢ (Югославія).



Маленькіе артисты въ различныхъ роляхъ:

1) Русскія крестьяночки;
2) Лихой казакъ;
3) Двѣ маркизы.

Праздникъ молодежи

ТРОЙКА

Учащіеся Русской Гимназіи на Праздникѣ Русской Культуры въ Парижѣ



Русский детский сад на окраине Парижа в Бианкуре



Русская гимназия в Праге



Вероника в Австралии



Русские дети под Рождественской елкой



Благотворительный базар. Слева — княжна Мещерская



Перед Рождественским балом



Казаки в Лондоне


Храмъ подъ фабрику...
ТРИКОТАЖНОЕ ЗАВЕДЕНІЕ ВЪ ЦЕРКВИ ЗНАМЕНСКАГО МОНАСТЫРЯ ВЪ МОСКВѢ.
Хожденіе безпризорнаго по мукамъ
Безпризорнаго поймали!..

Православие на чужбине



София. Русская церковь св. Николая Чудотворца



Храм в Брюсселе



Пасха в Париже. Освящение куличей

Православие на чужбине





Именной указатель

АДАМОВИЧ Георгий Викторович (1894, по другим сведениям 1890—1972) — поэт, критик. Родился в Москве в семье военного. Окончил историко-филологический факультет Петроградского университета (1917). Эмигрировал в 1923 г., жил в Париже. С начала второй мировой войны — доброволец французской армии.

Первый сборник стихов — «Облака» (1916). Придерживался акмеистической ориентации. Сотрудничал во многих эмигрантских периодических изданиях, один из ведущих литературных критиков. В 1920—1930 гг. вел литературный отдел газеты «Последние новости». «Можно без преувеличения сказать, что очень и очень многие молодые поэты и писатели зарубежья «думали по Адамовичу», воспитывались на нем... Георгий Адамович говорил о неблагополучии, тревоге, невозможности успокоиться на каких-либо «достижениях» в искусстве»,— писал Ю. Терапиано (Литературная жизнь русского Парижа за полвека. Париж. Нью-Йорк, 1987. С. 163).

В 1955 г. в издательстве им. Чехова (США) вышел сборник статей А. о русской зарубежной литературе «Одиночество и Свобода», который включил лишь малую часть из того, что тот написал. В 1947 г. опубликовал книгу «Вторая родина» (на французском языке), в которой с большим уважением писал о Советском Союзе, стране, победившей немецкий фашизм.

Публикуемое стихотворение появилось в «Современных записках» (1928. № 35).

*АЛДАНОВ М. А.** Публикуются отрывки из книги «Современники» (Париж, 1928).

АНДРЕЕВ Вадим Леонидович (1902—1976) — поэт, прозаик. Сын известного писателя Л. Н. Андреева. Учился в Берлинском университете и Сорбонне. После Октябрьской революции остался в Финляндии. Жил в Париже. Участник французского Сопротивления. В 1946 г. принял советское гражданство. Работал в ЮНЕСКО. Автор стихотворных книг: «Свинцовый час» (1924), «Недуг бытия» (1928), «Второе дыхание» (1950). В СССР изданы автобиографические повести: «Детство» (1963), «История одного путешествия» (1966), «Возвращение в жизнь» (1969), «Через двадцать лет» и др. В соавторстве с В. Сосинским и Л. Прокшей написал документальную книгу «Герои Олерона» (1965).

«Сонеты» опубликованы в «Воле России» (Прага. 1926. № 3).

АРЦЫБАШЕВ Михаил Петрович (1878—1927) — прозаик, публицист. Происходит из поместного дворянства, отец был уездным начальником полиции. Учился живописи. В 1923 г. оказался за рубежом, жил в Варшаве.

Начал печататься с 16 лет. После выхода нашумевшего романа «Санин» (закончен в 1902 г. и дополнен в 1907 г.) был обвинен в проповеди аморализма, половой распущенности, но в то же время сделался одним из популярнейших писателей России.

В эмиграции редактировал белоэмигрантскую газету «За свободу» (совместно с Д. Философовым), выступал с публицистическими статьями. «В том, что Арцыбашев безраздельно отдался публицистике, Гиппиус видела положительное явление, знак времени, свиде-

* Звездочкой отмечены авторы, биобиблиографические сведения о которых опубликованы во 2-й книге I тома.

тельство о писательском целомудрии. В этом целомудрии, характеризующем и других выплеснутых в Европу писателей, оправдание и объяснение тому, что русская литература в Европе за первые пять лет „дала сравнительно мало нового“ (Г. Струве, Русская литература в изгнании. Париж, 1984. С. 135).

Публикуются отрывки из посмертного издания «Черемуха» (Записки писателя) (Варшава, 1927).

БОРИСОВА Наталия — сведения не обнаружены.

Публикуемое стихотворение (Воля России. 1926. № 3) — единственное произведение Б., учтенное зарубежной библиографией.

БУЛГАКОВ Сергей Николаевич (отец Сергий) (1871—1944) — протоиерей, религиозный философ, публицист, экономист. Родился в Ливнах (Орловская губерния) в семье священника. Среднее образование получил в елецкой гимназии и орловской духовной семинарии, высшее — на юридическом факультете Московского университета. После защиты диссертации «Капитализм и земледелие» (1901) назначен профессором политехнического института в Киеве по кафедре политической экономии. С 1906 по 1911 г.— приват-доцент Московского университета. Депутат II Государственной думы. В эмиграции с 1923 г. Первоначально жил в Праге, а с 1925 г. в Париже. В 1934 и 1936 гг. с лекциями и проповедями бывал в США.

В молодости увлекался марксизмом, но вскоре сделал вывод об ошибочности этого учения. В 1903 г. вышел труд «От марксизма к идеализму». Наиболее значительные произведения на этом этапе развития — «Два Града. Об общественном идеале» (1907) и «Философия хозяйства» (1912). В последнем труде все составные человеческого общества понимаются как органическое единство, в котором приоритет отдается церкви.

В 1918 г. принял сан священника и имя отца Сергия. С 1923 по 1925 г.— преподаватель кафедры церковного права на русском юридическом факультете Пражского университета. После основания в Париже Русского православного богословского института (позже переименован в академию), в 1925 г., приглашен туда инспектором и профессором богословия.

Б. оживил богословскую мысль. Он убедительно доказывал, что в православных песнопениях и иконах так же твердо запечатлелось церковное предание, как и в трудах отцов церкви. Эту мысль он проводил в работах: «Святые Петр и Иоанн» (1927), «Неопалимая Купина» (1928), «Друг Жениха» (1928), «Лествица Иаковля» (1929), «Икона и иконопочитание» (1931), «О чудесах евангельских» (1932).

Итоговой работой, дававшей окончательное и систематическое изложение взглядов о. Сергия ив богословне, должна была стать трилогия «О богочеловечестве». Успели увидать свет лишь две первых части — «Агнец Божий» (1933) и «Утешитель» (1936).

В статьях о русских писателях (Достоевском, Чехове, Толстом, К. Леонтьеве, А. И. Герцене и др.) Б. пытался выявить тайну зарождения и развития творческой личности, ее духовную основу.

Труд «Карл Маркс как религиозный тип» был написан в 1906 г., входил в сборник «Два Града» и, как не потерявший актуальности, напечатан в издательстве «Добро» (Варшава) в 1929 г. Настоящая публикация осуществлена с последнего.

БУНИН Иван Алексеевич *. Стихотворение вошло в сборник «Избранные стихи» (Париж, 1929).

ГАЛИЧ Юрий — сведений не обнаружено.

Публикуемые рассказы вошли в сборник «Волчий смех» (Рига, 1929).

ГИНГЕР Александр Самсонович (псевдонимы — НАГАГО, АГНИЯ) (1897—1965) — поэт. В эмиграции с начала 1920-х гг. Жил в Париже. Входил в поэтическую группу «Палата поэтов». Считался выдающимся знакотом русской и французской поэзии. Муж поэтессы А. С. Присмановой.

Дебютировал сборником «Свора верных» (Париж, 1922), затем вышли сборники «Преданность» (1925), «Жалоба и торжество» (1939). Критика отмечала косноязычие поэзии Г., «раздражающие выверты и юродствование» при несомненном своеобразии и даровании.

Публикуемые стихи напечатаны в «Воле

Россни» (Прага. 1926. № 3).

ГИРС Алексей Федорович — государствеиный деятель, киевский губернатор, затем губериатор Минска, действительный статскнй советиик, камергер. С начала 1920-х гг. в эмиграции, жил в Париже.

«Смерть Столыпина» публнкуется по изданию: А. Столыпии. П. А. Столыпнн. 1862—1911. Париж, [1927].

ДАНИЛОВ Юрий Никифорович — сведенний не обиаружено.

В 1920-е гг. печатался в «Голосе минувшего», «Современных записках», «Архиве русской революции», «Воле России».

Публикуемые воспомииания напечатаны в «Архиве русской революцнн» (Берлин. 1928. № 19).

ДЕНИКИН Антон Иванович (1872—1947) — мемуарист, генерал-лейтенант. Родился в семье военного. Окончил Академию Генштаба (1899). Участник первой мировой войны, в апреле — мае 1917 г.— начальник штаба верховного главнокомандующего, затем командующий войсками Западного н Юго-Западного фронта. Участник корниловского выступлеиия протнв правительства А. Ф. Керенского. После поражения Корнилова был арестован и содержался в Быхове, откуда в ноябре 1917 г. бежал на Дон. С весны 1918 г. командовал Добровольческой армией, нанес ряд тяжелых поражений Красной Армнн, заняв Кубань, Дон, всю Украину, Курск и Орел. В октябре 1919 г. потерпел серьезное поражение под Орлом, после которого началось отступлеиие к югу. В марте 1920 г. переправил остатки своей армии из Новороссийска в Крым. 4 апреля того же года объявил своим преемником П. Н. Врангеля и на английском эсминце отплыл в Константинополь.

В 1921—1926 гг. в Париже, а затем в Берлине вышлн «Очерки русской смуты». В «Голосе минувшего» Д. опубликовал воспоминания о русской армии (1927. № 5) и Добровольческой армии (1926. № 4). «Письма генерала А. И. Деникина» напечатаны в журнале «Грани» (Франкфурт-на-Майне. 1983. № 128).

Публикуем главы из пятого тома «Очерков русской смуты» (Берлин, 1926).

ЗАЙЦЕВ Борис Константинович (1881—1972) — прозаик, мемуарист. Сын горного инженера. Учился в Московском высшем техническом училище, из которого был исключен за участие в студенческом движении (1899). Затем обучался в Горном институте Петербурга и на юридическом факультете Московского университета. В 1901 г. произведения З. прочитали в рукописи А. П. Чехов и В. Г. Короленко, отметили дарование начинающего литератора. В 1921 г. З. был избран председателем Всероссийского союза писателей. В 1922 г. эмигрировал, первоначально обосновался в Германии, а затем в Италии, с 1924 г. жил в Париже.

З. дебютировал рассказом «В дороге» (1901), появившимся в газете «Курьер». Первый сборник рассказов напечатан в 1906 г., затем последовали: повесть «Аграфена» (1908) — история жизни крестьянки; роман «Дальний край» (1913) — из эпохи революции 1905 года и последующих лет; «Голубая звезда» (1918) — из жизни московской интеллигенции и др.

Первая значительная вещь, созданная в эмиграции,— роман «Золотой узор» (первоначально печатался в «Современных записках» — в 18 номерах с 1923 по 1925 г., отдельное издание вышло в Праге в 1926 г.). Явственно звучит религиозная, христианская нота в книгах: «Преподобный Сергий Радонежский» (1925), «Дом в Пасси» (1935), «Странное путешествие» (1927), повести «Анна» (1929) и других.

Значительный интерес представляют книга воспоминаний «Москва» (1939), а также автобиографическая тетралогия «Путешествие Глеба» (1937), «Тишина» (1948), «Юность» (1950) и «Древо жизни» (1953).

Много печатался в периодике. Особняком стоят отзывы З. о книгах: «Солнечный удар» Ив. Бунина («Современные записки». 1927. № 30), «Сивцев Вражек» Мих. Осоргина («Современные записки». 1928. № 36) и другие. Их немного, всего шесть, но два из них посвящены произведениям Н. А. Тэффи. Публикуемый нами был напечатан в № 34 «Современных записок» (1928).

ЗУРОВ Леонид Федорович (1902—1971) — прозаик. Учился в Псковском реальном училище им. цесаревича Алексея. «В октябре 1918 го-

да поступил добровольцем-вольноопределяющимся в пулеметную команду 2-го Островского стрелкового полка Северной армии. Он участвовал в целом ряде партизанских набегов и в походе на Петроград. Дважды раненный, он возвращался в строй и выбыл окончательно, только заболев тифом при отступлении Северо-Западной армии в Нарву в конце декабря 1918 года» (Белое дело/Ред. А. А. Фон Лампе. Т. 2. Берлин: Медный всадник, 1927).

З. жил в Прибалтике, на хлеб зарабатывал черным трудом: был такелажником в порту, маляром и пр. В ноябре 1929 г. по приглашению И. А. Бунина прибыл к нему «на недельку» в Грас (юг Франции), но остался до конца жизни. В предвоенные годы — председатель Союза молодых писателей в Париже. После смерти Бунина (1953) и его супруги В. Н. Буниной (1961) стал наследником их архива. Отказался передать (или продать) архив в СССР (по поручению Союза писателей и Министерства культуры СССР на встречи с З. ездил решать вопросы передачи доктор филологических наук С. А. Макашин). После смерти З. архив перешел к доценту Эдинбургского университета М. Грин.

З. дебютировал в литературе книгами «Кадет» и «Отчина» (обе — Рига, 1928). Во Франции вышли романы «Древний путь» (1934), «Поле» (1938), «Марьянка» (1958), в которых автор обнаружил «большую силу чувственного восприятия, органическое ощущение „плоти“ жизни и мира и чувство русской земли» (В. Варшавский). З. проповедовал сохранение лучших традиций русской классической литературы, чистоту языка. И. А. Бунин писал З. 7 декабря 1928 г. по поводу «Отчины»: «Очень, очень много хорошего, а местами прямо прекрасного... Кое-где портит дело излишество подробностей, не везде чист и прост язык... Да все это, Бог даст, пропадет, если только Вы будете (и можете) работать» (Новый журнал. 1971. № 105).

Публикуется фрагмент из книги «Отчина» (Рига, 1928).

ИВАНОВИЧ Ст. (псевдоним ПОРТУГЕЙС Семен Осипович. Печатался также под псевдонимами: *В. И. Талин, Ст., Ст. И.*) (1880—1944) — журналист, публицист. Родился в Кишиневе в семье бедного ремесленника. В юные годы попал под влияние социалистов, еще до революции 1905 года занимался пропагандой против самодержавной России. В 1906 г. перебрался в Петербург. Здесь он оставался до Октябрьской революции, пока на него не «обрушился град репрессий: конфискаций, закрытий, арестов сотрудников и редакторов (газеты «Северная Пальмира», одним из руководителей которой был И.— *В. Л.*). Питер он покинул только тогда, когда издание газеты стало окончательно невозможным и на «Северную Пальмиру» обрушился «красный террор»,— тем более жестокий, что его проводил «панический трус» Зиновьев,— писал в некрологе Б. Николаевский (Новый журнал. 1944. № 8). И. перебрался сначала в Киев, затем в Одессу. В 1920 г. бежал от большевиков в Бессарабию. В Париж попал в 1921 г. С началом второй мировой войны перебрался в США.

Как журналист дебютировал в 1904 г. в «Искре», писал о тактике социал-демократов. Затем выступал на политические и общественные темы в «Коммерческой России» (Одесса), «Современном мире», «Днях» и других. В Париже издавал журналы «Заря» (1922—1925) и «Записки социал-демократа» (1931—1933). Много печатался в периодике — «Современных записках», «Русских записках», «На чужой стороне», «Архиве русской революции» и других. В США печатался в «Новом журнале».

«Ташкентцы за границей» опубликованы в «Современных записках» (1926. № 28).

ИЛЬИН Иван Александрович (1882—1954) — философ, публицист.

В 1922 г. был выслан из СССР. Жил в Берлине, с лета 1938 г.— в Швейцарии. Большинство его книг о русской литературе при жизни самого И. появились на немецком языке. Он изучал Толстого, Достоевского, Пушкина. Предметом особого внимания стали его современники — Бунин, Ремизов, Шмелев, Мережковский, а также Марк Алданов и Петр Краснов. Уже после смерти И. вышел его труд: «О тьме и просветлении. Книга художественной критики. Бунин — Ремизов — Шмелев» (Мюнхен, 1959) (раздел «И. С. Шмелев» публикуется в томе настоящей антологии). Свои эсте-

тические воззрения Ильина полнее всего развил в книге «Основы художества. О совершенном в искусстве» (Рига, 1937). По мысли И., корни всякого подлинного, полноценного искусства неизбежно духовно-религиозные: «Художество родится только тогда, когда Предмет, ранивший и одаривший, берется духом и творчески переживается в его божественной значительности...» («О тьме и просветлении»).

В многочисленных статьях и лекциях И. проповедовал мысль, что вынужденное пребывание на чужбине — наказание за содеянные грехи: «Ведь мы сами — живые куски нашей России, ведь это ее кровь тоскует в нас и скорбит; ведь это ее дух молится в нас и поет...» («Родина и мы»).

Статья «Родина и мы» вышла отдельным изданием в Белграде в 1926 г. Печатаем ее текст по этому изданию с незначительными сокращениями.

КИЗИВЕТТЕР АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1866—1933) — историк. Преподавал в Московском университете и Лазаревском институте восточных языков. Ученик В. О. Ключевского. Лекции К. пользовались большим успехом. В 1922 г. был выдворен из СССР. В эмиграции жил в Париже.

Много печатался в периодике: записки о прошлом России, воспоминания, публикации архивных документов, рецензии.

Тексты печатаются по изданиям: Из воспоминаний восьмидесятника//Голос минувшего на чужой стороне. Париж. 1926. № 2; Красный архив за 1927 год//Современные записки. 1927. № 34.

КНУТ Довид (наст. имя. и фамилия Давид Миронович ФИХМАН, у В. Казака — Фиксман) (1900—1955, у Г. Струве — 1965) — поэт, прозаик. Отец К.— мелкий предприниматель в Кишиневе. Женат на дочери композитора А. Н. Скрябина — Ариадне (казнена гестаповцами в 1944 г.).

В эмиграции с 1920 г. Изучал химию в Кане, в 1920-х гг. содержал трактир в Латинском квартале Парижа. Весной 1922 г. организовал в Париже «Палату поэтов». Спасаясь от фашистов, в 1944 г. бежал в Швейцарию. После второй мировой войны переехал в Израиль.

Публикуемое стихотворение напечатано в «Воле России» (1926. № 3).

КУЗНЕЦОВА Галина Николаевна (1902—1976) — поэтесса, мемуарист, прозаик.

Родилась в Киеве. В эмиграции с 1920 г. Первоначально жила в Праге, затем в Париже. В 1949 г. переселилась в США и восемь лет работала в издательском отделе ООН. В ее прозаических книгах «Утро» (1930), «Пролог» (1933), сборнике стихов «Оливковый сад» (1937) заметно влияние И. А. Бунина, близким другом которого была и в доме которого жила с 1927 по 1942 г. (с перерывами). Этому периоду жизни К. посвятила мемуары «Грасский дневник» (Вашингтон, 1967), главы из которых печатались в альманахе «Воздушные пути» и «Новом журнале». Критика отмечала «сдержанно-поэтический язык» К., ее «психологическое чутье» (Г. Струве).

Публикуемые стихи напечатаны в «Современных записках» (1927. № 33).

КУПРИН Александр Иванович (1870—1938) — писатель. Отец — письмоводитель, мать — из древнего рода татарских князей. В 1877—1880 гг. К. воспитывался в Разумовском пансионе Москвы, с 1880 по 1890 г.— учеба в закрытых военных заведениях. В 1894 г. оставил военную службу и переехал в Киев, где стал профессиональным литератором. Сочувственно отнесся к революции 1905 г., создал рассказы «Штабс-капитан Рыбников», «Река жизни» (1906) и др.— гимн силе человеческого духа. Последующее десятилетие особое внимание уделил художественному очерку, в частности — «Листригоны» (1907—1911), посвященные балаклавским рыбакам, «Лазурные берега» (1912) — заграничные впечатления. Осенью 1919 г. очутился за пределами Советской России: Гатчина, где он жил в собственном доме, была занята войсками Юденича. По просьбе генерала П. Н. Краснова К. редактировал прифронтовую газету «Приневский край».

С 1920 г. жил в Париже. Сотрудничал в газетах — «Общее дело», «Последние новости», «Возрождение» и др. В отличие от большинства других русских зарубежных писателей в его произведениях присутствует и французская тема: «Юг благословенный» (1927), «Париж до-

машний» (1927), «Мыс Гурон» (1929), «Жанета» (1932—1933).

В немногочисленных рассказах и очерках обращался преимущественно к дореволюционному прошлому России (как И. А. Бунин).

Публикуемая повесть «Купол св. Исаакия Долматского» вышла в 1928 г. в издательстве «Литература» (Рига).

ЛАДИНСКИЙ Антонин Петрович (1896—1961) — прозаик, поэт. Учился на юридическом факультете Петроградского университета. Офицером белой армии сражался против большевиков. С 1920 по 1955 г.— в эмиграции. Жил преимущественно в Париже. Не считая нескольких малозначительных рассказов и путевых очерков о Палестине, не собранных в книги, его эмигрантская проза отмечена двумя основными романами: «XV легион» (1937) и «Голубь над Понтом». В первом изображается упадок Древнего Рима и идущий ему на смену мир христианства. В центре сюжета другого — крещение Руси князем Владимиром. В отличие от большинства парижских поэтов Л. и в стихах проявлял интерес к историческим темам, в прошлом умея отыскать отражение настоящего времени. Л. преследовала тема гибели Европы, ее культуры (цикл «Стихи о Европе» и др.).

Публикуемое стихотворение «Скрипит возок...» напечатано в «Воле России» (1926, № 3).

ЛЕБЕДЕВ Владимир Иванович (1883—1956) — критик, редактор. Л. печатал критические заметки, информационные сообщения, библиографические статьи преимущественно в «Воле России», редактором которых был (совместно с В. М. Зензиновым и О. С. Минором, а позже их сменили М. Л. Слоним и В. В. Сухомлин).

Заметка «Тайна посмертного рассказа» напечатана в «Воле России» (1926. № 2).

ЛУКАШ Иван Созонтович (1892—1940) — прозаик. Сын отставного солдата. Окончил Петербургский университет. В 1921 г. переправился в Константинополь, оттуда в Болгарию и Берлин, позже жил в Риге, из которой переехал в Париж.

До эмиграции Л. занимался журналистикой. В 1910 г. выступил с книгой стихотворений в прозе — «Цветы ядовитые». На чужбине дебютировал книгой очерков о жизни эвакуированных врангелевцев в Галлиполи — «Голое поле» (София, 1921). Затем выпустил несколько книг, рассчитанных на дешевый успех, полных стилистических «украс» и незамысловатых сюжетных трюков: «Белцвет» (Берлин, 1923), «Дьявол. Мистерия» (Берлин, 1923), «Дом усопших» Берлин, 1923).

Позже Л. обратился к историческим темам, в которых ему удалось раскрыть свой талант беллетриста: «Дворцовые гренадеры» (Париж, 1928), роман «Пожар Москвы» (1930) и другие. В 1933 г. по сценарию Л. в Париже поставлен фильм о трагической судьбе солдат иностранного легиона — «Сержант Икс». Удачей следует считать биографический роман «Бедная любовь Мусоргского» (1940), переведенный на иностранные языки.

Публикуем фрагменты из сборника рассказов «Дворцовые гренадеры» (1928).

ЛУЦКИЙ Семен Абрамович — поэт. Биографических сведений не обнаружено.

Стихи Л. появлялись в «Воле России», «Звене», «Своими путями» (Прага), «Новом журнале» и др.

Публикуемое стихотворение напечатано в «Воле России» (1926. № 3).

МАКЛАКОВ Василий Алексеевич (1870—1957, у Г. Струве — 1960) — мемуарист, общественный деятель. Из дворян. Отец — известный доктор. М. окончил 2-ю московскую гимназию с серебряной медалью. Прослушал курс естественно-филологического факультета Московского университета, выдержал экстерном экзамен по юридическому факультету. Был оставлен в университете на кафедре истории для преподавательской и научной деятельности, однако вследствие «политической неблагонадежности» отчислен. Выступал в качестве защитника на нескольких громких процессах. Член Государственной думы 2, 3 и 4 созывов. Член партии кадетов. В 1916 г. один из организаторов убийства Г. Е. Распутина (1916), чем до конца жизни тяготился. Посол России в Париже (1917). После победы большевиков в Россию не вернулся. Жил в Париже.

С 1929 по 1936 г. печатал в «Современных записках» свои воспоминания «Из прошлого» (в 17 номерах). Здесь же напечатал статью

«Некоторые дополнения к воспоминаниям Пуришкевича и кн. Юсупова об убийстве Распутина» (1928. № 34). Несколько раз выступал с мемуарными материалами о своих встречах с Л. Н. Толстым: «Лев Толстой (учение и жизнь)» в «Современных записках» (1928. № 34); «О Толстом» в «Возрождении» (Париж. 1954. № 31); «Университет и Толстой» в «Возрождении» (1955. № 37), «Толстой и большевизм» в «Возрождении» (1960. № 100) и «Мостах» (Мюнхен. 1961. № 6) и др.

Печатаем 2-ю главу из отдела первого («Редакция») книги «Власть и общественность на закате старой России (Воспоминания). Приложение к "Иллюстрированной России"» (б. г.).

МИЛЮКОВ Павел Николаевич (1859—1943) — политик, историк, публицист, редактор. Из семьи профессора архитектуры. Окончил гимназию и филологический факультет Московского университета (1882). Приват-доцент по кафедре русской истории. Магистерская диссертация: «Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII ст. и реформа Петра Великого». Профессор Софийского университета (1897—1899). С 1907 г. председатель партии кадетов, редактор газеты «Речь». Депутат 3-й и 4-й Государственных дум. В дни февральской революции добивался сохранения монархии путем передачи власти великому князю Михаилу. Министр иностранных дел в 1-м составе Временного правительства (до 2/15 мая 1917 г.). С марта член «Совета общественных деятелей». Один из организаторов мятежа Корнилова. Эмигрировал в 1920 г. Жил в Париже.

Автор многочисленных трудов по истории России, археологии и пр. С 1921 г. возглавил крупнейшую эмигрантскую газету «Последние новости», в которой был постоянным автором. Не приемля советскую власть, тем не менее уже с начала 1920-х гг. признавал ее достижения в области индустриализации и просвещения. Был постоянным автором «Современных записок», «На чужой стороне» и других, в которых писал о русской истории, истории февральской революции и о современных политических событиях. В годы второй мировой войны написал имевшую большой резонанс статью, ходившую в списках,— «Правда о большевизме» (1943), в которой призывал всех русских объединиться для борьбы с фашизмом.

Многое во взглядах М. разъясняет статья А. Ф. Керенского («Новый журнал». 1943. № 5): «П. Н. Милюков был человек Империи — иначе он России не мыслил. Тут историк сливался с политиком. Он сознавал мировую роль России и ею гордился. Отрицая «особые пути» России, он глубоко чувствовал особое место Государства Российского на смычке Европы с Азией с открывающимися перед ним безбрежными возможностями. Он мог бы сказать: «Восточная Европа — географический стержень истории» ⟨...⟩. И этот стержень истории должен оказаться в руках С.-Петербурга, а не Берлина, каких бы жертв это стране не стоило. Мировая империя требовала, как завершения здания, императора, монарха — символ единства и исторической преемственности ⟨...⟩.

Осталась страстная любовь Милюкова к России во всем ее величии и убожестве, во всех ее достижениях и падениях. Любовь к стране с мировым будущим, которая уже пережила в своей истории страшные катастрофические падения и вновь вставала в новом виде, в новых формах, с новой силой и с новым блеском. П. Н. Милюков последних лет был новым человеком в политическом своем образе: человеком, преодолевшим самого себя и почувствовавшим в самой глубине своего сознания, что революционный взрыв 1917 года не оказался взрывом России, что новые поколения русских людей, пришедшие с низов народа, преодолевая все соблазны коммунистической идеологии, возвращаются на пути истории, способные крепить и защищать Россию не хуже тех поколений, на смену которым они пришли».

Печатаем главу из капитального труда М. «Россия на переломе» (Париж, 1927, Т. 1).

МИНЦЛОВ Сергей Рудольфович (1870—1933) — писатель, библиограф, библиофил. Родился в Рязани. Окончил Кадетский корпус в Нижнем Новгороде, Александровское училище в Москве и Нижегородский археологический институт. Основал в 1900 г. в С.-Петербурге Торговую школу, которой руководил до 1914 г. Изъездил всю Россию. С 1916 г. жил за границей — в Югославии по преимуществу. Здесь он занимал пост директора русской гимназии.

Дебютировал в литературе в 1888 г. Писал романы о русском и западноевпропейском средневековье: «В грозу» (1902), «Под шум дубов» (1919), «Приключения студентов» (1928), «Орлиный взлет» (1931). М. за рубежом сотрудничал с большинством крупных газет и журналов — «Современными записками», «Русской мыслью» и другими. Так, в «Современных записках» в 1921—1923 гг. публиковались его библиофильские новеллы «За мертвыми душами», вызвавшие большой читательский интерес и составившие книгу под тем же названием.

Публикуем фрагменты из книги М. «Трапезондская эпопея. Дневник» (Берлин, б. г.).

ПЛЕЩЕЕВ Александр Алексеевич (1858—1944) — театральный критик, мемуарист, драматург. Сын поэта А. Н. Плещеева. Был актером Малого театра (Москва) и Александринского театра (Петербург). В 1919 г. эмигрировал. Жил в Париже.

Сотрудничал в петербургских и московских периодических изданиях («Петербургский листок», «Биржевые ведомости», «Столица и усадьба», «Московский листок», «Суфлер» и др.), в 1884—1885 гг. редактировал журнал «Театральный мирок», в 1904—1905 гг. «Петербургский дневник театрала», «Невод» (1906—1907). П. создал более 30 пьес, которые шли во многих театрах России, в том числе на сцене Александринского театра.

В эмиграции выступал как театральный критик, мемуарист, беллетрист. К концу жизни ослеп, жил в крайней бедности.

Публикуемые рассказы вошли в сборник «Без ужасов» (Рига, 1928).

ПОЗНЕР Владимир Соломонович (р. 1905) — поэт, критик, стал французским писателем. Родился во Франции. Отец — французский журналист, эмигрировал из России задолго до революции. П.— автор книги «Стихи на случай» (Париж, 1928). Публикуемое стихотворение напечатано в «Воле России» (1926. № 3).

ПРИСМАНОВА Анна Семеновна (1898—1960) — поэтесса. С 1920-х гг. в эмиграции. Жена поэта А. С. Гингера. П., «героически не боясь смешного, и иногда наперекор грамматическим правилам, создала свой мирок из таких, казалось бы, несовместимых слагаемых, как сентиментальность и гротеск, который ей особенно удавался... Присманову и Гингера в Париже еще недостаточно оценили: их еще откроют и ими будут очарованы» (Русская литература в эмиграции: Сб. статей/Под ред. Н. П. Полторацкого. Питтсбург, 1972. С. 62).

В Париже издала три сборника стихов: «Тело и тень» (1937), «Близнецы» (1946), «Соль» (1949).

Публикуемые стихи напечатаны в «Воле России» (1926. № 3).

РЕЗНИКОВ Даниил Георгиевич (1903—?) — поэт. В эмиграции с начала 1920-х гг. Зять В. М. Чернова. Жил преимущественно в Париже. Близок к кругу М. И. Цветаевой и А. М. Ремизова (его жена Н. В. Резникова наследовала архив последнего). В 1926 г. сделал несколько публикаций («Версты», «Благонамеренный» и др.), но затем отошел от литературы.

Публикуемое стихотворение напечатано в «Воле России» (1926. № 3).

РЕМИЗОВ Алексей Михайлович (1877—1957) — прозаик. Отец Р.— московский купец, из рода бывших крепостных. С семи лет Р. учился в гимназии, затем был переведен в коммерческое училище. Закончив училище, поступил на физико-математический факультет Московского университета. В мае 1896 г. случайно оказался в рядах демонстрировавших студентов, был объявлен «агитатором» и на два года выслан в Пензенскую губернию. Нелегально ездил в Москву, привез революционную литературу и стал организовывать Рабочий союз. Был схвачен и отправлен на поселение в Усть-Сысольск. Позже перебрался в Вологду, где познакомился со своей будущей женой С. П. Довгелло. В 1905 г. поселился в Петербурге, начал активную литературную деятельность, заведовал конторой журнала «Вопросы жизни».

Здесь вошел в писательский круг, общается с А. Белым, А. Блоком, И. Буниным, А. Куприным, А. Ахматовой и другими. В 1919 г. был подвергнут кратковременному аресту петербургской ЧК. В августе 1921 г. перебрался в Ревель (Таллинн).

В 1921—1923 гг. жил в Берлине, оттуда перебрался в Париж.

Р. оставил колоссальное творческое насле-

дие. Только за рубежом в журналах н альмаиахах он сделал более 130 публикацнй, напечатал около пятидесятн кннг. Р., прн всем прн этом, признавался: «И я попал раку в клешню: с 1931 по 1949 монх книг не найдете. С этого года начало моей альбомной кропотин. Рукопнснымн альбомамн я продолжал свое ремесло — 18 лет. Каждый альбом, а я нм счет потерял — 400? — мечта о кннге» (Н. В. Резннкова. Огненная память. Воспомннания о Алексее Ремнзове. Берклн, 1980. С. 93).

Из книги «Взвнхренная Русь» печатается по публнкации: «Взвнхренная Русь» (Воля Россни. 1926. № 2).

СВЯТОПОЛК-МИРСКИЙ (МИРСКИЙ) Дмитрий Петрович (1890—1939) — критик, лнтературовед. Сыи мнннстра Николая II князя П. Д. Святополк-Мнрского. Окончил филологнческнй факультет Петербургского уиверснтета. В иачале 1920-х гг. эмнгрнровал. Чнтал курс русской литературы в Лондоиском уннверситете н Королевском колледже (1922—1932). В 1930 г. вступил в Коммуиистнческую партню Велнкобрнтанни. В 1932 г. вернулся в Советскую Россню. В 1937 г. был репресснрован, посмертно реабилнтирован.

Выступил как поэт в 1911 г., нздав поэтнческий сборннк. В эмнграцнн редактнровал парижскнй журнал «Версты» (1926—1928), сотрудннкамн которого были М. Цветаева, Л. Шестов, А. Ремнзов и другие. Выпустнл двухтомную «Исторню русской лнтературы» (на англнйском), которую высоко оценнла крнтнка. Заиимал просоветскую полнтнческую познцню.

Статья «Есеинн» напечатана в «Воле Росснн» 1926. № 5).

СЕДЫХ Андрей (настоящее имя — ЦВИБАК Яков Моисеевич) (род. в 1902 г.) — журналист, прозанк, мемуарнст. Отец — журналнст. С. окончил гимназню в Феодосии. Эмнгрнровал в 1920 г. Жил в Парнже. В 1942 г. перебрался в США, где редактировал (первое время совместно с М. Е. Вейнбаумом) крупиейшую газету «Новое русское слово» (Нью-Йорк).

Много заннмался журналнстнкой, регулярно печатался в «Последннх новостях». В качестве спецкорреспондента этой газеты сопровождал И. А. Бунина в Стокгольм в декабре 1933 г., когда тому вручали Нобелевскую премню. Об этом, в частиостн, пнсал в мемуариой книге «Далекне, блнзкне» (Нью-Йорк, 1962, 2-е нзд.). В этой кннге есть воспоминания С. о А. Куприне, М. Алданове, С. Рахманнновe, П. Милюкове, Ф. Шаляпнне, К. Бальмонте, А. Глазуиове н другнх. Автор многочислеиных романов н сборников: «Старый Париж» (Парнж, 1926), «Монмартр» (Парнж, 1927), «Там, где жилн короли» (Париж, 1930), «Там, где была Россия» (Париж, 1930), «Людн за бортом» (Парнж, 1933), «Дорога через океан» (Нью-Йорк, 1942), «Звездочеты с Босфора» (Нью-Йорк, 1948. Преднсловне Ив. Буиииа) н другие.

Публнкуем начальную главу нз книги «Там, где была Россия».

СЛОНИМ М. Л. * Публнкуемая фрагментарно статья «Десять лет русской лнтературы» была напечатана в «Воле Росснн» (1927. № 10, 11/12).

СОЛОМОН Георгий Александрович. В советское время работал первым секретарем Берлннского посольства, консулом в Гамбурге, заместителем народного комиссара внешней торговли, торговым представителем в Лондоне. В августе 1923 г. стал иевозвращенцем.

И. В. Сталнн в «Полнтнческом отчете Центрального комитета XVI съезду ВКП(б)» (М.; Л., 1930) докладывал, что «делу налажнвания «нормальных» отношенні» с буржуазиымн странамн мешает «наш советскнй строй коллектнвизацня, борьба с кулачеством, антнрелнгиозиая пропаганда, борьба с вредителямн н коитрреволюцноиерамн нз «людей науки», изгнаине Беседовскнх, Соломонов, Дмнтриевскнх н т. п.» (с. 19). Все трое издалн на Западе мемуарные н публнцистическне книги.

Печатаем в отрывках кнгу Г. А. Соломоиа «Средн красных вождей. Лнчно пережнтое и виденное на советской службе» (Парнж, 1930).

СОСИНСКИЙ Владимир (Бронислав) Брониславович (1900—1987) — прозаик, мемуарнст. Печатался под псевдонимами «Вл. Семихат», «Вл. Серышев», «В. Саннников», «Олег Авдеев». Зять В. М. Чернова.

Роднлся в Луганске в семье ииженера

Гартманских заводов. Учился в I реальном училище Петрограда. Участвовал в гражданской войне на стороне белых. В 1920 г. эмигрировал, жил в Турции, Болгарии, Германии, наконец обосновался в Париже. Был портовым грузчиком, шахтером, землекопом. Учился на историко-филологических факультетах Софийского, Берлинского и Сорбоннского университетов. Во вторую мировую войну добровольцем ушел во французскую армию, был ранен и взят немцами в плен. Находился в концлагере, откуда удалось бежать. В 1943—1945 гг. принимал активное участие во французском Сопротивлении. Награжден Военным крестом и другими иностранными орденами. С 1947 г. заведовал Стенографическим отделом аппарата ООН в Нью-Йорке. В 1960 г. вернулся на родину. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1985 г. награжден медалью «За боевые заслуги».

Дебютировал в литературе в 1924 г. Автор повестей «Jta vita" (Париж, 1926), «Махно» (Париж, 1927), «Срубленная ель» (Нью-Йорк, 1947). Много печатался в «Воле России», а также в «Благонамеренном», «Числах», «Своими путями» (Прага), «Русских записках» (Париж; Шанхай) и др. Автор воспоминаний «Коунрка» (неопубл.). Литературное дарование С. отмечала критика (Г. Адамович, Г. Иванов, М. Осоргин, М. Слоним, И. Бабель и другие). Близко знал М. И. Цветаеву, с которой разделяли общую квартиру в Париже в 1925—1926 гг. Повесть «Махно» первоначально была опубликована в «Воле России» (1927. № 5/6), а затем вышла отдельным изданием (Париж, 1927). Печатаем по журнальному варианту, вышедшему с подзаголовком «Три рассказа», позже замененному автором на «повесть в трех рассказах». Посвящение — Н. В. Черновой (дочери В. М. Чернова, министра земледелия Временного правительства), ставшей позже женой С.

СТАЛИНСКИЙ Евсей Александрович (1880—1952) — критик. До революции был активным членом партии эсеров. В эмиграции с начала 1920-х гг. В 1924 г. стал соредактором «Воли России» (вместе с В. И. Лебедевым, М. Л. Слонимом, В. В. Сухомлиным). В этом журнале выступал с многочисленными статьями на политические темы.

Статья «Десять лет» напечатана в «Воле России» (1927. № 3).

СТОЛЫПИН Аркадий Петрович (р. 1903) — мемуарист, сын П. А. Столыпина. В эмиграции с 1920 г. Жил в Литве, Германии, Италии и Франции. Учился во французской военной академии Сен-Сир, которую оставил по слабости здоровья.

Мемуарная книга «П. А. Столыпин. 1862—1911» (Париж, 1927) публикуется с сокращениями.

СТРУВЕ Михаил Александрович (1890—1948) — поэт. Примыкал к акмеистам, близкий друг Н. С. Гумилева. Первая (и последняя) книга стихов («Стая») вышла в петроградском издательстве «Гиперборей» в 1916 г. тиражом 300 экземпляров. В эмиграции с начала 1920-х гг. Жил в Париже. Печатался в «Современных записках», «Русских записках», «Верстах», «Воле России» и др. С. «не был значительным поэтом, но он хорошо владел техникой стиха, и в лучших его стихах слышался свой голос» (Г. Струве).

Публикуемое стихотворение напечатано в «Воле России» (1926. № 3).

ТАЙГИН Андрей — сведений не обнаружено.

«В Берлин с русским золотом» напечатана в «Голосе минувшего» (Париж. 1926. № 2).

ТЕРАПИАНО Юрий Константинович (1892—1980) — поэт, литературный критик, мемуарист. Родился в Керчи, где окончил Александровскую классическую гимназию (1911). Жил в Киеве, где учился в университете на юридическом факультете. Закончив его (1916), был призван в армию. Прапорщиком воевал на Юго-Западном фронте. После поражения белой армии перебрался в Константинополь, где провел два года. Затем навсегда уехал в Париж.

Как поэт дебютировал в 1919 г. В эмиграции стал одним из самых активных авторов периодической печати. Его критические статьи, обзоры, рецензии, стихи регулярно появлялись в «Современных записках», «Числах», «Русских записках», «Нови» (Тарту) и других. Автор поэтических сборников: «Лучший звук» (1926), «Бессонница» (1935), «На ветру» (1938) и мемуарных книг — «Встречи» (Нью-Йорк, 1953), «Литературная жизнь русского

Парижа (1924—1974). Эссе, воспоминания, статьи» (Париж; Нью-Йорк, 1987).

Публикуем стихотворение, напечатанное в «Воле России» (1926. № 3).

ШАХОВСКОЙ Дмитрий Алексеевич (отец Иоанн, епископ Сан-Францисский) (р. 1902) — поэт, издатель, религиозный писатель.

В эмиграции с начала 1920-х гг. Первоначально жил в Бельгии, затем в США. Учился в Лувэнском университете. Один из организаторов клуба русских писателей в Брюсселе — «Единорог». Издавал журнал «Благонамеренный» (Брюссель, 1925—1926). Вышло два номера.

Принял монашество.

«Несколько мыслей о поэзии» были напечатаны в «Благонамеренном» (кн. 2-я).

ШУЛЬГИН Василий Витальевич (1878—1976) — публицист. Из дворян. Отец занимался этнографией, издав труд «О состоянии женщин в России до Петра Великого. Историческое исследование» (Киев, 1850). Ш. окончил Киевский университет (1900). Член 2, 3 и 4-й Государственных дум (крайне правый). 2 (15) марта 1917 г. вместе с А. И. Гучковым предъявил в Пскове императору Николаю II требование Думы об отречении от престола. Участвовал в создании Добровольческой армии для борьбы с большевизмом. После окончания гражданской войны — в эмиграции. В 1937 г. отошел от политической деятельности. В 1944 г. арестован в Югославии, препровожден в СССР и посажен в тюрьму. Освобожден в 1956 г. Жил во Владимире.

В 1927 г. издал свои впечатления о нелегальном посещении СССР — «Три столицы. Путешествие в красную Россию» (Берлин). Печатаем в сокращении.

ЮШКЕВИЧ Семен Соломонович (1868—1927) — прозаик. Родился в Одессе в зажиточной еврейской семье. В Париже изучал медицину. В 1920 г. эмигрировал. Жил в Париже.

Впервые выступил в печати с рассказом «Портной» (1897). Известность принесла повесть «Распад» (1902). Был постоянным автором горьковских сборников «Знание». В 1923 г. вышел роман о революции — «Эпизоды» (Париж).

Рассказы «В галатских переулках» и «Ночная бабочка» вошли в сборник Ю. «Автомобиль» (Берлин, б. г.).

Содержание

А. Афанасьев. Без России 5
От составителя 10

Проза

А. И. Куприн. Купол Св. Исаакия Далматского 13
Марк Алданов. Современники:
Сталин 52
Луначарский 63
А. Ремизов. Взвихренная Русь 70
Андрей Седых. Там, где была Россия 79
Бронислав Сосинский. Махно 90
Леонид Зуров. Отчина 102
Семен Юшкевич. В Галатских переулках 113
Ночная бабочка 116
Александр Плещеев. Без ужасов:
Театральная аристократия 124
Газетчики 126
Юрий Галич. Волчий смех:
Поручик Мирович 129
Гибель Макарова 132
Любовница Петра Великого 136
Ив. Лукаш. Дворцовые гренадеры 140
Не вечерняя 143
Дурной арапчонок 150
Дмитрий Шаховской. Несколько мыслей о поэзии 155

Мемуары

Василий Шульгин. Три столицы 161
А. И. Деникин. Очерки русской смуты 239
Г. Соломон. Среди красных вождей 271
А. Тайгин. В Берлин с русским золотом 289
Аркадий Столыпин. П. А. Столыпин (1862—1911) 296
Алексей Гирс. Смерть Столыпина 305
Сергей Минцлов. Трапезондская эпопея 311
Василий Маклаков. Власть и общественность на закате старой России 334
Александр Кизиветтер. Из воспоминаний восьмидесятника 353
Ю. Н. Данилов. Мои воспоминания об императоре Николае II и великом князе Михаиле Александровиче 361

Поэзия

Георгий Адамович 387
Вадим Андреев 388
Наталия Борисова 389
Иван Бунин 389
Александр Гингер 389
Довид Кнут 390
Галина Кузнецова 391

Антонин Ладинский 392
Семен Луцкий 393
Владимир Познер 394
Анна Присманова 395
Даниил Резников 396
Михаил Струве 396
Юрий Терапиано 397

Философия
С. Н. Булгаков. Карл Маркс как религиозный тип 401
И. А. Ильин. Родина и мы 418

Публицистика
М. Арцыбашев. Записки писателя 433
Павел Милюков. Россия на переломе 462
Ст. Иванович. Ташкентцы за границей 472
Е. Сталинский. Десять лет 486

Критика
Владимир Лебедев. Тайна посмертного рассказа 497
Д. Святополок-Мирский. Есенин 505
Борис Зайцев. Н. А. Тэффи. Городок 509
Александр Кизиветтер. Красный архив за 1927 год 510
Марк Слоним. Десять лет русской литературы 516

Именной указатель 547

Литература русского зарубежья:
Антологня

Том 2
Составитель Валентнн Викторович Лавров

В кииге использоваиы архивиые фотодокументы

Художественный редактор А. Г. Сауков
Техиический редактор Л. П. Емельяиова
Корректоры Л. В. Петрова, Н. И. Скворцова

ИБ № 2085

Сдаио в иабор 27.11.90. Подписано в печать 17.06.91. Формат 70 × 100/16. Бумага офсетиая. Гарнитура тип бодоии. Печать офсетная. Усл. печ. л. 45,5. Усл. кр.-отт. 91,0. Уч.-изд. л. 51,45. Тираж 120 000 экз. Изд. № 4955. Зак. № 1565. Цена 9 р.

Издательство «Книга»
125047, Москва, ул. Горького, 50.

Можайский полиграфкомбинат В/О «Совэкспорткиига»
Государственного комитета СССР по печати. 143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.





9руб.